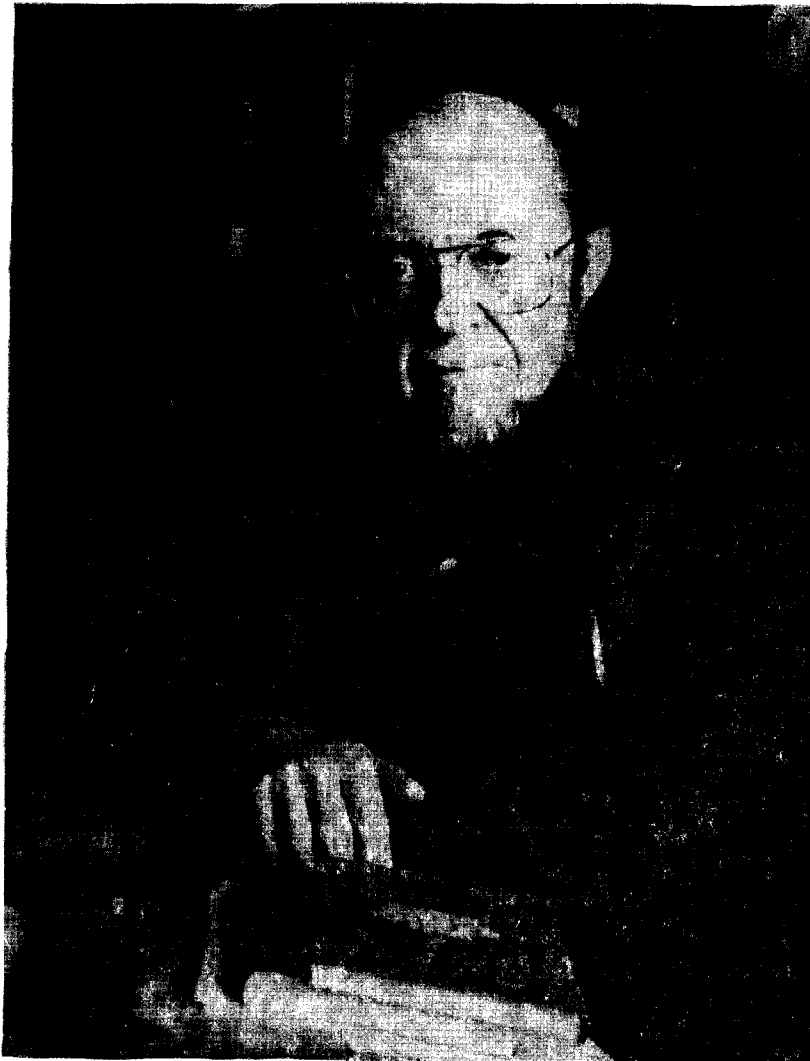


ЯЗЫК
СЕМИОТИКА
КУЛЬТУРА

Б.А. УСПЕНСКИЙ

Избранные труды
Том II

Язык и культура



МОСКВА
"ГНОЗИС"
1994

ББК 81.2Р
У 58

Составитель серии - А. Д. Кошелев
Корректор - Е. Э. Бабаева

У 58 Б.А.Успенский
Избранные труды, том 2. Язык и культура. - М.:
Издательство «Гнозис», 1994. - 688 с.
ISBN 5-7333-0406-5

В том 2 «Язык и культура» вошли (в переработанном и дополненном виде) публиковавшиеся ранее работы: «Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры ("Происшествие в царстве теней, или судьбина Российского языка" - неизвестное сочинение Семена Боброва)» (Совм. с Ю.М.Лотманом), «Диглоссия и двуязычие в истории русского литературного языка», «Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси: восприятие церковнославянского и русского языка» и др., а также новые статьи: «Религиозно-мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии (Семантика русского мата в историческом освещении)», «Заветные сказки" А.Н.Афанасьева».

Книга адресована филологам, литературоведам, историкам и просто любознательным читателям, интересующимся историей русского языка и культуры.

Издание осуществлено при финансовой поддержке
международного фонда
«Культурная инициатива»

У 570101 - 019 без объявл.
42(02) - 94

ББК 81.2Р

ISBN 5-7333-0406-5 © Б.А.Успенский, 1994.
© А.Д.Кошелев. Серия «Язык. Семантика. Культура».
© В.П.Коршунов. Оформление серии.

1

Язык в координатах
сакрального и профанного

Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси (XVI–XVII вв.)

Историкам русской культуры хорошо знакомо послание Филофея, старца псковского Елеазарова монастыря, «на звездочетцы и латины», адресованное дьяку М. Г. Мисюрю-Мунехину, эмиссару великого князя московского в Пскове (первой трети XVI в.). Это послание эпохально, поскольку здесь впервые находит обоснование доктрина «Москва — Третий Рим». Однако для историка культуры важно и другое обстоятельство: мы впервые встречаем здесь протест против так называемой «внешней мудрости», т. е. высших филологических знаний: гуманитарные науки (в частности, риторика и философия) ассоциируются в послании Филофея с язычеством и вместе с тем с латинством. Приведем слова Филофея: «< . . . > наз селскои челоувѣкъ. учился буквам, а еллинскихъ борзѡстей на текох, а риторскихъ астроном не читах. ни с мудрыми философы в бесѣдѣ не бывал, учюся книгамъ благодатнаго закона < . . . >»¹.

Эти слова следует воспринимать в контексте традиционных заявлений русских книжников о том, что они не учились грамматике, риторике, философии и т. п., ср., например, у Елифания Премудрого в житии Стефана Пермского: «Азъ < . . . > есмь умомъ грубъ, и словомъ невѣжа < . . . > не бывавшу ми во Афинѣхъ отъ уности, и не научихся у философѡвъ ихъ ни плетения риторьска, ни вѣтискихъ глаголѣ, ни Платоновыхъ, ни Аристотелевыхъ бесѣдъ не стяжахъ, ни философья, ни хитрорѣчия не навькохъ < . . . >»² или у В. М. Тучкова в житии Михаила Клопского (1537): «Что же реку, и что възглаголю, и како началу слова коснуся, разума нищетою объяту ми сущу? Ниже риторикки навькшу, ни философии учену когда, ниже паки софистикию прочетшу < . . . >»³; наконец, у Симона Азарьина в житии Дионисия Зобниновского (1646–1654): «< . . . > простотѣ писанныхъ словесъ не дивися, яко во училищахъ Философскихъ не бѣхъ, ниже Грамматическія хитрости навькохъ»⁴; аналогичное заявление мы встречаем уже у Даниила Заточника («Азъ бо не во Афинехъ ростох, ни отъ философъ научихся < . . . >»⁵). Это традиционный прием авторского самоуничижения. Слова Филофея как бы вписываются в данную традицию, и вместе с тем они ей полемически противопоставлены: в

самом деле, у Филофея речь идет не столько о самоуничижении, сколько о ПРИНЦИПАЛЬНОМ ОТКАЗЕ от такого рода знаний — изучение гуманитарных наук поставлено здесь в контекст языческих умствований и признается делом сомнительным с религиозной точки зрения, «внешняя мудрость» противопоставляется чистоте православного учения.

Сочинение Филофея получило большой резонанс, и, в частности, его протест против «внешней мудрости» становится очень популярным в русской книжности XVI–XVII вв. Характерно, что этот протест может почти дословно повторяться в избучных прописях, где он выступает в качестве типичной нравоучительной сентенции. Так, например, в прописях 1620 г., написанных неким попом Тихоном, мы читаем: «Аще, человекче, небеса и облацы превзыдеши, аще всю философию изучиши, и еленские борзости претечеши, и вся вѣтия препреши, и вся земли преидеши концы, — смертнаго же і [sic!] часа никакo не избежиши»⁶. В прописях 1643 г., написанных в Вологде, говорится: «Аще кто ты речет вѣси ли всю философию и тыж ему рцы. Еллинских борсостей не текых ни риторских астрономъ не читая ни с мудрыми философы в беседе не бывах. Учюся книгамъ благодатнаго закона аще бы мощно моя грѣшная душа очистити от грѣхъ»⁷.

В приведенных текстах специально не говорится о грамматике, но очевидно, что имеется в виду весь комплекс гуманитарных знаний. Во всяком случае, уже во второй половине XVI в. соответствующие высказывания могут эксплицитно распространяться и на грамматику. Об этом очень ясно пишет, например, Иоанн Вишенский в «Книжке»: «А о собѣ аз и сам свѣдѣтельство вам даю, яко грамматичкого дробязку не изучих, риторичное игрушки не видах [вариант: вѣдах], философского высокомечтательного ни слыхах. Мой ест даскал простака, але от всѣх мудрѣйший, который безкнижных [вариант: бес книг] упремудряет; мой даскал простака, который рыболовци в человеколовци [вариант: человекколюбцы] претворяет; мой даскал, который простотою философы посмѣвает; мой даскаль, который смирением грѣдость потлумляет»⁸. Речь идет о Христе: изучение грамматики, риторики и т. п. связывается здесь, как и у Филофея, с латинством и с язычеством: по словам Иоанна Вишенского, «словенский язык < . . . > ест плодоносѣйший от всѣх языков и богу любимший: понеж без поганских хитростей и руководств, се ж ест кграмастик, рыторык, диалектик и прочих коварст тщеславных, диавола вѣмѣстных, простым прилежным чтанием, без всякого ухрищрения, к богу приводит, простоту и смирение будует и духа святого подемлѣет < . . . > Чи не лѣпше тобѣ изучити Часословец, Псалтыр, Охтаик, Апостол и Евангелие < . . . > и быти простым богоугодником и жизнь вѣчную получитьи, нежели

постигнути Аристотеля и Платона и философом мудрым ся в жизни сей звати и в геенну отити? Разсуди! Мнѣ ся видит, лѣпше ест ани аза знати, толко бы хо Христа ся дотиснути, который блаженную простоту любит < . . . > Тако да знаете, як словенский язык пред богом честнѣйший ест и от еллинскаго и латинскаго»⁹. Обращаясь к «философам латинским», Иоанн Вишенский спрашивает: «Скажѣте ми, о премудрии, от ваших хитростей и художеств грамматычных, диалектичных, рыторичных и философских, яким способом Христос простаком, ему послѣдующим, отверзе ум разумѣти писание?»¹⁰. Ответ на этот вопрос ясен: изучение грамматики, риторики и т. п., по мысли Вишенского, не приводит к Христу, но наоборот — уводит от истинного христианства¹¹. К высказываниям Иоанна Вишенского очень близки слова старца Артемия в его послании к Симону Будному: «< . . . > можетъ бо истинное слово просвѣтити и умудрити въ благое правымъ сердцемъ безъ грамматика и риторика»¹².

Наряду с литературными выступлениями для конца XVI — начала XVII в. известны и устные протесты против изучения грамматики, риторики и т. п. Известно, например, что в 1590 г. киевский митрополит Михаил Рагоза в «клятвенной грамоте» на львовских мещан Рудька и Билдагая отлучил их от церкви за противодействие деятельности братских школ, и в частности «грамматическому, диалектическому и риторическому учению»¹³, равным образом в Московской Руси в 1610-е годы справщик Логин Корова (редактор печатного Устава 1610 г.) «хитрость грамматическую и философство книжное нарицалъ еретичествомъ»¹⁴.

Сходное отношение к изучению грамматики, риторики и философии мы находим затем в слове «О нечювственных христианах» Спиридона Потемкина, архимандрита московского Покровского монастыря (1650-е годы). «Человѣцы бо, — говорит Спиридон Потемкин, — научившеся грамматике, и риторики, но и самыя философии, аще не прибѣгнуть ко истинному учителю Христу, то что поможетъ грамматика, и что пособствуетъ риторика, и како наставить философию на путь истинный: единъ бо философъ ариянинъ, а другіи македонянинъ, а третіи лютеръ, инъ же калвинъ, а инъ римлянинъ, и иныхъ множество, но сии вси учатся в римскихъ училищахъ, яже суть школы латынскія, а за учение не дають ниче-соже кромѣ душъ своихъ < . . . >»¹⁵. Как видим, и в этом случае, так же как у Филофея или Иоанна Вишенского, изучение грамматики, риторики, философии ассоциируется с латинством. Это высказывание Спиридона Потемкина выступает как ответ сторонникам патриарха Никона, которые, по его словам, «ругающеся благочестивымъ християномъ и не хотящимъ примати ихъ лугавыхъ нововводныхъ и богомерскихъ прилоговъ и превратовъ, глаголють:

како можете разумѣти, не вѣдуще многихъ разныхъ языковъ, ниже риторства, ни филосовіи учащеся?»¹⁶.

Полемика по этому поводу становится вообще особенно острой именно в период никоновских реформ. Никониане постоянно упрекают старообрядцев в незнании грамматики, старообрядцы же упорно противопоставляют знание грамматики подлинному благочестию. Замечательно, что в этих спорах слышатся отзвуки послания Филофея. Эти разногласия отчетливо проявляются в прениях старообрядцев и сторонников патриарха Никона — в частности, в прениях рязанского архиепископа Илариона со старцем Авраамием (1670 г.) и в прениях иконийского митрополита Афанасия с дьяконом Федором (1668 г.). Так, архиепископ Иларион говорил Авраамію: «< ... > вы, брате Аврамей, конечно за невѣдѣніе погибаете. Не учася риторства, ни философства, ниже граматическаго здраваго разума стяжали есте, а начнете говорить выше ума своего < ... >»; Авраамій возражал архиепископу: «Правду ты, владыко, рекль ми, яко риторики и философства не учихся и граматическаго ученія глубокаго не знаю, кромѣ малаго нарѣчія въ справѣ, и прочитаю книги благодатнаго закона < ... > И отъ святаго писанія хошу тебѣ противу твоихъ глаголовъ < ... > о истиннѣхъ рещи»¹⁷. Слова о «книгахъ благодатнаго закона» представляют собой, по-видимому, прямую цитату из Филофея; отметим для дальнейшего, что грамматика противопоставляется Писанию и, соответственно, грамматическое учение не имеет отношения к истине. И далее Авраамій заявляет: «А еже глаголете, что мы риторства и философства неучася съ вами говоримъ, и того ради намъ зазираете: и о томъ вамъ за насъ великій Апостоль Павель глаголетъ отъ лица Божія: “погублю премудрость премудрыхъ, и разума разумныхъ отвергуся” [Исаия XXIX, 14; I Кор., I, 19]. Понеже буйствомъ проповѣди благоизволи Богъ вѣрующимъ спасти, а не философствомъ, ни риторствомъ. И Ефремъ Сирийскій глаголетъ: вѣрну о Христе возможно препрѣти и риторовъ и философовъ, истиннѣхъ противляющихся, кромѣ риторства и философства и граматическаго ученія»¹⁸. Грамматика, риторика и философия явно ассоциируются в этом контексте с язычеством, и в этом смысле они противостоят христианству.

Еще более отчетливо проявляется эта позиция в прениях дьякона Федора с митрополитом Афанасием. Вот запись этих прений: «Вопроси же его митрополитъ: “Платона и Аристотеля читалъ ли?” Отвѣща дѣаконъ: “Которая полза такія книги честь? Не чту азъ таковыхъ книгъ”. Митрополитъ рече: “А когда ты не читалъ, не знаеши ничего”. Дѣаконъ рече: “На что мнѣ тыя книги чести еллинскихъ безбожныхъ поганыхъ философовъ, которыя въ болваны вѣровали и о тщетной мудрости упражнялися, а спасенія себѣ не

искали!” Митрополитъ же вопроси: “А грамматику училъ ли, или читалъ?” Дѣаконъ рече: “Разумѣю отчасти; грамматика не вѣрѣ учитъ, но какъ которое слово добрѣ глаголати [вариант: слагати] и правѣ писати. То мое о Христе учение: восточныя святаи церкви книги и правыя догматы”»¹⁹. И здесь также изучение грамматики предстает как языческая, дохристианская мудрость, которая противопоставляется истинной вере и подлинному знанию.

Достаточно показательно и слово «О глаголющихъ, яко святии отцы у насъ грамоте не знали и веру исправили ныне по грамматике» соловецкого казначея Геронтия (написанное между 1667 и 1676 гг.). Возражая никоновским справщикам, утверждающим, «будто святии отцы у насъ в' русской землѣ до сей поры нынѣшнія ихъ вѣры не знали, того ради что грамматическаго ученія и прочихъ мудрыхъ книгъ не умѣли, а нынѣ и обрѣли прямую вѣру, потому что мудрыхъ людей книжниковъ Литвы и грековъ почало быть в' русской землѣ много», Геронтий полемически называет самих никониан «простецами» и «невегласами»: «Нынѣ же мнози у насъ в' русстей земли простцы невѣгласи суще, аки облацы водни, отъ ветръ преносими скитающиеся по всякомъ ветре ученія, суесловяще глаголють бутто у насъ святии отцы грамоте не знали и вѣру исправили нынѣ по грамматике и по инымъ мудрымъ философскимъ книгамъ, и то ихъ безумное пустословие отъ конечнаго ихъ неразумія и несмыслства, понеже всѣмъ то извѣстно, яко по всей вселенней православная христіанская вѣра состоится и утверждается не грамматическими и философскими еллинскими мудростями, но Божію силою і евангельскимъ Христовымъ учениемъ, і апостольскимъ и святыхъ седми вселенскихъ соборъ правильнымъ изложениемъ < ... > Можетъ бо духовно слово вѣрою добрѣ живущихъ безъ грамматики и риторики препрѣти < ... > а грамматическое бо учение нѣсть ино, точію внѣшнихъ словесъ вѣденіе ко еже правѣ глаголати и писати, составлено суще отъ еллинскихъ мудрецовъ и в' православнѣй вѣре оно ел'линское хитрословіе ни в' чемъ не помогаетъ < ... >»²⁰. Сходные рассуждения содержатся и у инока Савватія в его челобитной царю Алексею Михайловичу (1660-е годы), где под этим углом зрения специально анализируются грамматические исправления никоновских справщиков; эти рассуждения будут рассмотрены нами ниже.

Наконец, совершенно такое же отношение к грамматике, риторике, философии и другим «внешним» знаниям выразительно заявлено в сочинениях протопопа Аввакума и его духовного отца, старца Епифанія. Вот как начинается Епифаній свою автобиографию (конец 1660-х — начало 1670-х годов): «< ... > не позазритъ скудоумію моему, і простотѣ моей, понеже грамотики, и философій не учился, і не желаю сего, і не ишу; но сего ишу, како бы ми Христа милостива сотворити себѣ и людемъ, і Богородицу і свя-

тых его»²¹. Как и у Филофея, это высказывание вписывается в этикетную традицию авторского самоуничижения; и вместе с тем, подобно Филофею, Епифаний заявляет не только о своей необразованности, но и об отрицательном отношении к соответствующим дисциплинам (в данном случае — грамматике и философии). Эти слова Епифания отразились, возможно, в известном высказывании протопопа Аввакума (1675 г.): «< . . . > і вы Господа ради чтущій і слушащій, не позазрите просторѣчию нашему, понеже люблюю свой русской природной язык, виршами философскими не обыкъ рѣчи красить, понеже не словесъ красныхъ Богъ слушает, но дѣлъ нашихъ хошетъ . . . > Я і не брегу ѿ краснорѣчій, і не уничижаю своего языка русскаго . . . >»²².

Равным образом в своем «Житии» Аввакум говорит о себе, перефразируя апостола Павла: «Но аще и не ученъ словомъ, но не разумомъ [ср.: II Кор. XI, 6]; не ученъ діалектики и риторики и философии, а разумъ Христовъ в себѣ имамъ»²³. Ср. еще в «Книге толкований» (1673–1677): «Не ищите риторики и философии, ни краснорѣчя, но здравымъ истиннымъ глаголомъ послѣдующе, поживите. Понеже риторъ и философъ не можетъ быти христианинъ. Григорій Нискій пишетъ и Златоустъ тому же согласуетъ, сице глаголя, яко ни на прагъ церковный риторъ и философъ достоинъ внити . . . > Да и вси святіи насъ научаютъ, яко риторство и философство — виѣшняя блядь, свойственна огню негасимому. Отъ того бо раждается гордость, мати пагубѣ. И нѣсть ми о семъ радѣнія. Азъ есмь ни риторъ, ни философъ, дидакалства и логофетства неискусенъ, прстецъ чловѣкъ и зѣло исполненъ невѣденія»²⁴. Аввакум часто касается этой темы в разных своих сочинениях, причем в других случаях он говорит и о грамматике. Так, еще в «писанейце» Ф. М. Ртищеву (1664), отвечая на вопрос о том, «достоин ли учиться риторике, диалектике и философии», Аввакум писал: «Христосъ . . . > не учил диалектики, а ни красноречию, потому что ритор и философ не можетъ быти христианин. Чюдно рещи, яко ко приятию учения Христова невежество ключаемо есть наипаче [т. е. невежество более подобает христианину], нежели премудрость внешних философов. Христианом открывает бог Христовы тайны духом святым, а не внешнею мудростию, та бо яко рабыни бещестная не оставлена бысть внити внутрь церкви, ниже вникнути во Христовы тайны . . . > Преподобный же Ефрем Сирий рече: И кроме философии и риторики, и кроме грамматики мощно есть верну сущу препрети всехъ противящихся истинне. И по сему слову веры потреба ко спасению и ко прению противящихся, а не литорики и грамматики, и христианскихъ добродетелей от чиста сердца, а не философскаго кичения . . . > Простота, государь, о Христе . . . > созидает, а разум от риторства кичит. Попросим

мы с тобою от Христа, бога нашего, истиннаго разума, како бы спастися, до наставит насъ духъ святыи на всяку истинну, а не риторика з диалектикомъ»²⁵. Соответственно в письме «двумъ девамъ» (конца 1670-х — начала 1680-х годов) Аввакум преподает следующее наставление: «Евдокея, Евдокея, почто гордаго беса не отринешъ от себя? Высокие науки исчещь, от нея же падаютъ богомъ неокормлени, яко листовіе . . . > Дурька, дурька, дурищо! На что тебе, вороже, высокие хоромы? Граматику и риторикѣ Васильевъ, и Златоустовъ, и Афанасьевъ разум [т. е. разум Василия Великого, Иоанна Златоуста и Афанасия Александрийскаго] одержал. К тому же и диалектик, и философию, и что потребно, — то в церковь взяли, а что непотребно, — то под гору лопатою сбросили. А ты кто, чадъ немощная? < . . . > Ай, девка! Нет, полно, меня при тебе близко, я бы тебе ощипалъ волосъ за граматикѣ ту»²⁶. Как видим, грамматика, риторика, диалектика и философия воспринимаются как единый комплексъ знаний — они предстают, в сущности, как разновидности одного общего знания, которое в принципе признается опасным и соблазнительным.

Этой же теме посвящено и специальное рассуждение чудовскаго инока Евфимия (1684–1685), которое начинается таким образом: «Вопроси нѣкто чловѣкъ, мужъ, глаголя: учитися ли намъ полезнѣе грамматики, риторики, философии и теологии и стихотворному художеству и оттуду познавати божественная писанія, или, и не учася симъ хитростемъ, в простотѣ Богу угождати и отъ чтенія разумъ святыхъ писаній познавати?»²⁷. Как видим, это тот же вопрос, который в свое время задавал Аввакуму Ртищев. Отвечая на этот вопрос, Евфимий — известный справщик и сторонник реформ патриарха Никона — стремится обосновать необходимость изучения соответствующих дисциплин: он различает простоту как добродетель и простоту как невежество («простота сугуба есть: ова незлобіе глаголется, еже есть добродѣтель терпѣнія и непамятозлобія и немщеніе обидящимъ, ова же невѣжество, рекше неученіе. . .») и решительно осуждает практику начетничества. Появление этого трактата было, по-видимому, обусловлено учреждением школы Лихудов, которая становится затем Славяно-греко-латинской академией: организация учебной программы в этой школе вызывала, вероятно, нареканія приверженцев старины. Сочинение Евфимия имеет, таким образом, полемический характер; для нас же важно прежде всего то обстоятельство, что изучение грамматики и риторики нуждается в специальном обосновании.

Как же понимать эти высказывания? Как объяснить столь устойчивый протестъ против грамматики, риторики и т. п.? Следует подчеркнуть, что авторы, протестующие против изучения этих

дисциплин, могут быть очень образованными людьми²⁸, и, таким образом, соответствующие заявления никак нельзя объяснить простым обскурантизмом — совершенно очевидно, что за ними стоит вполне определенная ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ позиция. Отметим далее, что такого же рода протесты можно найти и в святоотеческой литературе (на которую, как мы видели, и ссылаются иногда цитированные нами авторы), однако там они обусловлены полемикой с античной, языческой культурой; эта полемика совсем не актуальна для Руси XVI–XVII вв. — ясно, что эти высказывания попадают здесь в совсем другой культурный контекст, они наполняются каким-то другим содержанием. Но каким именно?

Нетрудно заметить, что в целом ряде случаев выступления такого рода непосредственно сочетаются с протекстами против латинского учения (так, например, у Филофея, у Иоанна Вишенского, у Спиридона Пстемкина). Можно предположить, что речь идет о программе так называемых семи свободных наук, принятых в латинских школах, куда входили грамматика, риторика и диалектика (составляющие вместе первый раздел данной программы — «trivium»)²⁹; что касается философии, то она понимается как мать этих наук, объединяющая их в себя как составные части: свободные науки и рассматриваются, собственно, как путь к философии³⁰; впрочем, в России иногда считали, что философия входит в состав свободных наук³¹. Действительно, изучение латыни было сопряжено с овладением грамматикой, риторикой, диалектикой и другими свободными науками³²; знаменательно при этом, что выступления против грамматики, диалектики и т. п., аналогичные тем, которые были цитированы выше, могут быть встречены и у представителей польской реформации, что также связано, конечно, с борьбой против латинского языка³³. Разумеется, семь свободных наук преподавались и в греческих школах, однако на Руси они могли ассоциироваться, по-видимому, с латинской системой образования; более того, здесь могли считать, что сами греки находятся под латинским влиянием. Иными словами, поскольку в плане гуманитарного образования греческая культура не отличалась от латинской, обучение такого рода могло восприниматься как характерный знак латинства там, где борьба с латинским языком и латинской образованностью была актуальна. Такая борьба была действительно актуальна во Пскове (где появилось послание Филофея), в Юго-Западной Руси, а с середины XVII в. и в Руси Московской.

Таково одно из возможных объяснений, но оно явно недостаточно: антилатинская полемика, безусловно, не объясняет всех случаев протеста против грамматики — она скорее создает условия для актуализации соответствующей идеи.

Вместе с тем высказывания такого рода могут быть помещены в более широкий контекст, имеющий при этом самое непосредственное отношение как к истории русской культуры, так и к истории русского литературного языка.

История литературного языка — это история языковой нормы³⁴. Эта норма кодифицируется обычно в грамматических описаниях; но грамматики появляются на Руси поздно — они появляются здесь со вторым южнославянским влиянием и, видимо, в результате условия инокультурной (прежде всего греческой) традиции³⁵. Наиболее совершенной из них является, несомненно, грамматика Мелетия Смотрицкого, вышедшая первым изданием в Евье (близ Вильны) в 1619 г., а затем переизданная в переработанном виде в Москве в 1648 г. Все предшествующие грамматические трактаты очень неполны и никак не могут претендовать на исчерпывающее описание языка; самый ранний из таких трактатов представлен в списке конца XV в. — это так называемые «Барсовский список» сочинения «О восьми частях слова»³⁶, сочинения южнославянского происхождения, попавшего на Русь именно со вторым южнославянским влиянием³⁷.

Как же осуществлялась кодификация языковой нормы до появления грамматических описаний? Надо полагать, что это происходило в процессе обучения книжному, т. е. церковнославянскому, языку. Церковнославянский язык воспринимался вообще как кодифицированная (предельно правильная) разновидность родной речи (иными словами, он понимался как «свой» язык — именно поэтому, собственно говоря, он и не нуждался в самостоятельном описании). Такое восприятие предполагает соотношение форм книжного (церковнославянского) языка с формами живой речи. Книжные и некнижные формы могут противопоставляться как правильные (нормативные) и неправильные (ненормативные), но при этом они коррелируют друг с другом. Обучение книжному языку реализуется в виде ЗАПРЕТОВ (т. е. отказа от специфически некнижных форм) и ЗАМЕН (некнижной формы на коррелятивную книжную), но и оно не представлено при этом в виде имманентной системы правил.

Обучение такого рода основывается на определенном корпусе канонических текстов. Эти тексты заучивались наизусть (так, при обучении церковнославянскому языку наизусть учили Псалтырь, а также основные молитвы) и при этом как-то понимались. Таким образом, при овладении книжным языком носитель языка шел от текста к смыслу — говоря словами Иоанна Вишенского, обучение языку осуществлялось «простым прилежным чтением»³⁸. Как мы помним, Вишенский именно противопоставляет изучение священных текстов изучению грамматики, риторики и диалекти-

ки («Чи не лѣпше тобѣ изучити Часословец, Псалтырь, Охтаик, Апостол и Евангелие . . . ?» — там же).

Обучение такого рода, вообще говоря, не предполагает активного пользования книжных (в нашем случае — церковнославянским) языком. Оно не исключает активного употребления церковнославянского языка, однако в результате такого употребления не создаются канонические, эталонные тексты³⁹.

Поэтому активное пользование церковнославянским языком реализуется, как правило, в виде упрощенного, гибридного церковнославянского языка. Это вполне естественно в условиях, когда на основе пассивного усвоения языка (от текста к смыслу) более или менее спонтанно возникают правила, обеспечивающие некоторое (посильное) приближение к правильной речи.

Итак, традиционный способ пассивного усвоения церковнославянского языка не предполагал существования системы правил, которые могли бы использовать при создании новых текстов. Обучение языку в принципе ориентировано на канонические (богодуховенные) тексты и призвано в первую очередь обеспечить понимание этих текстов. При таком подходе именно конкретный текст, а не система языка в целом подлежит кодификации и нормализации.

Так обстоит дело до второго южнославянского влияния. После второго южнославянского влияния появляются грамматики, упорядочивающие систему правил и предназначенные, вообще говоря, для активного пользования церковнославянским языком. Появление грамматик свидетельствует о принципиально новом отношении к языку. В самом деле, грамматика в принципе задает правила порождения текста — при этом любого текста на данном языке, независимо от его содержания. Правила как таковые позволяют манипулировать смыслом — и тем самым моделировать мир⁴⁰.

По средневековым представлениям мир — это книга, т. е. текст, воплощающий в себе Божественный смысл. Символом мира является книга, а не система правил, текст, а не модель. Вместе с тем грамматика — это именно модель мира; как всякая модель, она позволяет порождать тексты, наполненные новым смыслом, в том числе и тексты, заведомо ложные по своему содержанию. На этом основании на Западе в средние века могли ассоциировать латинскую грамматику с дьяволом — постольку, поскольку она учит склонять слово *Бог* по числу⁴¹.

По заявлениям древнерусских книжников, на церковнославянском языке вообще невозможна ложь — постольку, поскольку это средство выражения богооткровенной истины. Так, по словам Иоанна Вишенского, «в языке словянском лжа и прелесть [дьявольская] . . . никак же мѣста имѣти не может», и поэтому дьявол не любит этого языка и с ним борется; церковнославянский

язык объявляется при этом «святым» и «спасительным», поскольку он «истинною, правдою божию основан, збудован и огорожен есть»; соответственно, заявляет Вишенский, «хто спастися хочет и освятитися прагнет, если до простоты и правды покорнаго языка словенского не достигнет, ани спасения, ани освящения не получит» («Зачапка мудраго латынника з глупым русином»⁴²).

При таком понимании протесты книжников против изучения грамматики становятся совершенно понятными: в самом деле, если исходить из грамматики, на сакральном церковнославянском языке вполне может быть выражено ложное, еретическое содержание. Об этом с предельной ясностью говорит инок Савватий в своей челобитной царю Алексею Михайловичу (1660-х годов), которая представляет собой один из первых протестов против никоновской книжной sprawy⁴³, Савватий (в миру Третьяк Васильев), инок Чудова монастыря, в 1659 г. был сослан в Кириллов монастырь за извет на справщиков Печатного двора в порче церковных книг⁴⁴ — «за то, что извѣщаль < . . . > о книжномъ неисправленіи, в грамматическаго учения будто неумѣючи», как он формулирует в своей позднейшей — дошедшей до нас — челобитной⁴⁵. Таким образом, Савватий, в сущности, пострадал за грамматику или, точнее, за свое отношение к грамматике. Тем не менее, оказавшись в Кириллове монастыре, он пишет царю новую челобитную, настаивая на своей правоте и обвиняя «нынѣшнихъ Московскихъ грамматиковъ» в злоупотреблении грамматическим учением — в том, что, исходя из грамматики, они портят священные книги: в результате ориентации на грамматику, утверждает Савватий, эти книги оказываются наполненными еретическим смыслом.

Приводя примеры порчи церковных книг в процессе никоновской книжной sprawy, Савватий заявляет, в частности, в своей челобитной: «. . . сами справщики совершенно грамматики не умѣють, и обычай имѣють тою своею мелкою грамматикою Бога опредѣляти мимошедшими времени, и страшному и неописанному Божеству его, гдѣ не довлѣеть, лица налагають»⁴⁶. Поводом для этого заявления послужила регулярная замена в новоисправленных книгах аорисной формы *бысть* на *был еси* во 2-м лице ед. числа — при обращении к Богу; так, в частности, стих из псалма, читавшийся раньше «Господи, прибѣжище бысть намъ», читается теперь «Господи, прибѣжище былъ еси намъ» (Пс. LXXXIX, 2) и т. п. Действия справщиков вызваны при этом стремлением избавиться от омонимии форм 2-го и 3-го лица (ед. числа) в парадигмах прошедшего времени; тот же принцип разрешения омонимии нашел отражение и в грамматической традиции XVI–XVII вв. — в частности, в грамматике Мелетия Смотрицкого, на которую и ориентируются справщики, во 2-м лице ед. числа прошедших вре-

мен узаконивается форма перфекта, которая объединяется в одной парадигме с формами аориста и имперфекта⁴⁷.

Исходя из грамматики, т. е. из своих представлений о правильно устроенной парадигме церковнославянского глагола, справщики отвлекаются при этом от употребления (в частности, от употребления соответствующих форм в предшествующей церковнославянской традиции): проводя дифференциацию глагольных форм по лицу, они могут жертвовать дифференциацией временных значений. С точки же зрения Савватия и других противников никоновских книжных реформ, которые исходят именно из употребления, а не из грамматики, форма *был еси* неправомерно ограничивает Божественное бытие во времени: эта форма, как утверждает Савватий, относится к «имошедшему времени» и означает состояние, отмеченное в своем конце, т. е. то, что случилось, но более уже не имеет места⁴⁸.

Савватий при этой вполне отдает себе отчет в аргументации справщиков. Он понимает, что они основываются на грамматических правилах не могут, однако, с его точки зрения, прилагаться к уже существующим богодухновенным текстам: в них смысл задан, и применение подобных правил приводит к искажению этого смысла. Никоновские справщики, говорит Савватий, на Божество «гдѣ не довлѣтъ, лица налагають», т. е. к Божественной сущности прилагают человеческую грамматику, тогда как «грамматика въ сихъ не потреба»⁴⁹. «Аще бы я и слѣда не умѣлъ грамматики, да зла никакаго не сотворить, — заявляет Савватий, — а справщики будто и умѣють грамматику, да пакости ею многіе творять»⁵⁰; это заявление очень напоминает по духу цитированное высказывание Филофея. «Напрасно, Государь, насъ беспомощныхъ за грамматику ихъ разорять, — заключает Савватий, — мелка грамматику ихъ, добро грамматику кто умѣтъ ея совершенно. А съ ихъ грамматики точию книгамъ пагуба, а людемъ соблазна»⁵¹; Савватий ссылается на свои устные прения со справщиками, состоявшиеся на очной ставке после его извета: «Только, Государь, у нихъ и отвѣту было, что грамматику путали, говорили, неумѣючи въ богословіи. . . отвѣту дати»⁵². «Совершенное» умение грамматики, по Савватию, в принципе неотделимо от богословия (т. е. нашего знания о Боге), тогда как «мелкая грамматика» неизбежно вступает с ним в конфликт. Иначе говоря, истинная, совершенная грамматика, как и всякое вообще подлинное знание, представляет собой — с точки зрения Савватия — разновидность богословия, т. е. познания Божественной правды: не может существовать знания, независимого от знания о Боге, — мир познается через богослове, а не Бог через наши знания о мироустройстве (в частности — об устройстве языка).

При таком понимании отказ от «внешней мудрости» представляется логичным и естественным. Мы можем, во всяком случае, заключить, что протесты древнерусских книжников против изучения грамматики, риторики и тому подобных дисциплин никак не объясняются простым невежеством — это вполне принципиальная и в общем последовательная позиция.

Примечания

¹ Малинин, 1901, прилож., с. 37–38. Для нас сейчас неважно то обстоятельство, что выражение «еллинских борзостей не текох» представляет собой переосмысленную цитату из одного покаянного стиха (греческого по своему происхождению, но известного Филофею в церковнославянском переводе). В исходном тексте речь идет не о «еллинской», а о «еленской борзости», т. е. об оленьей скорости, — Филофей неправильно истолковал это место, отнеся его не к оленям, а к язычникам. См. об этом: Соболевский, 1901, с. 490; Лихачев, 1983, с. 193; (ср. вообще о данном стихе в его греческой версии: Штихель, 1971, с. 137; относительно его бытования в церковнославянской письменности см.: Владышевская и Сергеев, 1981, с. 111).

Что касается выражения «сельский человек» у Филофея, то оно, возможно, восходит к латинскому *homo rusticus*.

² Кушелев-Безбородко, IV, с. 119–120. В то же время Стефан Пермский характеризуется здесь как «чюдный дидаскаль, исполнь мудрости и разума, иже бѣ изъмлада научилъ всѣй виѣщнѣй философи, книжнѣй мудрости и грамотнѣй хитрости» (Кушелев-Безбородко, IV, с. 134).

³ Дмитриев, 1958, с. 144. Ср. в точности такую же формулировку в предисловии к «Книге о вере» (М., 1648): «< . . . > ниже риторики навыкъ, ни философи учився» (л. 2 об.). «Книга о вере» восходит к сочинению неизвестного киевского автора. См.: Роте, 1983, с. 421–422.

⁴ Симон Азарьин и Иван Наседка, 1855, с. 5.

⁵ Зарубин, 1932, с. 59. Ср. с. 32–33, 83, 104.

⁶ Толстой, 1864, с. 10. Ср.: Лесков, 1984, с. 44. Это поучение непосредственно восходит к тому же покаянному стиху, что и цитированная декларация Филофея (ср. выше, примеч. 1), однако осмысление этого стиха обнаруживает, по-видимому, влияние Филофея — об этом говорит как будто упоминание «философии», а также прений с «ветлими», которые отсутствуют в данном стихе.

⁷ Востоков, 1842, с. 463, № 326.

⁸ Иоанн Вишенский, 1955, с. 10.

⁹ Иоанн Вишенский, 1955, с. 23–24. Ср.: АЮЗР, II, с. 210–211. В последних словах слышится отзвук рассуждения «О писменех» черноризца Храбра, где специально обосновывается сакральность церковнославянского языка, отличающая его от греческого. См.: Успенский, 1984, с. 368.

Ср. еще у Иоанна Вишенского в «Зачапке мудраго латынника з глупым русином»: «Аще бо и в художествѣ риторскаго наказания и ремесла (еллино-или-латинумудрних) во причастии общения нѣсм был или навык что от хитродialeктических силогизм, тѣмже и ни мудрования хитрословнаго к вам (ко удивлению) начертати могу или тшуся, но от простоты и нашего языка словянскаго, еже аще глаголю, вѣщаю и мудрствую, ведый се извѣстно, яко же духа сила не в художествѣ вѣшняго наказания и философскаго постижения обрѣтается, но вѣроу смиренумудрия < . . . > даруется» (Иоанн Вишенский, 1955, с. 172). Сходное место мы находим и в сочинении Вишенского «След к постыжению и изучению художества, приводящаго к царствующей безсмертной и вечной правде»: «< . . . > нынѣ же в латинском родѣ сопротивно творят из'учивши грамматичку и празнословницу велерѣчную, еже ест рыторичку, тогда уже ся дмуть, даскалами и мудрыми ся зовуть, проповѣдають, учать а и сами в' безуміи и буйствѣ премудрости мира сегѡ сѣдять, по Павлу, премудрост бо мира сегѡ буйство ест пред Богомъ (ср.: I Кор. III, 19)» (Житецкий, 1890, прилож., с. 115–116).

¹⁰ Иоанн Вишенский, 1955, с. 123.

¹¹ Развивая ту же мысль, Иоанн Вишенский говорит в послании старце Домникии: «Не бо аз хулю грамотичное учение и ключь к познанию складов и речей, яко же нѣщы мнят < . . . > Мнѣ бо довлѣет простой и нехитрый Христос, в нем же вся сокровища премудрости и разума» (Иоанн Вишенский, 1955, с. 163). Здесь необходимо заметить, что «грамматикой» в Юго-Западной Руси может называться и букварь (Успенский, 1971, экскурс 8) — такое употребление встречается и у Иоанна Вишенского (например, в «Зачапке мудраго латынника з глупым русином», где изучение «грамматики» противопоставляется изучению риторики, философии и диалектики, — Иоанн Вишенский, 1955, с. 175–176).

¹² РИБ, IV, стлб. 1325. Ср. идентичный текст в анонимном «Списании против люторов» 1580 г.: «Можетъ бо истенное слово просветити и умудрити во благихъ правымъ сердцемъ безъ грамотикия и риторикиа» (РИБ, XIX, стлб. 174).

Противопоставление «внешних» знаний, созданных человеком, и «внутренней» премудрости, полученной от Бога, мы находим и у острожского священника Василия в его антикатолическом сочинении «О единой вере» 1588 г.: по его словам, латиняне «всего того стражутъ, за то, ижъ болшъ вѣшнему диалектику, сирѣчь спирателному вѣданію послѣдуютъ, анижли внутренней церковной богодарованой философи» (РИБ, VII, стлб. 672). Ср. сходное место в анонимных «Вопросах и ответах православному з папезником» 1603 г., где «православный» обращается к «папезнику»: «На всемъ томъ хоруете, для того, ижъ болшъ з вирхней диалектики, анижли внутрней Богомъ дарованой церковной философи наслѣдуете» (РИБ, VII, стлб. 108).

¹³ Акты Зап. России, IV, с. 33, № 24. Ср.: Архангельский, 1888, с. 41–42, примеч. 95.

¹⁴ Симон Азарын и Иван Наседка, 1855, с. 62. О Логине Корове см. вообще: Морохова, 1985, с. 125–126.

¹⁵ Бороздин, 1898, с. 108.

¹⁶ Бороздин, 1898, с. 109.

¹⁷ Субботин, VII, с. 395. Говоря о знании «малаго нарѣчія въ справѣ», Авраамий имеет в виду, можно думать, ограниченные грамматические знания, позволяющие править текст (иначе говоря, осуществлять редакторскую работу над уже имеющимся текстом), но не порождать новые тексты. См. подробнее ниже (примеч. 37).

¹⁸ Субботин, VIII, с. 397–398. В другом месте Авраамий говорит об Арсени Греке (никоновском справщике), что тот «трижды Христа отрекшася, учения ради философскаго» («Книга глаголемая челобитная», 1670 г. — Субботин, VII, с. 266).

¹⁹ Субботин, VI, с. 54.

²⁰ БАН, 16.7.21, л. 112–112об., 116–119. О времени написания данного сочинения и принадлежности его Геронтию см.: Бубнов, 1984, с. 18–21, 52.

²¹ Пуст. сб., л. 116.

²² Пуст. сб., л. 162–163. Говоря о «русском природном языке», — Аввакум, безусловно, не противопоставляет его книжному церковнославянскому, т. е. он отнюдь не имеет в виду живой русский язык; равным образом «просторечие» оказывается противопоставленным у него «красноречию», а не церковнославянской языковой стихии (см.: Виноградов, 1938, с. 35).

Эти слова Аввакума появляются в позднейших списках в качестве вступления к так называемой третьей редакции его «Жития» (см.: РИБ, XXXIX, стлб. 151).

²³ РИБ, XXXIX, стлб. 67, 132–133, 214.

²⁴ РИБ, XXXIX, стлб. 547–548.

²⁵ Демкова, 1974, с. 388–389. Подготовительные материалы к посланию Ф. М. Ртищеву содержатся в выписках Аввакума, опубликованных Кудрявцевым (Кудрявцев, 1972, с. 196–197) и Субботиным (Субботин, I, с. 486–488). Ср. здесь первоначальный вариант заключительной части послания: «И мы Михайлович станемъ поучатися какъ намъ умерети и умъ вперимъ къ Богу вѣгда да полезнѣе намъ будетъ тамо егда обрящемся со Христомъ нежели съ риторикою славы ища, быти кромѣ Христа, молю Бога ввечерь и утро и полудни еже бы тебѣ не желати риторики кичения ради, не искати распятаго Христа» (Субботин, I, с. 486–487).

Говоря о «философском кичении», Аввакум обыгрывает, видимо, созвучие слов *кичение* и *учение*. Ср. тот же прием и у Иоанна Вишенского в «Зачапке мудраго латынника < . . . >» «< . . . > философское учение (паче же свойственнѣе рещи — кичение) < . . . >» (Иоанн Вишенский, 1955, с. 172).

²⁶ Аввакум, 1979, с. 227–228.

²⁷ Сменцовский, 1899, прилож., с. VI. О принадлежности этого сочинения Евфимию см.: Чистович, 1858, стлб. 245; Миркович, 1878, с. 31 (примеч. 2); Браиловский, 1889, с. 290–291 (примеч. 1); Сменцовский, 1899, с. 398 (примеч. 1) и прилож., с. VI (примеч. 2); Флоровский, 1949, с. 123–124. Относительно его датировки см.: Сменцовский, 1899, с. 265, 271 и прилож., с. VI (примеч. 2). Каптерев (Каптерев, 1889, с. 45) относил его к концу 1670-х годов.

²⁸ См., например, относительно Спиридона Потемкина: Бубнов, 1985, с. 344, 352.

²⁹ О распространении на Руси учения о семи свободных науках см.: Соболевский, 1903, с. 166; Шляпкин, 1891, с. 84 (примеч. 2); Смирнов, 1898а, с. 12–13; Белоброва, 1976, с. 310–311; Иванов, 1969, с. 94–97 (№ 118–119); Бабкин, 1951, с. 328, 336 и сл.; Спафарий, 1978, с. 25 и сл., 141 и сл.; ДРВ, XVI, с. 295; Ранняя рус. драматургия, III, с. 127 и сл., 483–491.

³⁰ См.: Арсений и др., 1591, л. 3; Спафарий, 1978, с. 26.

³¹ См.: Ранняя рус. драматургия, III, с. 137. Ср. также упоминание философии среди «свободных наук» в «Привилегии на Академию», учреждаемую при московском Заиконоспасском монастыре (впоследствии известную под именем Славяно-греко-латинской академии), 1682–1685 гг. (ДРВ, VI, с. 401–402; количество «свободных наук» в данном перечне превышает число семь). Считается, что «Привилегия <... >» сочинена была Симеоном Полоцким и затем в 1682 г. отредактирована Сильвестром Медведевым (Панченко, 1973, с. 132).

³² Свидетельство об этом можно найти, например, у князя Курбского, который писал в предисловии к «Новому Маргариту»: «<... > приѣхавъ мнѣ уже ту, ото отечества моего, съ сожалѣніемъ потщахся латинску языку приучатися того ради, и жъ бы мogle преложити на свой языкъ, что еще не преложено <... > И того ради немало лѣтъ инурихъ въ грамотическиххъ, и въ діалектическиххъ, и въ прочихъ наукахъ приучаяся» (Архангельский, 1888, прилож., с. 12). Итак, занятия грамматикой и диалектикой выступают как необходимое условие при изучении латыни.

³³ Так, Мартин Чехович, полемизируя с иезуитом Якубом Вуйком, обвинял иезуитов в том, что те основывают свою веру «na szkolnych pogańskich filozofów naukach, na grammatyce, <... > na dyalektyce a podobno więcej na zofistyce <... >» (Marcin Czechowic. Wujek, to jest krótka odpis na pisanie ks. Jakóba Wujka z Wagrowa, teologa S. J. o bóstwie Suna Bożego i Ducha św. Б. м., Б. г., л. Е: цит. по: Перетц, 1926, с. 44). Это очень близко к тому, что говорят о католиках юго-западнорусские книжники (такие, например, как Иоанн Вишенский или острожский священник Василий — см. выше, примеч. 9, 12).

³⁴ См.: Успенский, 1987, § 1.

³⁵ См. там же, § 10.5.

³⁶ См.: Жуковская, 1982.

³⁷ Необходимо к тому же иметь в виду, что первые грамматические трактаты могут вообще преследовать особые цели и, соответственно, быть ограничены в своих задачах. Нередко они предназначены для справки (т. е. для редакторской работы над текстом) и представляют собой не столько описание языка, сколько перечни трудных случаев: вместо систематически организованных ПРАВИЛ здесь фиксируются отдельные МОМЕНТЫ, актуальные для справщика (на которые надлежит обращать специальное внимание при редактировании текста). В других случаях, напротив, в грамматических трактатах могут сообщаться очень общие сведения, которые относятся не столько к описанию конкретного языка, сколько к теории грамматики. В любом случае соответствующие сочинения недостаточны для кодификации языковой нормы.

³⁸ Иоанн Вишенский, 1955, с. 23.

³⁹ Более того: создатели новых текстов могут даже специально подчеркивать, что они не создают ничего нового (ср. заявление Ивана Федорова в послесловии к букварю 1574 г. «Писахъ вамъ, не ѡт себе, но ѡт божественныхъ апостолъ и богоносныхъ святыхъ отецъ ученія, и преподобного отца нашего Іѡанъна Дамаскина, ѡт грамматикии»). Авторитетность создаваемых текстов обеспечивается в этих условиях их несоотнесенностью с уже имеющимися образцами (см. подробнее: Успенский, 1987, § 5.1).

⁴⁰ Можно сказать вообще, что язык предназначен не только для отображения действительности, но и для ее моделирования. Отношение к языковому знаку определяется при этом тем, какая из этих двух функций признается основной: если язык отражает действительность, языковой знак неконвенционален, если язык моделирует действительность, языковой знак конвенционален.

При этом язык как отражение естественно ассоциируется с результатом речевой деятельности, т. е. с некоторым (потенциально открытым) ТЕКСТОМ, тогда как язык как модель ассоциируется с глубинными механизмами, обеспечивающими речевую деятельность, т. е. с языковой СИСТЕМОЙ. Соответственно, обучение языку, ориентированное на текст, в принципе способствует ощущению неконвенциональности языкового знака, тогда как обучение языку, ориентированное на грамматику, способствует, напротив, ощущению его конвенциональности.

⁴¹ Так, Петр Дамиан (1007–1072), комментируя библейский рассказ о грехопадении Адама и Евы в своем сочинении «De sancta simplicitate scientiae infantis anteponenda», обращает внимание на то, что в первой же фразе дьявола, обращенной к человеку, слово *Бог* склоняется по числу (Змей говорит Еве: «<... > знает БОГ, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как БОГИ, знающие добро и зло» — Быт. III, 5), и делает отсюда вывод о вреде изучения грамматики. Ср.: «Haec enim prima serpentis verba sunt ad mulierem, his sibilis draco terribilissimus in cor ejus venena stillavit: “scit Deus, inquit, quod in quocunq; die comederis ex eo”, haud dubium quin pomo, “aperientur oculi

vestri» et, «eritis sicut dii, scientes bonum et malum» (*Gen. III*). Ecce, frater, vis grammaticam discere? disce Deum pluraliter declinare. Artifex enim doctor, dum artem obedientiae noviter condit, ad colendos etiam plurimos deos inauditam mundo declinationis regulam introducit» (Минь, PL, CXLV, col. 695).

Ср. в этой связи заявление папы Григория Великого в послании к епископу Леандру о том, что недостойно «слова небесного откровения подчинять правилам Доната» («< ... > indignum vehementer existimo, ut verba coelestis oraculi restringam sub regulis Donati» (Минь, PL, LXXV, col. 516)). Близкие высказывания можно найти у Кассиодора (там же, LXX, col. 1128), а также у средневековых комментаторов к грамматике Доната (см., в частности: Гансинец, 1960, с. 13–14).

⁴² Иоанн Вишенский, 1955, с. 194. Ср. с. 192, 195. Исключительно любопытна в этом смысле книга Рафли, представляющая собой руководство по гаданию и астрологии, составленная в 1579 г. Иваном Рыковым (см.: Турилов и Чернецов, 1985). Составитель этой книги вполне отдает себе отчет в языческом происхождении излагаемого в ней учения, однако полагает, что это учение освящается «словенским языком», на котором оно изложено. Сама книга называется «Учение рафлем, сиричь святцам языческим разным странным преведено по словенскому языку» (там же, с. 297, ср. еще с. 205, 302). Описывая процедуру гадания древних языческих мудрецов, составитель книги переводит «языческие именованья» на «словенский язык» и рекомендует своему собеседнику: «Ты же брате кир Иоанне отложи от себе всякое сие языческое мудрование и живи в премудрости слова слога словенска, ищи помощи от создателя своего бога» (там же, с. 299); ср. здесь типичные заголовки: «Имена и указ < ... > с языческаго именованья на словенский язык», «святцы арапския < ... > переведены по словенски» и т. п. (там же, с. 303, 308, 309) и т. п. Итак, предполагается, что языческое учение как бы воцерковляется, будучи переведено на церковнославянский язык, — самый способ выражения обеспечивает правильность содержания. Вполне закономерно поэтому, что мы находим здесь цитаты из Священного писания и молитвословия (см. там же, с. 279).

В этом же ключе следует понимать утверждение Федора Поликарпова о том, что знание церковнославянского языка позволяет иноземцам приходить в благочестие (см.: Поликарпов, 1704, предисл., л. 6). См. еще в этой связи: Успенский, 1983, с. 51–52; Успенский, 1984, с. 367–369; Успенский, 1987, § 13.3.

⁴³ См.: Кожанчиков, 1862, с. 11–51.

⁴⁴ См.: Веселовский, 1975, с. 86–87.

⁴⁵ Кожанчиков, 1862, с. 13.

⁴⁶ Кожанчиков, 1862, с. 22–23.

⁴⁷ Смотрицкий, 1619, л. 0/2–3; Смотрицкий, 1648, л. 190об.–191об. См. подробнее: Успенский, 1987, § 8.7.3.

⁴⁸ См. подробнее: Живов и Успенский, 1986, с. 267–269; Успенский, 1987, § 8.7.5.

⁴⁹ Кожанчиков, 1862, с. 23, 27.

⁵⁰ Там же, с. 35.

⁵¹ Там же, с. 29.

⁵² Там же, с. 34.

Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси: восприятие церковнославянского и русского языка

§1. Языковая ситуация Московской Руси в специальных лингвистических терминах должна быть определена не как ситуация церковнославянского-русского двуязычия в строгом терминологическом смысле этого слова, а как ситуация церковнославянского-русской диглоссии. Диглоссия представляет собой такой способ сосуществования двух языковых систем в рамках одного языкового коллектива, когда функции этих двух систем находятся в дополнительном распределении, соответствуя функциям одного языка в обычной (недиглоссионной) ситуации. При этом речь идет о сосуществовании «книжной» языковой системы, связанной с письменной традицией (и вообще непосредственно ассоциирующейся с областью специальной книжной культуры), и «некнижной» системы, связанной с обыденной жизнью; по определению, ни один социум внутри данного языкового коллектива не пользуется книжной языковой системой как средством разговорного общения. В наиболее явном случае книжный язык выступает не только как литературный (письменный) язык, но и как язык сакральный (культовый), что обуславливает как специфический престиж этого языка, так и особенно тщательно соблюдаемую дистанцию между книжной и разговорной речью; именно так и обстоит дело в России (см. подробнее: Успенский, 1983а; Успенский, 1987).

Зиновий Отенский видел основную ошибку Максима Грека именно в том, что тот, будучи иностранцем, не проводил различия между книжным и простым языком: «Мняше бо Максимъ по книжнѣй рѣчи у насъ и обща рѣчь»; в этой связи он протестует против тех, кто уподобляет и низводит «книжныя рѣчи отъ общихъ народныхъ рѣчей» (Зиновий Отенский, 1863, с. 967, ср. еще с. 964–965). В другом своем сочинении Зиновий писал о современных ему еретиках, что те «безсловеснейши свиней суть», поскольку не могут прочесть не только книжный текст, но и народную грамоту: «Сии же еретицы, о них же ныне слышах, их же и жабы нарекох по сему, понеже безсловеснейши свиней суть, токмо змиино шептание имуть, не токмо грамотических не ведяху словес, неже и поборни-

ков мужей философов, но ниже народных грамот ведут или умеют прочитати» (Корецкий, 1965, с. 175–176); итак, церковнославянские тексты четко противопоставляются народным грамотам, подобно тому как «книжные речи» противопоставляются «народным речам»¹. По свидетельству Лудольфа (1696, предисловие, л. 2), церковнославянским языком на Руси не пользовались в обиходных ситуациях, т. е. этот язык не являлся средством разговорного общения: «< . . . > Sicuti nemo erudite scribere vel disserere potest inter Russos sine ope Slavonicae linguae, ita è contrario nemo domestica & familiaria negotia sola linguâ Slavonicâ expediet < . . . > Adeoque apud illos dicitur, loquendum est Russice & scribendum Slavonice < . . . >»². Лудольф специально отмечает при этом, что злоупотребление церковнославянским языком в обычной речи может вызвать отрицательную реакцию в языковом коллективе³. Весьма показательны в этом же плане нападки на церковнославянский язык Петра Скарги, который ставит под сомнение, так сказать, сам лингвистический статус этого языка, ввиду того, что на церковнославянском — в отличие от латыни или греческого — никто не говорит: «< . . . > никто не может его понимать в совершенстве: потому что нет на свете такого народа, который им говорил бы так, как пишут в книгах < . . . >» (РИБ, VII, стлб. 485–486).

Если вне диглоссии одна языковая система нормально выступает в разных контекстах, то в ситуации диглоссии разные контексты соотнесены с разными языковыми системами. Отсюда, между прочим, члену языкового коллектива свойственно воспринимать существующие языковые системы как один язык, тогда как для внешнего наблюдателя (включая сюда и исследователя-лингвиста) естественно в этой ситуации видеть два языка. Таким образом, если считать вообще известным, что такое разные языки, диглоссию можно определить как такую языковую ситуацию, когда два разных языка воспринимаются (в языковом коллективе) и функционируют как один язык. Знаменательно, что в условиях церковнославянского-русской диглоссии вообще не существовало какого-либо особого наименования для обозначения разговорного (русского) языка. Название «русский» специально не обозначало именно разговорный язык, но могло относиться и к книжному (церковнославянскому) языку, выступая при этом как синоним слова «словенский»; равным образом и термин «простой» мог употребляться в отношении книжного языка. Разговорный и книжный языки объединяются в языковом сознании как две разновидности одного и того же языка (правильная и неправильная, испорченная), а отсюда и именуются одинаковым образом.

Соответственно в отличие от двуязычия, т. е. сосуществования двух равноправных и эквивалентных по своей функции языков, ко-

торое представляет собой явление избыточное (поскольку функции одного языка дублируются функциями другого) и по существу своему переходное (поскольку в нормальном случае следует ожидать вытеснения одного языка другим или слияния их в тех или иных формах), диглоссия представляет собой очень стабильную языковую ситуацию, характеризующуюся устойчивым функциональным балансом (взаимной дополняемостью функций).

§2. Понятие языковой нормы — и соответственно языковой правильности — связывается в условиях диглоссии исключительно с книжным языком, что выражается прежде всего в его кодифицированности (некнижный язык в этих условиях в принципе не может быть кодифицирован). Таким образом, книжный язык фигурирует в языковом сознании как кодифицированная и нормированная разновидность языка. Книжный язык в отличие от некнижного эксплицитно усваивается в процессе формального обучения, и поэтому только этот язык воспринимается в языковом коллективе как правильный, тогда как некнижный язык понимается как отклонение от нормы, т. е. нарушение правильного речевого поведения.

Вместе с тем именно в силу престижа книжного языка такое отклонение от нормы фактически признается не только допустимым, но даже и необходимым в определенных ситуациях.

В России церковнославянский язык воспринимался как благодатный и спасительный. Подобно тому как спасительно в православном сознании имя Бога⁴, так и сам язык общения с Богом может признаваться спасительным по своей природе; ср. специальные рассуждения на этот счет Иоанна Вишенского (1955, с. 191–194, 197): церковнославянский язык объявляется здесь «святым» и «спасительным», поскольку он «истинною, правдою Божиею основан, збудован и огорожен есть», причем утверждается, что «хто спастися хочет и освятитися прагнет, если до простоты и правды покорнаго языка словенскаго не достигнет, ани спасения, ани освящения не получит»⁵. Страстная полемика вокруг церковнославянского языка как в Юго-Западной Руси (полемика Иоанна Вишенского и Петра Скарги), так и в Руси Московской (дело Максима Грека) в известной мере объясняется верой в его чудодейственную силу (ср. Житецкий, 1905, с. 14–15; Грушевский, 1917, с. 299–304). В оригинальной статье о сотворении русской (т. е. церковнославянской) грамоты, внесенной в состав Толковой Паледи, но дошедшей также и в других списках XV–XVII вв., русская грамота наряду с русской верой признается богооткровенной: «Еже вѣдомо всѣмъ людемъ буди, яко рускій языкъ ни откуда прия вѣры святыя сея, и грамота руская никимъ же явълена, но токмо самим Богомъ вседержителемъ, Отцемъ и Сыномъ и Святымъ Духомъ» (Мареш,

1963, с. 174); точно так же и в былинах церковнославянская грамота именуется «святой», «Господней», «Божьей» (Марков, 1901, с. 256, 269, 297). Церковнославянский язык может считаться на Руси даже святее греческого, поскольку греческий язык создан язычниками, а церковнославянский — святыми апостолами⁶.

По утверждению русских книжников, церковнославянский язык приводит к Богу уже самим фактом своего употребления в подобающих ситуациях. «Аще человекъ чтеть книги пріятно (т. е. с соблюдением церковнославянской произносительной нормы), а други прилѣжно слушаетъ, то оба с Богомъ бесѣдуютъ», — читаем мы, например, в предисловии к служебнику и требнику троицкого архимандрита Дионисия 1630-х годов (РГБ, ф. 163, № 182, л. 2 об.); ср. утверждение Иоанна Вишенского (1955, с. 23), что «словенский язык <...> простым прилежным чтением <...> к Богу приводит»⁷. Поэтому применение этого языка в неподобающей ситуации может рассматриваться как прямое кощунство⁸ — точно так же, как недопустимо и кощунственно и обратное явление, т. е. употребление русского (разговорного) языка в ситуации, предписывающей использование языка церковнославянского. Итак, в силу специального престижа церковнославянского языка употребление как книжного, так и некнижного языка в несоответствующей ситуации в принципе оказывается — в той или иной степени — кощунством; при этом книжный язык, естественно, весьма ограничен в своем употреблении. Практическая неизбежность употребления некнижного (русского) языка, который осмысливается при этом как испорченный в процессе повседневного употребления церковнославянский, может, по-видимому, восприниматься в связи с первородным грехом: отказ от некнижных средств выражения и переход на тот язык, который считается правильным, церковнославянский, предполагал бы абсолютный — в принципе недостижимый — отказ от земной жизни, полное устранение тех ситуаций, которые не связаны непосредственно со сферой сакрального.

Можно сказать, что в условиях диглоссии только книжный язык является НОРМАТИВНЫМ, однако употребление некнижного языка предстает как НОРМАЛЬНОЕ, практически обычное и неизбежное явление.

§3. Мы видим, что отклонение от нормы правильного поведения в условиях церковнославянского-русской диглоссии не является кощунством: вместе с тем недопустимо и кощунственно смешение разных планов поведения, т. е. нарушение соответствия между речевым поведением и ситуацией. Недопустимость несоответствия такого рода может быть проиллюстрирована как невозможностью перевода сакрального текста на разговорный язык, так и невоз-

можностью обратного перевода, т. е. перевода на книжный язык текста, предполагающего не книжные средства выражения.

Отсюда следует, в свою очередь, принципиальная невозможность в этих условиях шуточного, пародийного использования церковнославянского языка, т. е. применения книжного языка в заведомо несерьезных, игровых целях. В самом деле, пародия на книжном языке представляет собой именно недопустимый при диглоссии случай употребления книжного языка в неподобающей ситуации. Вполне закономерно поэтому, что древнерусская литература — понимаемая именно как совокупность текстов на книжном языке — вообще не знает пародию как литературный жанр, так же как не знает в общем и другие несерьезные литературные жанры: несерьезное, шуточное содержание, как правило, не выражается средствами книжного (литературного) языка.

Не случайно в древнерусских епитимейниках мы встречаем предписания, запрещающие подобное употребление и полагающие за него очень строгое наказание: «Ли преложилъ еси книжная словеса на хулное слово, или на кощунно. опитем[ьи]. 2. лѣтъ», «Рекше слово хулно. или смѣшно. на святыя книги < . . . > і оборотивъши слово святыхъ книгъ на ігры. 2. лѣтъ», «Писанія св. на кошуны не примаешъ ли» и т. д. (Смирнов, 1913, прилож., с. 142; Алмазов, III, с. 150, 158, 276, 282).

Это разительно отличается от западной языковой ситуации, и прежде всего от функционирования латыни на Западе. Действительно, латынь в отличие от церковнославянского вполне может выражать несерьезное содержание, что, естественно, отражается на жанровом диапазоне западной литературы. Здесь возможно даже пародирование церковного культа («*ragodia sacra*»), которое в России между тем может иметь только кощунственный смысл. Это различие между отношением к латыни на Западе и отношением к церковнославянскому языку в России в большой степени объясняется тем, что латынь стала языком церкви, уже задолго до этого быв языком цивилизации; напротив, церковнославянский становится языком культуры именно потому, что он является языком церкви. Соответственно, если в первом случае книжный (литературный) язык усваивается во всех своих функциях, то во втором возникает специальный престижный момент использования книжного языка (ср. Унбегаун, 1973).

Пародийные тексты на церковнославянском языке становятся возможными в Московской Руси как более или менее нейтральные, а не заведомо кощунственные произведения только в условиях разрушения диглоссии и перехода церковнославянско-русской диглоссии в церковнославянско-русское двуязычие, когда церковнославянский язык — в конечном счете под влиянием западноевро-

пейской языковой ситуации, которое на великорусской территории первоначально осуществляется через посредство Юго-Западной Руси, — начинает играть приблизительно ту же роль, что латынь на Западе. Соответствующие тексты появляются на территории Московской Руси только в XVII в., преимущественно после раскола (ср. прежде всего «Службу кабаку», которая, несомненно, восходит к латинским службам пьяницам, известным на Западе уже с XIII в.) — в результате так называемого «третьего южнославянского влияния», т. е. влияния Юго-Западной Руси на великорусскую книжную культуру, которое обуславливает пересмотр отношений между церковнославянским и русским языками и в конечном итоге ликвидацию церковнославянско-русской диглоссии. Имеются прямые свидетельства о том, что первоначально подобные тексты могли расцениваться здесь как кощунство (ср. упоминание об этом в предисловии к одному из списков «Службы кабаку» — Адрианова-Перетц, 1936, с. 44–45, 82).

Следует иметь в виду, что, в отличие от Руси Московской, в Юго-Западной Руси к этому времени функционирует не один, а два полноправных литературных языка, т. е. имеет место не ситуация диглоссии, а ситуация двуязычия. Наряду со «словенским» («славенским»), т. е. церковнославянским языком, в функции литературного языка здесь выступает так называемая «проста (руска) мова»⁹, причем отношение между этими языками в Юго-Западной Руси калькирует латинско-польское двуязычие в Польше: функциональным эквивалентом латыни выступает церковнославянский, а функциональным эквивалентом польского литературного языка — «проста мова». Соответственно сфера употребления церковнославянского языка в Юго-Западной Руси оказывается в прямой зависимости от сферы употребления латыни: в частности, возможность — и распространенность — пародийной литературы на латинском языке обуславливает здесь появление соответствующей литературы на церковнославянском языке. В свою очередь, в результате культурной экспансии Юго-Западной Руси во второй половине XVII — первой половине XVIII в. церковнославянско-русская диглоссия на великорусской территории претворяется в церковнославянско-русское двуязычие, причем церковнославянский язык великорусского изда расширяет сферу своего употребления в соответствии с функционированием церковнославянского языка Юго-Западной Руси. Таким образом, под влиянием литературно-языковой ситуации Юго-Западной Руси — отражающей, в свою очередь, западноевропейскую литературно-языковую ситуацию — в Великой России становится возможным пародийное обыгрывание церковнославянского языка, т. е. использование его в пародийной литературе¹⁰.

§4. Отношения сосуществующих при диглоссии языков строятся существенно различным образом в чисто формальном и в содержательном плане — иначе говоря, в плане выражения (формы) и в плане содержания (употребления, функционирования), — обнаруживая здесь принципиальное отсутствие изоморфизма (несимметричность).

В плане выражения книжный язык **МАРКИРОВАН** в языковом сознании, определяя единственно возможные для данного языкового коллектива критерии языковой правильности и соответственно ту норму, через призму которой воспринимается не книжный язык. Тем самым не книжный язык закономерно предстает в языковом сознании как отклонение от нормы, а не как самостоятельная норма (ср. §2). Отношение сосуществующих языков можно охарактеризовать, следовательно, как **ПРИВАТИВНУЮ** оппозицию. Книжный язык четко очерчен в своих границах (кодифицирован) и противопоставлен не книжному как организованное целое — неорганизованной стихии, т. е. как информация — энтропии, культура — природе, цивилизация — хаосу. В этих условиях любое значимое (неслучайное) отступление от языковой нормы автоматически превращает текст из книжного в не книжный. Это, естественно, способствует гетерогенности не книжного языка, органической консолидации в рамках не книжной речи самых разнообразных по своему происхождению языковых элементов. Так, например, в условиях церковнославяно-русской диглоссии отвергнутые в процессе книжной sprawy церковнославянизмы — соответствующие *прошлой* языковой норме — естественно объединяются в языковом сознании с исконными русизмами и в общем воспринимаются именно как русизмы¹¹. Равным образом именно к «русскому» языковому полюсу могут относиться в этих условиях и разнообразные заимствования их чужих языков (европеизмы, тюркизмы и т. п.), свободное усвоение которых прямо связано с ненормированностью (некодифицированностью) живого, не книжного языка; между тем церковнославянский язык был изолирован от заимствований, если не считать грецизмов¹².

Итак, в плане выражения соотношение сосуществующих при диглоссии языков (книжного и не книжного) представляет собой **ПРИВАТИВНУЮ** оппозицию. Между тем контексты употребления этих языков характеризуются дополнительным распределением (практически не пересекаются), и, следовательно, в плане содержания (функционирования) отношение данных языков предстает как **ВЗАИМОИСКЛЮЧАЮЩАЯ**, **ЭКВИПОЛЕНТНАЯ** оппозиция. Как книжный, так и не книжный язык оказывается, таким образом, прямо связанным с семиотическим ключом, обуславливающим его употре-

бление, т. е. с определенными семантическими характеристиками, присущими тому или иному контексту.

Иначе говоря, если сами по себе, будучи рассматриваемы в отвлечении от своего функционирования, книжный и не книжный языки противопоставляются по признаку соответствия языковой норме (причем соответствие норме маркировано), то контексты, связанные с их употреблением, оказываются *взаимно* противопоставленными, образуя две самостоятельных и относительно независимых семантических сферы: каждый язык оказывается соотношенным с самостоятельным миром ситуаций, который организуется как семантическое целое. Это означает, что отступление от языковой нормы переводит речь в иной семиотический ключ, в иную семантическую сферу.

Различие между данными семантическими сферами определяется в конечном счете характером соотношения выражаемого содержания с высшей реальностью, т. е. с сакральным началом, что проявляется прежде всего в соотношении этого содержания со сферой сакрального или со сферой мирского. Тем самым, дело идет о семантическом различии не на уровне денотатов, а на уровне смысла — при этом смысловых характеристик текста в целом, а не отдельных составляющих его компонентов. Примение книжного или не книжного языка определяется, таким образом, не непосредственно самим выражаемым содержанием, а отношением к этому содержанию со стороны говорящего как представителя языкового коллектива. Иными словами, различие между двумя языками предстает — в функциональном плане — как модельное различие. Неточно было бы считать, например, что, когда речь идет об ангелах, употребляется церковнославянский язык, а когда о людях — русский. Один и тот же мир объектов в принципе может быть описан как тем, так и другим способом — в зависимости от отношения говорящего к предмету речи. Так, если в людях видят проявление сакрального начала или вообще если в тексте предполагается — эксплицитно или имплицитно — соотношение со сферой сакрального, уместно использование церковнославянского языка; в противном случае уместно использование русского языка¹³. Соответственно мы можем встретить в церковнославянском тексте, например, достаточно детальное описание работы пищеварительного тракта, как это имеет место в Похвальном слове св. Константину Муромскому — гомилетическом памятнике XVI в., явно предназначенном для произнесения с амвона: «И аще ли вопрошаеши моя худости: повѣждь намъ, любимче, почто ны созываеши во обитель пресвятая Богородица честнаго Ея Благовѣщенія < . . . > и что-ли мзда будетъ срестанія нашего во святую обитель сію? — Не на плотное [т. е. плотское] веселіе созываю вы, но на духов-

ное, не на земное пиршество, идѣже мяса и многоразличныя яди предлагаются, яже входить во уста, а въ сердце не вмѣщается и абедромѣ исходитъ и мотыло [кал] именуется, ни вино, ни медь гортань веселящее, а умъ омрачающее и въ дѣтородный удѣ изливающееся и потомъ смрадомъ воняюще, но созываю вы на трапезу духовную» (Серебрянский, 1915, с. 244, примеч. 1; цитируется список XVII в.). Соотнесение со сферой сакрального в данном случае совершенно очевидно: плотская трапеза, предполагающая устремление мирской пищи вниз, противопоставляется здесь трапезе духовной, предполагающей устремление духовной пищи ВВЕРХ: соответственно, в этом контексте вполне оправдано применение церковнославянского языка.

В предисловии к сборнику пословиц, составленному во второй половине XVII в. («Повѣсти или пословицы всенароднѣйшыя по алфавиту»), — первому из известных сборников такого рода — говорится: «Аще ли речетъ нѣкто о писанныхъ здѣ, яко не суть писана здѣ отъ Божественныхъ писаній, таковыи да вѣсть яко писана многая согласна Святому писанію. точію безъ украшенія, какъ мирскіи жители простою рѣчію говорятъ. И влѣпоту отъ древнихъ сіе умыслися еже в Божественная писанія отъ мірскихъ притчей не вноситъ. также и в мірскія притчи. которое будетъ сличнѣ еже вносити отъ книгъ избранныхъ, и приточныя строки. или мірскія сія притчи Божественнаго писанія реченіемъ приподобляти. обоа бо. аще и един имутъ разум. но иже своя мѣста держатъ» (Симони, 1899, с. 70–71). Итак, одно и то же содержание («един разум») может быть выражено как на церковнославянском языке, так и «простою речію»: применение того или другого языка определяется не содержанием, а общими смысловыми параметрами текста; в этих условиях книжный и некнижный язык «своя мѣста держатъ»¹⁴.

Возможность выражения одного и того же содержания на том и на другом языке никак не оправдывает в этих условиях перевод с одного языка на другой (ср. §3): коль скоро содержание получило то или иное выражение в тексте, перевод с церковнославянского на русский или с русского на церковнославянский не допускается — это нарушало бы языковую установку, т. е. функциональную противопоставленность этих языков.

Поскольку применение книжного языка обусловлено связью (непосредственной или опосредствованной) с сакральным началом, постольку противопоставление книжного и некнижного языка в плане содержания может в принципе приближаться к противопоставлению «истинного — ложного», т. е. неправильное (некнижное) речевое поведение может пониматься как анти-поведение. При этом греховность употребления некнижного языка естественно свя-

зывается вообще с греховностью повседневной, мирской жизни: и то и другое определяется первородным грехом (ср. §2).

§5. Специфика русского языкового и, шире, культурного сознания как раз и состоит в большой степени в том, что здесь — в условиях диглоссии как языкового и культурного механизма — принципиально отсутствует нейтральная семантическая зона, которая бы **ВО ВСЕ** не имела отношения к сакральной сфере. Соответственно отсутствие связи с сакральным, Божеским в принципе означает связь с противоположным, дьявольским началом.

В этих условиях неправильное с точки зрения принимаемой языковой нормы выражение может связываться с **ИНЫМ** содержанием, т. е. с **ИНОЙ** информацией, а не с отсутствием информации или простыми помехами при ее передаче. В специальных терминах можно сказать, что изменения в плане выражения могут связываться с **иным языком**, а не с **иным кодом**, предполагающим перекодирование одного и того же текста. В том случае, когда то или иное слово имеет непосредственный сакральный смысл, неправильному обозначению может даже приписываться прямо **ПРОТИВОПОЛОЖНОЕ** (антонимическое) содержание. Так, например, неправильно произнесенное слово «ангел» — прочтенное в соответствии с написанием (которое отражает греческие орфографические нормы, но предполагает при этом и греческие правила прочтения соответствующих орфограмм) как *аггел* — приобретает противоположный смысл, обозначая дьявола (беса), т. е. **ПАДШЕГО** ангела; это значение, в свою очередь, было закреплено в языковой норме, т. е. вошло в книжный церковнославянский язык (Успенский, 1968, с. 51–63, 78–82; 1971, с. 330–339, ХХІХ–ХХХІV)¹⁵. Совершенно аналогично, когда в результате никоновских книжных реформ имя Иисус стало писаться как Иисус, новая форма стала восприниматься старообрядцами как имя другого существа — не Христа, а антихриста (Смирнов, 1898, с. 041; Успенский, 1969, с. 216) — между тем как оппоненты старообрядцев могут считать, напротив, что старая форма Иисус относится не к Христу, а к какому-то другому лицу (Димитрий Ростовский, 1755, л. 18 об.; ср. Пращица, 1726, ответ 146); обе полемизирующие стороны занимают при этом, по существу, одинаковую позицию в своей трактовке отклонений от правильного написания, расходясь лишь в вопросе о том, какое написание является правильным: искажению формы в обоих случаях приписывается иное значение. Весьма примечательно в этом отношении обличение на петровский Всешутейший собор (1705 г.), где поставление в шутовские митрополиты и патриархи описывается как бесовское действие: здесь говорится, что поставление совершается по образцу церковного чина, однако в отрицание и поругание Божие, и при этом поставля-

емые приносят обеты не Богу, но некоему Багу (Белокуров, 1888, с. 539). Слово *Баг* (предполагающее, надо думать, произношение с задненебным фрикативным согласным, подобно тому как произносится слово *Бог*), восходит, несомненно, к имени *Батус*, призывавшемуся в петровских шутовских церемониях, однако это имя явно сближается со словом *Бог* и трактуется именно как искаженное наименование Бога — и, следовательно, как имя черта¹⁶.

Равным образом то или иное отклонение от нормативного сакрального текста, воспринимаемого как целое, — например, искажение молитвы — может соотноситься ВЕСЬ ЭТОТ ТЕКСТ с прямо противоположным содержанием, т. е. превращает его в свою противоположность. Так, исключение при патриархе Никоне слова истинный из текста «Символа веры» (во фразе: «И въ Духа Святаго, Господа истиннаго и животворящаго < . . . >») было воспринято консервативной старообрядческой партией как очевидное свидетельство того, что никониане исповедуют духа НЕИСТИННОГО, т. е. лукавого: по словам протопопа Аввакума, Никон «глаголеть неистинна Духа Святаго» и в никонианских книгах «напечатано: “духу лукавому молимся”»; и в другом месте Аввакум пишет: «Всѣхъ еретиковъ отъ вѣка ереси собраны в новыя книги: духу лукавому напечатали молитца» (РИБ, XXXIX, стлб. 413, 729, ср. стлб. 739, 749); то же утверждение находим и в других старообрядческих сочинениях; ср., например: «въ крещеніи новыхъ книгъ въ молитвѣ напечатали: молимся тебѣ духъ лукавый, — истиннаго изгнавшѣ, лукаваго призывають и молятся» (Смирнов, 1898, с. 5). И соответственно, уже минимальные отклонения от канонической формы могут восприниматься как свидетельство о еретическом содержании или соответствующей направленности всего текста в целом. Характерна в этом смысле реакция московских книжников игумена Ильи и Ивана Наседки в 1627 г. на форму *Христови* в «Учительном Евангелии» Кирилла Транквиллиона Ставровецкого (книге, опубликованной в Юго-Западной Руси с соблюдением совершенно иных норм правописания, нежели те, к которым привыкли москвичи). «Скажи, противниче, — обращаются к Кириллу Транквиллиону московские книжники, — от какого та рѣчь: “суть словеса *Христови*”? Если *Христова*, для чего литеру перемѣнилъ и вмѣсто аза иже напечаталъ?» Московские книжники воспринимают неправильную форму как достоверное свидетельство неправославия Кирилла Транквиллиона, т. е. свидетельство того, что данный текст исходит не от Бога; слог этой книги был признан в Москве «еретическим» (Голубцов, 1890, с. 552, 565). В точности так же воспринимались и новые грамматические формы, появившиеся в богослужебных текстах в результате книжных реформ патриарха Никона и его преемников. Обсуждая исправления такого рода в «Символе веры» — например, такие, как исправление «на-

съ ради *человѣкъъ*» на «насъ ради *человѣковъъ*», «судити *живымъ и мертвымъ*» на «судити *живыхъ и мертвыхъ*», «*едину* святую соборную и апостольскую церковь» на «*единую* святую соборную и апостольскую церковь» и т. п., — инок Авраамий заключает в своей Челобитной 1678 г. (ссылаясь на сочинения Максима Грека, а также на «Большой катехизис» Лаврентия Зизания): «А отъ сего, богословцы рѣша, велика ересь возрастаетъ въ церкви, якоже Максимъ въ 13 главѣ пишетъ. Тако же и въ книгѣ Большаго Катихисиса пишетъ яко *ЕДИНЫМЪ* азбучнымъ словомъ (т. е. буквой) *ЕРЕСЬ* вносится < . . . > и подъ анафему полагаетъ таковая творящихъ» (Субботин, VII, с. 319–320). Соответственно в одном из своих посланий Авраамий рекомендует своему адресату: «Блюди же ся кова и лести бѣсовскія, еже есть *вѣковъ*, яко еретицы и сіе малое слово тщатся преложити, еже *во вѣки вѣкомъ*. Глаголю же ти, яко ни малѣйшія чертицы не прелагай» (Барсков, 1912, с. 159). Ср. заявление попа Лазаря относительно исправления фразы «во вѣки *вѣкомъ*» на «во вѣки *вѣковъ*» в никоновских книгах: «Да въ новыхъ же книгахъ напечатано во всѣхъ молитвахъ и во всѣхъ возгласѣхъ: нынѣ и присно и во вѣки *вѣковъ*. И ТА РѢЧЬ ЕРЕТИЧЕСКАЯ» (Субботин, IV, с. 200; Симеон Полоцкий, 1667, л. 150 об.–151). Так же пишет относительно формы *вѣковъ*, вместо *вѣкомъ*, в данной фразе и протопоп Аввакум: «Малое слово *сіе*, да велику ересь содержитъ» (РИБ, XXXIX, стлб. 465); в точности то же самое говорит Аввакум и относительно формы *АМИНЪ*, появляющейся в текстах, правленных при патриархе Никоне: «< . . . > в старых (книгах) *аминь*, а в новыхъ *аминъ*. Малое бо се слово велику ересь содѣваетъ» (Бороздин, 1898, прилож., с. 42).

Возражая против никоновской редакции «Символа веры», устранившей союз *а* в словах «рожденна, а не сотворенна», дьякон Федор — сподвижник протопопа Аввакума — писал: «Намъ < . . . > всемъ православному христианамъ подобаетъ умирати за единъ *азъ*, егоже окаянный врагъ (патриарх Никон) выбросилъ изъ Символа» (Субботин, VI, с. 188–189, ср. с. 11–12). Можно с уверенностью утверждать, что подобное отношение было вообще характерно для того времени, а не характеризовало исключительно представителей консервативной старообрядческой партии. Так, когда при своем поставлении во епископы архимандрит Симеон — сторонник никоновских книжных реформ — в процессе чтения «Символа веры» случайно возгласил по-старому: «рожденна, а не сотворенна», то присутствовавший на хиротонии царь Алексей Михайлович хотел было остановить хиротонию, т. е. был склонен усомниться в действительности самого акта (Субботин, VI, с. 229–230). Другой сторонник никоновских нововведений спавщик Евфимий, инок Чудова монастыря, в своем сочинении «О ис-

правлении в прежде печатаных книгах Минеах неких бывших погрешений в речениих» (1692 г.) следующим образом мотивирует необходимость точного воспроизведения минейного текста: «Елико бо житіе святыхъ лучше, толико ихъ и словеса нашихъ лучша словесъ и дѣйствительнѣйша сут[ь]» (Никольский, 1896, с. 61; относительно авторства Евфимия и датировки данного произведения см.: Протасьева, 1980, с. 164; Сиромеха, 1972, с. 12–13)¹⁷. Во всех этих случаях обсуждается вопрос о действительности сакрального слова, т. е. о соответствии его сакральной реальности.

Вполне естественно ввиду всего сказанного, что малейшие ошибки в произношении при чтении сакральных текстов (такие, например, как неразличение в чтении букв Е и Ъ и т. п.) немедленно исправлялись непосредственно во время богослужения (как это и сейчас наблюдается у старообрядцев — Селищев, 1920, с. 16; Успенский, 1971, с. 45). В одном из орфоэпических руководств середины XVII в. разбор некоторых типичных ошибок в чтении, сводящихся главным образом к неправильной акцентовке и т. п., заканчивается следующим знаменательным выводом: «Страшно бо есть братіе не точю сіе рещи, но и помыслити < . . . >» (Буславев, 1861, стлб. 1088); соотнесение неправильного выражения с неправильным содержанием проявляется в этих словах с предельной отчетливостью. Ср. сходное отношение к опискам у переписчиков священных книг, см. специальную «Молитву разрешению писарем», входившую в русские требники: «Съгрѣшихъ преписываа святаяа и божественная писания, святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ по своей воли и по своему недоразумію, а не яко писано» (Горский и Невоструев, III, 1, с. 219; ср. Петухов, 1888, с. 45–46; Алмазов, III, с. 210, 216; Никольский, 1896, с. 58, 62; Огнев, 1880, с. 9); положение переписчика было, однако, более сложным, поскольку он в то же время должен был исправлять ошибки копируемого текста¹⁸. Замечательно, что подобное отношение к ошибкам устной или письменной речи совершенно не характерно для католического Запада (см.: Матъесен, 1972, с. 48–49): невольная ошибка там не связывается с непрерывностью с искажением содержания и, следовательно, не рассматривается как грех (ср. между тем рус. *погрешность* в значении «ошибка»). Не менее показательным в этом плане является различное отношение к данной проблеме в Московской и в Юго-Западной Руси. Так, Петр Могила специально подчеркивал в предисловии к Требнику 1646 г., что если в требниках встречаются какие-либо погрешности или ошибки, то они нисколько не вредят нашему спасению, ибо не уничтожают «числа, силы, материи, формы и плодов святыхъ таинствъ»: «< . . . > если суть яковые погрѣшенія, албо помылки в < . . . > Требникахъ, тые Спасенію нашему нѣчого нешко-

дят, поневажъ Личбы, Моци, Матеріи, Формы и Скутковъ святыхъ Таинъ неносятъ» (Титов, 1918, с. 268; прилож., с. 371).

Отсюда не только мысль или верование, но и само обозначение может быть признано еретическим (ср. Матъесен, 1972, с. 28): форма и содержание принципиально отождествляются, и всякое отклонение от правильного обозначения может связываться с изменением в содержании, т. е. во всяком случае не безразлично по отношению к содержанию. В принципе слова книжного языка функционируют в этих условиях так, как в обычном случае функционируют только имена собственные. В самом деле, именно собственные имена характеризуются непосредственной и однозначной связью обозначения и обозначаемого: изменение в форме имени связывается обычно с другим денотатом (содержанием), т. е. измененная форма естественно понимается как ДРУГОЕ имя.

§6. Итак, при диглоссии фактически оказывается оправданным в определенных ситуационных условиях отклонение от нормы правильного поведения — иначе говоря, такое речевое поведение, которое самими членами языкового коллектива квалифицируется как «неправильное» (см. §2). Носитель языка очень часто (в абсолютном большинстве случаев) вынужден вести себя НЕПРАВИЛЬНО — со своей же собственной точки зрения; практически невозможным оказывается избежать ГРЕХОВНОГО поведения — избежать можно только поведения КОЩУНСТВЕННОГО (ср. §3).

Поскольку при этом отклонение от нормы переводит речь в иную семантическую сферу, которая оказывается противопоставленной сакральной сфере, постольку неправильное речевое поведение естественно смыкается в языковом сознании с анти-поведением (см. §4 и 5).

Так, под известным углом зрения не книжный русский язык может объединяться по признаку «неправильности», греховности с такими заведомо неправославными (еретическими) языками, как, например, татарский или латынь — иначе говоря, отклонение от церковнославянской языковой нормы (практически неизбежное и необходимое!) может отождествляться со своего рода анти-нормой. Русские книжники могли рассматривать живой русский язык — которым они по необходимости должны были пользоваться в быту — как книжный язык, испорченный именно в результате смешения с татарским и тому подобными «нечистыми» языками; отсюда русский язык, в отличие от церковнославянского, имеет как бы субстанциональную общность с этими языками: по словам Федора Поликарпова (1704, Предисловие, л. 6), «рѣснота и чистота славенская засыпаса [от] чужестранныхъ языковъ въ пепель»¹⁹.

Вообще в условиях диглоссии книжный церковнославянский язык относительно стабилен (кодифицирован и нормирован), а раз-

говорная русская речь постоянно изменяется, все более удаляясь от книжного языка (не будучи кодифицирована, она никак не ограничена в своей эволюции): соответственно считается, что русский язык происходит из церковнославянского как результат порчи этого последнего (ср. §2). Это изменение живой речи, обуславливающее все большую и большую дистанцию между книжным и некнижным языком, связывается с греховностью человеческой природы и приписывается делу рук дьявола. «< . . . > Лукаваго (т. е. дьявольское) умышление въ христорорцѣхъ или въ грубыхъ смысловѣхъ, еже уподобляти и низводити книжныя рѣчи отъ общихъ народныхъ рѣчей, — писал, например, Зиновий Отенский. — Аще же и есть полагати причлиньши, мню, отъ книжныхъ рѣчей и общія народныя рѣчи исправляти, а не книжныя народными обезчещати» (Зиновий Отенский, 1863, с. 967, ср. также с. 965). Ср. заявление Иоанна Вишенского о дьявольских кознях против церковнославянского языка (непосредственным стимулом для этих заявлений послужило распространение текстов на «простой мове»): «Евангелиа и Апостола в церкви на литургии простым языком не выворочайте < . . . > Книги церковныя всѣ и уставы словенским языком друкуйте. Сказую бо вам тайну великую: як диявол толикую завист имает на словенский язык, же ледве жив от гнѣва; рад бы его до щеты погубил и всю борбу свою на тое двигнул, да его обмерзит и во огиду и ненавист приведет. И што нѣкоторые наши на словенский язык хулят и не любят, да знаеши запевно, як того майстра дѣйством и рыганем духа его поднявши творят. Ато для того диявол на словенский язык борбу тую мает, зане ж ест плодоноснѣйший от всѣхъ языков и Богу любимший < . . . >» (Иоанн Вишенский, 1955, с. 23). В другом месте Вишенский объясняет, что дьявол «для того языка словянскаго не любит и от всѣхъ других на онаго подвигом силнѣйшим (стлумити и угасити его хотяй) подвигнулся ест, иж в языку словянском лжя и прелесть его никакоже мѣста имѣти не может, ибо < . . . > истинною, правдою Божиею основан, збудован и огорожен ест < . . . >» (там же, с. 194). Напротив, с помощью церковнославянского языка, по утверждению того же автора, можно бороться с дьяволом.

Знаменательно в этом смысле, что САТАНА в книжном церковнославянском тексте может говорить по-русски — см., например, в «Повести о некоем богоизбранном царе и о прелести дьявола» (Демкова и Дробленкова, 1965, с. 256–257) или в старообрядческом «Собрании от Святаго Писания об Антихристе» (Кельсиев, II, с. 251); это вполне естественно с точки зрения русского книжника, который приписывает порчу церковнославянского языка, выражающуюся в тенденции «книжные (речи) народными обещати», говоря словами Зиновия Отенского, именно умышле-

нию дьявола. Точно так же в псалмодическом, распевном церковном чтении (*lectio solemnis*) прямая речь бесов может быть отмечена разговорной интонацией, контрастирующей с торжественным стилем чтения (Владышевская, 1976, с. 90). Наконец, и халдеи в Пещном действе, исполнявшемся до середины XVII в. в кафедральных соборах Москвы, Новгорода, Вологды и др., говорили (в церкви!) на русском, а не на церковнославянском языке (Никольский, 1885, с. 176, 202–204; Савинов, 1890, с. 47–49, 53; Голубцов, 1899, с. 63–66, 247–248, примеч.; ДРВ, VI, с. 374, 377), и это соответствует ассоциации халдеев с нечистой силой (ср. Олеарий, 1906, с. 301–303); речь халдеев оказывается противопоставленной, таким образом, речи других участников Пещного действа. Можно сказать, что русский язык как бы объединяется с халдейским в своей противопоставленности языку церковнославянскому; примечательно, что в вологодском Пещном действе халдеи могли говорить с яканьем (так, вологодский халдей произносил *чаво* «чего» — Савинов, 1890, с. 47) при том, что яканье нехарактерно для вологодских говоров, — т. е. с подчеркнутыми русизмами, на сугубо неправильном русском языке.

Если в книжном церковнославянском тексте бесовская речь может наделяться признаками русского разговорного языка, то в собственно русском (некнижном) тексте бесы могут изъясняться на заумном, «тарабарском» языке, который может, видимо, рассматриваться как своеобразное обобщение иноязычной речи в языковом сознании²⁰. В обоих случаях, конечно, перед нами не что иное, как анти-поведение, т. е. русская речь и глоссолалическая речь выступают как функционально соотносимые явления.

Не менее характерно ходячее представление о том, что черт любит, когда его называют по-русски *черт*, но не выносит церковнославянского названия *бес* (Зеленин, II, с. 89); здесь отчетливо выступает специфическое отношение как к церковнославянскому, так и к русскому языку, когда церковнославянская речь ассоциируется с крестной силой, а русская речь — с нечистым, дьявольским началом (ср. мнение Иоанна Вишенского, что с помощью церковнославянского языка можно бороться с дьяволом). Точно так же в определенном контингенте носителей русского языка такое русское слово, как *спасибо* (усечение из *спаси Бог*), может восприниматься именно как обращение к антихристу²¹. Это непосредственно связано, конечно, с искажением слова Бог как этимологического компонента данного слова (ср. §5), но сама возможность подобного восприятия характеризует вообще отношение к русскому языку как к искаженному церковнославянскому (ср. §2). Очень похожая ситуация имеет место и в отношении народно-разговорной формы *Сус Христос* («Иисус Христос»), которая может восприниматься

как бесовская форма (Садовников, 1884, с. 237, № 71). Как в том, так и в другом случае обиходный русский язык предстает в языковом сознании как результат греховной порчи сакрального языка — порчи, которую естественно приписать делу рук самого Сатаны. Тем более знаменательно, вообще говоря, что этим языком по необходимости приходится пользоваться и что использование во всех случаях одного церковнославянского языка представлялось бы кощунством!

Исключительно знаменательны в свете сказанного указания древнерусских грамматик относительно написания сакральных слов под титлом. Так, в одном грамматическом сборнике 1620-х годов (РГБ, ф. 299, № 336) говорится, что титло пишется «над стыми аггелы і архагглы», но предписывается писать складом «лже пророки і апосталы, і оучители свашченники, штца лжи < ... >» (л. 15 об.-16)²²; и в другом случае тот же писец противопоставляет написание под титлом «апѣлокое», уместное и необходимое в том случае, когда речь идет об истинных апостолах, и написание складом «апосталы ложнаа» (л. 92 об.). Мы видим, что, говоря о лжеапостолах, писец последовательно пишет слово «апостол» с отражением аканья (*апостал*), и это, конечно, не случайная описка в этой исключительно грамотно написанной рукописи: наряду с противопоставлением написания под титлом и написания складом здесь противопоставляется церковнославянское «окающее» и русское акающее произношение, причем специфическое русское произношение соотносится с дьяволом как «отцом лжи».

Равным образом в другом сочинении («Сила существу книжнаго писма», XVI в.) читаем: «Аггль стыхъ и стыхъ апѣль і священных архіепѣкпъ покрыто пиши, сирѣчь под в'зметомъ, понеже что покрыто пишется, то сто. ангелшв' же сопротивниковъ і апостоловъ не богодохновенных і архіепископовъ не свашченных шнюдь не покрывай, но складомъ пиши, понеже враждебно бжѣтвѣ и челоувѣскомѣ естество»; «Бл҃гаго оучтла хрѣта б҃га і его стых оучнкъ < ... > покрыто пиши, наж подобаетъ. Посредних же оучителей і внѣшнихъ вѣдѣщихъ искѣснѣкъшихъ хѣдѣжствѣ і ихъ оученикшвѣ < ... > шнюд не покрывай, но складомъ пиши внѣшнее» (Ягич, 1896, с. 419–420, 426–427). Итак, четко противопоставляются формы: святых *ангел*, но злых *ангелов*, святых *апостол*, но ложных *апостолов*, священных *архіепископ*, но *архіепископов* не священных, святых *ученик*, но обычных *учеников* — при этом церковнославянская (нулевая) флексия род. падежа множ. числа связывается с сакральным началом, а противопоставленная ей русская флексия — со злым, бесовским началом.

В том же сочинении («Сила существу книжнаго писма») указывается, что противопоставление написания с *жд* и написания с *жс* — имеются в виду рефлексы общеслав. * *dj* — аналогично противопоставлению написания одних и тех же слов под титлом (с «взметом») и без титла («складом»); соответственно здесь предписывается в определенных случаях писать сакральные слова, «покрываа во в'змета мѣсто добромъ». Отсюда, в частности, вытекает рекомендация не писать *враждебно*, но *вражебно*, поскольку слово «враг» означает дьявола: «врага пиши вражебно шво без добра вражебно» (Ягич, 1896, с. 421, примеч. 5). Итак, поскольку данное прилагательное образовано от слова, которое нельзя писать под титлом, оказывается неуместным церковнославянское написание с *жд* — церковнославянская орфография отчетливо предстает как сакральная²³. Аналогичным образом здесь противопоставляется «ржѣтво хрѣтво і прѣчѣтыа бѣцы, ржѣтво іванна прѣтчи гѣдѣа» и «рожество < ... > беззаконнаго ірода»; в первом случае явно предполагается чтение *рождество*, во втором случае — чтение *рожство*; ср. здесь предписание писать «въ бл҃годарственном стисѣ прѣстѣи бѣцы без истлѣніа б҃га слова *рождшю*, а не наже нѣцыи иже внѣ оума пишѣт и говорат *рожешю* < ... >» (Ягич, 1896, с. 425, примеч. 4).

Во всех этих случаях противопоставление церковнославянского и русского языка рассматривается как противопоставление Божественного и сатанинского, хотя в одних случаях это проявляется на уровне фонетики, в других — на уровне морфологии. Выше мы видели, что то или иное отступление от канонической формы сакрального слова, поскольку оно воспринимается как искажение этой формы, закономерно связывается с противоположным содержанием (см. §5); в приведенных примерах такого рода искажение одновременно связывается и с русской языковой стихией — русский язык в соответствии с прямыми заявлениями древнерусских книжников предстает в подобных случаях как греховное искажение сакрального церковнославянского языка, которое предписывается дьявольскому умыслению.

Примечания

¹ Ср. в этой связи противопоставление книжного церковнославянского языка и «простой речи», которой владеют «от дѣтства своего» в «Простословии» старца Евдокима (Ягич, 1896, с. 635).

² Наглядной иллюстрацией к этому высказыванию может служить письмо Петра Первого от 31 июля 1709 г., где он приказывает, чтобы прибывшего недавно в Россию шута Воини — поляка по происхожде-

нию, носившего титул «короля (князя) самоедского», — учили ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ И ПИСАТЬ ПО-СЛАВЯНСКИ: «Самоедскова князя, который к нам с Воронежа прислан, вели учить по-руски говорить, также и в грамоте по-славянски» (Письма и бумаги Петра, IX, № 3356).

³ Ср. позднейшее заявление Н. И. Ильминского (1882, с. 84): «<...> священное и религиозное значение имеет для русского человека <...> славянский язык, который мы постоянно слышим в церкви и на котором мы обикли молиться. Вот почему неприятно слушать, когда употребляют славянские слова и обороты в обыкновенной речи и праздной болтовне».

⁴ Ср. особый акцент на этом в исихастских течениях, в том числе и в относительно недавнем движении имяславцев и имябожцев.

⁵ Мы ссылаемся на сочинения юго-западно-русских книжников в том случае, когда их высказывания не противоречат языковому сознанию Московской Руси. О специфике языковой ситуации в Юго-Западной Руси будет сказано ниже (§3).

⁶ К этому аргументу, который восходит к известному сказанию «О письменах» черноризца Храбра, нередко апеллируют русские авторы, см., например, в житии Стефана Пермского (Кушелев-Безбородко, IV, с. 153; ср. Бодянский, 1855, с. VI, 94–95), в предисловии к греческо-русскому и татарско-русскому словарикам XV–XVI вв. (Симони, 1908, с. 6), а также у Иоанна Вишенского (1955, с. 24) или протопопа Аввакума (РИБ, XXXIX, стлб. 475); то, что церковнославянские книги переведены святыми, заставило Зиновия Отенского (1863, с. 961, 967) возражать против исправлений «Символа веры», предложенных Максимом Греком. Ср. аналогичную аргументацию в «Слове св. Кирилла философа, учителя словенску языку», представляющую собой болгарскую переделку сочинения Храбра, где говорится, что если сойдутся два священника, болгарский и греческий, то литургия не должна совершаться по-гречески, но либо на церковнославянском языке, либо на двух языках, «понеже ста есть бльгарска литоургина, сть бо мжжь ставы ж» (Ягич, 1896, с. 17; Куев, 1967, с. 170).

⁷ Матъсен (1972, с. 77–78, примеч. 4, с. 82, примеч. 9) цитирует свидетельство того же порядка, относящиеся к XIX в.

⁸ С подобным отношением к церковнославянскому языку можно встретиться еще и в XVIII в. (т. е. уже после разрушения диглоссии), как об этом свидетельствует, например, доношение А. П. Сумарокова главной полицейской канцелярии от 24 января 1774 г. Сообщая о том, что его слуга по каким-то причинам взят под караул, Сумароков пишет: «Сама Съезжая признала, что мой слуга невинен, однако господин капитан Баранов присланному моему сказал ругательски по-словенски: «Чадо, что глаголеши, абие аще <...>» и прочее, что и не в складке приказном. Хотя мой посланный и человек государев, а хотя бы и мой был, так капитану Съезжей кощунствовать неспростойно» (Бартенева, III, с. 186). Сумароков усматривает в поведении полицейского чиновника, прибегнувшего к церковнославянскому языку там, где ожидался бы

приказной слог, не только личное оскорбление, но и кощунство против святых.

⁹ Как видим, указанное различие в языковой ситуации отражается на номенклатуре наименований. В Московской Руси под «русским» языком понимается прежде всего церковнославянский («словенский»), а в Юго-Западной Руси — литературный язык, противопоставленный церковнославянскому; «простой» язык в Юго-Западной Руси выступает как синоним названия «русский (русский)», т. е. противопоставляется языку «словенскому», тогда как в Московской Руси «просторечие» может относиться именно к «словенскому» языку (ср. §1). Если сегодня мы говорим о «русском» языке, заведомо противопоставляя его церковнославянскому, то мы пользуемся именно юго-западно-русской нормой употребления, ставшей общепринятой в результате «третьего южнославянского влияния».

¹⁰ Знаменательно в связи со сказанным, что в конце XVII в. сатирические произведения, поскольку они проникают в литературу, т. е. начинают пониматься именно как литературные произведения, могут восприниматься на Руси как перевод с польского — даже и в том случае, когда они являются чисто русскими по своему происхождению; произведения такого рода сопровождаются в рукописях характерными пометами типа «выписано из польских книг», «ис кроловских книг» и т. п. (Демкова, 1964, с. 95).

¹¹ Ср. трактовку таких форм, как *рождество*, *Нико́ла*, *Ма́рия* и т. п. Будучи противопоставлены церковнославянским *рождество*, *Никола́й*, *Ма́рия*, подобные формы воспринимаются как специфически русские; между тем в свое время они отвечали церковнославянской языковой норме, представляя собой по своему происхождению именно церковнославянизмы (ср.: Успенский, 1969, с. 13–19, 34, 39 и сл., 185).

¹² Ср. отсюда трактовку в XVIII в. таких русских слов, которые не находят себе соответствия в церковнославянской лексике, как «варяжских», «сарматских» и т. п. (см. §6).

¹³ В том случае, когда речь идет об ангелах, конечно, более естественно ожидать применения церковнославянского языка, но это определяется именно принадлежностью ангелов к сфере сакрального — сама субстанция в данном случае предопределяет отношение к предмету речи.

¹⁴ Необходимость разъяснения такого рода становится актуальной в условиях разрушающейся диглоссии, когда расширяется круг текстов на не книжном языке, — то, что ранее было общеизвестным, в это время нуждается в напоминании.

¹⁵ Церковнославянское написание аггелъ отражает орфографию исходной греческой формы ἄγγελος. При этом, так же как и в греческом, здесь предполагалось прочтение с носовым (*ангел*); между тем неправильное, побуквенное прочтение (*аггел*) стало связываться с противоположным содержанием.

¹⁶ Представление о том, что имя черта — это искаженная форма имени Бога, проявляется в диалектном противопоставлении Господь — ГАСПЭД, зафиксированном на Украине; ср. поверье, записанное в Киевской губ.: «Сороку сотворил не Господь, а гаспэд (противник Господа)» (Зеленин, 1914–1916, с. 622); форма *Гаспэд* представляет собой, видимо, трансформацию слова *аслид*, обусловленную сближением со словом *Господь*. Ср. §6 относительно аналогичной трактовки отклонение от языковых норм в случае слова *спасибо* как усечения от *спаси Бог* и формы *Сус Христос*.

¹⁷ Ср. характерное обоснование невозможности каких бы то ни было отступлений от канонической формы сакрального текста в старообрядческих «Керженских ответах» 1719 г. (ответах старообрядцев Дьяконового согласия на вопросы архиепископа Питирима; автором этого сочинения считают Андрея Денисова). Говоря об изменениях текста и, в частности, о языковых изменениях, вызвавших раскол, старообрядцы заявляют: «Не дивно же ти буди и о сомнѣнїи нашемъ, еже имѣемъ о новополженїихъ вашихъ. Аще бо священный отецъ Спиридонъ, епископъ Тримифїйскїй, и не стерпѣ единяя рѣчи премѣненїя, егда Трифилїй епископъ, уча въ церкви, премѣни рѣчь евангельскую въ сказанїи, юже рече Христосъ къ разслабленному, *возми ложе свое*. Тогда святой Спиридонъ разгнѣвася на него и обличи его рекъ: или ты мнишися лучши быти глаголавшаго: *возми одрѣ свой*, и то рекъ, избѣжалъ от ревности изъ церкви, ревнуя о Христовомъ словеси, хитростїю риторѣ Трифилїя примѣненномъ <...> Кольми паче намъ сомнительно есть о толикихъ множайшихъ возновствованїихъ, боящимся церковныхъ запрещенїй, еже приложити не премѣнїти, ниже отложити что, крѣпцѣ утверждающихъ» (Керженские ответы, 1906, с. 179–180).

¹⁸ Ср. среди покаянных ответов на исповеди: «Книги писах и не правих» (Алмазов, III, с. 238; Петухов, 1888, с. 45).

Для характеристики отношения древнерусского писца к переписываемому им тексту особенно показательно предисловие Арсения Глухого к Каноннику 1616 г.: «И елика возможна моему худому разуму, сїя исправляхъ; а же невозможна, сїа оставляхъ, да имущїи разумъ болше насъ, тїи исправятъ неисправленнїя и недостаточна наполнїятъ. Азъ же что написалъ, и аще кая обряцются въ тѣхъ несогласна разуму истинны, и азъ о сихъ прошенїа прошю. А кто имать сїа преписовати или пѣти, да не преписуетъ тако, ни да поеть, но истинное да пишеть и воспѣваетъ, еже есть угодно Богу и полезно души, понеже и азъ тако хошу. И не токмо еже здѣ писахъ, но и индѣ что писахъ и глаголахъ, и аще что обряцется въ тѣхъ не угодно Богу и не полезно души ради моего неразумїа и невѣждства, — и о сихъ молю, да не творить кто тако, но лучшее да творить, еже есть благородно Богу и полезно души. И азъ о семь радуюся, и тако благодатїю Божїею прилагаю сїа, отъемля вину пишуцим. . . на вредъ души» (Иларий и Арсений, II, с. 55–56, № 281); ср. аналогичный текст в других предисловиях Арсения Глухого (там же, II, с. 57, № 283; III, с. 48, № 684).

¹⁹ Пережитки подобного представления мы наблюдаем еще в XVIII

и в начале XIX в. Так, Третьяковский (III, с. 203) видел одно из основных отличий между церковнославянским и русским языками именно «въ нововводныхъ словахъ, воспрїятыхъ отъ чужїихъ языковъ» и считал русские слова, которые не находят соответствия в церковнославянской лексике, «варяжскими» (Пекарский, II, с. 246); между тем Татищев (1736, л. 94 об.; 1979, с. 96) называл такие слова «сарматскими», т. е. также приписывал им иноязычное происхождение. Точно так же и Дашков (1810, с. 260; 1811, с. 31–32) считал, что русский язык отделился от церковнославянского благодаря заимствованию татарских и других иностранных слов.

Показательно, что в Юго-Западной Руси XVI–XVIII вв. народные песни могли записывать латинским буквами, а не церковнославянской кириллицей, которая связывалась по преимуществу с религиозным содержанием и во всяком случае с книжным языком (Крымский, 1922, с. 114). Аналогичным образом могли писаться на Руси и заговоры (см., например: Виноградов, II, с. 33, № 23), поскольку они противопоставлялись церковным молитвам.

²⁰ Заумная речь ассоциируется вообще как с бесовским говорением (ср. рассказ о бесах в «Воительнице» Лескова: «*Шурле-мурле, шире-мире — кравемир*, — орет один»), так и с говорением на иностранном языке (ср. описание разговора русского солдата с французом в «Войне и мире» Толстого: «Сидоров подмигнул и, обращаясь к французам, начал часто, часто лопотать непонятные слова: — *Кари, мала, тафа, сафи, мутер, каска*, — лопотал он, стараясь придавать выразительные интонации своему голосу»). При этом необходимо иметь в виду, что иностранцы могли восприниматься на Руси как колдуны, связанные с нечистой силой, и даже непосредственно отождествляться с бесами (см. Зеленин, 1916, с. 74–77): тем самым им закономерно приписываются черты бесовского поведения.

Ср. диалог Мирсана и Салидара в комедии Сумарокова «Приданое обманом»: «Мирсан. — В школах красть не учат. Салидар. — Еще и волшебству учат; а ето еще и кражи хуже. Мирсан. — Какому волшебству? Салидар. — Как же ето не волшебство! иноземец иноземцу побормочит *бара! бара! бара!* а тот ему сам на то бара, бара, бара: и друг друга разумеют <...>» (явл. 3-е).

²¹ У старообрядцев бытует легенда (нам неоднократно приходилось ее слышать), где говорится, что *Спаси, Бо!* или даже *Спаси, Ба!* (с сугубо неправильным акающим произношением) кричали язычники во время крещения Руси, взывая к плывущему по Днепру языческому идолу, которого низверг Владимир Святой. Иногда при этом вычленяется имя *Бай* как имя языческого божества, т. е. *спасибо* трактуется как *спаси, Бай!* (Куликовский, 1898, с. 111). Итак, компонент *бо* или *ба* (БАЙ) понимается как имя языческого бога, отождествляемого с антихристом, — любопытный пример ретроспективного перенесения на язычество элементов позднейшего религиозного сознания.

Об ограничениях в употреблении слова *спасибо* еще в XIX в. см. наблюдения Грота (1876, с. 355, 454). Грот констатирует, что это слово

«считается годным только в разговоре с престономародьем и прислугою»; здесь в социальной перспективе переосмысливается то различие, которое ранее могло пониматься в плане противопоставления сакрального и инфернального.

Наиболее ранняя известная нам фиксация формы *спасибо* относится к парижскому «Словарю московитов», 1586 г.: «Espasibo (Grand mercy)» (Ларин, 1948, с. 167, № 620); уже у протопопа Аввакума выражение *Спаси Бог* согласуется с прилагательным среднего рода («Царь < ... > *спаси Богъ* большое сказаль» — РИБ, XXXIX, стлб. 208).

²² Очень вероятно, что данная рукопись была создана на окающей территории: во всяком случае, судя по владельческой надписи (на лл. 1–8), она принадлежала архимандриту суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Питириму, который управлял монастырем с 1650 по 1654 г. Если она действительно была написана в Суздале, т. е. в окающем ареале, перед нами яркий случай утрированного, сугубо неправильного произношения, который совершенно аналогичен яканью вологодских халдеев (см. выше).

²³ Совершенно так же в грамматических руководствах XVI–XVII вв. может противопоставляться сакральное написание *прѣтеча*, закономерное в том случае, когда речь идет об Иоанне Крестителе, и полное написание *предтеча*, необходимое тогда, когда имеется в виду предтеча не Христа, а Антихриста (см., например: РГБ, ф. 299, № 336, л. 92 об.; РГБ, ф. 178, № 21 (35), л. 138). При этом сакральное написание предполагает прочтение *предотеча* — такое произношение до сих пор принято в старообрядческом церковном чтении (см.: Успенский, 1971, с. 324, примеч.), тогда как противопоставленное ему написание предполагает чтение *предтеча* (ср., впрочем, примеры полного написания *ПРЕДОТЕЧА* в том случае, когда имеется в виду предтеча Антихриста — Успенский, там же). Появление гласного *о* на месте бывшего слабого ера возможно в словах церковнославянского происхождения, отражая древнее церковное произношение, сохраняющееся в так называемом «хомовом» пении (см. о нем: Успенский, 1968, с. 39–40, 61–67); специфически церковнославянская, сакральная форма *предотеча* противопоставляется, таким образом, профанной форме *предтеча*. Эта последняя форма, церковнославянская по своему происхождению (ср. хотя бы неполногласную форму приставки), функционально предстает как русизм.

Вопрос о сирийском языке в славянской письменности: Почему дьявол может говорить по-сирийски?

В переводной славянской письменности можно встретить указание на то, что дьявол говорит на сирийском языке. Этот мотив неоднократно фигурирует, например, в Житии преподобного Илариона, вошедшем в состав Макарьевских Четых Миней под 21 октября. Так изгоняя беса из взбесившегося верблюда, преподобный спрашивает беса «сирьскы»: «не боиши ли ся мене, злокознене даволе, въ такъ сосудъ влѣзь». В другом эпизоде к Илариону приходит некий муж, в которого вселился бес; окружающие изумляются, «яко не ведый иного языка мужъ той, точию немечьскы, в немъ же рождень бѣ, и римьскы, начатъ противу вопрошанія святаго палестиньскимъ языкомъ < ... > отвѣщаше ему бѣсь сирьскы, исповѣдая, како исперва влѣзе в онь» (ВМЧ, октябрь, стлб. 1721–1722.).

Вместе с тем, и юродивый Андрей Царьградский, когда к нему обратился некий юноша за наставлением, «преврати языкъ хлапѣй [т. е. речь юноши] на сврьску рѣчь, и нача сѣдя повѣсти дѣяти с нимъ сврьски, еликоже мышляше и хотяше» (ВМЧ, октябрь, стлб. 121. Ср.: Леонид, IV, с. 148 (№ 1828).).

Вопреки мнению некоторых исследователей, речевое поведение такого рода не является специфичным для беса (как считает А. И. Яцимирский, см.: Яцимирский, 1913, с. 97) или юродивого (как считает А. М. Панченко, см.: Лихачев и Панченко, 1976, с. 125.), нет оснований видеть в данном случае и речевое анти-поведение, т. е. восприятие иноязычной речи как глоссолатической. Необходимо думать, что бес в цитированных примерах изъясняется по-сирийски не столько ввиду непонятности или какой-либо отрицательной характеристики этого языка, сколько ввиду его древности; совершенно аналогично в средневековой католической литературе бес может пользоваться латинским языком (ср. католическую легенду, где монах, к которому приводят бесноватого, требует, чтобы бес говорил с ним на латыни¹). Так, в апокрифических «Вопросах от скольких частей создан был Адам» мы встречаем утверждение, что Бог «сурьянским языкомъ хоцеть

всему миру судити» (Тихонравов, II, с. 452). В сказании «О письменах» черноризца Храбра утверждается, что Бог первоначально сотворил именно сирийский язык и что на этом языке говорил Адам, так же как и все люди вплоть до Вавилонского столпотворения: «нѣсть бо Богъ створиль жидовьска жзыка прѣжде. ни римска. ни еллиньска. нѣ сир'скы. имже и Адамъ глагола. и от Адама ло потопа. и от потопа. дондеже Богъ раздѣли жзыки при стльпотвореніи< . . . >» (Куев, 1967, с. 189–190. Ср также с. 193, 196, 199, 203, 206, 209, 212, 216, 219 и др.). Храбр явно пользовался при этом греческими источниками: мнение о том, что сирийский язык является самым древним из всех языков, высказывал, например, Феодорит Кирский в своем толковании на книгу Бытия, ссылаясь на сирийское происхождение первых библейских имен (Адам, Каин, Авель и Ной), а также слова «еврей» (Ягич, 1896, с. 25; Куев, 1967, с. 68.), с этим мнением полемизировал Георгий Амартол, который считал, что старейшим языком является еврейский, а не сирийский (Истрин, I, с. 57–58.).

Характерно в этом смысле, что Житие св. Кирилла (Константина) Философа, согласно наиболее вероятной интерпретации этого памятника, приписывает Кириллу знание сирийского языка и знакомство с сирийским переводом Св. Писания (см.: Вайан, 1935; Якобсон, 1944; Якобсон, 1954, с. 68–70; Горалек, 1956; Иванова, 1969.).

Примечания

¹ «Чтец сказал бесу: „Я признаю в тебе беса, обитающего в этом мужике, если заговоришь ты со мною по латыни”. А когда тот заговорил и ошибся в латыни, брат обругал его, сказав, что плохо знает он грамматику. Бес же отвечал: „Я так же хорошо умею говорить по латыни, как и ты; только язык этого мужика так груб и неприспособлен к речи, что я из-за этой его грубости еле им ворочаю”» (Карсавин, 1915, с. 66).

2

Языческий субстрат обшечного мира

Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии

I. Общие замечания: специфика функционирования матерного выражения

1. Изучение русского мата связано со специфическими и весьма характерными затруднениями. Характерна прежде всего ТАБУИРОВАННОСТЬ этой темы, которая — как это ни удивительно — распространяется и на исследователей, специализирующихся в области лексикографии, фразеологии, этимологии. Между тем, подобные выражения, ввиду своей архаичности, представляют особый интерес именно для этимолога и историка языка, позволяя реконструировать элементы прославянской фразеологии. Соответствующие табу распространяются и на ряд слов, семантически связанных с матерщиной, в частности, на обозначение гениталией, а также на глагол со значением 'futuerе'; в литературном языке более или менее допустимы только ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМЫ типа *совокупляться, член, детородный уд, афедрон, седалище*, но никак не собственно русские выражения. Специфика русского языка в этом отношении предстает особенно наглядно в сопоставлении с западно-европейскими языками, где такого рода лексика не табуирована.

Табуированности матерщины и соотнесенных с нею слов несколько не противоречит активное употребление такого рода выражений в рамках АНТИПОВЕДЕНИЯ, обуславливающего нарушение культурных запретов.

Соответствующие материалы, как правило, не публикуются, причем научные издания не составляют исключения в этом отношении. Так, словарь Даля трижды переиздавался после революции, но для переиздания было выбрано не лучшее издание. Лучшим, бесспорно, является издание Даля, отредактированное и дополненное Бодуэном де Куртенэ: в это издание, в частности, вошла и бранная лексика, и именно это обстоятельство послужило препятствием к его переизданию. В русском издании этимологического словаря Фасмера — дополненном по сравнению с немецким оригиналом — подобные выражения были изъяты. Собрание пословиц Даля было опубликовано в свое время не целиком, поскольку значительный пласт непристойных пословиц не мог быть обна-

родован в России; дополнение к этому изданию выпущено только за рубежом (Карей, 1972); за границей вышел и словарь русской непристойной лексики, служащий дополнением к издающимся в России словарям русского языка (Драммонд и Перкинс, 1979). Афанасьев должен был опубликовать свои «заветные сказки», которые по цензурным условиям не могли войти в его собрание русских народных сказок, в Швейцарии (издание вышло без указания имени автора — Афанасьев, 1872). Все издания сборника Кириши Данилова содержат купюры. Наличие непристойных песен у Кириши Данилова побудило П. Н. Шеффера издать этот сборник в двух вариантах: помимо общедоступного издания с большим количеством пропусков, было выпущено сто экземпляров, не поступивших в продажу и предназначенных исключительно для специалистов (см.: Кириша Данилов, 1901, с. II). Тем не менее, и в этом специальном издании некоторые слова опущены; полный текст этих песен был опубликован лишь за границей (Райс, 1976). Даже пушкинские тексты не воспроизводятся полностью: «Тень Баркова» вообще не печатается, а в письмах Пушкина ряд слов заменяется многоточиями¹. В академических изданиях Пушкина или Кириши Данилова количество точек в многоточии, заменяющем то или иное непристойное слово, точно соответствует числу букв этого слова; таким образом, издание фактически рассчитано на искушенного читателя, достаточно хорошо подготовленного в данной области. Это характерная черта — издатели, в сущности, не стремятся скрыть от читателя соответствующие слова, но не хотят их называть².

О. Н. Трубачев в статье, посвященной истории русского перевода фасмеровского этимологического словаря, рассказывает об ожесточенной борьбе, которую ему — тогда еще молодому исследователю и переводчику словаря — пришлось вести с редактором этого издания проф. Б. А. Лариным. Трубачев боролся за сохранение непристойной лексики, тогда как Ларин настаивал на ее исключении (едва ли не уникальный случай, когда лингвист настаивает на ограничении материала, исходя из вневелингвистических соображений!). Замечательно, что теперь, по прошествии двадцати лет, Трубачев признает, что его оппоненты были правы, или во всяком случае находит известные основания в их возражениях. Трубачев видит в борьбе с такими словами проявление, так сказать, особой целомудренности народа, его особой чувствительности к непристойностям в языковой сфере: «возможно, мы, русские, лучше чувствуем чрезвычайную “выразительность” таких слов, которые знаменуют, так сказать, анти-культуру и особенно строго изгоняются из литературного языка и культурной жизни в эпоху массовой книжной продукции» (Трубачев, 1978, с. 21–22). Это мнение труд-

но признать вполне убедительным, если иметь в виду распространенность соответствующих выражений у русских: строго говоря, на этом основании мы вправе были бы говорить только о целомудрии цензоров или редакторов. . . Кроме того, как будет видно из дальнейшего изложения, борьба с подобными выражениями характеризует не только эпоху массовой книжной продукции и ведется не только в рамках литературного языка.

Вместе с тем, отчасти сходную мысль, хотя и с иной аргументацией, можно найти у Достоевского в «Дневнике писателя». Говоря о распространенности непристойных выражений у русских, Достоевский утверждает, что их употребление свидетельствует о целомудренности народа, поскольку говорящие таким образом не имеют в виду, в сущности, ничего непристойного: «Народ сквернословит зря, и часто не об том совсем говоря. Народ наш не развратен, а *очень даже целомудрен*, несмотря на то что это бесспорно самый сквернословный народ в целом мире, — и об этой противоположности, право, стоит хоть немножко подумать» (Достоевский, XXI, с. 115, ср. вообще с. 113–117, также: Достоевский, XXIV, с. 226; курсив Достоевского). Действительно, запрет по преимуществу относится к называнию соответствующих предметов или действий, но не к их сущности — скорее к обозначению, чем к обозначаемому, к плану выражения, а не к плану содержания³.

Именно поэтому положение филолога столь разительно отличается от положения медика или натуралиста, которому приходится в той или иной степени касаться сферы половых отношений; для медика не существует никаких табу в этой области, чего никак нельзя сказать о филологе, для которого эта сфера продолжает оставаться табуированной — постольку, поскольку речь идет об определенном роде слова. Это связано с тем, что филолог имеет дело со словами, тогда как естествоиспытателя интересуют явления как таковые: запрет накладывается именно на слова, а не на понятия, на выражение, а не на содержание.

2. Семантика матерной брани кажется прозрачной, но это впечатление обманчиво. Характерно, в частности, что матерщина, как правило, не воспринимается как оскорбление. В. Ф. Одоевский, которого интересовала вообще фактографически точная фиксация разговорной речи, не прошедшей сквозь литературный фильтр — то, как люди говорят в жизни, а не в романе, — замечал: «Солдат, встретя старого знакомого, не говорит ему: *здорово брат*, или что подобное, как в наших романах, а след[ующее]: *А! а! держи его! вот он! ах! Еб... м...* — они обнимаются» (Сакулин, 1913, 2, с. 385, примеч.); как видим, матерное выражение может служить даже дружеским приветствием. По наблюдениям этнографов, «сквернословие... в обращении... производит действие

обиды лишь тогда, когда произнесено серьезным тоном, с намерением оскорбить; в шутливых же и приятных разговорах составляет главную соль, приправу, вес речи» (Бондаренко, II, с. 79).

Отметим еще, что отношение к матерной брани может существенно различаться в зависимости от пола говорящего или слушающего. Матерщина воспринимается по преимуществу как черта мужского поведения⁴, причем иногда — но отнюдь не повсеместно — она считается возможной только в мужском обществе. Так, например, по наблюдениям Гр. Потанина, украинцы, как правило, не ругаются при женщинах; напротив, великоруссы на русском севере употребляют площадную брань, не стесняясь присутствием женщин или детей (Потанин, 1899, с. 170; ср. несколько иные сведения относительно великоруссов у Никифорова, 1929, с. 122, 124, а также в СРНГ, XVIII, с. 42) — и более того, как мы увидим, великоруссы могут даже вполне сознательно обучать детей матерщине в процессе их воспитания (см. §II-5). В некоторых местах запреты на матерную ругань распространяются исключительно на женщин, тогда как в устах мужчин матерщина не является чем-либо предосудительным. Весьма характерна в этом плане полесская легенда: «Ишоў Гасподь па дарози, а жэншчына жыта жала. А ён спрасіў: “Пакажы мне дарогу”. А ана яму рукой махнула: “Мяне врэмані нема”. И ён казаў: “Дак нехай тебе век не буде врэмані!” А прыйшоў ён к мушчыне — мушчына кажэ: “Садис, дедок, мы с табой пакурым, пасыдим, я тябе пакажу дарогу. Ядры яё налева, што ана тебе адказала. Хади сюды”. И Бог сказаў: “Ты — ругайса, а жэншчыне ругаца незья”» (Топорков, 1984, с. 231–232, № 14; выражение *ядры яё налева* представляет собой эвфемистическую замену матерного ругательства). Соответственно, в Полесье считают, что именно женщинам нельзя материться: матерщина в устах женщин воспринимается как грех, от которого страдает земля (подробнее о связи матерной брани с культом земли мы скажем ниже); в то же время для мужчин это более или менее обычное поведение, которое грехом не считается: «Зямля ат жэншчын гарыць, ат таго, што жэншчыны ругаюца: “А идрить тваю налева”, “А ядять тваю мухи”, “Ёлки зялёные”» (там же, с. 232, № 15); «Як ругаецца [матом женщина], пад табой зямля гарыць, ты трогаеш з зямлі мать, з таго свету мать ты трогаеш, ана ляжыць [твоя мать], а ты трогаеш, эта слава ня нужные, мужское слово» (там же, с. 231, № 10).

II. Культурные функции матерной брани

1. Особое отношение к матерщине обусловлено специфическим переживанием неконвенциональности языкового знака, которое име-

ет место в этом случае. Знаменательно, что запреты на соответствующие выражения носят абсолютный, а не относительный характер, обнаруживая принципиальную независимость от контекста: матерщина считается в принципе недопустимой для произнесения (или написания) — даже и в том случае, когда она воспроизводится от чужого имени, как чужая речь, за которую говорящий (пишущий), вообще говоря, не может нести ответственности. Иначе говоря, этот текст в принципе не переводится в план мета-текста, не становится чистой цитатой: в любом контексте соответствующие слова как бы сохраняют непосредственную связь с содержанием, и, таким образом, говорящий каждый раз несет непосредственную ответственность за эти слова. Такого рода восприятие нашло отражение в духовном стихе «Пьяница» («Василий Великий»):

Который человек хоть однажды
По матерну взбранится,
В шутках иль не в шутках,
Господь почтет за едино.
(Бессонов, VI, с. 102, № 573)

Итак, шуточное, игровое употребление ни в коем случае не снимает с говорящего ответственности за слова такого рода, не превращает их в простую условность: эти слова, так сказать, не могут быть произнесены всуе, в частности их нельзя повторить или употребить остранинно. Но подобное отношение к языковому знаку характерно прежде всего для сакральной лексики: в самом деле, именно сфере сакрального присуще особое переживание неконвенциональности языкового знака, обуславливающее табуирование относящихся сюда выражений, — тем самым, обценная лексика парадоксальным образом смыкается с лексикой сакральной.

Разгадка подобного отношения к матерщине объясняется, надо думать, тем, что матерщина имела отчетливо выраженную культурную функцию в славянском язычестве; отношение к фразеологии такого рода сохраняется в языке и при утрате самой функции.

2. Действительно, матерная ругань широко представлена в разного рода обрядах явно языческого происхождения — свадебных, сельскохозяйственных и т. п., — т. е. в обрядах, так или иначе связанных с плодородием: матерщина является необходимым компонентом обрядов такого рода и носит безусловно ритуальный характер; аналогичную роль играло сквернословие и в античном язычестве (см. о греческом земледельческом сквернословии: Богатевский, 1916, с. 57, 183, 187), о чем нам еще придется говорить ниже. Одновременно матерная ругань имеет отчетливо выраженный антихристианский характер, что также связано именно с языческим ее происхождением.

Соответственно, в древнерусской письменности — в условиях христианско-языческого двоеверия — матерщина закономерно рассматривается как черта БЕСОВСКОГО поведения. Достаточно показательно, например, обличение «еллинских [т. е. языческих!] блядословіи и кошун і игр бесовских» в челобитной нижегородских священников, поданной в 1636 г. патриарху Иоасафу I-му (автором челобитной был, как полагают, Иван Неронов): «Да еще, государь, друг другу лаются позорною лаею, отца и матери блудным позором, в род и в горло, безстыдную самую позорною нечистотою языки своя и души оскверняют» (Рождественский, 1902, с. 30). Существенно, что матерщина упоминается здесь в контексте описания языческих игр (святочных, купальских и т. п.); «еллинское» (языческое) фактически равнозначно при этом «бесовскому», «сатанинскому». В тех же выражениях говорится о матерной брани в памяти патриарха Иоасафа I-го для московских и подмосковных церквей того же 1636 г. (ААЭ, III, с. 402, 404, № 264), которая обнаруживает вообще текстуальную близость к челобитной нижегородских священников и написана, возможно, под ее непосредственным влиянием (ср.: Рождественский, 1902, с. 1–4), а затем и в памяти или точнее окружном послании суздальского архиепископа Серапиона 1642 г. (Каптерев, I, с. 10, примеч.), которое, в свою очередь, повторяет с некоторыми добавлениями только что упомянутую патриаршую грамоту (ср. там же, с. 8); «... да у вас, православных христиан, слышим, что у вас безумнии человекы лают друг друга матерны, а инии безумнии человекы говорят скарედныя и срамныя рѣчи, ихже невозможно писанію предати», — заявляет в том же послании архиепископ Серапион (там же, с. 12). О борьбе против матерной ругани при Алексее Михайловиче рассказывает Олеарий (1656, с. 191; 1906, с. 187); следует подчеркнуть, что борьба эта велась под знаком борьбы с язычеством. Так, матерщина обличается в царских указах 1648 г., разосланных по разным городам, причем в одном из них подчеркивается недопустимость ритуального сквернословия в свадебных обрядах, а именно предписывается, чтобы «на браках пѣсней бѣсовских не пѣли, и никаких срамных слов не говорили», чтобы «на свадьбах безчинства и сквернословія не дѣлали» (царская грамота в Белгород от 5.XII.1648 г. — Иванов, 1850, с. 298; царская грамота в Тобольск и Дмитров с тем же текстом — АИ, IV, с. 125, № 35, Харузин, 1897, с. 147). Здесь же упоминается и о святочном сквернословии: «а в навечери Рождества Христова и Васильева дни и Богоявленія Господня клички бѣсовскіе кличут — коледу, и таусен, и плугу ... и празднословіе с смѣхотвореніем и кошунаніем» (Иванов, 1850, с. 297; Харузин, 1897, с. 147; АИ, IV, с. 125, № 35). Что имеется в виду под этим кошунственным «празднословіем», становится совершенно ясно из

другого указа того же времени, где царь предписывает, чтобы «в навечери Рождества Христова и Богоявленья, колед и плуг и усеней не кликали, и пѣсней бѣсовских не пѣли, матерны и всякою неподобною лаею не бранились... и бѣсовских сквернословных пѣсней николи не пѣли... А которые люди нынѣ и впредь учнут коледу, и плуги, и усени, и пѣть скверныя пѣсни, или кто учнет кого бранить матерны и всякою лаею, — и тѣм людям за такія супротивныя Христіанскому закону за неистовства, быти от нас в великой опаль и в жестоком наказаньѣ» (царская грамота в Шую от 19. XII. 1648 г. — Погодин, 1843, с. 238–239). Итак, матерная брань рассматривается как явление того же порядка, что и специальные святочные обычаи (такие, как обычай колядовать, кликать плугу, петь *овсенъ* — *таусенъ* и т. п.). Обычай сходиться в святочные и купальские дни «на бесчинный говор и на бѣсовскіе пѣсни» с осуждением упоминается и в постановлениях Стоглавого собора 1551 г., которые также направлены на искоренение реликтов язычества в народном быту; имеется в виду, опять-таки, ритуальное сквернословие, представляющее собой необходимый компонент святочных и купальских увеселений (см.: Стоглав, 1890, с. 191–192, ср. еще с. 280). Соответственно, в 1552 г. царь Иван Грозный велит кликать по торгам, чтобы православные христиане не творили всего того, что запрещается постановлениями собора, в частности, «матерны бы не лаялись, и отцем и матерью скверными рѣчами друг друга не упрекали, и всякимиб неподобными рѣчами скверными друг друга не укоряли» (АИ, I, с. 252, № 154); одновременно с этими говорится и о недопустимости обращения к волхвам, чародеям, звездочетам, а также о недопустимости брадобрития и т. п.

Обличая тех, кто проводит время «упражняющесея в сквернословіях и на сатанинских позорищах», митрополит Даниил писал: «Ты же сопротивнаа Богу твориши, а христіанин сый, пляшеши, скачеши, блуднаа словеса глаголеши, и инаа глумленія и сквернословія многаа съдѣваеши и в гусли, и в смыки, в сопѣли, в свирѣли вспѣваеши, многаа служенія сатанѣ приносиши»; по его словам, «идѣ же бо есть сквернословіе и кошуны, ту есть бѣсом събраніе, и идѣ же есть игранія, тамо есть діавол, а иде же есть плясаніе, тамо есть сатана» (Жмакин, 1881, с. 558–559, 567 и прилож., с. 18–19, 29); матерщина выступает здесь в одном ряду с типичными атрибутами языческого поведения, регулярно обличаемыми в поучениях, направленных против двоеверия. Такие же атрибуты фигурируют и в наказе Троицкого Ипатьевского монастыря монастырскими приказчиками (XVII в.), где предписывается, чтобы монастырские крестьяне «матерны и всякими скверными словами не бранились, и в бѣсовскіе игры, в сопѣли в гусли и в гудки и в домры, и во

всякіе игры не играли» (АЮ, с. 357, № 334); и в этом случае матерная брань упоминается в контексте обличения языческих по своему происхождению обрядов.

В более или менее сходном контексте фигурирует матерщина и в поучениях Кирилла Туровского и митрополита Петра. Так, Кирилл Туровский упоминает «буе слово, срамословіе, бестудная словеса и плясаніе, еже в пиру, и на свадьбах, и в павечерницах, и на игрищах и на улицах» (Калайдович, 1821, с. 94–95); между тем, митрополит Петр говорит, обращаясь «к епископом, и попом, и архимандритом, и игуменом, и дьяконом и ко всем православным крестьяном»: «Аще учите дѣтей духовных от сквернословья, неподобно что лают отцем или матери, занеже того в крестьянѣх нѣтъ; тако учите родители своих дѣтей измлада, чтобы не навыкли говорити лихих слов; а который не учет вас слушати, тѣх от церкви отлучити, а святаго причащенія не давати им, ни даров, ни Богородицына хлѣбца; и паки учите их, чтобы басней не баяли, ни лихих баб не примали, ни узов, ни примолвленія, ни зелье, ни вороженъе занеже Божье того дѣля приходит разгнѣваніе» (Кушелев-Безбородко, IV, с. 187). Поучение митрополита Петра почти дословно повторяется в посланиях митрополита Фотия в Новгород и Псков 1410–1417 гг. (РИБ, VI, стлб. 274, 282–283).

Особо должно быть упомянуто поучение старца Фотия, инока Иосифо-Волоколамского монастыря (первой пол. XVI в.), «еже не сквернословити языком всѣм православным христианом, паче же нам иноком, ниже паки рещи матернее лаяніе брату своему: блядин сын, кокову либо человекѣу крестьянскія наша вѣры святыя» (Кушелев-Безбородко, IV, с. 189–191; Марков, 1914, с. 15–20): необходимо подчеркнуть, что выражение *блядин сын* первоначально, по-видимому, не отождествлялось с матерщиной и само по себе не являлось предосудительным, т. е. не относилось к разряду НЕПРИСТОЙНЫХ выражений⁵; показательно, вместе с тем, что посылку в данном случае это выражение осмысляется именно как «матерное лаяніе», постольку считается недопустимым применять его по отношению к ПРАВОСЛАВНОМУ ХРИСТИАНИНУ (к «человекѣу крестьянскія наша вѣры святыя») — конфессиональный момент в этом случае выражен вполне отчетливо.

Ряд других древнерусских поучений против матерной брани, представляющих для нашей темы особый интерес, будет рассмотрен несколько ниже (§III-1); сейчас же нам важно лишь констатировать, что поучения против матерщины находятся в непосредственной связи с обличением языческих обрядов и обычаев. Вполне закономерно поэтому, что матерная брань может расцениваться как «еллинское блядословіе» (см. цитированную Челобитную нижегородских священников 1636 г. — Рождественский, 1902, с. 30).

Соответственно, в рассматриваемых ниже (§III-1) поучениях матерное слово может называться «словом поганым», т. е. языческим, причем говорится, что с человеком, который матерится, не следует «ни ясти, ни пити, не молиться, аще не останется [т. е. не оставит] такового злаго слова» (Лилеев, 1895, с. 402–403; ср. также: РГБ, Большая. № 117 (л. 100 об.); ИРЛИ, Северодв. № 114 (л. 3 об.), № 147 (л. 28 об.), № 263 (л. 5 об.-6), № 511 (л. 8); ИРЛИ, Латг. № 156 (л. 213 об.); ИРЛИ, Амос.-Богд. № 91 (л. 30 об.-31); ИРЛИ, оп 24, № 54, л. 84). Как известно, отказ от общения в еде, питье и в молитве принят вообще в случае КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ разногласий — в данном случае соответствующее предписание указывает на то, что матерщинник не христианин, но язычник.

Аналогичные свидетельства находим и в более ранних источниках. Так, «Повесть временных лет», описывая языческие обряды радимичей, вятичей и северян, упоминает «срамословье» как специфическую черту языческого поведения (ПВЛ, I, с. 15). Не менее примечательно и встречающееся в древнерусской учительной литературе мнение, что матерная брань — «то есть жидовское слово» (Смирнов, 1913, с. 156); соответственно, в одном из вариантов апокрифической «Епистолии о неделе» («Свиток Иерусалимский») Господь говорит людям: «по-жидовски не говорите, матерны не бранитесь» (Кушелев-Безбородко, III, с. 152–153; Бессонов, VI, с. 88, № 567, ср. с. 83, № 566; ИРЛИ, оп. 24, № 54, л. [84]⁶), т. е. матерная брань и в этом случае воспринимается как «жидовская» речь. При интерпретации подобных высказываний необходимо иметь в виду, что «жидовское», как «еллинское», может отождествляться с язычеством, и, тем самым, славянские языческие боги могут трактоваться как «жидовские» — мы встречаем, например, упоминания о «жидовском еретике Перуне» (Покровский, 1979, с. 52) и «Хорсе-жидовине» (Щапов, I, с. 34) и т. п. Совершенно аналогично объясняется и ходячее представление о татарском происхождении матерной брани (см., например: Щекин, 1925, с. 20–21).

Вместе с тем, способность матерно ругаться приписывается домовому, т. е. персонажу несомненно языческого происхождения (Афанасьев, 1865–1869, II, с. 82, с неточной ссылкой на источник). Равным образом кликуши (икотницы) во время припадка выкрикивают «диким голосом бессмысленные возгласы и крепкие ругательства», причем предполагается, что так говорит вселившийся в кликушу нечистый дух (Подвысоцкий, 1885, с. 59; ср.: Богатырев, 1916, с. 62). Представление о том, что черту свойственно материться, находит иногда отражение в космогонических преданиях, ср., например, полесскую легенду: «Ну, бог воскрес и пашол ў пекла и стал тягнуть из пекла людей из ямы. Адин рўки падае —

а ўсих рук багата. Так он нестерпеў и па-русски загнул матам. И Иисус Христос его не взял, и [он] зделался чортом. У его сейчас абразавались ногти такие и волосы паднялись на галаве и зделалась такое обличие, як у чорта» (Полесский архив: Гомельская обл., Гомельский р-н., дер. Грабовка, 1982 г.). Замечательным образом матерщине приписывается здесь решающая роль в космогоническом катаклизме.

3. Необходимо отметить, что матерная брань в ряде случаев оказывается функционально эквивалентной молитве. Так, для того, чтобы спастись от домового, лешего, черта и т. п., предписывается либо прочесть молитву (по крайней мере осенить себя крестным знаменем), либо матерно выругаться — подобно тому, как для противодействия колдовству обращаются либо к священнику, либо к знахарю — см., например: Чернышев, 1901, с. 127–128 (о домовом; ср. иначе: Ушаков, 1896, с. 154); Померанцева, 1975, с. 36, Зеленин, 1914–1916, с. 802, Зеленин, II, с. 19, Зеленин, 1927, с. 388, Ушаков, 1896, с. 160, Завойко, 1917, с. 37, Ончуков, 1909, с. 465, 552, № 198в, 198г, 272 (о лешем, а также о медведе, поскольку он ассоциируется с лешим, ср. в этой связи: Успенский, 1982, с. 85 и сл.); Завойко, 1917, с. 35, Иваницкий, 1890, с. 121, Померанцева, 1975, с. 138 (о черте); Завойко, 1917, с. 38 (о шишиге); аналогичным образом с помощью матерщины могут лечить лихорадку (Цейтлин, 1912, с. 9), которая понимается вообще как демоническое существо, разновидность нечистой силы. При этом матерщина может рассматриваться даже как относительно более сильное средство, т. е. возможны случаи, когда молитва не помогает, а действенной оказывается только ругань, см.: Чернышев, 1901, с. 127–128 (о домовом), Завойко, 1917, с. 38 (о шишиге), ср. также сведения о том, что домовый не боится креста и молитвы: Иванов, 1893, с. 26, Померанцева, 1975, с. 109. Равным образом как молитва, так и матерщина является средством, позволяющим овладеть кладом: в одних местах для того, чтобы взять клад, охраняемый нечистой силой, считается необходимым помолиться, в других — матерно выругаться (Смирнов, 1921, с. 15). Совершенно так же магический обряд «опахивания», совершаемый для изгнания из селения эпидемической болезни (которую также отождествляют с нечистой силой), в одних случаях сопровождается шумом, криком и вранью, в других — молитвой (Максимов, XVIII, с. 271–273).

Поскольку те или иные представители нечистой силы генетически восходят к языческим богам, можно предположить, что матерная ругань восходит к языческим молитвам или заговорам, заклинаниям; с наибольшей вероятностью следует видеть в матерщине именно языческое заклинание, заклятие.

Соотнесенность матерщины с языческим культом исключитель-

но ярко проявляется у сербов, когда для того, чтобы спастись от ГРАДА, бросают вверх (в тучу) МОЛОТ и при этом МАТЕРНО РУГАЮТСЯ (Маринкович, 1974, с. 159; Толстые, 1981, с. 51). Как известно, в славянской (и индоевропейской) мифологии молот выступает как атрибут Бога Громовержца, насылающего грозу и град; надо полагать, что и матерщина имеет к нему то или иное отношение. Напротив, у бессарабских румын, «во время грозы, особенно в Ильин день, нужно воздержаться от всякого греха, а больше всего — от брани. Это — потому, что, по объяснению, данному... одним иеромонахом, «слова брани и крик больше всего напоминают собою раскаты грома»» (Сырку, 1913, с. 166). Ср. еще великорусскую запись: «У прадетка мать была, она изругалась на собаку, ее молния и ударила...» (Богатырев, 1916, с. 66). И в этих случаях мы можем констатировать связь матерщины с Громовержцем, хотя она и проявляется прямо противоположным образом; интерпретация этой связи будет предложена ниже (в §III-6).

4. В этой же связи следует отметить, что матерщина может выступать у славян в функции проклятия; связь с языческим культом представляется при этом совершенно несомненной. Подобное употребление матерной брани засвидетельствовано в южно-славянской, а также в западно-славянской письменности. Так, в анонимной болгарской хронике 1296–1413 г. мы читаем: «Българе же слышавше се насмѣша сѧ и оукориша Гръкы, не тъкмо досадиша, нж за женж и матере офоваше и послашж тъще» (т. е.: Болгары же, услышав это, надсмеялись и обругали греков, не только оскорбили, но и изматерили и отослали с пустыми руками); та же формулировка повторяется в данном тексте и несколько ниже: «И ты слышавше се насмѣавше сѧ и ѱкоришж Гръкы, не тъчиѧ (досадиша), нж и женж и матерь офоваше (и) отслаша тъще» (т. е.: и те, услышав это, надсмеялись и обругали греков, не только оскорбили, но и изматерили, и отослали с пустыми руками) (Богдан, 1891, с. 527). Слово *опсоваше* «изматерили» в этом контексте, по-видимому, означает не просто «обругали», но именно «прокляли». Конкретный пример такого именно употребления матерного выражения представлен в одной болгарской грамоте первой пол. XV в., а именно в грамоте влашского господаря Александра Алди, сына Мирчи, датируемой 1432 г. Говоря о своей верности венгерской короне («господинѣ кралю и сватомѣ венцѣ») и опровергая ложные слухи, будто он перешел на сторону турок, этот господарь пишет: «да кто ше слъгати, да мѣ ебе пьс женж и матере мѣ» (Богдан, 1905, с. 43, № 23; та же грамота с незначительными орфографическими различиями опубликована в изд.: Милетич, 1896, с. 51, № 12/302), что, в сущности, означает: а кто солгал, да будет проклят.

В том же значении матерное ругательство могло употребляться, по-видимому, и в западно-славянских языках. Показательно в этой связи выражение *abo zabít bŏcz abo cze pesz huchloszcz*, т. е. 'albo zabít bądź albo niech ciępies uchłóści', зафиксированное в польском судебном протоколе 1403 г. (Брюкнер, 1908, с. 132). Глагол *chłóścić*, в настоящее время неупотребительный, в старопольском языке выступал в качестве эвфемизма, замещающего основной глагол в матерном ругательстве (в выражении *chłóścić matkę* — см.: Сл. ст.-польск. яз., I, с. 238). Именно в этом качестве он и фигурирует в цитированной бранной формуле, которая означает, следовательно: «да будешь убит или да осквернит тебя пес»; старопольское выражение *cze pesz huchloszcz* ('niech ciępies uchłóści') дословно соответствует при этом современному польскому ругательству *pies cięjebał*. Обе части данного выражения предстают как синонимичные, выражая одну общую идею — идею проклятия.

Соответственно, глагол, восходящий к слав. *jebati, может выступать в значении 'проклинать' — постольку, поскольку глагол этот соотносится с общим значением матерного выражения (ср., например, чешск. *jebati* 'проклинать' и т. п. — Трубачев, VIII, с. 188); мы вправе и в этом случае усматривать следы ритуального употребления матерщины. Совокупность приведенных фактов позволяет отнести подобное употребление у общеславянской эпохе.

5. Ритуальная функция матерной брани проявляется и в характере ее усвоения. Есть указания на то, что родители в процессе воспитания детей более или менее сознательно обучали их матерщине, т. е. это входило как бы в образовательный комплекс. Об этом явлении с негодованием писал в нач. XVIII в. Посошков в послании Стефану Яворскому: «Ей, государь, вашему величеству [sic!] нѣ по чему знать, какое в народе нашем обыкное безуміе содѣвается. Я, аще и не бывал во иных странах, обаче не чаю нигдѣ таких дурных обычаев обрѣсти. Не безумное ль сіе есть дѣло, яко еще младенец не научится, как и ясти просить, а родителіе задают ему первую науку сквернословную и грѣху подлещую? Чем было в началѣ учить младенца, как Бога знать, и указывать на небо, что там Бог, — ажно вмѣсто такового ученія отец учит мать бранить сице: *мама, кака мама бя бя*; а мать учит подобнѣ отца бранить: *тятя бя бя*; и как младенец станет блякать, то отец и мать тому бляканію радуются и понуждают младенца, дабы он непрестанно их и посторонних людей блякал. . . А когда мало повозмужает младенец и говорить станет яснѣе, то уже учат его и совершенному сквернословію и всякому неистовству»; отсюда и объясняется, по Посошкову, распространенность матерной брани у русских: «Гдѣ то слыхано, что у нас, — на путех, и на торжицах, и при трапезах, наипачеж того бывають. . . и в

церквах, всякая сквернословія и кощунства и всякая непотребная разглагольства» (Срезневский, 1900, с. 11–14, см. еще с. 8–9; ср. аналогичный текст в другой редакции данного послания: Посошков, I, с. 310–314; очень коротко Посошков говорит о том же и в «Завещании отеческом к сыну» — Посошков, 1893, с. 9, 42, 44). Такие же сведения мы находим в книге «Статир» — книге поучений, составленной в 1683–1684 гг. неизвестным священником города Орел (Пермской епархии): «Увы творят родители, ископовают себѣ ров погибели, а чадом своим пагубу. Не успѣть отроча еще и родитися, а они егѡ не Божію дѣлу научают, но сатанинскому обычаю: скакати, плясати, пѣсни пѣти, лгати; ОТЕЦ НАУЧАЕТ МАТЕРЬ БРАНИТИ, А МАТЕРЬ ОТЦА. І наковы воспитаются, таковы и состарѣются. Но и мнози рекут мнѣ от волшебник: что нам возбраняеши исцеляти недуги и бѣсы изгоняти? . . .» (РГБ, Румянц., 411, ч. I, л. 144 об.); существенно, что эти сведения даны в контексте обличения языческих обычаев (ср. еще ч. I, л. 143 об., 162 об., 163 об., где о сквернословии также говорится в связи с упоминанием языческих обычаев). Точно так же и Олеарий, говоря о матерных выражениях у русских, замечает: «Говорят их не только взрослые и старые, но малые дети, еще не умеющие назвать ни Бога, ни отца, ни мать, уже имеют на устах *ебу твою мать*, и говорят это родители детям, а дети родителям» (Олеарий, 1656, с. 191; Олеарий, 1906, с. 187; ср.: Олеарий, 1647, с. 130).

III. Объект действия в матерном выражении: связь с культом земли

1. Для выяснения роли матерной брани в языческом культе особый интерес представляет поучение против матерщины — «Повесть св. отец о пользе душевной всем православным христианом», приписываемое иногда Иоанну Златоусту (начало: «Не подобает православным христианом матерны лаяти. . .»), — в котором говорится, что матерным словом оскорбляется, во-первых, Мать Божия, во-вторых, родная мать человека и, наконец, «третья мать» — Мать Земля: «Не подобает православным христианом матерны лаяти. Понеже Мати Божія Пречистая Богородица. . . тою же Госпожою мы Сына Божія познахом. . . Другая мати, родная всякому человекѣ, тою мы свѣт познахом. Третія мати — земля, от неяже кормимся и питаемся и тмы благих приемлем, по Божію велѣнію к ней же паки возвращаемся, иже есть погребеніе». Здесь же сообщается, что человек, который выругался матерной бранью, не может в этот же день войти в церковь, что, по-видимому, обусловлено языческой природой матерщины (см. выше), т. е. противопоставленно-

стью христианского и языческого культа: «а котораго дни человек матерно излает и в тот день уста его кровию запекутца злые ради вѣры и нечистаго смрада исходящаго изо уст его, и тому человеку не подобает того дни в церковь Божию входить, ни креста цѣловати ни евангелія, и причастія ему отнюд не давати. . . И в который день человек матерно излает и в то время небо и земля потрясется и сама Пречистая Богородица вострепетает от такова слова» (Родосский, 1893, с. 425–426; Марков, 1914, с. 27, 29, ср. с. 22–23, 25, 30–32)⁷. В одном из вариантов этого поучения утверждается, что матерная брань наказывается стихийными бедствиями, которые, по-видимому, могли осмысляться как ГНЕВ ЗЕМЛИ: «и за то Бог спускает казни, мор, кровопролитие, в воде потоплѣние, многие бѣды и напасти, болѣзни и скорби» [БАН, 32. 16. 14 (л. 355); ср. также: ИРЛИ, Северодв. № 114 (л. 3 об.), № 147 (л. 29), № 263 (л. 6), № 511 (л. 8–8 об.); ИРЛИ, Латг. № 156 (л. 213 об.); ИРЛИ, оп 24, № 28, (л. 200), № 69 (л. 361 об.); Лилеев, 1895, с. 403]; см. вообще о «гневе земли»: Зеленин, 1916, с. 65–76, 81–89; Зеленин, 1917, с. 403, 406, 410; Петухов, 1888, с. 168, 174.

Данное поучение непосредственно связано, по-видимому, с древнерусской апокрифической литературой, в которой фигурирует такое же в точности рассуждение. Так, в одном из списков апокрифической «Беседы трех святителей» находим вопрос: «Что есть не подобает православным христианом браниться?» и следует ответ: «Понеже Пресвятая Богородица мать Христу Богу, вторая наша мать родная, от нея же мы родихомся и свет познахом, теретя [третья] мать земля, от нея же взяты и питаемся и в нея же паки возвратимся» (Мочульский, 1893, с. 166); по-видимому, это русская вставка в памятнике греческого происхождения (см. там же). Ср. еще апокрифический «Свиток Иерусалимский», где Господь говорит: «приказываю вам не божиться и не произносить всуе имене Моего и не испускати из уст ваших скверных хульных и матерных слов. Сколь есть тяжек сей грех, што я простить его не могу, потому что не одну родную мать поносишь, — поносишь ты мать родную, мать Богородицу, мать сыру землю» (Бессонов, VI, с. 96, № 571). В другом апокрифе, специально посвященном интересующей нас теме, в уста Господа вкладываются следующие слова: «Иной, востав от сна, не умывается и, не сотворив на себѣ крестнаго знаменія, начинает лаяться матерно, не подумает о том, что 1-я мать наша Пресвятая Богородица, которая родила Спаса всего мира. . . ; 2-я мать наша земля, ибо от земли созданы и в землю паки пойдем; 3-я мать наша, которая во утробѣ нас носила и по рождествѣ вашем нечистоту обмыла. . . Аще который день человек матерно ругается, в то самое время небеса ужаснутся, земля потрясется и мать Божія на престолѣ вострепетает и того дни у

человѣка уста кровию затекаются и тому человеку не подобает в церковь ходить, креста цѣловать и причастія не принимать» (Шереметев, 1902, с. 58–59). Соответственно, и в восходящем к апокрифам духовном стихе «Пьяница» («Василий Великий») ⁸ о матерных словах говорится, что это грех, который не будет прощен, поскольку такими словами хулится женщина, Богородица и, наконец, Мать Сыра Земля:

Пьяница матерным словом дирзанѣть —
Мать-сыра земля потрясѣтца,
За престолам Присвитая Багародица патранѣтца,
У женьшины уста кровью запякутца.

(Тиханов, 1904, с. 256–257)

Или в другом варианте:

Един человек однажды в день по-матерну избранится, —
Мать сыра земля потрясется,
Пресвятая Богородица с престола сотранѣтся.

(Успенский, 1898, с. 180)⁹

В менее явной форме та же идея выражена в духовном стихе «Свиток Иерусалимский», который также восходит к апокрифической литературе. Предписание не пить и матерно не браниться вкладывается в этом стихе в уста самого Христа, причем сообщается, что в противном случае земля НЕ БУДЕТ ДАВАТЬ ПЛОДОВ: «будет земля яко вдова»; одновременно при этом упоминается и БОГОРОДИЦА:

Лишитесь хмельного пития,
Скверности изо уст, изо браннаго слова,
Матерно не бранитесь:
Мать Пресвятая Богородица
На престоле вструпенулася
Уста кровию запекаются.

Вместе с тем, здесь же говорится (хотя и не в связи с матерной бранью), что есть три матери:

Первая мать — Пресвятая Богородица;
Вторая мать — сыра земля;
Третья мать — кая скорбь приняла [мучилась в родах].

(Бессонов, VI, с. 71–73, № 564)

Ср. еще в другом духовном стихе, специально «О матерном слове»:

Вы, народ Божий-православный,
Мы за матерное слово все пропали,

Мать Пресвятую Богородицу прогневили,
Мать мы сыру-землю осквернили. . .

(Ржига, 1907, с. 66)

Остается упомянуть о чуде, бывшем в 1641 г. в Красном Бору на Северной Двине и записанном тогда же «при священниках и при всем народе», поскольку сказание об этом чуде обнаруживает явную связь с цитированным выше поучением: крестьянке Фекле, Спиридоновой дочери, явились Спас и Богородица Тихвинская и велели ей говорить в народе, чтобы христиане не пили табак и матерно не бранились: «а в которое время хто матерно избранит, в то время небо и земля потрясется и Богородица стоя вострепешет. . .» (Никольский, 1912, с. 102; Щапов, I, с. 16; ср. также: Орлов, 1913, с. 51; Марков, 1910, с. 425); ср. в другом варианте: «а егда человек матерно избранитца, . . . небо и земля потрясетца, а Богородицъ укоризну приносят» (Кушелев-Безбородко, II, с. 434; Львов, 1898, с. 600). Видению Феклы предшествовало видение Акилины Башмаковой (бывшее в том же году и в том же месте), которой явилась «жена свѣтлообразная лицом покрывшия убрсом» и также велела сказывать во всем мире, чтобы люди не пили табаку и матерно не бранились; в противном случае следует ожидать стихийных бедствий, т. е., видимо, гнева земли (Никольский, 1912, с. 98; ср.: Щапов, II, с. 140; ср. еще о других видениях аналогичного содержания: Щапов, II, с. 140, 160; Орлов, 1906, с. 34; Орлов, 1913, с. 53).

К тому же кругу источников восходит и фольклорная легенда о происхождении материцы, где последняя связывается с инцестом: «У каждого человека три матери: мать родна и две великих матери: мать — сыра земля и Мать Богородица. Дьявол „змустил“ одного человека: человек тот убил отца, а на матери женился. С тех пор и начал человек ругаться, упоминая в брани имя матери, с тех пор пошла по земле эта распута» (Добровольский, I, с. 276, № 37); можно усмотреть здесь своеобразную интерпретацию цитированного выше поучения. Вместе с тем, та же традиция нашла отражение во «Временнике» Ивана Тимофеева, где также утверждается, что матерная брань имеет отношение не только к родной матери человека, но также к земле и к Богородице: «И конечно еще оста нестерпимо зло, иже к ближнего лица в досадах каждого самохотное укорение, еже матерню имени мотылна со уста языка сквернословное изношение; не укореному бо сим досажду, но рождшую скверняху своими нечистоты. Зла земля не терпящи, стонет о сем; заступающая о нас в бѣдах крѣпкая Помощница, бѣднѣ гнѣваяся, негодует и отвращает лице свое. . .» (РИБ, XIII, стлб. 379).

Итак, соответствующие представления прослеживаются в самых разнообразных литературных и фольклорных источниках. Необходимо добавить, что они до сего дня бытуют в народе, особенно устойчиво сохраняясь в Белоруссии. Так, летом 1982 г. Полесской экспедицией было записано следующее поверье: «Грѣшно ругацца, сквѣрняеш матэрь Божью и матъ сваю и землю. Вабшчэ нельзя ругацца — ты праскварнил зямлю, зямля пад табой гарыць» (Топорков, 1984, с. 231, № 11); характерным образом здесь особенно подчеркивается соотнесенность матерной брани с землей, ее воздействие на землю. Ср. еще другую запись, сделанную в том же регионе: «Матерна ругацца грех, ты матъ-сыру землю ругаеш, патаму шта матъ-сыра земля нас дэржыць, матэрь Гасподня ў землю уежжае, праваливаецца ат етай ругани, крэпка скорби у ее бальшыя, што мы ругаем ее — топчем, ў гразь кидаем и ана шчытаецца у нышчате бальшой» (там же, с. 231, № 9).

2. Совершенно очевидно, что основное значение в подобных представлениях принадлежит именно Матери Земле, которая может ассоциироваться как с женщиной-матерью, так и с Богородицей: речь идет, собственно, о материнском начале, которое прежде всего выражено в культуре Матери Земли, а с принятием христианства распространилось на Богородицу. Сопоставление Матери Земли с родной матерью человека достаточно обычно вообще в древнерусских текстах; это сопоставление в принципе может принимать характер прямого отождествления¹⁰. Важно отметить в этой же связи, что в цитированных выше материалах, как правило, говорится о том, что матерная брань поносит не только (или не столько) мать собеседника, к которому обращено ругательство, но прежде всего — родную мать самого бранящегося¹¹; это вполне понятно, если иметь в виду, что по своему первоначальному смыслу матерная брань является не оскорблением, а скорее заклинанием, заклятием, проклятием и т. п., о чем уже говорилось выше. Соотнесенность материцы именно с родной матерью человека соответствует соотнесенности ее с Матерью Землей или Богородицей, которые и находятся к нему в том же отношении, что родная мать. Вместе с тем, в отличие от родной матери отдельного человека, Земля и Богородица воспринимаются как «общая мать» всех людей (см., например: Марков, 1910, с. 321, 365, 422)¹². Именно такое восприятие оказывается наиболее актуальным для матерной брани. Соответственно, исследователь белорусской духовной культуры, констатируя «представление о земле как о всеобщей матери» у белоруссов, замечает: «поэтому, между прочим, считается предосудительным ругаться материнскими словами, чтобы не оскорбить чести матери земли» (Богданович, 1895, с. 21).

3. Исключительно характерно в этой связи магическое совоку-

пление с землей, имеющее, несомненно, языческое происхождение; именно так иногда объясняют ритуальное катание по земле в сельскохозяйственных обрядах (Кагаров, 1918, с. 117, со ссылкой на устное выступление Д. К. Зеленина; Кагаров, 1929, с. 56; Толстой, 1979, с. 314, 323). Знаменательно, что такое оскорбление матери Земле приравнивалось к обиде РОДИТЕЛЯМ — в одном древнерусском епитимейнике читаем: «Аще ли отцу или матери лял или бил или, на земль лежа ниць, как на женѣ играл, 15 дни [епитимии]» (Алмазов, III, с. 151, № 44; Смирнов, 1913, с. 273–274); отсюда вообще запрещалось лежать на земле ничком (Алмазов, III, с. 155, 195, 275, 279; Смирнов, 1913, прилож., с. 46, № 15; Соболев, 1914, с. 7). Глагол *ляль* в этом контексте, безусловно, относится к матерной брани — таким образом, матерщина и совокупление с землей выступают здесь как явления одного порядка; такое же символическое уподобление имеем, по-видимому, и в исповедной формуле: «Согрѣших, ниць лежа на земли и на водѣ ГЛУМОМ ПОДОБНАЯ ВЛУДУ СОТВОРЯХ» (Смирнов, 1913, с. 274, примеч.). Ср., вместе с тем, обращение девиц к празднику Покрова с просьбой о замужестве, где обыгрывается внутренняя форма названия этого праздника, причем невеста уподобляется земле, понимаемой как женский организм: «Батюшка Покров, земелечку покрой снежком, а меня молодую женишком» (Болонев, 1975, с. 15; ср.: Макаренок, 1913, с. 115; Щуров, 1867, с. 196–197). Понимание земли как женского организма находит отражение в одной из «заветных сказок» А. Н. Афанасьева, где проводится сопоставление земли с женским телом: титьки — «сионские горы», пуп — «пуп земной», *vulva* — «ад кромешный» (Афанасьев, 1872, с. 112).

Мотив совокупления с землей имеет явные мифологические корни: именно представление о супружеских отношениях между небом и землей, дающих начало жизни, и лежит в основе восприятия земли как общей матери (см. выше, §III-2): «Ты небо отец, ты земля мать», — говорит древнерусское заклинание (Рыбников, III, с. 209; Афанасьев, 1865–1869, III, с. 778; Афанасьев, 1865–1869, I, с. 129; Иванов и Топоров, 1965, с. 101).

Совокупление с землей понимается прежде всего как ЕЕ ОПОДОБЛЕНИЕ, и это определяет характерное представление о БЕРЕМЕННОСТИ земли, которая разрешается урожаем. Такое восприятие отражается как в речевом употреблении (так, о земле говорят, что она «родит» хлеб и т. п.), так, между прочим, и в загадках. Ср., с одной стороны, загадку о вспаханном и засеянном поле: «Старик старушку шангил-лангил, заросла у старушки шанга-ланга» (т. е. орют поля и засевают, земля и закрывается) и, с другой стороны, загадку о беременной женщине: «Посеял Бог пшеницу, этой пшеницы не выжать ни попам, ни дьякам, ни простым мужикам, пока Бог

не подсобит» (Адрианова-Перетц, 1935, с. 503). Еще относительно недавно в России «зарывали в землю изображение мужского полового органа для ее оплодотворения» (Кагаров, 1929, с. 49; ср.: Зеленин, 1916, с. 280).

Сходным образом и в античном язычестве земля воспринималась как женский организм, а урожай трактовался как разрешение от бремени: смотря на небо, грек говорил, обращаясь к Зевсу: «проливайся дождем», а потом произносил, обращаясь к земле: «будь беременна» (Богаевский, 1916, с. 90). Отсюда объясняются как фаллические процессии, так и РИТУАЛЬНОЕ СКВЕРНОСЛОВИЕ (эсхрология) в античности (см.: Дитрих, 1925, с. 99; Богаевский, 1916, с. 57–59, 87–91, 183, 187; Пропп, 1976, с. 194–196; Фрейденберг, 1936, с. 107–110); при этом античное ритуальное сквернословие прямо соответствует, по-видимому, матерной брани в русских сельскохозяйственных и календарных обрядах, направленных на обеспечение плодородия (см. выше, §II-2). Совершенно так же объясняется и ритуальное обнажение в сельскохозяйственной магии, в равной мере характерное для античных и для славянских обрядов (см. об античности, например: Богаевский, 1916, с. 57, 61–62; о славянской сельскохозяйственной магии — Громыко, 1975, с. 133; Смирнов, 1927, с. 52; Кагаров, 1929, с. 51; и др. источники); при этом ритуальное обнажение и ритуальное сквернословие могут сочетаться у русских (Богаевский 1916, с. 59, примеч.), явно выполняя одну и ту же функцию. Отсюда же, наконец, выясняется и значение ритуальной вспашки как в античном, так и в славянском язычестве: вспашка, как и засев, может пониматься как *coitus* (см. об античности: Богаевский, 1916, с. 91, 189; о славянах — Потеня, 1914, с. 119–121); соответственно, фольклорный образ Божества, пахущего землю (см.: Успенский, 1982, с. 53), — вообще образ чудесного пахаря или чудесного сеятеля — может символизировать именно Божественный *coitus*, т. е. соитие с Землей и как следствие этого — ее оплодотворение. В некотором смысле все эти явления одного порядка: во всех этих случаях имеет место СИМВОЛИЧЕСКОЕ СОВОКУПЛЕНИЕ С ЗЕМЛЕЙ; в случае матерной брани эта символика реализуется в языковой сфере.

4. Для ассоциации Матери Земли с Богородицей представляет интерес следующее свидетельство, относящееся к Ярославской губ.: «Когда в засушливые годы (1920 и 1921 г.) некоторые из крестьян стали колотушками разбивать на пашне комья и глыбы, то встретили сильную оппозицию со стороны женщин. Последние утверждали, что делая так, те „бьют саму мать пресвятую богородицу”» (Смирнов, 1927, с. 6); в других случаях совершенно аналогичные запреты мотивируются опасением, что Мать Земля не родит хлеба (Афанасьев, 1865–1869, I, с. 143; Смирнов, 1913, с. 273)

или ссылкой на БЕРЕМЕННОСТЬ земли (Виноградов, 1918, с. 16–17; Зеленин, 1914–1916, с. 256; Зеленин, 1927, с. 353). В подобных запретах может проявляться, вместе с тем, и ассоциация земли с родной матерью; так, западные украинцы считают, что тот, кто бьет землю, бьет по животу свою мать на том свете; сходное поверье зарегистрировано и у поляков: «Kto umyślnie ziemię bije, ten swojā matkę bije i ziemia po śmierci go nie przujmie. . .» (Мошинский, II, 1, с. 510–511; ср. еще: Федеровский, I, с. 244, № 1166). Как видим, в соответствующих поверьях отражаются те же представления, что и в цитированных выше поучениях и апокрифических преданиях, относящихся к матерной брани, т. е. ассоциация Матери Земли, Богородицы и родной матери человека.

Ассоциация земли с Богородицей может находить отражение в иконописи: так на псковской иконе «Собора Богоматери» XIV в. из собрания Третьяковской галереи аллегория земли изображается в виде Богородицы на траве (Антонова и Мнева, I, с. 190–191, № 149 и рис. 101); эту икону иногда связывают с ересью стригольников (см., например: Рыбаков, 1976, с. 85). Знаменательно также, что в случае клятвы ЗЕМЛЕЙ, о которой мы специально будем говорить ниже (§III-7), могли употребляться как земля, так и икону Богородицы: при произнесении этой клятвы на голову клали дерн, а в руки брали икону Пречистой (Афанасьев, 1865–1869, I, с. 148; Смирнов, 1913, с. 275). Соответственно, в апокрифе, перечисляющем различные имена Богородицы, мы встречаем и такое наименование, как «земля святаа» (Тихонравов, II, с. 341).

Подобное отождествление особенно выразительно представлено у хлыстов: «в иных. . . кораблях хлысты, радея [речь идет о годовом радении около Троицына дня], поют песни, обращенные к „матушке сырой земле“, которую отождествляют с Богородицей. Через несколько времени богородица, одетая в цветное платье, выходит из ПОДПОЛЬЯ, вынося на голове чашку с изюмом или другими сладкими ягодами. Это сама „мать сыра земля“ со своими дарами. Она причащает хлыстов изюмом, приговаривая: „даром земным питайтесь, Духом Святым услаждайтесь, в вере не колебайтесь“. . .» (Мельников, VI, с. 355). В «Бесах» Достоевского Марья Тимофеевна говорит: «„А по-моему. . . Бог и природа есть все одно“. . . А тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: „Богородица что́ есть, как мнишь?“ — „Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого“. — „Так, говорит, Богородица — великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость“» (Достоевский, X, с. 116). Комментируя это место, Смирнов (1913, с. 266, примеч.) замечает: «Но это „пророчество“ о том, что земля есть Богоматерь, не находит параллелей в произведениях

народного творчества. Может быть, у Достоевского здесь просто символ». Мы видим, однако, что высказывание Марьи Тимофеевны прямо подтверждается этнографическими данными.

Отождествление Земли и Богородицы очень наглядно проявляется в их одинаковом наименовании. Как мы уже упоминали, как Земля, так и Богородица могут восприниматься как «общая мать» всех людей, соответственно, они и называются таким образом — древнерусские тексты в одних и тех же выражениях говорят о Земле («общая наша мати земля») и о Богородице («сія бо общая мати всѣм православным христіаном») (Марков, 1910, с. 365, 422; ВМЧ, ноябрь, стлб. 3299; Русский временник, I, с. 147). Вместе с тем, и Земля и Богородица могут одинаково именоваться «госпожою»; такое название, например, как *госпожинки~оспожинки~спожинки* может пониматься как в том, так и в другом смысле, обозначая как Богородичный праздник (Успения или Рождества Богородицы), так и праздник в честь окончания жатвы. Поскольку окончание полевых работ бывает приурочено обычно к Богородичным праздникам — что, надо думать, отнюдь не случайно, — само разграничение этих значений может быть до некоторой степени искусственным. Наконец, Богородица, как мы видели, может прямо называться «землей», так же как и земля — «богородицей» . . .

Остается отметить, что культ Матери Сырой Земли непосредственно связан в славянском язычестве с культом противника Бога Громовержца, в первую же очередь — с культом Мокоши как женской ипостаси, противопоставленной Богу Грозы (см.: Иванов, 1976, с. 271; Иванов и Топоров, 1965, с. 172; Успенский, 1982, с. 35, 53–54, 100). С принятием христианства почитание Мокоши было перенесено как на Параскеву Пятницу (которая может восприниматься, соответственно, как «водяная и земляная матушка» — Максимов, XV, с. 87), так и на Богородицу, вследствие чего Богородица и ассоциируется с Матерью Сырой Землей. Знаменательно в этом смысле, что в русских духовных стихах заповедь не браниться матерными словами может вкладываться в уста как св. Пятницы, так и Богородицы (Марков, 1910, с. 418). Между тем, в сербском языке матерное ругательство может относиться непосредственно к Пятнице (*јебем ти свету Петку*), причем такое ругательство считается самым сильным. Подобного рода ругательства следует сопоставить с цитированными выше текстами, где говорится, что матерная брань оскорбляет Богородицу: Богородица и Пятница выступают при этом, в сущности, как заместительницы Мокоши.

5. Итак, в матерной брани реализуются представления о совокуплении с Землей. Это объясняет, с одной стороны, ритуальное сквернословие в свадебных и сельскохозяйственных обрядах, с другой же стороны — характерное убеждение, что матерная брань

ОСКВЕРНЯЕТ ЗЕМЛЮ, что вызывает, в свою очередь, ГНЕВ ЗЕМЛИ. Представление о чистоте земли и о недопустимости ее осквернения очень актуально вообще для русского религиозного сознания, с особой выразительностью проявляясь в похоронной обрядности, в частности, в обрядах приготовления тела к погребению. Ценное свидетельство о значении подобных обрядов содержится, между прочим, в «Повести о боярыне Морозовой», где Морозова говорит, ожидая смерти: «Се бо хочет мя господь пояти от жизни сея и неподобно ми есть, еже телу сему в нечисте одежди возлещи в НЕДРЕХ МАТЕРИ СВОЯ ЗЕМЛИ» (Мазунин, 1979, с. 152). Соответственно объясняется обычай надевать чистую одежду в случае смертельной опасности. Так, русские солдаты перед битвой надевали чистое белье (Смирнов, 1913, с. 271). Ричард Джемс, говоря в своих записках (1618–1619 гг.) о русских похоронных обычаях, специально отмечает «суеверие относительно чистых одежд»; в этой связи он рассказывает о русском поселе, который в 1619 г. плыл в Англию и едва не потерпел кораблекрушения: «он поспешил вместе со всеми в трюм корабля, раздеваясь и надевая чистую рубаху, чтобы не потонуть в грязной» (Ларин, 1959, с. 114). Характерно также белорусское проклятие: «Каб цябе, божа, дай міленькі, нямытага як сабаку, у зямлю ўвалілі!» (Гринблат, 1979, с. 222). Ср. в этой связи восприятие смерти как брачного соединения с землей, которое находит отражение как в апокрифической литературе, так и в фольклорных текстах — погребение мертвеца может трактоваться именно как брачная ночь (Смирнов, 1913, с. 271, примеч.)¹³.

Тот же комплекс представлений еще более ярко проявляется в отношении к т. н. «заложным», т. е. НЕЧИСТЫМ покойникам (самоубийцам, колдунам, грешникам, иноверцам и т. п.), которых нельзя хоронить в земле именно ввиду того, что они оскверняют ее: земля не принимает тела таких покойников, и их захоронение вызывает стихийные бедствия (см.: Зеленин, 1916; Зеленин, 1917), т. е. приводит к тем же последствиям, что и матерная ругань¹⁴.

Соответственно, отношение матерной брани к земле, ее направленность на землю может реализоваться в плане, так сказать, могильной семантики, т. е. в соотношении с культом мертвых. Поскольку земля воспринимается как место обитания предков («родителей»), культ земли непосредственно смыкается вообще с культом предков. Очень характерно, например, убеждение, что МАТЕРЩИНА ТРЕВОЖИТ ПОКОЯЩИХСЯ В ЗЕМЛЕ «РОДИТЕЛЕЙ», ср. уже цитированное выше полесское поверье: «Як ругаецца, пад табой зямля гарыць, ты трогаеш з зямлі маты, з таго свету маты ты трогаеш, ана ляжыць, а ты трогаеш...» (Полесский архив: Брянская обл., Стародубский р-н, дер. Картушино, 1982 г.); совершенно так же могут считать, как мы видели, что тот, кто бьет по зе-

мле, бьет по животу свою мать на том свете (Мошинский, II, 1, с. 510–511). Это, в сущности, реализации одного и того же общего представления, в основе которого лежит соотношение культа земли и культа предков. Еще более показательны сербские ругательства с упоминанием МЕРТВОЙ матери (*jebeš ti mrtvu majku*). Между тем, Олеарий, приводя русское матерное ругательство (которое он транскрибирует как *butzfui mat*), дает немецкий перевод, который дословно не соответствует приводимому ругательству, но обнажает его смысл: «ich schende deine Mutter ins Grab» (Олеарий, 1656, с. 191; ср.: Олеарий, 1647, с. 130, а также: Олеарий, 1906, с. 187 — русский перевод А. М. Ловягина не вполне точен в этом месте). Как видим, в немецком тексте прибавлены слова «... ins Grab» («... в могилу»), отсутствующие в исходном русском выражении. Олеарий, видимо, воспользовался услугами своих русских информантов, которые и объяснили ему СМЫСЛ данного выражения. Не исключено, вместе с тем, что немецкий перевод относится к более распространенной русской конструкции, нежели та, которую цитирует Олеарий. Необходимо иметь в виду в этой связи, что могильные ассоциации матерщины очень выразительно проявляются при распространении основного (трехчленного) матерного выражения — так, к основному ругательству прибавляются слова *в могилу* или *в крест, через семь гробов* и т. д. и т. п. Эту могильную символику матерного ругательства следует понимать ввиду соотносительности матерщины с Землей — именно, как возможную конкретизацию этого общего соотношения.

Отсюда объясняется и характерное уподобление матерной брани зауспокойному поминанию, ср., в частности, *помянуть родителей* как эвфемистическое выражение, означающее 'матерно выругаться', а также специфические характеристики крепкой матерной брани, так или иначе связанные с темой мертвеца, типа *мертвый отчетя* и т. п.; такое же уподобление встречаем и в «Службе кабаку», ср. здесь: «... вместо понахиды родитель своих всегда поминающе матерным словом» (Адрианова-Перетц, 1977, с. 50).

Иллюстрацией к сказанному может служить исключительно любопытное дело «О неподобных и сквернословных делах коломнятина Терешки Егина» (1668–1675), дошедшее до нас в составе судного дела Иосифа, архиепископа Коломенского. Дело о Терешке Егине дает вообще ценный материал относительно функционирования матерной брани и ее возможных семантических актуализаций. Приказные, ведущие допрос, не могли воспроизвести матерную брань, т. е. сами ТЕКСТЫ (в силу табуированности выражений такого рода), и, вместе с тем, должны были передавать точный СМЫСЛ сказанного, как того требовала судебная практика; в результате мы имеем своеобразный перевод матерной брани, как

она воспринималась в ту пору, на язык СМЫСЛА — перевод, при котором обнажается то значение, которое было тогда очевидным или актуальным, но которое могло быть в дальнейшем утеряно; это создает поистине уникальные возможности для интерпретации интересующих нас выражений.

Здесь читаем: «И Борис сказал: в нынѣшнем де во 176-м году... была де у него Бориса с ним Терентьем на Коломнѣ в съѣзжей избѣ очная ставка, а на очной де ставкѣ слался он Борис на ЕГО ТЕРЕШКИНУ КОЖУ в его воровствѣ; и он Терешка на очной ставкѣ говорил и сквернил свою КОЖУ и КОСТИ матерны своими словами, и МАТЬ он свою РОДНУЮ матерными словами тѣм с[к]вернил погаными. И в том истец и отвѣтчик имались за вѣру... истец слался в том, что де тот Терентей КОЖУ свою и КОСТИ свои, МАТЬ свою сквернил словами и бранит матерны себя, на осадного голову Стефана Ѳедорова сына Селиверстова да съѣзжие избы на подъячего Игнатя Ѳедотова. И отвѣтчик Терентей в том на осадного голову Стефана Ѳедорова, что Терешка КОЖУ свою и КОСТИ и МАТЬ свою не с[к]вернил и матерны себя не бранил... слался ж; а на подъячего Игнатя он Терешка не слался» (Титов, 1911, с. 77).

Совершенно очевидно, что слово *кожа* в первой фразе репрезентирует сочетание *кожа и кости*, т. е. выступает именно как компонент этого сочетания, как результат его компрессии. Между тем, выражение *кожа и кости* представляет собой древнее фразеологическое единство (образовавшееся, по-видимому, еще в индоевропейском праязыке), семантика которого определяется, можно думать, представлением об облике МЕРТВОГО ТЕЛА (отсюда вторичное значение добычи, крайней изнеможенности и т. п. в случае применения этого выражения к живому человеку — ср. выражение *живые мощи*, где имеет место такой же в точности семантический ход, т. е. реализуется та же метафора). Характерно вообще, что *кость* (*кости*) может выступать в значении «останки, тело умершего», а также «род, племя» (Срезневский, I, стлб. 1297–1298; Сл. РЯ XI–XVII вв., VII, с. 373; СРНГ, XV, с. 87; Даль, 1911–1914, II, стлб. 452); соответственно, *шевелить мертвые кости* означает «поминать усопших» (СРНГ, XV, с. 88). Последнее выражение имеет непосредственное отношение и к клятве КОСТЬМИ, т. е. прахом родителей, ср., например, характерное предупреждение против лжесвидетельства в случае клятвы такого рода: «*Не шевели даром костями родителей!* — говорит свидетель [подобной клятвы]. — *Страшна мука за мертвых!*» (Макаров, 1828, с. 197). Отсюда *костить* означает «бранить» (Макаров, 1846–1848, с. 127), *коститься* «браниться, ругаться» (СРНГ, XV, с. 75) и т. д.¹⁵

Итак, выражение *кожа и кости* в цитированном тексте относит-

ся к останкам, трупу. Вместе с тем, осквернение «кожи и костей» матерной бранью понимается как осквернение родной матери — это прямо расшифровывается в тексте: «...сквернил свою кожу и кости матерны своими словами, и мать он свою родную матерными словами тем сквернил погаными... кожу свою и кости свои, мать свою сквернил» и т. п. — т. е. речь идет О ТРУПЕ МАТЕРИ, о кощунственном осквернении родительского праха. Одновременно в данном тексте с предельной ясностью указывается на то, что матерная брань, в сущности, обращена на самого говорящего (ср. в особенности конструкцию: «...бранит матерны себя»); матерная брань, оскорбляя родителей говорящего, оскорбляет тем самым и его самого, как представителя и продолжателя РОДА — можно сказать, таким образом, что в данном случае реализуется представление о человеке в его филогенетической сущности, в его отношении к роду. Это — одна из возможных семантических актуализаций матерной брани.

И в других судебных делах можно встретить указания на то, что матерная брань направлена на оскорбление рода, ср., например: «Стояли они [свидетели] на площади против города и то слышали, Иван Ратаев... лалял всякою неподобную ЛАЕЮ МАТЕРНО с тѣм кто де тебя родил со всѣм родом» (АМГ, I, с. 179, № 154, 1622 г.). Соответственно, в одном из вариантов рассмотренного выше (в §III-1) поучения против материщины читаем: «Тѣм же скверным словесем скорбь велию праодителем своим сотворяет человек» (Марков, 1914, с. 25). Именно в этом смысле следует понимать, по-видимому, цитированные выше (§II-2) древнерусские тексты, где говорится, что материщина бесчестит ОТЦА и МАТЬ — во всех этих случаях речь идет, по-видимому, об оскорблении РОДА, т. е. в конечном счете о представлениях, связанных с культом предков.

6. С тем же комплексом представлений может быть связано и характерное поверье, что в результате матерной брани земля проваливается, опускается и т. п., ср., например, «Ис'л'и мѣт'ирком зѣручаис'си, на тр'и аршина з'имл'а н'ижит'», т. е. 'Если матерно выругаешься, земля на три аршина опустится' (Дедулинский словарь, 1969, с. 290, 343). Дальнейшее развитие этой темы мы имеем в уже цитированной полесской записи, где это представление связывается с культом Богородицы: «Матерно ругацца грех, ты мать сыру Землю ругаеш, патаму шта мать сыра Земля нас дэржыть, мать Гасподня ў землю уезжае, ПРАВАЛИВАЕЦЦА ат етай ругани...» (Полесский архив: Гомельская обл., Ветковский р-н, дер. Присно, 1982 г.).

Совершенно очевидно, что в основе подобных высказываний лежит представление о том, что земля РАСКРЫВАЕТСЯ, РАЗМЫКА-

ЕТСЯ, РАЗВЕРЗАЕТСЯ, РАЗВАЛИВАЕТСЯ от матерного ругательства. Это представление может приобретать космические масштабы, т. е. описываться как мировой катаклизм, что мы и наблюдаем в цитированных выше (§III-1) текстах: как мы видели, с матерной бранью устойчиво связывается мотив землетрясения, потрясения земли, которое воспринимается как закономерное и неизбежное следствие матерщины (ср. еще: «Ат дурнэй брани мать-сыра зимля здригнетца» — Добровольский, III, с. 116). Ввиду отождествления Земли и Богородицы, это представление естественно переносится и на Богородицу, ср.: «Аще который день челоуѣкъ матерно ругаетсѧ, . . . земля потрясется и мать Божія на престолъ вострепещетсѧ» (Шереметев, 1902, с. 58; ср. также: Родосский, 1893, с. 426; Марков, 1914, с. 29, 30, 32, ср. с. 25);

Един человек однажды в день по-матерну избранится, —
Мать сыра земля потрясется,
Пресвятая Богородица с престола сотранѣтся.
(Успенский, 1898, с. 180; ср.: Бессонов, VI, с. 71–72, № 564)

Соответствующие высказывания о Земле и Богородице, в сущности, выступают как синонимичные — одно дополняет другое.

В предельном случае это представление может принимать эсхатологический характер, т. е. непосредственно смыкаться с представлениями о конце света и Страшном суде. Когда протопоп Аввакум в своем толковании на XLIV-й псалом говорит о Никоне и его сторонниках: «Богородицу согнали со престола никоніяня-еретики, воры, блядины дѣти» (РИБ, XXXIX, стлб. 458) — он описывает, в сущности, конец света, конец Святой Руси, бывшей (после падения Византии) единым оплотом православия во вселенной; характерным образом это описание совпадает с описанием катастрофических последствий, вызываемых матерной бранью, — в обоих случаях реализуются эсхатологические представления.

Совершенно так же мотив ПОТрясения земли является обычным мотивом в духовных стихах о Страшном суде; одновременно здесь же говорится об огненной реке, пожирающей всю тварь земную и о пробуждении мертвых (см.: Бессонов, V, с. 65–104, № 441–449, 451–467, ср. также с. 116, 118, 125, № 474, 475, 478). Ср., например:

Плачем, возрыдаем,
На смертный час погибнем!
Да будет последнее время:
Тогда земля потрясѣтся,
И камни все распадутся,
...

Пройдѣт река огненная,
Пожрѣт она тварь всю земную.
Архангелы в трубы вострубят
И мѣртвых из гробов возбудят:
И мѣртвые все восстанут,
Во един лик они будут.
(Бессонов, V, с. 88–89, № 458)

Ср. еще:

Земля потрясется з гласа трубного,
Не терпѧ страха того дня судного,
И стихии все, от тоего места
Подвигшися будут, якоже невеста.
(Бессонов, V, с. 102, № 467)

В последнем стихе, видимо, имеется в виду потрясение как земли, так и отождествляемой с ней Богородицы («невесты»), что в точности соответствует представлениям о последствиях матерной брани. Вообще духовные стихи о матерной брани и о Страшном суде обнаруживают разительную близость, что очень наглядно проявляется в их названиях: так стих о матерщине может называться стихом «О Страшном суде» (см., напр.: Варенцов, 1860, с. 159–160) и наоборот — стих о Страшном суде может именоваться стихом «О матерном слове» (см., напр.: Ржига, 1907, с. 66).

Сближение представлений о матерной брани с эсхатологическими представлениями объясняет и характерное поверье, что от матерного слова земля ГОРИТ, ср. полесские свидетельства, которые по другому поводу мы уже отчасти цитировали выше: «Грѣшно ругацца, сквѣрняеш матѣрь Божью и мать сваю и зѣмлю. Вабшчѣ нельзя ругацца — ты праскварнил землю, зямлѧ пад табой ГАРЫТЬ»; «Як ругаецца, пад табой зямлѧ ГАРЫТЬ, ты трогаш з зямли мать, з таго свету мать ты трогаш. . .» (Полесский архив: Брянская обл., Стародубский р-н, дер. Картушино, 1982 г.); «ПАД НАМИ ЗЕМЛЯ ГАРЫТЬ: матки валим — матку родную ругаэм. Мы матку сыру-землю праругаэм»; «Зямлѧ ГАРЫТЬ АТ НАШЫХ СЛОУ, И БУДЕ ГАРѢТЬ, ПАКУЛЬ НЕ ПРАВАЛИЦА. Гаваряць, што ана гарыць на тры [километра]: „Ат вас, сукины дети, земля гарыць тры кыламетры!“ А ана па калены ужѧ гарыць»; «Зямлѧ АТ ЖѢНШЧЫН ГАРЫТЬ, ат таго, што жѢншчыны ругаюца: „А идрить тваю налева“, „А ядять тваю мухи“, „Ёлки зялёныє”» (Полесский архив: Гомельская обл., Ветковский р-н, дер. Присно, 1982 г.). Образ земли, которая горит вследствие беззаконий человеческих, мы встречаем и в духовных стихах о Страшном суде:

Загорится мать сыра земля,

Совершится земля на тридевять локоть,
За наше велико согрешение,
За наше велико беззаконие.

(Бессонов, V, с. 159, № 485, ср. с. 157, № 484, с. 154,
№ 483; Варенцов, 1860, с. 154)

Загорится матушка сыра земля:
Со восхода загорится до запада,
С полуден загорится да до ночи.
И выгорят горы со раздольями,
И выгорят леса темные.

(Бессонов, V, с. 122, № 477)

Итак, образ горящей земли воплощает в себе представление о конце света. Образ этот непосредственно связан с поверьями об огненной реке, текущей в день Страшного суда (ср. об огненной реке: Успенский, 1982, с. 58-59, 143-144). Эсхатологические последствия матерной брани очень выразительно описываются в духовном стихе «О матерном слове» (частично уже цитировавшемся), где фигурирует как огненная река, так и колебания Матери Земли:

Вы, народ Божий-православный,
Мы за матерное слово все пропали,
Мать Пресвятую Богородицу прогневили,
Мать мы сыру-землю осквернили;
А сыра-земля матушка всколебается,
Завесы церковныя разрушаются,
Проидет река к нам огненная,
Соидет судия к нам праведная.

(Ржига, 1907, с. 66)

Мы видим, что последствия матерной брани могут описываться в эсхатологических терминах, дословно совпадая с описанием Страшного суда.

Необходимо отметить, что как мотив раскрытия земли, так и мотив огненной реки обнаруживает определенную связь с более общими мифологическими представлениями, прежде всего — с мифом о Громовержце. Соответственно, в духовных стихах «О Страшном суде» мы находим иногда описание того, как гром поражает землю — размыкание земли и огненная река предстают при этом именно как последствия громового удара:

Подымутся с неба волменский [молненный] гром,
Волменский петры [?] гром трикающий [?]
Приразит народу много грешного ко сырой земле,
Росшибет мать сыру землю на две полосы.
Роступится мать сыра земля на четыре четверти;

Протечет грешным рабам река огненна
От востоку солища до запада,
Пламя пышет от земли и до небеси...

(Варенцов, 1860, с. 167; Бессонов, V, с. 134-135, № 478, вариант)

Мотив раскрытия, размыкания земли типичен и для похоронных причитаний; соответственно, и в этих текстах раскрытие земли может связываться с громовым ударом:

Расшиби-ко ты, громова стрела,
Еще матушку — мать сыру землю.
Развились-кось ты, мать сыра земля,
На четыре все сторонушки...

(Агренева-Славянская, III, с. 62)

Показательно в этом смысле и полесское поверье, где громоу удар связывается как с раскрытием, так и с оплодотворением земли: «И пака не вазбуде гром Зямли, то дошч не пойде. Як гром да маланья — Земля же движеца, раствараэца. И пайдёт дошч» (Топорков, 1984, с. 230-231, № 5)¹⁶.

Мы можем констатировать, что матерная брань и громоу удар предстают как функционально эквивалентные явления, которым приписываются одни и те же последствия. В этом смысле представляется неслучайной ассоциация материщины с грозой или громом, которая была отмечена выше (§II-3). Эта ассоциация становится более или менее понятной, если видеть в громовом ударе, раскрывающем («расшибающем») землю, отражение представлений о супружеских отношениях между небом и землей (см. выше, §III-3); ср. в этой связи поверье о весеннем размыкании земли во время первого грома (Успенский, 1982, с. 146-147), которое воспринимается, в сущности, как необходимое условие БЕРЕМЕННОСТИ земли, разрешающейся в конце концов урожаем. Соответственно, как матерная брань, так и громоу удар может символизировать представление о совокуплении с землей (понимаемой как женский организм), что и обуславливает их ассоциацию. Мотив совокупления с землей и мотив освобождения из земли, вообще говоря, связаны друг с другом: в обоих случаях реализуется представление о раскрытии, размыкании земли. Отсюда образ громоу удара, раскрывающего землю, появляется в похоронных причитаниях и в духовных стихах о Страшном суде: тема пробуждения мертвых ближайшим образом соответствует при этом представлению о том, что матерная брань тревожит мертвецов (см. выше, §III-5).

7. Полученные выводы позволяют связать матерную брань с целым рядом других ругательств или проклятий. Так, например, представление о том, что земля проваливается под воздействием

матерного слова, определенно соотносит матерные ругательства с такими ругательствами-проклятиями, как «Провал тебя возьми!», «Провалиться бы тебе в тартарары!», «Провалиться мне на этом месте!», «Каб я скрозь зямлі проваліўся!» и т. п. (Даль, 1911–1914, III, стлб. 1230–1231; Макаров, 1828, с. 187, примеч. 7; Иваницкий, 1890, с. 11; Шейн, II, с. 512, 515; Добровольский, III, с. 37; Гринблат, 1979, с. 197, 198, 208, 219, 220; ср. еще: Номис, 1864, № 3792, 6761; Гринблат, 1979, с. 223, 226). Совершенно так же представление о том, что земля ГОРИТ от матерной брани, соотносит матерщину с таким проклятием, как «Щоб під ним и над ним земля горіла на косовий сажень!» (Номис, 1864, № 3795; Афанасьев, 1865–1869, I, с. 142), тогда как представление, что земля ТРЯСЕТСЯ от матерного ругательства, находит соответствие в пожелании: «О, щоб над тобою земля (за)тряслась!» (Номис, 1864, № 3796; Афанасьев, 1865–1869, I, с. 142). Отсюда же может объясняться и такое украинское и белорусское ругательство, как «трясця твоей матері» («трасца тваёй мацеры», «трасца твае матары» — см., например: Сержпутовский, 1911, с. 57; Гринблат, 1979, с. 235). Слово *трясця* означает лихорадку, однако внутренняя форма этого слова обуславливает включение соответствующего ругательства в сферу матерной брани; соотнесение с матерщиной особенно наглядно проявляется в таком аграмматическом выражении, как «трясця твою мать» (ср. в «Страшной мести» Гоголя в сцене безумия Катерины: «А хто мене не полкобить трясця его мать!»), в котором можно усматривать контаминацию двух ругательств — основного (традиционного) матерного ругательства и насылания лихорадки.

Поскольку матерщина ассоциируется с громовым ударом, отражая в конечном счете миф о Громовержце и о супружеских отношениях между небом и землей, в более далекой перспективе матерное ругательство оказывается возможным соотносить с ритуальным призыванием грома, выражающимся в проклятиях типа «Разрази тебя гром!» (Афанасьев, 1865–1869, I, с. 251; Афанасьев, 1865–1869, III, с. 505; Иванов и Топоров, 1965, с. 13; Добровольский, III, с. 37; Добровольский, 1905, с. 297; Сержпутовский, 1911, с. 58, 59; Гринблат, 1979, с. 200, 212, 222, 224, 225, 239, 240), ср. также «Соньце-бтя побило!», «Убей мяне соўнца провидныя!» и т. п. (Афанасьев, 1865–1869, I, с. 69, 251; Номис, 1864, № 3666; Добровольский, 1905, с. 297). Характерны в этом смысле белорусские проклятия, где гром, подобно матерной брани, вызывает ТРЯСЕНИЕ: «Каб цябе пярун трас [или: забіў]!» (Гринблат, 1979, с. 225).

Как известно, формы проклятия определяют обычно характер клятвы: древнейшая клятва была, в сущности, самопроклятием, т. е. обречением себя в жертву, призыванием на себя кары в случае нарушения обета; не случайно слова, обозначающие клятву и

проклятие, образуются у славян от одного корня (Клингер, 1911, с. 32–33) и глагол *клясться* может иметь значение 'проклинать' (СРНГ, XIII, с. 335). Поскольку матерная брань может выступать в функции проклятия (а также заклятия), соответствующие выражения кажется возможным связать с клятвой землей, хорошо известной по многочисленным этнографическим описаниям (см. вообще о клятве землей: Афанасьев, 1865–1869, I, с. 146–149; Максимов, XV, с. 311, 314; Максимов, XVIII, с. 263–267; Смирнов, 1913, с. 274–275; Перетц, 1929, с. 919–921). Этнографические свидетельства, сообщая подробные сведения относительно ритуалов, сопровождающих клятву землей (кладут землю на голову, берут ее в рот или в руку, едят землю, кусают ее, целуют землю и т. п.), не дают сколько-нибудь четких указаний относительно самой клятвы, т. е. ее словесного выражения; можно предположить, таким образом, что матерное ругательство в одной из своих функций и представляло собой подобную формулу.

Наконец, рассмотренный материал позволяет связать матерщину с богохульством, широко представленным в западно-европейских (романо-германских) ругательствах; ярким примером могут служить хотя бы итальянские ругательства, где в соответствующих выражениях хулился непосредственно Богородица (типа *Madonna puttana* или *Madonna troia* и т. п.). Иностранцы наблюдатели, посетившие Россию в XVI–XVII вв., специально отмечают, что богохульство для русских нехарактерно, но что вместо этого они (русские) используют матерные выражения. По словам Герберштейна, русские «в клятвах и ругательствах редко употребляют имя Божие...». Общепринятые их ругательства наподобие венгерских...»; и далее приводится (в переводе) матерное выражение, употребительное как у русских, так и у венгров (Герберштейн, 1557, л. 43 об.; ср.; Герберштейн, 1557а, л. G/4; Герберштейн, 1908, с. 62). То же говорит и Олеарий: «При вспышках гнева и при ругани они не пользуются слишком, к сожалению, у нас распространенными проклятиями и пожеланиями с именованьем священных предметов, посылкою к черту... и т. п. Вместо этого у них употребительны многие постыдные слова и насмешки, которые я никогда бы не сообщил целомудренным ушам, если бы того не требовало историческое повествование»; далее следуют примеры русских ругательств, в основном матерных (Олеарий, 1656, с. 191; ср.: Олеарий, 1647, с. 130; Олеарий, 1906, с. 187). В свете вышесказанного совершенно очевидно, что те и другие выражения — западно-европейские (богохульные) и славянские (матерные) — могут быть одного происхождения, т. е. восходить к общему источнику. В самом деле, и русская матерная брань, как мы видели (см. §III-1), может восприниматься как оскорбление

Богородицы, поскольку представления о Богородице связываются с культом Матери Земли; иначе говоря, исходная идея об оскорблении Матери Земли, лежащая в основе матерного ругательства, переносится на Богородицу. Об этом определенно говорится в некоторых вариантах духовного стиха «Пьяница»:

Не велено матерным словом избраняться
Ни мужеску полу и не женскому:
Браним мы, скверним и поносим
Пресвятую Богородицу.

(Бессонов, VI, с. 98, № 572)

Пьяница матерним словом сквернится,
Бранится-ругается,
Он и не мать бранёт и ругает,
А по каждый час
Пресвятую Богородицу порицает...

(Бессонов, VI, с. 107, № 575)

О том же говорится и в стихе «Трудник»:

Матерным словом не бранитесь:
От матерного слова мы погибаем,
Мать Божию мы прогневаем.

(Бессонов, VI, с. 162, № 593)

Ср. также полесскую запись: «Багародица плачэ, што матку сваю ругаш. А ругаюца — Багародицу ж ругаю, и ў Хрыста, и ў Бога ругаюца. И ў Хрыста, ы ў Закон, ы ў Багародицу ругаюца: „Мать тваю такую, Багародицу”, — и ў Бога. Паэтому праругали ужэ Матэр Божаю, Багародицу» (Топорков, 1984, с. 231, № 12).

Итак, на основании произведенного анализа оказывается возможным установить семантические связи матерных выражений с целым рядом других ругательств или проклятий, как славянских, так и иноязычных.

IV. Субъект действия в матерном выражении: связь с мифологией пса

1. Выше была продемонстрирована связь матерной брани со славянским языческим культом; специальное внимание было уделено отражению здесь языческого культа Земли. При этом мы рассматривали объект действия в матерном выражении. Этот объект непосредственно обозначен, назван в тексте — словом *мать*, — и задача состояла, следовательно, в определении первичных (исходных) семантических связей, глубинной семантики, скрытой в

данном названии; как было показано, это название первоначально относилось к Матери Земле. Напротив, субъект действия, как правило, явно не выражен в матерной фразеологии, и создается впечатление, что он вообще может актуализовываться различным образом.

Русский мат в настоящее время знает три основных варианта ругательства (ср.: Даль, 1911–1914, I, стлб. 1304; Исаченко, 1965, с. 68), которые различаются по форме глагола: каждый вариант состоит из трех лексем — одних и тех же, — причем две последние лексемы всегда представлены в одной и той же форме, образуя стандартное окончание (... *твою мать*), тогда как форма первой лексемы (глагольной) варьируется. Здесь могут быть следующие возможности:

А. Личная форма глагола (*еб. . .*). Это, бесспорно, форма прошедшего времени; но какая именно? С наибольшей вероятностью она может быть опознана как форма перфекта, одинаковая для всех трех лиц; в этом случае она не содержит конкретного указания на лицо субъекта действия, но в данном контексте она может соотноситься либо с 1-м, либо с 3-м лицом ед. числа (об этом со всей определенностью говорит форма притяжательного местоимения *твою* — в случае 2-го лица ожидалась бы форма *свою*). Вместе с тем, в принципе можно предполагать здесь и старый аорист (типа *ид*); в этом случае мы имеем форму 1-го лица ед. числа.

Б. Форма императива (*еби. . .*), которая, вообще говоря, предполагает либо 2-е, либо 3-е лицо ед. числа, но не 1-е; в сочетании с местоименной формой *твою* (а не *свою*) более естественно предположение о 3-м лице субъекта действия.

В. Форма инфинитив (*ети. . .*), т. е. неличная форма; в данном случае мы вообще не располагаем какой бы то ни было информацией о лице субъекта действия.

Между тем, в южнославянских языках преимущественно употребляется глагольная форма 1-го лица ед. числа настоящего времени, хотя соответствующий глагол может выступать и в 3-м лице. Подобная форма (1-го лица ед. числа настоящего времени) в свое время возможна была, кажется, и в русском языке, насколько об этом можно судить по записям иностранцев: так, Олеарий цитирует выражения *butzfui mat* или *but(z)fui matir* (Олеарий, 1656, с. 190, 191), *butfui matir* (Олеарий, 1647, с. 130), а также *je butzfui mat* (Олеарий, 1656, с. 191, 195) или *ja butfui matir* (Олеарий, 1647, с. 125); при этом форма *but(z)fui mat (matir)* переводится «*ich schende deine Mutter. . .*» (Олеарий, 1647, с. 130; Олеарий, 1656, с. 191), или «*ich schende dirs. . .*» (Олеарий, 1647, с. 130) (ср. также: Олеарий, 1906, с. 186, 187, 192, 546, 547).

В западнославянских языках возможна как форма 1-го лица

настоящего времени (например, в словацком), так и форма 3-го лица прошедшего времени (например, в польском).

Итак, славянские языки не дают вполне четких показаний относительно того, с каким лицом соотносилась глагольная форма.

2. Кто же мыслится как субъект действия в матерном выражении? Для решения этого вопроса А. В. Исаченко привлек исключительно ценное свидетельство Герберштейна (см.: Исаченко, 1965). Говоря о русской матерной брани, Герберштейн отмечает, что русские ругаются на венгерский манер и приводит само ругательство в латинском переводе: «*Blasphemiae eorum, Hungarorum more, communes sunt: Canis matrem tuam subagitet, etc*» (Герберштейн, 1557, л. 43 об.), т. е.: «Общепринятые их ругательства наподобие венгерских: *Чтоб пес взял твою мать*, и проч.»; ср. в немецкой версии сочинения Герберштейна: «... *schelten gemeinglichen nahend wie Hungern, das dir die hund dein Muetier unrainigen*» (Герберштейн, 1557а, л. G/4). Как указывает Исаченко, латинская форма конъюнктива (*subagitet*) имеет значение пожелания или побуждения, которое в исходном русском тексте могло быть выражено формой императива или инфинитива (Исаченко, 1965, с. 70).

Итак, субъектом действия в полной форме матерного ругательства оказывается *пес (canis)*. Дошедшие до нас формы русских ругательств предстают как усеченные, что в какой-то мере и обуславливает их многозначность. Это во всяком случае можно утверждать для выражений с глаголом в императиве или инфинитиве; что же касается выражения с глаголом в личной форме прошедшего времени, то здесь, вообще говоря, остается возможность соотносить его и с субъектом в 1-м лице.

Тезис о том, что именно пес является возможным (а может быть и единственным) субъектом действия в матерном выражении, представляется бесспорным; выводы Исаченки, сделанные на русском материале (он почти не выходит за его рамки), находят яркое и вполне достоверное подтверждение в других славянских языках. Они подтверждаются прежде всего древнейшими документально зарегистрированными формами матерной брани, представленными в южно- и западнославянских текстах нач. XV в., а именно в болгаро-валашской грамоте 1432 г. (да *мѹ* ебе *пѣс* *женѣ* и *матере* *мѹ* — Богдан, 1905, с. 43, № 23; Милетич, 1896, с. 51, № 12/302) и в польском судебном протоколе 1403 г. (*cze pesz huchloszc*, т. е. 'niech się pies uchłóści' — Брюкнер, 1908, с. 132); см. об этих текстах выше, с. 63–64 наст. изд. В обоих случаях пес назван в качестве субъекта действия, и то обстоятельство, что показания древнейших источников согласуются со свидетельством Герберштейна, никак нельзя признать случайностью. Подобные же формы матерной брани широко представлены и в современных южнославянских

и западнославянских языках, ср., например, болг. *еба си куче майката*, сербск. *јебо (= јебао) те нас* или польск. *jebałę pies* (такого рода форму цитирует и Исаченко, 1965, с. 70); такая же форма, наконец, зафиксирована и в белорусском, т. е. восточнославянском языке (*ебаў яго пес* — Сержпутовский, 1911, с. 56).

Наконец, отражение той же фразеологии необходимо видеть и в таких ругательствах, как польск. *psia krew* (ср. также: *psubrat, psia jucha, psia dusza, psia para, sia kość, psi syn, psi naród, psie pokolenie, psie tajno, psie mięso, psia noga* и т. п.)¹⁷ или рус. *песуй под* (ср. также: *песья лодыга*), болг. *кучешко семе* (ср. также: *кучешко племе*). Выражения такого рода могут непосредственно связываться с матерью, ср. польск. *psia ci mać була* (Франко, 1892, с. 756) или *psia cię mać, psia mać* (Карлович и др., V, с. 412; Дорошевский, VII, с. 685); последнее выражение, по-видимому, соотносится с *jebana mać*. С тем же комплексом представлений опосредованно связано, очевидно, и такое выражение, как *сукин сын*. Характерно в этой связи, что в Полесье «сукиным сыном» называют того, кто матерится, ср. отклики на матерную брань, зарегистрированные в данном регионе: «Сукин сын, сучку кручонаю ругаэш, ты матку сваю ругаэш, а не мяне. Ай, матку тваю такую!», ср. также: «Сукин ты сын, матку сваю ругаэш сучку кручанаю!» или «Сукина доч, скулу б юй, што сукина сына радилá!» (Топорков, 1984, с. 231, № 13; *скула* — 'чирей'). Связь женщины с псом как бы превращает ее в суку; при этом поскольку матерная брань соотносится вообще с матерью говорящего (см. об этом выше, с. 69, 74, 77, 112 наст. изд.), говорящий сам оказывается «сукиным сыном».

3. Итак, матерное ругательство может соотноситься — эксплицитно или имплицитно — со псом как субъектом действия. Но наряду с этим, мы имеем ясные указания, что субъект действия может мыслиться и в 1-м лице.

Как это понимать? и как согласовать эти факты?

Разгадку находим в том же древнерусском поучении против матерщины («Повесть св. отец о пользе душевной всем православным христианом»), в котором засвидетельствована связь матерной брани с культом Матери Земли и которое мы специально рассматривали выше, см. с. 65 и сл. наст. изд. В этом поучении матерной брани приписывается ПЕСЬЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ: «И сїа есть брань песїа, псом дано [по другому списку: дана] есть лаяти, хрїстіаном же отнюд подобает беречися от матерна [слова]» (Родосский, 1893, с. 425–426; ср.: Марков, 1914, с. 28; РГБ, Больш. № 88, л. 42; РГБ, Больш. № 322, л. 34 об.; ГПБ, Погод. № 1603, л. 461 об.; ИРЛИ, Латг. № 79, л. 130 об.; ИРЛИ, оп. 24, № 102, л. 11). Ср. еще: «А сїа бран[ь] псом дана есть, а не православным хр[ь]тяном» (РГБ, Больш. № 422, л. 382 об.); «Дано бо есть псом лаяти, понеже бо

таковии скоти на то учинени суть; нам же православным христианом, отнюд такового дьяволя злохитрства и сквернаго матерня лаяня довлѣет всячески хранити себе» (Марков, 1914, с. 24); «А сия брань псом дана лаеть; а православным христианом отнюд беречися подобает от такового матернаго слова» (ГИМ, Вахр. № 453, л. 2; ср.: Марков, 1914, с. 32; ИРЛИ, Северодв. № 410, л. 44 об.; ИРЛИ, Лукьян. № 2, л. 288 об.)¹⁸. В менее ясных выражениях о том же говорится и в апокрифическом слове о матерной брани, с которым явно связано по своему происхождению сейчас цитированное поучение: «Глаголет Господь пречистыми Своими устами: аще кто во имя Мое вѣрует, тому человекѹ не подобает матерно бранитися, ибо оное слово, писаніе глаголет, псіе лаяше, которое лається во всякое время, а вы человекѹы» (Шереметев, 1902, с. 58; см. вообще об этом тексте выше, с. 66–67 наст. изд.)¹⁹.

То же представление отразилось и в глаголе *лаять*, который означает как 'latgare (лаять, брехать — о собаке)', так и 'maledicere, objurgare (бранить, ругать — о человеке)'; связь этих значений прослеживается и в других славянских языках, а также в греческом, латинском, санскрите (ср.: Фасмер, II, с. 468–469; Потеня, 1914, с. 157), и есть все основания полагать, что данная метафора относится к очень ранней стадии языкового развития — во всяком случае она, бесспорно, была уже в праславянском²⁰. Оба значения представлены и в других глаголах, относящихся к собачьему лаю — таких, например, как *брезать*, *брешишь*, *гавкать*, *звягать* и т. п. (Даль, 1911–1914, I, стлб. 312, 1682; СРНГ, III, с. 178; СРНГ, VI, с. 84; СРНГ, XI, с. 225). Мы вправе считать, что второе из этих значений связано прежде всего именно с матерной бранью и лишь опосредственно — с бранью вообще. Таким образом, в семантике глагола *лаять* и его синонимов выражена, в сущности, та же мысль о том, что матерная ругань представляет собой не что иное, как песий лай; это отождествление человеческой и песьей речи в одном случае выражается в языке (будучи закреплено в значении слова), в другом — в тексте (будучи предметом специального рассуждения на эту тему).

Совершенно так же глагол *собачить(ся)* выступает в значении «бранить(ся) непристойными словами» (Подвысоцкий, 1885, с. 160); ср. также *собачливый* как эпитет матерщинника²¹, *Обругай* как собачью кличку (Потеня, 1914, с. 158) и т. п.; и в этом случае поведение псов отождествляется с поведением людей, которые матерно ругаются. Между тем, в южнославянских языках в значении «бранить(ся), ругать(ся)» выступает глагол типа серб.-хорв. *псовати (се)*, по-видимому, совпадающий по своей внутренней форме с глаголом *собачить(ся)*; ср. серб.-хорв. *псовати мајку* «материть», *псовна псованье, псовка, псовст'* «(матерная) брань, ругань, руга-

тельство, etc.», *псовач* «сквернослов» или болг. *псувам* «ругаться, сквернословить», *псувня* «(матерная) брань, ругань, ругательство», *псувач* «сквернослов» и т. п. Равным образом и в старопольском языке был глагол *psac* «ругать, бранить, оскорблять» (Сл. стпольск. яз., VII, с. 389)²²; показательно, вместе с тем, что *jebac* и *tajac* могут выступать в польском языке как синонимы, означая «бранить, ругать» (Славский, I, с. 541). Дальнейшее семантическое развитие нашло отражение, по-видимому, в польск. *psuc się* «портить»; аналогичное значение характерно и для рус. *псуть (псовать)* или *собачить* (Даль, 1911–1914, III, стлб. 1400; IV, стлб. 334; ср.: СРНГ, X, с. 364), так же как и для нем. *verhunzen* (от *Hund* — Фасмер, III, с. 398). Характерно, что укр. *птувати* означает как «бранить», так и «портить» (Гринченко, III, с. 496), подобно тому как и рус. *собачить* объединяет оба этих значения, ср. еще белорус. *псуваць* «портить, вредить, губить; повредить чести и имени стороннего» (Никифоровский, 1897, примеч. 35); между тем, в чешском языке *psouti* означает «лаять», «бранить» и «портить» (Сл. чешск. яз., IV, 2, с. 513). Такого же рода семантическая эволюция представлена в кашубском, где *jabac* означает «портить» (Сыхта, II, с. 65); ср. в этой связи рус. просторечное *портить* «лишать невинности» (БАС, X, стлб. 1401). Ср. еще польск. *psota* «проказа, озорство»: можно предположить, что в основе данного слова лежит представление о беззаконной сексуальной связи, которое и объединяет семантику данного слова с общим значением матерного выражения²³. Возможна, впрочем, несколько иная трактовка приведенных форм (с корнем *пс-*), согласно которой сближение их со словом *пес* имеет вторичный характер (см. об этом ниже, § 4–4.2, в связи с обсуждением этимологии слова *пес*). Для нас достаточно констатировать во всяком случае сам факт сближения такого рода.

Итак, матерная брань, согласно данному комплексу представлений (которые отражаются как в литературных текстах, так и в языковых фактах), — это «песья брань»; это, так сказать, язык псов или, точнее, их речевое поведение, т. е. лай псов, собственно, и выражает соответствующее содержание. Иначе говоря, когда псы лают, они, в сущности, бранятся матерно — на своем языке; матерщина и представляет собой, если угодно, перевод песьего лая (песьей речи) на человеческий язык. В этой связи, между прочим, заслуживает внимания апокрифическое сообщение о Симоне волхве, помещенное в летописи под 1071 г. в контексте рассказа о языческих волхвах: «при апостолѣхъ. . . бысть Симонъ волхвъ, еже творяше волшьствомъ псомъ глаголати человекѣьскыи» (ПСРЛ, I, 1926, стлб. 180). Имеется в виду Симон волхв, упоминаемый в «Деяниях апостолов» (VIII, 9–24), однако он явно отождествляется в данном случае со славянскими языческими волхвами²⁴. Таким

образом, языческим волхвам приписывается, по-видимому, способность превращать песий лай в человеческую речь; есть основания предполагать, что результатом подобного превращения и является матерная ругань: связь матерщины с языческим культом выступает вообще, как мы уже знаем, очень отчетливо (см.: с. 57 и сл. наст. изд.). Наряду со свидетельствами о превращении песьего лая в человеческую речь, мы встречаем в славянской письменности и свидетельства о противоположном превращении; так, в Житии св. Вячеслава (по русскому списку) читаем: «друзіи же изменивше чловѣчскыи нравъ пескы лающе въ гласа мѣсто» (Сл. стсл. яз., III, с. 522)²⁵; ср. белорус. проклятие: «Каб ты, дай божачка, на месяц брахаў» (Гринблат, 1979, с. 216)²⁶. Итак, песий лай и человеческая речь явно соотносятся (коррелируют) друг с другом, подобно тому, как определенным образом соотносятся между собой собака и человек²⁷.

Отсюда именно объясняется возможность ассоциации субъекта действия в матерном выражении как с 1-м лицом, так и со словом *пес*: обе эти возможности не противоречат друг другу. В самом деле, матерная брань — это «песья брань», т. е. предполагается, что псы матерно бранятся, говоря о себе в 1-м лице; между тем, человек может либо повторять, воспроизводить «песью брань», либо употреблять те же выражения, говоря о псе в 3-м лице, т. е. приписывая ему роль субъекта действия. Таким образом, выбор между 1-м и 3-м лицом зависит, так сказать, от точки зрения: матерное ругательство может произноситься как от своего лица (с точки зрения человека — в этом случае субъектом является пес, т. е. субъект действия мыслится в 3-м лице), так и от лица самого пса (с точки зрения пса — в этом случае субъект действия мыслится в 1-м лице). В последнем случае человек как бы имитирует поведение пса, «лает» подобно тому, как лают псы.

Поскольку предполагается, что псы, когда лают, матерно бранят друг друга, обзывание «псом» может приобретать особый семантический оттенок, ассоциируясь с матерной руганью («лаянием»). Ср. сообщение I-й Новгородской летописи под 1346 г. «Того же лѣта прѣѣха князь великіи Литовскіи Олгерд, с своею братією с князи и с всею Литовскою землею, и ста в Шелонѣ на усть Пшаги рѣкы, а позываа Новгородцев: хошу с вами видитися [в других списках: битися], лаял ми посадник ваш Остафеи Дворянинец, называл мя псом» (ПСРЛ, III, 1841, с. 83); ср. в Златоусте XII в.: «аще ны кѣто, имена кыдаю, речеть: псе...» (Срезневский, II, стлб. 1778). Отметим еще в этой связи старопольское выражение *psu dawac* «aliquem cum contumelia sanem appellare» (Ст. стпольск. яз., VI, с. 118), ср. укр. *вибрав му пса* «выругал, выбранил» (Гринченко, III, с. 147), а также белорусский отзыв о бранящем человеке:

«Ату! (или: Во сабачуга!) у яго са рта па сабаки скачуть» (Добровольский, III, с. 47; Добровольский, 1914, с. 854); в подобных случаях может иметься в виду как прямое обзывание псом, так и матерная брань постольку, поскольку она ассоциируется со псом.

Восприятие пса как субъекта действия в матерном выражении может объяснять мотив отсылки к собакам в разного рода ругательствах, типа «Да ну его к собакам!» и т. п. (Полесский архив: Черниговская обл., Репинский р-н, дер. Великий Злеев, 1980 г.), ср. также выражение «Пес его знает» (или соответствующее полесское «Воўк его знае» — Полесский архив, там же). Показательно, что цитированные фразеологизмы коррелируют с такими же в точности выражениями, где на месте слова *пес* (или *собака*) представлено непристойное слово со значением «*testiculum virile*»: соответствующие слова выступают в одном и том же контекстном окружении, т. е. замещают друг друга, явно ассоциируясь по своему значению²⁸.

3.1. Соотнесение матерной брани с псом как субъектом действия проявляется в ряде моментов, объединяющих восприятие пса и матерщины. Так, например, подобно тому, как матерная брань служит средством защиты от нечистой силы (см.: с. 62–63 наст. изд.), собачий лай отгоняет демонов — соответствующие поверья зарегистрированы, в частности, на Украине и в Белоруссии, а также в Германии и Греции (см., например, Франко, 1892, с. 757; Романов, IV, с. 89, № 51; Клиnger, 1911, с. 251–252, 261); собачий лай часто сопоставляется при этом с пением петуха, а также с колокольным звоном²⁹. Вместе с тем, по южнославянским поверьям собака своим лаем пугает мертвецов (Клиnger, 1911, с. 261) — в точности так же, как матерная брань тревожит покойников (см. о матерщине в этой связи с. 74–77 наст. изд.). Аналогичное восприятие матерной брани может проявляться и в русских гаданиях, где лай собак предвещает замужество (см., например: Смирнов, 1927, с. 65–66, 69, 71, № 390–401, 458–459, 477; Никифоровский, 1897, с. 51, № 324, 326; Богатырев, 1916, с. 73; Добровольский, III, с. 9).

Богохульный характер матерной брани, эксплицитно проявляющийся в распространениях основного матерного ругательства (когда, например, слово *мать* распространяется в *душу мать, бога душу мать* и т. д. и т. п. — Драммонд и Перкинс, 1979, с. 20), согласуется с представлением о псе, лающем на Бога или на небо (ср. укр. «Вільно собаці и на Бога брехати», польск. «Wolno psu na Pana Boga szczekać», чешск. «Volno psu i na Boha láti» — Челаковский, 1949, с. 115, ср. с. 23; Адальберг-Крыжановский, II, с. 913, № 354; ср.: Потебня, 1914, с. 158; Номис, 1864, № 5190, 5191; Федеровский, IV, с. 269, № 7095; Гринблат, 1979, с. 289; Чубинский, I, с. 52–53).

Наконец, мы имеем ряд свидетельств о том, что южные славяне, а также венгры в торжественных случаях клялись СОБАКОЙ (см.: Дюканж, II, с. 96, s. v.: *per canem iurate*; Лаш, 1908, с. 51)³⁰; ср. греч. $\nu\eta$ или $\mu\alpha$ ($\tau\acute{o}\nu$) $\kappa\acute{\iota}\upsilon\alpha$ «клянусь собакой!»³¹. Эти свидетельства заставляют вспомнить цитированное сообщение Герберштейна, который указывает, что русские бранятся так же, как венгры («Hungarogum more») и в качестве иллюстрации приводит бранную формулу именно с упоминанием пса (*Canis matrem tuam subagitet*): как нам уже приходилось отмечать, функция клятвы непосредственно связана с функцией проклятия, присущей вообще матерной брани (см. с. 82–83 наст. изд.). Показательно в этом смысле, что Стоглавый собор 1551 г. одновременно осуждает обыкновение клясться и лаяться, т. е. ругаться матерной бранью «Иже крестіане кленутца и лаютца. Кленутца именем божіим во лжу всякими клятвами и лаютца. . . всякими укоризнами неподобными скаредными і бгоммерскими рѣчами еже не подобает хрестіаномъ, и во иновѣрцех таковое бесчиніе не творитца, како богъ трѣптитъ нашему безстрашію» (Стоглав, 1890, с. 67); оба действия предстают в данном контексте как соотнесенные.

4. В наши задачи не входит сколько-нибудь подробное выяснение причин, определяющих соответствующее восприятие пса; детальное рассмотрение этого вопроса увело бы нас далеко в сторону. Отметим только возможность ассоциации пса со змеем, а также с волком: как змей, так и волк представляют собой ипостаси «лютого зверя», т. е. мифологического противника Громовержца (ср.: Иванов и Топоров, 1974, с. 57–61, 124, 171, 203–204), и, вместе с тем, олицетворяют злое, опасное существо, враждебное человеку (см. экскурс I).

Для нас существенно во всяком случае представление о НЕЧИСТОТЕ ПСА, которое имеет очень древние корни и выходит далеко за пределы славянской мифологии³². Это представление о нечистоте, скверности пса очень отчетливо выражено, между прочим, в христианском культе: пес как нечистое животное эксплицитно противопоставляется святыне (ср. евангельское: «не дадите святая псам» — Матф. VII, 6) и, соответственно, оскверняет святыню. В христианской перспективе псы ассоциируются с язычниками или вообще с иноверцами. Такое восприятие прослеживается уже в Новом Завете (ср.: Матф. VII, 6; XV, 26–27; Марк VII, 27–28; Откр. XXII, 14–15); отсюда у русских и вообще славян слова *пес* или *собака* означают иноверца, ср., в частности, устойчивое фразеологическое сочетание *собака татарин* (Даль, II, с. 66), отразившееся и в эпическом образе *собаки Калина-царя* (подробнее об этом образе см.: Якобсон, IV, с. 64–81)³³. Цитированное выше высказывание

князя Ольгерда (из I-й Новгородской летописи под 1346 г.): «Лаял ми посадник вашь. . . назвал мя псом» (ПСРЛ, III, 1841, с. 83) может быть сопоставлено с аналогичным высказыванием короля Ягайла и князя Витовта (сына и племянника Ольгерда), которые, по свидетельству той же летописи (под 1412 г.), говорят новгородцам: «ваши люди нам лаяли, нас безчествовали и срамотилъ и нас погаными звалъ» (ПСРЛ, III, 1841, с. 105). Итак, новгородцы ругали литовских князей, называя их «псами» и «погаными»; эти названия выступают как синонимы и, очевидно, обусловлены тем обстоятельством, что литовские князья воспринимались как иноверцы. Подобным же образом, польская песня называет «псами» мазуров (ср. вообще о соответствующем восприятии мазуров: Потенбня, 1880, с. 170; Франко, 1892, с. 755–756), подчеркивая при этом, что они верят не в Бога, а в «рарога», т. е. в демоническое существо языческого происхождения (название *рарог* связано, возможно, с *Сварог*, т. е. с именем языческого божества — Иванов и Топоров, 1965, с. 140–141):

Oj i psy Mazury, da i psy, da i psy,
Oj szly na Kujawy, da i szly, da i szly.
Oj zobaczyly raroga da i myslaly ze boga
(Кольберг, IV, с. 254–255)³⁴

Особенно показательно в этом отношении выражение «песья вера», которое бытует в славянских языках в качестве бранного выражения, относящегося к иноверцам, ср. рус. *песья вера* или *собачья вера* (Даль, 1911–1914, I, стлб. 814), укр. *пся віра* или *собача віра* (Гринченко, I, с. 239; Гринченко, II, с. 163; Гринченко, III, с. 496), польск. *psia wiara* (Франко, 1895, с. 118–119), сербск. *пасја вјера* (Караджич, 1849, с. 246), словенск. *pasja vera* (Плетершник, II, с. 11), болг. *куча вяра* (Славейков, 1954, с. 327). «Песья вера» противопоставляется «крещеной», т. е. христианской вере и означает безверие (Даль, 1911–1914, I, стлб. 814) или вообще отклонение от правильной веры³⁵. Ср. украинскую частушку:

Oj cyhane, cyhanoczku
Pesia twoia wira:
Twoja zinka u seredu
Solonynu jita!
(Франко, 1895, с. 119) —

нарушение поста, обязательного по средам и пятницам, оказывает одним из признаков «песьей веры» (ср. белорус. *собачыцца* «нарушать пост» — Носович, 1870, с. 598); совершенно так же смерть

без покаяния воспринимается как «собачья смерть» (Михельсон, II, с. 288, № 577). Как считают украинцы, «lach żyd i sobaka, to wira ednaka» (Франко, 1895, с. 119).

В основе этого выражения («песья вера»), по-видимому, лежит представление о том, что как у собаки, так и у иноверца НЕТ ДУШИ в собственном смысле этого слова: «душа» и «вера» вообще непосредственно связаны по своей семантике, т. е. само понятие веры предполагает наличие души, и наоборот; душа собаки (или вообще всякого животного) и иноверца называется *пар* или *пара*, и, соответственно, выражение «песья пара» выступает в славянских языках как ругательство, синонимичное выражению «песья вера» и с ним коррелирующее, ср. польск. *psia para* (Франко, 1892, с. 756; Дорошевский, VII, с. 685), сербск. *pacja para* (Караджич, 1849, с. 246), словенск. *pasja para* (Плетершник, II, с. 11). По русскому поверью, «У татарина, что у собаки — души нет; один пар»³⁶, ср. также: «В скоте да в собаке души нет, один только пар» (Даль, 1911–1914, IV, стлб. 47). Точно так же и словенцы полагают, что «Pes ima paro, ne dušo» и, вместе с тем, утверждают, что у турков «песья вера» (ср. выражение *turški pasjevtetec* — Плетершник, II, с. 8, 11). Итак, наличие души выступает как определяющий признак, разделяющий весь мир на две части, между которыми, в сущности, не может быть общения: противопоставляются не люди и животные, но те, кто имеют душу (а, следовательно, и веру), и те, у кого она отсутствует. Это то, что в разных языках выражается в категориальном противопоставлении: «личное — неличное». По этому именно признаку собаки и объединяются с иноверцами: и те, и другие лишены общения с Богом (ср. чешск. пословицы «Pán Bůh psiho hlasu neslyší», «Psi hlas do nebe nejde» или польск. «Psi głos nie idzie do niebios», укр. «Собаки голоса не идут по від небеса» — Челаковский, 1949, с. 23; Адальберг-Крыжановский, II, с. 909, № 301; Номис, 1864, № 5193; Потехина, 1914, с. 158; Добровольский, III, с. 117; Федеровский, IV, с. 270, № 7109)³⁷, а тем самым и с людьми, объединенными верой³⁸. Поэтому, между прочим, считалось, что иноверцев нельзя хоронить на кладбище, но необходимо оставлять «псам на снадение»³⁹. То же говорит митрополит Петр относительно убитых «на поле» во время судебного поединка — как иноверцы, так и погибшие «на поле», т. е. умершие не по-христиански, относятся к общей категории нечистых (заложных) покойников, и поэтому их предписывается «псом поврещи» (Кушелев-Безбородко, IV, с. 187); соответствующее представление отражается в белорусских проклятиях (Гринблат, 1979, с. 232, 235). Предполагается, что такие покойники, будучи лишены общения с Богом, не попадают на Страшный суд (Успенский, 1982, с. 144), и, соответственно, они отдаются не Богу, но псам — выражение *соба-*

чья смерть получает при этом двойной смысл: с одной стороны, это смерть без покаяния (см. выше), а с другой — смерть, предназначенная для собак.

Отсюда объясняется, может быть, характерное упоминание души в матерной брани, столь частое при распространении основного ругательства, типа русского «... в Бога душу мать» (см. выше, § 4–3.1), ср. еще белорус. *Ябу-ж тваю душу* (Сергпутовский, 1911, с. 56) или старочешск. *Vyjevěna duše* (Котт, I, с. 482). Если признать, что субъектом действия является пес, — соответствующее высказывание символизирует отлучение от веры и, тем самым, превращение в пса.

В свое время в Московской Руси существовал специальный «Чин на очищение церкви, егда пес вскочит в церковь или от неверных войдет кто», который был отменен в результате реформ патриарха Никона (Никольский, 1885, с. 297–306; ср.: РИБ, VI, с. 257, № 32, с. 869, № 124, с. 922, № 134; РФА, с. 514–515, № 140; Смирнов, 1913, прилож., с. 148, № 140; а также с. 404–412; Мансветов, 1882, с. 148–149)⁴⁰; итак, присутствие пса оскверняет церковь (святое место), подобно тому как оскверняет ее присутствие иноверца — пес и иноверец объединяются именно по признаку нечистоты⁴¹. Точно так же духовному лицу в принципе запрещалось держать собаку. Вместе с тем, чернец, нарушающий канонические постановления, может нарицаться псом, а также медведем (Смирнов, 1913, прилож., с. 36, № 40–41)⁴²; знаменательно в то же время, что псом может именоваться и чернец, носящий огниво (там же, прилож., с. 305), — это, несомненно, связано с ролью огня в славянском языческом культе⁴³. Подобное отношение к собаке особенно наглядно проявляется у старообрядцев Олонецкой губернии, которые «при собаке не молятся Богу» (Зеленин, 1914–1916, с. 924) — присутствие собаки как нечистого животного исключает возможность общения с Богом⁴⁴.

Во всех этих случаях обнаруживается явная противопоставленность пса христианскому культу: пес связывается с антихристианским и прямо с бесовским началом⁴⁵. Неверно было бы полагать, однако, что соответствующее восприятие пса появляется на христианской почве: несомненно, представление о нечистоте пса имеет еще дохристианские корни, т. е. было характерно для славянского язычества.

Показательно в этом смысле, что приведенные выше установки, относящиеся к церкви, распространяются и на отношение к дому. Так, в частности, русские крестьяне не допускают собаку в избу, но всегда держат ее вне дома, во дворе — подобно тому, как собака оскверняет церковь, она оскверняет дом (ср. представление о том, что если собаку пустить в дом, то оскорбятся присутству-

ющие здесь ангелы — Никифоровский, 1897, с. 162, № 1224): как церковь, так и дом представляет собой чистое место, не допускающее осквернения. Еще более характерно правило, предписывающее разломать печь, если в ней умрет пес или оценится сука (Смирнов, 1913, прилож., с. 53, № 26, с. 60, № 55, с. 241, № 8), — подобно тому, как церковь, которую осквернил пес, требует переосвящения, печь в этом случае должна быть разрушена и воссоздана заново; печь при этом занимает особое место в славянских языческих верованиях.

Восприятие пса как нечистого животного выразительно проявляется в ритуальных выражениях (заклятиях или проклятиях), языческое происхождение которых не оставляет сомнений. С одной стороны, на пса как на нечисть отсылаются всевозможные уроки и призоры, т. е. порча, болезнь и т. п., ср. польск. или укр. *na psa urok* (Адальберг-Крыжановский, II, с. 897, № 140; Франко, 1892, с. 757; Номис, 1864, № 11835) или укр. *na sobaku* (Номис, 1864, № 322, 3805), белорус. *na sabachaj galave* с тем же значением (Гринблат, 1979, с. 232); этот мотив представлен и в сербских заговорах (Раденкович, 1982, с. 114, № 157). С другой стороны, нечистоте пса приписываются вредоносные свойства, ср. серб. проклятие *nasja te rђa ne ubila!* «чтоб тебя песья скверна убила!» (Караджич, 1849, с. 246) — отрицательная частица *ne* имеет здесь не отрицательный, но экспрессивно-усилительный смысл. Соответствующее восприятие нашло отражение в целом ряде фразеологизмов и идиоматических выражений, в частности, в таких идиомах, как *sobaku svetstь* или *gde sobaka зарыта* и т. п. (см. экскурс II).

Представление о нечистоте пса находит отражение в южнославянском восприятии «нечистых» дней как «песьих». Именно так, в частности, называются у сербов СВЯТКИ, ср. *nasja nedelja* как обозначение святок, а также восприятие Васильева дня как праздника пса (Кулишич, Петрович и Пантелич, 1970, с. 232); это согласуется с такими южнославянскими наименованиями святок, как болг. *нечисти дни, погани дни, мръски дни, некръстени дни* или серб.-хорв. *некрштени дани* (Зеленин, 1930, с. 221–222, примеч. К. Мошиньского). Точно так же вторник и среда на русальной неделе называются у сербов, соответственно, *nasji utopak* и *nasja sreda* (Кулишич, Петрович и Пантелич, 1970, с. 273, 295); русальная неделя, как и святки, обнаруживает очевидную связь с языческим культом (у македонцев русалии непосредственно отождествляются со святками — Шапкарев, 1884, с. 1)⁴⁶. Восприятие нечистого времени как «песьих» дней в косвенной форме прослеживается и у болгар (при том, что у болгар более употребительно наименование «волчьих» дней — ввиду обычной ассоциации собаки и волка, можно предположить, что «волчьи» дни и «песьи» дни

отражают одни и те же мифологические представления). Отсюда, в частности, объясняется болг. *пъсий* (или: *песи, пъси*) *понеделник* как наименование чистого понедельника, т. е. первого дня Великого поста (Геров, IV, с. 407; Маринов, 1981, с. 122, 507–508; Вакарелски, 1977, с. 508; Каравелов, 1861, с. 191). Этот день может считаться как у болгар, так и у сербов праздником пса (Маринов, 1981, с. 507–508; Кулишич, Петрович и Пантелич, 1970, с. 232). Соответствующее восприятие и наименование обусловлено, надо думать, тем, что чистый понедельник является первым днем после сырной недели, т. е. МАСЛЕНИЦЫ (болг. *Сирница* или *Сирни заговезни*): масленица, между тем, наряду со святками, купальскими днями и т. п. воспринимается как нечистое время, озаменованное ритуальным разгулом, пьянством, сквернословием и т. п. Существенно при этом, что обычаи, принятые в чистый понедельник, могут обнаруживать определенную связь с масленичными обрядами, выступая, в сущности, как их продолжение: это отражается и в наименовании данного дня⁴⁷. Таким образом, наименование чистого понедельника «песьим понедельником» у болгар может отражать восприятие масленицы как «песьего» времени; этому не противоречит то обстоятельство, что принятый в «песий понедельник» обычай гнать и мучать собак может осмыслиться как изгнание беса, который вселился в них в нечистое время (Вакарелски, 1977, с. 508; Каравелов, 1861, с. 191). Знаменательно, что такой же обычай — гнать собак и бить их — отмечается у македонцев на Васильев день (Шапкарев, I, с. 556), хотя этот день специально не называется здесь «песьим»; мы видим, однако, что у других южных славян Васильев день может восприниматься именно как «песий» день.

Восприятие нечистых дней как «песьих» находит соответствие в ритуальном сквернословии, принятом в такие дни (см. о святочном, купальском и т. п. сквернословии: с. 57–60 наст. изд.); ввиду соотнесенности матерной брани со псом, не исключено, вообще говоря, что именно ритуальное сквернословие и обуславливает соответствующее восприятие, т. е. наименование нечистого времени «песьими» днями⁴⁸.

4.1. Прямое отношение к матерной брани могут иметь легенды о сожительстве женщины с псом, которые зафиксированы как у славянских, так и у неславянских народов (ср. в этой связи типичный мифологический мотив сожительства со змеем). Эти легенды обычно связываются с происхождением того или иного племени, которое воспринимается в качестве «*generatio canina*»; можно предположить, что в основе преданий такого рода лежат тотемистические представления, т. е. собака выступает как родовой тотем (см., например: Кречмар, I; Сянь-лю, 1932; Копперс, 1930; Либрехт, 1979, с. 19–25; Франко, 1892, с. 750–756; Келлер, I, с. 137; Ники-

форов, 1922, с. 62, примеч.; Толстов, 1935, с. 12–13; Соколова, 1972, с. 113; ср.: Якобсон, IV, с. 67–68)⁴⁹. Возможность соотношения этих преданий с матерной бранью косвенно подтверждается тем обстоятельством, что совокупление женщины с псом может связываться с происхождением табака (см.: Романов, IV, с. 23, № 19; Перетц, 1916, с. 150; ср.: Романов, VIII, с. 283; Поливка, 1908, с. 380), так же как и картофеля, причем легенды о картофеле, появившиеся не ранее второй пол. XVIII в., непосредственно восходят к легендам о табаке (Перетц, 1902, с. 93, 96; Никифоров, 1922, с. 14, 78–79, ср. с. 73): согласно этим легендам, пес оскверняет женщину, плодом чего и является в конечном счете нечистое зелье. Употребление табака, наряду с пьянством, непосредственно ассоциируется вообще с матерным сквернословием: не случайно поучение против матерной брани может входить в состав легенды о табаке (см., например: Кушелев-Безбородко, II, с. 434; Львов, 1898, с. 599–600). Итак, легенда о табаке в одних случаях соотносится с мотивом совокупления с псом, в других — с матерной бранью, которая, как мы знаем, выражает ту же идею.

4.2. Остается добавить, что связь пса с совокуплением отразилась, возможно, в этимологии слова *пес*⁵⁰. В самом деле, это слово может быть соотносено с литовским *pisti* «coire, futuere», с которым этимологически связано, как кажется, рус. *пизда*; ср. лит. *pisa*, *pyzà*, *pizė*, *pyzdà* и т. п. Производным от данного глагола является лит. *pisius* со значением «nomen agentis», т. е. означающее собственно «futor», а также вторичные формы *pisnius*, *pizius*, которые в современном литовском языке имеют значение «распутник» (Сл. лит. яз., X, с. 35, 46); при этом форма *Pizius* зафиксирована у Я. Ласицкого (XVI в.) в его описании литовского языческого пантеона — оно фигурирует как имя божества, приводящего невесту к жениху и почитаемого юношами: «*Pizio iuventum, sponsam adductura sponso, sacrum facit*» (Ласицкий, 1615, с. 47; Манхардт, 1936, с. 356 и комментарий на с. 376–377; ср. еще: Ласицкий, 1969, с. 40 и комментарий на с. 80)⁵¹. Для литовского языка восстанавливается также форма **pisùs* со значением «склонный к совокуплению», ср. дошедшие до нас формы с осложнением основы: *pisnùs*, *pislùs* «распутник; тот, кто часто мочится» (Сл. лит. яз., X, с. 35); следует иметь в виду, что глагол *pisti* может иметь значение «мочиться». Слову *pisùs* и соответствует, по-видимому, славянское **pisü* (*пъсѹ*)⁵². Отсюда объясняется употребление слов *кобель* и *сука* в значении «распутник» и «распутница» в современном русском языке, которое отвечает значению слова *pizius* в современном литовском; в обоих языках соответствующие слова функционируют как ругательства⁵³. Не менее показательны контексты, где слово *пес* или *собака* заменяет слово с исходным значением

«*membrum virile*» (см. выше, § 4–3) — возможность такой замены обусловлена, по-видимому, ассоциацией значений *nomen agentis* и *nomen instrumentis*.

Ассоциация пса с сексуальным началом прослеживается также в греческом и латыни. Соответственно, как греч. *κύων*, так и лат. *canis* может означать «бесстыдник» (ср. еще греч. *κύνεος*, *κυνώπης*, *κυνόφρων* «бесстыдный» или лат. *canipus* с тем же значением)⁵⁴; знаменательным образом, вместе с тем, греч. *κύων* может выступать и в значении «vulva» (Келлер, I, с. 98). Подобного рода ассоциации наблюдаются и в армянском, ср., например, «*špaban*» (букв.: как собака) «бесстыжий, безнравственный» и т. п.

Таким образом, славянское **pisü* (*пъсѹ*) может трактоваться как табуистическая замена исконного индоевропейского слова **kiōn*, отразившегося в лат. *canis*, греч. *κύων* и т. п.⁵⁵ — в точности так же, как славянское **medvědi* (*медвьдь*) представляет собой табуистическую замену индоевропейского слова, отразившегося в лат. *ursus*, греч. *ἄρκτος* и т. п. Равным образом исконное индоевропейское название змеи, отразившееся в греч. *ἔχις* (ср. также греч. *ὄφις*, лат. *anguis*, отражающие, по-видимому, фонетические табуистические преобразования исходной формы), оказалось вытесненным в славянских языках табуистическим названием, производным от названия земли и означающим собственно «земной, ползющий по земле» (Гамкрелидзе и Иванов, 1984, с. 526–527; Фасмер, II, с. 100)⁵⁶. Едва ли случайно при этом то обстоятельство, что названные животные — змея, медведь и пес — мифологически ассоциируются с противником Громовержца (см. экскурс I; ср. о медведе: Успенский, 1982, с. 85 и сл.).

Если согласиться с предложенной этимологией, для славянских языков можно восстановить, по-видимому, исходную форму глагола **pisti* (*пъсту*) с основным значением «futuere». Заметим, что в этом случае цитированные выше (§ 4–3) формы типа рус. *псуть*, ст.-польск. *psać*, серб.-хорв. *psovati* и т. п., вообще говоря, могут трактоваться не как отыменные глаголы (производные от существительного, восходящего к **pisü*), а как формы, непосредственно восходящие к глаголу **pisti*; соотношение этих слов со словом, означающим «пес», предстает тогда как вторичное.

V. Некоторые выводы. Вопрос о форме местоимения

1. Итак, матерная брань связана как с культом земли (см. выше), так и с мифологией пса; земля выступает как объект, а пес — как субъект действия в матерном выражении. Если синхронизи-

ровать то и другое представление (т. е. если не соотносить их с разными хронологическими пластами), мы можем считать, что в основе матерной брани лежит образ пса, оскверняющего землю. Антагонистические отношения собаки и земли выразительно проявляются в украинском поверье, согласно которому «собаку, лежащую на строении или на плотине, вообще не НА ЗЕМЛЕ, нельзя заговорить» (Драгоманов, 1876, с. 30–31), т. е. заговор, предохраняющий от нападения собаки, оказывается недействительным, если собака не соприкасается с землей. Ср. еще белорусское выражение *выскаліў зубы як сабака на пятніцу* (Федеровский, IV, с. 361, № 9505; Гринблат, 1979, с. 298), которое представляет особый интерес, если иметь в виду соотношенность Мокоши-Пятницы с культом Земли (см. в этой связи с. 73 наст. изд.); вместе с тем, белорус. *патніца* означает нечистую силу (Бялькевич, 1970, с. 320), и, следовательно, данное выражение может быть поставлено в связь с убеждением, что собака отпугивает нечистую силу (см. § 4–3.1), — поскольку нечистая сила связана с землей, выходит из земли, обе интерпретации не противоречат друг другу, но относятся, скорее, к разным пластам мифологического сознания⁵⁷.

Замечательно в этом смысле, что греческая Геката, которая считалась вообще трехголовой, в орфической традиции изображалась с головой коня, льва и собаки, что соответствовало трем стихиям — воде, эфиру и земле: конская голова означала воду, львиная представляла эфир, тогда как голова СОБАКИ знаменовала Землю (Велькер, I, с. 566, примеч. 23)⁵⁸. Собаки играли при этом принципиально важную роль в культе Гекаты — настолько, что и сама она могла считаться собакой, т. е. териоморфным божеством (Келлер, I, с. 137; Роде, II, с. 83, примеч. 3, с. 408; ср. также экскурс I); вместе с тем, Геката могла считаться дочерью Деметры, т. е. Земли. Греческая Геката и славянская Мокошь-Пятница обнаруживают вообще определенное сходство: обе они суть хтонические божества, связанные с загробным миром, с культом змей, с лунарным культом, с колдовством и т. п.; знаменательно, что почитание как той, так и другой богини совершалось на перекрестках и распутях⁵⁹ (ср. обычай приносить в жертву водяному конскую голову — Успенский, 1982, с. 83, 85), и точно так же здесь прослеживается соотношенность собаки и земли.

2. В свете всего сказанного вызывает недоумение форма притяжательного местоимения 2-го лица ед. числа (*твой*) в сочетании *твою мать* в современных русских ругательствах. В самом деле, эта местоименная форма противоречит устойчивому представлению о том, что употребляющий подобного рода ругательства бранит, в сущности, СВОЮ мать, а не мать собеседника, — представлению, которое вполне согласуется с той интерпретацией слова

мать, которая была предложена нами выше, т. е. в конечном счете с идеей осквернения Матери Земли (см. с. 65–71, 73–77 наст. изд.).

Соотнесение матерной брани с матерью собеседника возникает, по-видимому, вторичным образом — в результате определенного переосмысления, когда матерная формула превращается в прямое ругательство, т. е. начинает пониматься именно как оскорбление (вместе с тем, матерщина совсем не обязательно функционирует таким образом, см. с. 55–56 наст. изд.), и когда, соответственно, выражение типа *блядин сын* начинает восприниматься как матерщина (см. с. 60 наст. изд.).

Если считать, что функция ругательства является вторичной для матерного выражения и что более ранней является функция проклятия, заклятия и т. п. (см. с. 63–64 наст. изд.), притяжательное местоимение 2-го лица (*твой*) необходимо рассматривать как инновацию, связанную с утратой первоначального смысла матерщины — именно с переосмыслением ее как оскорбления, относящегося к матери собеседника. Естественно предположить тогда, что данная местоименная форма заменила какую-то другую местоименную форму: следует иметь в виду вообще, что форма матерного выражения не является канонической, обнаруживая, напротив, определенную вариантность (как правило, в пределах словоизменения), — при том, что набор лексем, входящих в состав этого выражения, оказывается более или менее стабильным.

Упоминание 2-го лица в матерном выражении по первоначальному смыслу относилось, по-видимому, к проклятию, ПАДАЮЩЕМУ НА ГОЛОВУ СОБЕСЕДНИКА. Иначе говоря, на собеседника как бы переносится ответственность за тот процесс, который выражен в матерной формуле (и, соответственно, за последствия этого процесса).

Отсюда естественно предположить, что первоначально местоимение 2-го лица было не в притяжательной форме, а в форме ДАТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА — в значении *dativus ethicus* (или *dativus incommodi*); с вероятностью следует ожидать здесь энклитическую форму *ти*, и таким образом само выражение (в группе дополнения) гипотетически восстанавливается как *ти мать*⁶⁰, вместо *твою мать*: последнее выражение (*твою мать*) следует признать результатом позднейшей трансформации. Это предположение находит подтверждение в других славянских языках, где местоимение 2-го лица, действительно, представлено в форме дательного падежа (наряду с формой притяжательного местоимения, которая выступает иногда как альтернативная форма). *Dativus ethicus* очень близок по своему значению к *dativus possessivus*, что и способствовало, очевидно, переосмыслению матерной брани как ру-

гательства, обращенного к матери собеседника; в свою очередь, местоименная форма со значением *dativus possessivus* естественно коррелирует с формой притяжательного местоимения⁶¹. Отсюда в русских ругательствах форма притяжательного местоимения вытесняет первоначальную форму местоимения в дательном падеже.

Форма дательного падежа в матерном выражении непосредственно согласуется с управлением глагола *лаять* (*лаяти*), который также соотносился с местоимением в дательного падеже, ср. хотя бы приводившиеся выше примеры из I-й Новгородской летописи: «*лаял ми посадник вашь... назвал мя псом*», «*ваши люди нам лаяли, нас бесчествовали и срамотилъ...*» (ПСРЛ, III, 1841, с. 83, 105); см. еще: Срезневский, II, стлб. 12⁶². Гораздо менее характерно управление винительным падежом (*лаяти кого*, наряду с *лаяти кому* — см. примеры: Дювернуа, 1894, с. 89; Сл. РЯ XI-XVII вв., VIII, с. 181)⁶³. Управление винительным падежом появляется относительно поздно и связано, надо думать, именно с тем переосмыслением матерной брани, о котором уже говорилось, т. е. с переадресацией ее к матери собеседника. Двойное управление глагола *лаять* (дательный падеж, наряду с винительным) соответствует при этом вариативности формы местоимения в матерном выражении (дательный падеж, наряду с притяжательной формой), которая наблюдается сейчас в южнославянских и западнославянских языках и которая была возможна, видимо, и в русском.

VI. Заключение

Подведем итоги нашего исследования. Матерная брань обнаруживает совершенно несомненное мифологическое происхождение и, соответственно, имеет ритуальный характер. Эта ритуальная формула оказывается более или менее устойчивой (стабильной), относительно мало изменяясь со временем; однако, с течением времени она подвергается разнообразным переосмыслениям (семантическим трансформациям), обусловленным включением в разные мифологические коды. Тем самым, те или иные аспекты восприятия и функционирования матерной брани обнаруживают принципиальную гетерогенность, соотносясь с разными хронологическими пластами. Представляется возможным произвести гипотетическую стратификацию этих пластов, отвечающих разным уровням мифологического сознания.

На глубинном (исходном) уровне матерное выражение соотносено, по-видимому, с мифом о сакральном браке Неба и Земли — браке, результатом которого является оплодотворение Земли. На

этом уровне в качестве субъекта действия в матерном выражении должен пониматься Бог Неба или Громовержец, а в качестве объекта — Мать Земля. Отсюда объясняется связь матерной брани с идеей оплодотворения, проявляющаяся, в частности, в ритуальном свадебном и аграрном сквернословии (см. с. 57-60, а также 62-63 наст. изд.), а также ассоциация с ее ГРОМОВЫМ УДАРОМ (с. 63, 80-81 наст. изд.). На этом уровне матерное выражение имеет сакральный характер, но не имеет характера кощунственного. Оно может выступать в качестве заклятия, проклятия, клятвы, но не воспринимается как оскорбление; в этом качестве матерная брань может смыкаться, по-видимому, с ритуальным призыванием грома, имея в таком случае приблизительно тот же смысл, что и божба типа «Разрази тебя (меня) гром!», «Сбей тебя Перун!», «Солнце б ты побило!» и, вместе с тем, «Провал тебя возьми!», «Провалиться мне на этом месте!» и т. п. (см. с. 81-82 наст. изд.).

На другом — относительно более поверхностном — уровне в качестве субъекта действия в матерном выражении выступает ПЕС, который понимается вообще как противник Громовержца (см. выше, § 4-4, а также экскурс I). Таким образом, Громовержец трагически заменяется своим противником в функции субъекта действия — заменяется на свою противоположность, — и это переводит матерное выражение в план антиповедения, придавая ему специальный МАГИЧЕСКИЙ смысл (как это и вообще характерно для антиповедения). Соответственно, матерная брань приобретает кощунственный характер. На этом уровне смысл матерного выражения сводится к идее ОСКВЕРНЕНИЯ земли псом, причем ответственность за это падает на голову собеседника (см. выше, §§ 5-1, 5-2). Этот уровень характеризует по крайней мере эпоху общеславянского единства, но, может быть, и более раннее состояние.

На следующем — еще более поверхностном — уровне в качестве объекта матерного ругательства мыслится женщина, тогда как пес остается субъектом действия. На этом уровне происходит переадресация от матери говорящего к матери собеседника, т. е. матерная брань начинает пониматься как прямое оскорбление, ассоциирующееся с выражениями типа *сукин сын* и т. п.

Наконец, на наиболее поверхностном и профаническом уровне в качестве субъекта действия понимается сам говорящий, а в качестве объекта — мать собеседника. На этом уровне матерное ругательство начинает ассоциироваться с таким выражением, как *блядин сын* и т. п. (см. с. 60 наст. изд.; также выше, § 5-2). Выражения *сукин сын* и *блядин сын* оказываются при этом синонимичными, и, соответственно, слово *сука* на данном этапе начинает употребляться в значении «распутная женщина» (ср. выше, § 4-4.2).

Таким образом, в актуальном состоянии матерная брань синтезирует все эти пласты, и разные моменты ее функционирования отражают в реликтовом виде те или иные аспекты ее исторического развития.

Экскурс I: Пес как противник Громовержца

Центральным мотивом мифа о Громовержце является, как известно, поединок Громовержца со Змеем; таким образом, основным противником Громовержца является мифический Змей, который может представлять при этом в разных своих ипостасях (см.: Иванов и Топоров, 1974). Вместе с тем, в мифологических представлениях змей и собака замещают друг друга и, соответственно, мифологический змеборец может выступать в качестве убийцы пса (Иванов, 1977, с. 191, 206–208)⁶⁴. В частности, они могут замещать друг друга в функции стража, охраняющего вход в загробный мир (см. о змее: Пропп, 1946, с. 243 и сл.; Успенский, 1982, с. 58; о связи собаки с загробным миром см. вообще: Клиггер, 1911, с. 243 и сл.; Миллер, 1876, с. 203 и сл.; Кречмар, II; Группе, 1906, с. 407–410; Кагаров, 1912–1913, с. 573–574). Показательно в этом смысле белорусское предание о том, что собака была сторожем рая (Романов, IV, с. 168, № 24); в той же функции выступает собака в народной легенде о грехопадении (Афанасьев, 1914, с. 99–100, № 14; см. еще: Драгоманов, 1876, с. 1; Куселев-Безбородко, III, с. 13)⁶⁵. Сходную роль играет пес в греческой и скандинавской мифологии; характерен образ Кербера, сочетающего признаки пса и змея (Блумфильд, 1905; Шольц, 1937, с. 35; Кагаров, 1912–1913, с. 574; Пропп, 1946, с. 245–246)⁶⁶. Такое же сочетание присуще и облику эриний, которые также принадлежат царству Аида; равным образом и Гидра ассоциируется как со змеей, так и с собакой (Шольц, 1937, с. 30–31, 36–37). В древнерусских лицевых Апокалипсисах встречается символическое изображение ада в виде человекообразного существа с собачьей головой (Максимов, 1975, с. 85), которое соответствует представлению ада в виде змея (Успенский, 1982, с. 58–59). Связь собаки с загробным миром нашла отражение в былинне «Вавило и скородохи»: здесь фигурирует «инишное» царство, которым правит «царь Собака» (Смирнов и Смолицкий, 1978, с. 301–306; Кривополенова, 1950, с. 37–42, ср. с. 142–144)⁶⁷, слово *инишное*, несомненно, восходит к *иниий*, т. е. «иной» (СРНГ, XII, с. 206) — *инишное* царьство означает, таким образом, «иное царство» и относится к потустороннему миру⁶⁸. Ср. в этой связи славянские представления о Змеинном Царе, который обитает в ирие (вырие), т. е. в царстве мертвых (Успенский, 1982, с. 59–60, 87, ср. с. 145–146); соответственно, былинный образ царя Собаки может быть сопоставлен со сказочным образом царя Змея, который правит в тридесятном царстве (Афанасьев, I, № 161, ср. № 164). Вместе с тем, мотив человеческих голов, насаженных на тын вокруг двора царя Собаки, объединяет этот образ с образом Бабы-Яги (ср.: Афанасьев, I, № 104, 105, 225, ср. III, № 575), что и не удивительно, если иметь в виду змеиную природу Яги (см.: Успенский, 1982, с. 93–95, 101). Образ

царя Собаки становится понятным на фоне индоевропейских мифологических параллелей: ближайшую аналогию к этому образу представляет греческая Геката, богиня преисподней, окруженная собаками, которая при этом могла осмысляться как собака (Шольц, 1937, с. 39–43; Келлер, I, с. 137; Клиггер, 1911, с. 249; Шлерат, 1954, с. 25; ср. выше, § 5–1); точно так же в индийской мифологии Яма, царь мертвых, сопровождается собаками и может представляться в собачьем облике (Губернатис, II, с. 25). Равным образом и в египетской мифологии Анубис, покровитель умерших (и бог мертвых в период Древнего царства), почитается в образе собаки или шакала или же в образе псеглавого или шакалоголового человека. Отметим еще, что в образе собаки первоначально мыслился и греческий Харон (Шольц, 1937, с. 32–33); для типологических параллелей см.: Копперс, 1930, с. 371–372; Луркер, 1969, с. 203–209; Франк, 1965, с. 214–222; Кречмар, II, с. 214, 222–224; Термер, 1957, с. 27–28.

Связь собаки с загробным миром объясняет мистические свойства собаки, в частности, ее способность предвещать смерть, а также чутко нечистую силу и т. п. (Клиггер, 1911, с. 250, 259–260; Миллер, 1876, с. 202–203; Афанасьев, 1865–1869, I, с. 733–734; Кречмар, II, с. 3, 39, 164, 169; Гюнтер, 1932, стлб. 472–473; Луркер, 1969, с. 200; Браун, 1958, с. 191; Шольц, 1937, с. 25–27; Кулемзин, 1984, с. 160; Крейнович, 1930, с. 48–49; ср. выше, § 4–3.1)⁶⁹. Соответственно объясняется и роль собаки как жертвенного животного как в индоевропейской, так и в других традициях (см. о индоевропейцах: Иванов, 1977, с. 188–197; Келлер, I, с. 137–138; 142–143; Шольц, 1937, с. 10–11, 16–22, 45; Группе, 1906, с. 803–804; Шлерат, 1954, с. 35–36; Баррисс, 1935, с. 34–35; Гюнтер, 1932, стлб. 479–480; о других народах — Лукина, 1983, с. 228–229; Копперс, 1930, с. 268, 372, 382, 385–386; Кречмар, II, с. 7–8, 27–29, 39, 42–46, 65–94, 108; Франк, 1965, с. 78–99; Термер, 1957, с. 27–32).

Пес и змей могут непосредственно отождествляться в текстах. Ср., например, польское заклинание:

Święty Mikołaju, wyjm kluczyki z gaju, Zamknij pysk psu wścieklemu, Gadowi leśnemu. . .	[Святой Николай, возьми ключики из рая, Замкни пасть бешеному псу, Лесному гаду. . .]
--	---

(Котуля, 1976, с. 92, ср. с. 81; см. подробнее: Успенский, 1982, с. 51)⁷⁰;

такое же отождествление находим и в болгарском фольклоре:
Стигнаа го кучки,
До три лютти лами. . .

[Нагнали его собаки —
Три лютых змея. . .]

(Иванчов, 1909, с. 35, № 43)
Попаднале девет кучки лами,
Попаднале на о'ридско поле. . .

[Прилетели девять собак змей,
Прилетели на Охридское поле. . .]

(Миладиновы, 1861, с. 43, № 40)

Характерно, что бес может являться как в виде змеи, так и в виде собаки (см., например, явление беса в образе черного пса Феодосия Печерского — Усп. сб., л. 44а; для типологических параллелей

см.: Браун, 1958); равным образом ведьмы, по славянским представлениям, могут оборачиваться собаками (Клинггер, 1911, с. 254; ср.: Баррисс, 1935, с. 38–39). Соответственно, в Супрасльской рукописи, в мучении св. Кондрата, святой обращается к бесу, называя его одновременно «псом» и «змеем»: «бѣсьныи пѣсе крѣвопивиы змию» (Супр. рук., с. 115). Соответствующий текст представляет собой перевод с греческого, ср. в греческом оригинале: *μαλιόβειε κὼων ἀϊροτότα βράϊων* (см. там же).

Соотнесенность собаки со змеем как противником Громовержца может проявляться в ряде специальных моментов. Отметим, в частности, украинское представление о псеглавцах (кинокефалах) как о людях с одним глазом: *песиголовец* — «сказочный человек с одним глазом во лбу, поедающий людей» (Гринченко, III, с. 148; см. еще: Драгоманов, 1876, с. 2, 384); такое же представление зафиксировано и у южных славян (Мошинский, II, 1, с. 610). Одноглазость — типичный признак змиевой природы (ср.: Успенский, 1982, с. 94), т. е. образ псеглавца соответствует в данном случае скорее облику мифологического змея, нежели собаки.

Особенно показателен мотив ШЕРСТИ, играющий важную роль в мифологических представлениях о собаке: как известно, шерсть выступает как один из типичных признаков противника Громовержца, т. е. мифологического Змея (см.: Иванов и Топоров, 1974, с. 31–35, 48–54; Успенский, 1982, с. 106, 166–175). В русской народной легенде собака получает шкуру от дьявола за измену, за что она проклята Богом (Афанасьев, 1914, с. 99–100, № 14; Афанасьев, 1865–1869, I, с. 729; Буслаев, 1859а, с. 101; ср. иначе: Драгоманов, 1876, с. 1; Кречмар, II, с. 161); для типологических параллелей см.: Знаменский, 1867, с. 49; Веселовский, 1889, с. 10; Анохин, 1924, с. 18; Лукина, 1983, с. 227; Кречмар, II, с. 3–6, 8, 16–17. Связь собаки с шерстью может быть очень выразительно представлена в заговорах — в сербских заговорах, например, шерсть выступает как характерный атрибут собаки, подобно тому, как звезды являются атрибутом неба и т. п. (Раденкович, 1982, с. 46–48, 106, № 55, 57, 59, 139). Ср. поговорку: «По шерсти собаке и кличка» (чешск. «Podlé srsti psu jméno» — Даль, 1911–1914, IV, стлб. 1425; Челаковский, 1949, с. 324); эта поговорка отвечает реальной практике названия собак, сохранившейся у южных славян (Трубачев, 1960, с. 20). Показательно также *псовина* «собачья шерсть», *псовый*, *густопсовый* «мохнатый» и т. п. (Даль 1911–1914, III, стлб. 1401). Соотнесенность собаки с шерстью отразилась в ритуальной фразеологии; отметим, в частности, польские ругательства *psia wetna*, *psia sierść*, *psia kudła* (Карлович и др., V, с. 412; Густавич, 1881, с. 154) или словенское *pasja dlaka* (Плетершник, II, с. 11), которые соответствуют русским ругательствам с упоминанием шерсти (ср.: Успенский, 1982, с. 100, примеч. 135)⁷¹. Ритуальный смысл имела, возможно, и поговорка «Пес космат — ему тепло, мужик богат — ему добро» (Даль, 1911–1914, III, стлб. 263; ср.: Адальберг-Крыжановский, II, с. 903, № 220; Федеровский, IV, с. 270, № 7113), где проявляется связь шерсти с богатством, благополучием (ср.: Успенский, 1982, с. 101–106, см. специально с. 104–105 относительно выражения *мужик богатый*).

Ассоциация пса и змея проявляется, между прочим, в мотиве ЛЖИ, ОБМАНА, приписываемом как змею, так и псу, ср. в Слове Даниила Заточника: «сългалъ еси аки песь» (Зарубин, 1932, с. 25, ср. с. 73) или в Статуте Казимира Великого, XV в.: «... имеет речи солган яко песь» (Сл. стукр. яз., II, с. 140); аналогичное значение зафиксировано в старопольском: «lgać, lygać, kłamać, czekać jako pies» (Сл. стпольск. яз., VI, с. 118), ср. белорусск. *ілжэ як сабака* (Гринблат, 1979, с. 288), *собаками подшитый* «лукавый» (Носович, 1870, с. 598), а также поговорку: «Ni więć sabbáccy nikòli» (Федеровский, IV, с. 269, № 7104); отметим еще чешск. *psice, psina* «потеха, шутка», *dělat si psinu* «разыгрывать». Отсюда *брезгать* может означать как «лгать», так и «лгать, обманывать»; лексика обмана вообще обнаруживает связь с мифологией Змея (см.: Успенский, 1982, с. 139–140). Восприятие пса как субъекта действия в матерном выражении позволяет объяснить, как кажется, лужицкое *jebać ~ jebať* «обманывать» (Трубачев, VIII, с. 188).

Отметим еще, что мотив гибели собак друг от друга, остраившийся, в русской поговорке «Ешь собака собаку, а последнюю черт съест» (Даль, I, с. 103)⁷², соответствует аналогичному представлению о змеях, специально рассмотренному Проппом (1946, с. 256–258). Достаточно характерен и образ сказочного героя в восточнославянской сказке, чудесным образом рожденного от собаки или же от коровы или кобылы (Афанасьев, I, с. 479, ср. № 136, 137, 139). Мотив чудесного рождения связан вообще с противником Громовержца, который выступает у восточных славян как «скотий бог» (см.: Успенский, 1982, с. 44–48, 57, 65); на эту связь прямо указывает происхождение от коровы или кобылы, но знаменательно, что в той же функции выступает и собака.

Антагонистическая противопоставленность собаки и грозы наблюдается у немцев: по немецким поверьям, собака опасна во время грозы, поскольку в нее ударяет молния (Гюнтерт, 1932, стлб. 472); ср. совершенно аналогичное отношение к змеям у славян. Вместе с тем, такого же рода представления прослеживаются у угров, что особенно интересно для нашей темы ввиду формального сходства славянской и венгерской матерной брани (см. выше, § 4–2, а также § 4–3.1). Так, ханты, подобно немцам, считают собаку опасной во время грозы, полагая, что Торум посылает на нее молнии, как и на злых духов (Лукина, 1983, с. 232–233). Равным образом собака ассоциируется у угров с водной стихией (см. там же, с. 229, 233), которая связана с противником Громовержца; характерно в этом смысле, что венгры называют своих собак по имени рек или других водных бассейнов (Гюнтерт, 1932, стлб. 483; Губернатис, II, с. 33, примеч.). Вместе с тем, обские угры приписывают облик собаки духам нижнего мира: по представлениям манси, собакоподобные демоны пожирают трупы умерших (Мункачи, 1905, с. 121).

Экскурс II: Некоторые специальные фразеологизмы, отражающие восприятие собаки

Восприятие собаки как нечистого животного, обуславливает специальный запрет употреблять ее в пищу (Смирнов, 1913, с. 145, № 16); встречается даже предписание не есть гонимого псом на охоте (там же, с. 144, № 12); считается, что если ребенок съест кусок хлеба, обнюханный собакой, он заболит болезнью, называемой «собачья старость» (Куликовский, 1898, с. 110)⁷³. Отсюда может объясняться выражение *собаку съест на чем или на что*⁷⁴ «познать до тонкости какую-либо науку, мастерство и т.п.», ср. также *насобачиться* «научиться» и т.п.; эти выражения, как правило, не находят соответствия в других языках (ср.: Фасмер, III, с. 703; Михельсон, II, с. 287, № 574; Михельсон, I, с. 619, № 325; ср., однако арм. *jun kul tal* (букв.: проглотить собаку) «иметь жизненный опыт»). В основе данного фразеологизма, может быть, лежит представление о приобретении знания или умения через антиповедение (поведение наоборот), имеющее колдовской смысл; см. вообще о магическом антиповедении: Успенский, 1985, с. 227–230. В то же время, поскольку собака связана с загробным миром и, соответственно, обладает способностью чутко чувствовать демонов, а также предвещать смерть (см. экскурс I), поедание собачьего мяса как бы приобщало к вещим способностям собаки (Клингер, 1911, с. 250–251, 260)⁷⁵.

Соответствующее выражение может выступать и как насмешка — так, жителей Петрозаводской и Петербургской губернии дразнили словами *боску свел* или называя их *боскоеды* (Максимов, XV, с. 235; СРНГ, III, с. 124), ср. *боска* ~ *боско* «собака» (там же); можно предположить, что эта насмешка содержит в себе обвинение в колдовстве или язычестве. Ср. в этой связи сербский медицинский заговор:

Што урок урече,
урочица разрече.
Ко урече дететину
нек польуби псететину.

(Раденкович, 1982, с. 335, № 527)

Этот же мотив нашел отражение в словацкой ритуальной песне явно языческого происхождения:

Dožal'i, dožal'i
tí ratkovskí ženci
ved' im uvaril'i
kotnú suku v hrnci.

Kotnú suku v hrnci,
z dvadsiat'ima št'encí,
každému žencovi,
po jednom št'encovi.

[Дрожали, дрожали
Те ратковские жнецы,
Ведь им сварили
Беременную суку в котле.

Беременную суку в котле
с двадцатью щенками —
Каждому жнецу
По одному щенку.]

(Демо и Грабалова, 1971, с. 186, № 103)⁷⁶

Ср. еще белорусскую поговорку: «Тры няззелі кірмаш мелі, пакуль тую сучку з'елі» (Гринблат, 1979, с. 112); слово *кірмаш* означает празд-

ник, и можно догадываться, что и в этом случае речь идет о каком-то языческом обряде, предполагающем ритуальную трапезу. Подобный обряд отразился, по-видимому, и в полесской купальской песне:

На Ивана, на Купала
Сучка в борщ упала,
Девчата тянули граблями,
А хлопцы — зубами.

(Толстая, 1982, с. 82)⁷⁷

Итак, выражение *собаку съест* первоначально означало, по-видимому, такую полноту знания (или настолько совершенное умение), которое может быть достигнуто с помощью магии⁷⁸.

Нечистота собаки объясняет, как кажется, и выражение *где собака зарыта* (ср. соответствующее по смыслу немецкое выражение «Hier liegt der Hund begraben»). Собаку как нечистое животное нельзя было зарывать в землю, подобно тому как нельзя было хоронить в земле и нечистых (заложных) покойников — нечистое тело провоцировало ГНЕВ ЗЕМЛИ, т. е. всякого рода бедствия (см. с. 74–75 наст. изд.). Ср. белорусские проклятия: «Каб ты як сабака валяўся!» и, вместе с тем, «Каб цябе святая зямля не прыняла!», «Каб зямля твае коці выкідала!» (Гринблат, 1979, с. 221, 226, 209; Федоровский, IV, с. 416, 411; ср.: Номис, 1864, № 3775, 3794, а также № 3797, 3799–3801) — эти выражения предстают в принципе как равнозначные; особенно показательно в этом смысле полесское проклятие: «Шоб тоби не прыняла Мать сырая Зямля — сукину дачку» (Топорков, 1984, с. 233, № 23) — наименование *сукина дочка* приобретает особую значимость в этом контексте. Соответственно, те или иные бедствия могли приписываться именно осквернению земли, в которой зарыто нечистое тело. Для того, чтобы предотвратить дальнейшие бедствия — остановить гнев земли — считалось необходимым обнаружить нечистое тело и извлечь его из земли (см., например: Зеленин, 1916, с. 84–88; Зеленин, 1917, с. 406, 409; Петухов, 1888, с. 167–168, 173–174; ср.: Смирнов, 1913, с. 271). При этом место захоронения нечистого тела было обычно неизвестно и найти его было трудной задачей; тем самым обнаружить, где собака зарыта — собака олицетворяет нечистое тело — означает: раскрыть первопричину, источник бедствия или вообще найти причину тех или иных событий.

Восприятие собаки как жертвенного животного (ср. экскурс I) отразилось, по предположению Иванова (1965, с. 288, примеч. 81; 1977, с. 200, примеч. 52), во фразеологизме *всех собак вешать (на кого)*. Этот фразеологизм соотносится, между прочим, с выражением *как собак невешанных (нерезанных)*, т. е. «много» (Михельсон, I, с. 402, № 122) — то обстоятельство, что *невешанный* и *нерезанный* выступают здесь как взаимозаменяемые формы, указывает, может быть, на различные формы обрядового заклания пса.

Примечания

¹ Не табуированность соответствующих выражений в речи Пушкина и его окружения в какой-то степени может объясняться европейской культурной ориентацией.

² Показательно в этом плане, что издания такого рода могут реагировать на реформы правописания. Так, орфографическая реформа 1918 г., устранившая написание конечного ера после буквы согласного, отразилась в академических изданиях на количестве точек, заменяющих непристойное слово с подобным окончанием.

³ Характерно в этом смысле специфическое отношение к глаголу со значением 'futiere'. Действительно, ЗНАЧЕНИЕ этого глагола вполне может быть выражено (например, с помощью латинизма или церковнославянизма); табуирована именно ФОРМА соответствующего слова. Отсюда, например, в обличительном трактате против латыни 1684–1685 гг., автором которого считают чудовского инок Евфимия, в упрек этому языку ставится то обстоятельство, что на нем «растленно» произносятся сакральные имена и прежде всего имя Иов, которое по латыни звучит непристойно с русской точки зрения: «... всѣх же стыднее — святаго многострадальнаго праведнаго Иова имя зовут срамно Ёоб» (Сменцовский, 1899, прилож., с. XV). Ср. позднейшее обыгрывание западного (латинизированного) произношения имени Иов в поэме Я. Б. Княжнина «Попугай» (1788–1799 гг.):

Уж стал уметь язык вертеть по-молодечки
И имя Иова горланить по-немецки...

Что́ имеется в виду, совершенно ясно из контекста, ср. несколько выше в той же поэме:

Пустил слов токи сильны, скоры,
Кончая все на *мать*.

(Княжнин, 1961, с. 710–711)

Соответственно А. А. Барсов в своей обстоятельной «Российской грамматике» (1783–1788 гг.) настаивает на введении в русский алфавит буквы э, поскольку в противном случае местоимение *эти* может быть принято за глагол *ети*: «без чего можно иногда читателя вовлечь в некоторую непристойность в выговорѣ, особливо когда нынѣ без удареній пишут и печатают напр. *эти* вмѣсто *эти*, что и одно довольно причиною есть к употребленію начертанія э» (Барсов, 1981, с. 245).

⁴ Потанин (1899, с. 184, примеч.) упоминает о «мужской брани», которую усваивают женщины, перенимающие мужские привычки и одевающиеся в мужскую одежду. Таким образом, матерная брань в устах женщины воспринималась как явление половой травести. Положение существенно изменилось примерно к сер. XX в., что определенным образом связано с эмансипацией женщин. — Показательно полесское свидетельство, проводящее четкое различие между мужской и женской

бранью: «Бабы праклинают, а мужики матраца» (Бадаланова и Терновская, 1983, с. 142).

⁵ Данное выражение, по-видимому, воспринималось прежде всего в социальном ключе, т. е. имело не столько непосредственно обценный смысл, сколько смысл СОЦИАЛЬНОГО УНИЧИЖЕНИЯ; иначе говоря, *блядин сын* означало приблизительно то же, что *поденок*. В этом смысле *блядины дети* противопоставляются *отечким (отеческим) детям* (ср.: Даль, 1911–1914, II, стлб. 1879; Ларин, 1959, с. 177, 179). Соответственно, в отличие от матерных ругательств, это ругательство НЕ БЫЛО ТАБУИРОВАНО в языке. Семантическое сближение его с матерщиной в какой-то мере объясняется, по-видимому, принадлежностью к общей сфере экспрессивной фразеологии; вместе с тем, это сближение определенным образом связано с переосмыслением матерных выражений, в результате которого они начинают восприниматься прежде всего как оскорбление матери собеседника (ниже мы убедимся, что этот смысл не является изначальным, см. §III-2).

Поучение старца Фотия представляет собой один из ранних текстов, свидетельствующих о сближении такого рода. Об этом процессе в какой-то мере свидетельствуют и некоторые — впрочем, относительно редкие — списки рассматриваемого ниже (§III-1) поучения против матерной брани, где иногда говорится, что православному христианину не подобает «матерны лаятся и блядиным сыном» (РГБ, Больш. № 422, л. 381 об.; ИРЛИ, Северодв. № 410, л. 43 об.; ИРЛИ, Латг. № 114, л. 427 об.; ИРЛИ, Пинеж. № 428, л. 1).

⁶ Ср. отражение этого поучения в духовных стихах, связанных по своему происхождению с данным апокрифом (Бессонов, VI, с. 160–174, № 592–604), а также в видениях (Орлов, 1906, с. 34).

⁷ Данное поучение, которое мы цитируем по публикациям Родосского и Маркова, дошло до нас в целом ряде списков XVII–XX вв.; переделку того же источника следует видеть в статье «о непокорном роде и поганских делах и о скверном лаянии и брани матерной», которая встречается в старообрядческих сборниках (ср.: Лилеев, 1895, с. 402–403). Марков (1914, с. 21–33) выделяет три редакции этого поучения, которые, впрочем, не покрывают всех известных нам разновидностей. Мы ссылаемся на рукописи, а не на публикации, только в том случае, когда то или иное высказывание отсутствует в опубликованных версиях.

⁸ О происхождении данного стиха и его генетической связи с апокрифическими текстами см. специально: Марков, 1910, с. 418–419. В исследовании Маркова опубликовано апокрифическое сказание, лежащее в основе стиха «Пьяница», где в уста Богородицы вкладывается, наряду с обличением пьянства, обличение матерной брани (см.: там же, с. 319, 321); оно обнаруживает текстуальное сходство с цитированным выше поучением (ср. в этой связи: Марков, 1914, с. 32–33).

⁹ Мы приводим лишь некоторые варианты данного стиха, достаточно наглядные в интересующем нас отношении. Замечательно, что в других вариантах стиха «Пьяница» соответствующие последствия матерной

брани предполагаются только в том случае, когда ругается ЖЕНЩИНА; как мы уже говорили (см. §1-2 наст. работы), в некоторых местах запреты на матерную ругань распространяются исключительно на женщин, и надо полагать, что подобная версия связана именно с этой традицией. См., например; Бессонов, VI, с. 110, 114 (№ 576, 577); ср.: Романов, V, с. 335 (№ 17); Варенцов, 1860, с. 159-160.

¹⁰ Отождествление родной матери и Матери Земли исключительно ярко проявляется в послании Третьяка Васильева к младшему брату Сергею (написанном не позднее 1638 г.), где материнская утроба прямо и непосредственно именуется «землей». Адресат этого послания, Сергей Васильев, перед тем обратился к Третьяку с письмом, назвав себя «братом», а не «братишком», как того требовали правила эпистолярного этикета. Третьяк Васильев делает Сергею резкий выговор, обвиняя его в высокомерии: это служит поводом для обсуждения прав и обязанностей старшего брата перед младшим. Ср. здесь: «Государю моему брату Сергѣю Васил(ь)евичю Тренко Васильев челом бьет. Писал ты ко мнѣ о своем здоровьи и я твоѣ здоровье слышати рад... Да забыв ты отче благословение и матерне прощение и свое неразумие и невѣжество что еси учинил — вмѣсто благоденія моего мнѣ злобу: пишеш ко мнѣ з гнѣвом, а иное шпынством и с лаею. Начало твоего писма к лицу моему: „раб брат твоѣ челом бьет“. В том бо словеси двоя рѣч: смирение и величание. Рабом достоин писати смирения ради, понеже всегда раб страха ради благое творит, а братом писал еси величания ради, мниши себѣ равна мнѣ; негли нѣсть тако. ПОСЪЯИ НАС ЕДИН И ЗЕМЛЯ, ЕЯ ЖЕ НАРИЩАЕМ УТРОБА МАТЕРНЯ, ОТ НЕЯ ЖЕ ИЗЫДОХОМ, ЕДИНА ЕСТЬ, ТОКМО ПО БЛАГОДАТИ, ДАННЕИ НАМ ОТ БОГА И ПО ПРЕДАНИЮ СТАРЕЦ ИСКОНИ БОЛШИИ СТАРѢЙШИНСТВО И ЧЕСТЬ ПЕРВУЮ ИМАТ; МОЧНО БЫЛО ТЕБѢ ЗАКОНА РАДИ И МЕНШИ ТОГО — И БРАТИШКОМ НАПИСАТЦА КО МНѢ» (РГАДА, Архив Мин. иностр. дел (ф. 181), № 605/1113, л. 283 об. — 284 об.; ср. неопубликованную статью В. Ф. Ржиги «Т. Васильев и его новое письмо» — РГБ, 446. 9. 14). Итак, подобно тому как земля именуется «матерью», родная мать может именоваться «землею»!

¹¹ Это обстоятельство может специально подчеркиваться, как это видно, например, из тех же материалов Полесской экспедиции. Так, информантка, сообщившая воспроизведенное выше поверье, настаивала на том, что тот, кто ругается матерно, сквернит свою собственную мать, а не мать собеседника: «Пад нами земля гарыть: матки валим — матку родную ругаэм. Мы матку сыру землю праругаэм. Ты ж праругаѣ сваю матку и землю святую. Ты ж ругаэши — ты думаэш: ты яго матку ругаэш, а ты на сваю матку ругаэшса». Ср. также характерный для данного региона ответ на матерное ругательство: «Сукин сын, сучку кручонаю ругаэш, ты матку сваю ругаэш, а не мяне. Ай, матку тваю такую!» или: «Сукин ты сын, матку сваю ругаэш, сучку кручаную!» и т. п. (Топорков, 1984, с. 231-232, № 6, 13).

¹² Ср. в материалах Полесской экспедиции: «Земля-маты, шо родит питање, хлеб... а Бóжая Мати, вона растыт людэй... Одна́я маты —

Бóжая Маты, а дру́гая мати — шо хлеб даѣ [т. е. земля]...» (Оболенский и Топорков, 1990, с. 169).

¹³ В «Повести о Мамаевом побоище» описывается, как земля перед битвой плачет «надвое», предвещая смерть воинам. При этом татарская земля, плачущая «еллинским», т. е. языческим гласом, уподобляется вдове, плачущей о чадах своих; между тем, русская земля уподобляется девице, обручающейся с мертвыми воинами (см. изд.: Дмитриев и Лихачев, 1982, с. 40, 61, 95, 118). Такой же двойной образ земли — вдовы и девицы — представлен и в апокрифическом пророчестве Исаяи о «последних днях», где речь идет о наказании рода человеческого за беззакония (Порфирьев, 1877, с. 266-267).

¹⁴ Необходимо иметь в виду, что «чистота» вообще выступает у восточных славян прежде всего как моральное, а не как физическое свойство (см.: Зеленин, 1927, с. 250, 294); отсюда, например, принято было умываться при общении с иноверцами, между тем как баня, вопреки своему гигиеническому назначению, воспринималась как «нечистое» место. Вместе с тем, земле может приписываться и физическая чистота (характерно в этой связи, что русские могут УМЫВАТЬСЯ ЗЕМЛЕЙ — Афанасьев, 1865-1869, I, с. 143-144; Смирнов, 1913, с. 281); таким образом, моральные и физические свойства в данном случае не противопоставляются.

¹⁵ Отметим в этой связи выражение *мертвая клятва*, которое относилось, может быть, именно к клятве такого рода, т. е. означало клятву костью. Ср.: «Мяртымы кляцба́ми клянецца, што яна не брала» (Гринблат, 1979, с. 198).

¹⁶ Мифологические представления о землетрясении раскрываются в белорусском поверье, согласно которому земля покоится на рыбе и колеблется от ее движения; движение рыбы и, соответственно, земли может привести к концу света (Федеровский, I, с. 163, № 497; ср.: Шапов, I, с. 111). Поскольку рыба являет собой вообще один из образов мифологического Змея, т. е. противника Громовержца (см.: Успенский, 1982, с. 143, 146), мотив трясения земли оказывается косвенно связанным с Громовержцем.

¹⁷ Замечательно при этом, что выражение *psia krew* и соотнесенные с ним выражения могут не восприниматься как оскорбление (ср.: *psia krew kochana* — Франко, 1892, с. 756); это в точности соответствует восприятию матерной брани у русских, ср. с. 55-56 наст. изд. Приведенные польские выражения почерпнуты из работ Франко (1892, с. 756; 1895, с. 116), Густавича (1881, с. 154), а также из словарей Карловича и др. (V, с. 412), Дорошевского (VII, с. 685); Франко ссылается при этом и на аналогичные немецкие выражения, типа *Hundeseele*, *Hundstoffs* и т. п. Отметим еще, что некоторые из цитированных польских ругательств находят прямое соответствие в словенских ругательствах — таких как *pasja para* или *pasja noga* (Плетершник, II, с. 11); польск. *psia jucha* ближайшим образом соответствует укр. *собака юга* (Гринченко, IV, с. 163).

¹⁸ Это утверждение представлено не во всех версиях данного поучения. Существенно, вместе с тем, что оно содержится в ряде наиболее

ранных его списков (см.: Марков, 1914, с. 24, 28; РГБ, Больш. № 22, л. 382 об.).

¹⁹ В сказании о чуде, бывшем в Тобольске в 1661 г. в день Казанской Божьей Матери, дьячку Иоанникию, читавшему на клиросе, является некий святытель и говорит ему, что люди впадают в грех «мтрьную брань лающе яко псы и тоя ради скверные брани сама Владычица наша трепещет непрестолно [!] день и ночь со всеми небесными силами» (РГБ, Унд. № 643, л. 394; ср.: РГБ, ОИДР № 213, л. 5); представление о том, что Богородица на престоле трепещет от матерной брани, широко распространено (см.: с. 67–68, 78–79 наст. изд.).

Ср. в Статуте Казимира Великого XV в. «хто кому м(а)т(е)ри лаеть... а не о(т)зоветь... тогда иметь речи солган яко пес» (Сл. струк. яз., II, с. 140). В данном случае актуализируется и связь пса с идеей ОБМАНА (см. ниже, экскурс I); так или иначе, и в этом случае проявляется исходная соотнесенность матерной брани с псом.

²⁰ Сказанному не противоречит то обстоятельство, что связь указанных значений лучше представлена в восточнославянских языках, чем, например, в южнославянских. Так, для южнославянских языков не столь характерно значение «бранить, ругать»; в свою очередь, данный глагол приобретает здесь специфическое значение «подстергать, сидеть в засаде», нехарактерное для восточнославянских языков (Соболевский, 1910, с. 166, примеч. 1; Мещерский, 1978, с. 21). Значение «бранить, ругать» может переходить в более общее значение «гневаться», которое южнославянские книжники считают характерным для русского употребления; по словам Константина Костенечского (XV в.), русские молились Богу, говоря: «*He lau na me hospodine, si rѣч' ne караи me, или не раз'дражаице на me*» (Ягич, 1896, с. 109, ср. с. 89). Действительно, в древнерусской «Пчеле» читаем: «рыцѣмъ къ своеи дшѣ: бѣ лаеть намъ нынѣ», где глагол *лаеть* соответствует греч. ὀργίζεῖ (Семенов, 1893, с. 185).

²¹ Ср., например: «таки жонки матюгацки, таки уж собачливы», «така матюклива, така собачлива» и т. п. (Арх. словарь, s. v. *матюгачка, матюкливый*).

²² Составители старопольского словаря толкуют слово *psac* как «оскорблять, обзывая кого-либо псом» («*aliquem cum contumelia canem appellare*»), но такая конкретизация значения не подтверждается тем материалом, который фигурирует в словарной статье.

²³ Ср. такие выразительные сочетания в польских текстах XV в., как *psota fornicacio* или *concupiscencia psothi* (Сл. стпольск. яз., VII, с. 391).

²⁴ Ср. апокрифическое «Прение Петрово с Симоном волхвом», где упоминается пес, говорящий «человеческим гласом» (Лавровский, 1859, с. 15; Измарагд, 1912, I, л. 80). Отметим в этой связи народные поверья о людях, которые знают собачий язык (см., например: Романов, IV, с. 142, № 81, ср. с. 218, № 63). Любопытно, что в одном азбуковнике XVII в. («Книга, глаголемая гречески алфавит» — БАН, Арх. д. 446) мы находим словарную статью «Скиноглосса — собачий язык» (л. 208).

²⁵ Равным образом в греческом по своему происхождению Житий св. Анина разбойник, одержимый бесом, начинает лаять по-собачьи. Ср. соответствующий текст в старославянском переводе, по Супрасльской рукописи: «отъ дѣха лѣжава пораженъ. нача самовиднѣ. рѣцѣ опакы съвазоуа си. и на обличеные начати нечестия своего съврашати са пьсьскы же. лаа. и пѣны из оустъ тѣшта» (Супр. рук., с. 560). Исходный греческий текст, к сожалению, неизвестен.

В древнегреческой магии имитация собачьего лая служила для того, чтобы вызвать Гекату, которая ассоциировалась вообще с собакой (Шольц, 1937, с. 43; ср. ниже, экскурс I).

²⁶ В 1680–1690-е гг. архимандрит Симонова монастыря Гавриил Домецкий заставлял водить провинившегося монаха на веревке по трапезе и ЛАЯТЬ ПО-СОБАЧЬИ («брехать», как «брехал» он на архимандрита) (Харлампович, 1914, с. 290, примеч. 6; ср.: Яхонтов, 1883, с. 13). Здесь имеет место реализация метафоры (брехать=ругать, клеветать, обманывать), но, вместе с тем, и спорадическая актуализация языческих представлений, как это характерно вообще для культуры барокко: в историческом контексте это выглядит как приобщение к антиповедению и одновременно как религиозное разоблачение, т. е. ОБЛИЧЕНИЕ в ЯЗЫЧЕСТВЕ. Подобный обычай существовал в свое время в Польше: уличенных в клевете заставляли «лезть под стол и лаять там по-собачьи в знак того, что они и прежде ввали как собаки» (Потебня, 1914, с. 158); на польский обычай, вероятно, и ориентировался Гавриил Домецкий, выходец из Юго-Западной Руси. Польская практика также имеет, в сущности, характер разоблачения, которое может рассматриваться в принципе и как обличение в язычестве. И позднее, в 1767 г., Екатерина II повелевает расстричь бывшего митрополита Арсения Мацевича и переименовать его в «Андрея Брехуна». Во всех этих случаях обыгрывается прежде всего метафорическое значение глагола *брехать*, связанное с ложью, клеветой (ср. ниже, экскурс I); это значение не противоречит общей семантике бранного выражения, а скорее представляет собой ее частное проявление. Для нас существенно, что каждый раз имеет место символическое уподобление человека псу по признаку речевого поведения; такое же уподобление прослеживается, как мы видели, и в представлениях о матерной брани. Вообще об уподоблении человека псу см. ниже, § 4–4.

²⁷ По белорусской легенде, собака некогда была человеком (для типологических параллелей ср.: Лукина, 1983, с. 227; Иванов, 1964, с. 252), причем служила сторожем в раю; она «сбрехала», т. е. солгала, и за это Бог превратил ее в собаку: «Собака быв чаловек: у рай быв сторожом, — сперва, ще от Адама. Али нешто украв, проштрапився, да й збрехав. Тоды Бог кажець: ну, будзь жа ты собаком! Дык ён и став собаком. И цяпер двора сцережець и брешець. Во й сабака» (Романов, IV, с. 168, № 24; ср.: Гнатюк, 1902, с. 76, № 85). Согласно другой легенде, записанной на Украине, когда Христос ходил по земле, мальчик погнался за ним, лая подобно собаке; за это собака должна лаять до скончания века (Чубинский, I, с. 52–53). Характерно, что в обоих случаях греховность

собаки связывается именно с лаем («бреханием»). Ср. еще пословицу: «Не бей собаки, и она была человеком» (Даль, 1911–1914, IV, стлб. 334). Соотнесенность собаки и человека проявляется, между прочим, в обыкновении называть детей щенками и т. п. Так, например, в Полесье взрослые при обращении к детям называют их *цицик* (от *цюця* «собака»), *кютюничка* и т. п. (Полесский архив: Ровенская обл., Дубровицкий р-н, дер. Лесовое, 1978 г.; Ровенская обл., Рокитновский р-н, дер. Каменное, 1978 г.); ср. еще *щенок* «молокосос» (Михельсон, II, с. 546, № 10); *пащенок* «молокосос» (Даль, 1911–1914, III, стлб. 63), «испорченный малолеток» (Смирнов, 1901, с. 127).

²⁸ Заслуживает внимания в этой связи специфическая полисемантическая глагола *собачить(ся)*, объединяющая его с обценной лексикой: подобно другим словам, так или иначе связанным с матом, глагол этот окказионально может принимать самые разнообразные значения. Констатируя эту особенность русской обценной лексики, Дрейзин и Пристли пишут: «*A mat verb can mean any intensive action from the total set of actions, and will acquire a specific meaning from this total set according to its morphological pattern and according to the contextual pattern of verbal complements, the lexical items occurring in these complements, and the whole context*»; соответственно для таких глаголов предлагается термин *PRO-verbs*: «*Pro-verbs are substitutes for verbs*» (Дрейзин и Пристли, 1982, с. 241, 234; ср. еще: Ворд, 1982, с. 21–23). И далее авторы замечают: «*It should be mentioned that there is at least one non-obscene colloquial Russian verb which acts as a PRO-verb in the same way as mat verbs, namely sobáčit' (sja). Thus, prisobáčit' may be used instead of prišit' 'to sew on', or instead of pribít' 'to nail on', indeed instead of the more general verb pridélat' 'to attach to'; otsobachit' replaces otkryt' 'to open', otporot' 'to tear off'; and so on. As with mat verbs, these examples may be multiplied with various prefixes and with various kinds of contextual complements*» (так же, с. 242). Мы вправе думать, что эта особенность глагола *собачить(ся)*, объединяющая его с матерной лексикой, не случайна: употребление данного глагола отражает, можно думать, употребление отыменного глагола, производного от слова со значением «*membrum virile*». Ср. в этой связи ниже (§ 4–4.2) замечания относительно этимологии слова *пес*.

²⁹ Ср. представление о том, что ведьмы боятся собак (Афанасьев, 1865–1869, I, с. 734; Мошинский, II, 1, с. 559; Кулишич, Петрович и Пантелич, 1970, с. 232); то же говорят о лихорадке и других болезнях, которые воспринимаются при этом как разновидность нечистой силы (Потебня, 1914, с. 226; Миллер, 1876, с. 208; для типологических параллелей см.: Шольц, 1937, с. 10–12 — о греках и римлянах; Крейнович, 1930, с. 48–49 — о нивхах). Ср. в этой связи апокрифическое «Сказание, како сотвори Бог Адама», где собака лает на дьявола (Кушелев-Безбородко, III, с. 13). Способность чутя нечистую силу и отпугивать ее приписывается иногда некоторым специальным разновидностям собак (см.: Афанасьев, 1865–1869, I, с. 734; Мошинский, 1931; Мошинский, II, 1, с. 559, 611; Клиnger, 1911, с. 260–261; Гринченко, IV, с. 543; Чубинский, I, с. 53, 198; Якушкин, 1983, с. 111, № 232). Так воспринимаются, в част-

ности, «четыреглазые» собаки, т. е. собаки с отметинами над глазами; замечательно при этом, что аналогичное представление наблюдается у иранцев, индусов, германцев, а также у угро-финских и африканских народов (Вильман-Грабовская, 1934, с. 36–39; Камменхубер, 1958, с. 303; Миллер, 1876, с. 203–205; Рапопорт, 1971, с. 30; Снесарев, 1969, с. 319, 322; Кречмар, II, с. 3; Гюнтерт, 1932, стлб. 476–477; Франк, 1965, с. 209–213).

³⁰ Ср. в этой связи сообщение византийского хроникера (так называемого продолжателя Феофана — *Theophanes continuatus*) об обстоятельствах, при которых в 817 г. был заключен мир между византийским императором Львом V Армянином и болгарским князем Омортагом, когда византийский император принес клятву по болгарскому обычаю, а болгарский князь — по христианскому обычаю (Продолжатель Феофана, 1992, с. 18, ср. с. 27). Из такого сообщения видно, что болгары совершали клятву над какими-то жертвенными собаками (см.: Златарский, 1907, с. 252–253, ср. с. 258; Златарский скептически относится к этому сообщению, однако его скепсис едва ли оправдан — ср. в этой связи: Кацаров, 1912, с. 115–119). Для типологических аналогий см.: Лаш, 1908, с. 50–52; Лукина, 1983, с. 231. О жертвоприношении собаки у болгар см. еще: Арним, 1933; ср.: Бешевлиев, 1936, с. 25–26; Трифонов, 1937, с. 264 и сл.

³¹ Такова, между прочим, была обычная клятва Сократа, см., например, у Платона («Апология Сократа» 21e; «Горгий», 492b; «Государство», 592a). Считается, что Сократ клялся таким образом для того, чтобы не поминать богов — упоминание богов в обычных разговорах он находил, видимо, неблагочестивым. В платоновском «Горгии» Сократ клянется «собакой, египетским богом», как бы подчеркнуто апеллируя к чужой традиции; тем не менее, такого рода клятва отражает, по-видимому, автохтонную архаическую традицию (ср.: Клиnger, 1911, с. 232).

³² В апокрифическом «Сказании, како сотвори Бог Адама» Господь творит собаку из нечистот, причем создание собаки связывается здесь — знаменательным образом — с созданием человека и, вместе с тем, с борьбой Господа и Сатаны. Согласно этому апокрифу, Господь, сотворив Адама, оставил его лежащим на земле, после чего пришел Сатана и измазал Адама калом, тиной и соплями. Господь разгневался на дьявола и проклял его, «и дьявол исчезе, аки молнія, сквозь землю отъ лица Господня». «Господь же, снемъ съ него пакости Сотонины, и въ томъ сотвори Господь собаку, и смъсивъ со Адамовыми слезами и теслоу [?], очисти его аки зеркало отъ всѣхъ сквернь...» (Кушелев-Безбородко, III, с. 12–13). Сотворение собаки предстает, таким образом, как очищение человека от скверны: человек и собака оказываются противопоставленными — в самом акте творения — как чистое и нечистое создание.

³³ Отметим также равнозначные украинские клятвы: «сучий син буду» и «турецкий син буду» (Номис, 1864, № 6771–6772). Ср. украинские поговорки: «Жид, лях и собака — все віра однака», «Ксѣндз, жид и собака — усе віра однака», «Невіра а собака, то една присмака» (Номис, 1864, № 8098–8100; Франко, 1895, с. 119).

³⁴ Ассоциация пса и иноверца легла в основу сюжета былины «Грозный царь Иван Васильевич», где рассказывается о том, как Иван Грозный приказывает Малюте казнить своего сына, Федора Ивановича; Малюта убивает кобеля вместо царевича и приносит царю собачье сердце, говоря, что это сердце его сына; царь удивляется: «Да что же от сердца песей дух пахнёт?» — и Малюта объясняет: «Он закону-то был не нашево, Порядку был не хорошего, оттово ли от сердца песей дух пахнёт» (Гильфердинг, III, с. 304, № 244).

³⁵ Вместе с тем, как отмечает Третьяковой в «Трех рассуждениях о трех главнейших древностях российских», так говорят о недобросовестных людях, т. е. о тех, кому нельзя верить. Ср.: «Сербы не добросовѣстныхъ людей бранять: *Пасія вера, вмѣсто Песія вѣра*» (Третьяковская, III, с. 393, примеч. 2). Соответственно, в русском блатном жаргоне *сука* означает представителя воровского мира, который преступил моральные устои: так называют вора, который нарушил воровской закон, вступив в сотрудничество с властями; замечательно при этом, что и сами «суки» могут называть себя таким образом, т. е. данная характеристика имеет абсолютную, а не относительную значимость.

³⁶ Ср. аналогичное белорусское присловье, где вместо собаки фигурирует волк: «*Ci Żyd, ci wólc, to usiò gódnò, bo i u Żyda duszy nima*» (Федоровский, I, с. 237, № 1139).

³⁷ В народной легенде Господь проклинает собаку, говоря ей: «Штобы цирковныа звону ни слыхала, у Божий храм ни хадила!» (Афанасьев, 1914, с. 100, № 14). Генетически некоторые из цитированных пословиц могут отражать связь собаки с лунарным культом (см. ниже, § 5-1).

³⁸ Следует иметь в виду вообще, что понятие ВЕРЫ предполагает определенную социальную организацию. Вера связана с представлением о Божественном миропорядке и, следовательно, с организацией *мира* «общины, общества». Этимология слова *мир* при этом отражает индоевропейскую мифологию Митры; семантика этого слова воплощает именно «идею Божественного договора с людьми, реализованную в социальном (и пространственном) плане», ср. иранск. *mitra* в значении «договор»; вообще основная функция Митры — объединение людей в особую социальную структуру (в «мир») и установление договора с ними (Топоров, 1973, с. 367-369). Показательно соотношение этих понятий в таких пословицах, как «мир, да Бог, да правда» или «мир да правда, человек да ложь» и т. п.

³⁹ См. об этом в послании Посошкова к Стефану Яворскому (Срезневский, 1900, с. 35, 39, 40), а также в сочинениях протопopa Аввакума (Аввакум, 1960, с. 198, 298). Образ трупа, отданного на съедение псам и на растерзание птицам, вообще говоря, может быть заимствован из Библии: так Господь карает тех, кто отступил от его заветов (III Царств XIV, 11, XVI, 4, XXI, 24; ср.: III Царств XXI, 19, 23, XXII, 38; IV Царств IX, 10, 36). Вместе с тем, и греки, по свидетельству Гомера («Илиада», XXII, 256-259, 335-336, 339-340, 349, 354; XXIII, 21), поступали таким

образом с трупами тех, кого они считали недостойными погребения (ср.: Шлерат, 1954, с. 27). Как бы то ни было, образ трупа, предоставленного псам и не подлежащего захоронению в земле, явно соотносится со славянскими языческими представлениями о чистоте земли и нечистоте пса.

Отметим, что на съедение псам было брошено тело Стеньки Разина после четвертования (см., например: Маньков, 1975, с. 75, 123, 126); это отвечает восприятию Разина как колдуна.

⁴⁰ Отмена этого чина при Никоне может быть поставлена в связь с тем обстоятельством, что подобного обычая не было в Юго-Западной Руси (ср.: Никольский, 1885, с. 304): как известно, никоновские реформы в значительной степени сводятся к ориентации именно на югозападнорусскую церковную традицию (см.: Успенский, 1983а, с. 85 и сл.). По свидетельству Никольского, подобное правило не встречается в греческих требниках, где может предусматриваться возможность осквернения церкви неверными, но отсутствует упоминание о псе (Никольский, 1885, с. 297-298). Смирнов, впрочем, цитирует аналогичное греческое правило с упоминанием пса, но любопытно, что правило это принадлежит не греку, а славянину (Смирнов, 1913, прилож., с. 406, 409).

Вместе с тем, аналогичное отношение к собаке наблюдается и в Древней Греции, где собаки не допускались в определенные места, почитавшиеся как святые; так, в частности, они не допускались на остров Делос (считавшийся местом рождения Аполлона и Артемиды) и в афинский акрополь (Шольц, 1937, с. 7-8, 44, 49, 51). В Риме жрецу Юпитера (*Flamen Dialis*) было запрещено касаться собаки и даже произносить само это слово (Келлер, I, с. 97-98; Орт, 1913, стлб. 2574-2575; Баррисс, 1935, с. 38). Вне зависимости от истоков данной традиции для нас существенно констатировать ассоциацию пса и иноверца в русском религиозном сознании.

⁴¹ См. еще свидетельство Олеария (1647, с. 177; 1656, с. 303; 1906, с. 326). Одним из обвинений в адрес Лжедмитрия было то, что он ходит в церковь «с поляками, которые водят с собою стаи собак и оскверняют святыню» (Петрей, 1867, с. 223; ср.: РИБ, XIII, стлб. 510); осквернение святыни имеет при этом сугубый характер, поскольку церковь оскверняется как собаками, так и иноверцами (поляками). Ср. пословицу: «И в Иерусалиме собаки есть» (Даль, 1911-1914, IV, стлб. 333) — святое место, вообще говоря, предполагало бы отсутствие собак, и таким образом данная пословица означает примерно то же, что «И на солнце есть пятна».

⁴² Наименование медведем отражает медвежий культ в славянских языческих представлениях (ср.: Успенский, 1982, с. 85-112, 163-166).

⁴³ Любопытный пример символического уподобления такого рода мы находим в деле патриарха Никона. После того, как Никон в 1658 г. оставил патриарший престол и устранился от управления церковью (настаивая, однако, на сохранении патриаршеского титула), боярин С. Л. Стрешнев научил свою собаку изображать Никона. Вот как рассказывает об

этом сам Никон в письме к константинопольскому патриарху Дионисию (1666 г.): «И царского величества бояринъ Семень Лукьянович Стрешневъ научи едину собачку сидѣти и предними ногами, яко же и на Вознесеніи Своємъ Господь нашъ Иисусъ Христосъ воздвиже руки и благослови учеников Своихъ. Сице и та собачка предними ногами поругаея благословенію Божию. И называше ту собачку Никономъ патриархомъ. И мы, слышаще такое бесчиніе и прездзаконіе, прокляхомъ его и отъ христіанства отлучихомъ его» (ЗОРСА, II, с. 527–528); о том же еще раньше (около 1663 г.) Никон писал и царю Алексею Михайловичу (там же, с. 552; ср. еще: Субботин, VII, с. 101 и сл.). Итак, Никон обвиняет С. Л. Стрешнева в кощунстве (и, соответственно, отлучает его от церкви); вместе с тем, с точки зрения Стрешнева сам Никон нарушил канонические правила и не является более патриархом. Заставляя свою собаку изображать архиерейское (патриаршее) богослужение Никона, Стрешнев как бы разоблачает Никона как лже-архиерея и лже-патриарха (напомним, что Собор 1660 г. постановил лишить Никона архиерейства и священства). Таким образом, для Стрешнева это акт символического обличения, который соответствует традиции обличительного наименования чернеца псом; ср. в этой связи рассмотренные выше (примеч. 26) примеры уподобления человека псу в плане речевого поведения.

⁴⁴ Отношение к собаке разительно отличается от отношения к кошке, которая понимается, напротив, как чистое животное. Соответственно, в отличие от собаки кошка может находиться в церкви и даже жить при церкви, не оскверняя ее. Характерно в этом плане, что кошку могут называть христианскими именами (*Васька, Машка* — ср.: Никольский, 1900, с. 6; Брандт, 1882, с. 61; Успенский, 1982, с. 131), что для собаки ни в коем случае недопустимо, ср.: «Собаку грешно кликать человеческими именами» (Даль, 1911–1914, IV, стлб. 334). В тех случаях, когда собаку называют именем человека, имя это не входит в православные святцы, а заимствовано из иноязычного источника. Ср., между тем, обычай давать человеческие имена домашней скотине (Мошинский, II, 1, с. 561).

⁴⁵ Отсюда объясняется, между прочим, песья голова как символ опричнины: ассоциация опричников с бесами, которая имела, по-видимому, вполне сознательный характер (см.: Успенский, 1982а, с. 213, 226–228; Панченко и Успенский, 1983), соответствует ассоциации пса с антихристианским, бесовским началом. Образ собаки амбивалентен, он ассоциируется как с собачьей преданностью, так и с собачьей враждой, злобой, и именно эта двойственность обыгрывается, кажется, в символике опричнины (ср.: Полосин, 1963, с. 150–154, 188) — преданность царю сочетается у опричников с враждебностью к земщине, по отношению к которой опричники являются в функции бесов.

⁴⁶ Иначе объясняются лат. *dies caniculares* или нем. *Hundstage*, англ. *dog-days*, чешск. *psí dni* как обозначение периода времени с 23 июля по 23 августа, связанное с восходом Сириуса (*Canicula*) — самой большой звезды, входящей в созвездие Пса (*Canis*): восприятие пса опосредова-

но в данном случае астральной мифологией. Аналогичное выражение с таким же значением зафиксировано и в русском языке, ср. *песьи дни* «каникеры, пора жаров» (Даль, 1911–1914, III, стлб. 259); отсюда объясняется, между прочим, выражение *собачья жара* (см.: Фасмер, II, с. 180), которое, в свою очередь, обусловило, по-видимому, — вторичным образом — выражение *собачий холод*. Об отражении культа пса в астральной мифологии см. вообще: Иванов, 1977, с. 207–20; ср.: Бейер, 1908; Франк, 1965, с. 204–208.

⁴⁷ Так, например, ритуальное катание с горы в чистый понедельник, наблюдаемое в Архангельской губернии, соответствует традиционному масленичному катанию (Богатырев, 1916, с. 79); обыкновение привязывать колодку к ногам в этот день, принятое в Волынской губернии, находит соответствие в аналогичном масленичном обряде (Соколова, 1979, с. 54–55; ср.: Чубинский, III, с. 7–8); и т. п. Равным образом, у русских чистый понедельник может называться *рот выполоскать* (Юль, 1900, с. 165), тогда как украинцы называют этот день *полоскозуб* (Чубинский, III, с. 8); это связано, конечно, с продолжением ритуального масленичного пьянства — в этот день принято *полоскать зубы*, т. е. напиваться и веселиться (см.: Макаренко, 1913, с. 152; Щуров, 1867, с. 203; Чубинский, III, с. 8; Романов, VIII, с. 141; Малинка, 1898, с. 61; Соколова, 1979, с. 55; Каравелов, 1861, с. 191). Аналогичное свидетельство находим в записях Ричарда Джемса 1618–1619 гг. (Ларин, 1959, с. 168–169).

Мы вправе заключить, по-видимому, что чистый понедельник, вопреки церковным установлениям, мог восприниматься не как постный день, а как ЗАГОВЕНЫ на Великий пост. Такое восприятие, действительно, зарегистрировано как в России (в Архангельской губернии), так и в Болгарии, где в этот день принято доедать скоромную пищу (Богатырев, 1916, с. 79; Каравелов, 1861, с. 191). Во всех случаях чистый понедельник предстает, в сущности, как последний день масленицы.

⁴⁸ Представлению о нечистоте собаки у славян разительно противостоит почитание собаки в иранском мире; это тем более любопытно, что само слово *собака* представляет собой, как полагают, иранское заимствование (см.: Фасмер, III, с. 702–703; ср., впрочем, иначе: Трубачев, 1955, Трубачев, 1960, с. 29). Согласно доктрине зороастрийцев, собака, наряду с человеком, относилась к ЧИСТЫМ существам (Бойс, 1975, с. 297; Вильман-Грабовская, 1934, с. 43; Дорошенко, 1982, с. 54); в предписаниях, касающихся осквернения и очищения в погребальном обряде, не делается различия между собакой и человеком (Вильман-Грабовская, 1934, с. 61; Камменхубер, 1958, с. 306; Иностранцев, 1900, с. 99; Рапопорт, 1971, с. 29). Соответственно, зороастрийский обряд очищения в некоторых случаях предписывает прикосновение к собаке, которое выполняет ту же функцию, что ритуальное омовение и произнесение очистительной клятвы (Дюшен-Гийемен, 1961, с. 100–110; Вильман-Грабовская, 1934, с. 43; Дорошенко, 1982, с. 59). Если у славян присутствие собаки в принципе прогнано, представляется сакральному действию и может даже рассматриваться как препятствие, исключающее возможность общения с Богом, то в зороастрийском культе собака оказывается, напро-

тив, действенным элементом обряда: присутствие собаки предполагалось, в частности, при посвящении в священнослужители, а также в похоронном ритуале, когда собака должна была находиться при умирающем — в обоих случаях роль собаки сводится именно к очищению (Дюшен-Гийомен, 1961, с. 104, 109–110; Камменхубер, 1958, с. 302 и сл.; Иностранцев, 1911, с. 559–560; Раппорт, 1971, с. 30). Вместе с тем, если славяне на растерзание псам отдавали трупы нечистых покойников (в сущности, лишая их таким образом, погребения), то у иранцев такой способ захоронения являлся вполне обычным (Виндегрэн, 1965, с. 14, 35, 132; Иностранцев, 1900, с. 100 и сл.; Раппорт, 1971, с. 9, 15, 16, 23, 24, 27, 28, 110–111). В «Авесте» установлены строжайшие наказания за всякий вред, причиненный любой собаке, даже бешеной; наряду с запрещением людоедства здесь специально оговаривается и запрещение поедания собак (Вильман-Грабовская, 1934, с. 31–33; Миллер, 1876, с. 197–198; Раппорт, 1971, с. 28–31) — особое отношение к этой проблеме у славян отразилось в фразеологизме *собаку свесть* (см. экскурс II).

Подобное отношение к собаке наблюдается, вообще говоря, и у других народов (в частности, у алтайских народов, у палеоазиатов — см.: Лукина, 1983, с. 229–230; Баялиева, 1972, с. 19–20), однако иранцы представляют для нас особый интерес ввиду древнейших ирано-славянских контактов в духовной сфере, которые нашли отражение, как известно, в славянской религиозной и культурной терминологии (см.: Якобсон, 1950, с. 1025–1026; Топоров, 1968, с. 108): на фоне этих контактов отмеченные различия предстают особенно отчетливо.

⁴⁹ Ср. «Описание книги сея государства китайского или хинского» (утраченная рукопись 1731 г., Смоленского педагогического института; цитируем по картотеке Сл. РЯ XI–XVII вв., s. v. *собачий*): «А доч его [хана] тому рада была, чтоб в собакою совокупится и тако сотвориша, и в три лета родила 6 мужеска полу и 6 женскаго, и от того родися весь собачей род и живет на горах». Легенды приписывают такое же происхождение Аттиле, откуда как гунны, так и венгры могут считаться песьим родом (Веселовский, 1888, с. 309–311, 354; Франко, 1892, с. 750). Вместе с тем, так же объясняется и происхождение Полкана (Pulican), т. е. полупса-получеловека, в итальянской повести о Бове (Buovo d'Antona); это отразилось и в некоторых славянских версиях этой повести, согласно которым Полкан «до поеса чоловѣк, ано нижеи пак пес, ѿт пса и ѿт жоны рожон ест» (Веселовский, 1888, с. 310, и прилож., с. 154; ср.: Унбегаун, 1969а, с. 219; Кузьмина, 1964, с. 19, 31).

Представление о происхождении той или иной народности от пса может отражаться в наименовании представителей этой народности «слепыми», ср. в этой связи такие прозвища, как *Blinde Hessen* или *Blinde Schwaben*, при том, что гессенцы еще в XVI–XVII вв. назывались *Hund(e)hessen*, тогда как о швабах рассказывали, что они, подобно щенятам, рождаются слепыми и прозревают лишь на 9-й или 10-й день (Гримм, 1868, с. 393–394). Такие же прозвища отмечаются и у славян (Потебня, 1880; Франко, 1892); так, например, именовали друг друга мазуры и украинцы в Галиции, причем мазуры подчеркивали песью природу украинцев, и наоборот. Ср.: «Spotkał raz Mazur Malorusa i pyta go: 'A

czy to prawda, że się Rusinek ślepy rodzi?' 'Ано, prawda,— odrzeczce,— i dla tego zawsze najmujemy Mazura, żeby mu przez siedem dni w d... dmuchał, doróki nie przejrzy'»; в этом диалоге каждая сторона, в сущности, приписывает другой признаки собачьей породы, ср. еще *ślepy Mazur* как обычное прозвище мазуров (Франко, 1892, с. 755–756; ср.: Федеровский, I, с. 233, № 105), также *śleporód* как разновидность польской брани, семантически связанной с *psia krew* (Потебня, 1880, с. 170). Отсюда же объясняется и прозвание вятчан и пошехонцев «слепородами» (Даль, 1911–1914, IV, стлб. 275; Даль, III, с. 51; Потебня, 1880, с. 173).

⁵⁰ Рассматриваемая здесь этимология была предложена в устной беседе В. Н. Чекманом в ходе обсуждения предварительного варианта настоящей работы. Пользуюсь случаем, чтобы поблагодарить Валерию Николаевича за плодотворную идею; благодарю также В. Н. Топорова и С. Ю. Темкина за советы и консультации по данному вопросу. Необходимо подчеркнуть, что слово *пес* до сих пор не имело удовлетворительной этимологии. Попытки связать это слово с *пестрый* или с лат. *pesis* «скот» (см. Фасмер, III, с. 248; Трубачев, 1960, с. 19 и сл.; Гамкрелидзе и Иванов, 1984, с. 590, примеч. 2), на наш взгляд, неубедительны.

⁵¹ Ср. песий лай как предвестник свадьбы в русских гаданиях (см. выше, § 4–3.1). В других случаях девушки при гадании предлагают псу еду, и он предвещает брак, выбирая еду будущей невесты (Никифоровский, 1897, с. 51, № 325; Мошинский, II, 1, с. 411; ср. тот же обычай и у немцев: Гюнтер, 1932, стлб. 471–472), что может трактоваться, вообще говоря, и как реликт ритуального жертвоприношения в свадебном обряде.

⁵² Дополнительного объяснения требует сохранение исконного *з*, поскольку в этих условиях оно должно было бы перейти в *т*, т. е. ожидалась бы форма **pitū* (*пѣхъ*); на существование такой формы могла бы указывать, вообще говоря, форма *Пхово*, зарегистрированная в новгородско-псковской топонимике (Новг. писц. кн., VI, с. 326, 398, 424), однако форма эта малопоказательна, поскольку может объясняться и как результат диалектного изменения *з* в *т*. Сохранение исконного звука может объясняться ввиду того, что рассматриваемое слово относится к особому разряду табуистической лексики (см. ниже): в словах такого рода фонетические закономерности действуют не регулярно.

⁵³ Ср. чешск. *psice* «сука, проститутка», а также полабск. *zauko* «потаскуха» (Фасмер, III, с. 798) или немецкое диалектное заимствование *Zauke* с тем же значением (Трубачев, 1960, с. 21). В литовской фразе *Eik tu, piziau, pejuokink žmonių!* «Иди ты, кобель [букв.: распутник], не смейши людей!» (Сл. лит. яз., X, с. 46) слово *pizius* как бранное выражение ближайшим образом соответствует по своему употреблению русскому *кобель*.

⁵⁴ Отсюда, в свою очередь, Вергилий называет собаку *obscenus*, Гораций прилагает к ней эпитет *imundus*, тогда как в «Приапее» (сборнике стихов, приписываемых Катутллу, Тибуллу, Овидию и др.) собака характеризуется как *foedus* (Келлер, I, с. 97 и 424, примеч. 65). В «Октавии»

Мируция Феликса (IX, 6) собака упоминается при описании бесстыдных, кровосмесительных оргий, в которых она как бы символически принимает участие.

⁵⁵ Некоторые исследователи усматривают отражение исконного индоевропейского названия пса в таких формах, как рус. *сука* (Фасмер, III, с. 798) или бог *куче* (Младенов, 1941, с. 264; Георгиев и др., III, с. 170).

⁵⁶ Ср., вместе с тем, отражение исконного индоевропейского названия змеи в таких словах, как рус. *уж* и *еж*. Характерно, однако, что *уж* выступает как обозначение специфической разновидности змей (при этом безопасной для человека), а не как обозначение змеи вообще и, в принципе, не как обозначение мифологического Змея, которое естественно и подверглось табуизации. Между тем, этимология слова *еж* (из слав. **ežь* — букв. «змеиный») мотивирована тем, что слово это обозначает животное, враждебное змее, пожирателя змей; поэтому здесь сохраняется именно исходное, а не табуистическое название змеи. См.: Фасмер, II, с. 10; Фасмер, IV, с. 150–151; Трубачев, VI, с. 37; Гамкрелидзе и Иванов, 1984, с. 526.

⁵⁷ Ср. в этой связи также белорусскую быличку, где место Пятницы занимает Неделя, которая оказывается в таком же отношении к собакам: крестынин спасает Неделю от собак, которые ее преследуют, и она сообщает, что если бы не он, собаки бы ее разорвали и больше никогда бы не было «недели», т. е. воскресенья (Федоровский, I, с. 5, № 4). Пятница и Неделя явно соотносены друг с другом, отражая, по-видимому, одни и те же мифологические представления, восходящие в конечном итоге к культуре Мокоши (Успенский, 1982, с. 137).

Специфическое отношение собаки к пятнице нашло отражение, может быть, и в украинской пословице: «Пес п'ятниці не знає» (или: «Чи знає пес п'ятницю!» — Номис, 1864, № 540; ср.: Даль, II, с. 240); речь идет в данном случае именно об отношении к пятнице, а не вообще к постным дням — подобное отношение не распространяется, например, на среду, ср.: «Знає пес середу» (там же, № 533). Впрочем, белорусы могут считать, что «*inszy sabaka p'jätnicu znaje*» (Федоровский, I, с. 254, № 1271), — так или иначе, отношение собаки к пятнице является, бесспорно, отмеченным, собака и пятница определенным образом коррелируют друг с другом.

⁵⁸ В других случаях Геката представлялась четырехголовой, с головами коня, быка, гидры и собаки: конь означал при этом огонь, бык — знаменвал воздух, гидра представляла воду, собака — землю (Группе, 1906, с. 1290, примеч.). Для нас важна во всяком случае ассоциация собаки и земли.

⁵⁹ Характерно, что в русском языке слово *пятница* может выступать как обозначение часовни или же резной иконы Параскевы Пятницы, которые ставились на перепутье, так же как и обозначение самого распутья, раздорозья (см.: Даль, 1911–1914, III, стлб. 1456; Макаров, 1828, с. 202–203; Чичеров, 1957, с. 56–57). Относительно соотносительности собаки с душой, которая проявляется в культуре Гекаты, см. вообще: Гу-

бернатис, II, с. 18–21; Миллер, 1876, с. 199–200; Баррисс, 1935, с. 38. Ср. в этой связи ходячее представление о том, что собаки лают на луну: соответственно могут объясняться цитированные выше (§ 4–4) пословицы типа украинской «Собаки голоса не идуть попод небеса» и т. п., которые понимаются, как мы видели, в связи с противопоставлением собаки и Бога.

⁶⁰ Еще в XVII в. в русских матерных ругательствах употреблялась форма вин. падежа *матерь*. Олеарий (1656) приводит выражения с *мать* и с *матерь* как альтернативные: *(je)butzfui mat* (с. 191, 195) и *butzfui matir* (с. 190). Между тем, в первом издании Олеария (1647 г.) фигурируют только формы с *матерь*: *(je) butfui matir* (с. 125, 130); ср.: Олеарий, 1906, с. 186, 187, 192, 546, 547. Равным образом и Конрад Буссов для начала XVII в. цитирует исключительно формы с *матерь*: *gebui tfuoia matir* (глагол, по-видимому, в форме императива), *gebui matir*. . . (глагол в форме 1-го лица), *geps tfo matir* (глагол в форме прошедшего времени?) (Буссов, 1851, с. 226, 515, 574; ср. изд., Буссов, 1961, с. 119, 173, 183, 247, 397, 319 — в печатном тексте соответствующие места заменены многоточиями).

⁶¹ Ср., например, сербск. *јебем ти свету Петку* или словацк. *jebem ti Boha (Krista, Mariu)*, где местоименная форма (*ти, ti*) может быть опознана как форма *dativus ethicus* — при том, что в синтаксически параллельных конструкциях типа сербск. *јебем ти мајку* или словацк. *jebem ti (tvoji) mater (mat')* эта форма может пониматься как *dativus possessivus*; показательно, что в последнем случае местоименная форма дательного падежа может быть заменена на форму притяжательного местоимения. Местоимение в дательном падеже фигурирует и в древнейшем по времени фиксации матерном выражении, сохранившемся в уже цитированной болгаро-валашской грамоте: *да мѣ ебе пѣс и женѣ и матере мѣ* (Богдан, 1905, с. 43, № 23; Милетич, 1896, с. 51, № 12/302; ср.: с. 63 наст. изд.); местоимением *мѣ* в этой фразе выступает в разных значениях: в первом случае в значении *dativus ethicus*, во втором — в значении *dativus possessivus*.

Отметим еще украинское ругательство *хай тобі (или: твою) маму морду!* (Номис, 1864, № 3763), которое явно соотносится с матерным ругательством, представляя собой, так сказать, его смягченный вариант; надо полагать, что синтаксическая структура данного предложения отражает синтаксическую структуру матерного ругательства.

⁶² Ср. староукраинские выражения *лаяти матери (кому)* или *лаяти до матери (кому)*: «шляхтичь шляхтичу лаєть до м'три», «хто кому м'три лаєть» (Статут Казимира Великого, XV в., см.: Сл. стукр. яз., I, с. 541).

⁶³ Ср. аналогичное управление у лат. *oblatrare* «набрасываться с лаем или с бранью», который также может управлять как дательным, так и винительным падежом.

⁶⁴ Точно так же в антагонистической противопоставленности Громувержцу могут объединяться змей и волк (см.: Веселовский, 1883, с. 328 и

сл.). Относительно мифологической соотнесенности волка и пса (отражающейся как в этимологии индоевропейского названия собаки, так и в метафорических наименованиях волка) см. при этом: Иванов, 1975, с. 389–390; Иванов, 1977, с. 187–195, 205–206; Гамкрелидзе и Иванов, 1984, с. 590–591; ср.: Луркер, 1969, с. 199–200; Группе, 1906, с. 805–806.

⁶⁵ Ассоциация собаки и змея может проявляться и в представлениях о запредельных людях, т.е. о людях, живущих по ту сторону культурно освоенного пространства и в какой-то мере принадлежащих уже потустороннему миру. Так, в древнерусском «Сказании о Индийском царстве» сообщается, что на краю света живут «люди пол пса да пол человека... а иные... люди глава песья» (Памятники..., 1981, с. 466). Это сообщение следует сопоставить с представлением о стране блаженных рахманов, которые, по мнению буковинских рутенов, наполовину люди, а наполовину рыбы (Яцимирский, 1900, с. 268), т.е. обнаруживают признаки змеиной породы, поскольку рыбы в народной мифологии рассматриваются как разновидность змея; ср. в этой связи русские поверья о Лукоморье — царстве, в котором люди, подобно змеям, умирают на зиму и воскресают весной (Успенский, 1982, с. 146–147).

Относительно ассоциации собаки и змея в греческой мифологии см.: Группе, 1906, с. 408–410. Характерно в этом плане, что как змея, так и собака связаны с культом Асклепия (Группе, 1906, с. 1444–1446, а также с. 947, примеч. 5, с. 1448, примеч. 7; Кагаров, 1912–1913, с. 147–150, 575).

⁶⁶ Аналогичные представления широко распространены и не ограничиваются индоевропейским ареалом (см., например: Луркер, 1969, с. 206–209; Копперс, 1930, с. 371–373; Кречмар, II, с. 225 и сл.; Франк, 1965, с. 214–215). По представлениям чукчей и коряков, умерший проходит через особый собачий мир, где собаки нападают на того, кто плохо обращался с ними при жизни (Богораз, II, с. 45; ср.: Крейнович, 1930, с. 52; Термер, 1957, с. 28; Кречмар, II, с. 227). Ср. в этой связи немецкое народное поверье об особом собачьем рае, который находится, по-видимому, перед обычным раем (Шлерат, 1954, с. 30–31).

⁶⁷ Ср. попытки интерпретации этой уникальной былины, и, в частности, образа «царя Собаки»: Алексеев, 1983, с. 63 (автор ссылается на германские легенды о псе, посаженном на царство); Хаавио, 1967, с. 238–249 (автор возводит эту былину к египетскому источнику). Некоторые параллели к данной былине из житийной и апокрифической литературы указаны Соколовым (1916, с. 113–118), однако о царе Собаке здесь не говорится. Для определения языческих источников этого произведения любопытна самарская легенда о Вавиле-скоморохе, где к умирающему герою является ангел и говорит: «Тебя Бог наградил, Вавило-скоморох; ты будешь Вавило-скоморох, голубиный бог» (Садовников, 1884, с. 291).

⁶⁸ Ср. мотив «иног царства» в русских сказках (Трубецкой, 1918, с. 17; Пропп, 1946, с. 260 и сл.) — так называется здесь потусторонний мир, который посещает сказочный герой.

⁶⁹ Ср. в этой связи представление о том, что душа умершего является в образе собаки (см. о славянах: Мошинский, II, 1, с. 549, 557;

Зеленин, 1916, с. 287; о других народах — Клиnger, 1911, с. 247–248, 254–256; Шольц, 1937, с. 29–20, 38; Кречмар, II, с. 15, 28, 85, 165; Шлерат, 1954, с. 25–27; Луркер, 1969, с. 203–204; Франк, 1965, с. 116; Афанасьев, 1865–1869, I, с. 732, примеч. 2; Лукина, 1983, с. 227). Не менее показательно представление, согласно которому собаки пожирают души мертвых (см. о славянах, германцах, греках, а также о палеоазиатах: Шольц, 1937, с. 31, 34; Шлерат, 1954, с. 31–32, 35); это представление отразилось, вероятно, в иранском похоронном обряде, где трупы покойников отдаются на растерзание псам (см. выше, примеч. 48); аналогичный похоронный обряд наблюдается также у тибетцев и монголов (Кречмар, II, с. 17–21, 227–229; Луркер, 1969, с. 210–211; ср. еще: Франк, 1965, с. 216–217). Относительно ассоциации собаки и смерти см. также: Клиnger, 1911, с. 242 и сл.; Луркер, 1969, с. 200–203; Франк, 1965, с. 168–175; Баррисс, 1935, с. 35; Кречмар, II, с. 40; Бейер, 1908, с. 419; Касарелли, 1890.

⁷⁰ Характерно, что поляки называют волка как *pies*, так и *gad*, а также *gobak*, т.е. пользуются словом, обозначающим пресмыкающееся (Зеленин, II, с. 38).

⁷¹ В русской сказке Чудо-юдо, которое едет на коне-драконе («конь у него о двенадцати крылах, шерсть у коня серебряная, хвост и грива — золотые»), бранит своего коня: «Что ты, собачье мясо, спотыкаешься, ... ты, песья шерсть, щетинишься?» (Афанасьев, I, с. 228, № 137).

⁷² Аналогичная пословица была записана в XVI в. Генрихом Штаденом: *Scabacka scabaka iziel*, т.е. «Собака собаку и съела» (Штаден, 1930, с. 99; Штаден, 1925, с. 118). Ср., вместе с тем, латинскую поговорку с прямо противоположным содержанием: «*Canis caninam non est*» или «*Canis non caninam*».

⁷³ Герцен рассказывает в «Былом и думах», как один вельможа подшутил над своими гостями, накормив их собачиной, и в какой ужас пришли гости, когда узнали об этом (Герцен, VIII, с. 242).

⁷⁴ Неупотребительное сейчас управление винительным падежом (*свесть собаку на что*) встречается у Пушкина, у Мельникова-Печерского. Ср., между тем, укр. «Собаку на сім ззіли» (Номис, 1964, № 5781).

⁷⁵ Один из героев Петрония («Сатирикон», XLIII) говорит: «*De te tamen verum dicam, qui linguam caninam comedi*», т.е.: «Об этом я скажу правду, потому что я съел язык собаки» (см.: Петроний, 1975, с. 77, 288; ср.: Покровский, 1930, с. 86–87; Клиnger, 1911, с. 250–251); в подобном контексте специальное значение приобретает поедание собачьего языка. Ср., вместе с тем, латинское выражение «*Lingua caninam comedit*», которое применяется к тем, кто разглагольствует без меры. В обоих случаях тот, кто съедает собачий язык, как бы теряет способность управлять своей речью.

⁷⁶ Любопытно, что и Потеня (1882, с. 74) связывает рассматриваемый фразеологизм (*собаку свесть*) с работой косарей, хотя предлагаемое им объяснение нельзя признать удовлетворительным (ср.: Фасмер, III, с. 703).

⁷⁷ Собачье мясо может представлять собой ритуальное кушанье у африканских и американских аборигенов (Франк, 1965, с. 46–77; Термер, 1957, с. 18–21; Вегелин, 1949, с. 319; Баррисс, 1935, с. 42); его едят также в Юго-Восточной Азии и Океании (Симунс, 1961, с. 91 и сл.). По свидетельству Порфирия и других древних авторов, собачье мясо было вполне употребительно у греков, которые считали его полезным в медицинском отношении (Шольц, 1937, с. 9–10); употребление собачьего мяса в медицинских целях наблюдается иногда и у немцев (Гюнтер, 1932, стлб. 481–482). Между тем, в Индии те, кто едят собачину, считаются неприкасаемыми (Падхье, 1934, с. 265–266).

⁷⁸ Данное выражение объясняют также со ссылкой на греч. *κύων* или лат. *canis*, которые могут значить как «собака», так и «неудачный бросок при игре в кости»; отсюда, в свою очередь, др.-инд. *śva-ghnīn* «удачливый игрок», букв. «убийца собаки» (см.: Фасмер, III, с. 703; Иванов, 1977, с. 199; Гамкрелидзе и Иванов, 1984, с. 591, примеч. 2). Объяснение это не кажется убедительным.

«Заветные сказки»

А. Н. Афанасьева

1. Александра Николаевича Афанасьева (1826–1871) по праву называют «русским Гриммом». Действительно, его знаменитое собрание русских народных сказок ближайшим образом напоминает собрание немецких сказок братьев Гримм. Более того: в мировой сказочной литературе, вышедшей в свет после сборника братьев Гримм, не было ни одного такого монументального собрания сказок, как афанасьевское¹. Этот классический труд (включающий в себя помимо русских сказок также сказки украинские и белорусские) был впервые опубликован в 1855–1863 гг.² и с тех пор неоднократно переиздавался³. Вместе с тем целый ряд сказок, собранных Афанасьевым, по цензурным условиям не мог быть опубликован в России; сказки эти составили особый сборник, который первоначально был озаглавлен «Народные русские сказки не для печати»⁴. Эти тексты были вывезены за границу и частично опубликованы там — без указания имени составителя — под названием «Русские заветные сказки»; остальные материалы должны были составить продолжение данной книги, однако этот замысел остался нереализованным⁵. Первое издание «Русских заветных сказок» вышло в Женеве в 1872 г., второе стереотипное издание — в 1878 г.⁶.

Слово *заветный* определяется в словаре В. И. Даля как «завещанный; переданный или хранимый по завету, заповедный, зарочный [т. е. секретный], обетный; задушевный, тайный; свято хранимый»⁷. Вместе с тем тот же В. И. Даль назвал «заветными» непристойные (эротические) пословицы и поговорки, собранные им совместно с П. А. Ефремовым; «Русские заветные пословицы и поговорки» В. И. Даля и П. А. Ефремова, так же как и «Русские заветные сказки» А. Н. Афанасьева, не могли быть опубликованы в России⁸. Вслед за В. И. Далем эпитет *заветный* появляется в заглавии афанасьевского сборника⁹ — слово *заветный* приобретает тем самым особый смысл, выступая как определение специфического корпуса фольклорных текстов.

2. Основной корпус сборника Афанасьева составляют сказки непристойного, эротического содержания. Сказки такого рода были очень распространены в русском быту; они до сих пор распростра-

нены в крестьянской среде, хотя обычно рассказываются лишь в определенной аудитории и, видимо, в особых ситуациях.

Адам Олеарий, немецкий путешественник, посетивший Россию в XVII в., замечает, что русские часто «говорят о разврате, о гнусных пороках, о непристойностях < . . . > Они рассказывают всякого рода срамные сказки, и тот, кто наиболее сквернословит и отпускает самые неприличные шутки, сопровождая их непристойными телодвижениями, считается у них лучшим и приятнейшим в обществе» («Ihre meiste Reden seynd dahin gericht, worzu sie ihre Natur und gemeine Lebensart veranlasset. Nemblich von Uppigkeiten, schendlichen Lastern, Geilheiten und Unzucht, so theils von ihnen selbst, theils von andern begangen. Erzehlen allerhand schandbare Fabeln, und wer die gröbesten Zotten und Schandpossen darbey zureissen, und sich mit leichfertigen Gebärden heraus zu lassen weiß, der ist der beste und angenehmste»)¹⁰. По свидетельству современного фольклориста, почти в каждой деревне «есть свои мастера, нередко кроме сказки эротической ничего не рассказывающие»¹¹. Между прочим, эти сказки обычно рассказываются в деревне мальчикам-подросткам (которые сами их при этом, по-видимому, не рассказывают) — ознакомление с такого рода текстами призвано оказать влияние на половое развитие¹².

Вместе с тем наряду с непристойными (эротическими) сказками мы находим в сборнике Афанасьева сказки антиклерикальные, высмеивающие попов. Нередко эти темы объединяются, и мы имеем непристойные рассказы о священнослужителях; есть, однако, и такие сказки о попах, в которых совсем нет эротики (см. сказки под №№ XXXVIII, XLII, XLVIIIa, XLVIIIb, L, LXIVa, LXXIV, LXXVI). После революции, когда были сняты цензурные ограничения на антиклерикальные тексты, эти сказки были опубликованы в России¹³. Что же касается эротических сказок, то они продолжали оставаться под запретом; в какой-то мере это объясняется особой табуированностью обценной лексики — табуированностью, специфичной для русской культуры¹⁴.

Итак, «Русские заветные сказки» включают в себя, с одной стороны, сказки эротические, с другой же стороны — сказки антиклерикальные. Чем же объясняется подобное объединение? Можно ли считать, что оно достаточно случайно и определяется всего лишь цензурными условиями, т. е. невозможностью публикации соответствующих текстов в России? Думается, что причины лежат гораздо глубже.

Аполлон Григорьев (1822–1864), известный писатель и критик, вспоминая о своем детстве, описывает общение с дворней: «Рано, даже слишком рано пробуждены были во мне половые инстинкты и, постоянно только раздражаемые и не удовлетворяемые, давали

работу необузданной фантазии; рано также изучил я все тонкости крепкой русской речи и от кучера Василья наслушался сказок о батраках и их известных хозяевах»¹⁵. Под «известными хозяевами» Аполлон Григорьев имеет в виду попов — таким образом, рассказы, которые слышал от дворовых людей маленький барчук, соответствуют по своему содержанию афанасьевским «заветным сказкам»¹⁶. Это совпадение, конечно, не случайно и заслуживает самого пристального внимания.

Добавим еще, что антиклерикальный характер соответствующих текстов очень выразительно подчеркнут на титульном листе афанасьевского сборника: место издания обозначен Валаамский монастырь (один из самых строгих и почитаемых монастырей православной России)¹⁷, само издание представлено как дело рук монашествующей братии, причем эпиграфом к книге служит цитата из послесловия к богослужебной книге, которая приобретает при этом кощунственный смысл.

Характерно, наконец, что среди «заветных сказок» имеются тексты не только антиклерикальные, но и прямо кощунственные (см., например, сказку № LXVb, вариант подстрочного примечания) — иначе говоря, наряду с текстами, направленными против недостойных служителей культа, здесь представлены тексты, направленные против самого культа.

3. Итак, непристойным, эротическим текстам приписывается антиклерикальная направленность, и вместе с тем рассказы, высмеивающие попов, непосредственно ассоциируются с рассказами непристойного содержания. Для понимания этого феномена необходимо иметь в виду, что тексты того и другого рода принадлежат к сфере анти-поведения, т. е. обратного поведения, поведения наоборот — поведения, сознательно нарушающего принятые социальные нормы.

Анти-поведение всегда играло большую роль в русском быту. Очень часто оно имело ритуальный, магический характер, выполнял при этом самые разнообразные функции (в частности, номинальную, вегетативную и т.п.). По своему происхождению это магическое анти-поведение связано с языческими представлениями о потустороннем мире¹⁸. Оно соотносилось с календарным циклом и, соответственно, в определенные временные периоды (например, на святки, на масленицу, в купальские дни) анти-поведение признавалось уместным и даже оправданным (или практически неизбежным).

Будучи антитетически противопоставлено нормативному с христианской точки зрения поведению, анти-поведение, выражающееся в сознательном отказе от принятых норм, способствует сохранению традиционных языческих обрядов. Поэтому наряду с пове-

дением антицерковным или вообще антихристианским здесь могут наблюдаться архаические формы поведения, которые в свое время имели вполне регламентированный, обрядовый характер; однако языческие ритуалы не воспринимаются в этих условиях как самостоятельная и независимая норма поведения, но осознаются — в перспективе христианских представлений — именно как отклонение от нормы, т. е. реализация «неправильного» поведения. В итоге анти-поведение может принимать самые разнообразные формы: в частности, для него характерно ритуальное обнажение, сквернословие, глумление над христианским культом.

Типичным примером анти-поведения может служить поведение святочных ряженых. Так, на святки, т. е. в период от Рождества до Богоявления (Крещения), русские крестьяне, которые, вообще говоря, считали себя христианами, рядились в чертей, леших и т. п. и имитировали их поведение. Поведение участников карнавала имело вообще откровенно антихристианский и во многих случаях прямо кощунственный характер; важную роль играли при этом как эротика, так и пародирование церковных обрядов. Ср. описание святочных ряженых в челобитной нижегородских священников, поданной в 1636 г. патриарху Иоасафу I (автором челобитной был, как полагают, Иоанн Неронов): «< . . . > на лица своя полагают личины косматыя и зверовидныя и одежду таковую ж, а созади себе утвержают хвосты, яко видимыя беси, и срамная удеса в лицах носяще и всякое бесовско козлогласующе и объявляюще срамные уды < . . . >»; описанные здесь признаки в точности соответствуют иконографическому образу беса, для которого также характерны хвост, косматость, мена верха и низа (лица и полового органа). Характерным образом в этом же контексте говорится и о сквернословии: «Да еще, государь, друг другу лаются позорною лаею, отца и матери блудным позором < . . . > безстудною самою позорною нечистою языки свои и души оскверняют»¹⁹.

Кощунственное глумление над церковью в святочных играх описывается в челобитной вяземского иконописца старца Григория царю Алексею Михайловичу 1651 г. Григорий сообщает, что у них в Вязьме «игрища разные и мерзкие бывають вначале от Рождества Христова до Богоявления всенощные, на коих святых нарицают, и монастыри делают, и архимарита, и келаря, и старцов нарицают, там же и женок и девок много ходят, и тамо девицы девство диаволу отдают»²⁰. Итак, ряженые изображают в данном случае монахов, которые занимаются распутством < . . . > Не менее показательны пародийные святочные похороны, в которых принимает участие ряженный «поп» в ризе из рогожи, в камилавке из синей сахарной бумаги, с кадиллом в виде глиняного рукомошника (причем в кадилло наложен куриный помет) и где вместо отпевания произ-

носится отборная брань, сочетающаяся с элементами церковного обряда: «„Покойника“ ставят среди избы и начинается отпевание, состоящее как со стороны „священника“, так и со стороны „дьячка“ из всевозможных матюгов, какие только употребляются здесь < . . . > „Поп“ ходит кругом покойника и кадит, делает каждение и присутствующим, особенно девицам, норовит под самый нос, говоря „Благодать святого духа < . . . >”»²¹. Как видим, эротика и непристойность естественно объединяются в святочных играх со святотатством.

Существенно, что сами участники святочных, масленичных и тому подобных обрядов воспринимали свое поведение как греховное: предполагалось именно, что в «нечистые» дни необходимо грешить — при том, что грехи требуют в дальнейшем покаяния и очищения. Так, участники святочного обряда по окончании святок должны были искупаться в иорданской проруби (устраиваемой в праздник Богоявления) и тем самым искупить свою вину; с этой же целью участники купальских обрядов должны были искупаться в Петров день и т. п. Повседневная жизнь представляла, тем самым, как постоянное чередование «правильного» (нормативного) и «неправильного» поведения (т. е. анти-поведения). Разумеется, очень часто приходится наблюдать экспансию анти-поведения, которое никак ситуационно не обусловлено. Но даже и в этих случаях анти-поведение не приобретает самостоятельный ценностный статус: анти-поведение остается обратным, перевернутым поведением, т. е. воспринимается как нарушение принятых норм.

Все сказанное имеет самое прямое отношение к «заветным сказкам». Непристойные сказки, вообще говоря, встречаются у разных народов, и в этом отношении русские непристойные сказки не представляют собой чего-либо особенного. В сюжетном отношении русские «заветные сказки» могут ближайшим образом напоминать французские фаблю, немецкие шванки, польские фацеции и, наконец, известные новеллы Поджо и Боккаччо (тем более что сами сюжеты такого рода легко заимствуются и обнаруживают способность к миграции). Специфическим для русских сказок является не столько сюжет как таковой, сколько особенности их функционирования и восприятия, которые определяются четко осознаваемой принадлежностью их к сфере анти-поведения — т. е. именно запретным, «заветным» характером подобных текстов.

Достоевский писал в этой связи: «Народ наш не развратен, а очень даже целомудрен, несмотря на то, что это бесспорно самый сквернословный народ в целом мире, — и об этой противоположности, право, стоит хоть немножко подумать»²². Действительно, непристойные сказки могут быть сколь угодно широко распространены в народном быту, подобно тому, как распространены и непри-

стойные выражения, — однако это никоим образом не делает их **НОРМОЙ** поведения; это, собственно говоря, и определяет их особый статус²³.

4. В некоторых случаях «заветные сказки» обнаруживают самую непосредственную связь со святочными увеселениями, ближайшим образом напоминая описание святочных игр.

Вот в сказке № LХV кузнец находит попа у своей жены, и поп притворяется «святым», т. е. сакральным изображением: он скидывает с себя одежду и становится в переднем углу, распустив косу и бороду; кузнец пытается прилепить свечку к его члену, свечка отваливается, тогда кузнец решает накалить «подсвечник», чтобы свечка лучше пристала, и поп «оживает», убегая из избы. Аналогии к этому сюжету можно обнаружить в святочных играх. Так, игры на святки могут устраиваться в храме, причем случившегося тут же покойника вынимают из гроба и, вставив ему лучину в зубы, ставят в угол в качестве своеобразного светильника (который одновременно предстает в виде изваяния)²⁴; вместе с тем «оживление» попа кузнецом ближайшим образом напоминает святочные игры в «умруна» (покойника), когда ряженого, изображающего покойника, «оживляют», хватая его за срамные места²⁵. Действия кузнеца, хватающего в той же самой сказке «женихов» раскаленными клещами за *testiculi*, вызывают в памяти святочные игры, где кузнец «перековывает» людей²⁶.

Описание похорон животного (кобеля или козла) по христианскому обряду в сказке № XLVIII находит соответствие в святочной игре, когда ряженные, переодетые в священника, дьякона, дьячка и певчих, с «хоругвями» и «образами», сделанными из рогожи и соломы, имитируя отпевание, хоронят дохлого теленка или же куклу с телячьей головой²⁷; как сказка, так и соответствующая ей игра имеют откровенно кощунственный характер.

В ряде сказок незадачливого попа мажут экскрементами (см. сказки №№ LXXV и LXXVI); и этот мотив также находит соответствие в святочных играх²⁸. Персонажи других сказок вымазываются в саже или же в краске, и их принимают за чертей (сказки №№ LХVa, LХVb, LХIX); подобным же образом и святочные ряженные, изображающие чертей, обыкновенно мажут лицо сажей.

В сказке № LХIV представлен похотливый поп, который ржет, как жеребец (*igo-go*), и ему отвечает женщина, изображая кобылу (*igu-gu*), — таким образом передается их любовная страсть; ср. в этой связи обличение языческих игр на Владимирском соборе 1274 г., где говорится, что язычники, «вкуне мужи и жены, яко и кони вискають и ржуть, и скверну деють»²⁹; вместе с тем имитация крика животных характерна для святочных обрядов, направлен-

ных на обеспечение плодородия (так же, как и для обрядов, совершаемых в Великий четверг, т. е. в четверг на страстной неделе)³⁰.

Надо полагать, что сказки такого рода и рассказывались именно на святках; соответствуя по своему содержанию святочным играм, они могли выступать как **СЛОВЕСНЫЙ СУБСТИТУТ** этих игр. Указание на то, что «заветные» сказки принято рассказывать в святочные вечера, содержится, по-видимому, в грамотах царя Алексея Михайловича 1647–1649 гг., направленных на искоренение языческих обрядов, «< . . . > а в навечери Рождества Христова и Васильева дни и Богоявления Господня клочки бесовские клечут — коледу, и таусен, и плугу < . . . > и загадки загадывают, и сказки сказывают небыльные, и празднословие с смехотворением и кощунанием»³¹.

Разумеется, совсем не все «заветные сказки» связаны со святочным поведением. Вместе с тем функционирование подобных сказок отнюдь не обязательно определяется календарным циклом. Так, они могли играть определенную роль в славянском **СВАДЕБНОМ** обряде; в Болгарии, например, в брачную ночь, т. е. во время соития молодых, собравшиеся за столом гости рассказывают друг другу непристойные сказки³². Соответствующие тексты явно соотносятся с тем, что одновременно происходит на брачном ложе: эротический сценарий свадебного действия параллельно разворачивается, таким образом, в двух планах — акциональном и вербальном. Можно предположить, что нечто подобное могло иметь место и у других славян — в том числе и у славян восточных³³.

Равным образом «заветные сказки» могут быть связаны с **ПОХОРОННЫМ** обрядом, и это особенно показательно, поскольку здесь отчетливо проявляется связь анти-поведения с представлениями о потустороннем мире. Следует заметить, что этот обычай обнаруживает широкие типологические параллели: так, у самых разных народов принято в ночь бдения при покойнике вести шуточные или даже непристойно-скабрзные рассказы, причем это может специально мотивироваться тем, что для самого покойника эти рассказы имеют в точности обратный, а именно глубоко моральный смысл³⁴. Подобный обычай (правда, без соответствующей мотивировки) зафиксирован и у славян, в частности, у южных славян³⁵; ср. также «сороміцькі голосіня» эротического характера³⁶, «жартовливі голосіня»³⁷ и вообще разнообразные шутки над покойником³⁸ в украинском похоронном обряде; соответствующие моменты отразились, по всей видимости, и в эротических моментах святочной игры в покойника, о которых мы отчасти уже упоминали выше.

Одновременно украинские ритуальные забавы, устраиваемые в ночь бдения при покойнике, могут иметь явно выраженный кощунственный характер, когда, например, устраиваются пародий-

ные похороны, причем один из играющих изображает покойника, другой священника и церковный причет, вместо Евангелия и проповеди читают те или иные забавные тексты и т. п.³⁹; совершенно такие же пародийные похороны устраиваются и на святки (ср. выше). Как видим, поведение участников святочных игр может ближайшим образом напоминать ритуальное поведение в ночь бдения; это вполне понятно, если иметь в виду поминальный характер святочных игр, которые связаны по своему происхождению с культом предков.

В рассмотренных обычаях проявляется архаическое представление о потустороннем мире как о мире с противоположной ориентацией или, иначе говоря, с обратными, противоположными — по сравнению с нашим миром — связями. Это представление широко распространено, и есть все основания полагать, что оно имеет универсальный характер: действительно, у самых разных народов бытует мнение, что на том свете все наоборот, т. е. то, что здесь является правым, там оказывается левым, верх соответствует низу и т. д. и т. п. Подобные представления зафиксированы, в частности, и у славян, где они отражаются как в верованиях, так и в обрядах — прежде всего в похоронных обрядах, когда, например, к покойнику прикасаются лишь левой рукой, одежда на нем застегивается обратным, по сравнению с обычным образом, траурное платье выворачивается наизнанку, предметы переворачиваются вверх дном и т. п.⁴⁰ Совершенно аналогично объясняется, как мы видим, и обычный рассказывать при покойнике непристойные сказки. Вообще по своей первоначальной функции «заветные сказки» связаны, видимо, с языческим культом мертвых (предков).

5. Итак, «заветные сказки» обнаруживают несомненную связь с обрядами языческого происхождения. Не удивительно, что символическая образность этих сказок может быть очень архаичной. Вот, например, в сказке № XXXII описывается, как мужской член вырастает до неба⁴¹. В других — неэротических — сказках аналогичным образом вырастает гороховый стебель⁴², и это понятно, поскольку горох символизирует плодородие⁴³: в качестве символа плодородия горох и фаллос могут уподобляться друг другу и в других случаях; ср. выражение *покушать горошку*, означающее «забеременеть»⁴⁴, а также сказочный мотив чудесного рождения от съеденной горошины⁴⁵. В то же время как в гороховом стебле, так и в фаллосе, вырастающем к небу, можно узнать архаический образ мирового дерева⁴⁶.

Или другой пример: в ряде сказок прослеживается ассоциация фаллоса с богатством. Так, в одной из сказок (№ XX) девка говорит парню: «ах, душечка! да твоим богатством можно денежки доставать!»; в другой сказке (№ XLIIa) coitus представлен как

добывание золота; наконец, здесь может обыгрываться мотив продажи фаллоса (№ XV) или отдачи его под заклад (№ XXXIIa); во всех этих случаях фаллос предстает как средство обогащения, орудие добывания золота или денег (ср. еще в этой связи сказку № XLVII). Все это отвечает мифологическим представлениям о coitus'e, которое отражается, в частности, в ассоциации женского полового органа с золотым кольцом, золотой дырой и т. п.⁴⁷

Отметим еще сказку № XLVI, где *чесалка* выступает как метафорическое обозначение фаллоса, а *чесать* означает «futurere». Эта символика отвечает мифологической ассоциации волос с обилием, плодородием и т. п.⁴⁸ Плодоносная сила гребня отчетливо выступает в распространенном сказочном сюжете: герой бросает гребень в чистое поле, и на этом месте сразу же вырастает лес⁴⁹. Итак, гребень провоцирует плодородие, и это объясняет его соотношение с фаллосом; соответственно, например, в русском свадебном обряде дружка, укладывая молодых в постель, приказывает: «Ройся в шерсти»⁵⁰ — и в этом случае фаллос оказывается уподобленным гребню⁵¹.

6. Архаическая природа «заветной сказки» весьма наглядно проявляется в ее соотносительности с загадкой. Загадка и сказка как фольклорные жанры вообще существенным образом связаны друг с другом — это проявляется прежде всего в условиях их функционирования⁵². В ряде случаев в тексте сказки инкорпорируется загадка — она может вплестаться в речь сказочного героя⁵³; в других случаях в сказке описывается испытание героя, который должен отгадывать предлагаемые ему загадки⁵⁴.

Однако в случае «заветной сказки» эта связь оказывается гораздо более тесной⁵⁵. Нередко загадка закодирована в тексте «заветной сказки» и в той или иной мере определяет ее сюжет: иначе говоря, сказка представляет собой сюжетное оформление загадки.

Так, например, в сказке № XL vulva метафорически именуется «тюрьмой». Этим пользуется батрак: он надевает чужие носки на penis, заявляет, что поймал вора, и добивается того, чтобы «вор» (penis) попал в «тюрьму» (vulva). Совершенно очевидно, что сюжет этой сказки определяется загадкой, в которой половой акт иносказательно представлен как заключение вора в тюрьму: как видим, сказка предстает в данном случае именно как сюжетное оформление загадки — как загадка, переведенная в сюжетный план⁵⁶.

Особенно показательна сказка № XIII. Она посвящена взаимоотношениям парня (дурака) и девки и состоит из двух эпизодов. В первом эпизоде дурак домогается девки, она соглашается удовлетворить его страсть, но в решительный момент незаметно подставляет ему кость щучьей головы; дурак ссаживает до крови penis и бежит от нее, считая, что ее vulva кусается. Здесь явно обы-

грывается мотив «vulva dentata», широко известный в мифологии разных народов. Во втором эпизоде девка выходит замуж за этого парня, они соединяются, и у нее появляется кровь; дурак демонстрирует свой penis, заявляя: «Это шило все в ней было». Здесь явно обыгрывается мотив потери невинности.

Итак, перед нами два эпизода, которые антитетически противопоставлены друг другу: в первом эпизоде девка торжествует над парнем, во втором же эпизоде, напротив, парень берет верх над девкой. Эти два эпизода сюжетно друг с другом связаны — их объединяет мотив состязания; связующей темой оказывается при этом тема крови. Вместе с тем в основе каждого из этих эпизодов скрыта загадка, т. е. каждый из них может рассматриваться опять-таки как сюжетное оформление загадки.

В первом случае шучья голова, в которую попадает мужской член, иносказательно описывает совокупление, в котором участвует vulva dentata, во втором случае шило, вставленное в женщину, иносказательно описывает совокупление во время брачной ночи. Соответственно, мы можем в общем виде реконструировать загадки, в которых шучья голова символически обозначает vulva dentata, а шило предстает как символическое обозначение penis'a. Эта символика и определяет сюжет сказки. Итак, загадка может лежать в основе сюжетообразования, иметь сюжетообразующую функцию.

7. Обратимся теперь к сказке № XIV. Здесь описывается женитьба дурака, который настолько глуп, что не знает, как ему надлежит действовать во время брачной ночи. Другка объясняет дураку, что тот должен делать, однако дурак не может его понять, т. е. неадекватно воспринимает его объяснения. Следуя указаниям дружки, дурак оказывается на сохе, сваливается оттуда и разбивается до крови (травестийным образом кровь в данном случае идет не из женщины, а из мужчины). Мы можем считать, что и в этом случае сюжет сказки основывается на загадке, в которой женщина метафорически уподобляется сохе. Вместе с тем загадка здесь представлена, так сказать, в обратной перспективе: если в обычном случае загадка предполагает расшифровку и мы должны прочесть загадку, т. е. узнать за внешним образом какой-то другой, зашифрованный денотат, то в данном случае загадка преобразуется в простое сопоставление, полностью лишненное иносказательного, метафорического смысла. В самом деле, обозначаемый денотат здесь известен заранее, и только представив себе то же сравнение (женщины и сохи) в ином — метафорическом — ракурсе, мы можем увидеть загадку.

В сущности, перед нами тот прием, который в школе формального литературоведения принято называть приемом поэтического

остранения — когда предметы или явления не называются своими именами, а описываются со стороны, глазами стороннего наблюдателя, не понимающего сути описываемого; иначе говоря, нам предлагается новый — «странный» — взгляд на уже знакомые вещи и явления, когда вещь описывается как в первый раз увиденная, а случай — как в первый раз произошедший. Очевидно, что прием остранения генетически связан с загадкой⁵⁷.

Остранение очень типично для эротической тематики, когда невозможность называть вещи или действия своими именами заставляет прибегнуть к их описанию. Не случайно Виктор Шкловский, который впервые описал этот прием, приводит примеры из эротических текстов, ссылаясь, в частности, и на «заветные сказки»⁵⁸. Действительно, в наших сказках этот прием встречается весьма часто. Так, в сказке № VII мы находим описание coitus'a с точки зрения вши и блохи, которые спрятались в женщине; между тем в сказке № V coitus описывается с точки зрения медведя, лисы и слепня. Эта последняя сказка представлена в сборнике Афанасьева в неполном виде (без начала), и мы приведем ее текст по записи Д. К. Зеленина:

«Мужик пахал поле на пеганой [т. е. пегой] кобыле. Приходит к нему медведь и спрашивает: „дядя, кто тебе эту кобылу пеганой делал?“ — „Сам пежил“, — „Да как?“ — „Давай, и тебя сделаю!“ — Медведь согласился. Мужик связал ему ноги веревкой, снял с сабана сошник, нагрел его на огне и давай прикладывать к бокам: горячим сошником опалил ему шерсть до мяса, сделал пеганым. Развезал, — медведь ушел; немного отошел, лег под дерево, лежит. — Прилетела сорока к мужику клевать на стане мясо. Мужик поймал ее и сломал ей одну ногу. Сорока полетела и села на то самое дерево, под которым лежит медведь. — Потом прилетел, после сороки, на стан к мужику паук (муха большая) и сел на кобылу, начал кусать. Мужик поймал паука, взял — воткнул ему в задницу палку и отпустил. Паук полетел и сел на то же дерево, где сорока и медведь. Сидят все трое. Приходит к мужику жена, приносит в поле обед. Пообедал мужик с женой на чистом воздухе, начал валить ее на пол, заваривать ей подол. Увидел это медведь и говорит сороке с пауком: „батюшки! мужик опять ково-то хочет пежить“. — Сорока говорит: „нет, кому-то ноги хочет ломать“. — Паук: „нет, палку в задницу кому-то хочет засунуть“»⁵⁹.

Перед нами классический пример остранения; можно полагать вместе с тем, что в основе данной сказки скрыты загадки, в которых представлено иносказательное описание coitus'a⁶⁰. Соответствующие загадки имеют при этом сюжетообразующую функцию; в самом деле, остраненное описание coitus'a, которое восходит к за-

гадкам такого рода, непосредственно мотивируется сюжетом сказки.

Рассмотрим, наконец, сказку № XXXVI. Это сказка про стыдливую барыню, которая запрещает лакею называть вещи своими именами, но при этом побуждает его объяснять поведение животных, которые на их глазах совокупаются друг с другом. Лакей вынужден придумывать то или иное пристойное объяснение, которое лишь с внешней, поверхностной точки зрения соответствует тому, что происходит на самом деле. Она как бы загадывает ему загадки, но по условиям игры он должен придумать ложную загадку. В результате мы получаем своеобразное описание *coitus'a*; в сущности, это остраненное описание: в самом деле, нам предлагается именно странный взгляд на известное явление. В конце концов барыня предлагает лакею вступить с ней в связь, и они говорят друг с другом условным, метафорическим языком, в котором *penis* называется «конем», *vulva* — «колодцем» и, соответственно, соитие образно описывается как напоение коня; на этом языке они и приходят к соглашению. При этом если первоначальное — остраненное — описание *coitus'a* имеют более или менее окказиональный характер (это вообще типично при остранении), то в заключительной сцене фигурируют образы, традиционные для эротической загадки⁶¹. Итак, здесь демонстрируется переход от окказионального остранения к традиционной загадке.

8. Подобно тому как сюжет «заветной сказки» может основываться на загадке, он может основываться на двусмысленности того или иного глагола, который наряду с основным своим значением имеет переносное значение в сфере сексуальной семантики. В сущности, это один и тот же принцип, когда обыгрывается двойное прочтение текста — при этом одно из прочтений всякий раз предлагает эротическое содержание. Так, в сказках №№ XLIIIб, XLIVа, XLIVб обыгрывается двойное значение глагола *дать* (в непереходном употреблении этот глагол, как известно, означает «отдаваться мужчине»), в сказке № V (ср. также приведенный выше вариант этой сказки в записи Д. К. Зеленина) — переносное употребление глагола *нежить* (в переносном смысле этот глагол имеет значение «*futueге*»)⁶²; ср. еще сказку № LXI, где обыгрывается двусмысленность глагола *решетить* — в контексте свадебной обрядности этот глагол имеет значение «одаривать молодых», однако он означает также «продырявливать»; это последнее значение может окказионально получать сексуальные коннотации.

9. Остается добавить, что загадка — это не единственный малый жанр, с которым связана «заветная сказка». Так, в целом ряде случаев в сказку включается рифмованная прибаутка эротического содержания; такие прибаутки (или просто рифмованные

фразы) встречаем, например, в сказках №№ I, XIII, XV, XXXI, XXXII, XLV, XLVI, XLIX (вариант подстрочного примечания), LV; иногда мы находим близкие по форме прибаутки в разных сказках (так, например, в сказках № I и XV). Вместе с тем прибаутка играет в сказке принципиально иную роль, нежели загадка: прибаутка может отмечать *point* повествования (или какой-то его части) и тем самым организовывать его форму. В условиях импровизации, которая неизбежно — при каждом воспроизведении — так или иначе преобразует текст сказки, прибаутка остается, видимо, ее стабильным элементом. В самом деле, прибаутка обладает мнемонической функцией: она легко запоминается, и рассказчик, импровизируя в процессе воспроизведения сказки, может опираться на прибаутку именно как на стабильный компонент текста, который он хорошо помнит, — как бы он ни отклонялся от основной сюжетной линии, как бы ни наполнял ее новыми семантическими связями, он должен подвести повествование к этому компоненту, к этой вехе. Итак, прибаутка организует форму сказки. Между тем загадка, как мы видели, может лежать в основе сюжетообразования сказки, находясь, таким образом, у истоков порождения текста. Тем самым загадка относится прежде всего к внутренней форме сказки, тогда как прибаутка относится к ее внешней форме.

Все сказанное говорит о большой архаичности русских «заветных сказок». Эта архаичность проявляется как в содержательных, так и в формальных моментах организации сказки, подобно тому как она проявляется и в специфических условиях ее бытования. В более специальных — семиотических — терминах мы можем заключить, что эти тексты архаичны как по своей семантике, так и по своей синтактике и прагматике.

Примечания

¹ См.: Азадовский, II, с. 74.

² Афанасьев, I–VIII.

³ См.: последнее (наиболее авторитетное) издание: Афанасьев, 1984–1985, I–III.

⁴ См. рукопись на 330 листах под названием «Народные русские сказки не для печати, 1857–1862. Собраны, приведены в порядок и сличены по многообразным спискам А. Афанасьевым» (рукописный отдел Института русской литературы Российской Академии наук, ф. Р I, оп. 1, ед. хр. 112). За исключением нескольких страниц вся рукопись писана рукой А. Н. Афанасьева; другим почерком написаны тексты на л. 312–316, 309 об.-310. Рукопись содержит 164 нумерованные сказки (л. 1–290); кроме того, она включает копию с «Русских заветных пословиц и поговорок» В. И. Даля и П. А. Ефремова с дополнениями Афанасьева (л. 290

об. — 302), а также скороговорки, приметы, загадки, песни, прибаутки, байки, анекдоты, заговоры (л. 302–321 об.). Пользуемся случаем, чтобы поблагодарить А. Л. Топоркова, любезно предоставившего нам описание данной рукописи.

⁵ Ср. заявление в конце предисловия к «Русским заветным сказкам»: «< ... > мы намерены также издать *русские заветные пословицы* и продолжение *русских заветных сказок*. Имеющиеся в наших руках материалы приводятся в порядок».

Из 164 сказок, представленных в рукописном сборнике, в издание вошли первые 78 сказок; таким образом, разделение материала было чисто механическим (ср. в этой связи замечание в предисловии: «< ... > о последовательности, в какой являются наши сказки, мы считаем даже излишним распространяться»).

⁶ Деятельность А. Н. Афанасьева, тайно публиковавшего свои материалы за границей ввиду невозможности опубликовать их в России, напоминает аналогичные действия русских диссидентов во второй половине XX столетия. Эта деятельность А. Н. Афанасьева была вполне последовательной и целенаправленной: достаточно упомянуть, что он был тайным сотрудником А. И. Герцена, регулярно поставлявшим материалы для эмигрантской Вольной русской типографии в Лондоне (см.: Эйдельман, 1966; Эйдельман, 1973). Подозреваемый в сношениях с эмигрантами, Афанасьев был уволен с государственной службы; аналогия с судьбой диссидентов нашего времени представляется разительной.

⁷ Даль, I, с. 565.

⁸ «Русские заветные пословицы» В. И. Даля и П. А. Ефремова должны были войти в несостоявшееся продолжение к «Русским заветным сказкам» (см. выше, примеч. 4 и 5). Относительно недавно это собрание пословиц и поговорок было издано за границей (к сожалению, по неполному списку). См.: Карей, 1972.

⁹ Как указывает П. К. Симони, «наименование сборника пословиц „заветными“ принадлежит, как оригинальное, т. е. впервые *выпущенное* в оборот — Далю. Затягивая Даля закрепить на бумаге для потомства „Заветные пословицы“ может быть отнесена к 1852 г., когда он служил в Нижнем Новгороде. „Заветные сказки“ < ... > явились уже в подражание только Далю»; (см.: Карей, 1972, с. 8). Следует заметить, что название «Заветные сказки», возможно, принадлежит не самому Афанасьеву, а В. И. Касаткину — человеку, который, по-видимому, доставил рукопись Афанасьева за границу и был причастен к ее анонимному изданию в Швейцарии; не исключено, вообще говоря, что он был и автором предисловия к «Русским заветным сказкам», которое подписано псевдонимом «Филиобибл» (см. о нем: Бараг и Новиков, 1984, с. 395).

¹⁰ См.: Олеарий, 1656, с. 192–193; ср.: Олеарий, 1906, с. 189. Ср. вместе с тем обличение подобных обычаев в окружном послании суздальского архиепископа Серапиона 1642 г.: «< ... > да у вас, православных христиан, слышим, что у вас безумнии человецы лают друг друга ма-

терны, а инии безумнии человецы говорят скаредныя и срамныя речи, их же невозможно писанию предати < ... >» (см.: Каптерев, I, с. 12).

¹¹ См.: Никифоров, 1929, с. 121.

¹² Сходным образом родители в процессе воспитания детей по традиции обучали их сквернословью. См.: с. 64–65 наст. изд.

¹³ См., например: Афанасьев, 1984–1985, III, с. 293 и сл.

¹⁴ См. об этом явлении: с. 53–55 наст. изд.

¹⁵ Григорьев, 1988, с. 16.

¹⁶ Ср. замечание А. Н. Афанасьева в предисловии к 4-му выпуску первого издания «Народных русских сказок»: «В заключение прибавим, что некоторые очень любопытные сказки из собрания В. И. Даля, к сожалению, не могут быть допущены в печать, ради нескромности своего содержания: героем подобных рассказов чаще всего бывает *попов батрак*. Здесь очень много юмору, и фантазии дан полный простор» (Афанасьев, 1984–1985, III, с. 355). Как видим, говоря о «заветных сказках», Афанасьев упоминает прежде всего сказки о попах.

Точно так же в известном письме В. Г. Белинского к Н. В. Гоголю мы читаем: «Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадю, попову дочь и попова работника» (Белинский, X, с. 215). И в данном случае сказки о попах естественно ассоциируются с непристойным содержанием.

¹⁷ Одновременно год издания книги обозначен в выходных данных как «год мракобесия».

¹⁸ См.: Успенский, 1985а, с. 326 и сл.

¹⁹ Рождественский, 1902, с. 24–25, 30.

²⁰ См.: Каптерев, 1913, с. 181.

²¹ См.: Гусев, 1974, с. 56. Ср.: Максимов XVII, с. 14–15. Приведенное описание относится к XIX в.

²² Достоевский, XXI, с. 115.

²³ Ср. специально о функционировании непристойных выражений с. 53 и сл. наст. изд.

²⁴ См.: Зеленин, 1914–1915, I, с. 198. Ср. легенду, где обыгрывается этот сюжет, причем покойник мстит участникам святочных увеселений: Зеленин, 1915, с. 1.

²⁵ Ср.: Завойко, с. 24.

²⁶ Ср., например: Максимов, XVII, с. 12–13.

²⁷ См.: Балов, Дерунов и Ильинский, 1898, с. 84; Смирнов, 1927, с. 22–23.

²⁸ См., например: Максимов, XVII, с. 20.

²⁹ См.: Памятн. канонич. права, 1908, стлб. 100.

³⁰ Так, в Вологодской губернии накануне Васильева дня (31 декабря по старому стилю) перед ритуальной трапезой все члены семьи ползли на четвереньках вокруг стола, произнося при этом *чюхи-рюхи, чух-рюх!*, т. е. изображая свиней и имитируя их хрюканье; св. Василий Кесарийский считается покровителем свиноводства (см.: Зеленин, 1927, с. 63). В Сибири в Великий четверг хозяйки выходили до восхода солнца с распущенными волосами и в одной рубашке, садились верхом на клюку и обезжжали двор, имитируя ржанье коней, мычанье коров, клохтанье кур (см.: Виноградов, 1918, с. 36–37). Об особом значении Великого четверга см.: Успенский, 1982, с. 140–143.

³¹ См.: Иванов, 1850, с. 297. Ср.: Харузин, 1897, с. 147; АИ, IV, с. 125 (№ 35).

³² Архив Института фольклора Болгарской Академии наук (записано Ф. К. Бадалановой в Пловдивской области, дер. Браница и Доситеево).

³³ То обстоятельство, что мы не располагаем непосредственными указаниями относительно функционирования «заветных сказок» в восточнославянском свадебном обряде, само по себе ни о чем не говорит. Следует иметь в виду, что подобные обычаи, как правило, не фиксируются фольклористами и этнографами — ввиду запретности самой темы, которая распространяется и на исследователей; равным образом результаты подобных наблюдений обычно не публикуются.

³⁴ Так, например, даяки острова Борнео считают рассказывание неприличных историй в присутствии покойника даже необходимым: по их мнению, для самого покойника эти неприличные рассказы звучат вполне морально, так как все человеческие слова имеют в языке духов обратное, противоположное значение. См.: Сартори, 1930, с. 43.

³⁵ Архив Института фольклора Болгарской Академии наук (записано Ф. К. Бадалановой в Молдавии, Комратский р-н, дер. Кирсово). Ср. замечание об эротических поминальных играх у сербов: Зечевич, 1964, с. 378.

³⁶ См.: Свенцицкий, 1912, с. 18–20, 27.

³⁷ См.: Свенцицкий, 1912, с. 18; Гнатюк, 1912, с. 361–362.

³⁸ См.: Гнатюк, 1912, с. 210; Кузеля, 1914, с. 207–208; ср. вообще с. 179–182, 201–209; там же, 1915, с. 159; ср. с. 116–127, 129–160; Шухевич, 1902, с. 243–247; Богатырев, 1926, с. 198.

³⁹ Кузеля, 1914, с. 209; 1915, с. 117.

⁴⁰ См.: Успенский, 1985а, с. 327–329.

⁴¹ Аналогичный мотив встречается в шотландском фольклоре: «A man and a woman were in each other's embraces. The man was a succuba. His yard began to enlarge and enlarge and lift the woman. When she was nearly reaching the roof she exclaimed: Farewell freens, farewell foes/ For I'm awa' to heaven / On a pintel's nose» (Шотландский эротический фольклор, 1884, с. 261).

⁴² См., например: Афанасьев, I, с. 32 (№ 19, 20); III, с. 137 (№ 409), с. 146–147 (№ 420). Ср.: Томпсон, 1964, № 1960 G.

⁴³ См.: Успенский, 1982, с. 107.

⁴⁴ См.: Афанасьев, 1865–1869, II, с. 490.

⁴⁵ См., например, Афанасьев, 1984–1985, I, с. 205–214 (№ 133, 134); III, с. 227–231 (№ 560).

⁴⁶ См. о мировом дереве: Топоров, 1987.

⁴⁷ В былине о Ставре Годиновиче муж не узнает своей жены, переодетой богатырем («грозным послом Васильюшком»), и она обращается к нему с такими словами:

А не помнишь ли, Ставер да сын Годинович,
А мы с тобою сваечкой поигрывали,
А мое было колечко золоченое,
Твоя-то была сваечка серебряна,
Ты тут попадавал всегда всегда,
А я попадавал тогда сегды?

(Гильфердинг, I, с. 102, № 7)

Несмотря на эти намеки, муж все же не узнает жену, и в одном из вариантов былины нам сообщается и разгадка:

Тут грозен посол Васильюшко
Вздымал свои платья по самый пуп:
И вот молодой Ставер сын Годинович
Признал кольцо позолоченое.

(Рыбников, II, с. 490, № 171)

Ср. диалог молодца и девицы в древнерусской эротической повести «Сказание о молодце и о девице»: «Сице рече младый отрок к прекрасной девице: Душечка еси ты, прекрасная девица, есть у тебя красное золото аравийское, да всадил бы я свое буланое копые < . . . > И рече ему красная девица: Свет государь мой, холостый молодец неженатой < . . . >, и ты, государь, где меня узришь, и тут бы ты в меня вложил свою каленую стрелу и вложил бы ты в свой золотой колчан» (Срезневский, 1906, с. 84, 88; ср. Лопарев, 1894, с. 16).

Тот же мотив отражается и в загадке, представляющей женский половой орган: «Стоит девка на горе, да дивуется дыре: свет моя дыра, дыра золотая! куда тебя дети? на живое мясо вздети» (Афанасьев, 1865–1869, I, с. 467). Соответственно объясняется этимология русского диалектного слова *золотник* — «матка, женская утроба». См.: Успенский, 1982, с. 150–151; Никифоров, 1929, с. 126; Адрианова-Перетц, 1935, с. 503–504.

⁴⁸ См.: Успенский, 1982, с. 170–171.

⁴⁹ См.: Афанасьев, 1984–1985, I, с. 111 (№ 93), с. 127 (№ 103), с. 151 (№ 114); II, с. 76 (№ 201), с. 167 (№ 225).

⁵⁰ Нефедов, 1877, с. 65.

⁵¹ Подобные ассоциации прослеживаются не только у славян, что вполне понятно ввиду их архаического характера. Так, например, франц. *reigne* означает как расческу, так и „*membra virile*” (см.: Питре, 1990, с. 271–272).

⁵² Характерным образом временные запреты на загадывание загадок совпадают с аналогичными запретами на рассказывание сказок: у самых разных народов отмечается запрет рассказывать сказки или загадывать загадки при дневном свете, а также летом (иначе говоря, в светлое время суток или года); обычно сказки рассказывали и загадки загадывали на святках (это отмечается, между прочим, в цитированном выше распоряжении царя Алексея Михайловича, направленном на искоренение святочных обрядов). При этом как с помощью сказок, так и с помощью загадок могло осуществляться общение с потусторонним миром. См.: Успенский, 1988, с. 81–82 (примеч. 19).

⁵³ См.: Елеонская, 1907, № 4.

⁵⁴ См.: Колесницкая, 1941, Ср. еще: Дикарев, 1896.

⁵⁵ В сборнике Афанасьева представлены и загадки в чистом виде (наряду с прибаутками). См., например, текст № XVIIг — «гарнизонный капитан» означает здесь *penis*.

⁵⁶ Аналогичная зашифровка (наименование мужского полового органа «вором», а женского — «тюрьмой») встречается и вне славянского ареала, в частности в итальянских эротических новеллах (см.: Питре, 1990, с. 265). Не обязательно предполагать здесь заимствование сюжета: совпадение может указывать на архаичность соответствующего эротического кода.

⁵⁷ См.: Шкловский, 1925, с. 12, 16–17.

⁵⁸ См. там же, с. 16–18.

⁵⁹ См.: Зеленин, 1914, с. 568.

⁶⁰ Ср. в этой связи сказку № XV, где обыгрывается тот же образ *coitus*'а, что и в сказке № V («пихать соломинку»; ср. «засовывать палку» в редакции Д. К. Зеленина, которую мы цитировали выше). Сопоставление *penis*'а и соломинки отражается и в пословицах (см. Карей, 1972, с. 50, № 68).

⁶¹ См., в частности: Дикарев, 1896, с. 25–26. Характерно обращение молодца к девице в уже упоминавшейся эротической повести «Сказание о молодце и о девице», где используются те же образы: «Душечка еси моя прекрасная девица! есть у тебя чистой луг, а в нем свежая вода; конь бы мой в твоём лузе лето летовал, а яз бы на твоих крутых бедрах опочин дерьжал» (см.: Лопарев, 1894, с. 19; ср.: Срезневский, 1906, с. 86). Представление мужского полового органа как коня, а женского органа как источника, откуда конь утоляет жажду, по-видимому, очень архаично: оно встречается и у других индоевропейских народов, например, у итальянцев (см.: Питре, 1990, с. 280–282).

Ассоциация *penis*'а с конем прослеживается и в сказке № XXXI, где *penis* подчиняется командам *но-но!*, и *тпру!*, т. е. с ним обращаются совершенно так же, как обращаются с конем. Не исключено, что такая ассоциация скрыта и в сказке № LIIа.

⁶² Ср. употребление глагола *пегжитъ* (буквально означающего: «делать пегим, пятнать») в значении «*futurere*» в сказке № XLV. Эпитет *пегий* применяется главным образом по отношению к лошадям (так, о рогатом скоте в том же значении говорится *пестрый*, а о собаке — *рябая*, см.: Даль, III, с. 549). Не исключено, таким образом, что переносное значение данного глагола обусловлено функцией коня в сексуальной символике, о которой мы уже говорили выше.

Примечательно вместе с тем употребление сложного эпитета *пегий пестрый* в разговорнике Т. Фенне 1607 г. — таким образом характеризуется здесь *vulva*, а также курица и бес; см.: Фенне, I, с. 489, 486, 493; II, с. 462, 459, 466. Применение соответствующего эпитета к курице не вызывает удивления, поскольку курица в переносном употреблении имеет значение «*vulva*» (см.: Успенский, 1982, с. 153). Особенно знаменательно выражение *куру пестрить*, которое означает «*futurere*» (см.: Завойко, 1914, с. 162); как видим, глаголы *пестрить* и *пегжитъ*, совпадая в основном своем значении, оказываются синонимичными и в переносном употреблении — оба они означают «*futurere*».

3

Имя и социум

Мена имен в России в исторической и семиотической перспективе

Очень часто имя (как личное, так и фамильное) выступает как социальный знак¹. Отсюда перемена имени может быть связана с переходом в иное состояние — со сменой социума в широком смысле этого слова. Примеры здесь могли бы быть достаточно многочисленны. Ср. хотя бы обычную в XVIII–XIX вв. практику перемены фамилии при поступлении в семинарию (отсюда, например, еще и в XX в. среди лиц, вышедших из духовного сословия, можно было встретить братьев, носящих разные фамилии²), при записи в солдаты; или перемену имен при поступлении на театральную сцену или в цирк, где эта традиция в той или иной мере может сохраняться еще и сейчас (характерно, что во всех этих случаях имеют место специфические по своей форме семинарские, театральные или цирковые фамилии, которые легко опознаются как таковые).

Если в приведенных примерах переход в иной социальной статус сопровождается меной фамилии, то в других случаях может меняться имя, а иногда даже отчество.

Так, девица Мария Хлопова, взятая на царский двор в качестве невесты для царя Михаила Федоровича, была переименована в «Анастасию»; когда же брак не состоялся, она снова стала «Марией». Точно так же девичьим именем Софьи Палеолог — жены Иоанна III — было имя «Зоя»; «Софьей» же она стала называться лишь выйдя замуж за Иоанна — точнее, с момента вступления на русскую территорию³. Марина Мнишек, жена Лжедмитрия, став царицей, называется не Мариной, а Марией.

Позднее два брата — Иоанн V и Петр I — при вступлении в брак переименовывают своих будущих тестей (Александра Федоровича Салтыкова и Илариона Абрамовича Лопухина) в «Федоров», и, соответственно, жены их становятся «Федоровнами» (Прасковья Федоровна и Евдокия Федоровна)⁴. Любопытно, что в XVIII–XIX вв. русские царицы иноземного происхождения, получая при вступлении в брак русское имя, относительно часто становились «Федоровнами»; может быть, здесь своего рода традиция?⁵

Аналогичные примеры известны и в духовной среде (речь не идет здесь о *ритуальной* мене имени при принятии иноческого образа). Так, в нач. XV в. митрополит Фотий переименовал монашеские имена двум поставленным от него новгородским епископам: чернеца Сампсона, избранного в 1415 г., он назвал Симеоном, а чернеца Еме(и)лиана, избранного в 1424 г., назвал Евфимием (ср. характерное наименование последнего в летописи: «архиепископ Емелиан, наречены от Фотия Евфимием»⁶), причем Голубинский объясняет это тем, что имена «Емелиан» и «Сампсон» Фотий находил не архиерейскими именами⁷. Изменение монашеского имени при епископской хиротонии было возможно — во всяком случае в Юго-Западной Руси — и в XVII в. Так, архимандрит Иезекииль Курцевич стал при хиротонии Иосифом. Еще чаще монахи меняли свое (новое) имя при рукоположении в иеродиаконы или иеромонахи: так, например, монах Дамаскин Прилуцкий при посвящении в иеромонахи по желанию епископа Варлаама Коссовского принял имя Иерофея, а монах Сисой Шмигельский сделался иеродиаконом Симеоном. Характерно, что и Феофан Прокопович был первоначально назван при пострижении вовсе не Феофаном, а Самуилом, имя же Феофан было дано ему позднее⁸.

Особый случай составляет мена имен, связанная с двуязычием. Так, например, имя *Прасковья* в XIX в. более или менее регулярно заменялось в определенных кругах на *Полина* — по всей видимости, потому, что Прасковья осмыслялась как социально окрашенное, провинциальное⁹; это — один из многих примеров установившихся соответствий между русскими и иностранными именами. Напротив, в это же время происходит и массовый перевод иностранных имен на русские — у иностранцев, ассимилирующихся в России¹⁰.

И в наше время определенные имена могут считаться «городскими», а какие-то — «деревенскими», и крестьяне, переезжая в город или поселок могут менять имя: нам известны, например, Феврония, ставшая Верой, или Фекла, ставшая Фирой. . .¹¹

Стихийный процесс семиотической дифференциации личных имен — не говоря уже о фамилиях — продолжается.

Нет нужды специально говорить о тех случаях, когда перемена имени имеет обрядовый характер — например, при пострижении в монахи¹²; но характерно, что при выходе из данного социума соответствующее лицо лишалось и полученного имени. Так, известный Сильвестр Медведев, по документальному свидетельству, «лишен был образа иноческого и именования: из Сильвестра Медведева стал Сенка Медведь»¹³.

Этот пример интересен в двух отношениях: замечательно, что здесь меняется не только личное имя (иноческое на мир-

ское), но и фамилия (*Медведев* > *Медведь*), причем можно сказать, по-видимому, что фамилия заменяется в этом случае на прозвище, что соответствует резкому понижению социального статуса самого Медведева. (Мы видим, таким образом, что не только отчество на -ич, но и фамилия в XVII в. имеет социальную значимость¹⁴.) Еще более явно это в другом случае насильственного расстрижения: так, митрополит Арсений Мацеевич, будучи расстрижен, волею Екатерины II стал именоваться «Андреем Брехуном»: и здесь, опять-таки, не только меняется иноческое имя, но и фамилия заменяется на прозвище.

Приведенные примеры — мена фамилии на прозвище — любопытны и в том отношении, что они противостоят по своей направленности общему процессу эволюции имен, заключающемуся, напротив, в превращении прозвища в фамилию [ср.: *Седой* как признак индивида → *Седой* (а затем и *Седов*) как признак рода]. Эта обратная эволюция, отнесение назад во времени от ответа в данном случае соответствующей трансформации в плане социальном. Но в других случаях подобное явление может быть не связано непременно с понижением социального статуса, будучи связано вообще с его изменением.

Любопытно привести пример аналогичного явления — регрессивного превращения фамилии в прозвище — совсем из другой области, относящейся уже к нашему времени. Речь идет о школьных прозвищах, которые восходят, как правило, к соответствующим фамилиям. Попадая в школу, например, «Соколов» обычно становится «Сóколом», «Попов» называется «Попóm» и т. п. — подобно тому, как в свое время прозвища «Сокол», «Поп» и т. д. порождали соответствующие фамилии. Существенно, что эти прозвища снова выступают именно как индивидуальные, а не родовые названия: прозвище «Сокол» относится именно к данному «Соколову», а не вообще к этой фамилии (ср. трансформацию здесь «Иванóва» в «Иванá»¹⁵ и т. п.).

Если перемена имени очень часто знаменует собой переход в иное (социальное) состояние, иначе говоря, смену социального статуса, — то естественным следствием отсюда является то обстоятельство, что социальные катаклизмы влекут за собой часто и перемену имен. Надо сказать вообще, что социальные изменения широкого масштаба часто имеют своим следствием и изменение (обновление) отношения к знаку — когда то, что раньше считалось чистой условностью, вдруг начинает восприниматься содержательно (например, этимология фамилии). С другой стороны, не менее характерен и сам факт свободного выбора имен: то, что раньше воспринималось как безусловное, заданное извне, вообще не подлежащее обсуждению, начинает расцениваться теперь как простая

условность, доступная произвольной замене. Отсюда всевозможные попытки пересмотреть отношение между формой и содержанием в этот период, сопровождающееся обычно резким изменением семиотичности поведения¹⁶; можно сказать, что социальные реформы сопровождаются реформами семиотическими.

Этот процесс и выражается прежде всего в мене имен и названий¹⁷. С другой стороны, подобные явления могут служить важным показателем при характеристике того или иного периода жизни общества — выступая в качестве своего рода лакмусовой бумажки при выявлении скрытых процессов эволюции семиотического механизма культуры.

Если перемена фамилии может быть обусловлена ее непосредственными этимологическими связями, то подобные связи, понятно, не могут быть актуальны в случае личных имен (как и вообще в случае заимствованной лексики). Мотивом смены личных имен может быть социальная или национальная окрашенность имени, его обычность или, напротив, необычность, наконец, мода и т. п.; все эти мотивы сводятся, по существу, к общему стремлению приобщаться к известному социуму либо, напротив, выйти из социума. Вместе с тем и в случае личных имен (как и в случае фамилий) могут иметь место определенные ассоциации значений, обусловленные нарицательным употреблением личных имен¹⁸ (не говоря уже о народной этимологии имен — возможной, например, в формах типа *Сила*, *Карп* и др., ср. также уменьшительные формы *Груша*, *Дуля*¹⁹, *Луна*, *Елка* (эта форма соотносится как с женским именем Елена, так и с мужским Елисей), *Палка* (уменьшительная форма от Павел)²⁰, *Галка* (Галина), *Лисá* (Елизавета)²¹, *Душенька* (Евдокия) и т. п.).

Следует особенно подчеркнуть в этой связи, что, как правило, нарицательное употребление личных имен имеет пейоративный характер. Здесь можно было бы сослаться на такие характерные примеры, как *блуд*, идущее от соответствующего употребления имени «Елевферий» (ср. *Олуд* — форма от *Елевферий*)²² или *пéнтюх*, идущее от имени «Пантелеймон~Пантелей»²³. Ср. также: *фóбáн* (<Феофан) «дурак», *фефёла* (<Феофил или Феофилакт), «простофиля», *андрон* «лжец, хвастун», *викул* «растяпа», *капитон* «плут», *емеля*, *елисей* «обманщик, пустомеля», *окула* (<Акила) «плут», «хвастун», *окуля* (<Акилина) «дурочка, невытая», *улига* «дура», *чурилья* (<Кирилл) «неряха»²⁴, возможно также *огреян* (<Ефрем) «увальень, лентяй», *омельфа* (<Мамельфа, вероятно в контаминации с Емелиан) «обжора» и т. д. и т. п.²⁵. Кажется, большая часть русских имен может быть употреблена — окказионально или в системе — в отрицательном смысле²⁶.

Оставляем в стороне при этом те случаи, когда то или иное лич-

ное имя употребляется для табуистического обозначения нечистой силы, ср. *антипка*, *анцифер*, *анчутка* (из Онисифор)²⁷, а также случаи использования имен людей для обозначения животных²⁸; отметим только, что иногда народные формы христианских имен любопытным образом совпадают с именами отрицательных исторических персонажей, ср. *Пилат* (форма от Филат, Феофилакт), *Нерон*²⁹ (форма от Мирон), ср. отсюда и фамилию *Неронов*³⁰.

Само собой разумеется, что подобное употребление личных имен могло способствовать при благоприятных условиях их перемене.

Наконец, в историческом плане процесс смены имен может находиться в определенной связи с известным дуализмом личных имен, характерным для русского антропонимического узуса до XVII—XVIII вв., но в остаточных формах сохраняющемся и позднее; речь идет о сосуществовании у одного и того же лица крестного и мирского имени. Это противопоставление имен в идеальном случае могло осмысляться как противопоставление имени, ПОЛУЧЕННОГО (от Бога), и имени, ВЫБРАННОГО (сознательно) — в соответствии с теми или иными значимыми характеристиками именуемого лица.

В самом деле, выбор крестного имени был обычно обусловлен святыми³¹ или, в некоторых случаях, какими-то особыми причинами, но, опять-таки, причинами обычно ВНЕШНИМИ, воспринимаемыми как указание Провидения³². В такой ситуации, естественно, и сам факт выбора того или иного имени не мог, в общем, быть значимым в социуме, а само имя не соотносилось с социальными или личностными характеристиками именуемого³³.

С другой стороны, противопоставленное крестному мирское имя могло даваться осмысленно — часто в непосредственной или опосредственной связи с теми или иными характеристиками именуемого лица. Характерно, что как раз мирское имя использовалось в табуистической функции (отсюда часто эти имена давались по отрицательной характеристике, причем такое имя «не ассоциировалось со словами обыденной речи, и отрицательного значения его в применении в качестве личного имени не воспринималось»³⁴).

При этом, если в одних случаях мирские имена давались при рождении ребенка и противостояли именам, полученным при крещении, то в других случаях имел место обычай давать имя (мирское) детям, по усмотренным в них способностям, при первом пострижении волос, которое производилось с особым обрядом на третьем или на седьмом году³⁵. Можно предположить, что при этом могла происходить ПЕРЕМЕНА имени (связанная с достижением известного социального уровня). С другой стороны, подобные имена могли быть даваемы не родителями, а обществом, средой — опять-таки,

при достижении определенного возраста и связанным с этим входением в социум — т. е. получаемы в виде ПРОЗВИЩ (этот процесс до сих пор еще жив в русской деревне³⁶). Наконец, перемена мирского имени ребенка могла, по-видимому, производиться (как у русских, так и у других народов) в связи с магическим обрядом мнимой подмены ребенка: немощи дитяти связывались с тем, что ему дано неладное имя, его выносили из избы и затем вносили снова под видом другого (найденного, украденного, купленного) ребенка; при этом ребенку давалось и иное имя (мирское). А. М. Селищев связывает с этим обрядом такие русские (и вообще славянские) имена, как *Найден*, *Продан*, *Краден*, *Куплен*, *Ненаш*, *Прибыток*, а также и имена, связанные с названиями птиц, т. к. «птицы считались оберегами от болезней»³⁷. В связь с этим наблюдением Селищева можно поставить и широко распространенные в России фамилии, образованные от названий птиц³⁸.

Понятно, что и сам факт сознательного выбора имени, противопоставляемого имени, полученному извне, и возможность (хотя бы и ограниченная) его перемены могли сформировать определенные предпосылки для смены фамилий и личных имен в более позднее время.

Но следует подчеркнуть, что это сознательно выбираемое мирское имя могло быть и календарным, т. е. входить в святцы. Так, о великом князе Василии III летописец сообщает: «родися великому князю сын Гаврило <...> и нарекоша имя ему Василий»³⁹; о Иоанне III читаем в летописи: «родися великому князю сын Тимофей, а дали имя ему Иоан»⁴⁰ (или в другом источнике: «сей бо великий князь Иоанн, именуемый Тимофей Грозной»⁴¹). Точно так же и на старопечатных книгах острожской печати можно встретить объявление, что книга издана «накладом <...> князя Константина, во святом крещении нареченного Василия, княжати Острозского», ср. во вступлении к Острожской библии, где князь Константин Константинович Острожский говорит о себе: «Я, Константин зовомый и во святом крещении Василий нареченный <...>». Упомянутый уже деятель эпохи раскола Иоанн (в иночестве Григорий) Неронов был назван в крещении Гавриилом, но называли его все Иваном⁴²; аналогично, крестным именем известного иконописца Симона Ушакова было Пимен, тогда как Симон было его мирским именем (ср. его запись на иконе с изображением Иоанна Богослова 1673 г.: «писал зограф Пиминъ Феодоров сынъ по прозванию Симонъ Ушаковъ»; ср., с другой стороны, запись на иконе «Тайная вечеря» 1685 г.: «писал Симонъ Федоров с[ы]нъ Ушаковъ»⁴³). Ср. еще хроникальное свидетельство о царевиче Дмитрие Угличском: «а прямое имя ему Уар»⁴⁴, а также примеры, приведенные у Тупикова⁴⁵: «Тимошка Офонасьевъ, прямое имя Оедка, прозвище

Густень», «Остафию, которого былъ прозваль Михайль», митрополчий наместник «Михаил, нарицаемый Митяй» (т. е. Дмитрий), «Иван Оома», «Лука Овдоким», «Филип Юрий» и др.⁴⁶. См. также специально собранные Чичаговым⁴⁷ аналогичные примеры со словом «прозвище»: «Ивашко, прозвище Васка» и т. п.

Характерно, что этот дуализм календарных имен могли использовать в своих целях самозванцы: так, известный Тимошка Анкундинов, выдававший себя за сына царя Василия Шуйского, называл себя Иоанном Шуйским, хотя и признавал, что «наречен в св. крещении Тимофеем»⁴⁸.

Можно сослаться, наконец, на Устав старообрядцев-федосеевцев Преображенского кладбища в Москве, где ставится вопрос: как быть в том случае, когда при крещении младенца «имя ему забыли по погружении нареши от простоты» — и следует знаменательный ответ: «как ему было имя наречено прежде крещения, тако его именовать по крещении». Итак, предполагается, что у младенца до крещения было уже какое-то имя — причем, видимо, имя календарное⁴⁹.

Надо полагать, что в ситуации подобного рода выбор мирского (календарного) имени в принципе иногда мог тем или иным образом осмысляться, и само имя, тем самым, становилось значимым. Характерно в этой связи, что в качестве мирских имен часто выбирались кальки греческих имен, которые при этом уже не осмыслились как календарные⁵⁰.

Кажется, что подобные примеры (в общем, относительно редкие) более распространены в XVI–XVII вв. — будучи возможны и в более раннюю эпоху. С другой стороны, примеры такого рода встречаются и в наше время. В старообрядческой среде нам известны, например, Александр по паспорту, но по крещению Софроний, Валентина по паспорту, а по крещению Василиса⁵¹. Вероятно, паспортные имена обусловлены в данном случае социальным стандартом (модой), тогда как имена крестные обусловлены святцами. Но аналогичное в принципе объяснение может быть предложено — разумеется, с соответствующими коррективами — и для более раннего времени.

Примечания

¹ Ср.: Никонов, 1967; с. 164 и сл. наст. изд.

² См.: Шереметевский, I, с. 75–97, 251–273; II, с. 195–218; III, с. 44–66, 269–290; Унбегаун, 1942; с. 164 и сл. наст. изд.

³ См.: РБС, VIII, с. 211; РБС, XIX, с. 149. Автор биографической статьи о Софье Палеолог в цитированном издании констатирует: «На-

ши летописцы везде называют принцессу Зою — Софией, лишь в одном месте сделан намек на ее настоящее имя и она названа Зинаидой. Вероятно, Зоя переменила свое имя при браке, каковой обычай у нас был нередок».

⁴ См.: Успенский, 1969, с. 214.

⁵ Не находится ли это в связи и с тем, что родовой святыней дома Романовых была Федоровская икона Богоматери; царским собором (фактически — главным придворным собором) был Федоровский государев собор (в Царском селе, освящен в 1912 г.) (см.: Георгий Шавельский, 1954, с. 307, 52, 61)?

⁶ См.: Московский летописный свод под 1428 г. — ПСРЛ, XXV, с. 248.

⁷ См.: Голубинский, II, 2-я половина тома, вып. 1, с. 33–34, примеч. 3. Ср. Успенский, 1969, с. 213.

⁸ См.: Харлампович, 1914, с. 32 (примеч. 5) и XIII. — Напротив, в Московской Руси монахи не меняли монашеского имени даже при принятии великой схимы (см.: Успенский, 1969, с. 214): этот обычай пришел сюда уже после раскола.

⁹ Так, героиня «Игрока» Достоевского, которую все вокруг называют Полиной или Полиной Александровной, в действительности — Прасковья (так обращается к ней ее бабушка). Так же и у Пушкина в «Евгении Онегине» мать Татьяны «звала Полиною Прасковью <... >».

¹⁰ Богатый материал этого рода собран в книге: Амбургер, 1953. Ср. также: Вольтнер, 1956.

¹¹ Отчасти это связано вообще с отношением крестьян к городской речи, которая может восприниматься ими почти как особый, в большой степени противопоставленный их собственному говору и нуждающийся вообще в специальной трансформации. Точно так же, например, ярославские крестьяне, приезжая в Москву, нередко начинают акать, но возвращаясь к себе на родину, снова переходят на оканье (каждый раз приспособляясь, таким образом, к окружающей языковой действительности).

¹² Аналогичный ритуал может иметь место и в отдельных сектах и толках. Так, например, болгарские павликиане могли принимать имя ап. Павла и ближайших его сподвижников (см.: Яворский, 1928, с. 506). Естественно вспомнить в этой связи библейские примеры изменения имени — начиная с книги Бытия (XVII, 5 и 15) и кончая хорошо известными новозаветными данными (см. рассмотрение некоторых из этих примеров: Клавек, 1968).

Перемена имени случается иногда в некоторых старообрядческих беспоповских согласиях (перекрещенского толка). Так, основатель федосеевского согласия известный Феодосий Васильев (1661–1711) при перекрещивании был переименован в Дионисия (тем не менее, старообрядцы сейчас называют его Феодосием, а себя — федосеевцами). Известны

и случаи вторичного пострижения в монахи у старообрядцев, с изменением иноческого имени. Так, например, в нач. XVIII в. керженские старообрядцы поповского онуфриевского толка «расстригли черного попа Дорофея и по своему разуму перестригли его ссынова, и дали ему третье имя — Досифея, и велели ему в третий раз попить» (см.: Субботин, VIII, с. 309); при этом Досифей был священником еще до раскола, но пострижен был, видимо, уже новообрядцами, отчего пострижение не было признано действительным, ср. Смирнов, 1910, с. 538. Вопрос о том, следует ли перестригать монахов, постриженных от никониан, вызвал ожесточенную полемику в старообрядчестве в нач. XVIII в. (см. о спорах федосеевцев и выговцев по этому вопросу: Смирнов, 1909, с. 61).

Следует заметить, что случаи вторичного пострижения с изменением иноческого имени были возможны и до раскола. Так, в 1623 г. в Москву явились из Медведовицкой пустыни (в 200 верстах от Киева) иеромонах Исаия и его постриженный Иосиф, причем последний сказал, что он родом латынянин. В Москве было «велено его [Иосифа] в православную христианскую веру крестить и ИМЯ ПЕРЕЛОЖИТЬ <... >» (см.: Харлампович, 1914, с. 30–31). Иначе обстояло дело с перекрещиваемыми мирянами: патриарх Филарет, который велел, как известно, перекрещивать приходящих в Московскую Русь «белорусцев», специально обусловил: «а имяя им не перекладывати» (см.: Потребник, 1651, л. 589).

¹³ См.: Белокуров, 1886, с. XXI. Ср. варианты, приводимые в работе: Прозоровский, 1896, с. 335.

¹⁴ О специальном сословном значении отчества на -ич (в Московской Руси) см., например: Селищев, 1948, с. 130–131; Чичагов, 1959, с. 47–54, причем Чичагов приводит прекрасный пример обыгрывания этого значения, когда московские бояре, желая оскорбить гетмана Григория Ходкевича, пишут ему в обращении: «Григорью Хоткееву», а служилого человека Ивана Петрова Козлова язвительно именуют при этом «Иваном Петровичем» (между тем, вся язвительность этой шпильки могла быть и не почувствована адресатом, поскольку в Юго-Западной Руси не существовало социальной дифференциации форм на -ич и на -ов; отсюда, например, митрополит Димитрий Ростовский, выходец из Юго-Западной Руси, мог называть Федора Поликарпова «господином Поликарповичем», а новгородский учитель Ф. Максимов мог именоваться в период влияния украинского духовенства «Максимовичем», см.: Харлампович, 1914, с. XI, примеч. 2.)

¹⁵ Ударение на флексии в форме род.-вин. падежа (*Иванá*) отражает здесь ударение в фамилии (*Иванóв*), от которого образовано данное прозвище. С другой стороны, *Иванóв*, возможно, исторически восходит к форме **Иванá* (см.: Шахматов, 1925, с. 138; Шевелев, 1963, с. 76). Тем самым, и в данном случае оба процесса выступают как совершенно аналогичные по существу, но разнонаправленные; иначе говоря, один процесс предстает как зеркальное отображение другого.

¹⁶ См. в этой связи: Лотман и Успенский, 1971.

¹⁷ Из литературы о новых именах в послереволюционной России см.: Селищев, 1971; Шпильрейн, 1929; Делерт, 1924.

¹⁸ См.: Зеленин, 1903; Ляпунов, 1935; Чернышев, 1935.

¹⁹ См.: Соболевский, 1890.

²⁰ См.: Чечулин, 1890, с. 5.

²¹ См.: Чернышев, 1934, с. 213.

²² См.: Ляпунов, 1935, с. 260. Ср. Виноградов, 1968, с. 21–22, причем возражения Виноградова неубедительны.

²³ См.: Чернышев, 1935, с. 174–178; Чернышев следует здесь за А. И. Соболевским.

²⁴ В случае *фефёла*, *чурилья* при этом происходит характерная трансформация рода (придание признаков женского рода мужскому имени), усугубляющая уничтожительный характер соответствующего слова. Ср. аналогичный процесс в экспрессивной речи (при обзывании и т. п.), когда уничтожительные слова женского рода употребляются применительно к мужчинам (например, *дура* или некоторые *potina obscoena*).

²⁵ См., помимо цитированных работ Зеленина, Ляпунова, Чернышева, словарь Даля и «Словарь русских народных говоров» под ред. Ф. П. Филина.

²⁶ Ср. пейоративные названия русских деревень типа Дурно́е и т. п.

²⁷ См. в связи с этой проблемой, в частности: Зеленин, I–II; Гегедюс, 1958.

²⁸ См. исследование вопроса в работах: Брандт, 1882; Никольский, 1900.

²⁹ Имя Нерона издавна было известно на Руси хотя бы по «Александрии».

³⁰ Так, известный деятель эпохи раскола Иоанн (в иночестве Григорий) Неронов называется так по отцу, который был «Мирон» (см.: Свирилин, 1904, с. 3, примеч. 1; Шереметевский, I, с. 75); таким образом, его фамилия сохраняет еще непосредственную связь с отчеством (что это уже фамилия, а не отчество, как полагал, например, Шереметевский, указывает то обстоятельство, что все, как правило, называли его именно Неронов, а не Миронов). — Форма *Нерон* известна, в частности, в вологодских, ярославских говорах.

³¹ Заметим, что по святцам ранее давалось имя святого, который поминался на восьмой день после рождения ребенка; девочкам могли давать имя, приходящееся на восьмой день при отсчете назад (эти обычаи до наших дней сохраняются у старообрядцев). Ср. свидетельство Котошихина на этот счет: «А даетца новорожденному младенцу имя отъ того времени какъ родитца счотчи впередъ въ восьмой день, которого святаго день, и ему тожь имя и будетъ» (Котошихин, 1906, с. 15).

Соответствующее указание можно встретить и в старых азбуковниках (см.: Карлов, 1878, с. 178).

Представляется неточным заявление героя рассказа И. С. Тургенева «Часы»: «Зовут меня < . . . > Алексеем. Я родился 7-го, а именинник я 17 марта. Мне, по стародавнему обычаю, дали имя одного из тех святых, праздник которых приходится на десятый день после рождения».

³² Ср. характерное наставление И. Посошкова в «Завещании отеческом»: «а по прихотямъ родителейымъ изъ иных чисел [помимо тех, которые определяются по святцам. — Б. У.] имянь не избирати бѣ, дабы всѣхъ святыхъ имена в презрѣнїи не были бѣ» (цит. по изд.: Обнорский и Бархударов, II, вып. 2, с. 10).

В отношении того, что крестное имя не выбиралось, а получалось, ср. поверье (отмеченное, например, в Астраханской губ.): кто носит имя преподобного будет счастлив, мученика — несчастлив (см.: Зеленин, 1914–1916, I, с. 83). Это поверье, разумеется, не могло бы возникнуть при сознательном ВЫБОРЕ имени ребенка.

Показательно в этой связи, что крестные имена (по всей видимости, в отличие от мирских имен и прозвищ) могли не выполнять дифференцирующей функции, т. е. их роль в процессе коммуникации осмыслялась как вторичная: действительно, в русских семьях дети могли называться одним именем, например, в семье могло быть несколько Иванов или Николаев и т. п.

³³ Можно сказать, что критерии выбора имени (из тех ограниченных возможностей, которые предоставляли святцы) основывались преимущественно на эвфонии, не будучи связаны со знаковой функцией того или иного имени. Ср. описание выбора имени (Акакия Акакиевича) в «Шинели» Гоголя: «Конечно, можно было, некоторым образом, избежать частого сближения буквы *к*, но обстоятельства были такого рода, что никак нельзя было этого сделать < . . . >»

³⁴ См.: Селищев, 1948, с. 141.

³⁵ Этот обычай сохранялся у русских крестьян во всяком случае еще в XVIII в. См. об этом: Евгений Болховитинов, 1826, с. 69. С постригами (обрезыванием волос) совпадало, между прочим, и начало учения; вообще постриги знаменовали признание гражданской личности ребенка (см.: Миропольский, I, с. 37). — Ср., с другой стороны, связь обряда пострижения волос с переменной имени у монахов.

³⁶ О генетической связи современных народных прозвищ с прозвищами древнерусскими см.: Чичагов, 1959, с. 34–38. Ср. более точно: Сими́на, 1969. — Вопрос о разграничении личных имен и прозвищ, несмотря на ряд работ в этом направлении, до сих пор представляется неразрешенным.

³⁷ См.: Селищев, 1948, с. 142. — Ср. там же аналогичное объяснение чувашского имени — *Sjüppi* (букв. «сор»). Характерно, что по сообщению Олсария (см.: Олсарий, 1906, с. 111) эстонцы могли перекрещивать

беспокойных детей в течение первых шести месяцев их жизни — с тем, чтобы дать им другое имя.

³⁸ О подобных фамилиях см.: Бицилли, 1929. См. также специально о «голубиных» фамилиях в России (сюда относятся и такие фамилии, как *Чернозвостов*, *Белокрылов* и т.п.) цикл исследований Кипарского: Кипарский, 1956, 1957, 1958.

³⁹ См.: ПСРЛ, VI, с. 222.

⁴⁰ См.: там же, VIII, с. 108.

⁴¹ См.: Лихачев, 1897, с. 102.

⁴² См.: Свирелин, 1904, с. 3. Отсюда понятно, между прочим, и иноческое имя Неронова (Григорий), которое соответствует по форме именно крестному, а не мирскому его имени (как известно, иноческие имена начинаются обычно на ту же букву, что и имя, которое было до пострижения).

⁴³ См.: Николаева, 1970, табл. 50 и 51.

⁴⁴ См.: РБС, VI, с. 383.

⁴⁵ Тупиков, 1903, с. 70, 75–76, 78.

⁴⁶ Ср. в этой связи не вполне ясное хроникальное свидетельство об Иоанне IV (Грозном): «и наречен бысть во святом крещении Иван Змарагд» (т. е. Смарагд). См.: Розов, 1965, с. 279. (Розов предполагает, что *Смарагд* было крестным именем Ивана Грозного, а *Иоанн* — мирским).

⁴⁷ См.: Чичагов, 1957, с. 76.

⁴⁸ См. об этом у Олеария: Олеарий, 1906, с. 249.

⁴⁹ См.: Оуставъ домашнїа молитвы и прочїихъ христїанскихъ обрядовъ (литографированное изд. без указания выходных данных; книга была издана нелегально в 80-х гг. XIX в. в Москве), л. 240 первой пагинации.

⁵⁰ Типичным примером здесь может служить имя *Богдан* (калька с греч. «Феодор»), которое регулярно цитируется в XVI–XVII вв. как иллюстрация нехристианского, языческого имени (см. Успенский, 1969, с. 204–205). Это имя было очень употребительно в этот период в качестве мирского, но, как правило, не давалось при крещении. Так, гетман Богдан Хмельницкий был Зиновием, боярин Богдан Матвеевич Хитрово — Иовом (причем, как отмечает В. К. Чичагов, (1957, с.80), подлинное имя последнего стало известно только после его смерти, на поминании). См. также в словаре Тупикова (1903, с. 107–108, 111) такие примеры, как: Сенка Богдан, Петр Богдан, Феофан Богдан (bis!), Кузма Богдан, ср. Зиновий Богдан (о Хмельницком). Наличие какого-то другого (крестного) имени, до нас не дошедшего, надо предполагать и у других Богданов. Ср. характерную запись (XVII в.): «Богдан, а имя ему Бог вѣсть < . . . >» (см. там же, с. 71), т. е. форма Богдан здесь явно воспринимается как прозвище (мирское имя).

⁵¹ В деревне Раюша (Эстония) при старообрядческой молельной (Федосеевского согласия) еще недавно жил старик-звонарь Константин (скончался 28.III.1969 г.); все вокруг звали его «Костенька». На отпевании, однако, поминали не Константина, а «раба Божьего Маркелла».

Ср. в связи с приведенными примерами также свидетельство Д. К. Зеленина, который сообщает в своей рецензии на словарь Тупикова (см.: ИОРЯС, 1904, кн. 2, с. 356), что одного из его товарищей по семинарии, по имени Василий, все семинаристы звали «Иван или чаще Вáничка». Аналогичные случаи встречаются и в наше время.

Социальная жизнь русских фамилий

Мы живем в мире имен. Имя выступает как основная характеристика человека, как его идентифицирующий признак. В каких-то случаях имя способно даже заменить человека: это проявляется в таких противоположных сферах — они находятся на разных уровнях цивилизации и, казалось бы, не могут иметь друг с другом решительно ничего общего, — как магия и бюрократия. Магическое действие, направленное на человека, оперирует с его именем (в колдовстве, в гадании и т. п.)¹; равным образом и бюрократическая документация имеет дело не с людьми, а с именами, и судьба человека может непосредственно зависеть от бюрократической процедуры²; все это способствует мистическому отношению к имени, которое ощущается и в наши дни³.

Будучи лишены самостоятельного значения, имена — призванные, вообще говоря, называть, но не значить, — могут быть, тем не менее, чрезвычайно значимы. Для окружающих они оказываются значимыми постольку, поскольку отражают определенную традицию наименования, принятую в той или иной социальной среде. Соответственно, имя может выступать как социальный знак, как социальная характеристика человека — это относится как к личному, так и к фамильному имени.

Пушкин писал в примечании к «Евгению Онегину»: «Агафон, Филат, Федора, Фекла и проч. употребляются у нас только между простолюдинами»⁴; Тургенев в рассказе «Уездный лекарь» выводит лекаря Трифона, отвергнутого дворянкой из-за его плебейского имени; лекарь женится на купеческой дочери — «звуют ее Акулиной; Трифону-то под стать»⁵. Свидетельствам такого рода вполне можно верить: они подтверждаются документальными источниками.

Достаточно показателен хотя бы следующий эпизод, относящийся к 20-м гг. XIX в. (т. е. именно к той эпохе, которую имеет в виду Пушкин). Флигель-адъютант В. Д. Новосильцев ухаживал за дочерью генерала-майора П. К. Чернова и сделал ей предложение. Новосильцев принадлежал к высшей аристократии, невеста была незначительного происхождения (Черновы происходили из провинциальных дворян). По дневниковой записи А. Сулакадзева, мать Новосильцева (дочь графа В. Г. Орлова) «смеясь, говорила: “Вспо-

мни, что ты, а жена твоя будет Пахомовна”. Ибо отец ее был в СПб. полицмейстером Пахом Кондратьевич Чернов. Ветреник одумался < . . . >»⁶. Свадьба расстроилась, и дело кончилось дуэлью жениха с братом отвергнутой невесты (К. П. Черновым), окончившейся трагически для обоих участников⁷. По другому источнику (письмо В. Савинова от 1 октября 1825 г.) «Новосильцев < . . . > просил мать позволить ему жениться, но она слышать не хотела об этом, потому что имя невесты Пелагея Федотовна!!!»⁸. Автор цитируемого письма неточно называет имя невесты, однако сама ошибка весьма характерна: имена *Пахом* и *Федот* естественно ассоциируются друг с другом в силу их социальной равноценности. Наконец, еще один современник, А. А. Жандр, вспоминая о дуэли Чернова и Новосильцева, писал, что мать Новосильцева «не позволила сыну жениться, потому что у Черновой имя было нехорошо — Нимфодора, Акулина или что-то в роде этого»⁹. Все эти свидетельства расходятся друг с другом, но неизменно сохраняют инвариантный тип простонародности имени¹⁰. Мы видим, что имена могут объединяться по своим социолингвистическим характеристикам.

Или другой пример — на этот раз не из дворянского, а из купеческого быта. Бабка писателя Н. С. Лескова по материнской линии родилась в 1790 г. в Москве в зажиточной купеческой семье Колобовых. Родители хотели назвать ее Александрой, но священник окрестил младенца Акилиной (по святцам, поскольку день рождения девочки приходился на день св. Акилины). Отец «слышать не мог неблагозвучного имени новорожденной, видя в нем поругание своей купеческой именитости и избыточности. Бросился к архиерею — тщетно! Тогда он строго-настрога приказал всем в доме облагороженно называть девочку Александрой < . . . > Тайна эта соблюдалась всеми < . . . >». Подлинное ее имя открылось лишь на панихиде¹¹. Имя *Акилина* (*Акулина*) явно воспринималось как простонародное. Примеры такого рода нетрудно было бы умножить.

Как видим, имя может нести определенную социальную окраску: так, аристократические имена могут противопоставляться простонародным, городские — деревенским и т. п.¹². Само собой разумеется, что конкретная оценка тех или иных имен может быть неодинаковой в разные исторические эпохи, но сами противопоставления остаются стабильными и актуальными.

* * *

Мы говорили о личных именах; но совершенно аналогичным образом могли восприниматься и фамилии — фамилия, как и личное имя, могла свидетельствовать о социальном статусе (происхожде-

нии) ее носителя. Так, знатная барыня (Е. П. Янькова) заявляет в начале XIX в.: «... > важничать ей [невестке] не приходилось с нами; мы были ведь не Чумичкины какие-нибудь или Доримедонтовы, а Римские-Корсаковы, одного племени с Милославскими, из рода которых была первая супруга царя Алексея Михайловича»; в другом случае она же замечает: «Кто-то на днях сказывал, видишь, что гербы стыдно выставлять напоказ <... > На то и герб, чтоб смотреть на него, а не чтобы прятать — не краденый, от дедушек достался. Я имею два герба: свой да мужнин, и ступай, тащись в карете, выкрашенной одним цветом, как какая-нибудь Простопятова, да статочное ли это дело?»¹³. Если *Чумичкин* и *Простопятов* напоминают «говорящие» фамилии комедийных персонажей, то *Доримедонтов* — фамилия, несомненно, подлинная; как видим, она вызывает такое же отношение, как имена *Патом* или *Федот*. В повести Салтыкова-Щедрина «Противоречия» домашний учитель оказывается на хлебах «у некоего г. Вертоградова», который «между нами будь сказано, происхождения не дворянского, как это достаточно показывает и фамилия его»¹⁴; *Вертоградов* — типичная «семинарская» фамилия, которая указывает на происхождение из духовной среды. Итак, подобно тому, как могут различаться дворянские и недворянские имена, могут различаться дворянские и недворянские фамилии.

Особенно показательны случаи, когда подобные противопоставления выражаются в чисто формальных признаках. Вот несколько красноречивых примеров.

Фамилии на -ский/-ской (-цкий/-цкой). Эти фамилии в свое время были признаком аристократического происхождения; они нередко встречаются в княжеских семьях, где обычно предстают как производные от топонима (названия владения), ср., например: *Вяземский*, *Шаховской*, *Елецкий*, *Трубецкой* и т. п.¹⁵. При этом под ударением всегда писалось (и соответственно произносилось) окончание *-ой*, тогда как в безударной позиции окончание могло писаться по-разному; принятое сейчас написание *-ий* отражает церковнославянские орфографические нормы.

Со второй половины XVII в. фамилии на *-ский/-цкий* могут указывать также на украинско-белорусское или польское происхождение¹⁶, при этом такие фамилии образованы обычно не от названия места, но от наименования (имени или прозвища) человека¹⁷. Поскольку выходцы из Юго-Западной Руси в XVIII в. занимают ведущее положение в церкви¹⁸, фамилии на *-ский/-цкий* становятся принятыми в духовной среде — в результате и великорусское духовенство получает фамилии с таким окончанием. Создаваемые таким образом фамилии обычно производятся от названия церковных праздников (*Рождественский*, *Покровский*, *Успен-*

ский, *Богословский*, *Предтеченский*) или от библейских топонимов (*Иорданский*, *Елеонский*); в последнем случае фамилии духовных лиц как бы соответствуют по своей внутренней форме фамилиям русских аристократов (образованным от названий владений) отличаясь от них, однако, по своей мотивировке¹⁹. Наконец, и фамилии евреев, выходцев из польско-литовских и украинско-белорусских земель, могут быть образованы по той же модели: обычно они образованы от топонима, указывая на происхождение их носителя (ср., например: *Бродский*, *Слуцкий* и т. п.); в подобных случаях еврейские фамилии совпадают по способу образования с фамилиями аристократов²⁰.

Итак, фамилии, оканчивающиеся на *-ский/-цкий*, образуют сложную социолингвистическую гамму; вместе с тем, фамилии на *-ской/-цкой* в принципе маркированы как дворянские. Соответствующее восприятие наглядно проявляется в тех случаях, когда фамилия сознательно видоизменяется, адаптируясь к той или иной социальной норме.

Так, граф А. Г. Разумовский, морганатический супруг императрицы Елизаветы Петровны и родоначальник династии Разумовских, был сыном простого «реестрового» казака с Черниговщины. Его первоначальная фамилия была *Розум*; будучи приближен Елизаветой, он становится Разумовским²¹, при этом замечательно не только окончание *-ский*, придающее фамилии аристократический облик²², но и отражение акающего произношения, которое заставляет воспринимать ее как великорусскую²³.

По свидетельству А. П. Сумарокова, В. К. Третьяковский сознательно дал «имени породы своей окончание Малороссийское, по примеру педантов наших; ибо *ой*, пременить в *ий* есть у педантов наших то, что у Германских педантов Латинской *ус*»²⁴. Третьяковский — великорус, выходец из духовной среды²⁵. Фамилия Третьяковский — типичная фамилия духовного происхождения, она искусственно образована по украинской модели; отсюда объясняется, между прочим, окончание *-ий*, которое воспринимается Сумароковым как славянизм и расценивается им как педантство. Это соответствует амплуа педанта, каким в глазах Сумарокова является вообще Третьяковский; в комедии «Тресотиниус» Сумароков выводит Третьяковского в виде педанта Тресотиниуса, где латинизированное окончание *-ус* соответствует славянизированному окончанию *-ий*²⁶.

Вместе с тем, как указывает здесь же Сумароков, «дельно пишет г. Козицкой получив право Великороссийского дворянства: *Козицкой* а не *Козицкий*»²⁷. Итак, великорус В. К. Третьяковский, будучи представителем духовного сословия, искусственно украинизирует свою фамилию, а украинец Г. В. Козицкий, «получив

право Великокороссийского дворянства», свою фамилию русифицирует.

В этих условиях окончание фамилии на *-ой* оказывается значительным социолингвистическим признаком. Не случайно графы Бобринские, ведущие свое происхождение от А. Т. Бобринского (1762–1813), сына Екатерины II и Григория Орлова, пишут свою фамилию — искусственно образованную — в им. падеже именно как *Бобринской*²⁸. Федор Степун замечает о писателе Борисе Садовском, что он настаивал на произношении *Садовскóй*: «не дай Бог назвать его *Садовский* — ценил свое дворянство»²⁹, как видим, фамилия *Садовский*, в отличие от *Садовскóй*, не воспринимается как специфически дворянская. В данном случае существенно как окончание *-ой* (а не *-ий*), так и место ударения: действительно, ударение на последнем слоге не встречается в русских фамилиях духовного происхождения (равно как и в украинско-белорусских фамилиях).

Н. С. Лесков в своем очерке «Печерские антики» (который имеет, как известно, документальный характер) воспроизводит характерный диалог между киевским митрополитом Филаретом Амфиатовым и священником отцом Евфимием Ботвиновским. Е. Ботвиновский вел вполне светский образ жизни, необычный для духовного лица: он прекрасно танцевал, любил играть в бильярд, охотиться с гончими. «< . . . > Когда Филарету наговорили что-то особенное об излишней “светскости” Ботвиновского, — сообщает Н. С. Лесков, — митрополит произвел такой суд:

— Ты Батвиневской? — спросил он обвиняемого.

— Ботвиновский, — отвечал о. Евфим.

— Чт-о-о-о?

— Я Ботвиновский.

Владыка сердито стукнул по столу ладонью и крикнул:

— Врешь!.. Батвиневской!

Евфим молчал.

— Что-о-о? — спросил владыка. — Чего молчишь? повинись!

Тот подумал, — в чем ему повиниться? и благопокорно произнес:

— Я Батвиневской.

Митрополит успокоился, с доброго лица его радостно исчезла непривычная тень напускной строгости, и он протянул своим беззвучным баском:

— То-то и есть. . . Батвиневской!.. И хорошо, что повинился!.. Теперь иди к своему месту.

А «прогнав» таким образом «Батвиневского», он говорил наместнику лавры (тогда еще благочинному) о. Варлааму:

— Добрый мужичонко этот Батвиневской, очень добрый. . . И повинился. . . Скверно только, зачем он трубку из длинного чубука палит?»³⁰.

В этом эпизоде очень наглядно проявляются именно те социолингвистические признаки, о которых мы говорили выше — такие, как акающее произношение (которое в данном случае противопоставляется оканью, принятому в духовной среде³¹) или окончание фамилии на *-ой*.

Мы говорили о случаях, когда человек сознательно видоизменяет свою фамилию, прибавляя к ней окончание *-ский/-цкий* — с тем, чтобы выразить свою принадлежность к дворянской или же к духовной среде. Возможны, однако, случаи, когда человек отказывается от фамилии с таким окончанием — именно потому, что она слишком отчетливо говорит о его происхождении. Так, первоначальной фамилией Якова Ивановича Смирнова (1754–1840), священника русской посольской церкви в Лондоне, была *Линицкий*. Выходец из Харьковской семинарии, он вместе с другими учащимися в 1776 г. был направлен в Лондон для службы в посольской церкви, а также для обучения земледелию; по пути в Санкт-Петербург им рекомендовали изменить фамилию, ввиду предубеждения некоторых официальных лиц (от которых зависела их поездка) против украинцев. *Линицкий* стал *Смирновым*, считая, что его фамилия образована от лат. *lenis* ‘кроткий, смиренный’; когда в 1778 г. к нему присоединился в качестве переводчика его младший брат Иван, он также стал называться *Смирновым*³². Сходным образом рязанский архиепископ (1804–1809) Амвросий Яковлев-Орлин не любил фамилий, оканчивающихся на *-ский*; соответственно, в рязанской семинарии фамилии на *-ский* регулярно преобразовывались в фамилии на *-ов/-ев* или *-ин* (например, Полотебенский становился Полотебновым и т. п.)³³.

Итак, если в одних случаях придают фамилии окончание *-ский/-цкий* с тем, чтобы она воспринималась как дворянская (*Разумовский*) или духовная (*Тредиаковский*), то в других случаях стремятся избавиться от этого окончания с тем, чтобы фамилия не воспринималась как украинская (*Линицкий*).

Фамилии на *-ский/-цкий* в ряде случаев обнаруживают колебания в ударении, причем в одном из вариантов ударение всегда приходится на предпоследний слог. Так, например, наряду с произношением *Мусоргский* известно произношение *Мусóргский*; наряду с произношением *Кéренский* приходится слышать и произношение *Керéнский*³⁴. При этом известны случаи, когда ударение переходит на предпоследний слог: так, отца известного военного историка А. И. Михайловского-Данилевского (1790–1848) звали Михайловским-Данилевским³⁵. Вместе с тем, в XIX в. фамилии на

-ский/-цкий с ударением на предпоследнем слоге могут восприниматься как полонизированные, и это может обуславливать искусственное изменение ударения; напомним, что претензия на великорусское происхождение фамилии с таким окончанием фактически означает претензию на происхождение аристократическое (см. выше). Так, в конце XIX в. возникает, по-видимому, произношение *Достоёвский*: по свидетельству Е. П. Карновича, «сочувственники покойного Достоевского, желая обрусить вполне его прозвание, называют его *Достоёвской*»³⁶; место ударения имеет здесь такое же значение, как и окончание *-ой*, о котором говорилось выше³⁷.

Фамилии на -ов/-ев. Если фамилии на *-ский/-ской (-цкий/-цкой)* могли быть противопоставлены всем прочим фамилиям как специфически дворянские, то фамилии на *-ов/-ев* могли сходным образом противопоставляться фамилиям прозвищного типа, т. е. вообще не имеющим какого бы то ни было специального окончания. Так, персонаж комической оперы Я. Б. Княжина «Сбитенщик» (ок. 1783 г.) Волдырев, который характеризуется как «купец, переселившийся в Петербург из другого города, где он назывался Макеем», заявляет «< . . . > я из своей отчизны переселился в Питер, и к старинному имени приклеил новое прозвание, которое, по обычаю прочей нашей братьи охотников дворяниться, кончится на *ов*»³⁸. Совершенно так же в романе П. И. Мельникова-Печерского «В лесах» крестьянин Алексей Лохматый, переехав в город и записавшись в купеческое сословие, превращается из Лохматого в Лохматова: «< . . . > он теперь уже не Лохматый, а Лохматов прозывается. По первой гильдии < . . . >»³⁹. Надо иметь в виду, что у крестьян в это время обычно не было фамилий в собственном смысле, а были прозвища, которые имели более или менее индивидуальный характер и во всяком случае могли восприниматься как индивидуальные наименования. Наличие фамилии, тем самым, оказывается социально значимым, оно выступает как социальный признак, характеризующий прежде всего дворянское сословие; естественно, что купцы в этих условиях могли подражать дворянам («дворяниться», как выражается купец у Княжина)⁴⁰.

Вообще, в условиях, когда фамилиями обладают не все, наличие фамилии приобретает очевидную социальную значимость. Вместе с тем, фамилия противопоставляется прозвищу как родовое наименование — индивидуальному. Поскольку индивидуальное наименование (прозвище) характеризует конкретное лицо, актуальным оказывается его непосредственное значение; напротив, значение родового наименования, т. е. фамилии — собственно говоря, ее этимология — как правило, вообще не воспринимается. Так, прозвище *Седой* как признак индивида ассоциируется с седи-

ной; ничего подобного не происходит между тем, с фамилией *Седов*; и т. п. Тем самым, стремление избавиться от прозвища в каких-то случаях может быть связано со стремлением избавиться от тех семантических ассоциаций, которые в нем (прозвище) заложены.

Мы говорили о случаях превращения прозвища в фамилию. Возможны, однако, и другие случаи — превращение фамилии в прозвище; при этом, как правило, понижается социальный статус именуемого лица и может актуализироваться значение прозвища. Так, в 1689 г. Сильвестр Медведев — известный книжник и справщик московского Печатного двора — за участие в заговоре Шакловитого, согласно документальному свидетельству, «лишен был образа [иноческого] и именования: из Сильвестра Медведева стал Сенька Медведь»⁴¹. Итак, ставши расстригой, он получает свое прежнее имя (*Семен*), которое он имел до того, как стал монахом; но одновременно он лишается своей фамилии (*Медведев*), которая превращается в значимое прозвище (*Медведь*), — это соответствует резкому понижению социального статуса Медведева, который вскоре после того был приговорен к смертной казни⁴². Сходным образом, когда Иван Грозный казнил князя Андрея Овцына, последний, по свидетельству современника (Генриха Штадена) был «повешен в опричнине на Арбатской улице; вместе с ним была повешена живая овца»⁴³. И в этом случае актуализируется значение фамилии (или, вернее, ее этимология), которая тем самым как бы превращается в прозвище — повешенная овца призвана символически свидетельствовать о наименовании повешенного князя. В подобных случаях время как бы обращается вспять, человек возвращается в прежнее состояние — и это глубоко символично.

Любопытно привести пример аналогичного явления — превращения фамилии в прозвище — совсем из другой области, относящейся уже к нашему времени. Речь идет о школьных прозвищах, которые восходят, как правило, к соответствующим фамилиям. Так, попадая в школу, «Соколов» обычно становится «Соколом», «Попов» именуется «Попом», «Киселёв» — «Киселём» и т. п.; этот процесс в точности противоположен процессу образования фамилий, поскольку в свое время прозвища *Сокол*, *Поп* и т. п. преобразовывались в соответствующие фамилии (*Соколов*, *Попов* и т. п.). Существенно, что эти прозвища вновь выступают именно как индивидуальные, а не как родовые наименования, т. е. выступают на правах личного имени: прозвище *Сокол* относится именно к данному Соколову и т. п. В последнем случае, однако, превращение фамилии в прозвище не свидетельствует о понижении социального статуса: просто это переход от официального наименования (фамилии) к более интимному индивидуальному наименованию.

Если представители низших социальных слоев стремились, как

мы видели, образовать фамилии на *-ов/-ев* и тем самым избавиться от прозвищ, то для представителей аристократических родов, у которых личные прозвища достаточно давно уже стали фамильными (родовыми), такое стремление, кажется, нехарактерно: здесь адъективные фамилии прозвищного типа (на *-ой/-ый/-ий*) могут свободно варьироваться с соответствующими формами на *-ов/-ев*. Так, Л. Н. Толстой в «Войне и мире» называет Пьера то *Безухий*, то *Безухов* — эти формы свободно варьируются в тексте романа, никак друг другу не противопоставляясь⁴⁴. Здесь нет исторической стилизации, т. е. подобные формы, по-видимому, еще могли восприниматься как варианты. Такая же вариация наблюдается и в фамилии *Долгорукий* — *Долгоруков*. В XIX в. кн. П. В. Долгоруков, известный специалист по генеалогии, настаивает на том, что его фамилия должна писаться именно как *Долгоруков*, но не *Долгорукий*⁴⁵. Кажется, что дело идет скорее о процессе унификации, чем об исторической достоверности той или иной формы⁴⁶.

Наряду с варьированием форм на *-ов/-ев* и форм на *-ой/-ый/-ий* в дворянских фамилиях может наблюдаться и варьирование с соответствующими формами на *-ово/-ево*. Так, известный историк и общественный деятель князь М. М. Щербатов (1733–1790) мог еще называться *Щербатово*⁴⁷. По своему происхождению форма на *-ово/-ево* представляет собой форму прилагательного в род. падеже; таким образом, форма *Щербатово* должна рассматриваться как промежуточная форма при переходе от формы *Щербатой* к форме *Щербатов* (*Щербатой* → *Щербатово* → *Щербатов*)⁴⁸. Иначе говоря, подобно тому, как «Иван Петров сын Федорова» превращается в «Ивана Федорова», так и «Иван Петров сын Щербатово» превращается в «Ивана Щербатова»⁴⁹. Нет ничего удивительного в том, что в дворянских фамилиях — которые оформились раньше других фамилий и отличаются относительно большей консервативностью — могла закрепляться именно такого рода промежуточная форма: *Дурновó, Хитровó, Суговó, Недобровó, Благовó, Плоховó* и т. п. (с ударением на последнем слог). Вместе с тем, обращает на себя внимание то обстоятельство, что подобные фамилии сохраняются обычно в том случае, когда они образованы от прилагательного с отрицательной характеристикой⁵⁰: можно предположить, что образованию таких фамилий способствовало стремление их носителей избавиться от ассоциации с соответствующим прилагательным (это же стремление могло обуславливать и изменение в месте ударения)⁵¹. Фамилии на *-овó/-евó* должны считаться, таким образом, специфически дворянскими.

Иного происхождения фамилии на *-аго* (*Живáго, Веселáго* и т. п.). Нельзя считать, как это часто думают, что мы имеем здесь славянизированный вариант фамилий на *-вов*, т. е. что форма

Живáго восходит к *Живóво* и т. п. Как показал Б. Унбегаун, эти фамилии восходят к прозвищам на *-áга/-яга* типа *Верещáга*⁵². Вместе с тем, именно такого рода осмысление помогло соответствующим прозвищам превратиться в фамилии без специального морфологического оформления.

В целом ряде случаев фамилии на *-ов/-ев* обнаруживают колебания в акцентуации, причем противопоставление форм, различающихся по своему ударению, может иметь социолингвистический характер. Это объясняется тем, что в дворянской среде могут сохраняться более архаичные акцентные формы.

По своему происхождению фамилии на *-ов/-ев* представляют собой притяжательные прилагательные: соответственно, их акцентуация и определялась первоначально теми закономерностями, которые определяют место ударения в притяжательных прилагательных. Так, прилагательные, образованные от имен с ударением на флексии, закономерно получают ударение на суффиксе *-ов/-ев*; такое ударение принимали и соответствующие фамилии, ср. *Хвостóв* (*хвост, хвостá*), *Бобрóв* (*бобёр, бобра́*), *Быкóв* (*бык, быка́*), *Шипóв* (*шип, шипá*), *Дьякóв* (*дьяк, дьяка́*) и т. п. В дальнейшем, однако, фамилии на *-ов/-ев* полностью обособляются от притяжательных прилагательных и начинают жить самостоятельной акцентуационной жизнью: иначе говоря, они могут подчиняться особым акцентным закономерностям, которые и отличают их от соответствующих прилагательных. Так, в частности, для двусложных и трехсложных фамилий характерно передвижение ударения на первый слог: этот процесс распространяется на фамилии, но не затрагивает притяжательных прилагательных. В результате фамилии *Шипóв, Быкóв, Дьякóв, Кустóв, Пластóв, Новикóв* и т. п. начинают произноситься как *Шíпов, Бýков, Дья́ков, Кúстов, Пла́стов, Нóвиков*⁵³. Точно так же, например, фамилию *Топорóв* часто произносят как *Тóпоров, Чебышéв* как *Чéбышев*⁵⁴, *Живóв* как *Жíвов*⁵⁵.

Поскольку у дворян фамилии обычно образованы непосредственно от притяжательных прилагательных, у них может сохраняться старое ударение (которое совпадает с ударением притяжательных прилагательных); сохранению такого ударения естественно способствует консерватизм дворянской среды, культивируемая здесь приверженность родовым традициям — соответственно, мы наблюдаем здесь формы *Шипóв, Быкóв, Новикóв, Жебелéв* и т. п.⁵⁶. Иначе обстоит дело в тех слоях населения, где соответствующие формы осваивались в качестве уже готовых фамилий (которые никак не ассоциировались с притяжательными прилагательными); будучи обособлены от притяжательных прилагательных, эти фамилии переживают вполне самостоятельные акцентуационные про-

цессы — соответственно, здесь распространяются такие формы, как *Шипов*, *Быков*, *Нобиков*, *Жебелев* и т. п.⁵⁷.

В других случаях мы наблюдаем противоположный процесс, когда в фамилии на *-ов* ударение переходит на суффикс; в каких-то случаях это, безусловно, связано с вульгаризацией фамилии. Так, советский писатель С. В. Михалков — выходец из дворянской семьи Михалковых: фамилию *Михалков* он изменил на *Михалко* и это, видимо, объясняется стремлением к социальной мимикрии⁵⁸ — действительно, в фамилиях, произведенных от собственных имен с суффиксом *-ко* (*Михалко*, *Василько* и т. п.), ударение на *-ков* в принципе может восприниматься как просторечное, сниженное⁵⁹. Другим (правда, менее понятным) случаем такого рода является изменение фамилии *Иванов* в *Иванов*. В. Пяст, описывая в своих мемуарах сцену обыска на квартире у поэта Вячеслава Иванова в 1905 г., вспоминает, что полицейский «называл хозяина упорно “Вячеслав Иванов” — с ударением на последнем слоге. До сих пор никому в голову не приходило такое произношение, — продолжает Пяст. — Мне чудится в этом или нарочитое издевательство, — или же <...> признак того, что весь внутренний мир вот этих, полицейских, коренным образом разнился с тем миром, в котором вращались все прочие люди»⁶⁰. Свидетельство В. Пяста — мемуариста, очень чуткого к языку и особенно к звучащей речи, — можно понять двояко: либо он вообще никогда ранее не слышал произношения *Иванов*, либо он не слышал, чтобы так называли Вячеслава Иванова; при этом он воспринимает подобное произношение как вульгарное и даже оскорбительное. В любом случае данное свидетельство представляет для нас непосредственный интерес⁶¹.

Как видим, функция ударения в фамилиях на *-ов/-ев* оказывается весьма сложной — ударение на этом суффиксе в разных случаях выражает разную информацию.

Фамилии на *-ич*. Фамилии на *-ич* появляются на великорусской территории вместе с выходцами из Юго-Западной Руси (Украины и Белоруссии). В XVII–XIX вв. фамилии с таким окончанием могут иметь также сербское происхождение. Итак, фамилии на *-ич* — не великорусского происхождения, и это обуславливает особое к ним отношение.

Восприятие фамилий такого рода в Великой России определялось тем обстоятельством, что отчество на *-ич* имело здесь специальную значимость. Вообще говоря, как фамилии на *-ов/-ев* и *-ин*, так и фамилии на *-ич* имеют патронимическое происхождение, т. е. восходят к отчествам. Однако, в отличие от форм на *-ов/-ев* или *-ин*, отчества на *-ич* в Московской Руси никогда не становились фамилиями, т. е. не превращались в родовое наименование;

иначе обстояло дело в Руси Юго-Западной. При этом отчество на *-ич* было в Московской Руси исключительно престижным: право именоваться таким образом составляло особую привилегию и регламентировалось специальными указами. В XV в. отчества на *-ич* в официальных документах применяются только к князьям и боярам; в XVI–XVII вв. такие отчества становятся не сословной, а должностной привилегией — княжеское происхождение уже не дает право на подобное наименование, но так именуются бояре, думные дворяне, окольничие, постельничие, оружничие, сокольничие, казначей⁶².

От XVII–XVIII вв. до нас дошел ряд специальных установлений, регламентирующих написание отчества. Иногда они имеют частный характер, т. е. относятся к именованию конкретного лица. Так, царь Иван Грозный велит называться таким образом немцу-опричнику Генриху Штадену, сыну Вальтера (он стал называться Андреем Володимировичем)⁶³; царь Василий Шуйский в 1610 г. жалуется «именитого человека» Петра Семеновича Строганова и велит писать его «с *вичем*»⁶⁴; ср. также царские указы «О писании имени убитого народом Траханиотова по прежнему с *вичем*» (1649 г.)⁶⁵ или «О внесении имени стряпчего с ключом Семена Полтева в боярский список под думными дворянами с *вичем*» (1687 г.)⁶⁶. В других случаях такие постановления имеют достаточно общий характер, т. е. определяют право на соответствующее наименование той или иной группы лиц. Так в 1626 г. царь Михаил Федорович «велел комнатным ближним людям на поместья писати свои государевы грамоты в челобитье без *вичей* опричь бояр и окольничих и думных дворян»⁶⁷. В 1681 г. царь Федор Алексеевич издает указ «О писании думных дьяков во всяких письмах с *вичем*»: «<...> велеть их в наказах и в <...> Государевых грамотах и во всяких делах писать с *вичем*; а в боярском списку писать их по прежнему, как они до сего его Государева указу писаны»⁶⁸. Это правило распространяется и на жен думных дьяков, и, соответственно, в 1658 г. от имени царей Ивана и Петра Алексеевичей и регентши царевны Софьи Алексеевны выносятся следующие постановления: «Будет кто напишет думного дворянина жену без *вичи*: и им на тех людех Великие государи и сестра их, Великая Государыня, благородная Царевна, указали за то править безчестье»⁶⁹.

При Екатерине II написание отчества в официальных бумагах приводится в соответствие с таблицей о рангах: в специальной «чиновной росписи» указывается, что отчество особ первых пяти классов следует писать с окончанием *-ич*, отчества лиц шестого, седьмого и восьмого классов — с окончанием *-ов* или *-ин*, для всех же прочих чиновных лиц отчества не указывать⁷⁰. Вместе с тем, в

1765 г. Екатерина повелевает Сенату «при сочинении жалованных грамот, даваемых разным персонам на деревни или достоинства, кому именно отчества с окончанием на *вич* писать и кому не писать, так как оное зависит от собственного Ея Величества к тем персонам благоволения, докладывать всегда Ея Императорскому Величеству словесно»⁷¹. Итак, если в XV в. написание отчества такого рода в принципе определялось происхождением именуемого лица, в XVI–XVII вв. — занимаемой им должностью (отступления от этого принципа предполагают, вообще говоря, особый законодательный акт), то в XVIII в. оно может непосредственно зависеть от расположения монарха: в этих условиях способ наименования характеризует не столько данное лицо, сколько отношение к нему монарха на данный момент.

Разумеется, приведенные постановления относятся к официальной сфере; но и в народном быту употребление отчества на *-ич* было ограничено. «По имени называют, по отчеству величают», — говорит народная пословица; согласно другой пословице, именовать следует «богатого по отчеству, убогого по прозвищу»⁷². В крестьянских семьях было принято, чтобы жена «величала» мужа, называя его по имени-отчеству⁷³; между тем дворяне не обращались к крестьянам с отчеством на *-ич*⁷⁴. В городском быту еще и в XIX в. таким образом называли только людей, занимающих равное или же более высокое социальное положение⁷⁵.

Это особое значение отчеств на *-ич* в какой-то мере объясняется тем, что соответствующий формант выступал как вторичный, наслаивающийся на уже готовую форму отчества (с суффиксом *-ов/-ев* или *-ин*). Действительно, суффикс *-ич* прибавлялся к отчествам на *-ов/-ев* и *-ин*; *Иванович*, *Сергеевич*, *Фоминич* и т. п. Поскольку суффикс *-ич* дублирует уже имеющийся показатель отчества, он оказывается дополнительным, семантически необязательным: тем самым, его наличие имеет не смысловую, а семиотическую значимость — прибавление этого суффикса воспринимается как особая честь. Знаменательно в этой связи, что ограничения в употреблении отчеств в Московской Руси относились именно к формам на *-ович/-евич*, *-инич*, но не просто к формам на *-ич*⁷⁶. Не менее характерно и то, что отчества на *-ич* обычно не образуются здесь от прозвищ (от которых, между тем, свободно могли образовываться отчества на *-ов/-ев* или *-ин*)⁷⁷. Это, несомненно, объясняется тем, что прозвища, так сказать, менее почтительны, чем стандартные личные имена, они куда менее престижны⁷⁸: тем самым, соединение прозвища с формантом *-ич* звучало бы как диссонанс⁷⁹.

При этом суффикс *-ич*, прибавляясь к отчествам на *-ов/-ев* или *-ин*, превращает их из кратких прилагательных в существительные: в отличие от прилагательных, которые выражают зна-

чение принадлежности, существительные по своей природе имеют вполне самостоятельный и независимый статус — при назывании кого-либо они характеризуют скорее непосредственно данное лицо, нежели его отношение к другому лицу. Будучи лишены possessивного значения (которое присуще формам на *-ов/-ев*, *-ин*), формы на *-ич* выражают идею именитого происхождения, т. е. идею знатности, родовой чести. В самом деле, если *Петров* при наименовании первоначально означает сына Петра, то *Петрович* означает, вообще говоря, потомка Петра: так любой потомок князя Рюрика именуется «Рюриковичем» и т. п.⁸⁰. В обобщенном значении форма на *-ич* может указывать, таким образом, на знатность происхождения. Именно поэтому, между прочим, отчество на *-ич*, как правило, не повторяется при имени отца: если, положим, Иван Петрович является сыном Петра Федоровича, то он называется «Иван Петрович Федоров» или «Иван Петрович Федорова» (возможно также наименование «Иван Петров Федоровича») — характеризуя весь род как таковой, формант *-ич* не нуждается в повторении⁸¹.

Итак, в Московской Руси отчества на *-ич* обладали особым престижем: так официально именовались лишь те, кто принадлежал к социальным верхам. Между тем, в Юго-Западной Руси отчества на *-ич* такого значения не имели⁸²; соответственно, здесь свободно образовывались фамилии с окончанием *-ич*⁸³.

Это специфическое значение отчеств на *-ич* представляет собой вообще относительно новое явление: оно развивается на великорусской территории именно в московский период (между тем, этот период принципиально важен для нашей темы, поскольку как раз в это время и начинается образование фамилий). Естественно, что это развитие не затрагивает Юго-Западной Руси, отделенной от Московской Руси административными и культурными границами. Вместе с тем, до поры до времени оно нехарактерно, кажется, и для новгородско-псковского ареала — постольку, поскольку здесь сохраняется культурная автономия⁸⁴. Таким образом, как в Юго-Западной Руси, так и в Новгороде и Пскове употребление отчеств на *-ич* оказывается более архаичным.

Фамилии на *-ич*, обычные в Юго-Западной Руси, могли восприниматься в Московской Руси как отчества; во всяком случае к ним могли относиться совершенно так же, как относятся к отчествам, и подвергаться их соответствующим трансформациям. Вот характерный пример.

В 1567 г. польский король Сигизмунд II Август и гетман Григорий Ходкевич направили виднейшим московским боярам — князьям Ивану Дмитриевичу Бельскому, Ивану Федоровичу Мстиславскому, Михаилу Ивановичу Воротынскому и конюшему Ивану Петровичу Федорову (Челяднину) грамоты с предложением изме-

нить своему государю, т. е. Ивану Грозному, и перейти на сторону Польши. Московские бояре отвечали письмами, исполненными негодования. Замечательно при этом то, как в этих ответных письмах они обращаются к гетману Ходкевичу. Князя И. Д. Бельский и И. Ф. Мстиславский — потомки Гедимины, великого князя Литовского, потомком которого является и польский король Сигизмунд II Август; соответственно, обращаясь к королю, они именуют его «братом», между тем как гетман Ходкевич оказывается по отношению к ним в положении подданного. Поэтому в обращении к гетману они именуют его не «Ходкевичем», а «Хоткеевым», называя себя при этом полным именем⁸⁵. Что касается князя М. И. Воротынского, то, будучи потомком Рюрика, а не Гедимины, он не находится в родстве с польским королем и не может рассматривать гетмана Ходкевича как своего подданного; поэтому, обращаясь к гетману, он называет его полным именем, так же как самого себя — в то же время, приводя свой собственный титул, он никак не титурует гетмана, и это должно подчеркнуть разницу между ними⁸⁶. Наконец, и боярин И. П. Федоров обращается к гетману как к равному и называет его полным именем («Григорий Александрович Хоткевича») с титулом — однако при этом он именует себя «Иваном Петровичем Федоровича»; в Московской Руси так именоваться было не принято, но в противном случае его наименование выглядело бы как более низкое по сравнению с наименованием гетмана⁸⁷.

Последний пример особенно показателен. В официальных документах Московского государства И. П. Федоров именуется в указанный период «Иван Петрович Федорова»⁸⁸, где форма *Федорова* (в род. падеже) образована от имени деда, т. е. представляет собой отчество отца⁸⁹. Отца И. П. Федорова звали «Петр Федорович», однако трехчленные наименования с двумя отчествами на *-ич* не были приняты в Московской Руси (см. выше): плеонастические образования такого рода встречаются здесь крайне редко и, кажется, всегда имеют окказиональный характер⁹⁰ — во всяком случае сам И. П. Федоров так себя не называл. Иными словами, в трехчленном наименовании отчество именуемого субъекта закономерно принимает форму на *-ов/-ев* или *-ин* — в нашем случае «Петр Федорович» становится «Петром Федоровым», и это не является для него бесчестьем, если речь идет не о нем самом, а о его сыне («Иване Петровиче»). Называя гетмана Ходкевича «Григорий Александрович Хоткевича», где *Хоткевича* представляет собой форму род. падежа, И. П. Федоров явно трактует фамилию (родовое прозвание) *Хоткевич* как отчество; соответственно, он и себя именует по той же модели, называя себя «Иван Петрович Федоровича». Как видим, отношение к фамилии на *-ич* ничем не

отличается в Московской Руси от отношения к отчеству с таким же суффиксом.

Послания из Польши были доставлены московским боярам служилым человеком Иваном Козловым, который в обоих посланиях называется «Иваном Петровичем Козловым». Замечательно, что князь И. Д. Бельский, который, как мы знаем, называет гетмана Ходкевича «Григорьем Хоткеевым», в послании королю язвительно именует И. П. Козлова «Иваном Петровичем»: «Што присылал еси к нам з листом своим слугою своего верного Ивашка Козлова <...> што ж тебе поведал слуга твой верный Иван Петрович Козлов <...>»⁹¹. Вся язвительность этого пассажа могла быть и не почувствована адресатом, поскольку в Юго-Западной Руси, как уже упоминалось, отчество на *-ич* не означало какой-либо привилегии.

Итак, фамилии на *-ич* трактовались в Московской Руси как отчества. Соответственно, в приказном делопроизводстве Московского государства формы на *-ич* — независимо от того, отчества это или фамилии, — регулярно заменялись соответствующими формами на *-ов/-ев* или *-ин*. Так, в середине XVII в. торговый человек г. Нежина Корней Ананич (или Ананиевич) — при этом наименование *Ананич* определяется в украинских документах как «прозвиско», т. е. оно является, надо думать, фамилией, а не отчеством, — называется в документах русского происхождения «Корнюшка, Ананьин сын»; послы гетмана Богдана Хмельницкого Герасим Яцкович, Павел Обрамович, Самойло Богданович и Семен Савич закономерно превращаются в московских документах в Герасима Яковлева, Павла Аврамова, Самойлу Богданова и Семена Савинова; полковник Онтон Жданович именуется в Москве Онтоном Ждановым и т. п.⁹²; равным образом гетмана Самойловича в конце XVII в. писали в Москве Самойловым, украинцев Домонтовича, Михневича, Мокриевича, Якубовича — Домонтовым, Михневым, Мокриевым, Якубовым и т. п.⁹³. Соответственно, например, русский дворянский род Зиновьевых восходит к польско-литовскому роду Зеновичей сербского происхождения: сербские деспоты Зеновичи, переселившись в Литву, стали называть себя Зеновьевичи, а затем на великорусской территории были переименованы в Зиновьевых⁹⁴. Аналогичную трансформацию претерпевали в Московском государстве и фамилии на *-ич* псковского происхождения. Так, в Пскове прежние боярские фамилии Строиловичи, Казачковичи, Дойниковичи, Райгуловичи, Ледовичи и Люшковичи изменились под влиянием Москвы в Строиловых, Казачковых, Дойниковых, Райгуловых, Ледовых и Люшковых⁹⁵.

Если в XVII в. фамилии на *-ич* превращались в Московской Руси в фамилии на *-ов/-ев* или *-ин*, то в XVIII в. мы наблюда-

ем обратный процесс: здесь появляются фамилии на *-ич*, и при этом формы на *-ов/-ев* или *-ин* могут преобразовываться в соответствующие формы на *-ич*. Это объясняется влиянием культуры Юго-Западной Руси на великорусскую культуру, исключительно характерным для этого периода (не случайно в это же время здесь распространяются и фамилии на *-ский/-цкий*, о чем мы уже говорили выше)⁹⁶. Так, митрополит Дмитрий Ростовский, выходец из Юго-Западной Руси, может называться Федора Поликарпова (известного книжника, директора московского Печатного двора) «господином Поликарповичем», а новгородский учитель Федор Максимов может именоваться «Максимовичем»⁹⁷. Независимо от того, образована ли подобная форма от фамилии или от отчества, она явно выступает как фамилия. В XIX в. известны случаи перемены фамилии, когда принимается фамилия на *-ич*. Так, например, писатель С. Е. Раич (1792–1855) назывался по отцу Амфитеатровым; при поступлении в семинарию он изменил фамилию на Раич⁹⁸; не исключено, что фамилия Раич образована от слова *раек* и семантически соотносится с фамилией Амфитеатров. Точно так же профессор Лицея, а затем Петербургского университета А. И. Галич (1783–1848) первоначально имел фамилию Говоров; будучи в семинарии, он переименовал ее на Никифоров в память имени деда, а затем, поступив в педагогический институт, переименовал себя в Галича⁹⁹. Существенно при этом, что как Раич, так и Галич были великорусами; таким образом, принятые ими фамилии никак не могут объясняться их происхождением.

* * *

Способность русских фамилий видоизменяться, адаптируясь к той или иной социальной норме, не может не вызывать удивления, если иметь в виду, что фамилии в России представляют собой относительно новое явление. Об этом в какой-то мере свидетельствует, между прочим, иностранное происхождение самого слова *фамилия*: это слово было заимствовано в XVII в., причем первоначально оно означало род, семью (в соответствии со значением латинского или польского слова *familia*); значение наименования выкристаллизовывается к 30-м годам XVIII в., но окончательно закрепляется за этим словом только в конце XVIII — начале XIX в.¹⁰⁰. Показательно, что до XVIII в. в русском языке не было средства для адекватного выражения соответствующего понятия (такие слова, как *прозвище*, *прозвание* могли недифференцированно обозначать как родовое, так и индивидуальное наименование).

Процесс образования фамилий, начавшийся в XVI в., закончился во второй половине XIX в.; при этом распростране-

нию фамилий, несомненно, способствовали культурные процессы XVII–XVIII вв. — ориентация на Польшу, а затем на Западную Европу. Будучи связан с бюрократическими потребностями Российской империи, процесс этот имел до некоторой степени искусственный характер. О его искусственности может говорить, между прочим, тот факт, что в русских деревнях крестьяне, не считающие себя родственниками, очень часто носят одну и ту же фамилию; обычны случаи, когда вся деревня или значительная ее часть носит одну фамилию. Вместе с тем, наряду с официальными фамилиями у крестьян могут бытовать неофициальные, «уличные» фамилии, которые достаточно разнообразны и способны выполнять дифференцирующую функцию — разнообразие «уличных» фамилий в значительной мере компенсирует равномерность фамилий официальных¹⁰¹. Не будучи формально фиксированы, «уличные» фамилии гораздо менее стабильны, чем фамилии официальные: они могут меняться от поколения к поколению и, тем самым, напоминают скорее прозвища — или, точнее говоря, так называемые «прозвищные отчества»¹⁰², — чем фамилии в собственном смысле. Все это, по-видимому, говорит о том, что стихийный процесс образования фамилий в крестьянской среде мог не иметь никакого отношения к их официальному наименованию¹⁰³. Отсюда же объясняется и смена фамилий, которая наблюдается еще и в нашем столетии¹⁰⁴.

Итак, еще относительно недавно целые слои населения в России были лишены фамилий. В первую очередь это относится к крестьянам. Однако, и в духовной среде употребление фамилий было настолько своеобразным, что мы вправе задаться вопросом: в какой мере соответствующие наименования могут рассматриваться как фамилии?

В самом деле, в духовном сословии фамилии, строго говоря, не были родовым наименованием, т. е. они не обязательно наследовались от отца к сыну. Американский путешественник, посетивший Россию в XIX в., с удивлением отмечал, что русские священники не носят фамилии своих отцов¹⁰⁵. Действительно, до середины XIX в. это было обычным явлением. Образование в духовной среде с петровского времени приобретает сословный характер, т. е. сыновья духовных лиц получали, как правило, духовное образование¹⁰⁶. Именно при поступлении в училище или семинарию они получали обычно новую фамилию. Вот как вспоминает об этом известный историк церкви академик Е. Е. Голубинский: «Когда мне исполнилось семь лет, отец начал помышлять о том, чтобы отвести меня в училище. Первым вопросом для него при этом было: какую дать мне фамилию. В то время фамилии у духовенства еще не были обязательно наследственными. Отец носил такую фами-

люю, а сыну мог дать, какую хотел, другую, а если имел несколько сыновей, то каждому свою особую (костромской архиерей Платон прозывался Фивейским, а братья его — один Казанским, другой Боголюбским, третий Невским). Дедушка, отцов отец, прозывался Беляевым, а отцу, в честь какого-то своего хорошего знакомого, представлявшего из себя маленькую знаменитость, дал фамилию Пескова. Но отцу фамилия Песков не нравилась (подозреваю, потому, что, учившись в училище и семинарии очень не бойко, он слышал от учителей комплимент, что у тебя-де, брат, голова набита песком), и он хотел дать мне новую фамилию, а именно — фамилию какого-нибудь знаменитого в духовном мире человека. Бывало, зимним вечером ляжем с отцом на печь сумерничать, и он начнет перебирать: Голубинский, Делицин (который был известен как цензор духовных книг), Терновский (разумел отец знаменитого в свое время законоучителя Московского университета, доктора богословия единственного после митроп. Филарета), Павский, Сахаров (разумел отец нашего костромича и своего сверстника Евгения Сахарова, бывшего ректором Московской Духовной Академии и скончавшегося в сане епископа симбирского < . . . >), заканчивая свое перечисление вопросом ко мне: “какая фамилия тебе более нравится?” После долгого раздумывания отец остановился наконец на фамилии Голубинский. Кроме того, что Федор Александрович Голубинский, наш костромич, был самый знаменитый человек из всех перечисленных выше, выбор отца, как думаю, обуславливался еще и тем, что брат Федора Александровича, Евгений Александрович, был не только товарищем отцу по семинарии, но и был его приятелем и собутыльником < . . . >¹⁰⁷. Как видим, изменение фамилии воспринимается как нечто вполне естественное и неизбежное. В дальнейшем фамилия могла меняться еще несколько раз: при переходе из училища в семинарию, из семинарии в Академию, при переходе из класса в класс и даже несколько раз в течение курса¹⁰⁸. В подобных случаях фамилия давалась ректором или же архиереем: в этих случаях, как правило, семинаристу не давалась фамилия какого-то другого лица (как это имело место в случае с Е. Е. Голубинским), но он получал искусственно образованную фамилию¹⁰⁹. Отличительным признаком типичных семинарских фамилий является вообще их искусственность, которая может проявляться, между прочим, и в чисто формальном аспекте: ср., например, наличие форманта *-ов* там, где по словообразовательной структуре ожидается *-ин*, в таких характерных семинарских фамилиях, как *Розов*, а также *Палладов*, *Авроров* и т. п.¹¹⁰.

Эта практика имеет достаточно устойчивую традицию; возникновение этой традиции несомненно, обусловлено тем, что лица, по-

ступающие в духовные училища, в свое время вообще не имели фамилий. Б. Унбегаун считает, что одна из первых фамилий такого типа была фамилия Леонтия Магницкого (1669–1739), учившегося в московской Славяно-греко-латинской академии в конце XVII в.¹¹¹. Во всяком случае в XVIII в. рассматриваемое явление становится вполне обычным. Так, Тихон Задонский (1724–1783) родился в семье дьячка Савелия Кириллова и, видимо, фамилии не имел; при поступлении в училище в 1738 г. он получил фамилию Соколовский¹¹². Поэт Василий Петров (1736–1799) был сыном священника Петра Поспелова¹¹³; фамилия Петров восходит, видимо, к его отчеству, но характерно, что он не унаследовал фамилии отца. М. М. Сперанский до поступления в семинарию по отцу звался Михайловым; фамилию Сперанский он получил в семинарии как подающий надежды¹¹⁴ (ср. лат. *sperans* ‘надеющийся’). Происхождение фамилии Г. Н. Теплова (ум. в 1779 г.) объясняется тем, что он был сыном истопника; можно предположить, что он получил эту фамилию при поступлении в школу Феофана Прокоповича в Петербурге¹¹⁵. Ср. еще стихотворение Г. Р. Державина «Привратнику» (1808 г.), поводом для которого послужило то обстоятельство, что у поэта оказался однофамилец священник И. С. Державин; в стихотворении подчеркивается разница в происхождении их фамилий:

Державин род с потопа влекся;
Он в семинарии им нарекся < . . . >¹¹⁶

Рассматриваемая практика наименования была упразднена лишь в середине XIX в.¹⁷; соответственно только с этого времени духовенство получает фамилии в собственном смысле — как родовые наименования, переходящие по наследству.

Как видим, до середины XIX в. фамилии в духовном сословии в большой степени напоминают прозвища: они выступают не столько как родовые, сколько как семейные наименования, когда соответствующее наименование утрачивается при вступлении в самостоятельную жизнь (вместе с тем, при выходе из духовного сословия эти наименования могут превращаться в родовые, т. е. в фамилии в собственном смысле). Можно предположить, таким образом, что приобретение фамилий в духовном сословии отражает традицию бытования прозвищ на Руси — традицию, которая до сих пор еще очень устойчива в крестьянском быту¹¹⁸.

Примечания

¹ Этим объясняется устойчивое бытование в древней Руси наряду с крестильным именем (т. е. именем, полученным при крещении) так на-

званного мирского имени: крестильное имя во избежание порчи могло скрываться. См.: Евгений Волховитинов, 1826; Костомаров, 1881, с. 225; Голицын, 1892, с. 351; Успенский, 1969а, с. 201–202; а также с. 155–157 наст. изд.

² Эпизод, описанный Ю. Н. Тыняновым в его известной новелле «Подпоручик Киже» (когда в результате бюрократической ошибки возникает новое лицо, не существующее в реальности, но обладающее всеми семиотическими правами человеческой личности), в каком-то смысле напоминает магическое сотворение гомункулуса. Новелла Тынянова представляет собой литературную обработку исторического анекдота павловского времени, в котором отразилось, по-видимому, вполне реальное происшествие (см.: Даль, 1870, с. 295–296; Гено и Томич, 1901, с. 174–175). Случай такого рода имели место и позднее: один из них описан В. Т. Шаламовым в документальном рассказе «Берды Онже» (см.: Шаламов, 1982, с. 511–515).

³ Ср. письмо П. А. Вяземского к В. А. Жуковскому от 13 декабря 1832 г.: «Вот сюжет для русской фантастической повести dans les mœurs administratives: чиновник, который сходит с ума при имени своем, которого имя преследует, рябит в глазах, звучит в ушах, кипит в слюне; он отплевывается от имени своего, принимает тайно и молча другое имя, например, начальника своего, подписывает под этим чужим именем какую-нибудь важную бумагу, которая идет в ход и производит значительные последствия; он за эту неумышленную фальш подвергается суду, и так далее. Вот тебе сюжет на досуге. А я по суеверию не приму за него, опасаясь, чтобы не сбылось со мной» (см.: Русский архив, I, с. 367).

⁴ Пушкин, VI, с. 192. Ср.: Лотман, 1980, с. 196–198.

⁵ Тургенев, IV, с. 51–52.

⁶ См.: Лотман, 1961, с. 154. Аналогичные сведения находим в воспоминаниях Е. П. Янковой: «Стал он [Новосильцев] просить благословения у матери, та и слышать не хочет: “могу ли я согласиться, чтобы мой сын, Новосильцев, женился на какой-нибудь Черновой, да еще в добавок на Пахомовне: никогда этому не бывать”. Как сын ни упрашивал мать — та стояла на своем: “Не хочу иметь невесткой Чернову Пахомовну, — экой срам!” Видно, Орловская спесь брала верх над материнскою любовью» (см.: Благово, 1989, с. 289).

⁷ Этому событию посвящены стихи «На смерть К. П. Чернова», приписываемые иногда К. Ф. Рылееву (см.: Лотман, 1961, с. 153–159). Рылеев, который приходился К. П. Чернову двоюродным братом, был его секундантом на дуэли. Уместно отметить, что имя Рылеева (*Кондратий*) принадлежало к тому же социальному пласту, что и *Пахом* — общность происхождения нашла отражение в их именах.

Отголосок этой шумевшей истории может быть усмотрен в стихотворной повести Н. П. Огарева «Господин», где барышня узнает о смерти любимого:

И думала: «Так умер друг!..»
Но как-то вспомнилось ей вдруг,
Мечтая над покойным другом,
Что был Потап его отец;
Могло б случиться наконец —
Потапыч стал бы ей супругом!..
И тут она, полушутя,
Расхохоталась, как дитя < ... >

(Огарев, II, с. 139).

⁸ См.: Шук. сб., VII, с. 350–351. В. Савинов описывает события со слов секунданта Новосильцева. Ср.: Лотман, 1961, с. 154–155, примеч. 7.

⁹ См.: Смирнов, 1929, с. 289.

¹⁰ Совершенно так же в анонимной комедии «Народное игрище» (1774 г.) дворянин хочет жениться на крепостной девушке, которая во 2-м явлении именуется дочерью Федула, а в 12-м явлении — «Власовой дочерью» (см.: Берков, 1951, с. 497, 503, ср. комментариев на с. 590). Это случайная ошибка автора, но она очень характерна: имена *Федул* и *Влас* выступают в одном ассоциативном ряду.

¹¹ См.: Лесков, 1984, I, с. 80–81. Н. С. Лесков вывел свою бабушку в повести «Несмертельный Голован», где рассказал об этой истории, не изменяя ни имен, ни фамилии (Лесков, VI, с. 393).

¹² Ср., между прочим, в воспоминаниях Д. Н. Свербеева (1799–1826): «Дочерей же было у нас шесть с именами далеко не аристократическими» (Свербеев, 1899, с. 7–8; имеются в виду имена *Матрена*, *Пелагея*, *Евфимия*, *Настасья*, *Анна* и *Елена*); или в воспоминаниях Е. П. Янковой (1768–1861) приведен характерный диалог: «Елизавета Петровна, у меня есть племянник, который просил меня познакомить его с вами. — Кто же это такой по фамилии?, — спрашиваю я. — Зовут его Дмитрий Калинович Благово, — говорит она. — Что же, родня, что ли, Мухановым? Это у них только в семье и бывали Ипатьичи да Калинычи, а то этого имени я никогда и не слыхивала в порядочных семьях < ... >» (Благово, 1989, с. 286); в другом месте мемуаристка замечает: «< ... > к нам езжали Ергольские: один был по отчеству Тимофейч, другой Гурыч» (там же, с. 34) — отчества выступают здесь как значимая характеристика этих людей (имена которых даже не называются). Знаменательно, что П. А. Вяземскому имя Каченовского — Михаил Трофимович — казалось смешным: «Одно имя это — насмешка», писал он А. И. Тургеневу (письмо от 31 декабря 1820 г. — Остафьевский архив, II, с. 132–133).

А. Н. Лесков упоминает о художнике из крестьян, который, приехав в столицу, изменил имя *Антон* на *Анатолый*, а фамилию *Елдаков* на *Ледаков* (Лесков, 1984, I, с. 319–320, ср. с. 467); если изменение фамилии вызвано семантическими ассоциациями (*елдак* — *membrum virile*), то изменение имени имеет чисто стилистический характер — имя *Антон* явно воспринималось как деревенское. А. Н. Лесков считает нужным специально отметить, что художник этот примирился «с неслишком звучным»

отчеством Захарович», что явно свидетельствует об аналогичном восприятии имени *Захар*.

¹³ Благово, 1989, с. 112, 115.

¹⁴ Салтыков-Щедрин, I, с. 161, 165.

¹⁵ См.: Унбегаун, 1989, с. 19–20, 27, 105–107. П. В. Долгоруков — известный специалист по генеалогии, — в частности, отмечал: «Из числа потомков Рюрика роды, принявшие свое наименование от города или волости, коими владели, оканчивают фамилию свою на *-ий*, а роды, принявшие название от личного прозвища родоначальника своего, оканчивают фамилию свою на *-ов* или на *-ин*» (см.: Долгоруков, I, с. 86–87, примеч.). Непосредственная связь такого рода фамилий с названием владения могла живо ощущаться еще в XVII в. Так, царь Алексей Михайлович запретил князьям Ромодановским писаться родовым прозвищем Стародубские, заявив, что так им называть себя «не пристойно» (см.: Карнович, 1886, с. 51).

Ср. примечательное свидетельство Н. С. Лескова: «Во вкусе <...> народном, — если кто хочет это проверить, — самыми лучшими прозвищами почитаются прозвища “по страны” (то есть по *стране*), а “не от имени человека”. Самое лучшее прозвание у нас идет от края, от города, даже от села, вообще от местности: князь “черниговский”, “одоевский”, воевода “севский”, “гадячский”, “ломовецкий” барин, “воронецкий” поп, “рятяжевский” староста. Все “от страны”. Старому почетному “седуну” на месте название того места *придается*, и это есть почет. От “ломовецкого барина” идут и дети его, тоже “ломовецкие господа”. И всех таких прозваний “по стране” нет для народного вкуса законнее и “степеннее”. И слух народный на этот счет удивительно разборчив» (см.: Лесков, XI, с. 129). Следует заметить, что фамилии, образованные от топонимов с помощью рассматриваемых показателей, можно встретить, вообще говоря, в разных слоях населения, однако именно для высших социальных слоев они наиболее характерны; речь идет в данном случае об общих тенденциях, а не о правилах, не знающих исключений.

¹⁶ Ранее выходцы из Польского государства могли менять фамилии на *-ский/-цкий* — видимо, ввиду их особой отмеченности в великорусском быту. Так, предок А. С. Грибоедова, Ян Гржибовский, в начале XVII в. переселился из Польши в Россию. Его сын Федор Иванович стал писаться Грибоедовым; при царе Алексее Михайловиче он был разрядным дьяком и одним из пяти составителей «Уложения», т. е. свода законов (см.: Лобанов-Ростовский, 1895, с. 165). Фамилия автора «Горя от ума» представляет собой не что иное, как своеобразный перевод фамилии Гржибыйяй.

¹⁷ Отметим, что и в Польше фамилии с соответствующим окончанием (*-ski, -cki, -dzki*) воспринимались как шляхетские. В XVII–XVIII вв. в мещанской среде наблюдается активный процесс образования фамилий на шляхетский манер: так Żuk становится Żukowski, Вагал называет себя Вагаński и т. п. (см.: Быстрынь, 1936, с. 112–130). Ср. королевский указ (1659 г.) о «нобилитации», т. е. возведении в дворянское достоинство,

Василя Золотаренко: «Уважаючи дела рицерские Василя Злотаренка, рицера з войска Запорозьского <...> до клейноту шляхетства Польского приймуем, и уже от сего часу Злотаревским зватися будет <...>» (АЮЗР, IV, с. 215); оформлению фамилии с помощью суффикса *-ский (-ski)* характерным образом сопутствует при этом полонизация корня (*золот-* превращается в *злот-*).

Аналогичный процесс, естественно, наблюдается на Украине и в Белоруссии. Так, Г. Ф. Квитка-Основьяненко, описывая в «Пане Халявском» украинский быт XVIII в., говорит о крепостном Иванька Маяченко, который, получив отпускную, «выслужил чин, и стал уже Иван Маявский» (Квитка-Основьяненко, V, с. 386); сходным образом, например, сыновья сотника Павла Огиенко после учебы в Киеве (в первой половине XVIII в.) стали называться Огиевскими (Лазаревский, 1893, с. 369). Одновременно фамилии на *-ский* в противопоставлении фамилиям на *-енко* могли указывать на Украине на матримониальный статус носителя фамилии, ср. у того же Квитки-Основьяненко: «<...> Павел Миронович Халявченко (он умер холостым и потому не мог именоваться полным “Халявским”, но как юноша — “Халявченко”» (Квитка-Основьяненко, V, с. 290); это, очевидно, связано с тем, что фамилии на *-ский* передавались жене носителя фамилии (которая получала соответствующую фамилию на *-ская*), тогда как с фамилиями на *-енко* этого не происходило — фамилии на *-енко* для этого времени могут рассматриваться вообще не столько как фамилии в собственном смысле, сколько как отчества (именно так и трактует этот формант П. П. Белецкий-Носенко: «*-енко*. Придаточный корень имен собственных фамильных и нарицательных русского пола; равен значению: законный сын имярек, соответствует русскому *-вичь*» (Белецкий-Носенко, 1966, с. 131).

¹⁸ См., в частности: Харлампович, 1914.

¹⁹ Ср. пародийную кличку семинариста: *Через-забор-на-девок-глядященьский* (Селищев, 1948, с. 129) или *Превыше-колокольни-ходящинский* (Рассказы и заметки сельского священника. — *Русская старина*, март 1879, с. 557). Здесь обыгрывается не только окончание семинарских фамилий, но и их сложный морфологический состав (ср. такие фамилии духовного происхождения, как *Смирennemудренский* или *Остромысленский* и т. п.).

Вообще о фамилиях великорусского духовенства см.: Шереметевский, I (с. 75–97, 251–273); II (с. 195–218); III (с. 44–46, 269–290); Унбегаун, 1942; Унбегаун, 1989, с. 169–181. См. также ниже.

²⁰ В XVIII в. фамилию на *-ский*, образованную от топонима, могли получать незаконнорожденные дети знатного происхождения. Так, сын Екатерины II от Григория Орлова был назван Бобринским по названию подаренного ему села Бобрики (см.: Майков, 1908, с. 114; ср.: Унбегаун, 1989, с. 182); князь А. А. Безбородко дал своей побочной дочери фамилию Верецкая по названию первой деревни, пожалованной ему Екатериной II (см.: Карнович, 1886, с. 120); побочные дети графа А. Г. Разумовского (от разных матерей) получали фамилию Перовские

от принадлежавшего ему подмосковного села Перово (см.: Вигель, 1928, с. 227).

²¹ Васильчиков, 1869, с. 263, 266.

²² Когда после восшествия Елизаветы Петровны на престол, А. Г. Разумовский был пожалован в действительные камергеры и поручики лейб-кампании в чине генерала-лейтенанта, на Черниговщину был отправлен офицер, который должен был доставить его мать в Петербург. В ответ на расспросы офицера о том, где живет госпожа Разумовская, крестьяне отвечали: «В нас з роду не було такой пани; а е, коли божаєте, хата Розумихи-вдовы» (Васильчиков, 1869, с. 270). В 1744 г. Разумовский получил достоинство графа Римской империи; в patente было сказано, что «Разумовские происходят от знатной фамилии Польского королевства Рожинских, из которой фамилии Роман Рожинский поселился в Малороссийских городах, где его потомки, от своих полезных заслуг и многих благоразумных советов употребляемое ныне прозвание Розумовских получили» (там же, с. 287). Вымышленная генеалогия — нередкое явление в русском дворянском быту.

Характерно, что фамилия Разумовский может быть и духовного происхождения (см.: Унбегаун, 1942, с. 43). В обоих случаях эта фамилия образована искусственно (ср. ниже об искусственно образованных фамилиях духовного происхождения).

²³ Гоголь в «Ночи перед Рождеством» очень точно передает это отношение к столичному аканью, заставляя украинцев во дворце Екатерины II намеренно акать (ср.: «“Что ж, земляк”, сказал приосанясь запорожец и желая показать, что он может говорить и по-русски. “Што балшой город?”» и т. д. — Гоголь, I, с. 233–234). Ср. свидетельство А. Д. Кантемира о социальном аспекте аканья в рукописном русско-французском словаре (1737 г.): по словам Кантемира, «les Gentilhommes et leur imitateurs changent souvent l'O en A, tant au commencement qu'au milieu de mots; delà viennent les deux sortes de Prononciations, qui distinguent les Gens de mise avec le Peuple. Ceux la par exemple disent: агурець, акошко, пападья, башмакъ, et ceux-ci: агурець, окошко, попадья, бошмакъ» [“дворяне, а также те, кто им подражают, часто изменяют о в а, как в начале, так и в середине слова; отсюда идут два вида произношения, которые отличают людей из общества от простонародья: одни, к примеру, говорят агурець, акошко, пападья, башмакъ, а другие — агурець, окошко, попадья, бошмакъ”] (Лексикон славенорусской с французским — РГБ, собр. Дурова, № 41, I, л. 3; о принадлежности этого словаря Кантемиру см.: Градова, 1987, с. 16–18).

Любопытно, что родственники Разумовских, не получившие графского достоинства, стали, по-видимому, называться Розумовскими: так, двоюродный брат А. Г. Разумовского Петр Иванович Розумовский стал нежинским полковником, а другой двоюродный его брат Василий Иванович — гадячским полковником (Васильчиков, 1869, с. 263–264, примеч. 3). Таким образом, они приобрели фамилию на -ский, однако, поскольку они оставались на Украине, они называли себя Розумовские, а не Разумовские.

²⁴ Сумароков, X, с. 27. Сам Сумароков писал фамилию Тредиаковского с окончанием -ой: Тредьяковской.

²⁵ Тредиаковский был родом из Астрахани, однако отец его происходил из Вологды (см.: Шишкин, 1984, с. 128). Отец и дед Тредиаковского были священниками, сам же он учился сначала в латинском училище, основанном в Астрахани итальянскими капуцинами, а затем в московской Славяно-греко-латинской академии.

Фамилия Тредиаковский впервые фиксируется в 1721 г. в предисловии к переписанной им грамматике церковнославянского языка (в период обучения у капуцинов). Тредиаковский подписывает свое предисловие: «ученикъ латинских школь: Basilius Trediacovensis»; здесь же имеется дарственная надпись, где он именует себя «Василий Тред[ь]яковский». См.: Успенский, 1985, с. 111, примеч. 74.

²⁶ См.: с. 287 наст. изд.

²⁷ Сумароков, X, с. 27–28.

²⁸ См.: Унбегаун, 1989, с. 27. Ср.: Майков, 1908, с. 112–116.

²⁹ См.: Степун, I, с. 273.

³⁰ Лесков, VII, с. 212–213. Лесков вывел Ботвиновского также в рассказе «Владычный суд» (Лесков, VI, с. 133), см. еще «Письмо в редакцию [газеты “Новости”] о Ефиме Ботвиновском» (Лесков, XI, с. 224–225). Об о. Евфимие Ботвиновском см. также: Лесков, 1984, I, с. 143; Лесков, 1984, II, с. 319.

³¹ См. об «оканье» как признаке так называемого «семинарского» произношения: Булич, 1893, с. 136; Трубецкой, 1960, с. 29–30; Копорский, 1960, с. 136.

³² См.: Русский архив, XVII, I, с. 356; Греков, 1904, с. 662. Совет изменить фамилии исходил от протоиерея А. А. Самборского, настоятеля лондонской церкви (который был также послан в свое время в Англию для церковной службы и для обучения земледелию). Самборский сам был украинцем и, по-видимому, ему пришлось на себе испытать отрицательные последствия такого рода фамилии.

Перевод фамилии *Линицкий* в *Смирнов*, когда латинское слово заменяется его русским эквивалентом, находит соответствие в практике образования так называемых семинарских фамилий (т. е. искусственных фамилий, принятых в духовном сословии), когда, напротив, русский корень заменяется на латинский — например, Орлов становится Аквилевым, Зайцев — Лепорским и т. п. (см. о таких фамилиях: Шереметевский, I, с. 254–255; Унбегаун, 1989, с. 177–179; Унбегаун, 1942, с. 57).

³³ См.: Шереметевский, I, с. 80.

³⁴ Словарь русских фамилий М. Бенсона, где ударению уделяется особое внимание, регистрирует следующие случаи колебания ударений в такого рода фамилиях: *Антибобский*, *Березинский*, *Богодубовский*, *Болговский*, *Борятинский*, *Будайский*, *Горобовский*, *Гробицкий*.

Дубровинский, Зарубинский, Зуевский, Керенский, Кирилловский, Кобринский, Михеевский, Муромский, Одоевский, Отрожденский, Путинковский, Рагозинский, Ревенский, Савинковский, Савинский, Сергиевский, Украинский, Ухтомский, Филатовский, Чевакинский; ср. также: *Никольский — Никольской, Трубецкий — Трубецкой*. — См.: Бенсон, 1967. Наряду с произношением *Ергольский*, которое отмечается в словаре М. Бенсона, известно и произношение *Ёргольский*: именно с таким ударением произносил Л. Н. Толстой фамилию своей тетки Т. А. Ергольской (см.: Гольденвейзер, 1959, с. 372).

³⁵ Происхождение этой фамилии связано с возведением в Петербурге Михайловского замка. Император Павел I особенно любил этот замок, и ему доставляла удовольствие похвала новопостроенному дворцу. Отец историка, статский советник И. Данилевский (бывший одним из директоров государственного банка), «пользуясь настроением императора и желая обратить на себя его высочайшее внимание, <...> написал императору, что, восхищаясь беспредельно «Михайловским» замком, он, Данилевский, дерзает всеподданнейше просить его величество о дозволении в ознаменование этого прибавить ему, Данилевскому, к родовому его прозванию фамилию Михайловский» (см.: Карнович, 1886, с. 109–110). Просьба была удовлетворена; таким образом, в соответствии с наименованием замка проситель должен был называться Михайловский-Данилевский. «Этот Михайловский-Данилевский, — говорит Е. П. Карнович, — был отцом известного нашего военного историка, которого, однако, неправильно называли Михайловский, так как собственно он, по происхождению своей прибавочной фамилии, должен был бы именоваться Михайловской» (см. там же).

С ударением на втором слоге (*Михайловский*) произносилась, между прочим, и фамилия революционера-народника Н. К. Михайловского (1842–1904) (см.: СЭС, с. 824).

³⁶ См.: Карнович, 1886, с. 41. Ср. иную трактовку: Унбегаун, 1989, с. 28.

³⁷ Что касается фамилии М. П. Мусоргского, то сам он произносил ее с ударением на первом слоге. Вот что говорит об этом А. Н. Римский-Корсаков (сын Н. А. Римского-Корсакова): «<...> произносил он ее всегда на настоящий русский лад, с ударением на *у* — *Мусоргский*, а отнюдь не полонизируя ее, как это теперь многие делают — *Мусóргский*. Точно так же он имя Д. В. Стасова писал и произносил *Димитрий* (как «царевич Димитрий»), а вместо *Петербург* <...> большею частью писал <...> *Петроград*» (см.: Мусоргский, 1932, с. 186).

Свидетельству А. Н. Римского-Корсакова, который лично знал композитора, безусловно, можно верить. Вместе с тем, из этого свидетельства явствует, что Мусоргский был пуристом, противником иностранного влияния на русский язык, стремившимся к воссозданию «исконного» облика слова (как *Димитрий*, так и *Петроград* являются церковнославянскими формами; между тем пуризм в России всегда выражается в славянизации языка, т. е. в активизации славянизмов, активизации цер-

ковнославянских языковых моделей и т. п., см. об этом: Успенский, 1985, с. 69).

Известно к тому же, что Мусоргский был безразличен к форме своей фамилии: так, до 1861 г. он писал ее как *Мусорский*, в дальнейшем же он предпочитает вариант с буквой *г* (см.: Мусоргский, 1932, с. 26, 75). Тем самым не исключено, вообще говоря, что Мусоргский изменил ударение в своей фамилии, подчеркнув ее русское происхождение; отметим в этой связи, что словарь М. Бенсона фиксирует ударение *Мусоргский*, но *Мусóргский* (Бенсон, 1967, с. 87). В любом случае мы, несомненно, должны произносить фамилию композитора с ударением на первом слоге — постольку, поскольку сам он произносил ее таким образом; произношение носителя фамилии всегда является решающим и окончательным аргументом.

Фамилия Мусоргский восходит к прозвищу *Мусорга*, которое носил в начале XV в. родоначальник Мусоргских, князь Роман Васильевич Монастырев Мусорга; эта фамилия писалась ранее как *Мусоргской* или *Мусерской* (см.: Любимов, 1916, с. 16).

³⁸ Княжнин, II, с. 2, 18–19.

³⁹ Мельников (Андрей Печерский), III, с. 484.

⁴⁰ Подобным же образом городская мещанская речь могла испытывать (в XVIII–XIX вв.) влияние со стороны аристократического светского жаргона. См. об этом процессе: Успенский, 1985, с. 52–53.

⁴¹ См.: Белокуров, 1886, с. XXI. Ср.: Прозоровский, 1896, с. 335.

⁴² Еще более ясно это проявляется в другом случае насильственного расстрижения. Так, митрополит Арсений Мацеевич, который выступал против Екатерины II и отстаивал независимость церкви от светской власти, по указу императрицы в 1767 г. был расстрижен и стал именоваться «Андреем Вралем» (М. Попов, 1912, с. 545). И здесь, опять-таки, осужденный монах лишается не только иноческого имени, но и фамилии: иноческое имя меняется на мирское, фамилия заменяется прозвищем — в данном случае, однако, прозвище никак не связано с образованием фамилии.

Между прочим, и Салтычиха (Дарья Николаевна Салтыкова) в 1768 г. была по приказанию императрицы лишена фамилии: ее запретили называть как по фамилии мужа, так и по фамилии отца — звать ее приказано было Дарьей Николаевой, где *Николаева* представляет собой не фамилию, но отчество (см.: РБС, I, с. 70). Лишение фамилии соответствует при этом лишению дворянского звания.

⁴³ См.: Штаден, 1925, с. 97.

⁴⁴ Это варьирование устраняется обычно в современных изданиях, которые подчиняются унификации.

⁴⁵ См.: Долгоруков, I, с. 86–87 (примеч.).

⁴⁶ Ср. наблюдения В. К. Чичагова относительно написания данной фамилии: Чичагов, 1959, с. 103–104, 124–125.

⁴⁷ В «Словаре Академии Российской», например, читаем: «Его сиятельство Князь Михайло Михайлович Щербатово сообщал Академии свои примечания <... >» (САР, II, с. VIII). Точно так же князь Ф. А. Щербатов (ум. в 1762 г.) может называться «князь Федор Щербатово» (Материалы АН, IV, с. 516).

⁴⁸ Вариантность форм типа *Дурной* — *Дурново* неожиданном образом отразилась, между прочим, в вывеске портного, которую приводит Н. С. Лесков в заметке «Геральдический туман»: *портново-Алферьев*, т. е. «портной Алферьев» (Лесков, XI, с. 118). Форма *портново* здесь явно образована по той же модели, что и фамилия типа *Дурново*: подобно тому, как *Дурново* выступает как производное от *Дурной*, *портново* выступает как производное от *портной* — в обоих случаях форма рода падежа предстает в значении им. падежа.

Любопытно, в этой связи, что князья Юсуповы писались в свое время *Юсуповы Княжево* — без прибавления княжеского титула; компонент *Княжево* образован от прилагательного *княжий*, однако прилагательное выступает здесь как эквивалент слова *князь*, которое служит одновременно и титулом и прозвищем.

⁴⁹ См. об этом процессе: Чичагов, 1959, с. 99; ср.: Унбегаун, 1989, с. 14–17. Особого замечания требует фамилия *Петрово-Соловово*, где компонент *Соловово* образован от прозвища *Соловой*, а компонент *Петрово* — от имени *Петр*. Фамилию *Соловово* своему роду дал Иван Тимофеевич Соловой, участвовавший в 1574 г. в походе Ивана Грозного на Серпухов, а фамилию *Петрово* — дед Ивана Тимофеевича, Петр Федорович (см.: Воронков, 1902, с. 643). Таким образом, Ивана Тимофеевича Солового звали «Иван Соловой Тимофеев сын Петрова»; его потомков должны были называть, соответственно, *Петровы Соловово*, откуда и появилась фамилия *Петрово-Соловово*.

⁵⁰ Это относится и к фамилии *Благово*, ср. *благой* «дурной» (СлРЯ, I, с. 191; СРНГ, II, с. 306–307).

⁵¹ Называние по отрицательной характеристике могло иметь в свое время табуистическую функцию (см.: Селищев, 1948, с. 141; Унбегаун, 1989, с. 164–165; ср.: Зеленин, II, с. 127–129). Как отмечает А. М. Селищев такого рода прозвище «не ассоциировалось со словами обыденной речи, и отрицательного значения его в применении в качестве личного имени не воспринималось»; тем не менее впоследствии такие ассоциации могли возникать, и это могло обуславливать относительно раннюю стабилизацию фамилий рассматриваемого типа.

⁵² См.: Унбегаун, 1966; Унбегаун, 1989, с. 139. Показательно в этом смысле отсутствие фамилий на *-ого* (типа **Живого*, **Дурного*) при наличии фамилий как на *-ово*, так и на *-аго*. Между тем, в древнерусских документах формы на *-ого* при наименовании людей регулярно встречаются наряду с формами на *-ово* («князь Иван княж Михайлов сын Долгоруково» и «князь Иван княж Андреев сын Долгоруково» — Чичагов, 1959, с. 103–104); напротив, соответствующие формы на *-аго* в подобном контексте, насколько мы знаем, не встречаются.

⁵³ Для фамилий на *-иков* рассматриваемая закономерность действует особенно четко. См.: Зализняк, 1985, с. 75.

⁵⁴ Фамилия математика Пафнутия Львовича Чебышева (1821–1894) произносилась как *Чебышёв*. Свидетельствуя о таком произношении, его родственница подчеркивает, что его фамилия «неправильно произносится с ударением на первом слоге» (см.: Аксакова-Сиверс, I, с. 9). П. Л. Чебышев происходил из старинной дворянской семьи.

⁵⁵ Известен случай, когда человек по фамилии *Печников* под влиянием окружающих, которые регулярно называли его *Пёчников*, стал произносить свою фамилию по-новому (см.: Ицкович, 1963, с. 54). В другом случае *Живов*, подчиняясь влиянию среды, стал называть себя *Жёвов*.

⁵⁶ Фамилия Николая Ивановича Новикова (1744–1818), известного деятеля русского Просвещения, произносилась как *Новиков* (см.: Берков, 1951а, с. 519–521), фамилия историка Сергея Александровича Жебелева (1867–1941) — как *Жебелёв* (Бенсон, 1967, с. 148), фамилия физиолога Константина Михайловича Быкова (1886–1959) — как *Быков* (см. там же). Известна дворянская фамилия Шиповых (см.: Аксакова-Сиверс, I, с. 68).

⁵⁷ Иначе объясняет подобные формы В. А. Дыбо, который видит здесь результат изменения ударения в прилагательных на *-ов/-ев*. См.: Дыбо, 1968, с. 166).

⁵⁸ Ср. эпиграмму на С. В. Михалкова, возникшую в начале 1950-х гг. (в годы культа личности) в дворянской среде:

Возьмешь журнал, и станет жалко,
Что ради премий и венков
То, что не мог писать Михалков,
Не дрогнув, пишет Михалков.

Автор этого стихотворения, Т. А. Аксакова-Сиверс, знала родителей С. В. Михалкова и является, таким образом, вполне достоверным свидетелем интересующего нас процесса. См.: Аксакова-Сиверс, II, с. 267; ср.: Аксакова-Сиверс, I, с. 88, 165, 292.

⁵⁹ Наряду с княжеским родом Дашковых, представительницей которого была княгиня Е. Р. Дашкова (1743–1810), президент Российской академии, существовал дворянский род Дашковых, гораздо менее знатный; из этого рода происходил, между прочим, «арзамасец» Д. В. Дашков (1784–1839), фамилия которого произносилась с ударением на суффиксе *-ов*. О произношении фамилии князей Дашковых см., в частности: Карнович, 1886, с. 170 (мы располагаем также устным свидетельством современного представителя этого рода), о произношении фамилии дворян Дашковых см.: Долгоруков, IV, с. 382. Об ударении в фамилии Д. В. Дашкова см.: Чулицкий, 1904, с. 300, 305, 307, 308; ср. соответствующее ударение в посланиях «К Д. В. Дашкову» В. Л. Пушкина и «К Н. Р. П.» М. В. Милонова (см.: Поэты-сатирики ..., с. 271, 512).

⁶⁰ См.: Пяст, 1929, с. 97.

⁶¹ А. А. Шахматов предполагал, что произношение *Иванóв* отражает форму *Иванá* (род. падеж), но такая форма, кажется, не засвидетельствована (см.: Шахматов, 1941, с. 164); Г. Шевелев полагает, что *Иванá* встречается в восточнославянских диалектах, однако не говорит, в каких именно, и это лишает его показания достоверности (см.: Шевелев, 1963, с. 76). Отметим еще, что в справочнике И. И. Огиенко указывается только произношение *Ива́нов*, а не *Иванóв* (см.: Огиенко, 1912, с. 58); только такое ударение отмечает и Р. Кошутич (см.: Кошутич, 1919, с. 151).

⁶² См.: Чичагов, 1959, с. 47–48; Унбегаун, 1971, с. 283–285.

Ср. значения слова *отчество*: «древность рода, местничество, достоинство по родовым отличиям отцов, предков» (Даль, II, с. 724). Одновременно у старообрядцев *отчество* может означать бороду с усами (см. там же): подобно отчеству, борода выступает как знак достоинства, чести (ср. вообще об отношении к бороде в Древней Руси: Успенский, 1982, с. 173–175). При этом *отчество* и *отчество* могли выступать в свое время как варианты одного слова.

⁶³ См.: Штаден, 1925, с. 145. По словам Штадена, «частица *вич* означает благородный титул. С этих пор я был уравнен с князьями и боярами. Иначе говоря, этими словами великий князь дал мне понять, что это — рыцарство».

⁶⁴ В жалованной грамоте говорится: «< . . . > и за те его службы и радение, мы Великий Государь Царь и Великий Князь Василий Иванович, всеа Руси Самодержец, Петра Семеновича Строганова пожаловали, велели писати ему изо всех приказов в наших грамотах и в наказах с *вичем*; и наши бояря, намесники и воеводы, и дворецкие, и казначеи, и дьяки по городом, и приказные люди всего Московского Государства и по всем городам в наших грамотах и в наказах, во всяких делах пишут к нему и к детям его с *вичем*» (Собрание государственных грамот. . . , II, с. 386, № 196). Ср. еще: СлРЯ, II, с. 195; Соловьев, IV, с. 541. По другому источнику (одна из редакций «Степенной книги») «Строгановы начаша именоватися с *вичем* именитыми людьми» уже при Иване Грозном (см.: Карамзин, IX, примеч. № 618).

⁶⁵ См.: О писании имени. . . , 1880, с. 4–5; Чичагов, 1959, с. 50–51.

⁶⁶ Полное собрание законов. . . , II, с. 857 (№ 1243).

⁶⁷ Указная книга Поместного приказа. — См.: Описание документов и бумаг. . . , VI, с. 75.

⁶⁸ Полное собрание законов. . . , II, с. 289 (№ 851).

В 1692 г. царям Ивану и Петру Алексеевичам было доложено, что «в розряде в боярских книгах со 124 года [т. е. с 1606 г.] написаны дьяки под московскими дворяны имены с прозвищи; а отчества из них иным писано, а иным не писано < . . . >». По этому докладу «Великие Государы < . . . > указали: имена дьяков в боярских книгах и в списках ныне и впредь писать по прежнему и по сему своему Великих Государей

указу с отчества» (там же, III, с. 125–126, № 1436). В данном случае речь идет не о думных дьяках, а просто о дьяках; слово *отчество*, видимо, не обозначает здесь отчества на -ич.

⁶⁹ Полное собрание законов. . . , II, с. 651–652 (№ 1106). Как видим, слово *вич* (возникшее в результате лексикализации соответствующего форманта) является общим обозначением, которое может применяться как к мужским отчествам, так и к соотносимым с ними женским (т. е. формам на -вна, -чна).

⁷⁰ См.: Карнович, 1886, с. 35. Ср.: Милейковская, 1965, с. 118.

⁷¹ См.: Яблочков, 1876, с. 561–562.

⁷² См.: Лось, 1892, с. 845; Даль, 1957, с. 705. Ср. *величать* «называть по отчеству», *величанье* «отчество» (Даль, I, с. 176; СРНГ, IV, с. 109). В данном случае *отчество* означает именно отчество на -ич (или соотнесенные формы женского рода).

Ср. еще в этой связи поговорку «Наши вичи едят одни калачи» или выражение «Каких вичей?», означающее «Как величать?» (Даль, I, с. 209).

⁷³ Употребление форм имени было строго регламентировано в крестьянском быту. Приведем свидетельство этнографа: «Уменьшительное имя бывшей девушки, а затем и ласкательное девушки-невесты < . . . > скоро исключается из семейного обихода и заменяется более строгим обыкновенным — «полным именем»; так, если девушка в родительском доме именовалась «Аннушкой», а будучи невестой называлась женихом «Анютою» или даже «Нюрой», то, став женой, она именуется мужем просто «Анна». По имени и отчеству величать жену в крестьянской семье также не принято: — женщины не величают, да и вообще жена считается «пониже мужика». Что же касается мужа, то здесь наоборот, — жену он заставляет себя «величать», т. е. называть по полному имени и по отчеству. Не любит муж, когда жена называет его ласкательным именем, т. е., по понятию крестьянина, «неполным», как бы «детским» именем или «полуименем»; ему «досадно от этого», и если иной раз смелая жена продолжает называть его по-прежнему (как до замужества) ласкательным именем, то он ее «учит», т. е. подвергает побоям, заставляя непременно «величать» (Завойко, 1914, с. 160–161). Ср. еще: Лебедев, 1853, с. 185.

⁷⁴ Ср.: «Крепостные люди никоим образом не могли называться по отчеству» (Лось, 1892, с. 845). Такое положение сохранялось и после отмены крепостного права. В воспоминаниях князя В. А. Оболенского читаем, например: «Дядя звал его [приказчика] Ильей, а мы [дети] — Ильей Григорьевичем. На ич мужиков величать не полагалось. Не уменьшительными именами, без отчества, звали только солидных, степенных мужиков, а молодых и даже старых, но пьяниц и бездельников, продолжали, по обычаю крепостных времен, именовать Ваньками, Яшками, Митьками и т. п.» Речь идет о 1870-х гг.; между тем через двадцать лет мемуарист встречает разбогатевшего крестьянина, у которого окрестные помещики занимали деньги «и в глаза величали на

ич — Василий Яковлевич, но за глаза относились к нему свысока, называя Василием Яковлевым или просто Василием» (см.: Оболенский, 1988, с. 80, 201).

⁷⁵ Ср. свидетельство конца XVIII в.: «< ... > окончание на *вич* значит почтение и уважение лица, о котором говорится; и для того по большей части употребляется на письме < ... >» (Барсов, 1981, с. 492); или свидетельство конца XIX в.: «< ... > называя кого-нибудь *вичом* или *вной*, мы оказываем ему известного рода почтение. Обращаться с такими словами к людям, ниже стоящим на общественной лестнице, вообще не принято; в неофициальных бумагах мы подписываем обыкновенно только свое имя и фамилию, считая неловким выставлять и отчество» (Лось, 1892, с. 845).

Характерен разговор за чаем Разумихина и Настасьи в «Преступлении и наказании» Ф. М. Достоевского:

— Усахарил, — пробормотала Настасья < ... >

— Да вы бы внакладочку, Настасья Никифоровна.

— Ну ты, пес! — вдруг крикнула Настасья и приснула со смеху. — А ведь я Петрова, а не Никифорова, — прибавила она вдруг < ... >

— Будем ценить-с < ... >

(Достоевский, VI, с. 96, ср. черновую редакцию: цит. изд., VII, с. 50). Подчеркнуто уважительное обращение с отчеством сочетается здесь с употреблением специфически простонародного имени, от которого образовано отчество (см. выше о простонародных личных именах) — это сочетание создает комический эффект.

Особое восприятие отчеств на *-ич* нашло отражение, между прочим, в полемике В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова. Когда Тредиаковский прозвал Сумарокова «Архилашем Архилохичем Суфеновым» (о значении этого прозвища см.: с. 326 наст. изд.), Сумароков обвинил Тредиаковского в невежестве, заявляя, что у греков нет отчеств на *-ич*. По свидетельству Тредиаковского, Сумароков со смехом говорил о Тредиаковском: «Видите ль, какой он глупинькой: не знает, что у Греков нет *ичов* так, как на нашем языке» («Письмо < ... > от приятеля к приятелю» 1750 г. в изд.: Куник, 1865, с. 484). Возражая Сумарокову, Тредиаковский настаивал, что у греков есть формы, в точности соответствующие по значению нашим отчествам (имеются в виду формы на *-idis*). Совершенно очевидно, между тем, что вопрос заключается здесь не в семантике как таковой, а в особом функционировании форм на *-ич*, которое определяет специфическое к ним отношение.

⁷⁶ См. об этом: Унбегаун, 1971, с. 283–285. А. А. Барсов специально отмечает в своей «Российской грамматике» (1783–1788 гг.), что отчество на *-ич* «в случае близкого знакомства либо неуважения лица иногда сокращается исключением слогов *ов* и *ев* из середины < ... > как на пр.: *Алексевичь*, *Алексеичь* < ... >»; при этом делается оговорка: «Выключается древнее *Всеволодичь*, которое столько же почтено, как полное *Всеволодовичь*», в отличие от сокращенной формы *Всеволодыч*» (Барсов, 1981, с. 492–493). Итак, формы, оканчивающиеся на *-ич*, но

не имеющие форманта *-ов/-ев* или *ич*, в принципе воспринимаются как непочтительные.

Формы на *-ич* без наращенного *-ов/-ев*, *-ич* могут быть архаизмами (ср., например: *княжич*, *боярич*; *отчич*, *дедич*; *вятич*, *радимич*, и т. п.); суффикс *-ич* может присоединяться при этом как к древней форме притяжательного прилагательного, так и непосредственно к основе существительного (см.: Соловьев, 1962; Якобсон, 1966; Фролова, 1981). Существенно, однако, что в эпоху, когда происходило становление русских фамилий, модель такого рода уже не была продуктивной; архаические формы на *-ич* без наращенного *-ов/-ев*, *-ич* представлены в это время, как правило, лишь в именах нарицательных и только в отдельных случаях в собственных именах (как, например, в форме *Всеволодич*, которую рассматривает А. А. Барсов). Ломоносов замечает в материалах к «Российской грамматике», что отчества на *-вич* «происходят только от имен собственных; нарицательныя оных лишаются, кроме: *царь*, *царевичь*, *царевна*; *король*, *королевичь*, *королева*; < ... > *поп*, *поповичь*, *поповна*» (Ломоносов, VII, с. 651; ср. также: Барсов, 1981, с. 493); характерным образом при этом приводимые Ломоносовым слова функционируют на правах имен собственных.

⁷⁷ См.: Унбегаун, 1971, с. 282; Чичагов, 1958, с. 44, 53, 75. Исключение составляет, по-видимому, новгородско-псковская территория (ср. ниже).

⁷⁸ Для отношения к прозвищам показательна запись писца на Евангелии 1531 г.: «< ... > письмо грешного инока Исаака Бирева, ПО ВИНЕ ГРЕХОВНЕЙ МНОГИМИ ИМЕНОВАНИЯМИ ПО РЕКЛОМЪ ЗОВОМЪ» (Покрѣвский, 1971, с. 78); слово *рекло* означает здесь «прозвище». Ср. также характерное предписание в одном азбучнике XVII в.: «Ближняго не уничижи и не утесни: ПОЛУИМЕНЕМ, ПАЧЕ ЖЕ ПРОЗВАНИЕМ НИКОГО НЕ НАЗЫВАЙ» (Миропольский, III, с. 108).

⁷⁹ Впрочем, Ломоносов в материалах к «Российской грамматике» говорит о возможности образований такого рода: «Нарицательныя имена, которыя как прозвище мужинам даются и ради того за собственные почитаться должны, производят отечественныя обоюго рода [т. е. отчества мужского и женского рода]; однако значат оные больше презрение и употребляются в народном просторечии: *Гудок*, *Гудкович*, *Гудковна*» (Ломоносов, VII, с. 651); судя по контексту, отчества, образованные от прозвищ, приобретают презрительно-иронический смысл, т. е. здесь как раз обыгрывается тот диссонанс, о котором мы только что упоминали.

⁸⁰ Совершенно так же потомков «царей» (т. е. ханов) Касимовских или Сибирских называли в Московской Руси «царевичами»; дети и внуки этих царевичей назывались также «царевичами» (см.: Карнович, 1886, с. 164–165; Яблочков, 1876, с. 251–252). Таким образом, слово *царевич* имело двойкий смысл: оно означало либо сына царя (если подразумевался правящий, т. е. московский царь), либо потомка царя (если имелся в виду «царь» как представитель правившей ранее династии, т. е. татарский хан).

⁸¹ По словам В. К. Чичагова, «форма отчества отца в именовании не прибавляла чести», т. е. оказывалась нерелевантной (Чичагов, 1959, с. 53).

⁸² Характерно, что гетману Богдану Хмельницкому московские приказные не раз указывали, что он «непристойно величается» отчеством на *-ич* (см. Карнович, 1886, с. 33). Напротив, печатник Иван Федоров, оказавшись в Юго-Западной Руси, начинает именовать себя «Иван Федорович» (см., например: Лукомский, 1935, с. 168).

⁸³ Любопытно, что если фамилии на *-ski (-cki, -dzki)* считались в Польше шляхетскими (см. выше, с. 186, примеч. 17), то фамилии на *-wicz* воспринимались как мещанские (хотя иногда их носила и шляхта, особенно в белорусско-украинских землях). Вместе с тем, и они пользовались определенным престижем, и мы знаем случаи нарочитого оформления фамилии с помощью данного суффикса (когда, например, *Stanczyk* превращается в *Stankiewicz*, *Doroszczuk* — в *Doroszkiewicz* и т. п.). См.: Быстров, 1936, с. 130–132.

⁸⁴ См.: Бэкунд, 1959, с. 51; Унбегаун, 1971, с. 281. Формы на *-ич* достаточно часто встречаются в новгородских берестяных грамотах (а именно в грамотах №№ 15, 51, 94, 98, 119, 132, 138, 157, 158, 219, 238, 262, 278, 301, 306, 308, 310, 311, 313, 320, 352, 362, 369, 381, 464, 519, ср. также тверскую грамоту № 510 и свинцовую грамоту — см.: Зализняк, 1986, с. 260–306). В двинских грамотах XV в. (которые ближайшим образом связаны, по-видимому, с новгородской культурной традицией) таким образом могут называться даже смерды — правда, отчество на *-ич* сочетается в этом случае с уменьшительной формой имени, что едва ли случайно: «у Родкы [Родиона] да у Онашкы [Анании] <...> у Григорьевичев» (см. Шахматов, 1903, с. 53, № 33).

Отметим, что отчества на *-ич* в древнерусских текстах могут употребляться самостоятельно, т. е. без сопутствующего личного имени (см.: Тупиков, 1903а, с. 82–83). Это явление широко представлено в новгородских берестяных грамотах. Такого рода употребление, как известно, сохраняется до сего дня: отчество в подобных случаях выступает на правах личного имени. По определению В. И. Даля, такое употребление выражает «среднюю степень почета» (см.: Даль, II, с. 724; хорошей иллюстрацией в этом плане может служить, например, речь лакеев в «Двойнике» Ф. М. Достоевского: «А вы дурак, Алексейч. Ступайте в комнаты, а сюда пришлите подлеца Семеныча» и т. п. — Достоевский, I, с. 126). А. С. Шишков упоминает в своих записках о случае, когда в Германии встречали императрицу Елизавету Алексеевну (супругу Александра I) приветственными возгласами «Ура Алексеевна! Виват Алексеевна!»; Шишков замечает в этой связи: «Они думали подделаться этим под русский язык, потому что у нас отечественное имя в употреблении; но того не могли знать, что без приложения к нему собственного имени оно дико, и только о простых и пожилых женщинах говорится» (см.: Шишков, I, с. 295, примеч. 1).

⁸⁵ Ср.: «<...> от его царского величества совету боярина и воеводы навышшаго и наместника Володимерского и державцы Галичскаго и

Луховского и Кинешемского, князя Ивана Дмитриевича Литовского и Белского, Григорью Хоткееву честные наши заповеди слово наше то»; «<...> от его царского величества совету боярина и воеводы и наместника Великого Новагорода и державцы Ярославского и Черошского и Юхотского князя Ивана Федоровича Литовского, Ижеславского и Мстиславского Грише Хоткееву честные наши заповеди слово наше то» (см.: Иван Грозный, 1951, с. 247, 255, ср. с. 670–673).

Относительно употребления полных или уменьшительных форм в эпистолярном этикете см.: Успенский, 1987, с. XVII–XVIII, XXX. Характерна в этом плане переписка Третьяка Васильева (впоследствии инока Савватия, известного книжника) с младшим братом Сергеем. Сергей Васильев обратился к Третьяку с письмом, назвав себя «братом», а не «братишкой», ка того требовали правила эпистолярного этикета. Третьяк Васильев делает Сергеем резкий выговор, обвиняя его в высокомерии: «Государю моему брату Сергеев Васильевичу Тренко Васильев челом бьет. Писал ты ко мне о своем здоровьи, и я твое здоровье слышати рад <...> Да забыв ты отче благословение и матерне прощение и свое неразумие и невежество, что еси учинил — вместо благодеяния моего, мне злобу: пишешь ко мне з гневом, а иное шпынством и с лаею. Начало твоего писма к лицу моему, “раб брат твои челом бьет”. В том бо словеси двоя речь: смирение и величание. Рабом достоин писати смирения ради <...> а братом писал величания ради, мниши себе равна мне; негли несть тако <...> мочно было тебе закона ради и менши того — и “братишкой” написатца ко мне» (РГАДА, ф. 181, № 605/1113, л. 283 об.–284 об.).

⁸⁶ Ср.: «<...> от его царского величества совету боярина и воеводы и наместника Казанского и державцы Новосилского князя Михаила Ивановича Воротынского пану Григорью Александровичю Хоткевича слово наше то» (см.: Иван Грозный, 1951, с. 265).

⁸⁷ Ср.: «<...> от его царского величества совету боярина и воеводы Полотцкого и наместника Ярославского Ивана Петровича Федоровича, брату нашему Григорью Александровичю Хоткевича, пану Виленскому, гетману навышшему великого княжества Литовского, старосте Городецкому и державце Могилевскому слово наше то». Равным образом и в послании королю он называет себя «Иваном Петровичем Федоровичем» (см.: Иван Грозный, 1951, с. 275, 274).

⁸⁸ См.: Чичагов, 1959, с. 53; ср. с. 84, 99, 101.

⁸⁹ О наименованиях такого рода (т. е. о случаях, когда отчество отца принимает форму род. падежа) см.: Чичагов, 1959, с. 59–61, 76–78, 101. Ср. также: Унбегаун, 1989, с. 15.

⁹⁰ Отдельные примеры см. у В. К. Чичагова (Чичагов, 1959, с. 67, 86); на общем фоне они выглядят как исключения.

⁹¹ См.: Иван Грозный, 1951, с. 241; ср.: Чичагов, 1959, с. 52.

⁹² Чичагов, 1959, с. 49–50; АЮЗР, III, с. 479, 484.

⁹³ Карнович, 1886, с. 33–34. Русификация украинско-белорусских фамилий на *-ич* могла происходить и с помощью добавления окончания *-ов*, когда, например, *Жеребчич* меняется на *Жеребчичев* и т. п. (см.: Унбегаун, 1971, с. 283).

⁹⁴ Лобанов-Ростовский, 1895, с. 209; Пташицкий, 1878, с. 125–138.

⁹⁵ См.: Карнович, 1886, с. 33–34. Мы не знаем, правда, в какой мере приведенные формы могут рассматриваться как фамилии, т. е. не являются ли они всего лишь отчествами. Ответ на этот вопрос требует специального исследования; мы ограничимся указанием, что А. М. Селищев, вслед за Е. П. Карновичем, расценивал эти формы именно как фамилии (см.: Селищев, 1948, с. 130). Ларион Дойникович в начале XV в. был в Пскове посадником, Филипп Ледкович в середине XIV в. служил здесь воеводой (см.: Тупиков, 1903, с. 589, 676).

⁹⁶ См. вообще об этом явлении: Успенский, 1987а, с. 275 и сл.; там же и основная литература по данному вопросу. Ср. также: Трубецкой, 1927, с. 64, 76–77; Успенский, 1969.

⁹⁷ См.: Харлампович, 1914, с. XI.

⁹⁸ См.: Дмитриев, 1855, с. 5; РБС, т. «Притвиц — Рейс», с. 474. Старший брат С. Е. Раича, Федор Егорович (впоследствии Филарет, митрополит киевский и галицкий), который закончил ту же семинарию, сохранил фамилию Амфитеатров. Фамилия отца в данном случае наследственная: такая же фамилия была у их отца, сельского священника (брат которого, между тем, носил другую фамилию — Монастырёв); см.: Сергей (Василевский), 1888, с. 7–8.

⁹⁹ См.: Ельницкий, 1914, с. 169.

¹⁰⁰ См.: Биржакова, Войнова и Кутина, 1972, с. 130. По свидетельству П. П. Вяземского, «в каком-то губернском городе дворянство представлялось императору Александру <...> Не расслышав порядочно имени одного из представлявшихся дворян, обратился он к нему: “Позвольте спросить, ваша фамилия?” “Осталась в деревне, ваше величество, — отвечает он, — но, если прикажете, сейчас пошлю за нею» (Вяземский, 1929, с. 165); Е. П. Карнович приводит аналогичный анекдот, однако вместо Александра I фигурирует Николай I, а вместо дворянина — купец (Карнович, 1886, с. 90). Независимо от исторической достоверности данного эпизода, сама возможность подобного недоразумения еще и в XIX в. не вызывает сомнения.

Характерен, вместе с тем, юридический казус, имевший место в 1818 г., когда после смерти Г. Р. Державина рассматривалось его духовное завещание. Державин, не имевший потомства, завещал свое родовое имение двоюродному племяннику П. Н. Миллеру. Сенат, рассматривавший дело, признал завещание противным закону от 23 марта 1714 г., «заключая, что закон сей дозволяет бездетному отдавать родовое имение свое одному только фамилии своей, кому похочет» и исходя из того, что «Миллер к фамилии Державина не принадлежит». За разногласием в Сенате дело это перешло в Государственный Совет, который определил, что употребленное здесь слово *фамилия* «нельзя иначе понимать

<...>, как семья или род (*familia*), а не прозвище или прозвание (*nomen*) <...>, которое ныне по неправильному употреблению иностранного речения понимается иными под словом *фамилия*» (Полное собрание законов... XXXV, с. 434–435, № 21468). Как видим, если в 1714 г. слово *фамилия* означало “семья, род”, то в 1818 г. оно означает прежде всего “родовое наименование”.

¹⁰¹ См.: Чичагов, 1959, с. 7; Сими́на, 1969, с. 31–32. «Уличные» фамилии бытовали и в городах. М. М. Пришвин вспоминал, например: «В Ельце, моем родном городе, все старинные купеческие фамилии были двойные: первое имя, хотя бы наше, Пришвин, было имя родовое и официальное, а второе имя считалось “уличным”: наше уличное имя было Алпатовы. И так точно было у всех: Лавровы, Ростовцевы, Горшковы, Хренниковы, Романовы, Заусайловы, Лагутины — у всех решительно были вторые “уличные” имена» (Пришвин, 1956, с. 25). Соответственно, у Достоевского в «Братьях Карамазовых» Федор Павлович говорит Ивану о купце из Чермашни: «Он Горсткин, только он не Горсткин, а Лягавый, так ты ему не говори, что он Лягавый, обидится» (Достоевский, XIV, с. 253).

В некоторых случаях неофициальные фамилии могли иметь особые функции. Так, П. И. Мельников писал о старообрядцах: «<...> замечены у них не без особой цели встречающиеся беспрепятственно двойные фамилии, например: *Строгальщиков* он же и *Корчагин*, *Панин* он же и *Овчинников*, *Мухин* он же и *Тюрин*. Правда, есть у русского народа обыкновение кроме родового прозвания давать людям личные прозвища, которые вскоре от повсеместного употребления делаются другою фамилиею того лица и часто совершенно заменяют прежнюю родовую, которая впоследствии и забывается. Но у раскольников при употреблении двойных фамилий есть какая-то особая цель: у них двойные фамилии даются непременно людям богатым, коноводам раскола, людям, ведущим сектаторскую переписку с разными местами империи, раскольникам, занимающим какое-либо важное место в сектаторском отношении <...> Двойные фамилии таких раскольников переходят от отца к сыну через несколько поколений, и одна из них употребляется во всех случаях официальных, <...> другая же назначается исключительно для надобностей сектаторских» (Мельников, 1910, с. 10–11).

¹⁰² О «прозвищных отчествах» см.: Чичагов, 1959, с. 54–62, 71–91.

¹⁰³ Характерно, что в старообрядческом (беспоповском) Выговском общежитии, существовавшем на русском Севере с конца XVII в. до середины XIX в. фамилии вообще не были приняты. Это относилось даже к князьям Мышецким, Андрею и Семену Денисовичам, которые в первой половине XVIII в. возглавляли это общежитие, — они именовались, соответственно, Андрей Денисов и Семен Денисов.

¹⁰⁴ См. об этом явлении: Селищев, 1971; см. также с. 151–163 наст. изд.

¹⁰⁵ См.: Уоллес, 1880, с. 61. «Я знаю один случай, — пишет здесь Уоллес, — когда архиерей выбрал для фамилии два иностранных слова.

Он хотел назвать мальчика Великосельским по месту его рождения "Великое Село", но так как в семинарии оказался уже один Великосельский, то он, будучи в этот день в веселом расположении духа, назвал новичка Грандвилажеским», т. е. перевел название "Великое Село" на французский язык и образовал фамилию от французского названия "grand village".

¹⁰⁶ Владимирский-Буданов, 1874.

¹⁰⁷ Голубинский, 1923, с. 3-4 (воспоминания Е. Е. Голубинского записаны с его слов его учеником и преемником по кафедре в Московской духовной академии проф. С. И. Смирновым, однако первая глава, которую мы цитируем, написана непосредственно самим мемуаристом). Ф. А. Голубинский, в честь которого был назван Е. Е. Голубинский, был профессором философии в Московской духовной академии. Что же касается брата Ф. А. Голубинского, Е. А. Голубинского, то он был дьяконом при одной из приходских церквей Костромы. Как видим, в данном случае братья носят одну фамилию; это отнюдь не обязательно в духовном сословии. См. еще: Шереметевский, I, с. 78-79; Унбегаун, 1942, с. 556-557; Малеев, 1910, с. 3.

¹⁰⁸ См.: Шереметевский, I, с. 79-80.

¹⁰⁹ О принципах образования семинарских фамилий см.: Шереметевский, I; Унбегаун, 1942; Унбегаун, 1989, с. 169-181. Н. С. Лесков в романе «Некуда» говорит (от лица одного из героев), что фамилии в духовном сословии подразделяются на шесть категорий: «<...> Первое, <...> фамилии по праздникам: *Рождественский, Благовещенский, Богоявленский*; второе, по высоким свойствам духа: *Любомудров, Остромысленский*; третье, по древним мужам: *Демосфенов, Мильтиадский, Платонов*; четвертое, по латинским качествам: *Сапиентов, Аморов*; пятое, по помещикам: помещик села, положим, *Говоров*, дьячок сына назовет *Говоровский*; помещик будет *Красин*, ну дьячок сын *Красинский* <...> А то, шестое, уж по владычной милости: *Мольеров, Рассинов, Мильтонов, Боссюэтов*» (Лесков, II, с. 178). Ср. в рассказе С. Н. Сергеева-Ценского «Счастливица»: «Есть такое предание о древнем московском академическом начальстве, как оно перекрещивало бурсаков. Кто был тихого поведения и громких успехов, тот <...> получал фамилию от праздников, — например, *Рождественский, Богоявленский, Успенский, Троицкий* или *Вознесенский* <...> Кто был тихого поведения и тихих успехов, — этим скромникам, в тиши процветавшим, давали фамилию от цветов <...> Вот тогда-то и пошли все *Розовы, Туберозовы, Гиацинтовы, Фиалковы* <...> Но были еще и такие, что успехов-то тихих, а зато поведения громкого, — эти получали прозвище от язычества: *Аполлонов, Посейдонов, Аргитриклинов, Илионский, Амфитеатров* и прочее, и прочее. Так говорит семинарское предание <...>» (Сергеев-Ценский, II, с. 470). Это сообщение вполне достоверно, хотя описываемая здесь традиция явно не была повсеместной.

Что касается фамилий, образованных от названий цветов (*Розов, Гиацинтов, Тюльпанов, Ландышев* и т. п.), то, как утверждает П. М. Би-

целли, они могут быть только семинарского происхождения — постольку, поскольку для русской народной ономастики прозвания по растениям нехарактерны (см.: Бицелли, 1929, с. 597, примеч. 20). Ср., впрочем, некоторые примеры древнерусских прозвищ из области растительного мира: *Веселовский*, 1974, с. 6).

¹¹⁰ См.: Шереметевский, I, с. 83; Унбегаун, 1942, с. 53, 61; Унбегаун, 1989, с. 18, 170. Как отмечает Е. П. Карнович, подобное явление встречается также в русифицированных фамилиях поляков; чиновники из поляков русифицировали фамилии, не соображаясь со свойствами русского языка: «оттого в Западном крае вместо прозвания, например, *Фомин* явился *Фомов*, а вместо *Семенов* — *Семенин*» (Карнович, 1886, с. 130). В любом случае нарушение словообразовательной закономерности указывает на искусственное происхождение фамилии.

¹¹¹ Унбегаун, 1942, с. 61. Магницкий был великорусом (родом из окрестностей Осташкова) и первоначально носил фамилию Теляшин; фамилию Магницкий он во всяком случае имеет в 1701 г., и можно предположить, что он получил ее в Славяно-греко-латинской академии (см.: Криницкий, 1906, с. 435-439; Бородин, 1936, с. 56). Существует предание, что новую фамилию дал ему Петр I, который был так восхищен его познаниями в математических науках, «что называл его магнитом и приказал писаться Магнитским» (Берх, I, с. 50, ср. с. 53).

¹¹² См.: Лебедев, 1865. с. 14.

¹¹³ См.: Сайтов, 1902, с. 667.

¹¹⁴ См.: Корф, 1861, с. 3-5.

¹¹⁵ См.: Васильчиков, 1869, с. 272. Ср. реплику Свидригайлова о Разумихине в «Преступлении и наказании» Достоевского: «Он малый, говорят, рассудительный (что и фамилия его показывает, семинарист должно быть) <...>» (Достоевский, VI, с. 365). Характерно, что сам Разумихин, говоря о своем дворянском происхождении, подчеркивает, что у него другая фамилия: «Я вот, изволите видеть, Вразумихин; не Разумихин, как меня все величают, а Вразумихин, студент, дворянский сын <...>» (Там же, с. 93).

¹¹⁶ Державин, III, с. 328. Ср. ответ на это стихотворение от имени священника И. С. Державина:

Учась в российском институте,
Сие я имя заслужил <...> (там же, с. 334).

¹¹⁷ Ср. указ Синода от 18 ноября 1846 г.: «В некоторых епархиях существует обычай переменять воспитанникам духовных заведений фамилии их отцов и усваивать прозвания, нередко весьма странные и несвойственные для лиц духовного звания. Таковой обычай, которому нигде нет примера, противен разуму постановлений о союзе семейственном, устраняет достоподобное уважение к поколениям, поставляет каждого вне общественной связи с предками и потомками и по делам производит запутанность и даже совершенную невозможность разрешать вопросы о

различии прав по их происхождению». Предписывается «по всему Духовному ведомству, чтобы впредь никому в сем ведомстве не усвоились фамилии произвольные, но чтобы по общему правилу дети сохраняли фамилии своих отцов». Это постановление было подтверждено указом от 31 декабря 1851 г. и от 7 июля 1857 г., причем последний указ предписал сыновьям бесфамильных отцов дать фамилии, образованные от имен отцов (таким образом, фамилии в этом случае должны были совпадать с отчествами). См.: Шереметевский, III, с. 384–385.

Е. Е. Голубинский вспоминал в этой связи: «Когда мы учились в последнем классе училища, из семинарии пришло предписание отобрать у всех произвольно данные фамилии и дать им отцовские фамилии. Мы весьма сокрушались, и некоторые плакали. Один из товарищей прозывался Сперанским, а отцу его фамилия была Овсов, и он очень плакал, не желая превращаться из Сперанского в Овсова. Но остается для меня совершенно неизвестным, почему мне фамилия не была переименована; в то время, как моего брата младшего Александра превратили из Голубинского в Пескова, меня оставили с громкой фамилией» (Голубинский, 1923, с. 4).

¹¹⁸ О генетической связи современных народных прозвищ с прозвищами древнерусскими см.: Чичагов, 1959, с. 34–38. Отметим, что традиция бытования прозвищ оказалась очень устойчивой и в дворянской среде: характерным образом эта традиция сохранялась и в новой, европеизированной России. Вот, что писал в конце XIX в. Н. Н. Голицын, один из представителей русской аристократии и, вместе с тем, специалист в области генеалогии: «Почти все дворянские роды допетровской Руси имели обыкновение давать своим представителям (особенно при многочисленности их) разные прозвища <...> Обычай этот сохранялся и позднее, при новых, европейских формах общественной жизни, только в нашей аристократии (на Западе мы его не встречаем) — почти до нашего времени, причем прозвища давались не на одном русском языке, но и на французском <...> У наших отцов было всегда на языке много готовых прозвищ. Говорилось: это князь Волконский — Бухна́, это La Tante Vertu (А. И. Васильчикова), а это la princesse Migouche, вот la princesse Bonbonnière (кн. Волконская), Diane en corroux, Мертвая Голова (князь Гагарин) и десятки других» (Голицын, 1892, с. 349). Ср. в этой связи «le terrible dragon» как прозвище Марьи Дмитриевны Ахросимовой в «Воине и мире» Л. Н. Толстого.

4

Структура поэтического текста

Фонетическая структура одного стихотворения Ломоносова

(Историко-филологический этюд)

В поэтическом наследии М. В. Ломоносова есть стихотворение, которое не может не привлечь к себе внимания лингвиста — историка русского языка. Оно посвящено одной специальной орфоэпической проблеме, представлявшей собой, можно сказать, камень преткновения для русского общества сер. XVIII в., а именно — произношению буквы *г*; соответственно и называется оно: «О сомнительном произношении буквы *г* в Российском языке».

В церковном чтении (т. е. в соответствии с церковнославянскими орфоэпическими нормами), равно как и в высоком стиле, буква *г* читалась как задненёбный фрикативный звонкий согласный [ɣ]; между тем, в живой русской речи — иначе говоря, в «обыкновенных разговорах» — звучал обычно взрывной [g] (см. об этом: Успенский, 1968, с. 40–44, 60–72; Успенский, 1987, с. 102–105). Если первоначально литературный язык (и особенно язык поэзии!) вообще не допускал просторечных слов (ср. красноречивое свидетельство Третьяковского: «Читают *око* все, хоть говорят все *глаз*», см.: Третьяковский, 1972, с. 392), то постепенно — так, в частности, уже к сер. XVIII в. — русские обиходные слова, вместе со свойственным им произношением, стали допустимы в контексте литературной речи. По словам Винокура (1959, с. 359), «живое произношение одерживало в течение XVIII в. частичные победы над произношением традиционно-книжным, и по мере того как эти победы становились более частыми, традиционное произношение постепенно переходило на положение поэтической вольности, то есть из обязательной нормы превращалось в допустимый вариант»; можно добавить только, что этот процесс продолжался еще и в XIX в. Винокур (1959, с. 484) намечает следующие стадии в эволюции русского литературного произношения в связи с произношением *г* как взрывного или фрикативного звука. I. Всякое слово произносится на церковнославянский манер, т. е. с [ɣ], если попадет в контекст литературной речи: *бла҃го* — *гусь*. II. Книжное (литературное) слово произносится с [ɣ], просторечное — с [g]: *бла҃го* — *дусь*. Наконец, на следующем, III-ем этапе, всякое литературное слово произносится двояко (*бла҃го* — *благо*), после чего

имеет место вообще вытеснение фрикативного *г*. Последний остаток данной традиции можно наблюдать сейчас в произношении с фрикативным таких форм, как *бог*, *господи*, и иногда в других формах этих же слов; между тем, еще сравнительно недавно фрикативный согласный звучал в литературной речи и в таких словах, как *благо*, *богатый* и т. п. (см. описание процесса утраты спирантного произношения у Ушакова, 1928).

Итак, если в свое время литературное произношение полностью соответствовало нормам церковнославянской орфоэпии, иначе говоря, произносительным нормам церковного чтения, и было противопоставлено русскому разговорному произношению (это соответствовало представлению о церковнославянском и русском как о разных стилях одного языка, причем русский воспринимался самими носителями языка как испорченный церковнославянский), то затем в литературной речи была узаконена определенная ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ того и другого произношения (что соответствовало представлению о русском и церковнославянском как о самостоятельных языках — с открывающейся при этом возможностью ЗАИМСТВОВАНИЯ из одного языка в другой)¹. Соответственно, на определенном этапе становится необходимым ЗНАТЬ, какие именно слова произносятся по нормам книжного (в основе своей — церковнославянского) произношения и, в частности, с фрикативным *г*, а какие — по нормам разговорной речи, т. е. со взрывным *г*. Ср. в этой связи слова Сумарокова (X, с. 44), что «мы < . . . > ЗНАЕМЪ [т. е. умеем — *Б. У.*] отдѣляти *Г. г.* отъ *Г. ѣ*», иначе говоря, знаем, в каких случаях *г* произносится как лат. *h*, а где — как *g*. В другом месте Сумароков (1787, X, с. 48–49) учит, как достичь такого знания. «*Г* во Славенскихъ реченіяхъ произносится какъ Латинское *H*, а во простонародныхъ какъ Латинское *G*: а какъ сїи чужія литеры произносятся, то вамъ скажетъ вашъ учитель: а когда онъ не знаетъ, такъ спросите у чужестранца²; но вы то и безъ вопроса скоро познаете, слыша и церковное служеніе³ и простонародныя рѣчи⁴». Итак, необходимо было специально учиться, чтобы уметь правильно читать букву *г*. Отсюда объясняются характерные списки в грамматических руководствах второй пол. XVIII в. и еще первой пол. XIX в., где указываются слова, произносимые с фрикативным *г* или, напротив, слова, произносимые с взрывным *г*: см., например, подобные перечни в соответствующих руководствах Ломоносова, Курганова, Барсова, Аполлоса Байбакова⁵ и др. авторов, а также в академической грамматике 1802 г. и т. д.

Именно этой проблеме и посвящено рассматриваемое стихотворение Ломоносова. Из 84 знаменательных слов данного стихотворения 77 слов содержат букву *г*; если же исключить последние две строки, то окажется, что ВСЕ знаменательные слова содержат

данную букву. Сверх того следует прибавить еще незначительные слова *гдѣ* (которое встречается в стихотворении 5 раз) и *когда* (встречающееся однажды). При этом на каждое слово приходится обычно всего одна буква *г*; исключение представляет слово *мягкаго*, но буква *г* в окончании *-аго*, по всей видимости, не идет в счет, т. к. имеет в данном случае только орфографическое значение (см. ниже), и последнее слово стихотворения — *глаголю*.

Полный текст данного стихотворения приводится ниже. Следует указать, что стихи эти (написанные, по предположению, в период 1748–1754 гг.) при жизни Ломоносова опубликованы не были. Они сохранились в бумагах Г. Ф. Миллера (см. РГАДА, ф. 199 — портфели Миллера, № 414, тетр. 16) и были присланы в Российскую академию Аполлосом Байбаковым со следующим пояснением: «Стихи, приписываемые покойному Михайле Васильевичу Ломоносову у употреблении твердого и мягкого глагола»⁶; см. историю дела у Сухомлинова, 1874–1888, I, с. 219–220. Впервые они были напечатаны (по списку Миллера) С. П. Шевыревым в «Москвитяине» за 1854 г. (№ 1–2, отд. IV, с. 4), т. е. спустя примерно сто лет после их написания. Все последующие публикации данного стихотворения ориентируются — прямо или косвенно, с большей или меньшей степенью точности — именно на тот вариант, который представлен в тетради Миллера и который был опубликован в свое время С. П. Шевыревым: см. прежде всего публикацию М. И. Сухомлинова, 1874–1888, I, с. 220, и академические издания Ломоносова: Сухомлинов, II, с. 286, и Ломоносов, VIII, с. 580, не говоря уже о многочисленных менее авторитетных перепечатках. Это до некоторой степени и имеет свои основания, поскольку все варианты, представленные в других рукописях, явно менее исправны⁷; надо сказать, что списки Миллера вообще отличаются большой надежностью в текстологическом отношении (см.: Моисеева, 1971, с. 70). Но необходимо иметь в виду одно обстоятельство, которое, как правило, ускользало от внимания исследователей, а именно, что в миллеровской тетради данное стихотворение представлено НЕ В ОДНОМ, а в ДВУХ, несколько различающихся между собой СПИСКАХ — на л. 2 об. и на л. 6, причем второй список (на л. 6) написан более ранним почерком, тогда как первый (л. 2 об.) представляет собой его позднейшую копию⁸. Нет никакого сомнения, что именно старший миллеровский список является наиболее аутентичным из всех списков рассматриваемого стихотворения. (Ниже мы убедимся, между тем, что различие миллеровских списков представляет в одном случае специальный интерес для темы настоящей работы⁹). Этот список мы здесь и воспроизводим¹⁰.

О сомнительномъ произношеніи буквы Г: в россійскомъ языкѣ.

1. Бургисты берега, благопріятны влаги,
2. О горы съ гроздами, гдѣ грѣть югъ ягнять.
3. О грады гдѣ торги, гдѣ мозгокружны враги
[sic! Следует читать: «браги». — Б. У.¹¹],
4. И денги, и гостей, и годы ихъ губять,
5. Драгіе ангелы, пригожія богини,
6. Бѣгушія всегда отъ гадскія гордыни,
7. Пугливы голуби изъ мягкаго гнѣзда,
8. Угодность съ нѣгою, огромные чертоги,
9. Недуги наглые и гнусные остроги,
10. Богатство, нагота, слуги и господа,
11. Угрюмы взглядами, игрени, пѣги, смуглы,
12. Багровые глаза продолговаты, круглы,
13. И кто гораздъ гадать и лгать, да не мигать,
14. Играть, гулять, рыгать, и ногти огрызать,
15. Нагаи, болгары, гуроны, геты, гунны,
16. Туріе [sic!]¹² головы, о иготи чугуны,
17. Гнѣвливые враги и гладкословной другъ,
18. Толпыги, щоголи когда вамъ есть досугъ.
19. Отъ васъ совѣта жду; я вамъ даю на волю;
20. Скажите гдѣ быть га, и гдѣ стоять глаголю?

Итак, стихотворение Ломоносова заканчивается знаменательным вопросом: «Скажите, гдѣ быть га, и гдѣ стоять глаголю?» При этом название *глаголь*, несомненно, относится к книжному (церковнославянскому) произношению данной буквы в виде фрикативного звука, между тем как название *га* соответствует произношению ее в виде взрывного согласного¹³.

Между тем, сам Ломоносов, очевидно, знал ответ на этот вопрос. Ведь стихи в то время непременно предполагали ПРОЧТЕНИЕ вслух, и надо полагать, что Ломоносов как-то читал свои стихи. В дальнейшем мы попытаемся определить, как он их читал, т. е. какие слова данного стихотворения он произносил с фрикативным *г*, а какие — со взрывным.

Будучи прочтено по нормам современного русского произношения, данное стихотворение воспринимается как результат аллитерации, основывающейся на повторении одного и того же звука — [g]. Мы постараемся, однако, показать, что в его основе лежит гораздо более сложная аллитерационная структура.

Возьмем для иллюстрации одну строку:

Драгіе ангелы, пригожія богини.

Приведенная фраза состоит из двух синтагм, совпадающих по синтаксической структуре, которые противопоставлены, однако, по своим стилистическим характеристикам и, что для нас важно, по своему произношению; структурный параллелизм как раз и оттеняет указанное противопоставление. В самом деле: слово *драгіе* с его неполногласием и слово *ангелы*, несомненно, принадлежат к церковнославянской стихии и, значит, произносились с фрикативным [γ]. Между тем, *пригожія*, как откровенный русизм, определенно читалось с взрывным *г*. Точно так же, по-видимому, произносилось и слово *богини*, как не имеющее соответствия в христианских представлениях: такого рода противопоставление (*бог* с фрикативным, но *богиня* с взрывным согласным) может наблюдаться еще и в современном литературном языке¹⁴.

Ср. наблюдения исследователя традиции произношения фрикативного [γ] в современном русском литературном языке — Д. Н. Ушакова: «По отношению к *бога* замечено, что в числе произносящих *бога* большинство произносит, однако, *бога Аполлона* и т. п. с *г* взрывным; почти не встречаются молодые люди, произносящие *γ* во множ. числе (*боги, богов* и т. д.), и, наконец, я совсем не встречал молодых москвичей, говорящих *боγиня*. Это странное на первый взгляд различие в произношении христианского бога и бога языческого <...> показательно для суждения о факторах, способствовавших сохранению традиции» (см.: Ушаков, 1928, с. 239). Точно так же и Ф. Е. Корш специально подчеркивал, что с фрикативным звуком произносится БОГ в христианском смысле (см. Корш, 1907, с. 761)¹⁵. Можно предположить, следовательно, что в свое время слово *бог* (или производные от него формы) в смысле нехристианском, например, языческом, произносилось с взрывным согласным; иначе говоря, фрикативный звук в произношении выполнял в точности ту же роль, что прописная буква — в написании¹⁶.

Что и во времена Ломоносова соответствующие произносительные варианты могли в принципе противопоставляться по смыслу, видно, например, из следующего места в ломоносовских подготовительных материалах к «Российской грамматике»; «Благій (blahji) bonus. Благой (blagoi) fatuus» (см. изд.: Ломоносов, VII, с. 619).

Итак, слово *богини* произносилось, по всей вероятности, с взрывным [g]; тем более, оно должно было так читаться в сочетании *пригожія богини*. Таким образом, сочетание *драгіе ангелы* было ФОНЕТИЧЕСКИ противопоставлено сочетанию *пригожія богини* — и именно по признаку смычного или спирантного произнесения буквы *г*.

Если обозначить слово, произносимое с взрывным *г*, через *G*, а слово с фрикативным *г* — через *H*, то аллитерационная структу-

ра только что разобранной ломоносовской строки будет выглядеть таким образом: **Н-Н-G-G**¹⁸.

Можно предположить, что и другие строки этого стихотворения организованы столь же симметрично: ниже мы и попытаемся проверить это предположение, и с этой целью рассмотрим в последовательном порядке произношение каждого слова, имеющего в своем составе букву *г*. Естественно, наша реконструкция ломоносовского чтения в каких-то случаях будет гипотетической; однако в большинстве случаев мы можем достаточно точно восстановить произносительную норму того времени.

* * *

Необходимо остановиться на тех источниках, на которых мы основываемся в своей реконструкции ломоносовского чтения¹⁹.

Прежде всего, в некоторых случаях мы располагаем непосредственными указаниями грамматических руководств по интересующему нас вопросу — как руководств XVIII в., так и более поздних. При этом, если в позднейших руководствах мы встречаем указание на то, что то или иное слово произносится с взрывным *г*, это в принципе отнюдь не исключает того, что данное слово во времена Ломоносова еще произносилось с фрикативным согласным; напротив, указания на фрикативное произношение являются обычно достаточно информативными, позволяя судить и о более ранней орфоэпии (в связи с тем, что эволюция произносительной нормы характеризуется более или менее последовательной элиминацией фрикативного *г*). Соответственно, как можно видеть из вышестоящего, определенная информация может быть извлечена даже и из данных современного литературного произношения.

С другой стороны, определенный материал по данному вопросу может быть извлечен из собственно литературных источников. Так, некоторые указания насчет того, какие слова произносились с фрикативным *г*, а какие — с взрывным, дают рифмы²⁰. Отметим еще один нетривиальный источник: речь Вральмана из «Недоросля» Д. И. Фонвизина²¹. Как известно, Вральман говорит с акцентом; при этом немецкий акцент передается Фонвизиным при помощи определенных модификаций, из которых наиболее яркой чертой является замена звонких согласных на соответствующие глухие²². В остальном же в речи Вральмана в общем достаточно точно отражается фонетика живой русской речи, например, *аканье* и т. п. Ср., например, «Матушка ты моя! сшался натъ сфаей утрой, катора тефять мѣсесофъ таскала, такъ скасать, асмое тифа фѣ сфѣтъ. Тай фоль этимъ преклятымъ слатѣм. Исъ такой калафы толголь палфань?» и т. д. и т. п. При такой модифика-

ции фрикативный *г* закономерно переменается у Вральмана в *т*, а взрывной *г* — в *к*. Соответственно, Вральман последовательно говорит, например, *господи* «господи», *госпотинз* «господин», *госпожь* «госпоже», *госпотамз* «господам» (bis!), *богз* «бог», *никахта* «никогда» (bis!), *нигть* «нигде», *платоротіе* «благородие» и т. п. — но при этом *калафы* «головы», *калоушка* «головушка», *караздо* «гораздо»²³. Акцент Вральмана позволяет судить, таким образом, об интересующей нас черте.

В тех случаях, когда мы не располагаем прямыми свидетельствами о том, как должно было читаться то или иное слово, мы можем исходить из его стилистической принадлежности. Естественно, что очевидные церковнославянизмы, характеризующиеся специфическими формальными признаками (например, такими, как неполногласие и т. п.), читались на церковнославянский манер и, в частности, с фрикативным *г*. Но следует иметь в виду, что соответствующим образом в принципе могло произноситься (хотя и не обязательно произносилось так во всяком контексте) вообще любое слово, возможное в «церковных книгах». Еще Булич (1893, с. 71) отмечал — ссылаясь при этом на знаменитое ломоносовское «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке», — что Ломоносов основывает свое разграничение слов первично-русских и слов церковнославянских не на формальных признаках, а на критериях употребления: употребление или неупотребление в церковных книгах. Понятно, что среди «церковных книг» особенно важны в интересующем нас отношении Новый Завет, Псалтырь, тексты основных молитв и т. п. «Ближайшее знакомство с текстом стихотворений Ломоносова показало нам, — констатирует И. И. Солосин (1916, с. 241–246), — что церковнославянские слова и выражения заимствованы Ломоносовым, главным образом, из книг богослужебных, т. е. они падают на те книги священного писания, которые по преимуществу употребляются в церковном богослужении, а именно: Псалтырь, Евангелие. Довольно много заимствований из паремий, а также из церковных песнопений (стихир, ирмосов и т. п.) и молитв. Вот источник заимствований и подражаний церковнославянскому языку в стихотворениях Ломоносова»²⁴.

Необходимо иметь в виду, что в ряде случаев одинаковые по форме слова имеют разное значение в церковнославянском и в русском языках, т. е. семантика слова выступает единственным признаком его стилистической принадлежности. Естественно считать в этих случаях, что произношение того или иного слова было обусловлено именно тем значением, в каком оно было употреблено в тексте: будучи употреблено в значении, специфическом для церковнославянских текстов, данное слово произносилось на церковнославянский манер (в частности, с фрикативным *г*), и наоборот

(ср. приведенное выше свидетельство Ломоносова о произношении слова «благий»).

С другой стороны, о стилистической принадлежности слова можно судить в некоторых случаях по специальным стилистическим пометам в словарях XVIII в. См., например, характеристику тех или иных слов как «славенских» или, напротив, «русских», герсп. «народных» и т. п., в рукописном лексиконе первой пол. XVIII в., изданном Аверьяновой (1964), в Словаре Академии Российской или в «Аналогических таблицах», предварявших издание этого последнего словаря. При этом систематизация лексики в Словаре Академии Российской, как известно, основывалась именно на стилистической теории Ломоносова.

Наконец, определенный интерес представляют в этом отношении ГЛОССЫ, т. е. лексические параллели, которые встречаются в ряде произведений XVIII в. На известном этапе эволюции русского литературного языка сообщаемые таким образом синонимы начинают противопоставляться стилистически, в частности, как «славенские» и «русские», «высокие» и «низкие» и т. п. Богатый материал этого рода представлен, например, в «Тилемахиде» Тредиаковского: общая совокупность глосс этого памятника образует, вместе со словами, к которым относятся эти глоссы, своеобразный стилистический словарь²⁵.

Если явные церковнославянизмы произносились всегда (т. е. в любом контексте) с фрикативным *z*, а явные русизмы произносились с *z* взрывным, то очень большое количество слов в принципе могло произноситься и так, и эдак, в зависимости от стиля речи. Так, Аполлос Байбаков учит в своей грамматике 1794 г. (на с. 3), что *z* в слове *гром* произносится «мягко» (как [ʀ]) во фразе «Господи, гласъ грома твоего грядеть», но «жестко» (как [g]) во фразе «громъ гремитъ». Это необходимо учесть в нашей реконструкции фонетической структуры стихотворения Ломоносова. Естественно считать, что в тех случаях, когда слово имеет двойное произношение, его конкретное звучание определяется контекстным окружением во фразе. Поскольку в рассматриваемом стихотворении все знаменательные слова (за исключением последних двух строк) имеют в своем составе букву *z* (см. выше), практически это значит, что чтение соответствующего слова с [ʀ] или с [g] ставится в зависимость от того, как читается *z* в других словах, ближайшим образом с ним связанных.

* * *

Рассмотрим последовательно произношение каждого слова ломоносовского стихотворения, имеющего в своем составе букву *z*, фиксируя внимание именно на произношении этой буквы.

1. *Бугристы* — произносилось, конечно, с взрывным *z*, как книжное слово.

Берега — произносилось с взрывным *z* (ср. полногласие). Ср., между тем, выражение *бугристы брега* с неполногласной формой, употребленное Ломоносовым в поздравительной оде Елисавете Петровне 1759 с. (ст. 83).

Благоприятны — произносилось, несомненно, с фрикативным *z* (так, между прочим, еще и в конце прошлого века, см. соответствующую рекомендацию в словаре Орлова, I, с. 240).

Влаги — также произносилось с фрикативным *z* (очевидный церковнославянизм, ср. помету «сл[авенское]» при этом слове в Словаре Академии Российской).

Итак, фонетическая структура данной строки предстает в следующем виде: **G-G-H-H**.

2. *Горы* — это слово произносилось, по всей видимости, с фрикативным *z* и вообще воспринималось по преимуществу как книжное. Так, Шишков (III, с. 39) прямо указывал, что «в Ломоносова стихе: *на гору как орел всходя он возносился*, должно в слове *на гору* букву *z* произнести как *h* и ударение сделать на букве *o*; но в простой речи, такой, например, как: *под-гору-то нам торошо было идти, кахово-то будет брести на гору*, — здесь в слове *на гору* буква *z* обыкновенно произносится как *g*, и ударение делается на букве *a*, то есть не на самом имени, но на его предлоге». Ср. аналогичное свидетельство о том же и у Каржавина (1791): «Le Mot *Gora* <...> SE LIT *Horá* avec aspiration comme le mot *Heros* et SE DIT *Gorá*»²⁶. Ср. известный стих из Псалтыри: «Рѣки воспещутъ рукою вкупе, горы возрадуются» (XCVII, 8), который в целом ряде случаев находит отражение в поэзии Ломоносова (см.: Солосин, 1913, с. 249, 252, 264, 267, 273); это слово неоднократно встречается вообще как в Псалтыри, так и в новозаветном тексте (см.: Гильдебрандт, 1882–1885, с. 472–473; 1898, 92–93).

Гроздами — также произносилось, видимо, с фрикативным *z*; это слово встречается в новозаветном тексте (см.: Матфей, VII, 16, Апокалипсис, XIV, 18 и др.), так же как и в других церковных текстах. В Словаре Академии Российской сообщается, что данное слово употребляется в св. Писании, а «в простом употреблении говорится умалительно», т. е. в уменьшительной форме.

Гдѣ — произносилось с фрикативным *z*, см., например, специальное указание на этот счет в «Российской грамматике» А. А. Барсова 80-х гг. XVIII в. (Барсов, 1981, с. 43); о том же свидетельствует, между прочим, и фонвизинский Вральман (см. у него *нлѣть*). Такое произношение может объясняться прежде всего чисто позиционно, т. е. как результат диссимиляции по смычности в консонантном сочетании; с другой стороны, данное слово

вовсе не чуждо и церковнославянским текстам (см., например, в Новом Завете, «Гдѣ ти, смерте, жало, гдѣ ти, аде, побѣда», I Коринф. XV, 55; о возможной реминесценции этого места в поэзии Ломоносова см. у Солосина, 1913, с. 246). Соответствующее произношение рекомендуется в русской орфоэпии еще в начале нашего столетия (см., например, Чернышев, 1908, с. 17).

Гръетъ — могло, видимо, произноситься и с взрывным и с фрикативным *г*. Возможность последнего произношения обусловлена тем, что соответствующий глагол встречается в новозаветном тексте: Ефес. V, 29, I Солун. II, 7, и др. С другой стороны, этот глагол был вполне употребителен и в обиходной речи.

Югъ — это слово также, видимо, могло иметь двойное произношение. На возможность произнесения данного слова с *г* фрикативным указывает то обстоятельство, что оно встречается в церковнославянских текстах и прежде всего в Новом Завете (Лука XII, 55, XIII, 29, Деяния, XXVII, 13, XXVIII, 13; ср. Апокалипсис, XXI, 13), ср. также Псалтырь LXXVII, 26, CXXV, 4. Следует, однако, подчеркнуть, что слово *юг* в церковнославянском может иметь иное значение, нежели соответствующее в русском, а именно: «южный ветер, приносящий дождь и сырость» и вообще «влага, сырость» (ср.: «въ югъ сѣющи слезами радостію пожнутъ класы присноживотія», Степен. в I антифоне 3-го гласа, т. е.: «кто проливает слезы покаяния, те как бы сеют под дождь, в влажную почву — они с радостью пожнут колосья вечной жизни, т. е. получают вечное блаженство»); см.: Ильминский, 1898, с. 85. Вместе с тем, данное слово, несомненно, было употребительно и в обиходной речи, ср., например, пословицу в «Письмовнике» Курганова (1777, с. 124, также и у Даля, IV, с. 667), в точности совпадающую по словоупотреблению с рассматриваемым ломоносовским стихом: «югъ вѣтъ, стараго грѣтъ». В подобных случаях это слово, надо полагать, звучало с взрывным *г*. Исходя из сказанного, можно с достаточной вероятностью предположить такое произношение и в нашем случае.

Ягнятъ — произносилось, несомненно, с взрывным *г*, ср. ц.-сл. *агнец*. (Ср., между прочим, стилистическое разграничение обоих слов в «Тилемахиде» Третьяковского, кн. XVII: слово *ягнята* дается здесь как глосса к слову *агнцы*).

Итак, первые два слова рассматриваемой фразы (*гръетъ югъ ягнятъ*) в принципе могут читаться и с взрывным и с фрикативным *г* (причем для слова *югъ* в данном значении и словоупотреблении едва ли не более вероятен взрывной звук), тогда как третье слово (*ягнятъ*) определенно звучало с взрывным. Исходя из сформулированного выше положения о том, что в случае возможности двойного произношения конкретное произнесение слова во фразе

определяется его контекстным окружением, признаем, что все три слова в данном контексте читались со взрывным согласным²⁷.

Тогда фонетическая структура рассмотренной строки представит в следующем виде: **Н-Н-Н-Г-Г-Г**.

3. *Грады* — произносилось с фрикативным *г* (очевидный церковнославянизм).

Гдѣ — произносилось с фрикативным *г* (см. выше).

Торги; слово *торгъ*, вообще говоря, встречается в новозаветном тексте (Деяния, XVI, 19; XXVIII, 15), но в церковнославянском языке соответствующее слово имеет иное значение, нежели в русской обиходной речи, а именно: «площадь, forum» (см. Гильдебрандт, 1882–1885, с. 2178). Характерно, с другой стороны, мнение Третьяковского (III, с. 223), что непростительно писать на церковнославянский манер *по торгома і рынокма*, вместо *по торгома і рынкама*. Итак, в обиходном значении (связанном с торговлей) соответствующее слово подчинялось собственно русским речевым нормам. Правомерно считать, соответственно, что *торгъ* могло читаться, в зависимости от значения, и с взрывным и с фрикативным *г*. Поскольку можно полагать, исходя из общего контекста, что в рассматриваемой фразе данное слово употреблено как раз в обиходном значении, т. е. так или иначе ассоциируется именно с торговлей (см. непосредственно ниже упоминание *браги, денег, гостей* и т. п.), — постольку следует думать, что оно здесь звучало с взрывным *г*. Русская и церковнославянская формы Nom. Pl., возможно, были противопоставлены и по ударению: рус. *торги́* (см. такую же форму в «Ведомостях» за 1703 г., см. Кипарский, 1962, с. 28) — ц.-сл. *торга́* (хотя *торга́* в Gen. Sg. — так в новозаветном тексте, но в Словаре Академии Российской, как и в предварявших его «Аналогических таблицах», тем не менее, *торга́*).

Мозгокружны — произносилось с фрикативным *г* (ср. характерный тип сложного слова), хотя отдельно стоящее слово «могъ» и могло произноситься с взрывным²⁸.

Браги — произносилось с взрывным *г*.

Структура строки: **Н-Н-Г-Н-Н-Г**.

4. *Денги* — произносилось, надо думать, с взрывным *г*²⁹. Характерно, что слово *деньги* регулярно соответствует в глоссах к «Тилемахиде» Третьяковского словам *пънязи* (кн. XII, XVII) или *цаты* (кн. XII, XXI, XXIV, ср. ц.-сл. *цата*), употребляемым в основном тексте поэмы.

Гостей; Аполлос Байбаков специально указывает в своей грамматике 1794 г. (с. 3), что это слово произносится с фрикативным («мягким») *г*; акцентная форма, кстати, ничуть не противоречит ударению в церковнославянских текстах (см.: Кипарский, 1962, с. 28). Любопытно, между прочим, что данный корень

транскрибируется через *gh* в словарных записях Ричарда Джемса 1618–1619 гг., относящихся как раз к холмогорскому наречию, т. е. к родине Ломоносова: *ghoste* «гость», *ghostintsa idet* (= *to goe to guessse*) (см. изд.: Ларин, 1959, с. 84, 153); Ларин (1959, с. 36) видит здесь определенное указание на произношение со спирантным *g*, которое он относит за счет белорусского или южно-русского вкрапления (см. там же); гораздо больше оснований видеть здесь отражение книжного произношения³⁰.

Годы — произносилось, видимо, с взрывным *g*, поскольку в церковнославянском соответствующее слово имеет иное значение: «час, время, срок» (ср. Ильминский, 1898, с. 78; см., например, Лука I, 10; XIV, 17). С другой стороны, рус. *год* соответствует ц.-сл. *лѣто*, ср. у Ломоносова в материалах к грамматике: «*лѣто*, Sl. *annus* Russ. *aestas*. — *лѣта*, Sl. et Russ. *anni*» (см. изд.: Ломоносов, VII, с. 627). Ср. указание, что *Годъ* произносится как *Godъ* у Копиевича (1706, л. I тетради «Е»³¹; или транскрипцию рус. формы *году* как *godou* в двух случаях у Каржавина (1791, см. здесь образцы русского текста с французской транскрипцией)³².

Губятъ — можно полагать, что это слово, как книжное, читалось с фрикативным *g*. О стилистической принадлежности данного слова в какой-то степени можно судить, между прочим, по следующему контексту в притчах Сумарокова (VII, с. 243):

Онъ ихъ [деревья. — Б. У.] пришель *губить*,
А по просту *рубить*.

В отношении этимологически очень близкого слова *гибель* Аполлос Байбаков, кстати, прямо указывает в своей грамматике 1794 г. (с. 3), что оно читается с *g* фрикативным.

Структура рассмотренной строки тогда выглядит так: **G-N-G-N**.

5. Эта строка была рассмотрена выше; ее структура: **N-N-G-G**.

6. *Бъгуция* — произносилось, видимо, с фрикативным *g*, поскольку причастные формы на *-ций* воспринимались вообще как книжные (см. об этом §§343, 440 грамматики Ломоносова). Ср., с другой стороны, различные формы с корнем *бъг-*, приводимые в церковном словаре П. Алексеева, а также соответствующие цитаты из Псалтыри у Гильдебрандта, 1898, с. 36³³.

Всегда — произносилось обычно с фрикативным *g*, см. специальное указание на этот счет в «Российской грамматике» А. А. Барсова (Барсов, 1981, с. 43). Соответствующее произношение, конечно, объясняется прежде всего позиционно, но следует иметь в виду, что данное слово встречается и в тексте Нового Завета (Иоанн, XII, 8), Псалтыри (LXX, 14); ср. сказанное выше

о слове *гдѣ*. Данное произношение еще недавно было принято в русской произносительной норме (см., например, Чернышев, 1908, с. 17, Брандт, 1892, с. 112).

Гадскія — это слово определенно читалось с фрикативным *g*: см. специальную помету «церк[овное]» при нем (с примером из Четьих-Миней) в Словаре церковнославянского и русского языка и затем у Даля. Следует иметь в виду, что в более поздней копии рассматриваемого стихотворения, которая имеется в начале тетради Миллера, на л. 2 об. (тогда как публикуемый здесь более аутентичный список находится в середине той же тетради, на л. 6³⁴, данное слово заменено на *гадкія*. Между тем, последнее слово (*гадкія*) гораздо более сомнительно в отношении своего произношения: есть основания полагать, что оно звучало с взрывным *g*³⁵, и в этом случае данное слово противостоит всем остальным словам этой строки, которые читались, по-видимому, с фрикативным *g*. Соответствующая конъектура, т. е. замена *гадскія* на *гадкія* воспроизводилась во всех последующих изданиях нашего стихотворения — начиная с первой публикации С. П. Шевырева в «Москвитяине» и кончая последним академическим изданием³⁶.

Как видим, рассмотренная конъектура существенно нарушает аллитерационную структуру стиха. С другой стороны, структура текста может иметь в данном случае самое непосредственное отношение к текстологии (ср. в этой связи: Успенский, 1971а).

Гордыни — читалось, несомненно, с фрикативным *g*. См. помету «сл[авенское]» при этом слове в Словаре Академии Российской. Ср. стих из Псалтыри (XVI, 10): «Уста их глаголаша гордыню», который Шишков (III, с. 39) цитирует в качестве примера на чтение *g* в виде спиранта. Ср., с другой стороны: «гордыню сопостатов стерти» в оде Ломоносова на день рождения Елисаветы Петровны (1746 г., ст. 6), в котором Солосин (1913, с. 259) не без основания видит отражение одного рождественского песнопения. Это слово встречается и в Новом Завете (Марк, VII, 22; Иаков, IV, 16), см. также сводку примеров из Псалтыри у Гильдебрандта, 1898, с. 93³⁷.

Структура данной строки: **N-N-N-N**.

7. *Пугливы* — произносилось с взрывным *g* (некнижное слово).

Голуби — это слово в своем первичном (а не символическом) значении должно было произноситься, по всей вероятности, с взрывным *g*.

Мягкого — орфоэпические руководства XVIII в. единогласно свидетельствуют, что это слово читалось с фрикативным звуком. Ср., прежде всего, свидетельство самого Ломоносова в «Российской грамматике» (§102): «Въ срединѣ реченій передъ твердыми согласными [читается буква *g*], какъ: *легкой*, *мяткой*, вмѣсто *легкой*, *мяжкой*³⁸; ср. о том же у Каржавина (1794, с. 5): «слово

наше *мягкой* выговаривается *мяхой*, а не *мядой*; в «Кратких правилах...» 1984 г. (с. 16, §20): «*легкой, мягкой* выговариваются *лехой, мяхой*; а также в «Правилах о произношении...» 1772 г. (с. 10), у Шарпантье (1768, с. 7), наконец, в академической грамматике 1802 г. (с. 7) и т. п. Подобное произношение легко объясняется позиционно, ср., однако, это слово в евангельском тексте (Лука, VII, 25, Матфей, XI, 8). Что же касается флексии *-аго*, то она, скорее всего, читалась в данном случае как *-ава/-ова* (ср. Ломоносов, 1755, §102, и особенно Ломоносов, VII, с. 653; «Правила о произношении...», 1772 г., с. 11).

Гньзда — произносилось, видимо, с фрикативным. Ср. у Ломоносова в материалах к «Российской грамматике» транскрипцию этого слова: «гнѣздъ — hnest» (см. изд.: Ломоносов, VII, с. 634). Это слово, между прочим, встречается в Псалтыри (LXXXIII, 4).

Фонетическая структура данной строки **G-G-N-N**.

8. *Угодность* — произносилось, вероятно, с фрикативным *г* [книжное слово: ср., с одной стороны, стилистический характер основы, ср. *угодник, угодный* и т. п. (ср., в частности, в Новом Завете), с другой — суффикс *-ость*, о книжном характере которого см., например, у Обнорского, 1927 (с. 80–81 и примеч. на с. 82–83), Виноградова, 1947 (с. 127), Хютль-Ворт, 1968 (с. 26)].

Ньгою — произносилось с фрикативным *г* (книжное слово).

Огромные — это слово, по-видимому, относилось к нейтральному стилю и, следовательно, могло произноситься, в зависимости от контекста, и с взрывным, и с фрикативным *г*. О возможности употребления его в книжной речи свидетельствует хотя бы известный стих из «Тилемахиды» Третьяковского (кн. XVIII, ст. 514), взятый эпиграфом к «Путешествию из Петербурга в Москву» Радищева, который в передаче Радищева звучит как «Чудище, обло, озорно, огромно, стозѣвно, и лай»³⁹; ср. также этот эпитет у самого Ломоносова в оде на прибытие Елисаветы Петровны 1742 г. в стилистически очень выдержанном обращении Господа к императрице (ст. 368)⁴⁰.

Следует заметить, что выражение *огромные чертоги* можно встретить и в других источниках, например, у Карамзина в переводе из Шекспира 1787 г. (см. изд.: Карамзин, 1966, с. 61), а также в Словаре Академии Российской (САР, II, с. 359), где это сочетание приводится как пример к слову *огромный*; если это сколько-нибудь устойчивое сочетание, то следует полагать, что рассматриваемое слово читалось с фрикативным *г*. Во всяком случае, в данном окружении оно могло произноситься таким образом.

Чертоги — произносилось с фрикативным *г* (очевидный церковнославянизм)⁴¹. Книжное произношение данного слова (с фрикативным *г*), по-видимому, сохранялось в русском литературном

языке еще и во второй половине XIX в. Так, в руководстве по русскому языку Манассевича в списке слов с *г* фрикативным, наряду с такими словами, как *Бог, господи, благо, убог*, находим и *чертог* (а также *подвиг*).

Фонетическая структура данной строки **N-N-N-N**.

9. *Недуги* — произносилось, вероятно, с фрикативным *г*. См. помету «сл[авенское]» при этом слове в Словаре Академии Российской (САР, III, с. 787). Это слово часто встречается в новозаветном тексте (см. у Гильдебрандта, 1882–1885, с. 1187–1188)⁴², ср. также в Псалтыри (СII, 3).

Наглые — произносилось, скорее всего, с фрикативным *г*. Следует иметь в виду, что в церковнославянском языке это слово имеет значение «быстрый», «внезапный», т. е. не имеет, вообще говоря, той отрицательной характеристики, какую имеет соответствующее русское слово⁴³. Итак, если *недуги наглые* у Ломоносова значат «внезапные недуги» (ср. в этой связи перевод близкого по смыслу выражения *наглая смерть* как *gewaltsamer Tod* в лексиконе Целлария 1746 г., с. 209), то рассматриваемое слово, по всей вероятности, читалось с фрикативным *г*; если же усматривать здесь отрицательную оценочную характеристику, содержащуюся непосредственно в самом прилагательном (например, в виду намечающегося тогда параллелизма: *наглые недуги — гнусные остроги*), то можно в принципе предположить произношение с *г* взрывным. Более вероятно, однако, что Ломоносов употребил данное слово в обычном для книжного языка значении⁴⁴.

Гнусные — произносилось, должно быть, с фрикативным *г*, как церковнославянизм.

Остроги — читалось, скорее всего, с фрикативным *г*. Следует иметь в виду, однако, что это слово в церковнославянском имеет значение «крепость», «земляной вал» (см., например, Лука, XIX, 43); значение «тюрьма» — собственно русское и в принципе не исключено, поэтому, что в этом последнем значении рассматриваемое слово могло произноситься и со взрывным *г*⁴⁵.

Ситуация со словом *остроги*, таким образом, в точности аналогична ситуации со словом *наглый*. Если одно из этих слов произносилось с взрывным *г*, то, надо думать, так же произносилось и другое слово. Итак, вероятной фонетической структурой данной строки является: **N-N-N-N**, но не исключена структура: **N-G-N-G**.

10. *Богатство* — определенно произносилось с фрикативным *г*; соответствующее произношение еще до недавнего времени сохранялось в русском литературном языке. По мнению Шахматова (1925, с. 41), подобное произношение данного слова (и однокоренных слов) как раз и указывает на его церковное происхождение. Ср. специальное указание А. А. Барсова в «Российской граммати-

ке» (Барсов, 1981, с. 43) относительно произношения этого слова в XVIII в.

Нагота — произносилось, несомненно, с фрикативным *г* (см. это слово в новозаветном контексте — II Коринф. XI, 27; Римл. VIII, 35; Апокалипсис, III, 18). По свидетельству Брандта (1892, с. 112–113), слово *нагой* еще в конце прошлого века звучало в литературном произношении с фрикативным [γ], причем Брандт видит здесь указание на заимствование из церковнославянского.

Слуги — видимо, произносилось с фрикативным *г*: ср. отражение этого произношения в речи фонвизинского Вральмана, который говорит *слуга* (а не **слуга*, как ожидалось бы при отражении взрывного *г*; см. выше). На соответствующее произношение, может быть, указывает в какой-то степени и архаическое ударение *служ* в форме Nom. Pl. (о его архаичности см. у Кипарского, 1962, с. 223, 45).

Господа — произносилось с фрикативным *г*. Руководства XVIII в. единодушно указывают, что все вообще производные от слова *господь* произносятся с фрикативным: прямое свидетельство о том, что таким образом произносилось и слово *господин*, можно найти у Ломоносова (VII, с. 605, 688), Курганова (1769, с. 93), Барсова (1768, с. 39; 1981, с. 43; в «Кратких правилах...», 1773, с. 84; 1784, с. 16; 1797, с. 88–89), в «Правилах о произношении...» 1772 г. (с. 11), у Семигиновского (1794, §36); такое произношение отражается и в речи фонвизинского Вральмана, который произносит: *хоспотин*, *хоспотамъ*, *хоспожь*. Оно фиксируется еще в словаре Орлова 1885 г. (II, с. 121). Таким образом, противопоставление по данному признаку слов [γ]осподь, но [г]осподин, которое констатируют, например, Брандт (1892, с. 112–113, Корш, 1902, с. 42, Манассевич, с. 7–11), — относительно недавнего происхождения (может быть, не раньше сер. XIX в.).

Структура рассмотренной строки: **Н–Н–Н–Н**.

11. *Угрюмы* — произносилось, несомненно, с взрывным *г* (некнижное слово).

Взглядами — тоже. На это указывает форма префикса (ср., с другой стороны, ц.-сл. *возглядати* в Псалтыри (XV, 5). Характерно, что Ломоносов приводит это слово в своей грамматике (§172) именно как пример не книжной формы, говоря, что стилистическая характеристика данного слова обуславливает форму *взгляду* (не *взгляда*) в Gen. Sg.; ср. позднее этот же пример и в «Российской грамматике» А. А. Барсова (1981, с. 117), где соответствующие формы прямо характеризуются как «простонародные»⁴⁶. Достаточно показательны в этом отношении и критические рассуждения Тредиаковского в его памфлете против Сумарокова 1750 г.: «Она не терпит обыкновенных народных речей: она совсем от тех удаля-

ется, и приемлет в себя токмо высокие и великолепные. По сему, чего ради ему [Сумарокову — Б. У.] не положить *воззри*, вместо *взгляни*» (см. изд.: Куник, 1865, с. 456). Итак, слова *взгляд*, *взглянуть* и т. п. единодушно квалифицируются как «народные» и «обыкновенные» (т. е. разговорные).

Игрени (название местности) — тоже (ср. определение этого слова как «провинциального» у Будиловича, 1871, с. 147).

Птьги — тоже.

Смуглы — тоже (соответствующей церковнославянской формой является *смугляный*, см. Словарь церковнославянского и русского языка).

Структура строки: **G–G–G–G**.

12. *Багровые* — произносилось с взрывным *г*; (ср. книжную форму *багряный*. Словарь Академии Российской (САР, I, 77) фиксирует, между прочим, что в просторечии слово *багровый* употребляется не в значении «червлёный, пурпуровый, густокрасный» (в этом значении *багровый* и *багряный* совершенно идентичны), а в значении «красный, смешанный с синевою». Можно полагать, что в сочетании *багровые глаза* данное слово употреблено именно в специфическом просторечном значении (ср. ниже).

Глаза — несомненно произносилось с взрывным *г*. Это слово выступает в абсолютном большинстве орфоэпических руководств XVIII в. как типичный пример чисто русского (не книжного) слова, которое произносится с [g], а не с [γ]. См. соответствующие указания, например, у Копиевича (1706, л. 3 первой пагинации); у самого Ломоносова (1755, §§21, 23, 24), у Барсова (1768, с. 39; в «Кратких правилах...», 1773, с. 84, 1797, с. 88–89), в «Правилах о произношении...» 1772 г. (с. 11), у Аполлоса Байбакова (1794, с. 3). Ср. вообще характерное противопоставление слова *глаз* — «сл[авенскому]» *око* в рукописном лексиконе первой пол. XVIII в., изданном Аверьяновой (1964, с. 73), у Фонвизина (I, с. 245), а также у Тредиаковского (Поэты XVIII в., II, № 192⁴⁷).

Выражение *багровые глаза* стилистически непосредственно противопоставлено выражению *багряное око*, употребленному Ломоносовым в благодарственной оде Елисавете Петровне 1750–1751 гг., строфа 8-я (ст. 71: «Когда заря багряным оком...»)⁴⁸. С другой стороны, семантически данное выражение смыкается с выражением *глаза кровавые*, которое встречаем у Ломоносова в другом месте (см. Будилович, 1871, с. 159)⁴⁹.

Продолговаты — произносилось с взрывным *г*.

Круглы — тоже.

Структура строки: **G–G–G–G**.

13. *Гораздъ* — произносилось, без сомнения, с взрывным *г*. Для книжного стиля это слово кажется совсем не характерно; мож-

но сослаться, вместе с тем, на многочисленные примеры просторечного его употребления, см. хотя бы в Вейсманнове лексиконе 1731 г. (с. 389, 483, 643). Будилович (1871, с. 146) приводит слово *горазд* — именно в данном контексте, с цитированием рассматриваемой строки — в числе «провинциальных» слов. Ср., наконец, транскрипцию этого слова как *grasda* («горазда»), *garas* («горазд») — по-видимому, с отражением редукции безударного гласного и аканья — в парижском «Словаре московитов» 1586 г. (см.: Ларин, 1948, № 401 и 403). Так же, т. е. со взрывным *г*, произносилось, между прочим, и наречие *гораздо*: ср. передачу этого слова как *караздо* в речи фонвизинского Вральмана (ср. также помету «нар[одное]» при этом слове в Словаре церковнославянского и русского языка).

Гадать — произносилось, скорее всего, с взрывным *г*. В книжном стиле этот глагол едва ли был возможен.

Лгать; считаем возможным предположить, что это слово могло произноситься как с фрикативным *г* (как книжное слово, встречающееся, между прочим, в новозаветном тексте: Деяния, V, 4; XIV, 19; Матфей, V, 11), так и с *г* взрывным. Характерно, что в «Аналогических таблицах», т. е. предварительном словнике к Словарю Академии Российской, приведена как книжная форма *лгáние*⁵⁰, так и некнижная *лганье* (между тем, в Словаре Академии Российской оставлено только *лганье*). Ср. также многочисленные примеры просторечного употребления данного слова, приводимые у Даля (II, с. 241), ср., между прочим, аналогичные примеры в собрании пословиц Барсова, 1770 г. (с. 15, 90, 104, 114, 115, 120, 134, 143, 192), в письмовнике Курганова (1777, с. 114). Тогда в рассматриваемом контексте данное слово должно было звучать именно с взрывным *г*⁵¹.

Мигать — произносилось, видимо, с взрывным (ср. соответствующие церковнославянские формы: *мизати*, *мжати*, ср. последнюю форму в Новом Завете; II, Петр, I, 9). Ср. в рукописном лексиконе первой пол. XVIII в., изданном Аверьяновой (1964, с. 177) соответствие: *мизати* — сл[авенское] *мизати*; *мигание* — сл[авенское] *мизание*. Подобное же соответствие можно обнаружить и в «Аналогических таблицах»: «*мизаю*, сл[авенское]», «*мизание*, сл[авенское] — см. *мигание*»; ср., с другой стороны, в Словаре Академии Российской, где не форм *мизаю*, *мизание*: «*мжение*, сл[авенское], просто же *мигание*» (САР, IV, с. 123)⁵².

Не исключено, что выражение *горазд мигать* представляет собой намек на Сумарокова, миганье которого, как известно, было излюбленным предметом насмешек со стороны его литературных противников (см.: Сухомлинов, II, с. 235–236 второй пагинации), выступая своеобразным символом в сатирических зашифровках. В

частности, у Ломоносова в эпиграмме на примирение Сумарокова с Третьяковским, 1759 г., сообщается, что Сумароков «Картавил, шепелял [вариант: «картавил и сипелл»], качался и мигал»⁵³. Между тем, выражение *горазд лгать, да не мигать*, т. е. вся фраза целиком (вместе со своим продолжением в следующей строке) может относиться к Третьяковскому, который объединяется у Ломоносова с Сумароковым (лжет, как Сумароков, но не мигает)⁵⁴. Ломоносов вообще перечисляет здесь тех, кто так или иначе участвует в решении вопроса «где быть *га* и где стоять *глаголю*»; среди них он упоминает и своих литературных противников, прежде всего Третьяковского, как представителя ориентации на книжнославянские языковые нормы; см. еще об этом ниже⁵⁵.

Итак, фонетическая структура рассмотренной строки с вероятностью может быть представлена в следующем виде: **G–G–G–G**.

14. *Играть* — это слово, вероятно, могло произноситься, в зависимости от контекста, как с фрикативным (см. этот глагол в новозаветном тексте: I, Коринф, X, 7), так и с взрывным *г* (ср. примеры на просторечное употребление этого слова в словарях Поликарпова, 1704, Вейсманна, 1731, с. 327, и в целом ряде других источников XVIII в.).

В данном контексте оно, можно полагать, звучало с *г* взрывным.

Гулять — произношение с взрывным *г* (несомненный русизм).

Рыгать — произносилось с взрывным *г* (ср. специальную оценку этого слова как «низкого» у Шишкова (1818, с. 14).

Ногти — это слово, вообще говоря, произносилось обычно с фрикативным звуком на месте буквы *г*; свидетельства на этот счет можно найти как у самого Ломоносова (см. его грамматику §101, а также черновые материалы к ней в изд.: Ломоносов, VII, с. 634), так и у других авторов XVIII в. (Шарпантье, 1768, с. 7; Шлёйер, 1904, с. 6). Поскольку, однако, фрикативное произношение было обусловлено в данном случае, видимо, не стилистической принадлежностью слова, а позиционно, допустимо думать, что слово это могло равным образом произноситься и со взрывным: [nokti]. Полагаем, что именно так оно читалось и в рассматриваемом стихе.

Огрызать — также читалось, скорее всего, с взрывным — во всяком случае в данном контексте⁵⁶.

Если соглашаться со сказанным, то структура рассмотренной строки предстает в следующем виде: **G–G–G–G–G**.

15. *Ногаи* — произносилось с взрывным *г*.

Болгары — тоже.

Гуроны — это слово, согласно своей этимологии, в принципе должно было произноситься с *г* фрикативным (происходит от фр. *huron*).

Геты [т. е. «готы»] — должно было произноситься с взрывным *g*⁵⁷.

Гунны — в соответствии с исходной формой это слово должно было произноситься с *g* фрикативным, ср. нем. Hunnen, лат. Hunni, греч. χοῦνοι, Ὀῦνοι, Ὀβνοι.

Итак, фонетическая структура данной строки предстает в виде G-G-H-G-H. Нельзя ли предположить, однако, что все эти слова, как не имеющие соответствия в церковнославянских текстах, читались с взрывным *g*, т. е. оформлялись по нормам собственно русской, а не церковнославянской фонетики (аналогично тому, как это происходило со словом *богиня* — см. выше)? Может быть, не случайно в грамматике Ломоносова (§101) к правилу о том, что «въ иностранныхъ реченіяхъ < . . . > выговаривать пристойно как *h*, гдѣ *h*; как *g*, гдѣ *g* у Иностранныхъ» делается следующее знаменательное примечание: «однако въ томъ нѣтъ дальней нужды». Тогда структуру данной строки можно представить в виде: G-G-G-G-G.

16. *Тугіе* — произносилось, видимо, с взрывным *g*.

Головы — несомненно, произносилось с взрывным *g* (очевидный русизм). См., между прочим, передачу этого слова как *калафы* у фонетизинского Вральмана (ср. у него же и *калоушка* «головушка»).

Иготы [«иготы» — речная ступка] — в данном контексте произносилось, надо думать, с взрывным *g*, хотя в принципе не исключено, что это слово могло иметь вообще двойное произношение; на возможность произношения его со спирантом указывает то обстоятельство, что данное слово вошло в «Лексикон славенороссийский» Памвы Беринды, также в «Букварь славенороссийских писмен» Кариона Истомина (см.: Тарабрин, 1916, с. 307 и табл. XXV), наконец, в трехязычном славено-греко-латинском букваре Ф. Поликарпова (1701, л. 119 об). С другой стороны, данное слово вряд ли могло восприниматься как специфический церковнославянизм.

Чугунны — произносилось с взрывным *g*.

Структура рассмотренной строки: G-G-G-G.

17. *Гневливые враги*; эти два слова целесообразно рассматривать вместе, поскольку данное сочетание представляет собой явную цитату из Псалтыри (XVII, 49): «Избавитель мой отъ врагъ моихъ гнѣвливыхъ»⁵⁸. Оба слова представляют собой вообще несомненные церковнославянизмы и, по всей вероятности, и вне данного контекста, произносились с фрикативным *g*; тем более, они должны были так читаться в рассматриваемом стихе. *Враг* произносилось с фрикативным *g* еще и в нач. XIX в., как об этом свидетельствует Гейм (1816, с. 2).

Любопытно, что слово *враги* может рифмоваться в поэ-

зии Ломоносова с *верти* (поэма «Петр Великий», 1760–1761 гг., ст. 719–720).

Под «гневливыми врагами» имеются ввиду, скорее всего, Тредиаковский и Сумароков.

Гладкословный — произносилось, конечно, с фрикативным *g*, как очевидный церковнославянизм. Любопытно отметить, что это слово, наряду с *гладкословіе*, приводится в так называемых «Аналогических таблицах», послуживших основой для Словаря Академии Российской (САР, I, с. 345); между тем, в сам Словарь ни то, ни другое слово не вошло.

Друзь — это слово произносилось, вообще говоря, с взрывным *g*; имеем на этот счет целый ряд указаний грамматических руководств XVIII — нач. XIX вв. и в первую очередь самого Ломоносова. См. §101 его «Российской грамматики», где констатируется произношение *друг* как *друж*, а также замечание в черновых материалах к грамматике, что «*друзь* не пишутъ *дружъ* ради косвенных падежей», см. изд.: Ломоносов, VII, с. 690; ср. о том же в «Новом российском букваре» 1775 г., с. 21, в грамматиках Шлёцера (1904, с. 4), Родде (1773), Гейма (1789), а также и в более поздних грамматиках Фатера (1808), Таппе (1810), Греча (1834). Знаменательно, однако, что в грамматике Гейма (1816, с. 2), переработанной Вельсином, указывается два возможных произношения для данного слова: *druch* и *druk*. Надо полагать, это вызвано тем, что согласный *g* мог иметь вообще спирантное произношение на конце слова, т. е. перед паузой (см. Богородицкий, 1902, с. 5, который приводит пример *денеж*), т. е. независимо от стилистической принадлежности слова; рефлексы этой черты могут быть прослежены у носителей московского произношения и по сей день. Характерно, что слово *вдруг* может рифмоваться Ломоносовым как с *лук* или *внук*, так и с *дух* (см.: Дурново, 1921, с. 94, примеч.; Обнорский, 1940, с. 59, примеч.). Не менее показательна рифма *рукаж* — *флаг* в ломоносовской оде на день рождения Елисаветы Петровны, 1746 г. (ст. 72–74): в соответствии со своей исходной формой слово *флаг* должно было произноситься, вообще говоря, с взрывным *g* (ср. нем. die Flagge). Знаменательно в этом смысле возражение Сумарокова (X, 85) против этой рифмы: «Въ *рукажъ* и *флагъ* не дѣлаютъ ни какой рифмы».

Итак, мы вправе полагать, что в рассматриваемом контексте слово *друг* звучало с конечным фрикативным согласным. Действительно, рифму *друг* — *дух*, *друг* — *глух* и т. п. мы находим еще у поэтов нач. XIX в. (при том, с течением времени, вообще говоря, следует ожидать постепенную утрату фрикативного *g*): так, у Озерова, Крылова, Пушкина (см.: Дурново, 1921, с. 94, примеч.),

но, наряду с этим, например, у Пушкина встречаем и *друг* — звук (см.: Булаховский, 1954, с. 19 и сл.).

Тогда фонетическая структура рассмотренной строки предстает в следующем виде: Н-Н-Н-Н.

18. *Толпыги* (ср. *толпыга*, *толпега*, *тепне́га* — бестолковый, грубый, неуклюжий, неотесанный человек) — произносилось с взрывным *г*. Это слово — именно в данном контексте — определяется у Будиловича, 1871, с. 150, как «провинциальное». Следует заметить, что в XVIII — нач. XIX вв. данное слово принадлежало скорее разговорной, обиходной, нежели специально диалектной речи: оно вполне могло прозвучать в устах столичного аристократа, например, в речи Пушкина (см. несколько ниже).

Шоголи — произносилось с взрывным *г*.

Слова *толпыга* и *щеголь* представляют собой очевидные антонимы. Вместе с тем, «толпыги» и «щеголи» объединяются здесь на том основании, что как те, так и другие в языковом отношении выступают в ярко выраженной антитезе к книжному («славенскому») языку⁵⁹. С точки зрения пуриста, и толпыги и щеголи знаменуют две разновидности «порчи» книжного языка. Действительно, в точности такое противопоставление мы находим у Третьяковского в его стихотворном рассуждении о чистоте русского языка (написанном предположительно около 1753 г.; см.: Поэты XVIII в., II, с. 393), который подчеркивает, что «< ... > нашей чистоте все мера есть славенский, ни ЩЕГОЛЬКОВ, ни ГРУБЫЙ ДЕРЕВЕНСКИЙ», при этом «грубый деревенский» у Третьяковского прямо соответствует «толпыгам» у Ломоносова. Как для «толпыг», так и для «щеголей» должно было быть характерно произнесение взрывного *г*: для первых как для представителей «низкого», просторечного произношения, для вторых — в связи с ориентацией их на иностранные языки (и в некоторых случаях, вероятно, на манерный иноземный акцент⁶⁰). Соответственно, Ломоносов называет «толпыг» и «щеголей» в числе тех, кому предстоит решать, «где быть *га* и где стоять *глаголю*». В этом списке, между тем, есть и представители противоположной позиции, т. е. блюстители книжных языковых норм; ср. выше о предположительном намеке на Третьяковского. Соответственно, Ломоносов представляет решение вопроса на их суд: они как бы должны разделить между собой сферы влияния.

Когда — произносилось с фрикативным *г*, см. указание на этот счет у Барсова в «Российской грамматике» (1981, с. 43), ср. сказанное выше о слове *всегда*. Ср., между прочим, *никазта* (bis!) у Вральмана в «Недоросле».

Досу́г — произносилось, вообще говоря, с взрывным *г* (см. об этом в «Правилах произношения...» 1772 гг., с. 11, в академиче-

ской грамматике 1802 г., с. 7). Однако в данном случае это слово могло произноситься и с фрикативным — в полной аналогии с тем, что было сказано выше о произношении слова *друг*.

Тогда фонетическая структура данной строки такова: G-G-N-N.

20. *Гдѣ* — произносилось обычно с фрикативным *г*, см. выше.

Га — как название *г* в значении взрывного согласного (см. об этом выше), должно было произноситься, конечно, не иначе, как с взрывным *г*.

Глаголю; это слово (название буквы *г*) произносилось с фрикативными *г*. См., между прочим, специальное указание на этот счет в «Российской Грамматике» А. А. Барсова (1981, с. 43).

Структура данной строки, соответственно: N-G-N-N-N.

Поскольку при этом в рассматриваемой строке имеет место явная цезура, кажется возможным представить ее таким образом:

N-G
N-N-N

* * *

Итак, фонетическая структура рассматриваемого стихотворения Ломоносова с известной вероятностью может быть представлена в следующем виде:

1. G-G-N-N
2. N-N-N-G-G-G
3. N-N-G-N-N-G
4. G-N-G-N
5. N-N-G-G
6. N-N-N-N
7. G-G-N-N
8. N-N-N-N
9. N-N-N-N (N-G-N-G ?)
10. N-N-N-N
11. G-G-G-G
12. G-G-G-G
13. G-G-G-G
14. G-G-G-G-G (?)
15. G-G-G-G-G - (?)
16. G-G-G-G
17. N-N-N-N
18. G-G-N-N
19. ...
20. N-G
N-N-N

Структурная упорядоченность данного текста представляется достаточно очевидной. Каждая строка стихотворения обнаруживает симметрично организованную аллитерационную структуру, представляющую собой ту или иную комбинацию взрывных и фрикативных звуков, соответствующих букве *г*. Аллитерационная структура строки может основываться либо на повторении однородных звуков (взрывных или фрикативных), либо на упорядоченной организации разнородных звуков (взрывных и фрикативных), противопоставленных друг другу; во втором случае последовательность смычных и спирантов каждый раз организована по принципу симметрии.

Первые семь строк стихотворения (1–7) представляют различные упорядоченные комбинации слов, произносимых с взрывным *г*, и слов, произносимых с *г* фрикативным. Этот цикл окаймляется фразой, имеющей аллитерационную структуру типа **G–G–H–H**, причем внутри данной группы комбинации не повторяются.

Затем идут десять строк (8–17), где аллитерация строится на повторении однородных звуков. Первые три строки (8–10) этой группы и последняя (17-я) представляют собой последовательности слов, читаемых с фрикативным *г*; напротив, строки 11–16 представляют собой последовательности слов, читаемых с взрывным *г*.

После этого идет строка 18, совпадающая по своей структуре с 1-й строкой стихотворения (а также строкой 7, замыкающей первый цикл комбинационных чередований). Можно считать, что на этом заканчивается упорядоченная в аллитерационном отношении часть стихотворения, которая окаймляется, таким образом, структурной последовательностью **G–G–H–H**, т. е. строка 19 вообще не содержит интересующих нас звуков, а заключительная (т. е. 20-я) строка стихотворения построена по иному принципу, хотя и в ней может быть усмотрена известная упорядоченность.

Остается добавить следующее. Надо полагать, что те слова данного стихотворения, которые читались с *г* фрикативным, вообще произносились по специальным нормам книжной орфоэпии, ассоциировавшимися прежде всего с церковнославянским языком [они характеризуются, наряду с рассмотренным признаком, и такими чертами, как отсутствие смягчения согласного перед *е*, чтение *е* всегда как [e] (никогда как [o]), отсутствие аканья и вообще редукции гласных и т. п., см. описание этих норм в работах: Успенский, 1968; Успенский, 1971]. Напротив, те слова, которые произносились с взрывным *г*, должны были и в других отношениях подчиняться закономерностям живой речи, т. е. произносились вообще по нормам живого русского произношения⁶¹ (в частности, с аканьем и т. п.). Можно заключить, таким образом, что рассматриваемое стихотворение произносилось как стихотворение

МАКАРОНИЧЕСКОЕ — с характерным соблюдением специфических произносительных особенностей, присущих той и другой языковой системе.

Примечания

¹ Этот этап характеризуется, между прочим, семантической дифференциацией параллельно сосуществующих произносительных вариантов, разрушающей отношение взаимно-однозначного соответствия, которое могло иметь место ранее между формами высокого и низкого стиля и, с другой стороны, как бы оправдывающей сам факт сосуществования данных вариантов в пределах одной и той же нормы. Примеры, относящиеся к произношению *г*, будут приведены ниже.

² Имеется в виду произношение латинского *h*.

³ Имеется в виду фрикативное произношение *г* в церковном чтении.

⁴ Имеется в виду взрывной [g] в живой русской речи.

⁵ Аполлос, между прочим, считался в конце XVIII в. одним из знатоков по данному вопросу. См.: Сухомлинов, 1874, с. 219.

⁶ Предположение об авторстве Ломоносова было затем принято С. П. Шевыревым и прочно укрепились в науке.

⁷ См. эти варианты в изданиях: Сухомлинов, II, с. 387–388 второй пагинации, и Ломоносов, VIII, с. 1043–1044. В дальнейшем мы будем ссылаться на соответствующие разночтения только по мере необходимости.

⁸ Следует указать, что все три стихотворения (принадлежащие, по всей видимости, Ломоносову), которые содержатся в этой тетради Миллера на лл. 3 и сл., были вновь переписаны на лл. 2–2 об. При этом лист, обозначенный сейчас как л. 2, был в свое время ПЕРВЫМ листом тетради: он служил как бы обложкой к ней. С другой стороны, теперешний л. 3, непосредственно следовавший за этой обложкой, открывал тетрадь: с него именно начинался текст. Позднее, однако, к данной тетради был прибавлен новый лист (теперешний л. 1), который стал выполнять функцию обложки, между тем как свободный лист, бывший ранее первым (превратившийся таким образом в л. 2), и был использован для воспроизведения содержащихся в тетради стихов более четким почерком.

⁹ См. об этом с. 219 наст. изд.

¹⁰ При воспроизведении сохраняем орфографию подлинника, отступая от нее лишь в следующих случаях: а) слитное написание слов заменяем раздельным, б) в начале строки ставим прописную букву, в) букву *ѡ* («у»), которая свободно чередуется с *у* в оригинальном тексте, передаем через *у* (противопоставление обоих начертаний относится здесь скорее к компетенции палеографии, чем орфографии), г) букву *ї* передаем как *і*.

¹¹ *Враги* — несомненная описка; форма *vrági* неизвестна ни русскому литературному языку, ни его диалектам. Во всех других списках читаем *браги*. В дальнейшем изложении мы принимаем соответствующую конъектуру.

¹² В соответствии с орфографическими нормами ожидалось бы *тугия*.

¹³ Название *га* представляет собой усечение от *гамма*, произведенное (для обозначения буквы *г*, читаемой как [g]) едва ли не Третьяковским (см. это название в его «Разговоре об орфографии», см. изд.: Третьяковский, III, с. 269–270; ср. также другие названия для этой буквы, предлагаемые здесь на с. 264). См. упоминание об этом, между прочим, в «Русской грамматике» А. А. Барсова (Барсов, 1981, с. 43). В свою очередь, название *гамма* (или *ггамма*) в книжной (букварной) традиции Юго-Западной Руси выступало как название для буквы *г* («*г* с молоточком»), обозначающей взрывной звук [g] и противопоставленной букве *з* (т. е. *глаголь*), обозначающей фрикативный [ɣ]. Ср. свидетельство Ю. Крижанича (относящееся к сер. XVII в.), что «белорусяни» зовут букву *г* «гаммой» и отличают ее от «глаголя», см. изд.: Крижанич, 1859, л. 127; ср. Успенский, 1968, с. 42.

В XVIII в. и некоторые великорусские авторы предлагают ввести в русскую азбуку «*г* с молоточком» для обозначения взрывного звука, см.: Адодуров, 1731, с. 3–4, Третьяковский, III, с. 261–264, 267–269, позднее Каржавин, 1791, лл. 3–4 (ср. Каржавин, 1794, с. 4–6), также Гренинг, 1750, с. 5, причем грамматика Гренинга, как доказывается в другой нашей работе, представляет собой шведский перевод неопубликованной грамматики Адодурова 1738–1740 гг. (см. Успенский, 1975).

В одном из списков (XVIII в.) последняя строка нашего стихотворения читается иначе, а именно: «Скажите, где быть *Н* и где стоять глаголю» (см. изд.: Ломоносов, VIII, с. 1044). Не может быть сомнений в том, что этот вариант не отражает первоначального текста. В другом списке на соответствующем месте стоит слово *гиг* («Скажите, где был *гиг* <...>», см. там же, а также Сухомлинов, II, с. 388 второй пагинации); может быть, это одно из возможных названий для буквы *г* в значении взрывного звука (типа названия *голь*, предлагавшегося Третьяковским): в этом случае нужно полагать, что данное слово читалось с двумя взрывными: [gig] — которые противостоят здесь двум же фрикативным в слове *глаголь*.

Поскольку название *га* превосходит специальные названия букв гражданской азбуки, постольку можно усматривать определенную генетическую связь между этим названием и принятым сейчас названием буквы *г* (*ге*). Действительно, слово *га* может фигурировать в дальнейшем вообще как название буквы *г* в гражданском алфавите, будучи противопоставлено слову *глаголь* как соответствующему названию в церковной азбуке (см., например, у Каржавина, 1791, где буква *г* именуется *gha*), ср. в этой связи слово *абевега* или *абавага*, как эквивалент слова *азбука* (например, у Чулкова, 1768, Каржавина, 1791). Можно сказать, тем самым, что противопоставление гражданских и церковных названий букв

началось именно с наименования буквы *г*, и это обусловлено, конечно, различным произношением этой буквы в церковнославянском и в живом русском языке.

¹⁴ Имеем в виду прежде всего произношение тех носителей литературной речи, которые произносят фрикативное *г* во всех падежах слова «бог».

¹⁵ Ср. в связи со сказанным последовательную транскрипцию слова *богиня* как [bɑgʲɪnʲə] у Трофимова и Джоунза (1923, с. 218, 221, 238).

Знаменательно, что слово *богиня* употребляется у украинцев Подолии в значении чертовки, обменивающей младенцев, ср. также польск. *boginka* с тем же значением (см.: Зеленин, II, с. 98). Ср. в этой связи характерное замечание архiereя-миссионера в рассказе Лескова «На краю света» относительно трудности перевода священных текстов на языки сибирских инородцев: «нельзя им подобрать слов: ни мученик, ни креститель, ни предтеча, а пресвятую деву, если перевести по-ихнему <...> то выйдет не наша богородица, а какое-то шаманское божество женского пола, — короче сказать — *богиня*» (см.: Лесков, V, с. 468). Слово *богиня* определенно выступает здесь как АНТИТЕЗА христианскому пониманию высшего существа.

¹⁶ Ср. орфографическое противопоставление в дореформенной орфографии: *Богъ* христианский, но *богъ* языческий.

¹⁷ Будилович (1869, с. 33 второй пагинации) читал последнее слово не *fatuus*, а *falsus*.

¹⁸ И в дальнейшем мы будем пользоваться данными обозначениями при демонстрации фонетической структуры рассматриваемого стихотворения. При этом необходимо оговориться, что мы рассматриваем различные произношения буквы *г* исключительно в плане противопоставления по признаку смычности, отвлекаясь от всех других фонетических признаков (в частности, звонкости), которые могут позиционно варьироваться. Таким образом, обозначение *G* фонетически может соответствовать не только [g], но и [k], *H* — не только [ɣ], но и [χ], и т. п.

¹⁹ Следует сразу сказать — заранее предупреждая возможные возражения — что диалектная принадлежность Ломоносова имеет минимальное значение, когда речь идет об орфоэпических нормах — безразлично, проявляются ли они в специальных рекомендациях его грамматики или в чтении стихов. Вопреки Беркову (1964, с. 412), грамматисты XVIII в., будь то Ломоносов, Адодуров, Третьяковский, Сумароков, или Барсов, описывая и в значительной степени регламентируя литературное произношение, никак не могли основываться на индивидуальных или диалектных особенностях своей собственной речи.

²⁰ При этом более показательны в этом случае свидетельства насчет взрывного *г*, т. к. фрикативное произношение может быть обусловлено позиционно. См. подробнее ниже.

²¹ Пользуемся случаем, чтобы поблагодарить Р. О. Якобсона, обратившего наше внимание на этот источник.

²² Можно отметить также последовательное упрощение аффрикаты до ее спирантного компонента (т. е. передачу ч в виде ш, ц в виде с) и некоторые другие более мелкие, но вполне определенные модификации.

²³ Само собой разумеется, что в тех случаях, когда в речи Вральмана не происходит оглушения *g*, мы не имеем возможности судить о качестве звука, ср., например, формы *фсегта* «всегда», *гласа* «глаза» и т. п.

²⁴ Нелишне заметить, что Ломоносов должен был профессионально знать церковную службу. Известно, что он был «лучшим чтецом в приходской своей церкви». Со стороны матери он происходил, кстати, из духовного сословия. Оставив родные места, он некоторое время отправлял псаломническую должность в Антониеве Сийском монастыре. Точно так же в Москве он служил пономарем в Заиконоспасском монастыре (см.: Пекарский, 1873, с. 269–270, 280; Павлова, 1962, с. 62). Наконец, одно время он готовился к принятию духовного сана (см.: Белокуров, 1911). Само собой разумеется, что достаточную подготовку в этом отношении давали Заиконоспасская семинария и Славяно-греко-латинская академия.

²⁵ Разумеется, следует делать поправку в данном случае на индивидуальное словотворчество Тредиаковского, а, следовательно, и на возможные индивидуальные стилистических приемов. Ср., однако, такие красноречивые соответствия в «Тилемахиде», как: *перси* — *грудь* (кн. I, IV bis, XVII, XIX, XX), *рамо* — *плечо* (кн. IV, IX), *выя* — *шея* (кн. IV, V, VII, ср. *островыйный* — *острошейный*, кн. II), *ланиты* — *щеки* (кн. IX), *длань* — *ладонь* (кн. XI), *дщерь* — *женщина* (кн. XVIII), *музикия* — *музыка* (предисловие и кн. XXIV), *клеврет* — *товарищ* (кн. VI, IX), *верск* — *верек* (кн. XI, XX), *сланый* — *соленый* (кн. IV, XXIV), *зело* — *весьма* (кн. IV), *сице* — *сим образом* (кн. XX), *камо* — *куда* (кн. XVII), *мнее* — *меньше* (кн. XV), *воздвиг* — *поднял* (кн. IX) и т. д. и т. п. (Слева каждый раз приведено слово, употребленное в тексте поэмы, а справа — соответствующая глосса к нему). Уже и из приведенных примеров видно, между прочим, что глоссы служат здесь не столько для объяснения (как это обыкновенно полагают); сколько для стилистического соотнесения: мы имеем здесь именно стилистический словарь, а не толковый.

²⁶ Правда, «Правила о произношении...» 1772 г. (с. 11) приводят слово *гора*, наряду с *големи*, *глаза*, *гаварю*, как пример слова, где *g* звучит как взрывной согласный: по-видимому, здесь имеет место ссылка на разговорное произношение. Менее показательна транскрипция «отъ горы» как *odgory* у Шлёцера в его грамматике 1764 г. (см.: Шлёцер, 1904, с. 7): Шлёцер, как иностранец, вообще мог в большей степени ориентироваться в своей грамматике на живую не книжную речь, чем это было допустимо для самих русских авторов.

²⁷ Иначе говоря, произношение слова *ягнать* определяет в данном случае произношение всех других слов данной фразы.

²⁸ Ср. в черновых материалах к грамматике Ломоносова транскрипцию: *Мозгъ, mosk. Мозгу, mosgi*, см. изд.: Ломоносов, VII, с. 634).

²⁹ Любопытна, однако, форма *denye* во фразе *Yas tebye dam denye* (= *Je vous donneray de l'argent*), в записях французских моряков 1586 г., произведенных в архангельской земле (см.: Ларин, 1946, с. 46). Форме *denye* может соответствовать здесь *деньги* и *денег*; особенно в первом случае можно видеть указание на фрикативное произношение *g*.

Отметим еще, что слово *деньги* фигурирует в «Церковном словаре» П. Алексеева, причем здесь приводится выражение из Чина исповедания: *деньги ложные*. Это, конечно, русизм, допустимый, быть может, именно в Чине исповедания в связи со специфической функцией исповеди и ее диалогическим характером.

³⁰ Таким же образом Ларин объясняет здесь же и фрикативность *g* в формах *bochat* (исправлено из *bohac*) «богат», *bohatic* «богатырь», что совсем уже не выдерживает критики.

³¹ Сообщение того же автора, что и *Богъ* читается *бог* (см. там же, л. 1 об. тетради «Е»), следует признать недоразумением (ср. трехкратную транскрипцию этого слова как *Boh* у Копиевича, см. лл. 2–2 об. тетради «А»).

³² Форма *hodou*, которая встречается здесь же один раз (в совершенно аналогичном значении) — явная описка или опечатка.

Ср. также передачу *godъ* как [god] в немецкой грамматике Таппе (1810), но, между тем, как [ghot] в грамматике Гейма (1816, с. 2 — наряду с *blagho, bogha, leghtsche*, но также *ghruscha, moghu*).

³³ В стихах Ломоносова *бегъ* рифмуется с *успѣхъ* (см. Поздравление Г. Г. Орлову на благополучное возвращение Екатерины из Лифляндии, 1764 г., ст. 13–14), ср., однако, ниже о возможности чисто позиционного объяснения рифм такого рода.

³⁴ См. об этом выше, с. 219 наст. изд.

³⁵ До некоторой степени показательным может считаться, например, употребление этого слова в «Приветствии, сказанном на шутовской свадьбе» (1740 г.) Тредиаковского, написанном в подчеркнуто скомошном стиле (см. изд.: Тредиаковский, 1935, с. 171):

Кваснин [вариант: «квасник». — Б. У.] дурак и Буженинова б...ка
Сошлись любовно, но любовь их *гадка*.

Это слово можно встретить также в комедиях и вообще в произведениях низкого жанра. Для книжного стиля оно, кажется, нехарактерно.

³⁶ Последнее издание заново осуществлено по тетради Миллера, но, по недоразумению, по переписанному варианту, а не по более раннему (и более верному) списку; ср. выше. Иначе говоря, В. Н. Макеева, готовившая текст данного стихотворения и сверявшая его с рукописными оригиналами, просто не заметила этот более ранний список. Поэтому она не ссылается на форму *gadskia* и при указании вариантных чтений. (Указание на соответствующее различие можно встретить, между тем, в примечаниях М. И. Сухомлинова к академическому изданию

произведений Ломоносова; см. изд.: Сухомлинов, II, с. 387 второй пагинации. Сухомлинову, следовательно, данный список был известен; однако основной текст, в соответствии со своими эдиционными установками, Сухомлинов воспроизвел по первой публикации, т. е. по публикации С. П. Шевырева и, при том, с орфографическим унифицированием).

³⁷ Между тем, слово *горд* могло произноситься Ломоносовым с взрывным. См. в материалах к его «Российской грамматике» транскрипцию: *Gordv. Gort* (см. изд.: Ломоносов, VII, с. 634).

³⁸ Следует заметить, что Ломоносов не только читал данное слово с фрикативным, но и мог, видимо, писать его через *x*. По указанию Сухомлинова, из всех вариантов ломоносовской грамматики, обозначенных 1755-м г., только в одном, вышедшем уже после смерти Ломоносова, слово *мяжкя* в §24 набрано через *g*, тогда как во всех других изданиях представлена форма *мяжкя* (см. изд.: Сухомлинов, IV, с. 35 отдельной пагинации примечаний).

³⁹ Между тем, у самого Тредиаковского этот стих читается несколько иначе, а именно: «Чудище, обло, озорно, огромно, съ тризѣвной и-Лаей» (т. е. с тризвонной пастью, где *лая* — «пасть», а *и* — вставной слог); ср.: Орлов, 1935, с. 35. Можно сказать, таким образом, что Радищев стилистически отредактировал цитированную фразу Тредиаковского, избавив ее от специфических языковых инноваций последнего и определенно ее архаизировав (ср. особенно церковнославянскую форму причастия). Тем более знаменательно, что в условиях этой стилистической архаизации был сохранен интересующий нас эпитет (*огромно*).

40

Я вящши учиню премены,
Когда градов пространны стены
Без пагубы людской сотру,
В огромные столпы сберу;
...
Превыше будут те Мемфийских
Монархов славою Российских.

⁴¹ Ср., между прочим, у Солосина (1913, с. 269) о реминисценции стиха из Псалтыри (XVIII, 6) в поэзии Ломоносова («Яко жених исходяй от чертога своего» — у Ломоносова в оде Елисавете Петровне 1757 г., ст. 148: «Жених как идет из чертога»). В поэзии Ломоносова слово *чертог* рифмуется с *бог* (см.: Обнорский, 1940, с. 59, примеч.), но подобные рифмы могут объясняться и чисто позиционно, ср. ниже.

⁴² Менее показательна, вообще говоря, рифма *недуг* — *дух* в ломоносовской «Оде на новый 1764-й год» (ст. 27–30): см. о подобных рифмах ниже.

⁴³ В значении «нахальный, дерзкий, бесстыдный» (наряду с «сильный, бурный, стремительный») это слово фиксируется — в литературном языке — во всяком случае уже в Словаре Академии Российской (САР, IV, 466). Между тем, для разговорного языка подобное

значение отмечается гораздо раньше, см., например, в Вейсманнове немецко-латинско-русском лексиконе 1731 г. В славно-греко-латинском словаре Ф. Поликарпова 1704 г. слово «наглый» соответствует вообще по значению словам «*διφιδίβλος, repentinus, repens, subitus*» (л. 180), однако, к словам «напрасливый, наглый» дается, наряду с соответствующим переводом, отсылка: «зри продерзостный» (л. 183 об.); нетрудно увидеть в последнем случае невольное отражение живого словоупотребления, не соответствующего книжным языковым нормам.

⁴⁴ Можно сослаться в этой связи на любопытное примечание к рассматриваемому слову в анонимном стихотворении 1753 г., написанном в ответ на известную «Сатиру на петиметра и кокеток» И. Елагина. Употребив в стихотворном тексте выражение *кокетки наглые*, автор сообщает в примечании: «Кокетки наглыми здесь названы затем, что сатирик[а] [т. е. Елагина — Б. У.] немилосердых им эпитетов мне здесь употребить не хотелось, а необходимо нужно их так представить надлежало...» (см. изд.: Поэты XVIII в., II, с. 382). Автор имеет в виду употребление Елагиным выражения *кокетки бешеные* (см. в том же изд., с. 374), которое ему необходимо было процитировать, но которое он заменил БОЛЕЕ ПРИЛИЧНЫМ синонимическим выражением *кокетки наглые*. Таким образом, в сер. XVIII в. — т. е. именно в те годы, когда было написано рассматриваемое в настоящей работе стихотворение Ломоносова! — даже в сатирическом произведении слово *наглый* употребляется в том значении, которое свойственно книжному языку. Вместе с тем, возможность омонимического значения совершенно исключается автором: выражение *кокетки наглые* звучит, по его мнению, заведомо более благоприятно по отношению к кокеткам, чем (синонимичное) выражение *кокетки бешеные*. (Ср., однако, выражение *наглых враг* в ломоносовской эпиграмме на примирение Сумарокова с Тредиаковским 1759 г., а также антонимическое противопоставление «наглой» лжи и «кроткой» правды в «Оде <...> в славу правды» Тредиаковского 1735 г., где одновременно ложь именуется: «Чудовище <...> *наглостью сурово*», см. изд.: Тредиаковский, 1935, с. 164).

Отметим еще, что известный стих Ломоносова в Оде Елисавете Петровне 1747 г., ст. 55: «Вы, *наглы вихри*, не держайте», — прямо соответствует стиху в ломоносовской оде 1745 г. на бракосочетание Петра III и Екатерины, ст. 29: «Вы, *бурны вихри*, не держайте» (который в свою очередь может быть соотнесен со стихом Тредиаковского в оде на сдачу Гданска, ст. 9: «Бурны ветры! не шумите», см. изд.: Тредиаковский, 1935, с. 184). Оба ломоносовские выражения следует признать за синонимичные.

⁴⁵ Употребление слова *острог* в этом специальном значении (фиксируемом, в частности, уже в Словаре Академии Российской) — кажется, относительно недавнее явление. Ср., например, отчетливое противопоставление слов *острог* и *тюрьма* в документе 1676 г., относящемся к истории соловецкого мятежа, изданном у Субботина, III, с. 356. Здесь говорится, что выходцы из Соловецкого монастыря, которые изъявили раскаяние и признали новые обряды, «посланы в Сумской Острог»,

тогда как нераскаившиеся мятежники «посажены в Сумском остроге в ТЮРЬМУ».

⁴⁶ О соответствующем противопоставлении книжной и не книжной речи см. особенно §173 грамматики Ломоносова, где указывается, что следует говорить «*святаго духа; человеческого долга; ангельскаго гласа*; а не *святаго духу, человеческого долгу, ангельскаго гласу*» и, напротив, «*свойственнѣе говорится розоваго духу; прошлогоднаго долгу; птичьаго голосу, нежели розоваго духа; прошлогоднаго долга; птичьаго голоса*».

⁴⁷ См. цитату из Третьяковского выше, с. 223 наст. изд.

⁴⁸ Ср., между тем, критику этого последнего ломоносовского выражения в «Записных книжках» кн. П. А. Вяземского. По мнению Вяземского, «*Багряное око* — никуда не годится. Оно вовсе непоэтически означает воспаление в глазу и прямо относится до глазного врача» (см.: Вяземский, 1929, с. 62; здесь же и другие примеры употребления эпитета *багряный* в ломоносовской поэзии). Надо полагать, что для самого Ломоносова подобное толкование в принципе могло быть применено только к выражению *багровый глаз*, но никак не к выражению *багряное око*; именно средства выражения высокого стиля, необходимо ассоциировавшиеся с высокой материей, исключали возможность такого толкования; ср., вместе с тем, отмеченную выше семантическую противопоставленность обоих прилагательных. Вяземский же судит с позиций нового времени, когда соответствующее различие перестало быть актуальным, и оба выражения стали восприниматься как совершенно синонимичные.

⁴⁹ Ср. еще выражение *кровавые очи* (речь идет о Боге Марсе) в оде Ломоносова 1741 г. на «первые трофеи» Иоанна Антоновича, ст. 21). Ср. в связи со сказанным употребление Ломоносовым выражения *багрова земля* в смысле «кровавая земля» в оде Елисавете Петровне 1742 г. (ст. 127) и вообще довольно характерное для ломоносовской поэзии сочетание слов *кровь* и *багрить(ся)* (см. оды 1741 г. на день рождения Иоанна Антоновича, ст. 139, или на его первые трофеи, ст. 198, и строфа 23, ст. 230).

⁵⁰ В отношении стилистической принадлежности этой формы ср. ответствие в Лексиконе первой пол. XVIII в., изданном Аверьяновой (1964, с. 162): «Лгание — р[усское] ложь». Характерно, что Третьяковский, со свойственным ему стремлением семантически разграничить сферы действия церковнославянского и русского языков может различать данные формы по значению: *ложь* — явление, противопоставленное ЛОГИЧЕСКОЙ истине, *лгание* — ЭТИЧЕСКОЙ (см. в его рассуждении «О слове, или словесности», ср. Копорский, 1961, с. 295).

⁵¹ Если в настоящее время *лгать* может восприниматься как абсолютный синоним по отношению к *врать* и, соответственно, противопоставление этих глаголов сводится исключительно к СТИЛИСТИКЕ, то в свое время между ними было СЕМАНТИЧЕСКОЕ различие (сохранившееся в говорах), которое и выступало на первый план: *врать* значило не только и не столько «говорить неправду», но употреблялось в более

широком значении «болтать, суесловить, пустословить, говорить несерьезно» и т. п. (ср. более общее значение и у глагола *воровать* в этот же период: «делать не как надо, не в соответствии с правилами»; см., между тем, об этимологической связи этих глаголов у Фасмера, I, с. 350). Достаточно показательно в этом отношении соотнесение соответствующих корней в следующей строке из притч Сумарокова (VII, с. 198): «И бего ЛЖИ НЕ ВРЕТЬ ни слова одново».

Тем самым глагол *лгать* мог выступать в соответствующий период в низком стиле, выполняя функцию современного *врать*.

⁵² Ср. замечание Третьяковского по поводу слова *миг* (в связи с разбором следующих строк Сумарокова: «В единый миг своей рукой / Объяла все свои границы»): «слово *миг* есть подлое и, следовательно, не одическое. Вместо его высоким стилем говорится *мгновение ока*» (См. изд.: Куник, 1865, с. 459).

⁵³ Ср. в этой связи также в полемической ломоносовской притче «Свинья в лисьей коже», 1760–1761 гг., направленной против Сумарокова: «Свинья <...> кривляя рожу, *моргала*» (ст. 2–5).

Отметим, кстати, что к Сумарокову следует отнести и выражение *чермной мигун* (или в «славенской» параллели: *чермный мигатель*), которое находили в цитированной уже выше эпиграмме Третьяковского («Не знаю, кто певцов в стих вкинул сумасбродный...», см.: Поэты XVIII в., II, с. 392). Третьяковский пишет, что тот, кто вникает в славенский язык,

Увидит, что там злой кончится нежно злой
И что *чермной мигун* — мигатель то ж *чермный*.

Эпитет *чермный* относится, конечно, к рыжице Сумарокова (ср. насмешки над его рыжицей в других эпиграммах, см., например, эпитет *красношерстный* в эпиграмме, приводимой у Сухомлинова, II, с. 235–236 второй пагинации). См. подробнее с. 283 и сл. наст. изд.

⁵⁴ В той же ломоносовской эпиграмме 1759 г., между прочим, читаем:

Аколаст [т. е. Сумароков] написал:
Сотин [т. е. Третьяковский] лишь *врать* способен,
А ныне доказал, что сам ему подобен.

Здесь имеется в виду фраза из «Эпистолы о стихотворстве» Сумарокова 1748 г., где Сумароков писал, что Третьяковский «лишь только *врать* способен», причем этот отзыв был противопоставлен панегирической оценке Ломоносова. Если считать, что глагол *лгать* в анализируемом стихотворении Ломоносова «О сомнительном произношении буквы *г* в Российском языке» заменяет собой близкий по значению (хотя и не являющийся абсолютным синонимом) глагол *врать* в цитированной фразе Сумарокова — эта замена может легко быть объяснена, между тем, наличием буквы *г* в слове *лгать* и отсутствием ее в слове *врать*, — то можно усмотреть здесь совершенно определенное указание, что разбираемое выражение *горазд лгать, да не мигать* относится именно к Третьяковскому. Правда, данная эпиграмма датируется 1759 г., тогда как

анализируемое нами стихотворение обыкновенно относят к 1748–1754 гг. Следует, однако, иметь в виду, что как та, так и другая датировка предположительна и не основывается на твердых данных; особенно сомнительной кажется датировка эпиграммы.

Косвенное подтверждение высказанному предположению (относительно намека на Тредиаковского) может быть усмотрено в следующей строке рассматриваемого стихотворения. См. ниже.

⁵⁵ Если согласиться с высказанной гипотезой о полемической направленности некоторых строк нашего стихотворения, то можно предположить, что оно было написано не ранее 1753 г., когда литературная полемика приняла особенно активные формы (о чем см. у Сермана, 1964). Вместе с тем, если принимать тот временной диапазон, который ранее предлагался исследователями для этого текста (1748–1754 гг.) и который основывается на предположении, что Ломоносов написал его в период работы над своей грамматикой, то можно уточнить датировку рассматриваемого произведения, относя его к 1753–1754 гг.

⁵⁶ Выражение *ногти огрызать*, может быть, намекает опять-таки на Тредиаковского. Ср. следующее описание Тредиаковского в «Сатире на самохвала» 1752 г., написанной близким сотрудником Ломоносова — И. С. Барковым (цит. по изд.: Поэты XVIII в., II, с. 371:

Руки на лоб иногда невзначай закинешь,
Иногда закусишь перст, да вдруг же и вынешь.

⁵⁷ Ср., между тем, в словаре Орлова 1885 г. указание на произношение *готический* с фрикативным *г* — несомненный гиперкорректизм.

⁵⁸ Эта цитата, между прочим, не отмечена у Солосина (1913) в его сводке реминисценций из церковнобогослужебной литературы в поэзии Ломоносова (так же как и в более раннем исследовании Дороватовской, 1911, на ту же тему).

⁵⁹ Для выяснения значения слова *толпыга* (*толпега*) и вообще возможности семантического сближения его со словом *щеголь*, необычайно ценно следующее свидетельство об употреблении его Пушкиным, донесенное до нас в воспоминаниях А. О. Россета (1882, с. 246): «В Петербурге жила некая княгиня Наталья Степановна [Гончарова. — Б. У.] и собирала у себя *la fil fleur de la société*; но Пушкина не приглашала, находя его не совсем приличным. Пушкин об ней говорил: «Ведь она только так прикидывается, в сущности она русская *труперда* и *толпёга*; но так как она все делает по-французски, то мы будем ее звать: *La princesse-tolpege*».»

Что же касается *щеголей* (или *петиметров*), то хорошо известна, по многочисленным сатирическим произведениям, та роль, которую они играли в культурной жизни русского общества XVIII в. Следует только подчеркнуть, что щеголи в большой степени представляли собой явление социолингвистическое: сатирические обличения щеголей наполнены обсуждением лингвистических проблем.

⁶⁰ Ср. замечания Тредиаковского (III, с. 164) об особой социальной функции чужестранного акцента в русском обществе сер. XVIII в. Ср. в этой связи ремарки типа «голосом петиметра», которые могут встретиться иногда в комедиях второй пол. XVIII в. (см.: Берков, 1949, с. 38, 48), и которые, может быть, указывают на какие-то специальные особенности произношения «щеголей».

⁶¹ Последние были описаны, между прочим, тем же Ломоносовым.

К поэтике Хлебникова: проблемы композиции

Поэзия Хлебникова очень часто представляет определенную — сознательную или бессознательную — зашифровку текста (обусловленную отчасти собственно эстетическими задачами¹, отчасти — представлениями автора о языке², наконец, в значительной степени, — эзотерической автокоммуникацией, т. е. максимальным совпадением в одном лице отправителя и получателя текста), и в этом смысле то или иное произведение может рассматриваться как своеобразная криптограмма, которая нуждается в разгадке (дешифровке). Зашифровка может проявляться в использовании необычных форм (диалектных, иноязычных или специально созданных) или в более или менее сознательном нарушении обычных связей между сегментами текста — как между словами или морфемами (нарушение грамматических связей), так и между предложениями и большими отрезками текста. Именно последний случай будет нас прежде всего интересовать: речь пойдет о своеобразии композиции стиха у Хлебникова, причем композиция трактуется в терминах точек зрения (повествовательной перспективы)³.

В стихах Хлебникова нередко представлена мена точек зрения (динамика авторской позиции), которая, однако, может быть замаскирована употреблением одних и тех же местоименных форм по отношению к разным лицам. Так, в стихотворении, формально написанном от 1-го лица («я»), может, тем не менее, происходить изменение авторской позиции (точки зрения), поскольку «я» в разных местах одного и того же текста фактически наполняется различным содержанием (соотносится в разными лицами). Ср. отрывок из стихотворения «Мрачное» (Хлебников, II, с. 96), который повторен также в «Войне в мышеловке» (Хлебников, II, с. 258):

*Я умер, я умер, и хлынула кровь
По латам широким потоком.
Очнулся я иначе, вновь
Окинув вас война оком.*

Семантическая переключка слов «латы» и «воин» позволяет догадываться, что «я» во втором предложении не совпадает с «я» в первом (ср.: «очнулся я иначе»); более того, это первое «я» называется во втором случае местоимением 2-го лица — «вы»: итак, в

процессе стихотворного повествования «я» изменилось в «вы», будучи вытеснено другим «я», — в связи с изменением точки зрения.

Аналогичное явление можно наблюдать в стихотворении «Моих друзей летели сонмы» (Хлебников, III, с. 25). Одни и те же субъекты здесь обозначаются сначала в 3-м лице (при повествовании от 1-го лица!), а затем — неожиданно — местоимением 1-го лица, не совпадающим при этом с 1-м лицом предыдущего текста. Иначе говоря, «они» переходит в «мы», никак не соотносящееся с тем «я», которое фигурировало раньше. Ср.:

*Моих друзей летели сонмы.
Их семеро, их семеро, их сто!
И после испустили стон мы,
Нас отразило властное ничто,
Дух облака, одетый в кожух,
Нас отразил, печально непохожих.*

Затем, однако, те же субъекты снова начинают обозначаться в 3-м лице: «мы» непосредственно предшествующего текста изменяется в «они», знаменуя возвращение к первоначальной авторской позиции. Ср.:

*Теперь их грозный кубок вылит,
О, роковой ста милых вылет!*

Ср., наконец, пояснение всех трех грамматических лиц в заключительной фразе стихотворения:

*А вы, проходя по дорожке из мауни
Ужели нас спросите тоже, куда они?*

Местоименная форма 1-го лица («нас») соответствует здесь форме 1-го лица начала стихотворения («моих»), но, между тем, местоимение 3-го лица («они») соответствует местоимению 1-го лица («мы») середины стихотворения. Таким образом, композиционно дело идет в данном случае о тексте в тексте.

В приведенных примерах в результате динамики авторской позиции одни и те же наименования соотносятся на протяжении повествования с разными лицами; одновременно одни и те же лица именуются различным образом — взаимно противопоставленными местоименными формами. В ряде случаев имеет место только последнее.

Так, в «Ночном бале» (Хлебников, III, с. 284–285; 1960, с. 186–187) разбойник, от лица которого ведется рассказ (в 1-м лице), неожиданно называется в конце стихотворения местоимением 2-го лица («Ты стоял лесным разбойником < . . . > тихо смотришь на кистень»). Иначе говоря, сообщение от лица разбойника переходит в сообщение, обращенное к нему самому: один и тот же

субъект обозначается сначала местоимением «я», а затем местоимением «ты»⁴.

Стихотворение «Гонимый — кем, почему я знаю?»⁵. (Хлебников, II, с. 111-113; 1960, с. 79-80) начинается от 1-го лица; затем субъект, обозначавшийся местоимением 1-го лица («я»), называется в 3-м лице («он»), т. е. меняется перспектива описания («я» → «он»). В свою очередь, в конце стихотворения «он» опять меняется в «я» («он» → «я»). Повествование от 1-го лица, таким образом, ОКАЙМЛЯЕТ текст, выступая в функции композиционной рамки произведения⁶. Уместно отметить, что переходу от 1-го лица к 3-му приблизительно соответствует и изменение грамматического времени повествования — а именно, переход от настоящего времени к прошедшему, который также указывает на динамику авторской позиции (изменение точки зрения в плане временной перспективы)⁷.

Наконец, и в стихотворении «Меня проносят на слоновых...» (Хлебников, 1940, с. 259), ключ к содержательной интерпретации которого был найден В. В. Ивановым⁸, местоимение 3-го лица («он») в заключительной строфе соответствует по смыслу местоимению 1-го лица («я») во всем предшествующем тексте, тогда как местоимение 1-го лица в этой строфе («Он с нами, на нас, синеокий») соответствует местоимению 2-го лица предшествующего текста («вы» — обращение к девам, несущим героя и в своей совокупности образующим слона). Иначе говоря, если все стихотворение, кроме последней строфы, дается от лица героя во 2-м лице, то последняя строфа написана от лица дев, его несущих.

Итак, то, что в обычных условиях характеризует несколько ОТДЕЛЬНЫХ текстов, объединяется у Хлебникова в одном произведении. Иначе можно сказать, что в соответствующих произведениях НАРУШАЮТСЯ нормальные условия связности текста. Само нарушение этих условий является признаком изменения точки зрения (динамики авторской позиции).

Следует отметить, что в отдельных случаях совмещение различных точек зрения может быть предельно концентрировано в хлебниковском тексте — сосредоточено в пределах одной фразы. В этом случае мы наблюдаем нарушение обычных синтаксических связей.

Именно таким образом может быть истолкован известный пример из поэмы «Немотичей и немичей» (II, с. 192)⁹, на который в свое время обратил внимание Р. О. Якобсон¹⁰:

«О пощади меня, панич»,
Но тот «не можем» говорю¹¹

Можно считать, что здесь имеет место мгновенный перескок на

точку зрения панича: форма «говорю» дана с его точки зрения, тогда как текст, предшествующий фразе «не можем», излагается с противоположной авторской позиции. Граница между разными точками зрения здесь предельно фиксирована.

Чередование разных точек зрения во фразе может проявляться у Хлебникова и с изменением формы времени. См., например, в стихотворении «Тризна»: «Мы стоим, гранили тишь» (Хлебников, II, с. 229). Аналогичные примеры из хлебниковских поэм приведены у Вл. Маркова¹².

Примечания

¹ Отсюда, в частности, и характерная затрудненность формы, мобилизующая энергию читателя и создающая как бы дополнительное смысловое напряжение.

² В этом плане, между прочим, представляется перспективным сопоставление Хлебникова и Третьяковского.

³ См.: Успенский, 1970а.

⁴ Следует оговориться, что в данном случае возможно рассматривать текст в 1-м лице как прямую речь, помещенную в виде цитаты в основной текст стихотворения.

⁵ Название «Конь Пржевальского», под которым это стихотворение фигурирует в сб. «Пощечина общественному вкусу» (М., 1912) и в некоторых других изданиях, было приписано Д. Бурлюком. См.: Хлебников, II, с. 307.

⁶ Надо сказать, что и во всех прочих примерах, цитируемых в настоящей статье, изменение точки зрения может быть в принципе связано с обозначением композиционной рамки (которая может проявляться при этом только в конце, но не в начале текста, когда соответствующая мена точек зрения образует формальную концовку). В данном случае, однако, связь эта прослеживается особенно наглядно.

⁷ См.: Успенский, 1970а, гл. III.

⁸ См.: Иванов, 1967.

⁹ Название «Война — смерть», под которым эта поэма была опубликована в сборнике «Союз молодежи» (1913 г.), по-видимому, было приписано Д. Бурлюком (см.: Хлебников, 1940, с. 407).

¹⁰ См.: Якобсон, 1921, с. 34.

¹¹ В публикации 1913 г., которую цитирует Р. О. Якобсон и которая воспроизводится затем в хлебниковском «Собрании произведений» (II, с. 192), вместо «не можем» напечатано «не может». Фраза «не можем» читается в автографе данной поэмы (см.: Хлебников, 1940, с. 408).

¹² См.: Марков, 1962, с. 100.

Анатомия метафоры у Мандельштама*

Значенье — суета, и слово — только шум,
Когда фонетика — служанка серафима.

(«Мы напряженного молчания не выносим...»)

Не своей чешуей шуршим,
Против шерсти мира поем <... >

(«Я по лесенке приставной...»)

Понятие метафоры основывается, как известно, на противопоставлении прямого и переносного употребления: в метафорической речи слова окказионально выступают в несвойственном им значении и, тем самым, оказываются в необычном для них контексте¹. Отсюда метафорическая речь в принципе имеет, так сказать, крипто-лалический, зашифрованный характер, она всегда так или иначе нуждается в дешифровке, разгадке; самый процесс дешифровки может приобретать при этом эстетическую функцию. В каких-то случаях метафорическое употребление ближайшим образом напоминает вообще криптолалическую речь: действительно, употребление слов в каком-то другом значении — это обычный принцип всевозможных условных языков (арго).

Вот классический пример метафоры:

Пчела за данью полевой
Летит из кельи восковой.

(Пушкин. «Евгений Онегин», VII, 1)

Здесь — очевидным образом — *келья* означает «улей» или же «соты», тогда как *дань* выступает в значении «нектар, цветочный сок». Это типичный пример аллегорического употребления, которое принципиально не отличается от употребления слов в условных языках: разница состоит лишь в том, что в данном случае слова принимают другое значение не в системе, а в тексте — переносное употребление характеризует здесь не язык как таковой

* Автор признателен М. В. Живовой и Ф. Б. Успенскому, которые ознакомились с данной работой в ее первоначальном варианте и поделились своими наблюдениями.

(т. е. не систему принятых обозначений), но именно данный, конкретный текст.

В обычной речи за каждым словом закреплено какое-то значение или, точнее, какой-то круг значений, семантическое поле, которое и определяет его нормальное, т. е. прямое употребление. В образной, метафорической речи слова употребляются в переносном смысле, т. е. окказионально получают новое значение, входят в новое семантическое поле. Эти семантические поля — исходное (первичное) и окказиональное (вторичное) — могут, вообще говоря, объединяться воедино, и тогда значение слова расширяется, включая в себя значение того слова, вместо которого оно выступает (и которое, тем самым, подспудно, парадигматически присутствует в тексте). Так создается (моделируется) новый мир, отличающийся по своим семантическим характеристикам от обыденного, профанного мира, возникает новое семантическое пространство; нечто подобное имеет место в мифологическом тексте, где нарушаются привычные, нейтральные семантические связи. Кажется, что это очень характерно для Мандельштама, и не случайно Блок сравнил его поэзию со сновидениями: по словам Блока, «его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только» (запись в дневнике от 22 октября 1920 г.)². Сам же Мандельштам имел все основания сказать о себе:

Я — создатель миров моих...

(«Истончается тонкий тлен...»)

* * *

Поэзия Мандельштама насыщена метафорами — настолько, что метафоры могут составлять как бы фактуру мандельштамовского стиха. Одна из особенностей поэзии Мандельштама состоит именно в том, что метафора здесь выступает не только как поэтический образ, но интимно связана с самим содержанием стихотворения. Тем самым, метафорика Мандельштама отнюдь не сводится к условному обозначению, когда некоторое содержание может быть в принципе выражено тем или другим образом: устранение метафоры, перевод метафорической речи в обычную уничтожает не только поэтическую форму, но имеет еще более тяжелые последствия: поскольку форма непосредственно связана с содержанием, разрушение формы неизбежно разрушает и содержание — метафорическая речь оказывается в подобных случаях принципиально непередаваемой, и это создает эффект законченности, цельности выражения.

Вот несколько почти наугад подобранных примеров:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
 До прожилков, до детских припухлых желез.
 Ты вернулся сюда — так глотай же скорей
 Рыбий жир ленинградских речных фонарей!
 Узнавай же скорее декабрьский денек,
 Где к зловещему дегтю подмешан желток.
 («Ленинград»)

«Рыбий жир» фонарей мотивирует появление слова «желток» — и то, и другое представляет собой типичную детскую еду, которая дается обычно больному ребенку; все это объединяется темой детства и детской болезни («детских припухлых желез»)³. В то же время «декабрьский < . . . > желток» при описании Петербурга-Ленинграда находит соответствие в другом стихотворении Мандельштама:

За барскую шубу, за астму, за желчь петербургского дня. . .
 («Я пью за военные астры. . .»)⁴

В итоге мы имеем одновременно как описание Ленинграда, так и воспоминание о детстве (и слово «вернулся» оказывается здесь чрезвычайно значимым). Можно сказать, что возвращение в город показано как возвращение в детство: пространственное перемещение одновременно является перемещением во времени⁵. Этот параллелизм двух планов выступает очень отчетливо: так, в частности, «глотай же скорей» явным образом перекликается с «узнавай же скорее». При этом фраза «глотай же скорей рыбий жир» может рассматриваться как прямая цитата (реминисценция из детства) — так обычно обращаются к ребенку, который должен выпить невкусное лекарство; однако в данном случае эта фраза применяется к описанию города, в который вернулся поэт.

Едва ли мы вправе ограничиваться утверждением, что описание Ленинграда дается через описание детства. Нет, здесь одновременно раскрываются две темы: здесь говорится и о том, что поэт видит, и о том, что он вспоминает, и это мотивировано самим сюжетом данного стихотворения (возвращением в город детства, когда детство ушло и город стал другим⁶) — определяющим в данном случае является мотив узнавания, эксплицитно заданный в тексте.

Или другой пример:

Катит гром свою тележку
 По торговой мостовой
 И расхаживает ливень
 С длинной плеткой ручьевой.
 (Из «Стихов о русской поэзии»)

Описание грозы в Москве одновременно дается здесь и как описание грозы и как описание московской уличной жизни, как бы взятое из старинной картинки («гром» и «ливень» предстают здесь как персонажи жанровой сцены).

Вот еще:

По темнobarхатным лугам
 В сафьяновых сапожках
 Они пестрели по холмам
 Как маки на дорожках.

(«Вы помните, как бегуны. . .»)

Здесь одновременно описывается пейзаж и бегуны, причем описание пейзажа зависит от описания людей («темнobarхатные луга» явным образом перекликаются с «сафьяновыми сапожками»), а описание людей дается как описание пейзажа (бегуны изображены как цветы, поэтому они оказываются неподвижными).

Вообще метафора предстает у Мандельштама как осознанный поэтический прием, и сам поэт писал об этом:

С чего начать?

Все трещит и качается.

Воздух дрожит от сравнений.

Ни одно слово не лучше другого,

Земля гудит метафорой. . .

. . .

Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.

Конь лежит в пыли и храпит в мыле,

Но крутой поворот его шеи

Еще сохраняет воспоминание о беге с разбросанными ногами. . .

(«Нашедший подкову»)

Или еще: «Разве вещь хозяин слова? Слово — Психея. Живое слово не обозначает предмета, а свободно выбирает, как бы для жилья, ту или иную предметную значимость, вещь, милое тело. И вокруг вещи слово блуждает свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела» («Слово и культура» — из книги «О поэзии»)⁷. Отметим особенно: «брошенного, но не забытого < . . . >» — этот момент для нас в первую очередь важен.

Отсюда именно «слово как таковое» — не значение, а слово — оказывается первичным в поэтическом тексте, и в программной статье «Утро акмеизма» Мандельштам говорит: «< . . . > реальность в поэзии — слово как таковое. Сейчас, например, излагая свою мысль по возможности в точной, но отнюдь не поэтической форме, я говорю, в сущности, сознанием, а не словом. Глухонемые

отлично понимают друг друга, и железнодорожные семафоры выполняют весьма сложное назначение не прибегая к помощи слова. Таким образом, если смысл считать содержанием, все остальное, что есть в слове, приходится считать простым механическим привеском, только затрудняющим быструю передачу мысли. Медленно рождалось «слово как таковое». Постепенно, один за другим, все элементы слова втягивались в понятие формы < . . . >» («Утро акмеизма», 1). Итак, смысл для Мандельштама не то же, что содержание: смысл — это исходное, первичное слово⁸.

Подробнее эта тема обсуждается в «Разговоре о Данте»: «Поэтическая речь или мысль лишь чрезвычайно условно может быть названа звучащей, потому что мы слышим в ней лишь скрещивание двух линий, из которых одна, взятая сама по себе, абсолютно немая, а другая, взятая вне орудийной метаморфозы, лишена всякой значительности и всякого интереса и поддается пересказу, что, на мой взгляд, — вернейший признак отсутствия поэзии; ибо там, где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала, < . . . > Вообразите нечто понятое, схваченное, вырванное из мрака, на языке, добровольно и охотно забытом тотчас после того, как совершился проясняющий акт понимания-исполнения. В поэзии важно только исполняющее понимание — отнюдь не пассивное, не воспроизводящее и не пересказывающее. Семантическая удовлетворенность равна чувству исполненного приказа. Смысловые волны-сигналы исчезают, исполнив свою работу: чем они сильнее, тем уступчивее, тем менее склонны задерживаться» («Разговор о Данте», 1). Хотя поэт и говорит здесь о забывании первоначального образа, по существу речь идет о том же самом: просто в данном случае ему важно подчеркнуть, что первоначальный образ исчезает после того, как он дает жизнь образу поэтическому — он оказывается поглощенным этим последним.

Кажется, к Мандельштаму вполне применимо то, что он говорит о Данте: «Я сравниваю — значит я живу, — мог бы сказать Дант. Он был Декартом метафоры. Ибо для нашего сознания (а где взять другое?) только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение» («Разговор о Данте»; из черновых записей)⁹. Итак, метафорическая образность для Мандельштама — это способ мышления, а не способ выражения некоторого содержания: содержание не мыслится в данном случае в отрыве от формы. Если в обычном случае смысл порождает текст, то здесь, напротив, текст порождает смысл. Перефразируя Стефана Яворского, мы могли бы сказать, что поэт мыслит «тропическим разумом»¹⁰.

* * *

Поэтическая речь противопоставлена обычной, профанной речи метафорическим употреблением. Вместе с тем, поэтическая речь определенным образом связана с обычной речью — постольку, поскольку, отталкиваясь от обычной речи, она может быть получена из нее: обычная речь может быть преобразована, трансформирована в поэтическую. И напротив: в некоторых случаях поэтическая речь может быть обратным образом преобразована в обычную речь; в этих случаях мы можем исследовать, так сказать, АНАТОМИЮ МЕТАФОРЫ. Иначе говоря, мы можем расчлнить метафорический текст, производя, так сказать, обратный ход действий — восстановив то прямое употребление, на котором основывается употребление метафорическое. В результате мы получаем возможность наблюдать процесс порождения метафорического текста.

Такой вид метафоры, как кажется, особенно характерен для поэзии Мандельштама: очень часто здесь мы можем не только определить значение слова в переносном употреблении, но и восстановить то слово, которое стоит за данным употреблением и которое задает, таким образом, исходный контекст. Иначе говоря, слово в переносном значении (в метафорическом употреблении) может заменять у Мандельштама вполне конкретное слово (которое отвечает прямому употреблению); оба слова — реально употребленное и то, которое стоит за ним, — и создают новый образ. Оба слова при этом обычно обнаруживают какое-то сходство — как правило, они изоритмичны и фонетически схожи.

Исследователи метафоры в поэзии Мандельштама обычно восстанавливают значение слова, обращаясь к внеязыковому — историческому и биографическому — «контексту» или «подтексту» (ища, например, биографические или какие-либо иные реминисценции, оправдывающие переносное употребление)¹¹. Нас же интересует собственно языковая мотивированность мандельштамовской метафоры. Очень часто метафора Мандельштама — это не что иное, как метаморфоза, и таким образом к поэтике Мандельштама в полной мере относится то, что сам он писал о Данте: «Научное описание дантовской Комедии < . . . > неизбежно приняло бы вид трактата о метаморфозах и стремилось бы проникать в множественные состояния поэтической материи, подобно тому, как врач, ставящий диагноз, прислушивается к множественному единству организма. Литературная критика подошла бы к методу живой медицины» («Разговор о Данте», 2).

Обратимся, например, к стихотворению, которое мы уже цитировали выше:

И расхаживает ливень
С длинной плеткой ручьевой.

(Из «Стихов о русской поэзии»)

Для того, чтобы получить из метафорического текста обычный текст (отвечающий прямому, а не переносному употреблению), мы должны, по-видимому, как-то заменить в нем слово *ливень* (поскольку оно употреблено здесь метафорически). Вместе с тем, кажется ясным, какое именно слово должно быть подставлено вместо данного: надо полагать, что это слово *парень*. Фонетическое сходство обоих слов позволяет легко догадываться о субституте, и в то же время искомое слово предсказывается самим контекстом. Таким образом, слово *ливень* — реально употребленное — читается на фоне не произнесенного вслух, но ожидаемого слова *парень*; оба слова как бы соединяются, образуя единый семантический спектр¹². Вместе с тем, этот образ поддерживается фразеологизмом *дождь идет* — поскольку дождь может «ходить», ливень может «расхаживать».

Равным образом можно предположить, что эпитет *торговый* в этом стихотворении выступает вместо *торцовый*:

Катит гром свою тележку
По торговой мостовой...¹³

Оба слова семантически объединяются, и раскаты грома предстают как перекаты тележки, скачущей по торцам мостовой.

Вот еще пример такого же рода:

Но сильней всего непрочно-
Выпуклых голубизна:
Полукруглый лед височный
Речек, бающих без сна.

(«Как подарок запоздалый...»)

Слово *лед* явно заменяет здесь слово *лоб*, изоритмическое и фонетически близкое — так же, как и в предыдущих примерах, оба слова сливаются в поэтическом образе: описание замерзшей воды дается как описание выпуклого лба с голубыми прожилками на висках.

Другой пример:

Как мусор с ледяных высот
...

Вода голодная течет...

(«Грифельная ода»)

Кажется очевидным, что слово *голодная*, метафорически употребленное, заменяет здесь слово *толодная*, отвечающее прямому употреблению и ожидаемое в данном контексте.

Вот еще:

И не рисую я, и не пою,
И не вожу смычком черноголовым...

(«Вооруженный зреньем...»)

Слово *черноголовый*, по-видимому, выступает здесь вместо *черново-лосый*. Для того, чтобы понять эту ассоциацию, надо иметь в виду, что смычок для скрипки и других струнных инструментов делается из конского волоса, причем смычки из белого волоса ценятся больше, чем смычки из волоса черного; соответственно, начинающие музыканты пользуются обычно черноволосыми смычками.

Отметим еще:

Гниющей флейтою настраживает слух,
Кларнетом утренним зазывает ухо...

(«Чернозем»)

Ясно, что слово *настраживает* выступает здесь вместо *настраи-вает*: *настраивать* (музыкальный инструмент) превращается в *настраживать* слух — образ, который поддерживается выражением *быть настороже*.

В этом же стихотворении читаем:

Ну, здравствуй, чернозем: будь мужествен, глаза ст...
Черноречивое молчание в работе.

Эпитет *черноречивый* явно восходит в этом контексте к эпитету *красноречивый*.

Еще пример:

Омут ока удивленный,
Кинь его вдогонку мне!

(«Твой зрачок в небесной корке...»)

Слово *омут* при описании радужной оболочки глаза, по всей вероятности, заменяет слово *обод*: взгляд кидается как обод — подобно обручу в детской игре, — и этот образ находит поддержку в выражении *бросить взгляд*.

В подобных случаях для того, чтобы объяснить порождение метафоры, мы должны, констатировав необычное, переносное употребление того или иного слова, подобрать то слово, которое отвечало бы прямому употреблению и при этом было бы фонетически созвучным и, по возможности, изоритмичным. Таким образом мы получаем возможность определить, так сказать, языковую природу метафоры, ее внутреннюю форму; это нечто вроде языковой игры, отчасти напоминающей ребус или шараду. Такой прием был намечен еще Аристотелем, который говорит в «Поэтике»:

«< ... > достаточно вместо < ... > переносного < ... > слова подставить общеупотребительное, и видно будет, что мы говорим правду» («Поэтика», 22).

Восстанавливая исходное слово, которое участвует в поэтическом образе, мы нередко находим подтверждение нашему решению в других стихотворениях Мандельштама. Вот характерный пример:

Не у меня, не у тебя — у них
 Вся сила окончаний родовых:
 Их воздухом поющ тростник и скважист,
 И с благодарностью улитки губ людских
 Потянут на себя их дышащую тяжесть.
 («Не у меня, не у тебя...»)

Можно с полной уверенностью утверждать, что слово *улитки* предстает здесь как субститут слова *улыбки*. Характерно, что в другом своем стихотворении (совпадающем по времени написания), Мандельштам употребляет тот же образ, но при этом тут же его и раскрывает; в данном случае само стихотворение знаменательным образом называется «Рождение улыбки»:

Когда заулыбается дитя
 С развилкой и горести и сласти,
 Концы его улыбки, не шутя,
 Уходят в океанское безвластье.
 ...
 На лапы из воды поднялся материк —
 Улитки рта наплыв и приближенье...
 ...
 Улитка выползла, улыбка просияла,
 Как два конца их радуга связала...
 («Рождение улыбки»)

Вот другой, аналогичный пример:

Уносит ветер золотое семя, —
 Оно пропало — больше не вернется.
 («Феодосия»)

Слово *семя* здесь, кажется, выступает вместо *время*, с которым оно фонетически ассоциируется: *золотое время* представляет собой фразеологизм в русском языке, к которому и восходит, таким образом, выражение *золотое семя*. Эта замена мотивирована самой темой данного стихотворения, которое посвящено уходящему времени (и уходящему миру)¹⁴; тема времени вообще является одной из центральных тем сборника «Tristia», в составе которого находится это стихотворение¹⁵. При этом слова *семя* и *время* вообще,

по-видимому, могут ассоциироваться в мандельштамовской поэзии. Ср. в других стихах из того же сборника:

Их пища — время, медуница, мята.
 («Возьми на радость...»)

Время вспахано плугом, и роза землею была.
 («Сестры — тяжесть и нежность...»)¹⁶

Как видим, в этих примерах (близких по времени написания) слово *время* появляется в ботаническом или вегетативном контексте¹⁷.

Следующий пример:

Бежит волна — волной волне хребет ломая,
 Кидаюсь на луну в невольничьей тоске,
 И янычарская пучина молодая,
 Неусыпленная столица волновая,
 Кривеет, мечется и роет ров в песке.

А через воздух сумрачно-хлопчатый
 Неначатой стены мерещатся зубцы,
 И с пенных лестниц падают солдаты
 Султанов мнительных — рарбрызганы, разъяты —
 И яд разносят хладные скопцы.

(«Бежит волна...»)

Можно предположить, что слово *пучина* ассоциируется здесь со словом *дружина*. Ср. в стихотворении того же времени:

Но мне милей простой солдат
 Морской пучины...

(«Исполню дымчатый обряд...»)

Как видим, слово *пучина* в принципе может иметь у Мандельштама военные коннотации, и это, как кажется, подтверждает правильность нашей интерпретации: волнующееся море предстает в виде янычарской дружины, идущей на приступ¹⁸.

Итак, как правило, соотносимые слова изоритмичны и обнаруживают фонетическое сходство. В редких случаях одно из этих условий может не выполняться. Вот, например:

Еще обиду тянет с блюда
 Невыспавшееся дитя...

(«О, как мы любим лицемерить...»)

Слово *обиду*, несомненно, воспринимается на фоне слова *еду*, с которым оно ассоциируется не только по смыслу, но и по форме¹⁹. В данном случае соотносимые слова не изоритмичны, но это не типично.

Или другой пример:

Прозрачная весна над черною Невою
Сломалась, воск бессмертья тает.

(«На страшной высоте блуждающий огонь...»)

Слово *весна*, по-видимому, заменяет здесь слово *свеча*: образ сломавшейся свечи, с которой капает тающий воск, определяет восприятие смерти Петрополя. Одновременно «прозрачная весна» — это типичный образ у Мандельштама, ср. «прозрачная весна» в стихотворении «Мне холодно. Прозрачная весна...», а также «прозрачно-серая весна» в стихотворении «Еще далеко асфodelей...». Уместно отметить при этом, что стихотворение «Мне холодно. Прозрачная весна...» было опубликовано вместе со стихотворениями «Не фонари сияли нам, а свечи...» и «В Петрополе прозрачным мы умрем...» — в первоначальной публикации эти стихи выступали как три строфы одного стихотворения, посвященного Петрополю-Петербургу (см.: «Ипокрена», 1918, № 2–3, с. 28); весна, смерть и свеча связаны здесь в одном тематическом цикле. С этим циклом явно перекликается разбираемое нами стихотворение: наряду с эксплицитно представленными образами весны и смерти, в нем подспудно присутствует и образ свечи. Слова *весна* и *свеча* не ассоциируются по форме, но при этом они изоритмичны.

Иногда поэт сам подсказывает нам, какое именно слово стоит за словом в переносном употреблении. Вот пример:

Квартира тиха, как бумага —
Пустая, без всяких затей...

(«Квартира тиха...»)

Фраза *квартира тиха, как бумага* представляет собой очевидную метафору: так не говорят в обычной речи. Вместе с тем, легко угадывается то слово, которое стоит за словом *тихий* — это слово *пустой*. В самом деле, фраза *квартира пуста, как бумага* вполне соответствует обычному речевому узусу: как квартира, так и страница может быть пустой, незаполненной; напротив, предикат *тихий* может естественным образом относиться к квартире и лишь в переносном смысле — к бумаге.

Соответственно, фраза *квартира пуста, как бумага* порождает фразу *квартира тиха, как бумага*. Замечательно при этом, что расшифровка этого образа дается в непосредственно следующей за ним строке (*пустая без всяких затей*). Таким образом, здесь как бы подсказывается то слово, которое стоит за метафорически употребленным. При этом обнажается структура тропа — порождающая модель метафорического употребления. Кажется, что

этот прием — мы могли бы назвать его приемом «обнажения метафоры» — особенно характерен для позднего Мандельштама.

Усложнение этого приема может приводить к своего рода метатезе, когда в тексте фигурируют два слова, каждое из которых употреблено вместо другого. Так, стих

Вода их учит, точит время

(«Грифельная ода»)

представляет собой трансформацию фразы «*Вода их точит, учит время», где представлены предикаты²⁰. В результате как *вода*, так и *время* выступают как метафоры, причем *вода* оказывается метафорическим обозначением времени, а *время*, напротив, — обозначением воды.

Аналогичная перестановка эпитетов имеет место в стихах:

Колхозного бая качаю,
Кулацкого пая пою.

(«У нашей святой молодежи...»)

Н. Я. Мандельштам вспоминала: «Он сам смеялся над этими стихами: смотри, перепутал — *колхозный бай и кулацкий пай*»²¹.

Вернемся к стихам «Квартира тиха, как бумага...». Вот другой пример такого рода:

Еще машинка номер первый едко
Каштановые собирает взятки,
И падают на чистую салфетку
Разумные, густеющие прядки.

(«Еще мы жизнью полны...»)

Слово *взятки* в этом контексте — очевидная метафора²², и столь же очевидно, что это слово заменяет здесь слово *прядки*, которое и лежит, таким образом, в основе метафорического употребления. Это исходное слово мы встречаем вслед за тем в том же тексте. Так же как и в рассмотренном выше примере, Мандельштам сначала дает переносное, а затем мотивирующее его прямое употребление: сперва нам предлагается метафорический образ, а затем — расшифровка этого образа. Он ставит перед нами задачу, и сам подсказывает ее решение.

Или еще:

Плод нарывал. Зрел виноград.

(«Грифельная ода»)

Слово *нарывал* предстает здесь в переносном значении и за ним стоит, очевидно, слово *созревал* (или *назревал*), подсказанное в следующей фразе.

Вот еще менее явный случай:

Песнь одноглазая, растущая из мха, —
Одноголосый дар охотничьего быта...

(«Пою, когда гортань сыра...»)

За словом *одноглазая* угадывается слово *одногласая*, и это становится ясным благодаря слову *одноголосый*, раскрывающему данный образ²³: то, что является «одноголосым» или «одногласым» в плане акустического восприятия, оказывается «одногласым» в плане восприятия зрительного. Итак, ассоциация эпитетов *одноглазый* и *одногласый* превращает *песнь одногласую* в *песнь одноглазую*, и мы едва ли могли бы понять этот образ, если бы сам поэт не подсказал нам решения²⁴.

Ср. сознательное обыгрывание этого приема:

Вехи дальние обоза
Сквозь стекло особняка.
От тепла и от мороза
Близкой кажется река.
И какой там лес — еловый? —
Не еловый, а лиловый,
И какая там береза,
Не скажу наверняка, —
Лишь чернил воздушных проза
Неразборчива, легка...

(«Вехи дальние...»)

Еловый лес оборачивается здесь *лиловым лесом*, и пейзаж превращается в текст, написанный чернилами: ассоциация с чернилами раскрывается при этом в самом тексте данного стихотворения²⁵.

Вот несколько более сложный пример:

Неужели я увижу завтра —
...
Вас, банкиры горного ландшафта,
Вас, держатели могучих акций гнейса.

(«Канцона»)

Выражение *банкиры ландшафта* представляет собой поэтический образ; в то же время выражение *держатели акций* вполне обычно, т. е. отвечает обычному употреблению. Соответственно, фраза *держатели акций гнейса* порождает фразу *банкиры горного ландшафта*. Слово *могучий* приложимо при этом как к акциям, так и к горным породам — оно объединяет, тем самым, разные семантические поля. И здесь также сначала дается образ, а затем следует его расшифровка.

При этом смысловые и фонетические ассоциации могут дополнять друг друга, одновременно участвуя в создании поэтического образа. Так, например, в строке

Для женщины воск, что для мужчины медь.

(«Tristia»)

слово *медь*, по-видимому, объединилось с *мед*: семантическая ассоциация воска и меда²⁶ сочетается с фонетической ассоциацией меда и меди, о которой Мандельштам специально говорит в связи с обсуждением творчества Данте, ср. «Семантические циклы дантовских песней построены таким образом, что начинается, примерно, *мед*, а кончается — *медь* <... >» («Разговор о Данте», 2)²⁷. В данном случае семантическая ассоциация реализуется синтагматически, а фонетическая — парадигматически²⁸.

Особо должны быть отмечены случаи, когда слова, совпадающие или же очень близкие по форме, предстают у Мандельштама, в сущности, как одно слово (объединяющее значения этих исходных слов): в результате омонимии (или квази-омонимии) превращается в полисемию. В подобных случаях полное или частичное совпадение двух слов заставляет ассоциировать их семантически. Вот характерный пример:

И я выхожу из пространства
В запущенный сад величин
И мнимое рву постоянство
И самосознание причин.

И твой, бесконечность, учебник,
Читаю один, без людей, —
Безлиственный, дикий лечебник,
Задачник огромных корней.

(из «Восьмистиший»)

Образ *сад величин* является странным и сам по себе нуждается в расшифровке. Вместе с тем, он становится ясным из дальнейшего, поскольку мы видим, что здесь обыгрываются два значения слова *корень* — ботаническое (корень растения) и математическое (корень, извлекаемый из числа)²⁹. В обычной речи эти два значения предстают как омонимические, однако в поэтическом коде данного стихотворения они не противопоставляются друг другу, но напротив — объединяются, одновременно присутствуют и, тем самым, мотивируют употребление данного слова. *Сад величин* означает, таким образом, то же, что и *сад корней*, — и, напротив, *задачник корней* может по той же логике определяться здесь не только как *учебник*, но и как *лечебник*. Опять-таки и в этом случае, как и в предыдущих, сперва дается метафорический образ — в качестве

своего рода загадки, — а затем следует расшифровка этой загадки, т. е. раскрываются семантические основания, мотивирующие подобное употребление.

Совершенно так же в стихотворении «Ленинград» обыгрываются два значения слова *звонок*: предметное и акустическое. Ср.:

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок.
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

(«Ленинград»)

Поэт (или его лирический герой) ожидает ареста и представляет, как в его квартиру врываются «дорогие гости», т. е. чекисты. При этом в обычной речи едва ли возможно сказать: **звонок ударяет в висок*; можно сказать *звонок ударяет в уши*, и мы можем предположить, что имеется в виду акустический эффект резкого звука. Этому предположению, однако, противоречит фраза *вырванный с мясом звонок*, где слово *звонок*, несомненно, обозначает материальный предмет, т. е. речь идет о звонке, вделанном в дверь³⁰. Ясно, что поэт использует оба значения этого слова, которые в обычной речи омонимически противопоставлены друг другу. Соответственно, фраза *звонок ударяет в висок* может вызывать ассоциацию со сценой избиения.

Итак, в основе данного образа лежат, по-видимому, следующие фразы, вполне обычные для русского языка (т. е. соответствующие прямому, а не переносному употреблению):

вырванный с мясом звонок
звонок ударяет в уши
(*некто*) *ударяет в висок*

Объединение этих фраз и создает предельно насыщенную картину, в которой сконцентрировано, таким образом, несколько тем. Можно сказать, что в каждой строфе цитированного отрывка перед нами предстает монтаж из двух сцен, которые как бы объединены в одном кадре. Так в первой строфе звонок вызывает в сознании сцену избиения; во второй строфе ожидание ареста мотивирует описание тюремного заключения.

Точно так же в стихотворении «10 января 1934», где описывается прощание с Андреем Белым, обыгрываются, по-видимому, два значения слова *мех*. Ср.:

Дышали шуб меха, плечо к плечу теснилось...
(«10 января 1934»)

Если выражение *шуб меха* относится к одежде, то выражение *дышали меха* вызывает ассоциацию с мехами музыкального инструмента. Этому отвечают темы мороза и музыки, фигурирующие в этом стихотворении.

Аналогичным образом слово *век* явно соотносится в поэзии Мандельштама со словом *веки*, в результате чего мы регулярно встречаем ассоциацию века со зрением, с глазами и т. п.³¹. Вот, например:

Кто веку поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших...

...

Два сонных яблока у века-властилина
И глиняный прекрасный рот...

...

О глиняная жизнь! О умиранье века!

...

Какая боль — искать потерянное слово,
Больные веки поднимать...

(«1 января 1924»)

Ср. вариант той же темы:

Два сонных яблока у века-властилина
И глиняный прекрасный рот...

...

И с веком поднимал болезненные веки —
Два сонных яблока больших...

...

И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке
Век умирает, а потом
Два сонных яблока на роговой облатке
Сияют перистым огнем.

(«Нет, никогда ничей я не был современник...»)

И другое стихотворение, целиком посвященное веку, начинается и кончается мотивом зрения:

Век мой, зверь мой, кто сумеет
Заглянуть в твои зрачки
И своею кровью склеит
Двух столетий позвонки?

...

Но разбит твой позвоночник,
Мой прекрасный жалкий век!
И с бессмысленной улыбкой
Вспять глядишь, жесток и слаб...

(«Век»)

Ср. еще:

Средь народного шума и спеха,
На вокзалах и пристанях
Смотрит века могучая вежа
И бровей начинается взмах.

(«Средь народного шума...»)

Отметим также несколько менее явный случай:

Твой зрачок в небесной корке,
Обращенный вдаль и ниц,
Защищают оговорки
Слабых, чующих ресниц.

...

Он глядит уже охотно
В мимолетные века,
Светлый, радужный, бесплотный,
Умоляющий пока.

(«Твой зрачок...»)

Как видим, и в этом случае мотив века связан с мотивом зрения — и это можно объяснить, только исходя из ассоциации века во временном значении и века в значении биологическом.

* * *

Приведенные примеры при всем их разнообразии обнаруживают несомненное и вполне очевидное сходство. Действительно, во всех этих случаях одно слово — реально присутствующее в тексте — выступает вместо другого, явно не выраженного, но имплицитно подразумеваемого. Точнее всего об этом сказал сам Мандельштам:

Часто пишется *казнь*, а читается правильно *песнь*,
Может быть, простота — уязвимая смертью болезнь...

(«Голубые глаза и горячая лобная кость...»)

Или еще:

Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла.

(«Нашедший подкову»)

К этой же теме он возвращается и в «Разговоре о Данте»: «Когда мы произносим, например, *солнце*, мы не выбрасываем из себя готового смысла — это был бы семантический выкидыш, — но переживаем своеобразный цикл. Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. Произнося *солнце*, мы совершаем как бы огромное путешествие, к которому настолько привыкли, что

едем во сне. Поэзия тем и отличается от автоматической речи, что будит нас и встряхивает на середине слова. Тогда оно оказывается гораздо длиннее, чем мы думали, и мы припоминаем, что говорить — значит всегда находиться в дороге. Семантические циклы дантовских песней построены таким образом, что начинается, примерно, *мед*, а кончается — *медь*, начинается *лай*, а кончается — *лед*» («Разговор о Данте», 2). И так, за каждым словом стоит какое-то другое слово, и порождая слово в процессе поэтического творчества, мы всегда находимся в дороге — в дороге парадигматических ассоциаций³². Соответственно, Данте характеризуется как «колебатель смысла и нарушитель целостности образа» (там же, 5). Эта характеристика в полной мере относится и к самому Мандельштаму³³.

Итак, сближение слов обуславливает в поэзии Мандельштама их семантическую ассоциацию. В результате поэт не только исходит из смысла — он одновременно и творит смысл: семантическое поле слова расширяется, включая в себя значение другого слова, и для того, чтобы понять смысл высказывания, мы должны учитывать оба значения; Мандельштам имел все основания определять себя как «смысловика»: «мы — смысловики», — заявлял он подобно тому, как ремесленники говорят о себе «мы плотники» или «мы сапожники»³⁴. Таким образом создается, в сущности, новый язык, где слова обладают принципиально иными — и при этом гораздо более широкими — возможностями, нежели в обыденном, повседневном языке³⁵.

Это сближение основывается прежде всего на формальном сходстве, и, соответственно, такого рода сходство может представлять как неслучайное, семантически мотивированное, т. е. отражающее некую онтологическую реальность. Характерным образом в том же «Разговоре о Данте» Мандельштам сравнивает форму с губкой, из которой выжимается содержание, — содержание как бы заложено в форме, нужно только его получить, выжать, используя те потенциальные возможности, которые заданы формой («Разговор о Данте», 2). Тем самым, поэтическое творчество предстает как припоминание, своего рода *ἀνάμνησις*, т. е. восстановление исконных онтологических связей, скрытых в языковой материи, и не случайно Мандельштам говорит в одном из своих стихотворений о «воспоминающем топоте губ» («Флейты греческой тэта и йота...»)³⁶; и в другом случае поэт говорит о том, как в своих стихах он «вспоминает наизусть и всуе» («Вооруженный зрением...»)³⁷.

Так восстанавливается первозданность «слова как такового», первоначальная нерасчлененность его смыслов: слово предстает, так сказать, в его эмбриональной сущности, как пучок потенциальных возможностей, которые и раскрываются в поэтическом твор-

честве. Поэтический язык мыслится вообще как онтологическая данность, как стадиально первичное явление, существующее «до опыта»; в этом смысле творческий процесс — это возвращение к первоосновам языка, а в конечном счете и к первоосновам бытия³⁸.

Отсюда ассоциативные связи получают вообще в творчестве Мандельштама особое значение и особую функцию. Действительно, при таком подходе в принципе становится оправданным и осмысленным соединение слов, близких по своей форме, столь характерное для его стихов. Ср., например:

И когда я наполнился морем —
Мором стала мне мера моя.
(«Флейты греческой тэта и йота...»)

Ах, тяжелые соты и нежные сети!
Легче камень поднять, чем имя твое повторить.
(«Сестры — тяжесть и нежность...»)

Вооруженный зреньем узких ос,
Сосущих ось земную, ось земную...
(«Вооруженный зреньем...»)

Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей.
(«Соломинка»)³⁹

Иногда мы наблюдаем откровенное обнажение этого приема, как, например, в следующих стихах:

Долго ль еще нам ходить по гроба,
Как по грибы деревенская девка?..
(«Дикая кошка — армянская речь...»)

Совершенно очевидно, что фраза *ходить по гроба* возникает по аналогии с *ходить по грибы*, и эта ассоциация не скрывается от читателя⁴⁰.

Может быть, всего отчетливее и откровеннее такой подход проявляется в стихотворении «Жил Александр Герцевич...», где скрипяч последовательно именуется то Александр Герцевич, то Александр Сердцевич, то Александр Скерцович: *Герц* переводится как *сердце* (ср. *herz* «сердце»), а *сердце*, в свою очередь, ассоциируется со *скерцо*:

Что, Александр Герцевич,
На улице темно?
Брось, Александр Сердцевич,

Чего там! Все равно!

...

Все, Александр Герцевич,
Заверчено давно,
Брось, Александр Скерцович,
Чего там! Все равно!

(«Жил Александр Герцевич...»)

Таким образом, близость слов — как фонетическая, так и смысловая — обуславливает их взаимозаменяемость.

Собственно говоря, даже и рифма может получать при этом семантическую мотивировку. Н. Я. Мандельштам отметила, что рифмы *кутерьма* и *тьма* в «Стансах» — при описании попытки самоубийства поэта после его ареста и ссылки — вызывает в сознании произнесенное слово *тюрьма*⁴¹. Совершенно так же в стихотворении «Посох» не названо ключевое слово *пилигрим*, отголоски которого представлены при этом в рифмах *палим* и *Рим*⁴².

Итак, когда поэт говорит в шуточном стихотворении

И глагольных окончаний колокол
Мне вдали указывает путь...

(«И глагольных окончаний...»),

мы, видимо, должны отнести к этому признанию со всей серьезностью.

* * *

В какой мере рассмотренный подход специфичен для Мандельштама? Вообще говоря, нечто подобное может наблюдаться иногда и у других поэтов. Так, например, у Жуковского мы читаем:

Их [небес] блаженства пролетая...

...

Там, в блаженствах безответных.

(«Алонзо»)

Ясно, что слово *блаженство* заменяет здесь фонетически близкое слово *пространство*, которое и определяет поэтическое употребление⁴³. Совершенно так же и в цитированном в начале нашей работы отрывке из пушкинского «Евгения Онегина» слово *келья* обнаруживает фонетическое сходство со словом *улей*. В этом смысле приведенные примеры никак нельзя признать уникальными.

В то же время у Мандельштама, как мы убедились, примеры такого рода обнаруживают вполне очевидную последовательность.

Более того: мы видели, что семантическая актуализация ассоциативных связей, объединение значений соотносимых слов выступает здесь как вполне осознанный поэтический прием. Так, в частности, говоря о Данте, Мандельштам по существу описывает принципы своей собственной поэтики; вообще «Разговор о Данте» имеет, кажется, не меньшее — если не большее — отношение к поэзии Мандельштама, чем к поэзии Данте: это своего рода литературный автопортрет⁴⁴. Во всяком случае собственные стихи Мандельштама могут служить наглядной иллюстрацией к тезису о том, что «только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение».

Примечания

¹ Термин «метафора» понимается нами в широком смысле, а именно как вид тропа, противопоставленный метонимии (ср.: Томашевский, 1927, с. 30 и сл.). Мы исходим при этом из определения Аристотеля, согласно которому метафора представляет собой скрытое сравнение («Риторика», III).

² См.: Блок, 1989, с. 305.

³ Как отмечает Ю. И. Левин, «через весь текст [данного стихотворения] проходит (внефабульным образом, преимущественно в тропах) сквозная тема, которую можно условно назвать темой боли» (см.: Левин, 1972, с. 38–39).

⁴ См. еще: «Над желтизной правительственных зданий. . .» в «Петербургских строфах». Ср. обыгрывание того же образа во фразе «жельч двуглавого орла» в стихотворении «Дворцовая площадь», написанном вскоре после Февральской революции: Мандельштам одновременно говорит здесь о желтизне Петербурга и о той желчи, которую испускает двуглавый орел — символ империи.

⁵ Ср. тему обратного времени, типичную вообще для Мандельштама (см.: Террас, 1969, с. 351; Тарановский, 1976, с. 122). Сам поэт писал в этой связи: «Время может идти обратно: весь ход новейшей истории < . . . > свидетельствует об этом < . . . >. Христианское летоисчисление в опасности, хрупкий счет годов нашей эры потерян — время мчится обратно с шумом и свистом, как прегражденный поток < . . . >» («Пушкин и Скрябин»).

⁶ При этом противопоставление «я — ты» в этом стихотворении соответствует противопоставлению «Петербург — Ленинград» (ср.: Левин, 1972, с. 43): подобно тому как один и тот же человек (лирический субъект) может именоваться то одним, то другим местоимением, так и город может называться то одним, то другим именем. Характерно, что сам поэт, говоря от первого лица, называет город «Петербургом», однако, когда к нему обращаются во втором лице, город называется «Ленин-

градом»; итак, возвращение в детство — это возвращение из Ленинграда в Петербург.

⁷ В последней фразе может быть усмотрена реминисценция тютчевского стихотворения «Она сидела на полу. . .». Ср. здесь:

Как души смотрят с высоты
На ими брошенное тело. . .

⁸ Надо иметь в виду, что слово и образ в принципе не противопоставляются у Мандельштама, но выступают как равнозначные понятия: «По существу нет никакой разницы между словом и образом», — заявляет он в статье «О природе слова» (из книги «О поэзии»). Таким образом, под словом понимается совокупность возможных смысловых обертонов, которые несводимы к какому-либо конкретному содержанию.

⁹ С этим высказыванием явно перекликаются строки, как бы ему полемически противопоставленные:

Не сравнивай: живущий несравним.
С каким-то ласковым испугом
Я соглашался с равенством равнин,
И неба круг мне был недугом.
(«Не сравнивай. . .»)

¹⁰ Выражение из неизданного сочинения Стефана Яворского «Апология или словесная оборона о возношении явственным и воспоминании в молитвах церковных святейших православных патриархов» 1721 г. (рукопись московского Исторического музея, Уваровское собр. 1728/378/588, л. 2 об.-3); ср.: Успенский, 1987, с. 286. Выражение «тропический разум» представляет собой кальку с латинского «sensum tropicum».

¹¹ Ср. работы К. Ф. Тарановского и его последователей. См., в частности: Тарановский, 1976; Ронен, 1973; Ронен, 1983; Левинтон и Тименчик, 1978; Лотман, 1984. В школе Тарановского принято различать КОНТЕКСТНЫЕ (взятые поэтом из собственных произведений) и ПОДТЕКСТНЫЕ образы (почерпнутые из произведений других авторов).

¹² Этот пример был в свое время рассмотрен в работе: Успенский, 1970, с. 125–126. Предложенная здесь интерпретация встретила сочувственный отклик Н. Я. Мандельштам.

¹³ Ср. в первоначальной редакции стихотворения «Царское Село»:

Плывет дворцовая карета
. . .
Вдоль по торцовой мостовой. . .

¹⁴ Ср. здесь, в частности, заключительную строфу:

Здесь девушки стареющие, в челках,
Обдумывают странные наряды,

И адмиралы в твердых треуголках
Припоминают сон Шехерезады.
Прозрачна даль...

¹⁵ Ср., в частности, стихотворение «Tristia», ключевое для всего сборника.

¹⁶ Ср. комментарий Мандельштама в статье того же времени: «Поэзия — плуг, взрывающий время так, что глубинные слои времени, его чернозем, оказываются сверху» («Слово и культура»).

¹⁷ Эта ассоциация навеяна, возможно, стихами Вячеслава Иванова:

Мы бросили довременное семя
В твои бразды, беременное Время...

(Венок сонетов из «Cot ardens»)

Об отражении этих строк в других стихах Мандельштама см.: Ронен, 1983, с. 240.

¹⁸ Одновременно янычарская дружина сравнивается здесь с бешеной собакой, которая кидается на луну, мечется и роет ров в песке. Янычары и псы естественным образом ассоциируются по целому ряду признаков — их объединяют, в частности, такие признаки, как свирепость, натасканность, невольничье положение и, наконец, противопоставленность христианской вере, ср. устойчивое фразеологическое сочетание *собака татарин*, отразившееся, в частности, в эпическом образе «собаки Калина-царя» (см. в этой связи: с. 92 наст. изд.)

Ассоциация моря с янычарами обуславливает восточный антураж данного стихотворения, т. е. появление таких литературных образов (непосредственно уже не связанных с содержанием стихотворения), как «султаны мнительные» или «хладные скопцы». Выражение *хладные скопцы* — образ, заимствованный у Пушкина: введение восточной темы мотивирует в данном случае реминисценцию из «Бахчисарайского фонтана» (ср. еще тот же образ у Пушкина и в стихотворении «Поэт и толпа»).

¹⁹ Ср.: Успенский, 1970, с. 125. Обсуждая нашу интерпретацию данного стихотворения, О. Ронен замечает, что *вода* представляет собой, возможно, более вероятную интерпретацию, чем *еда* (см.: Ронен, 1983, с. 252, примеч. 36). Едва ли с этим можно согласиться: дети не пьют обычно воду с блюда, однако им дают на блюде жидкую еду.

²⁰ Эта исходная фраза, по-видимому, восходит к латинскому изречению «Littera docet, littera nocet» (см.: Ронен, 1983, с. 128).

²¹ См.: Мандельштам, 1990, с. 235. Выражение *колхозный бай* встречается у Мандельштама в стихотворении (того же времени) «Квартира тиха, как бумага...»

²² Слово *взятки* в данном случае — по-видимому, форма множественного числа от *взяток* «добыча пчелы: то, что пчела собирает с

цветка». Тем самым, это стихотворение соприкасается с пчелиным циклом мандельштамовских стихов (ср. в этой связи об образе пчелы в поэзии Мандельштама: Тарановский, 1976, гл. V).

²³ Ассоциация славянизмов и коррелирующих с ними русизмов достаточно типична для Мандельштама. Так, *виноград* и *город* могут ассоциироваться в его стихах именно потому, что компонентом слова *виноград* является корень *град*, непосредственно коррелирующий с *город* (см.: Шиндин, 1991, с. 499). Ср.:

Шевелящимися виноградинами
Угрожают нам эти миры
И висят городами украденными
...

Золотые созвездий жиры.

(«Стихи о неизвестном солдате»)

²⁴ Ср. замечание Мандельштама о том, что «глаз — орган, обладающий акустикой» («Путешествие в Армению», глава «Французы»). Та же тема прослеживается и в стихотворении «Не искушай чужих наречий»:

Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас,
Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз?

Любопытно отметить, вместе с тем, что образ одноглазой песни, растущей из мха, соответствует значению слова *око*, а также производному от него *окно* в разных славянских языках — и то, и другое слово может означать «углубленное место в стоячей воде, в болоте или трясины», т. е. ассоциироваться как с глазом, так и с болотом (см.: Исаченко, 1957, с. 313). Не исключено, таким образом, что данный образ в какой-то мере отражает знакомство поэта со славянскими языками.

²⁵ Ср. в этой связи:

И пишут звездоносно и хвостато
Толковые, лиловые чернила.

(«Еще мы жизнью полны...»)

²⁶ Ср. выше (примеч. 22) о пчелиной тематике у Мандельштама.

²⁷ Ср. рассмотрение этих стихов у О. Гансен-Лебе: «The paronomasia between *med* and *med'* <...> is supplemented on the metonymic plane with the association of «wax» and «honey» (*med*)» (Гансен-Лебе, 1993, с. 146).

²⁸ И в другом стихотворении (того же времени) слова *воск* и *медь* встречаются друг с другом:

И ночь нарастает, унынья и меди полна,
И грубому времени воск уступает певучий.

(«Когда городская выходит на стогны луна...»)

Ср. также стихотворение «А посреди толпы...» (вариант отрывка из стихотворения «10 января»), где эпитет, образованный от слова *медь* (*меднохвойный*), определяет появление слова *воск*.

²⁹ В свою очередь, и эпитет *мнимый* может быть истолкован в математическом смысле, вызывая, в частности, ассоциацию с «мнимыми величинами». Не отразилось ли здесь знакомство Мандельштама с книгой П. А. Флоренского «Мнимости в геометрии» (1922)?

³⁰ В ленинградской квартире Е. Э. Мандельштама (брата поэта), где жили некоторое время О. Э. и Н. Я. Мандельштамы, был вырван звонок; хозяин квартиры устроил скандал, услышав стихотворение, где упоминается «вырванный с мясом звонок» (см.: Мандельштам, 1990, с. 197). Следует иметь в виду, что звонок в городских квартирах в это время представлял собой цепочку, за которую надо было дернуть.

³¹ Ср. указание на ассоциацию слов *век* и *веки* у Маяковского и Цветаевой: Ронен, 1983, с. 240–241.

³² Ср. сходные мысли у Хлебникова: «Слова особенно сильны, когда они имеют два смысла, когда они живые глаза для тайны и через слюду обыденного смысла просвечивает второй смысл <... >» (Хлебников, V, с. 169); «Слово особенно звучит, когда через него просвечивает иной, “второй смысл”, когда оно стекло для смутной закрываемой им тайны, спрятанной за ним. Тогда через слюду и блеск обыденного смысла светится второй <... >. Это речь дважды разумная, двоякоумная, двуумная. Обыденный смысл — лишь одежда для тайного» (ЦГАЛИ, ф. 527, опись 1, № 72, л. 1; см.: Врон, 1993, с. 351).

³³ Ср. в этой связи комментарий Н. Я. Мандельштам к стихотворению «Холодная весна. Голодный Старый Крым...»: «“Рассеянная даль” была вначале “расстрелянной”, но это показалось О. М. чересчур прямым ходом» (см.: Мандельштам, 1990, с. 231).

³⁴ См.: Мандельштам, 1982, с. 195.

³⁵ Ср. в этой связи: «Вопреки тому, что принято думать, поэтическая речь бесконечно более сыра, бесконечно более неотделанна, чем так называемая “разговорная”. С исполнительской культурой она соприкасается именно через это сырье» («Разговор о Данте»; из черновых записей).

³⁶ Ср. комментарий Н. Я. Мандельштам к этому стихотворению (посвященному описанию игры на флейте, но явно имеющему более общий смысл): «Только ли у флейтиста губы заранее знают, что они должны сказать? В процессе писания стихов есть нечто похожее на припоминание того, что еще никогда не было сказано. Что такое поиски “потерянного слова” — “я слово позабыл, что я хотел сказать, слепая ласточка в чертог теней вернется” [«Я слово позабыл...»], — как не попытка припоминания еще несуществующего? Здесь есть та сосредоточенность, с которой мы ищем забытое, и оно внезапно вспыхивает в сознании» (Мандельштам, 1982, с. 195).

В этом же плане должен восприниматься, по-видимому, и образ «мыслящего рта» у Мандельштама:

Ведь умирающее тело и мыслящий бессмертный рот
В последний раз перед разлукой чужое имя не спасет.

(«Не искушай чужих наречий...»)

В свою очередь этот образ дает ключ к пониманию образа умирающего (засыпающего) «века-властелина» с «глиняным прекрасным ртом» в стихотворениях «1 января 1924» и «Нет, никогда ничей я не был современник», которые мы цитировали выше. Характерно, что и здесь мы встречаем мотив поисков потерянного слова («Какая боль — искать потерянное слово...»).

³⁷ Не подлежит сомнению, что речь идет в этом случае именно об описании поэтического творчества. Действительно, эта фраза появляется в контексте перечисления разных видов творческой деятельности (ср. далее: «И не рисую я, и не пою, И не вожу смычком...»).

³⁸ Ср.: Успенский, 1990, с. 93–94.

³⁹ Аналогичные примеры можно найти и в мандельштамовской прозе, ср. хотя бы: «Цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает» («Разговор о Данте», 2).

⁴⁰ Ср. также:

День стоял о пяти головах, и, чумая от пляса,
Ехала конная, пешая, шла черновехая масса —
Расширьнем аорты могущества в белых ночах — нет в ножах —
Глаз превращался в хвойное мясо.

(«День стоял о пяти головах...»)

⁴¹ См.: Мандельштам, 1982, с. 204.

⁴² См.: Ронен, 1973, с. 370, примеч. 7.

⁴³ Ср. специальные доказательства признаков пространственности в этом словоупотреблении у Ю. Н. Тынянова. См.: Тынянов, 1965, с. 130–131.

⁴⁴ Ср. в этой связи: Левин, 1972а; см. также: Ронен, 1983, с. 48–50.

Показательно восприятие «Разговора о Данте» С. Б. Рудаковым, воронежским другом Мандельштама и исследователем его творчества, помогавшим ему готовить комментированное издание стихотворений. В письме к жене от 16 января 1936 г. Рудаков пишет, что «Разговор о Данте» — это «ключ ко многому, если не ко всему: положения, там трактуемые, очень четко сформулированы, но это все есть в его [Мандельштама] новых (30–35 гг.) стихах. Почти каждый абзац имеет себе стихотворную параллель»; или в письме от 22 марта 1936 г.: «Занимаюсь “Разговором о Данте” (собственно “о Мандельштаме” <... >)». Ср. также запись беседы с Мандельштамом от 3 апреля 1936 г.: «Все с

1930 года по воронежские стихи включительно, все стиховое было вокруг "Разговора о Данте", причем до него или после, но все смотрело на него. Или в Данте оправдываются готовые стихи, или стихи последующие его распространяют и оправдывают. Это "Разговор" о вас. Т. е. все, что вы думаете теоретически, вы изложили в порядке доказательств того, что Дант "хороший", "настоящий" (я упрощаю, но это значит, что "Дант и есть поэзия"), по смыслу же это было обсуждение вашей практики. И хотя Дант является сюжетом работы, его там меньше всего». Эта характеристика, насколько можно понять, не вызвала возражений Мандельштама. См.: Герштейн, 1986, с. 179, 183, 205).

5

Борьба идей в языке

К истории одной эпиграммы Тредиаковского (эпизод языковой полемики середины XVIII в.)

1. Эпиграмма Тредиаковского «Не знаю, кто певцов в стих кинул сумасбродный...» — впервые обнаруженная Афанасьевым (1859, стлб. 518–520) по рукописи так называемого Казанского сборника¹, перепечатанная затем Сухомлиновым (II, примеч., с. 138–139) и, наконец, недавно опубликованная в изд. «Поэты XVIII века» (II, с. 392–393) по той же рукописи с исправлениями по списку Г. Ф. Миллера² — датируется обычно либо 1753-м г. (Ломоносов, VIII, с. 1025; Поэты XVIII века, II, с. 393), либо 1755-м г. (Пекарский, 1865, с. 101; Пекарский, II, с. 179; Сухомлинов, II, примеч., с. 138–139). Основания для той и другой датировки будут рассмотрены ниже, тогда же будет предложена и более точная дата; пока нам достаточно констатировать, что эпиграмма эта написана — во всяком случае — в первой половине 1750-х гг.

Рассматриваемое произведение с полным основанием может считаться программным произведением, мимо которого не может пройти историк русского литературного языка XVIII в. В самом деле, здесь в полемической форме изложена языковая программа Тредиаковского во второй период его творчества. Если в молодости Тредиаковский ориентируется на западноевропейскую языковую ситуацию, стремясь перенести ее на русскую почву — иначе говоря, он стремится организовать русский литературный язык по подобию литературных языков Западной Европы, ориентировать его на разговорную речь и таким образом создать здесь литературный язык того же типа, что западноевропейские литературные языки, — то во второй период творчества (со второй половины 1740-х гг.) он, напротив, исходит из признания специфики языковой ситуации в России по сравнению с ситуацией во Франции или Германии и провозглашает необходимость дистанции между литературным и разговорным языком, как это имело место и ранее — в условиях церковнославянско-русской диглоссии, когда литературным языком был язык церковнославянский (см.: Успенский, 1976; относительно диглоссии на Руси см. вообще: Успенский, 1983; Успенский, 1987). Подобно церковнославянскому («славенскому») языку, русский литературный язык («славенорос-

сийский») понимается теперь Тредиаковским как язык книжный, письменный по преимуществу, который в принципе не может использоваться в качестве средства разговорного общения. Можно сказать, что Тредиаковский на этом этапе стремится воссоздать ситуацию диглоссии в специальных рамках гражданского языка: русский литературный язык мыслится, в сущности, как гражданский вариант церковнославянского, приспособленный к расширяющимся потребностям литературного развития. Отсюда определяется отношение как к церковнославянской языковой традиции, так и к разговорной речевой стихии. Если молодой Тредиаковский демонстративно отказывается от «глубокословных славенских» и призывает ориентироваться на разговорную речь (предисловие к «Езде в остров Любви» 1730 г. — Тредиаковский, 1730, [12]; Тредиаковский, III, с. 649), то позиция зрелого Тредиаковского диаметрально противоположна: «гражданский» литературный язык должен отталкиваться от разговорного («самого общего») и ориентироваться на церковнославянский; церковнославянский, соответственно, провозглашается «мерой чистоты» русской речи (см. ниже). Опора на церковнославянскую литературно-языковую традицию и определяет, по мысли Тредиаковского, специфику русской языковой ситуации по сравнению с западноевропейской: в отличие от французского и немецкого языков, «не имеющих кроме гражданского употребления», русский литературный язык имеет специальную книжную (литературную) языковую традицию, противопоставленную разговорной; отсюда «скудость и теснота Французская» противопоставляется «богатству и пространству Славенороссийскому» (предисловие к «Тилемахиде» 1766 г. — Тредиаковский 1766, с. LX, примеч. и с. LI; Тредиаковский, II, 1, с. LXXIV, примеч. и с. LXIII). Нетрудно заметить, что эта позиция очень близка к позиции Ломоносова, который также подчеркивает значение церковнославянской языковой традиции для создания русского литературного языка и, соответственно, специфику русской языковой ситуации: «<... >преимуществом Российский язык перед многими нынешними Европейскими, пользуясь языком Славенским из книг церковных» (рассуждение «О пользе книг церковных в российском языке» 1758 г., ср. также §116 ломоносовской «Российской грамматики» 1757 г. — Сухомлинов, IV, с. 227 и 53; Ломоносов, VII, с. 589 и 431). Эта позиция Ломоносова сложилась, может быть, под влиянием Тредиаковского; во всяком случае Тредиаковскому, несомненно, принадлежит приоритет в этом отношении³.

Именно эта языковая программа и сформулирована Тредиаковским в рассматриваемой эпиграмме, причем впервые она находит столь ясное, последовательное и декларативное выражение. Тре-

диаковский призывает здесь писателей «вникнуть в язык славенский наш степенный» и читать «святые книги»:

Славенский наш язык есть правило неложно,
Как книги нам писать, и чище коль возможно,
В гражданском и доднесь, однак не в площадном,
Славенском по всему составу в нас одном.
Кто ближе подойдет к сему в словах избранных,
Тот и любее всем писец есть, и не в странных.
У немцев то не так, ни у французов тож:
Им нравен тот язык, кой с общим самым схож.
Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щогольков, ниже и грубый деревенский.

Итак, «гражданский, но не площадной», т. е. русский литературный язык совпадает в своем составе с «славенским», т. е. церковнославянским языком, поэтому «кто ближе подойдет к сему в словах избранных, тот и любее всем писец есть»⁴; одновременно Тредиаковский предупреждает против употребления «странных», т. е. заимствованных слов, причем противопоставление славянизмов и заимствований (европеизмов) осмысливается, видимо, в плане оппозиции книжного и разговорного начала: славянизмы относятся к книжной языковой стихии, а европеизмы — к разговорной (ср.: 390–391 наст. изд.). Тредиаковский иллюстрирует свою мысль, приводя примеры этих «избранных слов» в литературном языке, которые предполагают ориентацию на церковнославянский и отталкивание от русского разговорного языка. Он рекомендует своему литературному противнику:

Пусть вникнет он в язык славенский наш степенный,
Престанет злобно врать и глупством быть надменный:
Увидит, что там злой кончится нежно злой
И что чермной мигун — мигатель там чермный,
Увидит, что там коль не за когда, но только
Кладется, как и долг, в количестве за сколько.
Не голос чтется там, но сладостнейший глас;
Читают око все, хоть говорят все ж глаз;
Не лоб там, но чело, не щеки, но ланиты,
Не губы и не рот — уста там багряниты;
Не нынь там и не вал, но ныне и волна.
Священна книга вся сих нежностей полна.
Но где ему то знать? он только что зевает,
Святых он книг отнюдь, как видно, не читает <... >⁵

Провозглашая свою языковую программу, Тредиаковский одновременно столь же ясно формулирует и программу своего оппонента — того, на кого направлена данная эпиграмма, — причем оказывается, что программа эта совпадает с программой самого

Тредиаковского в первый период творчества. Таким образом, этот оппонент является, в сущности, последователем молодого Тредиаковского, он фактически стоит на позициях, сформулированных Тредиаковским в его программных выступлениях 1730-х гг.; полемика Тредиаковского оказывается — под известным углом зрения — полемикой с самим собой. В самом деле, оппонент Тредиаковского характеризуется как сторонник ориентации на разговорное («площадное») употребление. Подобно молодому Тредиаковскому, он призывает писать, как говорят, т. е. стремится привести русский литературный язык в то же отношение к разговорной речи, какое имеет место во Франции или Германии, построить его по западноевропейской модели:

За образец ему в письме пирожной ряд,
На площади берет прегнусной свой наряд,
Не зная, что у нас писать в свет есть иное,
А просто говорить по-дружески — другое.
...
У немцев то не так, ни у французов тож:
Им нравен тот язык, кой с общим самым схож.
Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щогольков, ниже и грубый деревенский.

Ср. также:

Он красотой зовет, что есть языку вред:
Или ямщичей вздор, или мужицкий бред.
Пусть вникнет он в язык славенский наш степенный < ... >

Соответственно, этот оппонент Тредиаковского предстает как противник славянизмов:

Ты ж, ядовитый змий, или как любишь — змей,
Когда меня язвить престанешь ты, злодей!

На кого же направлена эпиграмма Тредиаковского? Вопрос этот представляется существенным. В самом деле, языковая программа молодого Тредиаковского (а также близкого к нему в это время Адодурова) — установка на разговорную речь, отказ от славянизмов и в конечном счете требование писать, как говорят, обнаруживает разительное сходство с позднейшей программой карамзинистов; можно сказать, что в обоих случаях имеет место сознательная ориентация на западноевропейскую языковую ситуацию. Это сходство позволяет видеть в деятельности молодого Тредиаковского начало того процесса, который получает окончательное оформление и более или менее широкое признание лишь к концу XVIII в. (см.: Успенский, 1976, с. 40; ср. также: Успенский, 1975).

Тредиаковский отказывается от этой программы, но, как мы видим, она продолжает пользоваться успехом: ее сторонником является, в частности, литературный противник Тредиаковского. Необходимо найти связующее звено между молодым Тредиаковским и карамзинистами, и ответ на сформулированный вопрос может способствовать решению этой общей проблемы.

2. Обстоятельства появления эпиграммы Тредиаковского более или менее очевидны. Она является ответом на сатиру Ломоносова «Искусные певцы всегда в напевах тщатся...» (см. изд.: Сухомлинов, II, с. 132; Ломоносов, VIII, с. 542), датированную 4–11 ноября 1753 г. (см.: Ломоносов, VIII, с. 1024; Летопись жизни Ломоносова, с. 225), поводом для написания которой послужили, в свою очередь, предложения Тредиаковского о правописании прилагательных в именительном падеже множественного числа.

Как известно, Тредиаковский в 1746 г. предложил славянизованное правописание, согласно которому прилагательные в мужском роде оканчиваются на -и, в женском на -е, в среднем на -я (см.: Вомперский, 1968; Сухомлинов, IV, примеч., с. 3–26). Это славянизованное правописание прилагательных противостоит правописанию, установленному в 1733 г., и в какой-то мере опирающееся на традицию приказного языка, которое предписывает окончание -е в мужском роде, -я в женском и среднем. Последнее правописание было, возможно, введено Адодуровым, в то время единомышленником Тредиаковского (ср.: Успенский, 1974; Успенский, 1975, с. 64–71); во всяком случае Адодуров регламентирует именно такое правописание в своей грамматике 1738–1740 гг. (Успенский, 1975, с. 31–34)⁶. Тем самым, эти противопоставленные друг другу системы орфографии отражают языковые установки, соответствующие разным этапам эволюции взглядов Тредиаковского на литературный язык⁷.

По поручению Академии наук Ломоносов тогда же (в 1746-м г.) написал возражения на предложение Тредиаковского, в которых, между прочим, ссылался на то, что предлагаемое Тредиаковским правописание приводит к какофонии: «< ... >помянутое окончание на и не мало воспящает употреблять Какофония, то есть звон слуху противной, от стечения гласных подобное произношение имеющих; ибо легче выговорить и приятнее слышать: истинные свидетели, нежели истиннии свидетели» (Пекарский, 1865, с. 118; Сухомлинов, IV, с. 3; Ломоносов, VII, с. 86)⁸. К этому вопросу — и той же аргументации — позднее Ломоносов возвратится в своей грамматике 1757 г. (в §119): «Чтож до слуху надлежит, в том уверяют музыканты [в немецком переводе грамматики 1764 г. — die Sanger „певцы“], которые в протяжных распевах не даром букву и обходят, не протягивая на ней долгих выходов, но выбирая к тому

а или е. Сверх того свойство нашего Российского языка убегает от скучной буквы и, которая от окончания неопределенных глаголов и от второго лица единственного числа давно отставлена, и вместо *писати, пишеша, напишеша*, употребляем, *писать, пишешь, напишешь*. Также и во множественном числе многих существительных вместо и выговаривают и пишут а: *облака, острова, луга, льса, берега, колокола, бока, рога, глаза*, вместо *облаки, острова, луги, льсы, береги, боки*, и протч. < . . . > Не должно в Российской язык вводить несвойственных безобразий, каковыя в *истинны извѣстии*, и во многих подобных не без отвращения чувствительны» (Сухомлинов, IV, с. 55–56; Ломоносов, VII, с. 432–433)⁹. В последней фразе, как видим, — прямая полемика с Тредиаковским¹⁰. То же самое говорит Ломоносов и в своей эпитафии 1753 г., написанной в период работы над «Российской грамматикой» и отражающей процесс этой работы. Ломоносов и здесь ссылается на требования благозвучия, причем здесь фигурируют те же примеры, что и в цитированном параграфе грамматики. Вот это стихотворение Ломоносова:

Искусные певцы всегда в напевах тщатся,
 Дабы на букве а всех доле остоятся;
 На е, на о притом умеренность иметь;
 Чрез у и через и с поспешностью лететь:
 Чтоб оным нежному была приятность слуху,
 А сими не принести несносной скуки уху.
 Великая Москва в языке толь нежна,
 Что а произносить за о велит она.
 В музыке что распев, то над словами сила;
 Природа нас блюсти закон сей научила.
 Без силы *бѣреги*, но с силой *берега*
 И *сныги* без нея мы говорим *сныга*.
 Довольно кажут нам толь ясныя доводы,
 Что ищет наш язык везде от и свободы.
 Или уж стало *иль*; коли уж стало *коль*;
 Изволи ныне все везде твердят *изволь*.
 За *спиши спишь*, и *спать* мы говорим за *спати*.
 На что же, Трисотин, к нам тянешь и не к'стати?
 Напрасно злобной сей ты предпринял совет,
 Чтоб л'стя тебе когда Российской принял свет
Свиньи визги вси и дикн и злыи
 И *истинны ти*, и *лживы и кривыи*.
 Языка нашего небесна красота
 Не будет никогда попрашна от скота.
 От яду твоего он сам себя избавит,
 И вред сей выплюнув, поверь, тебя заставит
 Скончать твой скверной визг стонанием совы,

Негодным в русской стих и пропастным увы!
 (Сухомлинов, II, с. 132; Ломоносов, VIII, с. 542)¹¹

Эпитафия Ломоносова больно задела Тредиаковского, и он откликнулся на нее как рассматриваемыми стихами («Не знаю, кто певцов в стих кинул сумасбродный. . .»)¹², так и новым трактатом о правописании прилагательных, в котором упоминаются некие авторы, «Эпитафками играющи» и «безъимьянная Пѣса [т. е. пѣса], начинающаяся искусными певцами» (Пекарский, 1865, с. 105, 116). Трактат Тредиаковского обнаруживает разительное сходство с его стихами: в сущности оба произведения говорят об одном и том же — в разной форме. Ср.: «Ведомо, что во-французском языке, дружеский разговор есть правило красным сочинениям [т. е. изящной словесности] (de la conversation a la tribune), для того что у них нет другаго. Но у нас дружеский разговор есть употребление простонародное; а краснейшее сочинение есть иное изряднейшее употребление, отменное от простаго разговора, и подобное больше книжному Славенскому, о котором-можно-праведно сказать, что-оно-есть-важное, приятное, дельное, сильное, философическое, приличествующее больше высоким наукам, нежели нежным, для того что Славенский язык есть мужественный. Никто не пишет ни письма́ о домашнем деле, чтоб он не тщался его написать отменнее от простаго разговора: так что сие всеобщим у нас правилом названо быть может, что "кто-ближе подходит писанием гражданским к Славенскому языку, или, кто-больше славенских обыкновенных и всех ведомых слов употребляет, тот у нас и не подло пишет, и есть лучший писец". Не дружеский разговор (la conversation) у нас правилом писания; но книжный церковный язык (la tribune), который-равно в духовном обществе есть живущим, как-и-бесѣдный в гражданстве. Великое наше счастье в сем, пред многими Европейскими народами!» (Пекарский, 1865, с. 109)¹³.

Трактат Тредиаковского был написан, по-видимому, в январе 1755 г. или, во всяком случае, не позднее этого времени; 1 февраля 1755 г. Тредиаковский читал свое «рассуждение о правописании прилагательных в именительном падеже множественного числа» на очередном заседании Конференции Академии наук (Протоколы АН, II, с. 322)¹⁴. Что же касается эпитафии Тредиаковского, то она, по-видимому, написана несколько раньше трактата о правописании. В самом деле, если в трактате 1755 г. Тредиаковский считает неуместным выражение *небесна красота* в применении к языку (Пекарский, 1865, с. 106), то в своей эпитафии он и сам употребляет это выражение, не находя, по-видимому, в нем ничего предосудительного:

В небесной красоте — не твоего лишь зыка,
 Нелепостей где тьма, — российского языка,
 Когда, по-твоему, сова и скот уж я,
 То сам ты нетопырь и подлинно свинья!

Итак, эпиграмма Тредиаковского была создана не ранее конца 1753 г. (когда было написано спровоцировавшее ее стихотворение Ломоносова) и не позднее начала 1755 г. (когда был написан трактат Тредиаковского). Поскольку эта эпиграмма обнаруживает явное сходство с трактатом 1755 г., следует думать, что оба произведения относительно близки по времени написания. По-видимому, стихи Ломоносова, посланные И. И. Шувалову между 4 и 11 ноября 1753 г., сразу же после их сочинения (еще в черновом виде — см.: Ломоносов, VIII, с. 1016, 1024), стали известны Тредиаковскому не сразу, и он написал свой ответ незадолго перед трактатом 1755 г. Таким образом нашу эпиграмму можно смело датировать 1754 годом и с большой вероятностью — второй половиной этого года¹⁵.

3. Так кому же посвящена рассматриваемая эпиграмма Тредиаковского? Ответ на этот вопрос кажется очевидным: после обнаружения ломоносовского автографа стихотворения «Искусные певцы...» (см.: Модзалевский, 1937, с. 83), т. е. после того, как было установлено авторство Ломоносова, почти ни у кого не возникло сомнения в том, что объектом сатирических нападок Тредиаковского является Ломоносов (см., например: Пекарский, II, с. 178; Сухомлинов, II, примеч., с. 136–139; Ломоносов, VIII, с. 1025; Поэты XVIII века, II, с. 534; исключение составляет только проницательное замечание Гуковского, 1962, с. 99). Однако то, что Тредиаковский говорит о языковой позиции своего литературного противника, совершенно не соответствует взглядам Ломоносова на литературный язык. Ломоносов никак не может — по крайней мере в рассматриваемый период — считаться сторонником ориентации на разговорное употребление. Напротив, как мы уже отмечали, его позиция обнаруживает в этот период определенное сходство с позицией Тредиаковского (другое дело, что сходные взгляды могут на практике приводить к существенно различным результатам у того и у другого автора, т. е. реализоваться неодинаковым образом). Тредиаковскому, казалось бы, нет необходимости обращать внимание Ломоносова на специфику русской языковой ситуации и полемически заостренно подчеркивать значение церковнославянской языковой стихии для русского литературного языка: как раз в этих вопросах Ломоносов является его единомышленником.

Правда, некоторые места в стихотворении Ломоносова могут

создать впечатление, что автор является сторонником ориентации на разговорную языковую стихию:

Или уж стало иль; коли уж стало коль;
Изволи ныне все везде твердят изволь.
 За спиши спишь, и спать мы говорим за спати.

Но Ломоносов, в сущности, говорит здесь о другом, а именно о глубинных законах благозвучия, проявляющихся, в частности, и в эволюции русского языка; то же имеет он в виду и тогда, когда говорит о «нежности» московского аканья (см. выше, §2 наст. работы). Подход Ломоносова, вообще говоря, и в этом случае близок Тредиаковскому, который также пытается опираться в своей нормализаторской деятельности на панхронические закономерности употребления, отвечающие природе данного языка на всех этапах его развития¹⁶. Тем не менее, цитированные высказывания были восприняты Тредиаковским именно как призыв к коллоквиации литературного языка, и, соответственно, в трактате о прилагательных 1755 г. упоминаются «некоторые народные и стихотворческие вольности, каковы суть сии: *иль*, вместо *или*; *спать*, вместо *спати*» (Пекарский, 1865, с. 106)¹⁷; такую же интерпретацию получает здесь и *коль*, вместо *коли* (там же, с. 109). Совершенно так же и в эпиграмме Тредиаковский подчеркивает, что в «славенском степенном» языке — а следовательно и в русском, поскольку он на него ориентируется, — *коль* означает не «когда», но «сколько».

Указанное восприятие обусловлено тем, что Тредиаковский отвечает не Ломоносову, а другому своему литературному противнику¹⁸.

Хотя Тредиаковский и начинает свою эпиграмму с признания, что он не знает, кто является автором стихотворения «Искусные певцы...»: «Не знаю, кто певцов в стих вкинул сумасбродный...», есть все основания думать, что у него не было на этот счет никаких сомнений. Он, несомненно, догадывался о том, кто автор этой сатиры, однако догадки его были неверны: не подозревая об авторстве Ломоносова, он приписал это произведение Сумарокову.

В тексте эпиграммы есть совершенно ясные указания на этот счет — почти настолько же ясные, как если бы Сумароков был прямо назван по имени. Об этом со всей определенностью говорят намеки на рыжизну литературного противника Тредиаковского и на его привычку моргать (мигать). «Мне рыжу тварь никак в добро не пременить», — жалуется Тредиаковский, язвительно указывая, вместе с тем, что русскому *чермной мигун* соответствует церковнославянское *мигатель чермный*; оба выражения в одинаковой степени рисуют нам облик Сумарокова. Сумароков был рыж и подслеповат, что проявлялось в частом моргании¹⁹, причем

и то, и другое свойство постоянно обыгрывается в направленной против него сатирической литературе — обыгрывается настолько регулярно, последовательно и навязчиво, что упоминание рыжизны или моргания (мигания) становится своего рода литературным штампом, позволяющим сразу и безошибочно узнать, кто является мишенью сатирических нападок; рыжизна и моргание выступают таким образом как своеобразные сигналы при сатирических зашифровках — фактически на правах имени собственного, поскольку прямое наименование в эпиграммах противоречило принятым нормам поведения²⁰.

Примеры подобного обыгрывания нетрудно найти как у Тредиаковского, так и у других авторов. Так, Тредиаковский в другой эпиграмме, обращенной против Сумарокова («Надпись на Сумарокова»), говорит о последнем:

Кто рыж, плешив, мигун, заика и картав,
Не может быть в том никак хороший нрав!

(Афанасьев, 1859, с. 519, примеч.)²¹

На моргание и рыжизну Сумарокова Тредиаковский намекает и в «Письме ... от приятеля к приятелю» (1750 г.): «< ... > не дивлюсь, что поступка нашего Автора безмерно сходствует с цветом его волосов, с движением очей, с обращением языка, и с биением сердца»²²; «< ... > еще больше трепетало мое сердце с стыда, потом с негодования, напоследок с сожаления < ... >, нежели Авторовы моргали очи с радости, и с внутреннего самодлюбного удовольствия»; «< ... > слово *миг*, есть подлое, и следовательно, не одическое. Вместо его высоким стилем говорится *мгновение ока*. Может статься, что слово *миг*, Автор предпочитает *мгновению* по привычке своих очей» (Куник, 1865, с. 443, 439, 459).

Наконец, выпад против Сумарокова мы находим и в «Феоптии» Тредиаковского (1754 г.), и именно в том месте, где обсуждается разнообразие человеческой внешности и отражение в чертах лица внутренних свойств личности:

Человек с лица иной есть весьма господствен,
А иной с того ж лица совершенно скотствен;
...

Зол, кого в знак естество сроду запятнало:
Как плешивых и заик, рыжих так немало.
Хоть чело, и очи, и лице почасту лгут,
Но от моргослепых люди в опыте бегут.

(Тредиаковский, 1963, с. 265)

Полемическая направленность этих стихов не осталась незамеченной современниками, и, соответственно, в доношении московской

Синодальной конторы в Синод от 14 декабря 1758 г., посвященном критическому рассмотрению «Феоптии», цитированный пассаж сопровождается следующим замечанием: «Сие честным и знатным обидно и больше сатирам, а не такой материи прилично» (Шишкин, 1989, с. 510)²³.

Совершенно так же и Ломоносов, высмеивая Сумарокова, вводит те же сигнализирующие признаки. Так, например, в эпиграмме «Злобное примирение господина Сумарокова с господином Тредиаковским» (1759 г.), где Сумароков выведен под именем Аколаста, мы читаем:

Аколаст, злобствуя, всем уши раскричал,
Картавил и сипел [вариант: картавил, шепелял], качался и мигал < ... >

(Сухомлинов, II, с. 158; Ломоносов, VIII, с. 659)

Подобным же образом в притче «Свинья в лисьей коже» (1760–1761 гг.), представляющей собой ответ на притчу Сумарокова «Осел во львовой шкуре» (1760 г.), которую Ломоносов имел все основания принять на свой счет, Ломоносов говорит о Сумарокове:

Надела на себя
Свинья
Лисицы кожу,
Кривляла рожу,
Моргала < ... >

(Сухомлинов, II, с. 174; Ломоносов, VIII, с. 737)²⁴

По всей вероятности, намеки на Сумарокова содержатся и в стихотворении Ломоносова «О сомнительном произношении буквы *г* в русском языке» 1753–1754 гг. (Сухомлинов, II, с. 286; Ломоносов, VIII, с. 580–583; разбор этого стихотворения см.: с. 207 и сл. наст. изд.), ср. здесь:

И кто горазд гадать, и лгать да не мигать,
Играть, гулять, рыгать и ногти огрызать < ... >

Упоминание мигания в условиях литературной полемики того времени не могло быть нейтральным (незначимым, проходным), и мы должны думать, что фраза «горазд мигать» относится к Сумарокову; к нему же может относиться и упоминание «багровых глаз» в этом же стихотворении, т. е. воспаленных, налитых кровью, а также выражение «тневливые враги», под которыми имеются в виду, по-видимому, Сумароков и Тредиаковский²⁵. Ломоносов перечисляет здесь тех, кто так или иначе участвует в решении вопроса, которому посвящено вообще данное стихотворение: «где быть *га*

и где стоять *глаголю*», т. е. вопроса о взрывном или фрикативном произношении буквы *з* в том или ином конкретном слове (см.: с. 207 и сл. наст. изд.); среди них он упоминает и своих литературных противников — своих «гневливых врагов» — Тредиаковского как представителя ориентации на книжнославянские языковые нормы (предполагающей фрикативное произношение) и Сумарокова как сторонника ориентации на разговорную речь (предполагающей произношение взрывное).

Аналогичный прием мы встречаем и у других авторов — в направленных против Сумарокова эпиграммах. Так, в одной эпиграмме на Сумарокова, автор которой неизвестен (в Казанском сборнике она озаглавлена: «На Сум[арокова] через Н.»), читаем:

Хотя учением Аколост голопер,
Но думает взлететь стихами как Гомер.
Постой! Он впрямь ему изрядно подражает:
Гомер был слеп, он до того же домигает.

(Афанасьев, 1859, с. 520; Сухомлинов, II, примеч., с. 235)²⁶

В другой эпиграмме (представленной в том же Казанском сборнике) собачка Жучко обращается к Аколосту-Сумарокову со словами:

Я вижу, ты, кобель, назойливый нахал;
Эй, полно налиться! ты, красношерстый лыско < . . . >

(Афанасьев, 1859, с. 520; Сухомлинов, II, примеч., с. 235)

Наконец, еще в одной анонимной эпиграмме (все из того же сборника) о Сумарокове говорится:

В одну минуту сто мигов жмур сделал вдруг < . . . >

(Афанасьев, 1859, с. 519, примеч.)²⁷

Совокупность подобных фактов не оставляет сомнения в том, что рассматриваемая в настоящей работе сатира Тредиаковского («Не знаю, кто певцов в стих кинул сумасбродный. . .») метит именно в Сумарокова. Адресат эпиграммы Тредиаковского был совершенно ясен современникам (не случайно в Казанском сборнике эта эпиграмма носит название: «Ответ Сум[арокову] от Тред[иаковского]», см.: Поэты XVIII века, II, с. 534). Отсюда, в свою очередь, и стихотворение «Искусные певцы. . .», давшее повод для данной эпиграммы, приписывалось именно Сумарокову (например, в миллеровском списке это стихотворение озаглавлено: «Сатира на Третьяковского чрез Суморокова» — РГАДА, ф. 199, № 150, ч. I, д. 20, л. 9 об.; ср. также Казанский сборник — Афанасьев, 1859, стлб. 518–519). До обнаружения ломоносовского автографа этого последнего стихотворения (см. выше) так полагали

и исследователи. С обнаружением этого автографа стало очевидно, что «Искусные певцы. . .» — ломоносовское произведение. Тем не менее, ответная эпиграмма Тредиаковского является ответом Сумарокову, а не Ломоносову.

4. Нетрудно понять, почему Тредиаковский приписал ломоносовскую эпиграмму Сумарокову. В своей эпиграмме Ломоносов называет Тредиаковского «Трисотином»:

На что же, Трисотин, к нам тянешь и не к'стати?

Прозвище Трисотин восходит, конечно, к «Les femmes savantes» Мольера, где под именем Триссотина (Trissotin) выведен аббат Котен (l'abbé Cotin) — салонный поэт, высмеянный Буало²⁸; однако для Тредиаковского оно должно было ассоциироваться прежде всего с именем *Тресотиниус*, которым наделил Тредиаковского Сумароков в одноименной пьесе («Тресотиниус» 1750 г. — Сумароков, V, с. 297–324). Если Ломоносов прилагает к Тредиаковскому имя мольеровского персонажа, не изменяя его, то Сумароков явно сближает его с фамилией Тредиаковского (*Тресотиниус*); латинизированное окончание *-ус* в сумароковской пьесе соответствует амплуа педанта, под маской которого выведен Тредиаковский. Так или иначе, в контексте русской литературной полемики 1750-х гг. прозвище *Трисотин* как наименование Тредиаковского должно было ассоциироваться прежде всего не с Мольером, а с Сумароковым. Ломоносов был, кажется, первым, кто начал пользоваться — пусть в измененном виде — кличкой, пущенной в ход Сумароковым²⁹; вполне понятно поэтому, что для Тредиаковского естественно было считать автором данной эпиграммы именно Сумарокова. Существенно также и то, что в своем «Ответе на Критику» (1750 г.), продолжаящем полемику, вызванную «Тресотиниусом», Сумароков выступал с критикой правописания прилагательных, насаждаемого Тредиаковским (Сумароков, X, с. 98).

Приписав сатиру «Искусные певцы. . .» Сумарокову, Тредиаковский явно усмотрел в ней продолжение тех нападок, которые были начаты Сумароковым еще в эпистолах 1748 г. (будучи продолжены затем в «Тресотиниусе» 1750 г., а также в «Чудовищах» 1750 г., в «Ответе на Критику» 1750 г. и в пародийной песне «О приятное приятство» 1750 г.). Так, в «Эпистоле о русском языке» Сумароков писал о Тредиаковском:

Тот прозой и стихом ползет, и письма оны,
Ругаючи себя, дает писцам в законы.
Хоть знает, что ему во мзду смеется всяк;
Однако он своих не хочет видеть врак.
Пускай, он думает, меня никто не хвалит,
То сердца моего нимало не печалит:

Я сам себя хвалю: на что мне похвала?
И знаю то, что я искусен дозела.
Зело, зело, зело, дружок мой ты искусен,
Я спорить не хочу, да только склад твой гнусен.

(Сумароков, I, с. 332; Сумароков, 1957, с. 113)³⁰

Между тем, в «Эпистоле о стихотворстве» Сумароков дает Тредиаковскому прозвище «Штивелиус» (Штивелиус — имя педанта из комедии Гольберга), обращаясь к нему со словами:

А ты Штивелиус лиш только врать способен.

(Сумароков, I, с. 347; Сумароков, 1957, с. 125)³¹

Уместно отметить, что та же комедия Гольберга, из которой Сумароков заимствует прозвище Штивелиус³², положена им в основу пьесы «Тресотиниус»; при этом гольберговскому «магистру Штифелиусу» соответствует у Сумарокова: «Тресотиниус, педант» (см.: Сухомлинов, II, примеч., с. 392–399; Рулин, 1929, с. 255–257, 261–263, 266–269; Резанов, 1931, с. 231–234)³³ — в обоих случаях гольберговский персонаж соотносится у Сумарокова с Тредиаковским.

Эпистолы Сумарокова в свое время были отданы на апробацию Тредиаковскому и Ломоносову, и как в своем предварительном отзыве от 12 октября, так и в окончательном отзыве от 10 ноября 1748 г. Тредиаковский указывает на недопустимые «язвительства», допущенные Сумароковым (Пекарский, II, с. 131–132; Материалы АН, IX, с. 473–474, 535, № 579, 650)³⁴. Об «обидах и язвительствах», учиненных в сумароковских эпистолах, Тредиаковский упоминает и в «Письме . . . от приятеля к приятелю» 1750 г.: «извесный Господин Пиит, после употребленных в эпистолах своих < . . . > обидах и язвительствах [sic!], не токмо не рассудил за благо от тех уняться, но еще оныя и отчасу больше и несноснейше ныне размножил» (Куник, 1865, с. 437); равным образом и Сумароков свидетельствует в «Ответе на Критику» (1750 г.): «меня он [Тредиаковский] всех пуше не любит, за некоторые в одной моей Епистоле стихи и за Комедию [«Тресотиниус»], которая он берет на свой щот» (Сумароков, X, с. 102). Вполне понятно, что в этом же контексте Тредиаковский воспринимает и эпитаграмму «Искусные певцы. . .». Соответственно, в своем ответе на эту эпитаграмму Тредиаковский говорит, обращаясь к Сумарокову:

Ты ж, ядовитый змий, или как любишь — змей,
Когда меня язвить престанешь ты, злодей!
Престань, прошу, престань! к тебе я не касаюсь;
Злонравием твоим как демонским гнушаюсь.

...

Что ж ядом ты блюешь и всем в меня стреляешь, —
То только злым себя тем свету объявляешь.
Уймись, пора уже, пора давно, злыдарь!
Смерть помни, и что есть Бог, правда, мой сударь!

То же говорит Тредиаковский и несколько позднее, отвечая на письмо Сумарокова о сафической и горацанской строфах (1755 г.): «< . . . > Не полноль, Г. М., вам на меня без причин нападать? Я устал отражая ваши обвинения. Более по истинне не хочу; и сие письмо есть последний мой вам ответ, в чем по Христианству и по чесности кленусь, хотя что-вы-ни-будете по сем на меня взводить, и чем и как-ни-станете впредь язвить < . . . > Позабудьте, прошу, меня; оставьте человека возлюбившаго уединение, тишину, и спокойствие своего духа. Дайте мне препровождать безмятежно остаточными мои дни в некоторую пользу общества по званию моему, и по делам положенным на меня от главных моих. Попустите мне несмущенно размышлять иногда и о совести моей: настанет время и мне туда явиться, куда-должно-всём человекуам. Там не спросят меня, знал ли я хорошую силу в Сафической и Горацанской строфах, но был ли добродетельный христианин < . . . >. Паки, и паки прошу, оставьте меня отныне в покое» (Пекарский, II, с. 256–257).

5. Итак, Тредиаковский явно связывает эпитаграмму «Искусные певцы. . .» с сумароковскими эпистолами 1748 г.: он видит в них те же «язвительства» и приписывает их одному автору. Соответственно, в рассматриваемой сатире Тредиаковского мы находим прямую полемику с сумароковской «Эпистолой о русском языке». Когда Тредиаковский говорит о специфике русской литературно-языковой ситуации, о том, что русский литературный язык, в отличие от литературных языков Западной Европы, не совпадает с разговорным, он полемизирует, видимо, с Сумароковым, который в своей эпистоле призывает именно ориентироваться на западноевропейскую языковую ситуацию:

Для общих благ мы то перед скотом имеем,
Что лутче, как они³⁵, друг друга разумеем,
И помощью слов пространна языка,
Все можем изъяснить, как мысль ни глубока.
Описываем все и чувство и страсти,
И мысли голосом делим на мелки части.
Прияв драгой сей дар от щедрого Творца,
Изображением вселяемся в сердца.
То, что постигнем мы, друг другу сообщаем,
И в письмах то своих потомкам оставляем.
Но не такия, так полезны языки,
Какими говорят Мордва и Вотяки³⁶:

Возмем себе в пример словесных человек:
Такой нам надобен язык, как был у Греков,
Какой у Римлян был, и следуя в том им,
Как ныне говорит Италия и Рим,
Каков в прошедший век прекрасен стал Французской.
Иль на конец сказать, каков способен Русской.

(Сумароков, I, с. 331, ср. с. 363; Сумароков, 1957, с. 112, ср. с. 134)

Таким образом, по мысли Сумарокова, литературный язык должен основываться на разговорной речи просвещенного общества; непосредственным образцом при этом выступает французский язык: русский язык способен стать таким же, каким стал французский³⁷. Ориентация на разговорную речь предстает при этом как необходимое условие литературного творчества, и, соответственно, в той же эпистоле Сумароков подчеркивает, что

< ... > кто не научен исправно говорить,
Тому не без труда и грамотку сложить.

(Сумароков, I, с. 333; Сумароков, 1957, с. 113)³⁸

Одновременно Сумароков выступает против славянизмов — именно постольку, поскольку они неупотребительны в разговорной речи, т. е. не соответствуют принятому «обычаю» (употреблению):

Коль, *аще, точию*, обычай истребил;
Кто нудит, чтоб ты их опять в язык вводил?

(Сумароков, I, с. 335; Сумароков, 1957, с. 115)

Слово *обычай* в этом контексте предстает как калька с фр. *usage*³⁹.

Установка на употребление проявляется и в следующем пассаже из сумароковской «Эпистолы о русском языке»:

Но лязя ли требовать от нас исправна слога;
Затворена к нему в учении дорога.

Лиш только ты склады немного поучи,
Изволь писать Бову, Петра златы ключи.

Подъячий говорит: писание тут нежно,
Ты будеш человек, учися лиш прилежно.

И я то думаю: что будеш человек;

Однако грамоте не станеш знать во век.

(Сумароков, I, с. 334; Сумароков, 1957, с. 114)

Сумароков воспринимает язык «Бовы» или «Петра Златых Ключей» как книжный язык⁴⁰: «нежным», т. е. русским языком он является только в перспективе подъячего⁴¹. По мнению Сумарокова, русскому языку надо учиться не по складам, а исходя из естественного употребления — иными словами, учиться следует не письменному (книжному), но разговорному языку⁴². Позднее Тредиаковский в «Письме ... от приятеля к приятелю» (1750 г.)

полемизирует с этим местом сумароковской эпистолы, говоря: «< ... > Автор мало печется о наших ударениях, или лучше, не хочет их знать, для того что сие до букв, и из них до складов принадлежит: ему токмо надобны речи и не зная складов, а сие значит, и не зная азбуки» (Куник, 1865, с. 450)⁴³. Это замечание Тредиаковского может служить комментарием к цитированным стихам Сумарокова.

Итак, Сумароков в «Эпистоле о русском языке» ориентирует русский литературный язык на разговорное употребление — в соответствии с тем, как устроен французский литературный язык, — выступая при этом как противник славянизмов. Как мы уже отмечали, эта языковая программа соответствует взглядам, провозглашенным в свое время молодым Тредиаковским, — последователем которого, в сущности, и является Сумароков.

6. Вполне закономерно, ввиду вышеизложенного, что мы находим существенные совпадения между рассматриваемой эпиграммой Тредиаковского и его «Письмом ... от приятеля к приятелю» (1750 г.) — это и естественно, поскольку оба произведения непосредственно посвящены критике Сумарокова. Так, мысль о том, что языковые погрешности Сумарокова происходят прежде всего от недостаточного знакомства с церковнославянским языком, от того, что

Святых он книг отнюдь, как видно, не читает, —

находит точное соответствие в «Письме ... от приятеля к приятелю». Подытоживая критическое рассмотрение сочинений Сумарокова, Тредиаковский здесь заключает: «Толики недостатки < ... > прѣистекают из перваго и главнейшаго сего источника, именно, что не имел в малолетстве своем Автор довольнаго чтения наших Церковных книг; и потому нет у него ни обилия избранных слов, ни навыка к правильному составу речей между собою» (Куник, 1865, с. 495–496)⁴⁴; именно недостаточным знакомством с церковными книгами Тредиаковский объясняет, в частности, как синтаксические ошибки Сумарокова⁴⁵, так и случаи семантически неправильного употребления славянизмов⁴⁶. Церковные книги, таким образом, предстают для Тредиаковского не только как регулятор стилистической правильности (что выражается в обилии «избранных слов», т. е. славянизмов), но и как критерий, позволяющий судить о правильном употреблении того или иного слова — как на грамматическом, так и на семантическом уровне. При этом мысль о том, что чтение церковных книг способствует обилию «избранных слов» и стилистической чистоте, высказанная в «Письме ... от приятеля к приятелю», также содержится в нашей эпиграмме:

Славенский наш язык есть правило неложно,
Как книги нам писать, и чище коль возможно,
...

Кто ближе подойдет к сему [славенскому языку] в словах избранных,
Тот и любее всем писец есть < ... >

< ... > нашей чистоте вся мера есть славенский < ... >⁴⁷

Вместе с тем, в «Письме ... от приятеля к приятелю» Тредиаковский объясняет языковые неудачи Сумарокова и тем, что «полагается он больше надлежащего на Французских писателей» (Куник, 1865, с. 496). Французская литература эксплицитно противопоставляется при этом церковным книгам, задающим образец правильного употребления: «Не лучшель < ... > Автору приняться за наши прежде [т. е. церковные] книги, дабы научиться правильному сочинению? Расин научит токмо вздыхать попустому; а Боалó-Депро́ всех язвить и лучше себя: но оба сии нашему языку не научат» (там же, с. 449)⁴⁸. Тредиаковский явно полемизирует в данном случае с эпистолой Сумарокова о русском языке (см. выше, § 5 наст. работы); полемика с этой эпистолой представлена, как мы видели, и в рассматриваемой эпиграмме.

Совпадения с «Письмом ... от приятеля к приятелю» наблюдаются и в конкретных деталях. Так, в «Письме ...» Тредиаковский говорит о Сумарокове: «должно видеть ложные знаменования, данные от Автора словам, а сие происходит от того, что Автор отнюд не знает коренного нашего языка Славенского. Пишет он *коль* производя от подлаго *коли*, за *когда* и *ежели*, весьма неправо и развращенно < ... >, потому что *коль* значит *колико*» (Куник, 1865, с. 479). То же говорится и в эпиграмме

Пусть викинет он в язык славенский наш степенный,
Престанет злобно врать и глупством быть надменный:
...

Увидит, что там *коль* не за *когда*, но только⁴⁹
Кладется, как и долг, в количестве за *сколько*.

О том, что *коль* не следует употреблять, производя «от подлаго *коли*, вместо преизряднаго *когда*», Тредиаковский упоминает затем и в трактате о правописании прилагательных 1755 г. (Пекарский, 1855, с. 109), непосредственно связанном, как мы уже знаем, с нашей эпиграммой. Этот пример имеет особое значение, поскольку он фигурирует и в эпиграмме Ломоносова «Искусные певцы...»:

Или уж стало *иль*; *коли* уж стало *коль*;
...

На что же, Трисотин, к нам тянешь и не к'стати?

Как видим, Ломоносов в своей трактовке формы *коль* совпадает в данном случае с Сумароковым (которого критикует за это Тредиаковский в «Письме ... от приятеля к приятелю»); совпадение такого рода, наряду с употреблением прозвища *Трисотин*, должно было укрепить Тредиаковского в мысли, что эпиграмма «Искусные певцы...» написана Сумароковым⁵⁰.

7. Критикуя Сумарокова, как мы видели, Тредиаковский обвиняет его в «площадном», «мужицком» употреблении:

Он красотой зовет, что есть языку вред:
Или ямщицей вздор, или мужицкий бред.
...

За образец ему в письме пирожной ряд,
На площади берет прегнусной свой наряд,
Не зная, что у нас писать в свет есть иное,
А просто говорить по-дружески — другое.

Противопоставляя «гражданский» т. е. русский литературный язык, «площадному», Тредиаковский утверждает:

< ... > нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не шогольков, ниже и грубый деревенский.

Равным образом и в «Письме ... от приятеля к приятелю» Тредиаковский усматривает в сочинениях Сумарокова «площадное», «сельское», «подлое» употребление: «у Автора и сельское употребление, есть правильное и красное», «всеж то не основано у него на Грамматике, и на сочинении наших исправных книг, но на площадном употреблении», «настоящая деепричастия за прошедшая пишет по площадному» и т. д. и т. п. (Куник, 1865, с. 469–470, 476, 477, ср. еще с. 459, 479, 482)⁵¹. Поскольку объектом подобных нападок является аристократ Сумароков, невозможно понимать эти слова в буквальном социолингвистическом смысле — речь идет здесь об ориентации на разговорную языковую стихию. В частности, эпитет *сельский* представляет собой, надо полагать, буквальный перевод лат. *rusticus*, ср. лат. *lingua rustica* как обозначение языка, противопоставленного книжной латыни⁵². Такой же смысл имеют, по всей видимости, и эпитеты *грубый деревенский*⁵³, а также *мужицкий* в нашей эпиграмме — «сельское», «деревенское», «мужицкое» выступают, таким образом, как общие характеристики разговорной речи.

Совершенно аналогично в статье о правописании прилагательных 1755 г. Тредиаковский говорит: «кто-ближе подходит писанием гражданским к Славенскому языку, или, кто-больше славенских < ... > слов употребляет, тот у нас и не подло пишет» (Пекарский,

1865, с. 109); как видим, *писать подло* означает у Тредиаковского, в сущности, «писать, как говорят» — поскольку Сумароков ориентирует литературный язык на разговорное употребление, он пишет «подло», «площадному». Вместе с тем, и «площадное» употребление противопоставляется у Тредиаковского именно «славенскому» языку: соответственно, в отзыве (1748 г.) на сумароковскую трагедию «Гамлет» Тредиаковский критикует «неравность стиля»: «инде весьма по славенски сверх Театра, а инде очень по площадному ниже Трагедии» (Материалы АН, IX, с. 461, № 576; Пекарский, II, с. 130); в точности такой же смысл имеет, конечно, и противопоставление «площадного употребления» и «грамматики» в «Письме . . . от приятеля к приятелю» (Куник, 1865, с. 476) — речь идет о выборе между разговорным и книжным началом, и именно с этих позиций Тредиаковский критикует здесь Сумарокова. «Подлое» и «площадное» оказываются, таким образом, у Тредиаковского равнозначными характеристиками⁵⁴, которые появляются в том же семантическом ряду, что и «сельское» или «деревенское» и т. п.

Наконец, и слово «простонародный» применительно к характеристике языка и стиля выступает у Тредиаковского в том же значении. Соответственно, в «Разговоре . . . об орфографии» 1748 г. Тредиаковский подчеркивает «необходимость различия между простонародным и подлым языком с таким, которому надлежит быть благороднее и чище, ддятого что сей последний долженствует употребляем быть в писменных и ученых сочинениях» (Тредиаковский, 1748, с. 295; Тредиаковский, III, с. 200): *простонародный* и *подлый* здесь предстают как синонимы, причем если *простонародный* антистетически соотносится с *благородным*, то *подлый* так же соотносится с *чистым*. Поскольку эпитет *простонародный*, как и *подлый*, у Тредиаковского относится к разговорной речи (всех слоев общества), эпитет *благородный* может служить ему для характеристики славянизмов, т. е. относиться к языку высокого слога, а не к языку высшего (аристократического) общества. Соответственно, в статье о правописании прилагательных 1755 г. «простонародные» окончания прилагательных, введенные в 1733 г. и ориентированные на традицию приказного языка (см. выше, §2 наст. работы), противопоставляются «благородному» правописанию, ориентированному на церковнославянскую традицию⁵⁵. Между тем, в письме к Г. Ф. Миллеру от 7 августа 1757 г., посвященном редакционным исправлениям в его (Тредиаковского) статье «О беспорочности и приятности деревенския жизни» (опубликованной в июльской книжке «Ежемесячных сочинений» за 1757 г.), Тредиаковский заявляет: «исскакивать < . . . > благороднейшее, нежели выскакивать» (Разоренова, 1959, с. 210) и, вместе с тем, говорит об употребленном им

глаголе *восследствовать*: «Подлинно, он есть не простонародный: да можно ж было приметить, что и сочиненийце-мое-все удаляется несколько от площадная грязи» (там же, с. 209–210). Протекая в том же письме против замены причастной формы деепричастием на *-чи* (*снимающий* — *снимаючи*), Тредиаковский замечает: «Деепричастия-на-(чи), кроме *будучи*, в высоком стиле, а особливо в стихах, не сносны < . . . > Удивительно, чего ради Справщик силою меня толкает в грязь и в тесноту площади? Я люблю всегда не за многими пробираться там, где чище» (там же, с. 214); «грязь» площадной речи явно противопоставляется при этом «чистоте» церковнославянского языка и соотнесенного с ним высокого слога. Можно с уверенностью утверждать, что, говоря о площадной грязи, о подлости, простонародности, Тредиаковский не имеет в виду навыков низших слоев общества и вообще какого бы то ни было социального противопоставления. Так, например, он говорит здесь же о «подлом выговоре», не различающем *ѣ* и *е* (с. 215); но различие *ѣ* и *е*, описанное Тредиаковским в «Разговоре . . . об орфографии», было присуще исключительно норме книжного произношения и отнюдь не было свойственно разговорной речи, включая сюда и речь культурной и социальной элиты — следует полагать, что и сам Тредиаковский не различал соответствующие звуки в обычном разговоре (ср.: Успенский, 1968, с. 29 и сл., 54 и сл.; Успенский, 1971а, с. 13–15; Успенский, 1975, с. 187, 192)⁵⁶.

Не исключено, что с упоминанием «площадной грязи», столь характерной вообще для Тредиаковского, как-то соотносится выражение *парнаска грязь*, выступающее в нашей эпиграмме как наименование Сумарокова:

Тебе ль, парнаска грязь, маратель, не творец,
Учить людей писать, ты истинно глупец < . . . >

Действительно, в контексте обвинения Сумарокова в «площадном употреблении» это наименование приобретает особые коннотации.

Итак, такие стилистические характеристики, как *подлый*, *простонародный*, *благородный* и т. п. относятся у Тредиаковского в данный период к противопоставлению книжного (литературного) и разговорного языка, но не имеют отношения к социолингвистическому расслоению общества, т. е. к социальной диалектологии. Свойственное Тредиаковскому употребление эпитетов *подлый* и *благородный* высмеивает Сумароков в «Тресотиниусе» (1750 г.), где педанты Тресотиниус и Бобембиус спорят о форме буквы *m* (Тресотиниус выступает за «твердо об одной ноге», а Бобембиус — за «треножное твердо»), причем Тресотиниус говорит: «Твое твердо есть подлое и по премногу подлое, а мое благородное, и не только Славено-Российское, но и Греческое» (Сумароков, V,

с. 306)⁵⁷; одновременно педант Бобембиус величает слугу Кимара «высоко-благородным господином» (там же, с. 305). Поскольку «треножное твердо» ассоциируется со скорописью, а «твердо об одной ноге» — с книжным («славенским») письмом, в их противопоставлении усматривается оппозиция русской (разговорной) и церковнославянской языковой стихии, которая в терминологии Тредиаковского, действительно, соответствует противопоставлению «подлого» и «благородного» употребления — Сумароков в своей пародии на Тредиаковского в общем совершенно правильно передает тот принцип, из которого исходит Тредиаковский⁵⁸.

Сам Сумароков последовательно употребляет эпитеты *подлый* и *благородный* как социальные и, в частности, социолингвистические характеристики, ср., например, критику выражения «Нептун чудился» в оде Ломоносова: «*Чудился* слово самое подлое и так подло как *дивовался*. Нептун не чудился, удивлялся» («Критика на Оду», не позднее 1751 г. — Сумароков, X, с. 84); в другом месте он объясняет языковые погрешности Ломоносова его происхождением «от поселян», противопоставляя происхождение Ломоносова собственному «благородству» («О правописании» 1768–1771 г. — Сумароков, X, с. 7–8). В заметке «Истолкование личных местоимений . . .» (1759 г.) Сумароков протестует против того, что *ты* «ныне сделано местоимением подлым», поскольку «только для подлости осталось, на пр.: для холопей, для мужиков, для извощиков, для трубочистов < . . . >» — при том, что «говоря с человеком достойным почтения или паче имеющим благородство, или чин, или в чемнибудь от подлаго народа отличность, *ты*, сказать противно грамматике» (Сумароков, VI, с. 294). Характерна в этом отношении также притча Сумарокова «Подьяческая дочь»:

По благородному она всю речь варила,
Новоманерными словами говорила:
Казалось что в ней была господска кровь:
То *фрукты* у нее, что в подлости *морковь*.
(Сумароков, VII, с. 72–73)⁵⁹

Соответственно, отвечая на «Письмо . . . от приятеля к приятелю», Сумароков протестует против того значения, которое Тредиаковский вкладывает в слово *подлый*: «Вольности *Паденье*, *Желанье* за *Падение*, *Желание* и протч. называет он подлым употреблением. А то употребляют все, лутче бы он говорил, что то не правильно, а не в подлом употреблении» («Ответ на Критику» 1750 г. — Сумароков, X, с. 99)⁶⁰. Расхождения совершенно очевидны: если для Тредиаковского писать, как говорят, и означает писать «подло», то для Сумарокова ссылка на общее (разговорное) употребление является

аргументом в пользу возможности подобной характеристики. Точно так же, возражая Тредиаковскому, который соотносит в «Письме . . . от приятеля к приятелю» разговорные местоимения *этот*, *эта*, *это* (вместо *сей*, *сия*, *сие*) с «площадным употреблением», и обосновывая возможность употребления этих местоимений в трагедиях, Сумароков говорит в своем «Ответе на Критику»: «они слова не чужестранные и не простонародные» (Сумароков, X, с. 97), т. е. ссылается на их социальную неотмеченность, на их употребляемость в речи хорошего общества. Отсюда, в частности, если Тредиаковский может квалифицировать произношение, не различающее *е* и *ь* и отличающееся тем самым от книжного произношения, как «подлый выговор» (письмо к Г. Ф. Миллеру от 7 августа 1757 г. — Разоренова, 1959, с. 215; см. выше), то Сумароков, напротив, соотносит произношение такого рода с речью «благородных людей» («Примечание о правописании», не ранее 1773 г. — Сумароков, X, с. 42). Таким образом, говоря о «благородном» или «подлом», «простонародном» употреблении, Сумароков переводит стилистическую полемику в социолингвистический план⁶¹.

Отметим, что совершенно аналогичное различие в употреблении подобных эпитетов как стилистических характеристик (*подлый*, *простонародный*, *благородный* и т. п.) прослеживается в дальнейшем у «архаистов» (сторонников Шишкова) и «новаторов» (карамзинистов): если у первых они фигурируют безотносительно к социальному расслоению общества, то у вторых они в принципе выступают именно как социолингвистические оценки (см.: с. 394–395 наст. изд.). Таким образом, шишковисты следуют тому же употреблению, которого придерживается Тредиаковский, тогда как карамзинисты совпадают в своем употреблении с Сумароковым⁶². Это вполне закономерно, поскольку языковая программа «архаистов» начала XIX в. обнаруживает вообще разительную общность с программой Тредиаковского во второй период его творческой деятельности, тогда как языковая программа «новаторов»-карамзинистов явно связана с программой молодого Тредиаковского (см.: Успенский, 1976). Как мы уже отмечали, Сумароков выступает, в сущности, как последователь молодого Тредиаковского в отношении к языку; соответственно, он и оказывается связующим звеном между Тредиаковским и карамзинистами.

8. Итак, языковая программа Сумарокова связана с социолингвистическим расслоением общества: вслед за молодым Тредиаковским (который, в свою очередь, следует Вожела — см.: Успенский, 1976. с. 40–41), Сумароков ориентирует литературный язык на разговорную речь элитарного, дворянского общества. Вполне закономерно в этом смысле, что в рассматриваемой эпиграмме

установка на церковнославянский язык полемически противопоставляется «щегольскому» употреблению:

Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щогольков, ниже и грубый деревенский.

Упоминание «щогольков» в этом контексте может относиться непосредственно к Сумарокову; не случайно Тредиаковский в этой же эпитагме характеризует Сумарокова как «вертопраха» — слово *вертопрах* выступает как обычная характеристика щеголя-петиметра в сатирической литературе XVIII в.⁶³

В этой связи заслуживает самого пристального внимания при сочиненная Тредиаковским «новая сцена» (сцена XVII) из комедии «Тресотиниус», которую якобы обнаружил Тредиаковский и которая фигурирует в качестве постскриптума к «Письму ... от приятеля к приятелю» (см.: Куник, 1865, с. 497–500). В этой сцене появляется новый персонаж, а именно некий «маляр шалун» Архисотолаш (Архисотолаш Филавтонович Кривобаев), в лице которого Тредиаковский выводит Сумарокова⁶⁴. Слова *маляр* «художник», *малевать* «изображать» представляют собой полонизмы (*malarz, malować*), которые характерны для Тредиаковского и которые, вообще говоря, не имеют у него отрицательного смысла (см.: Кохман, 1972, с. 46–47); в данном случае имеется в виду, видимо, претензия Сумарокова на живописный стиль изображения (Архисотолаш-Сумароков говорит о себе, что он «малюет картины говоруньи» и «намалевал на рынок картин с семь, которые так живы, что все говорят как сойки» — Куник, 1865, с. 500, 498)⁶⁵. Вместе с тем, слуга Кимар называет его не *маляр*, но *мараль* (с. 499), и это явно соответствует той характеристике, которую дает Сумарокову Тредиаковский в своей эпитагме: «парнаска грязь, маратель, не творец». При этом Архисотолаш говорит о себе, что он «публичный маляр» (с. 498) или «всерыношный» (с. 500), — имеется в виду, по-видимому, ориентация Сумарокова на «площадное» употребление, т. е. на разговорную речь (см. выше, § 7 наст. работы); Архисотолаш-Сумароков прямо заявляет в этой сцене: «Я говорю так, как все» (с. 498). Особенно же существенно, что он претендует на знание света (ср.: «ежели в ком нет амбиции, тот или незнающий света, или прямо дурак», с. 498), заявляя при этом: «Я знаю щогольское употребление» (с. 498). Не вполне ясный намек на «щогольство» Архисотолаша находим и у слуги Кимара (с. 499)⁶⁶.

Ассоциация Сумарокова с щеголем несколько неожиданна, поскольку сам Сумароков неоднократно выступает с обличениями щеголей-петиметров. И тем не менее, в перспективе Тредиаковского Сумароков предстает именно как щеголь — этому способ-

ствует аристократическое происхождение Сумарокова, его положение при дворе (в качестве «генеральс-адъютанта» графа А. Г. Разумовского он входит в придворную сферу), его высокомерие («амбиция»)⁶⁷; языковая полемика приобретает, таким образом, социальный аспект⁶⁸. Наконец, восприятию такого рода отнюдь не в последнюю очередь способствует и языковая позиция Сумарокова, т. е. установка на разговорное употребление.

Необходимо иметь в виду, что щеголи были принципиальными сторонниками ориентации на устную, разговорную языковую стихию: «щогольское наречие» базируется на просторечии, причем социальный престиж элитарного общества определяет его восприятие и значимость присущей ему разговорной традиции. «Щегольское наречие» и может, собственно, рассматриваться как дворянский социальный диалект в его специфических формах — иначе говоря, речь дворянства постольку, поскольку она не нейтральна, социально маркирована; можно сказать, что это тот вид просторечия, который претендует на культурную значимость (ср. в этой связи: Виноградов, 1935, с. 195–196; с. 384, 397–400 наст. изд.). Само собой разумеется, что с позиции Тредиаковского (в рассматриваемый период), в перспективе книжного языка щегольская речь принципиально не отличается от других видов просторечия. Если согласиться, что выражение *грубый деревенский* в цитированном заявлении Тредиаковского:

< ... > нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щогольков, ниже и грубый деревенский

выступает как семантическая калька с лат. *rusticus* и относится к разговорному употреблению (см. выше, § 7 наст. работы), не приходится усматривать здесь социолингвистическое противопоставление щегольской и крестьянской речи. Идея ориентации на крестьянскую речь была абсолютно чужда этому времени и, тем самым, совсем не нуждалась в полемическом опровержении: крестьянская речь может фигурировать только как пример неправильной речи (так, в частности, у Сумарокова, который в комедии „Опекун“ 1765 г. заставляет крестьян цокать, а в статье „О правописании“ 1768–1771 гг. говорит о «провинциальных» особенностях языка Ломоносова, обусловленных его крестьянским происхождением — Сумароков, V, с. 45–46; Сумароков, X, с. 7). Таким образом, союз *ниже* в цитированном пассаже может иметь не противительный, но соединительный смысл — он может означать не столько противопоставленность «щогольского» и «грубого деревенского» языка, сколько их общую природу: и то, и другое относится к просторечию.

Настаивая на необходимости различать книжное и некнижное

употребление (первое предполагает обращение к церковнославянской языковой стихии, второе — ориентацию на разговорную речь), Тредиаковский констатирует, что традиционное для России понимание литературного языка как книжного языка, принципиально противопоставленного живой речи, разделяется далеко не всеми. В «Разговоре . . . об орфографии» (1748 г.), он указывает, что «при дворе некоторые не принимают двоякаго употребления в языке, и ссылаются по большей части на непряное, и испорченное от простаков» (Тредиаковский, 1748, с. 314; Тредиаковский, III, с. 213)⁶⁹. Равным образом и в предисловии к «Тилемахиде» (1766 г.) Тредиаковский пишет: «Когда некоторые из Наших (привыкших к Французскому и Немецкому Языкам, не имеющим кроме гражданскаго употребления, а в нашем Гражданском Сочинении увидевших два, три, речения Славенския, или Славенороссийския) восклицают как будто негодуя, *Это не порусски*: то жалоба их не в том, чтоб те речения были противны свойству Российскаго Языка, но что оныя положены не Площадныя, не Рыночныя, и словом, не Подлыя, да и знающим знаемая» (Тредиаковский, 1766, с. LX, примеч.; Тредиаковский, II, 1, с. LXXIV, примеч.). Итак, по свидетельству Тредиаковского, не перестают раздаваться голоса в пользу полной эмансипации русского языка, освобождения его от специфически книжных элементов сближения литературного языка с разговорной речью (как это имеет место в странах Западной Европы). Упоминаемые Тредиаковским лица как бы продолжают следовать той программе; сторонником которой был в свое время и он сам. Соответствующая позиция, как указывает Тредиаковский, характерна для светского (придворного) общества, для тех, кто владеет иностранными языками и ориентируется на Запад. Речь идет, по-видимому, о «щеголях», т. е. носителях «щегольского наречия»; вместе с тем, в этих случаях может иметься в виду и конкретно Сумароков, который, с точки зрения Тредиаковского, является именно сторонником ориентации на «площадное», «рыночное», «подлое» употребление (см. выше, §7 наст. работы) — одно другому несколько не противоречит, поскольку Сумароков, как мы знаем, в глазах Тредиаковского может ассоциироваться с щеголем. В частности, когда Тредиаковский упоминает (в 1748 г.) о «некоторых» «при дворе», которые характеризуются как сторонники ориентации русского литературного языка на разговорную речь, он, по всей вероятности, говорит не вообще о носителях «щегольского наречия», но именно о Сумарокове⁷⁰.

Сумароков не оставил сколько-нибудь четкого и последовательного изложения своей языковой концепции. Отдельные замечания, разбросанные по разным его произведениям, не дают целостной картины: нередко они противоречивы и, как правило, посвящен-

ны частным вопросам. Тем более важно понять, как воспринималась сумароковская языковая программа современной ему аудиторией — взглянуть на Сумарокова глазами его современников. В настоящей работе мы увидели Сумарокова глазами Тредиаковского.

В этой перспективе Сумароков предстает как последователь молодого Тредиаковского — как верный приверженец той программы литературного языка, которая была сформулирована Тредиаковским (вместе с Адодуровым) в 1730-е гг. и от которой Тредиаковский отказывается во второй половине 1740-х гг. Полемизируя с Сумароковым, Тредиаковский как бы полемизирует с самим собой.

Языковая программа Сумарокова, как она охарактеризована выше, обнаруживает несомненную общность как с программой молодого Тредиаковского, так и с последующей программой Карамзина. Сумароков оказывается, таким образом, связующим звеном между Тредиаковским и Карамзиным: программное требование писать, как говорят, провозглашенное Тредиаковским еще в 1730 г. (в предисловии к «Езде в остров Любви»), было подхвачено Сумароковым и передано по эстафете Карамзину. Связь Сумарокова с Карамзиным могла осуществляться через учеников и последователей Сумарокова и прежде всего через Новикова, который испытал определенное влияние Сумарокова и, в свою очередь, оказал несомненное влияние на Карамзина.

Приложение I

Эпиграмма Тредиаковского по списку Г. Ф. Миллера⁷¹

Не знаю кто пѣвцовъ в стихъ вкинулъ сумозбро^лно^н. [л. 9 об.]
 Но видно что дуракъ и вертопра^х негодно^н.
 Онъ красотою зоветь что есть языку вредъ.
 Или ямщицей вздоръ или мужицкѣ бредъ.
 Пусть вникнетъ онъ въ языкъ славенски нашъ степенни. [л. 10]
 Престанеть злобно врать, и глубство^м бы^т надменни.
 Увидить что та^м слои кончится нѣжно слыи.
 И что чермнои мигунъ мигате^л та^м чермны^н.
 Увидить что та^м ко^л не за когда но то^лко
 Кладется какъ и долгъ в количестве за ско^лко.
 Не голосъ чтется та^м, но сладостнейши гласъ,
 Читають око всѣ, хотъ говорить все жъ глазъ
 Не лобъ тамъ но чело, не щоки но ланиты,
 Не губы и не ротъ, уста та^м багряниты.
 Не нынъ та^м и не ва^л, но нынѣ и во^лна,
 Священна книга вся си^х нежностей полна.
 Но где ему то знать, онъ толко что зеваетъ,

Святы^х онъ книгъ о^тнюдь, какъ видно, не читаетъ
 За образецъ ему в писме пирожной рядъ
 На площади беретъ прегнусно^м свои наръ^а
 Не зная что у на^с писа^т в свѣтъ есть иное
 А просто говорить по дружески другое
 Славенскіи нашъ языкъ есть правило неложно,
 Какъ книги на^м писа^т, и чище ко^л возможно
 В Гражданско^м и доднесь однакъ не в площадно^м
 Славенско^м по всѣму составу в на^с одно^м.
 Кто ближе подоиде^т к сему в слова^х избра^нны^х
 Тотъ и любея все^м писецъ есть и не в стра^нныхъ
 У немце^в то не такъ ни у французо^в тожь,
 Имъ нравенъ то^т языкъ кой съ общи^м самы^м схожь.
 Но нашей чистотѣ вся мѣра есть славенскіи
 Не щого^лко^в ниже и грубы^м деревенски.
 Ты жь ядовиты змій, или какъ любишь змѣи.
 Когда меня язвить престанешь ты злодѣи.
 Преста^н прошу преста^н, к тебѣ я не касаюсь
 Слонравіе^м твои^м какъ дѣмо^нски^м гнушаюсь
 Тебе ль парнаска грѣ^ш, марате^л не творецъ,
 Учить людеи писа^т, ты истинно глупецъ.
 Повѣрь мнѣ крокоди^л, повѣрь кленусъ я бого^м [л. 10 об.]
 Что знаніе твое все в роде есть убого^м
 Не штука сти^х слагать да и того ты пустъ.
 Безплодень ты во всемъ хо^т и шумишь какъ кустъ
 Что жь ядо^м ты блюешь, и все^м в меня стреляешь
 То то^лко злы^м себя те^м свѣту о^бявляешь.
 Уими^с пора уже пора давно злыдарь,
 Смерть помни и что есть богъ. правда мо^у суда^р,
 Хоть тресни ты, в труда^х я токмо пребываю,
 В труда^х не в пустоте твое жь зло презираю.
 Но тщетно правотой к добру тебя склонить.
 Мне рыжу тва^р никакъ в добро не переменить.
 В небѣсной красоте не твоего лишь зыка,
 Нѣлепостен где тма руссикаго языка,
 Когда по твоему сова и ско^т ужь я
 То са^м ты нетопыръ и подлинно сви^я

Приложение II

Вопрос о правописании прилагательных в свете
 оппозиции русского и церковнославянского

В приказном языке прилагательные в именительном падеже множественного числа имели обычно окончания *-е* и *-я* без различения родов (ср.: Пеннингтон, 1980, с. 251, 253); такое правописание принято было и в русской гражданской орфографии до 1733 г. См. об

этом — со ссылкой на приказную традицию — у Тредиаковского в статье о правописании прилагательных 1755 г. (Пекарский, 1865, с. 108) и в «Разговоре... об орфографии» 1748 г. (Тредиаковский, 1748, с. 97, 292–293, 331–332, 339; Тредиаковский, III, с. 62, 198, 225, 230), а также у Ломоносова в примечаниях на предложения Тредиаковского 1746 г. (Сухомлинов, IV, с. 2; Ломоносов, VII, с. 84); несколько иначе пишет об этом Тредиаковский в первой статье о прилагательных 1746 г. (Вомперский, 1968, с. 88; Сухомлинов, IV, примеч., с. 19), но под влиянием возражений Ломоносова он изменил свою формулировку. Такое правописание определено и в краткой грамматике Адодурова 1731 г., т. е. окончания *-е* и *-я* употребляются как варианты для всех трех родов (Адодуров, 1731, с. 29–30). Ломоносов в своей грамматике 1755 г. (в §§116 и 161) также допускает возможность подобной орфографии (Сухомлинов, IV, с. 53, 78–80; Ломоносов, VII, с. 430–431, 452–454); между тем, Сумароков в статьях «К типографским наборщикам» (1759 г.), «О правописании» (1768–1771 гг.) и «Примечание о правописании» (не ранее 1773 г.) даже настаивает на правописании такого рода, признавая единственно возможным только окончание *-я* для всех трех родов (Сумароков, VI, с. 309; Сумароков, X, с. 29–30; Сумароков, X, с. 42); впрочем, в статье «О стопосложении» (не ранее 1771 г.) он дает вариантную форму окончания *-и* или *-я*, общего для всех родов (Сумароков, X, с. 75).

Таким образом, правописание прилагательных, вводимое правилами 1733 г., предписывающими окончание *-е* в мужском роде, окончание *-я* в женском и среднем, на формальном уровне (в плане выражения) совпадает с нормами приказного языка; однако в плане содержания вводится противопоставление по роду — противопоставляется мужской и немужской род, и употребление окончания *-е* и *-я* распределяется в соответствии с этим противопоставлением.

Правописание прилагательных, предлагаемое Тредиаковским — в статьях 1746 г. (см.: Вомперский, 1968; Сухомлинов, IV, примеч., с. 3–26) и 1755 г. (см.: Пекарский, 1865), специально посвященных данному вопросу, а также в «Разговоре... об орфографии» 1748 г. (Тредиаковский, 1748, с. 95–97, 292–312, 331–340; Тредиаковский, III, с. 61–62, 197–212; 224–225, 230), — вообще говоря, отличается от церковнославянского: так, если в церковнославянском различаются формы *добрии* (мужской род), *добрыя* (женский род), *добрая* (средний род), то Тредиаковский предлагает писать *добрыи* (мужской род), *добрые* (женский род), *добрыя* (средний род)⁷². Тем не менее, по сравнению с правилами 1733 г. это правописание закономерно воспринимается как славянизированное⁷³. В самом деле, в плане содержания, т. е. на категориальном уровне, правописание Тредиаковского однозначно коррелирует с церковнославянским —

в обоих случаях различаются все три рода. Между тем, в плане выражения, т. е. на чисто формальном уровне, рассматриваемом самый инвентарь морфологических показателей, новым в правописании Тредиаковского является окончание *-и*, которое не соответствует репертуару русских окончаний (*-е* и *-я*) и в то же время непосредственно соответствует церковнославянскому окончанию с тем же значением: если окончание *-е*, отсутствующее в церковнославянском, является специфически русским⁷⁴, то окончание *-и*, напротив, является специфически церковнославянским⁷⁵ (между тем, окончание *-я* нейтрально в этом отношении, соответствуя и русскому, и церковнославянскому набору показателей). Естественно, что именно окончание *-и* оказывается наиболее значимым моментом в правилах Тредиаковского, которое определяет восприятие его правописания. На этом окончании и сосредоточивают свою критику противники Тредиаковского (в частности, Ломоносов — в «Примечаниях на предложение [Тредиаковского] о множественном окончании прилагательных имен», в §119 «Российской грамматики» и, наконец, в стихотворении «Искусные певцы...»).

Таким образом, вопрос о правописании прилагательных получает принципиальное значение, выступая как признак языковой ориентации (в рамках оппозиции: церковнославянское — русское). Во всяком случае именно так воспринимал эту проблему Тредиаковский. Чрезвычайно характерно в этом смысле доношение Тредиаковского в Академию наук от 28 сентября 1758 г., где Тредиаковский объясняет, почему он перестал ходить в Академию: «ненавидимый в лице, — говорит о себе Тредиаковский, — презираемый в словах, уничтожаемый в делах, оуждаемый в искусстве, прободаемый сатирическими рогами, изображаемый чудовищем, еще и во нравах (что сего безсовеснее?) оглашаемый, всеж то или по злобе, или по ухищрению, или по чаянию от того пользы, или наконец его собственной потребности, чтоб употребляюга меня праведно и с твердым основанием (*и*), в окончаниях прилагательных множественных мужеских целых, всемерно низвергнуть в пропасть безславия, всеконечно уже изнемог я в силах к бодрствованию: чего ради и настала мне нужда уединиться» (Пекарский, 1866, с. 179; Пекарский, II, с. 208–209). Итак, Тредиаковский считает свое правописание одной из основных своих заслуг и, вместе с тем, видит в нем одну из главных причин тех преследований, которым ему приходится подвергаться.

Примечания

¹ «Разные стиходействии» — рукопись 1770-х гг. библиотеки Казанского университета № 4542, IV/1 (старый № 19953).

² РГАДА, ф. 199 (Портфели Миллера), № 150, ч. I, д. 20, л. 9 об.–10 об. Миллеровский список является и более ранним (интересующее нас стихотворение написано на бумаге с водяными знаками 1761 г. — Клепиков, № 745), и гораздо более исправным; таким образом, соединение двух списков в издании «Поэты XVIII века» (к тому же с точно не оговоренными конъектурами) текстологически никак не оправдано. В дальнейшем мы цитируем данную эпиграмму именно по списку Миллера; при этом в цитатах мы несколько модернизируем орфографию и расставляем знаки препинания в соответствии с современными нормами. В приложении к настоящей работе миллеровский список воспроизводится полностью — с точным соблюдением правописания и пунктуации (см. Прилож. I).

³ Так, еще в «Риторике» 1748 г. Ломоносов писал (в §165): «Что до чтения книг надлежит, то перед прочими советую держаться книг церковных (для изобилия речений, не для чистоты)» (Сухомлинов, III, с. 219–220; Ломоносов, VII, с. 237). Примечательна эта оговорка: Ломоносов еще далек от того, чтобы связывать чтение церковных книг с чистотой русского слога, как он это делает впоследствии в рассуждении «О пользе книг церковных...»; правда, в рукописном тексте «Риторике» данная оговорка отсутствует, но тем более знаменательно, что она появляется в печатном издании 1748 г. (см. Сухомлинов, III, примеч., с. 209). Между тем, Тредиаковский уже в первой половине 1750-х гг. говорит о пользе чтения церковных книг для овладения правильным русским слогом («Письмо <...> от приятеля к приятелю» 1750 г. — Куник, 1865, с. 496) и рассматривает церковнославянский язык как «меру чистоты» русской речи.

⁴ Как будет показано ниже, под «избранными словами» имеются в виду славянизмы (см. примеч. 44).

⁵ Церковнославянско-русские соответствия, которые фигурируют в этом пассаже, отчасти повторяют тот набор соответствий, которые даются Тредиаковским в «Мнении... о диссертации господина профессора Миллера» 1750 г.: Тредиаковский писал здесь, что «язык наш стал славенороссийским [из «славенского», т. е. церковнославянского], для того что уже он начал принимать слова варяжския, то есть Российския, каковы, может быть, *лоб* вместо *челá*, *вор* вместо *татя*, *глаз* вместо *ока*, *рот* вместо *уста*, *губы* вместо *устне*, *изба* вместо *клеть*, *крик* вместо *воплъ*, и прочия премногия <...>» (Пекарский, II, с. 246).

⁶ В статье о правописании прилагательных 1755 г. Тредиаковский отмечает, что окончание прилагательных мужского рода в именительном падеже множественного числа на *-е* введено в Академической типографии в 1733 г. каким-то лицом, которого Тредиаковский не называет по имени (Пекарский, 1865, с. 103, 107, 109). Адодуров служил в это вре-

мя при Академии наук и специально занимался в 1730-е гг. вопросами русской гражданской орфографии (см.: Успенский, 1975, с. 28 и сл.).

⁷ Вопрос о правописании прилагательных в свете оппозиции русского и церковнославянского специально рассматривается нами в Прилож. II.

⁸ Критерию благозвучия Ломоносов придавал вообще большое значение. В наброске плана к статье «О нынешнем состоянии словесных наук в России» (1756–1757 гг.), посвященной проблеме «чистоты российского штиля», Ломоносов вторым пунктом помечает: «[Против] какофонии» (Берков, 1936, с. 158; Ломоносов, VII, с. 581), видя таким образом в какофонии одно из основных препятствий к чистоте стиля. Об этом же говорится и в ломоносовских риториках 1744 г. (§113) и 1748 г. (§170), где Ломоносов специально предупреждает, между прочим, против соединения «гласных литер одного или подобнаго звона» (Сухомлинов, III, с. 61–62, 222; Ломоносов, VII, с. 64–65, 240).

Необходимо иметь в виду, вместе с тем, что Ломоносов склонен был приписывать звукам определенные семантические или эмоциональные характеристики. Так, в риторике 1748 г. он говорит (в §172): «В Российском языке, как кажется, частое повторение писмени *a* способствовать может к изображению великолепия, великаго пространства, глубины и вышины, также и внезапнаго страха; учащение писмен *e*, *u*, *ъ*, *ю*, к изображению нежности, ласкательства, плачевных или малых вещей. Чрез *o*, *y*, *ы*, страшныя и сильныя вещи, гнев, зависть, боязнь и печаль» (Сухомлинов, III, с. 223, ср. примеч., с. 451; Ломоносов, VII, с. 241). Совершенно так же Ломоносов полагает, что тому или иному стихотворному размеру присуща специфическая эмоциональная окраска, определяющая обязательность сочетания его с определенной тематикой: так, ямбу приписывается благородство, и поэтому он должен применяться в героическом стихе, тогда как хорей связан с любовными чувствами и потому уместен в элегиях (Тредиаковский, 1744, с. 3–5; Куник, 1865, с. 421–422; Тредиаковский, 1963, с. 421–422; ср.: Гуковский, 1928, с. 128; Гуковский, 1962, с. 95–98; Томашевский, 1959а, с. 333–334). Как благозвучие, так и эмоциональная окраска выступают при этом у Ломоносова как онтологически заданные категории, изначально присущие в том или ином сочетании.

⁹ Соответственно, Сумароков в статье «К несмысленным рифмотворцам» (1759 г.), полемизируя с Ломоносовым, выводит его противником буквы *и*: «Не знаю кому, или лутче не хочу сказать кому, не показала Литера *I*. и того же произношения Литера *И*; и для того уставил он новое и странное правило очень часто пременять ее в Литеру *E*. А то еще и страннае, что многия правилу сему, ни на естестве языка, ни на древних книгах, ни на употреблении основанному следуют, то только в доказательство приема: *Тако сказал Пифагор*; а Пифагор Московскаго наречия не знает, ибо он родился в деревне такова уезда, где говорят не только крестьяня, но и дворяня очень дурно; а мы Москвитяня должны ли сему правилу повиноваться, хотя бы оно золотыми Литерами напечатано было? *Достоин* называется *Достоен*, *Бывший* *Бышей*

и пр. Все которыя в Русском языке сильны, в опровержении сего о мною согласны; не отрава ли такая правила нашему языку?» (Сумароков, IX, с. 278–279). Почти в тех же выражениях Сумароков говорит о Ломоносове в статье «О правописании» (1768–1771 гг. — Сумароков, X, с. 6–7, ср. еще с. 16, 24, 28, 37), а также в примыкающей заметке «Примечание о правописании» (не ранее 1773 г. — там же, с. 38). В этой последней заметке Сумароков защищает форму *облаки*, отвергаемую Ломоносовым: «Надобно знати, когда написать *Облака*, и когда *Облаки* < ... >» (там же, с. 45). Здесь же Сумароков выступает и в защиту инфинитивов на *-ти*, что также, видимо, в какой-то мере объясняется полемикой с ломоносовской грамматикой: «Глаголы *любити*, *слышати* и проч. в неопределенном без вольности *ТИ*, а по вольности, приятой и утвержденной ко красоте языка *любить* могут великое производить изобилие и легкость, *Любить хвалу* хуже, нежели *любити хвалу*» (там же, с. 43). Не обязательно, вообще говоря, видеть в данном случае ориентацию на церковнославянский, поскольку в XVIII в. формы на *-ти* не были чужды разговорному языку. Барсов в своей грамматике 1783–1788 гг. рассматривает подобные формы как черту «городского выговора» (впрочем, не московского!): «В новейшия времена покусились некоторые и кроме стихов и проч. употреблять *ти* вместо *ть*, да еще и в комедиях и проч. Но в сем случае оное есть не иное что как городскоя а не московскоя выговор; при том же и употребляют оное большая часть не постоянно и без всякаго, как видно, и для самих себя *правила*» (Барсов, 1981, с. 592); при этом «городскоя выговор» Барсов противопоставляет вообще литературному произношению (там же, с. 57). Скорее всего, Барсов говорит в данном случае о Сумарокове.

¹⁰ Этому не противоречит то обстоятельство, что форма *истинный* в данном случае предстает у Ломоносова — вопреки Тредиаковскому — как форма среднего, а не мужского рода. Это объясняется тем, что одновременно (в том же параграфе грамматики) Ломоносов протестует против неправильного, с его точки зрения, образования именительного падежа множественного числа существительных среднего рода на *-и*, а не на *-я*, типа «*учрежденіи*, вместо *учрежденія*». Таким образом, выражение *истинный извѣстїи* оказывается сугубо и утрированно неправильным: здесь демонстративно соединяются две неправильные по своему образованию формы — неправильная форма прилагательного и неправильная форма существительного. Что касается Тредиаковского, то форма *истинный*, с его точки зрения, является формой мужского рода, тогда как форму *извѣстїи* он также признает неправильной (см. об этом ниже, примеч. 51).

¹¹ Последние строки этой эпиграммы перекликаются с притчей Сумарокова «Сова и Рифмач», где Тредиаковский выведен в образе совы (Сумароков, VII, с. 49; Сумароков, 1957, с. 203–204). Скорее всего, образ совы у Сумарокова непосредственно восходит к цитированным ломоносовским стихам; если это так, то сумароковская притча была написана не ранее конца 1753 г. (когда была создана эпиграмма Ломоносова). П. Н. Берков датирует эту притчу 1752 г., связывая ее с выходом в свет

«Сочинений и переводов» Тредиаковского (см.: Сумароков, 1957, с. 204, 540).

Замечание Ломоносова о «нежности» московского аканья (ср. отчасти сходное замечание в §115 ломоносовской грамматики — Сухомлинов, IV, с. 52–53; Ломоносов, VII, с. 430) фактически повторяет высказывание Тредиаковского в «Разговоре... об орфографии» 1748 г., по словам которого «нежнейший московский выговор необходимо произносит <...> (о) как (а)» (Тредиаковский, 1748, с. 305; Тредиаковский, III, с. 207); ср.: Успенский, 1975, с. 67 примеч. и с. 72. Эпитет «нежный» — обычная характеристика русского языка к его противопоставленности церковнославянскому (см.: Успенский, 1975, с. 67, примеч.; с. 382 и сл. наст. изд.). Если Тредиаковский в рассматриваемой эпиграмме называет «нежными» славянизмы (ср.: «Увидит, что там злой кончится нежно злой»; «Священна книга вся сих нежностей полна»), то это объясняется именно тем, что данная эпиграмма соотносится со стихами Ломоносова и полемически им противопоставлена: Тредиаковский как бы заимствует эпитет «нежный» из ломоносовского стихотворения, но прилагает его не к русской, а к церковнославянской языковой стихии. Впрочем, уже в «Разговоре... об орфографии» 1748 г. Тредиаковский замечает, что способность различать *e* и *o* есть свойство «нежного слуха» (Тредиаковский, 1748, с. 194; Тредиаковский, III, с. 128) — при том, что описываемый им принцип различения в чтении этих букв соответствует церковному произношению (см.: Успенский, 1968, с. 29 и сл., с. 54 и сл.; Успенский, 1971а, с. 13–15); соответственно, и в «Письме... от приятеля к приятелю» 1750 г. такие формы, как *подобьем, твоей державы, любезной дочери*, вместо *подобием, твоя державы, любезныя дочери* характеризуются Тредиаковским как «досадные нежному слуху» (Куник, 1865, с. 450, 456, 462).

¹² Представляется очевидным недоразумением утверждение Моисеевой (1973, с. 60), что эти стихи Тредиаковского представляют собой ответ не на цитированную эпиграмму Ломоносова, но на «Сатиру на Елагина», приписываемую Поповскому; в свою очередь, эпиграмма Ломоносова («Искусные певцы...») совершенно безосновательно объявляется здесь ответом на рассматриваемое стихотворение Тредиаковского («Не знаю, кто певцов в стих кинул сумасбродный...!»). Статья Моисеевой обнаруживает явную некомпетентность ее автора.

¹³ В этом пассаже может быть усмотрена полемика с сумароковской эпистолой о русском языке (см. ниже, примеч. 38). Выражение *красные сочинения* у Тредиаковского — конечно, калька с фр. *belles-lettres* (это выражение Тредиаковский употребляет и в «Письме... от приятеля к приятелю» — Куник, 1865, с. 474). В других случаях Тредиаковский может передавать *belles-lettres* как *красное письмо* (в том же трактате о прилагательных — Пекарский, 1865, с. 107) или *красная Словесность* (в предисловии к «Тилемахиде» — Тредиаковский, 1766, I, с. LIII, примеч.; Тредиаковский, II, 1, с. LXVI, примеч.).

¹⁴ В предисловии к этому трактату Тредиаковский сообщает, что он был сочинен в связи с публикацией какой-то его статьи в журнале «Еже-

месячные сочинения, к пользе и увеселению служащие», издаваемом при Академии наук: по его словам, при обсуждении этой статьи в Академии орфография ее вызвала дискуссию, т. е. возникло сомнение в целесообразности отступления от правил, принятых в академических изданиях, — что и послужило поводом для специального рассуждения, призванного обосновать правомерность орфографии такого рода (Пекарский, 1865, с. 102; Сухомлинов, IV, примеч., с. 25). «Ежемесячные сочинения» начали выходить с января 1755 г.; статьи Тредиаковского опубликованы в мартовской и июньской книжках за этот год, причем в обеих статьях сохраняется правописание автора (Неустроев, 1874, с. 50–51; Пекарский, II, с. 177; в февральской книжке было опубликовано еще стихотворение Тредиаковского, но оно непоказательно в отношении правописания). Вместе с тем, первая из этих статей («Об истине сражения у Горациев с Куриациями...») была прочитана Тредиаковским на заседании академической Конференции 15 февраля 1755 г. (Протоколы АН, II, с. 322), т. е. уже после рассмотрения статьи о прилагательных (вторая статья — «О древнем, среднем и новом стихотворении российском» — была прочитана им 5 апреля 1755 г., см. там же, с. 326). Таким образом, заявление Тредиаковского не соответствует действительности: трактат о правописании прилагательных был написан независимо от других статей Тредиаковского, однако опубликование этих статей рассматривалось им как повод для публикации данного трактата. (Следует к тому же иметь в виду, что в «Предуведомлении» к «Ежемесячным сочинениям» специально оговаривалось намерение издателей допускать «разность в слоге», что, очевидно, предусматривало возможность и разнообразия в правописании, — «Ежемесячные сочинения», 1755, январь, с. 10–11.)

Рассуждение Тредиаковского о правописании прилагательных предназначалось для печати и было даже начато набором; оно должно было появиться в августовской книжке «Ежемесячных сочинений» за 1755 г., однако было отвергнуто редактором журнала, профессором Миллером. 15 ноября 1755 г. Тредиаковский подает в Академию наук жалобу на Миллера, обвиняя редактора академического журнала в том, что тот отказывается его печатать. Здесь, между прочим, говорится: «<...> сочинения, которые уже удостоены вами печати и давно изготовлены для занятия места в наших Эфемеридах, он, профессор Мюллер, презрительно пренебрегает, так что по учиненной автором корректуре первого, как говорится, набранного с письма и напечатанного листа, выбрасывает оныя яко недостойныя: ибо сочиненье мое о российском окончании в множественном числе имен прилагательных, здесь чтенное и удостоенное, также мною подправленное на первом напечатанном листе, которому надлежало иметь место в месяце августе, и до ныне не является, а лежит презренно и брошено профессором Мюллером» (Пекарский, II, с. 195). И позднее в своем доношении в Академию наук от 28 сентября 1758 г. Тредиаковский вспоминает о «Рассуждении <...> об окончании наших прилагательных множественных мужеских имен, которое не токмо алпоровано, но уже начато было и печатно производится [в «Ежемесячных сочинениях»]: однако брошено и уничтожено, да и где оно ныне, не знаю» (Пекарский, 1866, с. 178; Пекарский, II, с. 183).

¹⁵ Невозможно согласиться с мнением Пекарского (II, с. 178), Сухомлинова (II, примеч., с. 136–137), Модзалевского (1937, с. 83) и других исследователей, которые видят в сатире Ломоносова («Искусные певцы...») отклик на орфографию статей Тредиаковского, помещенных в «Ежемесячных сочинениях»; тогда приходится считать, что она написана не ранее 1755 г., в результате чего отодвигается и дата написания ответной эпиграммы Тредиаковского, так же как и его трактата о правописании прилагательных. Аргументация Г. П. Блока, датирующего стихи Ломоносова ноябрем 1753 г. (см.: Ломоносов, VIII, с. 1016, 1024), представляется вполне убедительной.

¹⁶ Ср., например, в «Разговоре... об орфографии» 1748 г.: «Оно [употребление] так есть благорассудное, что ежели ему и случится нечто переменить в языке, или новое ввести, не переменяет и не вводит просто и устремительно; но прежде справливается с своими уставами, <...> не будет ли та перемена, или какое новое введение, противно природе того языка, чье есть Употребление» (Тредиаковский, 1748, с. 315–316; Тредиаковский, III, с. 214); здесь же Тредиаковский говорит «о первоначальной древности нашего языка, в котором хотя уже и многие <...> находятся перемены; однако всегда в нем одно и то же пребывает свойство» (Тредиаковский, 1748, с. 292; Тредиаковский, III, с. 197). В трактате о правописании прилагательных 1755 г. читаем: «Нет всеобщаго употребления, как-бы-оно-по-различию-времен-ни-различилось [т. е. к какой бы эпохе в эволюции языка оно ни относилось], которое-всеконечно-противно было всеобщему свойству того языка, в коем-оно Употреблением: ибо, в противном случае, не было бы уже оно употреблением живущаго языка, но всесовершенным его истреблением» (Пекарский, 1865, с. 107). В первой редакции статьи о прилагательных (1746 г.) эта мысль формулируется так: «Коль ни прменяемое само в себе есть употребление, по прошествии нескольких лет, однако никогда не бывает в нем такая перемены, которая бы всеконечно противна была природе того языка, котораго она ввелась в употребление. Инако, не была бы она употреблением переменявшимся в том языке, но совершенным онаго истреблением» (Вомперский, 1968, с. 88; Сухомлинов, IV, примеч., с. 17). При таком подходе задача кодификатора — вывести те или иные закономерности, определяющие природу данного языка, с точки зрения которых и следует оценивать все нововведения в языке.

¹⁷ О форме *иль* как о поэтической вольности (*licence*) Тредиаковский упоминает уже в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» 1735 г. (Тредиаковский, 1735, с. 17; Куник, 1865, с. 31; Тредиаковский, 1963, с. 378). Замечательно, вместе с тем, что если в 1755 г. для него является «вольностью» *спать*, вместо *спати*» (Пекарский, 1865, с. 106), то в 1735 г. его позиция прямо противоположна, и поэтическими «вольностями» объявляются *пишеши*, вместо *пишешь*, и *писати*, вместо *писать*» (Тредиаковский, 1735, с. 16; Куник, 1865, с. 31; Тредиаковский, 1963, с. 377). Это наглядно демонстрирует ту эволюцию взглядов Тредиаковского на литературный язык, о которой мы говорили выше (см. § 1 наст. работы): в 1730-е гг. Тредиаковский в принципе ори-

ентируется на разговорное употребление и, соответственно, исходит из русских форм, трактуя славянизмы как возможное отклонение от языковой нормы (допустимое в поэтическом тексте); напротив, в 1750-е гг. он в принципе ориентируется на церковнославянский язык и, соответственно, в качестве отклонения от нормы может расценивать русизмы.

Не случайно во второй редакции трактата о стихотворстве (1752 г.) Тредиаковский исключает из раздела о поэтических «вольностях» все конкретные примеры, ограничиваясь лишь общими фразами (см.: Тредиаковский, 1752, I, с. 141–142; Тредиаковский, I, с. 165–166).

¹⁸ Впрочем, в одном случае Тредиаковский, кажется, попутно задевает и Ломоносова (см. ниже, примеч. 50).

¹⁹ Жалобы на плохое зрение — частый мотив в письмах Сумарокова, см., например: ПРП, 1980, с. 115, 121, 123, 124.

²⁰ Как отмечает Г. А. Гуковский (1962, с. 73), обычай того времени легче допускали «самые резкие нападки и брань по адресу литературных неприятелей, чем открытое указание их имен». Тредиаковский в «Новом и кратком способе к сложению российских стихов» (1735 г.) учил: «В Сатирических Эпистолах так должно человека хулить, чтоб только худья его дела порочить, и то не без закрывок и не без отверниц, укрывая, как можно, имя, и все то, по чему можно догадаться, что то конечно и точно о сем, а не о другом человеке пишется» (Тредиаковский, 1735, с. 35; Куник, 1865, с. 42); слово *отверница* означает здесь «условный, тайный язык» (это слово в данном значении зафиксировано в XVII в. в записях Исаака Массы и Ричарда Джемса, см.: Масса, 1937, с. 77 и 194, примеч. 98; Ларин, 1959, с. 156; к его этимологии см.: Архипов, 1982, с. 14, а также Архипов, 1980, с. 82). Ср., между прочим, характерный протест Сумарокова против нарушения данного правила: в письме Екатерине II от 4 марта 1770 г. Сумароков пишет об А. П. Шувалове: «он и явственно меня, отходя от ПРАВИЛ КРИТИКИ, по Парнасу ругал; а я еще молчу, хотя и не должен» (ПРП, 1980, с. 138). Отметим еще в этой связи доношение Тредиаковского в канцелярию Академии наук от 12 октября 1748 г., где речь идет о сумароковской «Эпистоле о русском языке»: «В ней толь великое чтется язвительство, что не пороки пишущих больше пятнаются, сколько сами писатели, так что и звательный падеж одного употреблен, и только что не собственное имя, по примеру, так называемая древняя Аристофанова комедия, которая впрочем в Афинах тогда накрепко запрещена была начальствующими, как мы видим из истории <...>» (Материалы АН, IX, с. 473, № 579; Пекарский, II, с. 131); Тредиаковский имеет в виду, по-видимому, «Облака» Аристофана (ср. упоминание этой комедии в аналогичном контексте у Буало в «L'Art Poétique», песнь III-я).

²¹ Вероятно, к этой эпиграмме восходят стихи о Сумарокове, которые цитирует Берков (1962, с. 368), не называя автора и не ссылаясь на источник: «Который рыж, заика и мигун». Берков считает — на основании этих строк, — что Сумароков был болен тиком, однако привычка мигать, скорее всего, объясняется болезнью глаз.

²² Отвечая на этот выпад, Сумароков писал в своем «Ответе на Критику»: «О каком он говорит биении сердца, того я не понимаю < . . . >» (Сумароков, X, с. 93), — признавая, тем самым, что прочие намеки Тредиаковского ему понятны.

²³ Тредиаковский, заручившись поддержкой Синода, пытался напечатать «Феоптию» в московской Синодальной типографии, однако эта попытка не увенчалась успехом (см.: Пекарский, II, с. 204–205; Тредиаковский, 1963, с. 507–509; О Феоптии. . . , с. 536–552; Шишкин, 1989). Как предполагает А. Б. Шишкин (1983), нежелание московской Синодальной типографии печатать «Феоптию» (отразившееся и в цитированном доношении московской Синодальной конторы) обусловлено тем обстоятельством, что во главе этой типографии стоял в это время М. М. Херасков: в литературной борьбе Сумарокова и Тредиаковского Херасков, конечно, был на стороне Сумарокова — что, видимо, и решило судьбу «Феоптии».

²⁴ Ср., между тем, описание Ломоносова в сумароковской притче:

Ворчал,
Мичал,
Рычал,
Кричал,
На всех сердился < . . . >

(Сумароков, VII, с. 69; Сумароков, 1957, с. 208)

²⁵ Выражение «горазд лгать, да не мигать» в цитированных стихах может относиться именно к Тредиаковскому, который объединяется у Ломоносова с Сумароковым по признаку лганья, но противопоставляется по признаку миганья (лжет, как Сумароков, но не мигает). В той же ломоносовской эпиграмме 1759 г. («Злобное примирение. . .»), между прочим, читаем:

Аколост [= Сумароков] написал:
Сотин [= Тредиаковский] лишь врать способен,
А ныне доказал, что сам ему подобен.

При этом имеется в виду фраза из «Эпистолы о стихотворстве» Сумарокова 1748 г., где Сумароков писал, что Тредиаковский «лишь только врать способен» (Сумароков, I, с. 347; Сумароков, 1957, с. 125). Если считать, что глагол *лгать* в стихотворении Ломоносова «О сомнительном произношении. . .» заменяет собой близкий по значению глагол *врать* в цитированной фразе Сумарокова, то можно усмотреть здесь совершенно определенное указание на то, что выражение «горазд лгать; да не мигать» относится именно к Тредиаковскому. Точно так же и выражение *ногти оарызать*, кажется, намекает опять-таки на Тредиаковского, ср. «Сатиру на самохвала» И. С. Баркова (1752 г.?), направленную, как предполагают, против Тредиаковского:

Бегает тебя всяк: думает, что еретик,
Что необычны шутки делать ты обык.

Руки на лоб иногда невзначай закинешь,
Иногда закусишь перст, да вдруг и вынешь < . . . >
(Поэты XVIII века, II, с. 371)

Между тем, сам Тредиаковский, обсуждая вопрос о рифмах в предисловии к «Тилемахиде» (1766 г.), говорит о себе: «могу < . . . > без вертопрашного тщеславия сказать, что приобрел я в прискании себе их, не грызя ногтей и без поражения ладонию челá, некоторый нáвык < . . . >» (Тредиаковский, 1766, с. LV; Тредиаковский, II, с. LXVIII). Не исключено, что Тредиаковский реагирует здесь именно на «Сатиру на самохвала».

²⁶ Ср. тот же мотив в письме Сумарокова к Г. В. Козицкому от 24 июля 1769 г.: «А я едва вижу, так мои глаза испорчены, и думаю, что и я скоро буду Омиром в рассуждении глаз, как некий Вас. Петров в рассуждении высокого склада к чести нашего века» (ПП, 1980, с. 123). Отметим, что Сумароков, как правило, употреблял форму *Гомер*, а не *Омир*: в связи с упоминанием высокого слога форма *Омир* звучит пародийно-иронически. Сопоставление Сумарокова с Гомером по признаку плохого зрения было, по-видимому, избитой остротой.

²⁷ Прозвище *Аколост* в цитированных эпиграммах восходит, по-видимому, к стихотворению Ломоносова «Злобное примирение. . .» (1759 г.); таким образом, эти эпиграммы написаны не ранее 1759 г.

²⁸ В первых версиях комедии Мольера имя героя звучало ближе к его прототипу: *Tricotin*, и только впоследствии изменилось оно в *Trissotin*; в последнем случае обыгрывается корень *sot-* «глупый», т. е. *Trissotin* как бы равносильно *Trois fois sot*.

²⁹ Ломоносов пользуется подобной кличкой и позднее: так, в «Злобном примирении господина Сумарокова с господином Тредиаковским» (1759 г.) он называет Тредиаковского «Сотином»:

С Сотином — что за вздор? — Аколост примирился!
(Сухомлинов, II, с. 158; Ломоносов, VIII, с. 659)

Имя *Сотин* — конечно, результат усечения от *Trissotin*.

Тредиаковский именуется «Тресотином» и в приписываемой Ломоносову «Оде Тресотину», написанной в связи с ломоносовским «Гимном бороде» (1757 г.), см.: Сухомлинов, II, примеч., с. 179–182; Ломоносов, VIII, с. 826–829. Ломоносовский «Гимн бороде» спровоцировал в том же 1757-м г. направленные против Ломоносова письма, написанные будто бы Христофором Зубницким. Хотя, как доказал Перетц (1911, с. 85–86), письма эти не были написаны Тредиаковским, Ломоносов, как, по-видимому, и другие, приписывали их Тредиаковскому (см. ломоносовскую эпиграмму «Зубницкому» 1757 г., явно обращенную к Тредиаковскому — Сухомлинов, II, с. 142; Ломоносов, VIII, с. 630). Следствием этого и явилась «Ода Тресотину».

³⁰ В последних строках может быть усмотрен намек на «Разговор... об орфографии» Тредиаковского (1748 г.), где формулируется требование исключить из гражданского алфавита букву «земля» (з) и последовательно писать вместо нее «зело» (s) (Тредиаковский, 1748, с. 54–55, 136–138, 361 примеч.; Тредиаковский, III, с. 34, 87–89, 248 примеч.); сам Тредиаковский придерживался этой орфографии, и при печатании «Разговора... об орфографии» специально для этой книги была изготовлена прописная буква S (Пекарский, II, с. 121; Успенский, 1975, с. 209, примеч. 45). Соответственно, в «Тресотиниусе» Сумароков заставляет Тресотиниуса, т. е. Тредиаковского, спорить с подьячим, настаивая на таком правописании: «ТРЕСОТИНИУС. <...> Тут поставь зело. Подьячий. Благодетель мой, у нас зела в приказах не пишут; ныне зела и в писменных азбуках нет. ТРЕСОТИНИУС. Я хочу, и действительно хочу, чтоб стояло зело, а не земля» (Сумароков, V, с. 319). Ср. еще: «ПОДЬЯЧИЙ. <...>. Да как знал я, что и зело, а не землю в заглавии написал. ТРЕСОТИНИУС. Покази <...> Хорошо, вижу, хорошо и смотреть нечево, и все написано по орфографии. Видно, что в тебе путь есть. Достоин ты секретарем быть» (там же, с. 320–321). Сам Сумароков в статье «О правописании» (1768–1771 гг.) выступает противником буквы «зело» (Сумароков, X, с. 10–11), критикуя при этом орфографические рекомендации Тредиаковского.

Вообще Тредиаковский изображен в «Тресотиниусе» как педант, который рассуждает о буквах (имеется в виду, конечно, «Разговор... об орфографии»): в частности, он заявляет себя приверженцем «тверда об одной ноге» и противником «треножного тверда». В присочиненной Тредиаковским «новой сцене» к «Тресотиниусу» выведен Сумароков (см. § 8 наст. работы), причем Тресотиниус говорит ему: «Как бы я вам не сказал такова одноножного тверда, которое будет зело, зело, зело твердо» (Куник, 1865, с. 498). Эти слова Тресотиниуса у Тредиаковского полемически противопоставлены все тем же стихам сумароковской «Эпистолы о русском языке» («зело, зело, зело, дружок мой ты искусен <...>») и должны восприниматься именно на этом фоне: если Сумароков обыгрывает двойное значение слова *зело*, то Тредиаковский обыгрывает двойное значение слова *твердо* — у того и у другого автора соответствующее слово выступает и как название буквы, и как наречие.

Сходным образом в «Ответе на Критику» (1750 г.), полемизируя с Тредиаковским и отстаивая «употребительную» форму *братьев* (вместо формы *братий*, которую рекомендует Тредиаковский в «Письме... от приятеля к приятелю»), Сумароков пишет, пародируя стиль Тредиаковского: «зело зело братьев я здесь в угодность ево положил много» (Сумароков, X, 97). Выражение *зело зело* становится, таким образом, опознавательным сигналом, обозначая полемическую направленность против Тредиаковского; соответственно, на основании позднейших примеров проясняется и смысл данного сочетания в «Эпистоле о русском языке».

³¹ Это место цитирует впоследствии Ломоносов в эпиграмме «Злобное примирение...» (1759 г.), называя при этом Сумарокова «Аколостом», а Тредиаковского — «Сотином»:

Аколост написал: «Сотин лишь врать способен»,
А ныне доказал, что сам ему подобен.

(Сухомлинов, II, с. 158; Ломоносов, VIII, с. 659)

Между тем, в стихотворении «На сочетание стихов российских» Ломоносов непосредственно называет Тредиаковского именем «Штивелий» (Сухомлинов, II, с. 287; Ломоносов, VIII, с. 543). Скорее всего, Ломоносов воспользовался прозвищем, заимствованным у Сумарокова. Мы не знаем, однако, когда было написано это последнее стихотворение Ломоносова, представляющее собой отклик на стиховедческий трактат Тредиаковского 1735 г. и непосредственно перекликающееся с ломоносовским «Письмом о правилах российского стихотворства» 1739 г. (Ломоносов, VII, с. 16; Сухомлинов, III, с. 9–10; ср.: Сухомлинов, II, примеч., с. 390–391): в принципе не исключено, что оно предшествует сумароковской эпистоле, и тогда надо полагать, что не Ломоносов заимствовал данное прозвище у Сумарокова, а наоборот — Сумароков у Ломоносова. Правда, Тредиаковский в «Письме... от приятеля к приятелю» упрекает именно Сумарокова, а не Ломоносова в заимствовании данного имени у Гольберга: «Автор [Сумароков] толь мал в вымысле, что ни имен для смеха выдумать от себя не мог: его и Штивелиус в Эпистоле о стихотворстве так же чужой, а именно из <...> Голберга» (Куник, 1865, с. 442); Берков (1936, с. 96) видит здесь явное указание на то, что сумароковская эпистола предшествовала упомянутому стихотворению Ломоносова — в противном случае, по мнению Беркова, Тредиаковский не преминул бы упомянуть Ломоносова. Но «Письмо...» Тредиаковского посвящено всецело и исключительно критическому рассмотрению творчества Сумарокова (к Ломоносову, напротив, Тредиаковский выказывает здесь крайнее уважение, противопоставляя его Сумарокову — Куник, 1865, с. 467, 476): Тредиаковскому важно в данном случае указать, что Сумароков не оригинален в своем творчестве. К тому же, он вполне мог не знать о том, что Ломоносов является автором стихотворения «На сочетание стихов российских». Вопрос, таким образом, остается открытым.

Именем «Штивелиус» по отношению к Тредиаковскому пользуется и Н. Н. Поповский в сатире «Возражение, или Превращенный петиметр» (1753 г.), направленной против И. П. Елагина; Поповский цитирует при этом сумароковскую «Эпистолу о стихотворстве»:

Всей силой тщился ты то свету показать,
Что сам Штивелиус не может так соврать.

(Поэты XVIII века, II, с. 385)

Относительно авторства Поповского см.: Берков, 1936, с. 114–134; Модзалевский, 1958, с. 130–132; совершенно абсурдно предположение Моисеевой (1973, с. 58), что автором этой сатиры является Тредиаковский(!).

³² *Magistr Stiefelius* (Magister Stiefelius) — имя педанта в немецком переводе комедии Гольберга “Jacob von Tyboe eller den stortalende Soldat”, которая по-немецки называется “Bramarbas oder der

groszsprecherische Officier»; в датском оригинале соответствующий персонаж носит имя «Magister Stygotius» (см.: Сухомлинов, II, примеч., с. 392–399).

³³ Ср. замечания Тредиаковского в «Письме . . . от приятеля к приятелю» 1750 г. (Куник, 1865, с. 441, 442, 485) и возражения Сумарокова в «Ответе на Критику» 1750 г. (Сумароков, X, с. 102–103).

³⁴ В первоначальном варианте сумароковских эпистол наиболее резкие выпады против Тредиаковского отсутствовали; раздраженный отзывом Тредиаковского от 12 октября 1748 г., Сумароков усиливает свои «язвительства» (см.: Ломоносов, IX, с. 938–939).

³⁵ Как они — германизм у Сумарокова: слово как калькирует нем. als или wie.

³⁶ Ср. противопоставление русского и мордовского языка в позднейшем стихотворении Сумарокова «О французском языке», опубликованном в 1774 г.: говоря о недопустимости заимствований, Сумароков спрашивает: «Или уж наш язык мордовскова гнусияе?» (Сумароков, VII, с. 369; Сумароков, 1957, с. 192). Мордовский язык выступает как пример нелитературного языка — языка, лишённого литературной традиции.

³⁷ Характерен в этом плане следующий эпизод. В 1768 г. Сумароков представил И. П. Елагину, назначенному перед тем директором театров, свою трагедию «Вышеслав»; тот вернул ее, указав, что четыре стиха трагедии, противные «его нежному слуху», следует изменить (необходимо иметь в виду, что Елагин, бывший в свое время ревностным почитателем Сумарокова, стал к этому времени его врагом; впоследствии они помирились). Сумароков в письме к императрице от 15 августа 1768 г. находит эти притязания несостоятельными, ссылаясь на то, что Елагин не имеет «довольного знания во французском языке и никакого в поэзии» (ПРП, 1980, с. 111, ср. с. 202; Лонгинов, 1871, стлб. 1653). Итак, апелляция к «нежному слуху» в принципе предполагает владение французским языком: французский язык и французская языковая ситуация оказываются эталоном (моделью) для России.

³⁸ Ср. более широкий контекст:

Письмо, что грамоткой простой народ зовет,
С отсутствующими обычну речь ведет:
Быть должно без затей и кратко сочиненно,
Как просто говорим, так просто изъясненно,
Но кто не научен исправно говорить,
Тому не без труда и грамотку сложить.

Выражение *обычна речь* означает «разговорная речь». Эти слова Сумарокова любопытно сопоставить с прямо противоположным заявлением Тредиаковского (в статье о правописании прилагательных 1755 г.), которое мы уже цитировали выше: «Никто не пишет ни письма о домашнем деле, чтоб он не тщался его написать отменнее от простаго разговора» (Пекарский, 1865, с. 109). Не исключено, что Тредиаковский и в данном случае полемизирует с эпистолой Сумарокова.

³⁹ И в другом, более позднем стихотворении — «Письме ко князю Александру Михайловичу Голицыну» (после 1769 г.?) — Сумароков бранит писателей, которые

< . . . > словами нас дарят
Какими никогда нигде не говорят.

(Сумароков, IX, с. 208; Сумароков, 1957, с. 302)

Эта фраза дается в контексте противопоставления «надутых» и «нежных» слов — эпитетом «надутый» квалифицируются высокие славянизмы, тогда как «нежный» характеризует разговорную языковую стихию (ср. выше, примеч. 11).

⁴⁰ Ср. совершенно такое же восприятие «Бовы» и у Ивана Сечихина, переводчика «Анфроскопии» (латинского физиогномического трактата). В предисловиях к своему переводу (1732 г.) Сечихин заявляет себя приверженцем языковой программы молодого Тредиаковского и превозносит «Езду в остров Любви» (см.: Сечихин, 1732, л. 1 об., 3–3 об.); при этом «Езда в остров Любви» противопоставляется «Бове» и — характерным образом — церковнославянской «Пчеле»: оба произведения объединяются в своей противопоставленности новой литературе и новому литературному языку. Так, в предисловии «К Зоилу» Сечихин выражает уверенность в том, что его труд не избежит нападков Зоила, поскольку тот перед тем осудил «Езду в остров Любви»: «Знать, деревенския бабы, на поспрадуху собравшись, < . . . > с тобою конференцию имели и цензеровать тебя научили. Хорошо для вас книга о Бове Королевиче, в которой повествуются древния оныя о Лукопере исполние, преславном Полкани и Милитрисе истории; еще ж и книга Пчела, не знаю по истинне которым автором изданная, без всякого погрешения < . . . > яко благочестия своего наставница, апробации достойна, ис которой ты Многия доводы в публичных диспутациях на свадьбах у мужиков деревенских и у братины по празникам со учеными оными дьячками и пьяным клиром привести можешь» (там же, л. 4). Знаменательна ссылка на клириков, носителей церковной культуры, которые ассоциируются с деревенскими мужиками постольку, поскольку и те и другие принадлежат к патриархальной культуре.

Итак, и Сумароков и Сечихин воспринимают язык «Бовы» как книжный, противопоставляя его новому литературному языку, и это обусловлено ориентацией литературного языка на разговорное употребление. Списки «Бовы» разнородны в языковом отношении: язык «Бовы» варьируется от упрощенного церковнославянского с большим количеством русизмов до книжного русского, изобилующего славянизмами и архаизмами; как бы то ни было, в перспективе разговорной речи язык этот может восприниматься как книжный и даже ассоциироваться с церковнославянским.

Любопытно, что говоря о необходимости ориентироваться на Францию и на «весь политичный свет», Сечихин иронически замечает, обращаясь к Зоилу: «Разве ты у мордвы и чуваша инако научился?» (там же, л. 3 об.); как мы видели, противопоставление французского и мордов-

ского языков представлено и в «Эпистоле о русском языке» Сумарокова. Общая установка может приводить, таким образом, к совпадениям, подходящим до деталей.

⁴¹ Ср. выше (примеч. 11) об эпитете «нежный» как характеристике русского языка. Следует иметь в виду, что Сумароков может объединять — в перспективе живой русской речи — церковнославянский и приказной язык: не случайно такое слово как *помеже* — слово церковнославянского словаря, широко представленное в церковных книгах, — регулярно выступает у него как символ подъяческой речи.

Подобно Сумарокову, и М. Д. Чулков связывал «Бову» и «Петра Златых Ключей», также как и другие повести такого же рода, именно с приказным сословием; не исключено, что это обусловлено прямым влиянием сумароковской эпистолы. Так, в журнале «И то и сьо» (1769, неделя 10, с. [5]) Чулков говорит о подьячем, который промышлял переписыванием книг: «По прекращении приказной службы, кормит он голову свою переписыванием разных историй, которые продаются на рынке, как то например: Бову Королевича, Петра златых ключей, Еруслана Лазаревича, о Франце Венецианине, о ГерIONE, о Евдоне и Берфе, о Арсасе и Размере, о Российском Дворенине Александре, о Фроле Скобееве, о Барбосе разбойнике и прочия весьма полезныя истории, и сказывал он мне, что уже сорок раз переписал историю Бовы Королевича < . . . >». См. вообще о восприятии этих произведений в XVIII в.: Кузьмина, 1964, с. 56–59, 187–193.

Отметим еще, что Лукин в предисловии к «Моту, любовию исправленному» (1765 г.) указывает на язык повести о Еруслане Лазаревиче как на типичный пример дурной прозы, при том что в качестве примера плохой поэзии фигурируют у него стихи Шапелена (см.: Лукин, 1765, I, с. XXI; Лукин и Ельчанинов, 1868, с. 13); если упоминание «Шапеленских стихов» в этом контексте свидетельствует о влиянии Буало, то ссылка на повесть о Еруслане Лазаревиче определяется собственно русской литературной традицией — вполне возможно, что и Лукин ассоциирует язык этой повести с приказным языком.

⁴² Понятие грамоты прочно связывается для Сумарокова с русским, а не с церковнославянским языком. Показательно в этом смысле его письмо к Еккатерине II от октября 1767 г., где он пишет о своем зяте, что тот «за неумением грамоты < . . . >, кроме Часовника ничего не читает» (ПРП, 1980, с. 104). Само собой разумеется, что умение читать Часовник предполагает определенное обучение — однако, именно обучение по складам.

Сообщение Сумарокова, что по «Бове» и «Петру Златых Ключей» могли в XVIII в. учиться грамоте, заслуживает, по-видимому, полного доверия. Так, в одном списке «Петра Златых Ключей» 1750-х гг. [собрание Санкт-Петербургского Государственного Университета, Ms. Егор. СХII (Ms. E. III. 39)] мы встречаем характерную запись: «Сия История о преславном рыцаре и ковалере Петре Златых Ключей и о прекрасной французской Магилене королевне дворцового Сяскаго рятку крестьянина Фомы Кузнецова. А купил сию Историю в Сантптер-бурхе на рынке

сын ево Кирил Фомин сын Кузнецова в 1753 году марта 26 дня для научения писать, притом и для внимания писания. В сей Истории потписал своею рукою Кирилл Кузнецов» (Кузьмина, 1964, с. 191).

⁴³ В свою очередь, полемика с Тредиаковским — с сумароковских позиций — может быть, содержится в следующих стихах из «Сатиры, сочиненной чрез напольного поручика Бра. . .» (Я. И. Брандта?):

Иной, лишь выучив псалтырь да часослов,
Подумал о себе, что он и богослов.
Умея написать лишь только аз и буки,
Возмнил, что знает все искусства и науки.
Искусен ты до бук, но не достиг зела,
И ты вступаешься днесь в письменны дела.
(Поэты XVIII века, II, с. 396)

Нетрудно усмотреть здесь прямую аллюзию к тому месту сумароковской «Эпистолы о русском языке», которое направлено против Тредиаковского («зело, зело, зело, дружок мой ты искусен» и т. п. — ср. выше, примеч. 30).

⁴⁴ Равным образом, отвечая на критику своего посвящения («дедикации») к «Аргениде», Тредиаковский заявляет, что в его посвящении «слова все избранныя» и ссылается при этом на «церковныя наши книги» («Доношение в Академию наук на экзаменаторов дедикации к Барклаевой Аргениде» 1750 г. — Тредиаковский, 1849, с. 136–137). «Дедикация» Тредиаковского была отдана на рассмотрение Крашенинникову, Ломоносову и Попову, которые подвергли ее критике (Материалы АН, X, с. 534, 536–537, 559–560, № 689, 693, 733; Пекарский, II, с. 147–151).

Что именно подразумевает Тредиаковский под «избранными словами», позволяют понять конкретные его замечания в «Письме . . . от приятеля к приятелю» относительно необходимости «выбора слов» и правильного «избрания речей». Так, например, Тредиаковский говорит здесь о Сумарокове: «Помнит ли почтенный Автор, что он Оду сочинял, то есть самый высокий род стихотворения? < . . . > для чего ж не старался он о выборе слов? Ода не терпит обыкновенных народных речей: она совсем от тех удалается, и приемлет в себя токмо высокие и великолепные. По сему, чего ради ему не положить *воззри*, вместо *взгляни*? (Куник, 1865, с. 456); «худо он умеет слова выбирать: ибо пишет в Трагедиях *опять за паки, этот за сей, эта за сия, это за сие*» (там же, с. 476); ср. еще утверждение Тредиаковского, что «он [Сумароков] никакова отнюд не имеет искусства в употреблении, и в избрании речей» (там же, с. 483) — поводом для этого последнего замечания послужило неправильное употребление славянизма *седалище*.

⁴⁵ Так, Тредиаковский говорит по поводу ошибок Сумарокова, касающихся глагольного управления: «< . . . > Автор положил глагол *спасаю* с родительным падежем без предлога *от*. Мы прочии все положилиб сию речь так: *Ты от грозного меча спасаешь*, а не *Ты грозного меча спасаешь*. Но автору угодно писать по новому. Впрочем, сколько

его сие сочинение ни новое, и ни противное языку; однако он ясно о себе показал, что он мало читывал молебный канон, называемый Параклис: ибо там точно, да и праведно, стоит: *от тяжких и лютых мя спаси*. Не лучше ли по сему Автору приняться за наши прежде книги, дабы научиться правильно сочинению?» (Куник, 1865, с. 449); «< . . . > на жизнь алкать, сочинено весьма странно: ибо глагол алчу есть самостоятельный, и не правит никаким падежом, то есть, говорится просто алчу. Пусть прочтет Автор послания Святаго Апостола Павла, то и увидит во многих местах мою правду, а свою превеликую погрешность» (там же, с. 478).

⁴⁶ Так, например, констатируя неправильное употребление слова *поборник* у Сумарокова, Тредиаковский замечает: «< . . . > Сие показывает, что или Автор мало бывает в церкви на великих вечернях, и на всеобщих бдениях, или бывает да не тогда, когда первый глас поется: ибо инако, тоб Автор мог услышать в Богородичне начинающемся *Всемирную славу*, что слово *поборник* значит не *противника*, но *защитника*, и *споспешника*» (там же, с. 480; ср. в этой связи критические замечания относительно употребления слова *поборать* в отзыве Тредиаковского о сумароковской трагедии «Гамлет» от 10 октября 1748 г. — Материалы АН, IX, с. 461, № 576; Пекарский, II, с. 130). Сходным образом выяснение значения слова *твердь* предполагает, по мнению Тредиаковского, обращение к Псалтыри, т. е. анализ употребления этого слова в церковных книгах (Куник, 1865, с. 481).

Любопытны в этой связи позднейшие рассуждения Сумарокова по поводу слова *поборник* в статье «О правописании» (1768–1771 гг.): «слово *Поборник*, не то знаменует каково оно, но совсем противное; Поборник мой по естеству своему тот, который меня поборае: а по употреблению тот, который за меня друга поборае» (Сумароков, X, с. 14). Итак, «естество», т. е. естественное (непосредственное) восприятие данного слова, обусловленное его этимологическими связями, противопоставляется «употреблению» — под «употреблением» в данном случае понимается употребление в церковных книгах, т. е. Сумароков признает, что слово *поборник* употребляется в значении «защитник», но констатирует неестественность такого употребления, несоответствие его здравому смыслу. Не исключено, что на эти рассуждения Сумарокова оказала какое-то влияние критика со стороны Тредиаковского.

⁴⁷ Ср. характеристику церковнославянского языка как «чистого», а отсюда и ориентацию на этот язык при установлении русских языковых норм, уже в «Разговоре . . . об орфографии» 1748 г.: обсуждая здесь правописание прилагательных, Тредиаковский говорит, что необходимо писать так, «как нам чистый наш язык велит, а именно, славенский» (Тредиаковский, 1748, с. 309; Тредиаковский, III, с. 210).

⁴⁸ Соответственно, в статье о правописании прилагательных 1755 г. Тредиаковский называет церковные книги «классическими» (Пекарский, 1865, с. 108) — как бы подчеркивая, что они призваны играть в России такую же роль, какую на Западе играют классические (образцовые) авторы.

⁴⁹ В Казанском сборнике эта строка читается иначе: «Увидит, что там коль, не за коли < . . . >». Оба варианта, вообще говоря, правомерны; при этом миллеровский список дословно соответствует «Письму . . . от приятеля к приятелю».

⁵⁰ Если форма *коль* в равной мере указывает на Ломоносова и на Сумарокова, то форма *нынь*, которую также критикует Тредиаковский в своей эпиграмме (ср.: «не *нынь* там и не *вал*, но *нынь* и *волна*»), характерна для Ломоносова. Сумароков в статье «О правописании» (1768–1771 гг.) выступает против этой формы, приписывая ее именно Ломоносову (Сумароков, X, с. 16); соответственно, в своих пародиях на Ломоносова 1759 г. — в «Одах вздорных», а также в «Дифирамбе» («Позволь, великий Бахус, *нынь* . . .») — Сумароков регулярно употребляет эту форму (Сумароков, II, с. 205, 209, 214; Сумароков, 1957, с. 286, 287). Итак, если эпиграмма Тредиаковского в принципе направлена против Сумарокова, то в данном случае, очевидно, Тредиаковский попутно задевает и Ломоносова.

Что касается слова *вал* (в значении «волна»), то мы также находим его как у Сумарокова, так и у Ломоносова. В «Письме . . . от приятеля к приятелю» Тредиаковский рассматривает сумароковские строки

Делá, что Небеса пронзают,
Лесá, и гордые валы,

замечая по этому поводу: «что то у нас за разум, когда делá прободают небо, лес, и гордую волну?» (Куник, 1865, с. 455–456) — итак, сумароковское *вал* соотносится у Тредиаковского со словом *волна* (ср. еще рассуждения в связи со словом *вал* там же, с. 464–466). Не менее характерно употребление слова *вал* в значении «волна» и для Ломоносова: между прочим, как *нынь* «нынь», так и *вал* «волна» фигурирует в одной и той же сцене трагедии Ломоносова «Тамира и Селим» 1750 г. (действ. I, явл. 3 — Сухомлинов, I, с. 226, 228; Ломоносов, VII, с. 298–299), которая в принципе и могла спровоцировать критическое выступление Тредиаковского.

⁵¹ Ср. здесь соответствующие характеристики конкретных слов или словоформ. Так, Тредиаковский расценивает как «подлое» слово *миг* (в отличие от *мгновение* — Куник, 1865, с. 459), а также слово *коли* (там же, с. 479; такая же характеристика этого слова дается и в статье о правописании прилагательных 1755 г. — Пекарский, 1865, с. 109). «Подлыми» или «площадными» он именует такие формы, как *паденье* (вместо *паденье*), *отмиценье* (вместо *отмиценье*), *желанье* (вместо *желанье*), *воспоминанье* (вместо *воспоминанье*), а также *Офелю*, *Полоню* (вместо *Офелию*, *Полонию*), *Божьему* (вместо *Божьему*) (Куник, 1865, с. 477, 469). Точно так же он относит к «площадному» употреблению «опять за паки, *этот за сей, эта за сия, это за сие*» (там же, с. 476), а также такие деепричастные формы, как «*премьня* вместо *премьнив* и *премьнивши*, *увидя* за *увидьвши*, *усладясь* за *усладившись*, *утомя* за *утомивши*» (там же, с. 477). Наконец, к «площадному употреблению» относятся в «Письме . . . от приятеля к приятелю» формы им. падежа мн. числа ср. рода

на *-iu* вместо *-ia* («воздыханіи за воздыханія, <...> дѣйствию за дѣствіа»), на *-ы* вместо *-а* («озѣры за озѣра, достоинствы за достоинства, <...> правлы за правила, правы за права <...> блаты за блата, желѣзы за желѣза, посольствы за посольства») и формы род. падежа мн. числа на *-іев* вместо *-ій* («братіев за братій, подозрѣніев за подозрѣній, <...> слѣдствіев за слѣдствій, нещастіев за нещастій, отсутствіев за отсутствій») (там же, с. 476). Замечательно, что в подметном письме, написанном в октябре 1755 г. и подкинутом к Ломоносову, Тредиаковский, чтобы замаскировать себя, специально употреблял эти «площадные» формы, но не сумел сделать это достаточно последовательно и сбился на правильное употребление, чем себя, между прочим, и выдал. Г. Н. Теплов в специально сочиненной по этому поводу записке, так говорит об этом: «хотя подкрадываясь под других писателей в некоторых местах сначала *желаим, по Рускии, награжденіев, предувереніев, началы, основаніи*, вместо *желаем, по Руски, награжденій, предувереній, начала, основанія*; но того нимало уже не наблюдал, когда далѣ заврался» (Пекарский, 1868, с. 72; ср.: Пекарский, II, с. 188) — для Теплова это служит одним из основных признаков, свидетельствующих о принадлежности данного сочинения Тредиаковскому. Помимо «Письма ... от приятеля к приятелю», Тредиаковский обсуждает подобные формы в целом ряде своих сочинений — в «Разговоре ... об орфографии» 1748 г. (Тредиаковский, 1748, с. 329; Тредиаковский, III, с. 223), в Ответе на письмо Сумарокова о сафической и горацкианской строфах 1755 г. (Пекарский, II, с. 256), в статье о правописании прилагательных 1755 г. (Пекарский, 1865, с. 109).

⁵² Когда Тредиаковский заявляет в предисловии к «Езде в остров Любви» (1730 г.), что он эту книгу «неславенским языком перевел, но почти самым простым Руским словом, то есть каковым мы меж собою говорим» (Тредиаковский, 1730, с. [12]; Тредиаковский, III, с. 649), то выражение *простое слово* может рассматриваться именно как калька с лат. *lingua rustica*. См.: Успенский, 1983, с. 94.

⁵³ Ср. в Вейсманновом лексиконе 1731 г.: «*homo rusticus* — грубыи, простые человек, деревенский мужик» (с. 513); вместе с тем, выражение *homo rusticus*, в противоположность *homo litteratus*, означало в свое время человека, не владеющего книжной латынью.

Что касается эпитета *грубый* по отношению к языку, то он, видимо, имеет тот же смысл, что и *подлый*: в качестве языковой (стилистической) характеристики оба эпитета могут представлять как синонимы. Характерно в этом смысле, что в рукописном оригинале «Разговора об орфографии» (Архив АН, разр. II, оп. 1, № 137) Тредиаковский исправляет выражение *грубым языком*, на *подлым языком*, явно воспринимая оба выражения как равнозначные; в другом случае он исправляет здесь *грубаго* <...> *выговора* на *неисправнаго* <...> *выговора* (ср. соответствующие места в исправленном виде: Тредиаковский, 1748, с. 295, 292; Тредиаковский, III, с. 200, 197). В примечании к «Науке о стихотворстве и поэзии» Буало, Тредиаковский замечает (имея в виду переводческую деятельность д'Ассуси — французского переводчика Овидия): «Перевод

сей есть збор изображений самых подлых и грубых» (Тредиаковский, 1752, I, с. 7, примеч.; Тредиаковский, I, с. 32, примеч.) — оба эпитета в этом контексте выступают как равнозначные.

⁵⁴ Так, например, в «Письме ... от приятеля к приятелю» Тредиаковский относит такие формы, как *паденье, отмищенье, желанье, воспоминанье, оружье, сомненье, понятие, безумье, Офелю, Полонья* (вместо *паденіе, желаніе, Офелію, Полонія* и т. п.), к «подлому употреблению», тогда как форма *Божьему* (вместо *Божіему*) относится у него к «площадной вольности» (Куник, 1865, с. 477, 469).

Сказанному не противоречит то обстоятельство, что слова *подлый* и *площадной* sporadически могут соотноситься с теми или иными французскими словами, передавая в этом случае оттенки французского словоупотребления. Так, в «Рассуждении о комедии вообще» (1752 г.) Тредиаковский говорит: «<...> Подлая и площадная слова не должны быть позволены на Театре, ежели они не будут подкреплены некоторым родом разума» (Тредиаковский, 1752, II, с. 208; Тредиаковский, I, с. 429). Соответствующий отрывок представляет собой дословный перевод из Рапена, причем слово *подлый* соответствует французскому *bas*, а *площадной* — *vulgaire*, ср. во французском оригинале: «<...> Les termes bas & vulgaires ne doivent pas estre permis sur le theatre, s'ils ne sont soutenus de quelque sorte d'esprit» (Рапен, 1675, с. 140). Совершенно очевидно, вместе с тем, что вне специальных контекстов такого рода «подлое» и «площадное» могут выражать у Тредиаковского одно и то же значение.

⁵⁵ Ср. здесь: «<...> Мне све дивно, чего уж ради, при самом заведении ПРОСТОНАРОДНАГО окончания множественнаго в прилагательных именах мужеских на (е), вместо на (и), не подтверждены и сии, именно *примѣчаніи*, вместо *примѣчаній* [видимо, описка: следует читать либо «*примѣчаніи*, вместо *примѣчанія*», либо «*примѣчаніев*, вместо *примѣчаній*»]; ея вместо ея; колы от подлаго коли, вместо презряднаго *когда* и прочаго? Ибо все сии окончания и употреблены хотя вождеденною, но ложною тем что НЕБЛАГОРОДНОЮ простотою хвастаются и величаются» (Пекарский, 1865, с. 109–110).

⁵⁶ Совершенно так же употребляет эпитеты *площадной* и *простонародный* Г. Н. Теплов, взгляды которого на литературный язык обнаруживают вообще прямую зависимость от Тредиаковского. Так, в трактате «О качествах стихотворца рассуждение», опубликованном в майской книжке «Ежемесячных сочинений» за 1755 г. (переиздано: Берков, 1935, с. 336–351; Берков, 1936, с. 179–190; Берков ошибочно приписал этот трактат Ломоносову, авторство Теплова раскрыто Модзалевским, 1962), — направленном против Сумарокова и сумароковского последователя Елагина (см.: Берков, 1935, с. 330–331; Берков, 1936, с. 167–170; Модзалевский, 1962, с. 147–156) — Теплов, вслед за Тредиаковским, говорит о пользе чтения церковных книг для овладения правильным русским слогом, о необходимости ориентации на грамматические правила, а не на языковой узус и, вместе с тем, обвиняет Сумарокова в «речах площадных и простонародных» (Теплов, 1755, с. 378, 383, 387;

см. изд.: Берков, 1935, с. 340, 342–343, 345; Берков, 1936, с. 181, 183, 185). «Площадные и простонародные» речи явно относятся при этом к разговорному началу, т. е. имеется в виду установка на разговорное употребление, присущая Сумарокову. Можно сказать, что статья Теплова написана с позиций Тредиаковского (следует иметь в виду, что Тредиаковский и Теплова были в это время единомышленниками, отношения их испортились к осени 1755 г.).

⁵⁷ Некоторые исследователи полагают, что в лице педанта Бобембиуса Сумароков вывел Ломоносова, т. е. спор Тресотиниуса и Бобембиуса о форме буквы *t* пародирует полемику Тредиаковского и Ломоносова (см.: Рулин, 1929, с. 240, 248–249). Действительно, Бобембиуса поддерживает в этом споре слуга Кимар, который заявляет, что предпочитает «твердо треножное твердо одноножному»: «У етова, ежели нога подломится, так ево и брось; а у тово хотя и две ноги переломятся, так еще третья останется» (Сумароков, V, с. 305). Аргументация Кимара в какой-то мере напоминает заявление Ломоносова относительно букв *ф* и *θ*, о которой вспоминает Сумароков в статье «О правописании» (1768–1771 г.): «Спрашивал я г. Ломоносова, ради чего он *Ф* а не *Θ* оставил; на что мне он отвечал тако: *Ета де литера стоит подпертися; и следовательно бодряе*: ответ издевочен, но не важен» (Сумароков, X, с. 10–11). Близкое высказывание можно найти и в «Разговоре ... об орфографии» Тредиаковского (1748 г.), где Чужестранный человек говорит Российскому: «я думаю, что вам буква (*ф*), для того лучше нравится, что она скосыреваете буквы (*θ*)» (Тредиаковский, 1748, с. 165; Тредиаковский, III, с. 107; ср.: Успенский, 1975, с. 198, примеч. 34); не исключено, что реплика Ломоносова восходит именно к этому сочинению Тредиаковского, и тогда в принципе возможно предположить, что цитированная беседа Ломоносова и Сумарокова о буквах *ф* и *θ* состоялась перед 1750 г. — в этом случае она могла найти отражение в «Тресотиниусе» (Ломоносов уже в письме от 27 мая 1749 г. сообщал Эйлеру, что он занят совершенствованием родного языка — Ломоносов, X, с. 464). Более вероятно, однако, что эта беседа имела место после выхода в свет ломоносовской грамматики (где в §22 говорится о фите как избыточной букве — Сухомлинов, IV, с. 20; Ломоносов, VII, с. 401), т. е. не ранее 1757 г.

⁵⁸ Ассоциация «треножного тверда» со скорописью была совершенно очевидна для Петра I, который, определяя начертания букв гражданского алфавита, писал М. П. Гагарину 8 ноября 1708 г.: «Только *добро*, *твердо* напечатать, которые сходны к печати, а не к скорописи, как здесь объявлено: Д, Т [а не *д*, *т*]» (Письма и бумаги Петра, VIII, 1, с. 289). Как видим, Петра волнуют те же проблемы, что и сумароковских педантов. Вопреки указанию Петра, «треножное твердо» (строчное, не прописное) употребляется в течение всего XVIII и начала XIX в. — вплоть до 1830-х гг. (Шицгал, 1974, с. 43); характерно, что оно сохраняется и в курсиве, который вообще ближайшим образом соответствует скорописи.

⁵⁹ Отметим еще противопоставление «благородства» — «подлородству» в заметке Сумарокова «Сон. Счастливое общество» 1759 г. (Сумароков, VI, с. 367), а также его замечание на «Наказ» Екатерины II:

«< ... > наш низкий народ никаких благородных чувствий еще не имеет» (Сб. РИО, X, с. 86). Ср. в письме к Екатерине II от 24 января 1773 г.: «< ... > бедность рождает подлость, а поэзия подлости и крайних недостатков не терпит» (ПРП, 1980, с. 161).

⁶⁰ Противопоставляя «употребительные» обороты «правильным» Сумароков здесь же подчеркивает, что он следует именно употреблению. Вот, что он пишет по поводу форм *братиев*, *правилы* и т. п., которые подверг критике Тредиаковский в «Письме ... от приятеля к приятелю» (Куник, 1865, с. 476; см. выше, примеч. 51): «< ... > Я употреблению с таким же следую рачением как и правилам: правильныя слова делают чистоту, а употребительныя слова из склада грубость выгоняют, на пример: *Я люблю сего, а ты любишь другаго*, есть правильно; но грубо. *Я люблю етова, а ты другова*. — От употребления и от изгнания трех слогов *го* и *гаго* слышится приятнее < ... > *Правилы, правы, лты* и протчия многия средняго рода слова, во множественном пишу я вместо *правила, права, лта*, и протч. от употребления, а я и общее употребление за устав же почитаю» («Ответ на Критику» 1750 г. — Сумароков, X, с. 97–98). И позднее, обсуждая формы такого рода, Сумароков говорит: «Надобно знати, когда написать *Облака*, и когда *Облаки*: что до нежнаго слуха надлежит, то весьма пространнаго истолкования требует. Но *Основаниу, Желаниу*, вместо *Основания и Желанія*, редко употреблены быть могут, да и то для весьма редко случающейся красоты: а в Поезии *Облаки* за *Облака*, и часто и кроме рифмы класти, не только можно но и должно. Иногда и в прозе, коли я не поставлю *Облаки*, я изображу не то» («Примечание о Правописании», не ранее 1773 г. — Сумароков, X, с. 45–46.).

⁶¹ Ср. совершенно такой же подход у С. Волчкова в его полемике с Тредиаковским по поводу перевода Плутарха. В 1750 г. Волчков прислал в Академию наук свой перевод «Житий славных мужей» Плутарха; перевод был отдан на рассмотрение Тредиаковскому, Ломоносову, Крашенинникову и Попову и они подписали отзыв, сочиненный, по всей видимости, Тредиаковским, где отмечались разнообразные погрешности в стиле перевода (Материалы АН, X, с. 477–478, №623; Ломоносов, IX, с. 628–630; Пекарский, II, с. 154–155). Отвечая на критику, Волчков, между прочим, писал: «Когда я имел честь при четырех российских, у прусскаго двора бывших министрах служить, то не один из их сиятельств штиля моего площадным признавать не изволил» (Пекарский, II, с. 156). В отличие от Тредиаковского и других рецензентов, Волчков явно решает проблему стиля как проблему социолингвистическую.

⁶² В отношении слова *подлый* следует заметить, что это заимствование из польского, которое получило распространение в русском языке только в XVIII в. При этом именно в русском языке развивается особое значение слова *подлый*, связанное с социальным противопоставлением высших и низших слоев общества, т. е. именно здесь эпитет *подлый* приобретает социальную окраску — при том, что соответствующее польское слово (*podly*) не имеет такого значения (см.: Кохман, 1977). Таким образом, Тредиаковский и шишковисты исходят из первичного значения дан-

ного слова (представленного в польском языке), тогда как Сумароков и карамзинисты пользуются специфически русским его значением.

⁶³ О истории и семантике слова *вертопрах*: см.: Виноградов, 1966, с. 42; Хютль-Ворт, 1956, с. 84. Это слово обнаруживает явные семантические связи с такими словами, как *ветренник*, *ветренный* и с таким фразеологизмом, как *пускать пыль в глаза*, что, может быть, просякает его этимологию (Виноградов, 1966, с. 42). Ср. в этой связи *Ветромах* как имя щеголя в комедии Княжнина «Чудаки» (1790 г.); может быть, не случайно *петиметр* обычно рифмуется с *ветр* в поэзии XVIII в. (см., например: Поэты XVIII века, II, с. 374, 384, 387). Слово *ветренный* при этом — семантическая калька с фр. *volage* (ср. еще *papillon*, *léger* с тем же значением).

⁶⁴ Имя *Архисотолаш* явно образовано по той же модели, что и *Тресотиниус*: префикс *архи-* соотносится по значению с префиксом *тре-*, а латинизированное окончание *-ус* соответствует просторечному окончанию *-аш*; эта разница в окончаниях отвечает различию языковой установки у Тредиаковского и Сумарокова. Таким образом, в обоих именах выделяется корень *-сот-* (фр. *sot* «глухой»), и они оформляются аналогичным образом — Тредиаковский как бы принимает вызов Сумарокова и возвращает полученную от него кличку в модифицированном и усиленном виде: если *Тресотиниус* читается как «очень глухой», то *Архисотолаш* означает еще большую степень глузости.

Вместе с тем, и то, и другое наименование обнаруживает связь с литературной традицией. Если *Тресотиниус* намекает на пьесу Мольера и имя аббата Котена (см. выше), то *Архисотолаш* выступает как производное от имени Архилоха. Предыстория этого наименования такова. В первоначальном варианте предисловия к «Аргениде», написанном не позднее января 1750 г., Тредиаковский допустил резкие полемические выпады против Сумарокова, насмешливо величая его Архилашем Архилохичем Суффеновым и обвиняя в незнании основных правил стихосложения; эти выпады были вычеркнуты из предисловия еще до сдачи книги в набор (см.: Ломоносов, IX, с. 949), но тем не менее это прозвище стало известно Сумарокову (см. свидетельство об этом в «Письме ... от приятеля к приятелю» — Куник, 1865, с. 484). Прозвище это образовано от имен греческого поэта Архилоха и римского Суффена. Тредиаковский специально подчеркивает в этой связи, что Суффен (*Suffenas*) — поэт, известный своим тщеславием, бездарностью и несносностью, явно намекая на то, что все эти качества в равной мере характеризуют и Сумарокова («Письмо ... от приятеля к приятелю» — Куник, 1865, с. 484); надо сказать вообще, что Суффен знаменит главным образом тем, что Катулл высмеял его за плохие стихи, и Тредиаковский оказывается, тем самым, в положении Катулла. Между тем, имя Архилоха связывается с введением ямбического размера — применение этого имени к Сумарокову обусловлено претензиями последнего на создание русского ямбического стиха (о которых говорит Тредиаковский в предисловии к «Аргениде» — Тредиаковский, 1751, с. LXV–LXVI; ср.: Ломоносов, IX, с. 949–950; Куник, 1865, с. XLII–XLIV). К имени *Архилох* и восходит *Ар-*

хисотолаш, которое появилось под влиянием имени *Тресотиниус*, отражая полемику с «Тресотиниусом» Сумарокова; итак, прозвище *Архисотолаш* заключает в себе двойную зашифровку — оно соотносится как с «Тресотиниусом», так и со стиховедческими притязаниями Сумарокова.

⁶⁵ В «Письме ... от приятеля к приятелю» — в самом названии этого сочинения — Сумароков характеризуется как «автор двух од, двух трагедий и двух эпистол»; если прибавить сюда еще комедию «Тресотиниус», появление которой явилось непосредственным поводом для сочинения данного трактата, то мы получим те семь «картин», которые «намалевал» Архисотолаш-Сумароков.

⁶⁶ Ремарка Кимара: «вот так то с высока́ носка́ нада по щогольские!» (Куник, 1865, с. 499), может быть, подразумевает приверженность Сумарокова к ямбу (которая отразилась, между прочим, в прозвище *Архисотолаш* ср. выше, примеч. 64). В предисловии к «Трем одам парафрастическим» Тредиаковский передает отзыв о ямбе Ломоносова, согласного которому «Стопа́, называемая Иамб, высокое сама собою имеет благородство, для того что она возносится с низу в верх, от чего всякому чувствительно слышна высота ея и великолепие», а также Сумарокова, который «в Иамбе находит высоту, благородство и живность»; свойственное ямбу «восхождение или вознесение», т. е. переход от безударного слога к ударному, Тредиаковский именует при этом «вскоком» (Тредиаковский, 1744, с. 3, 5; Куник, 1865, с. 421, 423). Отголоски подобных рассуждений и слышатся, кажется, в цитированных словах Кимара.

⁶⁷ Архисотолаш-Сумароков говорит у Тредиаковского: «есть ли у вас Амбиция, а по Руски высокомерие < ... >» (Куник, 1865, с. 498); при этом обыгрываются различные значения слова *амбиция* (лат. *ambitio*, польск. *ambicja*, фр. *ambition*): «честолюбие, тщеславие» и «стремление, искание, домогательство». Характерно в этом смысле, что Сумароков в своих письмах постоянно заявляет о своем «любочестии» (ПРП, 1980, с. 128, 137, 163) — слово *любочестие* в XVIII в. коррелирует со словом *амбиция*, выступая как регулярный русский эквивалент к этому заимствованию.

Ср. в этой связи характеристику Сумарокова в рассматриваемой эпиграмме как «надменного»: «Престанет злобно врать и глупством быть надменный».

⁶⁸ Ср. в сумароковском «Тресотиниусе» отзыв капитана Брамарбаса о Тресотиниусе-Тредиаковском: «< ... > каков его чин, таков его и поступок мне показался. Прямой титулярной неведомых нам языков учитель» (Сумароков, V, с. 315). Тредиаковского заделли эти слова, и он резко реагирует на них в «Письме ... от приятеля к приятелю»: «Господину < ... > Автору легко касаться до чина и до поступок: Брамарбас его прямо и без закрывок говорит об общем нашем, друге [т. е. о Тредиаковском] < ... >, что каков его чин, таков его и поступок. Но я твердо знаю, что общий наш друг в чине благоговейно, со всеми добрыми, почитает верховнейшее благоволение производящее в чин, и непрекословно повинуетя руке предводительствующей, по тому же благоволению, чин учрежденный. Высок ли сей? не его дело. Низок ли

он? помнит что, по присловию, не можно всем старцам в игунах быть. С моей стороны, я еще и радуюсь, что поступки общаго нашего друга сходятся с его чином: сие значит, что он не выходит из пределов своей должности. Напротив того, не дивлюсь, что поступка нашего Автора безмерно сходствует с цветом его волосов, с движением очей, с обращением языка, и с биением сердца» (Куник, 1865, с. 442–443).

⁶⁹ Тредиаковский различает здесь «прямое» и «непрямое» употребление, причем «прямое» соответствует книжному, а «непрямое» — разговорному языку. Разговорную (обиходную) речь, в соответствии с традицией, он рассматривает как результат порчи книжного языка.

⁷⁰ Мнение о том, что писать славянизированным слогом означает писать «не по-русски» в известном смысле согласуется с заявлением Сумарокова в «Эпистоле о русском языке» (1748 г):

Не мни что наш язык, не тот, что в книгах чтем,
Которы мы с тобой нерусскими зовем.

(Сумароков, I, с. 335; Сумароков, 1957, с. 115)

Церковнославянские книги для Сумарокова — это во всяком случае книги «нерусские» и соответствующее восприятие может определять отношение к славянизмам.

⁷¹ РГАДА, ф. 199 (Портфели Миллера), № 150, ч. I, д. 20, л. 9 об.–10 об. Бумага с водяным знаком ЭМ (Клепиков, № 745 — 1761 г.). При воспроизведении текста сохраняем орфографию и пунктуацию оригинала, за исключением прописных букв в начале строки и деления на слова.

⁷² Предложения Тредиаковского опираются, возможно, на определенную традицию. Действительно, отчасти сходное правописание прилагательных — приближенное к церковнославянскому (коррелирующее с ним), но все же от него отличающееся — показано в первых грамматиках русского языка конца XVII в. Так, в рукописной грамматике Глюка (см.: Живов, Кайперт, Успенский, в печати — ГИМ, Син. 735) кодифицированы формы *добрые* (мужской род), *добрыя* (женский род), *добрая* (средний род) (л. 26 об.). Сходным образом в грамматике Лудольфа 1696 г. даются формы *бѣлие* (мужской род), *бѣлия* (женский род), *бѣла* (средний род); не исключено, что это опечатка, вместо *бѣлая*), а также формы *каторие* (мужской род), *катория* (женский род), *каторя* (средний род); впрочем, эти правила не соблюдаются в примерах русских разговоров у Лудольфа, где мы находим *розличние речи простие, пригожие женщины* и т. п. (см.: Лудольф, 1696, с. 19, 25, 46, 60).

⁷³ Характерно, что Тредиаковский настаивает на таком правописании и тогда, когда речь идет об издании его стихотворной Псалтыри и «Феоптии» — при том, что он предполагал напечатать эти книги в Синодальной типографии «церковным типом, как по всему духовные» (О Феоптии. . . , с. 537) и, соответственно, допускал здесь определенные элементы церковнославянской орфографии (см. там же, с. 538, 541–542). В письме справщика Синодальной типографии от 1 мая 1757 г. Тредиаковский говорит: «Вы изволите увидеть в подлиннике, что имена

прилагательныя целыя множественнаго числа окончavajuтся мною мужеския на и, как: *святѣици*, женския на е, как: *святѣе*, а средния токмо на я, как: *святѣя*: сему всемерно непременно быть желаю» (там же, с. 543).

В предисловии к своему переводу философских сочинений Сенеки Тредиаковский допускает принятое правописание прилагательных в им. падеже мн. числа (е/я), мотивируя это тем, что стиль Сенеки лишен «высокоценных прикрас». При этом Тредиаковский продолжает настаивать, вообще говоря, на своем правописании («что праведно и непреодолимо по всеобщему и самолучшему употреблению языка, то не может никогда быть криво») и делает выпад против Ломоносова («сколько бы частное некоторых обыкновение, противящихся верховной исправности, и следовательно природному свойству языка, не силилось привить пьяное»), но оправдывает отклонение этого правописания при переводе сочинений Сенеки, поскольку стиль Сенеки — достаточно простой, неукрашенный: «Переводя Сенеку, восхотел я Сенеке уподобиться, доношу. При расточении во всей его латинской словесности, не весьма высокоценных прикрас, надобно стало пустить дешевле и Российским слова токмо те окончания, так чтоб продаваться уже им хотя пятерным числом бывшим по осмерному, нежели им за что быть отдаваемым на -я» (Сенекины мысли . . . переведенные на российский язык В. Тредиаковским в Санкт-Петербурге, 1759 г. — Архив Санкт-Петербургского филиала Института отечественной истории РАН, ф. 36 (собр. Воронцовых), оп. I, ед. хр. 726, л. XXI–XXII; ср.: Дерюгин, 1985, с. 102). Как пишет Дерюгин (1985, с. 101), свою уступку допустить окончание -е вместо -и как более «дешевое» Тредиаковский маскирует шуткой, основанной на том, что эти две буквы имели еще и числовое значение: е = 5 и и = 8; вместе с тем, в замечании о том, что окончания на -я отдаются вовсе «ни за что» следует усматривать выпад против Сумарокова, который предлагал писать окончание -я во всех трех родах.

⁷⁴ Соответственно, Сумароков в статьях «Примечание о правописании» и «О стопосложении» утверждает, что это окончание выдумали подьячие, непосредственно связывая его таким образом с традицией приказного языка (Сумароков, X, с. 42, 75). Ср. еще его заметку «О правописании» (Сумароков, X, с. 29–30).

⁷⁵ Соответственно, Сумароков говорит в статье «Примечание о правописании»: «Ежели следовати старине; так должно писати *Непорочнии*, *непорочныя*, *непорочна[я]*; но ИИ пахнет отверженною от нас, хотя и не дельно, Славенщизною: и осталось писати во всех трех родах *непорочныя*» (Сумароков, X, с. 42); в другой статье («О правописании») Сумароков заявляет, что окончание -и отставлено «употреблением», т. е. также рассматривает его как архаизм (Сумароков, X, с. 29). Следует иметь в виду, что в это время (конец 1760-х–1770-е гг.) Сумароков не отвергает церковнославянской традиции столь решительно, как он это делал в молодости; предпочтение, отдаваемое им окончанию -я мотивируется тем, что окончание это стилистически нейтрально, оно не отмечено ни как специфически церковнославянское, ни как специфиче-

ски русское. Вместе с тем, в статье «О стопосложении», по-видимому, несколько более поздней, Сумароков делает еще больший шаг в сторону славянизации, признавая возможность окончания *-и*, наряду с окончанием *-я*: он критикует тех, кто пишет «*которые* вместо *которыи*», подчеркивая, что «должно писать или *которыи*, или *которыя*. А *которые* дают подьячия < . . . > » (Сумароков, X, с. 75). Как видим, форма на *-и* не только допускается, но фактически фигурирует как основная.

Между тем, еще в статье «К типографским наборщикам» (1759 г.) Сумароков отвергает окончание *-и* как славянизм, чуждый русскому языку: «Ежели нам следуя тому поступать; так мы Славенским мужеским окончанием введем нечто не свойственное в нынешний язык наш, к чему народ не только привыкать не может, но и не станет» (Сумароков, VI, с. 309); ср. также критические замечания о правописании Тредиаковского в сумароковских статьях «Ответ на Критику» (1750 г.) и «Примечание о правописании» (Сумароков, X, с. 98, 42).

Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или судьбина российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва)*

Проблема языка в свете типологии культуры. Бобров и Макаров как участники языковой полемики

То, что первое десятилетие XIX века в русской культуре — время ожесточенных дискуссий по вопросам языка, — факт не только хорошо известный и неоднократно изучавшийся, но и давно перешедший в разряд общих мест в учебниках и обзорных курсах. Вопрос этот много раз делался также предметом углубленного и серьезного научного рассмотрения¹. Такое положение имеет, как ни странно, и отрицательную сторону. Сам факт полемики представляется настолько знакомым и естественным, что мы не обращаем внимания на некоторую его странность: в период, когда Россия стояла перед сложнейшими и нерешенными проблемами, касавшимися коренных сторон ее общественного и политического быта, когда внутри страны решался вопрос, будут ли произведены хотя бы самые необходимые реформы, способные направить страну в сторону западноевропейского пути развития, или же победят силы, близоруко цепляющиеся за крепостническое *status quo*, когда за пределами России европейская карта непрерывно перекраивалась, а равнины Европы, казалось, превратились в одно огромное поле сражений, когда все чувствовали неотвратимую катастрофу столкновения с Наполеоном, — мыслящая часть России была охвачена дискуссией, по сути дела, чисто лингвистического характера. Странность этого положения, к которой мы уже как-то присмотрелись, отчетливо ощущалась авторами, которые сто с небольшим

*Статья написана в соавторстве с Ю. Лотманом

лет назад впервые занялись изучением вопроса. Было предложено два объяснения. Первое звучало так: русское общество той поры находилось на младенческой стадии развития гражданского самосознания. Не дозрев до решения коренных и существенных вопросов действительности, оно довольствовалось «игрушками словесности». Вряд ли кто-нибудь сейчас сможет серьезно отнестись к такому объяснению. Во-первых, оно — типичное порождение наивно-просветительского подхода к изучению прошлого. Накопленный за последующее столетие материал по истории русской общественной мысли никак не позволяет согласиться с представлением о, якобы, «младенческом» периоде, переживаемом ею в начале XIX столетия. Во-вторых, подобное объяснение пропитано историческим самодовольством, столь свойственным позитивистскому эволюционизму XIX в., для которого всякая прошедшая стадия — «отсталая» и «наивная», ценная лишь тем, что может рассматриваться как этап на пути к его собственному всезнанию.

Второе мнение может быть резюмировано следующим образом: споры о языке или художественной словесности были цензурным заменителем политических дискуссий, невозможных по внешним условиям. Это объяснение, восходящее, в конечном счете, к известному положению Герцена о роли русской литературы как единственной общественной трибуны в стране, лишенной политической жизни, конечно, нельзя сбрасывать со счетов. Однако, тем не менее, приходится признать ограниченность содержащейся в нем истины. Ведь нетрудно заметить, что обострение споров вокруг языковых проблем совпадает не со временем реакции, а с «дней александровых прекрасным началом», когда возможности для дискуссий на более актуальные, с общественно-политической точки зрения, темы существенно расширились, хотя, конечно, оставались далеко не идеальными. Ведь и в наполеоновской Франции в это время свирепствовала цензура, однако, никаких дискуссий по вопросам языка там в эти годы не происходило.

Если первые исследователи выдвинули, таким образом, объяснения, с которыми невозможно согласиться, то, тем не менее, они хотя бы видели самую проблему. В дальнейшем же она вообще оказалась снятой: дискуссию стали рассматривать как факт, полностью относящийся к истории языка и литературы и изолированно интерпретируемый в этом специальном контексте. Очевидно, что интересующая нас проблема, если к ней подходить с позиций частного исследовательского задания, поддается рассмотрению как с точки зрения лингвиста, так и историка общественной мысли. Однако не менее очевидно, что в каждом из этих случаев вопрос не раскроется перед нами столь полно, как если мы поставим перед собой задачу органической связи этих аспектов.

Дело в том, что, с одной стороны, национальная модель русской культуры оказывается теснейшим образом связанной — а в определенном отношении и обусловленной — резко специфической языковой ситуацией, сохраняющей типологическую константность на всем протяжении истории русской культуры; с другой же стороны — вне широкой историко-культурной перспективы факты развития языка и литературы не получают исчерпывающего объяснения. Это заставляет нас рассмотреть вопрос как бы в двух приближениях: сначала в общем историко-культурном аспекте, а затем — в более специальной историко-языковой и историко-литературной перспективе.

Рассматривая данную проблему в более широком общекультурном контексте, прежде всего следует отметить, что дискуссии по вопросам языка в истории русской культуры нового времени, по сути дела, никогда не затихали. Языковая проблема становится тем камертоном, который отвечает на звучание всех наиболее острых общественных проблем в России. Интересно наблюдать, как те самые общекультурные вопросы (например, проблемы романтизма, реализма, символизма и проч.), которые на Западе реализуются в дискуссиях вокруг жанровых запретов, допустимых сюжетов и т. п., в России, в первую очередь, активизируют языковую проблему. Обостренная чувствительность этой проблемы, постоянная борьба между «новаторством» и боязнью «порчи языка» позволяют, с одной стороны, видеть в этом некоторую специфическую черту именно русской культуры и исторических судеб русского литературного языка, а с другой, — связать ее с основами структуры и судьбы русского общественного сознания.

Для объяснения этой стороны дела придется обратиться к некоторой более глубинной исторической традиции. Культуре русского средневековья, как и многим средневековым культурам, был свойствен эсхатологизм, в котором для нас сейчас важна одна черта: катастрофический конец земного мира зла и воцарение вневременного царства добра представлялись как своего рода утопия. Всеобщее преображение, следующее за эсхатологическим актом, касается и сферы языка; утопический характер этого преображения проявлялся, между прочим, и в том, что в православной традиции не уточнялось, каким именно будет этот язык и как он относится к сакральному языку, реально существующему в литургической практике.

Последовавшая в дальнейшем секуляризация культуры, в ходе которой государство приняло на себя ответственность за конечное преображение мира и реализацию утопии на земле, привело к тому, что лингвистическая проблема из сферы утопии перешла в область государственной практики. Характерно принципиальное

отождествление (начиная с Ивана IV и в особенности при Петре I) государственного управления с реформаторством, причем в само понятие «реформа» вкладывается эсхатологический смысл: «реформа» имеет целью не частичное улучшение конкретной сферы государственной практики, а ковечное преобразование всей системы жизни. В этом коренное отличие между пониманием реформы в западноевропейской и в русской культурных традициях соответствующих периодов: в частности, западноевропейская реформа подразумевала сохранение основных контуров сложившейся жизни и уважение к государственным деятелям предшествующего периода. Между тем, психология реформы в сознании Петра, как и ряда других государственных деятелей, включала в себя полный отказ от существующей традиции и от преемственности по отношению к непосредственным политическим предшественникам. Эсхатологическая подоплека представления такого рода психологически объясняет тот по сути дела странный факт, что реформа в России всегда ассоциировалась с НАЧАЛОМ и никогда — с ПРОДОЛЖЕНИЕМ определенного политического курса.

При всей разнице исторических условий, общественных задач, личной психологии и пр., в типе деятельности Ивана IV, Петра I, Павла, Александра I (отметим, что Екатерина II из этого ряда резко выпадает) есть нечто общее. Все они смотрят на исторически данное им положение государства с ужасом и отвращением (Иван Грозный начал свое самостоятельное правление с неслыханно резких обличений на Стоглавом соборе; казалось бы, столь далекий от него Александр I в начале царствования говорил в «Негласном комитете» о «безобразном здании империи»)². Свою деятельность они рассматривают как направленную не на улучшение исторически сложившегося порядка, а на РАЗРУШЕНИЕ его, полное и всеконечное уничтожение и создание на НОВОМ месте (для Петра эта метафора становится буквальной программой) и на НОВЫХ основаниях нового и прекрасного мира. Это убеждение, что уничтожение порочного существующего мира и создание нового, идеального составляет естественную прерогативу государственной власти, освещало ее как бы двойным светом. В терминах средневеково-мифологического сознания она облакалась полномочиями божества, умирающего, возрождающегося, судящего, уничтожающего и творящего; в терминах же общеевропейского политического мышления, тираническая власть московских и петербургских царей вдруг неожиданно окрашивалась в тона революционности: не случайно Карамзин сопоставлял Павла с якобинцами, Пушкин называл Петра «революционной головой», а однажды огорчил великого князя Михаила на балу, сказав ему: «Все вы Романовы — революционеры»³.

При этом интересно отметить парадоксальное, с точки зрения европейских политических категорий, положение. Если власть, социально-политическая функция которой в глазах историка, бесспорно, реакционна (в смысле *re-actio* — в качестве «чистого» примера здесь удобен Павел I), фактически менее всего стремится «сохранять», а уничтожает и создает, то народные движения, объективная сущность которых заключается в попытке разрушения существующего, действуют под лозунгами «сохранения», «защиты» (старой веры, «законного» царя, исконных обычаев и пр.). Именно эта парадоксальная непереводимость некоторых коренных черт русской культуры на язык общеевропейской политической терминологии начала XIX в. породила западническую легенду о революционности правительства и консерватизме народа в России, — легенду, слишком упрощающую реальную ситуацию, чтобы служить ее объяснением.

В интересующем нас сейчас аспекте существенно подчеркнуть, что государственная власть брала на себя, как уже отмечалось выше, функцию переделки языка. Деление языка на «старый» и «новый», с высокой ценностной характеристикой второго, и стремление к переименованиям должностей, самого названия государства, титула его главы, географических и личных собственных имен начинают рассматриваться в качестве естественной функции государственной власти⁴. В полном согласии с эсхатологической мифологией акт разрушения — созидания (превращения «старого» мира в «новый») мыслится как ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ⁵. С поразительным постоянством в эпоху между Петром I и Александром I одно правительство за другим рассматривает руководство стихийными языковыми процессами в качестве своей прямой функции. Не менее удивительна устойчивость, с которой цари в России стремились решать вопросы, входящие, казалось бы, только в компетенцию профессионального лингвиста: Петр I лично правил корректуру образцов новой азбуки⁶; Екатерина II, плохо говорившая по-русски, была весьма озабочена чистотой русского языка; она же занималась специальными проблемами общего языкознания, руководя — по крайней мере номинально — созданием сравнительного словаря всех известных тогда языков мира⁷; Павел I, запрещая употребление тех или иных слов, стремился создать канон русской политической лексики⁸. К этому списку можно было бы добавить, например, такой факт, что Николай I считал себя компетентным реформировать традиционную графику польского языка⁹. Примеры эти можно было бы продолжить.

Рядом с этим бросается в глаза устойчивое стремление подлинных разрушителей существующего уклада в России к СОХРАНЕНИЮ языковой традиции. Так, правительство XVIII века непрерывно

измышляет новые чины и новые для них названия — Пугачев не выдумывает ни новых должностей, ни новых слов, возводя своих сподвижников в графское достоинство или назначая их «генералами». Специфическое мифологическое переживание этих слов как имен собственных проявляется, например, в том, что одного из своих приближенных он назначает не просто графом, а «графом Чернышевым».

Пестель, подготавливая будущую реформу армии, фактически выдумывает новую номенклатуру военных понятий и новые наименования для должностных лиц¹⁰. Однако ему необходимо уверить себя и окружающих, что он лишь восстанавливает коренные, исконно русские названия. С этим можно сопоставить «архаизм» языковой позиции Грибоедова, Катенина и Кюхельбекера, столь содержательно проанализированный Ю. Н. Тыняновым.

Приведенные факты свидетельствуют о глубоко не случайной разнице в отношении к языковым спорам в России и на Западе, где острые столкновения по этому вопросу также сопутствовали историческому развитию культуры. Мифолого-эсхатологическая модель культуры, в принципе отвергающая частные улучшения и исходящая из необходимости полного и совершенного преображения ВСЕГО, противопоставляющая частным улучшениям формулу: «чем хуже, тем лучше», в этой точки зрения противостоит идее прогресса как постепенного и непрерывного улучшения. С одной стороны, система взрывов-катастроф, в промежутках между которыми неподвижность, а с другой — непрерывное поступательное развитие. Заманчивое отождествление одной модели с обобщенным обликом русской культуры, а другой — западной, к сожалению, более эффективно, чем точно, поскольку обе эти модели можно обнаружить и в России и на Западе. Так, даже в пределах такой сравнительно узкой сферы, как научная мысль Западной Европы в XVIII–XIX вв., мы сразу же наталкиваемся на концепцию Кювье, с одной стороны, и на Ламарка или Дарвина, — с другой, обнаруживая в них характерные признаки названных выше моделей развития. Точно также и в социальной мысли Запада мы найдем, наряду с типично эволюционистскими идеями, например, концепцию Руссо с ее принципиальным отрицанием прогресса и представлением о движении культуры как маятникообразном качании между исходным благом и конечной катастрофой. Следует ли говорить, что античная мысль знала концепции с циклическим понятием времени, которым идея прогресса вообще была чужда.

И все же определенная доля истины в противопоставлении именно по этому признаку русской и западной культур содержится. Исторические судьбы западной мысли (в особенности английской и французской) сложились так, что, начиная с Ренессанса и до но-

вейшего времени, идея прогресса заняла доминантное положение и в научном, и в общественном мышлении, окрасив собой, для целых исторических периодов, культуру в целом. Напротив того, в истории русской общественной мысли на протяжении целых исторических периодов главенствовали концепции эсхатологического и максималистского типа. Они окрасили допетровское православие¹¹, они же определили такое характерное преломление идей, как превращение мыслей Христа, Руссо, Конфуция или Будды в сознании Л. Толстого в мужицкий анархизм или трансформацию таких, по сути дела, мирных идей, как дарвинизм или континанство, в нигилизм и «череванинщину» героев Тургенева и Помяловского или свирепо-бунтарскую проповедь позитивных знаний и мирного прогресса науки под пером Писарева. Когда молодой естествоиспытатель во Франции середины XIX в. резал лягушку, это означало желание сделать еще одно открытие или сдать еще один экзамен. Когда лягушку режет Базаров, это (совершенно неожиданно для западного читателя, но вполне очевидно для русского) означает ОТРИЦАНИЕ ВСЕГО.

При включении в одну из столь различно ориентированных культур лингвистическая проблема получала глубоко отличный смысл: в модели эволюционного типа она становилась одной из многих, в ряду целого комплекса других, часто уступая по степени общественной ценности тем, которые были более непосредственно связаны с актуальными задачами эпохи. Будучи включена в систему эсхатологических представлений, она отождествлялась с номинацией или переименованием мира, то есть с основными мифологическими категориями¹², естественно становясь вопросом вопросов. Не столько цензурные затруднения, мешавшие обсуждать другие вопросы, сколько самая сущность традиционной ориентации русской культуры делали спор по вопросам языка средоточием общественных интересов и индикатором в распределении лагерей.

* * *

Введенный в такой исторический и культурный контекст спор о языке, развернувшийся в начале XIX столетия, получает несколько иной смысл. Вопрос о том, что лучше — «старый» или «новый» слог, является ли язык культурной константой или он постоянно эволюционирует, перестает казаться периферийным спором по узко специальной теме, свидетельством незрелости общества или цензурным заменителем подлинно существенных проблем. Сложность картины усугублялась тем, что интересующей нас эпохи понятия «старый» и «новый», «движущийся вперед» и «отсталый» в общественно-политической сфере, с одной стороны, и в области

идеологии и языка, — с другой, резко не совпадали. Поэтому одни и те же слова зачастую употребляются современниками в сдвинутом, а, порой, и в противоположном смысле, даже в устах одного и того же человека. Это сбивало не только исследователей, но и самих участников культурной жизни эпохи.

Некоторый экскурс в область политической ситуации начала XIX в. представляется здесь тем более уместным, что и сами участники дискуссий, и исследователи их постоянно прибегали к политическим характеристикам языковой позиции шишковистов, карамзинистов, литераторов из декабристского круга и т. д. Определения «реакционный», «либеральный», «прогрессивный» встречаются при изложении этих вопросов несравненно чаще, чем в других разделах истории языка. А между тем без определения, какой реальный смысл имели эти понятия в историческом контексте эпохи, употребление их вряд ли может быть оправдано.

Прямым последствием европейских событий конца XVIII в. было исчезновение непосредственно-революционного лагеря в первые годы нового столетия. Освободительный рационализм просветителей XVIII века утратил значительную часть своего обаяния. Магические слова XVIII века: Разум, Закон, Природа — уступили место рассуждениям об Истории и Традиции. Если Руссо резко противопоставлял теорию и историю, подчеркивая правоту первой и гибельные заблуждения второй, то Гизо стремился к их примирению¹³, а для деятелей реставрации, английских тори и немецких романтиков традиция сделалась и аргументом, и лозунгом. Это придало налет консерватизма не только правым, но и либеральным публицистам Европы тех лет.

При характеристике общественной жизни России начала XIX в. мы сталкиваемся с совершенно иной картиной: консервативного лагеря мы практически не находим, если не считать совершенно одинокого Карамзина конца 1810-х–1820-х гг., и либерально-консервативных — на английский манер — Мордвинова и С. М. Воронцова. Никакого общественного лагеря они не составляли.

Русская реакция была не консервативна (то есть не защищала какой-либо исторически сложившийся порядок), а максималистски утопична. Она совсем не была в восторге от наличной реальности русской жизни. Наоборот, из ее лагеря раздавались требования немедленных и решительных перемен. Правда, перемен эти должны были иметь реакционный, поворачивающий колесо истории вспять, характер. Ярким примером такого реакционного утопизма была деятельность Павла I. Противопоставляя новизне старину и делая эту последнюю своим знаменем и программой, Павел, однако, не имел в виду какой-либо реально сло-

жившейся традиционной формы русской жизни. Рисовавшуюся его сознанию фантастическую старину с русским рыцарством, к тому же объединяющим в одном ордена православных и католиков, с государем-первосвященником, совершающим литургию, и государем-рыцарем, решающим дипломатические споры при помощи поединка, еще предстояло создать. Охранительная государственная машина призывалась охранять не столько реально сложившиеся традиционные институты (представление о государственной деятельности как о постоянной ломке в корне противоречило этому), сколько тот «исторический» порядок, который еще должен был возникнуть в результате чудесных коренных преобразований эсхатологического типа.

Сходные черты без труда усматриваются в «традиционализме» Шишкова. Шишков не был профессиональным лингвистом даже на уровне науки своего времени (недостатки его профессиональных знаний были впоследствии обнаружены такими филологами, как Востоков и Мерзляков). Его лингвистические концепции, как это бывало и в случаях с «высочайшим языкознанием», о котором говорилось выше, в известной мере определялись внелингвистическими соображениями общеидеологического типа. Последнее обстоятельство не мешало, как увидим, наличию в его концепциях не только здравых, но и пронизательных идей.

Шишков был не традиционалистом, а утопистом. Реальная стихия церковного языка ему отнюдь не была органична; в церковнославянском он допускал ошибки. Даже подлинные архаизмы в его сочинениях часто играли роль неологизмов, поскольку их надо было искусственно вводить в современный реформатору язык. Парадоксально, что в полемике о языке именно карамзинисты ссылались на употребление, то есть на нечто, фактически узаконенное традицией, как на оправдание своей позиции, а Шишков доказывал, что «рассуждение», то есть абстрактно-теоретическое построение, в вопросах языка выше реальности. Так, в одном из полемических произведений Шишкова, написанном в диалогической форме как спор между «русским» и «славянином» (позицию автора выражает, конечно, второй), русский, отстаивая реальную традицию, говорит: «Употребление тиранн: оно делает вкус, а против вкуса никто не пойдет». На это «Славянин» возражает: «Мы последовали употреблению там, где разум одобрял его, или по крайней мере не противился оному. Употребление и вкус должны зависеть от ума, а не ум от них»¹⁴. При этом, принимая идущее в русской филологической традиции еще от Адодурова и Тредиаковского разделение употребления на «общее» и «частное», Шишков пытается моделировать идеальное общее употребление, отнюдь не соответствующее реальной языковой практике. «Частное употре-

бление» — это именно реальное говорение, которое, по мнению Шишкова, ни в коей мере законом не является. Между тем, «общее употребление», как Шишков его определяет, вовсе не является «употреблением» в непосредственном смысле, а может быть охарактеризовано как обобщенные свойства национальной структуры языка (на этой основе он вводит интересное противопоставление «наречия» — языковой реальности — и «языка» — его субстанциональной сути)¹⁵. Поскольку «общее употребление» в основе своей имеет «откровение», а частное — «навык», то и постигается первое дедуктивно, а второе — индуктивно. Первое, составляющее основу языковых рассуждений Шишкова, объявляется «плодом труда», а карамзинское требование «писать как говорят» — «плодом лениности»¹⁶. Реальная языковая практика противопоставляется — идеальной.

Такое отношение Шишкова к проблеме традиции менее всего заставляет видеть в нем деятеля, реально обращенного к историческому прошлому. Это не отменяет субъективной ориентированности Шишкова на прошлое. Однако это интересовавшее его прошлое было на самом деле плодом фантазии основателя «Беседы».

Шишков видел в русском языке результат деградации языка церковнославянского. Соответственно, он заключал, что их отличие отражает разницу между идеальным — по его мнению, коренным, исконным — состоянием русского народа и его нынешним — искаженным и испорченным. Представление о том, что русские начала XIX в. —

<...> изнеженное племя
Переродившихся славян
(Рылеев) —

было широко распространено в романтической литературе.

Уже высказывалась мысль о связи поэтики «Беседы» с предромантизмом¹⁷. Сейчас можно было бы высказать предположение, что если искать в русской литературе какие-либо типологические параллели к католическому романтизму Шатобриана периода «Мучеников» и «Гения христианства», то наиболее близкие соответствия мы найдем в Шишкове и Шихматове-Ширинском: та же национально-романтическая идея, та же враждебность «философскому» XVIII столетию и его порождению — революции, тот же антиисторический «историзм» и стремление возродить национальный характер на основе ортодоксальной (католической или православной) церковности, та же ненависть к рационалистическому пиетизму и его основе — протестантизму, с одной стороны, масонству, — с другой. И, наконец, в эстетической области — то

же тяготение к эпическим жанрам. Если дополнить эту параллель указанием на место в политической борьбе наполеоновской и посленаполеоновской эпохи, то станет очевидным, что сопоставление Шатобриана с Шишковым или Шихматовым-Ширинским имеет больший смысл, чем часто производившееся сближение его с либеральным в эти годы мистиком-пиетистом, тяготевшим к протестантизму, — Жуковским.

Этикетка «классицизм», приклеенная Вяземским из полемических соображений шишковистам (и проницательно оспоренная Пушкиным), смещает историческую картину. Именно национально-романтическая идея, сформулированная Шишковым резко-полемически (хотя и сочетавшаяся прискорбным образом с привычкой сводить литературный спор к политическим обвинениям), определила широту воздействия его концепции на младших современников: Катенина, Грибоедова, Кюхельбекера, а в определенной мере — также Рылеева, Пестеля и даже Н. Тургенева¹⁸. Сложным, хотя и бесспорным, было воздействие этих идей на Крылова. Остается открытым вопрос о мере влияния их на Карамзина периода «Истории».

Современники заметили отсутствие единства в позиции Шишкова (ср. ремарку в записной книжке Батюшкова. «Он прав, но виноват»¹⁹) и не ставили знака равенства между его общеидеологической и лингвистической позицией. Тем более примечательно, что некоторые наиболее интересные стороны лингвистической позиции Шишкова были связаны именно с его общей романтической установкой. Так, исходя из романтической идеи безусловной самобытности и культурной замкнутости каждого отдельного народа²⁰, Шишков поставил вопрос о фразеологических и семантических сцеплениях как основе национальной самобытности языка и, в связи с этим, о семантико-фразеологической непереводимости²¹.

Какова бы ни была разница между полной юношеской энергией эпохой Петра I, эпохой дел и свершений, и отмеченной уже у колыбели каким-то старческим бессилием государственностью эпохи Александра I, времени (по крайней мере, с точки зрения правительственной деятельности) кабинетных утопий и преобразований на бумаге, — параллелизм в обострении языковых проблем не случаен. Французская революция XVIII века преподавала европейским мыслителям XIX столетия ряд уроков. В 1800-е гг. для России наиболее актуальными оказались два: 1) вера в то, что развитие — закон общественной жизни, и что, следовательно, любая попытка сохранить устаревший порядок, с одной стороны, бесперспективна, с другой — опасна, ибо может привести лишь к эксцессам наподобие французских; 2) отрицательное отношение к революционной тактике и непосредственной политической активности народа. Лозунг,

казавшийся в XVIII веке азбучной истиной прогресса: «Все для народа, все при помощи народа», — трансформировался в «Для народа (для одних эта часть была искренним выражением святых убеждений, для других — лицемерным прикрытием политического эгоизма), но без народа». Так определялись контуры русского либерализма начала XIX века.

Несмотря на ряд (особенно бросавшихся в глаза современникам) черт сходства, правительственный и общественный либерализм начала XIX в. были явлениями глубоко отличными. Историки уже неоднократно отмечали, что, углубляясь в извивы тактики молодого Александра I, исследователь с изумлением обнаруживает многочисленные черты сходства между ним и его отцом. В данном случае имеет смысл остановиться лишь на одном аспекте их политического курса — утопизме. И реакционер Павел, и тяготеющий к реформам враг революции Александр I мечтали переделать ВСЕ в России. Этот утопизм имел специфически свирепый характер: как бы само собой подразумевалось, что ради блистательных целей в будущем можно обречь современную Россию на любые страдания. Если естественная деятельность правительства делилась на заботы о каждодневном управлении страной и прожекты, касающиеся отдаленного будущего, то в конце XVIII в. только Екатерина II неизменно ставила практицизм выше утопизма. Павел I довел до предела обе крайности утопизма. С одной стороны, он возвел в абсолют идею всеобщей регламентации, с другой — отводил себе роль того, кто вторгается в ход дел и нарушает их течение (как он считал, — с благой целью: в мифолого-эсхатологическом духе он предполагал, что благо есть нарушение обычного течения событий)²². Александр I много и увлеченно занимался бюрократической рутиной и, казалось бы, стремился утвердить постоянное и закономерное течение дел. Но, во-первых, такое упорядочение мыслилось как низшая, подготовительная деятельность, за которой должны воследовать блистательные и коренные реформы (сущность их и реальные формы император предпочитал не обсуждать, всячески оттягивая даже обдумывание их, но их вечность и блистательность сомнению не подвергались и предвкушались с ранней юности). Во-вторых, любая только что утвержденная регулярность тотчас же нарушалась деспотическим вмешательством императора, желавшего, чтобы путь России к «славе и счастью» не лишал его не только полноты самодержавной власти, но и права на капризы в государственных масштабах.

С либералами начала XIX в. Александра I роднило убеждение, что поступательное движение лежит в природе вещей, что правление должно согласовываться с духом времени и что искусственные попытки остановить развитие или повернуть его вспять

способны лишь спровоцировать разрушительные взрывы. Именно этими соображениями руководствовался русский император, формулируя свое отношение к порядку, который следует установить во Франции после удаления Наполеона²³. Движение вперед мыслилось как система бюрократических постановлений, долженствующих подготовить окончательную реформу, которая будет носить эсхатологически-завершающий характер. Таким образом, если на Западе деятели охранительного лагеря стремились видеть в законах лишь юридическое оформление существующего положения (Жозеф де Местр утверждал: «Истинная конституция может быть только разрешением задачи — даны: население, нравы, религия, географическое положение, политические отношения, богатство, хорошие и дурные качества известной нации; требуется найти подходящие законы»²⁴), то в России и те, кто помещали желательный порядок в отдаленное прошлое, и те, кто видели его в будущем, в 1810-е годы стремились этот порядок сконструировать из некоторых абстрактных теоретических предпосылок. Известно, что когда практическая жизнь сопротивлялась кабинетным планам Александра, он предпочитал гнуть и ломать эту жизнь или, впадая в разочарованность, говорить о неблагодарности и злости людей, несправедленности России. Приверженность императора к армейским порядкам, фрунту, параду и мундиромании в известной мере определялась именно тем, что это была область, в которой задуманное беспрепятственно воплощалось в реальность. Эта условная среда не оказывала сопротивления реформаторским усилиям (до тех пор, пока не возникал вопрос о том, что армия, кроме всего прочего, должна еще и быть в состоянии воевать).

Язык в этом отношении представлял прямую противоположность: по самой своей сущности он предполагает, что предписываемые ему законы должны быть обнаружены в его внутренней структуре, а не навязаны извне на основании априорных теоретических соображений. Тем более показательно, что и в области языка большинство участников спора опиралось на априорные тезисы.

Мы уже отмечали, что в сфере эсхатологического мышления проблема языка оказывается непосредственно связанной с наиболее существенными характеристиками реальности. Показательно, что забота о языке правительственных декретов и официальных бумаг представлялась в ту пору одной из существеннейших государственных задач. Реформа государственной машины была начала с реформы правительственного языка. Для подьячего старого типа, составляющего бумаги на канцелярском жаргоне XVIII в., путь в правительственные сферы был закрыт, между тем как в возвышении Сперанского, в карьере десятков преуспевающих мо-

лодых государственных деятелей, включая Уварова или Дашкова, владение изящным письменным языком «нового стиля» сыграло самую существенную роль²⁵. В. Д. Левин замечает: «Среди лиц, язык которых уже в то время [в последнее десятилетие XVIII в. — Ю. Л., Б. У.] отличался чистотой слога, надо назвать М. М. Сперанского; написанный им в 1792 г. курс “Правил высшего красноречия” поражает близостью к языку Карамзина и его “школы”»²⁶. Достаточно характерно в этом смысле и специальное руководство М. Л. Магницкого, посвященное деловой и государственной словесности нового стиля²⁷.

Показательно, что едва настал 1812 год и от правительственной бюрократии потребовалось перевести официальные декреты на чуждый для нее («не свой») язык, отмеченный не изяществом и чистотой, ясностью и терминологической гибкостью, которые ценились в бумагах дельцами александровской формации, а народностью, силой и торжественностью, пусть даже купленными ценой темноты и грубости слога, как должность государственного секретаря была передана Шишкову (кандидатура Карамзина, лично значительно более симпатичного императору, была отклонена)²⁸. Одновременно это было торжеством церковнославянского языка и церковной традиции (известно отрицательное отношение Александра I к церковнославянскому языку, дошедшее в годы «Библейского общества» до распоряжения перевести Библию на современный русский язык; распоряжение это сопровождалось переданными к общему сведению презрительными отзывами о церковнославянской традиции)²⁹. Итак, обращение к языковой проблеме не было ни бегством от основных вопросов, ни вынужденной цензурной их заменой. Оно вытекало из разделявшейся всеми лагерями эсхатологической концепции, согласно которой Россия нуждается в коренной и окончательной перемене, создающей новый порядок и новый язык ценой совершенного удаления от старины или полного ее восстановления.

Мы видим, что борьба по вопросам языка захватывала всю толщу основных культурных проблем. Однако шишковисты и карамзинисты не были единственными ее участниками.

Шишков и Карамзин представляли лишь возможные полюсы культурной жизни, правда, наиболее значимые с точки зрения самоосознания данной эпохи. Между тем, более общее противопоставление «архаистов» и «новаторов» (если воспользоваться терминологией Ю. Н. Тынянова), заданное эпохой и обусловленное в конечном счете спецификой русской культурно-исторической — в том числе и языковой — ситуации, могло в принципе наполняться разным содержанием, то есть конкретизироваться различным образом. Так образовывались разные полярные противопоставления,

которые осмыслились как реализации некоей более общей имманентной альтернативы. Одним из таких противопоставлений была антитеза, озаменованная именами Шишкова и Карамзина. Другим — о котором нам придется специально говорить ниже — было противопоставление Боброва и П. И. Макарова; будучи достаточно близко к первому, это последнее противопоставление не совпадало с ним в точности, представляя собой несколько иную реализацию той же самой общей антитезы: как позиция Боброва не совпадала с позицией Шишкова (что не мешало ему быть типичным «архаистом»), так и позиция Макарова не совпадала с позицией Карамзина (что не мешало ему оставаться ярким «новатором» — карамзинистом в партийном смысле этого термина).

Вместе с тем, пространство между различными полюсами «архаистов» и «новаторов» заполнено было литературными явлениями, тяготеющими к тому или иному полюсу, но не в чистом виде, а во всем богатстве разнообразных — порой атипичных — проявлений.

Одним из актуальных вопросов литературно-идеологической борьбы нач. XIX в. было отношение к просветительской традиции XVIII столетия. И карамзинисты, и шишковисты далеко ушли от принципов философии XVIII в., относились к этой культуре критически и часто полемизировали с идеями энциклопедистов, Руссо или русских поклонников «Общественного договора». Вместе с тем, связи каждого из этих лагерей с названной традицией были одинаково глубокими, хотя и качественно различными. Карамзинизм усвоил гуманный пафос философии прошедшего века, хотя и окрасил ее в тона скепсиса и разочарования. Шишковизм сложно соотносился с идеями народной и национальной культуры, восходящими к Руссо и Гердеру. Не случайно оба направления в истоке своем восходили к московскому масонству 1780-х гг.³⁰, подобно тому как враждебные друг другу славянофильство и западничество 1840-х гг. имели общую колыбель — кружок Станкевича, московское шеллингианство и гегельянство 1830-х гг.

Как бы то ни было, и шишковисты, и карамзинисты сами осознавали себя как противники просветительской традиции. Между тем, в литературной жизни той поры существовала группа, субъективно ориентирующаяся на продолжение традиции просветительских идей XVIII столетия. Утратив философскую целостность позиции, отступив по ряду принципиальных вопросов социологического плана, все более приобретая черты эклектизма, этот лагерь наследников просветительской идеологии XVIII в. сохранил, однако, ряд определяющих черт своей исходной позиции.

Прежде всего это было убеждение в доброте и социальности человеческой природы, в высокой нравственной и эстетической цен-

ности естественной основы человека. Основной культурологической оппозицией оставалась «Природа — Цивилизация», причем первая оценивалась и как исходная, и как положительная форма. С подобной позиции путь человечества вперед оценивался как путь деградации.

Устойчивой чертой в идейном комплексе просветителей начала XIX в. было отрицательное отношение к дворянству и дворянской культуре. Это были люди, во многом чуждые новой литературной ситуации — литераторы-профессионалы, эрудиты, напитанные идеями природного равенства людей, презирающие дворянство как социальное явление и дилетантизм как факт культуры. Биографически часто поставленные вне тех корпоративных гарантий, которые единственно давали человеку той эпохи обеспеченную защиту личного достоинства, эти люди составляли основную массу в нижнем этаже деятелей культуры: университетские профессора, журналисты, переводчики, актеры, художники, граверы, библиографы и библиотекари (все они должны были служить не ради чинов и престижа, а для хлеба насущного) часто были одновременно и поэтами, критиками и публицистами. Этот пестрый лагерь соприкасался с недворянской интеллигенцией начала века, частично с ней сливаясь. Н. Сандунов и Мерзляков, Гнедич и Крылов, Нарезный и Милонов, Попугаев и Пнин, Востоков и Мартынов — при всем своеобразии каждого из этих деятелей русской культуры — были связаны с этим миром. В определенной мере к нему принадлежал и Бобров.

Люди эти принадлежали культуре вчерашнего и завтрашнего дня, но в окружавшей их современности вынуждены были самоопределяться, с известной долей искусственности «приписываясь» к группировкам, чьи позиции разделяли лишь частично. С этим связаны частые случаи колебаний, переходов из одного враждующего лагеря в другой, поисков «центристских» программ. Однако нельзя не заметить, что «архаизм», видимо, оказывался для них, в ряде случаев, более близкой теоретической концепцией.

Необходимо иметь в виду, что противопоставление «архаистов» и «новаторов» — если пользоваться этой условной терминологией — представляло в этот период как неизбежная альтернатива, по отношению к которой невозможно было оставаться нейтральным. Любая литературная позиция так или иначе вписывалась (в сознании эпохи) в эти рамки. В этих условиях наследники просветительской традиции XVIII в., в общем и целом, оказывались — в большей или меньшей степени — «архаистами». Едва ли не наиболее ярким примером этого может служить творчество Боброва, непосредственно связанное с эстетикой Радищева, с лингвистиче-

ской программой Тредиаковского, с мистикой Новикова и с натурфилософией Ломоносова.

* * *

В ряду литературных манифестов просветителей 1800-х гг., вызванных полемикой по вопросам языка, может быть осмыслено и публикуемое сочинение С. Боброва «Происшествие в царстве теней, или Судьбина российского языка». Произведение это известно было современникам и упоминалось в одном из некрологов автора³¹, однако, в дальнейшем считалось утраченным. Рукопись произведения хранится в библиотеке Московского университета (под шифром 9Е08).

Публикуемый текст привлекал уже внимание ряда ученых — на него в свое время указывал Р. О. Якобсон в неопубликованном письме Д. Н. Ушакову³². И. Н. Розанов обратил на него внимание Л. В. Крестовой, которая извлекла из него цитату, относящуюся к оценке карамзинского «Острова Борнгольм» (без указания места хранения документа и с неточным обозначением его названия)³³. У авторов настоящей публикации есть сведения, что И. Н. Розанов работал над текстом «Происшествия в царстве теней». Однако, к сожалению, труд его не получил должного завершения. Текст оставался неизданным и в специальной литературе, посвященной Боброву, продолжал фигурировать как неизвестный. Обнаруженный заново в 1969 г. одним из авторов настоящей работы, текст памфлета С. С. Боброва впервые публикуется ниже.

Хотя полемическая традиция, идущая от «Арзамаса», сопричислила Боброва — «Бибруса» — к лику «беседчиков», он им не являлся ни формально (Бобров умер за год до основания «Беседы»), ни по существу. В начале своей литературной деятельности Бобров был связан с «Обществом друзей словесных наук», где познакомился с Радищевым, сильное влияние воззрений которого на поэзию он испытал. Со своей стороны и Радищев, уже после ссылки, с большим уважением отзывался о поэтических опытах Боброва, ощущая близость их к своей эстетической программе³⁴. Одновременно Бобров испытал воздействие масонской поэтики и высоко ценимых в кругах «Общества» Мильтона, Клопштока, Беньяна, Геллерта. На значение для Боброва поэзии Ломоносова он сам указывал в своих стихах. Так создавалась та сложная поэтика, которую сам Бобров определил, как «игры важной Полигимнии», и которая была глубоко противоположна «легкой поэзии» и культу «безделок», полемически отстаиваемым Карамзиным в 1790-е гг. То, что Бобров и Карамзин вылетели, по сути, из одного гнезда — кружка Новикова — Кутузова — Шварца — и оба принадлежали к

поколению, вступившему в литературу в 1780-е гг., лишь обостряло их отношения: видимо, по наследству от кружка московских «мартинистов» 1780-х гг. Бобров усвоил отношение к Карамзину как ренегату и проповеднику безнравственности. Со своей стороны, Карамзин, обычно чуждавшийся полемики (ср. его презрительный отказ от полемики с Крыловым и Клушиным в письме Дмитриеву от 18 июля 1792 г.³⁵), в предисловии ко второму тому «Аонид» резко отрицательно отзывался о поэзии Боброва, культивировавшего космические и эсхатологические темы, хотя и не назвал его по имени³⁶. Таким образом, полемика между Карамзиным и Бобровым началась еще в 1797 г. по инициативе первого. Однако тогда она продолжения не получила: Бобров по не вполне ясным причинам (возможно, роль сыграли аресты Радищева и Новикова) покинул Петербург еще в 1792 г. и служил на Черном море. На длительный срок он оторвался от литературы. Да и Карамзин, после ряда героических попыток продолжать в обстановке надвигающейся реакции литературную деятельность, вынужден был признать в письмах в Дмитриеву (1798 г.), что русская литература лежит «под лавкою», «цензура как черной медведь стоит на дороге»³⁷. Павловское царствование не благоприятствовало литературной полемике.

В начале александровского царствования, в новых условиях, полемика возобновилась. Сигналом для ее возрождения послужило появление книги Шишкова, давшей антикарамзинским силам знамя и программу.

Вернувшийся в столицу (около 1800 г.) Бобров был принят как заслуженный литератор. Его высоко ценили в кругах «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», его прокламировал весьма авторитетный в те годы журнал Мартынова «Северный вестник», который действительно был тогда одним из лучших изданий. Бобров сотрудничал в «Северном вестнике» и «Лицее». «Журнал российской словесности» писал о нем: «Щастлива страна, которая имеет таких Поэтов!»³⁸. На страницах «Северного вестника» в 1804–1805 гг. завязалась полемика о поэзии Боброва: после очень высоких оценок ее в статьях Мартынова и Александровского (1804, № 4; 1805, № 3) на страницах того же журнала появилась критическая статья Неваховича (1805, № 8)³⁹. В ходе полемики утвердилась оценка поэзии Боброва как знаменательно-го явления русской литературы. Следует отметить, что журналы, поддерживавшие и пропагандировавшие Боброва, не принадлежали к лагерю шишковистов: «Журнал российской словесности» и «Лицей» тяготели к «Вольному обществу», а независимая позиция «Северного вестника» определялась воззрениями И. И. Мартынова, своеобразно связанными с просветительской традицией XVIII века.

Повод продолжить полемику, начатую Карамзиным еще в конце 1790-х гг., появился в конце 1803 г., когда издатель журнала «Московский Меркурий» П. И. Макаров выступил с обширной теоретической статьей «Критика на книгу под названием “Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка”, напечатанную в Петербурге, 1903 года, в 8-ю долю листа»⁴⁰.

Как известно, Карамзин демонстративно уклонялся от полемики, а те, кто в 1802–1803 гг. стояли под его литературным знаменем, не были способны достойно ответить на выступление Шишкова. Выступление П. И. Макарова сразу же поставило его в центр литературной борьбы. Статья Макарова была в высшей мере примечательной: он широко и последовательно, в полемически острой форме, логично и саркастически опровергая тезисы Шишкова, изложил основные положения учения о «новом слоге». В центре статьи Макарова — идеи непрерывности развития языка и общества: «Удержать язык в одном состоянии не возможно: такого чуда не бывало от начала света», — писал он. «Придет время, когда и нынешний язык будет стар». Согласно Макарову, «язык следует всегда за Науками, за Художествами, за просвещением, за нравами, за обычаями» (с. 162–163). Заявив себя решительным сторонником европейского просвещения, Макаров иронически отзывался о прадедовских нравах и выразил надежду, что Шишков не хочет для удобства восстановления архаического языка возвратит своих современников к сим последним. «В отношении к обычаям и понятиям, мы теперь совсем не тот народ, который составляли наши предки; следственно хотим сочинять фразы и производить слова по своим понятиям, *нынешним*, умствуя как Французы, как Немцы, как все нынешние просвещенные народы» (с. 169–170)⁴¹. Именно этот тезис и касался основного вопроса полемики. Шишков считал, что тип национального «умствования» не может быть сопоставлен ни с чем; Крылов положил в основу своих басен своеобразии национально-самобытного взгляда на мир, выраженного в речевых формах «народного толка». Критики, связанные с просветительской традицией, согласились бы с сопоставлением духа русского народа с эллинистическим, как наиболее отразившим свободную сущность человеческой природы, — сопоставление с современными французами или немцами не удовлетворяло никого из них.

Сознательно обостряя полемическую ситуацию, Макаров пренебрежительно отзывался о церковнославянском языке как устаревшем и «темном» и потребовал писать, как говорят, и говорить, как пишут. Как славяно-русское единство, так и противоположение письменного языка устной речи (на этих двух положениях настаивал Шишков) встретило в нем решительного противника.

Ставя в истории языка выше всего развитие, Макаров в каче-

стве своего союзника и предшественника Карамзина назвал Ломоносова. Именно Ломоносов, по его мнению, начал создавать «новый слог» и очищать язык от темных архаизмов⁴².

Статья Макарова, восторженно встреченная в карамзинском лагере⁴³ и действительно, как позже отмечал Белинский, бывшая выдающимся явлением в истории русской критики, вызвала ожесточение не только со стороны шишковистов. Рецензии Макарова в «Московском Меркурии» подверглись строгому рассмотрению в «Северном вестнике». «Установка Макарова на “любителей чтения”, а не на писателей подверглась осуждению, равно как и осуждался субъективизм приговоров и оценок Макарова»⁴⁴. Статья «Северного вестника» была признана «Журналом российской словесности» «из лучших на нашем языке» и писанной так, «как должна быть писана Критика, имеющая благонамеренную цель»⁴⁵.

Выступление «Северного вестника» против Макарова тем более примечательно, что одновременно с выходом рецензии Макарова «Северный вестник» сам поместил «письмо от неизвестного» (написанное, видимо, Д. Языковым), автор которого, соглашаясь с Шишковым в его утверждении происхождения русского языка от церковнославянского, выдвигал идею языковой эволюции и утверждал, что современный язык не может не отличаться от древнего. То, что каждый язык неизбежно подвержен иноземным влияниям, автор доказывал ссылкой на воздействие греческого на церковнославянский.

Сочинению Боброва предшествовал «Разговор Сократа с петиметром нынешняго века в царстве мертвых», Н. П. Брусилова, опубликованный в 1803 году⁴⁶. Неясно, в какой мере произведение Брусилова было направлено персонально против Макарова, но во всяком случае оно вызвало критическую реакцию последнего в «Московском Меркурии». Брусилов ответил на это выступление брошюрой «Старец или превратность судьбы»⁴⁷. Продолжением этой полемики является, видимо, и упомянутая статья в «Журнале Российской словесности» Брусилова, которая также направлена против Макарова. Так или иначе, для свидетелей этой литературной полемики и в частности для Боброва Петиметр в «Разговоре...» Брусилова мог определенно ассоциироваться с П. И. Макаровым.

«Происшествие в царстве теней» Боброва явно связано с «Разговором...» Брусилова. В ряде случаев можно обнаружить даже текстуальные соответствия между тем и другим сочинением, ср., например, начало обоих произведений:

Брусилов

Сократ (увидя Петиметра, странно одетаго): Что это за чучело? Скажи, друг мой, кто ты? человек ли? или... Право не знаю, как тебя назвать, по крайней мере скажи, с которой ты слетел планеты?

Петиметр: Ха, ха, ха! Par ta foi! Вы великой чудак, скажите, кто вы? Quel est votre profession içi!

<...>

Сократ? Мудрец? Афины? что за странные слова? Я от роду об них не слыхивал.

Надо сказать, что сочинение Брусилова высмеивает не столько язык, сколько нравственность петиметров и только отчасти пародирует языковые особенности «галлорусской» речи (ср., например, такие слова в речи брусиловского Петиметра, как *монотония*, *дуррачество*, *наипревосходнейший*, *пустяжи*, как калька с *bagatelles*). Между тем, произведение Боброва посвящено прежде всего вопросам языка и слога.

Осень 1804 г. Макаров скончался, но это не привело к прекращению споров, вызванных его статьёй. В 1805 г. Россия официально вступила в военный конфликт с Францией, и вопрос о французском воздействии на русский язык получил новый, уже чисто политический поворот⁴⁸.

Рост антифранцузских настроений в обществе привел к тому, что в 1807 г., после Тильзитского мира, даже «Вестник Европы», когда-то основанный Карамзиным и традиционно бывший издавательно его поклонником (правда, журнал уже перешел в руки М. Т. Каченовского), опубликовал за подписью вымышленного Луки Говорова «Письмо в столицу», где полемизировал с покойным Макаровым и сочувственно цитировал Шишкова⁴⁹.

Бобров

Боян (увидя Галлорусса): Кто бы это такой был? — Не однокореец ли, не потомок ли мой? — нет; он нимало не сходствует с моими современными, надобно полагать, что он и говорит на ином языке <...> Добро пожаловать, дорогой гость <...> могу ли спросить, коея ты страны? твоя одежда, поступь и чуждое мне наречие показывают тебя иноплеменником; не из Далмации ли? или из Истрии, или из Вандалии?

Галлорусс: Как иноплеменником? — Как из Вандалии <...> ах! как все это пахнет стариной? — даже не сносно...

Такова была обстановка, в которой Бобров в 1805 г., уже после смерти Макарова, написал полемическую статью, где сатирически изобразил покойного литератора под кличкой Галлорусса. Замысел сатиры Боброва таков: поскольку Макаров торжественно заявил о превосходстве новой русской культуры над древней, надо свести обе эпохи на загробный суд, а судьей назначить Ломоносова, которого Макаров (по мнению Боброва, без достаточных на то оснований) зачислил в предшественники Карамзина.

Сатирическая природа образа Галлорусса связана с одной из особенностей статей Макарова. Разойдясь с традицией критики XVIII века, Макаров не только не уклонялся от резких оценок, но, более того, провоцировал противников на полемику, судил безапелляционно, не скрывая чувства превосходства над своими закоснелыми противниками⁵⁰. Тон критики Макарова предвосхищал стиль арзамасской полемики, приводившей беседчиков в бешенство именно сочетанием высокомерия, язвительности со светской ловкостью и европейским лоском. Тон критики Макарова, как мы видели, крайне раздражил даже осторожного Мартынова. В сознании Боброва, мыслившего в значительной мере категориями новиковской сатиры, Макаров отождествился с петиметром и был наделен карикатурными чертами этого образа-маски.

Если отвлечься от условной сатирической формы «разговора в царстве мертвых», то основные контуры концепции Боброва окажутся весьма близкими к позиции «Северного вестника» и связанными с ним литературных кругов.

Бобров не отвергает идеи развития языка и не отождествляет его с «порчей»⁵¹. Так, главный антагонист Галлорусса, Боян, с одобрением отзываясь о языке Прокоповича, Кантемира и Ломоносова, следующим образом определяя допустимые пределы языковых изменений: «Правда; — и в их языке ощутил я многую перемену, но без преступления пределов, и в нем не забыты основания древняго слова». А Ломоносов, о котором Макаров писал: «Он собственным примером доказал обожателям древности, что старинное не всегда есть лучшее»; после которого «дорога проложена: оставалось только следовать по ней, то есть очищать, обогащать язык по числу новых понятий»⁵², — у Боброва так определяет сущность своей языковой позиции: «Я стараюсь очищать его [язык. — Ю. Л., Б. У.], не только не опроверг оснований Славенскаго языка, но еще в оных, как в органических законах, показал всю необходимость и существование, и тем положил пределы всякому вводу иноязычных наречий, как примеси чужей крови. Но вы перелезли сии пределы, изказили язык, и сему изказению дали еще имя: *новый вкус, чистое, блестящее, сладкое перо, утонченная кисть*»⁵³.

Кроме лингвистического аспекта, здесь затронут не менее су-

щественный — общеидеологический. Если Макаров считал утонченность, изящество, хороший вкус необходимыми и закономерными следствиями поступательного развития цивилизации (за этим утверждением стояла мысль и том, что единственный реальный прогресс — прогресс усовершенствования, обогащения человеческой души, развития ее тонкости и чувствительности), то для Боброва они — результат уклонения от путей Природы. Утонченность приравнивается слабости духа и противопоставляется грубой энергии, силе и мужеству. При этом первой приписывается признак аристократичности, элитарности, второй — народности. Эта концепция восходит к Руссо. У него ее усвоили немецкие штюрмеры и молодой Шиллер. У русских писателей она находила самый широкий отклик: отзвуки ее мы находим и в главе «Едрово» «Путешествия из Петербурга в Москву», и в концепции античности Гнедича, и в той критике, которой Андрей Тургенев подверг Карамзина. У Боброва Боян упрекает карамзинистов в том, что «в новых книгах везде либо ложная блистательность, непомерная пестрота, напыщение и некая при том ухищренная гибкость пера, либо, напротив, излишняя разнеженность, — притворная какая то чувствительность, влюбчивость, слезливость, страшливость — даже до обмороков». Прослушав отрывок из «Острова Борнгольм» Карамзина, Ломоносов восклицает: «Боян! Слыхал ли ты такая песни во времена мужественных, благородных и целомудренных современников своих? — Ей! для меня сноснее бы было видеть ошибки в слоге, нежели в красоте онаго кроющиеся ложные правила и опасные умствования». Эти обвинения почти текстуально совпадают с теми, которые предъявлял Карамзину Андрей Тургенев в 1801 г., выступая в «дружеском литературном обществе»⁵⁴.

Совпадая в своей позиции как с Андреем Тургеневым, так и с Мерзляковым, Бобров противопоставляет Карамзину народную поэзию. Ломоносов у него говорит: «Простота и естественность древних наших общенародных песней всегда пленяла меня; в них я не находил ни чужеземнаго щегольства, ни грубых погрешностей < . . . >»⁵⁵.

Все это, в конечном счете, сводится к идеалу певца — героического барда, вдохновенного Природой и влекущего современников к подвигам. Предромантический характер такого идеала очевиден. «Древние Певцы, которые не столь к большому свету [ср. «Отчего в России мало авторских талантов» Карамзина и ряд рассуждений Макарова о пользе дамского и светского вкуса для литературы. — Ю. Л., Б. У.], сколь к природе ближе были, чрез сие одно учились дивными и очаровательными. Знай, что Омир, Оссиан, Боян и Природа всегда были между собою друзья!»

Обращает на себя внимание еще одно обстоятельство. При высокой оценке Ломоносова — крайне уничижительный отзыв о Тредиаковском, неожиданный в контексте общих воззрений Боброва и его единомышленников⁵⁶, в сопоставлении с которым негативная оценка Сумарокова выглядела бы более естественной. Шокирующее впечатление на современников должна была произвести и критическая оценка стихотворения Державина⁵⁷, безусловно положительные отзывы о котором были законом в печати тех лет для критиков всех лагерей. С этим можно сопоставить значительно более прохладные оценки современников в устных отзывах и переписке. Так, в кругах «Дружеского литературного общества» Державину не могли простить похвал и посвящений Павлу.

Свое сочинение Бобров посвятил М. Н. Муравьеву, и это тем более примечательно, что Муравьев по своей литературной ориентации был весьма близок к Карамзину и явился непосредственным предшественником «нового слога». Уже одно это свидетельствует об известных колебаниях в позиции Боброва и о том, что ему, лишь недавно вернувшемуся в круг столичной литературы, расстановка лагерей представлялась не совсем ясно⁵⁸.

Можно полагать, что именно в результате совета М. Н. Муравьева Бобров не опубликовал «Происшествия в царстве теней» в печати. Однако произведение это было известно современникам, и введение его в научный оборот разъясняет некоторые аспекты полемики 1800-х–1810-х гг. Весьма возможно, что именно сатира Боброва явилась непосредственным импульсом для создания «Видения на берегах Леты» Батюшкова (1809 г.)⁵⁹, которое может рассматриваться в этом случае как своеобразный полемический отклик на данное сочинение⁶⁰, упоминание Боброва в первой же строке «Видения на берегах Леты» — написанного, кстати сказать, в том же жанре лукиановского разговора — могло сразу ориентировать осведомленного читателя (ср. также цитату из Боброва в середине этого произведения). Вероятно, с этим же связано устойчивое сопричисление арзамасцами Боброва к шишковистам и постоянные нападки на него.

Более или менее очевидна, вместе с тем, связь «Происшествия в царстве теней» с безымянной сатирой «Галлоруссия» 1813 г. (также написанной в жанре разговора в царстве мертвых)⁶¹.

* * *

Непримиримый тон полемического выступления Боброва против уже умершего литератора был бы необъясним⁶², если бы мы не припомнили некоторые особенности позиции Макарова, которые, кстати сказать, существенно отличали его от Карамзина начала

александровского царствования (учтя это, мы поймем, что безусловное отождествление позиции Макарова и Карамзина для одних имело полемический, для других — тактический характер).

Литературная позиция Макарова характеризовалась установкой на эпатирование: он сознательно утрировал свои воззрения, облекая высказывания в дерзкую и провоцирующую форму, демонстративно задевал нормы не только условных литературных приличий. Уже этим он резко отличался от Карамзина, для которого, если исключить краткий период «бури и натиска» золотая середина была законом литературного и личного поведения. Уклонение от полемики Карамзин возвел в жизненный принцип — Макаров сознательно утрировал свои мнения, чтобы вызвать полемику.

Можно полагать, что и в личном поведении Макарова имелись те же моменты эпатажа и провокации. Поза щеголя была для него, вероятно, своеобразной «желтой кофтой»⁶³.

Макаров был откровенным бонапартистом. В «Московском Меркурии» он писал: «Взоры наши, устремленные на блистательного Бонапарте, что-то неохотно склоняются на лежащего в земле изверга-Робеспьера»⁶⁴. В другом месте, иронизируя по поводу анекдотического перевода кн. П. Шаликовым третьесортного французского романа и выписывая слова переводчика, именуемого Наполеона «неустрасимый воин, мудрый властитель, надежда и любовь всей Франции», Макаров уже серьезно замечает: «Никто более нас, Издателей *Меркурия*, не имеет почтения к великим достоинствам Наполеоновым»⁶⁵.

В положительной оценке Наполеона в 1803 г. не было ничего не только шокирующего, но и исключительного. Такую же позицию занимал Карамзин в «Вестнике Европы». И даже известный «квасной» патриот 1807–1812 гг. С. Глинка писал об этой эпохе: «Кто в юности знакомился с героями Греции и Рима, тот был тогда бонапартистом»⁶⁶.

До отзыва русского посла из Франции в августе 1804 г. в связи с убийством герцога Энгиенского отношения между Александром и Наполеоном вполне допускали открытое выражение симпатий к французскому диктатору. Бонапартизм в России этих лет имел двоякую природу. С ним могли связываться надежды на окончание «парижских ужасов» и на водворение во Франции порядка; в этом варианте бонапартизм был близок Карамзину эпохи «Вестника Европы». Однако он мог заполняться и другим содержанием: сближение с Наполеоном во внешнеполитической сфере подчас рассматривалось как путь к умиротворению Европы и, следовательно, как возможность сосредоточить внимание на внутренних проблемах. Такая ориентация подразумевала надежды на бонапартизм и как на путь решения внутрирусских политических проблем —

сочетание сильной власти правительства с административной упорядоченностью управления и постепенным проведением основных буржуазных реформ. Таков был бонапартизм Сперанского. Можно полагать, что, карамзинист в вопросах языка, Макаров по своим политическим симпатиям был ближе ко второй позиции. На это намекают сочувственные отзывы о Мирабо и Фоксе, парламентском красноречии, мелькающие в «Московском Меркурии». Сентиментальное восклицание кн. Шаликова: «Ах! какое завидное состояние Помещика! одним решительным, можно сказать, *желанием*, без всякаго *исидивения*, он щастливит множество людей», — Макаров сопроводил многозначительным примечанием: «Для *щастия* поселян (и то для какого *беднаго* щастия!) надобно, чтобы Помещик был не только доброй, но еще *просвещенной* < . . . > чтобы прикащики, управляющие в отсутствие сего Помещика, имели те же качества при совершенном *безкорыстии!*.. Много ли таких Помещиков? и где есть такие прикащики?»⁶⁷. Очевидно, что даже условия «бедного щастья» крестьян представлялись Макарову, в рамках существующего положения, неосуществимыми. О том же, что такое «щастье поселян» без уничижительного эпитета, он оставлял догадываться читателям.

В напряженной и кипящей противоречиями обстановке начала XIX века столкновение просветительской идеи единства человеческой цивилизации с романтическим представлением о взаимонепроницаемом своеобразии национальных культур приобретало драматический характер. «Московский Меркурий» вызывающе резко отстаивал идеи единства европейской культуры, пропагандировал стирание черт местного своеобразия, оправдывал все новое и иронизировал над стариной. Устойчивым объектом морализирующей сатиры были моды. Макаров не только дерзко взял моды под свою защиту, трактуя их как одну из форм цивилизаторского воздействия на общество, но и систематически информировал русского читателя обо всех новинках европейских мод. Он, конечно, прекрасно понимал, какую бурю вызовет такое объявление издателя «Меркурия»: «Каждой месяц выйдет одна книжка *Меркурия*; дня не назначаем: это будет зависеть от иностранных Журналов. Мы расположимся так, чтобы Читатели *Меркурия* узнавали об Модах одну только неделю позже Читателей *Парижскаго Журнала* — и следовательно 35 или 36 дней после того, как те Моды в первой раз покажутся во Франции. Не смеем обещать, но имеем все причины думать, что наш Журнал упредит *Франкфуртской* < . . . >. — И так, *Моды* будут нашею *точкою зрения*, под которою (что касается до времени) станем подводить и прочия свои статьи, наблюдая притом, чтобы известия о книгах были сколько можно *новее*»⁶⁸. Если уклонение от полемики составляло основу позиции Карамзи-

на как литератора, то Макаров, публикуя такие признания, сознательно провоцировал литературный скандал. Карамзин (скрывшись под псевдонимом «В. Мулатов» и маской семидесятилетнего старца) в статье «Вестника Европы» «О легкой одежде модных красавиц девятаго-надесять века» (1802) резко осудил «молодых красавиц», которые «в публичных собраниях» служат «моделью для Венерина портрета во весь рост», и указал на политический подтекст своего отношения к этому вопросу: «Наши стыдливые девицы и супруги оскорбляют природную стыдливость свою, единственно для того, что Француженки не имеют ее, без сомнения те, которые прыгали контрдансы на могилах родителей, мужей и любовников! Мы гнушаемся ужасами Революции и перенимаем моды ее!»⁶⁹.

Макаров уже имел перед глазами эту статью, когда объявил парижские моды «точкою зрения» своего журнала. Заимствуя у Карамзина принцип построения целого раздела журнала как монтажа переводных материалов, он полемически ставит моду на то место, которое в «Вестнике Европы» занимала политика. Переводя парижские журналы, Макаров дает такие описания новинок моды: «Костюм требует, чтобы груди были совершенно наруже и чтобы руки, голыя до самых плеч, никогда не прятались. Словом сказать, видишь настоящую Венеру < . . . >. Что может быть прелестнее такой картины». Явно полемизируя с Карамзиным, Макаров снабдил этот отрывок редакторским примечанием, в котором утверждал, что ни легкие костюмы, ни обычай принимать гостей лежа в постели — не новости и были известны в той королевской Франции, которую Карамзин в цитированной выше статье назвал «столицею вкуса». Макаров писал: «Это не новое. Во Франции, в Мазариново правление, постеля прекрасной женщины была Троном < . . . >. Французские Журналисты очень сердиты на нынешнее вольное обхождение женщин, и даже на их наряд! По щастию, мнение некотораго числа людей не составляет мнения общаго! < . . . > (изд[атель] Мерк[урия])»⁷⁰. Конечно, не «французские журналисты» беспокоили Макарова в первую очередь!

Мода как символ нового, актуального, сегодняшнего действительно становится у Макарова той «точкою зрения», с которой он оценивает окружающий мир. Он вызывающе подчеркивает условность тех или иных существующих норм и приличий. Он не упускает случая посягать на изменение нравов в сторону большей свободы: все новое для него — лучшее, подобное тому, как для его литературных противников ценности принципиально связываются с прошлым, с традицией. Сознательно рассчитывая на шокирующее впечатление, он повествует, например, о том, как в свое время некто в обществе процитировал слова Аристенета, от-

нося их к находящейся тут же даме: «в наряде — она прекрасна < . . . >, нагая — она живой образ Красоты», причем все тогда были фраппированы, «вкус» был «оскорблен»; но сейчас, — прибавляет Макаров, характеризуя эволюцию моды и нравов, — «легко станет, что < . . . > Аристенетова похвала была бы очень хорошо принята»⁷¹.

Необходимо учесть, что и Наполеон, со своей стороны, смотрел на парижские моды как на важный рычаг русско-французского сближения. Личный посол первого консула в Петербурге Эдувиль получил от Талейрана письменную инструкцию, выражавшую желание Бонапарта использовать моды в политических целях: «Если бы вам удалось возбудить любопытство императрицы касательно французских мод, мы тотчас же преподнесли бы ей все, что нашлось бы здесь самого изящного»⁷².

В этом же контексте находят себе объяснение новые вспышки сатиры против модных лавок и французских мод. Тема эта была завещана XVIII веком, но резко оживилась с начала XIX столетия. «Модная лавка» и «Урок дочкам» Крылова (1807), гонения Ростопчина в 1812 г. на французских торговках мод в Москве, монолог Фамусова против Кузнецкого моста дают разные аспекты этой темы.

В таком контексте становится понятной и резкость сатиры Боброва, и то, что приемом высмеивания он избрал отождествление Макарова со стереотипной маской петиметра⁷³. Не следует забывать и того, что если в 1805 г. Карамзин своим личным обликом никак не ассоциировался с петиметром, в этом смысле выступая как антипод Макарова, то в кругах, связанных с масонами 1780-х гг. (т. е. в кругах, близких Боброву), жила память о Карамзине времени его возвращения из-за границы. Так, А. М. Кутузов — в прошлом друг Карамзина — написал в 1791 г. злой памфлет, где выведен некто Попугай Обезьянинов, соединяющий в своем облике стереотипные черты петиметра с деталями из биографии Карамзина⁷⁴.

Для понимания непримиримости, с которой Бобров преследовал над еще свежей могилой память недавно скончавшегося литератора, следует обратить внимание на дату, которая поставлена автором на титульном листе. Ноябрь 1805 г. был временем, когда политические страсти накалились до предела. 20 ноября (2 декабря) произошло Аустерлицкое сражение. Итоги его были восприняты в широких общественных кругах как катастрофа. Искали виновных, и накал общественного напряжения достиг предела. Обвинение, которое бросал Бобров уже покойному Макарову, предвосхищало те, с которыми обратился к своим литературным противникам Шишков после пожара Москвы: «Теперь их я ткнул бы

в пепел Москвы и громко им сказал: “Вот чего вы хотели!”»⁷⁵. Отношение противоположных группировок также было не более терпимым. Когда в 1806 г. неожиданно скончался от тифа, полученного в молдавской армии, кн. П. П. Долгорукий, «la chéville ouvrière du parti russe», как его именовал кн. Адам Чарторыйский, по словам П. В. Долгорукова, «ревностный отчизнолюбец», но одновременно именно тот, кто, соединяя дипломатическую и военную некомпетентность с крайним самомнением, вопреки настояниям Кутузова, уговорил Александра дать решительное сражение на равнинах Аустерлица, то Ланжерон сопроводил его в могилу словами: «Sa mort est un bienfait pour la Russie»⁷⁶.

Учитывая ситуацию, в которой создавался публикуемый памятник, и ту связь чисто лингвистических проблем с общекультурными, политическими и социальными, которая, как мы старались показать, свойственна русскому типу культуры (как и вообще культурам, ориентированным на повышенную семиотичность), можно понять и специфический жанровый характер «Происшествия в царстве теней» С. Боброва — одновременно и лингвистического трактата, и памфлета на политические и общекультурные темы.

* * *

Карамзин и Шишков были вождями и вдохновителями враждующих группировок. Однако и их творчество и та литературно-бытовая поза, через которую первое, в значительной мере, воспринималось современниками, были сложны и с трудом поддавались превращению в условную маску сатирического или апологетического свойства. Карамзин, отошедший от писательства, сделавшийся исследователем русской старины, которую он знал уже, не в пример Шишкову, профессионально, уклоняющийся от всякого участия в непосредственной литературной жизни, мало походил на «карамзиниста». Шишков также — и в жизни, и в творчестве порой отклонялся от правоверного архаизма. Так, чтобы доказать, что он чужд ненависти ко всему французскому и не похож на каррикатурный образ читателя «староверских книг», каким его изображали сатирики из враждебного лагеря, Шишков перевел Лагарпа. С. Т. Аксаков, в молодости страстный поклонник Шишкова, был шокирован, услышав в его доме французскую речь. Шишков, как и многие беседчики, не был свободен от той бытовой связи с французским языком, без которой трудно вообразить образованного дворянина его круга и эпохи⁷⁷.

Макаров и Бобров, в этом смысле, были людьми другого типа. Не будучи литературными вождями, они как бы воплотили в себе все, что соответствовало ходячим представлениям об их литера-

турных группировках. Макаров с его утрированной позой щеголя, рвущийся в литературные бои с поднятым забралом и Бобров — угрюмый Бибрис, — погруженный в тяжелую ученость, напоминающий Третьяковского умением облекать глубокие мысли в парадоксальную и вызывающую у противников смех, форму, были как бы созданы для того, чтобы превратиться в своеобразные живые маски карамзинизма и шишковизма, хотя, по сути дела, и тот и другой занимали весьма своеобразное место среди своих единомышленников.

Это делает публикуемый документ исполненным самого серьезного научного интереса.

Вопросы культуры в свете языковой проблемы. Лингвистические аспекты внутрикультурных конфликтов

До сих пор речь шла главным образом о том историко-культурном контексте, к которому принадлежит обсуждаемое произведение и которое определяет, так сказать, его общий идеологический фон, придавая то или иное публицистическое звучание более или менее специальным вопросам языковой полемики. Остановимся теперь на относящейся сюда собственно лингвистической проблематике.

Сатира Боброва посвящена пуристическому протесту против иноязычного влияния на русский язык¹ и прежде всего борьбе с галломанией, столь характерной для второй половины XVIII — первой трети XIX в. В этом смысле она связана отношением преемственности с полемической литературой XVIII в., посвященной данной проблеме; не случайно Галлорусс облекается у Боброва в традиционную маску петиметра (о чем мы уже упоминали выше), и его речь в целом ряде случаев совпадает с образцами «щегольского наречия», как оно представлено, например, в новиковских журналах и в ряде других источников (совпадения такого рода отмечены в комментарии к публикуемому ниже тексту)². В принципе не исключено, таким образом, что в каких-то случаях подобные совпадения могут быть обусловлены не столько реальной речью галломанов конца XVIII — нач. XIX вв., сколько именно литературной преемственностью: петиметр стал своеобразным амплуа, которому соответствует и определенное речевое поведение. Однако, подобную возможность нельзя абсолютизировать, поскольку в других случаях мы явно вправе говорить об определенной речевой традиции³.

Уместно отметить в этой связи, что речи всех действующих лиц — не только Галлорусса, но также и Бояна, Ломоносова, Мер-

курия — дифференцированы стилистически в сатире Боброва; каждое из действующих лиц представляет определенную языковую позицию. Ср. нарочитые архаизмы в речи Бояна, явные коллоквиализмы в речи Меркурия и т. п.; что касается речи Ломоносова, то она выступает в качестве стилистического эталона. Перед нами как бы театр масок, где распределение ролей отражает распределение возможных речевых установок.

Вместе с тем — и это особенно важно подчеркнуть, — язык Галлорусса подан у Боброва как особый язык, который нуждается в переводе на обычный русский (ср., между прочим, такой же прием в новиковских журналах). Соответственно, в ряде случаев указываются словарные соответствия между языком Галлорусса и языком других действующих лиц, которые могут быть оформлены именно как иноязычно-русские переводы. Так, например, слово *серьёзность* у Галлорусса соответствует слову *степенность* в обычном языке, выражение *писать патетически* означает *писать страстным слогом*, слово *жени* соответствует слову *гений*; точно так же отмечается разное значение глагола *внушить* в «галлорусском» и в обычном русском языке и т. п.⁴

Каково же место рассматриваемого произведения Боброва в ряду полемических сочинений, содержащих протест против иноязычного (западноевропейского) влияния на русский язык, и в чем специфика его языковой позиции? Какова, далее, связь между его языковой и его литературной позицией? Как вообще соотносится протест против иноязычного влияния с ориентацией на церковнославянский язык? Этот комплекс вопросов предполагает рассмотрение «Происшествия в царстве теней» Боброва в рамках истории русского литературного языка.

Необходимо сразу же указать, что иноязычное (западноевропейское) влияние тесно связано — пусть это не покажется парадоксом — с процессом становления общерусского национального языка, отчетливо противопоставляющего себя языку церковнославянскому. Вместе с тем, на определенном этапе развития это влияние способствует «славянизации» русской литературной речи (по-скольку, поскольку она уже отделилась от церковнославянского языка), т. е. насыщению ее церковнославянскими и вообще консолидации церковнославянской и русской языковой стихии в пределах литературного языка. Иначе говоря, влияние со стороны западноевропейских языков, столь осязаемое на протяжении всего XVIII века, естественно и неизбежно накладывалось на существовавшую уже дихотомию церковнославянской и русской языковой стихии и должно было осмысляться именно в свете этой альтернативы.

Отсюда пуризм, связанный с протестом против иноязычного влияния, приобретает в России совершенно специфическую окраску, кардинальным образом отличающую его от соответствующего явления в других — в частности, западноевропейских — языках⁵.

Если в последних пуризм представляет собой по преимуществу социолингвистическое или даже вообще экстралингвистическое (идеологическое, националистическое, рационалистическое и т. п.) явление, то здесь пуризм может связываться и с чисто имманентными причинами развития литературного языка и рассматриваться в этом случае в сравнительно узких категориях стилистики — как явление, целиком вписывающееся в динамическое соотношение стилей, в частности, в соотношение церковнославянской и русской языковой стихии⁶. Неслучайно вспышки пуризма, периодически наблюдаемые в России, всегда и непременно связаны со славянизацией языка. Так в XX в. *Петербург* закономерно заменяется на *Петроград* и затем, последовательно, на *Ленинград* (ср., между тем, полногласный компонент в исконной форме *Новгород*); в эпоху борьбы с космополитизмом *голкипер* заменяется на *вратарь* и т. д. и т. п.

Вместе с тем, и сами протесты против иноязычного влияния могут в известной мере отражать аналогичные протесты в западноевропейских странах. Иначе говоря, одновременно с заимствованием конкретных языковых элементов и конструкций заимствуется (в той или иной степени) и сама концепция языка, обуславливающая определенное отношение к подобным явлениям. Уместно отметить в этой связи, что и галломания русского дворянского общества второй половины XVIII в. с известным правом может рассматриваться как отражение языковой ситуации при немецких дворах: действительно, французско-русские макаронизмы русских дворян очень близко соответствуют французско-немецким макаронизмам немецкого языка «эпохи модников» (*à la mode-Zeit*). Если субъективно русские петиметры были ориентированы на французский язык и французскую культуру, то фактически они могли просто импортировать немецкую языковую ситуацию: немецкая языковая культура выполняла роль актуального посредника в русско-французских контактах⁷.

Совершенно так же «Происшествие в царстве теней» С. Боброва в принципе может отражать немецкие полемические сочинения, посвященные борьбе с галломанией. Отметим прежде всего — как, может быть, наиболее актуальный пример — разговор в царстве теней под заглавием «*Elysium*», принадлежащий перу Якоба Ленца и опубликованный им в журнале «*Für Leser und Leserinnen*», N. 18 (Mitau, November, 1781, с. 495 и сл.)⁸.

В качестве действующих лиц здесь фигурируют Меркурий и Харон, причем Меркурий выступает в роли петиметра, речи которого изобилуют макаронизмами, а Харон, обращаясь к нему, говорит: «Заклинаю перунами Зевса! Скажи, ты совсем забыл немецкий язык, если постоянно шпигуешь свою речь французскими словами?» Нетрудно провести параллель между ленцевским Меркурием и бобровским Галлоруссом, с одной стороны, и ленцевским Хароном и бобровским Бояном, — с другой.

Предположение о возможном влиянии «*Elysium'a*» Ленца на «Происшествие в царстве теней» Боброва, кстати сказать, тем более вероятно, что Бобров в молодые годы, несомненно, встречался с Ленцем (оба автора принадлежали к кружку московских масонов, группировавшихся вокруг Шварца и Новикова)⁹; естественно ожидать, что начинающий автор испытал на себе влияние известного поэта и драматурга.

Важно, однако, иметь в виду, что с перенесением на русскую почву соответствующие (пуристические) тенденции приобретают существенно новое содержание. Оппозиция «свое — чужое» органически включается в антитезу церковнославянской и русской языковой стихии и осмысливается как частный случай этой более общей альтернативы. При этом на разных этапах эволюции русского литературного языка иноязычные вкрапления могут причисляться то к одному, то к другому полюсу, в одном случае приравниваясь по своей стилистической функции к элементам высокого слога, в другом — рассматриваясь как специфические явления разговорного языка. Можно сказать, что в ПЕРСПЕКТИВЕ СОБСТВЕННО РУССКОЙ языковой стихии заимствования могли объединяться в языковом сознании носителя языка с ЦЕРКОВНОСЛАВЯНИЗМАМИ, КАК ЧУЖИЕ, ГЕТЕРОГЕННЫЕ явления, МЕЖДУ ТЕМ, КАК В ПЕРСПЕКТИВЕ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО (ВЫСОКОГО) ЯЗЫКА ОНИ МОГЛИ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, НАПРОТИВ, С РУСИЗМАМИ.

Для того, чтобы уяснить связь между отношением к заимствованиям (из западноевропейских языков) и отношением к церковнославянской языковой стихии и, в частности, связь между пуризмом и призывом к славянизации языка, необходимо вкратце охарактеризовать основные моменты эволюции русского литературного языка в XVIII в.

* * *

XVIII век занимает особое место в истории русского литературного языка. В течение сравнительно небольшого отрезка времени происходит коренная перестройка литературного языка, который радикально меняет свой тип — от языка с отчетливым противо-

ставлением книжной и разговорной речи к языку, в большей степени ориентированному на разговорное койне и подчиняющемуся ему в своем развитии. Перефразируя Карамзина, можно сказать, что русский литературный язык из языка, на котором (в идеальной ситуации) надобно было говорить как пишут, становится языком, на котором следует писать как говорят (разумеется, в качестве стандарта выступает при этом речь определенной части общества)¹⁰.

В частности, кардинальным образом меняется соотношение собственно русской и церковнославянской языковой стихии, которое составляет вообще ключевой момент в истории русского литературного языка на самых разных этапах его развития. В специальных лингвистических терминах можно сказать, что церковнославянско-русская диглоссия превращается в церковнославянско-русское двуязычие. Под диглоссией понимается при этом особая языковая ситуация (типологически аналогичная, например, ситуации в современных арабских странах), характеризующаяся специфическим сосуществованием книжной и не книжной языковых систем, которые находятся как бы в функциональном балансе, распределяя свои функции в соответствии с иерархическим распределением контекстов¹¹. Важно отметить, что в субъективной перспективе носителя языка обе языковые системы воспринимаются при этом как один язык, причем живая речь воспринимается как отклонение от книжных языковых норм, усваиваемых путем формального обучения. Соответственно, в отличие от двуязычия, диглоссия характеризуется принципиальной неравноправностью сосуществующих языковых систем, когда обе они иерархически объединяются в языковом сознании в один язык, и таким образом фактически составляют стили этого языка, причем литературным в собственном смысле признается исключительно высокий стиль¹². Так, в условиях церковнославянско-русской диглоссии живой русский язык фигурирует (в языковом сознании) именно как отклонение от книжного церковнославянского языка.

Легитимация русского «простого» языка и ограничение сферы функционирования церковнославянского языка приводит к ликвидации диглоссии как особой языковой ситуации в России: церковнославянско-русская диглоссия становится церковнославянско-русским двуязычием, когда оба языка воспринимаются как функционально равноправные. Отсюда следует дальнейшая ликвидация этого двуязычия как функционально неоправданного явления: следует иметь в виду, что, в отличие от диглоссии, характеризующейся принципиальной стабильностью и консервативностью, двуязычие, вообще говоря, представляет собой переходное, промежуточное явление.

Ликвидация церковнославянско-русской диглоссии имела кар-

динальные последствия для дальнейшей судьбы русского литературного языка; вместе с тем, с ликвидацией диглоссии те же стилистические отношения остаются внутри русского языка как наследие бывшей диглоссии (эта ситуация была кодифицирована в «Российской грамматике» М. В. Ломоносова).

Можно сказать, что, исчезнув как таковая, диглоссия определила БИПОЛЯРНУЮ русскую языковую сознания, выразившуюся в противопоставлении «книжной» («литературной») и «некнижной» («нелитературной») языковой стихии. Это противопоставление может осмыслиться на разных этапах эволюции русского литературного языка — и в разной перспективе — как «церковнославянское — русское», «письменное — устное», «литературное — разговорное», «искусственное — естественное», «сакральное — мирское (или: профаническое, инфернальное)», «церковное — гражданское», «поэтическое — повседневное», «архаическое — современное», «национальное — интернациональное (европейское)», «чужое — свое», «восточное — западное», «общеизвестное — эзотерическое», «демократическое — кастовое» и т. д. и т. п.¹³. С ликвидацией диглоссии процесс эволюции русского литературного языка предстает как чередующаяся смена ориентации на «книжную» и «некнижную» языковую стихию, причем понятия «книжного» и «некнижного» на каждом этапе наполняются конкретным лингвистическим содержанием в зависимости от того, какова исходная точка развития.

Процесс легитимации собственно русской (разговорной) языковой стихии, обусловившей как ликвидацию церковнославянско-русской диглоссии, так и последующую демократизацию русской литературной речи, тесно связан с западноевропейским влиянием.

С одной стороны, сама установка на разговорное койне (на «общее употребление») в значительной степени обусловлена сознательной ориентацией на западноевропейскую языковую ситуацию (Адодуров, ранний Тредиаковский, Кантемир; аналогичную позицию занимает в 30-е гг. и Ломоносов¹⁴).

С другой стороны, церковнославянско-русская диглоссия, укorenившись в языковом сознании носителя языка, послужила моделью для создания аналогичной языковой ситуации в условиях реакции на церковнославянскую языковую стихию. В результате европеизмы выступают — на определенном этапе — как функциональный эквивалент церковнославянизмов, а иноязычно-русский билингвизм дворянского общества XVIII века в каком-то смысле может рассматриваться как субститут церковнославянско-русского билингвизма¹⁵. Знаменательны в этом смысле слова А. С. Кайсарова: «Французский и немецкий

языки занимают у нас место латинского» — т. е. играют ту же роль, какую латынь играет в странах Западной Европы¹⁶.

Предпосылки этого более или менее очевидны.

Прежде всего специальные нормы собственно русского (не церковнославянского) литературного языка вырабатывались в основном с процессе ПЕРЕВОДСКОЙ деятельности, т. е. в процессе перевода с западноевропейских языков (ср. деятельность «Российского собрания» в первой половине XVIII столетия или «Собрания, старающегося о переводе российских книг» — во второй его половине). Переводы с западных языков на определенном этапе выступают как средство создания литературного языка ТОГО ЖЕ ТИПА, что западноевропейские. Естественно, что соответствующие западноевропейские языки приобретают в этих условиях специфический книжный характер по сравнению с живой ненормированной русской речью. Это отношение между иностранным языком и книжной речью и накладывается на модель диглоссии: ЧУЖОЕ функционирует как книжное. Поскольку создание текстов на своем языке (*Muttersprache*) происходит лингвистически бессознательно, постольку свои тексты имеют вообще тенденцию оцениваться как «неправильные», а чужие — как «правильные»¹⁷. Иными словами, поскольку антитеза книжного и книжного начала могла восприниматься как противопоставление «своего» и «чужого», постольку — в перспективе родного языка, т. е. собственно русской разговорной стихии, — все «чужое» в принципе могло восприниматься как книжное, правильное: носитель языка привык отталкиваться от естественно усвоенных языковых навыков в конструировании правильных текстов.

В результате заимствованные и калькированные формы ассоциируются с высоким (книжным) слогом, приравниваясь по своей стилистической функции к церковнославянизмам¹⁸.

Соответственно, кальки с французского, как, например, *владеть жалкое существование* (= *traîner une misérable existence*) или *питать надежду* (= *pourrir l'espoir*) закономерно облекаются не в русскую, а в церковнославянскую форму¹⁹. То же наблюдается и при калькировании отдельных слов, которые также оформляются по церковнославянским образцам. Вообще — всевозможные неологизмы, создаваемые в качестве субститутов иностранных слов, закономерно оформляются именно как церковнославянизмы²⁰; это особенно заметно в научной терминологии, ср. здесь такие формы, как *млекопитающее*, *пресмыкающееся* и т. п.²¹ Отсюда, кстати сказать, в значительной степени объясняется то — парадоксальное, на первый взгляд, — обстоятельство, что в эпоху стремительной секуляризации русского литературного языка появляется большое количество так называемых псевдостарославянизмов — иначе го-

воря, церковнославянизмов нового происхождения, неологизмов, оформленных на церковнославянский манер, — и происходит вообще определенная активизация церковнославянских элементов (и церковнославянских моделей) в литературном языке²². Неологизмы такого рода возможны, между прочим, у приверженцев как «старого», так и «нового слога». Так, карамзинский неологизм *законоведение* представляет собой кальку с немецкого *Gesetzeskunde* и лишь внешне похож на старославянское *законоположение* (которое, в свою очередь, соответствует греч. *νομοθεσία*)²³. Совершенно аналогично слово *кругозор*, употребляемое Бобровым в «Херсониде» вместо европеизма *горизонт*²⁴, может рассматриваться как калька с немец. *Gesichtskreis* или *Rundschau*.

Точно так же и фонетически слова, заимствованные из западноевропейских языков, оформляются по нормам церковнославянского произношения: вопреки широко распространенному мнению, можно утверждать, что специфическая орфоэпия иностранных слов (иноязычных заимствований) в обычном случае не отражала непосредственно исходной фонетической формы, а подчинялась именно нормам книжного — церковнославянского — произношения (ср. такие общие признаки особой фонетики иностранных слов и церковнославянской фонетики, как оканье, фрикативное *г*, твердость согласного перед *е* и т. п.)²⁵; отметим еще в этой связи сближение традиционной декламационной манеры и западноевропейской сценической декламации в этот же период.

С другой стороны, очень характерно изменение значений церковнославянизмов в русском литературном языке под влиянием западноевропейских языков²⁶; поскольку подобное изменение, естественно, не может иметь место при этом в самом церковнославянском языке, возникает характерное семантическое различие, иногда доходящее до антонимического противопоставления, между соответствующими по форме (церковнославянскими по происхождению) элементами церковнославянского и русского языков — что, между прочим, и оправдывает в какой-то мере рассмотрение их теперь в качестве разных языков, находящихся друг к другу в отношении переводимости (а не различных стилистических систем внутри одного языка, как это могло бы считаться для более раннего периода). Замечательно, что Карамзин не только оправдывал изменение значений славянизмов, но даже и настаивал на этом. Он прямо призывал «давать старым [словам] некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи», причем специально предупреждал писателей, что делать это надо «столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения»²⁷; это высказывание, несомненно, относится и к славянизмам.

Итак, такие процессы, как заимствование, калькирование и т. п. — в принципе способствуют активизации церковнославянских элементов в русском языке (оживлению словообразовательных суффиксов, которые становятся продуктивными, активизации словообразовательных моделей, и т. п.) и в конечном счете славянизации литературного языка²⁸.

Вполне закономерно, в виду всего сказанного, что именно — и прежде всего — в ПЕРЕВОДНОЙ литературе наблюдается во второй пол. XVIII в. возрождение церковнославянского языкового наследия: переводы отличаются подчеркнуто славянизированным архаическим стилем²⁹. Не случайно Карамзин и Дмитриев, выделяя в своих ретроспективных обзорах русской литературы XVIII в. особый «славяно-русский» период письменности, имеют в виду как раз ПЕРЕВОДЫ (прежде всего Елагина, а также Фонвизина и их последователей)³⁰; в другом месте Карамзин, пародируя соответствующий стиль, иронически пишет о «моде, введенной в Руской слог „големыми претолковниками < . . . >, иже отрывают все, еже есть Руское, и блещают блаженне сиянием славяномудрия»³¹. Итак, архаизация слога, насыщение его церковнославянизмами приписывается именно переводчикам с западно-европейских языков; к этому, действительно, имеются достаточно веские основания. Характеризуя фонвизинский перевод романа (прозаической поэмы) Битобе «Иосиф», современный исследователь констатирует: «Если в языке существовали русские и церковнославянские синонимические пары, — в „Иосифе“ почти всегда безусловно господствуют славянизмы!»³². Из предисловия Фонвизина при этом видно, что использование церковнославянских языковых средств обусловлено не высоким содержанием произведения, а собственно стилистическими задачами: перевод с европейского языка предполагал «важность» слога³³. Даже сентименталист Стерна переводят в этот период «славяно-русским» языком, что совсем уже не соответствует ни содержанию оригинала, ни его стилистическим характеристикам³⁴. М. И. Попов в предисловии к своему переводу (с французского) «Освобожденного Иерусалима» специально обосновывал необходимость использования церковнославянских средств при переводах: он замечал, что «при переводе толь превосходнаго и труднаго творения, какова во своем роде есть Поема, непременно должны встретиться многия речения, коих на нашем языке или совсем нет, либо мы оных еще не знаем; потому что не рачим вникать во обширный и богатый Славенский Язык, который есть источник и красота Российскаго»; соответственно, при переводе поэмы Тассо он занимался «приискиванием в *Духовных книгах*, или в *Новопереведенных*, равносильных речений тем, каковыя попадалися < . . . > во Французском»³⁵. При этом перево-

димым оригиналам, как правило, был совершенно чужд тот архаический, высокий стиль, который наблюдается в соответствующих русских переводах, т. е. обилие церковнославянизмов и архаизмов в переводах обычно никак не определяется характером лексики переводимых текстов: поэтому русские переводы обычно выглядят намного более книжными, чем их европейские оригиналы³⁶. Следует иметь в виду, что европейские языки вообще не располагают таким обилием архаических элементов и языковых средств; переводчики хотели передать не специально архаический, но именно ЛИТЕРАТУРНЫЙ (в широком смысле) стиль переводимых текстов: они стремились избежать проникновения элементов разговорного языка (просторечия). В результате чужое (европейское) соответствовало специфически книжному.

В свою очередь, указанный процесс постепенно распространяется на оригинальную литературу³⁷ и стимулирует вообще словотворчество, продукцию нео-славянизмов и в конечном счете архаизацию литературного языка уже безотносительно к контакту с иностранными языками: поскольку западно-европейское культурное влияние расширяет жанровый диапазон, постольку переводные произведения играют как бы нормализующую роль в отношении литературного языка, т. е. сочинители оригинальных текстов в той или иной степени ориентируются на стиль переводных книг. И. И. Дмитриев имел все основания заметить, что «наши светские писатели просятя в духовные»³⁸. Соответственно, архаизированный язык переводной литературы оказывался у истоков новых тенденций в развитии литературного языка.

Таким образом, западноевропейское влияние объективно имело, может быть, не меньшее значение для «архаистов» (Шишкова, Боброва и т. п.), чем для «новаторов»-карамзинистов, хотя субъективно одни выступали как противники этого влияния, а другие — как его сторонники. Разница между обоими направлениями в действительности была обусловлена скорее различными путями, по которым осуществлялось данное влияние — книжным (через специально письменную традицию) или разговорным (через разговорную речь многоязычного дворянского общества); но об этом подробнее будет сказано ниже.

* * *

Итак, западноевропейское влияние в XVIII в. тесно связано с процессом легитимации русской (точнее сказать, не-церковнославянской) языковой стихии, отчетливо противопоставляющей себя

церковнославянскому языку. Следует при этом иметь в виду, что первоначально заимствованные формы закономерно относились в языковом сознании именно к русскому языку. Иначе говоря, европеизмы воспринимались в свете заданной уже альтернативы: «церковнославянское vs. русское»: соответственно, все, что не является церковнославянским, автоматически относилось к компетенции «русского» (в широком смысле) языка³⁹.

Можно сказать, таким образом, что при этом сохранялась перспектива церковнославянского языка, усвоенная еще при диглоссии и от нее унаследованная: именно церковнославянский язык служит точкой отсчета и выступает критерием в определении того, что есть русский язык⁴⁰. Границы церковнославянского языка строго определены, границы языка русского — расплывчаты и неопределенны; соответственно, русский язык можно получить путем вычитания церковнославянского из того «целого», которое определяет реально существующий корпус текстов. В какой-то степени указанному пониманию способствует еще и то обстоятельство, что заимствованные формы, так же как и макаронизмы, становятся присущи РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ (определенных слоев дворянского социума): «русское» может осмыслиться как «разговорное»⁴¹.

Уже Третьяковский отмечал, что одно из основных отличий между «славенским» (церковнославянским) и «славенороссийским» (русским литературным) языком состоит именно «в нововводных словах, воспринятых от чужих языков»⁴². Итак, «нововводные» иноязычные элементы и конструкции — иначе говоря, европеизмы, постольку, поскольку они осмысляются как таковые, — характеризуют именно русский гражданский (литературный) язык, отличая его от языка церковнославянского⁴³.

Соответственно, противопоставление «церковнославянской» и «русской» языковой стихии может восприниматься как противопоставление «своего» (исконного) и «чужого» (заимствованного). Изолированность церковнославянского языка от западноевропейского влияния заставляет воспринимать церковнославянскую традицию в качестве национальной традиции, т.е. осмыслять церковнославянско-русское двуязычие в плане противопоставления: «НАЦИОНАЛЬНОЕ — ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ» (resp.: «НАЦИОНАЛЬНОЕ — ЕВРОПЕЙСКОЕ», «ВОСТОЧНОЕ — ЗАПАДНОЕ»). Книжная церковнославянская норма из абсолютно значимой, какой она была при диглоссии, становится КУЛЬТУРНО значимой.

Именно поэтому борьба с иноязычным влиянием ведется с позиций церковнославянского языка; этому в большой степени способствует и функциональная соотнесенность церковнославянизмов и европеизмов, о чем подробно говорилось выше. Все вместе взятое объясняет повышение роли книжной церковнославянской языко-

вой стихии во второй пол. XVIII — XIX вв. При этом высокий (церковнославянский) слог воспринимается теперь не через призму собственно церковнославянской традиции, — а в перспективе русского разговорного языка. Отсюда следует искусственная архаизация литературного языка на псевдо-церковнославянский манер и, в конечном счете, дальнейшее размежевание церковнославянского (в собственном смысле) и русского литературного языков.

Представление о том, что русский литературный язык происходит из церковнославянского (обусловленное прежде всего пережитками диглоссии, но, вместе с тем, и отпочкованием высокого слога от церковнославянского языка), — обуславливает возможность объединения в языковом сознании церковнославянизмов и архаических русизмов. Начинаются знаменательные поиски «коренных российских слов» и вообще «коренного» — в иной терминологии «первообразного», «первобытного» — облика русского языка. (Ср. в этой связи упоминание Боброва о «коренном и собственном образе нашего слова», о «коренном основании языка» и т.п. в «Происшествии в царстве теней»⁴⁴ или о «коренном, матернем славенском языке» в предисловии к «Херсониде»⁴⁵).

Необходимо заметить, что уже Ломоносов намечал составление «Лексикона русских примитивов», т.е. «коренных» или «первообразных» слов: позднее в одном из счетов он писал, что «собрал лексикон первообразных слов российских» (сам лексикон при этом до нас не дошел)⁴⁶; ср. еще статью Сумарокова «О коренных словах русского языка» (1759 г.), представляющую собой как бы логическое продолжение непосредственно перед тем опубликованной статьи того же автора «О истреблении чужих слов из русского языка»⁴⁷; ближайшее отношение к данной проблематике имеют и этимологические разыскания Третьяковского. Но интерес к «коренным словам» и к «коренному облику» языка, вообще говоря, отнюдь не ограничивается этимологией в собственном смысле, охватывая буквально все, что относится к национальной культуре. Так, например, Капнист пишет (в 1790-х гг.) статью «о коренном российском стихосложении», Шишков призывает к чтению «коренных книг», и т.д. и т.п.⁴⁸. Слово *коренной* осмысляется прежде всего как «первичный», «исконный» (хотя спорадически может пониматься также и как «простой», «морфологически элементарный»).

Этот интерес к «коренным российским словам», более или менее спонтанно возникающий в сер. XVIII в., уже сам по себе достаточно характерен. Еще более знаменательно, однако, что на определенном этапе развития подлинные «российские» слова могут не только отыскиваться, но и сочиняться — в соответствии с субъективным представлением носителя языка о «коренном»

русском (resp.: славянском) языке⁴⁹. Непосредственным стимулом для подобного словотворчества является, опять-таки, столкновение с западноевропейской языковой стихией, обуславливающее стремление выразить автохтонными средствами понятия, пришедшие из европейских языков. Так, на одном из заседаний Российской Академии (16 декабря 1783 г.) было «определено сколько возможно избегать иностранных слов и стараться заменять их; или старинными словами, хотя бы они были и обветшалы, ибо в сем случае частое употребление удобно может паки приучить к оным; или словами, находящимися в языках, от славенского корня произшедших; или же вновь, по свойству славенороссийского языка, составленными»⁵⁰. Попутно заметим, что и здесь, по существу, может сказываться влияние немецкой языковой ситуации⁵¹, т. е. может усматриваться отражение немецкого языкового строительства⁵² — с тою, однако же, разницей, что на русской почве обращение к «коренным» словам так или иначе, прямо или косвенно, связано с обращением к церковнославянской языковой стихии.

В этих условиях представление носителя языка о «коренном», исконном облике языка — приобретает особую актуальность, непосредственно отражаясь на создаваемом или отбираемом языковом материале. Носитель языка (не исключая и самого законодателя стилистической нормы), естественно, исходит при этом не из каких-либо строгих или четко определенных критериев⁵³, а именно из творческого ощущения того, что соответствует, а что — не соответствует духу языка. Речь идет, по существу, о критерии ВКУСА (или языкового чутья), хотя этот критерий наполняется существенно различным содержанием в зависимости от общей культурно-языковой ориентации — например, у «архаистов», типа Боброва, и у «новаторов», типа Карамзина. Вполне закономерно поэтому, что Бобров в предисловии к «Херсониде» ратует за «точный национальный вкус»⁵⁴, критерий вкуса играет достаточно важную роль и в «Происшествии в царстве теней» Боброва⁵⁵.

В результате искусственной архаизации языка, обусловленной указанными выше процессами, в принципе возможной становится такая ситуация (ранее совершенно невероятная!), когда архаическое русское слово имеет специфический поэтический оттенок, а соответствующий церковнославянизм воспринимается как нейтральный (ср., например, в современном языке пары: *шлем — шелом, плен — полон, между — меж, совершать — свершать, собирать — сбирать* и т. п.⁵⁶). ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК СБЛИЖАЕТСЯ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМ ФОЛЬКЛОРНЫМ ЯЗЫКОМ И ОСМЫСЛЯЕТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ В НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ИЛИ ЖЕ ВООБЩЕ В ПЛА-

НЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ⁵⁷. Отсюда понятен, в частности, тот интерес к народной поэзии, который характерен, между прочим, и для рассматриваемого произведения Боброва⁵⁸. Этот интерес к РУССКОМУ ФОЛЬКЛОРУ и МИФОЛОГИИ с течением времени распространяется вообще на СЛАВЯНСКУЮ НАРОДНУЮ КУЛЬТУРУ.

Знаменательно, что прилагательное *славенский*, означавшее ранее «церковнославянский», начинает употребляться в значении «славянский», т. е. становится культурно-этническим термином⁵⁹; это проявилось, в частности, уже в «Славенских сказках» М. Д. Чулкова и в «Описании древнего славенского языческого баснословия» М. И. Попова⁶⁰. Такое употребление можно встретить уже у Ломоносова и Тредиаковского. Так, Ломоносов в «Примечании на предложение о множественном окончании прилагательных имен» (1746 г.) говорит о «славенско-малороссийском диалекте» (Сухомлинов, IV, с. 3); в рассуждении «О пользе книг церковных в Российском языке» (1757 г.) он говорит о «славенском народе» и «народах славенского поколения» (там же, с. 225, 229); Тредиаковский в «Трех рассуждениях о трех главнейших древностях российских» (1758 г.) говорит: «Российский язык есть один из словенских». Еще раньше *славенский* в значении «славянский» можно встретить в переведенной Тредиаковским книге «Военное состояние Оттоманския империи» (1737 г., с. 16).

Значение церковнославянского языка, т. е. языка церковных книг, теперь усматривается прежде всего в том, что это «славенский коренной язык», от которого происходят новые славянские языки⁶¹, иначе говоря, церковнославянский язык понимается как славянский праязык. Отсюда в принципе возможным становится восстанавливать этот «коренной славянский язык» в более полном виде, не только исходя из языка церковных книг, но и сопоставляя данные живых славянских языков с помощью своеобразных сравнительно-исторических методов⁶². В дальнейшем церковный язык может даже противопоставляться «коренному славянскому» или «коренному русскому» — причем эти выражения осмысляются как синонимичные. Так, Карамзин заявляет в 1803 г., что «Авторы или переводчики наших духовных книг образовали язык их совершенно по Греческому, наставили везде *предлогов*, растянули, соединили многия слова, и сею *тимическою операциею* изменили ПЕРВОВЫТНУЮ ЧИСТОТУ ДРЕВНЯГО СЛАВЯНСАГО»⁶³; точно также и Каченовский может противопоставлять «коренной славянский» язык «церковному», утверждая, что «нынешний церковный наш язык есть старинное Сербское наречие», а «древний коренный Славянский язык нам неизвестен»⁶⁴, а В. В. Капнист — считать, что именно русский, а не церковнославянский язык является «ко-

ренным или первоначальнейшим» славянским диалектом, в виду его «простоты и краткоправильности»⁶⁵. Ранее, конечно, подобное противопоставление было абсолютно невозможно⁶⁶.

В результате указанного переосмысления существенно расширяется сфера действия церковнославянской языковой стихии, которая связывается теперь не непосредственно с религиозным (церковным) началом, но прежде всего с национальной культурой⁶⁷ или вообще с определенной культурной традицией. В частности, если в свое время церковнославянский язык обслуживал ту область, которая была прямо противоположна язычеству, то теперь церковнославянская языковая стихия может ассоциироваться, между прочим, и с языческой мифологией — славянской, так же как и античной⁶⁸. Очень характерно в этом смысле, что Бобровский Боян, который должен, видимо, олицетворять в «Проществе в царстве теней» славянское языческое начало, может говорить не только с церковнославянизмами, но даже и с библеизмами (например, «Я не уповаю, чтобы Ломоносов как истинный судья, услыша столь странное Галлобесие, поставил его одесную» или: «Первенствуй во веки между нами и суди праведно...»)⁶⁹. Попутно следует заметить, что Боян называется у Боброва «Скандинавским Бардом», т. е. считается варягом; таким образом, «славянская» традиция ассоциируется у Боброва — как и у других «архаистов» этого периода — прежде всего с культурным, а не с чисто этническим началом. Именно поэтому «славенороссы» могли называться своими литературными противниками *варягороссами*⁷⁰. Не менее характерно, что обе полемизирующие стороны могут называть друг друга *вельжами*⁷¹.

* * *

Итак, во второй пол. XVIII — нач. XIX в. ключевая для истории русского литературного языка оппозиция «церковнославянское — русское» превращается в противопоставление «РУССКОЕ — ЕВРОПЕЙСКОЕ». Генетическая связь того и другого противопоставления представляется в общем достаточно очевидной (см. выше). При этом под разными углами зрения — в зависимости от той или иной культурно-языковой ориентации — это последнее противопоставление может, в свою очередь, осмысляться либо как «НАЦИОНАЛЬНОЕ — ИНОСТРАННОЕ», либо как «ЦИВИЛИЗОВАННОЕ (КУЛЬТУРНОЕ) — ПЕРВОБЫТНОЕ (НЕВЕЖЕСТВЕННОЕ)».

Вместе с тем, происходит поляризация понятий, и данное противопоставление может пониматься как антитеза: «СЛАВЯНСКОЕ — ФРАНЦУЗСКОЕ»⁷². Эта поляризация понятий чрезвычайно характерна для культурно-языковой полемики конца XVIII — нач.

XIX в. Она очень ярко выражена, например, у Батюшкова в «Певце в “Беседе любителей русского слова”» (1813 г.):

Наш каждый писарь, — Славянин,
Галиматьею дышет,
Бежит предатель сих дружин,
И галлицизмы пишет!⁷³

Возможны вообще как бы только две позиции — «славяно-руская» или «галлорусская»: *tertium non datur*. Тот, кто не употребляет славянизмы, — «галлицизмы пишет»; и те и другие выполняют, таким образом, в общем адекватную функцию.

Точно так же Шишков может называть язык карамзинистов *французско-русским*; это название, конечно, образовано по аналогии с прилагательным *славянорусский*⁷⁴. Совершенно аналогично, наконец, и название *Галлорусс* в рассматриваемой сатире Боброва явно образовано по той же модели, что и *Славеноросс*⁷⁵. Слово *галлорусс* при этом отнюдь не должно пониматься в буквальном смысле и связываться исключительно с французским влиянием: позиция галлорусса символизирует вообще ориентированность на западную — или даже шире — на чужую, не славяно-русскую культуру⁷⁶. Это отождествление французской и европейской культуры характерно главным образом для полемически настроенных «славянофилов» (Шишкова, Боброва и их окружения), но может иметь принципиальный смысл и для самих западников-карамзинистов. П. А. Вяземский специально подчеркивал это тождество; в статье об И. И. Дмитриеве 1823 г. он писал: «Сие раскрытие, сии применения к нему [русскому литературному языку. — Ю. Л., Б. У.] понятий новых, сии вводимые обороты называли галлицизмами, и может быть не без справедливости, если слово *галлицизм* принять в смысле *европеизма*, т. е. если принять язык Французский за язык, который преимущественнее может быть представителем общей образованности Европейской»⁷⁷.

Соответственно, борьба против иноязычного влияния на определенном этапе фактически сводится к борьбе с галлицизмами. Так и в памфлете Боброва весь пафос протеста против иноязычной стихии направлен, по существу, не против заимствований, как таковых, но именно против галлицизмов. Ярким примером может служить слово *женн*, которое противостоит в качестве типичного «галлорусского» слову *генн*, выступающему как нейтральное⁷⁸. В других случаях европеизмы осмысляются как чужеродные элементы лишь тогда, когда они меняют свое значение под влиянием французского языка (в «щегольском наречии» или же в языке «нового слога»), т. е., выражаясь языком Вяземского, выступают как «галлицизмы понятий». Так, слова *интересный*,

автор, литература, представляющие собой заимствования более ранней эпохи и уже в общем освоенные русским языком, могут вызывать протест в «Происшествии в царстве теней» именно постольку, поскольку они употребляются в новом значении — в соответствии с их французскими эквивалентами⁷⁹. Итак, защита национальных форм выражения сводится у Боброва главным образом к борьбе с галлицизмами, причем как с галлицизмами формальными (такими, как *жени, этикет, эложь* и т. п.), так и с галлицизмами семантическими, т. е. «галлицизмами понятий» (такими, например, как *интересный, автор, литература*). Галлицизмы как бы олицетворяют в глазах Боброва все чужеродное. Между тем, заимствования, например, петровского времени или более ранней эпохи (такие, как *монополия, гений, гармония*⁸⁰ и др.) обычно принимаются как нейтральные и в общем могут оставаться без внимания.

Но очень характерно, что и в борьбе с галлицизмами Бобров не обнаруживает, вообще говоря, абсолютной последовательности. В самом деле, даже в языке «резонеров» Бояна и Ломоносова, которые призваны демонстрировать в «Происшествии в царстве теней» наиболее правильный и чистый язык, можно обнаружить ряд галлицизмов. Так, например, Боян у Боброва употребляет слово *вкус* в значении фр. *goût, очаровательный* — в значении фр. *charmant, блистательный* — в значении фр. *brillant*, восклицает *небо!* в соответствии с фр. *o ciel!*⁸¹; точно так же употребление слов *прогательный, блистательный, блистательность, приятный, приятность, прелесть* в устах бобровского Ломоносова может в конечном итоге отражать значение фр. *touchant, brillant, élégant, élégance, charme*⁸². Таким образом, даже и галлицизмы вызывают реакцию совсем не во всех случаях; понятие галлицизма, — а, следовательно, и вообще европеизма, — осмысливается главным образом через полемику с языком «нового слога» или салонного разговора (а не непосредственно через сопоставление с лексикой соответствующих европейских языков). Галлицизмом (resp.: европеизмом) является прежде всего то, что характерно для «галлорусского наречия».

Надо полагать, что определенное значение здесь имел характер проникновения соответствующего слова в русский язык. Несомненно, книжные заимствования, усвоенные через письменную традицию, не вызвали столь резкой реакции, как устные заимствования, характерные для салонной речи (что касается языка «нового слога», то он принципиально опирался не на письменную традицию, а на разговорную речь)⁸³. С другой стороны, заимствования непосредственно из французского, по-видимому, вызвали более сильную оппозицию, чем галлицизмы, пришедшие, например, через посредничество немецкого языка⁸⁴ (если толь-

ко это посредничество не осуществлялось через язык немецких «модников»-петиметров). Понятно, что устные заимствования непосредственно из французского языка должны были характеризовать прежде всего салонную речь дворянской элиты, т. е. «галлорусское наречие». Галлицизмы (как и вообще европеизмы) и осмыслиются Бобровым именно через призму «галлорусского наречия».

Можно сказать, таким образом, что понятие галлицизма — и вообще заимствования — имеет у Боброва скорее полемический, чем непосредственно терминологический смысл. Иначе говоря, понятие галлицизма наполняется актуальным — для данной эпохи и соответствующей идеологической установки — содержанием, неизбежно отличающимся от галлицизма в собственном смысле.

Произведение Боброва отнюдь не составляет в этом отношении исключения в ряду других произведений этого времени, содержащих пуристический протест против иноязычного влияния. Точно так же, например, целый ряд европеизмов, в том числе и галлицизмов, может быть обнаружен и в произведениях Шишкова⁸⁵. П. И. Макаров мог с полным основанием заявить, что «Антагонисты новой школы, которые без *дондеже* и *блягу* не могут жить, как рыба без воды, охотно позволяют галлицизмы, германизмы, барбаризмы, что угодно»⁸⁶, а Жуковский говорил о Шишкове, что тот «вопьял против галлицизмов фразами, которые были наполнены ими»⁸⁷. Практическая неизбежность заимствований была совершенно очевидна, между прочим, для Я. Галинковского, который писал в примечании к своему роману «Глафира, или Прекрасная валдайка, новой народной Русской роман»: «Я старался по возможности избегать иностранных слов, введенных по большей части между людьми воспитанными, и таких именно, без которых мы никогда не обходимся в наших разговорах. Сочиняя роман, я хотел думать по Руски; и естли вкрадутся сюда неисправныя речения, не руския, то сие верно произойдет по неволе, или по закоренелой привычке нашей к французскому языку. Это общее наше несчастье (как писателей, так и всех вообще), что мы вырастаем на руках у Французов; учимся по их книгам, говорим одним их языком, наполняем свои библиотеки одними Французскими книгами, и наконец, чрез беспрестанное знакомство наше с Французским языком так привыкаем к *галлицизмам*, так часто переводим их мысли, их обороты, что по неволе иногда делаем ошибки в Руском»⁸⁸.

Мы можем заключить, что «галлорусское наречие» в широком смысле и, в частности, «новый слог» оказали уже заметное влияние на русский литературный язык — влияние, которого не смогли избежать его противники. Поэтому протест против карамзинистской и вообще «галлорусской» литературы, субъективно осмысля-

ьясь в плане альтернативы «славянское — французское», — на самом деле ведется в перспективе уже изменившегося русского литературного языка. Соответственно, противников «нового слога» нередко можно уличить в карамзинистской («галлорусской») лексике и фразеологии.

Но точно так же и славянофилы оказывают несомненное влияние на развитие литературного языка, и это влияние в конечном счете сказывается и на языке их литературных противников. Подобно тому как славянофилов можно уличить в галлицизмах, западников, напротив, нетрудно поймать на славянизмах. Действительно, в языке карамзинистской литературы, в том числе и у самого Карамзина (на всех этапах его творчества), можно обнаружить в общем достаточно представительный слой славянизмов⁸⁹, явно диссонирующих с хорошо известными программными протестами карамзинистов (например, самого Карамзина, Макарова, Батюшкова и т. п.) против церковнославянской языковой стихии.

В итоге понятие заимствования на каждом этапе наполняется различным содержанием — так же как и противостоящее ему понятие славянизма⁹⁰. Борьба «старого» и «нового» слога отражает их динамическое взаимодействие.

Итак, декларативные заявления полемизирующих сторон — «славянофилов» и «галлоруссов» — лишь очень приблизительно отражают действительное положение вещей. А. Ф. Воейков в рецензии на сочинение Е. Станевича очень точно писал об архаизмах типа *колико, наипаче, поелику, купно*: «сии слова в Русской литературе то же, что орлы, драконы, лилии, изображаемая на знаменах войск; они показывают, к какой стороне принадлежит автор»⁹¹. Совершенно то же самое может быть сказано и об определенных галлицизмах (типа *жени* и т. п.). Действительно, языковая полемика протекала именно под знаменем борьбы «славянской» и «галлорусской» языковой стихии. Когда В. Л. Пушкин пишет, например, в послании «К В. А. Жуковскому» 1810 г.

Не ставлю я нигде ни *семо*, ни *овамо*

или в послании «К Д. В. Дашкову» 1811 г.:

Свободно я могу и мыслить и дышать

И даже *абие* и *аце* не писать,

то это, в сущности, имеет символический характер, так сказать, боевого вызова, т. к. как раз эти слова не встречаются, в общем, и у его литературных противников: это ни что иное как слова-символы или, если угодно, слова-жупелы. Вместе с тем, у карамзинистов столь же легко найти церковнославянизмы, сколько у беседчиков — галлицизмы.

В результате самый факт борьбы в значительной степени отодвигает на второй план ее исходные причины и конкретное содержание. Позиции спорящих сторон меняются, но их антагонизм остается⁹².

Можно сказать, вообще, что на каждом этапе эволюции литературного языка, обусловленной исходным дуализмом языковых стихий, т. е. восходящей в конечном счете к антитезе «книжной» и «некнижной» (resp.: «церковнославянской» — «русской» и т. п.) стихий и связанной с периодической переориентацией то на один, то на другой полюс, — объективно всякий раз представлена ПРИВАТИВНАЯ оппозиция, т. е. противопоставление типа «церковнославянское — нецерковнославянское», «русское — нерусское», «культурное — некультурное», «национальное — ненациональное» и т. д. и т. п. Однако в языковом сознании эта оппозиция неизбежно конкретизируется (наполняется актуальным содержанием) и субъективно осмысливается как ЭКВИПОЛЕНТНАЯ, т. е. как противопоставление полярно противоположных понятий типа «славенское — французское».

То, что с одной позиции (позиции карамзинистов) осмысливается вообще как европейское и связывается с понятиями культуры и цивилизации — с противоположной точки зрения воспринимается именно как французское. И наоборот: то, что в перспективе «архаистов» самоосознается как «славянское», «исконное», «национальное» и т. п., в другой перспективе может осмысливаться как «искусственное», «грубое» и т. д. В полемическом отталкивании борьба «старого» и «нового» слога может представать как борьба «ахиней» и «галиматый»⁹³.

Сказанное можно выразить и иначе: противопоставление языковых стихий, осмысляясь как (эквиполентная) оппозиция полярно противоположных понятий, — объективно обуславливает не столько позитивные, сколько негативные тенденции; не столько притяжение к тому полюсу, на который ориентируется соответствующая языковая позиция, сколько отталкивание от противоположного полюса. Иначе говоря, независимо от субъективного самоосмысления, «архаисты» в действительности не столько стремятся восстановить в своих правах церковнославянскую языковую стихию, сколько освободить язык от всего того, что воспринимается ими как привносное, «французское»⁹⁴, столь же полемична в общем и установка противоположной группировки. В свете антитезы «славянорусское — галлорусское», позиция галлорусса — это прежде всего позиция не-славеноросса, а позиция славеноросса, в свою очередь, — это прежде всего позиция не-галлорусса: обе позиции негативно (полемически) ориентированы одна на другую⁹⁵.

Каждая сторона фактически осмысляет себя, конституируя

свои позиции, через противоположный языковой полюс. Это осмысление практически опирается на конкретный языковой опыт — опыт собственно русской речи, а не французской или церковнославянской, — в гораздо большей степени, чем на какие-либо теоретические предпосылки. Так, понятие галлицизма осмысливается славянофилами через призму «галлорусского наречия» (а не через соотнесение соответствующих лексем или фразеологизмов непосредственно с французским языком) — и точно так же противоположная группировка осмысливает понятие славянизма через призму архаизированного «славяно-русского» языка, т. е. языка «старого слога» (но не непосредственно через церковнославянский язык). В результате обе позиции оказываются зависимыми друг от друга, и понятия галлицизма и славянизма претерпевают эволюцию в соответствии с динамическим взаимодействием «славяно-русского» и «галлорусского» языка.

Именно поэтому для речи Галлорусса в сатире Боброва характерны отнюдь не одни только галлицизмы, но и полонизмы⁹⁶ и, вместе с тем, определенные вульгаризмы⁹⁷: и те, и другие, и третьи выделены (подчеркнуты) автором как отклонения от норм правильной речи и в общем почти что на равных правах выступают как признаки языковой позиции Галлорусса. Дело в том, что все эти выражения характерны для «галлорусского наречия», т. е. для салонной «шегольской речи», и, соответственно, воспринимаются если и не как галлицизмы, то во всяком случае как «галлорусизмы». Понятие галлицизма и сводится, по существу, к «галлорусизму» — подобно тому как понятие славянизма может сводиться к «славянорусизму».

Подобно тому как отталкивание от церковнославянской языковой стихии способствует проникновению заимствований и консолидации русских и европейских элементов, точно так же и отстранение от западноевропейского влияния способствует консолидации церковнославянской и русской национальной стихии, объединения их в одну стилистическую систему⁹⁸. Обе тенденции, таким образом, оказываются очень значимыми для судьбы русского литературного языка, в котором им и суждено было оставить глубокий след.

* * *

Итак, самая консолидация русской и церковнославянской стихии — ранее антитестически противопоставленных в языковом сознании — обязана в конечном счете западноевропейскому языковому влиянию. Если на определенном этапе эволюции русского литературного языка заимствования объединяются носителем языка с

русизмами по признаку их противопоставленности книжному церковнославянскому языку, то в дальнейшем церковнославянизмы и русизмы объединяются в антагонистическом противопоставлении западноевропейской языковой стихии.

Можно сказать, что в первом случае представлена перспектива церковнославянского языка, который и выступает в качестве точки отсчета и, соответственно, имеет место противопоставление по признаку: «КНИЖНОЕ — НЕКНИЖНОЕ»; между тем, во втором случае представлена перспектива западноевропейской языковой стихии и имеет место противопоставление по признаку: «СВОЕ — ЧУЖОЕ». Подобно тому как с позиции книжного церковнославянского языка все, что не церковнославянское, — то «русское» (с естественным включением в эту общую категорию также заимствований и калек), точно так же с противоположной позиции все, что не может быть квалифицировано как «европейское», заимствованное, — то «славянское». Следствием этого является объединение церковнославянского языка с народным русским языком в языковом сознании — по существу, включение церковнославянского в русский национальный язык⁹⁹.

Характерны слова А. С. Кайсарова: «Мы рассуждаем по-немецки, мы шутим по-французски, а по-русски только молимся Богу или браним наших служителей»¹⁰⁰; итак, язык церковной службы и разговора со слугами для Кайсарова один и тот же — «русский». Не менее показательны протесты Шишкова против того, что в отчетах Библейского Общества тексты Св. Писания на русском языке именуются «переводом на природный Русский язык, словно, как бы тот [церковнославянский. — Ю. Л., Б. У.] был для нас чужой; отседе, — заключает Шишков, — презрение к коренным, самым знаменательнейшим, словам, отседе несвойственность многих выражений, отседе неразумение сильного краткого слога и введение, на место оно, почерпнутой из чужих языков безтолковицы»¹⁰¹. Сам Шишков говорит о «славянском, также называемом российском языке»¹⁰².

Между тем, литературные противники Шишкова, наоборот, почитают церковнославянский язык — чужим, а заимствованные слова, поскольку они вошли в употребление русского общества, считают принадлежащими к русскому языку. Так, для П. И. Макарова церковнославянский язык — это «особливый язык книжной, которому надобно учиться как чужестранному»¹⁰³. Соответственно в программном арзамасском памфлете Д. Н. Блудова встречаем следующий иронический призыв к Шаховскому: «И хвали ироев русских, и усыпи их своими хвалами, и тверди о славе России, и будь для русской сцены бесславием, и русский язык прославляй стихами не русскими!»¹⁰⁴. То же имеет в виду и

А. Бестужев-Марлинский, когда говорит, что Карамзин «отбросил чуждую пестроту в словах, в словосочетании, и дал ему [русскому литературному языку. — Ю. Л., Б. У.] народное лицо»¹⁰⁵. Ср. также противопоставление «славянского» и «русского» у Пушкина в письме к Вяземскому от 27 марта 1816 г.:

И над Славенскими глупцами
Смеется рускими стихами.

Можно сказать, таким образом, что противопоставление по признаку «свое — чужое» может объединять обе полемизирующие партии, т. е. «славянофилов» и «западников» при том, что конкретная интерпретация данного противопоставления оказывается у них прямо противоположной¹⁰⁶. Соответственно, каждая партия может претендовать на роль очистителей языка¹⁰⁷.

Чрезвычайно показательно, наконец, в том же плане — т. е. в плане консолидации церковнославянской и русской языковой стихии — и очень характерное для второй пол. XVIII — нач. XIX вв. сближение в языковом сознании церковнославянского языка и делового «приказного» языка: оба языка объединяются по признаку архаичности, и борьба с церковнославянизмами может вестись под знаком борьбы с «подьяческим языком» (так, у Карамзина, но отчасти уже у Сумарокова)¹⁰⁸. Ведь еще не так давно деловой («приказной») язык воспринимался как нечто прямо противоположное языку церковнославянскому: не далее как полвека назад Петр специально предписывал Федору Поликарпову вместо «высоких слов словенских» употреблять «посольского приказу слова»¹⁰⁹.

Симптоматично, в свете сказанного, что к церковнославянизмам и к специфическим русизмам с известного момента могут прилагаться совершенно одинаковые оценочные характеристики, что красноречиво свидетельствует о возможности объединения обеих языковых стихий в языковом сознании. Так, с позиции представителей европеизированного языка как церковнославянизмы, так и элементы народной речи могут характеризоваться эпитетом *грубый*¹¹⁰ — в противоположность *приятному* слогу новой (например, карамзинистской) литературы. Антитеза «грубого» и «приятного» применительно к противопоставлению языковых стихий, столь характерная для карамзинизма¹¹¹, непосредственно восходит при этом к выполняющей аналогичную функцию оппозиции «жест(о)кий — нежный», которая появляется с 30-х гг. XVIII в. (впервые — у Адогурова и Третьяковского) и с тех пор прочно входит в сознание носителя языка¹¹².

Первоначально церковнославянские формы характеризуются как *жест(о)кие*, а противопоставленные им русские — как *нежные* (достаточно напомнить хорошо известное признание Третья-

аковского в предисловии к «Езде в остров любви»: «Язык славенской ныне ЖЕСТОК моим ушам слышится», дословно соответствующее свидетельству Адогурова, что «ныне всякий славянизм <...> изгоняется из русского языка и ЖЕСТОК современным ушам слышится»¹¹³). Подобное словоупотребление, вообще говоря, еще вполне актуально и в первой четверти XIX в., особенно в кругу карамзинистов¹¹⁴. Так, между прочим, и Макаров называет архаический славянизированный слог Шишкова ЖЕСТКИМ, причем подчеркивает, что употребляет этот эпитет не в пейоративном, а как бы в терминологическом значении¹¹⁵.

Вместе с тем, уже у Сумарокова появляется противопоставление «грубый — приятный»¹¹⁶, причем на первых порах это противопоставление соответствует более раннему противопоставлению «жест(о)кий — нежный», т. е. церковнославянизмы расцениваются как *грубые*, а соответствующие русизмы — как *приятные*. «<...> Я употреблению с таким же следую рачением как и правилам: — пишет Сумароков, отвечая на критику Третьяковского, — правильные слова делают чистоту, а употребительные слова из склада грубость выгоняют, например: Я люблю сего, а ты любишь другога, есть правильно; но ГРУВО. Я люблю стова, а ты другова. — От употребления и от изгнания трех слогов го и гаго слышится ПРИЯТНЯЕ»¹¹⁷. Итак, ЖЕСТКИЕ, ГРУБЫЕ правила противопоставляются ПРИЯТНОМУ, НЕЖНОМУ употреблению — а, соответственно, и ГРУБЫЙ, ЖЕСТКИЙ слог противостоит ПРИЯТНОМУ, НЕЖНОМУ. При этом у самого Сумарокова можно встретить как то, так и другое словоупотребление, т. е. соответствующие пары (*жесткий — нежный* и *грубый — приятный*) выступают как синонимичные¹¹⁸. Однако, уже сам прецедент подобной замены весьма значим, поскольку эпитет *грубый* в принципе может относиться и к «подлому» (народному) языку¹¹⁹. Можно сказать, таким образом, что замена эпитета *жест(о)кий* на *грубый* свидетельствует о возможности объединения (в перспективе нового — социально окрашенного¹²⁰ — языка) церковнославянского и «подлого» (диалектного, фольклорного и т. п.) языка¹²¹. Действительно, с течением времени эпитет *грубый* может распространяться на русский национальный язык в широком смысле (что прямо связано с переосмыслением термина *славенский* и национально-этническом ключе, о чем см. выше)¹²². (Отсюда, в свою очередь, и характеристики *жест(о)кий* и *нежный* подчиняются этому новому распределению, продолжая оставаться синонимами по отношению к эпитетам *грубый* и *приятный*.) Одновременно *грубый вкус* выступает в противопоставлении к *нежному* (или *тонкому*) *вкусу*¹²³, причем сочетание *нежный вкус* может рассматриваться как прямая калька с фр. un goût délicat (ср. un goût fin)¹²⁴.

Во второй пол. XVIII в. подобные оценки очень характерны для представителей «щегольской» культуры (петиметров). Ср., например, в комедии Княжнина «Чудаки» противопоставление «преглубокого нашего языка» — «прелестному» французскому языку в устах щеголихи Лентягиной¹²⁵. Точно так же в «Сатире на употребляющих французские слова в русских разговорах» Баркова говорится, что петиметрам-галломанам

Природный свой язык неважен и невкусен;
ГРУБ всяк им кажется в речах и неискусен,
Кто точно мысль свою изображает так,
Чтоб общества в словах народного был смак;

в свою очередь петиметры «показать в речах ПРИЯТНЫЙ вкус хотят»,

Но не пленяется приятностью сей слух,
На нежность слов таких весьма разумный глух¹²⁶.

Ср. у М. Д. Чулкова: «Должен я извиниться в том, что в таком простом слогомоево сочинения есть несколько чужих слов. Оные клал я иногда для лучшего приятства слуху*, иногда для того, что мне они надобны были; или для того, чтоб над другими посмеяться, или для той причины, чтобы посмеялся тем [sic!] над мною»¹²⁷. По сообщению новиковского «Живописца» молодые дворяне в Полтаве «иначе не разговаривали, как новым петербургским щегольским наречием и притом пришепывали и картавили, говоря, ТАК, ДЕ, НЕЖНЕЕ»¹²⁸.

Итак, — в соответствии с тем, что было сказано выше, — если на первом этапе сохраняется перспектива церковнославянского языка, который и служит точкой отсчета (церковнославянский — «жесток», все, что не является церковнославянским — «нежно»), то затем усваивается перспектива «галлорусского» или вообще европеизированного языка, который объявляется «приятным», тогда как все остальное может расцениваться как «грубое»¹²⁹.

Именно в подобном значении и усваивают затем соответствующие эпитеты карамзинисты (что легко объяснимо ввиду генетической связи карамзинизма с «щегольским наречием», о которой будет сказано ниже)¹³⁰.

Вполне закономерно поэтому, что язык Бояна представляется бобровскому Галлоруссу «диким и как бы грубым телом мыслей»¹³¹. Употребление эпитета *грубый* здесь имеет не только оценочный, но почти терминологический смысл.

* * *

Отсюда, между прочим, открывается возможность РОМАНТИЗАЦИИ как церковнославянского, так и русского национального языка¹³². Ведь само слово *romantic* (появившееся в английском языке в сер. XVII в.) первоначально означало «дикий», «невероятный»¹³³ и относилось к описанию природы. (Позднее оно ассоциируется со средневековьем, что также не противоречит представлению о церковнославянской культурной среде¹³⁴.)

В условиях отчетливого противопоставления Природы и Культуры и явного предпочтения Природы как органического, исходного начала — как это характерно, например, для Боброва и других «архаистов»¹³⁵ — вполне закономерным является предпочтение естественного «грубого» языка цивилизованному «нежному» или «приятному».

Можно сказать, что оппозиция «природа — культура» может переосмысляться постольку, поскольку она распространяется на интерпретацию языковой эволюции. В свое время (в ситуации церковнославянского-русской диглоссии) церковнославянский язык ассоциировался с КУЛЬТУРНЫМ влиянием, т. е. с христианской (а иногда даже и непосредственно с византийской) культурой, тогда как ненормированный русский язык мог пониматься как своего рода первобытный хаос, источник, так сказать, лингвистической энтропии (ср. характерное для средневековья представление о языковой эволюции как о порче правильного — нормированного — языка в процессе употребления); то обстоятельство, что материнским языком (*Muttersprache, langue maternelle*) является «неправильный» русский язык, а не «правильный», сакральный язык церковнославянский, видимо, могло связываться средневековым носителем языка с первородным грехом.

В XVIII в. под влиянием западных идей происходит переоценка ценностей и положительным полюсом становится Природа, а не Культура. С одной стороны, это может определять ценность русской языковой стихии в глазах носителя языка, обуславливая в процессе разрушения церковнославянского-русской диглоссии апелляцию к «общему употреблению» (как к естественному, природному началу) и появление литературных текстов на живом языке. С другой же стороны, положительная характеристика может сохраняться как атрибут церковнославянского языка (и вообще церковнославянской языковой стихии), но в этом случае его достоинство усматривается теперь в том, что он является предком современного русского языка, т. е. представляет собой «первобытный», «коренной» язык. Понятие культуры связывается на этом этапе исключительно с влиянием западной цивилизации, и отсюда

церковнославянская языковая стихия закономерно ассоциируется с Природой, а не Культурой.

Итак, «грубость и простота» языка становятся романтическими характеристиками — в противоположность манерности, жеманности, изнеженности¹³⁶. Ср. цитировавшиеся уже слова Рылеева о том, что русские — это «изнеженное племя переродившихся славян»; слово *изнеженный* при этом может пониматься не только в обычном своем словарном значении, но также и в специальном лингвистическом смысле. С другой стороны, например, Катенин выступает против авторитета Горация (очень ценимого карамзинистами), поскольку видит в нем «какое-то светское педанство, самодовольное пренебрежение к грубой старине»¹³⁷.

Вместе с тем, эпитет *нежный* соотносит «переродившийся» русский язык с «нежным полом». Характерно, например, что Третьяковский может говорить о «нежном дамском выговоре», — при том что эпитет *нежный*, как уже говорилось, регулярно относится у Третьяковского к явлениям собственно русского языка, отличающим его от церковнославянского, ср. совершенно одинаковые оценочные характеристики в его «Разговоре об орфографии» 1748 г.: «нежный дамский выговор» и «нежнейший московский выговор»¹³⁸. Аналогично и анонимный автор статьи «О Московском наречии» (1763 г.) говорит как вообще о «НЕЖНОСТИ женскаго пола», так, в частности, и о том, что «прекрасному полу <...> и НЕЖНОСТЬ ЯЗЫКА свойственнее», причем именно влиянием женского разговора объясняется «нежность» московского наречия (например, аканья и т. п.)¹³⁹. Не менее знаменательны, с другой стороны, протесты против языка женщин в журналах Н. И. Новикова: женщины рассматриваются здесь как виновницы порчи языка.

Следует иметь в виду, в этой связи, что в условиях церковнославянско-русской диглоссии именно мужчины являлись преимущественными носителями книжного (церковнославянского) языка, тогда как речь женщин была относительно свободна от церковнославянского влияния: естественно, что в условиях борьбы с церковнославянской языковой стихией женская речь должна ассоциироваться с противоположным полюсом.

Между тем, соотношение «нежного языка» и «нежного пола» составляет соответствующим образом воспринимать как травестированное поведение петиметров¹⁴⁰, так и ориентацию карамзинистов на язык и вкус светской дамы¹⁴¹ и вообще характерную для карамзинизма феминизацию литературы¹⁴². Под определенным углом зрения противопоставление русской и церковнославянской языковой стихии даже может выступать как противопоставление «ЖЕНСКОГО» слога — «ПОДЪЯЧЕСКОМУ»¹⁴³. Ср. характерный упрек издателю «Трутня» от лица сочинительницы-щеголихи: «из женс-

кава слога сделал ты подьяческой, наставил ни к чему: *обаце, иначе, дондеже, паче*»¹⁴⁴. Почти с тех же позиций Батюшков позднее советует Гнедичу (в письме от 19 сентября 1809 г.): «Излишний славянизм не нужен, а тебе будет и пагубен. Стихи твои <...> будут читать женщины, а сними худо говорить непонятным языком»¹⁴⁵, а Макаров «для соглашения книжного нашего языка с языком хорошаго общества» призывает к тому, чтобы «Женщины занимались Литературою»¹⁴⁶; при этом дамская речь отличалась своим откровенно макароническим, «галлорусским», характером (ср. известный отзыв Пушкина в письме к брату от 24 января 1822 г. о «полу-русском, полу-французском» языке «московских кузин»¹⁴⁷). Надо сказать вообще, что эпитет *грубый*, применительно к характеристике русского национального языка, непосредственно соответствует фразеологической и идеологической позиции светской дамы. См., например, замечание Карамзина, что «светские женщины не имеют терпения слушать или читать» русских писателей, «находя, что так не говорят люди со вкусом»; если же спросить у них: «как же говорить должно? то всякая из них отвечает: не знаю, но это ГРУБО, несносно»¹⁴⁸. В другом месте Карамзин говорит: «Оставим нашим любезным светским дамам утверждать, что Русской язык ГРУБ и НЕ ПРИЯТЕН»¹⁴⁹. Отвечая Карамзину на первую из цитированных сейчас статей, Шишков пишет в своем «Рассуждении о старом и новом слоге...»: «Милыя дамы, или по нашему ГРУБОМУ языку *женщины, барыни, барышницы*, редко бывают сочинительницами, и так пусть их говорят, как хотят»¹⁵⁰. Впечатление такое, что славянофилы как бы полемически принимают обвинение в «грубости», которое им бросают их противники-карамзинисты. При этом позиция «архаистов» в данном случае очень близка к штюрмерской идеологии: критерию изящества и дамского вкуса противостоит критерий силы и энергии, как это характерно для штюрмерства; соответственно, антитеза «галлорусского» и «славенорусского» языка может выступать и как антитеза салонного языка и языка «бурного гения»¹⁵¹.

Одновременно «нежный» русский язык ассоциируется с «нежным вкусом» и «нежными чувствами» и, соответственно, с лирическим и т. п. жанром¹⁵²; так устанавливается корреляция между языком и жанром и вообще между выражением и содержанием. Ср. у Н. А. Львова:

Он чувства НЕЖНЫЕ родит,
ЖЕСТОКИ умягчает страсти¹⁵³ —

показательно, что эмоции характеризуются теми же эпитетами, что церковнославянский и русский языки. Эта связь между язы-

ком и чувством явственно выражена и в упоминавшихся уже стихах А. П. Брежинского 1802 г.:

От славенщизны удалился
И нежностью не прослезился;¹⁵⁴

слово *нежность* относится здесь к языку, обозначая, вместе со *славенщизной*, противопоставленные друг другу языковые полюсы, но «нежный» язык как бы необходимо предполагает и «нежные» чувства¹⁵⁵. Между тем, могут быть и такие случаи употребления соответствующих эпитетов, где принципиально невозможно вообще провести различие между характеристикой плана выражения и плана содержания, как, например, в следующей фразе Сумарокова: «Прилично ли положить в рот девице семнадцати лет, когда она в крайней с любовником разговаривает страсти, между НЕЖНЫХ СЛОВ *паки?*»¹⁵⁶; совершенно очевидно, что слово *нежный* органически объединяет в данном случае значения, относящиеся к языку и к чувству — к выражению и к содержанию. Отсюда вполне закономерны рекомендации В. С. Подшивалова: «Хороший стилист употребляет слова по различию: НЕЖНАЯ, когда говорит о материях НЕЖНЫХ, и ЖЕСТКАЯ, когда говорит о войне, о кровопролитии <... > и тому подобное, на пр. *как визрь в ярости своей рвет из корня дерева, и безобразит лице земли: тако рука гневливаго распространяет окрест себя опустошение и гибель*»¹⁵⁷ (эпитеты *жесткий* и *нежный* употребляются у Подшивалова параллельно с синонимичными эпитетами *грубый* и *приятный* — в одинаковых с ними значениях).

Тем самым, противопоставление «грубого, жесткого» языка — языку «приятному, нежному» может соответствовать по своему семантическому наполнению как оппозиции «ЕСТЕСТВЕННОЕ, ПРИРОДНОЕ — ИСКУССТВЕННОЕ, ПРИВНЕСЕННОЕ ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ», так и антитезе «СТАРОГО» и «НОВОГО», «МУЖЕСТВЕННОГО» и «ЖЕНСТВЕННОГО» начала и т. п. Все это отвечает противопоставлению «славенороссов» и «галлороссов», открывая, вместе с тем, возможность сближения романтизма и народности (например, у Кюхельбекера¹⁵⁸) в прямом соответствии с демократической ориентацией «славенороссов»¹⁵⁹.

В свою очередь, естественным следствием романтизации русской национальной языковой стихии, органически объединяющей церковнославянское и народное начало, является возможность ее «отстранения», поэтического отчуждения, т. е. возможность ощущения ее как НЕ-НЕЙТРАЛЬНОГО речевого материала, выступающего предметом эстетического восприятия (так особенно в перспективе «галлорусского» — в широком смысле — языкового сознания). Стремление романтиков к народности может сочетаться с интересом к этнографии (как это характерно, например, для

А. А. Бестужева¹⁶⁰); народность вообще может осознаваться как национальный колорит, как экзотичность¹⁶¹; «народность» и «местность» могут выступать как синонимы¹⁶². Соответственно, «живая странность» «простонародного слога» может осмысляться как поэтическая ценность. Характерны слова Пушкина, которыми он начинает свою статью «О поэтическом слоге» (1828 г.): «В зрелой словесности приходит время, когда умы, наскуча однообразными произведениями искусства, ограниченным кругом языка условленного, избранного, обращаются к СВЕЖИМ ВЫМЫСЛАМ НАРОДНЫМ и к СТРАННОМУ ПРОСТОРЕЧИЮ, сначала презренному»; далее знаменательно упоминание Катенина¹⁶³. В некотором смысле призыв Пушкина следовать языку «московских просвирен» может быть сопоставим, например, с призывом Кюхельбекера читать восточных поэтов, поскольку тяготение к «своей» и «близкой» языковой и этнографической стихии приобретает принципиально новый смысл, пройдя через романтическую стадию погружения в чужое. В этом случае возможен взгляд на «свое» не как на нейтральную, немаркированную антитезу маркированному чужому миру, а как на нечто столь же характеристическое и отмеченное. Только в этих условиях «свое» может стать таким же объектом стилизации, как «чужое»¹⁶⁴. В этом же плане, по-видимому, можно интерпретировать и цитированные выше отрывки Пушкина о церковнославянских низмах (1822–1823 гг.)¹⁶⁵. Подобно тому, как для А. А. Бестужева даже «Евангелие есть тип романтизма»¹⁶⁶, и церковнославянский язык может в принципе восприниматься через призму романтического мировоззрения.

Таким образом мы убеждаемся, что одновременно с тенденцией к антагонистическому размежеванию карамзинизма и архаизма в вопросах языка существовала противоположенная тенденция: имманентные импульсы каждой из этих систем вели их к сближению, подготавливая исторический синтез. В этом отношении деятельность Пушкина как бы выявляла глубинные возможности языкового процесса как такового.

* * *

Наконец, необходимо остановиться еще на одном аспекте языковой полемики XVIII — нач. XIX в. Борьба языковых стихий, восходящая к антитезе церковнославянского и русского языка, естественно выступает в этот период как борьба книжного и разговорного, письменного и устного начала. Соответственно, это последнее противопоставление может служить практически основанием для размежевания «славенских» и «русских» элементов в языке. Шишков констатирует, например, что карамзинисты основываются «на том мечтательном правиле, что которое слово употребля-

ется в обыкновенных разговорах, так то Руское, а которое не употребляется, так то Славенское»¹⁶⁷. Вполне естественно, что для карамзинистов актуальна именно перспектива разговорной речи, которая и выступает в данном случае в качестве точки отсчета¹⁶⁸; между тем, Шишков, напротив, пытается в той или иной степени исходить в своих суждениях из перспективы церковнославянского языка, как он его себе представляет. Для карамзинизма, как известно, вообще характерна принципиальная ориентация на разговорную стихию, ср. программное требование Карамзина «писать как говорят»¹⁶⁹.

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что то, что самими карамзинистами осмыслялось как сближение литературного языка с разговорной речью, языком общества (при этом светского общества, о чем см. специально ниже), — неизбежно понималось их противниками как отказ от национальной литературной традиции. Для Шишкова, в частности, язык общества вообще «не имел никакого отношения к языку литературы. Сама постановка вопроса об их взаимовлиянии лишена была для него смысла»¹⁷⁰. Такой же подход характерен в общем и для других «архаистов».

Понятно, что эта установка на разговорную речь — идущая еще от первых опытов кодификации русской речи 30-х гг. XVIII в. (Адоуров, ранний Тредиаковский)¹⁷¹ — находится в самой непосредственной связи с западным культурным влиянием: она обусловлена именно стремлением организовать русский литературный язык по подобию литературных языков Западной Европы, сделать из русского литературного языка язык ТОГО ЖЕ ТИПА, что западноевропейские — иначе говоря, перенести на русскую почву западноевропейскую языковую (как и литературную) ситуацию¹⁷². Карамзин прямо ссылается на «французов», т. е. на пример французского литературного языка, в связи с требованием «писать как говорят». Отсюда ориентирование литературного языка на разговорную речь естественно связывается с европеизацией этой последней, т. е. с употреблением заимствованных слов (которые, как уже отмечалось выше, закономерно относятся в языковом сознании к «русскому», а не к «славенскому» полюсу).

Во второй пол. XVIII в. славянизмы и коррелирующие с ними европеизмы начинают противопоставляться по признаку «книжное — разговорное». Это в значительной степени обусловлено более или менее искусственным приспособлением церковнославянских лексических и словообразовательных средств для выражения заимствованных понятий, в результате которого славянизмы — как унаследованные, так и специально создаваемые — заменяют европеизмы в книжном (литературном) языке¹⁷³; между тем, европеизмы остаются достоянием разговорной речи. В «Рассу-

ждениях двух индийцев Калана и Ибрагима о человеческом познании» Я. Козельского Калан упрекает Ибрагима в употреблении иностранных слов, между прочим, слова *натура*, которое «переводится у нас *естеством*». Ибрагим возражает на это: «Я знаю, что *натура* переводится на индийской [читай: русский. — Ю. Л., Б. У.] язык *естеством*, но знаю и то, что это слово прилично разве в таком самом важном, как священном штиле; а ежели употребить его в разговоре, и вместо этой речи: *из разных вещей каждая имеет особливую свою натуру*, сказать: *из разных вещей каждая имеет особливое свое естество*, то вы подымете [sic!] хохот < ... >. *Натуру* назвать *естеством* не смею, чтоб не назвали этого слова преучоным ученьем»¹⁷⁴. При этом следует иметь в виду, что слово *естество* в разговорном употреблении получило специальный семантический оттенок скабрёзности (отсутствующий, понятно, в книжном языке)¹⁷⁵; напротив, слово *натура* и другие европеизмы (поскольку они ощущаются как таковые) могут придавать разговорной речи некоторую «литературность» (если и не в смысле книжности то, например, в смысле образованности, начитанности и т. п.) или светскость. Вообще: насыщенность речи европеизмами и прежде всего галлицизмами обуславливает особый стилистический нюанс, придавая ей (в глазах определенного социума) изысканность и делая ее как бы речью высокого стиля: европеизмы в разговорной речи играют, можно сказать, ту же функциональную роль, что славянизмы — в письменной¹⁷⁵. Книжная и разговорная речь образуют в этот период как бы две равноправные стилистические системы, отчасти корреспондирующие друг с другом.

Вместе с тем, в конце XVIII в. ориентация литературного языка на разговорную речь образованного общества, выражающаяся требованием «писать, как говорят», обуславливает сознательное включение соответствующих европеизмов в стилистический диапазон литературного языка. В предисловии к переведенному им роману Ж. де Мемье «Граф Сент-Меран» П. И. Макаров писал: «В сем же первом томе найдет читатель: *Графу хочется, чтоб воспитанник приобрел несколько побольше света* < ... > — Говорят: галлисизм! — нет, не галлисизм < ... > Не употребительно ПИСАТЬ слово *свет* в сем смысле. — Но употребительно ГОВОРИТЬ; для чего же хотят, чтоб Графиня Момпаль говорила как учитель языков в классе с своими учениками?»¹⁷⁷. Связь литературного языка с разговорным языком столичного дворянства выступает здесь со всей очевидностью.

Если ранее разговорная речь вообще не входила в систему литературного языка, то теперь (с конца XVIII в.) в пределах литературного языка появляется противопоставление книжного и разговорного¹⁷⁸. (Соответственно, понятия «книжное» и «литера-

турное», в свое время совершенно равнозначные, начинают различаться и даже противопоставляться по своему значению — см. ниже.)

Для понимания этого процесса следует иметь в виду, что литературный язык, по представлению карамзинистов, должен ориентироваться на разговорную речь не непосредственно, а через книги, т. е. через литературу. Напомним еще раз слова Карамзина (1802 г.): «Французский язык весь в книгах < ... >, а Русской только отчасти: Французы пишут как говорят, а Русские обо многих предметах должны еще говорить так, как напишет человек с талантом»¹⁷⁹. Итак, разговорная речь должна быть освящена литературным употреблением для того, чтобы стать достоянием литературного языка. По существу это требование не только «писать, как говорят», но и «говорить, как пишут» — именно так и формулирует программу карамзинизма П. И. Макаров (отмежевываясь при этом от следования книжному языку)¹⁸⁰. Литература, согласно этой программе, ориентируется на разговорную речь (производя при этом необходимый отбор с помощью критерия вкуса), а литературный язык ориентируется на литературу, т. е. уже на литературное употребление.

Надо сказать, что эта ориентация литературного языка на литературу означает принципиально новое соотношение между тем и другим понятием — соотношение, которое определяет вообще последующее развитие русского литературного языка. Ранее имела место прямо противоположная ситуация. В условиях церковнославянско-русской диглоссии, когда литературным или книжным языком был церковнославянский, именно применение (строго нормированного) литературного языка могло служить критерием для суждения о принадлежности памятника письменности к кругу «литературных» (с точки зрения соответствующей эпохи) произведений. С конца XVIII в. ситуация резко меняется: понятие «литературы» становится первичным по отношению к «литературному языку», «литературным языком» — на котором теперь должны не только писать, но и говорить — признается тот язык, который употребляется в литературе, т. е. изящной словесности.

Именно поэтому языковая полемика, восходящая к антитезе церковнославянского и русского языков, на рубеже XVIII и XIX вв. становится полемикой не о «языке», а о «слоге»: языковая норма стала ориентироваться на литературный слог, т. е. вообще на литературу; соответственно, языковая полемика постепенно сводится к полемике о стилях¹⁸². То обстоятельство, что полемика о слоге объединяет и карамзинистов и их противников славянофилов, чрезвычайно знаменательно и свидетельствует о том, что речь идет

уже не о программе одного направления, а вообще о качественно новом этапе в судьбе литературного языка¹⁸³.

Сама апелляция к «вкусу», столь важная для языковой концепции карамзинистов, но постепенно усваиваемая и их литературными противниками¹⁸⁴, в значительной степени обусловлена именно тем, что литературный язык ориентируется теперь на некий (четко не определяемый и потенциально открытый) ТЕКСТ, — а не на систему нормативных правил. Отсюда вообще на первый план закономерно выдвигаются проблемы стилистики — при этом стилистики речи, а не стилистики языка — и прежде всего лексической стилистики, поскольку норма литературного языка не дана как системное целое, а ориентирована на речь (на «текст» в широком смысле); между тем слово, как элементарная единица речи, омысливается как единица речевого стиля¹⁸⁵.

Указанное переосмысление знаменует не только коренную перестройку литературного языка, но и изменение самой языковой ситуации; меняется сам ТИП литературного языка, т. е. его типологические характеристики¹⁸⁶. Одновременно претерпевает изменение и понимание «литературы», ее объема и задач; если ранее *литература* означала (в соответствии с этимологией) «письменность» вообще, а также «образованность», «ученость» и т. п., то теперь *литература* начинает пониматься как «изящная словесность» (*belles-lettres*)¹⁸⁷. Тем самым, если ранее «литература» не была противопоставлена, скажем, «науке», — «литературные» тексты включали в себя научные — то постепенно эти понятия приобретают почти антагонистический смысл¹⁸⁸.

Соответственно «книжный» язык приобретает новое — более узкое — значение по сравнению с «литературным» языком (ранее, как уже говорилось, эти понятия полностью совпадали), что обусловлено включением разговорной речи в стилистический диапазон литературного языка. «Книжное» начинает пониматься как то, что относится к литературному языку, но при этом невозможно в разговорной речи¹⁸⁹. В этом именно смысле карамзинисты борются с книжным языком: так, Макаров призывает «писать как говорят, и говорить как пишут, < ... > чтобы совершенно уничтожить язык книжной»¹⁹⁰. Речь идет при этом, по существу, не столько о борьбе непосредственно с церковнославянской языковой стихией, сколько вообще — о борьбе с теми языковыми средствами, которые нельзя применять в разговорной речи. Поскольку, однако, в точности таким же образом карамзинисты могут понимать и «славянизмы» — а именно, как слова, невозможные в «обыкновенных разговорах» (см. выше), — постольку понятия «книжного» и «славянского» для них совпадают. В результате борьба «разговорного» и «книжного» соответствует борьбе «русского» и «славянского».

* * *

Итак, борьба церковнославянской и русской языковой стихии превращается в борьбу книжного и разговорного языка. Отсюда языковая полемика приобретает вполне определенный социолингвистический характер и может осмыслиться, под известным углом зрения, в плане противопоставления «ОБЩЕЕ — ЭЛИТАРНОЕ», «ОБЩЕСТВЕННОЕ — САЛОННОЕ, КАМЕРНОЕ» и даже «ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ — КАСТОВОЕ (АРИСТОКРАТИЧЕСКОЕ)».

Необходимо констатировать, что (отчасти это видно уже и из приведенных выше свидетельств) карамзинистский подход к литературному языку имеет явно означенный социальный аспект. «Новый слог» ориентирован не вообще на разговорную речь, а на разговорную речь светского общества, т. е. дворянской элиты¹⁹¹.

Ср. оценку Карамзина в записках Вигеля: «До него не было у нас иного слога, кроме высокопарного или площадного; он изобрел новый, благородный и простой»¹⁹². Эпитет *благородный* явно относится к речи дворянского социума; слово *простой* знаменует в данном случае ориентацию на разговорную стихию; итак, имеется в виду разговорная речь дворянской элиты, которая противопоставляется как «высокопарному», т. е. славянизированному слогу, так и «площадной», т. е. простонародной речи¹⁹³.

Социолингвистическая платформа карамзинизма со всей очевидностью проявляется и в его полемических установках. Когда карамзинисты ведут борьбу с церковнославянской языковой стихией под знаменем борьбы с «подьяческим» языком (см. выше), они именно переводят языковую полемику в социолингвистический план. Характерно, что в это же время начинают говорить и об особом «семинарском» языке, причем само понятие, опять-таки, идет едва ли не от карамзинистов¹⁹⁴. Старый книжный язык осмысливается в социальной (социолингвистической) перспективе — через «семинарскую» и «подьяческую» речь¹⁹⁵, чуть ли не как сословный жаргон.

Показательно, наконец, что одни и те же оценочные характеристики имеют у «архаистов» — славянофилов и у «новаторов» — карамзинистов существенно различный смысл: если у первых они фигурируют безотносительно к социальному расслоению общества, то у вторых они очень часто выступают именно как социолингвистические оценки. Эта разница отчетливо видна, например, в полемике Катенина и А. А. Бестужева о книге Греча «Опыт краткой истории русской литературы». Катенин пишет: «Знаю все насмешки новой школы над *Славянофилами*, *Варягороссами* и проч.; но охотно спрошу у самих насмешников: каким же языком нам писать Эпопею, Трагедию, или даже важную, Благородную про-

зу?». Отвечая на эти слова, Бестужев возражает: «< . . . > для редкости, я бы желал взглянуть на Поэму или Трагедию, в наше время писанную на Славянском языке, хотя бы не стихами, но в *благородной* (т. е. не мещанской) прозе!»¹⁹⁶. Совершенно очевидно, что, заимствуя (в качестве «чужого слова») у Катенина эпитет *благородный* (курсив в приведенной цитате соответствует кавычкам в современном употреблении), Бестужев придает слову *благородный* существенно иной — и именно социолингвистический — смысл: для Катенина *благородный* равнозначен «важному», для Бестужева *благородный* — это «не мещанский»¹⁹⁷. Аналогичное различие может быть прослежено и в употреблении эпитета *подлый*. Так, карамзинист В. Измайлов, критикуя драму Н. И. Ильина «Великодушие, или Рекрутский набор», писал об авторе этой пьесы: «Можно ли было ему, рожденному с добрым сердцем и благородными чувствами, приятно заниматься *ПОДЛЫМ* языком бурмистров, подьячих < . . . >». Между тем, «Северный вестник» возражал Измайлову: «Выражение *подлый язык*, есть остаток несправедливости того времени, когда говорили и писали *подлый народ*, но ныне благодаря человеколюбию и законам, *подлаго народа* и *подлаго языка* нет у нас! а есть, как и у всех народов, *подлая мысль*, *подлая дела*. Какова бы состояния человек ни выражал сии мысли, это будет *подлый язык*, как на пр.: *подлый язык дворянина*, *купца*, *подвячего*, *бурмистра* и т. далее»¹⁹⁸. Совершенно такое же различие имеет место и в отношении характеристики *простонародный* как стилистической оценки: в отличие от карамзинистов, которые обозначают этим словом все то, что противопоставлено речи хорошего общества, для «архаистов» *простонародное* может относиться вообще к разговорному началу, характеризуя разговорную речь всех слоев общества. Так, когда Шишков возражает против введения в «благородный язык» «простонародного произношения», соответствующего букве *ѣ*, то оппозиция, выражающаяся определениями *благородный* и *простонародный*, относится вовсе не к социолингвистическому противопоставлению дворянской речи и речи простого народа, а к противопоставлению книжного и разговорного языка (живая разговорная речь дворян не отличалась по данному признаку от речи простолюдинов): эпитет *благородный* означает здесь «высокий», «книжный», а *простонародный* соответствует «разговорному». Между тем, карамзинисты вкладывают в эти термины именно социолингвистическое содержание: *простонародное* равнозначно у них «подлому», т. е. «мужицкому», а также «мещанскому», «подьяческому» и т. п.²⁰⁰.

Социолингвистическая ограниченность карамзинистской концепции литературного языка непосредственно связана с установкой на разговорную речь.

Ведь различие между письменным и разговорным языком состоит между прочим, и в том, что первый имеет принципиально над-диалектный характер, тогда как второму свойственно диалектное дробление (на географические или социальные диалекты): первый стремится к единообразию, второй — к дифференциации. Совершенно естественно поэтому, что ориентация литературного языка на разговорную речь связана с речевыми навыками определенного социума.

Следует иметь в виду, в то же время, что социолингвистическое расслоение общества в сколько-нибудь широких масштабах представляет собой относительно недавнее явление в России и прямо обусловлено ликвидацией церковнославянско-русской диглоссии. В частности, в ситуации диглоссии разговорная речь дворянского общества в принципе не отличается от речи иных социальных групп. Одни и те же нормы правильной речи (в данном случае — церковнославянские языковые нормы) объединяют при диглоссии самые разные слои общества (хотя бы эти слои и различались по степени владения соответствующими нормами). По выражению Третьяковского, «нашей чистоте вся мера есть славенский» — и это, действительно, единственный в этих условиях критерий правильной речи; естественно, что при этом и разговорная речь разных социальных групп оказывается в принципе недифференцированной. Вместе с тем, с разрушением диглоссии исчезают единые критерии языковой правильности (объединяющие все общество в целом) и, соответственно, возникает проблема социального престижа тех или иных речевых навыков; *социальная норма выступает при этом как субститут книжной — в условиях ликвидации диглоссии.*

Вполне понятно, что главную роль играет в этот период речь дворянского социума, которая и оказывает наибольшее влияние на русский литературный язык. Именно на речь социальных верхов («кизрядной компании») ориентируются первые кодификаторы русской речи (Третьяковский и др.). Достаточно показательно, что и московский диалект на первых порах выделяется не как язык культурного (национального) центра, а именно как «главной при дворе и в дворянстве употребительной» (Ломоносов).

Между тем, речь дворянской элиты отличается от речи всех других слоев общества прежде всего своей гетерогенностью, обусловленной влиянием со стороны западноевропейских языков (причем здесь в значительной степени имеет место перенесение немецкой языковой ситуации, ср. выше): именно европеизмы и создают наиболее очевидный социолингвистический барьер между речью дворян и речью остальных слоев общества.

Поэтому «славянизация» языка (архаизация, насыщение сла-

вянизмами и т.п.) — прямо связанная, как было показано выше, с борьбой с западноевропейским влиянием, — может в принципе осмыслиться как ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ русской литературной речи. Не случайно славянизмы и архаизмы играют впоследствии столь большую роль в языке декабристской литературы²⁰¹. Хотя Шишков и усматривал в «новом слоге» карамзинистов революционную опасность (ср. отношение Павла к галлицизмам как признакам идеологии французской революции)²⁰², в действительности революционные идеи могли быть связаны, в виду только что сказанного, как раз со «старым слогом»: целый ряд писателей декабристского круга (Катенин, Кюхельбекер, Грибоедов) примыкают по своей лингвистической ориентации именно к шишковистам, а не к карамзинистам²⁰³. Знаменательно, что Вяземский в «Старой записной книжке» именуется «Славенофилов или Руссофилов» — «археологическими либералами»²⁰⁴.

Этот социальный аспект славянизации литературного языка со всей отчетливостью звучит, например, в следующих словах Кюхельбекера о карамзинистах: «Из слова < . . . > Русского, богатого и мощного силятся извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искусственно тощий, приспособленный для немногих, язык, un petit jargon de coterie. Без пощады изгоняют из него все речения и обороты Славянские и обогащают его *архитравами, колоннами, баронами, траурами*, Германизмами, Галлицизмами и Барбаризмами. В самой Прозе стараются заменить Причастия и Деепричастия бесконечными Местоимениями и Союзами»²⁰⁵.

Точно так же и филологические рассуждения в «Происшествии в царстве теней» С. Боброва имеют совершенно определенную демократическую направленность. Знаменательно, что в те же годы Бобров выступает со статьей «Патриоты и Герои, везде, всегда и во всяком», где доказывается, что истинный патриотизм присущ не только дворянству, а всем слоям населения (статья эта наполнена шпильками против дворян)²⁰⁶.

* * *

Языковая установка карамзинизма, как она охарактеризована выше, делает особенно актуальным вопрос о разговорной речи светского общества, т.е. социальном жаргоне дворянской элиты²⁰⁷. Этот жаргон лишь отчасти можно проследить по литературным текстам, поскольку литература, даже и в условиях ориентации на разговорную языковую стихию, предполагает определенный отбор средств выражения (с помощью критерия вкуса) — и, соответственно, разговорная речь подвергается здесь известной фильтрации.

В этой связи самый непосредственный интерес представляют

многочисленные указания в «Происшествии в царстве теней» Боброва на соответствие «галлорусского наречия» карамзинистов — «щегольскому наречию» петиметров второй пол. XVIII в., как оно отражено в полемических произведениях этого времени²⁰⁸. Ведь «щегольское наречие», по существу, и может рассматриваться как дворянский социальный жаргон в ЕГО СПЕЦИФИЧЕСКИХ ФОРМАХ, иначе говоря, речь дворянства постольку, поскольку она не нейтральна, социально маркирована, т. е. противостоит (и в известных случаях сознательно противопоставляется) речи всего остального русского общества; естественно, что эти специфические формы общения в первую очередь характерны для столичных салонов²⁰⁹. Нас не должно смущать то обстоятельство, что о «щегольском наречии» мы должны судить главным образом по карикатурным изображениям в полемической литературе; разумеется, следует делать скидки на сатирическое утрирование, которое обычно если и искажает действительную картину, то не делает ее вовсе невозможной²¹⁰.

Совпадения «галлорусского наречия» карамзинистов с «щегольским наречием» петиметров второй пол. XVIII в. в памфлете Боброва невозможно объяснить исключительно насчет жанровых особенностей сатирической литературы (хотя и влияние жанра, несомненно, также может играть известную роль) уже потому, что влияние «щегольского наречия» прослеживается и в современном русском литературном языке²¹¹. Можно, таким образом, констатировать определенную разговорную традицию, которая первоначально была характерна для дворянского *beau monde*'а, а затем стала общим достоянием — в значительной мере под влиянием карамзинистов, деятельность которых и обусловила включение соответствующих выражений в литературный язык. Если такие, например, слова, как *интересный* (в значении «любопытный», «занимательный»), *серьезный* или *развязный* — в свое время одиозные (социолингвистически маркированные) и характерные для стилизованной речи галломанов²¹² — вошли в русский литературный язык как нейтральные выражения, т. е. совсем не ощущаются здесь как гетерогенные элементы, то мы обязаны этим именно традиции разговорной речи, идущей от «галлорусского (resp.: щегольского) наречия» и в определенной степени легитимированной карамзинистами²¹³. То же самое относится, по-видимому, к таким словам, как *ах* как семантической кальки с фр. *ah* (ранее это междометие выражало лишь ужас, горе и т. п.), *прелестный*, *очаровательный* как семантических калек с фр. *charmant*, *séduisant* и т. п. (ранее эти слова связывались со злым, колдовским началом)²¹⁴, *обожать* как семантической кальки с фр. *idolâtrer*²¹⁵, *боже мой* в соответствии с фр. *mon dieu*²¹⁶, *мой ангел* (фр. *mon ange*), *чорт*

возьми (ср. *diable m'emporte*)²¹⁷ и т. д. и т. п. В других случаях можно, кажется, проследить и непосредственную (а не через литературный язык) связь между этой разговорной традицией и разговорными навыками современного общества, которая объясняется влиянием разговорной речи дворянского общества на речь других сословий (прежде всего, городского мещанства)²¹⁸ и в конечном счете на разговорное койне. Сюда с вероятностью могут быть отнесены такие, например, выражения, как *быть не в своей тарелке*, *быть на хорошей ноге*²¹⁹, *выкинуть вздор из головы*, *шутки прочь*, *отвязаться от кого*, *шутить*, *отцепиться*, *бесподобно*, *уморительно* и т. п.²²⁰.

Связь карамзинизма с «щегольской» культурой проявляется вообще в целом ряде аспектов. Если даже не говорить специально об отношении к французской культуре и к национальной традиции, об общем оттенке манерности, жеманности, «изнеженности» и т. п., о чем более или менее подробно шла речь выше, очень показательной представляется такая хотя бы черта общности, как ориентация языкового поведения на женскую речь²²¹. Точно так же и эпатирующее поведение карамзинистов — очень заметное, например, в выступлениях П. И. Макарова — в известном смысле соответствует поведению щеголей второй пол. XVIII в.; это проявляется, между прочим, и в отношении к моде (ср. выше о демонстративных заявлениях Макарова на этот счет²²²).

Несомненно, некоторые карамзинисты — такие, например, как П. И. Шаликов, В. Л. Пушкин или П. И. Макаров — должны были ассоциироваться с обликом петиметра²²³. Необходимо подчеркнуть при этом, что и сам Карамзин с молодости мог восприниматься таким образом. Так, А. М. Кутузов в 1791 г. пишет карикатуру на Карамзина, где выводит его в образе петиметра Попугая Обезьянина, который говорит о себе: «Мое воспитание не отличалось ничем от прочаго нашего дворянства воспитания: научили меня болтать по-французски и немецки; на сих двух языках имел я счастье читать множество *романов*, — на грубом российском языке сказка <...> Наставники мои были чужестранцы <...>» и т. п.²²⁴. Об устойчивости данного представления можно судить хотя бы по следующей характеристике во второй редакции «Дома сумасшедших» А. Ф. Воейкова:

Карамзин, Тит Ливий русский,
Ты, как Шаликов, стонал,
Щеголял, как шут французский...
Ах, кто молод не бывал?²²⁵

Особенно же важно для нашей темы, что и обиходная речь Карамзина в этот период, по-видимому, находилась под влиянием

«щегольского наречия»²²⁶. Ср. в этой связи отзыв Г. П. Каменева (1800 г.) о бытовой речи Карамзина: «Карамзин употребляет французских слов очень много. В десяти русских верно есть одно французское. *Имажинация, сентименты, tourment, energie, epithete, экспрессия, эксцеллировать* и проч: повторяет очень часто»²²⁷.

Точно так же отпечаток «щегольского наречия» характерен, по-видимому, — в большей или меньшей степени — и для разговорной речи последователей Карамзина, насколько о ней можно судить по их письмам²²⁸. Так и для П. И. Макарова «щегольские фразы, остроумие и вкус» выступают как синонимы и, соответственно, выражение *щегольской слог* предстает в его критических статьях как положительная характеристика²²⁹.

Таким образом, при желании можно было усмотреть прямую связь и отношения преемственности между петиметрской культурой и карамзинизмом: маска петиметра закономерно становилась маской карамзиниста — как это и наблюдается в памфлете Боброва.

Само собой разумеется, что все сказанное сейчас о карамзинизме приложимо прежде всего к раннему карамзинизму и в первую очередь — к эпигонам Карамзина (поскольку вообще «периферия», где все утрировано и откровенно, гораздо более показательна для изучения процессов развития, чем «центр» направления). В дальнейшем карамзинизм во многом отходит от своих первоначальных позиций и фактически в значительной степени сближается с противостоящим ему направлением. Показателен известный отзыв Катенина 20-х гг. о Карамзине и карамзинистах: в письме к Бахтину от 9 марта 1823 г. Катенин писал, что «новый слог» претерпел существенные изменения со времени выступлений молодого Карамзина — автора «Писем русского путешественника»: «Этот слог не только в прозе очистился, но равномерно и в стихах, это действие времени необходимое; собственный же слог Карамзина путешественника и прочих ему подобных исчез, над ним смеются, сам Карамзин его переменял: не другие к нему приновились, а напротив он сообразился с общим вкусом: это ясно и неоспоримо»²³⁰. Точно так же и Шишков говорил, что Карамзин в своей «Истории государства Российского» хотя и «не образовал язык, но возвратился к нему, и умно сделал»²³¹.

Это вполне закономерно: подобно тому как славянофилы, как было показано выше, испытывают заметное влияние карамзинистов, точно так же и карамзинисты подвержены влиянию со стороны противоположного направления. Фактически дело идет о динамическом взаимодействии обоих направлений, которое и обуславливает их постепенное сближение (при возможности сохранения

субъективного антагонизма между той и другой группировкой)²³², в этом, собственно, и состоит историческая роль и значение каждого из них для последующего развития русского литературного языка.

Это сближение обоих направлений ярче и полнее всего ознаменовано, конечно, в творчестве Пушкина. С Пушкина начинается эпоха стабилизации русского литературного языка, бурно развивающегося в течение всего XVIII в. в результате ликвидации церковнославяно-русской диглоссии: его творчество как бы подводит итоги борьбе языковых стихий, восходящей к антитезе церковнославянского и русского языков, и открывает, тем самым, новую эру в истории русского литературного языка²³³. Пушкину удается ликвидировать антагонизм между этими стихиями, который на данном этапе проявляется прежде всего в противопоставлении «славенорусского» и «галлорусского» слога. Он освобождается от тех негативных (полюемических) установок, которые свойственны как «славенороссам», так и «галлоруссам» и которые в значительной степени определяют собственную их позицию²³⁴. В период зрелости Пушкин так же далек от отрицательного отношения к славянизмам, характерного для карамзинистов, как и от пуризма славянофилов. Соответственно, обе стихии сближаются в его творчестве, органически вливаясь в общее русло русского литературного языка. В творчестве Пушкина осуществляется нейтрализация стилистических контрастов, тогда как ранее сочетание разнотилевых элементов, если и было возможно в художественном тексте, то служило специальным целям поэтического обыгрывания (ср., например, у Державина)²³⁵. Именно с пушкинской эпохи окончательно исчезает макаронический оттенок, свойственный ранее такому сочетанию.

Самый путь Пушкина очень знаменателен и, вместе с тем, необычайно важен для последующей судьбы русского литературного языка. Пушкин начинает как убежденный карамзинист, но затем во многом отступает со своих первоначальных позиций, в какой-то степени сближаясь с «архаистами»²³⁶, причем это сближение имеет характер сознательной установки (см., например, взгляд на историю русского литературного языка в статье «О Предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова» 1825 г.).

Соответственно, в творчестве Пушкина явно прослеживается «галлорусский» (если пользоваться терминологией Боброва) субстрат, и это обстоятельство определяет характер сближения «церковнославянской» и «русской» (в широком смысле) языковой стихии²³⁷. Очень характерен в этом плане отзыв Мериме о языке «Пиковой дамы» в письме к Соболевскому: «Я нахожу, что фраза Пушкина звучит совсем по-французски <... > Иногда я спраши-

ваю себя, а что, в самом деле, перед тем, как писать по-русски, не думаете ли вы все *Бояре по-французски?*»²³⁸. Вместе с тем, разговорная речь Пушкина и его окружения несет на себе более или менее явный отпечаток «щегольского» («галлорусского») жаргона²³⁹. «Галлорусская» перспектива проявляется у Пушкина и в характере сближения — и поэтизации — церковнославянской и просторечной языковой стихии²⁴⁰.

При этом, однако, Пушкин заявляет себя противником отождествления письменного (литературного) и разговорного языка — его позиция в этом отношении обнаруживает известную близость к позиции «архаистов»²⁴¹ — и это обуславливает особый стилистический оттенок как славянизмов, так и галлицизмов в его творчестве: если славянизмы рассматриваются им как стилистическая возможность, как сознательный поэтический прием, то галлицизмы могут восприниматься как нейтральные элементы речи. Тем самым языковое своеобразие зрелого Пушкина с известным огрублением может быть выражено формулой: галлорусский субстрат + славянорусский суперстрат. Эта формула, думается, и определяет вообще последующее развитие русского литературного языка.

Примечания

1. Примечания к гл. I

¹ См.: Виноградов, 1938, с. 128–226; Левин, 1964; Булаховский, 1957; Мордовченко, 1959, с. 77–99; Булич, 1912, с. 117–135.

² В дружеском кругу молодого императора этот государственный орган именовался «Комитетом общественного спасения». Для самооценки правительства молодого Александра не лишено интереса то, что оно не побоялось, пусть даже в шутку, присвоить себе внушавшее всей монархической Европе ужас имя верховного органа якобинской диктатуры. Но еще более примечательно другое: шуточное название основывается на совсем не шуточном убеждении в том, что Россию надо «спасать» и что потребность эта столь же экстренна, как для Франции в дни Вальми.

³ Карамзин, 1914, с. 42; Пушкин, XII, с. 178 и 335. — Любопытно, что и сами Романовы могут именовать себя подобным образом. Когда вел. кн. Николай Павлович после смерти Александра I присягнул Константину, вел. кн. Михаил Павлович назвал поступок своего брата «революционным»; Александра Федоровна (жена Николая) была возмущена тем, что Михаил Павлович называет благородный поступок (*edele Handlung*) брата — революционным (*die er revolutionär nannte*). См.: Шильдер, I, с. 206 и 503, примеч. 241. Не исключено, кстати, что это источник цитированной фразы Пушкина.

⁴ Это особенно характерно для петровской и послепетровской России, но для понимания рассматриваемых процессов существенно иметь в виду, что соответствующие явления имели место и в более ранний период. Так, практика официального переименования топонимов наблюдается, в частности, в эпоху Алексея Михайловича; в 1656 г. города Дивноборк (Динабург) и Кукейнос (Кокенгаузен) после захвата русскими войсками получили новые имена — «Борисоглебов город» и «царевичев Дмитриев град» (см. изд.: Письма русских государей, 1896, с. 61–62). Есть основания полагать при этом, что данная практика имеет еще византийские истоки, ср. в этой связи: Сперанский, 1934, с. 36, примеч. 2; Кондаков, 1887, с. 82. Относительно официального переименования людей в допетровской Руси см.: с. 151–152 наст. изд.

⁵ Относительно связи практики переименования с мифологическим сознанием см. специально: Лотман и Успенский, 1992, с. 70–71. Значительно в этой связи, что акт переименования в целом ряде случаев связывается с физической ликвидацией самого объекта и последующим возрождением его в «очищенном» виде. Характерно, например, что Екатерина в 1774 г. распорядилась уничтожить не только дом Пугачева в Зимовейской станице на Дону (этот дом было велено публично сжечь, пепел рассеять рукою палача, а самое место огородить надолбами или рвом окопать, оставя на вечные времена без поселения), но и название места его рождения: Зимовейская станица была перенесена на противоположный берег Дона и ее было приказано впредь именовать Потем-

кинской станицей. Ср. в этой связи предложение М. Л. Магницкого в известном отчете 1819 г. по ревизии Казанского университета: обвиняя Университет в безбожном направлении преподавания и в растрате казенных денег, Магницкий предлагал торжественно разрушить самое здание Университета. Акт разрушения призван иметь при этом подчеркнуто символический характер, выступая, по существу, как равнозначный акту переименования; оба акта эквивалентны по своей функции.

⁶ См.: *Азбука гражданская...*, 1877. Ср. сводку текстов, собственноручно правленных Петром в работе: Покровский, 1910, с. 1–2.

⁷ См.: *Сравнительные словари...*, I–II. Екатерине приписывается иногда и составление «Российской азбуки... для общественных школ» (СПб., 1781 и последующие издания), см.: Св. кат. XVIII в., I, с. 336–337.

⁸ См.: Глинка, 1871, с. 531–532; Скабичевский, 1892, с. 84. Ср. воспоминания П. А. Вяземского в «Старой записной книжке» (Вяземский, 1929, с. 79) и в статье «О злоупотреблении слов» (Вяземский, I, с. 285), а также воспоминания Массона (Массон, 1918, с. 102–103, цит. в кн.: Виноградов, 1938, с. 103–104), Дмитриева («Взгляд на мою жизнь»: Дмитриев, II, с. 86).

⁹ См. секретный циркуляр (без обозначения места и времени издания) под заглавием «О предположениях заменить в польском языке латинский алфавит русскою азбукою», где на с. 15–18 приведены собственноручные замечания Николая на проекте этой предполагаемой реформы.

¹⁰ См. с. 459, примеч. 203.

¹¹ Некоторые существенные различия в историческом облике западной и русской культур, видимо, сложились еще в эпоху раннего средневековья. Так, например, антитеза троичного членения («ад — чистилище — рай») и двоичного («ад — рай») отражала глубинные различия. При троичном делении между сферами греха и святости образовывалась (в пределах земной жизни) допустимая область среднего поведения. В нее вмещались государственная жизнь и обычное практическое мирское поведение людей. Правильное, в пределах своей мирской нормы, поведение обычного человека не закрывало перед ним дверей спасения. Двучленное деление объявляло все за пределами святости — грехом. В частности, государство трактовалось или как греховное, или как святое. Признание мира безусловно греховным вызывало или требование отказа (ухода), или идею заступничества: праведная жизнь и молитва святого искупают греховность «обычного» поведения людей в миру. Принципиальное отрицание возможности нейтрального поведения, приравнивание среднего к отрицательному станет характерным для ряда последующих культурных моделей, сыгравших активную роль в истории России. Ближайшее отношение к указанной проблеме имеет, по-видимому, вопрос о манихейском влиянии на русскую церковную (книжную) культуру.

¹² Лотман и Успенский, 1992, *passim*.

¹³ В очерке, посвященном Вашингтону, Гизо писал, что борьба американских колоний «основана на праве историческом и на фактах, на праве разума и на идеях» (Гизо, 1855, с. I). Напрашивается сопоставление с известными словами Руссо в «Общественном договоре» о том, что Гроций «видит основания права в существовании соответствующего факта. Можно было бы применять методу более последовательную, но никак не более благоприятную для тиранов» (Руссо, 1969, с. 153).

¹⁴ А. С. Шишков. «Рассуждение о красноречии Священного Писания...». — в кн.: Шишков, IV, с. 86–87. Представление о старине, как о чем-то, что еще предстоит создать, в парадоксально-заостренной форме было высказано Ап. Григорьевым, отстаивавшим «архаические новаторства» молодой редакции «Москвитянина». Ап. Григорьев требовал разъяснения для читателей «новых сторон» славянофильской концепции, показа «какой степени они новы, т. е. в какой степени они стары, как старокоренное русское воззрение». Рассуждение завершается парадоксом о том, что противники «Москвитянина» борются «с новым, т. е. со старым» (Ап. Григорьев, «Окружное послание...», см.: Егоров, 1960, с. 227; курсив везде Ап. Григорьева).

¹⁵ В этом разделении языка как эмпирической реальности и как глубинной конструкции и в мысли о том, что именно эта последняя и есть реальность подлинная, нетрудно было бы усмотреть аналогию с некоторыми новейшими лингвистическими концепциями. Вместе с тем, естественно провести параллель между этими построениями и социологической концепцией Руссо, например противопоставлением «воли всех» (реального волеизъявления народа), могущей отражать случайные обстоятельства, «общей воле» — идеальному и безошибочному изъяснению внутренней структуры коллективной воли общества. Проницательный анализ этого аспекта воззрений Руссо дан В. С. Алексеевым-Половым (см.: Руссо, 1969, с. 549–550); ср. также: Cl. Lévi-Strauss, Jean-Jacques Rousseau, fondateur des sciences de l'homme, в кн.: Леви-Стросс, 1973.

¹⁶ Анализ этого требования, как и вообще тщательное рассмотрение этой проблемы, см.: Левин, 1964, с. 115 и далее.

¹⁷ Лотман, 1971, с. 15–21. Ср. в этой связи с. 385.

¹⁸ Примечателен отзыв Н. Тургенева о Шишкове (1809 г.): «Он человек умный. Рассуждение его о старом и новом слоге, право, очень хорошо» (Архив Тургеневых, I, с. 361). На собственно лингвистических предпосылках этого воздействия мы специально остановились выше, см. с. 388, 396–397 наст. изд.

¹⁹ Батюшков, II, с. 338.

²⁰ О значении этой идеи для романтизма см.: Гуковский, 1965.

²¹ Подробнее, в частности, о влиянии этой идеи на поэтику басен Крылова см.: Лотман, 1960, с. 37–38.

²² Народное сознание, отраженное в русском фольклоре, также резко разграничивает эти две формы деятельности властей, отождествляя их

с оппозицией «регулярное ↔ эксцесс». Интересно отметить, что в былинах киевского цикла высшая государственная власть получает функцию, которую можно сопоставить, по характеристике М. Элиаде (см.: Элиаде, 1963), с мифологической функцией бога-творца, который, сотворив мир, занимает по отношению к нему пассивную позицию созерцателя и в такой мере далек от вмешательства в установленное течение событий, что кажется не имеющим значения и может предаваться забвению. Таков Владимир-Красно Солнышко. Он, стоя во главе былинного мира, является благим и благодушным пассивным созерцателем, предоставляющим роль активных действующих иерархически низшим персонажам — богатырям. В сказках и исторических песнях позднейшего периода Иван Грозный и Петр I связываются с другой отмеченной Элиаде мифологической фигурой — бога-спасителя, который, являясь, нарушает регулярное (злое) течение дел и актом эсхатологического эксцесса утверждает конечное торжество правды. Регулярность государственного управления мыслится народным сознанием как источник зла и связывается с «боярами» — аппаратом. Верховная же власть мыслится как разрушитель регулярности (не случайно обычные сказочные союзники Ивана или Петра — разбойники, воры или пьяницы — люди, поставленные вне «правильной» государственной жизни). Именно в союзе с ними царь разоблачает зло «бояр». Царь и разбойник, вообще, являются в русском фольклоре функционально единными (могущими в вариантах заменять друг друга) фигурами. Оба они выполняют роль неожиданных спасителей, что тонко почувствовал Пушкин в «Капитанской дочке», распределяя роли Пугачева и Екатерины II (см.: Смирнов, 1972). Именно эксцесс мыслится как признак истинно царского поведения. В этом смысле неслыханное, исключительное (то есть «первый раз совершаемое», иррегулярное) злодейство мыслится как «более правильное» (то есть более ожидаемое) царское поведение, чем, например, уклонение от действий, поскольку более укладывается в представление о том, что царь есть фигура эсхатологическая в принципе. Поразительно интересные данные в этом отношении приводит К. В. Чистов в работе, посвященной народному сознанию XVIII–XIX вв., показывая, что фольклорные тексты о казни Петром царевича Алексея возникли за десятилетие с лишним до реальной казни и намного опередили даже первые конфликты между царем и его сыном (см.: Чистов, 1967, с. 91–120). Напомним также предположение В. Я. Проппа о том, что песни об убийстве Иваном Грозным сына возникли до этого трагического события (см.: Пропп, 1958). С этим можно сопоставить модель царского поведения в «Песне про купца Калашникова» Лермонтова. Странно было бы предположить, что стереотип народного ожидания не влиял на реальное поведение русских самодержцев, хотя бы и не как первостепенный фактор. Эти представления, с одной стороны, отражали политический мифологизм народного сознания, с другой — связаны были с реальным различием в позиции верховной власти в раннефеодальный период и в эпоху централизации.

²³ См.: Шебунин, 1923.

²⁴ Цит. по: Шебунин, 1923, с.34.

²⁵ В этом смысле парадоксальную антитезу представляет юридическая карьера Державина и Дмитриева: в обоих случаях правительство стремится использовать поэтов как государственных деятелей, но в первом залог способности к выполнению этих функций находят в творческом богатстве личности, во втором — во владении изящным слогом. Ср. в письме Карамзина Дмитриеву от 27 июля 1798 г. (последний занимал тогда место обер-прокурора сената и товарища министра): «Витовтов сказывал мне, что ты наш Д'Агессо, и приказной слог знакомишь с ясною краткостью, чистотою, приятностью. Vive le Procureur!» (см. изд.: Карамзин, 1866, с. 97). Ср., вместе с тем, свидетельство Дмитриева о попытке Александра I «употребить Карамзина к письмоводству» осенью 1811 г., см.: Дмитриев, П, с. 112.

Следует отметить также весьма ответственную работу П. А. Вяземского в канцелярии Н. Н. Новосильцева, которому было поручено императором Александром составление проекта конституции для России («Государственная уставная грамота Российской империи»); русская редакция текста принадлежит Вяземскому (см.: Остафьевский Архив, I, с. 488; Вяземский, I, с. XXXV; П, с. 86–87).

О влиянии арзамасцев на официальную общественно-политическую фразеологию с наглядностью говорит, между прочим, включение слова *народность* (искусственно созданного Вяземским для передачи фр. *nationalité* — см. об этом слове специально ниже, с. 451, примеч. 162) в каноническую триединую формулу русской государственности. В таком виде эта формула была впервые провозглашена С. С. Уваровым в 1833 г. (тогда как ранее в качестве устоев русской государственности фигурировали *православие* и *самодержавие*). Извещая попечителей учебных округов о своем вступлении в должность министра народного просвещения, Уваров — бывший арзамасец! — писал: «общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование совершалось в соединенном духе *православия, самодержавия и народности*». То обстоятельство, что как Вяземский, пустивший это слово в литературу, так и Уваров, закрепивший за ним права официального государственного термина, принадлежали к одному литературному направлению, представляется в высшей степени знаменательным. Необходимо отметить при этом, что и сама обсуждаемая формула идет, по-видимому, из того же источника. Чрезвычайно любопытен в этом отношении отзыв Александра Тургенева об «Истории Государства Российского» Карамзина. Сообщая в письме, что «вчера Карамзин читал» «покорение Новгорода и еще предисловие» и отмечая, что «его историю ни с какою сравнить нельзя, потому что он приноровил ее к России, то есть она излилась из материалов и источников, совершенно свой, особенный, НАЦИОНАЛЬНЫЙ характер имеющих», Тургенев — столь же тесно связанный с «Арзамасом», как и Вяземский и Уваров, — так оценивает значение этого произведения: «Не только это будет истинное начало нашей литературы, но история его послужит нам краеугольным камнем для ПРАВОСЛАВИЯ, НАРОДНОГО ВОСПИТАНИЯ, МОНАРХИЧЕСКОГО ЧУВСТВОВАНИЯ и, БОГ ДАСТ, РУССКОЙ ВОЗМОЖНОЙ КОНСТИТУЦИИ» (Рукописное собр. ИРЛИ (Пуш-

кинский дом), Архив бр. Тургеневых, I, № 124, л. 272, цит. в работах: Шебунин, 1936, с. 12; Лотман, 1960, с. 43).

Вообще о близости арзамасцев к правительственным кругам см. в цитированной статье Шебунина, с. 31 и сл. (где отмечается, между прочим, обилие в среде «Арзамаса» дипломатов). Ср. в письме П. А. Вяземского к И. И. Дмитриеву от 14 декабря 1830 г. «И какая польза от того, что цензурный устав писан не Шихматовым, а Дашковым, что товарищ министра народного просвещения — Блудов, а не какой-нибудь Фотий, когда ни тот, ни другой не могут отстаивать существующего закона или писателей, лишаемых законных прав своих!» (см.: Русский архив, 1868, стлб. 615).

Ср. слова О. И. Сенковского, провозглашенные в «Сыне Отечества» в 1856 г.: «Для русских людей нет и не может быть другой теории национальности, кроме: православие, самодержавие в роде законных царей наших и отечественный язык!... или, как было сказано, как запросто вся добрая Русь сказала б: РУССКИЙ БОГ, РУССКИЙ ЦАРЬ И РУССКИЙ ЯЗЫК» (выделение Сенковского; цит. по изд.: Рейсер, 1961, с. 68–69). Итак, народность понимается здесь преимущественно в лингвистически-национальном плане.

²⁶ Левин, 1964, с. 115; Сперанский, 1844. Весьма характерна реакция Оболянинова на стиль Сперанского, о которой рассказывает (со слов Ростопчина) П. А. Вяземский в своей «Старой записной книжке» (см.: Вяземский, VIII, с. 123–124).

Предшественником Сперанского в этом отношении был А. В. Храповицкий. По отзыву Державина, именно Храповицкий «ввел легкий и приятный слог в канцелярские дела». Впоследствии Дмитриев писал: «из известных мне современников один только Храповицкий мог равняться с Сперанским в способности к письмоводству» (см. вступительную статью Н. Барсукова в изд.: Храповицкий, 1874 с. VIII–IX). Очень показательны и упоминание в дневнике Храповицкого (в записи от 29 сентября 1789 г.), что Екатерина критиковала «плухость слога П. В. Завадовского, протокол писавшего» (там же, с. 163–164).

Соответственно, в своем «Историческом похвальном слове Екатерине II» Карамзин специально подчеркивает изменение приказного слога в царствование Екатерины: «<... > естли слог приказный уже не всегда устрашает нас своим варварством; естли необходимые правила Логик и языка соблюдаются не редко в определениях судилищ; <... >: то государство обязано сею пользою Московскому Университету» (см.: Карамзин, I, с. 367).

Вместе с тем, в «Записке о древней и новой России» Карамзин считает нужным обратить внимание на недостатки делового языка: «<... > а в Именных Указах употребляются слова не в их смысле: пишут в важном Банковом учреждении: “отдать деньги бессрочно”, вместо “à perpétuité” — “без возврата”, пишут в Манифесте о торговых пошлинах: “сократить ввоз товаров” и проч., и проч. <... >» (Карамзин, 1914, с. 73), «<... > не привязываюсь к новым словам, однакож скажу, что в книге Законов странно писать о ложе реки (le lit de la rivière) вместо: желобовины, русла» (там же, с. 109).

²⁷ См.: Магницкий, 1835.

²⁸ См.: Шильдер, 1897–1898, III, с. 64. Если Пушкин, имея в виду шишковские манифесты, писал:

Сей старец дорог нам: друг чести, друг народа,
Он славен славою двенадцатого года

(«Второе послание к цензору», 1824 г.),

то Вяземский сохранил другое воспоминание: «Я помню, что во время оно мы смеялись нелепости его манифестов; <... > но между тем большинство — народ, Россия — читали их с восторгом и умилением» (Вяземский, 1929, с. 259).

²⁹ Пыпин, 1916, с. 38, 40, 41.

³⁰ Отрицательное отношение Шишкова в XIX в. к масонству (как и другим формам мистицизма и внецерковной религиозности) не следует переносить на 80-е гг. XVIII века. Предположение В. П. Семенникова об участии его в «Обществе друзей словесных наук» — дочерней организации новиковского «Собрания университетских питомцев», руководимой ревностным масоном М. И. Антоновским, — представляется вполне убедительным (см.: Семенников, 1936, с. 238–241). Имя Шишкова значится в отнюдь не обширном списке подписчиков на «Беседующий гражданин». Отрицательное отношение к литературной деятельности Карамзина впервые проявилось в кругах московских масонов. Резкие критические выступления А. М. Кутузова в конце 1780-х — начале 1790-х гг. против Карамзина явились первыми нападками такого рода и не только исторически предшествовали работам Шишкова, но и психологически их подготовили. Позиция архаиста в вопросах языка была типична для позднего Хераскова, антикарамзинистом был издатель «Друга юношества» М. Невзоров, один из наиболее преданных учеников Новикова (характерное свидетельство отрицательного отношения карамзинистов к Невзорову — «Дом сумасшедших» Воейкова). Ср. также ярко архаистическую позицию М. А. Дмитриева-Мамонова.

³¹ См. некролог Боброва в «Вестнике Европы», 1810, ч. LI, № 11, с. 245–246, подписанный инициалами «С. С.». Среди произведений Боброва здесь упоминается (на с. 246) «Суд в царстве теней, прозою». В «Критико-биографическом словаре» С. А. Венгерова (Венгеров, IV, с. 58; статья о Боброве написана М. Мазаевым), это сообщение цитируется с вопросительным знаком.

³² ЦГАЛИ, ф. 2164, оп. 1, ед. хр. 372.

³³ Крестова, 1961, с. 209.

³⁴ Семенников, 1923, с. 243.

³⁵ Карамзин, 1866, с. 28 (ср. также с. 17).

³⁶ Ср.: «Молодому питомцу Муз лучше изображать в стихах первые впечатления любви, дружбы, нежных красот Природы, нежели разрушение мира, всеобщий пожар Натуры и прочее в сем роде <... >» (Карамзин, 1797, с. VII–VIII).

Ср., вместе с тем, более ранний отзыв Карамзина о Боброве: публикуя в «Московском журнале» стихи Боброва, Карамзин спрашивает Дмитриева в письме от 6 сентября 1792 г.: «Нет ли у вас чегонибудь нового в литературе? — В каком состоянии Бобров?» (Карамзин, 1866, с. 30–31).

³⁷ Карамзин, 1866, с. 97, 99.

³⁸ Журнал российской словесности, 1805, ч. I, № 2, с. 120.

³⁹ См.: Мордовченко, 1959, с. 116–117; Берков, 1934, с. 703–742.

⁴⁰ Московский Меркурий, ч. IV, декабрь, 1803.

⁴¹ Выделения в оригинале передаем курсивом, некурсивные выделения здесь и далее наши.

⁴² Подробный анализ статьи Макарова см.: Левин, 1964, с. 116–146.

⁴³ Кн. П. Шаликов писал: «Издатель Московского Меркурия знал как должно писать рецензию, и в критике на книгу: *О старом и новом слоге* доказал, что он знал многое» («Вестник Европы», 1804, ч. 18, № 24, с. 298).

Впоследствии Греч заявит, что П. И. Макаров «проложил у нас дорогу критике литературной и показал истинную ее важность и значение» (Греч, 1840, с. 389). Здесь же Греч приводит эпиграмму, написанную по случаю смерти Макарова:

Обрадовался наш Бездаров,
Что умер журналист Макаров.
Ну, слава Богу, он сказал:
Могу печатать все, что прежде ни писал!

⁴⁴ Мордовченко, 1959, с. 69.

⁴⁵ Нечто о критике, в кн.: Журнал российской словесности, 1805, ч. I, № 1, с. 6.

⁴⁶ Брусилов, 1803, I, с. 1–17.

⁴⁷ Брусилов, 1803.

⁴⁸ Зачатки такого отношения к французскому языку могут, впрочем, наблюдаться еще и в конце XVIII в. Как свидетельствует Греч, в петербургской юнкерской школе (основана в 1797 г., директор — О. П. Козодавлев) при Павле французскому языку не учили по причине разращения нравственности во Франции, см.: Греч, 1930, с. 215. Ср. отрицательное отношение молодого Павла к галлицизмам и к французско-русской макаронической речи (Порошин, 1881, стлб. 13; ср. Виноградов, 1938, с. 151).

⁴⁹ Это тем более знаменательно, что Макаров был непосредственным преемником Карамзина на посту редактора «Вестника Европы».

⁵⁰ Ср. некролог Макарова в «Северном Вестнике» (1804, ч. IV, № 12, с. 333): «Говорят, кто знал его лично, что он был самого веселого свойства, остроумен в разговорах: сочинения его убеждают в том; имел свои

слабости; но кто их не имеет? <...> Не спорно, что критика его была едка, не всегда справедлива и более сатира нежели критика <...> Он проиграл сим родом занятия, ибо нажил себе неприятелей <...>».

Вообще о личности Макарова см.: Геннади, 1854. Портрет Макарова работы Хааке (из собр. А. Р. Шомилова — Е. Г. Шварца) опубликован в статье Сергея Эрнста (1914, оборот вклейки между с. 44–45). В настоящее время этот портрет находится в Гос. Русском музее (инв. № 3424); в статье Эрнста он приписан А. Н. Воронишину.

⁵¹ Сходные рассуждения относительно эволюции языка можно встретить позже у И. Борна в его «Кратком руководстве к российской словесности» (1808, с. 132).

⁵² Макаров, 1803, с. 160–161. Курсив оригинала.

⁵³ См. комментарии к публикуемому ниже тексту (далее при ссылках — Комментарий), примеч. 2, 37, 252, 254.

⁵⁴ «Скажу откровенно: он [Карамзин. — Ю. Л., Б. У.] более вреден, нежели полезен нашей Литтературе, и с тою-же откровенностью признаюсь, что и сам я, и может быть не я один лучше желал написать то что он, нежели все эпические наши поэты. Он вреден потому еще более, что пишет в своем роде прекрасно; пусть бы русские продолжали писать хуже и не так интересно (любопытно, что Андрей Тургенев употребляет здесь — вероятно, сознательно слово *интересный* в его галлизированном значении, типичном для карамзинистского «нового слога», ср. специально об этом ниже, Комментарий, примеч. 164) только бы занимались они важнейшими предметами, писали бы оригинальнее, важнее, не столько применялись к мелочным родам <...>».

См.: Фомин, 1912, с. 27–28. См. с. 385–388 наст. изд., а также Комментарий, примеч. 233.

⁵⁵ Ср. Комментарий, примеч. 64, 161.

⁵⁶ Ср. Комментарий, примеч. 279.

⁵⁷ Напротив, Державин в те же годы необычайно высоко отзывался о Боброве. Это отношение засвидетельствовано, между прочим, в записках Жихарева (см.: Жихарев, 1955, с. 304, 308, 399, 421, 561).

⁵⁸ В какой-то мере это посвящение может быть объяснено и известностью М. Н. Муравьева как автора в царстве мертвых. Ср.: Жуковский, 1948, с. 298, 306.

⁵⁹ Батюшков мог ознакомиться с текстом «Происшествия в царстве теней» как через того же Муравьева, так и по своим связям с кругами «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», к которым был близок и Бобров.

По предположению И. З. Сермана (см.: Серман, 1974, с. 36; Альтшуллер, 1975, с. 171–173) непосредственным поводом к написанию «Видения на берегах Леты» был провал Крылова на выборах в Российскую Академию. Кажется, однако, что роль Боброва здесь не меньше, если не больше, чем роль Крылова.

⁶⁰ В письме к Гнедичу от 1 ноября 1809 г. Батюшков писал о своем «Видении на берегах Леты»: «Бобров верно тебя размешит. Он тут у МЕСТА». См.: Батюшков, III, с. 55.

⁶¹ Сатира «Галлоруссия» впервые опубликована в изд.: Поэты 1790–1810-х годов, 1971, с. 781–790 (ср. примеч. на с. 883–887).

⁶² Сатира Боброва начинается с откровенной — совершенно невозможной с точки зрения христианской нравственности — радости по поводу смерти ближнего!

⁶³ Ср. характерный отзыв Мерзлякова о Макарове в его письме к Жуковскому 1804 г. (б/д, в Белев): «Макарова узналъ я короче, и к' несчастію своему увидѣлъ въ немъ то, чего не хотѣлъ бы видѣть: — онъ гордецъ и — — позволишь ли ты мнѣ это слово — НЕВѢЖА! Это сказано безъ всякой лютости <? >: мы съ нимъ ни одинъ разъ не ссорились» (ГПБ, архив Жуковского, тетрадь писем к Жуковскому, оп. 2, ед. хр. 73, л. 195).

⁶⁴ «Московский Меркурий», 1803, ч. I, январь, с. 52.

⁶⁵ Там же, ч. I, март, с. 215.

⁶⁶ Глинка, 1895, с. 194.

⁶⁷ «Московский Меркурий», 1803, ч. III, сентябрь, с. 141. Курсив везде оригинала.

⁶⁸ «Московский Меркурий», 1803, ч. I, январь, с. 73. Курсив оригинала.

⁶⁹ Карамзин, III, с. 522.

⁷⁰ «Московский Меркурий», 1803, ч. I, март, с. 178. Ср. еще там же, ч. III, июль, с. 203.

⁷¹ Там же, ч. I, февраль, с. 139–140; ср. еще ч. III, июль, с. 56.

⁷² Цит. по: Окунь, 1948, с. 131.

⁷³ О некоторых реальных основаниях для подобного образа мы говорим на с. 397–400 наст. изд.

⁷⁴ См. подробнее с. 399–400 наст. изд.

⁷⁵ См.: Иванов, I, с. 195. — Не менее характерен следующий эпизод, сообщенный К. Полевому А. С. Пушкиным со слов самого Карамзина: «Накануне, или в самый день приближения французов к Москве, Карамзин выезжал из нее в одну из городских застав. Там неожиданно он увидел С. Н. Глинку, который подле застава, на груде бревен сидел окруженный небольшою толпою, разрывал и ел арбуз, бывший у него в руках, и ораторствовал, обращаясь к окружавшим его. Завидев Карамзина, он встал на бревнах и, держа в одной руке арбуз, в другой нож, закричал ему: — «Куда же это вы удаляетесь? Ведь вот они приближаются, друзья-то ваши! Или наконец вы сознаетесь, что они людоеды, и бежите от своих возлюбленных! Ну, с богом! Добрый путь вам!» Карамзин прижался в уголок своей коляски < . . . >» (см. изд.: Полевой, 1934, с. 251).

⁷⁶ Николай Михайлович, 1901, с. 35–36.

⁷⁷ Исключительно красноречивый факт в этом отношении сообщает С. Т. Аксаков: «Петр Андреевич Кикин был одним из самых горячих и резких тогдашних славянофилов; он сделался таким вдруг, по выходе книги Шишкова: «Рассуждение о старом и новом слоге». До того времени он считался блестящим остряком, французолюбом и светским модным человеком < . . . > Книга Шишкова образумила и обратила его, и он написал на ней «Mon Evangile» («Воспоминание об Александре Семеновиче Шишкове», в изд.: Аксаков, II, с. 284, примеч.). Речь идет об одном из наиболее активных членов и первом секретаре «Беседы любителей русского слова».

Не менее характерно, что инициатива превращения «Беседы» в официальное научное общество с публичными заседаниями принадлежала кн. Б. В. Голицыну, которого Шишков характеризует как человека «разумевшего больше по-французски, нежели по-русски, но любившего и свой язык» (Шишков, 1870, с. 115; Десницкий, 1935, с. 198–199).

Что касается самого Шишкова, то очень характерна басня А. Е. Измайлова «Шут в парике» (1811 г.), в которой Шишков представлен в эксцентрическом сочетании русского и французского наряда. Комментируя эту басню, Д. И. Хвостов писал в своих «Записках» в 1811 г.: «Замысел весь клонится на показание, что сам вице-адмирал Шишков смешивает часто неудачно с славянскими обороты и речения французские, и для того на голове у старика парик французский с пудрою». См. изд.: Поэты-сатирики. . . , 1959, с. 330–331, 687; Литературный Архив, 1938, с. 375.

Совершенно так же хорошо известная галлофобия и утрированный псевдо-русский стиль Ф. В. Ростопчина не противоречит тому, что сам Ростопчин принадлежал к галлизированной части русского общества. Сопоставление обличительного памфлета Ростопчина против французов с его частными письмами со всей убедительностью показывает, что «Ростопчин сам грешил как раз теми именно видами галломании, которые со страстным негодованием обличались в его памфлете» (см.: Кизеветтер, 1915, с. 146, ср. с. 83–85, 95–96). По словам Вяземского, «складом ума, остроумием, был он < Ростопчин > ни дать ни взять настоящий француз. Он французов ненавидел и ругал на чисто французском языке» (Русский Архив, 1877; Кизеветтер, 1915). Ср. Покровский, 1912, с. 20–22, 24–25.

2. Примечания к гл. II

¹ Аналогичный протест содержится и в вышедшей годом раньше «Херсониде» Боброва. В предисловии к поэме Бобров осуждает «суетный ввод многих иностранных слов без нужды, < . . . > также, как и странный перевод чужих речений при достатке и силе своих» («Предварительные мысли», в изд.: Бобров, 1804, с. 12; несколько менее подробно об этом же говорится и в предисловии к первому изданию данной поэмы, см.: Бобров, 1798). Как уже отмечалось исследователями, в ряде случа-

ев Бобров заменяет (в обоих изданиях поэмы) иноязычные выражения специально созданными словами или же описательными оборотами (последние помещены непосредственно в тексте, тогда как первые даются в глоссах); см.: Мазаев, 1895; Петрова, 1971, с. 80. Оправдывая практику словотворчества, Бобров ратует именно за «свежия, смелыя, и как бы с патриотическим старанием изобретенныя имена» («Предварительные мысли» в изд.: Бобров, 1804, с. 11). По его словам, «Забывать вовсе коренный, матерний Славенский язык с неким горделивым небрежением есть то же, как своенравно подвергаться участи блуднаго сына, или безчувственности осляго жребяти. Неблагодарность к родителю всегда гибельна. О! естлибы собственное святилище познания и вкуса поспешило открыться, а мера и осторожность только бы управляла!...» (см. там же, с. 13).

Борьба с иноязычным влиянием вполне соответствует масонской идеологии Боброва. В 80-е годы, когда молодой Бобров вступал в литературу, подобные тенденции в общем характерны для русского масонства. Так, например, в предисловии к переводу «Естественного богословия» В. Дергама, изданного московскими масонами в 1784 г., переводчик (М. Завьялов) специально подчеркивал, что старался избегать при переводе иностранных слов. Тенденция к изгнанию иноязычных слов или к пояснению их русскими (в скобках) характерна и для журнала «Беседующий гражданин» (1789 г.) — журнала, очень близкого к масонству, в котором сотрудничал Бобров. Для более раннего периода можно сослаться на характерную фигуру И. П. Елагина с присущим ему «славяно-русским» слогом и выступлениями против галломании.

² Кстати сказать, как в журналах Новикова, так и у Боброва специфические «петиметрские» выражения специально выделены в тексте. Таким образом соответствующие тексты имеют и определенную педагогическую направленность, выступая именно в качестве образцов правильного языка, своего рода «grammaire des fautes».

³ См. специально с. 398–399 наст. работы.

⁴ Ср. Комментарий, примеч. 22, 268, 71, 126, 139, 192, 202, 217, 258, 140, ср. еще примеч. 103, 222, 234.

Любопытно отметить, что иногда соответствующие языковые позиции перепутаны — но сама противопоставленность их сохраняется. Так, Галлорусс называет арфу сквозными *гусями* — при том, что в авторском тексте фигурирует название *арфа*. Точно так же в авторском тексте употреблено выражение: «запрещение или *амбарго*». Создается впечатление, что иностранные слова (такие, как *арфа*, *амбарго*, ср. также *гений*, *гармония* и др. — см. Комментарий, примеч. 3, 10, 106, 108а; 126) в каких-то случаях более привычны, естественны для самого Боброва, и ему приходится искусственно перестраивать себя в соответствии с представлением о том, каким ДОЛЖЕН БЫТЬ язык. См. специально с. 375–378 наст. работы.

⁵ Эта специфика, между прочим, недооценивается в специальных работах, посвященных пуризму в России. См.: Винокур, 1925, глава «О пуризме» (с. 31–53); Аути, 1973.

⁶ Именно поэтому Екатерина II может утверждать в письме к Фридриху Великому, что русский язык богаче немецкого (см.: Пекарский, 1863, с. 74). Для Екатерины — которая пишет это письмо не по-немецки, а по-французски — русский язык по своим возможностям, видимо, скорее сопоставим с французским (впрочем, в одном из писем к Вольтеру Екатерина отдает предпочтение русскому языку и перед французским, см. изд.: Екатерина, 1803, с. 190). Показательно, вообще, что именно Екатерина обнаруживает явные пуристические тенденции, которые, конечно, находятся в связи с характерной для нее националистической идеологией — психологически вполне естественной для иноземца, занимающего престол в чужой стране. Важно, однако, подчеркнуть, что эти тенденции могут реализоваться именно в обращении к церковнославянской языковой стихии. Не случайно, как отмечал в своих мемуарах П. И. Сумароков («Черты Екатерины Великой», 1819), императрица «язык Руской <...> предпочитала всем другим, много на нем писала, употребляя древние изречения, как то: *аще, дондеже, понеже, якобы*, и несколько педаанствовала» (Русский архив, 1870, с. 2083); точно также в разговоре, по свидетельству Грибовского, Екатерина «любила употреблять простые и коренные русские слова, которых она множество знала» (см.: Пекарский, 1863, с. 36). Не менее характерно, что Екатерина рекомендовала Российской Академии «в сочиняемом академиею словаре избегать всевозможным образом слов чужеземных, а наипаче речений, заменяя оныя словами или древними, или вновь составленными» (см. Сухомлинов, 1874–1888, VI, с. 129); ср. еще цитату из «Былей и небылиц», приводимую у В. Виноградова (1938, с. 137, примеч.).

Уместно напомнить, что Екатерина сочиняла жития русских святых: она собственноручно написала Житие Сергия Радонежского и начала писать Житие митрополита Алексия (сохранились автографы обоих текстов — белового списка первого жития и черного списка второго; они были изданы Бартеневым, см.: Бартенева, 1887). Бартенева (с. VI), который предполагает, что оба Жития должны были войти в дальнейшие главы «Записок касательно русской истории» («Записки...» доведены были в печати только до конца XIII в.), отмечает, что как в этих «Записках», так и в обоих Житиях «Екатерина ведет рассказ свой, то по-русски, то языком церковнославянским», причем «объясняет в скобках менее понятные выражения, например, *исперва* в скобках *сначала*». Любопытно в этом же плане и то, что Екатерина называла праздник Рождества Богородицы по народному — *бабий праздник* (см. об этом в письме Ал. И. Тургенева к П. А. Вяземскому от 8. IX. 1820 г.: «Пора в Совет, хотя сегодня и *бабий праздник*, как говаривала Екатерина, то-есть, Рождество Богородицы», см. изд.: Остафьевский архив, II, с. 62); о сближении церковнославянской и простонародной языковой стихии в этот период будет специально сказано далее в тексте статьи.

⁷ Следует иметь в виду, что целый ряд галлицизмов был усвоен в русском литературном языке именно через немецкое посредничество. Это обстоятельство подчеркнула не так давно Г. Хютль-Ворт в своей рецензии на монографию Ю. С. Сорокина «Развитие словарного состава русского литературного языка. 30–90-е годы XIX века» (ВЯ, 1966, № 3,

с. 107–108). Ср. еще Комментарий, примеч. 15, а также с. 366–367, 372, 375 (примеч. 76) наст. изд. О посреднической роли немецкой культуры во французско-русских культурных контактах упоминает Пушкин в заметке «О французской словесности» (1822 г.), говоря, что «Ломоносов, следуя немцам, следовал ей [французской словесности. — Ю. Л., Б. У.]».

Характерно в этой связи, что при Екатерине II было обращено особое внимание на преподавание немецкого языка: императрица повелела «в своем Государстве, яко имеющем великое число Немцов, преимущественнее другим Европейским языкам обучать Немецкому языку» (см. примечание переводчика (А. Мейера) в кн.: Иерусалемово творение. . ., 1783, с. 11, примеч.). Это тем более знаменательно, что именно в екатерининский период начинается активное усвоение галлицизмов и вообще французское языковое влияние. Ср. протест против увлечения немецким языком в стихотворении «Сила природы» нач. XIX в., приведенном в статье: Альтшуллер, 1975, с. 164.

⁸ Розанов, 1901, с. 459–460. Точно так же, например, протест против галломании в комедии Л. Гольберга «Jean de France» нашел отражение в «Бригадире» Фонвизина, написанном под непосредственным влиянием Гольберга (ср. также более раннюю переделку этой пьесы И. П. Елагиным в 1764 г.). См. об этом: Стендер-Петерсен, 1973, с. 11–30. При этом Фонвизин был знаком именно с немецкой версией гольберговской комедии. Знаменательно, что даже фамилия резонера — Добролюбов — прямо калькирует имя Liebhold, принадлежащее соответствующему персонажу в немецком переводе пьесы Гольберга (см. там же, с. 16, а также Веселовский, 1896, с. 64).

⁹ Я. Ленц приехал в Москву в конце лета 1781 г. и пребывал там до самой смерти, последовавшей в мае 1792 г. Бобров оставался в Москве, по всей видимости, до 1787 г. (см.: Альтшуллер, 1964, с. 227, примеч. 16). Боброва и Ленца мог свести, в частности, И. Е. Шварц (ум. в 1784), бывший профессором Московского университета, где Бобров учился в 1780–1785 гг. (с 1780 г. он учится в гимназии при Московском университете, а в 1782 г. становится его студентом; см. биографическую справку в изд.: Поэты 1790–1810-х годов, 1971, с. 68).

¹⁰ Ср. подробнее ниже, с. 389–393 наст. изд.

¹¹ Общие типологические признаки диглоссии определяются (безотносительно к славянскому языковому материалу) в работе: Фергюсон, 1959.

¹² Винокур, 1959, с. 111.

¹³ Некоторые из этих осмыслений будут специально рассмотрены ниже.

¹⁴ См.: Успенский, 1972; Успенский, 1974. Для суждения о языковой позиции Ломоносова в этот период наглядный материал дают его маргиналии (1736–1739 гг.) на книге Тредиаковского о стихосложении (см.: Берков, 1936, а также комментарий М. И. Сухомлинова в изд.:

Сухомлинов, III, с. 7 и сл. второй пагинации). Между тем, для позиции Кантемира очень показательна авторская переработка сатиры III: если первоначальная редакция этой сатиры (1731 г.) написана славянизированным слогом, то во второй редакции (1738 г.) Кантемир более или менее последовательно заменяет славянизмы на соответствующие русские формы (см.: Серман, 1973, с. 182; Веселитский, 1974, с. 52).

¹⁵ Это отнюдь не противоречит влиянию со стороны французско-немецкого двуязычия, о котором упоминалось выше. Можно сказать, что церковнославянско-русский билингвизм послужил тем фоном, на котором усваивались иноязычные элементы; в соответствии с превращением церковнославянско-русской диглоссии в церковнославянско-русское двуязычие появляются условия для усвоения иноязычно-русского двуязычия. Актуальная роль на этом этапе принадлежит французско-немецкому двуязычию: оно выступает в качестве непосредственной модели, по которой строятся макаронические тексты.

¹⁶ ЧОИДР, 1858, кн. III, с. 143; ср. Лотман, 1958, с. 195.

¹⁷ Лотман и Успенский, 1974, с. 279–280.

¹⁸ Показательно употребление заимствованных слов, наряду с церковнославянизмами, в церковных проповедях в XVIII в. См. об этом: Берков, 1937, с. 221–222; Виноградов, 1938, с. 99. Ср. любопытное свидетельство Вяземского о московском священнике, который в церкви обращался к прихожанам по-французски: «Когда проходил по церкви мимо барынь с кидилом в руке, говорил им: «Pardon, mesdames». См.: Вяземский, 1929, с. 76.

¹⁹ См.: Унбегаун, 1968, с. 133. Ср. историю слова *животрепещущий*, рассмотренную у В. В. Виноградова, 1941, с. 32–38. Аналогично неологизмы на — *бесие*, восходящие к фр. словам на — *manie* (см. Комментарий, примеч. 99) воспринимаются как славянизмы (ср. *мракобесие* и т. п.). Относительно оформления на славянский манер полонизмов см. специально ниже, примеч. 96.

Ср. в этой связи пародийное прилагательное *неудобо-разумо-и-духотдеятелен* в новиковском «Живописце» (1772, ч. II, л. 8), преподносимое как «новое и высокое изобретение осьмагонадесят столетия» и представляющее собой, по-видимому, буквальный перевод соответствующего немецкого выражения (*unbequem-verstandes-und-Geistestätig*) — с характерной мобилизацией церковнославянских языковых ресурсов (показательно, что автор — им является, может быть, сам Н. И. Новиков — считает нужным «избавить всех строителей новороссийского языка от излишних и суетных трудов» и заверить их, что «оного слова не находится ни в славенских книгах, ни в старинных летоисчислениях, ниже и в самых едкою древности обетшалых рукописях», см. изд.: Берков, 1951, с. 405, 407, 409 и сл., 580 и сл.). На то, что слово это могло восприниматься именно как славянизм, с очевидностью указывает то обстоятельство, что оно появляется в протоколах «Арзамаса» — в издательском некрологе, посвященном одному из «беседчиков» (С. С. Филатову), о сочинении которого здесь говорится буквально следующее:

«Зачем или твоя скромность, о вечным сном на лоне Тредьяковского опочивый живой мертвец наш! или банкротство сегодо Ареопага Слова Русского не предало тиснению сего неудобно-разумо-дуодеятельного сочинения?» (см. изд.: Арзамас и арзамасские протоколы, 1933, с. 178). Что касается исходного немецкого выражения, то оно, как полагают, принадлежит Екатерине II и было применено ею к Новикову.

²⁰ О специальных предписаниях на этот счет см. с. 371–372 наст. изд. Точно так же и Бобров, изобретая в «Херсониде» новые слова, которые призваны заменить иноязычные выражения, оформляет их по церковнославянской модели, ср. здесь такие примеры, как *звездоблюстители* (обсерватория) и т. п. (ср. у Курганова: Обсерватория, смекало, башня, звездозорище — Курганов, 1976, с. 254).

Ср. слова Дашкова в рецензии на шишковский «Перевод двух статей из Лагарпа...»: «вместо известного и значительного иностранного слова, везде употребляемого, мне вбивают в голову другое, *Славеноруское*, или, лучше сказать, *Славеноварварское* <...>» («Цветник», 1810, ч. VIII, № 11, с. 296–297). Ср. более ранний протест такого рода в сочинении «Опыт о языке во обще, и о Российском языке» («Собрание новостей», 1775, октябрь) неизвестного автора, призывающего к обогащению русского языка заимствованными словами: «Некоторые <...> Народы восхищенные худоразумеемою любовью к своему Отечеству, желали в собственном своем древнем языке найти названия тех вещей кои в малых их округах прежде не существовали. От того произошли ДОЛГИЕ, НЕПОНЯТНЫЕ и ГРУБЫЕ СЛОВА, которых в закоренелом обычае ни какое просвещение вдруг истребить не может» (с. 60). Эпитеты *долгий* и *грубый* — обычные характеристики церковнославянизмов в условиях полемических выступлений против церковнославянской языковой стихии (о эпитете *долгий* см., например, Левин, 1964, с. 69; Виноградов, 1938, с. 177; ср. еще Комментарий, примеч. 256, а также письмо А. А. Петрова Карамзину от 11 июня 1785 г., где содержится иронический призыв писать «на русскословенском языке долгосложно-протяжно-парящими словами»; относительно эпитета *грубый* см. специально с. 382–384 наст. работы).

Аналогичный протест встречаем и М. И. Плещеева в «Примечаниях» на переведенное им «Предложение о исправлении, распространении и установлении Англинского языка» («Опыт трудов Вольного Российского собрания», ч. III, 1776, с. 35–37). Здесь читаем: «Весьма противен распространению, а некоторым образом и установлению нашего языка обычаи, введенной с некоторого времени, откидывать все чужестранные слова, кои уже в общем употреблении, и, естли так осмелюсь сказать, натурализованы были, и изображать оныя Российскими словами, которых никто не разумеет, или по крайней мере не столь ясное понятие с ними сопрягает, как с первыми <...> Мы думаем, что нельзя хорошо писать, не употребляя отменных, надутых и долгих слов, и не возвышая свой штиль от чего он часто весьма принужден бывает» («Опыт трудов Вольного Российского собрания», ч. III, 1776, с. 35–37).

Ср. в этой связи также пародирование сложных слов у И. А. Кры-

лова, П. П. Сумарокова, Д. В. Дашкова (см.: Альтшуллер, 1975, с. 160–161).

²¹ Характерно, что церковнославянизмы выступают в терминологической лексике наряду с заимствованиями (так в большой степени и в современном языке): и те и другие имеют одинаковую стилистическую функцию, т. е. относятся к книжной лексике. О церковнославянизмах в научной терминологии см.: Исаченко, 1974, с. 264–265. Ср. здесь же (с. 266) любопытные наблюдения о церковнославянском оформлении современных аббревиатур (типа *Главгладпром* = *Главное управление холодильной промышленности* и т. п.).

²² Наглядным показателем общей «славянизации» литературного языка во второй пол. XVIII в. может служить, между прочим, форма грецизмов. В 30-е — 40-е гг. XVIII в. устанавливается правило, согласно которому в светском (не церковном) книжном языке грецизмы оформляются по нормам латинского (эразмова) произношения тогда как в церковнославянском языке их форма отражает византийское (рейхлиново) произношение. Отсюда появляется характерное противопоставление церковнославянской и русской формы одних и тех же греческих слов, типа *театр* — *феатр*, *катедра* — *кафедра* и т. п. (см.: Успенский, 1974, с. 19–20). Таким образом, светская (гражданская) норма вполне последовательно связывается с ЗАПАДНОЙ формой грецизмов (т. е. той формой соответствующих слов, которая представлена в западноевропейских языках), тогда как специфическая ВОСТОЧНАЯ форма ассоциируется с церковнославянской языковой стихией.

Если принять это как исходную фазу развития, мы неминуемо должны будем констатировать, что во второй пол. XVIII в. имеет место явная «славянизация» грецизмов: в русском (гражданском) литературном языке появляются «восточные» формы типа *лавирунф*, *феатр*, *вивлиофика*, *дифирамв* и т. п. (ср. между тем, *дитирамб*, наряду с *дифирамв*, у Сумарокова, причем обе формы дифференцируются стилистически); хотя по свидетельству Сумарокова, форма *Гомер* «многим поизвестнее», чем *Омир* (А. П. Сумароков, О правописании, в изд.: Сумароков, X, с. 28), к концу XVIII в. все чаще встречается форма *Омир*; и т. п. В результате этого процесса (контаминации «восточных» и «западных» форм) в ряде случаев в литературном языке закрепляется компромиссная форма, типа *дифирамб*, *математика* и т. п. (Ср. замечание Сумарокова, что «Мавматика слывет у нас Математика», А. П. Сумароков, Примечание о правописании, цит. изд., X, с. 45). Ср. у Батюшкова в письме к Гнедичу 1817 г.: «Ты печатал *Омер* в прозе, пусть так, но в стихах оставь *Омир*; не то будет пестрота <...>» или приписку В. Л. Пушкина на письме Батюшкова к Гнедичу 1816 г.: «Целую *Омира* или *Омера* и поручаю себя в его дружбу» (Батюшков, III, с. 426 и 391; сам В. Л. Пушкин писал *Омер*, см. его послание «К В. А. Жуковскому»). Точно так же и бобровский Боян говорит *Омир*, *Исиод*, вместо *Гомер*, *Гесиод*, но имя *Демосфен* произносит менее последовательно, т. к. следовало бы произнести *Димосфен* — см. Комментарий, примеч. 101.

Самое замечательное, что указанный процесс охватывает не только

сторонников церковнославянской языковой стихии, но и представителей «нового слога». Так, Карамзин, цитируя в «Историческом похвальном слове императрице Екатерине Второй» (М., 1802) документы екатерининской эпохи, заменяет форму *театр* на *феатр* (см.: Левин, 1964, с. 309); достаточно обычны у Карамзина и другие формы такого же рода (ср. в этой связи с. 377–378 наст. изд. о книжных элементах в «новом слоге»).

Можно сказать, что формы гречизмов как бы демонстрируют кризисную колебаний литературного языка (между «церковнославянским» и «русским» полюсами) в процессе его развития.

²³ См.: Хютль-Ворт, 1970, с. 128. Ср. в этой связи прилагательное *любвюдостойный*, частое в произведениях М. Н. Муравьева (встречается также у И. А. Крылова), которое представляет собой прямую кальку с нем. *liebenswertig* (см.: Левин, 1965, с. 186). Об ориентации на немецкую языковую практику см. на с. 362–363, 372 наст. работы.

²⁴ Бобров, 1804, с. 258, ср. еще с. 179: *круго-зорно* — *горизонтально* (в качестве эквивалента слова *горизонт* здесь выступают также *обзор* и *глазом*). Бобров мог заимствовать эту идею в письмовнике Курганова, который предлагал такую же замену «*Горизонт*, озречь, кругозор» (см.: Курганов, 1790, с. 228; ср.: Виноградов, 1954, с. 20). Ср. также предложение Е. Станевича (1809, с. 4) употреблять вместо *горизонт* — *обзор*. О истории заимствования *горизонт* см.: Биржакова, Войнова и Кутина, 1972, с. 283–284.

²⁵ См. специально: Успенский, 1971, с. 499–509. Показательно, в частности, что фрикативный [γ], принятый в церковнославянском произношении, мог соответствовать в заимствованном слове как фрикативному, так и взрывному звуку исходной формы (см. там же, гл. IV, с. 236).

²⁶ См., например: Унбегаун, 1951 (о слове *прохлаждаться* и родственных выражениях); Хютль-Ворт, 1963, с. 145 (о словах семантического ряда: *обаятельный*, *очаровательный* и т. п., ср. об этих словах: Лотман, 1970; Виноградов, 1953, с. 208–209; Хютль-Ворт, 1974, с. 35; ср. также Комментарий, примеч. 68 и 111); Виноградов, 1941, с. 20–32 (о словах *витать*, *мерцать*). Ср. еще в этой связи: Виноградов, 1938, с. 160–161; Виноградов, 1935, с. 264; Левин, 1964, с. 64; Хютль-Ворт, 1974, *passim*.

Примером такого рода может служить и слово *предварить*. Восходя к церковнославянскому *прѣдварити* «раньше совершиться» (см. примеры у Срезневского) этот глагол в XVII в. ассоциируется с фр. *prévenir*, имеющим два значения: 1) известить, 2) предотвратить. Соответственно в конце XVIII и нач. XIX вв. этот глагол может употребляться в значении «известить», ср. в письмах Дмитриева 1820 г.: «Если вы еще ничего не послали, то ПРЕДВАРЯЮ вас, что для меня приятнее было бы получить не стихи а прозу» или «Книга <...> та самая, о которой некогда ПРЕДВАРЯЛИ во французских газетах» (ИОРЯС, 1904, кн. 3, с. 317). Вероятно, с *prévenir* мог соотноситься и глагол ПРЕДУПРЕЖДАТЬ.

²⁷ Н. М. Карамзин, «Отчего в России мало авторских талантов?» (1802), в изд.: Карамзин, III, с. 528.

²⁸ Ярким примером может служить освоение причастий в живой русской речи. Как известно, еще Ломоносов настаивал в своей «Русской грамматике» (1755, §§343, 440, 444, 453), что как действительные, так и страдательные причастия настоящего времени могут образовываться исключительно от глаголов «славянского происхождения», но ни в коем случае не «от простых российских»; соответствующие указания могут повторяться и в более поздних грамматических руководствах. В другом сочинении («О пользе книг церковных») Ломоносов отмечает, что причастия и деепричастия в «обыкновенном российском языке» неупотребительны. (Вместе с тем, причастное процессуальное значение может выражаться в языке прилагательными на *-тельн* — ср. в этой связи Комментарий, примеч. 29, 50, 146, 166). Если положение резко меняется уже к началу XIX ст., то причина этого лежит именно в освоении иноязычных форм, которые закономерно оформляются как церковнославянизмы. Так, если мы читаем, например, в «Трудолюбивой пчеле» (1759, декабрь, с. 752–753): «Петиметр <...> есть как некоторой Французской Стихотворец говорит: животное КРИТИКОВАННОЕ, КРИТИКУЮЩЕЕ и КРИТИКУЕМОЕ» («Из Гольберговых писем» перевод с датского Ивана Борисова), то совершенно ясно, что причастные формы в этом примере просто-напросто калькируют исходный иностранный текст. Точно так же и в других случаях причастные формы могут появляться в русской речи как кальки с европейских языков: примером может служить хотя бы перевод фр. *touchant* в 70–80-е гг. как *трогающий* (с 80-х гг. появляется прилагательное *трогательный*, которое в конце концов и вытесняет причастную форму; см. Комментарий, примеч. 166); при этом глагол *трогать* представляет собой типичный случай «простого русского» глагола (а не славянского происхождения). Насколько причастные формы были характерны для переводных текстов, можно видеть, между прочим, и из перевода «*Bourgeois-gentilhomme*» Мольера как «Мещанин дворянующейся» (1758 г., ср. отсюда название комедии В. И. Колычева «Дворянующейся купец» 1780 г. как русской переделки пьесы Мольера). В результате причастия перестают быть исключительной монополией высокого слога и проникают в разговорную речь (ср. соответствующие формы в речи Галлорусса в рассматриваемом памфлете Боброва, см. Комментарий, примеч. 48, там же приводится и параллель из «щегольского наречия» второй пол. XVIII в.). Итак, причастные формы проникают в живой русский язык именно благодаря посредничеству западноевропейской языковой стихии. Вполне естественно, что карамзинист В. С. Подшивалов специально рекомендует в своем «Сокращенном курсе русского слога» (1796) — «не избегать употребления причастий, которые более Российскому языку свойственны, нежели безпрестанное: *который, который*» (с. 52–53, ср. еще с. 27). Нетрудно усмотреть здесь полемику с Ломоносовым, причем сама возможность этой полемики обусловлена иноязычным влиянием на русский язык. Ср. также указание в цитированном уже соч. «Опыт о языке...» неизвестного автора-галломана («Собрание новостей», 1775, октябрь), что

«причастии, в настоящем и прошедшем времени, могут быть производимы от всех глаголов» (с. 72), — указание, вполне соответствующее общей ориентации данного сочинения на европейскую языковую стихию (правда, если судить по приводимым примерам, не исключено, что под «причастиями» автор имеет в виду деепричастные формы).

Весьма знаменательны в этой связи полемические замечания Д. В. Дашкова на шишковский перевод статей Лагарпа. Констатируя, что Шишков в своем переводе «отвергает и < причастные > окончания на *щий*, как НЕПРИЯТНЫЕ ДЛЯ СЛУХА», Дашков возражает: «Признаюсь, что не взирая на сию неприятность, я предпочитаю русское причастие *созерцающий* Славянскому *созерцаый*» (Дашков, 1810, с. 284). Таким образом, причастия не воспринимаются уже как специфические «славянские» формы, но именно как формы собственно «русские», причем обе полемизирующие стороны по существу единодушны в такой трактовке (в силу этого и расходясь в своем отношении к причастиям).

Впоследствии Н. И. Греч напишет, фактически повторяя сказанное Подшиваловым: «Некоторые грамотеи выражали странное мнение, будто причастия и деепричастия могут быть употребляемы только в книжном языке, в высшем слоге, придерживающемся оборотов церковного языка. Мы находим это несправедливым: гораздо лучше, приятнее, выразительнее, короче, употреблять причастия и деепричастия, нежели затычки: *который, кой, как так, после того что, когда тогда* и т. п. На это возгласит, что у нас они не употребляются в изустном разговоре. Вольно говорить дурно!» (Греч, 1840, с. 44–45). Ср. еще замечания Пушкина о причастиях в «Письме к издателю» 1836 г., цитируемые на с. 466 наст. работы (примеч. 241).

²⁹ Очень характерен следующий эпизод, о котором рассказывается в «Старой записной книжке» Вяземского: «В конце минувшего столетия сделано было распоряжение коллегией иностранных дел, чтобы впредь депеши наших заграничных министров писаны были исключительно на русском языке. Это переполошило многих из наших посланников, более знакомых с французским дипломатическим языком, нежели с русским. Один из них в разгар Французской революции писал: *гостиницы гозбят бесштанниками*, что должно было соответствовать французской фразе: *les auberges abondent en sansculote*» (Вяземский, 1929, с. 101–102). И так, сама ситуация перевода естественно обуславливала использование церковнославянских языковых средств. Не менее показательное мнение Вяземского (которым он нашел возможным поделиться с императрицей Марией Александровной), что Александр I подписывал манифесты, составленные Шишковым только по недостаточному знакомству с русским (литературным) языком: «< ... > император Александр, если не по литературному, то по врожденному чувству вкуса и приличия никогда не согласился бы подписывать такой сумбур, предложенный ему на французском языке. Но малое поверхностное знакомство с русским языком — тогда еще не читал он Истории Карамзина — вовлекали его в заблуждение: он думал, что, видно, надобно говорить таким языком, что иначе нельзя говорить по-русски < ... >» (там же, с. 260). Вяземский, конечно, говорит о незнании Александра с русским ЛИТЕ-

РАТУРНЫМ языком, причем для карамзиниста Вяземского литературный язык — это язык «нового слога», который не завоевал еще окончательно свои позиции (и к тому же имел слишком очевидную связь с политически одиозным в этот период французским языком). Славянизированный русский язык выступал, видимо, для Александра на тех же правах, что и французский, т. е. именно на правах языка литературного (книжного): и тот и другой противостоял русской разговорной речи.

Совершенно так же, когда кн. Д. В. Голицын, готовя речь при выборах в Московском дворянском собрании, хотел «высказать французское значение: *la conscience est un juge inéxorable* и сказать *неумолимый судья*, < ... > Мерзляков не одобрил этого слова и предложил *неумытный*», то есть церковнославянский вариант (см.: Вяземский, VIII, с. 190).

Очень характерно в этом плане замечание рецензента «Сын Отечества», относительно перевода комедии «Притворная неверность», осуществленного Грибоедовым и Жандром: «Смело можем рекомендовать перевод сей любителям поэзии < ... > Известно, сколь трудно переводить с *разговорного французского языка на книжной русской*» («Сын Отечества», 1818, № 19, с. 263; курсив оригинала).

³⁰ Н. М. Карамзин, «Пантеон российских авторов. Князь Кантемир» (1802 г.), в изд.: Карамзин, I, с. 577; И. И. Дмитриев. Взгляд на мою жизнь, в изд.: Дмитриев, II, с. 59–61.

³¹ «Московский журнал», 1791, ч. IV, кн. 1, с. 112. Непосредственным поводом для этого замечания послужила фраза: *Колико для тебя чувствительно* в русском переводе «Клариссы» Ричардсона.

³² Левин, 1964, с. 24–25.

³³ См. изд.: Фонвизин, I, с. 444, ср. Левин, 1964, с. 17–18, а также с. 55.

³⁴ Левин, 1964, с. 31, 60.

³⁵ «Известие» (от переводчика), в изд.: «Освобожденный Иерусалим, ироническая поэма, италийскаго стихотворца Тасса, переведена с Французскаго Михайлом Поповым», ч. I, СПб., 1772, с. 10. Ср. рассмотрение языка этого перевода у В. Д. Левина, 1964, с. 32–34. См. также аналогичные высказывания М. Попова в «предъизвещении» к переводу дидактической поэмы Дора «На феатральное провозглашение», см.: Виноградов, 1938, с. 159.

³⁶ См.: Левин, 1964, с. 59, 61.

³⁷ Ср. отзыв А. Т. Болотова о языке романа П. Львова «Российская Памела...» (СПб., 1789): «< ... > что касается до отгаги господина сочинителя помещать тут же в сочинении своем многие совсем вновь испеченные и нимало еще необыкновенные слова, как например: *себялюбие, себялюбивый, белолынистая борода, флейтоигральщик, челопреклонцы, великодушцы, щедротохищники* и другие тому подобные: так в сем случае он совсем уже невинителен, и ему-б было слишком еще рано навязывать читателям подобные новости, а надлежало б наперед

акредитоваться поболее в сочинениях» (А. Болотов, «Мысли и беспристрастные суждения о романах как оригинальных российских, так и переведенных с иностранных языков», ч. I, 1791 г., в изд.: Болотов, 1933, с. 217). Показательно, вместе с тем, что речь идет в данном случае о произведении, хотя и оригинальном, но явно ориентирующемся на западноевропейский литературный источник («Памелу» Ричардсона). Ср. в анонимной сатире на П. Львова: «предлинные слова в шесть, семь слогов ковал < . . . >» (см. полную цитату ниже, Комментарий, примеч. 256).

³⁸ См.: Вяземский, 1929, с. 76. Процесс архаизации языка в конце XVIII — нач. XIX в. был отмечен Мерзляковым, который писал в одной из своих статей: «Часто погрешают и некоторые страстные любители языка славянского. Что встречаем в их сочинениях? Слова обетшальные славянские вместе с простыми и общенародными и притом в оборотах чужестранных, или сряду старой язык славянской, от которого мы уже отвыкли. Возьмите оды и похвальные стихи Ломоносова и сравните их с некоторыми нынешними стихотворными словено-российскими сочинениями. Читая первого, я не могу остановиться ни на одном слове: все мои родные, все кстати, все прекрасны; читая других, останавливаюсь на каждом слове, как на чужом. Согласитесь, М. Г., что Ломоносов также встречал в книгах церковных: *толща, влаются, исподнейшее, дрожди* и тому подобное, но он не употреблял их. Как же мог другой, спустя 60 лет, надеяться пленить сими словами публику, еще более в продолжение сего времени удаленную от славянского» (Мерзляков, 1812, с. 72).

³⁹ Ср., между прочим, характеристику калькированных выражений или заимствованных слов как *нежных* — при том, что этим эпитетом с 30-х гг. XVIII в. характеризуются вообще собственно русские формы, в отличие от церковнославянизмов, которые расценивались, напротив, как *жест(о)кие*. См. специально об этом с. 382 и сл. наст. изд.

⁴⁰ В ситуации церковнославяно-русской диглоссии заимствуемые формы (за исключением грецизмов), как правило, относились к «русской» языковой стихии, т. е. к тому полюсу, который противостоял в языковом сознании книжному церковнославянскому языку.

⁴¹ Ср. с. 389 и сл. наст. изд.

⁴² В. К. Тредиаковский, «Разговор между чужестранным человеком и российским об орфографии старинной и новой и о всем что принадлежит к сей материи», в изд.: Тредиаковский, III, с. 203. В другом месте Тредиаковский писал, что «язык наш стал славено-российским [из «славянского». — Ю. Л., Б. У.], для того что ужé он начал принимать слова варяжския, то есть Российския, каковы, может быть, *лоб* вместо *челá*, *вор* вместо *татя*, *глаз* вместо *ока*, *рот* вместо *уста*, *губы* вместо *устне*, *изба* вместо *клеть*, *крик* вместо *воплъ* и прочия премногия, так как он же ныне примешал, приняв прежде многия и татарския слова, в себя ж от сообщения токмо многияж из всех почитай Европейских < . . . >» (В. К. Тредиаковский, «Мнение о диссертации господина профессора Миллера», в изд.: Пекарский, II, с. 246). Ср. отсюда у Татищева харак-

теристику таких собственно русских (а не «славянских») слов, как *это, вот, чють, очюнь, эво, чорт, пусяю*, как «сарматских», то есть немскоязычных, иноязычных по своему происхождению [см. его письмо к Тредиаковскому от 18 февраля 1736 г. (Архив АН, разр. II, оп. 1, № 206, л. 94 об.)], а также Татищев, 1887, с. 91); перспектива церковнославянского языка выступает в подобных суждениях особенно наглядно.

Точно также и Д. В. Дашков позднее писал, что хотя «основанием Руского языка есть Славенский», но «в наречие Руское вмешалось множество татарских и других иностранных слов» и от того «оное наречие отделилось совершенно от своего корня < . . . > и таким образом стало особым языком, как другие Европейские» (Дашков, 1811, с. 31–32); ср. еще в рецензии Дашкова на шишковский перевод лагарповых статей: «Язык, которым говорим мы, давно уже отделился от Славенскаго введения множества Татарских слов и выражений, совсем прежде неизвестных» (Дашков, 1810, с. 260).

⁴³ Укажем в этой связи, что еще Симеон Полоцкий видел свою заслугу в том, что обогатил «славенский» язык «странными идиоматы», т. е. иноязычными речениями. Он так писал о себе: «Аз, многогрешный раб Божий, Его Божественною благодатию сподобивыйся странных идиомат пребогатоцветныя вертограды видети, посетити и тех пресладостными и душеполезными цветы услаждения душеживителнаго, вкусити, тщание положих многое и труд немалый, да и в домашний ми язык славенский, яко во оплот или ограждение церкви Российския, оттуду пресаждение кореней и пренесение семен богодухновенно-цветородных содею, — не скудость убо исполняя, но богатому богатство прилагая, занеже имущему дается» (из предисловия к «Вертограду многоцветному», см. изд.: Симеон Полоцкий, 1953, с. 206). Характерно, между тем, отношение современников к языку Симеона Полоцкого; они отказывались видеть в нем чистый церковнославянский язык, но воспринимали его, скорее, как «славенороссийский», т. е. специфический русский литературный язык, отличающийся от церковнославянского. Попутно отметим, что уже на этой стадии заимствованные формы коррелируют с высоким слогом.

⁴⁴ Ср. Комментарий, примеч. 2, 78, 163, а также примеч. 37, 252, 254.

⁴⁵ Бобров, 1804, с. 13.

⁴⁶ Макеева, 1961, с. 109–110. Ср.: Сухомлинов, VII, с. 688–689, X, с. 400.

⁴⁷ Обе статьи Сумарокова опубликованы в январском и февральском выпусках «Трудолюбивой пчелы» за 1759 г.

⁴⁸ Капнист, 1815; А. С. Шишков, «Опыт Славенского словаря. . . », в изд.: Шишков, V, с. 94. Характерна также записка М. М. Сперанского «О коренных законах государства» (1802 г.), где говорится, в частности, что «коренные государства законы должны быть творением народа; коренные государства законы полагают пределы самодержавной власти», т. е. термин «коренные законы» связывается прежде всего с естественным органическим началом. Этот термин фигурирует в дальнейшем и в

составленным Сперанским «Введении к Уложению государственных законов» (1809 г.). См. изд.: Сперанский, 1961, с. 28 и сл. (особенно с. 31), 145 и сл.

⁴⁹ См., например, анонимный «Опыт о языке...» («Собрание новостей», 1775, октябрь). Предлагая к употреблению выдуманный им глагол *сослушать*, автор замечает: «Равным образом МНОГИЕ ДРУГИЕ ПЕРВОБЫТНЫЕ ГЛАГОЛЫ МОГУТ СОСТАВЛЯТЬСЯ ПО ПРИЛИЧНОСТИ В ЯЗЫКЕ И ВОЙТИ В ОБЫКНОВЕНИЕ» (с. 68).

⁵⁰ См.: Сухомлинов, 1874–1888, VIII, с. 127–128. Ср.: Левин, 1964, с. 65–66.

⁵¹ Ср. замечания о влиянии немецкой языковой ситуации выше, с. 362–363 наст. изд.

⁵² Ср. в этой связи в «Кошельке» (1774, л. I) обсуждение возможности «с крайнею только осторожностью употреблять иностранные речения», а вместо этого «отыскивать коренные слова российские и сочинять вновь у нас не имевшихся, по ПРИМЕРУ НЕМЦЕВ» (ср. изд.: Берков, 1951, с. 478–479). В свете сказанного представляет интерес публикация книги: «Собрание немецких и иностранных в немецком языке принятых первообразных слов» (СПб., 1792). Равным образом и Карамзин пишет в письме к Бонне от 22 января 1790 г., помещенном в «Письмах русского путешественника»: «Надобно будет составлять или выдумывать новые слова, подобно как составляли и выдумывали их Немцы, начав писать на собственном языке своем» (см.: Карамзин, III, с. 312). Ср. к сказанному примеры неологизмов, созданных по немецкому образцу, приводимые на с. 417 (примеч. 19 и 367 наст. работы), а также такие кальки с немецкого как *мировоззрение* — *Weltanschauung*, *прекраснодушие* — *Schönseligkeit* (см.: Винокур, 1959, с. 104), *состоять* — *bestehen* (см.: Унбегаун, 1969, с. 48, ср.: Фасмер, III, с. 728).

Еще Н. С. Тихонравов отмечал, что многие церковнославянизмы переводных пьес нач. XVIII в. являются семантическими «германизмами, морфологически точными снимками с немецких слов». См.: Тихонравов, 1874, I, с. XXI; II, с. 550–551 (примеч.); Виноградов, 1938, с. 29–30.

⁵³ Попытку, так сказать, научного подхода к проблеме можно наблюдать у Тредиаковского, который, например, логически выводил ударение *вѣсну* (форма вин. падежа), исходя из закономерностей перетяжки ударения на предлог. Расценивая эти закономерности как исконные для русского языка (в иных терминах — как относящиеся к «коренному» состоянию языка). Тредиаковский признает ударение *вѣсну* за «правое и нашему языку природное» (см.: В. К. Тредиаковский, «Ответ [А. П. Сумарокову. — Ю. Л., Б. У.] на письмо о сафической и горацанской строфах», в изд.: Пекарский, II, с. 255).

⁵⁴ Бобров, 1804, с. 13. Несколько ранее тот же призыв мы встречаем у Галинковского, который писал в «Корифее»: «Надобно быть везде русским. Надобно особенно составлять свой национальный вкус» (кн. II, СПб., 1802, с. 170).

⁵⁵ См. специально об этом в Комментарий, примеч. 64.

⁵⁶ Ср.: Трубецкой, 1927, с. 81, а также Будде, 1908, с. 29.

⁵⁷ Это переосмысление, между прочим, отражается — с известным запаздыванием — на семантической эволюции слова *славянофил*, первоначальное значение которого связано прежде всего с лингвистической установкой (ориентацией на церковнославянскую языковую стихию) и которое лишь впоследствии ассоциируется с национально-романтической идеологией (ср. Вяземский, VIII, с. 483–484). В своих истоках славянофильство вовсе не имело того оттенка «почвенничества», которое оно получает позже. Возрождение первоначального смысла славянофильства в какой-то степени можно усмотреть, по-видимому, в евразийском движении, по крайней мере у некоторых его представителей. См. особенно: Трубецкой, 1927.

Фасмер считает, что слово *славянофил* употребляется в русском языке с 1811 г., приписывая его создание В. Л. Пушкину (имеется в виду, конечно, «Опасный сосед»), см.: Фасмер, III, с. 666. Между тем, оно употреблялось и раньше: в частности, С. Т. Аксаков свидетельствует, что оно было в ходу в 1808 г. (см. его «Воспоминание об Александре Семеновиче Шишкове» в изд.: Аксаков, II, с. 270), ср. также у Батюшкова в «Видениях на берегах Леты» (1809 г.), где Шишков говорит о себе: «аз есмь зело славенофил». Вместе с тем, это слово можно встретить уже в 1804 г. в письмах И. И. Дмитриева к Д. И. Языкову, где речь идет о книге Шишкова (см. письма от 15 сентября и 31 октября 1804 г. в изд.: Дмитриев, II, с. 188 и 190). Таким образом, есть основания связывать появление данного слова с выходом «Рассуждения о старом и новом слоге...»; надо полагать, что оно было создано литературными противниками Шишкова и первоначально применялось к нему персонально, но постепенно вошло в общее употребление, приобретя при этом характер литературного термина.

На то, что данное слово на первых порах относилось персонально к Шишкову, имеем достаточно много указаний. Так, в частности, именуется Шишков у Батюшкова в «Видении на берегах Леты» (1809 г.) и в «Певце в Беседе любителей русского слова» (1813 г.).

Соответственно, в «Опасном соседе» В. Л. Пушкина Ширинский-Шихматов называется не «славянофил», но «славянофилов кум» (см. цитату ниже в примеч. 70 на с. 433 наст. изд.), а Катенин пишет Бахтину 26 апреля 1825 г.: «Книга его должна идти <...> через МИНИСТРА ПРОСВЕЩЕНИЯ, ИЖЕ ЕСТЬ СЛАВЕНОФИЛ» (Катенин, 1911, с. 86–87).

Едва ли не первый случай употребления слова *славянофил*, как нарицательного имени представлен в письме Гнедича к Батюшкову от 6 декабря 1809 г. Гнедич пишет здесь: «Славянофилы распяли меня, толкают Иллиаду и меня с нею <...>» (см.: Гнедич, 1974, с. 84). Знаменательно, что цитируемое письмо представляет собой отклик на батюшковское «Видение на берегах Леты» и в нем, в частности, есть такая фраза: «Без сомнения; что приезд славянофила [в данном случае имеется в виду именно Шишков — Ю. Л., Б. У.] есть оригинальнейшая из картин [в «Видении...»]». Таким образом, Гнедич переосмысляет

данное слово как общее наименование, хотя в этом же письме он может употреблять его и как персональное наименование — при том, что у Батюшкова «славенофилом» назван Шишков. Отметим, кстати, что в том же письме Гнедич употребляет в аналогичном значении выражение: «член славянофила», ср.: «Два бывшие со мною приключения пусть послужат тебе доказательством, как самая наружность нынешних людей оподлена: у Шиш[кова] я одному из членов славенофилизма приказывал подать мне воды, почитая его лакеем; в доме Держ[авина] у одного из его юных поклонников спросил: куда у них на двор ходят? почитая его тоже лакеем» (цит. изд., с. 85).

Итак, мы можем предполагать, что слово *славянофил* становится нарицательным именем после — и под непосредственным влиянием — «Видения на берегах Леты», т. е. с 1809 г. Характерно, что это же произведение послужило и источником слова *варягоросс* (см. об этом примеч. 70 на с. 432 наст. изд.). Для истории этого переосмысления представляет интерес следующее замечание в анонимном рассуждении «Что желательно в пользу Российского языка», опубликованном в журнале «Улей», ч. I, СПб., 1811 (с примечанием, что это произведение «Особь, занимающей почетную степень в Государстве и на Парнасе Российском»): «Не орудие виновно в произведении какого-либо зла, но тот, кто во зло употребляет. От того же может быть название Славенофила принято за эпиграмму и неуместный набор слов древних в новом письме, сия нашивка заплаток на новом платье, произвел забавное выражение: «нашпиковать Славенщиною» [sic!]» (с. 8).

Для позднейшей истории слова *славянофил* см.: Сорокин, 1965, с. 321–324.

⁵⁸ См. об этом выше, с. 353 наст. изд., а также ниже, в Комментариях, примеч. 55 и 161.

⁵⁹ Что касается формы *славянский*, то она первоначально выступает как дублетный вариант к форме *славенский*, разделяя все значения этой последней формы. См., например, употребление формы *славянский* в лингвистическом, а не в этнографическом смысле в «Письме к Ломоносову 1784 года» О. П. Козодавлева (Козодавлев, 1784, с. 167–171), где дается следующий отзыв о современных автору стихотворцах:

Иной летит на верх и бредит по славянски,
Другой ползет внизу и шутит по крестьянски.

Ср. регулярное употребление формы *славянский* при обозначении церковнославянского языка уже в сочинении (А. А. Ржевского?) «О Московском наречии» (Ржевский, 1763), а также у Ф. Г. Карина в «Письме к Николаю Петровичу Николеву о преобразителях Российского языка...» (1778). В дальнейшем форма *славянский* вытесняет форму *славенский*, причем основным значением этой формы становится значение этнического термина. Однако, форма *славенский* была еще довольно устойчивой в первой половине XIX в. Так, А. Х. Востоков в «Рассуждении...» 1820 г. говорит о «языке славянском или вернее славенском» Митрополит Филарет (Дроздов) всегда писал *славенский* вместо *славянский*

(см.: Чистович, 1899, с. 23, примеч. 1). Между тем, прот. Павский писал 7.VII. 1822 г. В. М. Попову в связи с подготовленным изданием Псалтири: «вместо *славенский* мы говорим и пишем *славянский*, что и напечатано в предисловии и в заглавном листе при Новом Завете. Для наблюдения единства следовало бы и здесь [в Псалтири] вместо *славенский* исправить *славянский*» (там же, с. 39).

⁶⁰ См.: Чулков, 1766–1768 (ср. переиздания 1770–1789 гг.); Попов, 1768.

⁶¹ См. об этом в «Рассуждении о вычищении, удобрении и обогащении российского языка» (М., 1786), автором которого считают иеромонаха Моисея Гумилевского (известного проповедника и преподавателя Московской славяно-греко-латинской академии, будущего епископа). Вполне последовательно с этой точки зрения автор «Рассуждения...» распространяет борьбу с заимствованными словами и на гречизмы, предлагая, например, употреблять вместо *литургия* — *служба*, вместо *кафедра* — *проповедалище*. В устах духовного лица эти предложения особенно знаменательны. [Что касается замены *кафедра* на *проповедалище*, то это предложение, кажется не ограничивается индивидуальной точкой зрения автора «Рассуждения...»: так, например, в книге «Иерусалемское творение о немецком языке и учености...» (1783; перевод с немецкого А. Мейера) после слова *кафедра* дается в скобках русский эквивалент — *проповедалище* (с. 16)].

Ср. в дальнейшем пуристический протест против гречизмов у Ю. Венелина в его «Мыслях о истории вообще и русской в частности» (1847, с. 1): автор предлагает заменить слово *история* на *изображение* или *описание*, слова *археология* и *археография* — на *чинопись*, употреблять *законопись* в смысле «*potograpfia*», *правопись*, *правоведение*, *законоведение* — в смысле «*dicaeograpfia*»; показательно, что в семантическом отношении автор явно ориентируется при этом на греческий язык, считая необходимым передавать по-русски именно те понятия, которые отражены в греческом словаре.

⁶² Ср. в этой связи проект «Сравнительного словаря славянских наречий» А. С. Кайсарова, обусловленный именно стремлением к воскрешению «славянской» языковой стихии (см.: Лотман, 1958), или аналогичное предложение Шишкова в «Записках Российской академии» (Собрание 21 января 1822 г., ст. II, прилож.; см. Сухомлинов, VIII, 1874–1888, с. 216–217). О необходимости такого словаря писал и Анастасевич в предисловии к публикации «Взгляда на Богемскую словесность и на связь между собою отраслей Словенского языка» Иоанна Коссаковского («Улей», 1811, т. II, № 8; см.: Замков, 1922, с. 61, примеч. 2).

⁶³ Карамзин, 1803, с. 210 (или: Карамзин, III, с. 604). [Затрудняемся сказать, отчего Карамзин выделяет курсивом слово *предлог* (фигурирующее уже в грамматике Мелетия Смотрицкого) — не оттого ли, что имеются в виду приставки и, таким образом, *предлог* употребляется здесь в архаическом значении? Может быть, нелишне отметить, что правя сочинения Муравьева, Карамзин (как и Батюшков) исправляет

данное слово и тогда, когда оно выступает в ином значении, заменяя *предлог* на *предмет* (см.: Левин, 1965, с. 186–188)].

Ср. вместе с тем противопоставление древнерусского и церковнославянского (старославянского) языка уже у Ломоносова, который писал в 1764 г.: «Речи, в Российских летописях находящиеся, разнятся от древнего Моравского языка, на которой переведено прежде священное писание. Ибо тогда Российский диалект был другой, как видно из древних речений в Несторе, каковы находятся в договорах первых Российских князей с царями греческими. Тому же подобны законы Ярославовы, «Правда Русская» называемые; также прочия исторические книги, в которых употребительны речи в Библии и других церковных книгах, коих премного, по большей части не находятся < . . . >» («Мнения г-на статского советника и проф. Ломоносова, в собрание поданное. . .» [Отзыв о плане работ А. Л. Шледера, 1764 г.], в изд.: Билярский, 1865, с. 704). Если позиция Карамзина, таким образом, соотносима с позицией Ломоносова, то позиция Шишкова соответствует позиции Тредиаковского.

⁶⁴ Каченовский, 1816, с. 257. Ранее Каченовский отождествлял церковнославянский и праславянский языки (например, в статье «Об источниках для русской истории», 1809). Ср.: Булич, 1904, с. 725, 775; Мордовченко, 1959, с. 96–97; Кларк, 1975, с. 498–500.

Очень характерен отклик Батюшкова на доклад Каченовского, прочитанный в 1816 г. в Московском Обществе любителей российской словесности (и напечатанный затем в «Трудах» этого общества, ч. VII, 1817 г.). В письме к Гнедичу от 28–29 октября 1816 г. Батюшков пишет: «Каченовский читал *разсуждение о славянских диалектах*. Я не критик, я невежда, но кажется, он режет истину. Он утверждает, что Библия писана на сербском диалекте: то же, думаю, говорит и Карамзин. А славенский язык вовсе исчез; он чистый и не существовал, может быть, ибо под именем Славен мы разумели все поколения славенския, говорившия разными наречиями, весьма отличными одно от другого. Он разбудит славенофилов. Если правду говорит Каченовский, то каков Шишков с партией! Они влюблены были в Дульцинею, которая никогда не существовала. Варвары, они изказили язык наш славенщиною! Нет, никогда я не имел такой ненависти к этому мандаринному, рабскому, татарско-славенскому языку, как теперь! Чем более вникаю в язык наш, чем более пишу и размышляю, тем более удостоверюсь, что язык наш не терпит славенизмов, что верх искусства — похищать древния слова и давать им место в нашем языке, котораго грамматика, синтаксис, одним словом, все — противно сербскому наречию. Когда переведут Священное Писание на язык человеческий? Дай Боже! Желаю этого» (см. изд.: Батюшков, III, с. 409–410). — Соответственно, в наброске статьи о русской словесности 1817 г. Батюшков пишет: «Библия, которую мы по привычке зовем славенскою» (II, с. 336). Ср. затем противопоставление церковно-книжного языка Библии и народного «славянского» языка у А. А. Бестужева, Н. А. Полевого (см. цитаты у В. В. Виноградова, 1935, с. 24).

⁶⁵ Ср. письмо Капниста к А. А. Прокоповичу-Антоновскому от 17

января 1793 г. в «Трудах Общества любителей российской словесности (Сочинения в прозе и стихах)», ч. III, М., 1823, с. 338. Ср. возражения К. Калайдовича там же, с. 342–348.

⁶⁶ Позднее, отвечая на критику Полевого (см.: «Московский Телеграф», 1833, № 8, апрель, с. 563–567), Катенин писал о славянофилах: «Они не почитают „язык церковнославянский древним русским“; знают не хуже других, что Библия переведена людьми не русскими; но уверены, что с тех пор, как приняла ее Россия, ею дополнился и обогатился язык русский, скудное дотоле наречие народа полудикого» («Московский Телеграф», 1833, № 11, июнь, с. 457–458; цит. по: Сухомлинов, 1874–1888, VIII, с. 350). Это противопоставление церковнославянского и «коренного русского» (древнерусского) языка в конечном итоге заставляет представителей данного направления «отказаться от историко-лингвистического обоснования высокого слога и опереться исключительно на функциональное значение церковнославянизмов и архаизмов вообще» (Тынянов, 1929, с. 125–126). Такая позиция знаменует новый этап литературной полемики, который приводит к окончательной стабилизации литературного языка, характеризующейся органическим сплавом церковнославянской и русской языковой стихии (ср. с. 401–402 наст. работы).

Для переосмысления отношения к церковнославянскому языку чрезвычайно характерны следующие слова Катенина из той же заметки. Возражая Полевому, который упрекал архаистов в том, что те говорят *возвративый* вместо *возвративший*, *рамо* вместо *плечо*, *ланита* вместо *щека*, — Катенин говорит: «Немцы, любимые образцы ваши, пишут в стихах благородных: Haut, а не Kopf; Roß, а не Pferd; даже именно *Wange*, *ланита*, а не *Backe*, *щека*; но какой критик станет в том укорять Гете, утверждая, что он пишет не по немецки, а по *германски*?» (см.: Сухомлинов, 1874–1888, VIII, с. 349). Ранее церковнославянский язык был бы сопоставлен не с архаическим или этническим «германским», но с латынью.

⁶⁷ Такое понимание соотношения между «славенским» и «русским» языком становится характерным и общераспространенным лишь к концу XVIII в., но зачатки его можно обнаружить уже и в первой пол. этого столетия. Особенно показательны в этом отношении филологические рассуждения В. Н. Татищева; анализ того, что Татищев считает «славенским», а что — «русским», позволил бы, по-видимому, установить очень большую близость его подхода к общепринятым филологическим концепциям конца XVIII — нач. XIX вв.; не случайно как для Татищева, так и для этого времени характерна борьба с иностранным влиянием на русский язык (ср. Комментарий, примеч. I).

⁶⁸ Ср., вместе с тем, позднейший протест Пушкина (уже совершенно с иных позиций) против соединения церковнославянской стихии и античной мифологии: «Читал стихи и прозу Кюхельбекера. Что за чудак! Только в его голову могла войти жидовская мысль воспевать Грецию, великолепную, классическую, поэтическую Грецию, Грецию, где все дышит мифологией и героизмом, славянорусскими стихами, целиком взятые

ми из Иеремия. Что бы сказал Гомер и Пиндар?» (из письма к брату от 4 сентября 1822 г.). Для понимания этой цитаты следует иметь в виду, что для Пушкина в этот период церковнославянская языковая струя может связываться (через Ветхий Завет) с еврейским культурным началом (в другой связи он писал в те же годы, что «желал бы оставить рускому языку НЕКОТОРУЮ БИБЛЕЙСКУЮ ПОХАБНОСТЬ» — см. письмо к Вяземскому между 1 и 8 декабря 1823 г., ср. полный текст цитаты на с. 445 наст. издания, примеч. 136). Это, несомненно, связано с изменившимся к тому времени представлением о соотношении церковнославянского и «коренного славянского» языков, обусловившими самую возможность противопоставления этих языков (ср. выше ссылку на мнения Каченовского, Карамзина, Капниста и особенно Катенина). Ср. в этом плане вывод В. В. Виноградова, что для Пушкина в начальный период «понятие церковнославянизма сводилось к «церковнобиблейскому», т. е. к стилистическим и экспрессивным формам церковно-библейского выражения. Морфологические приметы сначала в стихотворном языке Пушкина не имели решающего значения» (Виноградов, 1935, с. 77).

Существенно, во всяком случае, подчеркнуть, что и для Пушкина церковнославянская стихия связывается именно с некоторой культурной традицией (в данном случае — древнееврейской), но отнюдь не с религиозным началом.

В то же время, слова Пушкина о «библейской похабности» следует связать с замечаниями Бестужева (того же года) о возможности употреблять славянизмы в эротических сочинениях: «Легкие пьесы не чуждаются выражений высоких. Батюшков, Жуковский, Пушкин в самых эротических сочинениях употребляли слова: *денница, прикраты, скудель* и т. п. <... >» («Сын Отечества», 1822, XVIII, с. 265; цит. у В. В. Виноградова, 1935, с. 53). Итак, переосмысление церковнославянских текстов в культурологическом и, в частности, в жанрово-смысловом плане открывает прямую возможность связи славянизмов с эротическим содержанием.

⁶⁹ См. Комментарий, примеч. 100, 110, ср. также примеч. 34.

⁷⁰ По свидетельству Вигеля, это название появилось около 1810 г. (см.: Вигель, I, с. 358); оно восходит, возможно, к «Рассуждению о Варягах Руссах» Тредиаковского, опубликованного в составе его «Трех рассуждений о трех главнейших древностях российских» (1773 г.). Едва ли не первым его употребляет Батюшков в «Видении на берегах Леты», где он говорит о поэтах-«архаистах»:

Стихи их хоть немного жестки, —
Но истинно Варяго-Росски.

Ср. затем перефразировку этой цитаты Гнедичем в его критике катенинской «Ольги» (Гнедич, 1816, с. 13): «Такие стихи, — пишет Гнедич, —

Хоть и Варяго-Росски,
Но истинно — немного жестки»;

напротив, Грибоедов, противопоставляя удачному, с его точки зрения, переводу Катенина «Людмиллу» Жуковского (1816, с. 158), пишет относительно последнего произведения, что «такие стихи

Хотя и не Варяго-Росски,
Но истинно немного плоски».

(Относительно эпитета *жесткий* в приведенных цитатах см. специально с. 382–383 наст. изд.). Ср. еще слово *Варяго-Росс* у Батюшкова в письме к Гнедичу от 1 апреля 1810 г., между тем как в письме к нему от апреля 1811 г. Батюшков восклицает: «О Варяги-Славяне! О скоты!» (см.: Батюшков, III, с. 86 и 117). Аналогичные наименования можно встретить у В. Л. Пушкина в послании «К Д. В. Дашкову» 1811 г.:

Кто тщится жизнь свою наукам посвящать,
Раскольников-славян дерзает уличать,
Кто пишет правильно и не варяжским слогом,
Не любит русских тот и виноват пред Богом!

или же в «Опасном соседе», где автор так пишет относительно слова *двоица* при описании пары коней, употребленного незадолго перед тем Ширинским-Шихматовым в стихотворении «Возвращение в отечество...» (СПб., 1810) и высмеянного Каченовским в рецензии на это произведение («Вестник Европы», 1810, № 19, с. 222):

Позволь, Варяго-Росс, угрюмый наш певец,
Славянофилов кум, взять слово в образец.

Точно так же и Дашков готов согласиться, чтобы русский литературный язык называли «Славенороссийским, Варягоросским, или как бы то ни было», если бы шишковисты «довольствовались сими названиями и не выводили из оных весьма пагубных для языка последствий» (1811, с. 14–15), а Катенин, со своей стороны, пишет: «Знаю все насмешки новой школы над *Славянофилами, Варягороссами* и пр.» («Сын Отечества», 1822, ч. 76, № 13, с. 252).

Итак, *варягоросс, варягоросский* выступают как стилистически окрашенные синонимы по отношению к *славеноросс, славеноросский*. В соответствующих наименованиях слышится скрытое обвинение «славенороссов» в норманизме. Примечательно, что именно карамзинисты с их ярко выраженной «западнической» (европейской) ориентацией упрекают «архаистов» в том, что те отказываются от собственно русского национального начала. Вопреки распространенному мнению, норманская гипотеза генетически совсем не связана с «западничеством».

⁷¹ См.: Комментарий, примеч. 4.

⁷² Ср. в словаре Даля: «*французское платье, немецкое, общеевропейское, нерусское*» (Даль, IV, 1882, с. 538). Соответственно в «Женитьбе» Гоголя (акт I, явл. XVI) Жевакин утверждает, что в Сицилии все изъясняется на французском и в подтверждение своих слов приводит итальянские примеры: «возьмите нарочно тамошнего простого мужика, который перетаскивает на шею всякую дрянь, попробуйте, скажите

ему: «Дай, братец, хлеба», — не поймет, ей-Богу, не поймет, а скажи по-французски: «Dateci del pane» или «portate vino!» — поймет, и побежит, и точно принесет». Можно было бы сослаться и на случай современного жаргонного употребления слов *француз*, *французский* в значении «не-русский» (с возможной при этом конкретизацией значений). Можно полагать, что подобное употребление и восходит в конечном счете к употреблению конца XVIII — нач. XIX в. Если, например, сегодня слово *француз* может выступать в значении «еврей», то это отнюдь не новая черта в языке; ср. в рассказе О. Сенковского (Барона Брамбеуса) «Предубеждение» характеристику некоего Шпирха, генетически связанного со Шприхом в лермонтовском «Маскараде» (прототипом как того, так и другого персонажа является литератор Элькан, тайный агент Третьего отделения): «Он француз в тех домах, где обожают ФРАНЦУЗОВ ДАЖЕ ТАКИХ, КАК ОН, и немец с теми, кто бранит все французское. По воскресеньям и в большие праздники он бывает русский, по субботам он, вероятно, возвращается к своей подлинной нации, потому что в субботу вы нигде его не отыщете» (цит. по: Ашукин, 1941, с. 219).

⁷³ Любопытно отметить, что указанной антитезе языковых позиций в данном четверостишии соответствует и чередование «галлорусских» и «славенорусских» выражений. Если слова *писарь* (вместо *автор*), *си*, *дружина* могут быть расценены как «славянорусизмы», то выражение *галиматеею дышет* явно ощущалось как «галлорусское» (относительно *галиматя* см. ниже, Комментарий, примеч. 39; для слова *дышет* ср. у Батюшкова в письме к Гнедичу от 29 мая 1811 г. «Нега древних, эта милая небрежность, *дышет* в его стихах», причем слову *дышет* сопутствует сноска: «Галлицизм, не показывай Шишкову!»; см. изд.: Батюшков, III, с. 128, курсив оригинала). Если присоединить сюда еще такой очевидный европеизм, как *галлицизм*, то окажется, что нечетные строки приведенного четверостишия стилистически перекликаются со «старым слогом», а четные строки — с «новым».

⁷⁴ Ср. у Гончарова в «Послании кн. С. И. Долгорукову» (см. изд.: Поэты-сатирики. . . , 1959, с. 158):

К словесности на час мы нашей обратимся;
Произведениями ее не восхитимся. . .
В ней модных авторов ФРАНЦУЗСКО-РУССКИЙ лик
Стремится исказить отеческий язык.

⁷⁵ Ср. Комментарий, примеч. 5, а также примеч. 104.

⁷⁶ Ср. в этой связи у Кюхельбекера объединение «Германо-Россов и Русских Французов», которые противопоставляются «Славянам». См.: Кюхельбекер, 1923, с. 74 (ср. выражение *русские французы* регулярно у А. А. Палицына в «Послании к Привете» 1807 г., см.: Поэты 1790–1810-х годов, 1971, с. 747, 749, 765). В другом месте Кюхельбекер писал: «Ныне благоговейт перед всяким Немцем или Англичанином, как скоро он переведен на Французский язык: ибо Французы и по сю пору не перестали быть нашими законодателями; мы осмелились заглядывать в творения

соседей их единственно потому, что они стали читать их» (Кюхельбекер, 1824, с. 42). Последнее замечание Кюхельбекера, так же как и само объединение «Германо-Россов» и «Русских Французов» может быть отчасти понято исходя из сказанного выше (с. 362–363 наст. изд.) о посреднической роли немцев в русско-французских культурных контактах.

⁷⁷ П. А. Вяземский, «Известие о жизни и стихотворениях И. И. Дмитриева», в изд.: Вяземский, I, с. 126. Ср. позднее у Вяземского в предисловии к его переводу «Адольфа» Бенджамена Константа (1831 г.): Вяземский пишет, что здесь «допущены галлицизмы понятий < . . . >, потому что тогда они уже европеизмы» (там же, X, с. X).

⁷⁸ См. ниже Комментарий, примеч. 126, а также примеч. 139, 192, 202, 211, 217, 258. Ср. еще выше, с. 414 наст. изд., примеч. 4.

⁷⁹ См. Комментарий, примеч. 164, 25 и 246.

⁸⁰ Ср. Комментарий, примеч. 218, 126, 108а.

⁸¹ См. специальное рассмотрение этих слов в Комментарий, примеч. 64 (ср. также примеч. 49), 68, 70 (ср. примеч. 50), 34. Ср. еще примеч. 63 об употреблении Бояном слова *изящный* в новом значении, которое непосредственно восходит к «новому слогу» и в конечном счете также обусловлено, видимо, контактом с западноевропейскими языками.

⁸² См. Комментарий, примеч. 166 (ср. примеч. 125), 141, 262 (ср. примеч. 50), 135, 228, 172 (ср. примеч. 111). Ср. еще отмечаемый в примеч. 96 галлицизм в речи бобровского Меркурия (если только не усматривать в данном случае специального стилистического обыгрывания) а также примеч. 107 о возможном галлицизме в авторской речи самого Боброва (слово *восхищение* в соответствии с фр. *ravisement*).

⁸³ См. с. 389 и сл. наст. изд.

⁸⁴ См. о такой возможности на с. 362–363 наст. изд.

⁸⁵ Дашков в своей критике на «Перевод двух статей из Лагарпа с примечаниями переводчика» Шишкова указывает на такие заимствования у самого Шишкова, как *проза*, *поэма*, *дактили*, *ямбы*, *эпизода*, *журналист*, *грамматика*, *электрическая*, отмечая также фразеологические галлицизмы вроде *выразить себя* (вместо *выражаться*), *нашли короче говорить* (см.: «Цветник», 1810, ч. VIII, № 12, с. 423, 445, 449). Ср. аналогичные замечания П. И. Макарова в рецензии на «Рассуждение о старом и новом слоге. . . » Шишкова («Московский Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь, с. 166–167 и 195): Макаров выписывает европеизмы типа *текст*, *эпоха*, *метафорическая*, *прозаическая*, *техническая*, *единоценные* и констатирует синтаксический галлицизм в предложении «Есть ли что безобразнее, как слово сцена».

Между тем, Радищев, например, избегал европеизм *проза*, заменяя его описательным выражением *бесстопная речь*, см.: Гуковский, 1936, с. 177. Против этого слова выступали и некоторые члены «Беседы любителей русского слова», см. в письме Гнедича к Батюшкову от 9 января 1811 г.: «< . . . > я начну эпоху воего неписания к тебе ни *прозою*, ни

говором, а чтобы и тебе вперед не затрудняться, пиша ко мне и спрашивая, что такое *говор*, то знай, что сие слово сотворено г. Захаровым, дабы заменить *прозу*. Это первые подвиги Афиней — или ныне называемой Беседы» (см.: Гнедич, 1974, с. 88, курсив оригинала; «Афиней» — одно из первоначальных названий «Беседы»); ср. также письмо Гнедича к В. В. Капнисту от 2 января 1811 г. в изд.: Державин, VI, с. 231. Батюшков берет это слово на вооружение и пишет Гнедичу в феврале или марте 1811 г.: «Шишков написал говором *Разговор*» (имеется в виду «Разговоры о словесности» А. С. Шишкова, вышедшая в Петербурге в 1811 г.), см.: Батюшков, III.

Очень показательно в связи с приведенными выше примерами, что если сначала протоколы «Беседы любителей русского слова» называются «Денник» или «Дневник», то затем они получают название «Журнал», которое и закрепляется в качестве окончательно принятого термина (см. В. Десницкий, «Журналы Беседы любителей русского слова», в изд.: Десницкий, 1935, с. 201). Самый факт специальной замены исконого «славянского» слова на европеизм в этом контексте — представляется исключительно красноречивым.

⁸⁶ См. рецензию Макарова на перевод романа Жанлис «Матери-соперницы, или Клевета» («Московский Меркурий», 1803, ч. IV, ноябрь, с. 123–124). Ср. упомянутый выше (с. 412, примеч. 68) стихотворный памфлет на Шишкова, где Шишков выведен как галломан.

⁸⁷ Жуковский, 1948, с. 302, 311.

⁸⁸ «Русский вестник», 1808, ч. II, № 6, с. 354; ср. Лотман, 1959, с. 256.

⁸⁹ См. о славянизмах у Карамзина: Левин, 1964, с. 245, 255 и сл., ср. также с. 315–316; Ковалевская, 1958.

Показательно, что молодой Карамзин может апеллировать к церковным книгам, оправдывая ударение в своих стихах. См. его примечание к слову *ветрил* в стихотворении «Волга» в «Аглае», 1794, I, с. 25; стихам

Уже без ветрил, без кормила,
По безднам буря нас носила —

сопутствует следующий комментарий: «Некоторые из наших стихотворцев в слове *ветрила* делают ударение на среднем слоге; но я ссылаюсь на все церковные книги». Ср.: Будде, 1908, с. 128.

⁹⁰ См. об эволюции понятия славянизма во второй пол. XVIII — нач. XIX вв.: Замкова, 1974.

⁹¹ Воейков, 1808, с. 118.

⁹² Примечателен сам мотив военного сражения, отчетливо звучащий как в приведенной выше цитате, так и в целом ряде высказываний других авторов, касающихся языковой проблемы. Так, откликаясь на определение в министры просвещения Шишкова — «великого славянофила, поборника Фита и Вжицы и мощного карателя оборотного Э и беззаконного Е с двумя точками», — Г. С. Батеньков писал А. А. и А. П. Елагиним в письме от 24 мая 1824 г.: «Итак, наконец, судьба романтиче-

ской поэзии решена. Сие издание модных лет, сей баловень безбородых пестунов, обязан обратиться в первобытное свое небытие. Седый кластицизм возмет принадлежащие ему права и из русского лексикона хлынут эмигранты, принадлежащие к шайке инсургентов новой школы. Влияние уступит *новозждению*, гений заменится *розмыслом*, уважению явится на смену *говенство* и *соображение* запищит под тяжелою пятою *умоклочения*. *Быша* и *убо* всплывут наверх, яко елей на источнике водном; имена займут принадлежащее им место на правом, а все глаголы на левом фланге периодов — и, таким образом, устроится боевой порядок против нечистой силы карамзинизмов, жуковскоизмов, пушкинизмов, греченизмов, дмитриизмов, богдановичизмов, и проч., и проч., и проч.

Но — воля его высокопревосходительства господина министра, адмирала и кавалера, — я никак не согласен ни *оного*, ни *секового* употреблять в письмах к вам, потому что мне не хочется ничего переменять относительно вас и потому что мы живем и движемся вне настоящего, просвещенного круга» (см. изд.: Письма... , 1936, с. 144).

Со своей стороны, Катенин в те же годы писал об арзамасцах, что «они без всякой совести хотят силой оружия завладеть Парнасом» (см. изд.: Катенин, 1911, с. 65).

⁹³ Ср., например, эпиграмму Анастасевича на «Беседу»: «Мы часто слушаем в беседах ахинею» и, с другой стороны, обращение Милонова к Жуковскому: «С галиматьею ты, а я с парнасским жалом» (как известно, слово *галиматья* приобретает в арзамасском литературном быту характер поэтического самоопределения). См. изд.: Поэты 1790–1810-х годов, 1971, с. 569, 537; ср. с. 23–25; относительно *галиматьи* см. подробнее Комментарий, примеч. 39.

С. П. Жихарев, вспоминая ретроспективно о своей поэме «Барды», которую он написал в 1807 г. «в намерении посвятить Державину и доказать ему, что поэмы в роде Боброва сочинять не трудно», замечает: «Это была великолепная АХИНЕЯ, но тогда имела некоторый успех, как большею частью все громкое, мрачное и напыщенное». См. изд.: Жихарев, 1955, с. 399.

⁹⁴ Очень характерно в этом смысле замечание Вигеля, что «в языке Шаховского <...> никогда славянского ничего не было» (Вигель, I, с. 200); это вовсе не мешало Шаховскому быть убежденным славянофилом и воинствующим членом «Беседы». (При этом историческая обусловленность понятия «славянизм» дает оценке Вигеля значение свидетельского показания.)

⁹⁵ Отсюда в целом ряде случаев полемические высказывания того или иного автора имели больше значения, чем его позитивные утверждения. Ср. отзыв Крылова о Шишкове: «следовать примерам его не должно, а пользоваться иными критиками его может быть полезно» (см.: Вяземский, 1929, с. 143).

⁹⁶ Относительно полонизмов в речи бобровского Галлорусса см. Комментарий, примеч. 56. — Примечательно, что среди примеров лексики

нового слога, которые приводит Г. С. Батеньков в цитированном выше письме (см. с. 436–437 наст. изд., примеч. 92), фигурирует, между прочим, и слово *уважение*, восходящее к заимствованию из польского (ср. относительно *уважать*: Цыганенко, 1970, с. 498). Показательно в этой связи, что в определенных речевых стилях сейчас могут смешиваться глаголы *уважать* и *обожать*, которые при этом явно отождествляются, выступая по существу как варианты формы одного слова (ср.: Успенский, 1967, с. 2099, примеч. 24; Коготкова, 1966, с. 296 и примеч. 6). Это, очевидно, обусловлено тем, что *обожать* в новом значении также принадлежит «галлорусскому наречию» и вообще — новому слогу (см. специально об этом на с. 461 наст. изд., примеч. 215): итак, полонизм *уважать* и семантический галлицизм *обожать* объединяются по своей стилистической характеристике, что и обусловило их семантическое отождествление при переходе в мещанский речевой стиль.

Любопытно, что Карамзин, правя сочинения М. Н. Муравьева — который, в свою очередь, может по праву считаться предтечей карамзинизма, — заменяет слово *набоженство* на *набожность* (см.: Левин, 1965, с. 186), по-видимому, отождествляя их семантически в виду генетической общности (о западнославянском происхождении слова *набожный* см.: Трубецкой, 1927, с. 80, примеч. 2; Орлов, 1935, с. 53; Виноградов, 1967, с. 165–166; Кохман, 1975, с. 90–92; Карамзин вполне мог воспринимать *набожность* как полонизм, причем если польское *pabożność* означает как «набожность», так и — в первую очередь — «богослужение», то польское *pabożność* значит именно «набожность»).

С другой стороны, польское влияние может иметь отношение и к «славяно-русскому» слогу, что связано с упоминавшимся выше переосмыслением термина *славянский* в этническом плане (см. с. 372–373 наст. изд.). Ср. неославянизмы на польской основе, появляющиеся в XVIII — нач. XIX вв., типа *охрана*, *награда*, *поздравление*, *равнина* и т. п. (см. специально: Кохман, 1974). Отсюда Батюшков в «Певце в Беседе любителей русского слова» может высмеивать полонизмы у Анастасевича (см. аналогичные упреки в адрес Анастасевича и в «Записках» Вигеля). Итак, полонизмы могут нести как бы двойную функцию, что обусловлено, понятным образом, разными путями польско-русских языковых контактов — разговорным и специфическим книжным. Иначе говоря, полонизмы могут восприниматься как ЕВРОПЕИЗМЫ или как СЛАВЯНИЗМЫ (в смысле принадлежности не к церковнославянской, но именно к славянской языковой стихии).

⁹⁷ Ср. Комментарий, примеч. 18, 21, 45.

⁹⁸ Ср. Хютль-Ворт, 1974, с. 36–37.

⁹⁹ Необычайно характерна в этом плане фигура Крылова. Ср. знаменательный отзыв о Крылове Кюхельбекера, называющего его в своем дневнике «первым поэтом России» и оценивающего его влияние в языковом отношении чрезвычайно высоко: «Мы, т. е. Грибоедов и я, и даже Пушкин, точно обязаны своим слогом Крылову, но слог только форма, роды же, в которых мы писали, все же гораздо выше басни, а это не безделица» (Кюхельбекер, 1929, с. 304).

¹⁰⁰ См.: ЧОИДР, 1858, кн. 3, с. 143. Ср. Лотман, 1958, с. 195. Курсив оригинала.

Весьма примечательно также грибоедовское понимание русского языка. «Любезный друг, — говорил Грибоедов Булгарину, — только в храмах Божиих собираются русские люди; думают и молятся по-русски. В русской церкви я — в отечестве, в России. Меня приводит в умиление мысль, что те же молитвы читаны были при Владимире, Дмитрие Донском, Мономахе, Ярославле, в Киеве, Нове-городе, Москве; что то же пение трогало их сердца, те же чувства одушевляли набожные души. Мы — русские только в церкви, а я хочу быть русским!» (см.: Давыдов, 1929, с. 19).

¹⁰¹ Шишков, 1868, с. 57, примеч.

¹⁰² Шишков, 1814, с. 44 (или: Шишков, IV, с. 86–87). — Напротив, Жуковский в конспекте истории русской литературы выделяет в третьем периоде этой истории «два направления, русское и славянское» и таким образом отчетливо противопоставляет эти два термина (Жуковский, 1948, с. 292).

¹⁰³ Макаров, 1803, с. 179–180.

¹⁰⁴ Блудов, 1903, с. 271.

¹⁰⁵ Бестужев, 1823, с. 15.

¹⁰⁶ Необходимо иметь в виду, что Шишков и другие славянофилы, исходя в конечном счете из ситуации церковнославяно-русской диглоссии как традиционной русской языковой ситуации, утверждают, что «славенский» и «русский» — это, в сущности, один и тот же язык; «русский», т. е. разговорный язык, предстает как результат порчи языка «славенского», обусловленной иноязычным влиянием. Между тем, литературные противники Шишкова полагают, что «славенский» и «русский» представляют собой два разных и в общем равноправных языка (см. особенно выступление Д. В. Дашкова в «Цветнике», 1810, ч. 8, № 11, с. 261 и сл.). Каждый из этих языков, по их мнению, не отражает коренного славянского языка в его чистом виде, если «русский» язык испорчен в результате татарского, польского, европейского влияния, то «славенский» язык испорчен в результате влияния греческого; порча языка в этом смысле представляет собой явление естественное и неизбежное (см. выше, с. 349, 373–374 наст. изд.). Итак, даже и соглашаясь с шишковистами в оценке «коренного» славянского языка, карамзинисты считают восстановление этого языка в принципе недостижимым: это для них, скорее, некая идеальная сущность, выражающаяся в абстрактном духе языка, нежели нечто реальное (именно поэтому карамзинисты столь свободно создают неологизмы, оформленные на церковнославянский манер).

Таким образом, при объединении «славенского» и «русского» языка в языковом сознании «славенский» язык воспринимается как свой, а «русский» связывается с инородным началом. Между тем, при размежевании этих языков и уравнивании их в своих правах, «русский»

естественно воспринимается как свой язык, а «славенский» — как чужой.

Характерно, что эта разница в позиции выражается и в отношении к названию «славенороссийский». Шишков, понимая «славенский» и «русский» как один язык, называл русский литературный язык — вполне последовательно с этой точки зрения — «славенороссийским» (Шишков следует при этом Ломоносову, который говорит в «Предисловии о пользе книг церковных» о «речениях славенороссийских, то есть употребительных в обоих наречиях»; ср. также сходную позицию Тредиаковского во второй период творчества последнего). Шишкову возражал Дашков, который выступил, между прочим, и против наименования «славенороссийский», полагая, что надлежит говорить либо о «славенском», либо о «русском» языке (см.: «Цветник», 1810, ч. 8, № 11, с. 258–259, 264–265): «для чего Французы не называют языка своего *Латинovelьгофранцузским?*», — вопрошает Дашков (с. 264). В другом месте Дашков говорит о «мнимом Славенороссийском языке» (Дашков, 1811, с. 3). В этом же смысле могут быть поняты и цитированные выше пародийные именованья славенороссийского языка — «славеноварварским», «татарско-славенским» или «варяго-росским» (см. с. 418, примеч. 20, с. 430, примеч. 64, с. 432–433, примеч. 70).

¹⁰⁷ Так, в начале XIX в. пуристами могли называть именно карамзинистов, ср., например: «у нас не было классического вкуса ни для прозы, ни для стихов, и ПУРИЗМ, т. е. ШЕГОЛЬСКАЯ ЧИСТОТА ЯЗЫКА, только что родился под пером Карамзина» («Северная пчела», 1831, № 286; цит. по: Виноградов, 1938, с. 306, примеч. 2). Так же и Кюхельбекер называет карамзинистов «школой так называемых очистителей языка» (см. цитату на с. 465, примеч. 237).

¹⁰⁸ См.: Левин, 1964, с. 85–89, 158–159; Виноградов, 1935, с. 45.

¹⁰⁹ См. письмо И. А. Мусина-Пушкина Ф. Поликарпову от 2 июня 1717 г. (Русский архив, 1868, № 7–9, с. 1054).

¹¹⁰ Например, у Батюшкова в сцене «Вечер у Кантемира» Кантемир говорит: «Я первый изгнал из языка нашего ГРУБЫЯ СЛОВА СЛАВЯНСКАЯ, чужестранные, несвойственные языку русскому» (Батюшков, II, с. 235). Ср. также в «Стихах на сочиненные Карамзиным, Захаровым и Храповицким похвальные слова императрице Екатерине Второй» А. П. Брежинского (1802 г.) следующую характеристику архаизированного «славено-российского» слога И. С. Захарова:

Тяжелым, ГРУБЫМ, ДРЕВНИМ тоном
Тебе псалом свой прохрипел,
Твои деяния, щедроты,
И кротость, разум и доброты
Славянщиной нашпиговал,
И, *сице, абие и убо*,
И *аще, дондеже, сугубо*
Твердя, оригиналом стал.

(см.: Поэты 1790–1810-х годов, 1971, с. 490; автор имеет в виду сочинение: И. С. Захаров, «Похвала Екатерине Второй». СПб., 1802).

¹¹¹ См., например, Левин, 1964, с. 122–123. См. также Комментарий, примеч. 135.

¹¹² См.: Успенский, 1974, с. 28–29. — Характерно в этой связи определение семантики слова *жесткий* у Кантемира: «свойство НЕПРИЯТНОЕ, не дающее никакой забавы» (см.: Успенский, 1974, с. 28, примеч.). И так, *грубый* и *жесткий* объединяются по своей противопоставленности *приятному*; одновременно они выступают как антонимы по отношению к слову *нежный*.

¹¹³ Тальман, 1730 (из предисловия переводчика «К читателю»); Вейсманов лексикон, 1731, с. 26. Ср.: Успенский, 1974, с. 28.

¹¹⁴ Это соответствие оценочных характеристик становится особенно знаменательным, если иметь в виду несомненное сходство концепции литературного языка у Адодурова и Тредиаковского в этот период с позднейшей программой карамзинизма.

¹¹⁵ «Некоторые замечания Сочинителя [Шишкова. — Ю. Л., Б. У.] довольно справедливы, и даже слог его вообще можно назвать *жестким* [курсив Макарова. — Ю. Л., Б. У.], а не дурным. Приметно, что он действительно занимался чтением наших старинных книг» (Макаров, 1803, с. 197). Очень характерно в этой связи автобиографическое признание Катенина:

ЖЕСТКИМ И ГРУБЫМ казалось им пенье Евдора

(«Элегия», 1828 г.; об автобиографическом характере этого произведения см.: Тынянов, 1929, с. 161), ср. также употребление прилагательного *жесткий* в цитатах из Батюшкова и Гнедича, приводимых на с. 432–433 наст. работы (примеч. 70).

Ср., вместе с тем, обыгрывание данного эпитета в пушкинской эпиграмме (на Александра I) «Ты и я», 1817–1820 гг.:

Афедрон ты жирный свой
Подтираешь коленкором;
Я же грешную дыру
Не балую детской модой
И Хвостова ЖЕСТКОЙ ОДОЙ,
Хоть и морщуся, да тру.

Оды Хвостова, как известно, славились своим напыщенным псевдославянским стилем.

¹¹⁶ Это обстоятельство тем более заслуживает внимания, что оно соответствует целому ряду других признаков, позволяющих вообще в той или иной степени усматривать отношение преемственности между карамзинистами и Сумароковым.

¹¹⁷ А. П. Сумароков, «Ответ на критику», в изд.: Сумароков, X, с. 97–98. Точно так же в «Эпистоле о стихотворстве» читаем:

Слог песен должен быть ПРИЯТЕН, прост и ясен,
Витийств НЕ НАДОБНО; он сам собой прекрасен.

Любопытно, что в примечании к своему переводу IV-й олимпийской оды Пиндара (1774 г.) Сумароков может противопоставлять «приятность» и «некоторую нежность» Пиндара — «грубым» и «пухлым» (т. е. надутым, напыщенным, высокопарным) стихам Ломоносова. Таким образом, язык Пиндара как бы приравнивается в свете альтернативы «церковно-славянское — русское» именно к «русскому» полюсу, т. е. к языковой стихии, связанной с ЕСТЕСТВЕННОСТЬЮ выражения (см. изд.: Сумароков, II, с. 193–195, примеч.).

Ср. в этой связи в безымянном трактате «О Московском наречии» (Свободные часы, 1763, февраль), написанном, видимо, кем-то из учеников Сумарокова — может быть, А. А. Ржевским — противопоставление «грубости древнего языка» и «приятности» «нынешнего Московского наречия» (с. 67–75). Говоря о характерном для разговорной речи переходе ударного [е] в [о], автор, например, замечает: «Сие превращение Е. в Ю. нимало не повреждая силы и важности слов Российских, делает их НЕЖНЫМИ и ПРИЯТНЫМИ, в самом деле тотчас можно услышать некоторую сладость в языке нынешняго века, на пример: не лутчели сказать вместо: *орель несеть елку*, — *аріоль несіють іолку*» (с. 70).

¹¹⁸ Так, например, в «Наставлении хотящим быти писателями» Сумароков говорит, что в «стихах пастушьих» — «громкие слова чтеца ушам жестоки». Это прямая цитата из Тредиаковского.

¹¹⁹ О связи эпитетов *грубый* и *подлый* могут свидетельствовать хотя бы авторские исправления в рукописном оригинале «Разговора об ортографии...» Тредиаковского (1748 г.) (Архив АН, разр. II, оп. 1, № 137). Тредиаковский исправляет здесь выражение *грубым языком на подлым языком*, ср. также исправление *грубаго* <...> *выговора на неискривнаго* <...> *выговора* (ср. соответствующие места в исправленном виде в изд.: Тредиаковский, III, с. 197, 200); в другом месте Тредиаковский говорит: «перевод сей есть збор изображений самых подлых и грубых» (Тредиаковский, 1752, I, с. 7).

¹²⁰ Ср. (с. 394–397 наст. изд.) о социлингвистической дифференциации в этот период.

¹²¹ Так, выражение *грубый язык* может рассматриваться как своеобразный эквивалент к выражению *lingua rustica* (ср. в Вейсманновом лексиконе 1731 г.: «*homo rusticus* — грубыи, простые человек, деревенский мужик», см.: Вейсманов лексикон, 1731, с. 513); ср. также в «Кратком российском лексиконе...» Х. Целлария (1746), с. 27, соответствие: *грубый* — *barbarus*. Соответственно, употребление данного эпитета по отношению к церковнославянской языковой стихии придает ей в точности противоположный смысл, по сравнению с тем, как она характеризовалась прежде, когда церковнославянский язык выступал на правах языка литературного.

¹²² с. 372–373 наст. изд.

¹²³ Ср. соответствующее противопоставление у Державина («Любителю художеств», 1791 г.):

Боги взор свой отвращают
От нелюбящего муз,
Фурии ему влагают
В сердце черство ГРУБЫЙ ВКУС <...>
Напротив того, взирают
Боги на любимца муз.
Сердце нежное влагают
И изящный НЕЖНЫЙ ВКУС.

Ср. также апелляцию к «нежному слуху», характерную как для Сумарокова (X, с. 45, 71), так и для Тредиаковского (I, с. 136).

¹²⁴ Ср. ниже, с. 444, примеч. 130.

¹²⁵ См.: Княжнин, 1961, с. 459.

¹²⁶ См.: Моисеева, 1971, с. 73. Перепечатано в изд.: Поэты XVIII в., II, с. 394–395. В примечаниях к последнему изданию выражается сомнение в авторстве Баркова — имя которого значится на наиболее раннем из известных списков данного стихотворения (1750-х гг.), — поскольку это стихотворение, по мнению автора примечаний, написано единомышленником Елагина и противником Ломоносова; однако «Сатира...», кажется, не дает оснований для такого вывода: она могла быть написана и безотносительно к полемике Ломоносова и Елагина.

* Многие уже наши граждане привыкли к щеголеватому Французскому наречию и тем произвели во многих и неряхах к тому привычку [примеч. Чулкова].

¹²⁷ Чулков, 1766, из предисловия (не имеющего пагинации).

¹²⁸ «Живописец», 1772, ч. II, л. 12, ср. изд.: Берков, 1951, с. 418. Точно так же и Тредиаковский мог говорить о «нынешнем нашем нежном *вы*» (см.: Пекарский, II, с. 104) — при том, что обращение на *вы* могло ассоциироваться, видимо, с «щегольским наречием» (ср. в этой связи Комментарий, примеч. 243).

¹²⁹ Продолжая неоднократно уже затрагивавшуюся в настоящей работе тему о связи немецкой и русской языковой ситуации (см. с. 362–363, 372–373, 376–377 наст. изд.), мы можем обратить внимание на регулярное противопоставление «грубого» и «приятного» (или «нежного») языка в книге Фридриха Второго «О немецких словесных науках», вышедший в русском переводе (А. Мейера) в Москве в 1781 г. В частности, говоря о французском языке, автор противопоставляет «грубыя и приятности лишеныя писания» Маро, Рабле и Монтеня — «мягкому и нежному» языку новых французских стихотворцев (с. 35 и 38). Немецкий язык в общем оценивается как «грубый»; чтобы сделать его приятнее, автор рекомендует добавлять гласный к словам, оканчивающимся на согласный звук («<...> имеем мы множество <...> глаголов, последние буквы которых глухи и неприятны, как *sagen, geben, nehmen*: Приставтеж на конце ко всякому слову, букву *a*, и сделайте из них *sagena, gebena,*

пешена, загена, гебена, немена, то сие произношение обольстит слух», с. 43–44). Очень близкие по духу рекомендации насчет искусственно-улучшения языка можно встретить в упоминавшемся уже сочинении «Опыт о языке...» (1775 г.) неизвестного русского автора-галломана.

¹³⁰ Отметим, что слово *нежный* выступает как в «щегольском наречии», так и у карамзинистов как эквивалент слова *деликатный*. Так, Сумароков в статье «О истреблении чужих слов из русского языка» («Трудолюбивая пчела», 1759, январь) высмеивает тех, кто говорит *деликатно* вместо *нежно*; точно так же в словарики иностранных слов, помещенном в журнале «И то и сию» (1769, неделя 26 и 27), указывается соответствие *деликатно* — *нежно* и рекомендуется употреблять русское слово вместо иностранного; ср., вместе с тем, в письме Карамзина к Дмитриеву от 13 июня 1814 г.: «Знаю твою нежность (сказал бы *деликатность*, да боюсь Шишкова)» (Карамзин, 1866, с. 183). [Любопытно, что это слово в народной речи превращается в *великатный*, выступающее в двух значениях: «учтивый, вежливый, обходительный, деликатный» и, вместе с тем, «гордый, важный, высокомерный», ср. характерные примеры: «Такой великатный! Не огрубит небось; все: как-с, да куда-с, да что-с», «Городские-то все великатные», «Уж больно ты великатен стал! <...> Где уж ты учился, от кого ты родился?», «Великатный человек, к нему на козе не подъедешь», «Попов-то сын, какая великатная стала особа», «Мужик такой великатный! ходит степенно всей грудью, бает высоко, да и с расстановкой» (СРНГ, IV, с. 107–108).]

Что же касается характеристики *приятный*, то она выступает как в том, так и в другом случае в значении «элегантный», «изящный». Ср. известное определение Карамзина в «Пантеоне российских авторов» 1801 г.: «приятность слога, называемая Французами *«élégance»*; вместе с тем, в статье «Нечто о науках, искусствах и просвещении», противопоставляя «полезные искусства» и «изящные искусства», Карамзин связывает первые со свойственным человеку стремлением «жить покойно», а вторые — с желанием «жить приятно» (см. «Аглая», кн. I, 1794, с. 44); характерно в этой связи, что Татищев в свое время передавал «изящные искусства» как *щегольские науки* (см.: Татищев, 1887, с. 82). Понятия *приятный*, *изящный*, *элегантный* (и эвентуально *щегольской*) выступают, таким образом, в одном семантическом ряду. Ср. Веселитский, 1972, с. 165–166.

Следует отметить при этом, что слово *элегантный*, кажется вовсе или почти неизвестно в языке XVIII в.; по крайней мере, оно отсутствует в картотеке Санкт-Петербургского Словаря XVIII в., где фигурирует только слово *элеганс* в пародийном употреблении в «Рассуждении о старом и новом слоге» Шишкова, где помещена стилистически обыгранная Элегия, «написанная нынешним просвещенным слогом, в котором сохранен весь Французский элеганс» (с. 434, ср. еще с. 28, 165, а также с. 3–4, 16, 46). Это слово у Шишкова явно восходит к цитированному определению Карамзина 1801 г.: «приятность слога, называемая французами *«élégance»*». Ср. затем у Д. И. Хвостова в эпиграмме на Шаликова, которую, однако, Дмитриев принял на свой счет:

Так рассуждает ввек пиита-самохвал
Коль вылощит стихи, пускай они не сладки,
Лишь глянec был бы в них, лишь были б гладки,
А там, хотя идей и чувства нет,
Кричит: «вот *élégance*- и я поэт!»

(см.: «Друг просвещения», 1805, ноябрь; история полемики вокруг этого стихотворения раскрыта в дневнике Хвостова, см.: ИРЛИ, ф. 322, № 11, лл. 4, 26). Таким образом, слово *элеганс* функционирует в нач. XIX в. как ярлык карамзинизма. Можно полагать, что отсюда возникло и слово *элегантный*; показательно, между тем, что сами карамзинисты не употребляют этого слова, передавая соответствующее значение словами *приятный*, *нежный*, *изящный* и т. п.

¹³¹ Ср. Комментарий, примеч. 256.

¹³² Знаменательно отношение к Шишкову уже отступающего от карамзинизма Пушкина, который полушутливо «посылает ему лобзание, не яко Иуда-Арзамасец, но яко Разбойник-Романтик» (имеется в виду евангельский Благоразумный Разбойник, раскаявшийся и обратившийся на кресте), что не исключает и ассоциации с разбойничьей темой, характерной для романтизма. См.: письмо к брату от 13 июня 1824 г. Пушкин перефразирует при этом молитву, которая поется на богослужении в Великий Четверг вместо херувимской песни: «ни лобзаниа ти дамъ яко Иуда, но яко разбойник наповѣдаю тя».

¹³³ Крестова, 1961, с. 194–195; там же и указания на литературу вопроса. По формуле Вяземского, начало романтической литературы — «в природе» (ср.: Мордовченко, 1959, с. 311–312).

¹³⁴ Ср. в этой связи замечания на с. 340–341 наст. работы о связи поэтики «Беседы» с предромантизмом.

¹³⁵ Ср. выше с. 345–346 наст. изд., а также Комментарий, примеч. 64 и 144. Не менее характерны, с другой стороны, выступления Карамзина в защиту приличий, направленные против руссоистского отрицания цивилизации (в статьях «Об учтивости и хорошем тоне» 1803 г., и «О легкой одежде модных красавиц девятнадцатого века», 1802 г.).

¹³⁶ Ср. у Пушкина в письме к Вяземскому 1823 г. (между 1 и 8-м декабря): «Хладного скопца уничтожаю [речь идет о «Бахчисарайском фонтане». — Ю. Л., Б. У.] <...> Меня ввел во искушение Бобров; он говорит в своей Тавриде: *Под стражею скопцев Гарема*. Мне хотелось что-нибудь у него украсть а к тому же я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность. Я не люблю видеть в первобытном [в черновом варианте: гордом первобытном. — Ю. Л., Б. У.] нашем языке следы Европейскаго жеманства и Фр[анцузской] утонченности. Грубость и простота более ему пристали. Проповедую из внутреннего убеждения, но по привычке пишу иначе». Важно отметить, что эпитет *библейский* в этой цитате так или иначе соотносится с церковнославянской языковой стихией; что библейское (resp.: церковнославянское) начало связывается с «гордым

первобытным нашим языком»; что слова «грубость и простота» относятся как к Библии, так и к этому «первобытному» языку.

Точно так же позднее Пушкин восхваляет «простоту и даже грубость выражений» катенинской «Леноры», подчеркивая, что «Катенин < . . . > вздумал показать нам «Леонору» в энергической красоте ее первобытного создания» («Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина», 1833 г.).

О романтизации церковнославянского языка у Пушкина см. также: Виноградов, 1935, с. 138.

¹³⁷ Катенин, 1830, с. 168; курсив Катенина. Ср., вместе с тем, отзыв молодого Пушкина о катенинских стихах: «В ее устах [Семеновой — Ю. Л., Б. У.] понравились нам славянские стихи Катенина, полные силы и огня, но отверженные вкусом и гармонией» («Мои замечания об русском театре», 1820 г.).

¹³⁸ См. изд.: Третьяковский, III, с. 285 и 207. Ср., вместе с тем, более позднее заявление Третьяковского — уже пересмотревшего свое представление о литературном языке — во второй редакции статьи о правописании прилагательных (написанной, вероятно, в 1755 г. и во всяком случае не ранее этого времени): «< . . . > у нас дружеский разговор есть употребление простонародное; а краснейшее сочинение [так Третьяковский, видимо, выражает идею belles-lettres, ср. Комментарий, примеч. 246 — Ю. Л., Б. У.] есть иное изряднейшее употребление, отменное от простаго разговора, и подобное больше книжному Славенскому, о котором-можно-праведно сказать, что-оно-есть-важное, приятное, дельное, сильное, философическое, ПРИЛИЧЕСТВУЮЩЕЕ БОЛЬШЕ ВЫСОКИМ НАУКАМ, НЕЖЕЛИ НЕЖНЫМ для того что СЛАВЕНСКИЙ ЯЗЫК ЕСТЬ МУЖЕСТВЕННЫЙ» (Третьяковский, 1865, с. 109).

¹³⁹ «Свободные часы», 1763, февраль, с. 67–68, ср. также с. 70, 74.

¹⁴⁰ Очень характерны слова мужчины-петиметра в «Живописце» (1772, ч. I, л. 4): «Необходимо < . . . > должен я < . . . > говорить нынешним щегольским женским наречием, ибо в наше время почитается это за одно не из последних достоинств в любовном упражнении» (см. изд.: Берков, 1951, с. 293). Женщины (щеголихи) выступали, таким образом, законодательницами «щегольского наречия».

Речевой травестиизм отвечает при этом общему травестиизму щегольского поведения. Ср. воспоминания Вигеля о щеголях рубежа XVIII и XIX вв.: «Жеманство, которое встречалось тогда в литературе, можно было также найти в манерах и обращении некоторых молодых людей. Женоподобие не совсем почиталось стыдом, и ужимки, которые противно было бы видеть и в женщинах, казались утонченностями светского образования. Те, которые этим промышляли, выказывали какую-то измененность, неприличную нашему полу, не скрывали никакой боязни и, что всего удивительнее, не совсем были смешны. Между нами [«архивными юношами». — Ю. Л., Б. У.] были также два молодца, или лучше сказать, две девочки, которые в этом роде дошли до совершенства, Колычев и Ижорин < . . . > Истребляя между нашими молодыми

людьми наружные формы, столь поносные, особенно для русских, — пишет далее Вигель, — нынешний век перенес их в другую крайность и мужественности их часто придает мужиковатость» (Вигель, I, с. 110). Показательна уже сама устойчивость этой черты, позволяющей видеть в ней определенную ТРАДИЦИЮ щегольского поведения.

¹⁴¹ См.: Левин, 1964, с. 129–130; Виноградов, 1935, с. 209–220. Ср. Комментарий, примеч. 221.

¹⁴² Ср. у Пушкина в письме к Бестужеву от 13 июня 1823 г. упоминание о «нежных ушах читательниц», которые могут испугать «отечественные звуки: *харчевня, кнут, острог*»; ср., между тем, противоположную позицию, например, у Дмитриева, который писал в статье «О русских комедиях» («Вестник Европы», 1802, № 7, с. 232–233): «Какое же удовольствие найдет благовоспитанная девица, слушая ссору однодворца с его женою, брань дурака с дурую, которых каждое слово несносно для НЕЖНАГО слуха» [ср. почти дословное повторение этой мысли у Н. Брусилова в «Письме к приятелю о Русском Театре»: «Что за удовольствие модным дамам слушать целой час разговор деревенских баб и девок» («Журнал российской словесности», 1805, ч. I, № 2, с. 60)]. О борьбе Пушкина с феминизацией языка и литературы см.: Тынянов, 1929, с. 148–149; Виноградов, 1935, с. 211–220; Томашевский, 1959, с. 389–392.

¹⁴³ О сближении в языковом сознании церковнославянского и «подъяческого» языка — которые объединяются на этом этапе под знаком «славенщизны» — мы специально говорили выше (с. 382 наст. изд.).

¹⁴⁴ «Трутень», 1770, л. XIV, ср. изд.: Берков, 1951, с. 233–234.

¹⁴⁵ Батюшков, III, с. 47.

¹⁴⁶ Макаров, 1803а, с. 10.

¹⁴⁷ См. также высказывания В. Измайлова и П. Макарова о предубеждении женщин против русского языка и предпочтении ими иностранных, приводимые у В. Д. Левина (1964, с. 128–130), или аналогичные свидетельства Ф. Ф. Вигеля (I, с. 275, 329).

¹⁴⁸ Н. М. Карамзин, «Отчего в России мало авторских талантов?» (1802 г.) — см.: Карамзин, III, с. 529.

¹⁴⁹ Н. М. Карамзин, «О любви к отечеству и народной гордости» (1802 г.) — см.: Карамзин, III, с. 474.

¹⁵⁰ Шишков, 1818, с. 150.

¹⁵¹ Ср. в этой связи сказанное выше (с. 362–363 наст. работы) о возможном влиянии на Боброва со стороны Я. Ленца. Ср. еще с. 353 наст. изд.

¹⁵² Ср. у Ломоносова в «Предисловии о пользе книг церковных» «может и первого рода штиль < т. е. высокий стиль > иметь < . . . > место, где потребно изобразить геройство и высокие мысли; в НЕЖНОСТЯХ должно от того удаляться» (см. изд.: Ломоносов, VII, с. 589). Точно также Третьяковский говорит о «сладоности и нежности» элегической

поэзии и противопоставляет «высокую, благородную» материю — материю «нежной» (см. изд.: Тредиаковский, I, с. 167, 168, ср. также эпитет «нежный» при характеристике стиха латинских поэтов на с. 165). Равным образом Тредиаковский возражает тем, кто считает, что одна стопа благородна, а другая нежна, утверждая, что «всякая стопа сама в себе ни благородна, ни нежна, но по Речам, какими она состоять имеет, будет или нежна или благородна» (Тредиаковский, 1752, I, XV; ср. еще I, с. V, II, с. 91–92); таким образом, соответствующие эпитеты, по мысли Тредиаковского, относясь к языку, не могут относиться к метрике.

Очень характерна в этом отношении «Эпистола к творцу сатиры на петиметров» неизвестного автора (1750-х гг.; опубликована в изд.: Поэты XVIII века, II, с. 380–384). Сумароков — «НЕЖНОСТЕЙ писатель» — противопоставляется здесь Буало как автору сатир:

Он [Сумароков. — Ю. Л., Б. У.] нежностей писатель, сатиром не бывал,

Стихов же блять нежных не писывал Боал.

В авторском примечании объясняется, что «Николай Боал, господин Деспро, знатный французский сатирик, <...> в жизнь свою ничего нежного не писывал» (с. 380). Это отнюдь не означает плохого отношения к Буало: напротив, в других своих примечаниях автор, например, замечает: «Господин Боал был человеком таким, который без достоинства никого не хваливал» и называет его «писцом знатным во всем роде» (с. 381). Слова *нежный*, *нежность* имеют здесь прежде всего ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ, а не оценочный смысл: «нежные стихи» — это лирика, а Буало лирики не писал. Таким образом эпитет *нежный* объединяет лирику как литературный жанр и русский язык в его противопоставлении церковнославянскому. Лирика возможна только на русском языке и отсюда на нее переносится качество нежности.

Ср. еще соотносительную характеристику лирики и сатиры в другом месте того же произведения (с. 382):

Недавно нам к Парнасу прилежно слух открыл
Тот, кто в тебя [Елагина. — Ю. Л., Б. У.] охоту к стихам
такую влил [т. е. Сумароков. — Ю. Л., Б. У.];
Читая НЕЖНЫ мысли, всяк к НЕЖНОСТИ привык,
Так голос и в порядке сатиров еще дик.

Если здесь и есть элемент оценки, то он относится прежде всего к иерархии жанров, а не непосредственно к оценке стихов.

Не менее показательно, вместе с тем, что сам Сумароков протестует против характеристики его как «нежного» автора, ссылаясь на то, что его творчество не исчерпывается одною лирикой; равным образом возражает он и против эпитета *громкий* применительно к творчеству Ломоносова на том основании, что у Ломоносова есть и лирические стихи; при этом слово *громкий*, как и *нежный*, может относиться и к языку, и к жанру, обозначая прежде всего насыщенный славянизмами высокий слог (ср. Комментарий, примеч. 154), но также и торжественные жанры, соотносимые с этим слогом. Сопоставляя свои и ломоносовские

стихи, Сумароков писал: «Слово *громкая ода* [так принято было характеризовать оды Ломоносова. — Ю. Л., Б. У.] к чести автора служить не может: да сие же изъяснение значит галиматия а не великолепие. Мне приписывают НЕЖНОСТЬ: и сие изъяснение трагическому автору чести не приносит. МОЖЕТ ЛИ ЛИРИЧЕСКИЙ АВТОР СОСТАВИТИ ЧЕСТЬ ИМЕНИ СВОЕМУ ГРОМОМ! и может ли представленный во драме Геркулес быти нежною Сильвиею и Амариллою воздыхающими у Тасса и Гвариния! Во стихах Г. Ломоносова многое для почерпания лирическим авторам сыщется: а я им советую взирати на ево лирическа красота и отделяти хорошее от худова. Г. Ломоносов со мною несколько лет имел короткое знакомство и ежедневное обхождение, и не редко слышал я от него, что он сам часто гнушался, что некоторые ево громким называли. Ево достоинство в одах не громкость» (А. П. Сумароков, «Некоторые строфы двух авторов» (1774 г.), в изд.: Сумароков, IX, с. 219). Можно сказать, что Сумароков интерпретирует здесь лингвостилистические характеристики как жанровые: оба плана органически сливаются в его трактовке.

Ср. у Державина («К Каллиопе», 1792 г.):

Сойди, бессмертная, с небес
Царица песней, Каллиопа!
И громкую трубу твою
Иль лучше лиру НЕЖНО-ЗВУЧНУ
Иль, если хочешь, голос твой
Ты согласи со мной.

Противопоставление *громкой трубы* и *нежно-звучной лиры* может иметь здесь и лингвостилистическое и жанровое наполнение; вместе с тем, оно может соответствовать поэтическим традициям ломоносовской и сумароковской школы (ср., например, у Княжнина в «эпической поэме» «Бой стихотворцев» 1765 г.: «громкий лирик наш [Ломоносов. — Ю. Л., Б. У.] и Сумароков нежный», см. изд.: Поэты XVIII века, II, с. 404).

В нижеследующих замечаниях Андрея Тургенева, сказанных по адресу Карамзина, слово *нежный* выступает как жанровая характеристика: «Он слишком склонил нас к мягкости и разнеженности. Ему бы надлежало явиться веком позже, тогда когда бы мы имели уже более сочинений в важнейших родах. <...> Молодой писатель видя такой отличный успех (и в прочем заслуженной но только не в свое время) всегда скорее склонится на ету сторону, нежели к чему нибудь важному, великому. <...> С другой стороны правда и то что если родится человек с великим духом с *genie* то отрасль к нежному на него не подействует. Но человек чувствующий в себе некоторый талант будет искать успеху в модной сентиментальности <...>» (из речи, прочитанной в марте 1801 г. в Дружеском Литературном Обществе, цит. по изд.: Фомин, 1912, с. 27–28).

¹⁵³ Львов, 1796, с. 32.

¹⁵⁴ Поэты 1790–1810-х годов, 1971, с. 490. Речь идет о стиле «Слова похвального Екатерине Второй» М. В. Храповицкого (1802).

¹⁵⁵ Точно так же и в записках Вигеля слова *нежный*, *нежничать* и т. п. выступают в качестве атрибутов карамзинизма как литературного направления, характеризуют одновременно и стиль, и содержание карамзинистской литературы. Так, по словам Вигеля, сподвижник Шишкова Гераков «вечно ругал НЕЖНЫХ своих московских соперников. Этим угодил он Шишкову и заслуживал от него самые лестные отзывы» (Вигель, I, с. 355); в свою очередь карамзинисты, «как бы смотря с презрением на варваров, хотели отличить себя от них любезностью и НЕЖНОСТЬЮ» (с. 357). Аналогично о Шаликове Вигель пишет, что в павловское время он «почти один любезничал и НЕЖНИЧАЛ» (с. 344).

¹⁵⁶ А. П. Сумароков, «Ответ на критику» (Сумароков, X, с. 97–98).

¹⁵⁷ Подшивалов, 1796, с. 47. — По существу то же самое, хотя и в менее четкой форме, имеет в виду и Карамзин, когда, протестуя в предисловии ко второй книжке «Аонид» против «излишней высокопарности», «грома слов не у места», он противопоставляет «надутому описанию ужасных сцен природы» — изображение «нежных красот природы»: иначе говоря, НЕЖНЫМ МАТЕРИЯМ, по мысли Карамзина, должен соответствовать НЕЖНЫЙ ЯЗЫК (см.: «Аониды», кн. II, М., 1797, с. V и сл.); непосредственным поводом для этого замечания послужила, видимо, поэзия Боброва (см. выше, с. 347–348). Эпитет *надутый* — обычная характеристика славянизированного высокого слога; выражение *надутый слог* можно встретить, в частности уже в ломоносовском «Предисловии о пользе книг церковных» 1758 г. (Ломоносов, VII, с. 589).

¹⁵⁸ См.: Тынянов, 1929, с. 196. Ср. в этой связи мнение Боратынского о связи романтизма с народным языком: «<...> я почти уверен, что французы не могут иметь истинной Романтической трагедии. Не правила Аристотеля налагают на них оковы — легко от них освободиться — но они лишены важнейшего способа к успеху: изящного языка простонародного. Я уважаю Французских класиков: они знали свой язык, занимались теми родами поэзии которые ему свойственны и произвели много прекрасного. Мне жалки их новейшие романтики: мне кажется что они садятся в чужие сани» (из письма к Пушкину 1825 г., см. изд.: Пушкин, XIII, с. 253). Это мнение Боратынского (противопоставляющего здесь французскую и английскую трагедию) следует сопоставить со словами А. А. Бестужева, который писал в рецензии на «Русскую антологию» Джона Боуринга, что «английский язык своею силою и простотою ближе всех подходит к нашему» («Литературные листки», 1824, № 19–20, с. 33–34).

¹⁵⁹ Ср. выше, с. 352–354 и с. 389 наст. изд. — Ср. характеристику младших архаистов (Грибоедова, Катенина, Кюхельбекера, Жандра и др.) у Н. Полевого как людей «прилежно изучавших иностранные литературы», «основательно учившихся, ГЛУБОКО ПОНИМАЮЩИХ РОМАНТИЗМ, и готовых на все прекрасное — только под славянским знаменем» («Московский Телеграф», 1833, № 8, апрель, с. 563–567, цит. по: Сухомятинов, 1874–1888, VIII, с. 348–349).

¹⁶⁰ Мордовченко, 1959, с. 366–367.

¹⁶¹ См. статью О. Сомова «О романтической поэзии» (1823), см. о ней: Мордовченко, 1959, с. 188–195.

¹⁶² О проблеме народности в связи с фольклоризмом, этнографическими интересами и «местным колоритом» в литературе первой четверти XIX в. см.: Азадовский, I, с. 190–200; Азадовский, 1960; Азадовский, 1938; Гуковский, 1965, гл. II. — Слово *народность* в принятом теперь значении этого термина было введено в литературный оборот теоретиком русского романтизма Вяземским; в письме к А. И. Тургеневу от 22 ноября 1819 г. Вяземский спрашивал: «Зачем не перевести *nationalité* — *народность*? Поляки сказали же *narodowosc!*!» («Остафьевский архив», т. I, СПб., 1899, с. 357; о непосредственном литературном источнике Вяземского — польской статье К. Бродзинского «O *klasyczności i romantyczności*» — см.: Азадовский, I, с. 192). Для семантической истории термина *народность* очень важно следующее замечание Вяземского (1824 г.): «Всякий грамотный знает, что слово *национальный* не существует в нашем языке; что у нас слово *народный* отвечает одно двум французским словам — *populaire* и *national*; что мы говорим: *песни народные* и *дух народный*, там, где Французы сказали бы: *chanson populaire* и *esprit national*» (см. его полемику с М. Дмитриевым в «Дамском журнале», 1824, № 8, с. 76–77). При этом Вяземский в значительной степени переосмысляет слово *народный*, придавая ему значение фр. *national*, тогда как раньше это слово соответствовало скорее фр. *populaire*; карамзинист Вяземский как бы следует призыву Карамзина давать «старым словам <...> новый смысл». Романтизм предполагает, по мнению Вяземского, «национальную самобытность, отпечаток народности». Соответственно Кюхельбекер в программной статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие» призывает к созданию «народной поэзии», имея в виду именно поэзию национальную, не окрашенную французским, немецким или английским влиянием (1824, с. 40–42). Таким образом, первоначально «народность понималась как своего рода индивидуальность нации» (см.: Гинзбург, 1960, с. 52, *passim*); ранее же это понятие могло выражаться словом *национальность* (см., например, у Фонвизина: «В мангеймских немцах менее национальности, нежели в других» — Фонвизин, 1866, с. 321). О вхождении термина *народность* в официальную общественно-политическую фразеологию (с 1833 г.) см. специально выше, с. 407–408, примеч. 25.

Следует указать, что слово *народность* как калька с фр. *popularité* встречается и до того, как Вяземский выступил со своим предложением. Так, С. П. Жихарев записывает в своем дневнике 9 января 1807 г. впечатление от знакомства с А. С. Шишковым: «С большим любопытством рассматривал я почтенную фигуру этого человека, которого детские стихи получили такую НАРОДНОСТЬ, что кажется, нет ни в одном русском грамотном семействе ребенка, которого не учили бы лепетать:

Хоть весною
И тепленько,
А зимою

Холодненько,
Но и в стуже
Нам не хуже, и проч.»

Слово *народность* означает здесь «известность», «популярность», яв-но соответствуя фр. *popularité*. См.: Жихарев, 1955, с. 316–317. Ср., однако, выражение *НАРОДНЫЙ ХАРАКТЕР* у Карамзина, где *НАРОДНЫЙ* соответствует фр. *national* (Карамзин, 1797–1801, I, с. 249).

¹⁶³ Следует иметь в виду, что «простонародное» и «славянское» объединяются для Пушкина. Отвечая на придирки критики к стилю «Полтавы», он писал: «Слова *усы, визжатъ, вставай, рассветает, ого, пора*, казались критикам *низкими, бурлацкими*; но никогда не пожертвую искренностию и точностию выражения провинциальной чопорности и боляни казаться *ПРОСТОНАРОДНЫМ, славянофилом* и тому под.» («Опровержение на критику» (*Habent sua fata libelli*); ср. в этой связи замечание в аналогичном контексте о «щекотливости мещанской журнальных чопорных суждей» в набросках к «Евгению Онегину», см. цитату на с. 456–457 наст. работы, примеч. 191). Ср. в статье «О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова»: «Простонародное наречие необходимо должно было отделиться от книжного: но впоследствии они сблизились, и такова стихия, данная нам для сообщения наших мыслей».

¹⁶⁴ Очень характерна в этом плане пушкинская характеристика Катенина как «одного из первых апостолов романтизма», первым введшего «в круг возвышенной поэзии язык и предметы простонародные» («Сочинения и переводы в стихах Павла Катенина», 1833 г.). Связь того и другого для Пушкина совершенно очевидна.

Романтическое мировоззрение, воспринимающее свое как чужое может приводить к остраненному восприятию разговорной речи и фактографически точной ее фиксации, которая доступна вообще только для внешнего, а не для внутреннего наблюдателя. Ср. замечание В. Ф. Одоевского: «Солдат, встретя старого знакомого, не говорит ему: *здорово, брат*, или что подобное, как в наших романах, а след[ующее]: *А! а! держи его! вот он! ах! Еб< ... > м< ... >* — и они обнимаются» (см.: Сакулин, 1913, ч. 2, с. 385, примеч.; Виноградов, 1935, с. 396). Странность «своего» — один из принципов романтической идеологии.

¹⁶⁵ С. 431–432 наст. изд., примеч. 68 и с. 445–446, примеч. 136.

¹⁶⁶ Мордовченко, 1959, с. 369–370.

¹⁶⁷ Шишков. IV, с. 58.

¹⁶⁸ Ср. в этой связи подчеркнутые коллоквиализмы в речи бобровского Галлоруса. См. Комментарий, примеч. 8, 18, 28, 31, 21, 45, 185.

¹⁶⁹ См.: Н. М. Карамзин, «Отчего в России мало авторских талантов?» (Карамзин, III, с. 529). По мысли карамзинистов, хорошим автором является тот,

Кто пишет так, как говорит,

Кого читают дамы.

(Батюшков, «Певец в Беседе...»)

¹⁷⁰ Левин, 1962, с. 187. Ср. замечания Шишкова о принципиальном отличии книжного (литературного) языка от языка разговорного (см.: А. С. Шишков, «Примечания на критику, изданную в «Московском Меркурии»...» (Шишков, II, с. 432–435)).

¹⁷¹ См. выше, с. 364–365 наст. изд.

¹⁷² Ср. очень точную характеристику принципиального различия между русским и западноевропейскими литературными языками у Тредиаковского в эпиграмме «Не знаю, кто певцов в стих кинул сумасбродный...» 1750-х гг. (см.: Поэты XVIII века, II, с. 392–393). Критикуя лингвистические позиции Сумарокова, Тредиаковский пишет:

За образец ему в письме пирожный ряд,
На площади берет прегнусный свой наряд,
Не зная, что у нас писать в свет есть иное,
А просто говорить по-дружески — другое;
...
У немцев то не так, ни у французов тож;
Им нравен тот язык, кой с общим самым схож.
Но нашей чистоте вся мера есть славенский,
Не щегольков, ниже и грубый деревенский.

Более подробно Тредиаковский говорит об этом в уже упоминавшейся второй редакции статьи о правописании прилагательных (видимо, совпадающей по времени написания с только что цитированными стихами). Здесь читаем: «Ведомо, что во-французском языке, дружеский разговор есть правило красным сочинениям (*de la conversation à la tribune*), для того что у них нет другаго. Но у нас дружеский разговор есть употребление простонародное; а краснейшее сочинение есть иное изряднейшее употребление, отменное от простаго разговора, и подобное больше книжному Славенскому <...> Никто не пишет ни письма о домашнем деле, чтоб он не тщался его написать отменнее от простаго разговора: так что всеобщим у нас правилом названо быть может, что «кто-ближе подходит писанием гражданским к Славенскому языку, или, кто-больше славенских обыкновенных и всех ведомых слов употребляет, тот у нас и не подло пишет, и есть лучший писец». Не дружеский разговор (*la conversation*) у нас правилом писания; но книжный церковный язык (*la tribune*), который-равно в духовном обществе есть живущим, как-и-беседный в гражданстве. Великое наше счастье в сем, пред многими Европейскими народами!» (В. Тредиаковский, «Об окончании прилагательных...» — Пекарский, 1865, с. 109).

¹⁷³ См. выше, с. 365–369, 371–372 наст. изд.

¹⁷⁴ Козельский, 1788, с. 21, 23; Левин, 1964, с. 68–69; Веселитский, 1972, с. 240–241. В последнем замечании усматривается намек на сугубо книжный стиль Тредиаковского.

¹⁷⁵ Свидетельство об этом можно найти у Сумарокова, который с негодованием писал: «Нужное слово и почтеннейшее под Богом, *Естество*, потому только, что говорится, *мужское и женское естество*, приемлется словом противным благопристойности хотя оно только слуху малоумных людей гадко кажется: а инова на сие место и взять негде, хотя в нем невежам и нужды нет; ибо они ни человеческих понятий, ни воображений не имеют» (А. П. Сумароков, «О правописании» [1771 — 1773 гг.] — Сумароков, X, с. 28–29). В другой статье («Критика на Оду») Сумароков критикует Ломоносова, в стихе которого «вместо *природы*, или *естества*, поставлена *натура*, и хотя это и простительно; однако для чего слово *Натура* в Русских речах без нужды употреблять?» (там же, X, с. 90). Протест против слова *натура* как иностранного слова, введенного «без нужды», можно встретить и у Боброва в предисловии к «Херсониде». Перепечатывая текст «Писем русского путешественника» в собрании сочинений 1814 г., Карамзин исправляет *натура* на *естество* (см.: Сиповский, 1899, с. 230); еще ранее, правя текст «Писем...» для издания 1797 г., Карамзин заменял *натурально* на *естественно*, *натуральнее* на *естественнее* (там же, с. 174–175). Кантемир в примечаниях к «Разговорам о множестве миров» Фонтенеля пишет: «натура — по русски *естество*» (Кантемир, II, с. 403).

¹⁷⁶ Эта ситуация в какой-то мере обыгрывается в фонвизинском «Бригадире», ср. слова Бригадирши: «Я церковново-то языка столько же мало смышлю, как и францускова» (акт II, явл. 3).

¹⁷⁷ Мемье, 1795, с. XII–XIII.

¹⁷⁸ См.: Левин, 1964, с. 12. Ср. в этой связи мнение Вигеля, что Карамзин «создал и разговорный у нас язык» (Вигель, I, с. 130). Очень характерен, вместе с тем, протест Шишкова в ответе на критику П. И. Макарова против стилистического нормирования разговорной речи: Макаров, пишет Шишков, «думает, что мы разговариваем между собою простым, средним и высоким языком. Признаться, что я о таком разделении разговоров наших на различные слог отроду в первый раз слышу» (А. С. Шишков, «Примечания на критику...» — Шишков, II, с. 432). Как отмечает В. В. Виноградов (1938, с. 199), «Шишков склонен относиться к устной стихии как к некоторому субстанциональному единству, которое строится на принципиально иных основах, чем язык литературы».

¹⁷⁹ Карамзин, III, с. 529. Нетрудно усмотреть идейную связь этой концепции литературного языка с характерным для Карамзина пониманием «натуры» как «изящной украшенной природы».

С идеями Карамзина отчасти перекликаются мысли И. М. Муравьева-Апостола, высказанные им в «Письмах из Москвы в Нижний Новгород» (письмо десятое, см.: «Сын Отечества», 1814, ч. 12, № 7). Здесь также подчеркивается принципиальное значение разговорной стихии для создания литературного языка. Если бы «ввелось в обществах наших употребление собственного своего языка», а не французского, — пишет И. М. Муравьев-Апостол, — то «составился бы язык *размышления и умствования*, которого до сих пор у нас еще нет, да и быть не может потому, что сколько бы Академии не потели над словарями и грамматиками,

проза чистая, логическая не составит, доколе она сперва не обделается в обществах, образованных вежливостью и просвещением. Язык разговорный к языку книжному — точно то, что рисованье к живописи. Не будет первого, не будет никогда и последнего: ибо вес и значение словам дает употребление, а не определение академий» (цит. по изд.: Зельдович, Лифшиц, 1959, с. 43–44). Ср. в этой связи в «Кошельке» (1774, л. I) замечания о необходимости апробации в разговорной речи того, что вводится в литературный язык.

¹⁸⁰ Макаров, 1803, с. 180.

Любопытно, что Вяземский противопоставляет мысли Карамзина и П. И. Макарова на этот счет. Отвечая на критику Н. И. Бахтина (выступившего под псевдонимом «М. И.» в №№ 13, 14 и 19 «Вестника Европы» за 1822 г., на с. 23–39, 183–203), Вяземский пишет, что Бахтин критикует Карамзина, приписывая ему мысли П. И. Макарова: требования писать как говорят, по мнению Вяземского, принадлежит скорее Макарову, чем Карамзину (см.: П. А. Вяземский, «О двух статьях, напечатанных в «Вестнике Европы», 1822 — Вяземский, I, с. 88, 90). Следует иметь в виду, однако, что Карамзин к этому времени во многом уже отошел от своих прежних позиций (см. с. 400 наст. изд.); в частности, Вяземский ссылается на то, что Карамзин, как и Ломоносов, советует читать церковные книги, наряду со светскими (там же, с. 87).

¹⁸¹ Ср. еще ремарку Макарова в рецензии на перевод романа Жанлис «Матери-соперницы, или Клевета» («Московский Меркурий», 1803, ч. IV, ноябрь): «Господин Переводчик весьма старался применяться к языку, употребительному в обыкновенном разговоре. Только надлежало бы ему подражать людям, которые говорят *хорошо*, а не тем, которые говорят *дурно*. Выражения простонародные не должны Писателю служить правилом. У нас язык общества еще не образовался, потому что люди, которые могли бы образовать его, а особливо женщины, занимаются предпочтительно языками иностранными. И для того **НАДОБНО ИНОГДА ПИСАТЬ ТАК, КАК ДОЛЖНО БЫ ГОВОРИТЬ, А НЕ ТАК, КАК ГОВОРЯТ**» (с. 121–122; курсив оригинала).

¹⁸² Примечательно, что те или иные слова или конструкции начинают связываться с именами определенных авторов. Мы уже видели, как Батеньков говорит (хотя бы и иронически) о «карамзинизмах, жуковскоизмах, пушкинизмах, гречизмах, дмитризмах, богдановичизмах и проч., и проч., и проч.» (см. выше, с. 436, примеч. 92). Ср. в письме Вяземского к Ал. И. Тургеневу от 24 января 1820 г.: «не говорившей — не слишком ли шаликовато? А *слаще ропщут* не слишком ли шахматовато, шатровато, то-есть шероховато» (это ответ на письмо Тургенева от 14 января, где Тургенев отзывается о стихотворении Хвостова: «Прелестно, как хвостовато!» — см.: Остафьевский архив, II, с. 10 и 8). По сути дела спор теперь сводится к направлениям разных авторов. Еще раньше в письме Н. А. Львова к В. В. Капнисту от 23 декабря 1789 г. мы встречаем слово *тредьяковщина* в качестве отрицательной стилистической характеристики: «Есть некоторые негладкости, тредьяковщины и переносы» (Письма русских писателей, 1980, с. 388).

¹⁸³ С этого времени история литературного языка становится практически равнозначной истории языка литературы. Вообще же это глубоко различные явления, поскольку история литературного языка представляет собой историю (языковой) нормы, тогда как история языка литературы — есть история отклонений от нормы.

¹⁸⁴ См. выше, с. 372, а также Комментарий, примеч. 64.

¹⁸⁵ Ср. слова Шишкова о карамзинистах, что «они не о том разсуждают, что такое-то слово в таком-то слогe высоко или низко; таковое суждение было бы справедливо; но нет, они о КАЖДОМ СЛОВЕ ОСОБЕНО, НЕ В СОСТАВЕ РЕЧИ [т. е. о слове как о словарной единице. — Ю. Л., Б. У.], говорят: это Славенское, а это Руское» (А. С. Шишков, «Рассуждение о красноречии Священного Писания...» — Шишков, IV, с. 58).

¹⁸⁶ Ср. выше, с. 363–364 наст. изд.

¹⁸⁷ См.: Комментарий, примеч. 246.

¹⁸⁸ Вопрос об отличии писателя от ученого и о специфике художественной литературы, отличающем ее от научного текста, по-видимому, впервые в русской критике поднимается в статье Карамзина, посвященной херасковскому «Кадму и Гармонии» («Московский журнал», 1791, кн. I). См.: Берков, 1952, с. 510.

¹⁸⁹ Отсюда книжный (письменный) язык, в отличие от языка литературного, в дальнейшем будет оттеснен на периферию языкового сознания, оставаясь характерным прежде всего для научного (или канцелярского) стиля. Это непосредственно связано, конечно, с переосмыслением понятия «литература».

¹⁹⁰ Макаров, 1803, с. 180. Вместе с тем, еще Бестужев-Марлинский может употребить выражение «книжный язык в значении «литературный язык». Ср. его оценку Карамзина: «Он преобразовал книжный язык Русский, звучный, богатый, сильный в сущности, но уже отягчалый в руках бесталанных писателей и невежд-переводчиков» (Бестужев, 1823, с. 15).

¹⁹¹ Ср. позднее у Пушкина, пытающегося освободиться от социолингвистической ограниченности подобного подхода, предпочтение «высшему обществу (high life, haute société)» — «хорошего общества (bonne société)» (наброски к статье «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений»). По словам Пушкина, в «лучшем обществе жеманство и напыщенность еще нестерпимее, чем простонародность (vulgarité) и <... > оно-то именно и обличает незнание света». В частности, «откровенные, оригинальные выражения простолюдинов повторяются и в высшем обществе, не оскорбляя слуха <... > Хорошее общество может существовать и не в высшем кругу, а везде, где есть люди честные, умные и образованные» («О новейших блюстителях нравственности»).

Соответственно, в «Евгении Онегине» (в набросках к VIII главе) —

В гостинной истинно дворянской
Чуждались щегольства речей

И щекотливости мещанской
Журнальных чопорных судей.

В гостинной СВЕТСКОЙ И СВОБОДНОЙ
Был принят СЛОГ ПРОСТОНАРОДНЫЙ
И не пугал ничьих ушей
Живую странностью своей.

¹⁹² Вигель, I, с. 130 (ср. в точности такую же характеристику и у И. И. Дмитриева в письме к П. П. Свиныну от 18 апреля 1832 г.: он говорит здесь о «языке правильном, простом, но благородном, каков Карамзинский», см.: Дмитриев, II, с. 303). — Характерно также следующее замечание Н. А. Полевого о карамзинистах: «Эта школа не так многочисленна печатно, как словесно, и не столько действует она в литературе, сколько в так называемом лучшем обществе» («Московский Телеграф», 1833, № 8, апрель, с. 563–567; цит. по: Сухомлинов, 1874–1888, VIII, с. 348).

¹⁹³ Знаменательно, что в нач. XIX в. отдельные славянофилы могут мечтать о том, чтобы церковнославянский язык был «языком так называемого большого света» (Воронов, 1816, с. 37), нормой речи «знатных и почтенных людей» (Успенский, I–II); см.: Виноградов, 1935, с. 34–35. Представление о функции литературного языка явно обусловлено в данном случае влиянием карамзинистов. Сохраняя общее для «архаистов» отношение к церковнославянскому языку, эти славянофилы заимствуют у своих литературных противников саму концепцию литературного языка.

Подобный подход, впрочем, никоим образом не может считаться характерным для «архаистов» и представляет интерес именно в виду исключительности ситуации. Напротив, Шишков специально подчеркивал недопустимость употребления церковнославянских оборотов и выражений в разговорной речи (А. С. Шишков, «Примечание на критику, изданную в «Московском Меркурии»...», — Шишков, II, с. 433–434).

¹⁹⁴ Ср., между прочим, отзыв В. Л. Пушкина в своем племяннике: «Александровы стихи не пахнут латынью и не носят на себе ни одного пятнышка семинарского» [Цявловский, 1931, с. 35 (из воспоминаний о М. Н. Макарове)]. Специфические семинаризм обыгрываются уже в речах наборщика в комедии Н. П. Николаева «Самолюбивый стихотворец» (1781 г.), см.: Стихотворная комедия... , 1964, с. 104. Ср. также образ Кутейкина.

¹⁹⁵ Ср. о связи «подьяческого» и «семинарского» сословия в записках Ф. Ф. Вигеля: «Молодые дворяне <... > при Екатерине и до нее <... > собственно званием канцелярского гнушались, и оно оставлено было детям священно- и церковно-служителей и разночинцев» (Вигель, I, с. 172; в изд. 1928 г. это место выпущено). В этом смысле характерно, между прочим, демонстративное нарушение традиции Рылевым и Пуциным — уход из армии и поступление в презираемое сословие судебных. Необычность этого шага была отмечена Пушкиным в наброске к «19 октября»:

Ты, освятив тобой избранный сан,
Ему в очах общественного мнения
Завоевал почтение граждан.

Ср. Томашевский, 1934, с. 291.

¹⁹⁶ Катенин, 1822, с. 252–253; Бестужев, 1822, с. 263. Курсив оригинала.

¹⁹⁷ Ср. противопоставление «*благородного театра*» — «*народному театру*» в «Письме к приятелю о русском театре» Н. Брусилова (1805, с. 66). Ср. аналогичный (т. е. социолингвистический) смысл и выражения *высокий язык* в употреблении Бестужева, см. его отзыв о драматических произведениях Шаховского: «Разговорный язык <...> его <...> не довольно *высок* для хорошего общества». («Взгляд на старую и новую словесность в России» 1822 г., — Орлов, 1951, с. 541).

¹⁹⁸ «Патриот», ч. II, 1804, май, с. 237; «Северный вестник», 1804, ч. III, № 7, с. 35–36 (письмо к издателю «Северного вестника» за подписью «И. Г.»). См.: Мордовченко, 1959, с. 101–102. Ср. протесты против сословного употребления слова *подлый* в журналах Н. И. Новикова (см.: Афанасьев, 1859, с. 250–251), в «Опыте Российского сословника» Д. И. Фонвизина (см.: Фонвизин, I, с. 226–227), а также острые дискуссии вокруг употребления этого слова как социальной или этической категории в «Комиссии по выработке нового уложения» 1767 г. (спор между кн. М. Щербатовым, с одной стороны, и Я. Козельским, И. Чупровым, с другой).

Характерно, что и у Тредиаковского (во всяком случае во второй период его творчества) слово *подлый* не имеет социолингвистического смысла, а квалифицирует вообще разговорную (некнижную) языковую стихию, в том числе и разговорную речь дворян; так, например, выражение *писать подло* означает «писать как говорят» (ср. цитату выше, с. 453, примеч. 172), аналогичный смысл имеет *подлое употребление* и т. п. Между тем, для Сумарокова *подлое* — это «простонародное» (ср., например, критику выражения *Нептун чудился* в оде Ломоносова: «*Чудился* слово самое подлое и так подло как *дивоался*. Нептун не чудился, удивлялся», см.: А. П. Сумароков, «Критика на Оду», — Сумароков, X, с. 84). Таким образом, отмеченное различие в употреблении данного слова как бы соответствует разнице позиций Сумарокова и Тредиаковского. Соответственно употребляет Сумароков и эпитет *благородный* (ср. у него в замечаниях на «Наказ» Екатерины II: «<...> наш низкий народ никаких благородных чувствий еще не имеет», см. изд.: Сб. РИО, X, СПб., 1872, с. 86); ср. еще противопоставление «благородства» — «подлородству» в его соч. «Сон. Счастливое общество», см.: Сумароков, VI.

¹⁹⁹ См. цитаты в кн.: Виноградов, 1935, с. 416; аналогичные выражения по тому же поводу можно встретить у Каченовского (см. там же). Ср. Комментарий, примеч. 17.

²⁰⁰ Так, например, призывая ориентировать литературный язык на разговорную речь, П. И. Макаров предупреждает, как мы видели, против

следования «выражениям простонародным» (см. с. 455, примеч. 181). — Этот социолингвистический аспект очень отчетлив, между прочим, и у Сумарокова, который оправдывает употребление в литературных текстах местоимений «*этот, эта, это, за сей, сия, сие*», ссылаясь на то, что «они слова не чужестранные и не простонародные»: иначе говоря на их употребимость в речи хорошего общества (А. П. Сумароков, «Ответ на критику», — Сумароков, X, с. 97). Между тем, для Шишкова и других архаиков эти местоимения, несомненно, являются именно «простонародными» элементами.

²⁰¹ Ср. замечания А. Г. Гуковского о соответствующей функции славянизмов в языке Радищева. См.: Гуковский, 1936, с. 189. Ср. Кочеткова, 1975.

²⁰² Ср., например: Шишков, 1808, с. XIII: «Когда чудовищная французская революция, поправ все, что основано было на правилах веры, чести и разума, произвела у них новый язык, далеко отличный от языка Фенелонов и Расинов, тогда и наша словесность по образцу их новой и немецкой, искаженной французскими названиями, словесности, стала делаться не похожею на русский язык».

²⁰³ Ср. реформу военной и административной терминологии, предложенную Пестелем в его «Записке о государственном правлении» и в «Записке о составе войск»: *армия* заменяется на *рать*, *офицер* на *чиновник*, *кирасир* на *латник*, *солдат* на *ратник*, *капальство* на *уряд*, *колонна* на *толпник*, *корпус* на *ополчение*, *дивизия* на *воерод*, *батальон* на *сразин*, *артиллерия* на *воemet*, *бронемет*, *линия* на *рядобой*, *каре* на *всобронь*, *пост* на *става*, *штаб* на *управа*, *кавалерия* на *конница*, *иррегулярная* на *бесстройная*, *ефрейторство* на *десяток*, *дирекция* на *равнение*, *диспозиция* на *боевой указ*, *экзекутор* на *исполнитель*, *штандарт* на *знамя*, *деташемент* на *отряд* и т. д. (см.: Восстание декабристов, VII, с. 219–267, 407–409, 609–610, 687–688). Ср. в этой связи также «Письмо к генералу NN о переводе воинских выражений на Руской язык» Ф. Н. Глинки («Сын Отечества», 1816, ч. 28, № 8, с. 41 и сл.). (Любопытно отметить совпадение этих предложений декабристов с идеями Юрия Крижанича, объясняемое, конечно, не исторически, но типологически: Крижанич также выступал против «употребления чужих слов в воинском деле», предлагая, между прочим, такие замены, как *рейтар* — *конник*, *солдат* — *пехотинец*, *мушкетер* — *пищальник* и т. п., см.: Юрий Крижанич, 1965, с. 86–87 и 440–441.)

Характерна, вместе с тем, идея славянского единения, свойственная некоторым декабристским кругам, ср. особенно «Общество Соединенных Славян», название которого связано, возможно, отношением преемственности с масонской «Ложей Соединенных Славян» (действовавшей в Киеве в 1818–1822 гг.), см.: Иконников, 1908, с. 659–661; ср., между тем, сказанное выше (с. 373 наст. изд.) о связи этнографического и лингвистического содержания слова *славянский*.

²⁰⁴ Вяземский, VIII, с. 286.

²⁰⁵ Кюхельбекер, 1824, с. 38; курсив оригинала. Выражение для

немногих представляет собой цитату, соответствующую названию придворного издания Жуковского («Für Wenige. Для немногих», М., 1818 г.). Любопытно отметить, что все приводимые Кюхельбекером слова фигурируют в «Словаре Академии Российской»; таким образом, речь идет в данном случае не о каких-либо относительно недавних заимствованиях, но — о самом принципе.

²⁰⁶ «Лицей», 1806, ч. II, № 1. Ср. еще стихотворение Боброва «К патриотам везде и во всяком. На случай Маниф[еста] от 30 ноября сего года», опубликованное в том же томе («Лицей», 1806, ч. IV, № 3).

²⁰⁷ Ср. любопытное свидетельство Вигеля о существовании такого жаргона: «В Петербурге жил он [М. А. Обрезков. — Ю. Л., Б. У.] в самом аристократическом кругу и (еще раз прошу позволения заимствовать у французского языка, чего нет в нашем), владея в совершенстве жаргоном большого света, постоянно в нем удерживался» (Вигель, I, с. 215–216).

²⁰⁸ См. специально в Комментарий примеч. 8, 9, 15, 19, 21, 22, 30, 32, 38, 48, 49, 56, 63, 75, 79, 92, 111, 126, 135, 164, 186, 199, 210, 243, 264.

²⁰⁹ В. В. Виноградов справедливо писал по этому поводу: «Изучение «наречия» «щеголей» и «щеголих» конца XVIII века нельзя отделять от вопроса о светском языке русской дворянской интеллигенции (столичной и находившейся под влиянием столицы — провинциальной), которая, разрывая связи с традициями церковной книжности, питалась французской «культурой». И далее: «Не будет парадоксальным утверждение, что диалект «щеголей» и «щеголих» XVIII века стал одной из социально-бытовых опор литературной речи русского дворянства конца XVIII — начала XIX веков» (см.: Виноградов, 1935, с. 195–196).

²¹⁰ Вместе с тем, внимательный анализ под соответствующим углом зрения позволит, можно думать, обнаружить декларации о языке, написанные с позиций щегольской культуры. Таков, например, уже цитировавшийся выше «Опыт о языке во обще, и о Российском языке» неизвестного автора из Ярославля, опубликованный в октябрьском выпуске «Собрания новостей» за 1775 г.

²¹¹ Понятно, вместе с тем, что нельзя ожидать абсолютного совпадения в условиях изменчивости живой речи (усугубляемой, к тому же, непостоянством моды). Можно сказать, что соответствия в данном случае более значимы, чем отличия.

²¹² См. специально Комментарий, примеч. 164, 22 и 30.

²¹³ Ср. о слове *милий* Комментарий, примеч. 221.

²¹⁴ Ср. Комментарий, примеч. 15, 68, 111. — Калайдович констатирует в статье «О словах, изменивших свое значение»: «Прелесть, теперь берется в хорошем смысле, в каком Французское слово *les charmes* <...> А в церковных книгах в дурном, и означает прельщение, соблазн» (1820, с. 89–90). Очень знаменательно следующее наблюдение Кюхельбекера: «Сегодня, когда прохаживался, матрос, из стоящих на карауле, взглянул на небо и воскликнул: «Какое прелестное небо!».

Лет за десять назад любой матрос в нашем флоте, вероятно, даже не понял бы, если бы при нем кто назвал небо прелестным <...> Как после этого еще сомневаться, что наш век идет вперед?» (из неопубликованной части дневника, запись в Свеаборгской крепости от 23 апреля 1835 г., цит. по: Тынянов, 1939, с. LIII–LIV). Изолированное положение Кюхельбекера делало для него особенно заметным изменение языка, придавая ему как бы дискретный характер.

Ср. в этой связи известные слова Карамзина 1802 г.: «Оставим нашим любезным светским дамам утверждать, что Русской язык груб и не приятен, что *charmant* и *séduisant* <...> не могут быть на нем выражены». («О любви к отечеству и народной гордости», в изд.: Карамзин, III, с. 474). *Charmant* и *séduisant* могут быть выражены через их церковнославянские корреляты — *прелестный* и *соблазнительный* (что обуславливает вхождение этих слов в иной семантический ряд).

²¹⁵ Н. П. Николев в предисловии к пьесе «Розана и Любим» (1781) приводит *обожаю* как пример петиметрского слова (ср. Комментарий, примеч. 75); ср. еще этот глагол в стилизованной речи Щеголихи в «Живописце» (1772, ч. I, л. 4, ср. изд.: Берков, 1951, с. 292). Точно так же Шишков (1811, с. 116) констатирует, что раньше не могли сказать любовники: *я тебя обожаю*, замечая: «Все это чужое, не наше русское»; ср. у И. М. Долгорукова в стихотворении «Я» (см. изд.: Поэты XIX века, 1961, с. 141):

Лет триста, например, назад тому, я чаю,
Любовник не певал: «Ах! я вас обожаю!»

Любопытно в этом же смысле шутивное толкование слова *обожать* в «Светском словаре», помещенном в «Вестнике Европы» за 1825 г.: «почесть принадлежащая Творцу, но весьма часто воздаваемая твари» (цит. по В. Д. Левину, 1964, с. 361), ср. еще о слове *обожать* выше, с. 437–438 наст. изд. примеч. 96. — Ср. в этой связи характерное для щегольского наречия XVIII в. слово *болванчик* как перевод с фр. (*petite*) *idole* (см. изд.: Берков, 1951, с. 319–320, *passim*).

²¹⁶ Ср. ремарку В. Плаксина в его «Замечаниях на сочинение А. С. Пушкина: Борис Годунов» (1831, с. 289): «<...> о *боже мой!* Это голос не Русского народа. Русский один не скажет о Боге: *мой*, а говорит обыкновенно: *наш*; и притом Русские любят сложные восклицания и воззвания, как например: *Ах, Господи, Боже наш!* О *Пресвятая Богородица!* и т. п.; знаменательно, что это восклицание ассоциируется с французским выражением и совершенно не связывается с соответствующим обращением в Псалтыри (например, в VII-м псалме и др.). Ср. в этой связи Комментарий, примеч. 34, о выражении *О небо* как кальке с фр. о *ciel!*

Ср., между тем, восклицания *О боже мой!* и *О небо!* уже у Ломоносова в «Тамире и Селиме» (акт I, явл. 3).

²¹⁷ Ср. эти выражения в примерах речи петиметров в «Бригадире» Фонвизина (акт II, явл. 4, 5, 6) и в «Живописце» (1772, ч. I, л. 4, ср. изд.: Берков, 1951, с. 203, 292). Ср. также материал, относящийся к

этому и близким выражениям, приведенный в статье: Биржакова, 1965, с. 267–268.

Ср., однако, свидетельство И. Болтина, что «обыкновенно русские крестьянки, осердясь на мужа и не смея бранить его, бранят детей своих, даже и в чреве носимых: *черт его возьми! чтоб его черт взял!* Старухи деревенские уверяют, что если в злой час случится выговорить такое слово, то и подлинно ребенка черт возьмет» («Примечания на историю Леклера», 1788, I, с. 114, цит. по: Зеленин, II, с. 17–18). Ср. слова императрицы Елизаветы, относящиеся к ее племяннику великому князю Петру Федоровичу (будущему императору Петру III), «Племянник мой — урод, черт его возьми» (цит. по: Шильдер, 1901, с. 14, примеч. 1). Таким образом, переводные фразеологизмы светского общества естественно накладываются на «черное» речевое поведение, относящееся к совершенно иному языковому пласту (ср. отчасти близкую ситуацию в случае слов типа *прелесть*, *соблазн* и т. п.). Ср. также эпизод из жития Василия Блаженного, где описывается кабатчик, который «всем ругательно обычаем своим бесовским глаголаше: «Чорт да поберет!», в результате чего действительно на сцене появляется бес (Кузнецов, 1910, с. 97–98. Ср. Лихачев и Панченко, 1976, с. 147).

²¹⁸ Так, уже Шишков констатирует, что «обветшалая иностранная слова, как например: *авантажиться*, *манериться*, *компанию водить*, *куры строить*, *комедь играть* и проч. <... > ПРОГНАНЫ УЖЕ ИЗ БОЛЬШОВА СВЕТА И ПЕРЕСЕЛИЛИСЬ К КУПЦАМ И КУПЧИХАМ» (Шишков, 1818, с. 23, примеч.). Между тем, эти выражения в свое время принадлежали, по-видимому, к щегольскому наречию.

Ср., например, выражение *строить дворики* в образцах щегольской речи в «Живописце» (ч. I, 1772, л. 4), представляющее собой дословный перевод с фр. *faire la cour*; ср. там же (л. 17) отзыв мужа о своей жене: «Разговор ее ни в чем другом, по большей части, не состоит, как только рассказывает и делает заключения, кто кому творит какой-то *кур*, слово, которого я до женитьбы моей не знал» (см. изд.: Берков, 1951, с. 294, 342).

Выражение *делать кур* фигурирует в речи щеголя Ветромаха в комедии Княжнина «Чудаки» (1790 г.):

... Je jurerai toujours,
Что я могу сказать, не делая ей кур,
И тем не сделаю нimalого ей крима:
Она divinité!

(см. изд.: Княжнин, 1961, с. 461); встречается оно и у Крылова в комедии «Проказники» (см.: Биржакова, 1965, с. 268–269; здесь же и позднейшие примеры из Пушкина, Григоровича, Писемского).

Сумароков посвятил этому выражению специальную притчу «Шалуныя»:

Шалуныя некая в беседе,
В торжественном обеде,
Не бредила без слов французских ничего.

Хотя она из языка сего
Не знала ничего,
Ни слова одного,
Однако знанием хотела поблистать
И ставила слова французские некстати;
Сказала между тем: «Я еду делать кур».
Сказали дурище, внимая то, соседки:
«Какой плетешь ты вздор! кур делают наседки.»

(Сумароков, VII, с. 197). П. Н. Берков не понял смысла этой притчи, считая, что выражение *делать кур* означает «лечиться» (*faire une cure*), см.: Сумароков, 1957, с. 546.

Ср. еще выражения *сделать компанию*, *сойтиться с компаниею* в стилизованной петиметрской речи в «Бригадире» Фонвизина (см.: Тихонравов, 1894, с. 149, 140).

²¹⁹ Ср. Комментарий, примеч. 9, 32.

²²⁰ Эти и подобные выражения специально квалифицируются как «щегольские» в новиковских журналах, см.: Берков, 1951, с. 190, 312–313, 317. Конечно, не все эти выражения могут быть отнесены непосредственно насчет французского языкового влияния.

²²¹ См. с. 386–387 наст. изд.

²²² С. 356–358 наст. изд.

²²³ См. характеристику В. Л. Пушкина в «Записках» Ф. Ф. Вигеля (I, с. 131, 133, 341) как типичного щеголя и модника: «Сибарит, франт, светский человек, он имел великое достоинство приучать ушеса щеголих, княгинь и графинь к звукам отечественной лиры» (с. 341); ср. еще: Вяземский, 1929, с. 330, Вяземский, I, с. IX. Об облике Макарова см.: Геннади, 1854. О Шаликове см. очерк В. Саитова в кн.: Батюшков, I, с. 434–437. — Ср. в этой связи уподобление «прежних петиметров» и «франтов нынешних», под которыми понимаются карамзинисты, у А. А. Палицына в «Послании к Привете», 1807 г. (см. изд.: Поэты 1790–1810-х годов, 1971, с. 765); отметим в этой связи, что противопоставление *франта* как современного щеголя и *петиметра* как щеголя прошлого времени можно встретить и в «Письмах русского путешественника» Карамзина (Карамзин, II, с. 450):

²²⁴ См.: Барсков, 1915, с. 70–73; ср. сходный отзыв о Карамзине как о ксенофиле в письме М. И. Багрянского к А. М. Кузузову от того же года (несколько более позднего времени) — см. там же, с. 86.

Следует иметь в виду, что *попугай* и *обезьяна* представляют собой стереотипные обозначения щеголя в сатирической литературе второй пол. XVIII в. [так, например, у Княжнина в комедии «Чудаки» (см.: Княжнин, 1961, с. 516) или у Н. А. Львова в поэме «Русский 1791 год» и в «богатырской песни» «Добрыня» (см.: Поэты XVIII века, II, с. 208 и 228)]. Ср., в частности, такую же фразеологию и у самого Карамзина в «Письмах русского путешественника»: «В нашем так называемом *хорошем обществе* без Французского языка будешь глух и нем. Не

стыдно ли? Как не иметь народного самолюбия? За чем быть ПОПУГАЯМИ И ОБЕЗЬЯНАМИ вместе?» (Карамзин, V, с. 198). Точно так же в статье «Странность» Карамзин называет русских галломанов «французскими обезьянами и попугаями» (1802, с. 55–57); в статье «О легкой одежде модных красавиц девятого-надесять века» Карамзин говорит об обезьянстве как о «Сибирском названии моды» (Карамзин, III, с. 524).

²²⁵ См.: Лотман, 1973, с. 14. Вторая редакция сатиры Воейкова относится к 1818–1822 гг.

²²⁶ См. анализ бытовой речи Карамзина в этом плане: Виноградов, 1935, с. 196–197. См. также Комментарий, примеч. 50, 164.

²²⁷ См. письмо Г. П. Каменева к С. А. Москотильникову от 10 октября 1800 г. — Бобров, 1902, с. 130 (ср.: Второв, 1845, с. 49–50).

²²⁸ Ср., например, у Батюшкова в письме к Гнедичу от 1 ноября 1809 г. такие типичные выражения, как *дурачество*, *бесподобное слово* и т. п. (Батюшков, III, с. 52). Соответствующие выражения отмечаются как специфические для щегольского жаргона второй пол. XVIII в. в целом ряде источников (относительно эпитета *бесподобный* см. некоторые примеры в Комментарий, примеч. 75; в отношении слова *дурачество* см. хотя бы в «Живописце», ч. I, 1772, лл. 4, 9, ср. изд.: Берков, 1951, с. 294, 313; см. также слово *дурачество* в речи петиметра в «Разговоре Сократа с петиметром» Н. П. Бруилова — Бруилова, 1803, I, с. 5).

²²⁹ Ср. «Московский Меркурий», 1803, ч. II, май, с. 140, ч. III, июль, с. 57.

²³⁰ Катенин, 1911, с. 39. — Ср., однако, бескомпромиссную позицию Кюхельбекера по отношению к творчеству Пушкина (см. ниже, с. 465, примеч. 237).

²³¹ А. С. Шишков, «Сравнение Сумарокова с Лафонтеном...», — Шишков, XII, с. 168. Характерен также аналогичный отзыв В. Плаксына об этом произведении: «Карамзин, частью убежденный некоторыми дельными замечаниями противной партии в ошибках своих, относительно языка, частью начитавшись старинных летописей и викинув в характер Русского языка и в сродство онаго с Славянским, умел выбрать средину между формами иноязычными и между Славянизмом; а сим сродством он примирился с враждующею партией» (Плаксин, 1833, с. 327–328; Виноградов, 1935, с. 95). Ср. еще отзывы критики 30-х гг., приведенные у Виноградова (1935, с. 38, примеч. 1 и с. 54), а также: Левин, 1964, с. 295–296, 315–316.

Ср. в этой связи мнение Ю. Н. Тынянова, что победа в языковой борьбе первых десятилетий XIX в. осталась за славянофилами, а не за карамзинистами: «Не очень распространен <... > тот факт, что не Карамзин победил Шишкова, а, напротив, Шишков Карамзина. По крайней мере в 20-х и 30-х годах было ясно многим, что в «Истории Государства Российского» Карамзин сдал свои стилистические позиции своим врагам» (Тынянов, 1929а, с. 4; см. еще: Тынянов, 1929, с. 293, *passim*).

²³² См. выше, с. 374–380 наст. изд.

²³³ Значение Пушкина для истории литературного языка обусловлено характерной для этого периода ориентацией литературного языка на литературу. См. специально выше, с. 392–393 наст. изд.

²³⁴ См. выше, с. 379–380 наст. изд.

²³⁵ См.: Томашевский, 1959, с. 427–428; Томашевский, 1959а, с. 57–58.

²³⁶ Тынянов, 1929; Виноградов, 1935, *passim*.

²³⁷ Отсюда, видимо, объясняется отрицательное в каком-то смысле отношение к творчеству Пушкина Кюхельбекера: отдавая должное таланту Пушкина, Кюхельбекер не принимает результатов его творчества. См. запись в дневнике Кюхельбекера под 17 января 1833 г.: «Перечитывая сегодня поутру начало третьей песни своей поэмы [«Юрий и Ксения». — Ю. Л., Б. У.], — я заметил в механизме стихов и в слоге что-то пушкинское. Люблю и уважаю прекрасный талант Пушкина, но, признаться, мне бы не хотелось быть в числе его подражателей. Впрочем, никак, не могу понять, от чего это сходство могло произойти: мы, кажется, шли с 1820 года совершенно различными дорогами, он всегда выдавал себя (искренно ли или нет — это иное дело!) за приверженца школы так называемых очистителей языка, а я вот уж 12 лет служу в дружине славян под знаменем Шишкова, Катенина, Грибоедова, Шихматова» (Кюхельбекер, 1929, с. 88). Эти слова, может быть, нагляднее других демонстрируют, насколько актуальны были вопросы языка для литературной борьбы.

²³⁸ Виноградов, 1928, с. 99–100. Ср. нередкие у Пушкина — особенно в письмах — случаи пояснения значения русского слова соответствующим французским эквивалентом (приводимым в скобках), как бы обнажающим французский языковый субстрат; точно так же в критических заметках, «оценивая и определяя значение слова, Пушкин прибегал почти всегда к сопоставлению с французским языком» (Виноградов, 1938, с. 239–240; Виноградов, 1935, с. 262–266).

Жуковский говорил П. А. Вяземскому про его отца, «что он <Жуковский> всегда удивлялся ловкости и сноровке, с которою в разговоре переводил он <кн. А. Вяземский> на русскую речь мысль, видимым образом, сложившуюся в уме по-французски» (см. П. А. Вяземский, «Автобиографическое введение», — Вяземский, I, с. LVIII).

²³⁹ Ср., например, регулярное в письмах Пушкина и к Пушкину обращение *радость*, которое в сатирических журналах Н. И. Новикова фигурирует как специфическое «щегольское» слово (ср. также *моя прелесть*, *мой ангел* и т. п.). (Ср. к этому еще Комментарий, примеч. 30). Замечательно, однако, что, употребляя в переписке «щегольское» выражение, Пушкин в ряде случаев дает параллельный к нему вариант. Ср. письма Пушкина к Вяземскому (начала и концовки). Так, письмо от 15 июля 1824 г. заканчивается словами: «Прощай, моя радость. Благослови, Преосвященный Владыко Асмодей», а письмо от 1 декабря 1826 г. начинается обращением: «Ангел мой Вяземской, или пряник мой Вяземской». В обоих случаях Пушкин как бы переводит с «щегольского»

(светского) слога на славянский или на просторечный (которые противопоставлены ему в языковом сознании).

²⁴⁰ См. выше, с. 388–389 наст. изд.

²⁴¹ Ср. в его «Письме к издателю» (журнала «Современник») 1836 г. «Может ли письменный язык быть совершенно подобным разговорному? Нет, так же как разговорный язык никогда не может быть совершенно подобным письменному. Не одни местоимения *сей* и *онь*, но и причастия вообще и множество слов необходимых обыкновенно избегаются в разговоре. Мы не говорим: *каreta скачуца по мосту, слуга метущий комнату*; мы говорим: *которая скачет, который метет* и пр., — заменяя выразительную краткость причастия вялым оборотом. Из того еще не следует, что в русском языке причастие должно быть уничтожено < . . . > Письменный язык оживляется поминутно выражениями, рождающимися в разговоре, но не должен отречься от приобретенного им в течение веков. Писать единственно языком разговорным — значит не знать языка».

ПРОИЗШЕСТВИЕ ВЪ ЦАРСТВѢ ТѢНЕЙ,
или
СУДЬБИНА РОССІЙСКАГО ЯЗЫКА

1805 года
Ноября дня
Санктпетербургъ

Его
Превосходительству
Господину Тайному Советнику,
Сенатору,
Товарищу Министра
народнаго просвѣщенія
Императорскаго Московскаго университета
Попечителю

и
Разныхъ орденовъ
Кавалеру,
Михаилу Никитичу
МУРАВЬЕВУ,
Милостивому Государю

Съ истинными чувствованіями
признательности, глубокопочи-
танія и преданности посвящаетъ
Семень Бобровъ

Utile dulci . . .
Hor. —

— И нынѣ, кромѣ прехожденія [т. е. преселенія], а паче отъ неразсудныхъ и не хранящихъ чести народа и языка своего безъ нужды отъ самохвальства чужие слова, да иногда и неправо вносятъ, мня, яко бы тѣмъ свой языкъ украшаютъ. —

Татищевъ в ист. Росс.
Гл. 31, стр. 390.

— Самохвалы вредъ въ языкѣ наносятъ, мня странными рѣченіи ихъ разговоры и письма украсить, что токмо въ голову придетъ и тѣмъ . . . в недоумѣніе или странное мнѣніе приводятъ.

Тамъ же стр. 494

*Слова еще въ первой половинѣ
прошедшаго столѣтія съ жа-
лобою на порчу языка сказаны.¹*

Произшествіе въ царствѣ тѣней.

Дѣствіе происходитъ между Галлоруссомъ, Бояномъ, Ломоносовымъ и Меркуриемъ на той сторонѣ рѣки Стикса.

Въ прежніе времена смѣшеніе народовъ и ихъ языковъ бывало по случаю преселеній, или завоеваній; тогда имъ необходимо надобно было вступить въ нѣкоторое родство съ инородными жителями какъ по образу слова, такъ и по образу чувствованій. Во времена *Рюрика* чрезъ преселеніе Варяговъ въ Новгородскую область сіе легко могло статься. Но нынѣ таковое смѣшеніе происходитъ со всѣмъ иначе. Безъ всякаго преселенія, безъ всякаго завоеванія, и безъ всякой нужды *Гальская статъ*, обычай и наряды вкрадываются даже и въ русской языкъ, такъ что на коренной и существенной образъ нашего слова² какъ будто наложено запрещеніе или амбарго³, и видно, что безъ боя трудно будетъ намъ отъ себя выпроводить сихъ гостей. Что я говорю! — Не только *Вельшския* поговорки⁴, но и нѣкоторые умствованія, которые, правду сказать, не очень, . . . подобно выходцамъ, кажется, пріѣхали токмо препроводить время, или погостить подъ рускимъ небомъ; а вмѣсто того они уже вздумали совершенно водвориться. — Лестное сближеніе и родство! — Изъ сей то смѣси языка родились не давно полуроссы и полугаллы, или однимъ именемъ назвать, *Галлоруссы*⁵. Число ихъ въ нашемъ отечествѣ нынѣ довольно; но никто изъ нихъ по образу мыслей и разговоровъ не заслужилъ такого общаго вниманія, какъ сей избранный мною теперь рыцаремъ произшествія. Онъ напоенъ бывъ чрезъ мѣру *Гальскимъ* духомъ, старался влить его и въ самые чувства соотечественниковъ, старался влить и въ самый образъ ихъ слова. Мнимый блескъ его ослѣпилъ многихъ слабодушныхъ; но къ щастію и радости истинныхъ любителей всякаго отечественнаго блага вдругъ онъ преселился на другой берегъ *Стикса*⁶. Испивъ воды изъ рѣки *Забвенія*, забываетъ все прошедшее, но не забываетъ токмо любимыхъ своихъ выраженій. Въ такомъ мрачномъ состояніи будучи по выходѣ изъ *Хароновой* лодки, на конецъ какъ бы пробуждается, собираетъ въ памяти все прежнее, изумляется отъ настоящаго⁷, оглядываетъ всѣ предметы, страшится, — ободряется, изъясняетъ удивленіе свое въ полурускихъ словахъ, и между тѣмъ видитъ нѣкоторыя тѣни старыхъ русскихъ. Одна изъ нихъ ходитъ съ важнымъ видомъ; Меркурій подлѣ нее. — «Какая странность⁸? — сказала она; — Гдѣ я теперь? откуда и куда меня

занесло? а! — къ старымъ рускимъ! — я не на *хорошей ногѣ*⁹; — такъ; — я вижу сѣдаго бородача съ какимъ то свиткомъ и сквозными гуслими¹⁰! — Не это ли *Филомела Рюриковичъ*, или *Олеговичъ днѣй*¹¹? — Повидаться съ нимъ. — [узнаетъ его] Здравствуй, старина! — возможно ли? — Я лично честь имѣю видѣть здѣсь Бояна, котораго в Россіи не давно и по слуху узнали! — на какой ты здѣсь *ногѣ*¹²? не *ретушируешь*¹³ ли старыя свои погудки? . . . »

* * *

Такова была первая встрѣча и привѣтствіе *Галлорусскаго* переселенца. *Боянъ* сколь ни извѣстенъ былъ около девятаго или десятаго вѣка въ древней Россіи, такъ какъ и всѣ одноплеменные съ нимъ Скандинавские Барды; но имя его подлинно еще недавно открыто. — При переправѣ *Галлорусса* чрезъ Стиксъ онъ спокойно прохаживался по берегу; но увидя его приближающагося, съ нѣкоторымъ удивленіемъ говоритъ про себя: — Кто бы это такой былъ? — Не одноземецъ ли, не потомокъ ли мой? — нѣтъ; — онъ нимало не сходствуетъ съ моими современными; надобно полагать, что онъ и говоритъ на иномъ языкѣ. — [къ нему] Добро пожаловать, дорогой гость! благодарю за привѣтствіе твое, могу ли спросить, коея ты страны? твоя одежда, поступь и чуждое мнѣ¹⁴ нарѣчіе показываютъ тебя иноплеменникомъ; не изъ *Далмаціи* ли? или изъ *Истріи*, или изъ *Вандаліи*?

Галлоруссъ

Какъ иноплеменникомъ? — Какъ изъ *Вандаліи*? [въ сторону] ахъ¹⁵! какъ это все *пагнетъ стариной*¹⁶? — даже не сносно; — будто мой языкъ чужой ему! — [къ нему] не ужъ ли ты не видишь во мнѣ россиянина? Знаешь ли, что нынѣ у насъ *все*¹⁷ *перемѣнившись*¹⁸? — Я тебѣ расскажу: — на мѣсто неуклюжаго вашего платья, вашихъ жупановъ носятъ послѣдней моды фракки, какъ видишь на мнѣ; — прическа на головѣ славная¹⁹ *a la Tite*²⁰, — бороды брѣютъ; — старыхъ упрямецовъ обычай брошены; всѣ *итныя* морщины разправлены; — *итная* грубость, *итная*²¹ *серьбозность*, или по вашему степенность²², какъ ветхія и поношенныя вещи, презрѣны; нынѣ все моложе, все *освѣженнѣе*; все улыбается; — чувства утонченнѣе²³; — языкъ русской *очищеннѣе*²⁴; кисть нашихъ Авторовъ²⁵ не по прежнему *сентиментальнѣе*²⁶, живѣе, рѣзвѣе; вотъ какая во всемъ *реформировка*²⁷! по чести скажу: прежняя Россія была подлинно *покрывшись*²⁸ какимъ то ночнымъ мерцаніемъ; все было тогда *заблудительно*²⁹, *не развязано*³⁰, не выяснено; а нынѣ, — ты видишь и судишь по мнѣ, — *вездѣ ужъ разсвѣтавши*³¹; — однимъ словомъ, все въ своей *тарелкѣ*³².

*Во всѣхъ разговорахъ *Галлорусса* проведенныя линии для курсивныхъ

Боянъ въ сторону.

Праведное небо³⁴! что я слышу? — какой языкъ? — [обратясь къ нему] Государь мой! не уже ли нынѣ въ Россіи всѣ изъясняютъ мысли свои такъ, какъ ты? — Естли бы ты не предувѣдомилъ о себѣ: то ей! ей! не зналъ бы я, что ты россіанинъ, потомокъ Славянъ и мой единоземецъ. — Горе языку! — Лучше подлинно со всѣмъ забыть его, и употреблять чужестранный, нежели говорить на немъ такимъ образомъ, какъ ты. Я видался съ *Богомилом*³⁵, *Іакимомъ*, *Несторомъ*, *Моголою*, *Тупталомъ*³⁶, *Прокоповичемъ*, *Яворскимъ*, *Кантемиромъ*, *Ломоносовымъ*, и со всѣми ими говорилъ; но бесѣда всѣхъ сихъ вѣтій, писателей и пѣвцовъ не такова, какъ твоя. — Правда; — и въ ихъ языкъ ощутилъ я многую перемѣну, но безъ преступленія предѣловъ, и въ немъ не забыты основанія древняго слова³⁷.

Галлоруссъ.

Ты меня еще не можешь разумѣть, *Г. Боянъ*; надобно, что б³⁸ ты перевоспиталъ, и *перечистилъ* себя, *чтобъ*^{38а} меня понимать. Брось лучше эту старинную *галиматью*³⁹! ахъ⁴⁰! — ты бы⁴¹ весьма *щастливъ былъ*, *чтобъ*⁴² учиться въ нашихъ *пансіонатахъ*⁴³; а естли б⁴⁴ при томъ узналъ всѣ наши *этикеты*⁴⁴; и естли б⁴⁵, такъ сказать, ты былъ нарядясь⁴⁵ подобно намъ; *то бы ей!* во всемъ былъ развязаннѣ⁴⁶; *то бы многіе были*⁴⁷ тобою *пльняющеся*⁴⁸. — На вѣрное въ твои времена не было такихъ училищъ, не было и *утонченнаго вкуса*⁴⁹; а безъ вкуса можно ли писать, говорить, и *блистать*⁵⁰ въ жизни? Когда бы *лзя было*, что б⁵¹ ты опять возвратился на землю; то бы россіянъ *засталъ играть*⁵² славную *роль*⁵³ — не по прежнему. Герои дерутся бойко, а *поэты поютъ браво*⁵⁴, — не всѣ правда, но не такъ, какъ твоихъ временъ виршесплетатели похожіе, какъ видно, на ханжей, или слѣпыхъ старцовъ бродящихъ по Украинскимъ ярморкамъ⁵⁵. — Ну! сыграй на пробу что нибудь на своихъ гусляхъ! и я *наиболѣе*⁵⁶ въ себѣ увѣренъ буду.

Меркурій.

Ты опять, братъ, сталъ видно по прежнему умничать, и чу-ху городить⁵⁷, да еще заставляешь старика играть. Пора тебѣ къ *Вельшскимъ* красавицамъ, *вѣдьмамъ*⁵⁸! Тамъ *наслушаешься пѣсней*⁵⁹; пора, пора!

Боянъ

Не возбрани, сынъ Перуна⁶⁰! [*съ негодованіемъ Галлоруссу*] Какое пустословіе? — Галлоруссъ! Какъ ты ни странно, какъ ни смѣшно говоришь; но я сквозь сумятицу твоихъ словъ понимаю

буквъ означаютъ употребленные имъ выраженія противъ свойства истиннаго языка, или по своенравію³³.

твою цѣль, и чувствую, что ты бы очень радъ былъ наставленіями своими развратить образъ чувствъ и словъ моихъ. Но тщетно. Вижу, что скромность тебѣ со всѣмъ чужда; ты съ чрезмѣрностію и неистовствомъ спѣшишь предо мною хвалиться собою; — безстыдное рвеніе! — конечно: въ мои времена не было вашихъ такъ называемыхъ *пансіоновъ*⁶¹, где, сказываютъ, руская сорока прибавляетъ себѣ чужей пестроты, бѣснуется, и какъ бы хмѣлѣетъ отъ нѣкихъ *Секванскихъ*⁶² паровъ, становится болтливѣе и шекотливѣе, забываетъ родное, и на конецъ — себя не узнаетъ. Въ моемъ вѣкѣ болѣе Природа была училище⁶³; но за то чада ея умѣли спрашивать у нее, какъ у чадолюбивой Матери, прейзщныя тайны⁶³, и ими пользоваться. Наши Пѣвцы почитали также долгомъ слѣдовать на брань за своими витязями и храбрыми князьями, видѣть собственными очами ратные ихъ подвиги, воспѣвать при ихъ торжествахъ, или пиршествахъ, словомъ: быть душою всѣхъ ихъ празднествъ и увеселеній, каковой чести едва ли ваши пѣвцы удостоиваются! — Тогда военная труба была ихъ языкомъ; мужественное велерѣчіе, котораго въ новыхъ писаніяхъ, говорятъ, мало уже находится, сопровождало ихъ пѣсни; любезная простота вдыхаемая природою была ихъ управляющею душою; — вотъ былъ нашъ вкусъ, и кажется, довлѣлъ нашему пѣснопѣнію⁶⁴. Всѣ тѣ Древніе Пѣвцы, которые не столь⁶⁵ къ *большому свѣту*⁶⁶, сколь⁶⁷ къ природѣ ближе были, чрезъ сіе одно учинились дивными и очаровательными⁶⁸. Знай, что *Омиръ*, *Оссіянъ*⁶⁹, *Боянъ* и *Природа* всегда были между собою друзья!

Галлоруссъ

Да вѣдь и мы, *Г. Боянъ*, не прочь отъ природы; она также водить наше кистію; да разница во вкусѣ.

Боянъ

Великая разница; — въ новыхъ книгахъ вездѣ либо ложная блистательность⁷⁰, непомѣрная пестрота, напыщеніе, и нѣкая при томъ ухищренная гибкость пера, либо на противъ излишняя разнѣженность, — притворная какая то чувствительность, влюбчивость, слезливость, страшливость — даже до обмороковъ. — Не спорю, что писать страстнымъ слогомъ, или по вашему, — *патетически*⁷¹ очень похвально, особливо, когда самъ писатель чувствуетъ силу и достоинство предмета; но всему свое мѣсто и время. — Шествіе по стезямъ природы хотя б⁷² и не ограничивалось правилами искусства; но тогда и самое заблужденіе не безъ пріятности. Я испыталъ сіе. И такъ что мнѣ нужды въ вашихъ *пансіонатахъ*, въ вашихъ *этикетахъ*, или ученіи въ *большомъ свѣтѣ*⁷²? Мнѣ всегда пріятнѣе и полезнѣе было играть на лонѣ великой матери моей, нежели на шагъ отъ нее отступить, и своевольствовать. Довольно того, что я писалъ, и пѣлъ подъ однимъ ея руководствомъ, — и та-

кимъ же образомъ жилъ. — *Меркурій!* Пусть онъ докончить рѣчь свою! Это для меня, да и для тебя, думаю, также, ново и забавно.

Меркурій

Ну, *Галлорусъ*, мѣли! — а то скоро, скоро въ объятія твоихъ подругъ, — *Вельшскихъ* фурий⁷³!...

Галлорусъ

Что ты, *Боянъ*, толкуешь? Возьми только трудъ прочесть что-нибудь! — ты тогда увидишь...

Боянъ

Избав⁷⁴ меня *Торъ* отъ сей тягости! — Когда я мало понимаю тебя: то кольми паче на бумагѣ писателей твоихъ временъ; въ нихъ, думаю, еще больше мудрости. Но ты, *Г. Галлорусъ*, и самъ, видно изъ числа ихъ.

Галлорусъ

Конечно; — и жалѣю до *безконечности*⁷⁵, что я не способенъ переспорить, и убѣдить теперь тебя въ моихъ началахъ. Ты, старикъ, кажется, весьма увѣренъ о себѣ, и очень *упрямъ*, *чтобъ*⁷⁶ оставить⁷⁷ закоренѣлыя⁷⁸ свои пустяки⁷⁹, и *чтобъ* подлинно увидѣть свѣтъ. Надобно, *чтобъ* теперь между нами былъ кто нибудь третій, которой бы рѣшилъ, кто лучше; — ваши, или наши? — безъ того же коса на камень. — Ахъ, старовѣры, старовѣры! —

Боянъ

А я думаю, и увѣренъ, что ты наполня тощій свой черепъ *Севанскими* парами не хочешь, да и конечно не можешь увидѣть истиннаго свѣта; это непремѣнный жребій *нововъровъ*⁸⁰, галлизированныхъ несѣкомыхъ⁸¹, изчадій отечества⁸². Несчастная тѣнь! Ты трогашь честь моихъ добрыхъ современниковъ, и побуждаешь отвѣчать тебѣ равною мѣрою. Ты спокойнаго, вижу, духа; и такъ естли теперь уже до того дошло, что нуженъ для тебя посредникъ: то призови безпристрастнаго и знающаго какъ обычай, и языкъ моего вѣка, такъ и твоихъ временъ мудрованія!

Галлорусъ

Всего лучше автора первой половины осьмнатцатаго вѣка; — слышишь ли, старикъ? — но кого жъ? — *Прокоповича!* — нѣтъ, онъ, говорятъ, съ лишкомъ славянируетъ⁸³; — *Кантемира!* — то же. — Всего складнѣе *Ломоносова*⁸⁴; это *феноменъ*⁸⁵ нашихъ временъ; слышишь ли? Онъ много *начитанъ*⁸⁶ въ старыхъ и новыхъ книгахъ, и *довольно силенъ*, *чтобъ*⁸⁷ рѣшить насъ. Въ немъ кромѣ того найдешь⁸⁸ француза и нѣмца, латыньщика и грека; онъ химикъ, физикъ, ораторъ, поэтъ, и все... Онъ то будетъ судьей стоящимъ на средней точкѣ⁸⁹ между древностію и новостію рускаго просвѣщенія. Этотъ славной человекъ⁹⁰ много трудовъ положилъ;

за то теперь отдыхаетъ; при мнѣ еще Музы унесли его въ Елисейскія бесѣдки⁹¹, и говорятъ, ему *здѣлали постель*⁹² для вѣчнаго спокойствія, а можетъ быть также произвели его здѣсь въ судьи всѣхъ русскихъ авторовъ. О! Естли такъ; вѣрно онъ не смѣетъ опрокинуться на меня⁹³; я буду правъ въ моихъ *бютагъ*⁹⁴, и дѣло выиграю. — Попросить Меркурія, *чтобъ* онъ пригласилъ его сюда! — Эй, *Г. Меркурій!* *Здѣлай*, *чтобъ*⁹⁵ пришелъ сюда *Ломонос*...

Меркурій съ хохотаньемъ прерываетъ его:

Ха, ха, ха! — Онъ мнѣ ужъ и повелѣніе даетъ, да еще французскимъ манеромъ⁹⁶! — право, ты, забавенъ, *Г. Красномѣля*; — не думаешь ли по дару слова своего заступить мое мѣсто? нѣтъ, пріятель, не доросъ еще; — ну! какого ты спрашиваешь судью? мнѣ слышалось, *Миноса*; да я и безъ спросу сей часть отведу тебя къ нему; онъ знаетъ, куда тебя приговорить.

Галлорусъ

Ахъ, Меркурій! Повремени не много! Намъ надобенъ *Ломоносовъ*, а не *Минос*. *Здѣлай* только, *чтобъ*⁹⁷ онъ пришелъ сюда, и разсудилъ меня съ *Бояномъ*! Мы *положили его быть*⁹⁸ нашимъ судьейю.

Боянъ

Божественный вѣстникъ! пусть сей юноша самъ себѣ приготовить должное истязаніе! Онъ съ лишкомъ рьянъ. Я не уповаю, *чтобы Ломоносовъ*, какъ истинный судья, услыша столь странное *Галлобѣсіе*⁹⁹, поставилъ его одесную¹⁰⁰. Сказываютъ, что онъ часто прогуливается съ священнѣйшими тѣнями, слушаетъ бесѣды *Омира*, *Исїода*¹⁰¹, *Пиндара*, *Анакреона*, *Демосвена*, *Цицерона*, *Виргилія*, и ему также внимаютъ вмѣстѣ съ ними *Малербъ*, *Жанъ-Батистъ Руссо*, и *Гинтеръ*¹⁰². Теперь онъ безъ сумнѣнія съ ними; пригласи сего знаменитаго мужа¹⁰³!

Меркурій

А! — развѣ для того, *чтобъ* приготовить *Галлобѣса*¹⁰⁴ къ тому воздаянію, какое опредѣлено будетъ остроумнымъ *Холмогорцемъ*! Я знаю его; онъ не проронитъ, что надобно¹⁰⁵; а послѣ я...

Сказавъ сіе, *Меркурій* летитъ, и тотчасъ возвращается съ *Ломоносовымъ*, который подходя, вдругъ слышитъ неожиданную гармонію, приходитъ въ восхищеніе, и останавливается. — *Боянъ* между тѣмъ по усмотрѣнію *Ломоносова* взявъ арфу¹⁰⁶, играетъ торжественную пѣснь, какую онъ нѣкогда возглашалъ при срѣтении *Рюрика* изъ *Галліи* возвращавшагося; а *Галлорусъ* приходитъ въ крайнее изумленіе¹⁰⁷, отскакиваетъ шаговъ на пять, и хранитъ молчаніе.

Галлорусъ про себя:

Я не ожидалъ этаго; — Онъ еще замысловатъ; изрядно

выигрываетъ¹⁰⁸. — Вот и Ломоносовъ! Онъ что то хочетъ говорить; — не обо мнѣ ли? —

Ломоносовъ

Какое слышу божественное согласіе^{108а}? Сія стройная и очаровательная пѣснь¹⁰⁹ выше человѣческой; это пѣснь какого нибудь пророка! — Но кому я нуженъ здѣсь? для какой разправы? скажите мнѣ, друзья мои! — А! — Ты здѣсь, почтенный *Боянъ*! — съ кѣмъ занимаешься разговоромъ? — не напрасно ли я призванъ сюда? — Ты самъ столько знаменить и совершень, что едва ли могу быть полезенъ къ приращенію славы твоихъ дарованій!

Боянъ переставъ играть

Радуюсь прибытію твоему, великій пѣвецъ Славы российской! — Первенствуй во вѣки между нами, и суди праведно¹¹⁰ челомъбующихъ тебѣ Бардовъ! — Не я, но паче сей юноша ищетъ нѣкоего уряда; онъ въ краткое время бесѣды успѣлъ поразить бусловіемъ своимъ, издѣваясь надъ праотеческимъ обычаемъ, языкомъ и правилами, а превознося токмо свои и сверстническіе непонятные мнѣ писанія. Ты самъ услышишь отъ него.

Ломоносовъ обратясь къ Галлор.

Тѣнь безпокойная! о чемъ ты здѣсь споришь, и шумишь?

Галлоруссъ съ почительностію, но и не безъ надмѣннаго вида.

Вообразите! — Этотъ старикъ, — правда, онъ какъ видно, не безъ таланта, — но ахъ! — презираетъ все, что вы ни ввели въ руской языкъ. — Мы всѣ кромѣ его также слѣдуемъ вамъ, а можетъ быть — и далѣе, чѣмъ вы. — Презрѣніе его мнѣ не сносно; я вступаюсь, какъ должно, съ горячністію; представляю ему прелесть новаго¹¹¹; но *Боянъ*, какъ деревянная стѣна, не чувствуетъ, — и всё ладить по своему: упрямясь до безконечности¹¹². — Не думайте, чтобъ я хотѣлъ¹¹³ браниться съ нимъ! — нѣтъ; я съ лишкомъ *женерозъ*¹¹⁴; съ лишкомъ *далекъ отъ*¹¹⁵ того, *чтобъ*¹¹⁶ заниматься¹¹⁷ съ нимъ; мнѣ больно лишь то, что онъ беретъ мѣсто¹¹⁸ между нашими поэтами, и перехватываетъ у нихъ вѣнки. Ветошка, — всё ветошка¹¹⁹; и старая мудрость — всё пометъ, всё не дѣльна, и не достойна памяти нашей. Вотъ, въ чемъ все дѣло! и я *безъ того* не рѣшился съ нимъ, *что бѣ*¹²⁰ вы были нашимъ судьбою.

Ломоносовъ

Много говорено, да мало сказано добраго¹²¹. Я примѣчаю въ твоихъ словахъ больше ложнаго предубѣжденія и клеветы, нежели разсудка. Вспомни, гдѣ мы теперь! Ты еще не очистился отъ земныхъ примѣсей; образъ мыслей и рѣчей твоихъ сіе доказываютъ. Скажи, другъ мой, у какого ты профессора учился такъ хорошо разсуждать, и говорить? — у *Адама Адамъча*¹²², или у какого *Мусье*. — Видно, что ты читалъ много моихъ правилъ и со-

чиненій. Я это вижу изъ чистаго твоего нарѣчія, и правильныхъ выражений, — *безъ того не рѣшился, чтобъ*; — *очень далекъ отъ того, чтобъ*¹²³. . . какое прекрасное изъясненіе? — и ты хвалишь все сему подобное! — Докажи же мнѣ достоинство новыхъ своихъ введеній, вкусъ и доброту своей словесности¹²⁴!

Галлоруссъ

Сей часъ, сей часъ; — я въ доказательство прочту вамъ довольно собственныхъ и чужихъ сочиненій. — Нѣтъ, — коль скоро уже *Боянъ* игрою своею разтрогалъ¹²⁵ мой *жени*¹²⁶; такъ я и самъ для васъ пропою сперва свою арію, а потомъ чужіе; — вы *найдете насъ очень далекими* въ новой *методъ* *изливать* краснорѣчіе чувствъ¹²⁷.

Ломоносовъ

Пожалуй избавь меня отъ многого! — Изъ словъ твоихъ вижу, сколь пріятно будетъ слушать новостатейныхъ мудрагелей¹²⁸ и отщепенцовъ. Ну! прочти! — или запой, что упомнишь, — да только отборное!

Галлоруссъ

Самое, — самое отборное! [*поетъ арію на разлуку съ любовницею*]

Разставаясь съ тобою
чистымъ сердцемъ я кленусь,
не забвенна будешь мною,
пока жизни не лишусь.

Ломоносовъ

Что это, *пѣкѣ жи́знь*? — Гдѣ удареніе? Это оборотни стопъ! — или, — *чистымъ сердцемъ* я клянусь; тутъ правильнѣе говорить; *съ чистымъ*, а не просто, *чистымъ* сердцемъ. — Отборная пѣсенка, видно!

Галлоруссъ

Возьмите терпѣніе¹²⁹, и дайте мнѣ продолжать! Я теперь въ *дугъ пѣть*¹³⁰. [*поетъ далѣе*]

Пусть судьбы ожесточатся!
Пусть сугубять свой ударъ!
Въ насъ сердца не премѣнятся,
не загаснетъ любви жаръ.

Уступая гнѣвну року,
любовь вѣчно сохранимъ,
бездну чтя *судебъ* глубоко,
въ волю ихъ сердца вручимъ. —

Ломоносовъ

Опять потеряно удареніе: *лю́бви жаръ*, или *лю́ббѣвъ вѣчно*. — Въ мое время словоудареніе не было въ такомъ небреженіи, какъ у ва-

съ, Господа *Галлоруссы*. — О прочемъ уже не говорю, а замѣчу: — Что за мысль въ послѣднихъ куплетахъ? Въ первомъ ты обѣщаешься, кажется, чрезъ постоянство любви быть выше самаго рока, а въ послѣднемъ уступаешь оному, подтверждая между тѣмъ вѣчность любви; — презирать судьбу, и вдругъ уступать, — это значитъ, что вещь или мало обдуманна, или на удачу сплетена. — Что такое опять? — *бездну чтя судьбу глубоко*; т. е. уважая пропасть судьбы! — нарядно¹³¹! — къ *судьбѣ*, или къ *судьбамъ* мало, кажется, идетъ *бездна*, а къ *безднѣ* прилаг. — *глубокій*. Лучше къ *судьбѣ* примѣняется не проникаемый *мракъ*, *покровъ* или *завѣса*, такъ какъ и къ *безднѣ* лучше прилагается слово: *необъятный*, *непостижимый*, *безпрѣдельный*; что бездонно; то и необъятно, безмѣрно, безпрѣдельно; а глубина, сколь бы ни ужасна была, имѣетъ еще дно, мѣру и предѣлъ. — Да ты, вижу, хороший *импровизаторъ*¹³²! — очень весело; а еще веселѣе, естли бы ты со всѣмъ за сіе ремесло не принимался, и замолчалъ. Напрасно ты и трудился. Жаль только тратить время на строгой разборъ такихъ пустословій! — Въ небольшомъ отрывкѣ столько погрѣшностей! — Что же сказать о большихъ? Не всѣ ли послѣ меня такимъ образомъ сочиняютъ? — Я ужасаюсь. — Ну! нѣтъ ли у тебя еще чего новаго? — да что за тетрадь подъ твоей мышкой? одолжи, пожалуй! можетъ быть лучше пѣсней твоихъ мы съ *Бояномъ* чтонибудь тутъ прочтемъ, и позабудемъ, а тебя — увольняемъ отъ пѣнія. — А! Это записная книга наполненная стихами!

Галлоруссы

[*съ довольнымъ и тщеславнымъ видомъ подаетъ.*]

Это выписки изъ лучшихъ авторовъ: извольте полюбопытствовать! вы тамъ *откроете печать чистаго вкуса*¹³³. —

Ломоносовъ —

[*читаетъ на первомъ листѣ*]

Вижу; — это выписка изъ хора!

Мы *ликуемъ* славы звуки,

чтобъ враги могли *то зрѣть*,

что свои готовы руки

въ край вселенной мы *простерть*¹³⁴.

Въ четырехъ стихахъ сичинитель, кажется, боролся съ языкомъ, и не смогъ. Естли бъ онъ нелѣпное выраженіе, *ликуемъ* звуку, гдѣ средній глаголь худо управляетъ, — близкое стеченіе словъ, *чтобъ*, *то*, *что*, и бѣдность рифмъ, *зрѣть*, *простерть*, — потрудился исправить: то бы сіи четыре строки были правильнѣе и пріятнѣе¹³⁵. — Посмотримъ другія выписки! Вотъ, какъ любовница желая быть птичкою, говоритъ о любовникѣ! — Это, видно, одна изъ новы^x пѣсней. —

Онъ сталъ бы *меня* нѣжа ласкать, и цѣловать;
я бѣ ласки *ему* *тѣ же*
старалась повторять¹³⁶. —

Вотъ, какъ еще любовникъ даетъ сильное наставленіе посылаемой отъ него къ любовницѣ пѣсенкѣ!

Внуши сердечны муки
небеснымъ *красотамъ*!

...

Когда бъ всѣ свѣта троны
въ мою давали власть;
не презрѣлъ бы *короны*,
чтобъ *въ ней* *предъ нею* пасть

...

Напоминай всечасно,
что жизнь безъ ней мнѣ адъ,
и все, что есть *прекрасно*,
Ея одинъ лишь *взглядъ*. —

Такого же разбора; только отъ лица любовницы:

Ах, онъ того *достоевъ*,
чтобъ храмъ ему создать,
духъ *вѣкъ* *будетъ* *спокоевъ*
его лишь *обожать*. —

Помилуйте! — долго ли ушамъ моимъ мучиться отъ несносныхъ противо-удареній, *мѣня*, — *ѣмѹ*, — *будетъ*? — также слышать искаженные для рифмы слова: *нѣжа*, *тѣ же*, — *достоевъ*, *спокоевъ*; или на оборотъ, какъ я у многихъ читывалъ: *достоевъ*, *спокоевъ*, — *строивъ*¹³⁷? Положимъ, что стихотворцамъ дана вольность и право; однако не на порчу языка; въ противномъ случаѣ лучше писать безъ рифмъ¹³⁸, и во многихъ отношеніяхъ сохранить пользу Генія¹³⁹, нежели для рифмы изкажать слова. — Глаголь, *внуши*, употребленъ со всѣмъ не къ стати; я слышалъ что въ такомъ же ложномъ понятіи у многихъ употребляется. *Внуши*, — значитъ точно, *внимать*, *слушать*, а не *объявить*, или *возвѣститъ*, какъ здѣсь употреблено¹⁴⁰. Иначе, *внуши* *сердечны* *муки* *небеснымъ* *красотамъ*, — будетъ значить: *внемли* вмѣсто, *объяви*, *мученія моего сердца* *небеснымъ* *красотамъ*, т. е. *красотѣ*, или *божественной красавицѣ*! Это выраженіе безъ всякаго знанія языка, безъ толку, и смѣшной тропѣ. — Мысль, — *не презрѣлъ бы*, вмѣсто, *не презрѣлъ бы*, *короны*, *чтобъ въ ней предъ нею пасть*, — такъ сказать, уже терта и перетерта. Сколько она съ начала по своей пышности была блистательна и пріятна¹⁴¹; столько теперь

по не умѣренному и частому ея примѣненію ко всякой безъ разбору *Прелестъ*, или Пастушкѣ затымилась, и опостылѣла. — Какъ не возвышаютъ *Прелестъ*? Онѣ выше царей: онѣ Богини; — еще больше; — повелительницы самаго царя Боговъ. Какъ тогда не падаютъ смертнымъ? Какое перо въ состояніи изобразить ихъ чувствованія? можетъ ли простое воображеніе тутъ дѣйствовать? Оно должно быть наполнено коронами, престолами, скипетрами, чтобы дарить ими пастушекъ, напыщать слогъ, и не рѣдко между тѣмъ портить языкъ. — Опять сказано в стихахъ: *И все, что есть прекрасно, одинъ ея лишь взглядъ*; — Помилуйте! русской ли человѣкъ это говорить? Кажется, сочинитель хотѣлъ сказать: *и все, что ни есть в свѣтъ прекраснаго, я нахожу въ одномъ ея взглядъ*; или, *все, на что она ни взглянетъ, прекрасно*. — Какъ бы то ни было; но выраженіе и темно, и не выработано; надобно всегда догадываться. А слова: *Духъ вѣкъ будетъ спокоенъ его лишь обожать*, — похожи почти на твою, Галлоруссъ, милую поговорку, напр. *очень далеко отъ того, чтобъ занимать* и пр.¹⁴²; помнишь ли ее? развѣ послѣ слова, *спокоенъ*, поставлена будетъ запятая; тогда найдется нѣкоторой толкъ, но въ чтеніи останется непонятнымъ; вездѣ должно только угадывать. — Стыдно вамъ изъясняться столь страннымъ образомъ. Как ни мудри въ стихахъ! но ихъ темнота то же, что чадъ для головы. — Посмотримъ далѣе!

Вотъ еще, как изнуренный тоскою бѣдный любовникъ вооружается противъ насилія смерти! —

*Душу, что во мнѣ питало,
смерть не въ силахъ то сразить;
сердцу, что тебя вмѣщало,
льзя ли не бессмертну быть?
Нѣтъ, — нельзя тому быть мертву,
что дышало божествомъ, и пр.¹⁴³*

Здѣсь хотя нѣтъ такихъ грубыхъ ошибокъ, какъ въ прежнихъ отрывкахъ, и языкъ чище; притомъ видно тутъ какъ бы дѣльное напряженіе мысли¹⁴⁴; но въ первыхъ двухъ, во вторыхъ двухъ, и даже въ третьихъ двухъ одно и то же твердится съ нѣкоторою только перемѣною; къ чему это? развѣ сочинитель обращаясь около одной милой точки, не могъ изобрѣсти другихъ нужныхъ идей, и сообразя ихъ наполнить пустоту сего круга? — Онъ еще доказываетъ, что сердце вмѣщавшее образъ любовницы, или дышавшее симъ тлѣннымъ Божествомъ не прѣменно будетъ бессмертно. — Новый доводъ бессмертія! — но не время ли закрыть записную твою книжку?

Галлоруссъ.

Ахъ, почтенный *Ломоносовъ*! Здѣлайте честь¹⁴⁵ моимъ выпискамъ! прочтите еще далѣе! — Ей! много найдете плѣнительнаго¹⁴⁶.

Ломоносовъ

[развертываетъ опять книжку.]

А! — Еще любовная пѣсня! — Я бы хотѣлъ поважнѣе чтонибудь; видно, ты только и замѣшанъ на аріяхъ¹⁴⁷. — Посмотримъ хотя ихъ!

Одна ты мнѣ мила
Есть, будешь, и была¹⁴⁸.

Вотъ, какова красота! Что подлинно приличнѣе одной вѣчности, то смѣло также идетъ и къ смертной милой¹⁴⁹. — Далѣе.

Начну то пѣть съ зарею,
день стану продолжать,
встрѣчаясь съ луною,
то жъ стану воспѣвать¹⁵⁰.

Кажется, не лзя встрѣчаться съ луною, которая освѣщаетъ весь земный шаръ; она не ходитъ, такъ какъ мы, по улицъ для разныхъ встрѣчь. Для чего бы не сказать, *при возходѣ*, или *при возсіяніи луны*? — Далѣе.

Тогда лишь позабуду
припѣвъ я сей воспѣть,
когда въ объятяхъ¹⁵¹ буду
себя твоихъ имѣть¹⁵².

Сей куплетъ все дѣло скрасилъ. Какъ хорошо и ловко сказано, *припѣвъ воспѣть, и въ объятяхъ себя имѣть*? — и смѣшно, и не по руски¹⁵³. — Вотъ, еще что то начинается громко¹⁵⁴!

Дрожащею рукою
за лиру *днесъ* берусь;
хочу воспѣти Хлою,
но въ сердцѣ я мятусь¹⁵⁵.

Смѣсь Славенскаго с Новорускимъ¹⁵⁶, великолепнаго съ бѣднымъ — да еще въ любовной пѣсни! — Какая¹⁵⁷ пристойность и сообразность въ слогѣ? Что далѣе?

О несчастная минута!
вредной взоръ очамъ моимъ,
какъ принудила страсть люта
быть мя плѣнникомъ твоимъ

Подобно предыдущему: тамъ, *днесъ, воспѣти*¹⁵⁸, а здѣсь, *мя*, между простыми словами, какъ жемчугъ между голышемъ. Одинъ

изъ моихъ современниковъ даже въ идилліяхъ, эклогахъ и драмахъ любилъ также употреблять подобные симъ слова¹⁵⁹. — Что такое опять, *вредной взоръ очамъ*, т. е. *вредной взоръ взору!* — не лучше ли *опасной, ослѣпляющій*? — Какъ опять отработано выраженіе *принудила страсть люта быть мя плѣнникомъ*? — Далѣе.

Жажду зрѣть тебя, мой свѣтъ;
хѣтъ вижу ты, драгая,
но въ свиданѣ пользы нѣтъ.

Опять, *тя*¹⁶⁰, да еще не подалеку отъ, *зотя*, надъ коимъ и удареніе потеряно! — изрядная музыка! — Что то еще любовникъ говорить даже съ бѣшенствомъ? —

Сердце, *рвися, изрывайся!*
нѣтъ конца бѣдамъ твоимъ;
...

всѣ бѣды мнѣ ясны стали и пр.

Тфу! Какая бѣда? — нѣтъ подлинно конца ни выпискамъ, ни ошибкамъ, какъ будто тѣмъ же бѣдамъ! — Довольно было сказать, *сердце, рвися!* — нѣтъ, надобно еще на закрѣпу прибавить дикой глаголь, *изрывайся!* — также, — *всѣ бѣды мнѣ ясны стали*, вмѣсто, *ясны стали*, или *открылись, видимо, явно возстали*, — все сіи показываетъ недостатокъ въ знаніи языка. — [*Ломоносовъ перевертываетъ листы*] О! да еще множество выписано! и все одно и то же, — ошибки за ошибками въ разныхъ родахъ и уборахъ! — Кажется, ты, Г. Галлоруссъ, нарочно выписалъ такія только статьи, гдѣ необходимо надобно рядомъ встрѣчать грубыя погрѣшности, особливо въ сихъ аріяхъ. Простота и естественность древнихъ нашихъ общенародныхъ пѣсней всегда плѣняла меня¹⁶¹; въ нихъ я не находилъ ни чужеземнаго щегольства, ни грубыхъ погрѣшностей, ни лишняго напряженія¹⁶² по неволѣ доводящаго до оныхъ. Онѣ съ *Гальскитъ*, или *Авзонскитъ* образцовъ не списаны. Собственное чувство, а не рабское и буквальное подражаніе водило перомъ; но онѣ вмѣстѣ съ кореннымъ основаніемъ языка¹⁶³ презрѣны; — жалѣю. — Г. *Боянъ!* Какъ тебѣ кажется? — Понятна ли тебѣ красота нынѣшнихъ произведеній? не пострадалъ ли твой слухъ отъ нее? —

Боянъ

Какъ пострадать моему слуху, когда я мало могу разумѣть образъ такой красоты; мнѣ кажется, что я будто сквозь туманъ вижу едва мелькающее нѣчто *руское*.

Ломоносовъ

Нѣтъ ли, *Галлоруссъ*, между твоими выписками что нибудь поважнѣе? — можетъ быть найдемъ и ошибки сообразныя важности предметовъ; за то есть, чѣмъ заняться.

Галлоруссъ.

Переверните нѣсколько страницъ къ концу! вы тамъ точно увидите и важное, и занимательное, — подлинно самое *интересное*¹⁶⁴.

Ломоносовъ

[*находитъ отрывокъ въ самомъ дѣлѣ хорошихъ стиховъ.*]

А! — Это другаго покроя! — Виденъ соколы по полету; — посмотримъ со вниманіемъ!

Кто рукой *бѣло-атласной*
арфы звучной, сладко-гласной
стрункамъ нѣжнымъ тонъ даетъ,
и гармоніей ліетъ
въ душу сладость, — *въ сердце вздохъ*¹⁶⁵?

Алебастровыя груди, мраморныя плечи, или шеи, и бѣлоатласныя руки, также снѣжныя, или молочныя тѣла нынѣшними метафористами употребляются очень часто и смѣло; но римляне и греки осторожнѣе и скромнѣе примѣняли женскія прелести къ безчувственнымъ камнямъ и другимъ хладнымъ вещамъ, дабы не обидѣть ихъ нѣжнаго и живаго сердца. Далѣе; — *и гармоніей ліетъ въ душу сладость, въ сердце вздохъ*. — Это для меня ново: *въ сердце вздохъ*. Посредствомъ трогательной музыки¹⁶⁶ можно вливать въ сердце сладость, или пріятное чувство, но не вздохъ. Приличнѣе сказать: *пѣвица или арфистка гармоническимъ пѣніемъ, или игрою заставляетъ вздыхать*, — или ближе сказать, — *изторгаетъ, извлекаетъ изъ сердца вздохъ*, а не *ліетъ его въ оное*. — Что еще? отрывокъ изъ какой то *Хер*¹⁶⁷...! прочтемъ!...

Кто тамъ сидитъ на бѣломъ камнѣ
подлѣ младаго челоука,
на тисовый опершись посохъ,
въ печально вретѣще одѣянъ,
съ главою открытой предъ возходомъ? и пр.¹⁶⁸

Писано безъ рифмъ; — но всё лучше, нежели безобразить слова¹⁶⁹ такими рифмами, каковы напр: *достоевъ, спокоевъ* — *румянность, пріятность*, — или *зрѣть, простертъ*, — *нѣжа, тѣжа*¹⁷⁰. При всемъ томъ ежели здѣсь сочинитель успѣлъ, избѣгнуть ошибокъ въ языкѣ; то не успѣлъ остеречься отъ погрѣшностей въ вещи, въ мысляхъ и картинахъ, напр. говоря о *шерифѣ*: *съ главою открытой предъ возходомъ*; — это ошибка историческая. — *Турки, Персіане и Арабы* никогда, ни предъ кѣмъ не снимаютъ съ головы чалмы, или турбана, особливо подъ открытымъ небомъ. — [*читаетъ далѣе.*] А! — Это выписка изъ 57 страницы¹⁷¹! Тутъ описывается утесистый хребетъ раздѣляющій *Ялтовскую долину* отъ *Бейдарской*. — Видно, что сочинитель знакомъ съ прелестями природы¹⁷²; но какъ сообразить слѣдующее его представленіе?

Онъ сперва изображаетъ путешественника стоящимъ на вершинѣ сего приморскаго хребта; спрашиваетъ его, взбирался ли онъ, или спускался ли съ нее по выбитой горной лѣсницѣ въ долину? — и потомъ вдругъ говоритъ: *но коль спустился ты щастливо*, — какъ будто уже путешественникъ при глазахъ автора сошелъ съ горы въ низъ. — Значитъ ли это исправность въ картинѣ¹⁷³? Естли бы сказано было: *но коль ты спускался когда нибудь съ горы*; то бы дѣло было получше. — [*читаетъ еще другіе отрывки изъ того же*¹⁷⁴] — Такъ, — довольно разноцвѣтно¹⁷⁵; но сочинитель, кажется, индѣ занимается¹⁷⁶ съ лишкомъ *виднымъ* подражаніемъ¹⁷⁷, а индѣ для любимыхъ словъ и выраженій растягиваетъ періоды; или для нихъ повторяетъ однѣ и тѣ же мысли, хотя и въ перемѣнно^м образѣ; но тѣмъ самымъ либо ослабляетъ силу вещи; либо возмущаетъ, и затмѣваетъ смыслъ, чѣмъ очень много утомляется вниманіе читателя. Также я замѣтилъ у него, что онъ иногда выражаетъ высокими словами то, что можно по приличію слога изъяснить просто¹⁷⁸.

Галлоруссѣ

Это сочиненіе по частямъ было уже подъ судомъ раза три¹⁷⁹; но судьи съ лишкомъ ошадливы. О! — когда бы они *Лагарновыми глазами*¹⁸⁰ разсматривали; — критика была бы *на другой ногъ*¹⁸¹.

Ломоносовъ

Ты уже и радъ нападать, ничего не разбирая; а я думаю, что не худо самому писателю послѣ какихъ нибудь чужихъ сужденій всегда¹⁸² пересмотрѣть, и исправить свое произведеніе¹⁸³.

Галлоруссѣ.

Оставьте это, Г. Ломоносовъ! а лучше прочтите отрывокъ изъ трагедіи! Тутъ пишетъ лучшей *женѣ*¹⁸⁴, онъ не давно *прославившись*¹⁸⁵; щегольской драматистъ¹⁸⁶, — знатокъ языка; въ немъ уже не найдете, ошибокъ, хотя *Съверный вѣстникъ* и разсматривалъ¹⁸⁷.

Ломоносовъ

Ой! ты *женѣ! прославившись*¹⁸⁸! — [*оборачиваетъ листъ, и читаетъ большой отрывокъ изъ трагедіи*] — правда; — мастерски писано; сочинитель имѣлъ, видно, хорошаго проводника; но и тутъ примѣчается небреженіе; и тутъ надобно остановиться при нѣкоторыхъ мѣстахъ. — Прочтемъ на пр:

На нихъ власы изъ змѣй возстали, и взвились;
съ ихъ факеловъ огни къ намъ искрами лились¹⁸⁹.

Когда пламени придаетъ въ словахъ нѣкое теченіе: тогда огонь не льется искрами, а пламенными струями; естли жъ надобно, чтобъ пламень производилъ искры: то лучше сказать: отъ пламенниковъ искры сыпались¹⁹⁰, а не лились; ибо свойственнѣе имъ

первое, нежели второе. Но въ означенномъ стихѣ лучше съ факеловъ литься огнямъ пламенными токами, или струями, нежели сыпаться искрами, а еще меньше литься ими. Далѣе:

— и страх, и леть, и смерть
Грозящую на насъ *късѣ* свою *простерть* —¹⁹¹.

Даже въ хвалимыхъ вашихъ Геніяхъ¹⁹² всегда найдешь, какъ найдешь досадной проступокъ либо въ словоудареніи, такъ, какъ здѣсь, *късѣ*¹⁹³ вмѣсто *късѣ*, либо своенравную перемѣну въ окончаніяхъ падежей, какъ напр: *чувствы, искусствы, существы, торжествы*, вмѣсто, *чувства, искусства, и на такой же выворотъ: опредѣленій, намъреній*, вмѣсто, *опредѣленія, намъренія*; а оттуда *род. мн. опредѣленіевъ, намъреніевъ* вмѣсто *опредѣленій, намъреній*¹⁹⁴, яко бы все это для различенія отъ *род. падежа единственнаго числа*¹⁹⁵; либо такую же нетерпимую погрѣшность въ склоненіи, какая въ сихъ стихахъ:

От крови царскія та жертва быть должна;
тогда *по бѣдствіямъ* наступить тишина.

Или

По *страшнымъ симъ словамъ* умолкли Эвмениды,
сомкнулась алчна дверь, и проч.¹⁹⁶ —

Въ словахъ, *по бѣдствіямъ*, — *по страшнымъ симъ* словамъ, по смыслу требовался предложной падежъ; но онъ или пренебреженъ, или по какому нибудь злоупотребленію дано ему не то измѣненіе, какое надлежало; на противъ того они вмѣсто предложнаго положены въ дательномъ падежѣ множ. числа, якобы предлогъ *по*, въ семъ случаѣ того требовалъ; но чрезъ то здѣсь вышла со всѣмъ другая мысль. *По бѣдствіямъ наступитъ* — сие значитъ будетъ или то, что тишина начнетъ ступать по бѣдствіямъ, будто по полямъ; или то, что наступитъ тишина *смотря на бѣдствія*, или *касаательно бѣдствій, для бѣдствій, согласно съ бѣдствіями*; но все сие очень не складно и противно смыслу. Также и въ другомъ стихѣ, *по страшнымъ симъ* словамъ, для тѣхъ же самыхъ причинъ будетъ другой смыслъ; потому что падежъ сихъ именъ не получилъ надлежащаго измѣненія. Умѣй только склонить такимъ образомъ: *по бѣдствіямъ*, — *по страшнымъ сизъ* словахъ! — тогда и мысль яснѣе, и языкъ чище¹⁹⁷. Что же на это сказала *Съверной вѣстникъ*? Я бы хотель знать.

Галлоруссѣ.

Ничего; — онъ только судилъ о нѣкоторыхъ лицахъ, характерахъ и ихъ разговорахъ вообще. Послѣ же сихъ стиховъ, которые вы теперь *рецензируете*¹⁹⁸, тотчасъ слѣдуетъ сочинителю пышной

зложь¹⁹⁹; какая гармонія стиховъ и чистота языка²⁰⁰? нѣтъ ни одного стиха, которому можно было не удивляться. Вотъ что въ честь ему сказано! —

Ломоносовъ

Право! — Это подлинно лестная похвала; но я думаю, что она не совсѣмъ правильна. Сіе уже доказано мною. — Гладкость стиховъ, или легкое теченіе слова не составляетъ еще точной гармоніи. Я нашелъ стихи, которымъ не могу удивляться²⁰¹; чистота языка не вездѣ. Въ прочемъ тутъ вижу перо не *Галлорусса*, вашего брата, а хорошаго послѣдователя образцовымъ *Геніямъ*²⁰²; ошибки хотя у него и есть, но рѣдки, и то, какъ видно, по нѣкоторой нуждѣ. — Ну! нѣтъ ли еще изъ другихъ именитыхъ писателей отрывковъ? О! сего *Лукана*²⁰³ чуть помню...²⁰⁴ Онъ, думаю, на учился до-вольно; — посмотримъ!

Онѣ [нимфы] кружась, рѣзвясь летали,
шумѣли, говорили вздоръ,
въ зеркала водъ себя казали. . .

а тутъ оставя караводы,
верхомъ скакали на коняхъ,
иль въ лодкахъ разсѣкая воды,
въ жемчужныхъ плавали струяхъ.

Киприда тутъ средь митръ сидѣла,
смѣялась глядя на дѣтей,
на возклицающихъ смотрѣла
поднявшихъ крылья лебедей²⁰⁵ . . .

Далѣе — ²⁰⁶ оттуда же; — вотъ, какъ описывается теремъ русской Киприды!

Въ семь теремѣ Олимпу равномъ
Горѣли ночью тучи звѣздъ²⁰⁷. —

Тотъ же авторъ говоритъ о соловьѣ, и дѣйствиіи его пѣнія:

Молчить пустыня изумленна,
и ловитъ громъ твой жадный слухъ;
на крыльяхъ эха раздробленна
плѣняетъ пѣсьнъ твоя всѣхъ духъ;

тобой цвѣтущій лугъ смѣется,
дремучій лѣсъ пускаетъ, и проч.²⁰⁸

Галлоруссъ

Каково же это выказано²⁰⁹? *браво*, очень *браво*²¹⁰! —

Ломоносовъ

Не твое дѣло давать мнѣніе; ты слушай, и молчи! Краснорѣчіемъ своимъ только не тревожь моего слуха! — Правда, въ семь сочинителѣ виденъ *Геній*²¹¹ спорящій съ *Гораціемъ* и со мной; картины его отмѣнны и изящны²¹², особливо въ стихахъ: *Киприда тутъ средь митръ сидѣла*. — Это, кажется *Рубенсъ* въ стихотвореніи; — но — *въ зѣркальи водѣ себя казали*, — слова, *зѣркальи*, и *себя казали*, — похожи на вышесказанные, *кѣсѹ*, *бѹдѣтъ*, или — *въ объятіяхъ себя имѣтъ*²¹³; — по руски такъ не говорятъ²¹⁴. — Далѣе: — *въ лодкахъ разсѣкая воды*, — какъ будто въ самыхъ лодкахъ вода, которую разсѣкаютъ. — Также в стихахъ, *глядя*, — *возклицающихъ смотрѣла*, — странная смѣсь низкихъ словъ съ высокими²¹⁵; — да и во многихъ мѣстахъ слогъ то возвышенной, то такъ называемый у французовъ, *burlesque*, или смѣшенной съ тѣмъ и другимъ. Не новой ли это вкусъ²¹⁶? Однако все сіе по истиннымъ правиламъ мало терпимо, хотя бѣ и обеспечено было свободою и именемъ *Генія*²¹⁷, какъ будто нѣкоей *монополіей*²¹⁸. Можно ли также сказать точно по руски, — *ловитъ громъ твой*, т.е. соловья, *жадный слухъ*? Можно съ жадностію слушать лучшія и возхитительнѣйшія перемѣны его пѣсней; но что бѣ слухъ *ловилъ* съ *жадностію* *громъ соловья*! Это съ лишкомъ поразительно, и едва ли совмѣстно какъ для птичьяго горлышка, такъ и для слуха, и притомъ съ жадностію ловящаго; — или опять: — *тобой цвѣтущій лугъ смѣется*; — *тобой смѣется*; — очень дико; а говорятъ: при тебѣ, чрезъ тебя; или — *горѣли ночью тучи звѣздъ*; *тучи звѣздъ*; — здѣсь уподобленіе яркихъ свѣтилъ мрачному соборищу тусклыхъ паровъ, т.е. тучѣ, и притомъ горѣть ей — не умѣстно, хотя *туча* и взята вмѣсто *множества*, или *сонма*. И такъ въ соединенныхъ словахъ, *тучи звѣздъ*, понятіе о темнотѣ первыхъ ни мало не отвращается, или не уничтожается понятіемъ о свѣтлости вторыхъ. — Въ прочемъ я нахожу въ семь сочинителѣ особливую смѣлость духа, довольно соли, и нерѣдко желчи; но желалъ бы я, что бѣ онъ ограничилъ свою страсть къ *тропологическимъ пересоламъ* и *эмфастическимъ* изреченіямъ²¹⁹. Напряженіе ума и вообразительной силы, равно какъ и отважность въ выраженіяхъ конечно иногда нужны и похвальны; но должны имѣть свои предѣлы²²⁰ О теченіи слова и чистотѣ созвучій, какъ о мало значущихъ здѣсь предметахъ, говорить было бы дѣло не нужное. — Нѣтъ, *Галлоруссъ*! я уже утомляюсь отъ чтенія твоихъ выписокъ; время кончить, и тебѣ дать разрѣшеніе. —

Галлоруссъ.

Послѣднюю, — послѣднюю прочтите! Вы увидите прекраснаго *жени*, *милаго* писателя въ новомъ вкусѣ, уважаемаго въ чужихъ

земляхъ, любимаго въ отечествѣ всѣми людьми съ чувствомъ, дамами, нимфами и учеными со вкусомъ²²¹. — *Коронуйте имъ*²²²!

Ломоносовъ

[перевертываетъ листъ съ видомъ нѣкотораго небреженія.]

Быть такъ; — заключимъ дѣло все хвалимыми тобою отрывками милаго пера²²³: я желаю, чтобъ *короновать*, какъ ты говоришь, самымъ лучшимъ²²⁴ [читаетъ]

Законы осуждаютъ
предметъ моей любви;
но кто, о сердце, можетъ
противиться тебѣ?

...

...

какой законъ святѣе
твоихъ врожденныхъ чувствъ?

...

•далѣе:

Священная Природа!
Твой нѣжный другъ и сынъ
невиненъ предъ тобою;
ты сердце мне дала.

...

Природа! ты хотѣла,
Чтобъ *Лилу* я любилъ;

...

Твой громъ гремѣлъ надъ нами,
но насъ не поражалъ,
когда мы наслаждались
въ объятіяхъ любви;
о *Борнѣ*²²⁵...

Галлоруссъ

Какъ вы это находите²²⁶? — Здѣлайте милость, читайте далѣе! — ахъ! какія тутъ сіяющія мысли²²⁷? —

Ломоносовъ

Опять на тебя находить: ну! выписки твои дѣлаютъ тебѣ много чести! — Подлинно нѣтъ ошибокъ ни въ языкѣ, ни въ правилахъ поэзіи; на противъ того вездѣ чистота, легкость и пріятность²²⁸. Но знаешь ли, что надобно тутъ замѣтить? — не въ языкѣ, а въ самыхъ чувствованіяхъ заблужденіе. Я вижу въ сихъ стихахъ чрезмѣрнаго поблажателя чувственности и не позволенной слабости. Онъ при заманчивомъ слогѣ вперяетъ хорошее наставленіе въ сердца молодыхъ дѣтей въ нынѣшнемъ состояніи вселенной. — Беззаконную любовь брата къ родной сестрѣ, *Лилу*, которая въ другихъ стихахъ того же самаго содержанія описывается прямѣе и яснѣе,

какъ то: *любовница, сестрица, — супруга, вѣрной другъ*, — и съ сею то сестрицею ужасное брата сладострастіе оправдывать законами природы, какъ будто въ первые годы золотаго вѣка! — Спасительная пища для молодаго слуха и сердца! Сладкая отравка подъ пріятными цвѣтами и красками! — Сверхъ того еще представлять, что громъ природы въ минуты сладострастныхъ объятій преступниковъ ни мало не поражалъ; и чрезъ то преступники ободрены, и будто стали правы! — Довольно искусное усыпленіе совѣсти! изрядное поощреніе къ законной любви! — Ежели въ сихъ стихахъ и представляется *быль*: то къ чему съ толь живымъ участіемъ обнаруживать сію *быль* противъ правилъ цѣломудрія? не лучше ли было бы скрыть, — или — по крайней мѣрѣ представить ее съ обличеніемъ заблужденія любовниковъ. Естли жъ это вымысль: то къ чему забавлять такимъ вымысломъ на щотъ добродѣтели и невинности? — ни то, ни другое не оправдываетъ здѣсь намѣренія живописателя²²⁹, и не приращаетъ славы талантовъ. — Праведное небо²³⁰! до какой степени уничивается духъ новыхъ пѣвцовъ? вотъ утонченной вкусъ²³¹! — Ступайте, *Галлоруссы*, ступайте далѣе! утончайте чувства²³²! вы много одолжите нашу нравственность своими *софизмами*. — *Боянь!* Слыхалъ ли ты такія пѣсни во времена мужественныхъ, благородныхъ и цѣломудренныхъ современниковъ своихъ? — Ей! для меня сноснѣе бы было видѣть ошибки въ слогѣ, нежели въ красотѣ онаго кроющіеся ложные правила и опасные умствованія²³³. Вотъ, *Галлоруссъ*, чѣмъ ты увѣнчиваешь²³⁴ мое посредничество! ну! что еще далѣе? — надобно докончить...

Пѣсенка! — можно бы оставить; — но видно того же пера...

Вотъ *Аглая!* — взоръ *небесной*;
русы кудри по плечамъ
вьются съ прелестью *небрежной*,
и по бѣленькимъ щекамъ
разливается *румяность*
майской утренней зари;
въ ней *стыдливая румяность*²³⁵
дерзко говоритъ: любви²³⁶!

Слава Богу! Здѣсь по крайней мѣрѣ нѣтъ умствованій на щотъ нравственности. Но не упоминая, что въ такомъ маломъ числѣ стиховъ не соблюдена чистота рифмъ, какъ то: *небесной, небрежной, — румяность, пріятность, — зари, любви*; что въ словѣ, *плѣчамъ*²³⁷, долгое удареніе замѣнено короткимъ, и что *румяность*, сколь ни дика по новости²³⁸, ради рифмы заступила мѣсто природнаго румянца, — скажемъ только вообще: это писано легкимъ перомъ; изображено живо, близко къ натурѣ, и довольно

просто; — но *стыдливая пріятность*, или просто, стыдливость или дѣвическая скромность можетъ ли дерзко, нагло говорить *люби*? Слова...²³⁹ хороши; но разстроиваютъ надлежащую сообразность мыслей; я въ нихъ не вижу ее. Къ стыдливости всегда идетъ больше нѣкоторая робость, нежели дерзость; слѣдственно ей предлагать о любви съ отважностію не прилично. Кажется, свойственнѣе сказать: *стыдливость, или красота стыдливости противъ воли вдыхаетъ, вселяетъ любовь*, — или какъ бы насильно заставляетъ любить, — и все сіе *тихо, тайно*, а не съ дерзостію. —

Нѣтъ, *Галлоруссъ!* все обличаетъ твою суету, пустую надмѣнность и нечестіе, а особливо любовница, *сестрица*, — не *Аглая*, но *Лила* въ предыдущемъ отрывкѣ, которая столько поразила чувства мои. — Закроемъ на всегда твою записную книжку! я займу тебя лучшими выписками. — Ну! теперь ты слышалъ мой судъ. Ты хвалился доказать достоинство своего языка и современныхъ произведеній; — доказалъ ли? — Что же ты думаешь о тѣхъ господахъ, которымъ вѣкъ твой сталъ одолженъ толь изящными плодами²⁴⁰, а особливо аріями и другими имъ подобными?

Галлоруссъ.

*Упусти мнѣ, Г. Ломоносовъ*²⁴¹! можно ли²⁴² доказывать тогда, когда столь сильный судья, какъ вы²⁴³, самъ опровергаетъ со всѣхъ сторонъ? но я не смѣю дать малой цѣны моимъ современнымъ *женіямъ*²⁴⁴. Всѣ доказательно говорятъ, что они *улучшиваютъ*²⁴⁵ нашъ языкъ, и стараются о достоинствѣ его. Я самъ нашелъ въ нихъ весь тотъ вкусъ, съ какимъ писывалъ *Расинъ, Волтеръ, Мармонтель, Лагарпъ* и прочіе *герои литературы*²⁴⁶, — вкусъ подлинно новой, чистой²⁴⁷. какой быть можетъ, — безъ всякаго стариннаго духа²⁴⁸. —

Ломоносовъ

[повторяя съ негодованіемъ слова его.]

Упусти! — безъ стариннаго духа²⁴⁹; — *Волтеръ, Мармонтель*; — полуумной! ты только знаешь *Расина, Волтера* и *Лагарпа* по однимъ именамъ; они никогда не *англизировали*²⁵⁰ своего языка, такъ какъ ты и тебѣ подобные своими переводами *офранцузили*²⁵¹ свой. — Я стараюсь очищать его, не только не опровергъ основаній Славенскаго языка, но еще въ оныхъ, какъ въ органическихъ законахъ, показалъ всю необходимость и существенность, и тѣмъ положилъ предѣлы²⁵² всякому вводу иноязычныхъ *нарѣчій*²⁵³, какъ примѣси чужей крови. Но вы перелѣзли сіи предѣлы²⁵⁴, изказили языкъ, и следу изказенію дали еще имя: *новой вкусъ, чистое, блестящее, сладкое перо, уточненная хистъ*²⁵⁵. — И ты еще осмѣлился оскорблять сего почтеннаго старца, которому долженствовалъ бы изъявить всякую признательность и справедливость! — *Ветрогонъ!* Слышалъ ли ты теперь искусство игры его? Вотъ прямой

орелъ парящій подъ облаками! Слава его очень поздно пробудилась; но за то послѣ сего никогда не уснетъ, и съ лихвою будетъ жить въ слѣдующихъ вѣкахъ. Можетъ быть до него никому не были отперты двери въ храмъ *Свптовіда*, или *Аполлона*; но онъ родился; и Природа отворила заключенныя двери, и ввела перваго его туда. — Положимъ, что важный языкъ его для тебя кажется дикимъ, и какъ бы грубымъ тѣломъ мыслей²⁵⁶; но знай, что въ семь твердомъ и маститомъ тѣлѣ душа прекрасна и молода. По тогдашнему времени оно для нее было довольно удобнымъ и всякаго пріятія достойнымъ жилищемъ. Твой же на противъ того языкъ вмѣсто, чтобы по руководству моему²⁵⁷ возвышался, отъ часу болѣе чрезъ вась упадаетъ, не имѣя другой души, кромѣ такой, которая находится въ *Севванской* водѣ, не рѣдко вредной даже нравственности; Да и трудно ли упасть ему, когда мнимые твои *Геніи*²⁵⁸ надлежащимъ образомъ не вытвердя органическихъ правилъ языка²⁵⁹, и не повинувъ основательному разбору истинныхъ судителей, но слѣдуя только тщеславію, вольнодумству и самоугожденію безъ любви къ отечественному, вдругъ принимаютъ за перо, и похищаютъ блестящее имя²⁶⁰ какихъ то писателей? — *Боянъ* всегда будетъ слыть соловьемъ не только девятаго или десятаго вѣка²⁶¹, но съ сего времени станетъ почитаться честію и украшеніемъ послѣднихъ вѣковъ; а твоя и тебѣ подобныхъ блистательность²⁶² останется въ одной могилѣ съ тобою; по вѣрн мнѣ!

Галлоруссъ

Г. Ломоносовъ! ты судья съ лишкомъ или строгой, или пристрастной къ старинѣ. Я не ожидалъ себѣ такого колкаго приговора²⁶³. Но какъ угодно; я не могу не поставить на *своей ногѣ*²⁶⁴ того, въ чемъ *наиболѣе*²⁶⁵ увѣренъ. На отрѣзъ скажу, что мои современные, любезные сочинители, сочинительницы, рускіе *Мармонтели*, рускія *Элизы, Штали*, рускіе *Мерсьеры, Стерны, Буфлеры, Сегюры* пишутъ божественно, браво²⁶⁶, отменно; вотъ все мое признаніе! Послѣ нихъ можно ли слушать *славенскихъ трубадуровъ, Бояновы* сказки, или *Игоревъ* походъ, или другіе какіе древніе стихотворенія, либо читать погудки *Кантемира* или рѣчи *Прокоповича*. Въ тѣхъ *любезность*²⁶⁷ и новостъ кисти привлекательна, волшебна, а въ сихъ угрюмая и старообразная степенность²⁶⁸ отвратительна и скучна*. Развѣ ты сердился за то, что самъ далъ поводъ къ *реформированью* языка²⁷¹, и заста-

* Примѣч. — Даже звукъ иностранныхъ словъ многимъ нравится больше, нежели согласіе отечественныхъ²⁶⁹; а почему? — примѣръ виденъ; — не часто ли голосъ въ устахъ посторонней, въ прочемъ набѣленной и нарумяненной прелестницы плѣняетъ слухъ волокиты; а на противъ того разговоръ доброй жены его кажется ему противень, и иногда несносенъ, хотя бы сія послѣдняя

вилъ насъ итти далѣ тебя самаго! — сказать ли тебѣ правду? — ты и самъ нынѣ подь судомъ²⁷²; не погнѣвайся!

Ломоносовъ

Легкомысленной! Я также былъ человѣкъ; слабости столько же существенны въ человѣческой природѣ, какъ и лучшіе дары души. Судь для нихъ необходимъ; только былъ бы правиленъ безъ пристрастія. Знай, что я не оправдывая себя въ погрѣшностяхъ, никогда не ослабѣю въ оправданіи всего древняго въ отечествѣ нашемъ²⁷³; и сильно трогаюсь²⁷⁴ тѣмъ, что ты по высокомѣрью и упорству не перестаешь под знаменами новыхъ своихъ *бойкизъ умовъ*²⁷⁵, новыхъ *Буфлеровъ*, *Сегюровъ*²⁷⁶, госпожъ *Шталей* вооружаться противъ памяти предковъ, тѣмъ еще паче, что ненаказанность подкрѣпляетъ твою дерзость и необузданность. Слушай же, молодая тѣнь! Тебя ни что не защититъ, ни *Мерсье*, ни *Стернъ*, ни мадамъ *Шталь*, ни *Буфлеръ*. Ты не съ тѣмъ сюда привезена чрезъ черную рѣчку, чтобъ учить праотцовъ, но что бь получить отъ нихъ приговоръ. Теперь время уже объявить оной. *Боянъ!* Куда бы ты присудилъ его.

Боянъ

Я прощаю его; — вотъ мой голосъ! Здѣсь нѣтъ ни страстей, ни тяжбъ; ты судья; ты и знаешь, какое опредѣлить ему возмездіе. Я сердечно благодарю тебя за все твое ко мнѣ уваженіе²⁷⁷ и участваніе; ты во вѣки будешь воспѣваемъ Бардами.

Меркурій

Знаете ли какое возмездіе? — отвести его въ черныя излучистыя пещеры, гдѣ *Вельшскія вѣдьмы*²⁷⁸ сидятъ, и прядутъ; что ни выпрядутъ, то разсучится само собою, и тамъ его. . .

Ломоносовъ

Хорошо; — однако надобно еще нѣчто къ сему прибавить. — Когда ты отведешь сего вольнодумца въ темное ихъ логовище: то не забудь посадить его между двумя изъ нихъ, и заставь безъ перемѣжки читать *Тилемагиду*²⁷⁹, которая тебѣ извѣстна! но съ тѣмъ, что бь онъ по прочтеніи въ ней каждаго періода раздроблялъ его по всѣмъ правиламъ *грамматики*, *логики*, *риторики* и *поэзіи*; и это на всегда. Я буду каждое утро навѣдываться о томъ. Хорошо ли? Кажется, не надобно лучше сего приговора. — Ступай, *Меркурій*, и веди его! — а я съ *Бояномъ* пойду теперь на островъ пальмовъ²⁸⁰ и кедровъ къ *Оссіану* и *Богомилу**. [*уходятъ*]

Меркурій

Тилемагиду, *Тилемагиду!* — о ладно, ладно! очень хорошо!

въ красотѣ лица, пріятности рѣчей, нѣжности пѣнія и добротѣ души подлинно была превосходнѣе первой? — Не ужъ ли правъ Г. *Галлоруссъ*? —²⁷⁰

* *Богомилъ* былъ языческой первосвященникъ и краснорѣчивѣйшій вѣтій до времени Владиміра I.

Сей же часъ закабалу его. Я знаю, какъ это чтеніе пріятно и занимательно. — Изчезни отсюда, *Галльской феномень*²⁸¹!

* * *

Такимъ образомъ въ царствѣ тѣней производилъ судъ надъ *Галлоруссомъ*, и кончился тѣмъ, что бь ему вѣчно читать такое сочиненіе, которое извѣстно по утомительному слогу. — *Меркурій* отводитъ его въ пещеру *Вельшскихъ фурий*²⁸², кои увидѣвъ любезную тѣнь, тотчасъ обнимаютъ ее, — достаетъ книгу *in quarto* называемую *Тилемагидою*, и сажаетъ его за нее между двумя страшными женскими тѣнями: — *Изумленный Галлоруссъ*²⁸³ проклиная день новаго рожденія своего, безсмертіе и мнимую славу свою, садится на дерновую рухлую скамью, и противъ воли открываетъ тяжкую книгу.

Комментарий

«Происшествие в царстве теней или Судьбина Российского языка» Семена Боброва публикуется по рукописи (парадный подносной экземпляр писарским почерком), хранящейся в библиотеке Московского университета под шифром: 9Е08. При воспроизведении сохраняется орфография и пунктуация оригинала. Курсив в издании соответствует подчеркиванию в подлиннике. Квадратные скобки в издании не обозначают зачеркнутый текст, как это принято в литературоведческих публикациях, но соответствуют квадратным скобкам в воспроизводимой рукописи. Авторы благодарят О. Я. Лейбман за помощь в работе над рукописью и М. П. Алексеева, Л. И. Вольперт, А. А. Зализняка, Ю. Д. Левина, к которым они обращались в связи с комментированием некоторых выражений текста.

¹ [К ссылке на Татищева в эпитафии]. Татищев был едва ли не первым деятелем русского просвещения, активно выступавшим против иностранного влияния на русский язык [см., в частности, его письмо В. К. Тредиаковскому от 18 февраля 1736 г. из Екатеринбурга — Архив АН, разр. II, оп. 1, № 206, лл. 94–97 (неполную и не всегда точную публикацию этого письма см.: Обнорский и Бархударов, II, вып. 2, с. 86–92) или «Разговор двух приятелей о пользе науки и училищ» (1887, с. 12, 80, 93, 95, 96)]. Характерно, что Татищев, борясь с иностранным влиянием на русский язык «никак не хотел называть нового горного города Екатеринбургом, но всегда подписывал на своих письмах и донесениях: “Из Екатерининска”» (см.: Соловьев, X, с. 524). Ссылка на Татищева подчеркивает преемственность культурно-языковой позиции Боброва.

² **коренной** и **существенной** образ нашего слова. Ср. внимание Боброва и близких по направлению авторов к «коренным» (или «первообразным») словам, к «коренному основанию русского языка» (откуда понятна, между прочим, и высокая оценка народной поэзии — см. ниже, примеч. 161). См. подробнее во вступительной статье к данной публикации (с. 371–372 наст. изд.); ср. также ниже, примеч. 70 и 163.

³ **запрещение** или **амбарго** — любопытно, что сам Бобров в авторском тексте считает необходимым привести иноязычный эквивалент русского слова, видимо, как более точный или более привычный в данном контексте.

⁴ **Вельшския** поговорки (ср. в дальнейшем: *вельшские ведьмы*, *вельшские фурии*, см. примеч. 58, 73, 278, 272) — эпитет *вельшские* означает здесь «галльские» или «кельтские», от *velche* — племенного названия, которое в исторической литературе эпохи Просвещения XVIII в. употреблялось для определения дофранкского населения Галлии. Ближайшим источником Боброва, видимо, был Вольтер, автор «Discours aux

Velches», опубликованного под псевдонимом Antoine Vadé (см.: Вольтер, 67, и «Supplement du discours aux Velches (ibidem)», где, в частности, говорится: «Le résultat de cette savante conversation fut qu'on devoit donner le nom de *francs* au pillards, le nom de *velches* aux pillés et aux sots, et celui de *français* à tous les gens aimables» (с. 236). Упоминание *velches* неоднократно встречается в произведениях позднего Вольтера, в основном в его квази-исторических памфлетах. Ср.: Люблинский, 1936, с. 264. У Вольтера Бобров мог заимствовать и иронический тон по отношению к *velches*, грубость и невежество которых автор статьи о Галлии в «Философском словаре» подчеркнул чрезвычайно резко. Идея Вольтера: противопоставление диких и провинциальных галлов (*velches*) и цивилизующего воздействия римской культуры в контексте Боброва получала новый смысл: антиязы галломании и традиции античной культуры. Напомним, что в культурных кругах, близких Боброву (Гнедич, Востоков, Мерзляков, Галинковский), античная традиция воспринималась как органически близкая к русской национальной культуре. — Замечательно, что Батюшков в письме к Гнедичу от апреля 1811 г. может, напротив, называть *вельхами* (ср. *velches*) членов «Беседы любителей русского слова»: «О Велхи! О Варяги-Славяне! О скоты!» (см. Батюшков, III, с. 117). Ср. в этой связи замечание Д. В. Дашкова в его рецензии на шишковский перевод статей Лагарпа («Цветник», 1810, ч. 8, № 11, с. 259, примеч.): «Вольтер весьма справедливо доказывает, что слово Галлы есть испорченное Римлянами из *Вальхов*, или *Вельхов*; далее, возражая против термина *славянорусский*, Дашков пишет: «для чего французы не называют языка своего *Латиновельхофранцузским?*» (там же, с. 264). Надо полагать, что слово *вельхи* у Батюшкова и Дашкова восходит к тому же литературному источнику, но при этом на первый план выступает не этническая их принадлежность, а грубость и дикость.

⁵ **Галлоруссы** — слово *галлорусс* образовано, несомненно, по аналогии со *славеноросс*; ср. анонимную сатиру *Галлоруссия* 1813 г. (см.: Поэты 1790–1810 годов, 1971, с. 781–790), а также *Галло-Росс* в кн.: Левшин, 1807, с. 33. Ср. в этой связи слово *галломан* (см. о нем ниже, примеч. 104), а также слово *галлицизм*, отмечаемое в русском языке с 50-х гг. и входящее в широкое употребление с 90-х гг. XVIII в. (подбор материала, относящегося к этому последнему слову, см.: Биржакова, Войнова и Кутина, 1972, с. 162).

⁶ **преселился на другой берег Стикса** — Петр Иванович Макаров скончался в октябре 1804 г., т. е. примерно за год до окончания «Происшествия в царстве теней».

⁷ **изумляется от настоящего**. Показательно, что слово *изумляться* и производные от него (*изумление*, *изумленный*) употребляются в памфлете Боброва исключительно при описании состояния Галлорусса; ср. ниже примеч. 107, 283. Надо полагать, что в этих словах еще чувствуется отрицательный оттенок, связанный с их первичным значением («лишаться ума»), которое сохраняется в церковнославянском языке. Ср. дефиниции в «Словаре Академии Российской»: *изумляться* — 1)

приходить в крайнее удивление, недоумение, 2) В слав.: лишаться ума, рассудка.

⁸ [К речи Галлорусса]. Речевая манера Галлорусса как здесь, так и в дальнейшем, по своей синтаксической организации пародирует художественную манеру представителей «нового слога». Ср. в этой связи, например, заявление В. Подшивалова в «Сокращенном курсе российского слога» (1796, с. 29): «В старину употребляемы были в речи периоды долгие, и потому союзы были необходимы; но ныне опущение их, т. е. союзов соединительных, особливою составляет приятность; а особливо стиль Французской, от всех ныне принимаемой, не мало заимствует от сего красы своей». Знаки тире, перебивающие речь Галлорусса, явно имитируют стиль Карамзина. Ср., с другой стороны, характеристику речевой манеры щеголей второй пол. XVIII в.: им свойственно «говорить живо, — например, начинать речь и не оканчивать, перебивать слова других» и т. п. (см.: Чулков, 1766–1768, с. 95–96, ср.: Сиповский, 1909, с. 203–204; ср. еще: Николев, 1777, где также говорится о том, что для петиметров характерно «не конча одну речь, другую начинать»). Как та, так и другая характеристика в общем приложима к речи бобровского Галлорусса.

⁹ *на хорошей ноге* (аналогичное выражение встречается в речи Галлорусса и ниже, ср. примеч. 12, 181, 264) — калька с фр. *sur un bon pied* (или *sur le bon pied*). Во второй пол. XVIII в. это выражение было очень характерно для жаргона петиметров, ср., например, речь щеголиха Беззубы в «Почте духов», 1789, 1, с. 276–282: «Я сама будучи поставлена на ТАКОЙ НОГЕ моею надзирательницею, с терпеливостью сносила скучные годы моего девичества» (ср. изд.: Покровский, 1903, прилож., с. 47) или щеголя Ветромаха в комедии Княжнина «Чудаки»: «НА ДРУЖЕСКОЙ НОГЕ с Сибулем быть стараюсь и очень *poliment* всегда я с ним встречаюсь» (см.: Княжнин, 1961, с. 475); ср. еще в числе образцов петиметрской речи в сумароковской сатире «О французском языке», написанной между 1771 и 1774 гг.: «НЕ НА ТАКОЙ НОГЕ я вижу это дело» (см.: Сумароков, 1957, с. 192). Соответственно, и Моисей (Гумилевский), осуждая в своем пурфикаторском «Рассуждении о вычищении, удобрении и обогащении Российского языка» (1786, с. 27) различные «в словах нелепости», в качестве иллюстрации приводит пример: «на такой ноге, вместо в таком состоянии, или степени». Замечательно, между тем, что данное выражение дважды встречается у Пушкина (в письмах и в «Исторических анекдотах» — см.: Сл. языка Пушкина, II, с. 879). Ср. также обсуждение фразеологизма *обходиться на короткой ноге* в письме, опубликованном в «Трудах Общества любителей российской словесности при имп. Московском университете», ч. 17, М., 1820, с. 153; показательно, что этот оборот уже не воспринимается здесь как галлицизм.

¹⁰ *сквозными гуслими* — так Галлорусс называет арфу (ср. ниже, примеч. 106). Ср. в «Лексисе» Лаврентия Зизания соответствие: *гусли* — *арфа*, причем первое слово трактуется как «словенское», а второе как «простое русское» (см.: Зизаний, 1964, с. 40). Выражение это

вряд ли может считаться типичным для «галлорусского» жаргона; то, что оно встречается в речи Галлорусса, свидетельствует, скорее, о малой употребительности слова *арфа* в разговорном языке (ср. словарный материал, относящийся к употреблению слова *арфа*: Хютль-Ворт, 1963а, с. 60). Соответственно, данное выражение может быть, видимо, отнесено к числу коллоквиализмов, которые вообще характерны для Галлорусса (ср. ниже примеч. 21, а также 18).

¹¹ *Филомела ... дней* — эта конструкция, которая выделена как синтаксический галлоруссизм, может быть сопоставлена с характеристикой Бояна в устах Ломоносова как «соловья ... девятого или десятого века» (см. ниже, примеч. 261).

¹² *на какой ты здесь ноге?* — см. выше, примеч. 9.

¹³ *ретушируешь* — ср. фр. *retoucher* (букв.: «подновлять»).

¹⁴ Слова «чуждое мнѣ» вписаны над строкой теми же чернилами, что и основной текст.

¹⁵ *ах!* — употребление этого междометия характерно для речи Галлорусса (см. еще на с. 473, 474, 479, 486 наст. изд.) и отличает ее от речи всех остальных действующих лиц. Надо полагать, что при этом пародируется стиль Карамзина и вообще карамзинистов: не случайно литературные противники Карамзина именовали его «Ахалкиным» (например, Марин, см.: Марин, 1948, с. 119 и 179, ср. цитату ниже, примеч. 221). В свою очередь употребление междометия *аз* в литературе «нового слога» сближает ее с «щегольским наречием» второй пол. XVIII в., для которого данное восклицание в высшей степени характерно: в «Опыте модного словаря Щегольского наречия», помещенном в «Живописце» Н. И. Новикова (1772, ч. I, л. 10), междометию *аз* посвящена специальная словарная статья (см. изд.: Берков, 1951, с. 315–317); ср. употребление этого слова в образцах разговора петиметров, как они представлены в сатирической публицистике или в комедиях (см., например, Берков, 1951, с. 226; Покровский, 1903а, прилож., с. 11, 79; и т. п.). Следует иметь в виду, что именно в салонном языке второй пол. XVIII в., т. е. в «щегольском наречии», расширилась семантика данного междометия, которое ранее употреблялось исключительно для обозначения отрицательных эмоций — прежде всего таких, как печаль, ужас и т. п. (ср. Аверьянова, 1964, с. 33: «*аз* — междометие ужаса *ах*, р<усское> *баа*»; в грамматике Смотрицкого слова *азъ~азь~а* определяются как «междометия знаменования жалеющего»; ср., между тем в анонимном «Опыте о языке...», опубликованном в октябрьском выпуске «Собрания новостей» за 1775 г. и написанном явно с позиций щегольской культуры: «Человек имеющий какое нибудь сильное желание произносит *ах!*», с. 74, см. также противопоставление старого и нового значения этого слова в вышеупомянутой статье «Опыта модного словаря Щегольского наречия»). Это расширение значения обусловлено, конечно, влиянием со стороны французского языка (ср. семантику фр. *ah*). Именно в новом — широко — значении и выступает данное междометие в речи Галлорусса (см. например, на с. 474, 486 наст. изд.). Тем более любопытно отметить, что междометие

ах в новом значении можно встретить и у самого Боброва, см. в «Тавриде»: «Песнь ваша стройна и разумна; — Ах! — как пленительна она!» (Бобров, 1798, с. 103).

Характеризуя стиль Карамзина и карамзинистов, Полевой писал в своем ретроспективном обзоре в «Московском Телеграфе» за 1833 г. (№ 8, апрель, с. 563–567): «АХАНЬЕ, вздохи, словесный филантропизм, однообразие напева, и безотчетное, излишнее употребление слов и оборотов иностранных были отличительными признаками этой литературной партии»; характерно, что «аханье» в этом перечне занимает первое место (ср.: Сухомлинов, 1874–1888, VIII, с. 347). Впрочем, в злоупотреблении восклицанием *ах!* обвиняли и Ф. Я. Козельского; над пристрастием Козельского к этому восклицанию иронизирует, между прочим, Богданович в «Душеньке» (см. статью И. З. Сермана о Козельском в кн.: Поэты XVIII века, I, с. 452).

Отмеченное влияние со стороны французского языка могло быть непосредственным или же осуществляться через немецкое посредничество. В немецком языке могут различаться — как по значению, так и по произношению — междометная форма *ach* [ax], выражающая боль, горе, жалобу, сожаление, тоску и т. п., и форма *ah* [a:], выражающая приятные ощущения, ср.: Сл. нем. яз., 1964, s.v., Дуден, 1959, с. 325; поскольку можно полагать, что последняя форма заимствована из французского в «эпоху модников», постольку не исключено, в принципе, что русские петиметры фактически исходили в данном случае из немецкой языковой ситуации, ср. в этой связи с. 362–363 наст. изд. Характерно в этом плане, что «Трутень», 1769, лл. III, IV, XVII высмеивает В. И. Лукина, который употребляет галлизированную форму *а!* вместо *ах!*, констатируя, в частности, что «*А!* на месте *Ах!* успеха не имело», см. изд.: Берков, 1951, с. 60, 54, 55 (следует иметь в виду, что Лукин изображается в новиковских журналах именно как петиметр). При этом междометие *а!*, опять-таки, могло быть заимствовано как из французского, так и из немецкого.

Старое, исконное значение русского *ах* сохранилось в народном *ах-ти*, выражающем исключительно отрицательные эмоции. Любопытно, в то же время, формы *ахтительный* «очень хороший, прекрасный», *ахтительно* «восхитительно» (см.: СРНГ, I, с. 298, Даль, I, с. 31), которые можно объяснить как результат контаминации *ах* и *восхитительный* в новом значении как того, так и другого слова (о изменении значения слова *восхитительный* см. ниже, примеч. 107), иначе говоря, как своеобразную имитацию новых литературных форм в народной речи.

¹⁶ *пахнет стариной* — калька с фр. оборота: *il sent de...* Любопытно отметить, что этот галлицизм мог вызывать возражения даже у Вяземского. Критикуя стихотворение Полевого «Поэтический анахронизм или стихи вроде Василия Львовича Пушкина и Ивана Ивановича Дмитриева», где, между прочим, имеются строки:

Паркет и зала с позолотой
Так пахнут скукой и зевотой, —

Вяземский замечает в «Старой записной книжке»: «Паркет пахнет зевотой! Что за галиматья! А какое отсутствие вкуса и приличия, литературное бесстыдство в глумлении подобными стихами над изящными образцовыми стихами Дмитриева!» (см. Вяземский, 1929, с. 136). Между тем, данное выражение у Полевого, может быть, пародирует стиль карамзинистов, тогда как то обстоятельство, что Вяземский не замечает пародийного смысла в употреблении этого выражения, может объясняться тем, что Вяземский сам принадлежит к карамзинистам.

¹⁷ *всё* — характерно, что при передаче речи Галлорусса может участвовать, хотя бы и непоследовательно, буква *ё* (практически эта буква появляется в воспроизводимом списке только в случае местоимения *всё*: ср. соответствующее написание этой местоименной формы еще на с. 472 и 474 — всего шесть случаев; ср., однако, написание этой же формы через *е* на с. 469–470, 474 наст. изд.). Между тем, при передаче речи других персонажей, как и в авторской речи, буква *ё* не фигурирует (см., в частности, написание местоимения *всё* как *е* на с. 468, 477, 478, 480, 485, 490 — всего девять случаев; единственное исключение представляет форма *всё* в речи Ломоносова на с. 481). Любопытно, что форма *всё* встречается и в речи Петиметра в «Разговоре Сократа с Петиметром» Н. П. Брусилова (Брусилов, 1803, I, с. 4). Как известно, буква *ё* была введена Карамзиным (впервые в изд.: «Аониды», кн. 2, М., 1797, с. 176) и могла вызывать резко отрицательную реакцию со стороны его литературных противников; показательно, что эта буква настолько раздражала Шишкова, что он выскабливал точки над ней в принадлежащих ему книгах (см. письмо Шишкова к Дмитриеву от 13 сентября 1821 г. в изд.: Письма разных лиц..., 1867, с. 5–10, 12–13, 16, а также Шишков, 1811, с. 24–28). Ср. письмо А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву от 13 сентября 1820 г.: «Российская Академия положила наградить его [В. И. Панаева] золотую медалью 3-й степени за «Идиллии», не взирая на замеченные ею в них *немаловажные погрешности, к порче языка клонящиеся*, а именно то, что он пишет *ё*, а не *ю*» (Левкович, 1978, с. 156).

¹⁸ *ныне у нас всё переменявшись* — подобные выражения выделяются здесь и далее как типично «галлорусские» (см. ниже примеч. 28, 31, 185, ср. также примеч. 45, 86; соответственно, Ломоносов у Боброва высмеивает ниже обороты такого рода, см. примеч. 188). Специфические коллоквиализмы использованы в речи Галлорусса для выражения перфектности — иными словами, соответствующие фразы, используя русские средства, построены по модели французской грамматики и предстают как буквальный перевод с французского (*chez nous tout s'est changé*). Возможно, цитата — перевод реплики Сганареля из «Лекаря поневоле» Мольера (II, 6): «*Nous avons changé tout cela*». Относительно просторечных элементов в галлорусском жаргоне см. специально ниже, примеч. 21.

Любопытно, что Греч, говоря о деепричастиях, видит в них именно средство передачи перфектности: «Эта часть речи служит заменой у нас соответственных, или относительных глаголов и до чрезвычайности

украшает речь. Вместо: *après avoir diné* или *nachdem ich abgegessen hatte*, мы говорим: *отобедав*» (см. Греч, 1840, ч. II, с. 44).

Что касается формы деепричастия, то любопытно, что Ал. И. Тургенев выступал против деепричастий типа *обогадивши, посвятивши(сь)* и т. п., трактуя их как черту простонародного языка: «*вши* не должно впускать в слова, — писал он Вяземскому 12 июня 1822 г., — *посвятис* и *чище* и *короче*». Однако Вяземский в ответном письме от 18 июня защищает форму *посвятившись* (см.: Остафьевский архив, II, с. 261 и 264).

¹⁹ *прическа ... славная*. Эпитет *славный* характерен для речи Галлорусса (ср. ниже примеч. 53 и 90). Не исключено, что в подобном контексте он мог ассоциироваться с жаргоном петиметров. Ср. в новиковском «Живописце» (1772, ч. I, лл. 4, 9, 10) в образцах «щегольского наречия»: «наука твоя беспримерно *славна*», «все у тебя *славно*», «*беспримерно как славна*» и т. п., где слово *славный* каждый раз подчеркнуто в тексте как «щегольское» (см. изд.: Берков, 1951, с. 292, 294, 311, 312, 317); здесь же регулярно трактуется таким же образом и наречие *славно*. Аналогичные примеры можно найти и в речи щеголей в комедии Екатерины «Именины госпожи Варчалкиной»; ср. здесь, например: «Как славен беспримерно» (акт I, явл. 1), «Ха, ха, ха! куда как ты славен!...», «Нельзя стать, чтоб я безприкладно не был славен для вас», «...будто я не славен», «Очень смешон и не славен» (акт IV, явл. 4, 5) (ср. выдержки у Покровского, 1903, прилож., с. 31–34). Ср. в комедии Екатерины «О время!» (акт I, явл. 12) реплику служанки Мавры: «...барышня моя <...> не новосветская госпожа; <...> а по тому и языка Русаго не портит: но, говоря по Руски, брата называет братцем, а не топ *frere*, сестру сестрицею, а не *та soeure*; не знает и других вытверженных, подобно попугаю, слов, ни кривлянья, ни презрения к людям, почтения достойным. Не кстате не хохочет, похабства не имеет; кушанья за столом не называет блюдом *славным*: словом, она не знает того языка, котораго и я, когда молодая боярыня говорят, не разумею, хотя я и весьма долго в доме новомодной Француженки служила»; показательно, что употребление слова *славный* в новом значении входит здесь в перечень признаков «щегольской речи». Соответственно и в стихах И. И. Дмитриева («Ответ Филлиде [А. Г. Севериной]...», 1794 г.):

Наши нимфы, зная плавность
И красу лишь Гальских Муз,
Фи, картавят, что за *славность*
Une chanson écrite en russe.

(1795, с. 158; курсив оригинала). Ср. затем в письме П. А. Вяземского к Ал. И. Тургеневу от 1 мая 1824 г.: «Летом напишу *славность* стихами или прозою о полемических распрях» (Остафьевский архив, III, с. 39). Между тем, слово *славный* еще совсем недавно могло вообще не иметь оценочного смысла. Так, в анонимном ответе И. П. Елагину — «Эпистоле к творцу сатиры на петиметров» (1750-х гг.) — Елагин именуется: «творец *преслабья* и *славныя* сатиры» (см.: Поэты XVIII века, II,

с. 380). Употребление прилагательного *славный* в значении «отличный, превосходный», а не «известный, пользующийся славою» относительно редко еще даже у Пушкина, причем встречается у него преимущественно в прямой речи (см.: Сл. языка Пушкина, IV, с. 168). Вместе с тем, новое значение данного слова санкционировано уже в «Словаре Академии Российской», но только применительно к характеристике лица (ср. дефиницию: «*славный* — 1) знаменитый; 2) в отношении к лицу: отличившийся от других каким изяществом»). Не исключено, что на семантическое развитие слова *славный* («известный» > «отличный») оказали влияние его иноязычные корреляты (типа польск. *znakomity* и т. п. — если не непосредственно фр. *célèbre*).

²⁰ *прическа ... a la Tite* — *прическа à la Titus*, запрещенная при Павле, была модной новостью в начале XIX в. и связывалась с французской модой эпохи Директории. Ср. в «Московском Меркурии»: «Волосы *à la Titus*, завитые и поднятые наперед назад очень короткие» (1803, ч. I, январь, с. 75). «Вышла новая стрижка вместо называемой *à la Titus*: оставляют длинные волосы на верхушке головы вершка на два, или на два с половиною, остальные за ушами и над затылком стригут почти до корня. Выходит из того на верхушке головы очень приметный хохол или *griva*» (там же, с. 76, курсив оригинала). «В среднем классе щеголей из 50 человек молодых людей увидишь по крайней мере 48 с остриженными головами. — Даже к полному наряду, и при шпаге, не употребляют пудры» (там же, ч. I, февраль, с. 173).

²¹ *изныя ... изныя ... изныя* — эти слова подчеркнуты в тексте как типичные коллоквиализмы. Ср. замечание Ф. И. Буслаева: «Притяжательное *изный*, столь употребительное в речи разговорной и столь необходимое, еще довольно туго входит в язык книжный» (Буслаев, 1959, с. 118). Между тем, соответствующие формы были, видимо, свойственны жаргону большого света (*beau monde*'a), ср. любопытное свидетельство И. И. Дмитриева в письме Жуковскому от 13 марта 1835 г.: «Я право иногда боюсь, чтобы мужики наши не заговорили по-французски, а мы по *изному*»; последнее слово выделено в тексте и сопровождается следующим примечанием: «Это выражение употребляется не только в большом свете, но уже найдено мною в двух книгах: в Иориковом коране и в Путешествии академика Зуева» (см. Дмитриев, II, с. 315, ср. еще об этом слове на с. 308). Ср. употребление коллоквиализмов разного рода в жаргоне петиметров второй пол. XVIII в.; ср. в этой связи наблюдения П. Бицилли (1936, с. 6) о близости «щегольского» языка к народному просторечию: «в сущности, оба эти <...> языка были одним и тем же языком: «щегольской» отличался от «деревенского» только примесью «варваризмов»» (ср. еще аналогичные наблюдения у В. В. Виноградова, 1935, с. 382–383, В. Д. Левина, 1964, с. 367). Вместе с тем, употребление соответствующих лексических элементов (коллоквиализмов, вульгаризмов и т. п.) было, по-видимому, характерно для стиля прототипа бобровского Галлорусса — П. И. Макарова. Критикуя одну из рецензий последнего, И. Мартынов писал: «Как здесь, так и в других местах реценции, можно заметить весьма низкия слова. На при-

мер: *чепуха, волочится, любиться, девки, площадная мораль* и проч.» (см.: Мартынов, 1804, с. 299).

²² *серьёзность* или по вашему степенность. Слово *серьёзность* противопоставляется как новое — «галлорусское» — слово слову *степенность*. Прилагательное *серьёзный* входит в обиход лишь во второй пол. XVIII в. (см.: Биржакова, Войнова и Кутина, 1972, с. 170). В словари оно попадает лишь в XIX в. (см. там же); есть основание думать, что это слово было первоначально свойственно прежде всего разговорному языку столичных дворян, в частности «щегольскому наречию» (показательно, например, что это слово дважды встречается в речи щеголихи Советницы в фонвизинском «Бригадире» (см. изд.: Тихонравов, 1894, с. 135, 163). Курганов (1790, ч. II, с. 275), перечисляя слова, которых в словаре его нет, ибо «какая нужда их употреблять», упоминает и слово *сурьозно* (приравнивая его к *постоянно*). В начале XIX в. слово *серьёзно* могло выделяться в тексте курсивом, что подчеркивало его стилистическую гетерогенность (см., например, «Северный вестник», 1804, ч. I, № 1, с. 27: «скажу *сурьозно*»); так еще у позднего Вяземского, см. его «Автобиографическое введение» — I, с. IX). В «Корифее» Галинковского (кн. I, 1802, с. 166) *сурьозный* дается в скобках после *важный* (ср. в этой связи анализ употребления слов *важный, важность* в пушкинскую эпоху — Левин, 1959, с. 159–160). Еще в 1802-е гг. XIX в. слово это могло обыгрываться Н. И. Гречем (см. на этот счет: Левин, 1964, с. 317). «Частое употребление исковерканного французского слова — *серьезно* и даже, *пресерьезно*» составляло предмет возмущения И. И. Дмитриева, см. его письмо к П. П. Свиныну от 11 февраля 1834 г. (в изд.: Дмитриев, II, с. 308); точно так же в письме Жуковскому от 13 марта 1835 г. Дмитриев сетовал на то, что «большая часть наших писателей», забыв слог Карамзина, «украшают вялые и запутанные периоды свои площадными словами <...> с примесью французских: *серьезно* и *наивно*» (там же, с. 315); ср. в этой связи более позднее замечание Вяземского в «Старой записной книжке»: «Как <...> выразить по-русски понятия, которые возбуждают в нас слова *naïf* и *sérieux*, *un homme naïf*, *un esprit sérieux*? Чистосердечный, просто сердечный, откровенный, все это не выражает значения первого слова; важный, степенный не выражают понятия собственного другому; а потому и должны мы поневоле говорить *наивный, серьёзный*. Последнее слово вошло в общее употребление» (Вяземский, VIII, с. 38). Слово *наивный* встречается в письме Карамзина к Дмитриеву от 14.VI.1792 г. (Карамзин, 1866, с. 26). Позднее Греч подчеркивал неприменимость слова *серьезный* применительно к религиозной стороне жизни: «Эта строгая сторона жизни у немцев называется *Ernst*, по-французски *le sérieux*; у нас еще она не нашла точного себе наименования. *Важная* не то; *серьезная*, слово не русское, и употребляемое у нас не в таком значении. *Строгая*, думаю, будет ближе, тем более, что и слово *серьёзный* происходит от латинского *severus*» (см.: Греч, 1840, II, с. 36). Вместе с тем еще и в XX в. в определенных речевых стилях это слово могло оставаться стилистически маркированным, сохраняя, в частности, оттенок манерного произношения. Так, Марина Цветаева, описывая актрису Вахтанговской студии Софию Евгеньевну Голлидей

(1896–1935) и передавая ее прямую речь, отмечает соответствующее написанию произношение *серьозный*: «по самому серьезному (ее произношение)» (см.: Цветаева, 1976, с. 188). — Тем более необычным должно было казаться производное слово *серьёзность*, ср. возражения Шишкова (Шишков, 1818, с. 24; Шишков, V, с. 29–31) против новообразований с суффиксом *-ость*, распространившихся в конце XVIII — нач. XIX вв.; ср. Виноградов, 1935, с. 279. Даже П. И. Макаров в критическом разборе «Корифея» Галинковского осуждает автора за обилие неологизмов, образованных с помощью суффикса *-ость* (см.: «Московский Меркурий», 1803, ч. III, с. 45). Вообще о новообразованиях на *-ость* в XVIII в. и их соотносительности с иноязычными эквивалентами см.: Мальцева, Молотков и Петрова, 1975, с. 10–74, особенно с. 18, 22; Хютль-Ворт, 1956, *passim*.

Что касается слова *степенность*, то оно выступает обычным эквивалентом французского слова *sérieux* и т. п., см., например, в Полном лексиконе... II, с. 512: «*Sérieux*. Важность, степенность». См. еще об этом слове ниже, примеч. 268.

²³ *чувства утонченнее* — выражение *утонченные чувства* (равно как и *тонкий вкус*, и т. п.) типично для «нового слога» (ср. ниже, примеч. 49); ср. ниже иронический призыв бобровского Ломоносова: «Ступайте, Галлоруссы, ступайте далее! УТОНЧЕВАЙТЕ ЧУВСТВА» (см. примеч. 232). Прилагательные *тонкий, утонченный* в подобном употреблении представляют собой кальку с фр. *fin, raffiné* (ср. контексты, относящиеся к употреблению этих слов у В. В. Веселитского, 1972, с. 151; ср. также: Мальцева, 1966, с. 279–281). О слове *утонченный* как о семантической кальке писал А. С. Шишков в своем «Рассуждении о старом и новом слоге Российского языка» (1818, с. 25, 27); между тем, П. И. Макаров в своем критическом рассмотрении книги Шишкова защищал слова *утонченный* и *трогательно* как слова, которые «включены в Словарь Академии, приняты всеми, и употребительны равно в слоге высоком и в обыкновенном разговоре» («Московский Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь, с. 168).

²⁴ *освеженнее ... утонченнее ... очищеннее* (ср. ниже еще форму *развязаннее*, см. примеч. 46). Можно полагать, что формы сравнительной степени от причастий фигурируют здесь как грамматические галлицизмы (ср. фр. конструкции: *plus raffaîchi, plus raffiné, plus épuré*). Ср. замечания Н. И. Греча: «Имеют ли причастия степени сравнения, то есть: можно ли сказать: *любящее, влюбленное, живущее*? Нет! Имея значение времени, они не могут в то же время означать степень качества» (Греч, 1840, II, с. 43). Ср., между тем, подобную форму у П. А. Вяземского в письме к А. И. Тургеневу от 13 августа 1824 г.: по словам Вяземского, Карамзин «всех живущее у нас» (Остафьевский архив, III, с. 73). Отметим также возражения Шишкова (1818, с. 350) против слишком свободного образования форм сравнительной степени в карамзинских переводах. — Относительно выражения *очищенный язык* ср. примеч. 38а, 133, 247, 255.

²⁵ кисть наших Авторов. Слово *автор* может, по-видимому, считаться характерным для Галлорусса: он употребляет его и ниже (см. с. 472, 476 наст. изд.: *автора первой половины осьмнадцатого века, судьбы всех русских авторов, выписки из лучших авторов*), тогда как в речи Ломоносова соответствующее понятие, как правило, передается словами *сочинитель* (см. с. 476, 478, 481, 485) или *писатель* (с. 482, 484) (но, однако, *автор* на с. 482, 484), а Боян говорит о «ветях, писателях и певцах» (с. 470). Слово *автор* в значении «писатель, сочинитель» — относительно недавнее приобретение в русском языке, которое, соответственно, и могло расцениваться как европеизм. (В XVI–XVII вв. это слово преимущественно употреблялось, в соответствии с этимологией, в значении «творец», «деятель», «работник», см. материал у Хютль-Ворт, 1963а, с. 55; показательно, вместе с тем, что это слово вообще не значится в «Словаре Академии Российской».) Неслучайно Щеголиха в новиковском «Живописце» (1772, I, л. 9) начинает свое письмо словами: «Ты, радость, беспримерной автор...»; впрочем, это слово встречается и у самого Новикова, в ряде случаев, может быть, иронически (см.: Берков, 1951, с. 311, 284–288). Для оценки того, как могло восприниматься данное слово в последней четверти XVIII в., показательно следующее примечание переводчика (А. Мейера) к выражению «степенные писатели», в изд.: Иерусалемово творение... 1783, с. 14: «Издателям Санктпетербургскаго Вестника, в известии о новых книгах, в последнем месяце, не полюбилось, не знаю для чего, переведенное мною слово *Классических Авторов*, то я в удовлетворение онаго переименил их в *степенные писатели*, умалчивая о безосновательном опорочивании сих слов и обнаруживании при том имени переводчика». В книгах конца XVIII в. это слово могло выделяться в тексте курсивом (см., например, Николев, IV, с. 170).

Н. П. Николев пишет вместо *автор* — *творец*, см. в предисловии («Объяснение») к его пьесе «Розана и Любим» (1781): «Творец человек, не так как Творец Бог; он может творению своему дать ум, дать глупость и проч., но не может дать воли; следственно за умное или глупое творение отвечать должен умной или глупой творец, а не умное, или глупое творение» (л. А₂); «Просвещенные Московские зрители, как видно, снизходя к малому числу Российских творцов, снизходят еще некоторым образом и к дурным творениям» (лл. А₃–А₃ об.); в других случаях Николев пользуется здесь словом *сочинитель*. Ср. еще ироническое обыгрывание слова *автор* у М. Д. Чулкова в «Стихах на качели»:

Я Автор ныне сам, и знаю аз и буки;
В Египет не зачем мне ездить для науки:
Я смыслю всё, всю прозу уморю
И храброго Бову в поеме претворю

(см.: Венгеров, 1897, с. 880; «ездить в Египет» — намек на масонов). Это слово было окончательно канонизировано карамзинистами, что могло придавать ему особый оттенок в глазах их литературных противников. Ср., в частности, характерное употребление прилагательного *авторский*, например, в письмах Дмитриева: «не привыкли писать о та-

ких расчетах, чувствую сам, что написал все письмо НЕ ПО-АВТОРСКИ, А ПО-ПОДЪЯЧЕСКИ» (письмо к Жуковскому от 30 мая 1806 г.), «перечитывая письмо, я сам почувствовал, как оно писано нескладно и вяло; словом, совсем не по-авторски» (письмо к Ал. И. Тургеневу от 17 октября 1818 г.), см.: Дмитриев, II, с. 205, 235; или в письме Карамзина к Дмитриеву от 12 октября 1798 г.: «Умирая авторски, восклицаю: да здравствует, Российская Литература!» (Карамзин, 1866, с. 104; курсив Карамзина), ср. также реплику в его письме от 27 июля 1798 г.: «Я умею по крайней мере соблюдать Decorum автора» (там же, с. 97). Ср. возражение Шишкова: «Вольно нам <...> называть <...> писателя *автором*» (1818, с. 309, ср. также с. 57); знаменательно, что сам Шишков фактически может пользоваться данным словом. Слово *автор* входит и в «Новый словотолкователь...», содержащий разный в Российском языке встречающиеся иностранные речения и технические термины» Н. М. Яновского (1803–1806), что свидетельствует о его ограниченном употреблении. Достоинно внимания, что еще в 1804 г. в «Северном вестнике» высказывается предложение устранить из русского языка слово *автор* (вместе с рядом других иностранных слов), заменив его словами *сочинитель*, *творец* (см.: Виноградов, 1935, с. 246).

²⁶ *сентиментальнее* — ср. фр. sentimental. Ср. определение слова *сентиментальность* у Я. Галинковского: «сентиментальность значит: тонкая, нежная и подлинная чувствительность» (см.: Галинковский, 1801, с. II, примеч.). В другом месте Галинковский, употребляя в одном из своих переводов выражение *прелетия сердечности*, пишет в примечании: «Сентиментальности, если позволяет так перевести» (см.: «Корифей, или Ключ литературы», ч. I, кн. 1, СПб., 1802, с. 4). Ср. также резкий отзыв Андрея Тургенева о «модной сентиментальности» в речи, прочитанной в 1801 г. в «Дружеском Литературном Обществе» (см. цитату на с. 447–449 наст. работы, примеч. 152).

²⁷ *реформировка* — рус. образование от заимствованного слова, ср. фр. réformer, нем. reformieren. Ср. ниже у Галлорусса другое отглагольное существительное от того же глагола: *реформированье* (ср. примеч. 271).

²⁸ *была... покрывшись* — см. выше, примеч. 18. Ср.: Russie s'était véritablement couverte.

²⁹ *было... заблудительно*. Слово *заблудительно* здесь калька с фр. égarant. Суффикс *-тельн-* становится особенно продуктивным во второй пол. XVIII в. (см.: Веселитский, 1972, с. 90–91); в этот период появляется масса новых слов, образованных при помощи этого суффикса, которые и становятся характерными для «нового слога». Следует при этом иметь в виду, что семантика слов на *-тельн-* первоначально имеет процессуальный, причастный характер, в дальнейшем постепенно утрачиваемый (см.: Ильинская, 1953, с. 166–175); знаменательно в этой связи, что в «Грамматике» Мелетия Смотрицкого (1648, лл. 312–312 об.) прилагательные на *-тельн-* определяются как «причастодетия» и рассматриваются в отделе, посвященном глагольному

спряжению. Поскольку, вместе с тем, на образование причастий в русском языке могли накладываться определенные стилистические ограничения (см. об этом, например, в ломоносовской «Российской грамматике» 1755 г., §§ 343, 440, 444, 453), отглагольные прилагательные на *-тельн-* могли выступать в качестве закономерного субститута причастных форм при калькировании французских причастий — что и способствует активизации суффикса *-тельн-*. Ср. в этой связи характерное для второй пол. XVIII в. вытеснение причастной формы *блестящий* прилагательным *блистательный* (в соответствии с фр. *brillant*), причастной формы *трогающий* прилагательным *трогательный* (в соответствии с фр. *touchant*) и т. п.; см. ниже, примеч. 50 и 166, а также примеч. 146, 164. Именно отсюда объясняется резкое повышение продуктивности суффикса *-тельн-* в XVIII в., который до этого вообще, кажется, не был продуктивным (см.: Мальцева, Мслотков и Петрова, 1975, с. 211–213, ср. также с. 219).

Ср. у Лескова в «Левше» стилизованное употребление слова *замечательный* в значении «замечающий»: «Николай Павлович был ужасно какой замечательный и памятный — ничего не забывал» (Лесков, VII, с. 42). Остаток употребления форм на *-тельн-* в причастном значении следует усматривать в современном обороте: «Убедительно вас прошу» (ср. подобный оборот, например, в письме П. А. Плетнева А. С. Пушкину от 21 января 1826 г., см. изд.: Пушкин, 1906–1911, I, с. 320; неверная интерпретация этого оборота дана в кн.: Успенский, 1970а, с. 54).

³⁰ *не развязано* (ср. еще ниже у Галлорусса форму *развязаннее*, см. примеч. 46). Слово *развязано* — семантическая калька с фр. *délié*, ср.: être délié, а также avoir l'esprit délié. Это слово очень характерно для «щегольского наречия» второй пол. XVIII в.; ср. выражения *быть совсем развязану, развязан в уме*, которые специально отмечаются в «Живописце» Н. И. Новикова (1772, ч. I, лл. 4, 9, 10) как характерные для речи петиметров (ср. изд.: Берков, 1951, с. 293, 313, 319); ср., вместе с тем, реплику щеголихи Советницы в Фонвизинском «Бригадире»: «Для меня нет ничего comodнее свободы. Я знаю, что всё равно, иметь ли мужа, или БЫТЬ СВЯЗАННОЙ» (см.: там же, с. 149) — или фразу Щеголихи у Новикова: «Сказать ли чем я *отвязываюсь* от этого несносного человека?» («Живописец», ч. I, л. 9; см.: Берков, 1951, с. 313; выделено в оригинале). Не исключено, что соответствующее употребление отразилось и в следующем месте из «Фелицы» Державина:

Развязывая ум и руки,
Велит любить торги, науки
И счастье дома находить.

К форме *развязанный* как кальке с фр. *délié*, восходит, видимо, и прилагательное *развязный*, которое входит в литературное употребление, кажется, начиная с Пушкина (относительно употребления данного слова в пушкинских текстах см. данные в Сл. языка Пушкина, III, с. 929), и впервые фиксируется только в «Словаре церковнославянского и русского языка» 1847 г. — Для этимологии слова *развязный*, так же,

как и для понимания происхождения цитированных оборотов петиметрского жаргона, существенно иметь в виду, что во французском языке имеются два слова (омонима) *délié* разного происхождения — прилагательное, восходящее к лат. *delicatus*, и причастие от глагола *déliier* (ср. лат. причастную форму *deligatus* от *deligo*). На русской почве эти два слова были осмыслены как одно; при этом «щегольское наречие» XVIII в. калькирует форму французского ПРИЧАСТИЯ, но отражает семантику соответствующего ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО. В свою очередь, форма *развязный* выступает, можно думать, как вторичное образование от *развязанный* в этом специфическом значении, обусловленное стремлением обособить форму прилагательного от формы причастия, т. е. воссоздать специальную форму прилагательного в соответствии с французским прилагательным *délié*. Следует иметь в виду, что в конце XVIII — начале XIX в. этот эпитет употребляется как средство положительной характеристики (ср. Левин, 1959, с. 161 — со ссылкой на употребление этого слова у Пушкина) — иными словами в значении «непринужденный». Спорадически такое употребление можно встретить и значительно позднее, см., например, у Достоевского в «Братьях Карамазовых» (1879–1880 гг.) впечатление Алеши от Екатерины Ивановны: «Его поразила властность, гордая *развязность*, самоуверенность надменной девушки» (Достоевский, XIV, с. 133); ср. такое же употребление в «Обрыве» Гончарова (Гончаров, X, с. 80, 84).

Наиболее ранний из известных нам случаев употребления прилагательного *развязный* представлен в дневнике А. В. Храповицкого — в записи от 4 ноября 1792 г. Приводя отзыв Екатерины о великом князе Александре Павловиче и его невесте принцессе Луизе-Августе Баден-Дурлахской (будущей императрице Елизавете Алексеевне), Храповицкий пишет буквально следующее: «Очень были довольны <Екатерина> и мне сказали, что Цесаревич очень полюбил и хвалит старшую Принцессу, но жених застенчив и к ней не подходит. Она очень ловка и развязна, elle est nubile à 13 ans» (см.: Храповицкий, 1874, с. 415).

Любопытно отметить, что в начале XIX в. прилагательное *развязный* очень часто служит для характеристики языка или слога (как положительный эпитет). Ср. у Я. А. Галинковского в статье «О Трех рассуждениях о древностях русских Тредьяковского» (1802, с. 228–229): «Даже самой слогъ столь несносный въ прочемъ въ его оригинальныхъ пьесахъ кажется здѣсь гораздо легче разязиѣ <sic!> и чище». Ср. затем отзыв Бестужева-Марлинского о произведениях Шаховского в статье «Взгляд на старую и новую словесность в России», 1822 г.: «Разговорный язык его развязен, текущ, но не достаточно высок для хорошего общества» (см.: Орлов, 1951, с. 541); ср. также у Пушкина в переводе речи Вильмена: «вы счастливо разгадали дух нашего века; вы создали род комедии, с которою он хорошо сроднился, которая походит на него, комедию живую, развязную, быструю» (из статьи «Французская академия» 1836 г., см.: Пушкин, XII, с. 59).

³¹ *езде уж разсветавши* — ср. выше, примеч. 18. Можно предположить, что здесь калькируется фр. *il a point*; то обстоятельство, что деепричастная форма в данном случае образована от глагола несовершенного вида, может быть обусловлено невозможностью образовать соответствующую форму от параллельного глагола совершенного вида.

³² в своей *тарелке* — калька с фр. *dans son assiette*. Соответствующее выражение (*я не в своей сижухе тарелке*) отмечается в «Живописце» (1772, ч. I, л. 4) как типичное для «щегольского наречия» (см.: Берков, 1951, с. 294); ср. еще в речи щеголихи Жеманихи в комедии Хвостова «Русский парижанец»: *Ах! как я не в своей тарелке!* (1787, с. 170; цит. по: Биржакова, 1965, с. 268). Против этого выражения протестовал Шишков, который писал в своем «Прибавлении к сочинению, называемому Разсуждение о старом и новом слоге...» (1804, с. 62) «Часто хотя не в книгах, однако в разговорах, Французскую речь: *il n'est pas dans son assiette*, переводят у нас: *он не в своей тарелке*, не зная того, что ежели бы Французы под словом *assiette* разумели здесь *тарелку*, так никогда бы речь сия им в голову не пришла, потому что она не составляла бы никакой мысли» (далее автор поясняет, что *assiette* — положение морских судов, от которого зависит успешность плавания). Ср. еще специальное замечание Пушкина относительно данного фразеологизма в заметке «Множество слов и выражений...».

³³ употребленные им выражения против свойства истинного языка или по своенравию. В публикуемом списке — вероятно, по вине переписчика — подчеркивания проведены не вполне последовательно: целый ряд явных галлицизмов (функционирующих как таковые) и вообще характерных элементов «галлорусского наречия» остается неподчеркнутым. Поэтому настоящий комментарий в своей лингвистической части относится как к подчеркнутым, так и к специально не выделенным в тексте выражениям.

³⁴ *Праведное небо!* (ср. ниже такое же восклицание в устах боровского Ломоносова, см. примеч. 230). Можно полагать, что это восклицание, как и вообще обращение к небу, отражает западноевропейское влияние (ср. фр. *o ciel!* и т. п.), хотя и не воспринимается уже как европеизм; *праведное небо* может рассматриваться как прямой перевод французского восклицания: *juste ciel!* (которое можно встретить, например, у Расина). Ср., вместе с тем, обычное в литургических текстах выражение *праведное солнце*, выступающее как наименование Иисуса Христа (ср.: *sol justitiae*); восклицание *О, праведное солнце!*, по свидетельству Г. Теплова, было свойственно речи Тредиаковского (см.: Пекарский, II, с. 190). Ср., действительно, это восклицание у Тредиаковского в «Письме... от приятеля к приятелю» 1750 г. (см.: Куник, 1865, с. 438, 485), а также в письме к Г. Ф. Миллеру от 7 августа 1757 г. (см.: Разоренова, 1959, с. 214). Если усматривать какую-либо связь между рассматриваемым восклицанием Бояна и этим последним выражением, следует констатировать отражение в речи Бояна специфической христианской фразеологии (ср. в этой связи библеизмы у Бояна, см. ниже, примеч. 100 и 110).

³⁵ *Богомиллом* — ср. специальное примечание автора о Богомиле на с. 490 наст. изд.

³⁶ *Тупталом* — так именуется Дмитрий Ростовский.

³⁷ *без преступления пределов... основания древняго слова*. Ср. ниже высказываемое от лица Ломоносова рассуждение о ПЕРЕДЕЛАХ изменения языка, не нарушающего его органических оснований. См. примеч. 252 и 254, а также примеч. 2, 163.

³⁸ *надобно, что б...* — здесь и далее (см. примеч. 38а, 42, 51, 76, 87, 95, 97, 113, 116, 120) отмечаются новые синтаксические конструкции с союзом *чтоб(ы)*, появление которых в русском языке отмечается главным образом с конца XVIII в. и обусловлено прямым влиянием западноевропейских языков. См. о конструкциях такого рода специально у Ф. И. Буслаева (1959, с. 533–534) и В. В. Виноградова (1938, с. 172); Г. Хютль-Ворт в письме от 26.III.1976 г. высказала предположение о том, что конструкции с *чтобы* возникли под влиянием немецких *daß, so daß, damit*. В отношении того, как воспринимались подобные конструкции в конце XVIII в., показательны, между прочим, слова Павла (в бытность его еще великим князем), зафиксированные в записках Семена Порошина. Возражая вообще против употребления французских слов в русских разговорах, Павел замечал, в частности, что «иные столь малосильны в своем языке, что все с чужестраннаго от слова до слова переводят и в речах и в письме, например: “*Vous avez trop de pénétration pour ne pas l'entrevoir — вы очень много имеете проникания, чтоб этого не видеть*”» (см.: Порошин, 1881, стлб. 13). Подобные конструкции очень характерны для «щегольского» разговора второй пол. XVIII в. и, соответственно, нередко обыгрываются в сатирической литературе этого времени. См., например, в речи Деламиды в комедии Сумарокова «Пустая ссора» (явл. 17): «Я етой пансе не имею, чтоб я и в прям в ваших глазах емабль была», «Яб не чаяла, чтоб вы так не резонабельны были» (Сумароков, V, с. 346); в речи Олимпиады в комедии Екатерины «Именины госпожи Варчалкиной» (акт IV, явл. 4): «Уж подлинно! безпримерно б ето было, что б я пошла за такова дурака!» (Екатерина, I, с. 94); или в записках щеголихи в «Сатирическом вестнике» (1791, ч. II, с. 79–80): «Девца М. *a sauté par dessus une muraille* штоп *s'enfuir* съ афицерам и *aller* сним *se marier*» и т. д. и т. п. (см.: Покровский, 1903а, прилож., с. 17; Покровский, 1903, прилож., с. 33, 109–110). Соответственно конструкции с *чтобы* могут расцениваться как коллоквиализмы: разбирая язык трагедии Озерова «Димитрий Донской», Шишков писал по поводу фразы «Чтоб битву возвестил воинский трубный глас: «Сие *чтоб, чтобы* хорошо в простых выражениях, но в возвышенных не годится» (см.: Сидорова, 1956, с. 167). — Для оценки последующей судьбы конструкций такого рода представляется любопытной следующая характеристика речевой манеры А. Блока, которую приводит в своих воспоминаниях Андрей Белый: «короткая фраза; построена просто, но с частыми “чтоб” и “чтобы”, опускаемыми в просторечии; так: “Я пойду, *чтоб* купить” — не “пойду *купить*”; или: “несу пиво, *чтоб* выпить”» (Белый, 1933, с. 293, ср. также с. 297).

^{38a} *перечистил* себя, *чтоб* — ср. выше примеч. 38. Выражение *перечистить себя* соотносится с характерными для галлорусской речи выражениями *чистый вкус, очищенный язык* и т. п. (ср. примеч. 24, 133, 247, 255) и восходит в конечном счете к употреблению фр. *épuré, purifié* и т. п.

Вяземский в письмах к Ал. И. Тургеневу от начала июня и от 18 июня 1822 г. рассматривает такие выражения, как *посвящать себя, делать себя, готовить себя, заботить себя* (вместо, соответственно, *посвятить-ся, делаться, готовиться, заботиться*) как типичные галлицизмы (см.: Остафьевский архив, II, с. 258 и 264).

³⁹ *галиматью* (ср. фр. *galimatias*) — это слово еще ощущалось как новое в русском языке. По данным Биржаковой, Войновой, Кутиной (1972, с. 352) первая фиксация данного слова относится к 1788 г.; это не вполне точно, т. к. оно встречается уже у Сумарокова (в статьях «Некоторые строфы двух авторов» 1774 г. и «О стопосложении», см.: Сумароков, IX, с. 219, X, с. 76 и, наконец, в пародийной эпитафии на Ломоносова: «Под камнем сим лежит Фирс Фирсович Гомер, который пел, не зная галиматии мер...», обычно датированной 1761 г.), ср. также «Галиматью пиндарическую» Д. И. Хвостова (перевод из Вольтера), написанную в 1786 г. (Поэты 1790–1810-х годов, 1971, с. 877). О принадлежности слова *галиматье* к щегольскому наречию может свидетельствовать «Переписка моды» Н. И. Страхова (1791 г.), где в письме Моды к Непостоянству читаем: «Какия ты там найдешь бизарери и галиматьи!» (с. 143). Карамзин употребляет это слово в письме к М. Н. Муравьеву от 28.IX.1803 г. (Карамзин, III, с. 681). Любопытно отметить, что И. Мартынов в цитированной выше рецензии (см. примеч. 21) специально критиковал П. И. Макарова за употребление слова «*галиматье* вместо *вздору, безмыслия*» (см.: «Северный вестник», 1804, ч. III, № 9, с. 306). О вхождении этого слова в лексикон карамзинистов может свидетельствовать и то обстоятельство, что его употребляет А. А. Петров в письме Н. М. Карамзину, написанном, вероятно, в 1789 г. и дошедшем до нас в отрывке, ср. концовку письма: «Извини, что написал такую галиматью. Прости!» (архив бр. Тургеневых в Пушкинском доме, ед. хр. № 124). Ср. популярность слова *галиматье* в кругах «Арзамаса» (этим словом Жуковский определял жанр своих шуточных стихотворений). Об отношении к «галиматье» как определенному идейно-поэтическому водоразделу писал Жуковскому Милонов, разрывая прежние приятельские отношения:

< ... > начал чепуху ты врать уж не путем.

Итак, останемся мы каждый при своем —

С галиматьею ты, а я с парнасским жалом < ... >

(Поэты 1790–1810-х годов, 1971, с. 537)

По Жуковскому, «арзамасская критика должна ехать верхом на галиматье» (см. письмо Д. В. Дашкова к П. А. Вяземскому от 26 ноября 1815 г. — Русский Архив, 1866, с. 500, или ИОРЯС, 1904, кн. 3, с. 324).

Подробнее о «галиматье» как полемическом определении некоторого типа текстов в культуре начала XIX в. см.: Поэты 1790–1810-х годов, 1971, с. 24–26.

⁴⁰ «ах!» написано по подтертому.

⁴¹ «бы» добавлено позднее (теми же чернилами, что и предыдущее исправление) над строкой.

⁴² ты бы весьма *щастлив был, чтоб* — см. выше, примеч. 38.

⁴³ *пансионат* — ср. фр. *pension*. Ср. примеч. 61, 72.

⁴⁴ *этикеты* — ср. фр. *étiquette*. По данным Биржаковой, Войновой, Кутиной (1972, с. 408), первая фиксация этого слова в русском языке относится к 1745 г.

⁴⁵ *был нарядаься* — ср. выше аналогичные конструкции в речи Галлорусса (см. примеч. 18). Ср. фр. *tu t'étais paré*.

⁴⁶ *развязаннее* — см. выше примеч. 30, 24. Ср. фр. *plus délié*.

⁴⁷ *естли б... то бы... были* — синтаксическая конструкция с союзом *если... то* в сочетании с глаголами в сослагательном наклонении воспринимается как галлицизм.

⁴⁸ *были тобою пленяющиеся* — синтаксический галлицизм. Ср. близкую синтаксическую конструкцию (употребление причастной формы в предикативной конструкции) в письме Щеголихи в «Живописце» (1772, ч. I, л. 9), специально отмеченную как характерную для «щегольского наречия»: «Как все у тебя *славно: слог растеган, мысли прыгающи*» (см.: Берков, 1951, с. 312; подчеркнуто в оригинале). Все предложение Галлорусса построено по модели французской грамматики и представляет собой буквальный перевод с фр.: *Si tu t'étais paré comme nous... beaucoup de monde se seraient captivé de toi.* — Что касается переносного употребления глагола *пленить*, то оно не чуждо и самому Боброву (см. его перевод французской песни в «Северном вестнике», 1805, ч. VIII, № 10, с. 75); ср. ниже подобное употребление в устах бобровского Ломоносова (см. примеч. 161).

⁴⁹ *утонченного вкуса*. Относительно влияния на значение этих слов со стороны западноевропейских языков см.: Веселитский, 1972, с. 148–151, Хютль-Ворт, 1956, с. 86, 212: оба слова представляют собой кальки с французского, причем слово *вкус* как семантическая калька с французского было введено в русский литературный язык, как полагают, Тредиаковским (ср. Хютль-Ворт, 1970, с. 133); об эпитете *утонченный* см. специально выше (примеч. 23). Сочетание *утонченный вкус* (или *тонкий вкус*) соответствует фр. *un goût raffiné* (resp.: *un goût fin*, ср. также: *un goût délicat*). Это выражение — так же как и вообще сама апелляция к вкусу как к эстетической категории — очень типично для карамзинистов, ср., например, у Карамзина: «вкус нежный, утонченный искусством» (Записки старого московского жителя, — Карамзин, III, с. 334) и т. п. Ср. полемические возражения А. С. Шишкова

в «Рассуждении...» (1818, с. 193–200). Подобное употребление характерно, по-видимому, и для щегольской культуры XVIII в.; ср.: «Без французов разве могли мы называться людьми? Умели ли мы прежде порядочно одеться и знали ли все правила нежного, учтивого и приятного обхождения, ТОНКИМИ ВКУСАМИ утвержденные?» (см.: «Кошелек», 1774, л. 5, ср.: Берков, 1951, с. 493). Ср. в этой связи в стилистически обыгранном письме некоего галломана, помещенном в качестве приложения к шишковскому «Рассуждению...»: «Недавно случилось мне быть в Соснете с нашими нынешними УТОНЧЕННАГО ВКУСА АВТОРАМИ» (с. 425). Ср. в письме И. И. Дмитриева к А. С. Шишкову от 23 декабря 1818 г.: «Книгопродавцы берут <...> только переводы одних романов, да и то в новейшем вкусе. Это ЛЮБИМОЕ СЛОВО в их ОБЪЯВЛЕНИЯХ» (Дмитриев, II, с. 241). Уже Кантемир сообщает в примечаниях ко II-й сатире (первая редакция), что слово *вкус* как калька с французского характерно именно для речи щеголей: «*Вкус в платьях*. Вкус только в кушаньях говорят; а тут кажется для того употреблено слово *сие*, что щоголям оно обычайно с французскаго языка, в котором если хотят похвалить, что платье какое искусно выдуманно и прибрано хорошо, то говорят: это платье хорошева вкусу» (см.: Кантемир, I, с. 224, ср.: Веселитский, 1974, с. 48).

Необходимо подчеркнуть, что апелляция к вкусу, вызвавшая резкие нападки Шишкова — что дало повод Воейкову называть шишковистов *вкусоборцами* («Вестник Европы», 1806, ч. 36, №6, с. 118 или там же, 1808, ч. 41, №18, с. 118), — не чужда Боброву, также как и некоторым другим «архаистам» (например, Е. Станевичу — см. его «Способ рассматривать книги и судить о них», 1808, с. 19; соответственно, А. Ф. Воейков в рецензии на эту книгу иронически писал, что Станевич «воздоился смаком и чутьем (вкусом) и угобзился хитроумием» — см.: Воейков, 1808, с. 118). Слово *вкус* в дальнейшем фигурирует не только в речи Галлорусса, но и в речи таких персонажей «Происшествия в царстве теней», как Боян или Ломоносов. Позиции Боброва и Шишкова не тождественны в этом отношении. Ср. в этой связи ниже примеч. 64.

⁵⁰ *блистать* — в данном употреблении, по-видимому, семантическая калька с фр. *briller*, нем. *brillieren*. Ср. в бытовой речи Карамзина по записи Г. П. Каменева 1800 г.: «Этот автор <...> ничем не *брильирует*» (запись речи Карамзина приведена в письме Г. П. Каменева к С. А. Москотильникову от 10 октября 1800 г., см.: Бобров, III, с. 130); ср. затем у П. И. Макарова в рецензии на книгу Шишкова «Ныне уже не лъзя БЛИСТАТЬ одним набором громких слов, гиперболами, или периодами циркулем размеренными» («Московский Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь, с. 180); подобное употребление достаточно обычно, между прочим, у Пушкина (см.: Сл. языка Пушкина, I, с. 136). Ср. в этой связи полемику по поводу глагола *блистать* между Г. Р. Державиным и П. С. Батуриным (выступающим под именем Невежды) на страницах «Собеседника любителей Российского слова», 1783, ч. IV, с. 12–15 (см.: Белоруссов, 1890, с. 58; псевдоним Батурина раскрывается у П. Н. Беркова, 1952, с. 333, примеч. 1); подобное употребление встречается вообще у Державина, ср., например, в стихотворении «Модное остроумие»

(1776 г.): «блистать учтивостью», «умом в поверхности блистать». Первые употребление такого рода зафиксировано у Тредиаковского в «Езде в остров любви» (Хютль-Ворт, 1956, с. 66). Словари второй пол. XVIII в. сообщают, как правило, только буквальное значение слова *блистать* (см. «Словарь Академии Российской» или «Российской с немецким и французским переводами словарь» И. Нордстета 1780 г.); ср. ниже выражения *блистящее перо*, *блистящее имя*, относящиеся к фразеологии карамзинистов (см. примеч. 255 и 260), где эпитет *блистящий* представляет собой кальку с фр. *brillant*. Ср., однако, у самого Карамзина в предисловии к «Аонидам» (кн. II, 1797, с. IX–X): «Не надобно также беспрестанно говорить о слезах, прибирая к ним разныя эпитеты, называя их БЛЕСТЯЩИМИ, и БРИЛЛИАНТОВЫМИ — сей способ *трогать* очень не надежен» (курсив Карамзина). Вместе с тем, слова *блистательный*, *блистательность* в переносном употреблении встречаются затем в речах Бояна (см. примеч. 70) и Ломоносова (см. примеч. 141, 262); отметки в этой связи, что в «Словаре Академии Российской» зафиксированы лишь прямые, но не переносные значения данных слов. Показательно, что даже «архаист» Евстафий Станевич оправдывает переносное употребление слова *блистательный*, сопоставляя его с фр. *brillant* (Станевич, 1808, с. 22, цит. у Виноградова, 1938, с. 171). Ср., однако, нападки на выражение «блистательный слог» у Шишкова, (1818, с. 69, примеч.) Надо полагать, что прилагательное *блистательный* как эквивалент фр. *brillant* вытесняет причастие *блистящий*, первоначально выступающее в этом значении и ФОРМАЛЬНО соответствующее исходному французскому слову (ср. ниже об аналогичном процессе в случае форм *трогающий* — *трогательный* в соответствии с фр. *touchant*, см. примеч. 166; ср. в этой связи также примеч. 29). В результате этого процесса (замены причастных форм формами прилагательных) соотношение слов *блистательный* и *brillant* может восприниматься не как калька, а как простое лексическое соответствие; это обстоятельство, в свою очередь, может объяснить относительно терпимое отношение к употреблению слов *блистательный*, *блистательность* и т. п. в переносном значении у таких авторов, как Бобров или Станевич.

⁵¹ *лъзя было, что б* — ср. выше, примеч. 38.

⁵² *застал играть* (ср. еще аналогичный оборот ниже у Галлорусса, см. примеч. 98). Ср. у Шишкова (1818, с. 171–172): «многие ныне, вместо *я видѣлъ какъ вы шли или я видѣлъ васъ идущихъ*, говорят и пишут: *я видѣлъ васъ идти*, перевода сие с Французскаго: *je vous ai vu passer*, или *я слышалъ его играть*, *j'ai l'entendu jouer*». В. Ф. Одоевский («Вестник Европы», 1823, июнь, №11) и Н. А. Полевой («Новый живописец общества и литературы», ч. II, 1832) приводят выражения *слышал ее петь* и *я его слышал говорить* как примеры галлицизмов, характерных для светской речи (см. у Виноградова, 1938, с. 190; 1935, с. 330). Возражение против подобных синтаксических конструкций (с некоторыми оговорками) можно встретить уже в «Российской грамматике» А. А. Барсова, 80-х гг. XVIII в. (см.: Буслаев, 1959, с. 538). Возражения такого рода тем более знаменательны, что синтаксическая конструкция *accusativus*

cum infinitivo, особенно после verba sentiendi et declarandi, вполне обычна в церковнославянском языке (см.: Йордаль, 1973, с. 153).

⁵³ *играть славную роль* — ср. фр. jouer un rôle. В отношении эпитета *славный* см. выше примеч. 19. Форма *роль* представляет собой заимствование непосредственно из французского, однако женский род здесь обусловлен контаминацией с более ранним заимствованием *роля* из немецкого (ср. нем. die Rolle): по данным Биржаковой, Войновой, Кутиной (1972, с. 392) *роль* в женском роде отмечается с 1784 г., в мужском роде — с 1764 г., *роля* — с 1727–1729 гг. Выражение *играть роль* встречается в «Письмах русского путешественника» Карамзина, ср. здесь (под 2 июля 1789 г. «Г. Флек играет ролю мужа < . . . >» (см.: Карамзин, II, с. 130). Ср. также в «Переписке моды» Н. И. Стрхова (1791, с. 128) в письме от Старинного Кафтана к Новомодному: «Не превозносись тем, что ты теперь играешь важную роль в большом свете», в «Сатирическом вестнике» (1790, ч. V, с. 79): «Он ролю мертвеца < . . . > играет».

⁵⁴ *поэты поют bravo* (ср. еще аналогичный оборот ниже у Галлорусса, см. примеч. 266). Наречие *bravo*, образованное от прилагательного *бравый* (из фр. brave) употреблено здесь не в значении, соотносящемся с исходной атрибутивной формой, а в ином значении — соотносящемся с возгласом одобрения bravo. Ср. в этой связи ниже восклицание *очень bravo!* в речи Галлорусса (см. примеч. 210).

⁵⁵ *твоих времен виршесплетатели похожие . . . на слепых старцов бродящих по Украинским ярморкам*. С этим пренебрежительным мнением Галлорусса о народной поэзии следует сопоставить высокий отзыв о ней Ломоносова, явно выражающего точку зрения самого Боброва. См. ниже, примеч. 161.

⁵⁶ *наиболее* (ср. эту форму у Галлорусса и ниже, см. примеч. 265). В этом слове специально подчеркнут префикс *наи-*, который в XVIII в. воспринимался как иноязычный элемент (полонизм). В «Российской грамматике» Ломоносова (1755, §216) говорится, что «новые превосходные, с польского языка взятые, с приложением *наи*< . . . > российскому слуху неприятны», ср. в «Кратких правилах российской грамматики» (1773, с. 25, §63): «с Польского языка новые принятые превосходные с приложением *наи*, Российскому слуху весьма досадны: *наилучший*, *наичистый*»: иначе, однако, в обстоятельной «Российской грамматике» Барсова, где утверждается, что прилагательные в превосходной степени на *наи-* «Российскому слуху не могут более противны быть» и что «польское их происхождение по сродству польского языка с Российским чрез славенский не должно и им вредить, тем паче, что и кроме того есть польския слова в наш язык приняты как: присяга, опекун и проч. то должно их уже знать и употреблять без сомнения» (Барсов, 1981, с. 486–487). См. еще аналогичное замечание некоего Любослова в «Собеседнике любителей российского слова» 1783, ч. II, с. 111; критикуя встретившиеся ему в поэтических текстах слова *наиприятнейший*, *наисладчайший*, Любослов писал: «*Наи* взято из Польского языка, а у нас для соделания степени превосходительной прилагается вместо *наи*, *самый*»; ср., однако, возражение издателей «Собеседника»:

«*Наи* хотя употребляется в Польском языке, но из Руского не исключается» (там же, с. 104). — С другой стороны, подобные образования были, по-видимому, возможны в жаргоне петиметров XVIII в.; ср. в этой связи эпитет *наисовершенный* среди типичных эпитетов «щегольского наречия», перечисляемых в письме Боттин (т. е. Ботинок) в «Переписке моды» Н. И. Стрхова (1791, с. 65): «нас называют [петиметры. — Ю. Л., Б. У.] *безподобными*, *безпримерными*, *редкими*, *прекрасными*, *милыми* и *наисовершенными*» (ср.: Покровский, 1903а, прилож., с. 102); необходимо подчеркнуть, что и прочие эпитеты в этом перечне могут считаться в большей или меньшей степени характерными для «щегольского наречия» (ср. в этой связи специально об эпитетах *безподобный* и *милый* в примеч. 75 и 221). Не менее показательна форма *наипревосходнейший* в речи Петиметра в «Разговоре Сократа с петиметром. . .» (Брусильов, 1903, I, с. 16). Относительно полонизмов в «новом слого» см. выше, с. 437, примеч. 96; ср. также ниже, с. 547, примеч. 221.

⁵⁷ *чуху городить*. *Чуха* — просторечи. «вздор, чепуха». Для речи Меркурия характерны вообще специфические коллоквиализмы.

⁵⁸ *Вельшским красавицам, ведьмам* — см. выше, примеч. 4.

⁵⁹ *Там наслушаешься песней* — форма *песней* род. падежа мн. числа (ср. еще такую же форму ниже, на с. 476, 480) не может считаться коллоквиализмом: она достаточно обычна в литературном языке XVIII — нач. XIX вв.; см. материал у С. П. Обнорского (II, с. 186–187).

⁶⁰ *сын Перуна*. Боян отождествляет Перуна и Зевса по функции громовержца, присущей как тому, так и другому. Ср. затем обращение его к Тору, выполняющему соответствующую роль в скандинавской мифологии (с. 472).

⁶¹ *пансионов*. Боян заимствует это слово из языка Галлорусса (ср. выше примеч. 43), употребляя его как «чужое слово».

⁶² *Секванских* — «сенских» (от *Секвана* — «Сена»).

⁶³ *преизящныя тайны*. Слово *изящный*, по-видимому, употреблено Бояном в новом смысле, относящемся специально к интеллектуальной и эстетической сфере (ср.: *изящные искусства, науки* и т. п.); ср. подобное употребление и ниже (см. примеч. 212 и 240). Ранее это слово обозначало вообще: «превосходный, отличный, изрядный, отменно хороший» (только такое значение показано в «Словаре Академии Российской»). См.: Виноградов, 1966; Хютль-Ворт, 1956, с. 109–111; Веселитский, 1972, с. 164–165. Новое значение слова *изящный* связано прежде всего с Карамзиным и соответствующим литературным направлением (Виноградов, 1966, с. 440–442); не исключено влияние фр. *élégant* (см.: Веселитский, 1972, с. 165–166). Ср. в этой связи примечание Н. Струйского: «Слово *Изьящность* или *Изьящность* от многих приемлется; но у Г. Петиметров, оно есть самое модное и любимое их речение» (авторское примеч. к строке: «Какая пышность в них; изящность! высота», стих. «Наставление хотящим быти петиметрами» — Струйский, I, с. 187). Относительно стилистики данного слова в XX в. см.: Чернышев, 1914, с. 76,

с цитатой из «Биржевых ведомостей» от 6 декабря 1908 г. (№ 10848): «<...> стилизованная манерность, в которой я хочу подчеркнуть скорее изящность, чем изысканность <...>. Ведь герой именно Жан, а не Жан»; по всей видимости, здесь обыгрывается стилизованное, манерное произношение данного слова (с элементами иноязычной фонетики), которое, в свою очередь, может указывать на то, что это слово было принято в свое время в щегольской речи. Вместе с тем, то обстоятельство, что соответствующее значение данного слова выступает в специально архаизированной речи Бояна, с очевидностью указывает на то, что Бобров не воспринимает уже это значение как новое; это, в свою очередь, может служить косвенным подтверждением вывода Биржаковой, Войновой и Кутиной (1972, с. 307, примеч. 178), что употребление такого рода было принято еще и в новиковском кругу.

⁶⁴ любезная простота вдыхаемая природою была... управляющею душою; — вот был наш вкус, и кажется, довел нашему песнопению, ср. ниже упоминание «вкуса» в призыве бобровского Ломоносова: «Докажи же мне <...> вкус и доброту своей словесности!» (ср. примеч. 124). В отличие от Шишкова (см. выше примеч. 46), Бобров не отвергает понятие «вкуса», но противопоставляет «новому вкусу» (ср. это выражение ниже, см. примеч. 216) — подлинный вкус, зиждущийся на «коренных основаниях языка» и на осознании органических законов его развития (ср. в этой связи примеч. 2, 37, 163, 252, 254). Термин вкус, таким образом, хотя и соответствует фразеологии карамзинистов, понимается существенно отличным от них образом, а именно как дух языка (о понимании этого термина карамзинистами см.: Левин, 1964, с. 124–126). Соответственно, в предисловии к «Херсониде» Бобров ратует за «точный национальный вкус» и упрекает тех, кто пренебрегает «драгоценным вкусом нашей древности, по крайней мере вырывающимся из под развалин старобытных песен, или народных повестей и особенных поговорок» (см.: Бобров, 1804, с. 12–13); закономерным следствием отсюда является пристальное внимание и интерес Боброва к народной поэзии (ср. в этой связи примеч. 161). Тем самым, «вкус» выступает у Боброва как явление Природы, а не Культуры: если Карамзин, говоря о вкусе, ориентируется на просвещенное употребление, то Бобров ориентируется на проникновение в Гений языка и нации (ср. упоминание «гениев России» в полном заглавии его собрания: «Рассвет полночи...», I–IV), т. е. на нечто идеальное и по существу своему противостоящее реальному употреблению (в том же предисловии к «Херсониде» Бобров писал, что «употребление, равно как и приученный к чемунибудь слух, подобен тирану», см. с. 10 цит. изд.). Позиция Боброва, таким образом, хорошо выражается словами поэта из «Санкт-Петербургского Меркурия» (1793, IV, с. 45) — А. И. Бухарского:

Вкус древний — ближе быть к природе;
Вкус новый — дале быть от ней.

Вместе с тем, если для Карамзина вкус прежде всего есть нечто «неизъяснимое для ума» (см.: Карамзин, 1819, с. 10), т. е. нечто прямо противоположное просветительскому рационализму XVIII в. (ср.: Попов,

1974, с. 121), то позиция Боброва не теряет связи с рационалистической эстетикой (ср. ниже, примеч. 144; об отношении Боброва к просветительской традиции см. специально на с. 344–347 наст. изд.).

⁶⁵ «столь» добавлено позднее над строкой.

⁶⁶ к *большому свету* — «галлорусское» выражение, калька с фр. *le grand monde*.

⁶⁷ «сколь» написано по подтертому (вероятно, было слово «но») — теми же чернилами, что и слово «столь».

⁶⁸ дивными и очаровательными. Замечательно, что слово *очаровательный* Боян употребляет в новом — положительном — смысле. Так же затем будет употреблять его и Ломоносов (см. ниже, примеч. 109). Ранее это слово имело безусловно отрицательное значение и связывалось со злым, колдовским началом. Новое значение появляется во второй пол. XVIII в. и отражает, видимо, связь значений фр. *charmer*: 1) колдовать, 2) пленить, обольстить. См.: Хютль-Ворт, 1963, с. 145; Хютль-Ворт, 1974, с. 35, Хютль-Ворт, 1956, с. 144–145. Ср. ниже, примеч. 111.

⁶⁹ Бобров в конце жизни собирался перевести Оссиана (см. его письмо к С. А. Селивановскому от 2 октября 1806 г. — Письма русских писателей... , 1980, с. 400–401), но не успел выполнить свое намерение.

⁷⁰ ложная блистательность — ср. выше примеч. 50.

⁷¹ *патетически* — ср. фр. *pathétiquement*. Выражение *писать патетически* в «галлорусском наречии» соответствует выражению *писать страстным слогом* в языке Бояна. Любопытно, что и Тредиаковский передавал в своих переводах фр. *pathétique* через *пристрастное* (но также и *сладостное, умиленное* — см. переведенное им: «Сокращение философии канцлера Бакона» (1760), ср.: Виноградов, 1938, с. 151). Слово *патетический* проникает в русский язык лишь во второй пол. XVIII в.: см. в «Собрании новостей» за ноябрь 1775 г. «Артикулы из Энциклопедии кои предлагаются для перевода на российский язык», где предлагается соответствие «*Pathétique* — Пафетичный» (с. 99); ср. в «Корифее» Галинковского (1803, ч. I, кн. 2, с. 18): «*pathétique* — патетический, страстный, нежный, умиленный, привлекающий, трогаящий, чувствительный» (ср. в этой связи название сборника Стерна в переводе Галинковского: «Красоты Стерна, или Собрание лучших его ПАТЕТИЧЕСКИХ повестей <...> Для чувствительных сердец», М., 1801). Точно так же М. Н. Муравьев в «Рассуждении о различии слогов...» (1783, с. 17) говорит о «трогающем или патетическом слогом». Следует иметь в виду, что эпитет *патетический* ассоциировался с карамзинизмом: Карамзина называли «патетическим» писателем и П. Шаликов писал в статье «О слогам г-на Карамзина» («Аглая», 1808, ч. II, кн. 2) о «трогательной, неизъяснимой, очаровательной прелести слога, называемого ПАТЕТИЧЕСКИМ, прелести, которая царствует в сочинениях г-на Карамзина» (см.: Левин, 1964, с. 239–240, примеч. 267). Для дальнейшей истории этого слова см.: Сорокин, 1965, с. 123; тем более характерно, что,

готовя текст «Писем русского путешественника» для издания 1814 г., Карамзин заменяет *патетический* на *пышный* (см.: Сиповский, 1899, с. 230).

⁷² *паксионат ... этикетат ... в большом свете* — «галлорусские» выражения, см. о них выше, примеч. 43, 44, 66.

⁷³ *Вельшских фурий* — см. выше, примеч. 4.

⁷⁴ В рукописи, возможно, было «избавь», но ь — стерся.

⁷⁵ *до безконечности* — это выражение, представляющее собой кальку с фр. à l'infini, по всей вероятности, ассоциировалось с жаргонным петиметром; характерно, что Галлорусс употребляет его и ниже (см. примеч. 112). Ср. в новиковском «Живописце» (1772, ч. I, лл. 4, 9, 10) последовательное обыгрывание слов *беспримерный* (*беспримерно*), *бесподобный* (*бесподобно*) как типичных слов «щегольского наречия» (см.: Берков, 1951, с. 292, 294, 311–313, 315–319); аналогичные формы (*беспримерно*, *бесприкладно*) постоянно употребляют и щеголихи в комедии Екатерины «Именины госпожи Варчалкиной» (см.: Покровский, 1903, прилож., с. 31–35); ср. цитированное выше заявление Боттин в «Переписке моды» Н. И. Страхова, что петиметры называют их *бесподобными*, *беспримерными* (см. полную цитату выше в примеч. 56): наконец, и Н. П. Николев в предисловии к пьесе «Розана и Любим» (1781, fol. A.) заявляет, что его герои «не говоря: *увь*, *бесподобно*, *беспримерно*, *обожая* и проч., говорят обыкновенно, но просто». Вместе с тем, в «Живописце» аналогичным образом трактуются и выражения типа *до безумия*, *до смерти* и т. п. (см.: Берков, 1951, с. 294, 312–313, 317). — Весьма показательна реакция Тредиаковского на употребление выражений такого рода в применении к простым, а не сакральным материям. Г. Теплов писал о Тредиаковском, что «по его мозгу никакого из сих слов прилагательных употребить нельзя: *совершенный*, *безконечный*, *безпредельный*, *безчисленный*, *безмерный*, хотя бы такие слова к хлебу, к пище, к народу, ко вкусу и пр. приложены были. Тотчас скажет, когда *безчисленный*, тогда *неограничаемый*, а когда *неограничаемый*, то *безначальный*, а когда *безначальный*, то *всесовершенный*, а когда *всесовершенный*, то *самобытный* и прочее. И после таковых глупостей софистических восклицает как бешенный: О, безбожное утверждение!» (см.: Пекарский, II, с. 190); ср. в этой связи ниже, примеч. 149.

⁷⁶ *очень упряма, чтоб* — ср. выше, примеч. 38.

⁷⁷ *оставить* — этот глагол выступает здесь как семантическая калька с фр. laisser.

⁷⁸ *закоренелыя* — этот эпитет у Галлорусса соотносится, по всей видимости, с характерной для Боброва (как и для ряда других авторов второй пол. XVIII — нач. XIX вв.) апелляцией к «коренному основанию языка» — «коренному, матернему Славенскому языку» и т. п. См. примеч. 2, 163, а также вступительную статью к данной публикации (с. 371–372 наст. изд.).

⁷⁹ *пустяки* — в этом контексте, по-видимому, семантическая калька с фр. futilités или, возможно, bagatelles; соответственно выражение *оставить пустяки* может рассматриваться как калька с фр. laisser futilités или laisser bagatelles. Отметим, что слово *пустяки* неоднократно употребляет Петиметр в «Разговоре Сократа с петиметром...» Н. П. Брусилова (Брусилов, 1803, I, с. 2, 4). Ср. в этой связи примеры употребления слов futilité, futilités в русских текстах сер. XIX в., приводимые в «Словаре иноязычных выражений и слов» А. М. Бабкина и В. В. Шендецова (I, с. 543). Что касается слова bagatelle, то оно, видимо, было характерно для «щегольского наречия» второй пол. XVIII в. См., например, речь Ветромаха в комедии Княжнина «Чудаки», см.: Княжнин, 1961, с. 476, 551; речь Минодоры в комедии Сумарокова «Мать совместница дочери» (акт II, явл. 5); ср. еще в речи щеголей слово *безделица* как семантическую кальку с bagatelle, например, в макаронической манерной речи, воспроизводимой в «Русских сказках» М. Чулкова (1766–1768, с. 112; ср.: Сиповский, I, вып. 1, с. 203–204): «Мафуа! Дьябль! Аманта моя сделала мне энфедилитацию. Безделица! Бон есперанс у мея в кармане <... >», а также упоминание «безделок моих» в стилизованном монологе Щеголихи в «Живописце» (1772, ч. I, л. 4, ср. изд.: Берков, 1951, с. 292); ср. в этой же связи и названия сборников Карамзина и Дмитриева 90-х гг. — «Мои безделки» и «И мои безделки». Ср. в письме Карамзина к Дмитриеву от 21 января 1797 г.: «Стихи твои очень хороши; <... > Вот мои БЕЗДЕЛЬНЫЕ примечания <... >» (Карамзин, 1866, с. 73).

Характерно переосмысление этого слова в мещанской речи, поддельвающейся под светский жаргон, ср. речь купца в очерке А. А. Бестужева-Марлинского «Новый русский язык»: «Вот, батюшка, была в двенадцатом-то году кампания, так уж кампания-с! Уж много сказать, что БОГАТЕЛЬ» (см. изд.: Марлинский, XII, с. 69–72; Виноградов, 1938, с. 214).

⁸⁰ *нововеров*. Слово *нововер* — окказионализм, образованный Бояном по аналогии со словом *старовер*, непосредственно перед тем употребленным Галлоруссом.

⁸¹ *галлизированных насекомых*. Слово *галлизированный* — явный европеизм (ср. примеч. 83 и 250). Вместе с тем, и форма *насекомое*, как и *насекомое*, представляет собой кальку с insectum. Дублетные формы обусловлены разной трактовкой префикса -in, который может иметь негативное значение (*не сечь*) и значение места (*сечь на*, ср. *насечка*, *насекать*), ср.: Унбегаун, 1969, с. 47. Иногда утверждают, что форму *насекомое* изобрел Бобров (см.: Мазаев, 1895, с. 61). Это неверно, поскольку данная форма встречается уже с 20-х гг. XVIII в., см. примеры у Биржаковой, Войновой, Кутиной, 1972, с. 309–310, а также у В. И. Чернышева, 1928, с. 26. Как бы то ни было, Боян явно использует калькированную форму (что, впрочем, в принципе может быть истолковано как специальный с его стороны прием: ср. цсл. *гады*). Ср. правку «Писем русского путешественника» Карамзина для издания 1797 г.: *имсектах* — *насекомых* (Сиповский, 1899, с. 176).

⁸² *изчадий отечества*. Выражение *изчады отечества* явно противостоит хорошо известному выражению *сын отечества* (выступающему как синоним к слову *патриот*), представляя собой, собственно, перефразировку этого выражения в устах Бояна. (Относительно выражения *сын отечества* см., например, у Веселитского, 1972, с. 137–139; добавим, что по своему происхождению оно восходит к выражению *Отец отечества* как наименованию русских императоров.) Правда, выражение *сын отечества* зафиксировано в письменных источниках несколько раньше, чем *Отец отечества*: первое выражение отмечается в 1716 г. в «Рассуждении» Шафирова, второе — в 1721 г. при праздновании Ништадского мира. Нет никаких сомнений, однако, что исходным является выражение *Отец отечества* как калька с *pater patriae*. Употребление выражения *сын отечества* уже в 1716 г. может рассматриваться как косвенное свидетельство Петра принять титул римских императоров.

⁸³ *славянирует* — морфологический германизм (ср. *slavonieren*). Ср. примеч. 250, а также примеч. 81. Ср. у Гнедича в письме к Батюшкову от 21 марта 1811 г. в сходном значении глагол *ославяниться*: «Я лет десять стараюсь *ославяниться*, т. е. вникаю в свойства, красоты и богатства славянского языка, но еще весьма далек, хотя ты и льстишь мне, от цели моих желаний» (см.: Гнедич, 1974, с. 89; курсив оригинала).

⁸⁴ *Прокоповича ... Кантемира ... Ломоносова*. Ср. у Макарова в его критике на книгу Шишкова: «Должно ли винить Феофана, Кантемира и Ломоносова, что они первые удалились от своих предшественников» («Московский Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь, с. 163). Эти имена упоминает выше и Боян, перечисляя авторов, в языке которых он ощутил «многую перемену».

⁸⁵ *феномен* — типичный европеизм. Регулярным русским соответствием к этому слову выступает явление. См. материал по употреблению данного слова у Биржаковой, Войновой, Кутиной (1972, с. 152, также с. 225, 294). Ср. ниже ироническое обыгрывание этого слова в речи Меркурия (см. примеч. 281).

⁸⁶ *Он много начитан* — Эта фраза, по всей видимости, ни что иное, как точная калька с фр. *il a beaucoup lu*, то есть слово *начитан* выступает здесь не как прилагательное (адъективация соответствующего причастия вообще происходит позже), а как причастная форма, которая не имеет при этом значения страдательного залога, но используется для выражения перфектности. Таким образом, и в этом случае Галлорусс передает русскими языковыми средствами грамматическое значение фр. перфекта (ср. выше, примеч. 18), но если обычно он использует для этого деепричастные формы, то здесь он пользуется формой страдательного причастия.

Г. Хютль-Ворт в письме от 26.III.1976 г. предполагает, что данная фраза может быть и калькой с нем. *Er ist belesen*.

Ср. вместе с тем, о словах *начитанный*, *начитанность* как кальках с нем. *belesen*, *Belesenheit*: Виноградов, 1965, с. 104–106.

⁸⁷ *довольно силен, чтоб* — ср. выше примеч. 38.

⁸⁸ в нем ... *найдешь* — глагол *находить* довольно регулярно выступает у Галлорусса как семантическая калька с фр. *trouver* (ср. ниже примеч. 127, 146, 226). Ср. об этом глаголе в переводных конструкциях: Исаченко, 1974, с. 258.

⁸⁹ на средней точке — т. е. посреди, в центре. Вероятно, это калька с нем. *Mittelpunkt*, которая отмечается уже в первой пол. XVIII в. Ср. слово *средоточие* — впервые у Кантемира, который и явился, возможно, его создателем, определив это слово как «средняя точка, центр». Ср. также глагол *сосредоточить*, созданный, по-видимому, Карамзиным. См.: Веселитский, 1972, с. 141; Хютль-Ворт, 1956, с. 195; Хютль-Ворт, 1963, с. 135–136; Хютль-Ворт, 1974, с. 35; Виноградов, 1967а, с. 168–171.

Соответственно, Шишков нападает на этот глагол в «Рассуждении о старом и новом слоге» (1818, с. 177–178, 292, ср. также с. 434); между тем, «Северный вестник» (1804, ч. I, № 1, с. 26) его защищает: «для чего не сказать <...> *сосредоточить* мысли».

Характеристика промежуточной позиции Ломоносова как арбитра, «стоящего на средней точке» между Бояном и Галлоруссом, обусловлена, видимо, тем обстоятельством, что к авторитету Ломоносова могли апеллировать как «архаисты», так и «новаторы»: так, например, на Ломоносова ссылается как Шишков, так и Макаров, который считает его предшественником Карамзина (см. с. 352–353 наст. изд.). Точно так же, если Катенин видел в деятельности Ломоносова «приближение русского языка к славянскому», то А. А. Бестужев усматривал в ней, напротив, ограничение славянской стихии в русском литературном языке, и т. п. (см.: Левин, 1964, с. 118). Вместе с тем, выбор Бояна и Ломоносова перекликается с первым изданием «Пантеона российских авторов» Карамзина (1801 г.), который начинается Бояном и оканчивается Ломоносовым.

⁹⁰ *славной человек*. Это выражение двусмысленно, т. к. эпитет *славной* может означать как «известный», «знаменитый», так и «милый», как это свойственно прежде всего «щегольской» речи (см. примеч. 19, а также примеч. 53, 103).

⁹¹ при мне еще Музы унесли его в Елисейския беседки — Макаров родился в 1765 г., Ломоносов умер в 1766 г.

⁹² *зделали постель* — калька с фр. *faire le lit* или нем. *Bett machen*. Обороты с глаголом *сделать*, калькирующим фр. *faire* или нем. *machen*, характерны для «галлорусского наречия» (ср. ниже примеч. 145); ср. в разговорах петиметров второй пол. XVIII в.: «сделала distraction и <...> грусть», «сделает ей грубость палкою» и т. п. (из письма Щеголихи в «Живописце», 1772, ч. I, л. 9, см.: Берков, 1951, с. 312), «сделает компанию», «зделать партию» (из разговора Советницы в «Бригадире» Фонвизина, см. там же, с. 139–140, 192) и т. п.

⁹³ *опрокинуться на меня* — вероятно, калька с фр. *tomber sur*. Ср. пример, приводимый под этим словом в «Словаре Академии Российской»: *На вступъ былъ сердитъ, а на меня одного опрокинулся*. Ср., вместе с тем, *опровергать* — «возражать» (это значение фигурирует в «Словаре Академии Российской»).

Ср. отзыв Александра I о Сперанском, записанный Я. И. де-Сенгленом: «Здесь в Петербурге, можно почти сказать в целом государстве, Сперанский — предмет общей ненависти. Везде появляется желание ОПРОКИНУТЬ его учреждения. Следственно, и учреждение министерств есть тоже ошибка» (цит. по: Шильдер, 1897–1898, III, с. 366).

⁹⁴ *бютаз* — ср. фр. le but.

⁹⁵ *зделай, чтоб* — см. о подобных оборотах выше, примеч. 38. Характерно, что Меркурий оценивает это выражение как повеление, данное «французским манером».

⁹⁶ *французским манером* — европеизм в речи Меркурия (ср.: à la manière française).

⁹⁷ *зделай.., чтоб* — см. выше примеч. 38, 95.

⁹⁸ *положили его быть* — см. выше примеч. 52. Ср. близкую конструкцию во «Всякой всячине» 1769 г.: *Я тебя осуждаю быть пышным* (цит. в кн.: Спринчак, 1960, с. 143). Вопреки мнению Спринчака и К. Йордала (1973, с. 153), эта конструкция объясняется из французского, а не из греческого (см. рецензию А. В. Исаченко на цит. статью Йордала — «Russian Linguistics», 1974, vol. 1, № 2, с. 211).

⁹⁹ *странный Галлобесие*. Компонент *-бесие* выступает как продуктивный словообразовательный элемент в языке XIX в. (показателен, между прочим, окказионализм *чтеньбесие* в письме Пушкина к брату от 27 марта 1825 г.). Активизации его способствовали французские слова на *-manie*: формы на *-бесие* представляют собой результат каламбурного перевода фр. *-manie*, ср. греч. *-mania* (см.: Виноградов, 1948, с. 3–18; Виноградов полагает, что этот процесс начинается с 10–20-х гг. XIX в., но памфлет Боброва позволяет отодвинуть его к самому началу XIX в., если не к концу XVIII-го; перед нами, видимо, одно из первых образований такого рода). Таким образом *галлобесие* представляет собой своеобразную кальку с *gallomania* ~ *gallomanie* (ср. более позднюю кальку с этого слова — термин *франкобесие* у М. М. Стасюлевича, ср. еще *итальянобесие* у М. И. Глинки, см. Виноградов, 1948, с. 17 и 11). Между тем, слово *галломания* появляется, кажется, позже (см. ниже примеч. 104). Ср. в этой связи слово *славянобесие* в дневнике Герцена. (Виноградов, 1948, с. 11) и, с другой стороны, *славеномания* в письме Евгения Болховитинова Д. И. Хвостову от января 1815 г. (Сб. ОРЯС, т. V, вып. 1, СПб., 1868, с. 159); отметим также книгу Венелин, 1836. — Любопытно отметить, что задолго до того, как стали возможны галлицизмы этого типа, могли иметь место аналогичные грецизмы. Так, Юрий Крижанич, в главе «Ob szużebésiu» своего трактата «Политика» писал: «Ksenomanija Grékom, nam Szużebésie, iest bészenaia lyubów szúžich weśeý i paróðow» (Юрий Крижанич, 1965, с. 146), прямо указывая на греческую модель образованного им неологизма *чужебесие*.

Эпитет *странный* в выражении Бояна *странное галлобесие* объединяет старое и новое значение данного прилагательного: «чужой, иностранный» и «чуждой», «необычный».

¹⁰⁰ поставил его одесную — это выражение в речи Бояна представляет собой явный библеизм (см., например, Псалтырь, XLIV, 10, CVIII, 6, 31, Деяния, VII, 55 и др. примеры). Ср. другие библеизмы у Бояна (см. ниже примеч. 110, ср. также примеч. 34).

¹⁰¹ *Омира, Исиода* — показательно, что имена Гомера и Гесиода даются Бояном в восточном (рейхлиновом) произношении (ср. еще форму *Омир* на с. 471). Соответствующее произношение грецизмов ассоциировалось (начиная со второй четверти XVIII в.) по преимуществу с церковнославянским языком, см. об этом: Успенский, 1974, с. 19–20. Между тем, имя *Демосфен* Боян произносит менее последовательно (ожидалось бы *Димосфен*, ср. греч. Δημοσθενης).

¹⁰² *Пиндара ... Гюнтер*. Имена Пиндара, Малерба, Гюнтера могли ассоциироваться в сознании читателя с именем Ломоносова. Ср. известные стихи Сумарокова о Ломоносове (в «Эпистоле о стихотворстве» 1747 г.): «Он наших стран Мальгерб, он Пиндару подобен», ср. также в «Послании к Привете» А. А. Палицина, 1807 г.: «Есть Пиндар свой у нас, бессмертный Ломоносов» (Поэты 1790–1810-х годов, 1971, с. 747). Влияние Гюнтера на Ломоносова хорошо известно.

¹⁰³ *сего знаменитого мужа*. Выражение *сей знаменитый муж* применительно к Ломоносову, противостоит в речи Бояна выражению *этот славной человек*, употребленному Галлоруссом (см. выше, примеч. 90). Ср. в этой связи ремарку Батюшкова в письме к Гнедичу от 28–29 октября 1816 г. «В прозе исправь эпитет: *славный* Мерзляков; напиши *знаменитый*, если хочешь, или *добрый*» (см.: Батюшков, III, с. 408).

¹⁰⁴ *Галлобеса*. Слово *галлобес* представляет собой вторичное образование от *галлобесие* (ср. выше примеч. 99) и, вместе с тем, соотносится со словом *галломан*, ср. фр. *gallomane*, которое входит в широкое употребление, по-видимому, в 1812 г. [см. последнее слово в очерке Батюшкова «Прогулка по Москве», 1812 г., ср. также «пагубная *галломания*» в статье Каченовского того же времени («Вестник Европы», 1812, № 7, с. 217); пуристически настроенные противники галломани, как свидетельствует Вяземский в «Старой записной книжке», с легкой руки Сергея Глинки могли называть галломанов — *французолобцами*, впрочем, подобные образования встречаются и раньше, ср. *Франколюб* — персонаж комедии Д. И. Хвостова «Русский парижанец», *французолобцы* в названии книги Василия Левшина «Послание руссаго к французолобцам. Вмста подарка на новый 1807 год» (1807), ср., между тем, у самого Вяземского: «галлолюбие или французомания» (Вяземский, VIII, с. 163 и 487); ср. вместе с тем, выражение *славяноманы* в послании П. И. Шаликова «К В. Л. Пушкину» того же 1812-го года (см.: Поэты 1790–1810-х годов, 1971, с. 643), явно образованное под влиянием слова *галломан*]. Употребление слова *галлобес* в рассматриваемой сатире Боброва вносит некоторые коррективы в точку зрения В. В. Виноградова, который полагал, что слово *мракобес* представляет собой единственное вторичное образование от сложных слов на *бесие*, и делал отсюда вывод об отнесенности позднем (по сравнению с *мракобесие*) возникновении этого

слова: «очевидно, оно возникло тогда, когда все другие сложные слова на *-бесие* уже были утрачены, вымерли, или, во всяком случае, уже выветривались. Иначе естественно было бы ожидать таких образований, как *стихобес*, *кнутобес*, *славянобес*, *московбес* и т. п. Только к слову *мракобесие* <...> было создано соответствующее обозначение лица» (Виноградов, 1948, с. 17).

¹⁰⁵ не проронит, что надобно. Употребление глагола *проронить* соответствует следующей дефиниции в «Словаре Академии Российской»: «пропустить, не досмотреть, не воспользоваться чем: *проронить в щель* <...> *проронил случай*». Возможно, это коллоквиализм, что, как уже говорилось, вообще характерно для речи Меркурия.

¹⁰⁶ взяв арфу. Слово *арфа* в авторской речи соответствует выражению *сквозные гусли* в речи Галлорусса, см. выше, примеч. 10. Ср. выше слово *арфистка* в устах бобровского Ломоносова (с. 481 наст. изд.).

¹⁰⁷ *Галлорусс* приходит в ... изумление. Это выражение противостоит выражению *приходит в восхищение*, употребленному непосредственно перед тем при описании состояния Ломоносова. В отношении слова *изумление* ср. выше, примеч. 7. Что же касается слова *восхищение*, то любопытно отметить, что представленное здесь новое — собственно русское, а не церковнославянское — значение этого церковнославянизма («восторг» — ср. цсл. *восхищение* «похищение, кража»), возможно, отражает в конечном счете влияние европейских языков (ср. фр. *ravisement*: 1) «кража с насилием»; 2) перен. «энтузиазм»; см.: Хютль-Ворт, 1968, с. 15); характерно в этом плане употребление слов *восхищение*, *восхищаться* и т. п. в соответствующем значении в стилистически обыгранной речи петиметров в комедиях XVIII в. (например, в фонвизинском «Бригадире», см. Тихонравов, 1894, с. 146, 177, 178). Для семантической истории этого слова очень характерна правка сочинений М. Н. Муравьева Карамзиным, Батюшковым и Жуковским: в выражении *обавающая нас мечта* слово *обавающая* было исправлено сначала на *восхищающая*, а затем — на *обманывающая*, ср. также замену *восхищать* на *похитить* (хотя есть и обратная замена *восхититель* на *похититель*) (см.: Левин, 1965, с. 190, 188, 186).

¹⁰⁸ Он еще замысловат, изрядно выигрывает — по-видимому, это не специфические «галлорусские», а нормальные для рассматриваемой эпохи обороты. См. определения в «Словаре Академии Российской»: «замысловатой — о лице: способный на выдумки или изобретения», «выиграть — выражать песни или другое что на каком-либо мусикийском орудии <например> *выигрывают на рожках разные песни*».

^{108a} Какое слышу божественное согласие — слово *согласие* у Ломоносова выступает как эквивалент слова *гармония*, непосредственно перед тем употребленного в авторской речи. Здесь, возможно, присутствует некоторый стилистический нюанс, причем слово *гармония* выступает, по-видимому, как нейтральное. Позиция Боброва отличается в данном случае от позиции других пуристов, т. к. в начале XIX в. нередко слышатся протесты против слова *гармония* (см. прежде всего у Шишко-

ва в «Рассуждении...», (1818, с. 173), а также в «Послании к Привете» А. А. Палицына, ср. читается, приводимую ниже, в примеч. 126), причем в ряде случаев предлагается заменить слово *гармония* на *согласие* (см., например, в «Письме к издателю» Н. П. Брусилова — см.: Брусилов, 1805а, с. 141–142); М. И. Попов в предисловии к переводу (с французского) поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим» (ч. I, 1772, с. 12) указывает соответствие «*harmonie* — доброгласие». Отметим, что слово *гармония* регулярно передается через *согласие* уже в переводах Тредиаковского (см.: Хютль-Ворт, 1956, с. 192; Хютль-Ворт, 1966, с. 967; Виноградов, 1938, с. 151–152). Между тем, Карамзин, правя сочинения М. Н. Муравьева (для издания 1810 г.), напротив, заменяет *согласие* — *гармонией* (см.: Левин, 1965, с. 189), однако, правя текст своих «Писем русского путешественника» для издания 1803 г., Карамзин заменил фразу «... с другом гармонируем более, нежели» на «... с другом гораздо согласнее, нежели» (Сиповский, 1899, с. 216). Соответствие *согласие* — *harmonie* служит предметом специального обсуждения в «Цветнике», 1810, ч. 8, № 11, с. 252.

¹⁰⁹ очаровательная песнь. Эпитет *очаровательный* употребляется Ломоносовым так же, как и Бояном, — в новом значении. См. выше примеч. 68.

¹¹⁰ суди праведно. Это выражение в речи Бояна может быть расценено как библеизм (ср., в частности, Псалтырь, LXVI, 5; LXXI, 2; XCVII, 9; Деяния, XVII, 31; Апокалипсис, XIX, 11). Ср. выше, примеч. 100.

¹¹¹ прелести новаго. Слово *прелесть* в положительном значении было введено в литературный язык лишь во второй пол. XVIII в., главным образом карамзинистами (ср. старое значение этого слова, сохраняющееся в церковнославянском языке: «обман, заблуждение, соблазн»). Не исключено, что соответствующее употребление восходит к галлорусскому «щегольскому наречию» второй пол. XVIII в., поскольку изменение значений в словах *прелесть* — *прелестный*, *очарование* — *очаровательный*, *обаяние* — *обаятельный* и т. п. отражает, видимо, аналогичный семантический процесс в соответствующих французских лексемах (ср.: «французские ряды *charme, charmer, charmant, enchanter, enchantement* и т. д. подвергались тем же самым семантическим изменениям, как и русские слова, только значительно раньше, и в XVIII веке переносные значения заимствовались из французского в русский литературный язык» — Хютль-Ворт, 1963, с. 145, здесь же и об аналогичных семантических процессах в других европейских языках, которые объясняются из того же источника; см. также: Хютль-Ворт, 1974, с. 35; Хютль-Ворт, 1968, с. 14–15). Ср. в письме Щеголихи в «Живописце» (1772 г., ч. I, л. 9): «Твои листы вечно меня *прельщают*», где слово *прельщают* выделено в тексте как петиметрское (см.: Берков, 1951, с. 312); ср., с другой стороны, у Карамзина в посвящении к «Аглае» (1795, кн. II, с. 1): «Ничто не прельщает меня в свете» или в стихотворении «Простя» 1792 г.: «Не знатен я, не славен, — Могу ль кого прельстить» и т. п. (см.: Карамзин, 1966, с. 135, 113). Ср. еще слово *прелестный* в стилизованном разговоре петиметров в «Чудаках» Княжнина (Княж-

нин, 1961, с. 456, 459). — Характерно, между тем, что Шишков в своем «Рассуждении...» (1818, с. 277–278, ср. еще с. 193), различая два значения данного слова — старое и новое, — считает уже основным значением новое, т. е. собственно русское, а не церковнославянское. Точно так же и в «Проществии в царстве теней» Боброва употребление слова *прелесть* в положительном значении свойственно не только Галлоруссу, но и другим персонажам. Ср. ниже, примеч. 172, а также примеч. 68. Ср. еще с. 398 наст. изд.

¹¹² до бесконечности — см. выше, примеч. 75.

¹¹³ Не думайте, чтоб я хотел — см. выше, примеч. 38.

¹¹⁴ *жснероз* — ср. фр. *généreux*. Заимствование петровского времени, ср. в письме А. П. Волынского П. П. Шафирову около 1718 г.: «к чему он <и> на словах все *жснерозы*» (см.: Петровский сборник, 1872, с. 155; ср. встречающееся в этот же период *жснерозитэ*, см. о нем: Смирнов, 1910а, с. 114). В XVIII в. это слово характерно прежде всего для «щегольской» речи. Соответственно, Курганов упоминает *жснероз* в числе тех слов, которые он сознательно не включил в словарь, поскольку нет нужды их употреблять (см.: Курганов, 1790, ч. II, с. 276); тем не менее, в словаре «Письмовника» находим: «*жснероз*, податлив, щедр, великодушен» (там же, с. 233). Ср. еще слово *жснерозство* в речи Канцеляриста из комедии Лукина «Мот любовью исправленной» (см.: Лукин, I, с. 142).

¹¹⁵ *далек от* — калька с фр. *loin de*. Ср. ниже, примеч. 127.

¹¹⁶ *слишком далек ... чтоб* — см. выше примеч. 38. Еще в середине XIX в. подобные конструкции могут восприниматься как чуждые русскому языку (см. у Л. А. Булаховского, 1954, с. 271). Так именно и расценивает их бобровский Ломоносов, который высмеивает соответствующее выражение (см. примеч. 123 и 142). Ср. у Греча: «Союзы *слишком, чтоб* <имеется в виду сложный союз: *слишком ... чтоб*>, не могут быть употреблены в хорошем, правильном слоге. Например: *Он слишком благоразумен, чтоб согласиться на ваше предложение*. Это оборот французский: *Il est trop prudent pour accepter votre proposition*. По-русски можно выразить так: *Он так благоразумен, что не согласится на ваше предложение*» (см.: Греч, 1840, ч. II, с. 313).

¹¹⁷ *заниматься* — в этом контексте, по-видимому, семантическая калька с фр. *s'occuper*.

¹¹⁸ берет место — калька с фр. *prendre place*.

¹¹⁹ Ветошка, — всё ветошка. *Ветошка* — «ветхое, изношенное белье». Это слово достаточно обычно в разговорной речи как XVIII, так и XIX в. и таким образом не может считаться специфическим для речи Галлорусса.

¹²⁰ *без того ... что б* — см. выше, примеч. 38.

¹²¹ сказано добраго. Первоначально стояло: *добраго сказано*. Писавший переставил слова, обозначив их порядок проставленными над ними цифрами.

¹²² у *Адама Адамыча* — имеется в виду Вральман, персонаж фон-визинского «Недоросля».

¹²³ *без того не решился, чтоб; — очень далек от того, чтоб* — см. примеч. 116, 120.

¹²⁴ Докажи же мне ... вкус и доброту своей словесности — ср. выше примеч. 64.

¹²⁵ разтрогал — глаголы *тронуть, разтрогать* и т. п. в значении «привести в чувство» представляют собой семантическую кальку с фр. *toucher*, как это отмечал еще Тредиаковский в своем памфлете на Сумарокова 1750 г. («*Тронуть* <...> вместо *привести в жалость* за Французское *toucher*, толь странно и смешно...» и т. п.); однако Сумароков, отвечая Тредиаковскому, уже тогда утверждал, что «*тронуть сердце* вместо *привести в жалость*, говорит весь свет» (В. К. Тредиаковский, «Письмо от приятеля к приятелю» — см.: Куник, 1865, с. 476; А. Н. Сумароков, «Ответ на критику» — Сумароков, X, с. 98; см.: Веселитский, 1972, с. 146–147, ср. еще Хютль-Ворт, 1956, с. 201–202); слово *тронул* как семантическая калька характерно для Карамзина, ср. в письме к Дмитриеву от 8.XI.1794 г. «Смерть Катерины Яковлевны [жены Державина] меня очень тронула» (Карамзин, 1866, с. 52). Полемику, относящуюся к словам *тронуть, трогательно, трогательный* возобновил Шишков («Рассуждение...», с. 200–202, 143); ему возражал в своей рецензии Макаров, который находил обсуждаемые Шишковым примеры неуместными. Вполне закономерно поэтому, что Галлорусс употребляет этот глагол в соответствующем значении. Ср. в этой связи примеч. 166 относительно слова *трогательный*. Карамзинистское употребление этого глагола высмеял Шаховской в комедии «Новый Стерн» 1805 г. (см.: А. А. Шаховской, Комедии, Стихотворения, Л., 1961, с. 744), а также П. А. Оленин в своей пародии на Карамзина 1809 г. (см.: Альтшуллер, 1975, с. 163).

¹²⁶ *жсени* — одно из типичных «галлорусских» слов (ср. фр. *génie*). Галлорусс употребляет его и в дальнейшем (ср. примеч. 184, 221, 244), что высмеивается Ломоносовым (см. примеч. 188). Слово *жсени* в галлорусском наречии» противостоит слову *гений*, неоднократно употребляемому бобровским Ломоносовым (см. примеч. 139, 192, 202, 211, 217, 258). Таким образом *гений* фактически признается РУССКИМ словом, т. е. элементом русского литературного языка (это слово фигурирует и в полном названии сборника Боброва «Рассвет полночи» 1804 г. и вообще может считаться достаточно характерным для Боброва; ср., однако, протест Шишкова против данного слова в «Рассуждении...», с. 160); противопоставление правильного и неправильного строится в данном случае не по принципу «исконное русское — заимствованное», а по принципу «французское — нейтральное». Иначе говоря, несмотря на декларативные заявления о борьбе с иноязычным влиянием, некоторые европеизмы фактически не воспринимаются как таковые: более важно на самом деле не происхождение слова, а его функционирование. Не исключено, что это отражает немецкую языковую ситуацию (ср. с. 362–363

наст. изд.) и что само противопоставление соответствующих форм пришло из немецкого языка.

Для характеристики семантики слова *жени* ср., между прочим, следующие слова Вольтера, опубликованные в «Северном вестнике» (1804, ч. I, №3, с. 307–308): «Римляне, к выражению редких дарований, употребляли не слово *Genius*, так как Французы сие делают, но *ingenium*. Французы без разбору употребляют слово *Гений* (*génie*), говорят ли о духе, имевшем под своим охранением какой-нибудь древний город, или о машинисте, либо музыканте». Следует отметить, однако, что и слово *гений* фактически может отражать семантику именно *génie*, а не *genius*; соответственно, и *жени* и *гений* могут употребляться как применительно к обозначению духа или абстрактного свойства, так и при обозначении конкретного лица. В «Новом словотолкователе, расположенном по алфавиту, содержащем разные в российском языке встречающиеся иностранные речения и технические термины» Н. Яновского указывается, что слово *жени* соответствует слову *гений* в его значении: «природное остроумие, высочайший дар природы, дающий разуму самую величайшую проницательность и деятельность; талант соображать идеи новым, великим и поражающим образом, от коего душа получает способность чувствовать и изображать живо силу различных предметов». Яновский отмечает, что *гений* в этом значении «у Французов называется *жени*», при том, что *гений* может иметь еще и другое значение, отличное от *жени*, а именно обозначать духа-охранителя (1803–1806, I, с. 566 и 779). Значение слов *жени* и *гений* в известной степени отразилось, видимо, на употреблении слова *дух*, которое соотносится прежде всего с фр. *esprit*, но, вместе с тем, и с *génie* (о других русских соответствиях этого слова см.: Хютль-Ворт, 1971–1972, с. 372).

Во второй пол. XVIII в. слово *жени* может проникать в русский литературный язык двумя путями — из разговорного языка салонов и, вместе с тем, под влиянием языка штурмеров. Первое упоминание о данном слове дается у Сумарокова в статье «О истреблении чужих слов из русского языка» («Трудолюбивая пчела», 1759, январь): Сумароков высмеивает здесь тех, кто употребляет, наряду с другими варваризмами, *жени* вместо *остроумие* (следует иметь в виду, что слово *остроумие* могло означать тогда «проницательный ум», «талант» и т. п.); по-видимому, это было характерно для «щегольского наречия» того времени. Позднее слово *жени* становится очень характерным для Карамзина и его окружения, причем здесь может быть усмотрена прямая связь с языком и идеологией штурмерства (слово *génie* в языке немецких штурмеров приобрело специфическое значение «гения» в предромантическом смысле; ср. здесь, в частности, *Kraftgenie* — «бурный гений», *Originalgenie* — «истинный поэт», *Geniezeit* — «период бури и натиска», и т. п.). См. в письмах А. А. Петрова к Карамзину: «Будучи великой *Жени* [выделено Петровым. — Ю. Л., Б. У.], ты столько превознесся над малостями, что в трех строках сделал пять ошибок против немецкого языка» (письмо от 11 июня 1785 г.); если здесь можно усмотреть ироническое обыгрывание данного слова, то оно относится не к самому слову как таковому, а к его написанию: в других случаях Петров пишет это слово непосредственно

по-французски. Ср.: «Грешно сравнивать натуру *Genie* с педантскими подражаниями, с натянутыми подделками низких умов <... > Говорят, что Шакеспер [Карамзин исправил эту форму на *Шакеспир* — Ю. Л., Б. У.] был величайший *Genie*; но я не знаю, для чего его трагедии не так мне нравятся, как Эмилия Галлоти» (письмо от 1 августа 1787 г.). (См. архив бр. Тургеневых в Пушкинском доме, ед. хр. №124, лл. 288, 292, 292 об., ср. не вполне исправную публикацию этих писем в «Русском архиве», 1863, №5–6; следует отметить, что письма Петрова после его смерти были подвергнуты Карамзиным в рукописи как смысловой, так отчасти и стилистической правке, однако слова *жени* ~ *genie* исправлены при этом не были). Аналогично в письме Карамзина к Дмитриеву от 14 июня 1792 г. можно встретить следующий отзыв (о Коцебу): «Он имеет *жени*, дух и силу» (см.: Карамзин, 1866, с. 26, курсив оригинала); в письмах этого времени Карамзин употребляет и слово *гений*, но в другом значении (ср. «поручаю тебя твоему Гению», «сколько часов в день посвящаешь Гению поэзии?» в письмах к Дмитриеву от 17 февраля 1793 г. и 6 августа 1796 г.; там же, с. 34 и 68). Ср. еще в «Опыте о стихотворстве», написанном, возможно, В. Подшиваловым: «Тщетно будут употребляемы все сии наружные части к строению целого, когда недостает врожденной способности (*genie*), ибо сие-то есть душа, дух, которой оживляет целое творение» (1791, с. 299). Ср., между тем, ироническое использование этого слова у Н. А. Львова в примечаниях к «богатырской песни» «Добрыне» (1796 г.); говоря о инородном происхождении таких произведений, ассоциируемых с русским языком и русской народной культурой, как «Бова» и т. п. Львов пишет здесь: «Франц и королева Ренцывена — венецианский роман, при царе Алексее Михайловиче переведенный; после складов и я его переписывал и помню, что в нем есть *Жени-дух* и *Старец Пилигрим*» (см.: Поэты XVIII века, II, 1972, с. 230); сам Львов взывает в «Добрыне» к «русскому духу».

Показательно, что именно Карамзин попытался ввести слово *жени* в литературный язык: см., в частности, в первом издании «Писем русского путешественника» («Московский журнал», 1791, ч. II, кн. 3, с. 312): «Он говорил о великом духе или о *жени*. «*Жени*, сказал он, не может заниматься ничем, кроме важного и великого — кроме натуры и человека в целом». Не менее примечательно, вместе с тем, что уже в следующем издании «Писем...» в 1797 г. Карамзин заменяет эту форму на *гений* (см. изд. 1797 г., ч. II, с. 41). Тем не менее, слово *жени* оставалось в обиходе карамзинистов. Оно неоднократно встречается, между прочим, и в «Корифее» Я. Галинковского, причем в содержащемся здесь словаре дается специальное объяснение: «*Genie* — *жени*, гений, лично-особенное-дарование, дух великий, недостижимый, творец оригинальный, ум составленный из превосходнейших стихий совершенства смертного. Человек особенный, у которого свой образ видеть, чувствовать, мыслить и писать, человек небывалый; оставляю знатокам и любителям языка своего придумать на Русском сие слово, и сообщить оное, когда угодно будет в журнал» («Корифей, или Ключ литературы», ч. I, кн. 2, СПб., 1803, с. 15; ср.: Левин, 1964, с. 284); здесь же (ч. I, кн. 4, СПб., 1803, с. 58–59) помещена и специальная статья: «Анализ слова

жени, Г-на Зульцера». Ср. его же характеристику Стерна: «Он стоит на ряду с *Попем*, *Свифтом*, *Юмом*, *Томсоном* и другими — как *жени*, как превосходный писатель; но как сантиманталист, как *фиантрон* (человеколюбивый) — он первой, или лучше начальник своей секты» (Галинковский, 1801, с. II, курсив оригинала).

В «Послании к Привете» А. А. Палицына (1807 г.) *жени* названо среди тех слов, которые «вползли в российски письма» (см.: Поэты 1790–1810-х годов, 1971, с. 747):

Когда в российски письма
Вползло премножество (как черви или гады)
Моралей, Энергий, Фантомов, Гармоний,
Сцен, Форм, Идей и Фраз, Женй, Монотоний,
Меланхолий и всех подобных им Маний,
И портят наш язык прекрасный без пощады.

Ср. слово *мономотия* в речи Петиметра в «Разговоре Сократа с петиметром...» Н. П. Брусилова (Брусилев, 1803, I, с. 5). Против этого слова Брусилев возражает также в «Письме к издателю» (1805а, с. 141–142).

¹²⁷ *вы найдете нас очень далекими* в новой *методе изливать* красноречие чувств — эта фраза Галлорусса представляет собой неуклюжую комбинацию из разного рода фразеологических и синтаксических галлицизмов. Выражение *вы найдете нас... далекими* калькирует употребление глагола *trouver* в сочетании с прилагательным (ср. выше примеч. 88); вместе с тем, выражение *быть далеким*, представляя собой буквальную кальку с фр. *être loin de...* (это выражение уже употреблялось Галлоруссом выше, см. примеч. 115, а также 123), в данном контексте соответствует по смыслу скорее выражению *être avancé dans...*; можно полагать, таким образом, что оба выражения объединились в речи Галлорусса. *Метода изливать* калькирует сочетания типа *la méthode d'exprimer*.

¹²⁸ *мудрагелей* — слово *мудрагель* (как и *мудрогель*) в словарях не обнаружено.

¹²⁹ *Возьмите терпение* — калька с фр. *prendre patience*.

¹³⁰ *в духе петь* — ср. фр. *être en humeur à faire qch.* Ср. фразеологизм *быть не в духе* в современном языке (фр. *être en mauvaise humeur*).

¹³¹ *нарядно* — это слово может означать здесь «красиво», «кудряво», но может отчасти сохранять и старое значение: «фальшиво».

¹³² *импровизатор* — из ит. *improvvisatore*. Это слово зафиксировано в «Новом словотолкователе...» Н. Яновского (1803, ч. I, с. 820–821) со следующим определением: «Импровизаторы или *импровизанты*. В Италии называется так род площадных стихотворцев, которые одарены способностью говорить стихами, наскоро выдуманнми обо всех предметах важных, смешных, героических».

¹³³ *откроете печать чистаго вкуса* — буквальный перевод с французского. Ср.: *Vous y découvrirez l'empreinte du pur goût*. В статье

«Сравнение Сумарокова с Лафонтенем...» Шишков специально протестовал против употребления слов *печать* и *отпечаток* как семантической кальки с *empreinte*, в частности против выражения *носить отпечаток* в соответствии с *porter l'empreinte* (см.: Шишков, XII, с. 194–195). Относительно выражения *чистый вкус* ср. примеч. 24, 38а, 247, 255.

¹³⁴ *Мы ликуем славы звуки* и т. д. — отрывок из стихотворения Г. Р. Державина «Гром победы раздаваясь» (Две кадрили из двадцати четырех пар состоявшей), («Московский журнал», 1791, июнь, с. 284).

¹³⁵ *приятнее* — эпитет *приятный* как средство выражения эстетической оценки характерен, вообще говоря, для карамзинистов, где он выступает как синоним к слову *изящный* (см., например, Левин, 1964, с. 122–123; Веселитский, 1972, с. 165–166). Ср. известную карамзинскую характеристику новой русской литературы в «Пантеоне российских авторов» 1801 г.: «приятность слога, называемая Французами *élégance*». До этого подобное употребление было характерно для Сумарокова и его последователей и одновременно для петиметров XVIII в. (см. об этом на с. 382–384 наст. изд.). — В устах бобровского Ломоносова эпитет *приятный* звучит несколько неожиданно (он встречается здесь и в дальнейшем, ср. примеч. 141 и 228): соответствующее употребление может свидетельствовать в общем об освоении лексики «нового слога» в русском литературном языке. Ср. в этой связи примеч. 50 и 166, а также примеч. 64, 68, 111.

¹³⁶ *Он стал бы меня нежа* и т. д. — куплет из песни «Я птичкой быть желаю», см. изд.: «Молодчик с молодкою», СПб., 1790, № 23 или «Новый российский песенник...», 1791, ч. I, с. 9–10. Как модная песенка приводится в комедии Крылова «Пирог» (1799–1801), где вложена в уста сентиментальной барыни Ужимы (образ, содержащий черты антикарамзинской пародии): «УЖИМА: И я терзаюсь с вами! выслушайте, теперь очень кстати будет эта песенка: мы все в прекрасном расположении для сентиментальной музыки (начинает петь).

Я птичкой быть желаю,
Везде чтобы лет...»

(Крылов, II, с. 392). Ср. Перетц, 1895, с. 31; Перетц, 1900, с. 253–255. Вместе с тем, в 90-х гг. XVIII в. на эту песню написал пародию И. И. Дмитриев (см.: Дмитриев, 1796, с. 124: «Я москвой быть желаю...»). См.: Арзуманова, 1984, с. 218.

¹³⁷ *нежа, те жа, — достоен, спокоен... достоин, спокоин, строин*. Бобров вкладывает здесь в уста Ломоносова протест против заударного диссонанса; о развитии этого явления в русской рифме второй пол. XVIII в. см.: Западов, 1969. Что касается формы *достоен*, то еще Сумароков в свое время критиковал Ломоносова за употребление этой и тому подобных форм («О правописании» в изд.: Сумароков, X, с. 6). С позицией Боброва любопытно сопоставить противоположную позицию Н. П. Николева, который заявлял в своем «Рассуждении о стихотворстве российском» (1787, с. 39): «Я переменял иногда *е* в *и* и

ставил в рифму *хочит* с *порочит*, *достойн* с *покоюн*; что Г. Ломоносов и Г. Сумароков дельвали, не смотря на осуждения некоторых критиков, или лучше сказать самопроизвольных стражей имени для них бесполезного». В книге П. И. Соколова «Начальные основания Российской грамматики» (1788) в списке «погрешностей» (с. 148) дважды указывается: «напечатано достоенъ, читай достоинъ».

¹³⁸ лучше писать без рифм. Ср. выступление против рифмы и обоснование необходимости писать белыми стихами в предисловии Боброва к «Херсониде» (см.: Бобров, 1804, с. 7). Ср. ниже, примеч. 169. Относительно взглядов на белые стихи в XVIII в. см. специально: Губковский, 1927, с. 113–116, 142, 207–208.

¹³⁹ сохранить пользу Гения — слово *гений* в лексиконе Ломоносова противостоит слову *жени* в языке Галлорусса. См. выше, примеч. 126.

¹⁴⁰ *Внушитъ*, — значит точно, *внимать*, *слушать*, а не *объявить* или *возвестить*, как здесь употреблено. Здесь противопоставлены два значения глагола *внушитъ* — церковнославянское и собственно русское. В церковнославянском языке этот глагол означает «внимать, слышать» (Ср.: «Глаголы моя внуши, Господи», Псалтырь, V, 2). Это значение достаточно обычно и в русских поэтических текстах XVIII в., например в поэзии Ломоносова (см.: Трунев, 1949), ср. у Дмитриева в «Духовной песни, извлеченной из 48 псалма»: «Внуши, земля!»; его можно встретить еще у Жуковского (см. Г. О. Винокур, Русский литературный язык во второй половине XVIII века — Винокур, 1959, с. 145). Ср. замечание Кюхельбекера по поводу критики А. А. Бестужева на катенинский перевод трагедии Расина «Эсфирь»: «Бестужев не знает или не хочет знать, что *внуши* на славянском синоним глаголу *внемли*» (Кюхельбекер, 1929, с. 129). Вместе с тем, в русском языке развилось особое — каузативное — значение данного слова; оба значения показаны в «Словаре Академии Российской», причем первое значение не трактуется здесь как специфическое «славянское». Любопытно, что Бобров вообще не считает правомерным употребление данного глагола во втором значении в поэтических текстах, хотя и признает, что фактически он «в таком <...> ложном понятии у многих употребляется»; между тем, уже у Пушкина рассматриваемый глагол встречается исключительно в этом втором значении (см.: Сл. языка Пушкина, I, с. 310–311).

¹⁴¹ блистательна и приятна (о мысли) — эти эпитеты отражают, по-видимому, фразеологию «нового слога», свидетельствуя в общем об усвоении карамзинистской лексики в русском литературном языке. Ср. выше примеч. 46 и 124, а также примеч. 228, 166.

¹⁴² Слова: *Дух век будет спокоен его лишь обожать*, — похожи почти на твою, Галлорусс, милую поговорку, напр. *очень далеко от того, чтоб заниматься* и пр. Бобровский Ломоносов усматривает в разбираемом стихе синтаксический галлицизм, имея в виду сочетание прилагательного с инфинитивом. Относительно цитиру-

емого им выражения Галлорусса см. примеч. 116 и 117. В отношении слова *милый* ср. примеч. 221.

¹⁴³ Душу, что во мне питало — отрывок из «Песни» Ю. Нелединского-Мелецкого («Московский журнал», 1792, декабрь, с. 235).

¹⁴⁴ дельное напряжение мысли. О «напряжении ума и вообразительной силы» как эстетическом критерии бобровский Ломоносов говорит и ниже (ср. примеч. 220 и 162). Ср. следующее место у Тредиаковского в цитате из Лукана, приводимой в «Мнении о начале поэзии и стихов вообще»: «Священный и великий всех пиитов труд. И поистинне, нет труда, который бы большею ума силою и сильнейшим духа напряжением и стремительством был производим, коль оные высокие пиитов размышления!» (см.: Тредиаковский, 1935, с. 407). Слово *напряжение* в подобном употреблении, возможно, отражает семантику фр. *tension* (см. Хютль-Ворт, 1956, с. 122). «Напряжение мысли» у Боброва — это творческая энергия, осмысляемая в руссоистском ключе, и, вместе с тем, в плане эстетики Лессинга. Апелляция к «напряжению мысли», в свою очередь, открывает возможность рационалистической эстетики, которая находится в прямой связи с языковым пуризмом Боброва (ср. рассуждения Ломоносова у Боброва на с. 476, 479, 482–483, 485, 487–488 наст. изд.; ср. ниже примеч. 233). Вместе с тем, Бобров специально подчеркивает далее, что и «напряжение ума и вообразительной силы» должно иметь свои пределы и что «лишнее напряжение» способно приводить к «чужеземному щегольству и грубым погрешностям» (ср. примеч. 162 и 220). Иначе говоря, Бобров протестует против искусственного напряжения мысли; критерий естественности (понимаемой в свете антитезы: Природа — Культура) остается для него на первом месте.

¹⁴⁵ Зделайте честь — ср. фр. *faire honneur*. Ср. выше, примеч. 92.

¹⁴⁶ много найдете пленительного. Слово *пленительный* здесь, вероятно, семантическая калька с фр. *captivant* или *ravissant*; ср. выше у Галлорусса причастную форму *пленяющиеся* (см. примеч. 48). Относительно употребления глагола *находить* см. выше, примеч. 88. Выше уже говорилось о том, что семантика слов на *-тельн-* первоначально имела процессуальный, причастный характер, в силу чего соответствующие прилагательные более или менее регулярно выступали при передаче французских причастных форм (см. примеч. 29, 50, ср. также примеч. 166); в этом смысле *пленительный* представляет вполне закономерное соответствие к *captivant* и т. п. Ср. в примерах «нового слога», фигурирующих в «Рассуждении...» Шишкова (1818, с. 347): «Поэт сопровождает мораль свою пленительными образами». Ср., вместе с тем, данный эпитет в «Тавриде» Боброва (1798, с. 103): «Песнь ваша стройна и разумна, — Ах! — как пленительна она!»

¹⁴⁷ ты только и замешан на ариях — слово *замешан* употреблено, видимо, в значении совр.: «помешан».

¹⁴⁸ Одна ты мне мила и т. п. — отрывок из песни «Одна ты мне мила» кн. П. Гагарина («Приятное и полезное препровождение времени», ч. I, М., 1794, с. 211).

¹⁴⁹ Он [Галлорусс] еще доказывает, что сердце вмещавшее образ любовницы, или дышавшее сим тленным Божеством не пременно будет бессмертно. — Новый довод бессмертия <...> Что подлинно приличнее одной вечности, то смело также идет и к смертной милой. Позиция Боброва очень напоминает здесь пушкинские выступления Тредиаковского. Критикуя стих Сумарокова *Отверзлась вечность, все герои предстали во уме моем*, Тредиаковский писал, например: «Автор прорицает о прошедшем <...> и говорит неправо, что ему *отверзлась вечность*: ибо ему отверзлась вместо ея древность, для того что все оныи Герои, коих Автор упоминает, были в древности в рассуждении нас, а не в вечности. Вечность единому токмо Богу свойственна, а не Героям» (см. его «Письмо...», писанное от приятеля к приятелю» 1750 г., в изд.: Куник, 1865, с. 461; курсив оригинала); ср. в этой связи также выше, примеч. 75.

¹⁵⁰ Начну то петь с зарею и т. п. — отрывок из той же песни П. Г. Гагарина (цит. изд., с. 211).

¹⁵¹ *объятых* — Бобров протестует против стяженного окончания этого слова, ср., между тем, ниже в речи бобровского Ломоносова, форму *объятых* (с. 485 наст. изд.). Любопытно, что Воейков в своем разборе пушкинского «Руслана и Людмилы» в «Сыне Отечества», 1820 г. (ч. 64, № 37) называет рифмы *кругом* — *копием*, *языком* — *копием* «мужицки-ми» (см.: Зелинский, 1887, с. 57). П. Корсаков в замечаниях на критику Воейкова («Сын Отечества», 1820, ч. 65, № 42) возражает против термина «мужицкие рифмы», предлагая квалифицировать данные рифмы просто как «бедные» (там же, с. 66). Между тем, Воейков, по-видимому, видит в произношении *копием* результат мещанского подражания высокому слогу, т. е. он не протестовал бы, можно думать, ни против формы *копием*, ни против формы *копьем*. Ср. вместе с тем, среди замечаний членов «Беседы любителей русского слова» на «Расхищенные шубы» Шаховского следующее замечание: «Родительный падеж множественного числа имени *крыло* — *крил* и *крыльев*, но не *крылиев*» (см.: Гуковский, 1933, с. 390).

¹⁵² Тогда лишь позабуду и т. п. — отрывок из той же песни П. Г. Гагарина. У Боброва неточная цитата — в оригинале (см. цит. изд., с. 212):

Когда в объятых буду
Тебя своих иметь.

Наличие такой (искажающей смысл) описки, возможно, свидетельствует, что Бобров в самом деле пользовался каким-то реальным рукописным сборником. В этом случае подбор текстов приобретает дополнительный интерес. Ср. в этой связи ниже примеч. 155, 197, 214.

¹⁵³ *в объятых себя иметь*. — И смешно, и не по-русски. Бобров, возможно, усматривает здесь неудачное отражение западноевропейской синтаксической конструкции с возвратным глаголом (типа фр.

se trouver и т. п.). Между тем, в действительности автор разбираемого произведения (П. Г. Гагарин) не заслужил этого упрека (см. примеч. 152).

¹⁵⁴ еще что то начинается громко. Эпитет *громкий* в литературе второй пол. XVIII — нач. XIX вв. может употребляться для обозначения славянизмов. См., например, выражение *громкие слова* в этом значении у Сумарокова в «Наставлении хотящим быти писателями» (1774 г.) или у П. И. Макарова в его рецензии на книгу Шишкова («Московский Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь, с. 180), точно так же Карамзин в предисловии к «Аонидам» (1797, с. V) упоминает «гром слов не у места», а Пушкину выражение *неги глас* в стихотворении Батюшкова «Вакханка» кажется «слишком громким словом» («Заметки на полях второй части «Опытов в стихах и прозе» К. Н. Батюшкова»; это специфическое значение слова *громкий* не учитывается В. Комаровичем в статье «Пометки Пушкина в «Опытах» Батюшкова», что обусловило неверную интерпретацию пушкинской ремарки, см.: «Литературное наследство», 16–18, М., 1934, с. 900). Ср. у В. Л. Пушкина в послании «К В. А. Жуковскому» 1810 г.:

Славянские слова таланта не дают,
И на Парнас они поэта не введут

...
Поэма ГРОМКАЯ, в которой плана нет,
Не песнопение, но сущий только бред.

¹⁵⁵ *Дрожащею рукою* и т. п. — отрывок из стихотворения И. И. Дмитриева «К Хлою». Бобров цитирует эту песню по публикации в «Московском журнале», 1792, VIII, с. 195. Любопытно, что при перепечатке этой песни в сборнике «И мои безделки» (1796, с. 124) Дмитриев устраняет отмечаемые здесь Бобровым славянизмы, и текст читается так:

За лиру я берусь,
Хочу, хочу петь Хлою.

См.: Виноградов, 1949, с. 235. Ср. аналогичную ситуацию выше (примеч. 152) и ниже (примеч. 197 и 214).

¹⁵⁶ *Смесь Славенского с Новорусским*. Слово *новорусский* не относится здесь к «новому слогу». Приблизительно с 70-х гг. XVIII в. соответствующий эпитет широко употребляется для обозначения русского литературного языка. См., например, у В. П. Светова в статье «Некоторые общие примечания о языке Российском» (1779, с. 80–81) разграничение «Славенского», «Славенороссийского» и «Новороссийского» языков, где «Славенской» понимается как этнический термин и соотносится с славянами, «Славенороссийской» соответствует церковнославянскому языку русской редакции, «Новороссийским же <...> почитается тот <язык>, коим ныне говорят и пишут грамотные Россияне, и которой возымел свое начало от времен Обновителя Российскаго слова». Ср. в этой связи еще замечание о «строителях новороссийского языка» в

«Живописце» (1772, ч. II, л. 8; см.: Берков, 1951, с. 405) и, с другой стороны, возражения Сумарокова в статье «Примечание о правописании» (1771–1773 гг.) против термина «новороссийской язык» (см.: Сумароков, X, с. 39). — К содержащемуся здесь и далее протесту против жанрово неоправданного употребления славянизмов ср. ниже примеч. 160, 178 и 215. Относительно сходных высказываний Шишкова см. Левин, 1964, с. 134; ср. еще возражения Мерзлякова против употребления «слов обветшалых славянских вместе с простыми и общенародными» в «Рассуждении о российской словесности в нынешнем ее состоянии» («Труды общества любителей российской словесности», М., 1812, ч. I, с. 72) — см. более полный текст цитаты выше, с. 424, примеч. 38.

¹⁵⁷ Слово «какая» исправлено из «какъ».

¹⁵⁸ воспети — это слово отнесено к славянизмам только благодаря окончанию инфинитива, но не из-за приставки *вос-*.

¹⁵⁹ Один из моих современников даже в идиллиях, эклогах и драмах любил также употреблять подобные сим слова — вероятно, имеется в виду Сумароков.

¹⁶⁰ *мя*, между простыми словами, как жемчуг между голышем... Опять, *тя*... — В связи с протестом против употребления местоименных форм *мя*, *тя* в разбираемых поэтических текстах ср. следующее заявление Н. П. Николаева в «Рассуждении о стихотворстве российском» (1787, с. 90): «*мя*, *тя* и *ся* <...> обезображивают стихотворство <...> по мнению моему (а может быть я в том и ошибаюсь) *мя*, *тя* и *ся* столько противны слуху и такие непростительные в стихотворстве *нужняки*, что и тот, кто и с посредственным слухом, от них обезпокоивается» (ср. еще выше у Николаева среди примеров исправления стихов замену формы *мя* на *меня* — нарушающую стихотворный размер! — в строке: «Твои ли в верности *мя* речи уверяли»). Подобные протесты начинаются уже в 30-е гг. XVIII в.: так, Ломоносов между 1736 и 1739 гг. подчеркивает в книге Третьяковского «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735) форму *мя* (в стихе «В преглубокую за что вводих мя унылость» на с. 54) и помечает: «*Socordia*» (т. е. «оплошность»), см.: Берков, 1936, с. 62); следует отметить, что и сам Третьяковский трактует в этой книге формы *мя*, *тя* и *ми*, *ти* как «поэтическую вольность», т. е. допустимое (в поэтическом языке) отклонение от нормы, см.: Третьяковский, 1935, с. 346. Между тем, Шишков, напротив, защищал данную форму, считая употребление ее в стихах вполне возможным (см.: А. С. Шишков, «Сравнение Сумарокова с Лафонтеном...», в изд.: Шишков, XII, с. 184, примеч.). Что касается Боброва, то он выступает здесь не столько против форм такого рода, сколько против стилистической неоднородности текста.

¹⁶¹ Простота и естественность древних наших общенародных песней всегда пленяла меня — это заявление Ломоносова противостоит пренебрежительному отношению Галлорусса к народной поэзии (см. выше, примеч. 51). Ср. в этой связи упоминание Боброва о «драгоценном вкусе нашей древности, <...> вырывающемся из под развалин

старобытных песен, или народных повестей и особенных поговорок» в предисловии к «Херсониде» (1804, с. 12).

Эти заявления Боброва почти дословно совпадают с речью Андрея Тургенева, произнесенной в конце марта 1801 г. на заседании «Дружеского литературного общества». Сетуя на то, что «мы <...> утратили всю оригинальность всю силу (*energie*) русского духа», Андрей Тургенев говорил: «Теперь только в одних сказках и песнях находим мы остатки русской литературы в сих то драгоценных остатках, а особливо в песнях, находим мы и чувствуем еще характер нашего народа. Они так сильны, так выразительны, в веселом ли то или в печальном роде, что над всяким непременно должны произвести свое действие. В большей части из них особливо в печальных встречается такая пленяющая унылость, такие красоты чувства, которых тщетно стали бы искать мы в новейших подражательных произведениях нашей литературы». См.: Фомин, 1912, с. 24–27; ср. также с. 353–354 наст. изд.

Относительно употребления глагола *племить* ср. выше примеч. 48, а также 146.

¹⁶² лишнего напряжения — см. выше, примеч. 144, а также примеч. 220.

¹⁶³ с коренным основанием языка — см. выше, примеч. 2, 78, а также примеч. 37.

¹⁶⁴ *интересное*. Слова *интерес*, *интересный* и т. п. отмечаются в русском языке с петровской эпохи, будучи первоначально связаны с общим значением пользы, выгоды, прибыли, дохода; «к концу века в слове *интерес* появляется совсем новый круг значений, источником которого является фр. *intérêt* — в 70-е годы значение: внимание, участие по отношению к кому-, чему-либо (заинтересованность), а с 90-х годов — значение: занимательность, увлекательность чего-либо. Прилагательное *интересный* отмечается в русских источниках со второго десятилетия XVIII в. в значении: относящийся к казенным доходам, составляющий прибыль, рост; к 70-м годам относится начало его употребления в значении: занимательный, увлекательный, возбуждающий внимание, любопытство, а в конце 90-х годов формируется значение: приятный, привлекательный» (см.: Биржакова, Войнова, Кутина, 1972, с. 261–262, ср. также с. 243–244). Важно подчеркнуть, что употребление слов данного круга в новом значении связано с влиянием французского языка и, соответственно, получает широкое распространение в «галло-русском наречии». Ср. замечание М. Чулкова об усвоении подобных слов на псевдо-французский манер: «есть такие у нас сочинители, которые Рускими буквами изображают Французские слова: а малознающие люди, которые учатся только одной грамоте, да и то на медные деньги, увидев их напечатанными, думают, что это красота нашему языку; и так вписывают их в записные книжки, и после затверживают. И я слышал часто сам, как они говорят: вместо *пора мне идти домой* — *время мне интересоваться на квартиру*» (см.: Чулков, 1766–1768, из предисловия; к слову *интересоваться* Чулков делает при этом следующее примечание: «вместо *ретироваться*, однако и это не хорошо: да нужда не в

том; что был бы смысл, а нужда только во Французском слове»). Слово *интересоваться* употребляет щеголиха Советница в фонвизинском «Бригадире» (см. цит. изд., с. 214). Характерно, вместе с тем, что в словаре иностранных слов, опубликованном в 1791 г. Матвеем Комаровым, слово *интерес* встречается дважды (см.: «Речи иностранных языков, употребляемые в разговорах и писаниях: толк оных на российском языке», — Комаров, 1791) — но только в своем старом значении: «*интерес* — иногда дела, иногда пользу и корысть значит, или просто сказать: прибыль, барыш» (с. 127); «*интерес* — прибыль, польза» (с. 129); это свидетельствует, по всей видимости, о специальной социолингвистической окраске данного слова в его галлизированном значении. Действительно, в мещанском просторечии устойчиво сохраняется старое значение рассматриваемой группы слов, ср. характерный контекст в «Воительнице» Лескова: «Да с молодым нешто у нее интерес был какой! С молодым у нее, как это говорится так, — пур-амур любовь шла» (Лесков, I, с. 189); соответствующее значение сохраняется и в языке карточного гадания (ср. такие выражения, как *казенный интерес* и т. п.). Напротив, в разговорном языке дворянского общества новое (галлизированное) значение слова *интерес* и производных от него вытесняет старое. Показательно в этом смысле выражение *интересное положение*, которое, будучи связано по своему происхождению со старым значением слова *интерес*, а именно со значением *ПРИБЫЛИ* (ср. в письме Батюшкова к Вяземскому от 9 марта 1817 г.: «Поздравляю тебя, милый друг с ПРИБЫЛЬЮ, с НОВОРОЖДЕННОЙ», см.: Батюшков, III, с. 435), начинает восприниматься в соответствии с новым значением данного слова. Знаменательна реакция на это выражение Пушкина, засвидетельствованная в рассказе А. С. Данилевского: «<Е. А.> Карамзина выразилась о ком-то: «она в интересном положении». Пушкин стал горячо восставать против этого выражения, утверждая с жаром, что его напрасно употребляют вместо коренного, чисто русского выражения «она *брюхата*», что последнее выражение совершенно прилично, а напротив неприлично говорить: «она в интересном положении»» (см.: Шенрок, I, с. 363). (Это свидетельство А. С. Данилевского косвенно подтверждается и воспоминаниями П. А. Плетнева, см.: Пушкин в восп. совр., II, с. 258 и 466). Пушкин, очевидно, воспринимает уже слово *интересный* только как галлицизм — в новом значении, то есть понимает *интересное положение* как «пикантное положение».

В конце XVIII в. употребление слов *интерес*, *интересный*, *интересовать(ся)* как семантических галлицизмов, будучи присуще «щегольскому наречию» (ср. выше), очень характерно, вместе с тем, и для Карамзина (см.: Хютль-Ворт, 1963, с. 73), причем Карамзин может выделять эти слова в тексте курсивом (см.: Левин, 1964, с. 275, ср. то же явление в письме Батюшкова к Жуковскому от 3 ноября 1814 г., см.: Батюшков, III, с. 305). Тем более знаменательно, что заменяя в позднейших редакциях «Писем русского путешественника» иностранные слова их русскими эквивалентами, Карамзин заменяет, между прочим, *интересный* — на *занимательный* (см.: Сиповский, 1899, с. 174-176); в свою очередь слово *занимательный*, впервые употребленное, по-видимому, в

предисловии Карамзина к «Юлию Цезарю» (М., 1787), может рассматриваться как калька с фр. *intéressant* (см.: Хютль-Ворт, 1956, с. 106, ср. также выше примеч. 29; Шишков трактует это слово как карамзинизм и соответственно нападает на него в «Рассуждении...», (1818, с. 25, 22); ср. защиту его в «Северном вестнике», 1804, ч. I, №3, с. 26). Слова *интересный*, *интересовать* и т. п. в соответствии с фр. *intéressant*, *intéresser* неоднократно встречаются в письмах Карамзина (см., например, Карамзин, 1866, с. 11, 35, 39, 98) и, видимо, были свойственны его бытовой речи. Соответственно, употребление слова *интересный* пародируется в комедии Шаховского «Новый Стерн» (1805 г.), представляющей собой драматургический памфлет на карамзинизм (см.: Шаховской, 1961, с. 736-740, *passim*). Любопытно, что в словаре иностранных слов, опубликованных в «Корифее» Галинковского (ч. I, кн. 2, СПб., 1803, с. 16-17), слово *интерес* фигурирует именно в галлизированном значении: «*Interêt*, интерес, любезное душе пристрастие, влекущее ее к своему предмету; соучастие, заманчивость, приманка, занимательность и пр.».

Протест против слова *интерес*, наряду с протестом против других заимствованных слов, можно встретить в «Цветнике», ч. VII, 1810, с. 157 (ср.: Виноградов, 1938, с. 203), а также в «Рассуждении...» Шишкова, (1818, с. 342); вместе с тем, Шишков выступает здесь и против слова *занимательный*, ср., однако, защиту этого последнего слова в «Северном вестнике» (1804, ч. I, №1, с. 26). Применительно к комментируемому сочинению важно отметить, что П. И. Макаров подвергся специальной критике со стороны И. И. Мартынова (см.: «Северный вестник», 1804, ч. III, с. 307) за выражение *много интереса* (критик рекомендует *много занимательного*).

¹⁶⁵ Кто рукой бело-атласной и т. п. — отрывок из стихотворения Д. И. Вельяшева-Волынцева «Приношение Г-же Х...» («Приятное и полезное препровождение времени», ч. 3, М., 1794, с. 13).

¹⁶⁶ трогательной музыки. Слово *трогательный*, соответствующее по смыслу фр. *touchant*, в подобном значении — один из наиболее заметных признаков «нового слога» (ср. выше о глаголе *тронуть* как семантической кальке с фр. *toucher*, см. примеч. 125). Прилагательное *трогательный* отмечается вообще в русском языке с 80-х гг. XVIII в. (впервые — у Новикова, Фонвизина, ср. в 70-е гг. у тех же авторов причастие *трогающий* в соответствии с фр. *touchant*; см.: Хютль-Ворт, 1956, с. 201-202) и получает широкое распространение в карамзинистской литературе (см. об этом, в частности, у Веселитского, 1972, с. 147), вытесняя в этом значении первоначальную кальку *трогающий* (ср. в этой связи выше, примеч. 29); показательна, между прочим, систематическая замена *трогающий* на *трогательный* в сочинениях М. Н. Муравьева в процессе правки этих сочинений Карамзиным и Батюшковым (см. об этом: Левин, 1965, с. 186, 188). Соответственно, это слово выступает постоянным объектом возражений со стороны представителей противоположного литературного направления — таких, как Шишков (1818, с. 22, 25, 27, 200, 203; ср., между тем, возражения П. И. Макарова в

его рецензии на книгу Шишкова — см.: «Московский Меркурий», ч. IV, 1803, декабрь, с. 168, а также рецензента «Северного вестника», 1804, ч. I, № 1, с. 26), Е. Станевич (Рассуждение о русском языке, ч. II, с. 5); ср. позднее у Пушкина в заметке «Множество слов и выражений...»: «Множество слов и выражений, насильственным образом введенных в употребление, остались и укоренились в нашем языке. Например, *трогательный* от слова *touchant* (смотри справедливое о том рассуждение г. Шишкова)». То обстоятельство, что слово *трогательный* оказывается помещенным в публикуемой сатире Боброва в уста Ломоносова, — с очевидностью свидетельствует об освоении лексики «нового слога» в русском литературном языке. Ср. в этой связи выше замечания, относящиеся к усвоению слова *блистательный* как семантической кальки с *brillant* (см. примеч. 50). Ср. примеч. 50, 135, а также 64, 68, 111, 172.

¹⁶⁷ отрывок из какой-то *Хер...* — имеется в виду «Херсонида» С. Боброва. Название *Херсонида* первоначально было написано в рукописи полностью, затем последняя часть слова была стерта и заменена многоточием.

¹⁶⁸ Кто там сидит на белом камне и т. п. — отрывок из бобровской «Херсониды».

¹⁶⁹ Писано без рифм; — но все лучше, нежели безобразить слова — ср. выше, примеч. 138.

¹⁷⁰ *Достоен, спокоен, — румянность, приятность, — или зреть, простерть, — нежа, те жа.* Ломоносов ссылается на разобранные выше примеры неудачных рифм (см. с. 476–477 наст. изд.); ср. сходные замечания В. С. Подшивалова (1798, с. 57), по словам которого стихотворцы «часто для рифмы говорят *достоен, настроен*, говорят <... > *достоен, хотя непременно должно сказать достоин*»; вместе с тем, Сумароков в статье «К несмысленным стихотворцам» (1759 г.) обвинял Ломоносова именно в том, что тот пишет *достоен* вместо *достоин* (IX, с. 279). Что касается рифмы *румянность — приятность*, то этот пример рассматривается ниже в тексте «Происшествия в царстве теней» (см. с. 487 наст. изд.).

¹⁷¹ выписка из 57 страницы — имеется в виду изд.: Бобров, 1804.

¹⁷² прелестями природы. Ломоносов употребляет здесь слово *прелесть* в новом значении этого слова (см. выше, примеч. 111; ср. несколько менее явный случай на с. 481: *женская прелесть*), что можно, опять-таки, отнести насчет влияния «нового слога» на русский литературный язык.

¹⁷³ картина — явный европеизм у Ломоносова, заимствование петровского времени, в таком значении встречается уже у Тредиаковского (см.: Хютль-Ворт, 1956, с. 112–113).

¹⁷⁴ «того же» написано новыми чернилами по подтертому. Вероятно, первоначально было «Херсониды».

¹⁷⁵ довольно разноцветно — с этой оценкой бобровского Ломоносова можно сопоставить критику Шишковым выражений: *слог блиста-*

телен... повествование живо; портреты цветны, сильны (1818, с. 69, примеч.).

¹⁷⁶ заниматься — Ломоносов употребляет здесь кальку с фр. *s'occuper*.

¹⁷⁷ с лишком *видным* подражанием — т. е. «очевидным». Неясно, почему слово *видный* подчеркнуто.

¹⁷⁸ он иногда выражает высокими словами то, что можно по приличию слога изъяснить просто. Ср. выше протест против неоправданного употребления славянизмов (см. примеч. 156, 160, ср. также примеч. 215). — Это замечание, которое имеет по существу характер самокритического признания, представляется чрезвычайно важным для характеристики литературно-языковой программы Боброва: позиция Боброва довольно существенно отличается в данном случае от позиции Шишкова.

¹⁷⁹ Это сочинение... было уже под судом раза три — речь идет о трех рецензиях на поэму Боброва в «Северном вестнике» (см. вступительную статью, с. 348 наст. изд.).

¹⁸⁰ *Лагарповыми глазами.* Франсуа Лагарп считался непогрешимым авторитетом в кругу сторонников классицизма. В русской литературе начала XIX в. Лагарп как защитник разума и просвещения высоко ценился карамзинистами — его противопоставляли «бессмысленным певцам» из лагеря шишковистов:

Хоть страшно стихоткачу
Лагарпа видеть вкус,
Но часто, признаюсь,
Над ним я время трачу
(А. С. Пушкин, «Городок»).

За что ж мы на костер с тобой осуждены?..
... За то, что мы с тобой Лагарпа понимаем...

(В. Л. Пушкин, «К Д. В. Дашкову»)

Об отношении карамзинистов к разуму и «поэтической бессмыслице» см.: Лотман, 1971, с. 16–21. Одновременно и Шишков обращался к авторитету Лагарпа (см. вышедшую с его предисловием брошюру «Перевод двух статей из Лагарпа», 1808), опираясь на его поздние высказывания против французской революции и на противопоставление богатого и гибкого латинского языка бедному французскому. Шишков, приравнивая латинский церковнославянскому, трактовал Лагарпа как своего единомышленника. Об этом см.: Мейлах, 1941, с. 187–188. Однако обращение Шишкова к Лагарпу имело явно вторичный и оборонительный характер. Высказывание Боброва интересно как свидетельство полемики отожествления карамзинской культуры не только с галломанией, но и с классицизмом, и выделение в собственной позиции предромантических тенденций.

¹⁸¹ на другой ноге — см. выше примеч. 9.

¹⁸² «всегда» вставлено над строкой (теми же чернилами, что и основной текст).

¹⁸³ исправить свое произведение — эта фраза свидетельствует, может быть, о намерении Боброва продолжать работу над своей поэмой.

¹⁸⁴ жени — см. выше примеч. 126. Это слово вызывает насмешки Ломоносова (см. примеч. 188).

¹⁸⁵ он не давно прославившись — см. о подобных конструкциях выше, примеч. 18. Ср. фр. il s'est illustré. Ср. ниже в тексте отношение Ломоносова к этому обороту (см. примеч. 188).

¹⁸⁶ щегольской драматист — эпитет щегольской соотносится с фр. élégant и, одновременно с петиметрской культурой второй пол. XVIII в. (ср.: «щегольское наречие» и т. п.); ср. выше у Ломоносова выражение: «чужеземного щегольства» (с. 480 наст. изд.). Драматист — заимствование из англ. dramatist. — Данная характеристика относится, как явствует из дальнейшего, к В. А. Озерову. Ср. в этой связи отрицательное отношение к Озерову «беседчиков», в частности, Державина и Шишкова и, напротив, апологетическую его оценку старшими карамзинистами. Для отношения «архаистов» к Озерову показательны, между прочим, критические замечания Шишкова на его трагедию «Димитрий Донской», 1807 г. (см.: Сидорова, 1956, с. 164–170, passim); критикуя стиль Озерова, Шишков пишет: «Поверьте мне, господа писатели, что ненавистники славенского языка вас совсем с пути сбили. Нельзя важные сочинения писать таким слогом, как мы говорим дома с приятелями» (цит. изд., с. 171). Вместе с тем, Бобров, хотя и считает, что у Озерова «чистота языка не везде», видит в нем «перо не Галлоруса» <... >, а хорошаго послѣдователя образцовымъ Геніямъ» (см. с. 484 наст. изд.).

¹⁸⁷ хотя Северный вестник и разсматривал — речь идет о рецензии Бутырского на драму Озерова «Эдип в Афинах» в «Северном вестнике» (1805, ч. VII, июль, с. 17–50). Произведение Озерова получило здесь очень высокую оценку.

¹⁸⁸ Ой! ты жени! прославившись! — Ломоносов выделяет здесь наиболее характерные «галлорусские» выражения.

¹⁸⁹ На них власы и т. п. — неточная цитата из «Эдипа в Афинах» Озерова, см.: Озеров, 1805, с. 33. В подлинном тексте вместо с их факелов — из факел их.

¹⁹⁰ лучше сказать: от пламенников искры сыпались — пересказывая разбираемый стих, бобровский Ломоносов употребляет не заимствованное слово факелы, а исконное («коренное») русское слово пламенники.

¹⁹¹ и страх, и лесть, и смерть и т. п. — неточная цитата из «Эдипа в Афинах» Озерова, см. цит. изд., с. 33. У Озерова вместо лесть — мечь, вместо косу свою — свою косу.

¹⁹² в хвалимых ваших Генях — Ломоносов здесь явно переводит на свой язык употребленное выше Галлоруссом слово жени. Ср. примеч. 139, а также примеч. 202, 217 и 258.

¹⁹³ проступок ... в словоударении ... хѳѳу — Бобров настаивает на ударении: хѳсу. Ср. материал по истории ударения данного слова, представленный в кн.: Колесов, 1972, с. 45.

¹⁹⁴ своенравную перемену в окончаниях падежей, как напр.: чувствы, искусствы... вместо чувства, искусства... определеннее, намереннее вместо определенных, намерений. Совершенно аналогичные замечания высказывал в свое время Тредиаковский в своей критике произведений Сумарокова (1750 г.), обвиняя последнего в том, что тот «не исправно кончит средняго рода имена во множественном числе, так то <... > достоинствы за достоинства, воздыханіи за воздыханія, братіевъ за братій, подозрніевъ за подозрній, <... > слѣдствіевъ за слѣдствій, <... > дѣйствию за дѣйствія, нещастіевъ за нещастій, посольствы за посольства, отсутствіевъ за отсутствій» (см.: В. К. Тредиаковский, «Письмо ... от приятеля к приятелю», в изд.: Куник, 1865, с. 476, а также с. 470–471); соответствующие требования излагаются у Тредиаковского и в «Разговоре об орфографии» 1748 г. (см.: Тредиаковский, III, с. 223), а также в статье о правописании прилагательных 1755 г. (см.: Пекарский, 1865, с. 109). Между тем, Сумароков, отвечая на критику Тредиаковского, признает, что эти формы не вполне правильны, но ссылается на общее употребление, которое он считает не менее важным, чем правила (ср. примеч. 233); в другом месте Сумароков утверждает, что в каких-то случаях, хотя бы и редких, формы «Основания, желании, вместо Основания и желанія» могут употреблены быть для КРАСОТЫ («Ответ на критику» и «Примечание о Правописании» в изд.: Сумароков, X, с. 97–98 и 46). Сумарокову следует Н. П. Николев, который замечает в своем «Рассуждении о стихотворстве российском» (1787, с. 39): «Не почитал я так же за непростительную вольность окончать существительныя имена средняго рода во множественном числе на и вместо я: ибо все такая вольности в стихотворстве извинительны тем, что мы употребляем их обыкновенно в разговоре; как то, мы говорим: мои желаніи, а не мои желанія; на чтож имея в такой вольности нужду делать себе насилие, и ради единой буквы я настаивать несколько слов никуда негодных?» (соответственно и собрание сочинений Николева носит название: Твореніи). Подобные формы (блаженствы, от молниев, растеніев) можно встретить, например, в «Россияде» Хераскова, а также у Державина (ср. здесь: зданіев, стизіев, витіев и т. п.) и др. авторов (см.: Обнорский, II, с. 122 и сл., 250 и сл.; Винокур, 1959, с. 157; Грот, II, с. 339, 342). Между тем, они категорически запрещаются нормативными грамматиками, см., например, у П. И. Соколова в «Начальных основаниях российской грамматики» (1788, с. 24): «неправильно пишут Мученіи вм. мученія, странствованіи вм. странствованія, мученіевъ вм. мученій и проч. Равным образом против Грамматических правил пишут: Облаки вм. облака; сокровищи вм. сокровища; свойствы вм. свойств и пр.» Аналогичные предупреждения можно найти в грамматиках

Ломоносова, Барсова, Светова, Аполлоса Байбакова (см.: Граннес, 1974, с. 176–187); члены «Беседы любителей русского слова» могли находить предосудительным употребление подобных форм даже в комедиях (см. замечания беседчиков на «Расхищенные шубы» Шаховского: «Родительный падеж множественного числа имяни *крыло* — *крил* и *крылье*, но не *крылиев*», т. е. окончание *-ев* в данном случае, по-видимому, связывается с просторечием и потому форма *крылиев* недопустима, «*мудрствя*, а не *мудрствюи*» (см.: Гукровский, 1933, с. 390–391; ср., между тем, материал по употреблению этих форм в комедии XVIII в., собранный в цит. книге Граннеса, с. 175–190).

¹⁹⁵ В своем объяснении данного явления Бобров следует «Российской грамматике» Ломоносова, где говорится, что «сие употребление буквы *и* вместо *я* <в формах мн. числа. — Ю. Л., Б. У.> произошло от безрассудного старания, чтобы разделить родительный единственного от именительного множественного, напр., *моего имѣнія* от *мои имѣнія*» (§119).

¹⁹⁶ От крови царския и т. п. — неточная цитата из «Эдипа в Афинах» Озерова, 1805, с. 34. В подлинном тексте у Озерова:

Тогда по бедствиях наступит тишина

...

По страшных сих словах умолкли Евмениды,
Сомкнулась ада дверь.

¹⁹⁷ В словах, по бедствиям, — по страшным сим словам, по смыслу требовался предложный падеж... Умей только склонить таким образом: по бедствиях, — по страшнымз сих словах! — тогда и мысль яснее, и язык чище. Эти замечания обусловлены неисправностью той копии, которая была в распоряжении Боброва: действительно, в оригинале у Озерова соответствующие строки читаются именно так, как того хочет Бобров (см. примеч. 196). Ср. аналогичную ситуацию выше (см. примеч. 152, 155), а также ниже (ср. примеч. 214).

¹⁹⁸ *рецензирует* — ср. фр. *recenser*, нем. *rezensieren*. По данным Биржаковой, Войновой, Кутиной (1972, с. 392) это слово отмечается в русском языке с 1797 г. Слова этого корня часто встречаются в произведениях Карамзина (см.: Хютль-Ворт, 1963а, с. 102). Ср. в этой связи нападки Шишкова (1818, с. 343) против тех, кто употребляет слово *рецензия* (вместо *рассматривание книг*).

¹⁹⁹ *пышной элоэж* — ср. фр. *éloge*. Варваризм *элоэж* отмечает уже Сумароков в статье «О истреблении чужих слов из русского языка» (1759), очевидно, он был в обиходе петиметров второй пол. XVIII в. Ср. у Пушкина в письме к Вяземскому от 2 января 1831 г.: «Он написал красноречивый *Eloge* Раевского».

²⁰⁰ «языка» написано по подтертому.

²⁰¹ стихи, которым не могу удивляться — Ломоносов перефразирует здесь цитированное перед тем место из рецензии «Северного

вестника»: «нет ни одного стиха, которому можно было не удивляться». Для семантико-стилистической характеристики глагола *удивляться* ср. замечание Шишкова: «весьма бы смешно было в похвальном слове какому-нибудь полководцу вместо: *герой! вселенная тебе дивится*, сказать *Ваше превосходительство вселенная вам удивляется*» (см.: Шишков, II, с. 434; ср. Виноградов, 1935, с. 71).

²⁰² образцовым Гениям — см. выше, примеч. 139.

²⁰³ «Сего Лукана» написано по подтертому. Возможно, первоначально стояло более прямое указание.

²⁰⁴ сего *Лукана* чуть помню... — Державин, о котором здесь идет речь, родился в 1743 г., Ломоносов умер в 1765 г.

²⁰⁵ Оне [нифмы] кружась, резвясь летали и т. п. — неточная цитата из стихотворения Державина «Развалины» (1797 г.), см.: Державин, 1804, с. 32. В подлинном тексте вместо *оне* — *они*, вместо *в зеркала* — *в зеркале*, вместо *караводы* — *хороводы*, вместо *коных* — *коньках*, вместо *митр* — *мурт*.

²⁰⁶ Две черты (— —) написаны по подтертому. Первоначально на этом месте был какой-то текст.

²⁰⁷ В сем тереме Олимпу равном и т. п. — цитата из того же стихотворения, см. Державин, 1804, с. 33.

²⁰⁸ Молчит пустыня изумленна и т. п. — неточная цитата из стихотворения Державина «Соловей», см.: «Приятное и полезное препровождение времени», ч. VI, М., 1795, с. 381. В подлинном тексте вместо *луг* — *дол*.

²⁰⁹ Каково же это *выказано* — ср. фр. *comment c'est exprimé*. Глагол *выказать* в старом употреблении означал «выставить напоказ» (см.: САР, III, с. 362: «Выказываю <...> даю, допускаю свободно смотреть что. *Выказать кому все свои рѣдкости, украшения*»), тогда как в новом употреблении это слово стало синонимом слов *показать, доказать, обнаружить, выразить*. В повести Сенковского «Авторский вечер. Странный случай с моим дядей» (1835, с. 19, 21, 31) пародийно демонстрируются примеры этого нового употребления (см.: Виноградов, 1935, с. 341).

²¹⁰ *браво, очень браво!* — ср. ит. *bravo*, фр. *bravo*, нем. *bravo*. Ср. восклицание *браво* как характерную черту в речи щеголя Ветромаха в комедии Княжнина «Чудаки» (см.: Княжнин, 1961, с. 457–458). Слово *браво* неоднократно встречается в письмах Карамзина к Дмитриеву (Карамзин, 1866, с. 9, 50). Ср. примеч. 54.

²¹¹ в сем сочинителе виден Гений — ср. выше примеч. 139.

²¹² картины его отменны и изящны — для оценки слова *изящный* в этом контексте см. примеч. 63.

²¹³ слова, *зёркала* и себя *казали*, — похожи на вышесказанные, *кбсу будёт*, или — *в объятях себя иметь* — Ломоносов

ссылается здесь на разобранные им уже выше примеры: см. в этой связи замечания на с. 483, 477, 479 наст. изд.

²¹⁴ *зёркала*. . . — по руски так не говорят. Бобров протестует здесь против ударения *зёркала* в разбираемом державинском стихе. Однако в подлинном тексте у Державина имеем не *в зёркала вод*, но *в зеркале вод*, где ударение (*зерцáле*) соответствует как акцентуационной норме, так и стихотворному размеру. Таким образом Бобров и на этот раз оказался жертвой текстологически несправного варианта; ср. выше примеч. 152, 155 и 197.

²¹⁵ *глядя*, — *возкликающих смотрела*, — странная смесь низких слов с высокими. Ср. протест против стилистической неоднородности в художественном тексте выше (см. примеч. 156, 160, 178). — Что касается формы *глядя*, то следует иметь в виду, что деепричастия на -а (-я), в отличие от форм на -в (-вши), могли относиться к просторечию: так считали, например, Тредиаковский, Сумароков, Карамзин (иначе, однако, у Ломоносова и у Аполлоса Байбакова), см.: Очерки по ист. грамматике, 1964, с. 179–181.

²¹⁶ Не новой ли это вкус? — намек на стилистическую пестроту лексики «нового слога». Замечательно, что Бобров готов видеть в Державине предтечу карамзинизма. Эта оценка разительно расходится с самооценкой самого Державина, ставшего несколькими годами спустя одним из основателей «Беседы любителей русского слова».

²¹⁷ хотя б и обезпечено было . . . именем Геня. Здесь, опять-таки, достаточно наглядно проявляется словарное соответствие слова *жени* в «галлорусском наречии» — слову *гений* в языке бобровского Ломоносова и, очевидно, самого Боброва. См. выше примеч. 192, а также примеч. 258.

²¹⁸ *монополий* — заимствование еще петровской эпохи (ср. нем., польск. *monopolia*, фр. *monopole* — из лат. *monopolium*, греч. *μονοπώλιον*).

²¹⁹ страсть к *тропологическим пересолам* и *эмфастическим* изречениям. Ср. выше (с. 481) замечание Ломоносова об особенностях стиля «нынешних метафористов», а также выражение «смешной троп» у Ломоносова на с. 477 наст. изд.

²²⁰ Напряжение ума и воображительной силы . . . должны иметь свои пределы — см. выше, примеч. 144 и 162.

²²¹ Вы увидите прекрасного *жени*, *милаго* писателя в новом вкусе, уважаемого в чужих землях, любимого в отечестве всеми людьми с *чувством*, дамами, нимфами и учеными со вкусом — эта характеристика, как видно из дальнейшего, относится к Карамзину.

Относительно слова *жени* см. специально выше, примеч. 126; показательно, в частности, что в 1780-х гг. Карамзина могут полуиронически именовать таким образом (см. цитированное выше письмо Петрова к Карамзину).

Прилагательное *милый* в подобном контексте ассоциируется со словом карамзинистов; для стилистической оценки данного сочетания существенно, например, следующее замечание Шишкова в «Рассуждении. . .» (в частности, по поводу сочетания *милые богини* в «Приношении грациям» Карамзина 1793 г.): «Можно < . . . > сказать: *милые глазки, милый ротик*; но весьма не хорошо: *милые нежные глаза! милой нежной рот!*» (с. 129); там же Шишков указывает, что прилагательное *милый* «употребляется в любовных и дружеских объяснениях, и сколько свойственно среднему или простому, столько неприлично высокому и пышному слогу. Весьма пристойно говорить: *милой друг, милое личико*; напротив того весьма странно и дико слышать: *милая богиня, милая надежда безсмертия!* Сколь бы какое слово ни было прекрасно и знаменательно, однако естли оное безпрестанно повторять и ставить без всякого разбора, где ни попало, как то в нынешних книгах употребляют слово *милая*, то не будет оно украшением слога, а токмо одним модным словом, каковые по временам проявляются иногда в столицах < . . . >» (с. 176). Соответственно, в том же сочинении Шишков неоднократно употребляет это слово, пародируя стиль карамзинистов: «Возможно ли, скажут они [карамзинисты. — Ю. Л., Б. У.] с насмешкою и презрением, возможно ли *трогательную* Заиру, *занимательнаго* Кандида, *милую* Орлеанскую девку, променять на скучный Пролог, на непонятный Несторов Летописец?» (с. 22, курсив Шишкова; о характерности эпитетов *занимательный* и *трогательный* для «нового слога» см. выше, примеч. 164 и 166); ср. еще выражение *милая богиня* в стилистически обыгранной Элегии, «написанной нынешним просвещенным слогом в котором сохранен весь Французский элеганс», которой заканчивается книга Шишкова (см. с. 434). Точно так же, разбирая в другом месте трагедию Озерова «Димитрий Донской», Шишков критикует фразу «О мила Ксения!», замечая: «Худое выражение. Не только *мила Ксения*, но и *милая Ксения* в трагедии не годится» (см.: Сидорова, 1956, с. 166). Отметим также дневниковую запись Жихарева, описывающую литературный вечер у И. С. Захарова 16 февраля 1807 г. (один из вечеров, предшествующих созданию «Беседы любителей русского слова»). Жихарев пишет, что когда он прочел свои стихи «К деревне»:

Деревня милая, отчизна дорогая,
Когда я возвращусь под кров счастливый твой? —

ему пришлось «выслушать получасовое замечание некоторых, по-видимому, записных аристархов, о том, что эпитет *милая* не у места и может прилагаться только к одушевленным предметам, как, например, к другу, к женщине, к ребенку и проч. < . . . >» (см.: Жихарев, 1955, с. 372, запись от 17 февраля 1807 г.). По прочтении этих стихов, хозяин (И. С. Захаров) заявил Жихареву, что он тотчас же угадал, что Жихарев принадлежит «к новой московской <т. е. карамзинской> школе». Ср. у А. Кайсарова в предисловии к «Сравнительному словарю славянских наречий»: «Но наш язык не так приятен, не так силен, как французский», — скажет мне какая-нибудь *милая* девушка. Чем докажете вы ей противное? < . . . > Сколько вредило нашему языку несчаст-

ное преубеждение молодых людей из так называемого *большого света*, всякому русскому довольно известно» (цит. по: Лотман, 1958, с. 200; курсив Кайсарова); слово *милая* фигурирует в этом контексте как типичное выражение великосветского жаргона. Дмитриев в письме к Жуковскому от конца 1805 г. сообщает, что «Друзья просвещения <...> с первую рыжею книжкою на будущий год пустят гром на русских путешественников и на все где только встретят слезу и милое» (II, с. 196). Действительно, анонимные стихи первого номера «Друга просвещения» за 1806 г. называются «Ода к милой во вкусе модной литературы», где встречаем, в частности, такие строки:

Стихи прекрасны — в том признайтесь,
Слеза и мило — все тут есть...
<...>

Последуя влеченью моды,
Слезу и милую твердя,
Я скоро опишу походы,
Из комнаты не выходя.

(см.: Альтшуллер, 1975а, с. 100–101). Аналогично и А. П. Брежинский в «Стихах на сочиненные Карамзиным, Захаровым и Храповицким похвальные слова императрице Екатерине Второй» (1802 г.) высмеивал Карамзина за то, что тот в своем «Историческом похвальном слове императрице Екатерине Второй» (1802)

К романам, к пасторальну слогу
Имея страсть, скроил эклогу,
И слово *милая* вклеил

(см.: Поэты 1790–1810-х годов, 1971, с. 490); так же писал о Карамзине и Марин в послании к Милонову 1811 г.:

Пускай наш «Ахалкин» стремится в новый путь,
И, вздохами свою наполнив томну грудь,
Опишет свойства плакс, дав Игорю и Кию
И добреньких славян и милую Россию

(см.: Марин, 1948, с. 179, ср. варианты на с. 405). Ср. еще в «Записках» Ф. Ф. Вигеля (I, с. 358): «В Твери <...> Карамзин читал императору Александру несколько глав своей истории, этой истории, где, по словам их [шишковистов — Ю. Л., Б. У.] должны были встречаться все одни *МИЛЫЕ* Святополки и нежные Мстиславы». — Между тем, П. И. Шаликов, отзываясь не перевод Пиндара, выполненный П. Голенищевым-Кутузовым, напротив, замечал: «С каким удовольствием находим слово *мила* в Пиндаре, или Переводчике его — нет нужды! Ненавистники *милаго*, вопреки всему тому, что они говорят и пишут против сего слова, признаются, может быть, что дозволено употребить его во всяком роде сочинениях» (П. И. Шаликов, О творениях Пиндара, переведенных Павлом Голенищевым-Кутузовым, в изд.: Шаликов, I, с. 98). Ср. также «Журнал для милых», издававшийся эпигонном Карамзине М. Н. Макаровым в 1804 г.

Следует отметить, что в докарамзинский период слово *милый*, по-видимому, характерно для «щегольского наречия». Этот эпитет встречается среди типичных эпитетов «щегольского наречия», перечисляемых в письме Боттин в «Переписке Моды» Н. И. Страхова (см. цитату на с. 513 наст. изд., примеч. 56), ср. также такие типичные выражения петиметрского жаргона, как *мила*, как *ангел*, *мне ты ужесть мила* и т. п. (см.: Берков, 1951, с. 202–203, Княжнин, 1961, с. 646, 547). В словаре иностранных слов, опубликованных в «Корифее» Галинковского (ч. I, кн. 2, 1803, с. 15) слово *милый* дается как эквивалент фр. *gâtieux*. Не исключено, что на употребление слова *милый* отчасти повлияло польское *miły* (ср. выше, с. 512–513, примеч. 56, о полонизмах в «галлорусском наречии»). Любопытно отметить, что уже в 1791 г., когда Карамзин начинает восприниматься в масонских кругах как петиметр (см. упоминавшиеся уже письма А. М. Кутузова и М. И. Багрянского — Барсков, 1915, с. 70–73, 86) — М. И. Багрянский в письме А. М. Кутузову, иронически отзываясь о Карамзине, отмечает употребление им слова *милые*: «Pour vous donner quelques idées de son style excellent je vous citerai quelques morceaux de lettres qu'il adresse à ses *mielles*» (там же, с. 86). Ср. первую фразу «Писем русского путешественника» — «Расстался я с вами, милые, расстался!»

Относительно выражения *писатель в новом вкусе* ср. возражение Шишкова (1818, с. 197–198) против фразеологизма (кальки с французского) *писать во вкусе*.

людьми с чувством... учеными со вкусом — типичные для карамзинистов обороты. Ср. возражения Шишкова против оборотов такого рода (1818, с. 197).

любимаго... дамами, нимфами — намек на характерную для Карамзина и его последователей апелляцию ко вкусу светских дам. См. выше, с. 386–387 наст. изд.

²²² *Коронуйте* им (т. е. Карамзиным) — глагол *короновать* употреблен здесь Галлоруссом в значении «завершать, заканчивать» в соответствии с известным выражением *La fin couronne l'œuvre* — нем. *Das Ende krönt das Werk* (ср. русское соответствие: *Конец венчает дело* или *Конец — делу венец*). Ср. непосредственно ниже в тексте отношение к этому обороту бобровского Ломоносова: в речи Ломоносова данному глаголу соответствует глагол *уенчавать* (см. ниже, примеч. 234). Подобное соответствие следует признать обычным: характерно, что, правя текст «Писем русского путешественника» для издания 1814 г., Карамзин заменяет *короновать* на *венчать* (Сиповский, 1899, с. 230).

²²³ отрывками *милаго пера* — Ломоносов пародирует стиль Галлорусса, ср. примеч. 221.

²²⁴ *я желаю, чтоб короновать, как ты говоришь, самым лучшим* — здесь пародируется, по-видимому, не только употребление глагола *короновать* (см. примеч. 222), но и синтаксическая конструкция с *чтобы*, характерная для речи Галлорусса (см. примеч. 38).

²²⁵ *Законы осуждают* и т. п. — песня из повести Карамзина «Остров Борнгольм». См. «Аглая», кн. I, М., 1794, с. 92. — Эта пес-

ня приобрела большую популярность в начале XIX в. и, можно сказать, вошла в русский музыкальный быт. Так, например, ее исполняли в 1827 г. на народных гуляниях в Твери, наряду с такими песнями, как «Молчите, струйки чисты» и «Стонет сизый голубочек». Показательна реакция на этот выбор А. Е. Измайлова, бывшего тогда тверским вице-губернатором: «Ну уж и певцы! С каким чувством пели то, чего вовсе не понимали, как коверкали слова! Смех да и только. Стыдятся петь простые национальные песни, а поют так называемые модные» (см.: Кубасов, 1902, с. 241). Другие указания насчет популярности данной песни см. в изд.: Карамзин, 1966, с. 388.

²²⁶ Как вы это находите? — ср. выше, примеч. 88.

²²⁷ сияющие мысли — возможно, калька с фр. *idées rayonnantes* (или *brillantes*). Для стилистической характеристики данного эпитета в обсуждаемый период времени представляет интерес то обстоятельство, что Карамзин и Батюшков, правя сочинения М. Н. Муравьева, более или менее систематически заменяют слово *сияющий* на *блестящий* (Карамзин), или *блистательный*, *остроумный* (Батюшков) (см.: Левин, 1965, с. 186, 188).

²²⁸ приятность — см. выше примеч. 135.

²²⁹ живописателя. Ср. нападки Шишкова (1818, с. 68–69, примеч.) на употребление соответствующих эпитетов применительно к характеристике слога — в сочетаниях типа: *живописательная история*, *живописное выражение* (также *живое повествование*). Ср. в этой связи: Хютль-Ворт, 1956, с. 103–104 (здесь же и о эпитете *живой* в значении «выразительный» как кальке с фр. *vil*, Хютль-Ворт, 1974, с. 34). Ср., вместе с тем слова Карамзина о необходимости «писать чище и живее», цитируемые ниже, примеч. 256.

²³⁰ Праведное небо! — см. выше примеч. 34.

²³¹ вот утонченный вкус! — см. выше, примеч. 49. В устах Ломоносова это типичное для карамзинистов сочетание звучит пародийно.

²³² утончайте чувства! — ср. выше примеч. 23.

²³³ Ей! для меня сноснее бы было видеть ошибки в слоге, нежели в красоте онаго кроющиеся ложные правила и опасные умствования. — Ср. декларативное заявление Шишкова в его «Рассуждении о красноречии Священного Писания...»: «Мы последовали употреблению там, где разум одобрял его, или по крайней мере не противился оному. Употребление и вкус должны зависеть от ума, а не ум от них» (см.: Шишков, IV, с. 86); ср. еще с. 353 наст. изд. об аналогичных высказываниях Андрея Тургенева. Эта позиция, оправдывающая языковой пуризм, базирующийся на рационалистической эстетике (ср. выше, примеч. 144), прямо противостоит позиции карамзинистов, которые провозглашают, напротив, критерий «вкуса, неизъяснимого для ума» (см.: Н. М. Карамзин, «Речь, произнесенная в Торжественном собрании имп. Российской Академии 5 декабря 1818 года», в изд.: Карамзин, III, с. 646). Позиция карамзинистов в свою очередь соответствует

эстетической программе Сумарокова, который желал, «чтобы более говорило во стихотворстве чувство, нежели умствование» (см. примечание к переводу оды Пиндара (1774 г.) в изд.: Сумароков, II, с. 195); ср. в письме А. А. Петрова к Карамзину от 1 августа 1787 г.: «Простота чувствования — превыше всякого умничанья» («Русский архив», 1863, № 5–6, с. 482).

²³⁴ Вот, Галлорусс, чем ты увенчаешь — глагол *увенчивать* у Ломоносова соответствует здесь глаголу *короновать*, употребленному ранее Галлоруссом (см. выше, примеч. 222).

²³⁵ румянность — в рукописи ошибка, должно быть: *приятность*.

²³⁶ Вот Аглая! — взор небесной и т. п. — Бобров ошибается, приписывая эти стихи Карамзину.

²³⁷ Любопытно, что Бобров считает неправильным ударение *по плечам*, настаивая на акцентуационной форме *плéчам*. Форма *плéчам*, дат. мн., отмечена Стангом в «Учении о хитрости ратного строения пехотных людей» (М., 1647, л. 46); см.: Станг, 1952, с. 36; Кипарский, 1962, с. 249.

²³⁸ румянность, сколь ни дика по новости... Бобров рассматривает *румянность* как неологизм. Массовое образование слов на *-ость* в XVIII — нач. XIX в. (см. об этом процессе: Мальцева, Молотков и Петрова, 1975, с. 10–74) вызывает реакцию со стороны ревнителей чистоты языка: так, Сумароков говорит, что *щедроть* — не русское слово и надо говорить *щедрота*.

²³⁹ Многогочие поставлено по стертому тексту.

²⁴⁰ изящными плодами — см. выше, примеч. 63.

²⁴¹ Упусти мне. Г. Ломоносов! — глагол *упустить* выступает здесь как калька фр. *laisser* (ср. в современном языке: *оставь!*). Ср. отношение Ломоносова к этому выражению ниже в тексте (см. примеч. 249).

²⁴² Далее стояло какое-то слово, которое было стерто и вместо него поставлена черта в виде знака тильды.

²⁴³ Упусти... как вы. Представляет интерес чередование местоименных форм *ты* и *вы* в речи Галлорусса. До сих пор Галлорусс обращался к Ломоносову на *вы*, тогда как Ломоносов говорил ему *ты* (при обращении к остальным действующим лицам — Боюну и Меркурию — Галлорусс последовательно употребляет местоимение *ты*). Ср., между тем, обращение к Ломоносову на *ты* в следующей ниже — заключительной — реплике Галлорусса. Во второй пол. XVIII в. обращение на *вы* могло осмысляться, видимо, как один из признаков щегольско-го наречия (ср. протесты Сумарокова, Курганова, Фонвизина). Уже к нач. XVIII в. обращение на *вы* может служить признаком галантной речи (Ковалевская, 1976, с. 124–125). Вместе с тем, употребление местоимений *ты* и *вы* при обращении еще недостаточно стабилизировалось в разговорном языке; ср., между прочим, обыгрывание этого различия в

фонвизинском «Бригадире» (цит. изд., с. 140–141, 180), а также в «Трутне» (1769, л. IV, 1770, лл. XI, XII, ср. изд.: Берков, 1951, с. 55, 224–225). Следует отметить, что такое же смешение наблюдается и в ранних письмах Карамзина (см. его письмо к Дмитриеву от 1787 г. в изд.: Карамзин, 1866, с. 1). Ср. в связи со сказанным: Черных, 1948; Унбегаун, 1939.

В «Разговоре Сократа с петиметром нынешнего века в царстве мертвых» П. Брусилова (см.: Брусилов, 1803, I, с. 1–17) петиметр обращается к Сократу на *вы*, хотя Сократ говорит ему *ты*. Это никак нельзя объяснить вежливостью петиметра, который вообще ведет себя довольно нахально.

²⁴⁴ *жемиям* — см. выше, примеч. 126.

²⁴⁵ *улучшивают* — данный глагол в этом контексте, видимо, воспринимается как калька с фр. *améliorer*.

²⁴⁶ *герои литературы*. Слово *лит(т)ература* в значении «(изящная) словесность» — соответствующем фр. (*belles*) *lettres* — появляется в русском языке в 80-х гг. XVIII в. Полагают, что наиболее ранний пример употребления слова *литература* в этом значении представлен в эпиграмме Хвостова «Послание к творцу посланий» 1781 г., где автор (А. С. Хвостов) так обращается к Фонвизину:

Не надобно на перелом натуре

Считать за старосту себя в литературе

(см.: Берков, 1930, с. 108, примеч. 1); ср. уже и у Моисея Гумилевского в «Рассуждении о вычищении, удобрении и обогащении Российского языка» (1786, с. 10): «Литтература или Чистословие». Под влиянием карамзинистов постепенно вытесняется старое значение данного слова, когда «литература» не противопоставляется «науке», а понимается вообще как «образованность», «ученость», «письменность» в широком смысле, сохраняя связь с *littera* (ср. *homo litteratus* — «грамотный, образованный человек»); одновременно слово *литература*, оказываясь равнозначным слову *словесность*, вытесняет у карамзинистов это последнее [ср. попытки передачи на русском языке фр. *belles-lettres* в до-карамзинский период: *красная Словесность* у Тредиаковского в «Тилемахиде», *красные письма* и *красные сочинения* у него же в «Письме... от приятеля к приятелю» и в статье о правописании прилагательных (см.: Куник, 1865, с. 479; Пекарский, 1865, с. 107, 109), *изящные письма* у М. Н. Муравьева в «Академических Известиях», 1779 г. — см.: Хютль-Ворт, 1956, с. 110, Быстрова, 1966]; добавим еще *красное (краснейшее) сочинение* во второй редакции статьи Тредиаковского о прилагательных 1755 г. (см.: Пекарский, 1865, с. 109; ср. цитату на с. 453 наст. изд.). Ср. в словаре иностранных слов, опубликованных в «Корифее» Галинковского (ч. I, кн. 2, СПб., 1803, с. 17): «Litterature, литтература, словесность, наука изящных писмен, *belles lettres*, письменность, письменознание, любословие» (курсив оригинала); между тем, еще в предыдущем выпуске «Корифея» фигурирует другое толкование данного слова, в котором новое значение выражено не столь явно: «Слово литература будет на русском не столько словесность, сколько любословие, наука писмен, или ближе к

переводу, если позволят назвать письменность» («Корифей», ч. I, кн. 1, СПб., 1802, с. 27). Соответственно слово *литература* начинает восприниматься как галлицизм (ср. фр. *littérature* < лат. *litteratura*) и вызывает нападки литературных противников Карамзина. См., например, у Шишкова в «Рассуждении...» (1818, с. 296–297, примеч.) «Французское с Латинского языка взятое ими слово *литтература*, происходящее от имени *littere* [sic! т. е. *litterae*], письма или буквы, изображает в их языке тож самое понятие, какое в нашем языке изображает мы называем словесность: на что же нам чужое слово, когда у нас есть свое?» Ср., с другой стороны, в «Новостях русской литературы» за 1802 г., II, с. 201: «Без всякой нужды употребили вы Литературу вместо Словесности» — и примечание издателей: «Новости Русской Словесности! Мы не хотели так обижать слуха. Изд.» (Ср.: Биржакова, Войнова, Кутина, 1972, с. 161–162; Веселитский, 1972, с. 221–224).

²⁴⁷ *вкус подлинно новой, чистой* — типичные карамзинистские выражения. Ср. ниже у Ломоносова: «вы... изказили язык, и сему изказению дали еще имя: *новой вкус, чистое... перо*» (см. ниже, примеч. 255). Ср. примеч. 133, а также примеч. 24 и 38а.

²⁴⁸ *старинного духа* — слово *дух* в подобном контексте выступает как семантическая калька с фр. *esprit*; подобное употребление характерно прежде всего для карамзинистов (см. материал, относящийся к этому слову; Хютль-Ворт, 1956, с. 99; Веселитский, 1972, с. 160–162). Ср. далее реакцию Ломоносова на это выражение (см. примеч. 249).

²⁴⁹ *Упусти!* — без *старинного духа* — характерно, что эти выражения Галлорусса вызывают особенное негодование Ломоносова.

²⁵⁰ *англизировали* — ср. нем. *anglisieren*. Ср. примеч. 83.

²⁵¹ *офранцузили* — вероятно, калька с фр. *franciser*.

²⁵² *оснований Славенского языка... положил пределы* — см. выше, примеч. 2, 37, 163.

²⁵³ *Наречий*. Ср. у Шишкова противопоставление *наречия* и *языка* (см. с. 340 наст. работы).

²⁵⁴ *вы перелезли сии пределы* — глагол *перелезть*, по-видимому, выступает здесь как экспрессивный вариант к нейтральному в данном контексте слову *переступить*. Ср. выше выражение *преступление пределов* (см. примеч. 37) или в современном языке фразеологизм *преступать границы*. Специфический русизм, поскольку он противостоит нейтральной книжной форме, используется для создания экспрессии.

²⁵⁵ *новой вкус, чистое, блестящее, сладкое перо, утонченная кисть* — о соответствующих эпитетах см. выше примеч. 247, 50, 23.

²⁵⁶ *важный язык его для тебя кажется диким, и как бы грубым телом мыслей*. Эпитет *грубый* по отношению к «славенскому» языку и «старому слогу» противостоит у карамзинистов и их последователей эпитету *приятный* применительно к характеристике «нового слога». См. специально об этом на с. 382–389 наст. изд. Что касается

эпитета *дикий*, то можно сослаться на употребление его в аналогичном значении в анонимном памфлете («Разговоре в царстве мертвых») на «славянофилов» Геракова и П. Львова, где о Львове говорится, что он

Писал похвальные слова мужам великим,
Высоким слогом, но — надутым, пухлым, диким,
Предлинные слова в шесть, семь слогов ковал,
И в Академию Российскую попал

(Карамзин, 1866, с. 015)

(цит. по изд.: Батюшков, 1934, с. 588). Так же и Карамзин мог расценивать в свое время стиль Ломоносова как «дикий» и «варварский»: «... отдавая всю справедливость красноречию Ломоносова, не упустил я заметить штиль его *дикий варварской*, во все не свойственной нынешнему вкусу; и старался писать чище и живее» (см. письмо Г. П. Каменева к С. А. Москотильникову от ноября 1800 г. с цитированием этих слов Карамзина, в изд.: Бобров, 1902, с. 143; курсив оригинала).

²⁵⁷ по руководству моему. Имеются в виду филологические труды Ломоносова — в первую очередь такие, как «Российская грамматика», «Риторика», «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке».

²⁵⁸ мнимые твои Гении — здесь, так же как и выше (см. примеч. 192), слово *гений* выступает как результат ПЕРЕВОДА галлорусского слова *жени* на язык Ломоносова (и самого Боброва). Ср. примеч. 217.

²⁵⁹ органических правил языка — см. выше, примеч. 252.

²⁶⁰ похищают блестящее имя — эпитет *блестящий*, может быть, употреблен Ломоносовым иронически — как «чужое» слово, заимствованное из обихода представителей «нового слога». Ср. выше, примеч. 50 и 255.

²⁶¹ соловьем ... девятого или десятого века — в уста Ломоносова вложена цитата из «Слова о полку Игореве» (ср. «соловию старого времени»). Ср.: Левинтон, 1976.

²⁶² твоя и тебе подобных блистательность — ср. выше, примеч. 50.

²⁶³ колкаго приговора — может быть, калька с фр. *sentence piquante* (или *jugement piquant*). Ср. у Кантемира в примечаниях к VII-й сатире описательное выражение *острый судия*, соответствующее понятию «критик» (фр. *un critique*). См.: Кантемир, I, с. 167.

²⁶⁴ на своей ноге — см. выше примеч. 9.

²⁶⁵ наиболее — см. выше примеч. 56.

²⁶⁶ пишут ... bravo — см. выше, примеч. 54.

²⁶⁷ *любезность* — о характерности этого слова для Карамзина см.: Хютль-Ворт, 1956, с. 117.

²⁶⁸ угрюмая и старообразная степенность. Ср. выше у Галлорусса: «серьезность или по вашему степенность» (см. примеч. 22). Галлорусс, возможно, специально прибегает в данном случае к лексике «старого слога», употребляя ее как средство отрицательной характеристики.

²⁶⁹ Даже звук иностранных слов многим нравится больше, нежели согласие отечественных. Ср. свидетельство о социалингвистической функции и об особом престиже иностранного акцента в «Разговоре об ортографии» Тредиаковского: «Чужестранный человек» здесь отказывается от возможности научиться правильному русскому выговору именно с тем, чтобы не потерять престиж иноземца («Ибо ежели найдутся извесныя правила на ваши ударения; то мы все хорошо научимся выговаривать ваши слова: но сим совершенством потеряем право чужестранства, которое поистинне мне лучше правильного вашего выговора» — см.: Тредиаковский, III, с. 164). Ср. свидетельства о специальном щегольском произношении на иноязычный манер (грассировании и манерном пришептывании) в «Живописце», 1772, ч. II, л. 12, в «Сатирическом вестнике», 1790, IV, с. 101–102 (см.: Берков, 1951, с. 418; Покровский, 1903, прилож., с. 60). Возможно, нечто подобное имеет в виду Пушкин в «Евгении Онегине» (III, 29):

Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей
По прежнему сердечный трепет
Произведут в душе моей;
Раскаяться во мне нет силы,
Мне галлицизмы будут милы,
Как прошлой юности грехи,
Как Богдановича стихи.

К «щегольскому языку» и к «галлорусскому наречию» восходит, можно думать, дошедшее почти до наших дней манерное произношение иностранных слов с элементами иностранной фонетики, например *к[ǒ]курс*, *фин[ā]сы*, *ш[ā]сы* с носовыми гласными и т. п.

²⁷⁰ Эта сноска добавлена позднее — кажется, тою же рукою, но другими чернилами.

²⁷¹ *реформированью языка* — ср. выше примеч. 27.

²⁷² ты и сам ныне под судом. В своей рецензии на шишковское «Рассуждение...» Макаров, высоко оценив Ломоносова, как новатора, который «предал имя свое безсмертию», реформировав русский язык, замечал, однако: «язык Ломоносова так же сделался недостаточным», «языком Ломоносова мы не можем и не должны говорить, хотя бы умели: вышедши из употребления слова покажутся странными; ни у кого из нас не станет терпения дослушать период до конца» («Московский

Меркурий», 1803, ч. IV, декабрь, с. 160, 162, 181; курсив Макарова). Те отрывки из Ломоносова, которые были с похвалой процитированы Шишковым, Макаров осудил: «Имеем почтение к отцу российского стихотворства, но почтение беспристрастное:

И в солнце, и в луне есть темные места!

сказал бессмертный творец „Россиады“. Здесь Макаров совпал с критиком «Северного вестника», который по поводу тех же цитат Шишкова из Ломоносова писал: «Я имею уважение к великому нашему Лирику; но признаюсь, никогда не думал, чтобы стихи сии были слишком хороши: они всегда казались мне слишком посредственными, и я не узнавал в них Ломоносова» (см. рецензию на «Рассуждение о старом и новом слоге...» за подписью «А. З.» — «Северный вестник», 1804, ч. I, № 1, с. 22). Для оценки Ломоносова Карамзиным ср., между прочим, запись Г. П. Каменева 1800 г., цитируемую выше, примеч. 256. Об отношении Карамзина к Ломоносову см. вообще специально: Виноградов, 1935, с. 29.

²⁷³ Две черты (— —) поставлены по стертому тексту.

²⁷⁴ трогаюсь — здесь: гневаюсь, сержусь.

²⁷⁵ бойких умов — ср. фр. esprits hardis.

²⁷⁶ Сегюров — имя Ж. А. де Сегюра было значимо для П. И. Макарова: в одном из номеров «Московского Меркурия» (1803, ч. III, июль) была помещена переведенная им «Критика на Сегюрову книгу о женщинах».

²⁷⁷ уважение. Примечательно, что это слово (полонизм по своему происхождению) фигурирует в речи Бояна. Г. С. Батеньков в своем цитированном выше письме (см. с. 436–437, примеч. 92 и с. 437–438, примеч. 96 наст. изд.) приводит данное слово как пример лексики нового слога, против которой восстают архаисты (ср. о полонизмах в «галло-русском наречии» примеч. 56).

²⁷⁸ Вельшския ведьмы — см. выше примеч. 4.

²⁷⁹ без перемежки читать *Тилемазиду*. Чтение «Тилемахиды», как известно, было введено в качестве шуточного наказания при дворе Екатерины Второй. Об отношении к Тредиаковскому в литературе конца XVIII — начала XIX вв. см.: Орлов, 1935, с. 22 и след., а также стихотворение В. Г. Анастасевича «О „Телемахиде“» и примеч. к нему в кн.: Поэты 1790–1810-х годов, 1971, с. 566 и 858; ср. высокий отзыв о Тредиаковском в «Корифее» Галинковского (кн. I, СПб., 1802, с. 68). — Насмешки над Тредиаковским в устах Боброва звучат неожиданно. В. П. Семенников (1923, с. 304) высказал предположение, что в статье Радищева «Памятник дактилохоремическому витязю» под видом одного из собеседников (обозначенного инициалом Б) изображен Бобров.

Поскольку Б — апологет Тредиаковского, комментируемый текст противоречит этому предположению.

²⁸⁰ остров пальмов. Любопытна форма род. мн. пальмов. Ср. о подобных формах: Обнорский, II, с. 234 и сл.

²⁸¹ Галской феномен — ироническое употребление «галлорусского» слова в речи Меркурия. Ср. выше, примеч. 85.

²⁸² Вельшских фурий — см. выше примеч. 4.

²⁸³ Изумленный Галлорусс — ср. выше примеч. 7.

Указатель слов и выражений, обсуждаемых во вступительной статье и комментарии.

а! 452, 496
абие 378, 440
авантажиться 462
автор 376, 434, 502–503
авторски 503
авторский 503
аг 495
амбарго 414, 492
ангел 465
англизировать 551
армия 459
артиллерия 459
арфа 414, 494–495, 522
арфистка 522
археография 429
археология 429
архитрав 397
ах 398, 452, 495–496
аханье 496
ахиня 437
ахти 496
ахтительно 496
ахтительный 496
аще 378, 415, 440

ба 495
бабий праздник 415
багатель 517
барон 397
барыня 387
барышня 387
батальон 459
безделица 517
безделка 517
безмерный 516
безначальный 516

белолыный 423
бесконечность 516, 524
бесконечный 516
бескорыстие 356
бесподобно 399, 516
бесподобное слово 464
бесподобный 464, 513, 516
беспредельный 516
бесприкладно 516
беспримерно 498, 516
беспримерный 513, 516
бессмыслие 508
бесстыдная речь 435
бесстройный 459
бесчисленный 516
библейский 445
благородный 394–395, 458
блестящее имя 511, 552
блестящее перо 353, 511, 551
блестящий 511, 548
блистательность 376, 511, 552
блистательный 376, 504, 511, 530,
538–539, 548
блистательный слог 511
блистать 510–511
боевой указ 459
боже мой 398, 461
бойкий ум 554
болванчик 461
большой свет 353, 515–516, 546
браво 512, 543, 552
бравый 512
братец 498
брат место 524
бриллиантовый 511
брилировать 510

Указатель слов и выражений

бронемет 459
брюхатая 536
бурлацкий 452
быть в духе 528
быть далеким от 524, 525, 528
быть на (какой) ноге 399, 494–495,
540, 552
быть не в своей тарелке 399, 506
быть развязанным 504
быть связанным 504
бют 520

важность 500
важный 394, 500, 551
варварский 552
варягоросс 374, 394, 428, 433
варягоросский 433, 440
варяг-славянин 433, 493
варяжский слог 433
великатный 444
великодушец 423
вельх 374, 493
вельшский 492–493, 513, 516, 554–
555
венчать 547
ветгия 502
ветошка 525
ветрило 436
вечность 532
вздор 508
взять терпение 528
видный 539
визжать 452
витать 420
вкус 353, 358, 376, 383, 387, 509–
510, 514, 534, 544, 547–548,
551
вкусоборец 510
влачить жалкое существование
366
влиание 437
внимать 530
внушить 530
водить компанию 462

воemet 459
воерод 459
волочиться 500
воплъ 424
вор 424
воспеть 534
восхититель 522
восхитительно 496
восхитительный 496
восхищаться 522
восхищение 435, 522
вот 425
всё 497
всебронь 459
всесовершенный 516
вставить 452
внушить 361
вы 443, 549–550
выигрывать 522
выказывать 543
выкинуть вздор из головы 399
выражаться 435
выразить 543
выразить себя 435
высокий язык 458, 539
высокопарный 394
высшее общество 456

гад 517
галиматья 434, 437, 508
галлизированный 517
галлицизм 375, 377, 391, 493
галлобес 521
галлобесие 520–521
галлолюбие 521
галломан 493, 521
галломания 521
галлорусс 375, 493, 540, 549, 555
гальский 555
гармония 376, 414, 522–523
гений 361, 375–376, 414, 437, 525–
527, 530, 541, 543–544, 552
глаз 424
глазоем 420

говенство 437
горизонт 420
горизонтально 420
готовить себя 508
грамматика 435
грива 499
гром слов 533
громкие слова 533
громкий 448-449, 533
громко 533
грубо 387
грубость 386
грубый 382-384, 387-388, 418,
440-442, 551
грубый вкус 383, 443
грубый выговор 442
грубый язык 442-443
говор 436
горизонт 367
губы 424
гусли 414, 494, 522

дактиль 435
далекий от 524-525, 530
дама 387
двоица 433
дворянящийся 421
девки 500
делать кур 462-463
делать себя 508
деликатно 444
деликатность 444
деликатный 444
денница 432
десяток 459
деташмент 459
дивизия 459
дивиться 543
дивный 515
дивоваться 458
дикий 551-552
дирекция 459
диспозиция 459
до безумия 516

до бесконечности 516, 524
до смерти 516
доброгласие 523
добрый 521
доказать 543
долгий 418
дондеже 377, 386, 415, 440
достойн 538
драматист 540
древний вкус 514
древность 532
дружеский разговор 446, 453
дружина 434
дурачество 351, 464
дух 451, 526-527, 530, 551
дышать 434

европеизм 375
единоцентричный 435
если... то 509
естественно 454
естественный 454
естество 391, 454
ефрейсторство 459

желание 356
женероз 524
женерозите 524
женерозство 524
жени 361, 375-376, 378, 525-528,
530, 540-541, 544, 550, 552
женский слог 387
женское естество 454
женщина 387
жест(о)кий 382-383, 387-388, 424,
433, 441
живой 539, 548
живописатель 548
живописательный 548
живописный 548
животрепещущий 417
живущий 501
журналист 435

заблуджительный 503
заботить себя 508
законоведение 367, 429
законопись 429
законоположение 367
закоренелый 516
замешанный 531
замысловатый 522
занимательный 536-537, 545
заниматься 524, 539
запрещение 414, 492
звездоблудилище 418
знаменитый 521
знамя 459

играть комедь 462
играть роль 512
идея 528
иждивение 356
изба 424
изнеженный 386
изображение 429
изумление 493, 522
изумленный 493
изумляться 493-494
изящная словесность 550
изящность 514
изящные искусства 444, 513
изящные науки 513
изящные письма 550
изящный 444-445, 513, 529, 543,
549
имагинация 400
импровизант 528
импровизатор 528
иначе 386
инсект 517
интерес 535-537
интересное положение 536
интересный 375-376, 398, 411,
535-537
интересоваться 535-537
иррегулярный 459
исперва 415

исполнитель 459
история 429
исчадье отечества 517
итальянобесие 520
ихний 499

кавалерия 459
казенный интерес 536
капральство 459
каре 459
картина 538
кафедра 429
кирасир 459
классический 502
клеть 424
книжный 393
книжный язык 456
кнул 447
кнутобес 522
колико 378
колкий приговор 552
колонна 397, 459
комедь 462
компания 462
конник 459
конница 459
коренное основание языка 492,
516, 535
коренной 371-373, 385, 426
короновать 547, 549
корпус 459
который 421-422
красная словесность 550
красные письма 550
красные сочинения 550
красота (слога) 541
крик 424
критик 552
критикованный 421
критикуемый 421
критикующий 421
кругозор 367
кругозорно 420
купно 378

кур 462

ланита 431
латиновельхофранцуз-
ский 440, 493
латник 459
линия 459
литература 376, 393, 550–551
литургия 429
лоб 424
лучшее общество 456–457
любовидостойный 420
любезность 553
любить 500

манер 520
манериться 462
манья 520, 528
меж 372
между 372
меланхолия 528
мерцать 420
метафорический 435
метода 528
мещанский 395
милый 460, 513, 531, 544–547
мировоззрение 426
млекопитающее 366
мой ангел 398, 465
монополия 376, 544
монотония 351, 528
мораль 500, 528, 531
москвобес 522
моя прелесть 465
моя радость 465
мракобес 521
мракобесие 417, 521–522
мудрагель 528
мужское естество 454
мужицкий 395
мушкетер 459

набоженство 438
набожность 438
набожный 438
наваждение 437
награда 438
надутый 450
надутый (слог) 418, 450
наиболее 552
наивно 500
наивный 500
наилучший 512
наипаче 378
наипревосходнейший 513
наиприятнейший 512
наисладчайший 512
наисовершенный 513
наичистейший 512
напряжение 531, 535
наречие 425, 551
народность 407, 451
народные песни 451
народный 407, 451–452, 458
народный дух 451
народный характер 452
нарядно 528
насекомое 517
натура 391, 454
натурально 454
натуральный 454
наука 393, 550
находить 519, 531
национальность 451–452
национальный 407, 451
национальный вкус 426
начитанность 518
начитанный 518
нашли короче говорить 435
небо 461
неги глас 533
нежничать 450
нежная материя 450
нежно 444
нежнозвучный 449
нежность 384, 388, 448–450

нежность языка 386
нежные стихи 448
нежный 382–383, 386–388, 424,
441–445, 448–450, 545
нежный вкус 383, 387, 443
нежный выговор 386
нежный пол 386
нежный слух 443, 447
нежный язык 450
неисправный выговор 442
неограничаемый 516
несекомое 517
неудобо-разумо-и-дуодеате-
лен 417–418
неумолимый 423
неумытный 423
низкий 452
нововер 517
новорусский (новороссийский) 533–
534
новый 337, 405
новый вкус 547, 551
носить отпечаток 529

о небо 461
обаче 386
обаяние 523
обаятельный 420, 523
обезьяна 463–464
обезьянство 464
обзор 420
обнаружить 543
обожать 438, 461, 516, 530
обходиться на короткой ноге 494
общее употребление 340, 385
общество 394, 456
овамо 378
ого 452
одесную 521
озречь 420
око 424
оный 437, 466
описание 429
ополчение 459

опровергать 519
опрокинуть 520
опрокинуться на кого 519
ославляться 518
оставить 516
острог 447
остроумие 526
остроумный 548
острый судья 552
отвязываться от кого 399, 504
отец отечества 518
откровенный 500
отпечаток 529
отряд 459
отцепись! 399
офицер 459
офранцузить 551
охрана 438
очарование 523
очаровательный 376, 398, 420, 515,
523
очищенный язык 502, 508
очюнь 425

пансион 509, 513, 516
патетически 361, 515
патетический 515–516
патетический слог 515
патриот 518
пафетичный 515
паки 388
пахнуть 496–497
паче 386
певец 502
первобытный 371, 385, 446
первообразный 371, 492
перелезть 551
переступить 551
перечистить себя 508
петиметр 463
пехотинец 459
печать 529
писарь 434
писатель 502, 547

писать во вкусе 547
 писать патетически 361, 515
 писать по-авторски 503
 писать по-подъячески 503
 писать подло 453, 458
 писать страстным слогом 515
 питать надежду 366
 пишальник 459
 пламенник 540
 плен 372
 пленительный 531
 пленить 509, 535
 пленяющийся 509, 531
 плечо 431
 площадная мораль 500
 площадной 394
 площадные слова 500
 подло 458
 подлое употребление 458
 подлый 395, 442, 458
 подлый народ 395
 подлый язык 395, 442
 подъяческий 394, 395, 503
 подъяческий слог 386
 подъяческий язык 447
 поелику 378
 поздравление 438
 покойно 444
 полезные искусства 444
 полон 372
 помешанный 531
 понеже 415
 попугай 463-464
 пора 452
 посвящать себя 508
 пост 459
 поставить одесную 521
 постоянно 500
 похититель 522
 похищать 522
 поэма 435
 праведно 523
 праведное небо 506, 548
 праведное солнце 506

правило 383, 548
 правоведение 429
 правопись 429
 православие 407
 прегрубый 384
 предварить 420
 предел 551
 предлог 429-430
 предмет 430
 предупреждать 420
 преизящный 513
 прекраснодушие 426
 прекрасный 513
 прелести сердечности 503
 прелестный 384, 398, 460-461, 523
 прелесть 376, 460, 462, 465, 523-524, 538
 прельщать 524
 пресерьезно 500
 пресмыкающееся 366
 преступить 551
 преступление пределов 507, 551
 привести в жалость 525
 привлекающий 515
 приговор 552
 природа 454
 пристрастный 515
 приходить в восхищение 522
 приходить в изумление 522
 причастодетие 504
 приятно 444
 приятность 376, 384, 529, 548
 приятный 376, 382-384, 387-388, 441-445, 529-530, 549, 552
 приятный вкус 384
 приятство 384
 проза 435
 прозаический 435
 проповедалище 429
 проронить 522
 просвещенный помещик 356
 простой 394, 539
 престоноародный 395
 престоноародный слог 457

простота 386
 прохладиться 420
 прыгающие (мысли) 509
 пужать 425
 пустяк 351, 517
 пухлый 442
 пышный 516

 равнение 459
 равнина 438
 радость 465
 развязанный 504-505, 509
 развязность 505
 развязный 398, 504-505
 разговор 436
 размышление 454
 рамо 431
 рассветать 452
 рассматривание книг 542
 расстеганный (слог) 509
 растрогать 525
 ратник 459
 рать 459
 редкий 513
 рейтар 459
 ретироваться 535
 ретушировать 495
 реформированье 503, 553
 реформировка 503
 рецензировать 542
 рецензия 542
 розмысл 437
 роль 512
 роля 512
 роман 399
 романтизм 389
 раомантик 445
 рот 424
 румянность 549
 русский француз 434-435
 руссофил 397
 рядобой 459

самобытный 516
 самодержавие 407
 самый 513
 собирать 372
 свершать 372
 свет 391
 связанный 504
 сделать 519
 сделать грубость 519
 сделать грусть 519
 сделать distraction 519
 сделать компанию 463
 сделать партию 519
 сделать постель 519
 сделать честь 531
 себялюбивый 423
 себялюбие 423
 сей 434, 459, 466
 сековой 437
 семинарский 394
 семо 378
 сентимент 400
 сентименталист 528
 сентиментальность 503
 сентиментальный 503
 сердечный 500
 серьезно 500
 серьезность 361, 500-501
 серьезный 398, 500-501
 сестрица 498
 сильный 539
 сице 440
 сияющие мысли 548
 сказка 399
 сквозные гусли 414, 522
 скудель 431
 славно 509
 славность 498
 славный 498-499, 512, 519, 521
 славянизм 387
 славянин 339, 375, 459
 славянировать 518
 славянобес 522
 славянобесие 520

славяноварварский 418, 440
 славяноман 521
 славяномания 520
 славяноросс 375, 433
 славянороссийский (славянорос-
 ский, славянорусский) 375,
 418, 433, 440, 493, 533
 славянофил 394, 397, 427-428, 433
 славянский (славенский) 373, 383,
 428-429, 438-440, 459, 533
 славянский язык 551
 славянщина 387-388
 сладкое перо 353, 551
 сладостный 515
 слеза 546
 словесность 550
 слог 392
 служба 429
 собирать 372
 соблазн 462
 соблазнительный 461
 совершать 372
 совершенный 516
 согласие 522-523
 соединенные славяне 459
 сойтись с компаниею 463
 солдат 459
 соображение 437
 сослужать 426
 сосредоточить 519
 состоять 426
 сочинитель 502-503
 писатель 502
 сразу 459
 средняя точка 519
 средоточие 519
 став 459
 старинный 352
 старинный дух 551
 старовер 517
 степенность 361, 500-501, 553
 степенный 502
 стихобес 522
 странный 520

страстный 361
 страстный слог 361, 515
 строгий 500
 строить дворники 462
 строить куры 462
 сугубо 440
 судить праведно 523
 судья 552
 сцена 528
 счастье 356
 сын отечества 518

татарско-славянский 440
 тать 424
 творец 502-503
 текст 435
 технический 435
 толпник 459
 тонкий 383, 501
 тонкий вкус 383, 501, 509-510
 траур 397
 трикраты 432
 трогательно 501, 525
 трогательный 376, 421, 504, 511,
 525, 537-538, 545
 трогать 421, 511, 537
 трогаться 554
 трогающий 421, 504, 511, 537
 трогающий слог 515
 тронуть 525
 ты 549-550

убо 437, 440
 уважать 438
 уважение 437-438, 554
 увенчать 547, 549
 увы 516
 удивляться 543
 улучшивать 550
 умилительный 515
 умильный 515
 умключение 437
 уморительно 399

умствование 454
 употребление 339-340, 383, 385,
 514, 541-542, 548
 управа 459
 упустить 549
 уряд 459
 уста 424
 устне 424
 усы 452
 уточневать чувства 548
 уточненная кисть 353, 551
 уточненные чувства 501, 548
 уточненный 501
 уточненный вкус 509-510, 548

факел 540
 фантом 528
 феномен 518, 555
 филантроп 528
 флейтоигральщик 423
 форма 528
 фраза 528
 франкобесие 520
 франколюб 521
 франт 463
 француз 434
 французолобец 521
 французомания 521
 французский 433-434
 французский манер 520
 французско-русский 375
 французское платье 433

харчевня 447
 хорошее общество 463

цветной 539
 центр 519

частное употребление 339
 чело 423

человек с чувством 544, 547
 человеколюбивый 528
 челоприклонец 423
 чепуха 500
 чиновник 459
 чиновпись 429
 чистое перо 353, 551
 чистосердечный 500
 чистословие 550
 чистый 548
 чистый вкус 508, 529, 551
 чорт 425
 чорт возьми 398, 462
 чтеньбесие 520
 чтоб(ы) 507, 509, 511, 516, 518,
 520, 524-525
 чувство 549
 чувствительно 423
 чувство 544
 чувствование 549
 чудиться 458
 чужбесие 520
 чуха 513
 чють 425

шелом 372
 шлем 372
 штаб 459
 штандарт 459
 шутишь 399
 шутики прочь 399

щегольские науки 444
 щегольское наречие 540
 щегольской 444, 540
 щегольской слог 400
 щегольство речей 456
 щедрость 549
 щедрота 549
 щедротохищник 423
 щека 431

эво 425
 экзекутор 459
 экселлировать 400
 экспрессия 400
 элеганс 444–445
 элегантный 444–445
 электрический 435
 эложь 376, 542
 энергия 528
 эпизода 435

эпоха 435
 этикет 376, 509, 516
 это 425, 459

явление 518
 язык 551
 язык общества 455
 якобы 415
 ямб 435

Литература

- ААЭ, I–IV.** Акты, собранные... Археографическою экспедицею имп. Академии наук. СПб., 1836. Т. I–IV.
- Аввакум, 1960.** Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. М., 1960.
- Аввакум, 1979.** Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения. Иркутск, 1979.
- Аверьянова, 1964.** Рукописный лексикон первой половины XVIII века / Подг. текста, вступ. ст. А. П. Аверьяновой. Л., 1964.
- Агренева-Славянская, I–III.** О. Х. Агренева-Славянская. Описание русской крестьянской свадьбы. М.–СПб., 1887–1889. Т. I–III.
- Адальберг-Крыжановский, I–IV.** *Nówa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło S. Adalberga opracował Zespół Redakcyjny pod kierunkiem J. Krzyżanowskiego.* Warszawa, 1969–1978. Т. I–IV.
- Адогуров, 1731.** В. Е. Адогуров. *Anfangs-Grunde der Russischen Sprache // Вейсманов лексикон. 1731.* (Приложение). Факс. воспр.: *Drei russische Grammatiken des 18. Jahrhunderts. Nachdruck der Ausgaben von 1706, 1731 und 1750 mit einer Einleitung von B. O. Unbegaun.* München, 1969. (Slavische Propyläen. Bd. 55); *Weismanns Petersburger Lexicon von 1731.* München, 1983. Teil III. (Specimina Philologiae Slavicae. Bd. 48).
- Адрианова-Перетц, 1935.** В. Адрианова-Перетц. Символика сновидений Фрейда в свете русских загадок // Академия наук СССР — академику Н. Я. Марру. М.–Л., 1935.
- Адрианова-Перетц, 1936.** В. П. Адрианова-Перетц. Праздник кабацких ярыжек: Пародия-сатира второй половины XVII века. М.–Л., 1936.
- Адрианова-Перетц, 1977.** Русская демократическая сатира XVII века / Подг. изд. В. П. Адриановой-Перетц. М., 1977.
- Азадовский, I–II.** М. К. Азадовский. История русской фольклористики. М., 1958–1963. Т. I–II.
- Азадовский, 1938.** М. Азадовский. Пушкин и фольклор // М. Азадовский. Литература и фольклор. Очерки и этюды. Л., 1938.
- Азадовский, 1965.** М. К. Азадовский. Декабристская фольклористика // М. К. Азадовский, Статьи о литературе и фольклоре. М.–Л., 1965.
- Азбука гражданская... , 1877.** Азбука гражданская с нравоучениями. Правлено рукою Петра Великого. СПб., 1877.
- АИ, I–V.** Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1841–1842. Т. I–V.
- Аксаков, I–IV.** С. Т. Аксаков. Собрание сочинений. М., 1955–1956. Т. I–IV.

- Аксакова-Сиверс, I-II. Т. А. Аксакова-Сиверс. Семейная хроника. Paris, 1988. Кн. I-II.
- Акты Зап. России, I-V. Акты, относящиеся к истории Западной России. СПб., 1846-1853. Т. I-V.
- Алексеев, I-IV. *Петр Алексеев*. Церковный словарь... Изд. 4-е. СПб., 1817-1819. Ч. I-IV.
- Алексеев, 1983. М. П. Алексеев. Сравнительное литературоведение. Л., 1983.
- Алмазов, I-III. А. И. Алмазов. Тайная исповедь в православной Восточной церкви. Опыт внешней истории. Исследование преимущественно по рукописям. Одесса, 1894. Т. I-III.
- Альтшуллер, 1964. М. Г. Альтшуллер. С. С. Бобров и русская поэзия конца XVIII — начала XIX в. // Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма. М.-Л., 1964.
- Альтшуллер, 1975. М. Г. Альтшуллер. Крылов в литературных объединениях 1800-1810-х годов // Иван Андреевич Крылов. Проблемы творчества. Л., 1975.
- Альтшуллер, 1975а. М. Г. Альтшуллер. Неизвестный эпизод журнальной полемики начала XIX века («Друг просвещения» и «Московский зритель») // XVIII век. Сб. 10. Л., 1975.
- Амбургер, 1953. E. Amburger. Die Behandlung ausländischer Vornamen im Russischen in neuer Zeit. Mainz, 1953.
- АМГ, I-III. Акты Московского государства. СПб., 1890-1901. Т. I-III.
- Аналогические таблицы. Предварительные таблицы для Словаря русского языка. СПб., 1784-1787. Ч. I-V.
- Анохин, 1924. А. В. Анохин. Материалы по шаманству у алтайцев // Сб. Музея антропологии и этнографии Академии наук. Л., 1924. Т. IV, вып. 2.
- Антонова и Мнева, I-II. В. И. Антонова, Н. Е. Мнева. Каталог древнерусской живописи. М., 1963. Т. I-II.
- Аполлос Байбаков, 1794. Аполлос Байбаков. Грамматика, руководствующая к познанию славено-русского языка. Киев, 1794.
- Арзамас и арзамасские протоколы. Арзамас и арзамасские протоколы. Л., 1933.
- Арзуманова, 1984. М. А. Арзуманова. Русский сентиментализм в критике 90-х годов XVIII в. // Русская литература XVIII века. Эпоха классицизма. М.-Л., 1984 (XVIII век. Сб. VI).
- Арним, 1933. Б. фон Арним. Приносяще кучета в жертва при царь Симеона // Български преглед. 2 (1933). Кн. I.
- Арсений и др. [Арсений, архиепископ Элассонский, и его ученики]. АДЕΛΦΟΤΗΣ. Грамматика доброглаголивого еллинословенского языка. Во Львовѣ, 1591. Воспр.: Adelphotos. Die erste gedruckte griechisch-kirchenslavische Grammatik, L'viv-Lemberg, 1591. Herausgegeben und eingeleitet von Olexa Horbatsch. Frankfurt am Main, 1973. (Specimina philologiae slavicae. Bd. 2).
- Арх. словарь. Картотека Архангельского областного словаря, хранящаяся на кафедре русского языка Московского университета.

- Архангельский, 1888. А. С. Архангельский. Очерк из истории западно-русской литературы XVI-XVII в. // ЧОИДР. 1888. Кн. I.
- Архив Тургеневых, I-VI. Архив братьев Тургеневых. СПб., 1911-1921. Вып. I-II.
- Архипов, 1980. А. А. Архипов. О происхождении древнеславянской тайнописи // Советское славяноведение. 1980. № 6.
- Архипов, 1982. А. А. Архипов. Из истории гебраизмов в русском книжном языке XV-XVI веков. АКД. М., 1982.
- Аути, 1973. R. Auty. The Role of Purism in the Development of the Slavonic Literary Languages // The Slavonic and East European Review. 1973. Vol. LI, № 124.
- Афанасьев, I-III. А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки в трех томах / Под ред. Л. Г. Бараг и Н. В. Новикова. М., 1984-1985. Т. I-III.
- Афанасьев, 1855-1863, I-VIII. А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки. М., 1855-1863. Вып. I-VIII.
- Афанасьев, 1859а. А. Н. Афанасьев. Русские сатирические журналы 1769-1774 годов. М., 1859.
- Афанасьев, 1859. А. Н. Афанасьев. Образцы литературной полемики прошлого столетия // Библиографические записки. 1859. № 15 (стлб. 449-476). № 17 (стлб. 513-528).
- Афанасьев, 1865-1869, I-III. А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу. М., 1865-1869. Т. I-III.
- Афанасьев, 1872. [А. Н. Афанасьев]. Русские заветные сказки. [Женева, 1872].
- Афанасьев, 1914. А. Н. Афанасьев. Народные русские легенды. Казань, 1914.
- Ашукин, 1941. Н. С. Ашукин. Историко-бытовой комментарий к драме Лермонтова «Маскарад» // «Маскарад» Лермонтова. Сборник статей под ред. П. И. Новицкого. М.-Л., 1941.
- АЮ, 1838. Акты Юридические. СПб., 1838.
- АЮЗР, I-XV. Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России. СПб., 1861-1892. Т. I-XV.
- Бабкин, 1951. Д. С. Бабкин. Русская риторика начала XVII века // ТОДРЛ. 1951. Т. 8.
- Бабкин и Шендецов, I-II. А. М. Бабкин, В. В. Шендецов. Словарь иноязычных выражений и слов. М.-Л., 1966. Т. I-II.
- Бадаланова и Терновская, 1983. Ф. К. Бадаланова, О. А. Терновская. О сове смаленой // Полесье и этногенез славян. Предварительные материалы и тезисы конференции. М., 1963.
- Балов, Дерунов и Ильинский, 1898. А. Балов, С. Дерунов, Я. Ильинский. Очерки пошехонья, II // Этнографическое обозрение. 1898. Кн. XXXIX, № 4.
- Бараг и Новиков, 1984. Л. Г. Бараг, Н. В. Новиков. А. Н. Афанасьев и его собрание народных сказок // А. Н. Афанасьев. Народные русские сказки в трех томах / Под ред. Л. Г. Бараг и Н. В. Новикова. М., 1984. Т. 1.
- Баррис, 1935. E. E. Burris. The Place of the Dog in Superstition as Revealed in Latin Literature // Classical Philology. 30 (1935). № 1.

- Барсков, 1912. *Я. Л. Барсков*. Памятники первых лет русского старообрядчества. СПб., 1912.
- Барсков, 1915. *Я. С. Барсков*. Переписка московских массонов XVIII-го века. 1780-1792. Пг., 1915.
- Барсов, 1768. [*А. А. Барсов*]. Азбука церковная и гражданская с краткими примечаниями о правописании. М., 1768.
- Барсов, 1981. Российская грамматика А. А. Барсова / Подг. текста и коммент. М. П. Тоболовой. Под ред. и с предисл. Б. А. Успенского. М., 1981.
- Бартенев, I-IV. Оснадцатый век: Исторический сборник / Изд. П. Бартевым. М., 1869. Кн. I-IV.
- Бартенев, 1887. *П. И. Бартенев*. Житие преподобного Сергия Радонежского. Написано Государынею императрицею Екатериною Второю. СПб., 1887.
- БАС, I-XVII. Словарь современного русского литературного языка. М.-Л., 1948-1965. Т. I-XVII.
- Батюшков, I-III. *К. Н. Батюшков*. Сочинения. СПб., 1885-1887. Т. I-III.
- Батюшков, 1934. *К. Н. Батюшков*. Сочинения. М.-Л., 1934.
- Баялиева, 1972. *Т. Д. Баялиева*. Доисламские верования у киргизов. Фрунзе, 1972.
- Бейер, 1908. *H. Beyer*. The Symbolic Meaning of the Dog in Ancient Mexico // *American Anthropologist*. 10 (1908). № 3.
- Белецкий-Носенко, 1966. *П. Білецький-Носенко*. Словник української мови. Київ, 1966.
- Белинский, I-XIII. *В. Г. Белинский*. Полное собрание сочинений в тринадцати томах. М., 1953-1959. Т. I-XIII.
- Белоброва, 1976. *О. А. Белоброва*. К изучению «Книги избранной вратце о девятих мусах и о седмих свободных художествах» Николая Спафария // ТОДРЛ. 1976. Т. 30.
- Белокуров, 1886. *Сергей Белокуров*. Предисловие // Сильвестр Медведев. Известие истинное. М., 1886.
- Белокуров, 1888. *С. А. Белокуров*. Материалы для русской истории. М., 1888.
- Белокуров, 1911. *С. А. Белокуров*. О намерении Ломоносова принять священство и отправиться с И. К. Кирилловым в Оренбургскую экспедицию 1734 г. // Ломоносовский сборник, 1711-1911 / Под ред. В. В. Сиповского. СПб., 1911.
- Белоруссов, 1890. *И. М. Белоруссов*. Зачатки русской литературной критики. Воронеж, 1890. Вып. I.
- Белый, 1933. *Андрей Белый*. Начало века. М.-Л., 1933.
- Бенсон, 1967. *M. Benson*. Dictionary of Russian personal names. With a guide to stress and morphology. Philadelphia, 1967.
- Берков, 1930. *П. Берков*. Изучение русской литературы иностранцами в XVIII веке // Язык и литература. Л., 1930. V.
- Берков, 1934. *П. Н. Берков*. К истории русско-польских культурных отношений конца XVIII и начала XIX вв. I И. Т. Александровский,

- профессор русского языка и словесности в Кременецком лицее // Изв. АН СССР. 1934. № 9.
- Берков, 1935. *П. Н. Берков*. Неиспользованные материалы для истории русской литературы XVIII века. I. Анонимная статья Ломоносова (1755) // XVIII век. М.-Л., 1935. Сб. I.
- Берков, 1936. *П. Н. Берков*. Ломоносов и литературная полемика его времени. 1750-1765. М.-Л., 1936.
- Берков, 1937. *П. Н. Берков*. Ломоносов и проблема литературного русского языка в 1740-х гг. // Изв. АН СССР. Отд. общ. наук. 1937. № 1.
- Берков, 1949. *П. Н. Берков*. О языке русской комедии XVIII века // Изв. АН СССР. Сер. ОЛЯ. 1949. Т. VIII, вып. I.
- Берков, 1951. Сатирические журналы Н. И. Новикова / Под ред. П. Н. Беркова. М.-Л., 1951.
- Берков, 1951а. *П. Н. Берков*. Новиков или Новиков? // Сатирические журналы Н. И. Новикова. М.-Л., 1951.
- Берков, 1952. *П. Н. Берков*. История русской журналистики XVIII века. М.-Л., 1952.
- Берков, 1962. *П. Н. Берков*. Несколько справок для биографии А. П. Сумарокова // XVIII век. М.-Л., 1965. Сб. 5.
- Берков, 1964. *П. Н. Берков*. Несколько замечаний о букве «ять» по литературным данным XVIII в. // *Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald*. Jg. XIII. 1964. Gesellschafts und sprachwissenschaftliche Reihe. № 5-6.
- Берх, I-IV. *В. Берх*. Жизнеописания первых российских адмиралов или опыт истории русского флота. СПб., 1831-1836. Т. I-IV.
- Бессонов, I-VI. *Н. Бессонов*. Калеки переходные. М., 1861-1864. Т. I-VI.
- Бестужев, 1822. *А. Бестужев*. Примечания на критику, помещенную в 13-м № Сына Отечества, касательно опыта краткой истории Руской Литературы // *Сын Отечества*. 1822. Ч. 77, № 20.
- Бестужев, 1823. *А. Бестужев*. Взгляд на старую и новую словесность в России // *Полярная Звезда*. 1823.
- Бешевлиев, 1936. *Б. Бешевлиев*. Нѣколко бележки към българската история. София, 1936.
- Биллярский, 1865. *П. С. Биллярский*. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865.
- Биржакова, 1965. *Е. Э. Биржакова*. Описание фразеологического состава русского литературного языка XVIII века в «Словаре Академии Российской» 1789-1794 гг. // Материалы и исследования по лексике русского языка XVIII века. М.-Л., 1965.
- Биржакова, Войнова и Кутина, 1972. *Е. Э. Биржакова, Л. А. Войнова, Л. Л. Кутина*. Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII в. Языковые контакты и заимствования. Л., 1972.
- Бицилли, 1929. *П. Бицилли*. Из наблюдений над русской ономастикой как культурно-историческим источником // *Šišićev zbornik. Melanges Šišić*. Zagreb, 1929.
- Бицилли, 1936. *П. Бицилли*. К вопросу о характере русского языкового и литературного развития в новое время // *Годишник на Со-*

- фийский университет. Историко-филологический факультет. София, 1936. Кн. XXXIII, 4.
- Благово, 1989. Д. Благово. Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком / Изд. подг. Т. И. Орнатская. Л., 1989.
- Блок, 1989. А. Блок. Дневник. М., 1989.
- Блудов, 1903. [Д. Н. Блудов]. Видение в какой-то ограде, изданное обществом ученых людей // Е. Бобров. Литература и просвещение в России XIX в. Материалы, исследования и заметки. Казань, 1903. Т. IV.
- Блумфилд, 1905. М. Bloomfield. Cerberus. The dog of Hades. Chicago, 1905.
- Бобров, I-IV. С. Бобров. Рассвет полночи... СПб., 1804. Т. I-IV.
- Бобров, 1798. С. Бобров. Таврида. Николаев, 1798.
- Бобров, 1804. С. Бобров. Херсонида. СПб., 1804.
- Бобров, 1902. Е. Бобров. Литература и просвещение в России XIX в. Материалы, исследования и заметки. Казань, 1902. Т. III.
- Богаевский, 1916. Б. Л. Богаевский. Земледельческая религия Афин. Пг., 1916.
- Богатырев, 1916. П. Г. Богатырев. Верования великоруссов Шенкурского уезда // Этнографическое обозрение. 1916. №3-4.
- Богатырев, 1926. Р. Bogatyrev. Les jeux dans les rites funebres en Russie Subcarpathique // Le Monde Slave. 1926. №11.
- Богдан, 1891. J. Bogdan. Ein Beitrag zur bulgarischen und serbischen Geschichtsschreibung // Archiv für slavische Philologie. 13 (1891), h. 4.
- Богдан, 1905. I. Bogdan. Documente privitoare la relațiile țării Românești cu Brașovul și cu țara Ungurească în sec. XV și XVI. București, 1905. Vol. I.
- Богданович, 1895. А. Е. Богданович. Пережитки древнего мировоззрения у белоруссов. Гродна, 1895.
- Богораз, I-II. В. Г. Богораз. Чукчи. Л., 1934-1939. Т. I-II.
- Богородицкий, 1902. В. А. Богородицкий. Диалектологические заметки, IV: Московское наречие двести лет назад. Казань, 1902.
- Бодянский, 1855. О. Бодянский. О времени происхождения славянских письмен. М., 1855.
- Бойс, 1975. М. Boyse. A History of Zoroastrianism // Handbuch der Orientalistik. Lieden-Köln, 1975. Abt. I, bd. VIII, abschnitt I, lief 2, h. 2A.
- Болонев, 1975. Ф. Ф. Болонев. Календарные обычаи и обряды семейских. Улан-Удэ, 1975.
- Болотов, 1933. А. Болотов. Мысли и беспристрастные суждения о романах как оригинальных российских, так и переведенных с иностранных языков // Литературное наследство. М., 1933. Т. 9-10.
- Бондаренко, I-IV. В. Н. Бондаренко. Очерки Кирсановского уезда Тамбовской губ[ернии]. I-IV // Этнографическое обозрение. 1890. №3, 4.
- Борн, 1808. И. Борн. Краткое руководство к российской словесности. СПб., 1808.

- Бородин, 1936. А. В. Бородин. Московская гражданская типография и библиотекари Киприановы // Труды института книги, документа, письма [АН СССР]. М.-Л., 1936. Вып. V.
- Бороздин, 1898. А. К. Бороздин. Протопоп Аввакум: Очерк из истории умственной жизни русского общества в XVII веке. СПб., 1898.
- Браилловский, 1889. С. Браилловский. Отношения Чудовского инок Евфимия к Симеону Полоцкому и Сильвестру Медведеву // РФВ. 1889. №4.
- Брандт, 1882. Р. Ф. Брандт. О присвоении животным собственных имен // РФВ. 1882. Т. VIII.
- Брандт, 1892. Роман Брандт. Лекции по исторической грамматике русского языка. Вып. I: Фонетика. М., 1892.
- Браун, 1958. Th. Brown. The black Dog // Folklore. 1958. LXIX, September.
- Брусилов, 1803. Н. Брусилов. Старец или превратность судьбы. СПб., 1803.
- Брусилов, 1803, I. Н. Б[русилов]. Безделки или некоторые сочинения и переводы. СПб., 1803. Кн. I.
- Брусилов, 1805. Н. Брусилов. Письмо к приятелю о русском театре // Журнал российской словесности. 1805. Ч. I, №2.
- Брусилов, 1805а. Н. П. Брусилов. Письмо к издателю // Журнал российской словесности. 1805. Ч. I, №3.
- Брюкнер, 1908. А. Brückner. Roty sądowe polskie XV. wieku // Jagić Festschrift. Zbornik u slavu Vatroslava Jagića. Berlin, 1908.
- Бубнов, 1984. Н. Ю. Бубнов. Сочинения писателей-старообрядцев XVII века. Л., 1984.
- Бубнов, 1985. Н. Ю. Бубнов. Спиридон Потемкин и его «Книга» // ТОДРЛ. 1985. Т. 40.
- Будде, 1908. Е. Ф. Будде. Очерк истории современного русского литературного языка (XVII-XIX век) // Энциклопедия славянской филологии. СПб., 1908. Вып. 12.
- Будилович, 1869. А. С. Будилович. М. В. Ломоносов, как натуралист и филолог. СПб., 1869.
- Будилович, 1871. А. С. Будилович. Ломоносов как писатель. Сборник материалов для рассмотрения авторской деятельности Ломоносова // Сб. ОРЯС. СПб., 1871. Т. VIII, №1.
- Букварь Ивана Федорова, 1574. [Букварь]. Львов, 1574 // Грамматика Ивана Федорова. Київ, 1964.
- Булаховский, 1954. Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX века. Фонетика. Морфология. Ударение. Синтаксис. М., 1954.
- Булаховский, 1957. Л. А. Булаховский. Русский литературный язык первой половины XIX века. Лексика и общие замечания о слоге. М.-Л., 1957.
- Булич, 1893. С. Булич. Церковнославянские элементы в современном литературном и народном русском языке. СПб., 1893. Ч. I.
- Булич, 1904. С. К. Булич. Очерк истории языкознания в России. СПб., 1904. Т. I.

- Булич, 1912. *Н. Н. Булич*. Очерки по истории русской литературы и просвещения с начала XIX века. 2-е изд. СПб., 1912.
- Буслаев, 1959. *Ф. И. Буслаев*. Историческая грамматика русского языка. М., 1959.
- Буслаев, 1959а. *Ф. И. Буслаев*. Предисловие [к «Русским народным песням, собранным И. И. Якушкиным»] // *Летописи русской литературы и древности*. М., 1859. Кн. 2.
- Буслаев, 1861. *Ф. И. Буслаев*. Историческая хрестоматия церковнославянского и древнерусского языков. М., 1861.
- Буссов, 1851. *Conrad Bussow*. *Verwirzete Zustand des Russischen Reichs*. 1584–1613. Рукопись 1851 г. РГБ, ин. 850.
- Буссов, 1961. *Конрад Буссов*. Московская хроника. 1584–1613. М., Л., 1961.
- Быстрова, 1966. *Е. А. Быстрова*. Термины литературы, словесность и письменность // *Современная русская лексикология*. М., 1966.
- Быстронь, 1936. *J. St. Bystroni*. *Nazwiska polskie*. Wyd. 2. Lwów-Warszawa, 1936.
- Бэклунд, 1956. *A. Baecklund*. The names of women in medieval Novgorod // For Roman Jakobson. The Hague, 1956.
- Бэклунд, 1959. *A. Baecklund*. Personal names in medieval Velikij Novgorod. Stockholm, 1959.
- Бялькевич, 1970. *Г. К. Бялькевич*. Краевы слоўнік усходняй Магілеўшчыны. Мінск, 1970.
- Вайан, 1935. *A. Vaillant*. Les «lettres russes» de la vie de Constantin // *Revue des Etudes slaves*. 1935. Т. 15, № 1–2.
- Вакарелски, 1977. *Х. Вакарелски*. Етнография на България. София, 1977.
- Варенцов, 1860. *В. Варенцов*. Сборник русских духовных стихов. СПб., 1860.
- Васильчиков, 1869. *А. А. Васильчиков*. Семейство Разумовских // *Оснадцатый век. Исторический сборник, издаваемый П. Бартевым*. М., 1869. Кн. II.
- Верелин, 1949. *E. W. Voegelin*. *Dog* // *Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend*. New York, 1949. Vol. I.
- Вейсманов лексикон, 1731. *Deutsch-Lateinisch- und Russisches Lexicon, samt denen Anfangs-Gründen der Russischen Sprache*. Zu allgemeinem Nutzen bey der Kayserl. Academie der Wissenschaften zum Druck befördert. Нѣмецко-латинскіи и рускіи Лѣѣжиконъ купно съ первыми началами рускаго языка к общей пользѣ при императорской академіи наукъ печатю изданъ. СПб., 1731. Факс. воспр.: Weismann's Petersburger Lexicon von 1731. München, 1982–1983. Teil I–III. (*Specimina Philologiae Slavicae*. Bd. 46–48).
- Велькер, I–II. *F. G. Welker*. *Griechische Götterlehre*. Göttingen, 1857–1860. Vol. I–II.
- Венгеров, I–VI. *Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней)* / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1899–1904. Т. I–VI.
- Венгеров, 1897. *С. А. Венгеров*. Русская поэзия. СПб., 1897. Т. I.
- Венелин, 1836. *Ю. Венелин*. Скандинавомания и ее поклонники. М., 1836.
- Венелин, 1847. *Ю. Венелин*. Мысли о истории вообще и русской в частности. М., 1847.
- Веселитский, 1972. *В. В. Веселитский*. Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — начала XIX в. М., 1972.
- Веселитский, 1974. *В. В. Веселитский*. Антиох Кантемир и развитие русского литературного языка. М., 1974.
- Веселовский, 1883. *А. Н. Веселовский*. Разыскания в области русского духовного стиха. СПб., 1883. Ч. VI–X.
- Веселовский, 1888. *А. Н. Веселовский*. Из истории романа и повести. СПб., 1888. Вып. II.
- Веселовский, 1889. *А. Н. Веселовский*. Разыскания в области русского духовного стиха. СПб., 1889. Ч. XI–XVII.
- Веселовский, 1896. *А. Веселовский*. Западное влияние в новой русской литературе. М., 1896.
- Веселовский, 1974. *С. Б. Веселовский*. Ономастикон. М., 1974.
- Веселовский, 1975. *С. Б. Веселовский*. Дьяки и подьячи XV–XVII вв. М., 1975.
- Вигель, I–II. *Ф. Ф. Вигель*. Записки. М., 1928. Т. I–II.
- Викторов, 1881. *А. Викторов*. Московский Публичный и Румянцевский музей. Собрание рукописей И. Д. Беляева. М., 1881.
- Вильман-Грабовская, 1934. *H. Willman-Grabowska*. Le chien dans l'Avesta et dans les Vedas // *Rocznik orientalistyczny*. Lwów, 1934. VIII.
- Виндегрэн, 1965. *G. Windegren*. Die Religionen Irans. Stuttgart, 1965.
- Виноградов, I–III. *Н. Виноградов*. Заговоры, обереги, спасительные молитвы и проч. СПб., 1908–1910. Вып. I–III.
- Виноградов, 1918. *Г. С. Виноградов*. Материалы для народного календаря русского старожильского населения Сибири. Иркутск, 1918.
- Виноградов, 1926. *Г. Виноградов*. Детские тайные языки // *Сибирская живая старина*. Иркутск, 1926. II (VI).
- Виноградов, 1928. *А. К. Виноградов*. Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928.
- Виноградов, 1935. *В. В. Виноградов*. Язык Пушкина. Пушкин и история русского литературного языка. М.–Л., 1935.
- Виноградов, 1938. *В. В. Виноградов*. Очерки по истории русского языка XVII–XIX вв. М., 1938.
- Виноградов, 1941. *В. В. Виноградов*. Лексикологические заметки. II. Очерки по истории русской лексики // *УЗ Московского государственного педагогического дефектологического института*. М., 1941. Т. I.
- Виноградов, 1947. *В. В. Виноградов*. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947.
- Виноградов, 1948. *В. В. Виноградов*. Из истории русской литературной лексики. I. Мракобесие, мракобес // *Доклады и сообщения Института русского языка [АН СССР]*. М.–Л., 1948. Вып. II.
- Виноградов, 1949. *В. В. Виноградов*. Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева // *Материалы и исследования по истории русского литературного языка*. М.–Л., 1949. Т. I.

- Виноградов, 1953. В. В. Виноградов. О некоторых вопросах русской исторической лексикологии // Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1953. Т. XII, вып. 3.
- Виноградов, 1954. В. В. Виноградов. Из истории русской лексики и фразеологии. 3. История слова „кругозор” // Доклады и сообщения Ин-та языкознания [АН СССР]. М., 1954. VI.
- Виноградов, 1965. В. В. Виноградов. Историко-этимологические заметки. II (начитанный, начитанность) // Этимология. 1964 М., 1965.
- Виноградов, 1966. В. В. Виноградов. История слова изящный (в связи с образованием выражения изящная словесность, изящные искусства) // Роль и значение XVIII века в истории русской культуры. М.—Л., 1966. (XVIII век. Сб. 7).
- Виноградов, 1966. В. В. Виноградов. Из истории русских слов и выражений (подковырка, пригвоздить, фортель, вертопрах и шелкопер) // Вопросы стилистики. Сборник статей к 70-летию со дня рождения профессора К. И. Былинского. М., 1966.
- Виноградов, 1967. В. В. Виноградов. Историко-этимологические заметки. III (2. Набожный, набожность) // Этимология, 1965. М., 1967.
- Виноградов, 1967а. В. В. Виноградов. Историко-этимологические заметки. III (4. Сосредоточенный, сосредоточенность) // Этимология, 1965. М., 1967.
- Виноградов, 1968. В. В. Виноградов. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры // ВЯ. 1968. № 1.
- Винокур, 1925. Г. Винокур. Культура языка. М., 1925.
- Винокур, 1959. Г. О. Винокур. Избранные работы по русскому языку. М., 1959.
- Владимирский-Буданов, 1874. М. Владимирский-Буданов. Государство и народное образование в России XVIII-го века. Ярославль, 1874. Ч. I.
- Владышевская, 1976. Т. Ф. Владышевская. Ранние формы древнерусского певческого искусства. Диссертация... канд. искусствоведения. М., 1976. Машинопись.
- Владышевская и Сергеев, 1981. Т. Ф. Владышевская, В. Н. Сергеев. «Покаянный стих», «Зрю тя, гробе...» в литературе, живописи и музыке XVII века // Древнерусское искусство XV—XVII веков. М., 1981.
- ВМЧ, ноябрь. Великие Минеи Четьи, собранные Всероссийским митрополитом Макарием. Ноябрь, дни 1–25. СПб.—М., 1868–1917.
- ВМЧ, октябрь. Великие Минеи Четьи, собранные Всероссийским митрополитом Макарием. Октябрь, дни 1–3. СПб., 1870; Октябрь, дни 19–31. СПб., 1880.
- Воейков, 1808. [А. Ф.] Воейков. Мнение беспристрастного о «Способе сочинять книги и судить о них» // Вестник Европы. 1808. Ч. 61, № 18.
- Вольтер, I–LXXII. Voltaire. Oeuvres complètes. Basle, 1784–1790. V. I–LXXII
- Вольтнер, 1956. M. Woltner. Zur Frage der Behandlung westeuropäischer Personennamen in Russland // Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburtstag. Berlin, 1956.

- Вомперский, 1968. В. П. Вомперский. Ненапечатанная статья В. К. Тредиаковского «О множественном прилагательных целых имен окончаний» // Научные доклады Высшей школы. Филологические науки. 1967. № 5 (47).
- Ворд, 1982. D. Ward. PRO-form and metaphor — PRO-form and vocative // RL. 1982. Vol. 7, № 1.
- Воронков, 1902. Н. Воронков. Петрово-Соловово Григорий Михайлович меньшей // РБС. СПб., 1902. Т. «Павел—Петр».
- Воронов, 1816. Д. Воронов. Краткое начертание о славянах и славянском языке // Чтение в Беседе любителей русского слова. СПб., 1816. XV.
- Восстание декабристов, I–XVIII. Восстание декабристов. Материалы и документы. М.—Л., 1925–1986. Т. I–XVIII.
- Востоков, 1842. А. Х. Востоков. Описание русских и словенских рукописей Румянцевскаго музеума. СПб., 1842.
- Врон, 1993. Ronald Vroon. Velemir Khlebnikov's "Kuznechik" and the Art of Verbal Duplicity // Readings in Russian Modernism: To Honor Vladimir Fedorovich Markov / Ed. by Ronald Vroon. Moscow, 1993.
- Второв, 1845. Н. И. Второв. Г. П. Каменев // Вчера и сегодня. Литературный сборник, составленный В. А. Соллогубом. СПб., 1845. Кн. I.
- Вяземский, 1929. П. А. Вяземский. Старая записная книжка. / Под ред. и с примеч. Л. Гинзбург. Л., 1929.
- Вяземский, I–XII. П. А. Вяземский. Полное собрание сочинений. СПб., 1878–1896. Т. I–XII.
- Галинковский, 1801. [Я. Галинковский]. Красоты Стерна... М., 1801.
- Галинковский, 1802. Я. А. Галинковский. О трех рассуждениях о древностях русских Тредьяковского // Корифей, или Ключ литературы. СПб., 1802. Ч. I, кн. I.
- Гамкрелидзе и Иванов, 1984. Т. В. Гамкрелидзе, В. В. Иванов. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Тбилиси, 1984. Т. I–II.
- Гансен-Леве, 1993. Aage A. Hansen-Löve. Mandel'shtam's Thanatopoetics // Readings in Russian Modernism: To Honor Vladimir Fedorovich Markov / Ed. by Ronald Vroon. Moscow, 1993.
- Гансинец, 1960. R. Gansiniec. Metrificale Marka z Opatowca i tractaty gramatyczne XIV i XV wieku. Wroclaw, 1960.
- Гегедюс, 1958. J. Hegedüs. Beiträge zum Probleme des sprachlichen Tabu und der Namenmagie // Orbis. 1958. VII.
- Гейм, 1789. Johann Heym. Russische Sprachlehre für Deutsche. М., 1789.
- Гейм, 1816. Joh. v. Heym. Russische Sprachlehre für Deutsche neu bearbeitet vom Samuel Weltzien. Riga und Leipzig, 1816.
- Геннади, 1854. Г. Геннади. П. И. Марков и его журнал «Московский Меркурий» // Современник. 1854. Т. 14, № 10.
- Гено и Томич, 1901. Павел I. Собрание анекдотов, отзывов, характеристик, указов и пр. // Сост. А. Гено и Томич. СПб., 1901.
- Георгиев и др., I–III. В. И. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев. Български етимологичен речник. София, 1962–1982. Т. I–III.

- Георгий Шавельский, 1954. *Георгий Шавельский*. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Нью-Йорк, 1954. Т. I
- Герберштейн, 1557. [*S. von Herberstein*]. *Rerum moscoviticarum commentarij*. Antverpia, 1557.
- Герберштейн, 1557а. [*S. von Herberstein*]. *Moscouia der Hauptstat in Reissen*. . . Wien, 1557.
- Герберштейн, 1908. *С. фон Герберштейн*. Записки о московских делах. . . СПб., 1908.
- Герв, I–V. *Н. Герв*. Рѣчник на блъгарски язык. Пловдив, 1895–1908. I–V.
- Герцен, I–XXX. *А. И. Герцен*. Собрание сочинений. М., 1954–1965. Т. I–XXX.
- Герштейн, 1986. *Э. Г. Герштейн*. Новое о Мандельштаме. [Paris, 1986].
- Гизо, 1855. *Histoire de Washington*. . . par Cornelius de Witt, précédée d'une étude historique sur Washington par M. Guizot. Paris, 1855.
- Гильдебрандт, 1882–1885. *П. Гильдебрандт*. Справочный и объяснительный словарь к Новому Завету (в 6-ти книгах). СПб., 1882–1885. Продолжающаяся пагинация во всех книгах.
- Гильдебрандт, 1898. *П. Гильдебрандт*. Справочный и объяснительный словарь к Псалтири. СПб., 1898.
- Гильфердинг, I–III. *А. Ф. Гильфердинг*. Онежские былины. Изд. 2. СПб., 1894–1900. Т. I–III.
- Гинзбург, 1960. *Л. Гинзбург*. О проблеме народности и личности в поэзии декабристов // О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы. Сборник статей. М.–Л., 1960.
- Глинка, 1871. Высочайшее повеление 1797 года об изъятии из употребления некоторых слов и замене их другими. Сообщил В. С. Глинка из бумаг покойного издателя «Русского вестника» С. Н. Глинка // Русская старина. 1871. Т. III, апрель.
- Глинка, 1895. *С. Н. Глинка*. Записки. СПб., 1895.
- Гнатюк, 1902. *В. Гнатюк*. Галицько-руські народні легенди // Етнографічний збірник. Львів, 1902. XII.
- Гнатюк, 1912. *Володимир Гнатюк*. Похоронні звичаї й обряди // Етнографічний збірник. Видає Етнографічна комісія Наукового Товариства імени Шевченка. Львів, 1912. Т. XXXI–XXXII.
- Гнедич, 1816. [*Н. И. Гнедич*]. О вольном переводе Бюргеровой баллады: Леонора // Сын Отечества. 1816. Ч. 31, № 27.
- Гнедич, 1974. *Н. И. Гнедич*. Письма к Батюшкову / Публ. М. Г. Альтшуллера // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома. 1972. Л., 1974.
- Гоголь, I–XIV. *Н. В. Гоголь*. Полное собрание сочинений. М., 1937–1952. Т. I–XIV.
- Голицын, 1892. *Н. Н. Голицын*. Род князей Голицыных. СПб., 1892. Т. I.
- Голубинский, I–II. *Е. Голубинский*. История русской церкви. М., 1901–1917. Т. I(ч. I–II)–II(ч. I–II).

- Голубинский, 1923. *Е. Е. Голубинский*. Воспоминания. Кострома, 1923.
- Голубцов, 1890. *А. Г[олубцов]*. Судьба Евангелия учительного Кирилла Транквилиона-Ставровецкого // Чтения в Обществе любителей духовного просвещения. 1890. Год XXVIII. № 4
- Голубцов, 1899. *А. Голубцов*. Чиновник Новгородского Софийского собора. М., 1899.
- Гольденвейзер, 1959. *А. Б. Гольденвейзер*. Вблизи Толстого. М., 1959.
- Гончаров, I–XII. *И. А. Гончаров*. Полное собрание сочинений в двенадцати томах. СПб., 1899. Т. I–XII.
- Горалек, 1956. *Карел Горалек*. Св. Кирилл и семитские языки // For Roman Jakobson. Essays on the occasion of his sixtieth birthday. The Hague, 1956.
- Горский и Невоструев, I–III. *А. В. Горский, К. И. Невоструев*. Описание славянских рукописей Московской Синодальной библиотеки. Отд. I. Священное писание. М., 1855; Отд. II. Ч. I. Толкование священного писания. М., 1857; Ч. II. Писания догматические и духовно-нравственные. М., 1859; Ч. III. Разные богословские сочинения. Прибавление. М., 1862; Отд. III. Ч. I. Книги богослужебные. М., 1869; Ч. II. Продолжение. М., 1917.
- Градова, 1987. *Б. А. Градова*. Кантемир — составитель первого русско-французского словаря // Россия — Франция. Век Просвещения. Тезисы научной конференции. Л., 1987.
- Грамматика, 1802. *Грамматика Российская*, сочиненная Императорскою Российскою Академиею. СПб., 1802. Факсим. воспр.: *Rossijskaja Grammatica*. SPb. 1802 / Nachdruck besorgt von Michael Schütrumpf. München, 1983. (Specimina philologiae slavicae. Bd. 53.)
- Граннес, 1974. *А. Граннес*. Просторечные и диалектные элементы в языке русской комедии XVIII века. Bergen–Oslo–Tromsø, [1974].
- Греков, 1904. *Вл. Греков*. Смирнов Яков Иванович // РБС. СПб., 1904. Т. «Сабанеев–Смыслов»
- Грёнинг, 1750. *Российская грамматика*. Thet är Grammatica Russica, Eller Grundelig Handledning Til Ryska Spraket. . . Utgifwen af Michael Groening. Stockholm, 1750.
- Греч, 1834. *Н. И. Греч*. Практическая русская грамматика. СПб, 1834.
- Греч, 1840. *Н. Греч*. Чтение о русском языке. СПб., 1940.
- Греч, 1930. *Н. И. Греч*. Записки о моей жизни. М.–Л., 1930.
- Грибоедов, 1816. *А. С. Грибоедов*. О разборе вольного перевода Бюргеровой Баллады: Леонора // Сын Отечества. 1816. Ч. 32. № 30.
- Григорьев, 1988. *Аполлон Григорьев*. Воспоминания. М., 1988.
- Гримм, 1868. *J. Grimm*. Geschichte der deutschen Sprache. Leipzig, 1868. I–II.
- Гринблат, 1979. *Выслоўй*. Складание М. Я. Грынבלата при ўдзеі С. Т. Асташэвіч. Мінск, 1979.
- Гринченко, I–IV. *Словарь української мови*. Зібрала ред. журналу «Київська старина». Упорядкував. . . Б. Грінченко. Київ, 1907–1909. Т. I–IV.

- Громыко, 1975. М. М. Громыко. Трудовые традиции русских крестьян Сибири. Новосибирск, 1975.
- Грот, I-II. Жизнь Державина по его сочинениям и письмам и по историческим документам, описанная Я. Гротом. СПб., 1880-1883. Т. I-II.
- Грот, 1876. Я. Грот. Филологические разыскания. Т. II. Спорные вопросы русского правописания от Петра Великого доныне. СПб., 1876.
- Группе, 1906. O. Gruppe. Griechische Mythology und Religionsgeschichte. München, 1906.
- Грушевский, 1917. А. С. Грушевский. Из полемической литературы конца XVI в. после введения унии // ИОРЯС. 1917. Т. XXII, кн. 2.
- Губернатис, I-II. A. de Gubernatis. Zoological Mythology. London, 1972. I-II.
- Гуковский, 1927. Г. А. Гуковский. Русская поэзия XVIII века. Л., 1927.
- Гуковский, 1928. Г. Гуковский. К вопросу о русском классицизме. Составления и переводы // Поэтика. Сборник статей. Л., 1928. (Временник Отдела словесных искусств Государственного Института истории искусств. IV).
- Гуковский, 1933. Г. Гуковский. Литературное наследство Г. Р. Державина // Литературное наследство. М., 1933. Т. 9-10.
- Гуковский, 1936. Г. Гуковский. Радищев как писатель // Радищев. Материалы и исследования. М.-Л., 1936.
- Гуковский, 1962. Г. Гуковский. Ломоносов-критик // Литературное творчество Ломоносова. Исследования и материалы. М.-Л., 1962.
- Гуковский, 1965. Г. А. Гуковский. Пушкин и русские романтики. М., 1965.
- Гусев, 1974. В. Е. Гусев. От обряда к народному театру (эволюция святочных игр в покойника) // Фольклор и этнография. Обряды и обрядовый фольклор. Л., 1974.
- Густавич, 1881. В. Gustawicz. Podania, przesady, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody. Cz. X. Zwierzęta // Zbiór wiadomości do antropologii krajowej. V. Kraków, 1881.
- Гюнтер, 1932. Günter. Hund // Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Herausgegeben von H. Bächtold-Stäubli. Berlin-Leipzig, 1931-1932. IV.
- ДАИ, I-XII. Дополнения к актам историческим, собранным и изданным Археологической комиссией. СПб., 1846-1872. Т. I-XII.
- Давыдов, 1929. А. С. Грибоедов, его жизнь и гибель в мемуарах современников / Под ред. З. Давыдова. Л., 1929.
- Даль, I-IV. Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 2. М.-СПб., 1880-1882. Т. I-IV.
- Даль, 1870. В. И. Даль. Рассказы о временах Павла I // Русская старина. 1870. Сентябрь.
- Даль, 1904. В. Даль. Пословицы русского народа. М., 1904. Т. I-IV.
- Даль, 1911-1914. I-IV. В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка / Под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ. СПб.-М., 1911-1914. Т. I-IV.
- Даль, 1957. В. Даль. Пословицы русского народа. М., 1957.

- Дашков, 1810. Д. В. Дашков. Рассмотрение перевода Двух статей из Лагарпа с примечаниями Переводчика // Цветник. 1810. Ч. 8, № 11.
- Дашков, 1811. Д. В. Дашков. О легчайшем способе возражать на критики. СПб., 1811.
- Делерт, 1924. Л. Делерт. Новые имена. Ростов-на-Дону, 1924.
- Демкова, 1965. Н. С. Демкова. Неизданное сатирическое произведение о духовенстве // ТОДРЛ. М.-Л., 1965. Сб. XXI.
- Демкова, 1974. Н. С. Демкова. Из истории ранней старообрядческой литературы // ТОДРЛ. 1974. Сб. 28.
- Демкова и Дробленкова, 1965. Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова. «Повесть о убогом человеке, како от диавола произведен царем» и ее усть-цилемская переработка // ТОДРЛ. М.-Л., 1965. Сб. XXI.
- Демо и Грабалова, 1917. O. Demo, O. Hrabalová. Žatevné a doženkové piesne. Bratislava, 1971.
- Державин, I-IX. Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1864-1883. Т. I-IX.
- Державин, 1804. Г. Р. Державин. Анакреонтические песни. Пг., 1804.
- Дерюгин, 1985. А. А. Дерюгин. В. К. Тредиаковский — переводчик. Становление классицистического перевода в России. Саратов, 1985.
- Десницкий, 1935. В. Десницкий. Журналы Беседы любителей русского слова // В. Десницкий. На литературные темы. Л., 1935. Кн. II.
- Деулинский словарь. Словарь современного русского народного говора (д. Деулино Рязанского района Рязанской области). М., 1969.
- Дикарев, 1896. М. А. Дикарев. О царских загадках // Этнографическое обозрение. 1896. № 4.
- Дитрих, 1925. А. Dietrich. Mutter Erde. Leipzig-Berlin, 1925.
- Дмитриев, I-II. И. И. Дмитриев. Сочинения. СПб., 1893. Т. I-II.
- Дмитриев, 1795. И. И. Дмитриев. И мои безделки. М., 1795.
- Дмитриев, 1796. И. И. Дмитриев. Карманный песенник или Собрание лучших светских и престопадных песен. М., 1796.
- Дмитриев, 1855. М. Дмитриев. Воспоминания о Семене Егоровиче Раиче. М., 1855.
- Дмитриев, 1958. Повести о житии Михаила Клопского / Подг. текстов и ст. Л. А. Дмитриева. М.-Л., 1958.
- Дмитриев и Лихачева, 1982. Сказания и повести о куликовской битве / Подг. изд. Л. А. Дмитриева и О. П. Лихачевой. Л., 1982.
- Дмитрий Ростовский, 1755. [Дмитрий Ростовский]. Розыскъ о Расколнической Брынской Вѣрѣ. М., 1755.
- Добровольский, I-IV. В. Н. Добровольский. Смоленский этнографический сборник. СПб.-М., 1891-1903. Т. I-IV.
- Добровольский, 1905. В. Н. Добровольский. Песни Дмитровского уезда Орловской губернии // Живая старина. 1905. Вып. 3-4.
- Добровольский, 1914. В. Н. Добровольский. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914.
- Долгоруков, I-IV. П. Долгоруков. Российская родословная книга. СПб., 1854-1857. Т. I-IV.

- Дорватовская, 1911. *В. Дорватовская*. О заимствованиях Ломоносова из Библии // Ломоносовский сборник, 1711–1911 / Под ред. В. В. Сиповского. СПб., 1911.
- Дорошевский, I–XI. *Słownik języka polskiego* / Red. W. Doroszewski. Warszawa, 1958–1969. Т. I–XI.
- Дорошенко, 1982. *Е. А. Дорошенко*. Зороастрийцы в Иране. М., 1982.
- Достоевский, I–XXX. *Ф. М. Достоевский*. Собрание сочинений в тридцати томах. М., 1972–1990. Т. I–XXX.
- Драгоманов, 1876. *М. Драгоманов*. Малорусские народные предания и рассказы. Киев, 1876.
- Драммонд и Перкинс, 1979. *D. A. Drammond and G. Perkins*. Dictionary of Russian Obscenities. Berkley, 1979.
- Дрейзин и Пристли, 1982. *F. Dreizin, T. Priestly*. A systematic approach to Russian obscene language // RL. 1982. № 2.
- ДРВ, I–XX. Древняя Российская Вивлиофика. Изд. 2-е. М., 1788–1791. Ч. I–XX.
- Дуден, 1959. *Der große Duden Grammatik der deutschen Gegenwartssprache*. Mannheim, 1959. Bd. IV.
- Дурново, 1921. *Николай Дурново*. Заметки по истории русского литературного языка (I. Рифмы, как материал для суждения о произношении). Пг., 1921.
- Дыбо, 1968. *В. А. Дыбо*. Акцентология и словообразование в славянском // Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов (Прага, август 1968 г.). Доклады советской делегации. М., 1968.
- Дювернуа, 1894. *А. Дювернуа*. Материалы для словаря древнерусского языка. М., 1894.
- Дюканж, I–VII. *Glossarium mediae et infimae latinitatis conditum a Carolo Dufresne Domino DU CANGE cum supplementis integris monachorum ordinis S. Benedicti*. . . Parisiis, 1842–1850. Vol. I–VII.
- Дюшен-Гийемен, 1962. *J. Duchesne-Guillemin*. La religion de l'Iran ancien. Paris, 1962.
- Евгений Болховитинов, 1826. *Митрополит Евгений [Болховитинов]*. О личных собственных именах у славяноруссов // Труды и записки Общества истории и древностей российских. М., 1826. Ч. III, Кн. I.
- Егоров, 1960. *Б. Ф. Егоров*. Неосуществленный замысел Б. М. Эйхенбаума // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1960. Вып. III (УЗ ТГУ. Вып. 98).
- Екатерина, I–XII. *Екатерина Вторая*. Сочинения / Под ред. А. Н. Пыпина и Я. Л. Барскова. СПб., 1901–1907. Т. I–XII.
- Екатерина, 1803. Переписка Екатерины Великия с господином Волтером. М., 1803. Ч. 2.
- Елеонская, 1907. *Е. Н. Елеонская*. Некоторые замечания о роли загадки в сказке // Этнографическое обозрение. 1907. Кн. LXXV, № 4.
- Ельницкий, 1914. *А. Ельницкий*. Галич (Говоров, Никифоров) Александр Иванович // РБС. М., 1914. Т. «Гаг-Гербель».

- Живов и Успенский, 1986. *В. Живов, Б. Успенский*. Grammatica sub specie theologiae. Претеритные формы глагола „быти” в русском языковом сознании XVI–XVII веков // RL. 1986. № 3.
- Живов, Кайперт и Успенский, в печати. *Н. Keipert, B. Uspensky, V. Zhivov*. Die Grammatik der russischen Sprache von Johann Ernst Glück. Готовится к печати.
- Житецкий, 1890. *И. П. Житецкий*. Неизданные сочинения Иоанна Вишенского // Киевская старина. 1890. Т. XXIX, июнь.
- Житецкий, 1905. *И. П. Житецкий*. О переводах Евангелия на малорусский язык // ИОРЯС. 1905. Т. X. Кн. 4.
- Жихарев, 1955. *С. П. Жихарев*. Записки современника / Под ред. Б. М. Эйхенбаума. М.–Л., 1955.
- Жмакин, 1881. *В. Жмакин*. Митрополит Даниил и его сочинения. М., 1881.
- Жуковская, 1982. *Л. П. Жуковская*. Барсовский список грамматического сочинения «О восьми частях слова» // Східнослов'янські граматики XVI–XVII ст. Київ, 1982.
- Жуковский, 1948. *В. А. Жуковский*. Неизданный конспект по истории русской литературы / Подг. текста, предисл. и примеч. Л. Б. Модзалевской // Труды отдела новой русской литературы Ин-та русской литературы АН СССР. М.–Л., 1948. I.
- Завойко, 1914. *Г. К. Завойко*. Верования, обряды и обычаи великороссов Владимирской губернии // Этнографическое обозрение. 1914. Кн. CIII–CIV, № 3–4.
- Завойко, 1917. *Г. К. Завойко*. В костромских лесах на Ветлуге реке (Этнографические материалы, записанные в Костромской губернии в 1914–1916 гг. // Этнографический сборник. Кострома, 1917. (Труды Костромского научного общества по изучению местного края. Вып. VIII).
- Зализняк, 1985. *А. А. Зализняк*. От праславянской акцентуации к русской. М., 1985.
- Зализняк, 1986. *А. А. Зализняк*. Словоуказатель к берестяным грамотам // В. Л. Янин, А. А. Зализняк. Новгородские грамоты на бересте. М., 1986.
- Замков, 1922. *Н. К. Замков*. «Улей». Журнал В. Г. Анастасевича (1811–1812) // Sertum bibliologicum. В честь президента Русского библиологического общества проф. А. И. Малеина. Пг., 1922.
- Замкова, 1974. *В. В. Замкова*. Славянизм как термин стилистики // Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. К 80-летию члена-корреспондента АН СССР С. Г. Бархударова. М., 1974.
- Западов, 1969. *В. А. Западов*. Державин и русская рифма XVIII в. // Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века. Л., 1969. (XVIII век. Сб. 8.)
- Зарубин, 1932. *Слово Даниила Заточника* / Подг. изд. Н. Н. Зарубина. Л., 1932.

- Зеленин, I—II. *Д. К. Зеленин*. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Ч. I—II // Сборник музея антропологии и этнографии. Т. VIII. Л., 1929; Т. IX. Л., 1930.
- Зеленин, 1903. *Д. К. Зеленин*. Этимологические заметки, III. О личных собственных именах в функции нарицательных в русском народном языке // Филологические записки. 1903. № 2.
- Зеленин, 1914. *Д. К. Зеленин*. Великорусские сказки Пермской губернии. Пг., 1914.
- Зеленин, 1914—1916, I—III. *Д. К. Зеленин*. Описание рукописей учебного архива имп. Русского географического общества. Пг., 1914—1916. Вып. I—III.
- Зеленин, 1915. *Д. К. Зеленин*. Великорусские сказки Вятской губернии. Пг., 1915.
- Зеленин, 1916. *Д. К. Зеленин*. Очерки русской мифологии. Вып. I. Умершие неестественной смертью и русалки. Пг., 1916.
- Зеленин, 1917. *Д. К. Зеленин*. Древнерусский языческий культ «заложных» покойников // Известия Академии наук. Пг., 1917. Сер. VI. Т. XI, № 7.
- Зеленин, 1927. *Dm. Zelenin*. Russische (Ostslavische) Volkskunde. Berlin-Leipzig, 1927.
- Зеленин, 1930. *Д. Зеленин*. Загадочные водяные демоны «шуликуны» у русских // *Lud Słowiański*. Kraków, 1930. I, zesz. 2 (Dział B: Etnografja).
- Зечевич, 1964. *Зечевич С.* Игре нашег посмртног ритуала // Rad XI-og kongresa Saveza folklorista Jugoslavije u Novom Vinodolskom, 1964. Zagreb, 1966.
- Зелинский, 1887. *В. Зелинский*. Русская критическая литература о произведениях А. С. Пушкина. Хронологический сборник критико-библиографических статей. М., 1887. Ч. I.
- Зельдович, Лившиц, 1959. *М. Г. Зельдович, Л. Я. Лившиц*. Русская литература XIX в. Хрестоматия критических материалов. Харьков, 1959. Вып. I.
- Зизаний, 1964. Лексис Лаврентія Зизанія. Синоніма славеноросская. Київ, 1964.
- Зиновий Отенский, 1863. *Зиновий [Отенский]*. Истины показание к вопрошившим о новом учении. Казань, 1863.
- Златарский, 1907. *В. Н. Златарский*. Клятва у языческих болгар // Сборник статей, посвященных... В. И. Ламанскому. СПб., 1907. Т. I.
- Знаменский, 1867. *И. Знаменский*. Горные черемисы Казанского края // Вестник Европы. 1867. Т. IV, декабрь.
- ЗОРСА, I—XIII. Записки Отделения русской и славянской археологии имп. Русского археологического общества. СПб., 1851—1916. Т. I—XIII.
- Иван Грозный, 1951. Послания Ивана Грозного / Под ред. В. А. Адриановой-Перетц. М.—Л., 1951.
- Иваницкий, 1890. *Н. А. Иваницкий*. Материалы по этнографии Вологодской губернии // Изв. Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. М., 1890. Т. 69. Труды этнографического отдела. Вып. XI, № 1

- Иванов, I—II. *Ив. Иванов*. История русской критики. М., 1898—1900. Т. I—II.
- Иванов, 1850. *П. Иванов*. Описание государственного архива старых дел. М., 1850.
- Иванов, 1893. *П. Иванов*. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках // Сб. Харьковского историко-филологического общества. Харьков, 1893. Т. V, № 1.
- Иванов, 1964. *В. В. Иванов*. Происхождение имени Кухулина // Проблемы сравнительной филологии. М.—Л., 1964.
- Иванов, 1965. *В. В. Иванов*. Общиневропейская, праславянская и анатолийская языковые системы. М., 1965.
- Иванов, 1967. *Вяч. Вс. Иванов*. Структура стихотворения Хлебникова «Меня проносят на слоновых...» // Труды по знаковым системам. Тарту, 1967. Вып. III. (УЗ ТГУ. Вып. 198).
- Иванов, 1969. *А. И. Иванов*. Литературное наследие Максима Грека. Л., 1969.
- Иванов, 1975. *В. В. Иванов*. Реконструкция индоевропейских слов и текстов, отражающих культ волка // Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка. 1975. № 5.
- Иванов, 1976. *В. Иванов*. Мотивы восточнославянского язычества и их трансформация в русских иконах // Народная гравюра и фольклор в России XVII—XIX вв.. М., 1976.
- Иванов, 1977. *В. В. Иванов*. Древнебалканский и общиневропейский текст мифа о герое — убийце Пса и евразийские параллели // Славянское и балканское языкознание (Карпатско-восточнославянские параллели. Структура балканского текста). М., 1977.
- Иванов и Топоров, 1965. *В. В. Иванов, В. Н. Топоров*. Славянские языковые моделирующие семиотические системы. М., 1965.
- Иванов и Топоров, 1974. *В. В. Иванов, В. Н. Топоров*. Исследования в области славянских древностей. М., 1974.
- Иванова, 1969. *Т. А. Иванова*. Еще раз о «русских письменах» (к 1100-летию со дня смерти Константина-Кирилла) // Советское славяноведение. 1969. № 4.
- Иванов, 1909. *А. Иванчов*. Народни песни от Врачанско // Сб. за народни умотворения, наука и книжнина. София, 1909. XXV.
- Иерусалемово творение... 1783. Иерусалемово творение о немецком языке и учености... СПб., 1783.
- Измарагд, 1912. Измарагд... С рукописи XVI в. Московского Румянцевского музея за номером 542. М., 1912.
- Иконников, 1908. *В. С. Иконников*. Крестьянское движение в Киевской губ. в 1826—1827 гг. в связи с событиями того времени (по архивным материалам) // Сборник статей, посвященных почитателями... В. И. Ламанскому. СПб., 1908. Ч. II.
- Иларий и Арсений, I—III. *Иеромонахи Иларий и Арсений*. Описание славянских рукописей библиотеки Свято-Троицкой Сергиевой лавры. М., 1878. Ч. I—III.

- Ильинская, 1953. *И. С. Ильинская*. К истории словарного состава русского литературного языка XIX в. // Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М., 1953. Т. III.
- Ильминский, 1882. [*Н. Ильминский*]. Размышление о сравнительном достоинстве в отношении языка разновременных редакций церковнославянского перевода Псалтири и Евангелия. Казань, 1882.
- Ильминский, 1898. *Н. Ильминский*. Обучение церковно-славянской грамоте в церковно-приходских школах и начальных училищах с примерами для чтения из Св. Писания и из молитв и с объяснениями для учителей. СПб., 1898. Кн. I.
- Иностранцев, 1900. *К. Иностранцев*. О древнеиранских погребальных обычаях и постройках // ЖМНП. 1900. №3.
- Иностранцев, 1911. *К. А. Иностранцев*. Парсийский погребальный обряд в иллюстрациях гузератских версий книги об Арта-Вирафе // Изв. Академии наук. Сер. VI. 1911. №7.
- Иоанн Вишенский, 1955. *Иван Вишенский*. Сочинения. М.-Л., 1955.
- Исаченко, 1957. *А. В. Исаченко*. Morske oko – «небольшое горное озеро» // Эзиковедски изследованиа в чест на академик Стефан Младенов. София, 1957.
- Исаченко, 1965. *A. V. Isačenko*. Un juron russe du XVI-e siècle // Lingvua viget. Commentationes slavicae in honorem V. Kiparsky. Helsinki, 1965.
- Исаченко, 1974. *A. Issatschenko*. Vorgeschichte und Entstehung der modernen russischen Literatursprache // ZFSPH. 1974. Bd. XXXVII, h. 2.
- Истрин, I–III. Книги временныа и образныа Георгина мниха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе / Текст, исслед. и словарь В. М. Истрина. Пг./Л., 1920–1930. Т. I–III.
- Ицкович, 1963. *В. А. Ицкович*. Ударение в фамилиях в русском языке // Вопросы культуры речи. М., 1963. Вып. IV.
- Йордаль, 1973. *К. Йордаль*. Греко-русские синтаксические связи // Scando-Slavica. Copenhagen, 1973. Т. XIX.
- Кагаров, 1912–1913. *Е. Кагаров*. Культ фетишей, растений и животных в Древней Греции // ЖМНП. 1912. №10–12; 1913. №3–4.
- Кагаров, 1918. *Е. Кагаров*. О значении некоторых русских и украинских народных обычаев // ИОРЯС. 1918. Т. XXIII. Кн. 2.
- Кагаров, 1929. *Е. Г. Кагаров*. Магия в хозяйственно-производственном быту крестьянства // Атеист. 1929. №37.
- Калайдович, 1820. *П. Ф. Калайдович*. О словах, изменивших свое значение // Труды общества любителей российской словесности. М., 1820. Ч. 18.
- Калайдович, 1821. *К. Калайдович*. Памятники российской словесности XII в. М., 1821.
- Камменхубер, 1958. *A. Kammenhuber*. Totenvorschriften und «Hunde-Magie» im Vidēvdāt // Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. 1958. 208, h. 2.
- Кантемир, I–II. *А. Д. Кантемир*. Сочинения, письма и избранные переводы / Вст. ст. и примеч. В. Я. Стоюнина. Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1867–1868. Т. I–II.

- Капнист, 1815. *В. В. Капнист*. Краткое изыскание о Гипербореанах, о коренном российском стихосложении // Чтения в Беседе любителей русского слова. СПб., 1815. XVIII.
- Каптерев, I–II. *Н. Ф. Каптерев*. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев Посад, 1909–1912. Т. I–II.
- Каптерев, 1889. *Н. Ф. Каптерев*. О греко-латинских школах в Москве в XVII веке до открытия славяно-греко-латинской Академии // Годичный акт в Московской Духовной Академии 1-го октября 1889 года. М., 1889.
- Каптерев, 1913. *Н. Ф. Каптерев*. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Сергиев Посад, 1913.
- Каравелов, 1861. *Л. Каравелов*. Памятники народного быта болгар. М., 1861. I.
- Караджич, 1849. *Вук Стеф. Караџић*. Српске народne пословице. Беч, 1849.
- Карамзин, I–III. [*Н. М.*] *Карамзин*. Сочинения. СПб., 1848. Т. I–III.
- Карамзин, 1797–1801, I–V. *Н. М. Карамзин*. Письма русского путешественника. М., 1797–1801. Т. I–V.
- Карамзин, 1797. [*Н. М. Карамзин*]. [Предисловие] // Аониды или собрание разных новых стихотворений. М., 1797. Кн. II.
- Карамзин, 1802. *Н. М. Карамзин*. Странность // Вестник Европы. 1802. Ч. I, №2.
- Карамзин, 1803. *Н. М. Карамзин*. О русской грамматике француза Модрю // Вестник Европы. 1803. Ч. 10, №15.
- Карамзин, 1918–1929, I–XII. *Н. М. Карамзин*. История Государства Российского. Изд. 2-е. СПб., 1818–1829. Т. I–XII.
- Карамзин, 1819. *Н. М. Карамзин*. Речь, произнесенная в торжественном собрании имп. Российской Академии 5 декабря 1818 года // Сын Отечества. 1819. №1.
- Карамзин, 1866. Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву / Под ред. Я. Грота и И. Пекарского. СПб., 1866.
- Карамзин, 1914. *Н. М. Карамзин*. Записка о древней и новой России. СПб., 1914.
- Карамзин, 1966. *Н. М. Карамзин*. Полное собрание стихотворений. М.-Л., 1966.
- Карей, 1972. *Claude Carey*. Les proverbes érotiques russes. Etudes de proverbes recueillis et non-publiés par Dal' et Simoni. The Hague-Paris, 1972.
- Каржавин, 1791. *Phéodore Karjavin*. Remarques sur la langue russe et sur son alphabet. Avec des pièces relatives à la connoissance de cette langue. СПб., 1791.
- Каржавин, 1794. *Ф. Каржавин*. Вожак, показывающий путь к лучшему выговору букв и речений французских. СПб., 1794.
- Карин, 1778. *Ф. Г. Карин*. Письмо к Николаю Петровичу Николеву о преобразителе русского языка. М., 1778.
- Карлович и др., I–VIII. *J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki*. Słownik języka polskiego. Warszawa, 1900–1927. Т. I–VIII.

- Карнович, 1886. *Е. П. Карнович*. Родовые прозвания и титулы в России и слияние иноземцев с русскими. СПб., 1886.
- Карпов, 1878. *А. Карпов*. Азбуковники или алфавиты иностранных речей по спискам Соловецкой библиотеки. Казань, 1878.
- Карсавин, 1915. *Л. П. Карсавин*. Основы средневековой религиозности в XII–XIII веках, преимущественно в Италии. Пг., 1915.
- Касарелли, 1890. *I. C. Casarelli*. The dog and death // *The Babylonian and Oriental Research*. 1890. Vol. 4, № 12.
- Катенин, 1822. *Павел Катенин*. Письмо к издателю С[ына] О[течества] // *Сын Отечества*. 1822. Ч. 76, № 13.
- Катенин, 1830. *П. А. Катенин*. Размышления и разборы, ст. III. // *Литературная газета*. 1830. Т. I, № 21.
- Катенин, 1911. Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. СПб., 1911.
- Кацаров, 1908. *Г. И. Кацаров*. Клетвата у езическитѣ българи // *Списание на българската Академия на наукитѣ*. София, 1912. Т. III.
- Каченовский, 1809. *М. Т. Каченовский*. Об источниках для русской истории // *Вестник Европы*. 1809. Ч. 43, 44, 46.
- Каченовский, 1816. *М. Т. Каченовский*. О славянском языке вообще и в особенности о церковном // *Вестник Европы*. 1816. Ч. 89, № 19.
- Квитка-Основьяненко, I–VII. *Гр. Квитка-Основьяненко*. Твори. Київ, 1978–1981. Т. I–VII.
- Келлер, I–II. *О. Keller*. Die antike Tierwelt. Leipzig, 1900–1913. Vol. I–II.
- Кельсиев, I–IV. Сборник правительственных сведений о раскольниках, составленный В. Кельсиевым. Лондон, 1860–1862. Вып. I–IV.
- Керженские ответы, 1906. Ответы Александра диакона (на Керженце), поданные Нижегородскому епископу Питириму в 1719 году. Нижний Новгород, 1906.
- Кизеветтер, 1915. *А. Кизеветтер*. Ф. В. Раstopчин // *А. Кизеветтер*. Исторические отклики. М., 1915.
- Кипарский, 1956. *V. Kiparsky*. Ein russischer Familientyp // *Festschrift für M. Vasmer zum 70. Geburtstag*. Berlin, 1956.
- Кипарский, 1957. *V. Kiparsky*. Von Taubenrassen abgeleitete russische Familiennamen // *ZFSPH*. 1957. Bd. XXVI.
- Кипарский, 1958. *V. Kiparsky*. Nochmals die von Taubenrassen abgeleiteten russischen Familiennamen // *ZFSPH*. 1958. Bd. XXVII.
- Кипарский, 1962. *V. Kiparsky*. Der Wortakzent der russischen Schriftsprache. Heidelberg, 1962.
- Кирша Данилов, 1901. Сборник Кирши Данилова / Под ред. П. Н. Шеффера. СПб., 1901.
- Клавек, 1968. *А. Klawek*. Dwa imiona biblijne: Szymon i Piotr // *Symbolae philologicae in honorem Vitoldi Taszycki*. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1968.
- Кларк, 1975. *Jonathan E. M. Clarke*. Karamzin's Conception of Church Slavonic // *The Slavonic and East European Review*. 1975. Vol. LIII, № 133.
- Клепиков, 1978. *С. А. Клепиков*. Филиграния на бумаге русского производства XVIII — начала XIX века. М., 1978.

- Клингер, 1911. *В. Клингер*. Животное в античном и современном суеверии. Киев, 1911.
- Княжнин, I–II. *Я. Б. Княжнин*. Сочинения. СПб., 1847–1848. Т. I–II.
- Княжнин, 1961. *Я. Б. Княжнин*. Избранные произведения. Л., 1961.
- Кобеко, 1861. *Д. Кобеко*. Несколько псевдонимов в русской литературе XVIII века // *Библиографические записки*. 1861. Т. III, № 4.
- Ковалевская, 1958. *Е. Г. Ковалевская*. Славянизмы и русская архаическая лексика в произведениях Н. М. Карамзина // *УЗ ЛГПИ им. Герцена*. Л., 1958. Т. 173.
- Ковалевская, 1976. *Е. Г. Ковалевская*. Интимные диалоги в переводных светских драмах петровского времени // *Новые черты в русской литературе и искусстве (XVII — начало XVIII в.)*. М., 1976.
- Коготкова, 1966. *Т. С. Коготкова*. О некоторых особенностях диалектной лексики в связи с устной формой ее существования // *Славянская лексикография и лексикология*. М., 1966.
- Кожанчиков, 1862. Три челобитных: справщика Савватия, Саввы Романова и монахов Соловецкого монастыря / Изд. Д. Е. Кожанчикова. СПб., 1862.
- Козельский, 1788. *Я. Козельский*. Рассуждения двух индийцев Калана и Ибрагима о человеческом познании. СПб., 1788. Т. I.
- Козодавлев, 1784. *О. П. Козодавлев*. Письмо к Ломоносову 1784 года // *Собеседник любителей российского слова*. 1784. Ч. XIII.
- Колесницкая, 1941. *И. М. Колесницкая*. Загадка в сказке // *УЗ ЛГУ*. Л., 1941. № 81 (Сер. филологических наук. Вып. 12).
- Колосов, 1972. *В. В. Колосов*. История русского ударения. Л., 1972.
- Комаров, 1791. *М. Комаров*. Разные письменные материи, собранные для удовольствия любопытных читателей. М., 1791.
- Кольберг, I–XIX. *О. Kolberg*. Lud... Warszawa-Kraków, 1857–1886. Ser. I–XIX.
- Кондаков, 1887. *Н. П. Кондаков*. Византийские церкви и памятники Константинополя. Одесса, 1887.
- Копиевич, 1706. Рѣковедение въ грамматикѣ во славяноросійскѣю, или Московскою. Ко оупотребленію оучащихся языка Московскаго. Manuductio in Grammaticam in Slavonico Rosseanum seu Moscoviticam, in usum discentium linguam Moscoviticam. Per Eliam Kopijewitz adornata. Stoltzenbergii, 1706. Факсим. воспр.: *Drei russische Grammatiken des 18. Jahrhunderts / Nachdruck der Ausgaben von 1706, 1731 und 1750 mit einer Einleitung von B. O. Unbegaun*. München, 1969. (Slavische Propylän. Bd. 55.)
- Копорский, 1960. *С. А. Копорский*. Рец. на книгу: L. Kjellberg. La langue de Gedeon Krinovskij, prédicateur russe de XVIII siècle // *ВЯ*. 1960. № 3.
- Копорский, 1961. *С. А. Копорский*. Забытые страницы В. К. Тредиаковского «О слове, или словесности» // *УЗ МОПИ*. С. Труды кафедры русского языка. М., 1961. 6.
- Копперс, 1930. *W. Koppers*. Der Hund in der Mythologie der zirkumpazifischen Völker // *Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik*. 1930. I.

- Корецкий, 1965.** В. И. Корецкий. Вновь найденное противоречивое произведение Зиновия Отенского // ТОДРЛ. М.—Л., 1965. Т. XXI.
- Корф, 1861.** [М. Корф]. Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. Т. I.
- Корш, 1902.** Ф. Е. Корш. О русском правописании. СПб., 1902.
- Корш, 1907.** Ф. Е. Корш. Опыт объяснения заимствованных слов в русском языке // ИОРЯС. 1907.
- Костомаров, 1881.** Н. Костомаров. Исторические монографии и исследования. СПб., 1881. Т. XIX.
- Котошихин, 1906.** Г. Котошихин. О России в царствование Алексея Михайловича. СПб., 1906.
- Котт, I—III.** F. Št. Kott. Příspěvky k česko-německému slovníku zvláště grammatikofrazeologickému. Praha, 1896—1906. Т. I—III.
- Котуля, 1976.** F. Kotula. Znaki przeszłości. Warszawa, 1976.
- Кохман, 1972.** S. Kochman. W. Tredziakowski w kręgu polskich wpływów językowych // Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensis. 1972. III, № 170.
- Кохман, 1974.** С. Кохман. К вопросу о неославянизмах // Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков. К 80-летию ... С. Г. Бархударова. М., 1974.
- Кохман, 1975.** Stanisław Kochman. Polsko-rosyjskie stosunki językowe od XVI do XVIII w. // Słownictwo. Opola, 1975.
- Кохман, 1977.** S. Kochman. Podły i jego innojęzyczne nawiązania (Z badań nad słownictwem słowiańskim) // Poradnik językowy. 1977. Zeszyt 10 (354).
- Кочеткова, 1975.** Н. Д. Кочеткова. Ораторская проза декабристов и традиции русской литературы XVIII века (А. Н. Радищев) // Литературное наследие декабристов. Л., 1975.
- Кошутич, 1919.** Р. Кошутич. Грамматика русского языка. Изд. 2-е. Пг., 1919. I.
- Краткие правила. . . , 1773.** Краткие правила российской грамматики. М., 1773.
- Краткие правила. . . , 1784.** Краткие правила российской грамматики, собранные и вновь дополненные из разных российских грамматик. М., 1784.
- Краткие правила. . . , 1797.** Краткие правила российской грамматики, собранные из разных российских грамматик. . . М., 1797.
- Крейнович, 1930.** Е. А. Крейнович. Собаководство гяляков и его отражение в религиозной идеологии // Этнография. 1930. № 4.
- Крестова, 1961.** Л. В. Крестова. Древнерусская повесть как один из источников повестей Н. М. Карамзина «Райская птичка», «Остров Борнгольм», «Марфа Посадница» (Из истории раннего русского романтизма) // Исследования и материалы по древнерусской литературе. М., 1961.
- Кречмар, I—II.** F. Kreschmar. Hundestammvater und Kerberos. Stuttgart, 1938. Vol. I—II.
- Кривополенова, 1950.** М. Д. Кривополенова. Былины, скоморошины, сказки. Архагельск, 1950.

- Крижанич, 1859.** Граматично изказанје об руском језику попа Јѳрка Крижанича. . . писано в Сибири лета 7174 [1666 г.] / [Изд. О. Бодянского]. М., 1859. Факсим. воспр.: Juraj Krizanič. Gramatično izkazanje ob ruskom jeziku / Priredio i uvodnu raspravu napisao Josip Hamm. Zagreb, 1984.
- Криницкий, 1906.** Н. А. Криницкий. Леонтий Филиппович Магницкий (1669—1739) // Труды второго областного тверского археологического съезда 1903 года 10—20 августа. Тверь, 1906.
- Крылов, I—III.** И. А. Крылов. Полное собрание сочинений. М., 1944—1946. Т. I—III.
- Крымский, 1922.** А. Крымский. Українська мова, звідкіля вона взялася і як розвивалася // Ол. Шахматов, Аг. Крымский. Нариси з історії української мови та хрестоматія з пам'ятників письменської старо-українщини XI—XVIII вв. Київ, 1922.
- Кубасов, 1902.** И. А. Кубасов. Вицегубернаторство баснописца Измайлова в Твери и Архангельске // Памяти Леонида Николаевича Майкова. СПб., 1902.
- Кудрявцев, 1972.** И. М. Кудрявцев. Сборник XVII в. с подписями протоппа Аввакума и других пустозерских узников // Зап. Отдела рукописей [РГБ]. М., 1972. Вып. 33.
- Кувев, 1967.** Кувев М. Кувев. Черноризец Храбър. София, 1967.
- Кузеля, 1914—1915.** Зенон Кузеля. Посиживіє і забави при мерци в українськiм похороннiм обряді // Записки Наукового Товариства імені Шевченка. Львів, 1914. Т. СХХІ; 1915. Т. СХХІІ.
- Кузнецов, 1910.** И. П. Кузнецов. Святые блаженные Василий и Иоанн, Христа ради московские чудотворцы // Записки Московского археологического института. М., 1910. Т. VIII.
- Кузьмина, 1964.** В. Д. Кузьмина. Рыцарский роман на Руси. М., 1964.
- Кулемзин, 1976.** В. М. Кулемзин. Шаманство васюганско-ваховских хантов // Из истории шаманства. Томск, 1976.
- Кулемзин, 1984.** В. М. Кулемзин. Человек и природа в верованиях хантов. Томск, 1984.
- Кулемзин и Лукина, 1973.** Легенды и сказки хантов / Под ред. В. М. Кулемзина, Н. В. Лукиной. Томск, 1973.
- Куликовский, 1898.** Г. Куликовский. Словарь областного олонцкого наречия в его бытовом и этнографическом применении. СПб., 1898.
- Кулишич, Петрович и Пантелич, 1970.** Ш. Кулишић, П. Ж. Петровић, Н. Пантелић. Српски митолошки речник. Београд, 1970.
- Куник, 1853.** [А. А. Куник]. Штелинов реестр официальных бумаг, относящихся к истории Академии от 1725 по 1749 год // Ученые записки Императорской Академии Наук по 1-му и 3-му отделениям. СПб., 1853. Т. II. Вып. I.
- Куник, 1865.** Сборник материалов для истории Императорской Академии Наук в XVIII веке / Изд. А. Куник. СПб., 1865. Ч. I—II. Продолжающаяся пагинация в обеих частях.
- Куприанов, 1853.** И. Куприанов. К Зоилу (образец старинных критик) // Москвитянин. 1853. № 7.

- Курганов, 1769. [Н. Курганов]. Российская универсальная грамматика или всеобщее письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения русскому языку. СПб., 1769.
- Курганов, 1790. Н. Курганов. Письмовник... СПб., 1790.
- Курганов, 1796. Н. Курганов. Письмовник... СПб., 1796.
- Кушелев-Безбородко, I–IV. Памятники старинной русской литературы, издаваемые графом Г. Кушелевым-Безбородко. СПб., 1860–1862. Т. I–IV.
- Кюхельбекер, 1923. В. К. Кюхельбекер. Обзорение российской словесности 1824 г. / Публ. Б. В. Томашевского // Литературные портфели. Л., 1923. I.
- Кюхельбекер, 1824. В. К. Кюхельбекер. О направлении нашей поэзии, особенно лирической в последнее десятилетие // Мнемозина. 1824. Ч. II.
- Кюхельбекер, 1929. Дневник В. К. Кюхельбекера. Л., 1929.
- Лавровский, 1858. П. А. Лавровский. Описание семи рукописей С.-Петербургской Публичной библиотеки // ЧОИДР. 1958. Кн. 4.
- Лазаревский, 1893. Ал. Лазаревский. Описание старой Малороссии. Киев, 1893. Т. II.
- Ларин, 1948. Парижский словарь москвитов 1586 г. / Перевод, исслед. и коммент. Б. Ларина. Рига, 1948.
- Ларин, 1959. Б. А. Ларин. Русско-английский словарь-дневник Ричарда Джемса (1618–1619 гг.). Л., 1959.
- Ласицкий, 1615. Ion. Lasicii Poloni. De diis samagitarum libellus. Basel, 1615.
- Ласицкий, 1969. J. Lasickis. Apie žemaičių, kitų sarmatų bei neticrų krikščionių dievus. Vilnius, 1969.
- Лаш, 1908. R. Lasch. Der Eud, Seine Entstehung und Beziehung zu Glaube und Brauch der Naturvölker. Stuttgart, 1908.
- Лебедев, 1853. Н. Лебедев. Быт крестьян Тверской губернии Тверского уезда // Этнографический сборник, издаваемый имп. Русским Географическим Обществом. СПб., 1853. Вып. I.
- Лебедев, 1865. А. Лебедев. Святитель Тихон Задонский и вся Россия чудотворец (его жизнь, писания и прославление). СПб., 1865.
- Леви-Стросс, 1973. Cl. Levi-Strauss. Anthropologie structurale deux. Pion, 1973.
- Левин, 1959. В. Д. Левин. Средства языковой исторической стилизации в романах Ю. Тынянова // Исследования по языку советских писателей. М., 1959.
- Левин, 1962. В. Д. Левин. Традиции высокого стиля в лексике русского литературного языка первой половины XIX века // Материалы и исследования по истории русского литературного языка. М., 1962. Т. V.
- Левин, 1964. В. Д. Левин. Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. (Лексика). М., 1964.
- Левин, 1965. В. Д. Левин. Карамзин, Батюшков, Жуковский — редакторы сочинений М. Н. Муравьева // Проблемы современной филологии. М., 1965.

- Левин, 1972. Ю. И. Левин. Разбор двух стихотворений Мандельштама // Russian Literature. 1972. № 2.
- Левин, 1972а. Ю. Левин. Заметки к «Разговору о Данте» О. Мандельштама // IJSLP. 1972. Т. XV.
- Левинтон, 1976. Г. А. Левинтон. Новые работы по билингвизму (1975) // RL. 1976. № 1.
- Левинтон и Тименчик, 1978. Г. А. Левинтон, Р. Д. Тименчик. Книга К. Ф. Тарановского о поэзии О. Э. Мандельштама // Russian Literature. 1978. № 2.
- Левкович, 1978. Я. Л. Левкович. Литературная и общественная жизнь пушкинской поры в письмах А. Е. Измайлова к П. Л. Яковлеву // Пушкин. Исследования и материалы. Л., 1978. Т. VIII.
- Левшин, 1807. [В. Левшин]. Послание русаго к французолобцам. Вмesta [sic!] подарка на новый 1807 год. СПб., 1807.
- Леонид, I–IV. Леонид [Кавелин]. Систематическое описание славно-русских рукописей собрания графа А. С. Уварова. М., 1893–1894. Т. I–IV.
- Лесков, I–XI. Н. С. Лесков. Собрание сочинений. М., 1956–1958. Т. I–XI.
- Лесков, 1984. Н. С. Лесков о литературе и искусстве. Л., 1984.
- Лесков, 1984, I–II. А. Лесков. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям. М., 1984. Т. I–II.
- Летопись жизни Ломоносова. Летопись жизни и творчества М. В. Ломоносова / Под ред. А. В. Толчьева, Н. А. Фигуровского и В. Л. Ченакала. М.–Л., 1961.
- Либрехт, 1879. F. Liebrecht. Zur Volkskunde. Heilbronn, 1879.
- Лилеев, 1895. М. И. Лилеев. Из истории раскола на Ветке и в Стародубье XVII–XVIII вв. Киев, 1895. Т. I.
- Литературный Архив, 1938. Литературный Архив. М.–Л., 1938.
- Лихачев, 1897. Н. П. Лихачев. Прозвища Великого князя Ивана III // ИОРЯС. 1897. Т. II. Кн. I.
- Лихачев, 1983. Д. С. Лихачев. Текстология. Л., 1983.
- Лихачев и Панченко, 1976. Д. С. Лихачев, А. М. Панченко. «Смеховой мир» Древней Руси. Л., 1976.
- Лобанов-Ростовский, 1895. А. Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Изд. 2-е. СПб., 1895. Т. I.
- Ломоносов, I–XI. М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений. М.–Л., 1950–1983. Т. I–XI.
- Ломоносов, 1755. М. Ломоносов. Российская грамматика. СПб., 1755.
- Лонгинов, 1871. М. Н. Лонгинов. Последние годы жизни А. П. Сумарокова (1766–1777) // Русский архив. 1871. № 10 (стлб. 1637–1717). № 11 (стлб. 1956–1960).
- Лопарев, 1894. X. Лопарев. Сказание о молодце и девице. Вновь найденная эротическая повесть народной литературы. СПб., 1894.
- Лось, 1892. И. Лось. Величание // Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. СПб. 1892. Т. Va.

- Лотман, 1958. Ю. М. Лотман. Рукопись А. Кайсарова «Сравнительный словарь славянских наречий» // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1958. Вып. I. (УЗ ТГУ. Вып. 65.)
- Лотман, 1959. Ю. М. Лотман. Писатель, критик и переводчик Я. А. Галинковский // XVIII век. М.-Л., 1959. Сб. IV.
- Лотман, 1960. Ю. М. Лотман. Проблема народности и пути развития литературы преддекабрьского периода // О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы. М.-Л., 1960.
- Лотман, 1961. Ю. М. Лотман. Кто был автором стихотворения «На смерть Чернова» // Русская литература. 1961. №3.
- Лотман, 1970. Ю. М. Лотман. О соотношении поэтической лексики русского романтизма и церковнославянской традиции // Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам 17-24 августа 1970 г. Тарту, 1970.
- Лотман, 1971. Ю. М. Лотман. Поэзия 1790-1810-х годов // Поэты 1790-1810-х годов. Л., 1971.
- Лотман, 1973. Ю. М. Лотман. Сатира Воейкова «Дом сумасшедших» // Труды по русской и славянской филологии. Тарту, 1973. Вып. XXI. (УЗ ТГУ. Вып. 306.)
- Лотман, 1980. Ю. М. Лотман. Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л., 1980.
- Лотман, 1984. Ю. М. Лотман. Семантика контекста и подтекста в поэзии Мандельштама // IJSLP. 1984. Vol. XXIX.
- Лотман и Успенский, 1971. Ю. М. Лотман, Б. Успенский. О семиотическом механизме культуры // Труды по знаковым системам. Тарту, 1971. V. (УЗ ТГУ. Вып. 284.)
- Лотман и Успенский, 1974. Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский. К семиотической типологии русской культуры XVIII века // Художественная культура XVIII века. Материалы научной конференции 1973 года. М., 1974.
- Лотман и Успенский, 1992. М. Ю. Лотман, Б. А. Успенский. Миф — имя — культура // М. Ю. Лотман. Избранные статьи. Таллин, 1992. Т. I.
- Лудольф, 1696. Henrici Wilhelmi Ludolfi Grammatica Russica quæ continet non tantum præcipua fundamenta Russicæ Linguæ, verum etiam Manuductionem quandam ad Grammaticam Slavonicam... Oxonii. A. D. MDCXCVI / Ed. by V. O. Unbegaun. Oxford, 1959.
- Лукин, I-II. Сочинения и переводы Владимира Лукина. СПб., 1765. Ч. I-II.
- Лукин и Ельчанинов, 1868. Сочинения и переводы Владимира Игнатьевича Лукина и Богдана Егоровича Ельчанинова. С портретом Ельчанинова и со статьей о Лукине А. Н. Пыпина (Русские писатели XVIII и XIX ст.) / Под ред. П. А. Ефремова. СПб., 1868.
- Лукина, 1983. Н. В. Лукина. Формы почитания собаки у народов Северной Азии // Ареальные исследования в языкознании и этнографии. Л., 1983.
- Лукомский, 1935. Г. К. Лукомский. К вопросу о родоприсхождении Ивана Федорова // Иван Федоров первопечатник. М.-Л., 1935.

- Луркер, 1969. М. Lurker. Hund und Wolf in ihrer Beziehung zum Tode // Antaios. Stuttgart, 1969. Bd. X.
- Львов, 1796. Н. А. Львов. Музыка или Семитония // Аониды. М., 1796. Т. I.
- Львов, 1898. Д. М. Львов. Легенда о происхождении табака // Изв. Общества археологии, истории и этнографии при имп. Казанском университете. Казань, 1898. Т. XIV, вып. 6.
- Любимов, 1916. С. В. Любимов. Князь Костровы: материалы для родословной. Мусоргские: опыт поколенной росписи. Псков, 1916.
- Люблинский, 1936. В. С. Люблинский. Неизвестный автограф Вольтера в бумагах Пушкина // Пушкин. Временник пушкинской комиссии. М.-Л., 1936. II.
- Ляпунов, 1935. Б. М. Ляпунов. О некоторых примерах образования имен нарицательного значения из первоначальных имен собственных личных в славянских языках // Академия наук СССР академику Н. Я. Марру. М.-Л., 1935.
- Магницкий, 1835. М. Магницкий. Краткое руководство к деловой и государственной словесности для чиновников, вступающих в службу. М., 1835.
- Мазаев, 1895. М. Мазаев. Бобров // Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала русской образованности до наших дней) / Под ред. С. А. Венгерова. СПб., 1895. Т. IV.
- Мазунин, 1979. Повесть о боярыне Морозовой / Под ред. А. И. Мазунина. Л., 1979.
- Майков, 1908. П. Майков. Бобринский Алексей Григорьевич // РБС. СПб., 1908. Т. «Бетанкур-Бякстер».
- Макаренко, 1913. А. Макаренко. Сибирский народный календарь в этнографическом отношении. СПб., 1913.
- Макаров, 1803. [П. И. Макаров]. Критика на книгу под названием «Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка», напечатанную в Петербурге, 1803 г. // Московский Меркурий. 1803. Ч. IV, декабрь.
- Макаров, 1803а. [П. И. Макаров]. Некоторые мысли издателей Меркурия // Московский Меркурий. 1803. Ч. I, январь.
- Макаров, 1828. М. Макаров. Древние и новые божбы, клятвы и присяги русские // Труды и летописи Общества истории и древностей российских. М., 1828. Т. VI. Вып. I.
- Макаров, 1846-1848. М. Н. Макаров. Опыт русского простонародного словотолковника. Отгиск из ЧОИДР. 1846-1848. Б. м., 6. г.
- Макеева, 1961. В. Н. Макеева. М. В. Ломоносов, составитель, редактор и рецензент лексикографических работ // ВЯ. 1961. №5.
- Максимов, I-XX. С. В. Максимов. Собрание сочинений. СПб., 6. г. Т. I-XX.
- Максимов, 1975. Е. Н. Максимов. Образ Христофора Кинокефала // Древний Восток. М., 1975. Вып. I.
- Малеин, 1910. И. М. Малеин. Мои воспоминания. Тверь, 1910.
- Малинин, 1901. В. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901.

- Малинка, 1898. А. И. Малинка. Этнографические мелочи // Этнографическое обозрение. 1898. Т. 36, № 1.
- Мальцева, 1966. И. М. Мальцева. Из наблюдений над словообразованием в языке XVIII в. // Процессы формирования лексики русского литературного языка (от Кантемира до Карамзина). М.—Л., 1966.
- Мальцева, Молотков и Петрова, 1975. И. М. Мальцева, А. И. Молотков, З. М. Петрова. Лексические новообразования в русском языке XVIII в. Л., 1975.
- Манассевич. D. Manassewitsch. Die Kunst die Russische Sprache durch Selbstunterricht schnell und leicht zu erlernen. Wien-Pest-Leipzig, s. a. (Die Kunst der Polyglottie. Vierter Teil).
- Мандельштам, 1982. Н. Я. Мандельштам. Воспоминания. Изд. 4. Paris, 1982.
- Мандельштам, 1990. Н. Я. Мандельштам. Комментарий к стихам 1930–1937 гг. // Жизнь и творчество О. Э. Мандельштама: Воспоминания; Материалы к биографии; Новые стихи; Комментарии; Исследования. Воронеж, 1990.
- Мансветов, 1882. И. Мансветов. Митрополит Киприан в его литургической деятельности. М., 1882.
- Манхардт, 1936. W. Mannhardt. Letto-Preussische Götterlehre. Riga, 1936.
- Маньков, 1975. Иностранные известия о восстании Степана Разина / Под ред. А. Г. Манькова. Л., 1975.
- Мареш, 1963. В. Ф. Мареш. Сказание о славянской письменности (по списку Пушкинского Дома АН СССР) // ТОДРЛ. М.—Л., 1963. Т. XIX.
- Марин, 1948. С. Н. Марин. Полное собрание сочинений. М., 1948.
- Маринкович, 1974. Радован Маринковић. Борба против града у Драгачеву // Сборник Радова Народног музеја. Чачак, 1974. Т. V.
- Маринов, 1981. Д. Маринов. Избрани произведения. София, 1981. Т. I.
- Марков, 1901. А. В. Марков. Беломорские былины. М., 1901.
- Марков, 1910. А. Марков. Определение хронологии русских духовных стихов в связи с вопросом об их происхождении // Богословский вестник. 1910. Т. II, № 6–8; Т. III, № 10.
- Марков, 1914. А. В. Марков. Памятники старой русской литературы. Тифлис, 1914. Т. I.
- Марков, 1962. V. Markov. The longer poems of Velimir Khlebnikov. Berkley and Los Angeles, 1962.
- Марлинский, I–XII. А. А. Марлинский. Полное собрание сочинений. СПб., 1838–1840. Т. I–XII.
- Мартынов, 1804. [И. Мартынов]. Рассмотрение всех рецензий, помещенных в ежемесячном издании под названием «Московский Меркурий», издаваемый на 1803 г. // Северный вестник. 1804. Ч. III, № 9.
- Масса, 1937. Исаак Масса. Краткое известие о Московии в начале XVII в. [Перевод с голландского А. А. Морозова]. М., 1937.
- Массон, 1918. Карл Массон. Секретные записки о России, в частности о конце царствования Екатерины II и правлении Павла I. М., 1918. Т. I.

- Материалы АН, I–X. Материалы для истории Императорской Академии Наук. СПб., 1885–1900. Т. I–X.
- Матъсен, 1972. R. C. Mathiesen. The inflectional morphology of the Synodal Church Slavonic verb. Ph. D. Dissertation. Columbia University, 1972.
- Мейлах, 1941. Б. С. Мейлах. Шишков и «Беседа любителей русского слова» // История русской литературы. М.—Л., 1941. Т. V.
- Мельников, I–VII. П. И. Мельников (Андрей Печерский). Полное собрание сочинений. СПб., 1909. Т. I–VII.
- Мельников, 1910. П. И. Мельников. Отчет о современном состоянии раскола 1854 года // Действия Нижегородской губернской ученой архивной комиссии. Нижний Новгород, 1910. Т. IX.
- Мемье, 1795. [Ж. де Мемье]. Граф Сент-Меран, или Новые заблуждения сердца и ума. СПб., 1795. Ч. I.
- Мерзляков, 1812. А. Ф. Мерзляков. Рассуждение о российской словесности в нынешнем состоянии // Труды Общества любителей российской словесности. М., 1812. Ч. I.
- Мещерский, 1978. Н. А. Мещерский. Источники и состав древней славяно-русской переводной письменности IX–XV вв. Л., 1978.
- Миладиновы, 1861. Български народни пѣсни, собрани од братья Миладиновци Димитрия и Константина. Загреб, 1861.
- Милейковская, 1965. Г. М. Милейковская. Об употреблении отчества в русском языке XVI–XIX в. // Slavia. 1965. Ročn. XXXIV, seš. 1.
- Милетич, 1896. Л. Милетич. Нови влахобългарски грамоти от Брашов // Сб. за народни умотворения, наука и книжнина. София, 1896. Т. XIII.
- Миллер, 1876. В. Н. Миллер. Значение собаки в мифологических верованиях // Древности. М., 1876. Т. VI, вып. 3.
- Минь, PL, I–CCXXI. Patrologiae cursus completus... Series latina / Accurante J. P. Migne. Paris, 1844–1864. V. I–CCXXI.
- Миркович, 1878. Г. Миркович. О школах и просвещении в патриарший период // ЖМНП. 1878. № 7.
- Миропольский, I–III. С. Миропольский. Очерк истории церковно-приходской школы. СПб., 1894–1895. Т. I–III.
- Михельсон, I–II. М. И. Михельсон. Русская мысль и речь. Свое и чужое — Опыт русской фразеологии. СПб., б. г. Т. I–II.
- Младенов, 1941. Ст. Младенов. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941.
- Модзалевский, 1937. Рукописи Ломоносова в Академии Наук СССР. Научное описание / Составил Л. Б. Модзалевский. Л.—М., 1937. (Труды Архива АН СССР. Вып. 3.)
- Модзалевский, 1958. Л. Б. Модзалевский. Ломоносов и его ученик Поповский (О литературной преемственности) // XVIII век. М.—Л., 1958. Сб. 3.
- Модзалевский, 1962. Л. Б. Модзалевский. Ломоносов и «О качествах стихотворца рассуждение» (Из истории русской журналистики 1755 г.) // Литературное творчество М. В. Ломоносова. Исследования и материалы. М.—Л., 1962.

- Моисеева, 1971. *Г. Н. Моисеева*. Из истории русского литературного языка XVIII в. («Сатира на употребляющих французские слова в русских разговорах» И. Баркова) // Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В. В. Виноградова. Л., 1971.
- Моисеева, 1973. *Г. Н. Моисеева*. К истории литературно-общественной полемики XVIII века // Искусство слова. Сборник статей к 80-летию члена-корреспондента АН СССР Дмитрия Дмитриевича Благого. М., 1973.
- Моисей Гумилевский, 1786. *Моисей (Гумилевский)*. Рассуждение о вычищении, удобрении и обогащении Российского языка. М., 1786.
- Мордовченко, 1959. *Н. И. Мордовченко*. Русская критика первой четверти XIX века. М.-Л., 1959.
- Морохова, 1985. *Л. Ф. Морохова*. Лонгин // ТОДРЛ. 1985. Т. 40.
- Мочульский, 1893. *В. Мочульский*. Следы народной Библии в славянской и в древнерусской письменности. Одесса, 1893.
- Мошинский, I-II. *К. Moszyński*. Kultura ludowa slowian. Warszawa, 1967-1968. Т. I-II.
- Мошинский, 1931. *К. Moszyński*. Pies w wierzeniach i obrzędach // Lud Słowiański. Kraków, 1931. Т. II, zesz. I (Dział B: Etnografia).
- Мункачи, 1905. *В. Munkacsi*. Seelenglaube und Totenkult der Wogulen // Keleti Szemle. Budapest, 1905, VI.
- Муравьев, 1783. *М. Н. Муравьев*. Рассуждение о различии слогов... // Опыт трудов Вольного Российского собрания. М., 1783. Ч. VI.
- Мусоргский, 1932. *М. П. Мусоргский*. Письма и документы / Собр. и пригот. к печати А. Н. Римский-Корсаков. М.-Л., 1932.
- Неустроев, 1874. *А. И. Неустроев*. Историческое разыскание о русских повременных изданиях и сборниках за 1703-1802 гг., библиографически и в хронологическом порядке описанных. СПб., 1874.
- Нефедов, 1877. *Ф. А. Нефедов*. Этнографические наблюдения на пути по Волге и ее притокам // Труды Этнографического отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете. М., 1877. Кн. IV.
- Никифоров, 1922. *А. И. Никифоров*. Русские повести, легенды и поверья о картофеле. Казань, 1922.
- Никифоров, 1929. *А. И. Никифоров*. Эротика в великорусской народной сказке // Художественный фольклор. М., 1929. IV-V.
- Никифоровский, 1897. *Н. Я. Никифоровский*. Простонародные приметы и поверья, суеверные обряды и обычаи, легендарные сказания о лицах и местах... в Витебской Белоруссии. Витебск, 1897.
- Николаева, 1970. *Т. В. Николаева*. Собрание друженерусского искусства в Загорском музее. Л., [1970].
- Николай Михайлович, 1901. *Вел. кн. Николай Михайлович*. Князья Долгорукие, сподвижники имп. Александра I в первые годы его царствования. Биографические очерки. СПб., 1901.
- Николев, I-V. Творении Николая Петровича Николева. М., 1795-1798. Ч. I-V.

- Николев, 1777. *Н. П. Николев*. Сатира на обычаи и нравы развращенных людей нынешнего века. М., 1777.
- Николев, 1781. *Н. П. Николев*. Розана и Любим. М., 1781.
- Николев, 1787. *Н. П. Николев*. Рассуждение о стихотворстве российском // Новые ежемесячные сочинения. 1787. Ч. X.
- Никольский, 1885. *К. Никольский*. О службах русской церкви, бывших в прежде печатных богослужебных книгах. СПб., 1885.
- Никольский, 1896. *К. Никольский*. Материалы для истории исправления богослужебных книг. Об исправлении Устава церковного в 1682 году и месячных Миней в 1689-1691 гг. СПб., 1891.
- Никольский, 1900. *К. Никольский*. О происхождении и смысле собственных имен некоторых животных // Филологические записки. 1900. № 4-5.
- Никольский, 1912. *А. И. Никольский*. Памятник и образец народного языка и словесности Северо-Двинской области // ИОРЯС. 1912. Т. XVII. Кн. I.
- Никонов, 1967. *В. А. Никонов*. Личное имя, социальный знак // Советская этнография. 1967. № 5.
- Новг. писц. кн., I-VI. Новгородские писцовые книги. СПб.-Пг., 1915. Т. I-VI.
- Новый российский букварь, 1755. Новый российский букварь с краткими нравоучениями и повестями. СПб., 1775.
- Номис, 1864. Українські приказкі, прислів'я та інше / Изд. М. Номис. СПб., 1864.
- Носович, 1870. *И. И. Носович*. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.
- О Феопии... О Феопии В. К. Тредиаковского // Москвитянин. 1851. № 19-20.
- Обнорский, I-II. *С. П. Обнорский*. Именное склонение в современном русском языке. Л., 1927-1931. Вып. I-II.
- Обнорский, 1927. *С. П. Обнорский*. К истории словообразования в русском литературном языке // Русская речь. Нов. серия / Под ред. Л. В. Щербы. Л., 1927. I.
- Обнорский, 1940. *С. П. Обнорский*. Ломоносов и русский литературный язык // Изв. АН СССР. Сер. ОЛЯ. 1940. № 1.
- Обнорский и Бархударов, I-II. *С. П. Обнорский, С. Г. Бархударов*. Хрестоматия по истории русского языка. Ч. I. Изд. 2. М., 1952; Ч. II. М., 1948-1949.
- Оболенская и Топорков, 1990. *С. Н. Оболенская, А. Л. Топорков*. Народное православие и язычество Полесья // Язычество восточных славян. Л., 1990.
- Оболенский, 1988. *В. А. Оболенский*. Моя жизнь. Мои современники. Paris, 1988.
- Огарев, I-II. *Н. П. Огарев*. Избранные произведения. М., 1956. Т. I-II.
- Огиенко, 1912. *И. И. Огиенко*. Об ударении в собственных именах исторических лиц, писателей, деятелей и т. п. Киев, 1912.
- Огнев, 1880. *В. Огнев*. Страницы из истории книги на Руси. Вятка. 1880.

- Озеров, 1805. *В. А. Озеров*. Эдип в Афинах. СПб., 1805.
- Окунь, 1948. *С. Б. Окунь*. История СССР. 1796–1825 гг. Л., 1948.
- Олеарий, 1647. *A. Olearius*. Oftt beehrte Beschreibung der newen orientalischen Reise... Schließwig, 1647.
- Олеарий, 1656. *Adam Olearius*. Vermehrte Neue Beschreibung der Muscovitischen und Persischen Reyse... Schleszwig, 1656.
- Олеарий, 1906. *Адам Олеарий*. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно / Введ., пер., примеч., указ. А. М. Ловягина. СПб., 1906.
- Онучков, 1909. *Н. Е. Онучков*. Северные сказки. СПб., 1909.
- Орлов, I–II. *А. И. Орлов*. Полный фразеологический словарь русского языка с подробнейшим разъяснением всех отличий разговорной речи от ее письменного изображения. М., 1884–1885. Т. I–II.
- Орлов, 1906. *А. Орлов*. Исторические и поэтические повести об Азове. М., 1906.
- Орлов, 1913. *А. Орлов*. Народные предания о святых русского Севера // ЧОИДР. 1913. Кн. 1.
- Орлов, 1935. *А. С. Орлов*. “Тилемахида” В. К. Тредиаковского // XVIII век. М. — Л., 1935. Сб. I.
- Орлов, 1951. Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика / Сост. Вл. Орлов. М. — Л., 1951.
- Орт, 1913. [F.] *Orth*. Hund // Paulys Real-Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung begonnen von G. Wissowa... Stuttgart, 1913. [Reihe I], halbband XVI.
- Остафьевский архив, I–V. Остафьевский архив. СПб., 1899–1913. Т. I–V.
- Очерки по ист. грамматике... , 1964. Очерки по исторической грамматике русского литературного языка XIX века. Глагол, наречие, предлоги и союзы в русском литературном языке XIX века. М., 1964.
- Павлова, 1962. М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках современников / Сост. Г. Е. Павлова. М. — Л., 1962.
- Падхье, 1933. *К. А. Padhye*. Dog's Status in Hindu Sacred Literature // The Journal of the Anthropological Society of Bombay. 1933. Vol. XV, № 3.
- Памва Беринда, 1961. Лексикон словеноруский Памви Беринди. Київ, 1961.
- Памятн. канонич. права, 1908. Памятник древнерусского канонического права // РИБ. СПб., 1908. Т. VI.
- Памятники, 1981. Памятники литературы Древней Руси. XIII век. М., 1981.
- Панченко, 1973. *А. М. Панченко*. Русская стихотворная культура XVII века. Л., 1973.
- Панченко и Успенский, 1983. *А. М. Панченко, Б. А. Успенский*. Иван Грозный и Петр Великий: концепции первого монарха // ТОДРЛ. Л., 1983. Т. 37.
- Пекарский, I–II. *П. Пекарский*. История имп. Академии наук в Петербурге. СПб., 1870–1873. Т. I–II.

- Пекарский, 1863. *П. Пекарский*. Материалы для истории журнальной и литературной деятельности Екатерины II. СПб., 1863.
- Пекарский, 1865. *П. П. Пекарский*. Дополнительные известия для биографии Ломоносова // Записки имп. Академии наук. СПб., 1865. Т. VIII, № 7.
- Пекарский, 1866. *П. П. Пекарский*. Материалы для биографии Тредиаковского // Записки императорской Академии Наук. СПб., 1866. Т. IX. Кн. 2.
- Пекарский, 1968. *П. П. Пекарский*. Записка о Тредиаковском // Записки Императорской Академии Наук. СПб., 1868. Т. XIV.
- Пеннингтон, 1980. *Grigorij Kotošichin*. O Rossii v carstvanie Alekseja Michajloviča. Ntxt and commentary / Edited and with commentary by A. E. Pennington. Oxford., 1980.
- Перетц, 1895. *В. Перетц*. А. И. Крылов как драматург. СПб., 1895.
- Перетц, 1900. *В. Н. Перетц*. Историко-литературные исследования. СПб., 1900. Ч. I.
- Перетц, 1902. *В. Н. Перетц*. Легенды о происхождении картофеля // Памяти Леонида Николаевича Майкова. СПб., 1902.
- Перетц, 1911. *В. Н. Перетц*. К биографии М. В. Ломоносова (Кто был “Христофор Зубницкий”?) // Ломоносовский сборник, 1711–1911 / Под ред. В. В. Сиповского. СПб., 1911.
- Перетц, 1916. *В. Н. Перетц*. Отчет об экскурсии Семинария русской филологии в Киев, 30 мая — 10 июня 1915 года. Киев, 1916.
- Перетц, 1926. *В. Н. Перетц*. Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI–XVIII веков. Л., 1926.
- Перетц, 1929. *В. Перетц*. “Клятва с землей” в частушке // Slavia. 1929. Vol. 7, seš. 4.
- Петрей, 1867. *Петр Петрей де Ерлезунда*. История о Великом княжестве Московском. М., 1867.
- Петрова, 1971. *З. М. Петрова*. Заметки об образно-поэтической системе и языке поэмы С. С. Боброва “Херсониды” // Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти акад. В. В. Виноградова. Л., 1971.
- Петровский сборник, 1872. Петровский сборник. СПб., 1872.
- Петроний, 1975. *Petronii Arbitri*. Satyricon / Introduzione, edizione critica e commento di C. Pellegrino. Roma, 1975.
- Петухов, 1888. *Е. Петухов*. Серапион Владимирский, русский проповедник XIII века. СПб., 1888.
- Письма... , 1936. Письма Г. С. Батенькова, И. И. Пушина и Э. Г. Толля. М., 1936.
- Письма и бумаги Петра, I–XII. Письма и бумаги императора Петра Векликого. СПб. — М., 1887–1977. Т. I–XII.
- Письма разных лиц... , 1867. Письма разных лиц к Ивану Ивановичу Дмьитриеву. 1816–1837. М., 1867.
- Письма русских государей... , 1896. Письма русских государей и других особ царского семейства. V. Письма царя Алексея Михайловича. М., 1896.
- Письма русских писателей, 1980. Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980.

- Питре, 1990. [G. Pitré]. Note comparative // A. N. Afanas'ev. Faïbe russe proibite. A cura di Pia Pera. Milano, 1990.
- Плаксин, 1831. Замечания на сочинение А. С. Пушкина // Сын Отечества. 1831. Т. XX, ч. 142, № 25–26.
- Плаксин, 1833. В. Плаксин. Руководство к познанию истории литературы. СПб., 1833.
- Плетершник, I–II. М. Pletersnik. Slovensko-nemški slovar. Ljubljana, 1894–1895. Т. I–II.
- Погодин, 1843. М. Погодин. Материалы для русской истории // Москвитянин. 1843. Т. I, № 1.
- Подвысоцкий, 1885. А. Подвысоцкий. Словарь областного архангельского наречия. СПб., 1885.
- Подшивалов, 1791. [В. Д. Подшивалов]. Опыт о стихотворстве // Чтение для вкуса, разума и чувствований. М., 1791. Ч. IV.
- Подшивалов, 1796. В. С. Подшивалов. Сокращенный курс российского слога. М., 1796.
- Подшивалов, 1798. В. С. Подшивалов. Краткая русская просодия. М., 1798.
- Покровский, 1903. В. Покровский. Щеголихи в сатирической литературе XVIII века. М., 1903.
- Покровский, 1903а. В. Покровский. Щеголи в сатирической литературе XVIII века. М., 1903.
- Покровский, 1910. В. Н. Покровский. Книга и читатель двести лет назад // Двухсотлетие гражданского шрифта. М., 1910.
- Покровский, 1912. К. Покровский. Граф Ф. В. Растропчин и его комедия “Вести или убитый живой”. М., 1912.
- Покровский, 1930. М. Pokrovskij. Petrone et le folklore russe // Доклады АН СССР. 1930. Сер. В. № 5.
- Покровский, 1971. Н. Н. Покровский. Судные списки Максима Грека и Исаака Собаки. М., 1971.
- Покровский, 1979. Н. Н. Покровский. Исповедь алтайского крестьянина // Памятники культуры. Новые открытия, 1978. Л., 1979.
- Полевой, 1934. Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов / Под ред. В. Н. Орлова. Л., 1934.
- Полесский архив. Архив Полесской экспедиции, хранящийся в Институте славяноведения и балканистики АН СССР.
- Поливка, 1908. J. Polivka. Lidové pověsti o původu tabáku // Jagić Festschrift. Zbornik u slavu Vatroslava Jagića. Berlin, 1908.
- Поликарпов, 1701. [Федор Поликарпов]. Бѣкварь славенскими, греческими, римскими писмены, оучитиса хоташымъ, и любомѣдріе въ ползѣ дѣшеспасителнѣю обрести тѣшымса. М., 1701.
- Поликарпов, 1704. [Ф. Поликарпов]. Лексикон трехязычный, сирѣчь реченій славенских, еллиногреческих и латинских сокровище. М., 1704.
- Полный лексикон, I–II. Полной французской и российской лексикон... СПб., 1786. Т. I–II.
- Полосин, 1963. И. И. Полосин. Социально-политическая история России XVI — начала XVII в. М., 1963.

- Померанцева, 1975. Э. В. Померанцева. Мифологические персонажи в русском фольклоре. М., 1975.
- Попов, 1768. [М. Попов]. Описание древнего славенского языческого баснословия, собранного из разных писателей, и снабденного примечаниями. СПб., 1768.
- Попов, 1912. М. С. Попов. Арсений Мацкевич и его дело. СПб., 1912.
- Попов, 1974. И. В. Попов. Критика раннего Карамзина в ее публицистической сущности // Проблемы изучения русской литературы XVIII века. Л., 1974. Вып. I.
- Порошин, 1881. Семена Порошина записки, служащие к истории его императорского высочества государя цесаревича и великого князя Павла Петровича. 2-е изд. СПб., 1881.
- Порфирьев, 1877. И. Я. Порфирьев. Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях по рукописям Соловецкой библиотеки. СПб., 1877.
- Посошков, I–II. И. Посошков. Сочинения. М., 1842–1863. Т. I–II.
- Посошков, 1893. И. Т. Посошков. Завещание отеческое. СПб., 1893.
- Потанин, 1899. Гр. Потанин. Этнографические заметки на пути от г. Никольска до г. Тотьмы // Живая старина. 1899. Вып. 1, 2.
- Потебня, 1880. А. А. Потебня. Этимологические заметки: Слепород, ślery Mazur, Сучичъ // РФВ. 1880. Т. 4, № 3–4.
- Потебня, 1882. А. А. Потебня. Этимологические заметки: Он собаку съел на... // РФВ. 1882. Т. 7, № 1.
- Потебня, 1914. А. А. Потебня. О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1914.
- Потребник, 1651. Потребник. М., 1651.
- Поэты XVIII века, I–II. Поэты XVIII века / Вступ. ст. Г. П. Макогоненко. Биографич. справки И. З. Сермана. Сост. Г. П. Макогоненко и И. З. Сермана. Подгот. текста и примеч. Н. Д. Кочетковой и Г. С. Тащищевой. Л., 1972.
- Поэты XIX в., 1961. Поэты начала XIX века. Л., 1961.
- Поэты 1790–1810-х годов, 1971. Поэты 1790–1810-х годов. Л., 1971.
- Поэты-сатирики..., 1959. Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX / Под ред. Г. В. Ермаковой-Битнер. М. — Л., 1959.
- Правила о произношении букв, 1772. Правила о произношении российских букв и о исправном тех же в новейшем гражданском письме употреблении или о правописании, собранные из российских грамматик. М., 1772.
- Пращица, 1726. Пращица. СПб., 1726.
- Пришвин, 1956. М. М. Пришвин. Кашеева цепь // М. Пришвин. Собрание сочинений в 6-ти томах. М., 1956. Т. I.
- Продолжатель Феофана, 1992. Продолжатель Феофана. Жизнеописание византийских царей / Подг. изд. Я. К. Любарского. М., 1992.
- Прозоровский, 1896. А. Прозоровский. Сильвестр Медведев. Его жизнь и деятельность. М., 1896.
- Пропп, 1946. В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946.

- Прони, 1958. *В. Я. Прони*. Песня о гневе Грозного на сына // Вестник ЛГУ. № 14. Серия истории языка и литературы. Л., 1958. Вып. 3.
- Прони, 1976. *В. Я. Прони*. Фольклор и действительность. М., 1976.
- Протасьева, I-II. Описание рукописей Синодального собрания (не вошедших в описание А. В. Горского и К. И. Невоструева) / Сост. Т. Н. Протасьева. М., 1970-1973. Ч. I-II.
- Протасьева, 1980. *Т. Н. Протасьева*. Описание рукописей Чудовского собрания. Новосибирск, 1980.
- Протоколы АН, I-IV. Протоколы заседаний Конференции Академии Наук с 1725 по 1803 г. СПб., 1897-1911. Т. I-IV.
- ПСЗ, I-XLV. Полное собрание законов Российской империи [Собрание I-е]. СПб., 1830. Т. I-XLV.
- ПСРЛ, I-XXXVIII. Полное собрание русских летописей. СПб., (Пг., Л.) — М., 1841-1989. Т. I-XXXVIII.
- Пташицкий, 1878. *С. Л. Пташицкий*. Деспоты Зеновичи в конце XVI и в начале XVII века // Русская старина. 1878. Т. XXI, январь.
- Пуст. сб. Пустозерский сборник: автографы сочинений Аввакума и Елифания / Подг. изд. Н. С. Демкова, Н. Ф. Дробленкова, Л. И. Сазонова. Л., 1975.
- Пушкин, I-XVI. *А. С. Пушкин*. Полное собрание сочинений. М. — Л., 1937-1949. Т. I-XVI.
- Пушкин, 1906-1911, I-III. Сочинения Пушкина. Переписка / Под ред. В. И. Саитова. СПб., 1906-1911. Т. I-III.
- Пушкин в восп. совр., I-II. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. I-II.
- Пыпин, 1916. *А. Н. Пыпин*. Религиозные движения при Александре I. Пг., 1916.
- Пяст, 1929. *В. Пяст*. Встречи. М., 1929.
- Раденкович, 1982. *Л. Раденковић*. Народне басме и бајања. Ниш-Приштина-Крагујевац, 1982.
- Разоренова, 1959. *А. В. Разоренова*. Неизвестное письмо В. К. Тредиаковского // Из истории русской журналистики. М., 1959.
- Райс, 1976. *J. L. Rice*. A Russian Bawdy Song of the 18th Century // Slavic and East-European Journal. 1976. Vol. 20, № 4.
- Ранняя рус. драматургия, I-V. Ранняя русская драматургия. М., 1972-1976. Т. I-V.
- Рапен, 1675. [*R. Rapin*]. Reflexions sur la poetique de ce temps, et sur les ouvrages des Poetes anciens et modernes. Seconde Edition revue et augmentée. Paris, 1675.
- Рапопорт, 1971. *Ю. А. Рапопорт*. Из истории религии древнего Хорезма. М., 1971.
- Рассказы и заметки..., 1879. Рассказы и заметки сельского священника // Русская старина. 1879. Март.
- РБС, I-XXV. Русский биографический словарь. Изд. под наблюдением председателя императорского русского исторического общества А. А. Половцева. Пг. — М., 1896-1918. Т. I-XXV.
- Резанов, 1931. *В. И. Резанов*. Из разысканий о комедиях Сумарокова (отрывки) // Памяти П. Н. Сакулина. Сборник статей. М., 1931.

- Рейсер, 1961. *С. А. Рейсер*. Русский бог. // Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1961. Т. XX. Вып. 1.
- Ржевский, 1763. [*А. А. Ржевский*]. О московском наречии // Свободные часы. 1763. Февраль.
- Ржига, 1907. *В. Ржига*. Четыре духовных стиха // Этнографическое обозрение. 1907. № 1-2.
- РИБ, I-XXXIX. Русская историческая библиотека. СПб. (Пг., Л.), 1872-1927. I-XXXIX.
- Роде, I-II. *E. Rohde*. Psyche, Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Tübingen, 1910. Vol. I-II.
- Родде, 1773. *J. Rodde*. Russische Sprachlehre. Riga, 1773.
- Родосский, 1893. *А. Родосский*. Описание 432-х рукописей, принадлежащих С.-Петербургской Духовной Академии. СПб., 1893.
- Рождественский, 1902. *Н. В. Рождественский*. К истории борьбы с церковными беспорядками, отголосками язычества и пороками в русском быту XVII в. // ЧОИДР. 1902. Кн. II.
- Розанов, 1901. *М. Н. Розанов*. Поэт периода "бурных стремлений" Якоб Ленц, его жизнь и произведения (Критическое исследование). М., 1901.
- Розов, 1965. *Н. Н. Розов*. Похвальное слово великому князю Василию III // Археологический ежегодник за 1964 г. М., 1965.
- Романов, I-IX. *Е. Р. Романов*. Белорусский сборник. Киев-Витебск-Вильна, 1886-1912. Т. I-IX.
- Ронен, 1973. *О. Ронен*. Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама // Slavic Poetics. Essays in Honor of Kiril Tarapanovsky. The Hague-Paris, 1973.
- Ронен, 1983. *О. Ronen*. An Approach to Mandel'stam. Jerusalem, 1983.
- Россет, 1882. Из рассказов А. О. Россета про Пушкина // Русский архив. 1882. № 2.
- Роте, 1983. *Н. Rothe*. Zur Kiever Literatur in Moskau, II // Slavistische Studien zum IX. Internationalen Slavistenkongress in Kiev, 1983 / Hrsg. von R. Olesch. Köln-Wien, 1983.
- Рулин, 1929. *П. И. Рулин*. Первая комедия Сумарокова // Известия по русскому языку и словесности. 1929. Т. II. Кн. I.
- Русский архив. Русский архив. М., 1863-1917.
- Русский временник, I-II. Русский временник. М., 1820. Т. I-II.
- Руссо, 1969. *Жан-Жак Руссо*. Трактаты. М., 1969.
- РФА. Русский феодальный архив XIV — первой трети XVI века. М., 1982-1984. Вып. I-IV. Продолжающаяся пагинация во всех выпусках.
- Рыбаков, 1976. *Б. А. Рыбаков*. Стригольничские покаянные кресты // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976.
- Рыбников, I-III. *П. Н. Рыбников*. Песни. Изд. 2-е. М., 1909-1910. Т. I-III.
- Савинов, 1890. *М. П. Савинов*. Чин Пещного действия в Вологодском Софийском соборе // РФВ. 1890. № 1.
- Садовников, 1884. *Л. Н. Садовников*. Сказки и предания Самарского края. СПб., 1884.

- Сайтов, 1902. *В. Сайтов*. Петров Василий Петрович // РБС. СПб., 1902. Т. "Павел - Петр"
- Сакулин, 1913. *И. Н. Сакулин*. Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. М., 1913. Т. I. Вып. I-II.
- Салтыков-Щедрин, I-XX. *М. Е. Салтыков-Щедрин*. Собрание сочинений. М., 1965-1977. Т. I-XX.
- САР, I-VI. Словарь Академии Российской, производным порядком расположенный. СПб., 1789-1794. Т. I-VI.
- Сартори, 1930. *Paul Sartori*. Erzählen als Zauber // Zeitschrift für Volkskunde. 1930. Bd. II, h. 1-2.
- Сб. РИО, I-CXLVIII. Сборник Русского Исторического Общества. СПб., 1867-1916. Т. I-CXLVIII.
- Св. кат. XVIII в., I-V. Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века (1725-1800). М., 1963-1967. Т. I-V. Дополнения. М., 1975.
- Свенцицкий, 1912. *Л. Свенцицкий*. Похоронні голосія // Етнографічний збірник. Етнографічна комісія Наукового Товариства імені Шевченка. Львів, 1912. Т. XXXI-XXXII.
- Свербеев, 1899. *Л. Н. Свербеев*. Записки. М., 1899. Т. I.
- Светов, 1779. *В. П. Светов*. Некоторые общие примечания о языке Российском // Академические известия. 1779. Ч. III, сентябрь.
- Свирилин, 1904. *А. И. Свирилин*. Сведения о жизни архимандрита Переславского Данилова монастыря Григория Неронова // Труды Владимирской ученой архивной комиссии. Владимир, 1904. Кн. VI.
- СГГиД, I-V. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в государственной коллегии иностранных дел. М., 1813-1894. Ч. I-V.
- Селищев, 1920. *А. М. Селищев*. Забайкальские старообрядцы: Семейские. Иркутск, 1920.
- Селищев, 1948. *А. М. Селищев*. Происхождение русских фамилий, личных имен и прозвищ // УЗ МГУ. Вып. 128. Труды кафедры русского языка. М., 1948. Кн. I.
- Селищев, 1971. *А. М. Селищев*. Смена фамилий и личных имен // Труды по знаковым системам. Тарту, 1971. V. (УЗ ТГУ. Вып. 284.)
- Семенников, 1923. *В. П. Семенников*. Радищев. Очерки и исследования. М. — Пг., 1923.
- Семенников, 1936. *В. П. Семенников*. Литературно-общественный круг Радищева // А. Н. Радищев. Материалы и исследования. М. — Л., 1936.
- Семенов, 1893. *В. Семенов*. Древняя русская Пчела по пергаменному списку. СПб., 1893.
- Семигиновский, 1794. *М. Семигиновский*. Правописание российское с предварительным наставлением о произношении букв, о складах и о чтении, из разных грамматик и новейших о правописании правил... собранное. М., 1794.
- Сергеев-Ценский, I-X. *С. Н. Сергеев-Ценский*. Собрание сочинений. М., 1955-1956. Т. I-X.

- Сергий, 1888. *Сергий (Василевский)*. Высокопреосвященный Филарет в схимонашестве Феодосий (Амфитеатров), митрополит Киевский и Галицкий, и его время. Казань, 1888. Т. I.
- Серебрянский, 1915. *Н. Серебрянский*. Древнерусские княжеские жития (Обзор редакций и тексты). М., 1915.
- Сержпутовский, 1911. *А. К. Сержпутовский*. Грамматический очерк белорусского наречия дер. Чудина Слуцкого уезда Минской губернии. СПб., 1911.
- Серман, 1973. *И. З. Серман*. Русский классицизм. Поэзия. Драма. Сатира. Л., 1973.
- Серман, 1974. *Ilya Serman*. Konstantin Batushkov. New York, 1974.
- Сечихин, 1732. [*И. Сечихин*]. К Меценату. Беспристрастному читателю. К Зоилу [предисловие Ивана Сечихина к переведенному им в 1732 году с латыни "Анфроскопии" Андрея Оттона Кольберга Померана]. РГБ. ОР. Ф.29 (собр. И. Д. Беляева), № 47(1559); Ф. 200 (собр. Ниловой пустыни), № 82.
- Сидорова, 1956. *Л. П. Сидорова*. Рукописные замечания современника на первом издании трагедии В. А. Озерова "Дмитрий Донской" // Записки Отдела рукописей [ГБЛ]. М., 1956. Вып. 18.
- Симеон Полоцкий, 1667. [*Симеон Полоцкий*]. Жезл правления. М., 1667.
- Симеон Полоцкий, 1953. *Симеон Полоцкий*. Избранные произведения / Под ред. И. П. Еремина. М. — Л., 1953.
- Сими́на, 1969. *Г. Я. Сими́на*. Фамилия и прозвище // Ономастика. М., 1969.
- Симон Азарьин и Иван Наседка, 1855. [*Симон Азарьин и Иван Наседка*]. Канон преподобному отцу нашему Дионисию, архимандриту Сергиевы Лавры, Радонежскому чудотворцу, с присовокуплением жития его. М., 1855.
- Симони, 1899. *П. Симони*. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII-XIX столетий. СПб., 1899. Вып. I.
- Симони, 1908. *П. Симони*. Памятники старинной русской лексикографии по русским рукописям XIII-XVIII стол. Вып. III. Половецкий и татарский словарики. Речи тонкословия греческого. СПб., 1908.
- Симунс, 1961. *F. J. Simoons*. Eat not this flesh. Madison-Wasconsin, 1961.
- Сиповский, 1899. *В. В. Сиповский*. Н. М. Карамзин, автор "Писем русского путешественника". СПб., 1899.
- Сиповский, 1909. *В. В. Сиповский*. Очерки из истории русского романа. СПб., 1909. Т. I. Вып. I-II.
- Сиромаха, 1979. *В. Г. Сиромаха*. Языковые представления книжников Московской Руси второй половины XVII в. и "Грамматика" М. Смотрицкого // Вестник МГУ. Сер. 9. Филология. 1979. № 1.
- Скабичевский, 1892. *А. М. Скабичевский*. Очерки истории русской цензуры (1700-1863). СПб., 1892.
- Сл. лит. яз., I-XIII. *Lietuvu, kalbos žodinas*. Vilnius, 1956-1984. Т. I-XIII.
- Сл. нем. яз., 1964. *Wörterbuch der deutschen Aussprache*. Leipzig, 1964.

- Сл. яз. Пушкина, I-IV. Словарь языка Пушкина. М., 1956-1961. Т. I-IV.
- Славейков, 1954. П. Р. Славейков. Български притчи и пословици и характерни думи. София, 1954.
- Славский, I-V. F. Sławski. Słownik etimologiczny języka polskiego. Kraków, 1952-1982. Vol. I-V.
- Сл. РЯ XI-XVII вв., I-XVII. Словарь русского языка XI-XVII вв. М., 1975-1993. Т. I-XVII.
- Сл. стпольск. яз., I-VIII. Słownik staropolski. Wrocław, 1953-1985. Vol. I-VIII.
- Сл. стсл. яз., I-III. Slovník jazyka staroslověnského. Praha, 1958-1982. Vol. I-III.
- Сл. стукр. яз., I-II. Словник староукраїнської мови XIV-XV ст. Київ, 1977-1978. Т. I-II.
- Сл. чешск. яз., I-VIII. Příruční slovník jazyka českého. Praha, 1935-1957. Vol. I-VIII.
- Словарь церковнослав. и рус. языка, 1847. Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением имп. Академии наук. СПб., 1847.
- Сменцовский, 1899. М. Сменцовский. Братья Лихуды. СПб., 1899.
- Смирнов, 1898. П. С. Смирнов. Внутренние вопросы в расколе в XVII веке. Исследование из начальной истории раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукописным. СПб., 1898.
- Смирнов, 1898а. Н. Смирнов. К вопросу о педагогике в Московской Руси в XVII ст. // РФВ. 1898. Т. XXXIX, № 1-2.
- Смирнов, 1901. И. Т. Смирнов. Кашинский словарь. СПб., 1901.
- Смирнов, 1909. П. С. Смирнов. Споры о расколе // Христианское чтение. 1909.
- Смирнов, 1910. П. С. Смирнов. Центры раскола в первой четверти XVIII века // Христианское чтение. 1910.
- Смирнов, 1910а. Н. А. Смирнов. Западное влияние на русский язык в петровскую эпоху. СПб., 1910.
- Смирнов, 1913. С. Смирнов. Древнерусский духовник. Исследование по истории церковного быта. М., [1913].
- Смирнов, 1921. Вас. Смирнов. Клады, паны и разбойники. Кострома, 1921.
- Смирнов, 1927. М. И. Смирнов. Культ и крестьянское хозяйство в Переславль-Залесском уезде. По этнографическим наблюдениям // Труды Переславль-Залесского историко-художественного и краеведного музея. Переславль-Залесский, 1927. Вып. I: Старый быт и хозяйство Переславльской деревни.
- Смирнов, 1927а. В. Смирнов. Народные гаданья Костромского края // Четвертый этнографический сборник. Кострома, 1927.
- Смирнов, 1929. Д. Смирнов. Рассказы о Грибоедове // А. С. Грибоедов. Его жизнь и гибель в мемуарах современников / Под ред. З. Давыдова. Л., 1929.
- Смирнов, 1972. И. П. Смирнов. От сказки к роману // ТОДРЛ. Л., 1972. Т. XXVII.

- Смирнов и Смолицкий, 1978. Ю. И. Смирнов, В. Г. Смолицкий. Новгородские былины. М., 1978.
- Смотрицкий, 1916. Мелетій Смотрицький. Грамматика славенския правильного свнтагма. Евье, 1619.
- Смотрицкий, 1648. [М. Смотрицкий]. Грамматика. М., 1648.
- Снесарев, 1969. Г. П. Снесарев. Реликты домусульманских верований у узбеков Хорезма. М., 1969.
- Соболев, 1914. Алексей Соболев. Обряд прощания с землей перед исповедью. Заговоры и духовные стихи. Владимир, 1914.
- Соболевский, 1890. А. И. Соболевский. Груша и Дуна // Живая старина. 1890. I, № 1.
- Соболевский, 1901. А. Соболевский. Рецензия на кн.: В. Малинин. Старец Елеазарова монастыря Филофей и его послания. Киев, 1901 // ЖМНП. 1901. № 12.
- Соболевский, 1903. А. И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси XIV-XVII веков. СПб., 1903.
- Соболевский, 1908. А. И. Соболевский. Славяно-русская палеография. СПб., 1908.
- Соболевский, 1910. А. И. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910.
- Соколов, 1788. П. И. Соколов. Начальные основания Российской грамматики. СПб., 1788.
- Соколов, 1916. Б. Соколов. О житийных и апокрифических мотивах в былинах // РФВ. 1916. Т. 76, № 3.
- Соколова, 1972. З. П. Соколова. Культ животных в религиях. М., 1972.
- Соловьев. I-XV. С. М. Соловьев. История России с древнейших времен в 15 книгах. М., 1960-1966.
- Соловьев, 1962. А. В. Соловьев. Русичи и русовичи // Слово о полку Игореве — памятник XII века. М. — Л., 1962.
- Солосин, 1913. И. И. Солосин. Отражение языка и образов Св. Писания и книг богослужбных в стихотворениях Ломоносова // ИОРЯС. 1913. Т. XVIII, кн. 2.
- Сомов, 1823. О. Сомов. О романтической поэзии // Соревнователь просвещения и благотворения. 1823. Ч. 23, кн. 1.
- Сорокин, 1965. Ю. С. Сорокин. Развитие словарного состава русского литературного языка, 30-90-е годы XIX века. М. — Л., 1965.
- Спафарий, 1978. Николай Спафарий. Эстетические трактаты / Подгот. текстов и вступ. ст. О. А. Белобровой. Л., 1978.
- Сперанский, 1844. М. Сперанский. Правила высшего красноречия. СПб., 1844.
- Сперанский, 1934. М. Н. Сперанский. Из старинной новгородской литературы XIV века. Л., 1934.
- Сперанский, 1961. М. М. Сперанский. Проекты и записки / Под ред. С. Н. Валка. М. — Л., 1961.
- Спринчак, 1960. Я. А. Спринчак. Очерк русского исторического синтаксиса. Простое предложение. Киев. 1960.

- Сравнительные словари... I-II. Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею Всевысочайшей особы. СПб., 1787-1789. Ч. I-II.
- Срезневский, I-III. *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка. СПб., 1893-1912. Т. I-III.
- Срезневский, 1900. *В. Срезневский*. Сборники писем И. Т. Посошкова к митрополиту Стефану Яворскому. СПб., 1900.
- Срезневский, 1906. *В. Срезневский*. Сказания о молодце и девице по сп. XVII в. библиотеки Академии Наук // ИОРЯС. 1906. Т. XI, кн. 4.
- СРНГ, I-XXV. Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф. П. Филина. М. — Л., 1965-1991 (изд. продолжается). Т. I-XXV.
- Станг, 1952. *Chr. S. Stang*. La langue du livre Učenije i chitrostь ratnago ströjenija pechotnychъ ljudej 1647 // Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. Hist.-Filos. Klasse. 1952. II, № 1.
- Станевич, 1808. *Е. Станевич*. Способ рассматривать книги и судить о них. СПб., 1808.
- Станевич, 1809. *Е. Станевич*. Рассуждение о русском языке. СПб., 1809.
- Стендер-Петерсен, 1973. *Ad. Stender-Petersen*. Fonvisins forhold til Holberg // D. I. Fonvizin, Brigadiren—Landjunkeren / Ed. M. Osterby. Odense, 1973.
- Степун, I-II. *Ф. Степун*. Бывшее и несбывшееся. Нью-Йорк. 1956. Т. I-II.
- Стихотворная комедия..., 1964. Стихотворная комедия конца XVIII — начала XIX в. М. — Л., 1964.
- Стоглав, 1890. Царьския вопросы и соборныя ответы о многообразных церковных чинех (Стоглав). М., 1890.
- Страхов, 1791. *Н. И. Страхов*. Переписка Моды. М., 1791.
- Струйский, 1790. *Н. Струйский*. Сочинения. СПб., 1790. Т. I, ч. I.
- Субботин, I-IX. *Н. И. Субботин*. Материалы для истории раскола за первое время его существования. М., 1875-1890. Т. I-IX.
- Сумароков, I-X. *А. П. Сумароков*. Полное собрание всех сочинений в стихах и прозе. М., 1787. Ч. I-X.
- Сумароков, 1759. *А. Сумароков*. О истреблении чужих слов из русского языка // Трудолюбивая пчела. 1759. Январь.
- Сумароков, 1957. *А. П. Сумароков*. Избранные произведения / Вступ. ст., подг. текста и примеч. П. Н. Беркова. Л., 1957.
- Супр. рук. Супрасьльски или Ретков сборник (Супрасльская рукопись) / Изд. Й. Заимов, М. Копалдо. София, 1982-1983. Т. I-II.
- Сухомлинов, I-V. Сочинения М. В. Ломоносова с объяснительными примечаниями академика М. И. Сухомлинова. СПб., 1891-1902. Т. I-V.
- Сухомлинов, 1874-1888, I-VIII. *М. И. Сухомлинов*. История Российской Академии. СПб., 1874-1888. Т. I-VIII.
- Сырку, 1913. *П. Сырку*. Из быта бессарабских румын // Живая старина. 1913. Вып. 1-2.
- Сыхта, I-VI. *В. Sychta*. Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław, 1967-1973. Vol. I-VI.

- СЭС, 1979. Советский энциклопедический словарь. М., 1979.
- Сянь-лю, 1932. *Chungshee Hsien Liu*. The Dog-Ancestor Story of the Aboriginal Tribes of Southern China // The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. 1932. Vol. 57.
- Тальман, 1730. [*П. Тальман*] Езда в остров любви. СПб., 1730.
- Таппе, 1810. *L. W. Tappe*. Neue theoretisch-praktische Russische Sprachlehre für Deutsche. СПб.-Рига, 1810.
- Тарабарин, 1916. *И. М. Тарабарин*. Лицевой букварь Кариона Истомина // Древности. Труды имп. Московского Археологического общества. М., 1916.
- Тарановский, 1976. *К. Taranovsky*. Essays on Mandel'stam. Cambridge Mass.-London, 1976.
- Татищев, 1736. Письмо В. Н. Татищева к В. К. Тредиаковскому от 18 февраля 1736 г. // Архив АН. Разр. II. Оп. 1. № 206.
- Татищев, 1887. *В. Н. Татищев*. Разговор двух приятелей о пользе науки и училищ. М., 1887.
- Татищев, 1979. *В. Н. Татищев*. Избранные произведения. Л., 1979.
- Теплов, 1755. [*Г. Н. Теплов*]. О качествах стихотворца рассуждение // Ежемесячные сочинения. 1755. Май.
- Термер, 1957. *F. Termer*. Der Hund bei den Kulturvölkern Altamerikas // Zeitschrift für Ethnologie. 1957. Vol. 82, h. I.
- Террас, 1969. *V. Terras*. The Time Philosophy of Osip Mandel'stam // The Slavonic and East European Review. 1969. № 109.
- Титов, 1911. *А. А. Титов*. Иосиф, архиепископ Коломенский // ЧОИДР. 1911. Кн. 3. Приложение к первому тому, Киев, 1918.
- Титов, 1918. *Ф. Титов*. Типография Киево-Печерской лавры. Исторический очерк (1606-1616-1916 гг.). Киев, 1918. Т. I (1606-1616-1721 гг.).
- Тиханов, 1904. *П. Тиханов*. Брянский говор. СПб., 1904.
- Тихонравов, I-II. Памятники отреченной русской литературы / Изд. Н. Тихонравов. СПб., 1863. Т. I-II.
- Тихонравов, 1874, I-II. Русские драматические произведения 1672-1725 гг. / Собр. и объяснены Николаем Тихонравовым. СПб., 1874. I-II.
- Тихонравов, 1894. *Н. С. Тихонравов*. Материалы для полного собрания сочинений Д. Н. Фонвизина. СПб., 1894.
- Толстая, 1982. *С. М. Толстая*. Вариативность формальной структуры обряда (Купала и Марена) // Труды по знаковым системам. Тарту, 1982. Вып. 15. (УЗ ТГУ. Вып. 576.)
- Толстов, 1935. *С. П. Толстов*. Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен // Проблемы истории докапиталистических обществ. 1935. № 9-10.
- Толстой, 1864. *Ю. Толстой*. Русские прописи 1620 года // ЧОИДР. 1864. Кн. 2.
- Толстой, 1979. *Н. И. Толстой*. Элементы народного театра в южнославянской святочной обрядности // Театральное пространство. М., 1979.

- Толстые, 1981. *Н. И. Толстой, С. М. Толстая*. Заметки по славянскому язычеству. 5. Славянский и балканский фольклор. М., 1981.
- Томашевский, 1927. *Б. Томашевский*. Теория литературы. Поэтика. Изд. 2. М.-Л., 1927.
- Томашевский, 1934. *Б. Томашевский*. Из пушкинских рукописей // Литературное наследство. М., 1934. Т. 16-18.
- Томашевский, 1959. *Б. В. Томашевский*. Вопросы языка в творчестве Пушкина // Б. В. Томашевский. Стих и язык. М.-Л., 1959.
- Томашевский, 1959а. *Б. В. Томашевский*. Стих и язык. Филологические очерки. М.-Л., 1959.
- Томашевский, 1959б. *Б. В. Томашевский*. Стилистика и стихосложение. Курс лекций. Л., 1959.
- Томпсон, 1964. The types of the folktale. A classification and bibliography. Antti Aarne's «Verzeichnis der Marchentypen» translated and enlarged by Stith Thompson. 2-d revision. Helsinki, 1964.
- Топорков, 1984. *А. Л. Топорков*. Материалы по славянскому язычеству (культ матери — сырой земли в дер. Присно) // Древнерусская литература. Источниковедение. Л., 1984.
- Топоров, 1968. *V. N. Toporov*. Parallels to Ancient Indo-Iranian Social and Mythological Concepts // *Pratidanam* / Ed. by J. S. Heesterman et al. The Hague-Paris, 1968.
- Топоров, 1973. *В. Н. Топоров*. О семиотическом аспекте митраической мифологии в связи с реконструкцией некоторых древних представлений // *Semiotyka i struktura terstu* / Red. M. R. Maýenowa. Wrocław, 1973.
- Топоров, 1987. *В. Н. Топоров*. Древо мировое // Мифы народов мира. М., 1987. Т. I.
- Третьяковский, I-III. *В. К. Третьяковский*. Сочинения / Изд. Александра Смирдина. СПб., 1849. Т. I-III.
- Третьяковский, 1730. [*В. К. Третьяковский*]. К читателю // Езда в остров любви. Переведена с французского на Руской чрез Студента Василья Третьяковского... СПб., 1730.
- Третьяковский, 1735. Новый и краткий способ к сложению Российских стихов с определениями до сего надлежащих званий чрез Василья Третьяковского, С. Петербургския Императорския Академии Наук Секретаря. СПб., 1735.
- Третьяковский, 1744. [*В. К. Третьяковский*]. Для известия // Три оды парафрастическия псалма 143, сочиненныя чрез трех стихитворцов, из которых каждой одну сложил особливо. СПб., 1744.
- Третьяковский, 1748. Разговор между чужестранным человеком и российским об орфографии старинной и новой и о всем, что принадлежит к сей материи, сочинен Васильем Третьяковским, профессором елоквенции. СПб., 1748.
- Третьяковский, 1751. [*В. К. Третьяковский*]. Предупреждение от трудившагося в переводе // Аргенида. Повесть героическая, сочиненная Иоанном Барклаием, а с латинскаго на славено-российский переведенная и Митологическими изъяснениями умноженная от Васи-

- ля Третьяковского, профессора елоквенции и члена Императорския Академии Наук. СПб., 1751. Т. 1.
- Третьяковский, 1752, I-II. Сочинения и переводы как стихами так и прозою Василья Третьяковского. СПб., 1752. Т. I-II.
- Третьяковский, 1766. [*В. К. Третьяковский*]. Предъизъяснение об Ироической Пийме // Тилемахида или Странствование Тилемаха сына Одисеева, описанное в составе Ироической Пиймы Василием Третьяковским, Надворным Советником, Членом Санктпетербургския Императорския Академии наук, с Французския нестихословныя речи, сочиненныя Франциском де-Салиньяком де-ла-Мотом Фенелоном... СПб., 1766. Т. I.
- Третьяковский, 1849. *В. К. Третьяковский*. Избранные сочинения / Изд. П. Перевлеского. М., 1849.
- Третьяковский, 1865. *В. К. Третьяковский*. Об окончании прилагательных... // П. Пекарский. Дополнительные известия для биографии Ломоносова. СПб., 1865.
- Третьяковский, 1935. *В. К. Третьяковский*. Стихотворения. Л., 1935.
- Третьяковский, 1963. *В. К. Третьяковский*. Избранные произведения / Вступительная статья и подготовка текста Л. И. Тимофеева. Примеч. Я. М. Строчкова. М.-Л., 1963.
- Третьяковский, 1972. *В. К. Третьяковский*. Не знаю, кто певцов в стих вкинул сумасбродный... // Поэты XVIII века. Л., 1972. Т. II.
- Трифонов, 1937. *Ю. Трифонов*. Към въпроса за византийско-български договори с езически обреди // Изв. на българския археологически институт (1937). София, 1938. Вып. 11.
- Трофимов и Джоунз, 1923. *M. V. Trofimov and Daniel Jones*. The pronunciation of Russian. Cambridge, 1923.
- Трубачев, I-XIX. Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974-1992. Т. I-XIX.
- Трубачев, 1955. *О. Н. Трубачев*. К этимологии слова собака // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. М., 1955. Вып. XV.
- Трубачев, 1960. *О. Н. Трубачев*. Происхождение названий домашних животных в славянских языках. М., 1960.
- Трубачев, 1978. *О. Н. Трубачев*. Из работы над русским Фасмером // ВЯ. 1978. № 6.
- Трубецкой, 1918. *Е. Трубецкой*. Иное царство и его искатели в русской сказке. М., 1918.
- Трубецкой, 1927. *Н. С. Трубецкой*. Общеславянский элемент в русской культуре // Н. С. Трубецкой. К проблеме русского самопознания. Собрание статей. [Париж], 1927.
- Трубецкой, 1960. *Н. С. Трубецкой*. Основы фонологии. М., 1960.
- Трунев, 1949. *Н. В. Трунев*. Из истории значений слов (Советские оды Ломоносова) // УЗ Омского педагогического института. 1949. Вып. 4.
- Тушиков, 1903. *Н. М. Тушиков*. Исторический очерк употребления древнерусских личных собственных имен // Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. СПб., 1903. Т. VI.

- Тушиков, 1903а. *Н. М. Тушиков*. Исторический очерк употребления древнерусских личных собственных имен // Записки отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. СПб., 1903. Т. IV.
- Тургенев, I-XXVIII. *И. С. Тургенев*. Полное собрание сочинений и писем. М.-Л., 1960-1968. Т. I-XXVIII.
- Турилов и Чернецов, 1985. *А. А. Турилов, А. В. Чернецов*. Отреченная книга Рафли // ТОДРЛ. 1985. Т. 40.
- Тынянов, 1929. *Ю. Н. Тынянов*. Архаисты и новаторы. Л., 1929.
- Тынянов, 1929а. *Ю. Тынянов*. Предисловие // Дневник В. К. Кюхельбекера. Л., 1929.
- Тынянов, 1939. *Ю. Тынянов, В. К. Кюхельбекер* // В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы. Л., 1939. Т. I.
- Тынянов, 1965. *Ю. Тынянов*. Проблемы стихотворного языка. Статьи. М., 1965.
- Указная книга... , 1889. Указная книга Поместного приказа // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. М., 1889. Кн. VI.
- Унбегаун, 1939. *В. Unbegaun*. Un point d'histoire de la politesse russe: tutoiement et vousoiement // Mélanges en l'honneur de Jules Legras (Travaux publiés par l'Institut d'études slaves. XIX.). Paris, 1939.
- Унбегаун, 1942. *В. O. Unbegaun*. Les noms de famille du clergé russe // Revue des études slaves. 1942. Vol. XX.
- Унбегаун, 1951. *В. O. Unbegaun*. Vulgarisation d'une terme liturgique: russe прохладяться // Revue des études slaves. Paris, 1951. Т. 27 (Mélanges André Mazon).
- Унбегаун, 1966. *В. O. Unbegaun*. Les noms de famille russes en -ago // Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae. Budapest, 1966. Vol. XII.
- Унбегаун, 1968. *В. O. Unbegaun*. Язык русской литературы и проблемы его развития // VI-e Congrès international des slavistes. Prague, 7-13 août 1968. Communications de la délégation française et de la délégation suisse. Paris, 1968.
- Унбегаун, 1969. *В. O. Unbegaun*. La calque dans les langues slaves littéraires // В. O. Unbegaun. Selected Papers on Russian and Slavonic Philology. Oxford, 1969.
- Унбегаун, 1969а. *В. O. Unbegaun*. Selected Papers on Russian and Slavonic Philology. Oxford, 1969.
- Унбегаун, 1971. *В. O. Unbegaun*. Отчества на -ич и их отношение к русским фамилиям // Исследования по славянскому языкознанию. Сборник в честь С. Б. Бернштейна. М., 1971.
- Унбегаун, 1973. *В. O. Unbegaun*. The Russian literary language: a comparative view // Modern Language. 1973. Vol. 68, № 4.
- Унбегаун, 1989. *В. O. Unbegaun*. Русские фамилии // Под ред. Б. А. Успенского. М., 1989.
- Уоллес, 1880. *Макензи Уоллес*. Россия. М., 1880. Т. I.
- Усп. сб. Успенский сборник XII-XIII вв. / Изд. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971.

- Успенский, I-II. *Г. П. Успенский*. Опыт повествования о древностях российских. Харьков, 1811-1812. Ч. I-II.
- Успенский, 1898. *Д. И. Успенский*. Духовные стихи // Этнографическое обозрение. 1898. № 3.
- Успенский, 1967. *Б. А. Успенский*. Проблемы лингвистической типологии в аспекте различия «говорящего» (адресанта) и «слушающего» (адресата) // To honor Roman Jakobson. The Hague-Paris, 1967. Vol. III.
- Успенский, 1968. *Б. А. Успенский*. Архаическая система церковнославянского произношения (Из истории литургического произношения в России). М., 1968.
- Успенский, 1969. *Б. А. Успенский*. Из истории русских канонических имен. М., 1969.
- Успенский, 1969а. *Б. А. Успенский*. Никоновская справа и русский литературный язык // ВЯ. 1969. № 5.
- Успенский, 1970. *Б. А. Успенский*. Грамматическая правильность и поэтическая метафора // Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам (17-24 августа 1970). Тарту, 1970.
- Успенский, 1970а. *Б. А. Успенский*. Поэтика композиции. М., 1970.
- Успенский, 1971. *Б. А. Успенский*. Книжное произношение в России (Опыт исторического исследования). Докторская диссертация. Машинопись. М., 1971.
- Успенский, 1971а. *Б. А. Успенский*. Книжное произношение в России (Опыт исторического исследования). АДД. М., 1971.
- Успенский, 1971б. *Б. А. Успенский*. Структура художественного текста и текстология (некоторые вопросы передачи прямой речи в «Войне и мире» Л. Н. Толстого) // Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика В. В. Виноградова. Л., 1971.
- Успенский, 1972. *Б. А. Успенский*. Превая грамматика русского языка на родном языке // ВЯ. 1972. № 6.
- Успенский, 1974. *Б. А. Успенский*. Доломоновский период отечественной русистики: Адодуров и Тредиаковский // ВЯ. 1974. № 2.
- Успенский, 1975. *Б. А. Успенский*. Первая русская грамматика на родном языке (Доломоновский период отечественной русистики). М., 1975.
- Успенский, 1976. *Б. А. Успенский*. Тредиаковский и история русского литературного языка // Венки Тредиаковскому. Волгоград, 1976.
- Успенский, 1982. *Б. А. Успенский*. Филологические разыскания в области славянских древностей. М., 1982.
- Успенский, 1983. *Б. А. Успенский*. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. М., 1983.
- Успенский, 1983а. *Б. А. Успенский*. Диглоссия и двуязычие в истории русского литературного языка // IJSLP. 1983. Vol. XXVII.
- Успенский, 1984. *В. А. Uspensky*. The language situation and linguistic consciousness in Muscovite Rus: the perception of Church Slavic and Russian // Medieval Russian Culture / Ed. by H. Birnbaum and M. S. Flier. Berkeley-Los-Angeles-London, [1984].

- Успенский, 1985.** Б. А. Успенский. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века (Языковая программа Карамзина и ее исторические корни). М., 1985.
- Успенский, 1985а.** Б. А. Успенский. Анти-поведение в Древней Руси // Проблемы изучения культурного наследия. М., 1985.
- Успенский, 1987.** Б. А. Успенский. История русского литературного языка (XI–XVII вв.). München, 1987.
- Успенский, 1987а.** Б. А. Успенский. Предисловие // Jean Sohier. Grammaire et Methode Russe et Française. 1724. / Факсим. воспр. под ред. и с предисл. Б. А. Успенского. München, 1987. Vol. I–II. (Specimina philologiae slavicae, Bd. 69).
- Успенский, 1988.** Б. А. Успенский. История и семиотика (Восприятие времени как семиотическая проблема). Статья первая // Труды по знаковым системам. Тарту, 1988. Вып. XXII (УЗ ТГУ. Вып. 831).
- Успенский, 1990.** Ф. Б. Успенский. О поэтике Мандельштама (грамматика как предмет поэтики) // Блоковский сборник. IX. Тарту, 1990. (УЗ Тартуского университета. Вып. 917).
- Ушаков, 1896.** Д. Ушаков. Материалы по народным верованиям великоруссов // Этнографическое обозрение. 1896. № 3–4.
- Ушаков, 1928.** Д. Н. Ушаков. Звук г фрикативный в русском литературном языке // Сборник статей в честь академика А. И. Соболевского. Л., 1928.
- Фасмер, I–IV.** М. Фасмер. Этимологический словарь русского языка. М., 1964–1973. Т. I–IV.
- Фатер, 1808.** J. S. Vater. Praktische Grammatik der Russischen Sprache. Leipzig, 1808.
- Федеровский, I–VIII.** М. Federowski. Lud białoruski na Rusi litewskiej. Kraków–Warszawa, 1897–1981. Vol. I–VIII.
- Фенне, I–II.** Tönnies Fenne's Low German Manual of Spoken Russian. Pskov, 1607 / Ed. by L. L. Hammerich et al. Copenhagen, 1961–1970. Vol. I–II.
- Фергюсон, 1959.** Ch. A. Ferguson. Diglossia // Word. 1959. Vol. XV. № 2.
- Флоренский, 1922.** П. А. Флоренский. Мнимости в геометрии. М., 1922.
- Флоровский, 1949.** А. Флоровский. Чудовский инок Евфимий // Slavia. 1949. Bd. XIX, seš. 1–2.
- Фомин, 1912.** А. Фомин. Андрей Иванович Тургенев и Андрей Сергеевич Кайсаров. Новые данные о них по документам архива П. Н. Тургенева. СПб., 1912.
- Фонвизин, I–II.** Д. И. Фонвизин. Собрание сочинений. М.–Л., 1959. Т. I–II.
- Фонвизин, 1783.** Д. И. Фонвизин. Недоросль. СПб., 1783.
- Фонвизин, 1866.** Д. И. Фонвизин. Сочинения, письма и избранные переводы. СПб., 1866.
- Фонвизин, 1959.** Д. И. Фонвизин. Начертание словаря славенороссийского языка // Д. И. Фонвизин. Собрание сочинений в двух томах. М.–Л., 1959.

- Франк, 1965.** B. Frank. Die Rolle des Hundes in afrikanischen Kulturen. Wiesbaden, 1965.
- Франко, 1892.** I. Franko. «Bajka Wegierska» Wraclawa Potockiego i «psia krew» // Wisla. 1892. Vol. 6, sesz. 4–5.
- Франко, 1895.** I. Franko. «Psia krew» i «psia wiara» // Lud. 1895. Vol. I, sesz. 4, 5.
- Фрейденберг, 1936.** О. Фрейденберг. Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936.
- Фролова, 1981.** С. В. Фролова. Древнерусские отчества на -ичь в словообразовательном отношении // Семантические и словообразовательные отношения в лексике русского языка. Куйбышев, 1981.
- Хаавио, 1967.** М. Haavio. Suomalainen mytologia. Porvoo–Helsinki, 1967.
- Харлампович, 1914.** К. В. Харлампович. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь. Казань, 1914. Т. I.
- Харузин, 1897.** Н. Харузин. К вопросу о борьбе Московского правительства с народными языческими обрядами и суевериями в первой половине XVII в. // Этнографическое обозрение. 1897. Кн. XXXII, № 1.
- Хвостов, 1787.** Д. И. Хвостов. Русский парижанец // Российский феатр. СПб., 1787. Ч. XV.
- Хлебников, I–V.** Собрание произведений Велемира Хлебникова / Под ред. Ю. Н. Тынянова и Н. Л. Степанова. Л., 1928–1933. Т. I–V.
- Хлебников, 1940.** Велимир Хлебников. Неизданные произведения / Ред. и коммент. Н. Харджиева и Т. Грица. М., 1940.
- Хлебников, 1960.** В. Хлебников. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., подг. текста и примеч. Н. Степанова. Л., 1960.
- Храповицкий, 1802.** М. В. Храповицкий. Слово похвальное Екатерине Второй. СПб., 1802.
- Храповицкий, 1874.** Дневник А. В. Храповицкого 1782–1793. СПб., 1874.
- Хютль-Ворт, 1956.** G. Hüttl-Worth. Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII. Jahrhundert. Wien, 1956.
- Хютль-Ворт, 1963.** Г. Хютль-Ворт. Проблемы межславянских и славяно-неславянских лексических отношений // American Contributions to the Fifth International Congress of Slavists. Sofia, 1963. The Hague, 1963.
- Хютль-Ворт, 1963а.** G. Hüttl-Worth. Foreign words in Russian. Berkeley and Los Angeles, 1963.
- Хютль-Ворт, 1966.** G. Hüttl Worth. Trediakovskijs Feoptija. Ein Beitrag zur abstrakten Terminologie // Orbis scriptus, Dmitrij Tchiżewskij zum 70. Geburtstag. München, 1966.
- Хютль-Ворт, 1968.** Г. Хютль-Ворт. Роль церковнославянского языка в развитии русского литературного языка // American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists. The Hague, 1968. Vol. I.
- Хютль-Ворт, 1970.** G. Hüttl Worth. Thoughts on the turning point in the history of Literary Russian; the eighteenth century // International Journal of Slavic Linguistics and Poetics. 1970. Vol. XIII.

- Хютль-Ворт, 1971-1972. *G. Hüttl-Worth. On French and the emergence of Early Modern Russian* // Zborník filozofickej fakulty univerzity Komenského. 1971-1972. Ročn. XXIII XXIV.
- Хютль-Ворт, 1974. *Г. Хютль-Ворт. О проблемах русского литературного языка конца XVII — начала XIX в.* // Slovanské spisovné jazyky v době obrozění. Praha, 1974.
- Цветаева, 1976. *Марина Цветаева. Повесть о Сонечке* // Новый мир. 1976. № 3.
- Цейтлин, 1912. *Г. Цейтлин. Знахарства и поверья в Поморье (Очерк из быта поморов)* // Изв. Архангельского общества изучения Русского Севера. 1912. № 1, 4.
- Целларий, 1746. *Х. Целларий. Краткий российский лексикон.* СПб., 1746.
- Цыганенко, 1970. *Г. П. Цыганенко. Этимологический словарь русского языка.* Киев, 1970.
- Цявловский, 1931. *М. А. Цявловский. Книга воспоминаний о Пушкине.* М., 1931.
- Челаковский, 1949. *F. Čelakovský. Mudrosloví národu slovanského ve příslovích.* Praha, 1949.
- Черных, 1948. *П. Я. Черных. Заметки об употреблении местоимения вы вместо ты в качестве форм вежливости в русском литературном языке XVIII-XIX веков* // УЗ МГУ. 1948. Вып. 137 (Труды кафедры русского языка. Кн. 2).
- Чернышев, 1901. *В. Чернышев. Материалы для изучения говоров и быта Мещовского уезда.* СПб., 1901.
- Чернышев, 1908. *В. И. Чернышев. Законы и правила русского произношения.* СПб., 1908.
- Чернышев, 1934. *V. Černyšev. Les prénoms russes: formation et vitalité* // Revue des études slaves. 1934. Vol. XIV, fasc. 3-4.
- Чернышев, 1914. *В. И. Чернышев. Правильность и чистота русской речи.* СПб., 1914. Вып. 1.
- Чернышев, 1928. *В. И. Чернышев. Несколько словарных разысканий* // Статьи по славянской и русской филологии. Сборник статей в честь академика Алексея Ивановича Соболевского. Л., 1928.
- Чернышев, 1935. *В. И. Чернышев. Происхождение некоторых нарицательных имен из собственных* // Язык и мышление. М.-Л., 1935. III-IV.
- Чечулин, 1890. *Н. Чечулин. Личные имена в писцовых книгах XVI в., не встречающиеся в православных святцах* // Библиограф. 1890. VI, № 7-8.
- Чистов, 1967. *К. В. Чистов. Русские народные социально-утопические легенды XVII-XIX вв.* М., 1967.
- Чистович, 1858. *И. Чистович. Рецензия на «Обзор русской духовной литературы» Филарета Гумилевского* // Изв. II отделения имп. Академии наук. 1858. Т. VI.
- Чистович, 1899. *И. А. Чистович. История перевода Библии на русский язык.* Изд. 2-е СПб., 1899.

- Чичагов, 1957. *В. К. Чичагов. Вопросы русской исторической ономастики* // ВЯ. 1967. № 6.
- Чичагов, 1959. *В. К. Чичагов. Из истории русских имен, отчеств, фамилий.* М., 1959.
- Чичеров, 1957. *В. И. Чичеров. Зимний период русского земледельческого календаря XVI-XIX веков.* М., 1957.
- Чубинский, I-VII. *П. П. Чубинский. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край... Юго-Западный отдел.* СПб., 1872-1878. Т. I-VII.
- Чулицкий, 1904. *В. Чулицкий. Из писательских отношений десятых годов XIX столетия* // ИОРЯС. 1904. Т. X, кн. 3.
- Чулков, 1766-1768. [*М. Чулков*]. Пересмешник или Славенские сказки. СПб., 1766-1768.
- Шаламов, 1982. *В. Шаламов. Колымские рассказы.* Paris, 1982.
- Шаликов, I-II. *П. И. Шаликов. Сочинения.* М., 1819. Т. I-II.
- Шапкарев, I-IV. *К. А. Шапкарев. Сборник от болгарски народни умствотворения.* София, 1968-1973. Т. I-IV.
- Шапкарев, 1884. *К. А. Шапкарев. Руссалии, древен и твърд интересен български обичай запазен и до днес в Южна Македония.* Пловдив, 1884.
- Шарпантье, 1768. [*Charpentier*]. Elements de la langue russe ou methode courte et facile pour apprendre cette langue conformement á l' usage. SPb., 1768.
- Шахматов, 1903. *А. А. Шахматов. Исследование о двинских грамотах XV в.* СПб., 1903.
- Шахматов, 1925. *А. А. Шахматов. Очерк современного русского литературного языка.* Л., 1925.
- Шахматов, 1941. *А. А. Шахматов. Очерк современного русского литературного языка.* Изд. 4-е. М., 1941.
- Шаховской, 1961. *А. А. Шаховской. Комедии. Стихотворения.* Л., 1961.
- Шебунин, 1923. *А. Н. Шебунин. Европейская контр-революция в первой половине XIX века.* Л., 1923.
- Шебунин, 1936. *А. Шебунин. Братья Тургеневы и дворянское общество александровской эпохи* // Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.-Л., 1936.
- Шевелев, 1963. *G. Y. Shevelov. Speaking of Russian Stress* // Word. 1963. V. 19, № 1.
- Шейн, I-III. *Н. В. Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края.* СПб., 1887-1902. Т. I-III.
- Шенрок, I-IV. *В. И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя.* М., 1892-1897. Т. I-IV.
- Шереметев, 1902. *И. Шереметев. Зимняя поездка в Белозерский край.* М., 1902.
- Шереметевский, I III. *В. В. Шереметевский. Фамильные прозвища великорусского духовенства в XVIII и XIX столетиях* // Русский архив. 1908. I III.

- Шильдер, I–II.** *Н. К. Шильдер.* Император Николай Первый. Его жизнь и царствование. СПб., 1903. Т. I–II.
- Шильдер, 1897–1898, I–IV.** *Н. К. Шильдер.* Император Александр Первый, его жизнь и царствование. СПб., 1897–1898. Т. I–IV.
- Шильдер, 1901.** *Н. К. Шильдер.* Император Павел Первый. Историко-биографический очерк. СПб., 1901.
- Шиндин, 1991.** *С. Г. Шиндин.* Город в художественном мире Мандельштама: пространственный аспект // *Russian Literature.* 1991. № 1.
- Шицгал, 1974.** *А. Г. Шицгал.* Русский типографский шрифт. Вопросы истории и практика применения. М., 1974.
- Шишкин, 1983.** *А. Б. Шишкин.* К творческой истории «Феоптии» Тредиаковского. Доклад на заседании Группы XVIII века Института русской литературы АН СССР (Пушкинского дома) 28 июня 1983 г. (не опубликован).
- Шишкин, 1984.** *А. Б. Шишкин.* В. К. Тредиаковский: годы учения // *Studia slavica Academiae scientiarum hungaricae.* Budapest, 1984. Vol. XXX.
- Шишкин, 1989.** *А. Б. Шишкин.* Документы Архива Синода о книгах В. К. Тредиаковского; Судьба «Псалтири» Тредиаковского // *Vasilij Kirilovič Trediakovskij. Psalter / Besorgt und kommentiert von A. Levitsky.* Paderborn–München–Wien–Zürich, 1989.
- Шишков, I–XVI.** *[А. С.] Шишков.* Собрание сочинений и переводов. СПб., 1818–1834. Ч. I–XVI.
- Шишков, 1804.** *А. С. Шишков.* Прибавление к сочинению, называемому Разсуждение о старом и новом слоге... СПб., 1804.
- Шишков, 1808.** *[А. С. Шишков].* Перевод двух статей из Лагарпа с примечаниями переводчика. СПб., 1808.
- Шишков, 1811.** *А. С. Шишков.* Разговоры о словености... СПб., 1811.
- Шишков, 1814.** *[А. С. Шишков].* Рассуждение о красноречии Священного Писания. СПб., 1814.
- Шишков, 1818.** *А. С. Шишков.* Рассуждение о старом и новом слоге Российского языка. СПб., 1818.
- Шишков, 1868.** Записки Адмирала Александра Семеновича Шишкова с мая 1824 по декабрь 1826 года / Публ. О. Бодянского // *ЧОИДР.* 1968. Кн. 3.
- Шишков, 1870.** Записки, мнения и переписка адмирала А. С. Шишкова. Берлин, 1870. Т. I.
- Шкловский, 1925.** *В. Шкловский.* О теории прозы. М.–Л., 1925.
- Шлерат, 1954.** *В. Schlerath.* Der Hund bei den Indogermanen // *Paideuma.* 1954. Bd. 6, h. 1.
- Шлёцер, 1904.** *Aug Schlözer.* Russische Sprachlehre. I–II. А. Шлёцер. Русская грамматика. I–II / С предисл. С. К. Булича. СПб., 1904.
- Шляпкин, 1891.** *И. А. Шляпкин.* Св. Дмитрий Ростовский и его время. СПб., 1891.
- Шольц, 1937.** *Н. Scholz.* Der Hund in der griechisch — römischen magie und Religion. Inaugural-Dissertation... Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin. 1937.

- Шотландский эротический фольклор.** *Some Erotic Folklore from Scotland // Kryptadia.* 1884. II.
- Шпильрейн, 1929.** *И. Н. Шпильрейн.* О переменах имен и фамилий // *Психотехника и психофизиология труда,* 1929, № 4.
- Штаден, 1925.** *Г. Штаден.* О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. М., 1925.
- Штаден, 1930.** *Н. von Staden.* Aufzeichnungen über den Moskauer Staat. Hamburg, 1930.
- Штихель, 1971.** *R. Stichel.* Studien zum Verhältnis von Text und Bild spät- und nachbyzantinischer Vergänglichkeitsdarstellungen. Wien, 1971.
- Шухевич, 1902.** *Володимир Шухевич.* Гуцульщина // *Материяли до українсько-руської етнології.* Видане Етнографічної комісії [Наукового Товариства імені Шевченка]. Львів, 1902. Т. 5.
- Щапов, I–III.** *А. П. Щапов.* Сочинения. СПб., 1906–1908. Т. I–III.
- Щекин, 1925.** *М. В. Щекин.* Как жить по-новому. Кострома, 1925.
- Щук. сб., 1907.** *Щукинский сборник.* М., 1907. Вып. VII.
- Щуров, 1867.** *И. Щуров.* Календарь народных примет, обычаев и поверьев на Руси // *ЧОИДР.* 1867. Кн. 4.
- Эйдельман, 1966.** *Н. Я. Эйдельман.* Тайные корреспонденты «Полярной звезды». М., 1966.
- Эйдельман, 1973.** *Н. Я. Эйдельман.* Герцен против самодержавия. Секретная политическая история России XVIII–XIX веков и вольная печать. М., 1973.
- Элиаде, 1963.** *M. Eliade.* Aspects du mythe. Paris, 1963.
- Эрнст, 1914.** *Сергей Эрнст.* Рисунки русских художников в собрании Шварцта // *Старые годы.* 1914. № 10–12.
- Юль, 1900.** Записки Юста Юля, датского посланника при Петре Великом. М., 1900.
- Юрий Крижанич, 1965.** *Юрий Крижанич.* Политика. М., 1965.
- Яблочков, 1876.** *М. Яблочков.* История дворянского сословия в России. СПб., 1876.
- Яворский, 1928.** *Ю. Яворский.* Легенда о происхождении павликиан // *Сб. ОРЯС.* 1928. Т. 101, № 3.
- Ягич, 1896.** *Codex slovenicus rerum grammaticarum / Edidit V. Jagić.* Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском и русском языке / Собрал и объяснил И. В. Ягич. Petropoli, 1896. (Исследования по русскому языку. СПб., 1885–1895. Т. 1. Отд. отд.)
- Яacobson, I–VII.** *R. Jakobson.* Selected writings. The Hague, 1962–1985. Vol. I–VII.
- Яacobson, 1921.** *Р. Яacobson.* Новейшая русская поэзия. набросок первый. Прага, 1921.
- Яacobson, 1944.** *R. Jakobson.* Saint Constantin et la langue syriaque // *Annuaire de l'Institut d'Histoire Orientales et Slaves.* 1939–1944. VII.
- Яacobson, 1950.** *R. Jakobson.* Slavic Mythology // *Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology and Legend.* New York, 1950. Vol. II.
- Яacobson, 1954.** *Roman Jakobson.* Minor Native Sources for the Early History of the Slavic Church // *Harvard Slavic Studies.* 1954. Vol. II.

- Якобсон, 1966. *Р. О. Якобсон. О морфологическом составе древнерусских отчеств* // R. Jakobson. Selected writings. The Hague, 1966. Vol. IV.
- Якушкин, 1983. *Собрание народных песен П. В. Киреевского. Записи П. И. Якушкина, I. Л., 1983.*
- Яновский, 1803–1806. *Н. М. Яновский. Новый словотолкователь... , содержащий разныя в Российском языке встречающиеся иностранные речения и технические термины.* СПб., 1803–1806.
- Яхонтов, 1883. *И. К. Яхонтов. Иеродиакон Дамаскин, русский полемист XVII века.* СПб., 1883.
- Яцимирский, 1900. *А. И. Яцимирский. Румынские сказания о рахманах* // Живая старина. 1900. Т. 10, вып. 1–2.
- Яцимирский, 1913. *А. И. Яцимирский. К истории ложных молитв в южно-славянской письменности* // ИОРЯС. 1913. Т. XVIII, кн. 3, 4.

Библиографическая справка

Статьи, вошедшие в данный том, были опубликованы в следующих изданиях:

1. **Язык в координатах сакрального и профанного**
Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси (XVI–XVII вв.). // «Литература и искусство в системе культуры». М., 1986, с. 208–224.
- Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси: восприятие церковнославянского и русского языков. // «Византизм и Русь. Памяти Веры Дмитриевны Лихачевой». М., 1989, с. 206–227.
- Вопрос о сирийском языке в славянской письменности: почему дьявол может говорить по-сирийски? // «Вторичные моделирующие системы». Тарту, 1979, с. 79–82.
2. **Языческий субстрат обшечного мира**
Религиозно-мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии (Семантика русского мата в историческом освещении). // «Studia Slavica Academiae scientarum Hungaricae», XXIX, 1983, с. 33–69; «Studia Slavica Academiae scientarum Hungaricae», XXXII, 1987, с. 37–76.
- «Заветные сказки» А. Н. Афанасьева. // «От мифа к литературе. Сборник в честь 70-летия Е. М. Мелетинского». М., 1993, с. 117–139.
3. **Имя и социум**
Мена имен в России в исторической и семиотической перспективе. // «Труды по знаковым системам», V. Тарту, 1971 («Ученые записки Тартуского университета», вып. 284), с. 481–492. Публ. с редакц. изм.

Социальная жизнь русских фамилий. // Б. О. Унбегаун. «Русские фамилии». М., 1989, с. 336–365. Публ. с редакц. изм.

4. Структура поэтического текста

- Фонетическая структура одного стихотворения Ломоносова. // «Semiotyka i struktura tekstu: studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi slawistów (Warszawa, 1973) Praca zbiorowa pod red. M. R. Mayenowej». Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, 1973, с. 103–129.
- К поэтике Хлебникова: проблемы композиции. // «Сборник статей по вторичным моделирующим системам». Тарту, 1973, с. 122–127.
- Анатомия метафоры у Мандельштама. Публ. впервые.

5. Борьба идей в языке

- К истории одной эпиграммы Тредиаковского. // «Russian Linguistics», 1984, 8, с. 75–127.
- Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или судьбина российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва). // «Труды по русской и славянской филологии», XXIV. Тарту, 1975 («Ученые записки Тартуского университета», вып. 358), с. 168–322. Публ. с изменениями и дополнениями.

Список трудов Б. А. Успенского

1958

1. Рец.: J. W. Perry, A. Kent, M. M. Berry. *Machine Literature Searching*. New York—London, 1956. — *Вопросы языкознания*, 1958, № 5. — С. 138–139. <Совм. с Д. Г. Лахути>.

1959

2. Рец.: *Syntax Patterns in English Studied by Electronic Computer*. — *Машинный перевод и прикладная лингвистика*, 1959, № 2 (3). — С. 70–73. <Совм. с В. А. Успенским>.

1961

3. Типологическая классификация языков как основа языковых соответствий (Структура языка-эталона при типологической классификации языков). — *Вопросы языкознания*, 1961, № 6. — С. 51–64.

1962

4. *Принципы структурной типологии*. [Москва]: "Изд-во Московского ун-та", 1962. — 64 с.
5. Лингвистическая жизнь Копенгагена. — *Вопросы языкознания*, 1962, № 3. — С. 148–151.
6. Гадание на игральном картас как семиотическая система. — *Симпозиум по структурному изучению знаковых систем: Тезисы докладов*. Москва: "Изд-во АН СССР", 1962. — С. 83–86. <Совм. с М. И. Лекомцевой>. Тезисы работы № 20.
7. О семиотике искусства. — *Симпозиум по структурному изучению знаковых систем: Тезисы докладов*. Москва: "Изд-во АН СССР", 1962. — С. 125–128.
8. Семиотика у Честертона. — *Симпозиум по структурному изучению знаковых систем: Тезисы докладов*. Москва: "Изд-во АН СССР", 1962. — С. 149–152.
9. Рец.: H. Spang-Hanssen. *Probability and Structural Classification in Language Description*. Copenhagen, 1959. — *Вопросы языкознания*, 1962, № 2. — С. 107–110.

1963

10. *Некоторые вопросы структурной типологии (К типологическому описанию языков на грамматическом уровне)*. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. [Москва]: "Изд-во Моск. ун-та", 1963. — 22 с.

11. Опыт трансформационного исследования синтаксической типологии. — *Исследования по структурной типологии*. Отв. ред. Т. Н. Молошная. Москва: "Изд-во АН СССР", 1963. — С. 52–60.
12. Сосуществование грамматических структур в языке (Расчленение языка на элементарные структуры и возможность типологической характеристики последних). — *Совещание по типологии восточных языков: Тезисы докладов*. Москва, 1963. — С. 67–73. Тезисы работы № 23.
13. Рец.: *Universals of Language*. Ed. by J. H. Greenberg. Cambridge, 1963. — *Вопросы языкознания*, 1963, № 5. — С. 115–130.

1964

14. Замечания по типологии кетского языка. — *Вопросы структуры языка*. Отв. ред. Вяч. В. Иванов. Москва: "Наука", 1964. — С. 144–156.
15. К системе передачи изображения в русской иконописи (в свете работ Л. Ф. Жегина). — *Программа и тезисы докладов в Летней школе по вторичным моделирующим системам (19–29 августа 1964 г.)*. Тарту, 1964. — С. 54–57. Тезисы работы № 19.
16. Предварительные замечания к персонологической классификации. — *Программа и тезисы докладов в Летней школе по вторичным моделирующим системам (19–29 августа 1964 г.)*. Тарту, 1964. — С. 29–31. Предварительная публикация работы № 21.
17. *Sulla semiotica dell'arte*. — *Questo e altro: Rivista di letteratura*. 1964. № 6–7. — Р. 60–61. Перевод на итал. яз. работы № 7.

1965

18. *Структурная типология языков*. Москва: "Наука", 1965. — 286 с.
19. К системе передачи изображения в русской иконописи. — *Труды по знаковым системам*, II. Тарту, 1965. — С. 248–257 (= *Учен. зап. Тартуского ун-та*, вып. 181).
20. Описание одной семиотической системы с простым синтаксисом. — *Труды по знаковым системам*, II. Тарту, 1965. — С. 94–105 (= *Учен. зап. Тартуского ун-та*, вып. 181). <Совм. с М. И. Лекомцевой>.
21. Предварительные замечания к персонологической классификации. — *Труды по знаковым системам*, II. Тарту, 1965. — С. 91–93 (= *Учен. зап. Тартуского ун-та*, вып. 181).
22. Предварительное сообщение об опыте семиотического исследования речевого потока под действием мескалина. — *Труды по знаковым системам*, II. Тарту, 1965. — С. 345–346 (= *Учен. зап. Тартуского ун-та*, вып. 181). <Совм. с М. Даниловым, Ю. Либманом, А. Пятигорским, Д. Сегалом>.
23. О сосуществовании грамматических типов в языке (Расчленение языка на элементарные структуры и возможность типологической

- характеристики этих структур). — *Лингвистическая типология и восточные языки: Материалы совещания*. Отв. ред. Л. Б. Никольский. Москва: "Наука", 1965. — С. 178–188.
24. Несколько замечаний о языке-этalone. — *Лингвистическая типология и восточные языки: Материалы совещания*. Отв. ред. Л. Б. Никольский. Москва: "Наука", 1965. — С. 308–310.
25. Проблема универсалий в языкознании. — *Проблемы исследования систем и структур: Материалы к конференции*. Отв. ред. Л. Б. Никольский. Москва, 1965. — С. 139–141.
26. О новых работах по паралингвистике. Рец.: *Approaches to Semiotics: Cultural Anthropology, Education, Linguistics, Psychiatry, Psychology*. Ed. by T. A. Sebeok, A. S. Hayes, M. C. Bateson. London—The Hague—Paris, 1964. — *Вопросы языкознания*, 1965, № 6. — С. 116–122. <Совм. с Т. М. Николаевой>.
- 1966
27. Ред.: *Языки Африки: Вопросы структуры, истории и типологии*. Москва: "Наука", 1966. — 298 с.
28. Предисловие. — *Языки Африки: Вопросы структуры, истории и типологии*. Отв. ред. Б. А. Успенский. Москва: "Наука", 1966. — С. 3–6.
29. К типологии частей речи в хауса: Проблема прилагательного. — *Языки Африки: Вопросы структуры, истории и типологии*. Отв. ред. Б. А. Успенский. Москва: "Наука", 1966. — С. 264–283. <Совм. с Г. П. Коршуновой>.
30. Языкознание и паралингвистика. — *Лингвистические исследования по общей и славянской типологии*. Отв. ред. Т. М. Николаева. Москва, "Наука", 1966. — С. 63–74. <Совм. с Т. М. Николаевой>.
31. Языковые универсалии, типологическое анкетирование и проблемы типологического описания языка. — *Конференция по проблемам изучения универсальных и ареальных свойств языков: Тезисы докладов*. Москва: "Наука", 1966. — С. 82–86. Тезисы работы № 65.
32. Некоторые гипотетические универсалии из области грамматики. — *Конференция по проблемам изучения универсальных и ареальных свойств языков: Тезисы докладов*. Москва: "Наука", 1966. — С. 86–93.
33. Изафет и связанные с ним универсалии. — *Конференция по проблемам изучения универсальных и ареальных свойств языков: Тезисы докладов*. Москва: "Наука", 1966. — С. 94–96.
34. Персонологические проблемы в лингвистическом аспекте. — *Тезисы докладов во второй Летней школе по вторичным моделирующим системам (16–26 августа 1966 г.)*. Тарту, 1966. — С. 6–12.
35. Структура художественного текста и типология композиций. — *Тезисы докладов во второй Летней школе по вторичным моделирующим системам (16–26 августа 1966 г.)*. Тарту, 1966. — С. 20–26.

36. Типология языков: Программа спецкурса, 64 часа. — *Типология языков: программы специализации студентов*. Под ред. Ю. С. Степанова. [Москва]: "Изд-во Московского ун-та", 1966. — С. 20–28.

1967

37. Одна архаическая система церковнославянского произношения (Литургическое произношение старообрядцев-беспоповцев). — *Вопросы языкознания*, 1967, № 6. — С. 62–79.
38. Персонологическая классификация как семиотическая проблема. — *Труды по знаковым системам*, III. Тарту, 1967. — С. 7–29 (= *Учен. зап. Тартуского ун-та*, вып. 198). <Совм. с А. М. Пятигорским>.
39. П. А. Флоренский и его статья "Обратная перспектива". — *Труды по знаковым системам*, III. Тарту, 1967. — С. 378–380 (= *Учен. зап. Тартуского ун-та*, вып. 198). <Совм. с А. А. Дороговым, В. В. Ивановым>.
40. Проблемы лингвистической типологии в аспекте различения "говорящего" (адресанта) и "слушающего" (адресата). *To Honor Roman Jakobson: Essays on the Occasion of his Seventieth Birthday*. The Hague—Paris: "Mouton", 1967. — P. 2087–2108.
41. "Грамматическая правильность" и понимание. — *Межвузовская конференция по порождающим грамматикам (Кяэрику, 15–22 сентября 1967 г.): Тезисы докладов*. Отв. ред. Х. Рятсеп. Тарту, 1967. — С. 101–106. Предварительная публикация работы № 58.
42. Отношения подсистем в языке и связанные с ними универсалии. — *Проблемы языкознания: Доклады и сообщения советских ученых на X Международном конгрессе лингвистов (Бухарест, 28 августа — 2 сентября 1967 г.)*. Москва: "Наука", 1967. — С. 224–230. Предварительная публикация работы № 50.
43. Отношения подсистем в языке и связанные с ними универсалии. — *Xème Congrès International des Linguistes (Bucarest, 28 août — 2 septembre 1967): Résumés des communications. Xth International Congress of Linguists (Bucharest, August 28 — September 2, 1967): Abstracts of papers*. Bucharest, 1967. Тезисы работы № 42.
- 1968
44. Архаическая система церковнославянского произношения (Из истории литургического произношения в России). [Москва]: "Изд-во Моск. ун-та", 1968. — 156 с.
45. *Principles of Structural Typology*. The Hague—Paris: "Mouton", 1968. — 80 p. (= *Janua Linguarum: Series minor*, № 62). Перевод на англ. яз. работы № 4.
46. Структурная общность различных видов искусства на материале живописи и литературы. Препринт. Warszawa, 1968. — 56 с. Предварительная публикация работы № 103.

47. Ред.: **Кетский сборник: Лингвистика**. Москва: "Наука", 1968. — 338 с. <Совм. с Вяч. В. Ивановым, В. Н. Топоровым>.
48. Ксты, их язык, культура, история. — **Кетский сборник: Лингвистика**. Под ред. Вяч. В. Иванова, В. Н. Топорова, Б. А. Успенского. Москва: "Наука", 1968. — С. 5–14 <Совм. с Вяч. В. Ивановым, В. Н. Топоровым>.
49. О системе кетского глагола. — **Кетский сборник: Лингвистика**. Под ред. Вяч. В. Иванова, В. Н. Топорова, Б. А. Успенского. Москва: "Наука", 1968. — С. 196–228.
50. Отношения подсистем в языке и связанные с ними универсалии. — **Вопросы языкознания**, 1968, № 6. — С. 3–15.
51. Les problèmes sémiotiques du style à la lumière de la linguistique. — **Information sur les sciences sociales**, vol. VII, 1968, № 1. — P. 123–140.
Перевод на франц. яз. работы № 64.
52. П. С. Кузнецов (1899–1968): [Некролог]. — **Вопросы языкознания**, 1968, № 3. — С. 158–159.
53. Влияние языка на религиозное сознание. — **III Летняя школа по вторичным моделирующим системам (Кяэрику, 10–20 мая 1968 г.): Тезисы докладов**. Отв. ред. Ю. М. Лотман. Тарту, 1968. — С. 43–49.
Тезисы работы № 57.

1969

54. Из истории русских канонических имен (История ударения в канонических именах собственных в их отношении к русским литературным и разговорным формам). [Москва]: "Изд-во Моск. ун-та", 1969. — 334 с.
55. Ред.: **Кетский сборник: Мифология, этнография, тексты**. Москва: "Наука", 1969. — 291 с. <Совм. с Вяч. В. Ивановым, В. Н. Топоровым>.
56. Кетские песни и другие тексты. — **Кетский сборник: Мифология, этнография, тексты**. Под ред. Вяч. В. Иванова, В. Н. Топорова, Б. А. Успенского. Москва: "Наука", 1969. — С. 213–216. <Совм. с Вяч. В. Ивановым, Т. Н. Молошной, Д. М. Сегалом, В. Н. Топоровым, Т. В. Цивьян>.
57. Влияние языка на религиозное сознание. — **Труды по знаковым системам**, IV. Тарту, 1969. — С. 159–168 (= **Учен. зап. Тартуского ун-та**, вып. 236).
58. "Грамматическая правильность" и понимание. — **Проблемы моделирования языка**, III (1). Тарту, 1969. — С. 113–119 (= **Учен. зап. Тартуского ун-та**, вып. 226).
59. Sulla semiotica dell'arte. — **Semiotica della letteratura in URSS**. Eds. R. Faccani, Um. Eco. Milano: "Bompiani", 1969. — P. 59–62.
Перевод на итал. яз. работы № 7.
60. Sulla semiotica dell'arte. — **I sistemi di segni e lo strutturalismo sovietico**. A cura di R. Faccani e Um. Eco. Milano: "Bompiani", 1969. — P. 87–90. (= **Idee nuove**, vol. L).
Переиздание работы № 59.

61. **La cartomanzia come sistema semiotico. — I sistemi di segni e lo strutturalismo sovietico**. A cura di R. Faccani e Um. Eco. Milano: "Bompiani", 1969. — P. 243–247 (= **Idee nuove**, vol. L). <Совм. с М. И. Лекомцевой>.
Перевод на итал. яз. работы № 6.
62. Никоновская справа и русский литературный язык (Из истории ударения русских собственных имен). — **Вопросы языкознания**: 1969, № 5. — С. 80–103.
63. Никоновская справа и русский литературный язык (История ударения в церковнославянских собственных именах в их отношении к русским литературным и разговорным формам). — **Славянские литературные языки в донациональный период: Тезисы докладов**. Москва: "Изд-во АН СССР", 1969. — С. 5–7.
Тезисы работы № 62.
64. Семиотические проблемы стиля в лингвистическом освещении. — **Труды по знаковым системам**, IV. Тарту, 1969. — С. 487–501 (= **Учен. зап. Тартуского ун-та**, вып. 236).
65. Языковые универсалии и актуальные проблемы типологического описания языка. — **Языковые универсалии и лингвистическая типология**. Отв. ред. И. Ф. Вардуль. Москва: "Наука", 1969. — С. 5–18.

1970

66. **Поэтика композиции: Структура художественного текста и типология композиционной формы**. Москва: "Искусство", 1970. — 224 с., 30 с. илл. (Семиотические исследования по теории искусства).
67. Ред.: **Новое в лингвистике**, вып. V. (Языковые универсалии). Москва: "Прогресс", 1970. — 300 с.
68. Проблема универсалий в языкознании. — **Новое в лингвистике**, вып. V. (Языковые универсалии). Пер. с англ. под ред. и с предисл. Б. А. Успенского. Москва: "Прогресс", 1970. — С. 5–30.
69. К исследованию языка древней живописи. — **Л. Ф. Жегин. Язык живописного произведения (Условность древнего искусства)**. Москва: "Искусство", 1970. — С. 4–34.
70. Комментарий. — **Л. Ф. Жегин. Язык живописного произведения (Условность древнего искусства)**. Москва: "Искусство", 1970. — С. 122–124.
71. Semiotické problémy štýlu vo svetle lingvistiky. — **Romboid: Literatura, teoria, kritika**, 1970, № 6. — S. 52–62.
Перевод на словац. яз. работы № 64.
72. Старинная система чтения по складам (Глава из истории русской граммоты). — **Вопросы языкознания**, 1970, № 5. — С. 80–100.
73. Условность в искусстве. — **Философская энциклопедия**, т. V. Москва: "Советская энциклопедия", 1970. — С. 287–288. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
74. "Грамматическая правильность" и поэтическая метафора. — **Тезисы докладов IV Летней школы по вторичным моделирующим системам (17–24 августа 1970 г.)**. Отв. ред. Ю. М. Лотман. Тарту, 1970. — С. 123–126.

75. Древнерусские кондакари как фонетический источник (преимущественно на материале "Типографского устава" XI-XII вв.). — Кузнецовские чтения, 1970: Тезисы докладов конференции по фонологии и морфонологии. Отв. ред. А. А. Реформатский. Москва, 1970. — С. 38-42.
Тезисы работы № 98.
76. Семиотика культуры. — Информационные процессы, эвристическое программирование, проблемы нейрокибернетики, моделирование автоматами, распознавание образов, проблемы семиотики: V Всесоюзный симпозиум по кибернетике. Тбилиси, 1970. — С. 307-308. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.

1971

77. Книжное произношение в России (Опыт исторического исследования). Автореферат на соискание ученой степени доктора филологических наук. Москва, 1971. — 34 с.
78. Les problèmes sémiotiques du style à la lumière de la linguistique. — *Essays in semiotics. Essais de sémiotique*. Sous la direction de J. Kristeva, J. Rey-Debove, D. J. Umiker. The Hague—Paris: "Mouton", 1971. — P. 447-466 (= *Approaches to Semiotics*, vol. IV).
Переиздание работы № 51.
79. О семиотическом механизме культуры. — Труды по знаковым системам, V. Тарту, 1971. — С. 144-166 (= *Учен. зап. Тартуского ун-та*, вып. 284). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
80. О семиотике иконы. — Труды по знаковым системам, V. Тарту, 1971. — С. 178-222 (= *Учен. зап. Тартуского ун-та*, вып. 284).
81. Мена имен в России в исторической и семиотической перспективе (к работе А. М. Селищева "Смена фамилий и личных имен"). — Труды по знаковым системам, V. Тарту, 1971. — С. 481-492 (= *Учен. зап. Тартуского ун-та*, вып. 284).
82. Семиотика у Честертона. — *Texte des sowjetischen literaturwissenschaftlichen Strukturalismus*. Hrsg. und eingeleitet von K. Eimermacher. München: "Wilhelm Fink Verlag", 1971. — S. 61-64 (= *Centrifuga: Russian Reprintings and Printings*, vol. V).
Переиздание работы № 8.
83. Структура художественного текста и текстология (Некоторые вопросы передачи прямой речи в "Войне и мире" Л. Н. Толстого). — *Поэтика и стилистика русской литературы: Памяти акад. В. В. Виноградова*. Отв. ред. М. П. Алексеев. Ленинград: "Наука", 1971. — С. 219-230.

1972

84. Ред.: Принципы типологического анализа языков различного строя. Сост. О. Г. Ревзина. Москва: "Наука", 1972. — 282 с.
85. Ред.: Проблемы африканского языкознания: Типология, компаративистика, описание языков. Москва: "Наука", 1972. — 328 с. <Совм. с Н. В. Охотиной>.

86. Первая грамматика русского языка на родном языке (Неизвестная русская грамматика 30-х годов XVIII в.). — *Вопросы языкознания*, 1972, № 6. — С. 85-100.
87. *Personologia i semiotyka*. — *Teksty: Teoria literatury, krytyka, interpretacja*, 1972, № 3. — S. 143-164. <Совм. с А. М. Пятигорским>.
Перевод на польск. яз. работы № 38.
88. *Poétique de la composition*. — *Poétique: Revue de théorie et d'analyse littéraires*, 1972, № 9. — P. 126-134.
Перевод на франц. яз. отрывков из работы № 66 (с. 31-40, 46, 189-195).
89. *Sobre la semiótica del arte*. — *Casa de las Americas*, año XII, 1972, № 71. — P. 49-50.
Перевод на исп. язык работы № 7.
90. *Structural Isomorphism of Verbal and Visual Art*. — *Poetics: International Review for the Theory of Literature*, 1972, № 5. — P. 5-39.
Перевод на англ. яз. работы № 103.
91. *Štruktúrne spoločenstvo rozličných druhov umenia (Na materiálu maliarstva a literatúry)*. — *O interpretácii umeleckého textu*, 3. Bratislava, 1972. — S. 111-143. (Zborník kabinetu literárnej komunikácie a experimentálnych metodík pedagogickej fakulty v Nitre).
Перевод на словацк. яз. работы № 103.
92. *Subsystems in language, their interrelations and their correlated universals*. — *Linguistics: An International Review*, 1972, vol. 88. — P. 53-71.

1973

93. *A Poetics of Composition: The Structure of Artistic Text and Typology of a Compositional Form*. Berkeley—Los Angeles—London: "University of California Press", 1973. — 181 p.
Перевод на англ. яз. работы № 66.
94. *Study of Point of View: Spatial and Temporal Form*. — Urbino, 1973. — 27 p. (= *Università di Urbino. Centro Internazionale di Semiotica e di Linguistica. Working Papers and Pre-Publications*, 24/D).
Публикация отрывка из работы № 93 (перевод на англ. яз. III-й главы работы № 66).
95. Ред.: *Ricerche semiotiche: Nuove tendenze delle scienze umane dell'URSS*. Torino: "Giulio Einaudi editore", 1973. — XXVII+470 p. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
96. *Introduzione*. — *Ricerche semiotiche: Nuove tendenze delle scienze umane dell'URSS*. A cura di J. M. Lotman e B. A. Uspenskij. Torino: "Giulio Einaudi editore", 1973. — P. XI-XXVII.
97. *Per l'analisi semiotica delle antiche icone russe*. — *Ricerche semiotiche: Nuove tendenze delle scienze umane dell'URSS*. A cura di J. M. Lotman e B. A. Uspenskij. Torino: "Giulio Einaudi editore", 1973. — P. 337-397.
Перевод на итал. яз. работы № 80.

98. Древнерусские кондакари как фонетический источник. — *Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов (Варшава, август 1973 г.): Доклады советской делегации*. Редкол.: С. Б. Бернштейн и др. Москва: "Наука", 1973. — С. 314-346.
99. Der Einfluß der Sprache auf das religiöse Bewußtsein. — *Lingvistica Biblica*. Bonn, № 23/24, mai 1973. — S. 70-76. Перевод на нем. яз. работы № 57.
100. Миф — имя — культура. — *Труды по знаковым системам*, VI. Тарту, 1973. — С. 282-303 (= *Учен зап. Тартуского ун-та*, вып. 308). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
101. К поэтике Хлебникова: проблемы композиции. — *Сборник статей по вторичным моделирующим системам*. Отв. ред. Ю. М. Лотман. Тарту, 1973. — С. 122-127.
102. "Правое" и "левое" в иконописном изображении. — *Сборник статей по вторичным моделирующим системам*. Отв. ред. Ю. М. Лотман. Тарту, 1973. — С. 137-145.
103. Структурная общность различных видов искусства (на материале живописи и литературы). — *Recherches sur les systèmes signifiants. Symposium de Varsovie, 1968*. Sous la direction de J. Rey-Debove. The Hague—Paris: "Mouton", 1973. — P. 443-479 (= *Approaches to semiotics*, vol. XVIII).
104. Strukturális nyelvészeti tipológia. — *A nyelvtudomány ma: Szemelvények korunk nyelvészetéből. Az antológiát szerkesztette, a tanulmányokat válogatta, a szerkesztői bevezetőt és a szemelvények bevezetőit írta Szépe Gy.* Budapest: "Gondolat", 1973. — Old. 419-438. Перевод на венг. яз. резюме работы № 18.
105. Тезисы к семиотическому изучению культуры (в применении к славянским текстам). — *Semiotyka i struktura tekstu: Studia poświęcone VII Międzynarodowemu kongresowi slawistów (Warszawa, 1973)*. Praca zbiorowa pod red. M. R. Mayenowej. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk: "Ossolineum", 1973. — S. 9-32. ? <Совм. с В. В. Ивановым, Ю. М. Лотманом, А. М. Пятигорским, В. Н. Топоровым>.
106. Фонетическая структура одного стихотворения Ломоносова (Историко-филологический этюд). — *Semiotyka i struktura tekstu: Studia poświęcone VII Międzynarodowemu kongresowi slawistów (Warszawa, 1973)*. Praca zbiorowa pod red. M. R. Mayenowej. Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk: "Ossolineum", 1973. — S. 103-129.
107. Theses on the Semiotic Study of Cultures (as Applied to Slavic Texts). — *Structure of text and semiotics of culture*. Ed. by J. van der Eng and M. Grygar. The Hague—Paris: "Mouton", 1973. — P. 1-28. <Совм. с В. В. Ивановым, Ю. М. Лотманом, А. М. Пятигорским, В. Н. Топоровым>.
108. Центр и периферия в свете языковых универсалий. — *Вопросы языкознания*, 1973, № 5. — С. 24-35. <Совм. с В. М. Живовым>.
109. Centre-Periphery Oppositions and Language Universals (abstract). — *XIth International Congress of Linguists: Preprints*. Bologna,

1973. — P. 742-743. <Совм. с В. М. Живовым>.
- Тезисы работы № 108.
110. Доломоносковский период отечественной русистики: Адодуров и Тредиаковский. — *Кузнецовские чтения, 1973: История славянских языков и письменности: Тезисы*. Москва, 1973. — С. 24-25. Тезисы работы № 117.
111. Gatanje igracim kartama kao semiotički sustav. — *Vidik: Književnost, umjetnost, suvremeni problemi, godina XX, 1973, serija III, broj 14-15*. — S. 71-73. <Совм. с М. И. Лecomцевой>.
- Перевод на сербскохорв. яз. работы № 6.
112. Kultúraszemiotika. — *Helikon*, 1973, № 2-3. — Old. 375-376. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
- Перевод на венг. яз. работы № 76.
113. Les manuscrits kontakariens vieux russes en tant que sources phonétiques. — *VII Międzynarodowy kongres slawistów (Warszawa, 21-27.VIII.1973): Streszczenia referatów i komunikatów*. Warszawa: "Państw. wyd-wo naukowe", 1973. — S. 124-126. Тезисы работы № 98.
114. O semiotici umjetnosti. — *Vidik: Književnost, umjetnost, suvremeni problemi, godina XX, 1973, serija III, broj 14-15*. — S. 27-28. Перевод на сербскохорв. яз. работы № 7.
115. Эволюция понятия "просторечия" ("простого" языка) в истории русского литературного языка. — *Совещание по общим вопросам диалектологии и истории языка: Тезисы докладов и сообщений (Ереван, 2-5 октября 1973 г.)*. Москва, 1973. — С. 218-220.
- 1974
116. Bedingtheit in der Kunst. — *J. Lotman. Aufsätze zur Theorie und Methodologie von Literatur und Kultur*. Kronberg Taunus: "Scriptor Verlag", 1974. — S. 1-6 <Совм. с Ю. Лотманом>.
- Перевод на нем. яз. работы № 73.
117. Доломоносковский период отечественной русистики: Адодуров и Тредиаковский. — *Вопросы языкознания*, 1974, № 2. — С. 15-30.
118. Acerca del mecanismo semiotico de la cultura. — *Santiago de Cuba. Dicimbre de 1973 — Marzo de 1974, №№ 13-14*. — P. 109-140. <Совм. с Ю. Лотманом>.
- Перевод на исп. яз. работы № 79.
119. Historia sub specie semioticae. — *Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим системам, I (5)*. Тарту, 1974. — С. 119-130. Предварительная публикация работы № 156.
120. The Influence of Language on Religious Consciousness. — *Semiotica*, vol. X, 1974, № 2. — P. 177-189. Перевод на англ. яз. работы № 57.
121. К семиотической типологии русской культуры XVIII века. *Художественная культура XVIII века: Материалы научной конференции (1973)*. Под общ. ред. И. Е. Даниловой. Москва: "Сов. художник", 1974. — С. 259-282. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.

122. Mit ime kultura. — *Izraz*, godina XVIII, Januar 1974, knjiga 35, broj 1. — S. 1-21. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на сербскохорв. яз. работы № 100.
123. Strukturna opštost različitih vrsta umjetnosti (Na materijalu slikarstva i književnosti). — *Izraz*, godina XVIII, Januar 1974, knjiga 36, broj 10. — S. 529-559.
Перевод на сербскохорв. яз. работы № 103.
124. Semiotički problemi stila u svetlosti lingvistike. — **Treći program: Radio Beograd**. Beograd, 1974, broj 4. — S. 379-397.
Перевод на сербскохорв. яз. работы № 64.
125. Thèses pour l'étude sémiotique des cultures en application aux textes slaves. — **Recherches internationales à la lumière du marxisme**. Paris, 1974, № 81-84 ("Sémiotique"). — P. 125-156. <Совм. с В. В. Ивановым, Ю. М. Лотманом, А. М. Пятигорским, В. Н. Топоровым>.
Перевод на франц. яз. работы № 105.
126. Poetyka kompozycji: Wstęp; Punkt widzenia jako problem kompozycji. — **Nowy wyraz**, 1974, № 11. — S. 81-91.
Перевод на польск. яз. вводной части работы № 66.
- 1975**
127. **Первая русская грамматика на родном языке: Доломоновский период отечественной русистики**. Москва: "Наука", 1975. — 232 с.
128. **Poetik der Komposition: Struktur des künstlerischen Textes und Typologie der Kompositionsform**. Hrsg. und nach einer revidierten Fassung des Originals bearbeitet von K. Eimermacher. Frankfurt-am-Main: "Suhrkamp Verlag", 1975. — 219 S.
Перевод на нем. яз. работы № 66.
129. **Semiotica e cultura**. Saggio introduttivo e traduzione di D. Ferrari-Bravo. Milano—Napoli: "R. Ricciardi editore", 1975. — LXXIX, 137 p. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
I. Problemi semiotici dello stile alla luce della linguistica. — **J. M. Lotman, B. A. Uspenskij. Semiotica e cultura**. Saggio introduttivo e traduzione di D. Ferrari-Bravo. Milano—Napoli: "R. Ricciardi editore", 1975. — P. 31-57.
Перевод на итал. яз. работы № 64.
II. Sul meccanismo semiotico della cultura. — **J. M. Lotman, B. A. Uspenskij. Semiotica e cultura**. Saggio introduttivo e traduzione di D. Ferrari-Bravo. Milano — Napoli: "R. Ricciardi editore", 1975. — P. 61-95. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на итал. яз. работы № 79.
III. Mito—Nome—Cultura. — **J. M. Lotman, B. A. Uspenskij. Semiotica e cultura**. Saggio introduttivo e traduzione di D. Ferrari-Bravo. Milano—Napoli: "R. Ricciardi editore", 1975. — P. 99-131. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на итал. яз. работы № 100.
130. **Tipologia della cultura**. A cura di R. Faccani e M. Marzaduri. Milano: "Bompiani", 1975. — 301 p. (= *Studi Bompiani*, 14). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.

- I. Sul meccanismo semiotico della cultura. — **J. M. Lotman, B. A. Uspenskij. Tipologia della cultura**. A cura di R. Faccani e M. Marzaduri. Milano: "Bompiani", 1975. — P. 39-68. (= *Studi Bompiani*, 14). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на итал. яз. работы № 79.
- II. Mito—Nome—Cultura. — **J. M. Lotman, B. A. Uspenskij. Tipologia della cultura**. A cura di R. Faccani e M. Marzaduri. Milano: "Bompiani", 1975. — P. 83-109. (= *Studi Bompiani*, 14). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на итал. яз. работы № 100.
131. **Theses on the Semiotic Study of Culture (as Applied to Slavic Texts)**. Lisse: "The Peter de Ridder Press", 1975. — 29 p. <Совм. с В. В. Ивановым, Ю. М. Лотманом, А. М. Пятигорским, В. Н. Топоровым>.
Переиздание работы № 107.
132. **Theses on the Semiotic Study of Culture (as Applied to Slavic Texts)**. — **The Tell-Tale Sign: A Survey of Semiotics**. Ed. by T. A. Sebeok. Lisse: "The Peter de Ridder Press", 1975. — P. 57-83. <Совм. с В. В. Ивановым, Ю. М. Лотманом, А. М. Пятигорским, В. Н. Топоровым>.
Переиздание работы № 107.
133. **A művészet szemiotikájáról. — A jel tudománya. A válogatást készítette és a bevezető tanulmányt írta Horanyi Ö., Szépe Gy.** Budapest: "Gondolat", 1975. — Old. 429-434.
Перевод на венг. яз. работы № 7.
134. **O semiotycznym mechanizmie kultury. — Semiotyka kultury**. Wybór i opracowanie E. Janus, M. R. Mayenowa. Przedm. S. Żółkiewski. Warszawa, 1975. — S. 177-201. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на польск. яз. работы № 79.
135. **Strukturalna wspólnota różnych rodzajów sztuki (Na przykładzie malarstwa i literatury). — Semiotyka kultury**. Wybór i opracowanie E. Janus, M. R. Mayenowa. Przedm. S. Żółkiewski. Warszawa, 1975. — S. 211-242.
Перевод на польск. яз. работы № 103.
136. **O systemie przekazu obrazu w rosyjskim malarstwie ikon. — Semiotyka kultury**. Wybór i opracowanie E. Janus, M. R. Mayenowa. Przedm. S. Żółkiewski. Warszawa, 1975. — S. 361-373.
Перевод на польск. яз. работы № 19.
137. **Gramatyczna poprawność i metafora poeticka (Tezy). — Semiotyka kultury**. Wybór i opracowanie E. Janus, M. R. Mayenowa. Przedm. S. Żółkiewski. Warszawa, 1975. — S. 380-383.
Перевод на польск. яз. работы № 74.
138. "Left" and "Right" in Icon Painting. — *Semiotica*, vol. XIII, 1975, № 1. — P. 33-39.
Перевод на англ. яз. работы № 102.
139. **L'opposition entre le centre et la peripherie et les universaux linguistiques. — Proceedings of the Eleventh International Congress of Linguists (Bologna—Florence, aug. 28 sept. 2. 1972)**. Ed. by L. Heilmann. II. Bologna, 1975. — P. 257-267. <Совм. с

- В. М. Живовым>.
Перевод на франц. яз. работы № 108.
140. Myth—Name—Culture. — *Soviet Studies in Literature (Structuralism)*, vol. XI, 1975, № 2-3. — P. 17-46. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на англ. яз. работы № 100.
141. On the Poetics of Chlebnikov: Problems of Composition. — *Russian Literature*, 1975, № 9. — P. 81-85.
Перевод на англ. яз. работы № 101.
142. Personological Classification as a Semiotic Problem. — *Semiotica*, vol. XV, 1975, № 2. — P. 99-120. <Совм. с А. М. Пятигорским>.
Перевод на англ. яз. работы № 38.
143. Споры о языке в начале XIX века как факт русской культуры. ("Происшествие в царстве теней, или Судьбина Российской языка" — неизвестное сочинение Семена Боброва). — *Труды по русской и славянской филологии, XXIV: Литературоведение*. Тарту, 1975. — С. 168-322. (= Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 358). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
144. К вопросу о семантических взаимоотношениях системно противопоставленных церковнославянских и русских форм в истории русского языка. — *Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии: Тезисы конференции (Октябрь, 1975. Москва)*. Вып. 1. Славянская историческая лексикология (книжная и народная лексика в истории славянских литературных языков). Редкол.: Е. И. Демина и др. Москва, 1975. — С. 44-53. Предварительная публикация работы № 161.
145. Типологические аспекты диглоссии. — *Soome-ugri rahvad ja idamaad (Финно-угорские народы и восток). Orientalistika kabinet: teaduslik konverents (12-14.XI.1975). Ettekannete teesid*. Tartu, 1975. — S. 77-82. (Tartu riiklik ülikool. Orientalistika kabinet). <Совм. с В. М. Живовым>.
146. Isomorfismo delle arti verbali e visuali. — *Teoria della letteratura*. A cura di Ezio Raimondi e Luciano Bottoni: «Il Mulino», [1975]. — P. 196-203.
Перевод на итал. яз. фрагментов работы № 90.
147. Perspektywa malarska a światopoglądy. Fragment przedmowy do książki L. F. Żegina «Język dzieła malarskiego». — *Literatura*, 1975, № 51/52. — S. 20-21.
Перевод на польск. яз. фрагмента работы № 69.
- 1976
148. *The Semiotics of the Russian Icon*. Ed. by S. Rudy. Lisse: «Peter de Ridder Press», 1976. — 101 p.
Перевод на англ. яз. расширенной версии работы № 80.
149. Ред.: *Travaux sur les systèmes de signes: École de Tartu*. Bruxelles: «Éditions Complexe», 1976. — 253 p. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
150. *Mythe — Nom — Culture*. — *Travaux sur les systèmes de signes: École de Tartu*. Textes choisis et présentés par Y. M. Lotman,

- В. А. Ouspenski. Bruxelles: «Éditions Complexe», 1976. — P. 18-39. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на франц. яз. работы № 100.
151. *Historia sub specie semioticae*. — *Travaux sur les systèmes de signes: École de Tartu*. Textes choisis et présentés par Y. M. Lotman, B. A. Ouspenski. Bruxelles: «Éditions Complexe», 1976. — P. 141-151.
Перевод на франц. яз. работы № 119.
152. La «droite» et la «gauche» dans l'art des icônes. — *Travaux sur les systèmes de signes: École de Tartu*. Textes choisis et présentés par Y. M. Lotman, B. A. Ouspenski. Bruxelles: «Éditions Complexe», 1976. — P. 168-174.
Перевод на франц. яз. работы № 102.
153. La «correction grammaticale» et la métaphore poétique. — *Travaux sur les systèmes de signes: École de Tartu*. Textes choisis et présentés par Y. M. Lotman, B. A. Ouspenski. Bruxelles: «Éditions Complexe», 1976. — P. 218-221.
Перевод на франц. яз. работы № 74.
154. La sémiotique chez Chesterton. — *Travaux sur les systèmes de signes: École de Tartu*. Textes choisis et présentés par Y. M. Lotman, B. A. Ouspenski. Bruxelles: «Éditions Complexe», 1976. — P. 230-234.
Перевод на франц. яз. работы № 8.
155. A Description of a Semiotic System with Simple Syntax. — *Semiotica*, vol. XVIII, 1976, № 2. — P. 157-169. <Совм. с М. И. Лекомцевой>.
Перевод на англ. яз. работы № 20.
156. *Historia sub specie semioticae*. — *Культурное наследие Древней Руси (Истоки, становление, традиции)*. Отв. ред. В. Г. Базанов. Москва: «Наука», 1976. — С. 286-292.
157. *Historia sub specie semioticae*. — *Teksty: Teoria literatury, krytyka, interpertacja*, 1976, № 2 (26). — S. 120-132.
Перевод на польск. яз. работы № 119.
158. *Historia sub specie semioticae*. — *Soviet Studies in Literature*, vol. XII, 1976, № 2. — P. 53-64.
Перевод на англ. яз. работы № 119.
159. *Historia sub specie semioticae*. — *Semiotics and Structuralism: Readings from the Soviet Union*. Ed. with an Introd. by H. Baran. New York, 1976. — P. 64-75.
Переиздание работы № 158.
160. *Myth — Name — Culture*. — *Semiotics and Structuralism: Readings from the Soviet Union*. Ed. with an Introd. by H. Baran. New York, 1976. — P. 3-32. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на англ. яз. работы № 100.
161. К вопросу о семантических взаимоотношениях системно противопоставленных церковнославянских и русских форм в истории русского языка. — *Wiener Slavistisches Jahrbuch*, Bd. XXII, 1976. — S. 92-100.
162. *The Language of Ancient Painting*. — *Dispositio: Rivista Hispanica de Sémiotica Literaria*, Ano 1, 1976, № 3. — P. 219-246.
Перевод на англ. яз. работы № 69.

163. Prolegomena do tematu «Semiotyka ikony». — *Znak*, rok XXVIII, grudzień 1976, № 270 (12). — S. 1600–1616.
Перевод на польск. яз. работы № 177.
164. Sprachbeschreibung und sprachliche Universalien. — *Theoretische Linguistik in Osteuropa: Originalbeiträge und Erstübersetzungen*. Hrsg. W. Girke und H. Jachnow. Tübingen: «Max Niemeyer Verlag», 1976. — S. 140–162 (Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft). <Совм. с В. М. Живовым>.
Перевод на нем. яз. работы № 222.
165. Третьяковский и история русского литературного языка. — *Венок Третьяковскому*. Волгоград, 1976. — С. 40–44.
166. Wpływ języka na świadomość religijną. — *Archiwum tłumaczeń z teorii literatury i metodologii badań literackich*. Lublin: «Katolicki uniwersytet Lubelski», 1976. — S. 37–42.
Сокращ. перевод на польск. яз. работы № 57.

1977

167. Center-Periphery Opposition and Language Universals. — *Linguistics*, vol. 196, 1977. — P. 5–24. <Совм. с В. М. Живовым>.
Перевод на англ. яз. работы № 108.
168. Describing a Semiotic System with a Simple Syntax. — *Soviet Semiotics: An Anthology*. Ed., transl. and with an Introd. by D. P. Lucid. Baltimore — London: «The Johns Hopkins University Press», 1977. — P. 65–76. <Совм. с М. И. Лекомцевой>.
Перевод на англ. яз. работы № 20.
169. Historia sub specie semioticae. — *Soviet Semiotics: An Anthology*. Ed., transl. and with an Introd. by D. P. Lucid. Baltimore — London: «The Johns Hopkins University Press», 1977. — P. 107–115.
Перевод на англ. яз. работы № 156.
170. The Classification of Personality as a Semiotic Problem. — *Soviet Semiotics: An Anthology*. Ed., transl. and with an Introd. by D. P. Lucid. Baltimore — London: «The Johns Hopkins University Press», 1977. — P. 137–156. <Совм. с А. М. Пятигорским>.
Перевод на англ. яз. работы № 38.
171. Semiotics of Art. — *Soviet Semiotics: An Anthology*. Ed., transl. and with an Introd. by D. P. Lucid. Baltimore — London: «The Johns Hopkins University Press», 1977. — P. 171–173.
Перевод на англ. яз. работы № 7.
172. Myth — Name — Culture. — *Soviet Semiotics: An Anthology*. Ed., transl. and with an Introd. by D. P. Lucid. Baltimore — London: «The Johns Hopkins University Press», 1977. — P. 233–252. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на англ. яз. работы № 100.
173. «Грамматическая правильность» и поэтическая метафора. — *Readings in Soviet Semiotics (Russian Texts)*. Ed. with Foreword and Commentaries by L. Matejka, S. Shishkoff, M. E. Suino and I. R. Titunik. Ann Arbor, 1977. — P. 244–248. (Michigan Slavic Materials).
Переиздание работы № 74.

174. К системе передлачи изображения в русской иконописи. — *Readings in Soviet Semiotics (Russian Texts)*. Ed. with Foreword and Commentaries by L. Matejka, S. Shishkoff, M. E. Suino and I. R. Titunik. Ann Arbor, 1977. — P. 262–276. (Michigan Slavic Materials).
Переиздание работы № 19.
175. A kultúra szemiotikai mechanizmusa. — *Jel — Kommunikáció — Kultúra: Szovjet tanulmányok a tömegkommunikációról és a szemiotikáról*. Válogatta és szerkesztette: Hoppál M. és Vándor Á. Budapest, 1977. — Old. 173–188, 339–346 (примечания). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на венг. яз. работы № 79.
176. Mitosz — név — kultúra. — *Jel — Kommunikáció — Kultúra: Szovjet tanulmányok a tömegkommunikációról és a szemiotikáról*. Válogatta és szerkesztette: Hoppál M. és Vándor Á. Budapest, 1977. — Old. 205–225, 349–363. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на венг. яз. работы № 100.
177. Прологомена к теме «Семиотика иконы». — *Россия*, III, 1977. — С. 189–212.
178. Razgovor sa Borisom Andrejevičem Uspenskim. — *Izraz: Časopis za književni i umjetnečku kritiku*, knjiga XLII, godina XXI, 1977, broj 5. — S. 568–588.
Перевод на сербскохорват. яз. работы № 177.
179. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века). — *Труды по русской и славянской филологии, XXVIII: Литературоведение*. Тарту, 1977. — С. 3–36 (= *Учен. зап. Тартуского ун-та*, вып. 414.). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
180. Die Rolle dualistischer Modelle in der Dynamik der russischen Kultur (bis zum Ende Des 18. Jahrhunderts). — *Poetica: Zeitschrift für Sprach- und Literaturwissenschaft*, Bd. IX, 1977, Heft. 1 — S. 1–40. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на нем. яз. работы № 179.
181. Новые аспекты изучения культуры Древней Руси. — *Вопросы литературы*, 1977, № 3. — С. 148–166. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.

1978

182. Культ Николы на Руси в историко-культурном освещении (специфика восприятия и трансформация исходного образа). — *Труды по знаковым системам*, X, Тарту, 1978. — С. 86–140 (= *Учен. зап. Тартуского ун-та*, вып. 463).
183. Mythe — Name — Culture. — *Semiotica*, vol. XXII, 1978, № 3/4. — P. 211–233. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на англ. яз. работы № 100.
184. Neue Aspekte bei der Erforschung der Kultur der Alten Rus. — *Kunst und Literatur: Sowjetwissenschaft: Zeitschrift zur Verbreitung sowjetischer Erfahrungen Träger der Ehrennadel in Gold der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft*. 26 Jahrgang, Januar 1978, Heft. 1. — S. 81–90. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на нем. яз. работы № 181.

185. *On the Semiotic Mechanism of Culture. — New Literary History: A Journal of Theory and Interpretation*, 1978, vol. IX, № 2. — P. 211–232. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на англ. яз. работы № 79.
186. *Semiotics of the Icon (an Interview with Boris Uspensky Conducted by Z. Podgorzec). — PTL [Poetics and Theory of Literature]: A Journal for Descriptive Poetics and Theory of Literature*, 3, 1978. — P. 529–548. Перевод на англ. яз. работы № 177.
187. *Uwagi do semiotycznej typologii rosyjskiej kultury XVIII w. — Człowiek i światopogląd*, 1978, № 5 (154). — S. 112–128. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на польск. яз. работы № 121.
188. О старообрядчестве (По поводу статьи о Александра Шмемана). — *Вестник русского христианского движения*, № 125, 1978. — С. 98–107. <Совм. с В. М. Живовым>.

1979

189. *Poetika kompozicije. Semiotika ikone*. Beograd: «Nolit», 1979. — 374 s. (Biblioteka Sazvežda, 66). Перевод на сербскохорв. яз. работ № 66, 148, 177.
190. Вопрос о сирийском языке в славянской письменности: почему дьявол может говорить по-сирийски? — *Вторичные моделирующие системы*. Ред. колл.: Б. Гаспаров и др. Тарту, 1979. — С. 79–82.
191. К проблеме христианско-языческого синкретизма в истории русской культуры: 1. Языческие рефлекссы в славянской христианской терминологии. 2. Дуалистический характер русской средневековой культуры (на материале «Хождения за три моря» Афанасия Никитина). — *Вторичные моделирующие системы*. Ред. колл.: Б. Гаспаров и др. Тарту, 1979. — С. 54–63.
192. *Tesi per un'analisi semiotica delle culture (in applicazione ai testi slavi). — C. Danil'čenko Girotti, R. Faccani, J. Křesálková, M. Marzaduri, C. Prevignano, E. Rigotti, D. Škiljan. La semiotica nei Paesi slavi: Programmi, problemi, analisi. A cura di C. Prevignano. Milano: «Feltrinelli editore», 1979. — P. 194–220 (= Critica e filologia. Studi e manuali, 12). <Совм. с В. В. Ивановым, Ю. М. Лотманом, А. М. Пятигорским, В. Н. Топоровым>. Перевод на итал. яз. работы № 105.*
193. *Postscriptum alle tesi collettive sulla semiotica della cultura. — C. Danil'čenko Girotti, R. Faccani, J. Křesálková, M. Marzaduri, C. Prevignano, E. Rigotti, D. Škiljan. La semiotica nei Paesi slavi: Programmi, problemi, analisi. A cura di C. Prevignano. Milano: «Feltrinelli editore», 1979. — P. 221–224 (= Critica e filologia. Studi e manuali, 12). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.*
194. *Historia sub specie semioticae. — C. Danil'čenko Girotti, R. Faccani, J. Křesálková, M. Marzaduri, C. Prevignano, E. Rigotti, D. Škiljan. La semiotica nei Paesi slavi: Programmi, problemi, analisi. A cura di C. Prevignano. Milano: «Feltrinelli*

- editore», 1979. — P. 463–471 (= Critica e filologia. Studi e manuali, 12).* Перевод на итал. яз. работы № 156.
195. *Sobre el mecanismo semiótica de la cultura. — Jurij M. Lotman y Escuela de Tartu. Semiótica de la cultura. Introducción, selección y notas de J. Lozano. Madrid: «Ediciones Cátedra», 1979. — P. 67–92. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на исп. яз. работы № 79.*
196. *Mito, nombre, cultura. — Jurij M. Lotman y Escuela de Tartu. Semiótica de la cultura. Introducción, selección y notas de J. Lozano. Madrid: «Ediciones Cátedra», 1979. — P. 111–135. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на исп. яз. работы № 100.*
197. *Historia sub especie semioticae. — Jurij M. Lotman y Escuela de Tartu. Semiótica de la cultura. Introducción, selección y notas de J. Lozano. Madrid: «Ediciones Cátedra», 1979. — P. 209–218. Перевод на исп. яз. работы № 156.*
198. *A Semiótica em Chesterton. — Semiótica Russa. Organizador B. Schnaiderman. São Paulo, Brasil: «Editora Perspectiva», 1979. — P. 139–158. Перевод на португ. яз. работы № 8.*
199. *Elementos estruturais comuns às diferentes formas de arte. Princípios gerais de organização da obra em pintura e literatura. — Semiótica Russa. Organizador B. Schnaiderman. São Paulo, Brasil: «Editora Perspectiva», 1979. — P. 163–218. Перевод на португ. яз. VII-й главы работы № 66.*
200. *Mit — ime — kultura. — Treći program: Radio Beograd. Beograd, 1979, broj 42. — S. 361–382. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на сербскохорват. яз. работы № 100.*
201. *Historia sub specie semioticae. — Treći program: Radio Beograd. Beograd, 1979, broj 42. — S. 476–485. Перевод на сербскохорват. яз. работы № 156.*
202. *Leva i desna strana u umetnosti ikona. — Treći program: Radio Beograd. Beograd, 1979, broj 42. — S. 499–505. Перевод на сербскохорват. яз. работы № 102.*
203. *«Gramatička pravilnost» i poetska metafora. — Treći program: Radio Beograd. Beograd, 1979, broj 42. — S. 536–538. Перевод на сербскохорват. яз. работы № 74.*
204. *Greitu textu po «waku» [«Рамка» художественного текста]. — Revue de la pensée d'aujourd'hui, vol. VII, 1979, № 2. — P. 89–101. Частичный перевод на япон. яз. VII-й главы работы № 66.*
205. *Bunka no futatsu no ruikai [Два типа культуры]. — Revue de la pensée d'aujourd'hui, vol. VII, 1979, № 4. — P. 154–159. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Сокращ. перевод на япон. яз. работы № 79.*
206. *Shinwa — koyumeishi — bunka. — Revue de la pensée d'aujourd'hui, vol. VII, 1979, № 9. — P. 136–154. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на япон. яз. работы № 100.*

207. Языческие рефлексy в славянской христианской терминологии. — *Slavica gandsia*, 6. Gent, 1979. — P. 23–27.
Переиздание I-й части работы № 191.
208. Семантика слова «царь» и проблема самозванчества в Древней Руси. — *Slavica gandsia*, 6. Gent, 1979. — P. 59–63.
Предварительная публикация работы № 227.
209. О старообрядчестве (К продолжению полемики). — *Вестник русского христианского движения*, № 128, 1979. — С. 88–96.
<Совм. с В. М. Живовым>.
Продолжение работы № 188.
210. Рец.: Р. М. Цейтлин. Лексика старославянского языка: Опыт анализа мотивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X–XI вв. Москва, 1977. — *Вопросы языкознания*, 1979, № 1. — С. 140–145.

1980

211. *Tesi sullo studio semiotico della cultura*. [Parma]: «Pratiche editrice», [1980]. <Совм. с В. В. Ивановым, Ю. М. Лотманом, В. Н. Топоровым, А. М. Пятигорским>.
Перевод на итал. яз. работы № 105.
212. La «correttezza grammaticale» e la compresione. — *Strumenti critici*, 41, febbraio 1980. — P. 180–181.
Перевод на итал. яз. работы № 58.
213. La «correttezza grammaticale» e la metafora poetica. — *Strumenti critici*, 41, febbraio 1980. — P. 185–188.
Перевод на итал. яз. работы № 74.
214. Nuovi aspetti nello studio della cultura dell'antica Rus'. — *Strumenti critici*, 42–43, ottobre 1980. — P. 350–371.
<Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на итал. яз. работы № 181.
215. Il ruolo dei modelli duali nella dinamica della cultura russa (fino alla fine del XVIII secolo). — *Strumenti critici*, 42–43, ottobre 1980. — P. 372–416.
<Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на итал. яз. работы № 179.
216. Paganski refleksi u slovenskoj hrišćanskoj terminologiji. — *Delo, godina XXVI*, 1980, broj 11–12. — S. 94–98.
Перевод на сербскохорв. яз. I-й части работы № 191.
217. Příspěvek ke studiu jazyka středověkého malířství. — *L. Žegin. Jazyk malířského díla: Konvencionální povaha umění minulosti*. Praha: «Odeon», 1980. — S. 9–31, 147–157 (примечания).
Перевод на чешск. яз. работы № 69.
218. Komentář k Žeginovu textu. — *L. F. Žegin. Jazyk malířského díla: Konvencionální povaha umění minulosti*. Praha: «Odeon», 1980. — S. 164–167.
Перевод на чешск. яз. работы № 70.

1981

219. *Ред.: Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова*. Подгот. текста и текстологический комментарий М. П. Тоболовой. [Москва]: «Изд-во Моск. ун-та», 1981. — 776 с.
220. Предисловие. — *Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова*. Ред. Б. А. Успенский. Подгот. текста и текстологический комментарий М. П. Тоболовой. [Москва]: «Изд-во Моск. ун-та», 1981. — С. 3–30.
221. Некоторые вопросы текстологии и публикации русских литературных памятников XVIII века. — *Известия Академии наук СССР: Серия литературы и языка*, т. 40, 1981, № 4. — С. 312–324. <Совм. с Ю. М. Лотманом, Н. И. Толстым>.
222. Описание языка и языковые универсалии. — *Теоретические и прикладные аспекты вычислительной лингвистики*. Под ред. В. М. Андрищенко. [Москва]: «Изд-во Моск. ун-та», 1981. — С. 3–28. <Совм. с В. М. Живовым>.
223. Problèmes de la composition dans la poésie de Khlebnikov. — *Linguistique et poétique*. Choix et préface de V. Grigoriev. Notices de V. Mazo. Moscou: «Editions de Progrès», 1981. — P. 225–229.
Перевод на франц. яз. работы № 101.
224. Религиозно-мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии. — *Структура текста-81: Тезисы симпозиума*. Москва, 1981. — С. 49–53.
Тезисы работы № 242.

1982

225. *Филологические разыскания в области славянских древностей (Реликты язычества в восточнославянском культе Николая Мирликийского)*. [Москва]: «Изд-во Моск. ун-та», 1982. — 245 с., 8 илл.
226. «Изгой» и «изгойничество» как социально-психологическая позиция в русской культуре преимущественно допетровского периода («свое» и «чужое» в истории русской культуры). — *Труды по знаковым системам*, XV. Тарту, 1982. — С. 110–121 (= *Учен. зап. Тартуского ун-та*, вып. 576). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
227. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен. — *Художественный язык Средневековья*. Отв. ред. В. А. Карпушин. Москва, «Наука», 1982. — С. 201–235.
228. Отзвуки концепции «Москва — Третий Рим» в идеологии Петра Первого (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко). — *Художественный язык Средневековья*. Отв. ред. В. А. Карпушин. Москва, «Наука», 1982. — С. 236–249. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
229. К символике времени у славян: «чистые» и «нечистые» дни недели. — *Finitis duodecim lustris: Сборник статей к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана*. Ред. кол. С. Г. Исаков и др. Таллин: «Ээсти раамат», 1982. — С. 70–75.
230. *Historia sub specie semioticae*. — *Helikon*, 1982, № 2–3. — Old. 244–251.
Перевод на венг. яз. работы № 119.

231. «Точка зрения» в плане пространственно-временной характеристики. — *Współczesna rosyjska teoria literatury i metodologia badań literackich. Wybór opracowanie A. Ruźny i L. Suchanek. Kraków, 1982.* — S. 135-144 (= *Unwersytet Jagielloński, Instytut filologii rosyjskiej: Skrypty uczelniane, № 419*).
Переиздание (с сокращениями) III-й главы работы № 66.
232. Zur Untersuchung der Sprache alter Malerei. — L. F. Shegin. *Die Sprache des Bildes: Form und Konvention in der alten Kunst.* Dresden: «Verlag der Kunst», 1982. — S. 7-34.
233. Kommentare. — L. F. Shegin. *Die Sprache des Bildes: Form und Konvention in der alten Kunst.* Dresden: «Verlag der Kunst», 1982. — S. 210-216.
234. Утицај језика на религиозну свест. — Расковник: Часопис за књижевност и културу, година IX, мај 1982, број 31. — С. 89-94.
Перевод на сербскохорват. яз. работы № 57.
235. Nuovi aspetti nello studio dell'antica Rus'. — *La cultura nella tradizione russa del XIX e XX secolo.* Torino: «Einaudi», 1982. — P. 219-241.
Переиздание работы № 214.
236. Il ruolo dei modelli duali nella dinamica della cultura russa (fino alla fine del XVIII secolo). — *La cultura nella tradizione russa del XIX e XX secolo.* Torino: «Einaudi», 1982. — P. 242-286.
Переиздание работы № 215.

1983

237. *A Poetics of Composition: The Structure of Artistic Text and Typology of a Compositional Form.* Berkeley — Los Angeles — London: «University of California Press», 1982. — 181 p.
Переиздание работы № 93 (paper-back edition).
238. *Ikon na kigōgaku.* — Tokyo: «Shinzdidazsha», 1983. — 211 + XXV с., 7 л. илл.
Перевод на япон. яз. работы № 148.
239. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. [Москва]: «Изд-во Моск. ун-та», 1983. — 144 с. (IX Международный съезд славистов: Доклады).
240. Диглоссия и двуязычие в истории русского литературного языка. — *International Journal of Slavic Linguistics and Poetics*, vol. XXVII, 1983. — P. 81-126.
241. Иван Грозный и Петр Великий: концепция первого монарха. Статья первая. — *Труды Отдела древнерусской литературы [Ин-та русской литературы АН СССР]*, т. XXXVII. Ленинград, 1983. — С. 54-78. <Совм. с А. М. Панченко>.
242. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии. Статья первая. — *Studia slavica Academiae scientiarum Hungaricae*, XXIX, 1983. — P. 33-69.
243. San Nicola e l'orso. — *Alfabeta*, luglio-agosto 1983, № 50-51. — P. 18-20.
Перевод на итал. яз. фрагмента работы № 225.

244. Zur Spezifik des Barock in Rußland. (Das Verfahren der Äquivokation in der russischen Poesie des 18. Jahrhunderts). — *Slavische Barockliteratur, II: Gedenkschrift für Dmitrij Tschizewskij.* Hrsg. von R. Lachmann. München: Wilhelm «Fink Verlag», 1983. — S. 25-56 (= *Forum slavicum*, Bd. 54). <Совм. с В. М. Живовым>.
245. Die Sprachsituation in der Kiewer Rus und ihre Bedeutung für die Geschichte der russischen Literatursprache. — Резюме докладов и письменных сообщений IX Международного съезда славистов (Киев, сент. 1983 г.). Москва, 1983. — С. 56.
Тезисы работы № 239.
246. Выдающийся вклад в изучение русского языка XVII века. Рец.: G. Kotošixin. O Rossii v carstvovanie Alekseja Mixajloviča. Text and Commentary. Ed. by A. E. Pennington. Oxford: Clarendon Press, 1980. — *International Journal of Slavic Linguistics and Poetics*, vol. XXVIII, 1983. — P. 149-180. <Совм. с В. М. Живовым>.

1984

247. *A kompozíció poétikája (A művészi szöveg szerkezete és a kompozíciós formák tipológiája).* Budapest: «Európa Könyvkiadó», 1984. — 286 old.
Перевод на венг. яз. работы № 66.
248. Подгот. изд.: Н. М. Карамзин. *Письма русского путешественника.* Ленинград: «Наука», 1984. — 717 с. (Литературные памятники). <Совм. с Ю. М. Лотманом, Н. А. Марченко>.
I. Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника [Подготовка текста]. — Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. Изд. подготовили Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Ленинград: «Наука», 1984. — С. 5-388. (Литературные памятники). <Совм. с Ю. М. Лотманом, Н. А. Марченко>.
II. Письма А. А. Петрова к Карамзину. 1785-1792. — Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. Изд. подготовили Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Ленинград: «Наука», 1984. — С. 499-512. (Литературные памятники). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
III. Текстологические принципы издания. — Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. Изд. подготовили Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Ленинград: «Наука», 1984. — С. 516-524. (Литературные памятники). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
IV. «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина и их место в развитии русской культуры. — Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. Изд. подготовили Ю. М. Лотман, Н. А. Марченко, Б. А. Успенский. Ленинград: «Наука», 1984. — С. 525-606. (Литературные памятники). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
249. Ред.: *Semiosis and the History of Culture. In honorem Georgii Lotman.* Ann Arbor, 1984. — VIII+384 p. (*Michigan Slavic Contributions*, № 10). <Совм. с М. Halle, К. Pomorska>.
250. *The Semiotics of Russian Culture.* Ed. by A. Shukman. Ann Arbor, 1984. — XIV, 341 p. (= *Michigan Slavic Contributions*, № 11).

- <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
 I. Author's Introduction. — Ju. M. Lotman, B. A. Uspenskij. *The Semiotics of Russian Culture*. Ed. by A. Shukman. Ann Arbor, 1984. — P. IX–XIV (= *Michigan Slavic Contributions*, № 11). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
 II. The Role of Dual Models in the Dynamics of Russian Culture (Up to the End of the Eighteenth Century). — Ju. M. Lotman, B. A. Uspenskij. *The Semiotics of Russian Culture*. Ed. by A. Shukman. Ann Arbor, 1984. — P. 3–35 (= *Michigan Slavic Contributions*, № 11). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
 Перевод на англ. яз. работы № 179.
 III. New Aspects in the Study of Early Russian Culture. — Ju. M. Lotman, B. A. Uspenskij. *The Semiotics of Russian Culture*. Ed. by A. Shukman. Ann Arbor, 1984. — P. 36–52 (= *Michigan Slavic Contributions*, № 11). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
 Перевод на англ. яз. работы № 181.
 IV. Echoes of the Notion «Moscow as the Third Rome» in Peter the Great's Ideology. — Ju. M. Lotman, B. A. Uspenskij. *The Semiotics of Russian Culture*. Ed. by A. Shukman. Ann Arbor, 1984. — P. 53–67 (= *Michigan Slavic Contributions*, № 11). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
 Перевод на англ. яз. работы № 228.
 V. Tsar and Pretender: Samozvančestvo or Royal Imposture in Russia as a Cultural-Historical Phenomenon. — Ju. M. Lotman, B. A. Uspenskij. *The Semiotics of Russian Culture*. Ed. by A. Shukman. Ann Arbor, 1984. — P. 259–292 (= *Michigan Slavic Contributions*, № 11). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
 Перевод на англ. яз. работы № 227.
 VI. The Syriac Question in Slavonic Literature: Why Should the Devil Speak Syriac? — Ju. M. Lotman, B. A. Uspenskij. *The Semiotics of Russian Culture*. Ed. by A. Shukman. Ann Arbor, 1984. — P. 293–294 (= *Michigan Slavic Contributions*, № 11). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
 Перевод на англ. яз. работы № 190.
 VII. On the Origin of Russian Obscenities. — Ju. M. Lotman, B. A. Uspenskij. *The Semiotics of Russian Culture*. Ed. by A. Shukman. Ann Arbor, 1984. — P. 295–300 (= *Michigan Slavic Contributions*, № 11). <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
 Перевод на англ. яз. работы № 224.
 251. К истории одной эпиграммы Тредиаковского (эпизод языковой полемики середины XVIII в.) — *Russian Linguistics*, vol. VIII, 1984, № 2. — P. 75–127.
 252. The Language Programm of N. M. Karamzin and its Historical Antecedents. — *Aspects of the Slavic Language Question*. Ed. by R. Picchio and H. Goldblatt, vol. II. East Slavic. New Haven, 1984. — P. 235–296 (= *Yale Russian and East European Publications*, № 4–b).
 253. The Language Situation and Linguistic Consciousness in Muscovite Rus': The Perception of Church Slavic and Russian. — *Medieval Russian Culture*. Ed. by H. Birnbaum and M. S. Flier. Berkeley — Los An-

- geles — London: «University of California Press», 1984. — P. 365–385 (= *California Slavic Studies*, XII).
 Перевод на англ. работы № 309 (сокращенная версия).
 254. Los «puntos de vista» en el plano de la psicología. — *Criterios: Estudios de teoría literaria, estética y culturología*, №№ 5–12. La Habana, Enero 1983 — Diciembre 1984. — P. 117–139.
 Перевод на исп. яз. IV-й главы работы № 66.
 255. Метаморфозы античного язычества в истории русской культуры XVII–XVIII вв. — *Античность в культуре и искусстве последних веков: Материалы научной конференции, 1982 г.* Под общ. ред. И. Е. Даниловой. Москва, «Сов. художник», 1984. — С. 204–285. <Совм. с В. М. Живовым>.
 256. Оппозиция рефлексов *е и *ё в книжном произношении и исторической диалектологии. — *Совещание по вопросам диалектологии и истории языка (Лингвогеография на современном этапе и проблемы межуровневого взаимодействия в истории языка) (Ужгород, 18–20 сент. 1984 г.): Тезисы докладов и сообщений*, т. II. Москва, 1984. — С. 217–218. <Совм. с В. М. Живовым>.
 257. Типология языков. — *Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание)*. Сост. М. В. Панов. Москва: «Педагогика», 1984. — С. 303–305.
 258. Старославянский и церковнославянский. — *Актуальные проблемы изучения и преподавания старославянского языка: Материалы Первого научно-методического совещания-семинара преподавателей старославянского языка университетов (Москва, 16–18 окт. 1979 г.)* Под ред. К. В. Горшковой. [Москва]: «Изд-во Моск. ун-та», 1984. — С. 43–53.
- 1985
259. Из истории русского литературного языка XVIII — начала XIX века: Языковая программа Карамзина и ее исторические корни. [Москва]: «Изд-во Моск. ун-та», 1985. — 215 с.
 260. Kult św. Mikołaja na Rusi. Lublin: «Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego», 1985. — 375 s. + 16 илл.
 Перевод на польск. яз. работы № 225.
 261. *The Semiotics of Russian Cultural History*. Ed. by A. D. Nakhimovskiy and A. Stone Nakhimovskiy. Ithaca: «Cornell University Press», 1985. 225 p. <Совм. с Л. Я. Гинзбург, Ю. М. Лотманом>.
 I. Binary Models in the Dynamics of Russian Culture (to the End of the Eighteenth Century). — *The Semiotics of Russian Cultural History. Essays* by I. M. Lotman, L. A. Ginsburg, B. A. Uspenskij. Ed. by A. D. Nakhimovskiy and A. Stone Nakhimovskiy. Ithaca: «Cornell University Press», 1985. — P. 30–66. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
 Перевод на англ. яз. работы № 179.
 262. Антиповедение в культуре Древней Руси. — *Проблемы изучения культурного наследия*. Отв. ред. Г. В. Степанов. Москва: «Наука», 1985. — С. 326–336.

263. Il «degradato» (izgoj) e il «degradamento» (izgojničestvo) come condizione socio-psicologica nella cultura Russa precedente al regno di Pietro I («Proprio» e «altrui» nella storia della cultura russa). — J. M. Lotman. *L'asimmetria e il dialogo nelle strutture pensanti*. A cura di S. Salvestroni. Venezia: «Marsilio Editori», 1985. — P. 165–180. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на итал. яз. работы № 226.

1986

264. *Kosei no shigaku*. — Tokyo: «Hosei deigaku [Hosei University Press]», 1986. — 258, VIII с.+ 8 л. илл. Перевод на япон. яз. работы № 66.
265. *Ha-po'etika shel ha-kompositsya: Ha-mivne shel ha-tekst ha-omanuti ve tipologya shel tsura kompositzyonit*. Translated by G. Toury. [Tel Aviv]: «Sifriyat po'alim», 1986. — 187 p. Перевод на яз. иврит работы № 93 с учетом работы № 66.
266. *Grammatica sub specie theologiae: Претеритные формы глагола «быти» в русском языковом сознании XVI–XVIII веков*. — *Russian Linguistics*, vol. X, 1986, № 3. — P. 259–279. <Совм. с В. М. Живовым>.
267. *Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси: восприятие церковнославянского и русского языка*. — *Studia Russica*, X. Budapest, 1986. — С. 195–254. Предварительная публикация работы № 309.
268. *Thesen zur semiotischen Erforschung der Kultur (in Anwendung auf slavische Texte)*. — *Semiotica Sovietica: Sowjetische Arbeiten der Moskauer und Tartuer Schule zu sekundären modellbildenden Zeichensystemen (1962–1973)*. Hrsg. und eingeleitet von K. Eimermacher. Bd. I. Aachen: «Rader Verlag», 1986. — S. 85–116 (= *Aachener Studien zur Semiotik und Kommunikationsforschung*, Bd. 5.1). <Совм. с В. В. Ивановым, Ю. М. Лотманом, В. Н. Топоровым, А. М. Пятигорским>. Перевод на нем. яз. работы № 105.
269. *Struktur des literarischen Textes und Textkritik (zur Wiedergabe der direkten Rede in Leo N. Tolstojs «Krieg und Frieden»)*. — *Semiotica Sovietica: Sowjetische Arbeiten der Moskauer und Tartuer Schule zu sekundären modellbildenden Zeichensystemen (1962–1973)*. Hrsg. und eingeleitet von K. Eimermacher. Bd. I. Aachen: «Rader Verlag», 1986. — S. 463–477 (= *Aachener Studien zur Semiotik und Kommunikationsforschung*, Bd. 5.1). Перевод на нем. яз. работы № 83.
270. *Zur Semiotik der Ikone*. — *Semiotica Sovietica: Sowjetische Arbeiten der Moskauer und Tartuer Schule zu sekundären modellbildenden Zeichensystemen (1962–1973)*. Hrsg. und eingeleitet von K. Eimermacher. Bd. II. Aachen: «Rader Verlag», 1986. — S. 755–824 (= *Aachener Studien zur Semiotik und Kommunikationsforschung*, Bd. 5.2). Перевод на нем. яз. работы № 80.
271. *Zum semiotischen Mechanismus der Kultur*. — *Semiotica Sovietica: Sowjetische Arbeiten der Moskauer und Tartuer Schule zu*

- sekundären modellbildenden Zeichensystemen (1962–1973)*. Hrsg. und eingeleitet von K. Eimermacher. Bd. II. Aachen: «Rader Verlag», 1986. — S. 853–880 (= *Aachener Studien zur Semiotik und Kommunikationsforschung*, Bd. 5.2). <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на нем. яз. работы № 79.
272. *Mythos — Name — Kultur*. — *Semiotica Sovietica: Sowjetische Arbeiten der Moskauer und Tartuer Schule zu sekundären modellbildenden Zeichensystemen (1962–1973)*. Hrsg. und eingeleitet von K. Eimermacher. Bd. II. Aachen: «Rader Verlag», 1986. — S. 881–906 (= *Aachener Studien zur Semiotik und Kommunikationsforschung*, Bd. 5.2). <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на нем. яз. работы № 100.
273. *Il concetto di «Mosca terza Roma» nell'ideologia di Pietro I.—Europa Orientalis: Dall'opus oratorium alla ricerca documentaria. La storiografia polacca, ucraina e russa fra il XVI e il XVIII secolo*. A cura di G. Brogi Bercoff, V. 1986. — P. 481–494. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на итал. яз. работы № 228.
274. *Программа дисциплины «История русского языка»*. Для государственных университетов. Специальность 2001: *Русский язык и литература*. [Москва]: «Изд-во Моск. ун-та», 1986. — 41 с. <Совм. с К. В. Горшковой, Г. А. Хабургаевым, В. М. Живовым>.

1987

275. *История русского литературного языка (XI—XVII вв.)*. München: «Verlag Otto Sagner», 1987. — XII+367 s. (= *Sagners Slavistische Sammlung*, Bd. 12).
276. *Tipologia della cultura*. A cura di R. Faccani e M. Marzaduri. Milano: «Bompiani», 1987. — 301 p. (= *Studi Bompiani*, 14). <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Переиздание работы № 130.
277. Подгот. изд.: Н. М. Карамзин. *Письма русского путешественника*. Ленинград: «Наука», 1987. — 717 с. (Литературные памятники). <Совм. с Ю. М. Лотманом, Н. А. Марченко>. Переиздание работы № 248.
278. Ред.: *Языки культуры и проблемы переводимости*. Москва: «Наука», 1987. — 253 с.
279. Ред.: *Jean Sohier. Grammaire et Methode Russes et Françaises 1724*. Bd. I–II. München: «Verlag Otto Sagner», 1987. — XLI+A–L+453+342 s. (= *Specimina Philologiae Slavicae*. Hrsg. von O. Horbatsch, G. Freidhof, P. Kosta. Bd. 69–70).
280. Предисловие — *Jean Sohier. Grammaire et Methode Russes et Françaises 1724*. Факсимильное изд. под ред. и с предисловием Б. А. Успенского. Bd. I. München: «Verlag Otto Sagner», 1987. — S. III–XXXVI (= *Specimina Philologiae Slavicae*. Hrsg. von O. Horbatsch, G. Freidhof, P. Kosta. Bd. 69–70).
281. *Царь и Бог: Семиотические аспекты сакрализации монарха в России*. — *Языки культуры и проблемы переводимости*. Отв. ред. Б. А. Успенский. Москва: «Наука», 1987. — С. 47–153. <Совм. с В. М. Живовым>.

282. Языковые универсалии и актуальные проблемы типологического описания языка. — *Общее языкознание: Хрестоматия*. Сост. Б. И. Косовский, Н. А. Павленко. Под ред. А. Е. Супруна. 2-е изд., перераб. и доп. Минск: «Вышэйшая школа», 1987. — С. 348–359. Переиздание работы № 65.
283. Кавычные книги 50-х годов XVII в. — *Археологический ежегодник за 1986 год*. Москва: «Наука», 1987. — С. 75–84. <Совм. с В. Г. Сиромохаю>.
284. К проблеме генезиса тартуско-московской семиотической школы. — *Труды по знаковым системам*, XX. Тарту, 1987. — С. 18–29 (=Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 746).
285. Zar e impostore. — *Alfabet*, settembre 1987, № 100. — P. 5–7. Сокращ. перевод на итал. яз. работы № 227.
286. О семиотике иконы. — *Символ: Журнал христианской культуры при Славянской библиотеке в Париже*, № 18, декабрь 1987. — С. 143–216. Переиздание работы № 80 с учетом некоторых дополнений, отраженных в работе № 148.
287. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии. Статья вторая. — *Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae*, XXXIII, 1987. — P. 37–76. Статью 1-ю см. под № 242.
288. О символике времени код словена: «чисти» и «нечисти» дани недеље. — *Повеља: Часопис за књижевност, уметност, культуру, просветна и друштвена питања, нова серија, година XVII*, 1987, број 3–4. — С. 3–6. Перевод на сербскохорват. яз. работы № 229.
289. Hlebnyikov poétikájáról: a kompozíció problémái. — *Helikon*, 1987, № 4. — Old. 364–369. Перевод на венг. яз. работы № 101.
290. Tártú Mó síkê xuè pài [Тартуско-московская школа]. — *Dushu (Reading Monthly)*, 1987, № 3. — P. 137–142. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.

1988

291. История русского литературного языка (XI—XVII вв.) / *Az orosz irodalmi nyelv története a XI—XVII. században*. Budapest: «Tankönyvkiadó», 1988. — 451 old. [На правах рукописи. Kézirat]. Предварительная публикация работы № 275.
292. *Storia e semiotica*. Presentazione di M. Di Salvo. Milano: «Bompiani», 1988. — XV+156 p. (Studi Bompiani).
- I. *Historia sub specie semioticae*. — В. А. Успенский. *Storia e semiotica*. Presentazione di M. Di Salvo. Milano: «Bompiani», 1988. — P. 1–8, 105 (note). (Studi Bompiani). Перевод на итал. яз. работы № 156.
 - II. *Storia e semiotica: La percezione del tempo come problema semiotico*. — В. А. Успенский. *Storia e semiotica*. Presentazione di M. Di Salvo. Milano: «Bompiani», 1988, P. 9–36, 105–122

- (note). (Studi Bompiani). Перевод на итал. яз. работ № 299 и 310 с дополнением, представляющим собой сокр. изложение работы № 343.
- III. *L'antico comportamento nella cultura della Russia antica*. — В. А. Успенский. *Storia e semiotica*. Presentazione di M. Di Salvo. Milano: «Bompiani», 1988. — P. 37–48, 122–124 (note). (Studi Bompiani). Перевод на итал. яз. работы № 262.
 - IV. *L'aspetto mitologico della fraseologia espressiva russa*. — В. А. Успенский. *Storia e semiotica*. Presentazione di M. Di Salvo. Milano: «Bompiani», 1988. — P. 49–76, 124–126 (note). (Studi Bompiani). Перевод на итал. яз. работы № 242.
 - V. *Sul simbolismo del tempo presso gli slavi: Giorni «puri» e «impuri» della settimana*. — В. А. Успенский. *Storia e semiotica*. Presentazione di M. Di Salvo. Milano: «Bompiani», 1988. — P. 77–80, 126–127 (note). (Studi Bompiani). Перевод на итал. яз. работы № 229.
 - VI. *Lo zar e l'impostore: L'impostura in Russia come fenomeno storico-culturale*. — В. А. Успенский. *Storia e semiotica*. Presentazione di M. Di Salvo. Milano: «Bompiani», 1988. — P. 81–103, 127–138 (note). (Studi Bompiani). Перевод на итал. яз. работы № 227.
293. *Ред.: Semiotics and the History of Culture: In Honor of Jurij Lotman. Studies in Russian*. Columbus: «Slavica Publishers, Inc.», [1988]. — 437 p. (=University of California, Los Angeles: *Slavic Studies*, vol. 17). <Совм. с M. Halle, K. Pomorska, E. Semeka-Pankratov>.
294. Религиозно-мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии (Семантика русского мата в историческом освещении). — *Semiotics and the History of Culture: In Honor of Jurij Lotman. Studies in Russian*. Ed. by M. Halle, K. Pomorska, E. Semeka-Pankratov, B. Uspenskij. Columbus: «Slavica Publishers, Inc.», [1988] (=University of California, Los Angeles: *Slavic Studies*, vol. 17). — P. 197–302. Расширенная (но относительно более ранняя) версия работ № 242 и 287.
295. Одна из первых грамматик русского языка (Грамматика Жана Соле 1724 г.) — *Вопросы языкознания*, 1988, № 1. — С. 94–109.
296. М. В. Ломоносов о соотношении церковнославянского, древнерусского и древнего славянского языков (на материале его записки о А. Л. Шлецере). — *Kalbotyra: Mokslo darbai*. (Языкознание: Сборник научных трудов) [Учен. зап. Литовской ССР]. Vilnius, 1988, № 39 (2). *Kalby vystymosi ir sąveikos dėsniumai*. Numeri redagavo A. Steponavičius, L. Sudavičienė, V. Čekmonas, K. Musteikis. (Закономерности развития и взаимодействия языков. Под ред. А. Степановичюса, Л. Судавичене, В. Чекмонаса, Л. Мустейкиса). — С. 13–20.
297. Русское книжное произношение XI–XII вв. и его связь с южнославянской традицией. (Чтение еров). — *Актуальные проблемы*

- славянского языкознания. Под ред. К. В. Горшковой, Г. А. Хабургаева. [Москва]: «Изд-во Моск. ун-та», 1988. — С. 99–156.
298. Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси (XVI–XVII вв.). — Литература и искусство в системе культуры. Отв. ред.: Б. Б. Пиотровский. Москва: «Наука», 1988. — С. 208–224.
299. История и семиотика (Восприятие времени как семиотическая проблема). Статья первая. — Труды по знаковым системам, XXII. Тарту, 1988. — С. 66–84 (= Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 831).
300. L'influsso dell'Europa occidentale sul programma linguistico di Karamzin e dei suoi seguaci. — Le lingue del mondo, anno LIII, Novembre 1988, № 6 (Nuova Serie). — P. 8–25.
Сокращ. перевод на итал. яз. 1-й главы работы № 259.
301. L'influence du jansénisme en Russie au XVIII^e siècle: deux épisodes. — Cahiers du Monde russe et soviétique, XXIX (3–4), juillet — décembre 1988. — P. 337–342. <Совм. с А. Б. Шишкиным>.
Сокращ. изложение работы № 320.
302. Аодуров. — Словарь русских писателей XVIII века, вып. 1. Ленинград: «Наука». 1988. — С. 21–23. <Совм. с О. Я. Лейбман>.
303. Историја и семиотика (Перцепција времени као семиотички проблем). — Књижевност, 1988, св. 9 (с. 1388–1394), 10 (с. 1615–1632), 11 (с. 1851–1861).
Перевод на сербскохорват. яз. работ № 299 и 310 с дополнением, представляющим собой сокр. изложение работы № 343.
304. Sul problema della genesi della scuola semiotica Tartu—Mosca. — Strumenti critici, n.s., anno III, settembre 1988, fascicolo 3. — P. 411–424.
Перевод на итал. яз. работы № 284.
305. Mitoz-név-kultúra. — Kultúra és közösség, 1988, № 1.—Old. 3–19.
<Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на венг. яз. работы № 100.
306. [Выступление в дискуссии]: «Круглый стол: 1000-летие христианизации Руси». — Советское славяноведение, 1988, № 6. — С. 30–33.
- 1989**
307. Ред.: Б. О. Унбегаун. Русские фамилии. Москва: «Прогресс», 1989. — 441 с.
308. Социальная жизнь русских фамилий (Вместо послесловия). — Б. О. Унбегаун. Русские фамилии. Общая редакция Б. А. Успенского. Москва: «Прогресс», 1989. — С. 336–364.
309. Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси: восприятие церковнославянского и русского языка. — Византия и Русь (Памяти Веры Дмитриевны Лихачевой. 1937–1981). Отв. ред. Г. К. Вагнер. Москва: «Наука», 1989. — С. 206–227.
310. История и семиотика (Восприятие времени как семиотическая проблема). Статья вторая. — Труды по знаковым системам, XXIII. Тарту, 1989. — С. 18–38 (= Учен. зап. Тартуского ун-та, вып. 855).
Статью 1-ю см. под № 299.

311. Неизвестная русская грамматика петровской эпохи (Грамматика Ивана Афанасьева 1725 г.). — Russian Linguistics, vol. XIII, 1989, № 3.—P. 221–244.
312. Солярно-лунарная символика в облике русского храма. — Тысячелетие крещения Руси: Международная церковная научная конференция «Богословие и духовность» (Москва, 11–18 мая 1987 года). Москва, 1989. — С. 306–310.
Предв. публикация работы № 353: запись доклада, не верифицированная автором.
313. Экспрессивные выражения и культ Матери-Земли. — Язык. Москва: «Знание», 1989. — С. 10–49 (= Народный университет: «Знание»: Факультет «Человек и природа», 1989, № 10).
Сокращ. воспроизведение работы № 242.
314. Программа дисциплины «История русского языка». По типовому учебному плану. Для государственных университетов. Специальность 02.17: Русский язык и литература. [Москва]: «Изд-во Моск. ун-та», 1989. — 56 с. <Совм. с К. В. Горшковой, Г. А. Хабургаевым, В. М. Живовым>.
Модифицированный вариант работы № 274.
315. Послесловие/Nachbemerking.—Aleksiej Ivanovič Sobolevskij. Perevodnaja literatura Moskovskoj Rusi XIV–XVII vekov: Bibliografičeskie materialy. Iz perevodnoj literatury Petrovskoj èpochi. / Übersetzungsliteratur der Moskauer Rus 14. bis 17. Jahrhundert: Bibliographische Materialien. Aus der Übersetzungsliteratur der Petrinische Epoche. Mit einer russisch-deutschen Nachbemerking von B. A. Uspenskij und D. Frey-dank. Köln — Wien: «Böhlau Verlag», 1989 (= Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven, Bd. 34). — S. I–IV <Совм. с Д. Фрайданком>.
316. Послесловие/Nachbemerking.—Aleksiej Ivanovič Sobolevskij. Perevodnaja literatura Moskovskoj Rusi XIV–XVII vekov: Bibliografičeskie materialy. Iz perevodnoj literatury Petrovskoj èpochi. / Übersetzungsliteratur der Moskauer Rus 14. bis 17. Jahrhundert: Bibliographische Materialien. Aus der Übersetzungsliteratur der Petrinische Epoche. Mit einer russisch-deutschen Nachbemerking von B. A. Uspenskij und D. Frey-dank. Leipzig: «Zentralantiquariat der DDR», 1989. — S. I–IV <Совм. с Д. Фрайданком>.
То же, что работа № 315 (стереотипное издание).
- 1990**
317. Sémiotique de la culture russe. Traduit du russe et annoté par F. Lhoest. [Lausanne]: «L'Age d'Homme», [1990]. —516 p. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
- I. A propos de la genèse de l'école sémiotique de Tartu et Moscou — I. Lotman, B. Ouspenski. Sémiotique de la culture russe. Traduit du russe et annoté par F. Lhoest. [Lausanne]: «L'Age d'Homme», [1990]. — P. 9–19.
Перевод на франц. яз. работы № 284.

- II. La dualité des modèles et son rôle dans la dynamique de la culture russe jusqu'à la fin du XVIII^e siècle. — I. Lotman, B. Ouspenski. *Sémiotique de la culture russe*. Traduit du russe et annoté par F. Lhoest. [Lausanne]: «L'Age d'Homme», [1990]. — P. 21–56. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на франц. яз. работы № 179.
- III. De nouveaux aspects de l'étude de la culture russe médiévale. — I. Lotman, B. Ouspenski. *Sémiotique de la culture russe*. Traduit du russe et annoté par F. Lhoest. [Lausanne]: «L'Age d'Homme», [1990]. — P. 57–74. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на франц. яз. работы № 181.
- IV. Moscou, la «Troisième Rome»: l'idée et son reflet dans l'idéologie de Pierre I^{er}. Contribution à l'étude de la tradition médiévale dans la culture de l'époque baroque. — I. Lotman, B. Ouspenski. *Sémiotique de la culture russe*. Traduit du russe et annoté par F. Lhoest. [Lausanne]: «L'Age d'Homme», [1990]. — P. 75–88. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на франц. яз. работы № 228.
- V. Histoire et sémiotique: le temps perçu comme problème sémiotique. — I. Lotman, B. Ouspenski. *Sémiotique de la culture russe*. Traduit du russe et annoté par F. Lhoest. [Lausanne]: «L'Age d'Homme», [1990]. — P. 273–316. Перевод на франц. яз. работ № 299 и 310 с дополнением, представляющим собой сокр. изложение работы № 343.
- VI. L'anti-conduite dans la culture russe médiévale. — I. Lotman, B. Ouspenski. *Sémiotique de la culture russe*. Traduit du russe et annoté par F. Lhoest. [Lausanne]: «L'Age d'Homme», [1990]. — P. 317–328. Перевод на франц. яз. работы № 262.
- VII. Tsar et imposteur: l'imposture en Russie comme phénomène historique et culturel. — I. Lotman, B. Ouspenski. *Sémiotique de la culture russe*. Traduit du russe et annoté par F. Lhoest. [Lausanne]: «L'Age d'Homme», [1990]. — P. 329–363. Перевод на франц. яз. работы № 227.
- VIII. Situation et conscience linguistiques dans la Rous' moscovite: comment le russe et le slavon étaient perçus. — I. Lotman, B. Ouspenski. *Sémiotique de la culture russe*. Traduit du russe et annoté par F. Lhoest. [Lausanne]: «L'Age d'Homme», [1990]. — P. 364–382. Перевод на франц. яз. работы № 309 (сокращенная версия).
- IX. Pourquoi le diable peut-il parler syriaque? (La question du syriaque dans la littérature slave). — I. Lotman, B. Ouspenski. *Sémiotique de la culture russe*. Traduit du russe et annoté par F. Lhoest. [Lausanne]: «L'Age d'Homme», [1990]. — P. 383–384. Перевод на франц. яз. работы № 190.
- X. L'aspect mythologique des jurons russes (I). — I. Lotman, B. Ouspenski. *Sémiotique de la culture russe*. Traduit du russe et annoté par F. Lhoest. [Lausanne]: «L'Age d'Homme», [1990]. — P. 385–424.

- Перевод на франц. яз. работы № 242.
- XI. L'aspect mythologique des jurons russes (II). — I. Lotman, B. Ouspenski. *Sémiotique de la culture russe*. Traduit du russe et annoté par F. Lhoest. [Lausanne]: «L'Age d'Homme», [1990]. — P. 425–461. Перевод на франц. яз. работы № 287.
318. La situazione linguistica della Rus' di Kiev. Il suo significato per la storia della lingua letteraria russa. A cura di N. Marcialis. Roma, 1990 (Il Università di Roma «Tor Vergata». Dipartimento di lingue e letterature comparate. Strumenti didattici della cattedra di lingua e letteratura russa) — P. 29–190. Перевод на итал. яз. работы № 239.
319. Ред.: Механизмы культуры. Москва: «Наука», 1990, 267 с.
320. Тредиаковский и янсенисты. — Символ: Журнал христианской культуры при Славянской библиотеке в Париже, № 23, июль 1990 г. — С. 105–264. <Совм. с А. Б. Шишкиным>.
321. Le fiabe proibite di Aleksandr N. Afanas'ev. — A. N. Afanas'ev. *Fiabe russe proibite*. Con un saggio introduttivo di B. A. Uspenskij e le «Note comparative» attribuite a G. Pitré. A cura di P. Pera. [Milano]: «Garzanti», [1990] («Saggi blu»). — P. 9–29. Перевод на итал. яз. работы № 360 (с редакционными изменениями).
322. Semiotics and Culture (The Perception of Time as a Semiotic Problem). — *Expert Systems, Culture and Semiotics [Conference]*. December 12, 13, 14 and 15, 1990. University of Groningen, The Netherlands: Faculty of Management & Organization; Faculty of Arts. [Groningen, 1990]. — P. 51–53. Тезисы работы № 310.
323. «Точки зрения» в плане психологии. — *Русская литература: Хрестоматия по литературоведению. Достоевский*. Составитель А. Ковач / Orosz irodalom: Filológiai szöveggyűjtemény. Dosztojevskij. Szerkesztette: Á. Kovács. Budapest: «Tankönyvkiadó», 1988 [На правах рукописи. Kézirat]. — С. 127–135. Переиздание (с сокращениями) III-й главы работы № 66 (с. 109–111 и 123–130).
324. За семiotичния механизъм на културата. — *Идеи в културологията: Антология в два тома*. Съставители И. Стефанов, Д. Гинев, т. I. Университетско издателство «Климент Охридски». София, 1990. — С. 218–242. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на болг. яз. работы № 79.
325. За семiotичния механизъм на културата. — Ю. Лотман. *Поетика. Типология на културата*. Издателство «Народна култура». София, 1990. — С. 235–261. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на болг. яз. работы № 79.
326. «Изгоят» и «изгойничеството» като социално-психологическа позиция в руската култура предимно от допетрово време («своего» и «чуждото» в историята на руската култура). — Ю. Лотман. *Поетика. Типология на културата*. Издателство «Народна култура».

- ра». София, 1990. — С. 468–482. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на болгар. яз. работы № 226.
327. Lo scima dei vecchi credenti e il conflitto culturale del XVII secolo. — *Ricerche slavistiche*, vol. XXXVII, 1990 (La percezione del Medioevo nell'epoca del Barocco: Polonia, Ucraina, Russia. Atti del Congresso tenutosi a Urbino 3–8 luglio 1989. A cura di G. Brogi Bercoff). — P. 423–458.
- Перевод на итал. яз. работы № 341 (сокращенная версия).

1991

328. *Semiotik der Geschichte*. Wien: «Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften», 1991. — 313 s. (=Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch—Historische Klasse. Sitzungsberichte, 579. Band).
- I. Geschichte und Semiotik (Zur Wahrnehmung der Zeit als semiotisches Problem). — В. А. Успенский. *Semiotik der Geschichte*. Wien: «Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften», 1991 (=Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte, 579. Band). — S. 5–63.
- Перевод на нем. яз. работ № 299 и 310 с дополнением, представляющим собой сокр. изложение работы № 343.
- II. *Historia sub speciae semioticae*. — В. А. Успенский. *Semiotik der Geschichte*. Wien: «Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften», 1991 (=Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte, 579. Band). — S. 65–71.
- Перевод на нем. яз. работы № 156.
- III. *Zar und «falscher Zar»: Usurpation als kultur-historisches Phänomen*. — В. А. Успенский. *Semiotik der Geschichte*. Wien: «Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften», 1991 (=Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte, 579. Band). — S. 73–111.
- Перевод на нем. яз. работы № 227.
- IV. *Die Idee «Moskau — das Dritte Rom» in der Ideologie Peters I (Zum Problem der mittelalterlichen Tradition in der Barockkultur)*. — В. А. Успенский. *Semiotik der Geschichte*. Wien: «Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften», 1991 (=Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte, 579. Band). — S. 113–129. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
- Перевод на нем. яз. работы № 228.
- V. *Zar und Gott: Semiotische Aspekte der Sakralisierung des Monarchen in Russland*. — В. А. Успенский. *Semiotik der Geschichte*. Wien: «Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften», 1991 (=Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse.

- Sitzungsberichte*, 579. Band). — S. 131–265. <Совм. с В. М. Живовым>.
- Перевод на нем. яз. работы № 281.
- VI. *Antiverhalten in der Kultur der Alten Rus'*. — В. А. Успенский. *Semiotik der Geschichte*. Wien: «Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften», 1991 (=Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte, 579. Band). — S. 267–280.
- Перевод на нем. яз. работы № 262.
329. *Komposition poetiikka*. Helsinki: «Orient Express», 1991. — 288 s. Перевод на финск. яз. работы № 66.
330. Солярно-лунарная символика в облике русского храма. — *Slavica gandensia*, 18 (A Thousand-Year Heritage of Christian Art in Russia Symposium. Hernen/The Netherlands, september 1988). Gent, 1991. — P. 85–95.
- Предварительная публикация работы № 353.
331. *Die Sprache des Gottesdienstes und das Problem der Konventionalität des Zeichens. — Kirchen im Kontext unterschiedlicher Kulturen: Auf dem Weg ins Dritte Jahrhundert. Aleksandr Meñ in memoriam (1935–1990)*. Herausgegeben von K. C. Felmy, G. Kretschmar, F. von Lilienfeld, T. Rendtorff und C.-J. Roepke. Göttingen: «Vandenhoeck & Ruprecht», [1991]. — S. 753–759.
332. *Neue Aspekte bei der Erforschung der Kultur des Alten Rußland. — D. S. Lichačev, A. M. Pančenko. Die Lachwelt des Alten Rußland. Mit einem Nachtrag von J. M. Lotman und V. A. Uspenskij*. Eingeleitet und herausgegeben von Renate Lachmann. [München]: «Wilhelm Fink Verlag», [1991]. — S. 185–200. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
- Сокращ. перевод на нем. яз. работы № 181.
333. *Отзвуки концепции «Москва — Третий Рим» в идеологии Петра Первого (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко)*. — *Радуга*, 1991, № 6. — С. 29–37. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
- Перевод работы № 228.
334. *La pittura nella storia della cultura russa. — Volti dell'Impero russo: da Ivan il Terribile a Nicola I*. [Milano]: «Electa», [1991]. — P. 41–44.
335. *Античная мифология в истории русской культуры. — Itinerari di idee, uomini e cose fra Est ed Ovest Europeo (Udine, 21–24 Novembre 1990)*. Atti del Convegno Internazionale a cura di M. Ferrazzi. Udine: «Aviani editore», [1991]. — P. 177–182.
336. *Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление)*. — XVIII Международный конгресс византинистов: Резюме сообщений / XVIII^e Congrès International des études byzantines: Resumés des communications / XVIIIth International Congress of Byzantine Studies: Summaries of Communications, II (L–Z). Москва, 1991. — С. 1200–1202.
337. *К вопросу о хомовом пении. — Музыкальная культура средневековья*, вып. 2 (Тезисы и доклады конференций). Сост. и отв.

ред.: Т. Ф. Владышевская. М., 1991 [так на титульном листе; на обложке обозначен 1992 г.]. — С. 144–147.

1992

338. Съчинения, т. I: Семиотика на изкуството (Поетика на композицията. Семиотика на иконата. «Дясно» и «ляво» в иконописното изображение). Превод от руски Е. Трендафилова. София: Издателство «Наука и изкуство»; издателска къща «Критика и хуманизъм», 1992. — 262 с. (Славянска библиотека. Серия Studia Slavica).
- I. Предисловие. — Б. Успенски. Съчинения, т. I: Семиотика на изкуството (Поетика на композицията. Семиотика на иконата. «Дясно» и «ляво» в иконописното изображение). Превод от руски Е. Трендафилова. София: Издателство «Наука и изкуство»; издателска къща «Критика и хуманизъм», 1992. — С. 7–10. (Славянска библиотека. Серия Studia Slavica).
 - II. Поетика на композицията. — Б. Успенски. Съчинения, т. I: Семиотика на изкуството (Поетика на композицията. Семиотика на иконата. «Дясно» и «ляво» в иконописното изображение). Превод от руски Е. Трендафилова. София: Издателство «Наука и изкуство»; издателска къща «Критика и хуманизъм», 1992. — С. 11–162, 210–233 (бележки). (Славянска библиотека. Серия Studia Slavica).
Перевод на болг. яз. работы № 66.
 - III. Семиотика на иконата. — Б. Успенски. Съчинения, т. I: Семиотика на изкуството (Поетика на композицията. Семиотика на иконата. «Дясно» и «ляво» в иконописното изображение). Превод от руски Е. Трендафилова. София: Издателство «Наука и изкуство»; издателска къща «Критика и хуманизъм», 1992. — С. 203–209, 259–260 (бележки). (Славянска библиотека. Серия Studia Slavica).
Перевод на болг. яз. работы № 80.
 - IV. «Дясно» и «ляво» в иконописното изображение. — Борис Успенски. Съчинения, т. I: Семиотика на изкуството (Поетика на композицията. Семиотика на иконата. «Дясно» и «ляво» в иконописното изображение). Превод от руски Е. Трендафилова. София: Издателство «Наука и изкуство»; издателска къща «Критика и хуманизъм», 1992. — С. 11–162, 210–233 (бележки). (Славянска библиотека. Серия Studia Slavica).
Перевод на болг. яз. работы № 102.
339. *Car i Bóg: Semiotyczne aspekty sakralizacji monarchy w Rosji*. Przełożył i wstępem opatrzył H. Paprocki. Warszawa: «Państwowy Instytut Wydawniczy», 1992. — 158 s. <Совм. с В. М. Живовым>. (Biblioteka myśli współczesnej).
Перевод на польск. яз. работы № 281.

340. Литературная война Тредиаковского и Сумарокова в 1740-х — начале 1750-х годов. — *Russian Literature*, vol. XXXI, 1992, № 2 [separate issue]. — P. 133–272. <Совм. с М. С. Гринбергом>.
341. Раскол и культурный конфликт XVII века. — Сборник статей к 70-летию проф. Ю. М. Лотмана. Тарту, 1992. — С. 90–129.
342. Доломоносовская грамматика русского языка (итоги и перспективы). — Доломоносовский период русского литературного языка / *The Pre-Lomonosov Period of the Russian Literary Language* (Материалы конференции на Фарерудде, 20–25 мая 1989 г.). Editors: A. Sjöberg, L'. Đurovič and U. Birgegård. Stockholm: [«Almqvist & Wiksell»], 1992. — P. 63–169 (=Slavica Suecana. Series B — Studies, vol. 1).
343. La perception de l'histoire et la doctrine «Moscou — troisième Rome». — *La royauté sacrée dans le monde chrétien* (Colloque de Royaumont, mars 1989). Publié sous la direction de A. Boureau et C.-S. Ingerflom. Paris: «Éditions de l'École des hautes études en sciences sociales», 1992. — P. 129–137. (=L'histoire et ses représentations, 3).
344. The Attitude to Grammar and Rhetoric in Old Russia of the 16th and 17th Centuries. — *The Legacy of Saints Cyril and Methodius to Kiev and Moscow. Proceedings of the International Congress on the Millennium of the Conversion of Rus' to Christianity* (Thessaloniki 26–28 November 1988). Edited by A.-E. N. Tachiaos. Thessaloniki, 1992. — P. 485–497.
Сокращ. перевод на англ. яз. работы № 298.
345. Il simbolismo lunare-solare nelle chiese russe. — *Studi slavistici offerti a Alessandro Ivanov nel suo 70. compleanno*. A cura di M. Ferrazzi. [Udine, 1992]. — P. 436–445.
Перевод на итал. яз. работы № 330.
346. Миф — имя — культура. — Ю. М. Лотман. Избранные статьи в трех томах, т. I. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн: «Александра», 1992. — С. 58–75. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Переиздание работы № 100.
347. Мит — имя — культура. — Ю. Лотман. Культура и информация. София: «Наука и изкуство», 1992. — С. 35–56. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Перевод на болг. яз. работы № 100.
348. О семиотическом механизме культуры. — *Радуга*, 1992, № 6. — С. 21–36. <Совм. с Ю. М. Лотманом>.
Переиздание работы № 79.

1993

349. *Storia della lingua letteraria russa: Dall'antica Rus' a Puškin*. [Bologna]: «Società editrice il Mulino», 1993. — 286 p.
Перевод на итал. яз. работы № 367.
350. Ред.: Исследования по славянскому историческому языкознанию: Памяти профессора Г. А. Хабургаева. [Москва]: «Изд-во Московского ун-та», 1993. — 207 с. <Совм. с М. Н. Шевелевой>.

351. «Давнопрошедшее» и «второй родительный» в русском языке. — Исследования по славянскому историческому языкознанию: Памяти профессора Г. А. Хабургаева. Отв. ред. Б. А. Успенский, М. Н. Шевелева. [Москва]: «Изд-во Московского ун-та», 1993. — С. 118–134.
352. On the Parts of Speech Typology in Hausa: The Problem of the Adjective. — *St. Petersburg Journal of African Studies*, № 1. St. Petersburg, 1993. — P. 41–59. <Совм. с Г. П. Коршуновой>. Перевод на англ. яз. № 29.
353. Солярно-лунарная символика в облике русского храма. — *Christianity and the Eastern Slavs*, vol. I. Slavic Cultures in the Middle Ages. Edited by B. Gasparov and O. Raevsky-Hughes. Berkeley — Los Angeles — Oxford: «University of California Press», [1993] (=California Slavic Studies, vol. 16/[1]). — P. 241–251.
354. Rola modeli dualnych w dynamice kultury rosyjskiej (do końca XVIII w.). — *Semiotyka dziejów Rosji*. Wybór i przekład B. Żylko. [Łódź]: «Wydawnictwo Łódzkie», [1993]. — S. 17–61. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на польск. яз. работы № 179.
355. «Odszczerpienie» i «odszczenieństwo» jako pozycje społeczno-psychologiczne w kulturze rosyjskiej — na materiale z epoki przedpiotrowej («Swoje» i «obce» w historii kultury rosyjskiej). — *Semiotyka dziejów Rosji*. Wybór i przekład B. Żylko. [Łódź]: «Wydawnictwo Łódzkie», [1993]. — S. 62–77. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Перевод на польск. яз. работы № 226.
356. Dualistyczny charakter średniowiecznej kultury rosyjskiej (na przykładzie «Wyprawy za trzy morza» Afanasija Nikitina). — *Semiotyka dziejów Rosji*. Wybór i przekład B. Żylko. [Łódź]: «Wydawnictwo Łódzkie», [1993]. — S. 78–82. Перевод на польск. яз. 2-й части работы № 191.
357. W kwestii symboliki czasu u Słowian: «czyste» i «nieczyste» dni tygodnia. — *Semiotyka dziejów Rosji*. Wybór i przekład B. Żylko. [Łódź]: «Wydawnictwo Łódzkie», [1993]. — S. 83–88. Перевод на польск. яз. работы № 229.
358. Pogłosy koncepcji «Moskwa — Trzeci Rzym» w ideologii Piotra Pierwszego (W sprawie tradycji średniowiecznej w kulturze baroku). — *Semiotyka dziejów Rosji*. Wybór i przekład B. Żylko. [Łódź]: «Wydawnictwo Łódzkie», [1993]. — S. 158–177. Перевод на польск. яз. работы № 228.
359. Historia sub specie semioticae. — *Semiotyka dziejów Rosji*. Wybór i przekład B. Żylko. [Łódź]: «Wydawnictwo Łódzkie», [1993]. — S. 178–188. Перевод на польск. яз. работы № 119.
360. «Заветные сказки» А. Н. Афанасьева. — От мифа к литературе: Сборник в честь семидесятилетия Елеазара Моисеевича Мелетинского. Москва: [Изд-во «Российский Университет»], 1993. — С. 117–138.
361. The Schism and Cultural Conflict in the Seventeenth Century. — «Seeking God: The Recovery of Religious Identity in Orthodox Russia,

- Ukraine and Georgia», ed. by S. K. Batalden. Northern Illinois University Press, 1993 (p. 106–143). Перевод на англ. яз. работы № 341 (сокращенная версия).
362. Отзвуки концепции «Москва — Третий Рим» в идеологии Петра Первого (К проблеме средневековой традиции в культуре барокко). — Ю. М. Лотман. Избранные статьи в трех томах, т. III. Статьи по истории русской литературы, Теория и семиотика других искусств, Механизмы культуры, Мелкие заметки. Таллинн: «Александра», 1992. — С. 201–212. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Переиздание работы № 228.
363. О семиотическом механизме культуры. — Ю. М. Лотман. Избранные статьи в трех томах, т. III. Статьи по истории русской литературы, Теория и семиотика других искусств, Механизмы культуры, Мелкие заметки. Таллинн: «Александра», 1992. — С. 326–344. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Переиздание работы № 79.
364. Условность в искусстве. — Ю. М. Лотман. Избранные статьи в трех томах, т. III. Статьи по истории русской литературы, Теория и семиотика других искусств, Механизмы культуры, Мелкие заметки. Таллинн: «Александра», 1992. — С. 376–379. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Переиздание работы № 73.
365. Условность в искусстве. — *Радуга*, 1992, № 5. — С. 42–44. <Совм. с Ю. М. Лотманом>. Переиздание работы № 73.
366. La Historia y la Semiótica (La percepción del tiempo como problema semiótico). — *Discurso: Revista Internacional de Semiótica y Teoría Literaria*, número 8. 1993 (Iuri M. Lotman y la Escuela Semiótica de Tartu-Moscú, Treinta años después. Edición de M. Cáceres Sánchez (con la colaboración de R. Guzmán y J. Talvet). — P. 46–89. Перевод на исп. яз. работ №№ 299 и 310.
- 1994
367. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI — начало XIX века). Москва: «Гнозис», 1994.
368. К проблеме генезиса тартуско-московской семиотической школы. — Ю. М. Лотман и тартуско-московская школа. Москва: «Гнозис», 1994. — С. 265–278. Переиздание работы № 284.

Принятые сокращения

Наименования учреждений

БАН	— Библиотека Академии Наук
ГПБ	— Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина
ИРЛИ	— Институт русской литературы Российской академии наук (Пушкинский Дом)
РГАДА	— Российский государственный архив древних актов
РГБ	— Российская государственная библиотека
ЦГАЛИ	— Центральный государственный архив литературных источников

Наименование изданий

ВЯ	— Вопросы языкознания
ЖМНП	— Журнал Министерства народного просвещения
Изв. АН СССР	— Известия Академии наук СССР
ИОРЯС	— Известия Отделения русского языка и словесности имп. Академии наук
ОЛЯ	— Отделение литературы и языка
РБС	— Русский биографический словарь
РИБ	— Русская историческая библиотека
РФВ	— Русский филологический вестник
Сб. ОРЯС	— Сборник Отделения русского языка и словесности Академии Наук
Сб. РИО	— Сборник Русского исторического общества
ТОДРЛ	— Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом)
УЗ ЛГУ	— Ученые Записки Ленинградского государственного университета
УЗ ЛГПИ	— Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института
УЗ МГУ	— Ученые записки Московского государственного университета
УЗ МОПИ	— Ученые записки Московского областного педагогического института

Принятые сокращения

663

УЗ ТГУ	— Ученые Записки Тартуского государственного университета
ЧОИДР	— Чтения в Обществе истории и древностей российских при имп. Московском университете
IJSLP	— International Journal of Slavic Linguistics and Poetics
RL	— Russian Linguistics
ZFSPH	— Zeitschrift für Slavische Philologie

- Аввакум, протопоп 11–13, 21–22, 36–37, 44, 48, 78, 118
 Авель 50
 Аверьянова А. П. 214, 223–224, 238, 495
 Авраамий, старец 10, 21, 37
 Агреева-Славянская О. Х. 81
 Адальберг-Крыжановский И. 91, 94, 96, 106
 Адам 23, 49–50, 115, 117
 Адодуров В. Е. 232–233, 278–279, 303, 305, 339, 365, 382, 390, 441
 Адрианова-Перетц В. П. 31, 71, 75, 145
 Азадовский М. К. 141, 451
 Азарьин Симон см. Симон Азарьин
 Аксаков С. Т. 359, 413, 427
 Аксакова-Сиверс Т. А. 193
 Алди Александр см. Александр Алди
 Александр I 198, 200, 334–335, 341–344, 355, 359, 403, 407, 422–423, 441, 505, 520
 Александр Алди, господарь 63
 Александрийский Афанасий см. Афанасий Александрийский
 Александровский И. Т. 348
 Алексеев М. П. 126, 492
 Алексеев П. А. 218, 235
 Алексеев-Попов В. С. 405
 Алексей Михайлович, царь 11, 17, 37, 58, 119, 132, 135, 146, 166, 186, 403, 527
 Алексей Петрович, царевич 406
 Алексий, митр. 415
 Алмазов А. И. 30, 38, 46, 70
 Альтшуллер М. Г. 411, 416, 419, 546
 Амартол Георгий см. Георгий Амартол
 Амбургер Е. 158
 Амвросий Яковлев-Орлин, архиеп. 169
 Амфитеатров Филарет см. Филарет Амфитеатров
 Ананич (Ананевич) Корней, торговый человек 179
 Анастасевич В. Г. 429, 437–438, 554
 Андрей Денисов 46
 Андрей Царьградский 49
 Анин, св. 115
 Анкундинов Тимошка 157
 Анохин А. В. 106
 Антонова В. И. 72
 Антонович Иоанн см. Иоанн Антонович
 Антоновский М. И. 409
 Анубис 105
 Аполлон 119
 Аполлос Байбаков 208–209, 214, 217–218, 223, 542, 544
 Арзуманова М. А. 529
 Аристотель 7, 9–10, 253, 266, 450
 Аристофан 311
 Арним Б. фон 117
 Арсений, иеромонах 46
 Арсений Глухой 46
 Арсений Грек 21
 Арсений Элассонский 22
 Арсений Мацеевич 115, 153, 191
 Артемида 119
 Артемий, старец 9
 Архангельский А. С. 20, 22
 Архилох 326
 Архипов А. А. 311
 Асклепий 126
 Аути Р. 415
 Афанасий, митр. 10
 Афанасий Александрийский 13
 Афанасьев А. Н. 54, 61, 70–72, 82, 83, 104–107, 113, 116–117, 127, 129–147, 275, 284, 286, 458
 Ашукин Н. С. 434
 Бабкин А. М. 517
 Бабкин Д. С. 22
 Багрянский М. И. 463, 547
 Бадаланова Ф. К. 111, 144
 Байбаков Аполлос см. Аполлос Байбаков
 Балов А. 143
 Бараг Л. Г. 142
 Барков И. С. 240, 312, 384, 443
 Баррис Е. Е. 105–106, 119, 125, 127–128
 Барсков Я. С. 37, 463, 547
 Барсов А. А. 110, 196–197, 208, 215, 218, 221–224, 228–229, 232–233, 307, 511–512, 542
 Барсуков Н. П. 408
 Баргенов П. И. 44, 415
 Бархударов С. Г. 161, 492
 Батеньков Г. С. 436, 438, 455, 554
 Батурич П. С. 510
 Батюшков К. Н. 341, 354, 375, 378, 405, 412, 419, 427–430, 432–436, 438, 440–441, 447, 453, 463–464, 493, 518, 521–522, 533, 536–537, 548, 552
 Бахтин Н. И. 400, 427, 455
 Баялиева Т. Д. 122
 Башмакова Акилина 68
 Безбородко А. А. 187
 Бейер Г. 121, 127
 Белецкий-Носенко П. П. 187
 Белинский В. Г. 143, 350
 Белоброва О. А. 22
 Белокуров С. А. 35, 159, 191, 234
 Белоруссов И. М. 510
 Бельский И. Д. 177–179
 Белый А. (Б. Н. Бугаев) 260, 507
 Бенсон М. 189–191, 193
 Беньян Дж. 347
 Берков П. Н. 185, 193, 233, 241, 306–307, 311, 315, 323–324, 417, 426, 443, 446–447, 456, 461–464, 495–496, 498, 502, 504, 506, 509–510, 516–517, 519, 523, 534, 547, 550, 553
 Берх В. 203
 Берында Памва см. Памва Берында
 Бессонов Н. 57, 61, 66–67, 78–81, 84, 111–112
 Бестужев-Марлинский А. А. 382, 388–389, 394–395, 430, 432, 439, 447, 450, 456, 458, 505, 517, 519, 530
 Бешевлиев Б. 117
 Билярский П. С. 430
 Бирев Исаак см. Исаак Бирев
 Биржакова Е. Э. 200, 420, 462, 493, 500, 506, 508–509, 512–513, 517–518, 535, 542, 551
 Бицилли П. М. 161, 203, 499
 Благово Д. Д. 184–186
 Блаженный Василий см. Василий Блаженный
 Блок А. А. 247, 266, 507
 Блок Г. П. 310
 Блудов Д. Н. 381, 408, 439
 Блумфильд М. 104
 Бобринские, графы 168
 Бобринский А. Г. 168, 187
 Бобров Е. 464
 Бобров С. С. 333, 345–555 passim
 Богаевский Б. Л. 57, 71
 Богатырев П. Г. 61, 63, 91, 121, 144
 Богдан И. 63, 86, 125
 Богдан Хмельницкий, гетман 162, 179, 198
 Богданович А. Е. 69

Богданович И. Ф. 496
 Богданович Самойло, посол 179
 Богораз В. Г. 126
 Богородицкий В. А. 227
 Богослов Иоанн см. Иоанн Бого-
 слов
 Бодуэн де Куртенэ И. А. 53
 Бодянский О. М. 44
 Бойс М. 121
 Бокаччо Дж. 133
 Болонев Ф. Ф. 70
 Болотов А. Т. 423-424
 Болтин И. Н. 462
 Болховитинов Евгений см. Евге-
 ний Болховитинов
 Бондаренко В. Н. 56
 Бонне Ш. 426
 Боратынский Е. А. 450
 Борисов И. А. 421
 Борн И. 411
 Бородин А. В. 203
 Бороздин А. К. 21, 37
 Ботинковский Евфимий см. Евфи-
 мий Ботинковский
 Боуринг Дж. 450
 Браиловский С. 22
 Брандт Р. Ф. 120, 160, 219, 222
 Брандт Я. И. 319
 Браун Т. 105-106
 Брежинский А. П. 387, 440, 546
 Бродзинский К. 451
 Брусилов Н. П. 350-351, 410, 447,
 458, 464, 497, 513, 517, 523,
 528, 550
 Брюкнер А. 64, 86
 Буало Н. 287, 292, 311, 318, 323,
 448
 Бубнов Н. Ю. 21-22
 Будда 337
 Будде Е. Ф. 427, 436
 Будиллович А. С. 223-224, 228, 233
 Будный Симон см. Симон Будный
 Булаховский Л. А. 227, 403, 524
 Булгарин Ф. В. 439

Булич С. К. 189, 213, 403, 430
 Бурлюк Д. 245
 Буслаев Ф. И. 38, 106, 499, 507,
 511
 Буссов Конрад 125
 Бутырский Н. И. 540
 Бухарский А. И. 514
 Быков К. М. 193
 Быстрова Е. А. 550
 Быстронь Я. Ст. 186, 198
 Бэклунд А. 198
 Бялькевич Г. К. 100

Вайан А. 50
 Вакарельски Х. 97
 Варенцов В. 79-81, 112
 Варлаам Коссовский, еп. 152
 Василий, свящ. 20, 22
 Василий III Иоаннович, вл.кн.
 156, 194
 Василий Блаженный 462
 Василий Великий 13
 Василий Кесарийский 144
 Василий Шуйский, царь 157, 15
 Васильев Сергей 112, 199
 Васильев Третьяк см. Савватий,
 инок
 Васильев Феодосий, старообр. 158
 Васильчиков А. А. 188, 203
 Васильчикова А. И. 204
 Вашингтон Дж. 405
 Вегелин Е. В. 128
 Великий Василий см. Василий Ве-
 ликий
 Великий Григорий см. Григорий
 Великий
 Велькер Ф. Ж. 100
 Вельсин С. 227
 Вельшев-Волынцев Д. И. 537
 Венгероу С. А. 409, 502
 Венелин Ю. И. 429, 520
 Веселитский В. В. 417, 444, 453,
 501, 503, 509-510, 513, 518-
 519, 529, 537, 551

Веселовский А. Н. 106, 122, 125
 Веселовский С. Б. 202
 Вигель Ф. Ф. 394, 432, 437-438,
 446-447, 450, 454, 457, 459,
 463, 546
 Вильман-Грабовская Х. 117, 121-
 122
 Виндегрэн Ж. 122
 Виноградов В. В. 21, 160, 220, 299,
 326, 403, 410, 415, 417, 423,
 429-430, 432, 438, 440, 447,
 452, 454, 457-459, 464-465,
 499, 501, 503, 507, 511, 513,
 515, 517-523, 533, 537, 543,
 554
 Виноградов Г. С. 72, 144
 Виноградов Н. 47
 Винокур Г. О. 207, 415, 426, 530,
 541
 Витовт, кн. 93
 Вишенский Иоанн см. Иоанн Ви-
 шенский
 Владимир, кн., св. 47
 Владимирский-Буданов М. 202
 Владышевская Т. Ф. 19, 41
 Воейков А. Ф. 378, 399, 409, 436,
 464, 510, 532
 Вожега К. Ф. де 297
 Войнова Л. А. 200, 420, 493, 500,
 508-509, 512-513, 517-518,
 535, 542, 551
 Волконские, кн. 204
 Волчков С. С. 325
 Вольперт Л. И. 492
 Вольтер Ф.-М. 415, 492-493, 508,
 526
 Вольтнер М. 158
 Волинский А. П. 524
 Воинин, шут 43
 Вомперский В. П. 279, 303, 310
 Ворд Д. 116
 Воронихин А. Н. 411
 Воронков Н. 192
 Воронов Д. 457

Воронцов С. М. 338
 Воротынский М. И. 177-178, 199
 Востоков А. Х. 19, 346, 428
 Врон Р. 270
 Второв Н. И. 464
 Вяземский А. А. 465
 Вяземский П. А. 184-185, 238,
 375, 382, 397, 404, 407-409,
 413, 415, 417, 422-423, 427,
 432, 435, 437, 445, 451, 455,
 459, 462, 465-466, 496-498,
 500, 508, 521, 536, 542
 Вяземский П. П. 200
 Вячеслав, св. 90
 Гавриил Домецкий 115
 Гагарин М. П. 324
 Гагарин П. Г. 531-533
 Гагарины, кн. 204
 Галинковский Я. А. 377, 426, 493,
 500-501, 503, 505, 515, 527-
 528, 537, 547, 550, 554
 Галич А. И. 180
 Гамкрелидзе Т. В. 99, 126, 128
 Гансен-Леве О. 269
 Гансинец Р. 24
 Гварини Дж.-Б. 449
 Гегедюс Й. 160
 Гедемин, вл.кн. 178
 Гейм И. фон 226-227, 235
 Геката 100, 115
 Геллерт Х. 347
 Геннади Г. 411, 463
 Георгий Амартол 50
 Георгий Шавельский 158
 Гераков Г. В. 450, 552
 Герберштейн С. фон 83, 86
 Гердер И.-Г. 345
 Геров Н. 97
 Геронтий, соловецкий казначей
 11, 21
 Герцен А. И. 127, 142, 332
 Герштейн Э. Г. 272
 Гесиод 521

- Гете И.-В. 431
 Гизо Ф. 338, 405
 Гильдебрандт П. 215, 217–218, 221
 Гильфердинг А. Ф. 118, 145
 Гинзбург Л. 451
 Глинка В. С. 404
 Глинка М. И. 520
 Глинка С. Н. 355, 412, 521
 Глинка Ф. Н. 459
 Глухой Арсений см. Арсений Глухой
 Глюк И.-Э. 328
 Гнатюк В. 144
 Гнедич Н. И. 346, 387, 412, 419, 427–428, 430, 432, 434–436, 441, 464, 493, 518, 521
 Гоголь Н. В. 143, 161, 188, 433
 Голенищев-Кутузов П. И. 546
 Голицын А. М. 317
 Голицын Б. В. 413
 Голицын Д. В. 423
 Голицын Н. Н. 184, 204
 Голлидей С. Е. 501
 Голубинский Е. А. 182
 Голубинский Е. Е. 152, 158, 181–182, 202, 204
 Голубинский Ф. А. 182, 202
 Голубцов А. 36, 41
 Гольберг Л. 288, 315, 416
 Гольденвейзер А. Б. 190
 Гомер 118, 313, 419, 431, 521
 Гончаров И. А. 434, 505
 Гончарова Н. С. 240
 Горалек К. 50
 Гораций 386
 Горский А. В. 38
 Грабалова О. 108
 Градова Б. А. 188
 Граннес А. 542
 Грек Арсений см. Арсений Грек
 Грек Максим см. Максим Грек
 Греков Вл. 189
 Гренинг М. 232
 Греч Н. И. 227, 394, 410, 422, 497–498, 500, 524
 Гржибовский Ян 186
 Грибовский А. М. 415
 Грибоедов А. С. 186, 336, 397, 423, 432, 438, 450, 465
 Григорий, старец 132
 Григорий Великий 24
 Григорий Нисский 12
 Григорий Ходкевич, гетман 159, 177–178
 Григорович Д. В. 462
 Григорьев А. А. 130–131, 143, 405
 Гримм, бр. 129
 Гримм Я. 122
 Гринблат М. Я. 74, 82, 90–91, 94, 96, 100, 107–109, 113
 Гринченко Б. 89–90, 93, 106, 113, 116
 Грозный Иоанн см. Иоанн Грозный
 Громыко М. М. 71
 Грот Я. К. 47, 541
 Гроций Г. 405
 Группе О. 104–105, 126
 Грушевский А. С. 28
 Губернатис А. де 105, 107, 124
 Гуковский Г. А. 282, 306, 311, 405, 435, 451, 459, 530, 542
 Гумилевский Моисей см. Моисей Гумилевский
 Гусев В. Е. 143
 Густавич Б. 106, 113
 Гюнтер И.-Х. 521
 Давыдов З. 439
 Даль В. В. 53, 76, 82, 85, 88–89, 92–94, 106–107, 111, 116, 119–120–121, 129, 141–142, 147, 160, 184, 194–195, 198, 216, 219, 224, 433, 496
 Дамаскин Иоанн см. Иоанн Дамаскин
 Дамаскин Прилуцкий, монах 152

- Дамиан Петр см. Петр Дамиан
 Даниил, митр. 59
 Даниил Заточник 7, 107
 Данилевский А. С. 536
 Данилов Кирша см. Кирша Данилов
 Данте А. 250–251, 259, 262–263, 266, 270–272
 Дарвин Ч. 336
 Дашков Д. В. 47, 344, 378, 408, 418–419, 422, 439–440, 493, 425, 433, 508, 539
 Дашкова Е. Р. 193
 Дашковы, кн. 193
 Делерт Д. 159
 Деметра 100
 Демкова Н. С. 21, 40, 45
 Демо О. 108
 Денисов Андрей см. Андрей Денисов
 Дергам В. 414
 Державин Г. Р. 183, 200, 203, 354, 401, 407–408, 411, 428, 436–437, 443, 449, 504, 510, 529, 543–544
 Державин И. С. 183, 203
 Державина Е. Я. 525
 Дерунов С. 143
 Дерюгин А. А. 329
 де-Сенглен Я. И. 520
 Десницкий В. 413, 436
 Джемс Ричард 74, 121, 218, 311
 Джоунз Д. 233
 Дикарев М. А. 146
 Дионисий, патр. 120
 Дионисий Зобинский 7
 Дитрих А. 71
 Дмитриев И. И. 348, 368–369, 375, 404, 407–408, 410, 420, 423, 427, 435, 444, 457, 496–500, 503, 510, 517, 525–526, 529–530, 533, 546
 Дмитриев Л. А. 19, 113
 Дмитриев М. А. 200, 451
 Дмитриев-Мамонов М. А. 409
 Дмитрий Ростовский, митр. 35, 180, 507
 Дмитрий Угличский, царевич 156
 Добровольский В. Н. 68, 78, 82, 91, 94
 Дойникович Ларион, посадник 200
 Долгорукий П. П. 359
 Долгоруков И. М. 461
 Долгоруков П. В. 172, 186, 191, 193, 359
 Долгоруков С. И. 434
 Долгоруково И. А. 192
 Долгоруково И. М. 192
 Домецкий Гавриил см. Гавриил Домецкий
 Домникия, старица 20
 Дороватовская В. 240
 Дорофей, поп 159
 Дорошевский В. 87, 94, 113
 Дорошенко Е. А. 121
 Достоевский Ф. М. 55, 72–73, 133, 143, 158, 170, 196, 198, 201, 203, 505
 Драгоманов М. 100, 104, 106
 Драммонд Д. А. 54, 91
 Дрейзин Ф. 116
 Дробленкова Н. Ф. 40
 Дроздов Филарет см. Филарет Дроздов
 Дурново Н. Н. 227
 Дыбо В. А. 193
 Дюшен-Гийемен Ж. 121–122
 Ева 23
 Евгений Болховитинов, митр. 161, 184, 520
 Евдоким, старец 43
 Евфимий Ботинский, свещ. 169
 Евфимий Чудовский 13, 22, 37
 Егин Терешка 75–76
 Екатерина II 115, 153, 168, 175–176, 187–188, 191, 235, 237,

- 311, 318, 325, 334-335, 342, 403-404, 406, 408, 415-416, 418, 420, 440-441, 457-458, 498, 505, 507, 516, 546, 554
- Елагин А. А. 436
Елагин А. П. 436
Елагин И. П. 237, 308, 315-316, 323, 368, 414, 416, 443, 448, 498
- Елеонская Е. Н. 146
Елизавета Алексеевна, имп. 198, 505
Елизавета Петровна, имп. 167, 188, 215, 219-220, 223, 227, 236-237-238, 462
- Ельницкий А. 200
Ельчанинов Б. Е. 318
Емелиан, чернец 152
Емельян Пугачев 335, 403, 406
Епифаний, старец 11-12
Епифаний Премудрый 7
Ергольская Т. А. 190
Ергольские, двор. 185
Ефрем Сирий 10, 12
Ефремов П. А. 129, 141-142
- Жандр А. А. 165, 423, 450
Жанлис Ст.-Ф. 455
Жданович О. 179
Жебелев С. А. 193
Живов В. М. 24, 328
Житецкий И. П. 20, 28
Жихарев С. П. 411, 437, 451-452, 545
- Жмакин В. 59
Жуковская Л. П. 23
Жуковский В. А. 184, 265, 341, 377-378, 411-412, 419, 432-433, 436-437, 439, 465, 499-500, 503, 508, 522, 533, 536, 546
- Завойко Г. К. 62, 143, 147, 195
- Завьялов М. Я. 414
Задонский Тихон см. Тихон Задонский
Зализняк А. А. 193, 492
Замков Н. К. 429
Замкова В. В. 436
Западов В. А. 529
Зарубин Н. Н. 19, 107
Заточник Даниил см. Даниил Заточник
Захаров И. С. 440-441, 545-546
Зеленин Д. К. 41, 46-47, 62, 66, 70-72, 74, 95-96, 109, 113, 127, 139-140, 143-144, 146, 160-162, 192, 233, 462
- Зелинский В. 532
Зельдович М. Г. 455
Зечевич Ц. 144
Зизаний Лаврентий см. Лаврентий Зизаний
Зиновий Отенский 25, 40, 44
Зиновьевы, двор. 179
Златарский В. Н. 117
Златоуст Иоанн см. Иоанн Златоуст
Знаменский П. 106
Зобинский Дионисий см. Дионисий Зобинский
Золоторенко Василь, запорожец 187
- Иаков 219
Иван Алесеевич, царь 194
Иван Грозный см. Иоанн Грозный
Иван Дмитриевич, кн. 199
Иван Наседка 19, 21, 36
Иван Неронов см. Иоанн Неронов
Иван Тимофеев 68
Иван Федоров 23, 198
Иван Федорович, кн. 199
Иваницкий Н. А. 62, 82
Иванов А. И. 22

- Иванов Вяч. Вс. 70, 73, 82, 92-93, 99, 104-106, 109, 115, 121, 126, 128, 245
Иванов Вяч. И. 174, 267
Иванов Ив. 412
Иванов П. 58, 62, 144
Иванова Т. А. 50
Иванчов А. 105
Иезекиль Курцевич, архимандрит 152
Измайлов А. Е. 413, 497, 548
Измайлов В. В. 395, 447
Иисус Христос 8-13, 20-21, 35-36, 62, 67, 337, 506
Иконников В. С. 459
Иларию, иеромонах 46
Иларион, архиеп. 10
Иларион, св. 49
Ильин Н. И. 395
Ильинская И. С. 503
Ильинский Я. 143
Ильминский Н. И. 44, 216, 218
Илья, игумен 36
Иностранцев К. А. 121-122
Иоанн, св. 218
Иоанн III 151
Иоанн V 151
Иоанн Антонович 238
Иоанн Богослов 156
Иоанн Вишенский 8-9, 14-17, 19-24, 28-29, 40-41, 44
Иоанн Грозный 59, 118, 162, 175, 178, 192, 194, 199, 333-334, 406
Иоанн Дамаскин 23
Иоанн Златоуст 12-13, 65
Иоанн Коссаковский 429
Иоанн Креститель 48
Иоанн Неронов 58, 132, 160, 162
Иоанникий, дяк 114
Иосаф I, патр. 58, 132
Иосиф, архиеп. 75
Иосиф, монах 159
Исайа, иеромонах 159
- Исайа, пророк 113
Исаак Бирев 197
Исаченко А. В. 85-87, 269, 419, 519-520
Истомин Карион см. Карион Истомин
Истрия В. М. 50
Ицкович В. А. 193
Йордаль К. 512, 520
- Кавелин Леонид см. Леонид Кавелин
Кагаров Е. Г. 70-71, 104, 126
Казимир Великий 107, 114, 125
Каин 50
Кайперт Г. 328
Кайсаров А. С. 366, 381, 429, 545-546
Калайдович К. Ф. 431
Калайдович П. Ф. 60, 460
Каменев Г. П. 399, 464, 510, 552, 554
Камменхубер А. 117, 121-122
Кантемир А. Д. 188, 352, 365, 417, 440-441, 454, 510, 518-519, 552
Капнист В. В. 371, 373, 425, 430, 432, 436, 455
Каптерев Н. Ф. 22, 58, 143
Каравелов Л. 97, 121
Караджич В. 93-94, 96
Карамзин Н. М. 194, 220, 301, 334, 338, 341, 344-345, 347-355, 357-359, 364, 367-368, 372-373, 378, 382, 387, 390, 392, 394, 399-400, 403, 407-412, 420-423, 426, 429-430, 432, 436, 438, 440, 444-445, 447, 450, 452, 454-456, 461, 463-464, 494-497, 500, 503, 508-517, 519, 522-523, 525-527, 536-537, 542-550, 552-554
Карамзина Е. А. 536
Карей К. 54, 142, 146

Каржавин Ф. В. 215, 218–219, 232
 Карнон Истомир 226
 Карни Ф. Г. 428
 Карлович И. 87, 106, 113
 Карнович Е. П. 170, 186, 187, 190, 193, 195, 197–198, 200, 203
 Карпов А. 160
 Карсавин Л. П. 50
 Касарелли И. 127.
 Касаткин В. И. 142
 Кассиодор 24
 Катенин П. А. 336, 341, 386, 389, 394–395, 397, 400, 427, 431–433, 437, 441, 446, 450, 452, 458, 464–465
 Катулл 326
 Кацаров Г. И. 117
 Каченовский М. Т. 185, 351, 430, 432–433, 458, 521
 Квитка-Основьяненко Г. Ф. 187
 Келлер О. 97, 99–100, 105, 119
 Кельсиев В. 40
 Кессарийский Василий см. Василий Кессарийский
 Кизеветтер А. 413
 Кикин П. А. 413
 Кипарский В. 161, 217, 222, 549
 Кирилл, св. 44, 50
 Кирилл Транквиллион Ставроецкий 36
 Кирилл Туровский 60
 Кирский Феодорит см. Феодорит Кирский
 Кирша Данилов 54
 Клавек А. 158
 Кларк Дж. 430
 Клепиков С. А. 305, 328
 Клиггер В. 83, 91, 104–106, 108, 116–117, 127
 Клопский Михаил см. Михаил Клопский
 Клопшток Ф. 347
 Клушин А. И. 348
 Княжнин Я. Б. 110, 170, 191, 326.

384, 443, 449, 462–463, 494, 517, 523, 543, 547
 Ковалевская Е. Г. 436, 549
 Коготкова Т. С. 438
 Кожанчиков Д. Е. 24–25
 Козельский Ф. Я. 453, 496
 Козельский Я. П. 391, 458
 Козицкий Г. В. 167, 313
 Козлов Иван Петров, служивый человек 159, 179
 Козодавлев О. П. 410, 428
 Колесницкая И. М. 146
 Колесов В. В. 541
 Колобовы, купеч. семья 165
 Кольберг О. 93
 Колычев В. И. 421
 Комаров М. 536
 Комарович В. 533
 Кондаков Н. П. 403
 Кондрат, св. 106
 Констан Бенджамен 435
 Константин Муромский, св. 33
 Константин Костенческий 114
 Константин Павлович, вл.кн. 403
 Константин Философ см. Кирилл, св.
 Конфуций 337
 Коплевич И. Ф. 218, 223, 235
 Копорский С. А. 189, 238
 Копперс В. 97, 105, 126
 Корецкий В. И. 27
 Корсаков П. А. 532
 Корф М. А. 203
 Корш Ф. Е. 211, 222
 Коссаковский Иоанн см. Иоанн Коссаковский
 Коссовский Варлаам см. Варлаам Коссовский
 Костенческий Константин см. Константин Костенческий
 Костомаров Н. И. 184
 Котен, аббат 287, 326
 Котошхин Г. 60
 Котт Ф. Шт. 95

Котуля Ф. 105
 Кохман С. 298, 326, 438
 Кошутя Р. 194
 Крашенинников С. П. 319, 325
 Крейнович Е. А. 105, 116, 126
 Креститель Иоанн см. Иоанн Креститель
 Крестова Л. В. 347, 409, 445
 Кречмар Ф. 97, 104–106, 117, 126–127
 Кривополенова М. Д. 104
 Крижанич Ю. 232, 459, 520
 Криницкий Н. А. 203
 Крылов И. А. 227, 341, 346, 348–349, 358, 401, 405, 411, 419–420, 437–438, 452, 462, 529
 Крымский А. 47
 Кубасов И. А. 548
 Кудрявцев И. М. 21
 Кузеля З. 144
 Кузнецов И. П. 462
 Кузьмина В. Д. 122, 318–319
 Куев Куйо М. 44, 50
 Кулемзин В. М. 105
 Куликовский Г. 47, 108
 Кулишич Ш. 96–97, 116
 Куник А. А. 196, 223, 239, 284, 288, 291–294, 298, 305–306, 308, 310–311, 315–316, 319–321, 323, 325–328, 506, 525, 532, 541, 550
 Курбский А. М. 22
 Курганов Н. Г. 208, 216, 222, 224, 418, 420, 500, 524, 549
 Курцевич Иезекиль см. Иезекиль Курцевич
 Кутина Л. Л. 200, 420, 493, 508–509, 512–513, 517–518, 535, 542, 551
 Кутузов А. М. 347, 358–359, 399, 409, 463, 547
 Кушелев-Безбородко Г. И. 19, 44, 60–61, 68, 94, 98, 104–117
 Кювье Ж. 336

Кюхельбекер В. К. 336, 341, 388–389, 397, 431, 434–435, 438, 440, 450–451, 459–460, 464–465, 530
 Лаврентий Зизаний 37, 494
 Лавровский П. А. 114
 Лагарп Ж.-Ф. 359, 418, 422, 435, 493, 539
 Лазаревский Ал. 187
 Лазарь, поп 37
 Ламарк Ж.-Б. 335
 Ланжерон А. Ф. 359
 Ларин Б. А. 48, 54, 74, 111, 121, 218, 224, 235, 311
 Ласицкий Я. 98
 Лафонтен Ж. де 464, 529
 Лаш Р. 92, 117
 Леандр, еп. 24
 Лебедев А. 203
 Лебедев Н. 195
 Лев V Армянин 117
 Левин В. Д. 344, 403, 405, 408, 410, 418, 420, 423, 426, 430, 436, 438, 440–441, 447, 453–454, 461, 464, 499–500, 505, 514–515, 522–523, 527, 529, 534, 536–537, 548
 Левин Ю. Д. 492
 Левин Ю. И. 266, 271
 Левинтон Г. А. 267, 552
 Леви-Стросс К. 405
 Левкович Я. Л. 497
 Левшин В. 493, 521
 Ледкович Филипп, воевода 200
 Леклерк Н.-Г. 462
 Ленц Я.-М. 362–363, 416, 447
 Леонид Кавелин 49
 Леонтий Магницкий 183, 203
 Лермонтов М. Ю. 406
 Лесков А. Н. 185, 189
 Лесков Н. С. 19, 47, 165, 168, 185–186, 189, 192, 202, 233, 504, 536

Лессинг Г.-Э. 531
 Лжедмитрий 119, 151
 Либрехт Ф. 97
 Лилеев М. И. 61, 66, 111
 Лифшиц Л. Я. 455
 Лихачев Д. С. 19, 49, 462
 Лихачев Н. П. 162
 Лихачева О. П. 113
 Лихуды, бр. 13
 Лобанов-Ростовский А. Б. 186, 200
 Ловягин А. М. 75
 Логин Корова, справщик 9, 21
 Ломоносов М. В. 197, 207, 207-241, 275-276, 279-283, 285, 287-288, 293, 296, 303-308, 310-316, 319, 321-322, 324-325, 327, 329, 347, 350, 352-354, 365, 371, 373-374, 396, 416, 421, 424, 428, 430, 440, 442-443, 447-450, 458, 461, 508, 512, 518-519, 521, 530, 543, 552-554
 Лонгинов М. Н. 316
 Лопарев Х. 145-146
 Лопухин И. А. 151
 Лось И. 195-196
 Лотман Ю. М. 159, 184-185, 267, 331, 403-405, 408, 417, 420, 429, 436, 439, 464, 539, 546
 Лудольф Г.-В. 27, 328
 Лука, св. 216, 218, 220-221
 Лукан 531
 Лукин В. И. 318, 496, 524
 Лукина Н. В. 105-107, 115, 117, 122, 127
 Лукомский Г. К. 198
 Луркер М. 105, 126-127
 Львов Д. М. 68, 98
 Львов Н. А. 387, 449, 455, 463, 527
 Львов П. Ю. 423-424, 552
 Любимов С. В. 191
 Люблинский В. Ф. 493
 Ляпунов Б. М. 160

Магницкий Леонтий см. Леонтий
 Магницкий
 Магницкий М. Л. 344, 404, 409
 Мазаев М. 409, 414, 517
 Мазунин А. И. 74
 Майков П. 187, 189
 Макаренко А. 70
 Макаров М. Н. 76, 82, 457, 546
 Макаров П. И. 331, 345-555
 passim
 Макеева В. Н. 235, 425
 Максим Грек 25, 28, 37, 44
 Максимов Е. Н. 104
 Максимов С. В. 62, 73, 83, 108, 143
 Максимов Ф. 159, 180
 Малерб Ф. 521
 Малинин В. 19
 Малинка А. И. 121
 Мальцева И. М. 501, 504, 549
 Малюта 118
 Манассевич Д. 221-222
 Мандельштам Е. Э. 270
 Мандельштам Н. Я. 257, 265, 267, 270-271
 Мандельштам О. Э. 246-272
 Мансветов И. 95
 Манхардт В. 98
 Маньков А. Г. 119
 Мареш В. Ф. 29
 Марин С. Н. 495, 546
 Марина Мнишек 151
 Маринкович Р. 63
 Маринов Д. 97
 Мария, дева 65-84, 111, 114
 Мария Александровна, имп. 422
 Марлинский А. А. см. Бестужев-Марлинский А. А.
 Марк, св. 92, 219
 Марков А. В. 29, 60, 66, 68-69, 73, 77-78, 87-88, 111, 114
 Марков Вл. 245
 Маро К. 443
 Мартин Чехович 22

Мартынов И. И. 346, 348, 499-500, 508, 537
 Масса Исаак 311
 Массон К. 404
 Матфей, св. 92, 215, 220, 224
 Матьесен Р. 38-39, 44
 Мацевич Арсений см. Арсений Мацевич
 Маяковский В. В. 270
 Маяченко Иванька, креп. 187
 Медведев Сильвестр см. Сильвестр Медведев
 Мейлах Б. С. 539
 Мейер А. 416, 429, 443
 Мелетий Смотрицкий 15, 17, 24, 429, 503
 Мельников П. И. (Андрей Печерский) 72, 127, 170, 191, 201
 Мемье Ж. де 391, 454
 Мерзляков А. Ф. 346, 353, 412, 423-424, 493, 521, 534
 Мериме П. 401
 Местр Жозеф де 343
 Мещерский Н. А. 114
 Миладинов Дм. 105
 Миладинов К. 105
 Милейковская Г. М. 195
 Милетич Л. 63, 86, 125
 Миллер В. Н. 104-105, 116-117, 122, 125
 Миллер Г. Ф. 209, 219, 231, 236, 275, 294, 297, 301, 305, 309, 328, 506
 Миллер П. Н. 200
 Милонов М. В. 193, 437, 508, 546
 Милославские, кн. 166
 Мильтон Дж. 347
 Минь Ж. П. 24
 Мирабо О.-Г. 356
 Миркович Г. 22
 Миропольский С. И. 161, 197
 Мисюрь-Мунехин М. Г., дьяк 7
 Михаил Клопский 7

Михаил Павлович, вл.кн. 334, 403
 Михаил Федорович, царь 151, 175
 Михайловский Н. К. 190
 Михайловский-Данилевский А. И. 169, 190
 Михалков С. А. 174, 193
 Михельсон М. И. 94, 108-109, 116
 Мнева Н. Е. 72
 Мнишек Марина см. Марина Мнишек
 Могила Петр см. Петр Могила
 Модзалевский Л. Б. 282, 310, 315, 323
 Моисеева Г. Н. 209, 308, 315, 443
 Моисей Гумилевский 429, 494, 550
 Мокошь 73, 100
 Молотков А. И. 501, 504, 549
 Мольер Ж.-Б. 287, 313, 326, 421, 497
 Монастырев Мусорга Р. В. 191
 Монтень М. де 443
 Мордвинов Н. С. 338
 Мордовченко Н. И. 403, 410, 430, 445, 450-452, 458
 Морохова Л. Ф. 21
 Москотильников С. А. 464, 510, 552
 Мочульский В. 66
 Мошинский К. 72, 75, 96, 106, 116, 120, 126
 Мстиславский И. Ф. 177-178
 Мункачи Б. 107
 Муравьев М. Н. 354, 411, 420, 429, 438, 508, 515, 522-523, 537, 548, 550
 Муравьев-Апостол И. М. 454
 Муромский Константин см. Константин Муромский
 Мусин-Пушкин И. А. 440
 Мусоргский М. П. 190-191
 Мухановы, двор. 185
 Мышецкий А. Д. 201
 Мышецкий С. Д. 201

- Наполеон Бонапарт 331, 343, 355, 358
 Нарезный В. Т. 346
 Наседка Иван см. Иван Наседка
 Невахович Л. Н. 348
 Невзоров М. И. 409
 Невоструев К. И. 38
 Нелединский-Мелецкий Ю. А. 531
 Неронов Иоанн см. Иоанн Неронов
 Неустроев А. Н. 309
 Нефедов Ф. А. 146
 Никифоров А. И. 56, 97-98, 143, 145
 Никифоровский Н. Е. 89, 91, 96
 Николаева Т. В. 162
 Николай I 200, 335, 403
 Николай Михайлович, вл.кн. 413
 Николай Спафарий 22
 Николев Н. П. 428, 457, 461, 494, 502, 516, 529, 534, 541
 Никольский А. И. 68
 Никольский К. 38, 41, 95, 119-120, 160
 Никон, патр. 9-10, 13, 36-37, 78, 95, 119-120
 Никонов В. А. 157
 Нисский Григорий см. Григорий Нисский
 Новиков Н. В. 142
 Новиков Н. И. 193, 347-348, 363, 386, 409, 414, 417-418, 458, 465, 495, 504, 537
 Новосельцев В. Д. 164-165, 184-185
 Новосильцев Н. Н. 407
 Ной 50
 Номис М. 82, 91, 94, 96, 109, 117, 125, 27
 Нордстет И. 511
 Носович И. И. 93, 107
 Оболенинский В. А. 195-196
 Оболянинов П. Х. 408
 Обрамович Павел, посол 179
 Обрезков М. А. 460
 Овидий 323
 Овцын Андрей, кн. 171
 Огарев Н. П. 184
 Огнев В. 38
 Огиенко И. И. 194
 Огиенко Павел, сотник 187
 Одоевский В. Ф. 55, 452, 511
 Озеров В. А. 227, 507, 540, 542
 Окунь С. Б. 412
 Олеарий А. 41, 58, 65, 75, 83, 85, 119, 125, 130, 142, 161-162
 Оленин П. А. 525
 Ольгерд, кн. 93
 Омортаг, князь 117
 Онучков Н. Е. 62
 Орлов А. И. 215, 222, 240
 Орлов А. С. 68, 111, 236, 438, 458, 554
 Орлов В. 505
 Орлов Г. Г. 168, 187, 235
 Орт Ф. 119
 Оссиан 515
 Остафей Дворянинец, посадник 90
 Острожский К. К. 156
 Отенский Зиновий см. Зиновий Отенский
 Павел, апостол 10, 12, 20, 158, 320
 Павел I 190, 334-335, 338, 342, 354, 397, 410, 499, 507
 Павлова Г. Е. 234
 Павский Г. П. 182, 429
 Падхье К. А. 128
 Палеолог Софья см. Софья Палеолог
 Палицын А. А. 434, 463, 523, 528
 Памва Берында 226
 Панаев В. И. 497
 Пантелич Н. 96-97, 116

- Панченко А. М. 22, 49, 120, 462
 Параскева Пятница 73, 100
 Пекарский П. П. 47, 234, 275, 279, 281-283, 288-289, 292-294, 303-305, 309-310, 312-317, 320-323, 325, 415, 424, 426, 443, 453, 506, 516, 541, 550
 Пеннингтон А. 303
 Перетц В. Н. 22, 83, 98, 313, 529
 Перкинс Ж. 54, 91
 Пермский Стефан см. Стефан Пермский
 Перун 61, 103
 Пестель П. И. 341, 459
 Петр, митр. 60, 94
 Петр I 43, 151, 175, 194, 324, 333-335, 341, 382, 406, 518
 Петр III 237, 462
 Петр Дамиан 23
 Петр Могила 38
 Петр Поспелов, свящ. 183
 Петр Скарга 27-28
 Петрей де Ерлезунда П. 119
 Петров А. А. 418, 508, 526-527, 544, 549
 Петров В. П. 183
 Петрова З. М. 414, 501, 504, 549
 Петрович П. Ж. 96-97, 116
 Петрово П. Ф. 192
 Петроний 127
 Петухов Е. 38, 46, 66, 109
 Печерский Феодосий см. Феодосий Печерский
 Пиндар 431, 442, 521, 546, 549
 Писарев Д. И. 337
 Писемский А. Ф. 462
 Питирим, архиеп. 46
 Питирим, архимандрит 48
 Питре Ж. 146
 Пифагор 306
 Плаксин В. Т. 461, 464
 Платон 7, 9-10, 117
 Платон Фивейский, архиерей 182
 Плетершник М. 93-94, 106, 113
 Плетнев П. А. 504, 536
 Плещеев М. И. 418
 Плутарх 325
 Пнин И. П. 346
 Погодин М. Н. 59
 Подвысоцкий А. 61, 88
 Поджио-Браччолини Дж.-Ф. 133
 Подшивалов В. С. 388, 421, 450, 494, 527, 538
 Покровский В. И. 404, 494-495, 498, 507, 513, 516, 553
 Покровский К. 413
 Покровский М. А. 127
 Покровский Н. Н. 61, 197
 Полевой К. А. 412
 Полевой Н. А. 413, 430-431, 450, 457, 496-497, 511
 Поливка Й. 98
 Поликарпов Ф. 24, 39, 159, 180, 225-226, 237, 382, 440
 Полосин И. И. 120
 Полоцкий Симеон см. Симеон Полоцкий
 Полтев Семен, стряпчий 175
 Померанцева Э. В. 62
 Помяловский Н. Г. 337
 Попов В. М. 429
 Попов И. В. 515
 Попов М. В. 319, 325, 423, 429
 Попов М. И. 368, 373, 523
 Попов М. С. 191
 Поповский Н. Н. 308, 315
 Попугаев В. В. 346
 Порошин С. А. 410, 507
 Порфирьев И. Я. 113
 Посошков И. Т. 64-65, 118, 161
 Поспелов Петр см. Петр Поспелов
 Потанин Гр. 56, 110
 Потенба А. А. 71, 88, 91, 93-94, 115-116, 122
 Пэтемкин Спиридон см. Спиридон Потемкин
 Премудрый Елифаний см. Елифаний Премудрый

- Пристли Т. 116, 127
 Пришвин М. М. 201
 Продолжатель Феофана см. Феофана
 Продолжатель Феофана см. Феофана
 Прозоровский А. 159, 191
 Прокопович Феофан см. Феофан Прокопович
 Прокопович-Антоновский А. А. 430
 Пропп В. Я. 71, 104, 107, 126, 406
 Протасьева Т. Н. 38
 Пташицкий С. Л. 200
 Пугачев Емельян см. Емельян Пугачев
 Пушкин А. С. 54, 127, 158, 164, 184, 227-228, 240, 246, 268, 334, 341, 382, 387, 389, 401-403, 406, 409, 412, 416, 431-432, 438, 445-447, 450, 452, 456-457, 461, 464-466, 494, 499, 504-506, 530, 533, 536, 538-539, 542, 553
 Пушкин В. Л. 193, 378, 399, 419, 427, 432, 457, 463, 496, 521, 533, 539
 Пушин И. И. 457
 Пыпин А. Н. 409
 Пяст В. (В. А. Пестовский) 174, 194
 Рабле Ф. 443
 Раденкович Л. 96, 106, 108
 Радищев А. Н. 220, 236, 346-348, 435, 459, 554
 Радонежский Сергей см. Сергей Радонежский
 Разин Степан см. Степан Разин
 Разоренова А. В. 294, 297, 506
 Разумовские, графы 167, 187-188
 Разумовский А. Г. 167, 187-188, 299
 Разумовский В. И. 188
 Разумовский П. И. 188
 Раич С. Е. 180, 200
 Райс Дж. Л. 54
 Рапен П. 323
 Рапопорт Ю. А. 117, 121-122
 Расин Ж.-Б. 292, 459, 506, 530
 Резанов В. И. 288
 Рейсер С. А. 408
 Ржевский А. А. 428, 442
 Ржига В. Ф. 79-80, 112
 Римские-Корсаковы, кн. 166
 Римский-Корсаков А. Н. 190
 Римский-Корсаков Н. А. 190
 Ричардсон С. 423-424
 Робеспьер М. 355
 Родде И. 227
 Роде Е. 100
 Родосский А. 66, 78, 87, 111
 Рожинские, дв. 188
 Розанов И. Н. 347
 Розов Н. Н. 162
 Розум, казак 167
 Романов Е. Р. 91, 98, 104, 112, 114-115, 121
 Романовы, царская династия 158, 403
 Ромодановские (Стародубские), кн. 186
 Рождественский Н. В. 58, 60, 143
 Ронен О. 267-268, 270-271
 Россет А. О. 240
 Ростовский Дмитрий см. Дмитрий Ростовский
 Ростоппин Ф. А. 358, 408, 413
 Роте Г. 19
 Ртищев Ф. М. 12-13, 21
 Рудаков С. Б. 271
 Рулин П. И. 288, 324
 Руссо Ж.-Ж. 336-337, 338, 345, 353, 405
 Рыбаков Б. А. 72
 Рыбников П. Н. 70, 145
 Рыков Иван 24
 Рылеев К. Ф. 184, 341, 386, 457
 Рюрик, кн. 177-178, 186
 Рюриковичи, кн. 177

- Савватий (Третьяк Васильев), инок 11, 17-18, 112, 199
 Савелий Кириллов, дьякон 183
 Савинов В. 165, 185
 Савинов М. П. 41
 Савич Семен, посол 179
 Садовников Д. Н. 42, 126
 Садовской Б. А. 168
 Саитов В. И. 185, 203, 463
 Сакулин П. Н. 55, 452
 Салтыков А. Ф. 151
 Салтыков-Щедрин М. Е. 166, 186
 Салтыкова Д. Н. 191
 Самборский А. А. 189
 Самойлович, гетман 179
 Сампсон, чернец 152
 Сандунов Н. Н. 346
 Сартори П. 144
 Свенцицкий И. 144
 Свербеев Д. Н. 185
 Светов В. П. 533, 542
 Свинын П. П. 457, 500
 Свирелин А. И. 160, 162
 Северина А. Г. 498
 Сегюр Ж. А. де 554
 Селивановский С. А. 515
 Селищев А. М. 38, 156, 159, 161, 192, 200-201
 Семенников В. П. 409, 554
 Семенов В. 114
 Семигиновский М. 222
 Сенека 329
 Сенковский О. И. 408, 543
 Серапион, архиеп. 58, 142
 Сергеев В. Н. 19
 Сергеев-Ценский С. Н. 202
 Сергей (Василевский) 200
 Сергей Радонежский 415
 Сержпутовский А. К. 82, 87, 95
 Серебрянский Н. 34
 Серман И. З. 240, 411, 417, 496
 Сечихин И. 317
 Сигизмунд II Август, король 177-178
 Сидорова Л. П. 507, 540, 545
 Сильвестр Медведев 22, 152, 171
 Симеон, архим. 37
 Симеон Полоцкий 22, 37, 425
 Симина Г. Я. 161, 201
 Симон, волхв 89
 Симон Азарьин 7, 19, 21
 Симон Будный 9
 Симон Ушаков, иконописец 156
 Симоны П. К. 34, 44, 142
 Симунс Ф. Ж. 128
 Сиповский В. В. 454, 494, 516-517, 523, 536, 547
 Сири Ефрем см. Ефрем Сирийский
 Сиромаха В. Г. 38
 Сисой Шмигельский, монах 152
 Скарга Петр см. Петр Скарга
 Славейков П. Р. 93
 Славский Ф. 89
 Сменцовский М. 22, 110
 Смирнов А. С. 159
 Смирнов В. 62
 Смирнов Д. 185
 Смирнов И. И. 169
 Смирнов И. П. 406
 Смирнов И. Т. 116
 Смирнов М. И. 71, 91
 Смирнов Н. А. 22, 524
 Смирнов П. С. 35-36
 Смирнов С. И. 30, 61, 70-72, 74, 83, 95-96, 108-109, 113, 119, 202
 Смирнов Ю. И. 104
 Смолицкий В. Г. 104
 Смотрицкий Мелетий см. Мелетий Смотрицкий
 Снесарев Г. П. 117
 Соболев А. 70
 Соболевский А. И. 19, 22, 114, 160
 Соболевский С. А. 401
 Соколов Б. 126
 Соколов П. И. 530, 541
 Соколова З. П. 98, 121
 Сократ 117

- Соловьев А. 197
 Соловьев С. М. 194, 492
 Соловой И. Т. 192, 192
 Солосин И. И. 213, 215–216, 219, 236, 240
 Сомов О. М. 451
 Сорокин Ю. С. 416, 515
 Софья Алексеевна, царица 175
 Софья Палеолог 151, 156
 Спафарий Николай см. Николай Спафарий
 Сперанский М. М. 183, 344, 356, 403, 408, 425–426, 520
 Спиридон Потемкин, архимандрит 9, 14, 22
 Спиридон Тримифийский, еп. 46
 Спринчак Я. А. 520
 Срезневский И. И. 65, 76, 90, 118, 145–146, 420
 Станг Х. Е. 549
 Станевич Е. 378, 420, 510–511, 538
 Станкевич Н. В. 345
 Стасов Д. В. 190
 Стасюлевич М. М. 520
 Стендер-Петерсен А. 416
 Степан Разин 119
 Степун Федор 168, 189
 Стерн Л. 368, 515
 Стефан Пермский 7, 19
 Стефан Яворский 64, 118, 250, 267
 Страхов Н. И. 508, 512–513, 516, 547
 Стрешнев С. Л. 119–120
 Строганов П. С. 175, 194
 Струйский Н. 513
 Субботин Н. И. 21, 37, 120, 159, 237
 Сумароков А. П. 44, 47, 167, 189, 196, 208, 218, 222–225, 227, 233, 237, 239, 283–301, 307–308, 311–330, 354, 371, 382–383, 388, 419, 425–426, 441–444, 448–450, 453–454, 458–459, 463, 494, 507–508, 525–526, 529–531, 534, 538, 541, 544, 549
 Сумароков П. А. 415
 Суффен 326
 Сухомлинов М. И. 209, 224, 231–232, 235–236, 239, 275–276, 279–282, 285–286, 288, 303, 305–310, 313, 315–316, 321, 324, 373, 415, 417, 425–426, 429, 431, 450, 457, 496
 Сырку П. 63
 Сыхта Б. 89
 Сянь-лю Х. 97
 Талебран Ш.-М. 358
 Тальман П. 441
 Таппе Л. В. 227, 235
 Тарабарин И. М. 226
 Тарановский К. Ф. 266–267, 269
 Тассо Т. 368, 423, 449
 Татищев В. Н. 47, 424–425, 431, 444, 492
 Теплов Г. Н. 183, 322–324, 506, 516
 Термер Ф. 105, 126, 128
 Терновская О. А. 111
 Террас В. 266
 Тименчик Р. Д. 267
 Тимофеев Иван см. Иван Тимофеев
 Титов А. А. 39, 76
 Тиханов П. 67
 Тихонравов Н. С. 50, 72, 426, 463, 500, 522
 Тихон, поп 8
 Тихон Задонский 183
 Толстая С. М. 63, 109
 Толстов С. П. 98
 Толстой Л. Н. 47, 172, 190, 204, 337
 Толстой Н. И. 63, 70
 Толстой Ю. 19
 Томашевский Б. В. 266, 306, 447, 458, 465

- Томпсон С. 145
 Топорков А. Л. 56, 69, 81, 84, 87, 109, 142
 Топоров В. Н. 70, 73, 82, 92–93, 104, 106, 118, 122, 145
 Торум 107
 Транквиллион Ставровецкий Кирилл см. Кирилл Транквиллион Ставровецкий
 Третьяковский В. К. 47, 118, 167, 189, 196, 207, 214, 216–217, 220, 222–223, 225, 228, 232–241, 245, 275–330, 339, 347, 354, 365, 370–371, 373, 382–383, 386, 390, 396, 417–418, 424–426, 430, 432, 440–443, 446–448, 454, 458, 492, 505–506, 509, 511, 515–516, 523, 525, 531–532, 534, 538, 541, 544, 550, 553–554
 Тримифийский Спиридон см. Спиридон Тримифийский
 Трифилий, епископ 46
 Трифионов Ю. 117
 Трофимов М. В. 233
 Трубачев О. Н. 54, 64, 106–107, 121
 Трубецкой Е. 126
 Трубецкой Н. С. 189, 200, 427, 438
 Трунев Н. В. 530
 Туликов Н. М. 156, 162, 198, 200
 Тургенев А. И. 185, 353, 411, 449, 503, 535, 548
 Тургенев Ал. И. 407, 415, 455, 498, 503, 508
 Тургенев И. С. 160, 164, 184, 337
 Тургенев Н. И. 341, 405
 Турилов А. А. 24
 Туровский Кирилл см. Кирилл Туровский
 Тучков В. М. 7
 Тынянов Ю. Н. 184, 271, 336, 344, 441, 447, 450, 461, 464–465
 Уваров С. С. 344, 407
 Унбегаун Б. О. 30, 122, 157, 173, 183, 186–190, 192, 194, 196–200, 202–203, 420, 426, 517, 550
 Уоллес М. 201–202
 Успенский Б. А. 20, 22–24, 26, 35, 38, 45, 48, 62, 71, 73, 80–81, 94, 99–100, 104–108, 113, 119–120, 126, 143–145, 147, 158–159, 184, 189, 191, 194, 199, 200, 207, 230, 232, 245, 267–268, 271, 275, 278–279, 295, 297, 306, 308, 322, 324, 328, 403–404, 416–417, 420, 438, 441, 504, 521
 Успенский Г. П. 457
 Успенский Д. И. 67, 78
 Ушаков Д. Н. 62, 208, 211, 347
 Ушаков Симон см. Симон Ушаков
 Фасмер М. 53, 88–89, 99, 108, 121, 128, 239, 426–427
 Фатер И. С. 227
 Федеровский М. 72, 91, 94, 100, 106–107, 109, 113, 118
 Федор, дякон 10, 37
 Федор Алексеевич, царь 175
 Федор Иванович, царевич 118
 Федоров Иван см. Иван Федоров
 Федоров (Челядин) И. П. 178
 Федоров Стефан 76
 Федотов Игнатий, подьячий 76
 Федорович И. П. 199
 Фенелон Фр. 459
 Фенне Т. 147
 Феодорит Кирский 50
 Феодосий Печерский 105
 Феофан Прокопович 152, 183, 352, 518
 Феофана продолжатель 117
 Фергюсон К. А. 416
 Фивейский Платон см. Платон Фивейский

Филарет, митр. 182, 200
 Филарет, патр. 159
 Филарет Амфитеатров, митр. 168
 Филарет Дроздов, митр. 428
 Филатов С. С. 418
 Филофей, старец 7-10, 12, 14, 18-19
 Фимен Ф. П. 160
 Флоренский П. А. 270
 Флоровский А. 22
 Фокс Ч.-Дж. 356
 Фомиа А. 411, 449, 535
 Фонвизин Д. И. 212, 223, 368, 416, 423, 458, 461, 463, 537, 549-550
 Фонтенель Б. 454
 Фотий, митр. 152
 Фотий, старец 60, 111
 Франк Б. 105, 117, 121, 126-128
 Франко И. 87, 91, 93-94, 96-97, 113, 117, 122
 Фрейденберг О. М. 71
 Фридрих II Великий 415, 443
 Фролова С. В. 197

Хаавио М. 126
 Халывченко П. М. 187
 Харлампович К. В. 115, 158-159, 187, 200
 Харон 105
 Харузин Н. 58, 144
 Хвостов Д. И. 413, 441, 444-445, 455, 508, 520, 550
 Херасков М. М. 312
 Хятрово Б. М. 162
 Хлебников В. 242-245, 270
 Хлопова Мария 151
 Хмельницкий Богдан см. Богдан Хмельницкий
 Хорс 61
 Ходкевич Григорий см. Григорий Ходкевич
 Хоткевич Г. А. 199
 Храбр, черноризец 20, 44, 50

Храповицкий А. В. 408, 440, 449, 505, 546
 Христос Иисус см. Иисус Христос
 Хюль-Ворт Г. 220, 326, 416, 420, 431, 438, 495, 501-502, 509, 511, 513, 515, 518-519, 522-523, 525-526, 536-538, 542, 548, 550-551, 553

Царьградский Андрей см. Андрей Царьградский
 Цветаева М. И. 270, 501
 Цейтлин Г. 62
 Целларий Х. 221, 442
 Цыганенко Г. П. 438
 Цявловский М. А. 457

Чарторыжский А. 359
 Чебышев П. Л. 193
 Челаковский Ф. 94, 106
 Чернецов А. В. 24
 Чернов П. К. 165, 184
 Черных П. Я. 550
 Чернышев В. И. 62, 160, 216, 219, 514, 517
 Чехович Мартин см. Мартин Чехович
 Чечулин Н. 160
 Чистов К. В. 406
 Чистович И. А. 22, 429
 Чичагов В. К. 157, 159, 161-162, 191-192, 194, 197-199, 201, 204
 Чубинский П. П. 91, 115-116, 121
 Чудовский Евфимий см. Евфимий Чудовский
 Чулицкий В. 193
 Чулков М. Д. 232, 318, 373, 384, 429, 443, 494, 502, 517, 535
 Чупров И. 458

Шавельский Георгий см. Георгий Шавельский

Шакловитый Ф. Л. 171
 Шаламов В. Т. 184
 Шаликов П. И. 355-356, 399, 410, 444, 450, 463, 515, 546
 Шапкарев К. А. 96-97
 Шатобриан Ф.-О. 341
 Шафиров П. П. 518, 524
 Шахматов А. А. 159, 194, 198, 221
 Шаховской А. А. 381, 438, 458, 505, 525, 532, 537, 542
 Шварц Е. Г. 411
 Шварц И. Е. 347, 363, 416
 Шебунин А. Н. 406-408
 Шевелев Г. И. 159, 194
 Шевырев С. П. 209, 219, 231, 236
 Шейн Н. В. 82
 Шекспир В. 220, 527
 Шендецов В. В. 517
 Шенрок В. И. 536
 Шереметев П. 67, 78, 88
 Шереметевский В. В. 157, 160, 187, 189, 202-204
 Шеффер П. Н. 54
 Шиллер И.-Х.-Ф. 353
 Шильдер Н. К. 403, 462, 520
 Шиндин С. Г. 269
 Шиповы, дв. 193
 Шицгал А. Г. 324
 Шишкин А. Б. 189, 285, 312
 Шишков А. С. 198, 215, 219, 225, 297, 339-341, 344-345, 348-350, 352, 359, 369, 371, 375, 377, 381, 383, 387, 389-390, 395, 397 400, 405, 409, 413, 422, 425, 427-430, 434-437, 439-441, 444-445, 447, 450-454, 456-457, 459, 461-462, 464-465, 497, 501, 503, 506-507, 509-511, 514, 518-519, 523-525, 529, 531, 533-534, 537-540, 542-543, 545, 547-548, 551, 554
 Шихматов-Ширинский С. А. 340-341, 408, 427, 433, 465

Шкловский В. Б. 146
 Шлерат Б. 105, 118, 126-127
 Шлёцер А. Л. 225, 227, 234, 430
 Шляпкин И. А. 22
 Шмигельский Сисой см. Сисой Шмигельский
 Шольц Г. 104-105, 115-116, 119, 127-128
 Шомилов А. Р. 411
 Шпильрейн И. 159
 Штаден Г. 127, 171, 175, 191, 194
 Штихель Р. 19
 Шувалов А. П. 311
 Шувалов И. И. 282
 Шуйский Василий см. Василий Шуйский
 Шухевич В. 144

Щапов А. П. 61, 68, 113
 Щекин М. В. 61
 Щербатов М. М. 172, 192, 458
 Щербатов Ф. А. 192
 Щуров И. 70, 121

Эйдельман Н. Я. 142
 Элассонский Арсений см. Арсений Элассонский
 Элиаде М. 406
 Эрнст С. 411

Юль Ю. 121
 Юпитер 119
 Юсуповы, кн. 192

Ягайл, король 93
 Ягич И. В. 42-44, 50
 Яворский Стефан см. Стефан Яворский
 Яворский Ю. 158
 Языков Д. И. 350, 427

Якобсон Р. О. 50, 92, 98, 122, 233,
244–245, 347
Яков Смирнов, свящ. 169
Яковлев П. Л. 497
Яковлев-Орлин Амвросий см. Ам-
вросий Яковлев-Орлин
Якуб Вуйк 22

Якушкин П. И. 116
Яма, царь мертвых 105
Яновский Н. М. 503, 526, 528
Янькова Е. П. 166, 184–185
Яхонтов И. К. 115
Яцимирский А. И. 49, 126
Яцкович Герасим, посол 179

Оглавление

Отношение к грамматике и риторике в Древней Руси (XVI–XVII вв.)	7
Языковая ситуация и языковое сознание в Московской Руси: восприятие церковнославянского и русского языка	26
Вопрос о сирийском языке в славянской письменности: Почему дьявол может говорить по-сирийски?	49
Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии	53
I. Общие замечания: специфика функционирования матерного выражения	53
II. Культовые функции матерной брани	56
III. Объект действия в матерном выражении: связь с культом земли	65
IV. Субъект действия в матерном выражении: связь с мифологией пса	84
V. Некоторые выводы. Вопрос о форме местоимения	99
VI. Заключение	102
«Заветные сказки» А. Н. Афанасьева	129
Мена имен в России в исторической и семиотической перспективе	151
Социальная жизнь русских фамилий	164
Фонетическая структура одного стихотворения Ломоносова	207
О сомнительномъ произношеніи буквы Г: в російскомъ языкѣ	210
К поэтике Хлебникова: проблемы композиции	242
Анатомия метафоры у Мандельштама	246
К истории одной эпиграммы Тредиаковского (эпизод языковой полемики середины XVIII в.)	275
Приложение I	301
Приложение II	302

Споры о языке в начале XIX в. как факт русской культуры («Происшествие в царстве теней, или судьбина российского языка» — неизвестное сочинение Семена Боброва)	331
Проблема языка в свете типологии культуры. Бобров и Макаров как участники языковой полемики	331
Вопросы культуры в свете языковой проблемы. Лингвистические аспекты внутрикультурных конфликтов	360
Примечания	403
Произшествіе въ царствѣ тѣней.	468
Комментарий	492
Литература	567
Библиографическая справка	622
Список трудов Б. А. Успенского	624
Принятые сокращения	662

Язык. Семиотика. Культура

Борис Андреевич Успенский

ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ

том II

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА

Издатель А. Кошелев

Художник В. Коршунов

Подготовка текста Е. Бабаева, О. Маховая

Оформление оригинал-макета О. Лапко

Оригинал-макет подготовлен в пакете *SurTUG-EmTeX* с использованием кириллических шрифтов семейства LN

Подписано к печати 27.06.94.

Формат 60 × 90/16. Бумага офсетная.

Гарнитура Computer modern. Усл.-печ. л. 43. Заказ № 150

Тираж 10 000 экз. Цена договорная.

Первый завод 5 000 экз.

Издательство «Гнозис»

119847, Москва, Зубовский бульвар, 17.

Тел. (095) 246-56-32 Факс (095) 230-24-03

Отпечатано с готовых диапозитивов

АО "Астра семь"

121019, г. Москва, Аксаков пер., 13